Роман Гуль
Я унес Россию
Россия в Америке
Россия во Франции

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Введите сюда краткую аннотацию

- Том первый. “Россия в Германии”
  - Вступление
  - Откуда есть пошли Гули
  - До эмиграции
  - Как я начал писать
  - В.Б. Станкевич и журнал “Жизнь”
  - Саша Черный
  - “Ледяной поход”
  - “Новая русская книга”
  - Письмо Максимилиана Волошина
  - Бегство матери из Советской России
  - Посольская церковь
  - Книжное дело
  - Театры и музыка
  - Общественная и культурная жизнь эмиграции
  - “Дом искусств”
  - Сергей Есенин за рубежом
  - Иллюзии примирения. Евразийство. Сменовеховство. Милюков. Маклаков и др
  - Евразийцы
  - Сменовеховцы
  - П.Н. Милюков
  - В.А. Маклаков
  - Возвращенчество
  - В газете “Накануне”
  - Б.В. Дюшен
  - Рената из “Огненного ангела”
  - Н. В. Зарецкий
  - Моя жена Ольга Андреевна
  - Дружба с Константином Фединым
  - Лидия Сейфуллина
  - Николай Никитин
  - Илья Груздев
  - Михаил Слонимский
  - Ю.Н. Тынянов
  - Берлин уже не столица русского Зарубежья
  - Деревенька Фридрихсталь
  - Няня Анна Григорьевна
  - Н.А. Орлов

- “Прыжок в Европу”
- Последняя встреча с А.Н.Толстым
- Приход Гитлера
- Мой арест
- В амбулатории
- Лечение
- Арестованные прибывают
- Взвешивание
- Штурмфюрер Нессенс
- Гусиная колодка
- Доктор Гуго Менчель, партбилет N 4
- Чей это был брат
- Последний день в лагере
- На свободе

- Том второй. “Россия во Франции”
  - Въезд в Париж
  - Завтрак с А.И. Гучковым
  - В Шату у В.П. Крымова
  - “Золотая лилия ”
  - Жизнь из “слагаемых”
  - У А.И. Гучкова
  - А.Ф. Керенский
  - И.Г. Церетели и А.Ф. Керенский
  - Русский Париж
  - Православные церкви
  - Высшие учебные заведения{29}
  - Ученые, философы, писатели
  - Общественные организации
  - Пресса и издательства
  - Русские театры (драма, опера, балет)
  - Русские во французском кино
  - Русские художники в Париже
  - Русская музыка в Париже
  - Хоры, цыгане, Вертинский, Плевицкая
  - Монпарнас
  - В “Последних новостях”
  - У П.Н. Милюкова
  - У В.Л. Бурцева
  - “Прыгайте, гражданин!”
  - У М.С. Маргулиеса
  - Кто из русских были масонами
  - Русские масоны в Париже
  - У графини Л.Н. Воронцовой-Дашковой
  - РОМАН ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ

- ○ В ОПАЛЕ В ЛОНДОНЕ
- ○ ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГ
- ○ МОЁ ЗНАКОМСТВО С ВЕЛИКИМ КНЯЗЕМ
- ○ ПОДАЛЬШЕ ОТ ПРИДВОРНОЙ ЖИЗНИ
- ○ ПОЧЕМУ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ НЕ ХОТЕЛИ НАГРАЖДАТЬ ОРДЕНОМ СВ. ГЕОРГИЯ
- ○ СВЯЩЕННИК ВОЗГЛАШАЕТ МНОГОЛЕТИЕ ИМПЕРАТОРУ ФРАНЦУ-ИОСИФУ
- ○ ПОЛКОВНИК ЯКИМИДИ, ПО ПРОЗВИЩУ “ДУШКА”
- ○ ПЕРЕД РЕВОЛЮЦИЕЙ
- ○ ЗАГОВОР ПРОТИВ АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ
- ○ УБИЙСТВО РАСПУТИНА
- ○ МЫ УЗНАЁМ О РЕВОЛЮЦИИ НА ОХОТЕ
- ○ Я ПЫТАЮСЬ УЗНАТЬ, ГДЕ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
- ○ В КВАРТИРЕ КНЯЗЯ ПУТЯТИНА ПЕРЕД ОТРЕЧЕНИЕМ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ОТ ПРЕСТОЛА
- ○ ОТРЕЧЕНИЕ
- ○ СМЕРТЬ
- ○ “НОМЕРА КОРОЛЕВЫ”
- ○ “Кинжал”
- ○ Кинжал
- ○ У Н.П. Саблина
- ○ С ЦАРСКОЙ СЕМЬЕЙ НА “ШТАНДАРТЕ”
- ○ ГРИГОРИЙ РАСПУТИН
- ○ Рассказы А.Д. Нагловского
- ○ ЛЕНИН
- ○ ТРОЦКИЙ
- ○ ЗИНОВЬЕВ
- ○ Нищета и чудеса
- ○ В Англии
- ○ В Denham
- ○ У Стивена Грэма
- ○ Рассказы Трендела
- ○ Моя работа
- ○ Туманы
- ○ М. А. Будберг
- ○ Эдуард VIII
- ○ В Париже
- ○ “Пети Комон”
- ○ За работой
- ○ Иван Никитич
- ○ Гарабос
- ○ Молотьба

    - Смерть матери
- Том третий. “Россия в Америке”
    - Об эмиграции
    - Великий исход
    - Голод
    - На стекольной фабрике
    - У мадам Пруст
    - Шато Нодэ
    - Мсье Ле Руа Дюирэ
    - Дойка коров
    - “Млекаж! Млекаж!”
    - Меринов
    - Шпейер из Тулузы
    - Болезнь Ле Руа Аюпрэ
    - Ротмистр Рустанович
    - Дележ
    - Пайес
    - Мой уход из масонства
    - Совпатриоты и коллаборанты
    - В.А. Лазаревский
    - Связь с Б.И.Николаевским
    - С.П. Мельгунов
    - Собрание Союза писателей и журналистов
    - Виктор Кравченко
    - Н.В. Вольский
    - Б.И. Николаевский
    - “Народная правда”
    - Наша борьба за народную свободу
    - Речь сенатора Мак-Магона
    - “Ольга Андреевна, вы — сильный человек”
    - “Новый журнал”
    - Переписка через океан Георгия Иванова и Романа Гуля
    - 1. ЗАРОЖДЕНИЕ “ИДЕОЛОГИИ”
    - 2. ВОПЛОЩЕНИЕ “ИДЕОЛОГИИ”
    - Томас Витни
    - Джордж Кеннан
    - Д.Н. Шуб
    - Юлий Марголин. Полет в Израиль
    - Подрывная работа в МСЦ
    - Что дали два года “Автокефалии”?
    - Светлана Аллилуева
    - “ДВАДЦАТЬ ПИСЕМ К ДРУГУ”
    - “ТОЛЬКО ОДИН ГОД”
    - Переписка Светланы Аллилуевой и Ольги и Романа

Гуля

- comments
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38
  - 39
  - 40
  - 41
  - 42

○ 43

Том первый. “Россия в Германии”

Вступление

Какой-то большой якобинец (кажется, Дантон), будучи у власти, сказал о французских эмигрантах: “Родину нельзя унести на подошвах сапог”. Это было сказано верно. Но только о тех, у кого кроме подошв ничего нет. Многие французские эмигранты — Шатобриан, герцог Энгиенский, Ришелье и другие, у кого была память сердца и души, сумели унести Францию. И я унес Россию. Так же, как и многие мои соотечественники, у кого Россия жила в памяти души и сердца. Отсюда и название этих моих предсмертных воспоминаний— “Я унес Россию”.

Под занавес я хочу рассказать о моей более чем шестидесятилетней жизни за рубежом. Это будут некие мемуары d’outre-tombe, ибо я начал работать над этим рассказом в 1977 году, когда достиг Мафусаилова возраста. Удастся ли закончить? Только Бог знает. Замогильные мемуары я хочу начать с очерка.

Откуда есть пошли Гули

Будучи подростком я был обуреваем “множеством страстей”; в гимназии игра “в перышки”; на нашем большом дворе — в лапту и чушки (рюхи); потом — бильярд; кроме того, я “водил голубей” (страстный был — и остался — голубятник); потом — собаки; потом — лошади рысистые и верховые. Между прочим, я любил родословные и лошадей и людей. Это тоже была страсть. Конские “аттестаты” вызывали во мне какое-то “волнение”, похожее на волнение при игре в карты. Странно, но это так было. Я с увлечением перечитывал длинные листы плотной, приятной бумаги, исписанные каллиграфическим почерком: “Волга — от Потешного и Летуньи. Потешный — от Кролика и Волнистой. Летунья — от Крепыша и Бури. И т. д., и т. п.”. Сходное чувство было у меня и к людским родословным. Хотя тут, конечно, примешивались и чувствования более сложные.

Мальчиком я во все глаза глядел, когда дед Сергей Петрович Вышеславцев (отец мамы) иногда (редко) показывал мне родословное древо дворян Вышеславцевых. И я узнавал, что вышли они из Литвы при Василии Темном. Дед рассказывал, что один из Вышеславцевых, воевода, при Иване III усмирил Новгородское восстание, Широко разветвленное древо, усеянное множеством кружочков, вызывало чувство ухода в тайну моего собственного бытия, в исток рода, в ошу-шение, что моя маленькая жизнь как-то связана со всем множеством кружочков этого развесистого древа,

Бабушка Марья Петровна, урожденная Ефремова, происходила, как и дед, из мелкопоместных дворян, но не Керенского, а Краснослободского уезда Пензенской губернии. Если я бы писал о детстве (а не воспоминания об эмиграции), я бы много написал о Марье Петровне, которую люблю до сих пор. Но я об этом не пишу.

Любил я слушать рассказы об отце деда. Он, оказывается, был в хозяйственном смысле никчемушный помещик. Почти все свое имение в Керенском уезде он пропустил (что во мне вызывало к нему какое-то умиление, мне нравились помещики, пропускавшие свои имения). Деду он оставил всего 200 десятин, да брату деда столько же. Но и брат деда, Мит-рофан, все свое тоже пропустил, как и отец. Дед говаривал, что Митрофана “ограбил купчишка Самошка Сударев”, Этот Самошка обобрал Митрофана так, что Митрофанове имение все перешло к Самошке, а Митрофан спился.

У деда характер был иной. Смолоду он пошел служить по

земству. Почти всю свою жизнь был председателем Керенской земской управы, неким самодержцем уезда. Иногда бывал предводителем дворянства. Но этого поста не любил: хлопотно, приемы, поездки и пр. Я описал деда в “Коне рыжем”.

Но насколько в роду Вышеславцевых и Ефремовых все было ясно, настолько происхождение Гулей для меня было окутано туманом. И никто никогда мне — мальчишке — этот туман прояснить не хотел. “Ах да отстань, Рома, со своими глупостями”.

Только после смерти отца, разбирая его бумаги, в ящиках громадного резного орехового письменного стола я нашел старинную, свернутую в трубку бумагу: свидетельство о крещении младенца Карла в протестантской церкви в Царском Селе. В свидетельстве было указано, что младенец внебрачный и что родители его: отец — ротмистр Ея Величества кирасирского полка, светлейший князь Иосиф Иосифович Бреде, а мать Каролина Гуль. Были указаны и восприемники. Помечен документ был 1834 годом.

“Туман Гулей” для меня рассеялся, и об этот происхождении деда мне тогда уже, после смерти отца, рассказала и мама, и особенно дядя Сережа (младший брат отца). Он рассказал, что Каролина Гуль, будто бы, была женщиной необычайной красоты (что и подтверждал старинный дагерротип). Была она шведского происхождения, как и князь Бреде. Но была не из богатой и знатной семьи, а из скромной. По словам дяди, брак ее с светлейшим ротмистром был законный, но когда светлейший вскоре — через два года — захотел жениться на очень богатой тамбовской помещице Петрово-Солововой, то будто бы, благодаря своим высоким связям при дворе, брак он как-то расторг, и дед оказался “внебрачным”. В рассказ дяди Сережи я не верил. Просто, вероятно, связь с скромной Каролиной светлейшему оказалась больше не нужна и, может быть, тягостна, а женитьба на богатейшей девице Анастасии Петрово-Солововo, очень хорошего рода, светлейшему была весьма кстати. Вот он и сочетался “законным браком”.

Но Каролину и своего сына светлейший на произвол судьбы не бросил. Каролина с двухгодовалым сыном только уехала из Петербурга в Тамбов. Всю ее жизнь (Каролина замуж никогда больше не вышла) светлейший ее содержал. Своему же сыну дал хорошее образование. Дед мой окончил среднее учебное заведение в Тамбове. Потом поступил в Императорский Московский университет на медицинский факультет, который блестяще окончил, как тогда писалось, “со званием лекаря”.

Семейное предание говорит, что когда дед окончил университет, светлейший отец захотел встретиться с

несветлейшим сыном и пригласил его на обед в знаменитый ресторан “Яр” отпраздновать получение докторского диплома. По семейным рассказам, дед был человек огненно-вспыльчивый и резкий. На обед с светлейшим отцом он приехал, прошел в указанный отдельный кабинет “Яра” и тут в первый раз в жизни увидел своего отца, того, кто дал ему жизнь. Руки светлейшему он не подал, сказав: “Я приехал сюда только для того, чтобы сказать вам, что вы мерзавец!”. Повернулся и вышел. Больше светлейшего отца своего он никогда не видал. Мать же свою Каролину дед страшно любил и за нее-то (я думаю) и отомстил.

Сейчас в Нью-Йорке, когда я работал над этими memoires d`outré-tombe, я как-то разговорился с князем Алексеем Павловичем Щербатовым, профессором-историком и большим знатоком генеалогии старых русских и иностранных родов, и оказалось, что А.П. прекрасно осведомлен о всех Вреде. Он прислал мне не только печатные документы о них, но и рассказал, что его отец и дядья (Щербатовы) были хороши с детьми князя Иосифа Иосифовича и Анастасии Петрово-Соловово. По ее матери (княжне Наталии Щербатовой) дети Вреде даже приходились Щербатовым дальними родственниками.

В документах я прочел, что Вреде — шведский род, До сих пор в Швеции есть Вреде. Но в далекие времена, в 1612 году, одна ветвь Вреде (Генрих Вреде) переселилась в Баварию и здесь достигла знатности. Тут-то Вреде и стали “светлостью”. И до сих пор в Германии где-то стоит замок Вреде — Эйлинген.

Мой “внебрачный” прадед (так оно и есть, извиняюсь перед мещанами всех мастей, но из этой романической песни слов выкидывать не хочу) Иосиф Иосифович ничего особого в жизни не достиг. Зато его отец — фельдмаршал — оставил некий след в истории. Когда Наполеон воевал с союзниками в Европе, сей фельдмаршал был с Наполеоном и командовал баварцами против австрийцев. За сие в 1809 году от Наполеона он получил титул “conte de l`Empire” (граф Империи). Известно, что Наполеон был весьма щедр на раздачу всяческих высоких титулов тем, кто ему служил. Именно в это время со своим приятелем генералом Бернадотом Вреде ездил в Швецию. Но когда Наполеону пришлось туго, то Вреде попросту “вывернул жилетку”, повернув баварские штыки против Наполеона. Поэтически это называется — “и продали шпагу свою”.

Не знаю, остался ли Бреде в Швеции у Бернадота, ставшего ни много ни мало “королем”. Знаю только, что сын Вреде, Иосиф Иосифович, переехал из Швеции в Россию, принял русское подданство, дослужился до гвардии полковника, благодаря браку с Анастасией Петрово-Соловово стал несметно богат, но все же

скончался в 1871 году.

По окончании университета мой дед Карл Иосифович уехал из Москвы в свою родную Тамбовскую губернию, чтобы стать там земским врачом. Вероятно, хорошо зная о его происхождении, к нему тепло относились тамошние большие помещики — Петрово-Соловово и Ланские. Петрово-Соловово даже предложили деду жить в их усадьбе. Там дед и поселился в отдельном доме. Вскоре, будучи уже земским врачом Кирсановского уезда, дед познакомился с тамошними помещиками Аршеневскими и влюбился наповал в их дочь Екатерину Ивановну, Любовь оказалась взаимной, и дед сделал предложение. Однако ее родители этого брака не захотели. Но дед был человек решительный. В один прекрасный день он умыкал Катю, и в какой-то захолустной деревеньке простенький батюшка, за хорошую мзду, их обвенчал. Перед церковным браком родители склонились, и дед с Екатериной Ивановной зажили в особняке усадьбы Петрово-Соловово.

Прожили они свою жизнь счастливо. Екатерина Ивановна родила ему девять детей. Двое умерли в младенчестве, а семь остались в живых. Прекрасная фотография Екатерины Ивановны была в нашем имении в моей комнате. Я собирал семейные портреты, и все они висели у меня на стенах, пока не погибли в революцию, когда дом и всю усадьбу — по завету Ильича “грабь награбленное!” — дотла сожгли крестьяне. Зачем? Есть, говорят, некая страсть “к огню”, к уничтожению. Если бы восстановить все десятки тысяч усадеб, сожженных в революцию, вырос бы большой и хороший город. Но та же революция жестоко отмстила крестьянам, превратив их в крепостных роботов компартии.

Екатерина Ивановна, по рассказам, была барыней старинного стиля: французский язык, французские романы, утреннее кофе подавалось в постель. Аршеневские, по рассказам, были склонны к чванству, считая в своем роду и Соломонию Сабурову, несчастную жену вел. кн. Василия III, и Кудеяра, и другие исторические фигуры. Но как многие помещики, и они пропустили свое имение в Тамбовской губернии, разорились.

Расскажу историю, которая еще в детстве мне нравилась. Один из Аршеневских, кажется дядя Екатерины Ивановны, был человек крепко запьянцовский и разорился настолько, что из помещика превратился в… извозчика в Тамбове. Естественно, что жена не захотела быть “женой извозчика” и разошлась с ним. Она поступила преподавательницей в местную женскую гимназию, и вот родовитый извозчик, будучи всегда в подпитии, но не теряя остроумия, ежедневно подъезжал на своей кляче к женской гимназии, когда классы кончались и гимназистки и учительницы

шли домой. Тут он ждал ушедшую от него жену и, когда она выходила, ехал по мостовой параллельно ее пути по тротуару, крича: “Маша! Маша! Ну чего ж ты пешком плетешься! Садись, подвезу!”. Это, разумеется, шокировало и бывшую жену, и всех, кто с ней шли, не понимавших, кто же такой этот ванька и почему он так грубо пристает к учительнице Аршеневской.

В крови Аршеневских, по-моему, было что-то от татар, и шесть Гулей (мои дядья и тетки) делились на блондинистых (Гулей) и чернявых, с татарщинкой в глазах (Аршеневских)[{1}]. К сожалению, ни деда по отцу, ни бабушку Аршеневскую я никогда не видал. Дед умер пятидесяти семи лет от роду от разрыва сердца, до моего рождения. А Екатерина Ивановна жила под старость в Тифлисе у старшего сына (моего дяди Анатолия), который был полковник артиллерии и служил в штабе наместника на Кавказе. Там она и скончалась.

Ну вот, откуда, стало быть, есть пошли Гули. То есть фамилия — Гуль. От скромной красивой женщины шведского происхождения Каролины Гуль, фамилия которой покрыла фамилии Вышеславцевых, Ефремовых, Аршеневских, Вреде.

До эмиграции

Думаю, что читателю нужно знать, *кто* пишет эту книгу. Кем был этот человек в России, что делал, что думал, чем жил? В некоторых своих книгах (“Конь рыжий”, “Ледяной поход”) я кое-что о себе рассказал. Здесь же я дам только крайне сжатый, почти “конспективный” очерк своей жизни в России — до эмиграции. Я не хочу писать, как Шатобриан, три толстенных тома обо всем пережитом. Я выбрал одну тему — Россия в эмиграции.

Отец Сергий Булгаков в своих “Автобиографических заметках” хорошо говорит, что такое родина: “Родина есть священная тайна каждого человека, так же как и его рождение. Теми же таинственными и неисследимыми связями, которыми соединяется он через лоно матери со своими предками и прикрепляется ко всему человеческому древу, он связан через родину и с матерью-землей и со всем Божьим творением <…> Моя родина, носящая священное для меня имя — *Ливны,* небольшой город Орловской губернии, — кажется, я умер бы от изнеможения блаженства, если бы сейчас увидел его <…> Там я не только родился, но и зародился в зерне, в самом своем существе, так что дальнейшая моя, такая ломаная и сложная жизнь, есть только ряд побегов на этом корне. Все, все мое — *оттуда* <…> Рассказать о родине так же трудно, как и рассказать о матери…”.

Мой родной город не Ливны, а — Пенза. Он — моя родина. “Кто видел Лондон и Париж / Венецию и Рим / Того ты блеском не прельстишь / Но был ты мной любим”. Разумеется, губернская Пенза была много краше уездных Ливн. Но, конечно, Булгаков прав. Мила та сторона, где пупок резан. И я тоже умер бы от “изнеможения блаженства”, если б увидел свою Пензу. Но ее увидеть уже нельзя. За годы революции *моя Пенза* исчезла. Я получил как-то альбом фотографий *советской* Пензы. Как же изуродовала и обезобразила Пензу власть этой “интернационалистической” партии. Беспортошная, страшная, без роду, без племени нелюдь, силой захватившая власть в России, в Пензе взорвала православные храмы. А их было множество, около тридцати, и они-то давали Пензе лицо. На Соборной площади стоял величественный, высоченный собор, белоснежный, с золотым куполом и высоким сияющим крестом. Собор взорвали, сровняв с землей. А он оглавлял всю Пензу. Возвышался на обнесенной зеленью площади, стоя на вершине холма: вся Пенза раскинулась на большом холме. Уничтожены и два монастыря (мужской и женский).

Вместо же старины, прекрасности и благолепия “партия” построила какие-то, а ля “пензенский Корбюзье”, безобразные “конструктивные” казармы-дома-коробки для роботов. Прелесть города, его стиль убили. Но они этого и не чувствуют.

Отец мой был нотариус города Пензы (их было три — отец, Грушецкий и Покровский); был домовладелец (на главной Московской улице стоял наш двухэтажный каменный вместительный дом); был и помещик Инсарского и Саранского уездов: имение в четыреста пятьдесят четыре десятины пахоты, леса и лугов раскидывалось в этих уездах. Но не думайте, читатель, что этот достаток отца свалился ему с небес, за прекрасные глаза, по какому-нибудь “наследству”. Всего этого отец добился своим упорным трудом.

Но чтобы рассказать об этом, я должен еще раз коснуться характера моего деда (по отцу). Дед был человек властный в отношении всей семьи, а иногда и самодур- Если деду за обедом что-нибудь не нравилось, он в бешенстве вскакивал и, схватив скатерть за угол, сбрасывал все стоящее на столе на пол. От детей требовал — беспрекословного послушания. И когда старший сын Анатолий, кончив гимназию, захотел поступить в военное училище дед наложил вето, отправив его в Московский университет на юридический факультет. Не чувствуя никакейшего призвания к юриспруденции, Анатолий зря проболтался год на юридическом и все-таки поступил в Михайловское артиллерийское училище, которое окончил, став офицером.

Отец мой — наоборот — хотел именно на юридический, но дед сказал: “Нет! пойдешь в Московское Императорское техническое!” Мой отец не ослушался, хотя призвания к инженерии не ощущал. И через год из Москвы написал отцу, что все-таки хочет перейти на юридический. Дед ответил, что может переходить куда угодно, но никакой денежной поддержки тогда от него не получит. Мой отец был с характером. И все-таки перешел. Лишившись всякой поддержки, отец бедствовал, перебивался уроками, не брезговал никакой работой, но все же занимался любимой наукой — правом. А потом, выдержав экзамен на нотариуса, получил назначение в уездный город Керенск Пензенской губернии, где встретился с моей матерью. Они полюбили друг друга (более счастливого брака я не видел в жизни). А уж из Керенска отец перешел нотариусом в Пензу, причем на требуемый “реверс” денег не было: помогли — мой дед Вышеславцев и друг отца и мамы — Петр Алексеевич Дураков (отец русского эмигрантского поэта Алексея Дуракова, убитого в бою с немцами во Вторую мировую войну в Югославии; мой друг

детства Лёша пошел добровольцем к югославским партизанам).

В Пензе у отца дела пошли хорошо. Отсюда постепенно начались и достатки: имение, о котором я упоминал; дом с нашей квартирой в девять больших высоченных и этим приятных комнат (таких теперь уж нигде не строят). В отцовской нотариальной конторе человек десять-двенадцать писцов (ах, как они каллиграфически писали!); в доме прислуги семь человек; во дворе конюшня на четыре стойла: для двух верховых (моей и брата), рысака и рабочей лошади; коровник для молочной голландки; курятник с множеством кур (рыжих кохинхинов и пестро-серых плимутроков); большой сеновал, где я устроил свою голубятню. Состоятельные пензяки в те времена жили как помещики.

В декабре 1913 года от сердечного припадка сорока шести лет внезапно умер отец. Жизнь семьи резко оборвалась. О смерти отца я говорю в “Коне рыжем”. Смерть отца была отмечена в самой распространенной тогда в России ежедневной газете, в московском “Русском слове”, как смерть видного общественного деятеля Пензы. Отец был гласный городской думы, председатель родительского комитета нашей гимназии, председатель Пушкинского общежития для детей сельских учителей, член правления “Общества взаимного кредита”, основатель первого в Пензе кооператива — “Потребительская лавка”, член правления драматического кружка, создавшего Летний театр (прекрасный, всегда с столичными гастролерами). Был отец даже членом Бегового общества (это была уже моя страсть, и я всегда увязывался с отцом на бега на Пензенский ипподром). По душе отец был широкий и отзывчивый. Вечно у него были какие-то стипендианты из неимущих студентов, которых кто-то рекомендовал и которых он иногда даже не видел. Кое-кто из неимущих учащихся у нас просто жили.

Политически отец был кадет, то есть член конституционно-демократической партии, и в 1905 году издавал в Пензе вместе со своим другом Николаем Федоровичем Езерским[{2}]ежедневную газету “Перестрой”. Н.Ф.Езерский был член I Государственной Думы и даже “выборжец”. Но когда мы встретились с ним в эмиграции, в Берлине, он был в черной рясе с крестом на груди. Н.Ф. стал православным священником, настоятелем русской церкви на Находштрассе в Берлине. Потом его перевели в Будапешт, где он и скончался до Второй мировой войны.

Я родился в 1896 году. Мой брат Сережа — за полтора года до меня. Его выкормила грудью мать, но когда в мире появился я, мать кормить грудью была не в состоянии, и мне наняли кормилицу — Марию Пронину, крестьянку села Бес-соновка,

недалеко от Пензы. Село это славилось луком, и бес-соновцы носили прозвище “лучников”, так же как все пензяки — “толстопятых”. Марья-лучница меня и выкормила, и я, вроде Владислава Ходасевича, могу сказать: “Не матерью — бессоновской крестьянкой Марией Прониной я выкормлен…” В семье у нас была фотография — Марья в полном уборе кормилицы, в кокошнике, в сарафане с высоко перетянутыми грудями, держит младенца в распашонке (меня). Свою “кормилку” я хорошо помню, ибо когда мне было уже лет десять-двенадцать, она часто приезжала из села к нам посмотреть на “своего Рому”. Смотрела. А я, мальчишка, стеснялся. Мне было странно себе представить, что вот эта статная, приятная баба выкормила меня своею грудью.

После учения дома я поступил в пензенскую Первую мужскую гимназию. В этой старинной гимназии, окруженной обширным старым парком, в свое время учились разные достопримечательности: террорист Дмитрий Каракозов, повешенный за покушение на Александра II; неистовый Виссарион Белинский; и, наконец, расстрелянный маршал Михаил Тухачевский. Он был на два класса старше меня. Я знал и его, и его старшего брата Александра, и сестру красавицу Надю. Об этом я говорю в своей книге “Тухачевский”.

Весной 1914 года я окончил гимназию и поступил в Московский университет на юридический факультет. В университете я на “весьма” сдавал все экзамены. Но юриспруденция как таковая меня не увлекала. Я чувствовал, что я совершенно не “юрист”. Я занимался главным образом в семинарах профессора (тогда приват-доцента) И.А. Ильина, будущего эмигранта, опубликовавшего за рубежом много книг; после Второй мировой войны скончавшегося в Швейцарии. Я слушал у него курс “Введение в философию” и второй — по “Общей методологии юридических наук”. Высокий, очень худой, красивый, но мефистофельский (хотя и блондин), И.А. был блестящим лектором и блестящим ученым. Его я тогда в Москве попросил указать мне книги для систематического занятия философией, ибо сам я сидел на скучнейших, толстенных томах “Истории новой философии” Куно Фишера. Хорошо помню, какой список первых книг дал мне И.А.: Апология Сократа, “Диалоги” Платона (“Парменид”)”, “Метафизика в Древней Греции” кн. С.Н.Трубецкого, “Пролегомены ко всякой будущей метафизике” И.Канта, какую-то книгу Гуссерля и какую-то работу З.Фрейда. Слушал я и лекции по “Философии права” профессора Б.П. Вышеславцева, тоже будущего эмигранта и автора многих книг, вышедших за рубежом, скончавшегося после Второй мировой

войны в Женеве. Слушал и “Государственное право” у профессора Н.Н.Алексеева, тоже будущего эмигранта, умершего после Второй мировой войны в Швейцарии. Слушал и профессора Байкова — “Энциклопедию права”. Банков тоже оказался эмигрантом, не знаю, где за границей он умер.

На семинарах И.А.Ильина в прениях иногда выступали оставленные при университете для подготовки к профессорской кафедре Н.Устрялов и Ю.Ключников (оба будущие эмигранты, в 20-х годах идеологи сменовеховства). Блестящего публициста и ученого Н. Устрялова чекисты удушили шнуром (под видом “грабителей”) в Сибирском экспрессе, когда по “милому” восточному приглашению Сталина Устрялов с Дальнего Востока ехал по Советской России. Ю.Ключников, в 20-х годах, вернувшись из эмиграции в РСФСР, умер при “невыясненных обстоятельствах”. Кажется, шнуром его все-таки не удушили.

В 1916 я перешел на третий курс, но летом студентов моего года рождения призвали в армию: в офицерские школы. И в августе 1916 года я приехал в Москву уже не в университет, а в Московскую третью школу прапорщиков. Эти три школы были открыты для мобилизованных студентов в казармах у Дорогомиловской заставы, на окраине Москвы. Срок обучения краткий — четыре месяца. Так что в ноябре 1916 года я, успешно окончив школу, получил офицерский чин — прапорщика. И так как кончил я портупей-юнкером, то мог выбирать “вакансии” в хорошие полки: предлагался, например, Московский гренадерский. Но я стремился толь-, ко в свою Пензу, где мать осталась одна, поэтому и уехал туда в 140-й пехотный запасный полк. Это — самая что ни на есть последняя инфантерия, самая последняя пехтура.

В Пензе в 1917 году меня застала революция. Об этом я рассказал в “Коне рыжем”. Весной 1917 года с маршевым батальоном я отправился на юго-западный фронт, где началось известное бесславное “наступление Керенского”. В моем послужном списке романтически стояло; “Участвовал в боях и походах против Австро-Венгрии”. Верно. Где только теперь эта Австро-Венгрия?

На фронте сначала я командовал второй ротой 457-го Кинбурнского полка 117-й дивизии. Потом был полевым адъютантом командира полка — бравого полковника Василия Лавровича Симановского. В.Л. был кадровый боевой офицер, по крови чистый украинец, с “белым крестиком”- в петлице — за храбрость. Большевизм (да и Керенского!) он ненавидел совершенно люто. Был я и товарищем председателя полкового комитета (от офицеров), где вместе с председателем (моим

другом, латышом прапорщиком Даниилом Дукатом, тоже студентом) мы пытались хоть как-то остановить обольшевиченье полка. Оставался я на фронте до полного его развала, пока Василий Лаврович мне не сказал: “Ну, Рома, езжайте-ка домой в вашу Пензу!”. И я уехал в Пензу в солдатской теплушке, переполненной озверелыми и одичавшими за войну, да еще пьяными, дезертирами. Об этом я говорю в “Коне рыжем”.

В конце 1917 года В.Л.Симановский (он был близок к генералу Л.Г.Корнилову) прислал ко мне в Пензу нарочного, зовя бросить все и пробираться на Дон к Корнилову. “Пойдем на Москву… наш полк будет охранять Учредительное собрание!”. Увы, ничего этого не случилось: ни Москвы, ни полка, ни Учредительного собрания.

В эти декабрьские дни 1917 года Россия была в разгаре своего “окаянства”. Из народных недр вырвалась ранее невидимая и незнаемая страсть всеразрушения, всеистребления и дикой ненависти к закону, порядку, праву, покою, обычаю. Точно по “Бесам” — “Все поехало с основ”. “Надо все переворотить и поставить вверх дном”, “надо развязать самые низкие, самые дурные страсти, чтоб ничто не сдерживало народ в его ненависти и жажде истребления и разрушения”. Все эти дикие бакунинские{3} бредни воплотились теперь в каждом дне русской жизни. Это был именно тот всенародный бунт, о котором Пушкин писал; “бессмысленный и беспощадный”. Мы в нем, в этом омерзительном бунте — жили. “Грабь награбленное!”, и в Пензе бессмысленно грабят все магазины на Московской улице. “Жги помещичьи усадьбы!”, “убивай буржуев!”, И жгут. И убивают всех, кто “подлежит уничтожению”. Ведь нет уже ни судов, ни судей, ни тюрем, ни полиции. “Все поехало с основ”, как хотели того Шигалев и Верховенский.

Все это было провидчески предсказано еще в 1830 году в гениальном стихотворении М.Ю.Лермонтова

Предсказание
Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет,
Забудет чернь к ним прежнюю любовь;
И пища многих будет смерть и кровь;

Когда детей, невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,

Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек…
В тот день явится мощный человек,

И ты его узнаешь — и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож.
И горе для тебя! Твой плачь, твой стон
Ему тогда покажется смешон…

Что в России “все поедет с основ”, еще раньше Лермонтова предсказал глубокий и проницательный француз, замечательный Жозеф де Местр. В 1811 году он писал о России; “Если какой-нибудь Пугачев, вышедший из университета, станет во главе партии; если народ окажется поколебленным и вместо азиатских походов примется за революцию на европейский лад, то я прямо не нахожу выражения для того, чтобы высказать свои опасения <…> Войны, ужасные войны! <…> И я вижу Неву, обильно пенящуюся кровью”.

А через полвека (в 1863 году) другой известный француз, историк Жюль Мишле писал о будущем России не менее пессимистически; “Россия в самой своей природе, в подлинной сути своей есть — сама ложь”. И далее Мишле пишет с отвращением (но, надо признать, провиденциально!): “Одно слово объясняет все, и в нем содержится вся Россия. Русская жизнь — это коммунизм”. Беспокоились на эту тему и русские писатели (Достоевский, Лесков и др.). Даже И.Тургенев писал: “Да, наш народ спит <…> Но мне сдается, если что его разбудит — это будет не то, что мы думаем” (И.Тургенев. “Новь”, 1876).

В Пензе на вокзальной площади какого-то проезжавшего через Пензу капитана самосудом убили за то, что он не снял еще погоны. И разнаготив убитого, с гиком и хохотом волокут большое белое тело по снегу Московской улицы — то вверх, то вниз. А какой-то пьяный остервенелый солдат орет: “Теперь наша власть! Народная!” Нотариуса Грушецкого сожгли в его имении живым, не позволили выбежать из горящего дома. Помещика Керенского уезда Скрипкина убили в его усадьбе и затолкали его голый труп “для потехи” в бочку с кислой капустой. И все это с хохотом — “теперь наша власть! Народная!”.

В ненависти и страсти истребления убивали не только людей, но и животных (не “народных”, не “пролетарских”). В знакомом имении на конском заводе железными ломами перебили хребты рысакам, потому что — “господские”, У нас при разгроме имения какой-то “революционный мужичок” при дележе добра получил

нашу рысистую кобылу Волгу и, впрягши ее в соху, стал злобно нахлестывать: пусть сдохнет, барская… “Рысаки господам нужны. А господов нонче нет”. В другом имении жеребцу-производителю вырезали язык, а Иван Бунин в “Окаянных днях”[1] рассказал, как в имении близ Ельца мужики и бабы (“революционный народ”) ощипали все перья у павлинов и пустили окровавленных птиц “голыми”. Зачем? Да затем, что — *“.теперь* павлины же не нужны, *теперь* же все трудовое, а не барское”. Митинговые большевицкие пропагаторы до хрипоты орут именно это — *“теперь”*. И это действовало мистически. *“Теперь* все по-другому”, *“теперь* власть народная, *теперь* всем свобода!”, *“теперь* нет тюрем!”, *“теперь* нет полицейских, стражников, урядников”, *“теперь* все наше, народное!”. И я видел воочию, как в это *теперь* народ сдуру, сослепу верит.

Для того, что понять, что такое русский *народный большевизм,* надо читать “Историю Пугачевского бунта” А.С.Пушкина. Он дает *его душу*. Например: “Пугачев<…> на Волге встретил астронома Ловица и спросил, что он за человек. Услыша, что Ловиц наблюдал течение светил небесных, он велел его повесить *поближе к звездам…”* Вот именно этот народный большевизм и бушевал в 1917–1918 годах до тех пор, пока его не оседлал Ленин с своей “интернациональной” бандой. Тогда начался иной большевизм — “интернациональный”, с большим количеством инородцев “на верхах”: латышей, евреев, поляков, грузин, армян, далее венгров.

Расскажу еще об одном диком и бессмысленном убийстве. В соседнем с нами именьи при селе Евлашеве убили старуху-помещицу Марию Владимировну Лукину. Боясь за нее, друзья уговаривали бросить деревню, переехать в город. Но упрямая старуха на все отвечала: “В Евлашеве родилась, в Евлашеве и умру”. И действительно умерла в Евлашеве.

Ее убийство было проведено по всем правилам “революционной демократии”. Евлашевские мужики обсуждали это мокрое дело на сходе. Выступать мог свободно каждый. На убийство мутил фронтовик-дезертир, хулиган-большевик Будкин. Но были крестьяне и против убийства. И когда большинство, подогретое Будкиным, проголосовало убить старуху, несогласные потребовали от общества приговор, что они в этом деле не участники. Сход вынес “резолюцию”: старуху убить, а несогласным выдать приговор.

И сразу же со схода, с кольями в руках, толпа повалила на усадьбу Лукиной: убивать старуху, а заодно и ее дочь, которую все село знало с детства и полу ласково-полунасмешливо называло “цыпочкой”, М.В. Лукину кто-то из крестьян

предупредил: идут убивать. Но старуха не успела добежать даже до сарая. “Революционный народ” кольями убил ее на дворе. С “цыпочкой” же произошло чудо. Окровавленная, она очнулась на рассвете у каретника, когда ей облизывал лицо их ирландский сеттер. В сопровождении сеттера она и доползла до недалекого хутора Сбитневых, а они отвезли ее в Саранскую больницу.

Подчеркиваю, что вовсе не все крестьянство *поголовно* было охвачено окаянством убийств, грабежей, поджогов. Было и несогласное меньшинство, но его захлестывал большевицкий охлос дезертиров, хлынувший в деревню с фронта.

Помню, к нам пришла “цыпочка” Наталья Владимировна Лукина. Голова забинтована, с трудом поворачивает шею. Рассказывая об убийстве матери, плакала и чему-то жалобно-страдальчески улыбалась. И как это ни странно, ни противоестественно, к убийцам ее матери и недобившим ее мужикам она злобы не чувствовала.

— Ну звери, просто звери… А вот когда узнали, что я не убита, что я в больнице, ко мне из Евлашева стали приходить бабы, жалели меня, плакали, приносили яйца, творог…

Да это же они испугались, что отвечать придется! Нет, что вы, перед кем же им теперь отвечать? Власти же нет. Нет, это правда, они жалели меня… — И “цыпочка” плачет, поникая забинтованной головой. В ее душевном со стоянии, я думаю, было что-то и христианское, но и какая-то неприятная мне покорность захватившему все злу.

Хочу подчеркнуть один факт русской революции, о котором никто никогда не писал: как приняли русские богатые и состоятельные люди (по-марксистски — “имущие классы”, “буржуазия”, “эксплуататоры”, “капиталисты”) потерю своего имущества. В большевицкой литературе рассказывается и о “сопротивлении буржуазии”, и о “заговорах буржуазии”, и о том, как “доблестные большевики” сломили наконец злостную буржуазию. Все это чистое вранье. Русская, если хотите, “буржуазия” теряла свое имущество в одиночку (не пытаясь “организоваться”), безропотно, без сопротивления. Правда, в февральскую революцию существовал какой-то “Союз землевладельцев”, но больше на бумаге. Вся его деятельность была в том, что подавались революционному министру земледелия “докладные записки” о бесчинствах, разгромах, поджогах. Причем министр в своей революционной занятости, наверное, и не отвечал на эти сообщения, не до того было. К октябрю же “Союз” растаял.

Русские вообще легко теряют материальные ценности. Я думаю, много легче, чем люди Запада. Помню, как председатель

Пензенской земской управы, молодой образованный помещик Ермолов (родственник знаменитого генерала Ермолова) на большом митинге, когда большевики и меньшевики стали с мест перебивать его речь демагогическими криками: “Ну, а как же с вашей землей?!”, — ответил презрительно: “С моей землей? Знайте, господа, что не унижусь участвовать в общей давке, подбирая падающие яблоки. Была земля, теперь не будет — только и всего”.

И те же злорадные выкрики были на одном из петроградских митингов, когда выступал председатель Государственной Думы М.В.Родзянко. “А вы нам лучше скажите, как вот с вашей землицей-то?!” — “Как Учредительное собрание решит, так и будет”, — ответил Родзянко. Как все здравомыслящие люди, он прекрасно понимал, что в России все помещичьи, казенные и удельные земли перейдут к крестьянству. И никакого “сопротивления” у имущих это не вызывало.

Помню, в Пензе в эти окаянные дни я встретил Ольгу Львовну Азаревич (по первому мужу кн. Друцкую-Сокольнинскую, урожденную кн. Голицыну). Она потеряла все, случайно не осталось даже денег в банке. А терять было что: имение Муратовка в три тысячи десятин, винокуренный завод, овцеводство, множество лошадей, коров, всякого добра в доме. Все расхищено, разграблено. Лишь кое-какие ценные картины успела передать в музей Пензенского художественного училища, чтобы не погибли. Но в отчаяние от всего этого О.Л. не пришла. “Ну что ж, — сказала она, — Бог дал, Бог и взял”. Я не думаю, чтобы Господь Бог мог когда-нибудь заниматься раздачей латифундий и уж особенно отобранием их руками остервенелых, одичалых, пьяных солдат. Но такая несвязанность благами земли, по-моему, прекрасна. И это очень русское чувство, я наблюдал его у многих имущих. Русские нетвердо прикреплены к земле. “Я знаю, я знаю, / Что прелесть земная, / Что эта резная прелестная чаша / Не более наша, / Чем воздух, чем звезды…”, — писала Марина Цветаева.

В эмиграции, в Ницце, Ольга Львовна держала крохотную столовую для русских же эмигрантов. День-деньской работала, ходила на базар, готовила обеды, ужины для столовой. В Ницце и скончалась в преклонном возрасте. У Марины Цветаевой есть чудесные строки, посвященные А.А.Стаховичу:

Хоть сто мозолей — трех веков не скроешь!
Рук не исправишь — топором рубя!
О, откровеннейшее из сокровищ
Порода! — узнаю тебя!
Как ни коптись над ржавой сковородкой

Все вкруг тебя твоих Версалей тишь.
Нет, самою косой косовороткой
Ты шеи не укоротишь…

Никогда от Ольги Львовны никто не слыхал какой-то жалобы, каких-то ламентаций о былом “сребре и злате”, хотя его было избыточно. Но в ее жизни, как и у многих других, было и нечто иное, что всегда много дороже “злата” и “сребра”.

Подпольщики-большевики, в октябрьские дни захватившие власть над Россией, в большинстве своем носили псевдонимы: Ульянов-Ленин, Бронштейн-Троцкий, Джугашвили-Сталин, Радомысльский-Зиновьев, Скрябин-Молотов, Суд-рабс-Лацис, Баллах-Литвинов, Оболенский-Осинский, Гольд-штейн-Володарский и т. д. По-моему, в этом есть что-то не случайное и страшное. Тут дело не только в конспирации при “царизме”. Псевдонимы прикрывали *полулюдей.* Все эти заговорщики-захватчики были *природно* лишены естественных, полных человеческих чувств. О полноте чувства жизни хорошо у Пастернака говорит Живаго: “Человек рождается *жить,* а не готовиться к жизни. И сама жизнь, явление жизни, дар жизни так захватывающе нешуточны…”. Жизни псевдонимов были вовсе не жизнью людей. Их жизнью была исключительно — *партия.* В партии интриги, склока, борьба, но главное — власть, власть, власть, власть над людьми. Ктопрочтет книги бывшего большевика Н. Валентинова “Встречи с Лениным” и “Малознакомый Ленин” или книгу дочери Сталина Светланы Аллилуевой “Только один год”, увидит разительное сходство октябрьских “псевдонимов” с “Бесами”. Для меня эти “псевдонимы”, эти вульгарные материалисты были получудовищами.

Хорошо сказал о деле псевдонимов — о так называемом “коммунизме” — А.И.Солженицын в речи в Америке: “Дело в том, что суть коммунизма — совершенно за пределами человеческого понимания”. И еще лучше пояснил это И.Шафаревич: “Социализмом движет инстинкт смерти”. Но вся эта правда была сказана двумя замечательными людьми через шестьдесят лет после начала дела псевдонимов. В декабрьские же дни 1917 года эта “смерть” неосознанно ощущалась мной в странной и страшной тревоге — псевдонимы несли и физическую смерть множеству людей, и духовную смерть исторической России. “А на Россию, господа хорошие, нам наплевать!”, — сказал псевдоним № 1 Ленин, и всем подручным ему псевдонимам на Россию было действительно “наплевать”. Многие из них к России кроме ненависти ничего и не питали.

Российская мужицкая вольница, разлившаяся по стране после

Октября, в сути своей была не только псевдонимам чужда, но и смертельно опасна. Псевдонимы это прекрасно понимали, они боялись мужика. Это был их “потенциальный враг”. И это вполне по Марксу, *ненавидевшему всякую деревню*. Много чернил извели Маркс и Энгельс на писания об “исконном идиотизме деревни”. Русская мужицкая вольница 1917 года была, конечно, стихией врага Маркса — Бакунина. Петр Струве говорил, что большевизм — это смесь западных ядов с истинно русской сивухой. Да. Псевдонимы были западным ядом, а бакунинское мужицкое буйство — истинно русской сивухой. Захватившие власть псевдонимы, демагогически подогревая мужицкое погромное буйство, ненависть к имущим, ненависть к государственности, ненависть к церкви, ненависть к прошлому, — потихоньку плели и для мужика бесовскую марксистскую удавку, свою мертвую петлю.

Предвестник Ленина Петр Никитич Ткачев (под конец своей короткой жизни — сумасшедший) в свое время писал: “Захват власти — это только прелюдия революции<…> Насильственным переворотом не оканчивается дело революционера. Захватив власть, они должны уметь удержать ее и воспользоваться ею для осуществления своих идеалов”{4}. Того же мнения был и Маркс. И Ленин при помощи своих псевдонимов террором, тюрьмами и концлагерями, которые он создал на пятнадцать лет раньше Гитлера, осуществил “свои идеалы”. Мужика сначала укрощали комбедами, заградотрядами, продотрядами. И наконец Сталин в “раскулачивании” просто убил пятнадцать “миллиончиков” крестьян, как пишет А.И.Солженицын в “Архипелаге ГУЛАГ”{5}. Пятнадцать миллионов жизней (мужчин, женщин, детей) — это примерно пять Норвегии (если поголовно вырезать!), или три Швейцарии, или пять Израилей. И что же? Чем ответил на это массовое убийство культурный Запад? В левых и социалистических органах статьями о том, что коллективизация может быть “интересным социальным и экономическим экспериментом”! Пятнадцать миллионов убитых вызвали — “научный интерес”. Когда люди это писали, они не понимали, что подписывают себе самим смертный приговор.

О психике Ленина интересные сведения приводит Н.Валентинов в книге “Встречи с Лениным”. Он рассказывает, что близкий к Ленину в течение лет, известный большевик и писатель А.А.Богданов, по профессии врач-психиатр, в 1927 году говорил Валентинову; “Наблюдая в течение лет некоторые реакции Ленина, я, как врач, пришел к убеждению, что у Ленина бывают иногда психические реакции с явными признаками ненормальности”.

Тогда, в декабрьские дни 1917 года, во мне жили два чувства: дневное и ночное. Дневное говорило: единственный путь — ехать на Дон и оттуда силой, железом подавлять всеобщий развал и бунт, дабы ввести страну в берега законности, правопорядка и отстоять идею Учредительного собрания. Но ночью меня охватывала жутко-пронизывающее чувство. Казалось, что Россия летит в пропасть и дна у этой пропасти нет и никогда не будет, что страна гибнет навсегда, навеки, Признаюсь, и теперь, через шестьдесят лет, ко мне то и дело возвращается это ночное чувство. Кажется, что стремительный лёт России в бездонную пропасть не кончился и через шестьдесят лет, что Россия все еще куда-то летит и летит, не достигая дна. А до дна дойдет только во всеобщем космическом атомном катаклизме, когда и она и другие страны превратятся в отравленные полупустыни с миллионами трупов. Вот тогда ленинская “авантюра во всемирном масштабе” закончится. Дно будет наконец-то достигнуто.

Итак, в сочельник 1917 года я и брат (скончавшийся в 1945 году во Франции) решили ехать к Корнилову на Дон на вооруженную борьбу с большевизмом. Нас было шестеро “толстопятых” пензяков: Борис Иванов (нынче в Америке, в Детройте), Н.Покровский (отбыл советский концлагерь, умер в Болгарии), Эраст Вашенко (убит в “ледяном походе”, на Кубани) и Дм. Ягодин (мой однополчанин и друг, прапорщик из бывших семинаристов).

До Новочеркасска добрались с подложными документами. Через день-два пошли записываться в бюро Добровольческой армии. Представились заведующему — гвардии полковнику Хованскому. Вылощенный, пшютоватый петербуржец, “аристократически” растягивая слова, сказал нам: “Поступая в *нашу* (это он подчеркнул) армию, вы должны прежде всего помнить, что это не какая-нибудь рабоче-крестьянская армия, а офицерская!”. Прием Хованским меня поразил. “Неужели, — думал я, — он не хочет, чтобы это была *народная* армия, а хочет только офицерскую?” На Дмитрия Ягодина прием произвел такое впечатление, что на другой же день он решил ехать назад в Пензу. Он долго уговаривал и меня. “Разве ты не видишь, — говорил он, — что такая “офицерская” армия победить никогда не сможет?”. В глубине души я чувствовал, что Дмитрий прав. Но психологически я для себя “отрезал все концы”. И я остался. Не одни же Хованские в армии, думал я— мы приехали к казаку Корнилову.

От Ягодина в эмиграции в двадцатых годах в Берлине я получил с оказией письмо из Пензы. Он писал: “Я заделался

нэпманом", он хорошо жил, женился на Софии Карповой (Карповы до революции — богатые пензенские купцы). Больше писем я не получал. А позже узнал, что Ягодин при ликвидации нэпа попал в концлагерь, где и погиб. А когда в 1960-х годах его двоюродный брат Быстров, ставший американцем, ездил из Сан-Франциско в СССР и побывал в Пензе, то, вернувшись, мне писал: "Пензу нашу ты бы не узнал. Ее просто нет. Кого мы знали, никого нет. Одни могилы, могилы и могилы".

В "ледяном походе" я участвовал как рядовой боец Корниловского офицерского ударного полка. На Кубани под станицей Кореновской в атаке на красный бронепоезд (мы шли на него с одними винтовками) был ранен в левое бедро пулеметной пулей с этого бронепоезда. Попади красная пуля на полвершка правее — перебила бы кость, и меня бы оставили умирать на чужом, темневшем вечернем поле: таких раненых не подбирали. Тыла у нас не было. Лазаретов не было. И меня, наверное, добили бы красные. Но пуля, к счастью, не перебила кости, и меня взяли в обоз с ранеными. В обозе раненых я и доделал "ледяной поход". Брат Сережа был ранен тоже сравнительно удачно; под Усть-Лабинской пуля раздробила ему ступню. И он тоже попал в обоз-лазарет.

Когда мы вернулись из похода в отбитый казаками у большевиков Новочеркасск, нас вскоре здесь в лазарете разыскала мать. Все бросив в Пензе, с большим риском для жизни она пробралась из Пензы до Волги, потом по Волге и по Северному Кавказу на Дон, искать нас. И нашла.

Как добровольно я вступил в Добрармию, так же добровольно и ушел. Я не мог оставаться — и политически и душевно. Политически потому, что всем существом чувствовал: — *такая "офицерская"* армия победить не может. Несмотря на доблесть и героизм ее бойцов, поражение ее неминуемо. И вовсе не потому, что "псевдонимы" сильнее (они слабее), а потому, что народ *не с ней.* К белым народ не хотел идти: господа. Здесь сказался один из самых больших грехов старой России: ее сословность. И связанный с ней страшный разрыв между интеллигенцией и народом ("пропасть между культурой и природой", по слову А.Блока). Если бы вместо генерала Антона Деникина во главе армии стал бы тамбовский сельский учитель Антонов с мужицким лозунгом "земля и воля", тогда бы дело было иное. Но в 1918 году до взрыва крестьянских восстаний (тамбовского, Кронштадта и др.) было далеко. Крестьяне еще пребывали в бакунинском дурмане революции. И царскому генералу Антону Деникину, а уж тем паче гвардии полковнику Хованскому, мужик не верил. В этом была беда и мужика, и всей России.

Другая причина моего ухода из Добрармии была душевно-личная. Если бы я работал в каком-нибудь штабе или в Осваге, у меня не было бы предметного опыта гражданской войны. Но я был простым бойцом с винтовкой в руках: поэтому опыт имелся. Я узнал до конца, что значат слова: *гражданская война.* Это значило, что я должен убивать неких неизвестных мне, но тоже русских людей: в большинстве крестьян, рабочих. И я почувствовал, что *убить русского человека мне трудно.* Не могу. Да и за что? У меня же с ним нет никаких “счетов”. За что же я буду вразумлять его пулями?

Такого чувства на Юго-Западном фронте, в войне против Австро-Венгрии, у меня, естественно, не было. Там я воспринимал войну, как некий национальный рок — может быть, как Божий урок. Тут — другое. Тут должна была быть проявлена *моя воля.* Причем я вовсе не вегетарианец, Я сторонник смертной казни за уголовные преступления: за убийства. Я сочувствую выстрелам в Кремле, у Боровицких ворот по лимузинам тиранов. Убийство Л. Канегиссером грязно-кровавого чекиста Урицкого я вполне понимал, так же как убийство рабочим Сергеевым бывшего нью-йоркского портного В.Володарского, ставшего вельможей-террористом большевицкого Петрограда. И убийства Войкова Борисом Ковердой и Воровского Конради я вполне понимал. Покушению Фанни Каплан на “гениальную гориллу” — Ленина я всем сердцем сочувствовал и жалею, что она его не убила, чем спасла бы не только Россию, но все человечество. Как мог спасти Германию граф Штауфенберг убийством Гитлера. Все эти русские выстрелы не были похожи на выстрелы какого-то полубезумного немецкого террориста Баадера. Нет, русские выстрелы были не террором, а *сопротивлением террору псевдонимов.* Это были тираноубийственные выстрелы.

Расстрелы же добровольцами крестьян в селе Лежанка мне были непереносимы, из-за них все во мне восставало, и я в них не участвовал, ибо политически считал самоубийственными, а душевно во мне невмещаемыми. Не за свое же “имение” я буду кого-то там расстреливать? Я не последователь “классовой борьбы”, этой “школы озверенья”, по слову Н.К.Михайловского. “Бог дал, Бог и взял”.

Я, брат и мать решили из Новочеркасска ехать в Киев к тете Лене Бысочанской, сестре отца, а там — что будет. И в октябре 1918 года наш поезд переехал границу Всевеликого Войска Донского и тихо пошел по Украине. Украина тогда была некой восставшей не то Мексикой, не то Македонией. Большие города и железнодорожные узлы заняты немцами. А по селам и весям шарят и шалят банды атаманов. Откуда-то с Запада идет

Петлюра. А с севера вот-вот навалятся большевики. В эмиграции, в Берлине, в 20-х годах Алексей Толстой мне показывал фотографию, которой он очень дорожил: сфотографирован каким-то уездным фотографом ражий детина, довольно обезьянообразный, с головы до ног увешанный арсеналом оружия. Детина сидит “развалемшись” в глубоком кресле на фоне дешевых декораций, а рядом — круглый стол, на котором — отрубленная человечья голова. И детина дико-напряженно уставился в объектив фотографического аппарата. Это — атаман Ангел. Толстой над этой фотографией дико хохотал, просто ржал. Я никак не мог разделить его веселья, но это была сфотографирована действительная Украина 1918 года.

В Киеве в ноябре 1918 года меня и брата, как офицеров, призвал в войска гетман Скоропадский, весьма не блестящая фигура гражданской войны. Мы должны были защищать Киев от наступающего Петлюры. Защита была беспомощна и трагична, ибо в Киеве царило полное разложение всех и вся, и в этом развале некоторые наши “начальники” просто смылись. А под Киевом бессмысленно гибла брошенная туда военная молодежь, такие же, как я и брат.

Я и брат уцелели. Но попали к петлюровцам в плен, и нас (около трех тысяч человек), обезоружив, заключили под стражу в Педагогический музей на Владимирской. Арестованные заняли в музее все залы, комнаты, проходы, лестницы. Весь этот позорный и омерзительный эпизод киевской гражданской войны я давно описал и потому его не касаюсь.

Скажу главное: живы мы остались исключительно благодаря немцам. Они ввели в Педагогический музей свой караул под командой решительного лейтенанта. И немцы стали рядом с петлюровцами в папахах с нашитыми желто-блакитными кусками материи. Этот решительный лейтенант и предупредил резню нас, когда в настежь распахнутые двери музея, с красными бантами на папахах, на шинелях, даже на винтовках, ворвалась какая-то солдатская банда. Впереди с маузером в вытянутой руке, с выбившимися лохмами волос из-под папахи, весь ограниченный и совершенно озверелый, какой-то унтер. За ним, щелкая затворами винтовок, — толпа солдатни: типичная обольшевиченная банда. Было ясно, что въехавший на белом коне в “побежденный” Киев Симон Петлюра и уж не знаю на чем въехавший Владимир Кириллович Винниченко (автор нашумевшей в свое время на всю Россию пьесы “Черная пантера”) будут скоро своими же украинскими большевиками плюс московскими раздавлены. Конечно, перестрелять нас хотел не Петлюра, он сам был во власти охлоса. Из-за этого и погиб. В 20-х годах он бежал с

обольшевиченной Украины и стал эмигрантом в Париже, а в 1926 году на бульваре Сан-Мишель его в упор застрелил еврей Шварцбарт, мстя за еврейские погромы, чинившиеся тем же охлосом, который ворвался и в музей перестрелять и переколоть — “гетьманпев”. То есть — нас.

Но немецкий лейтенант с криками “хальт!” бросился тогда наперерез им. За ним — баварцы-солдаты с винтовками наизготовку. И этим предупрежден наш массовый расстрел в музее.

Я и брат лежим на полу в громадном зале № 8. Все тут лежат вплотную друг к дружке, как огурцы. Ходить можно только перешагивая через тела. Но если резня не удалась, то вскоре ночью музей задрожал и затрясся от взрыва адской машины, брошенной в вестибюль. Все окна вышиблены, а стеклянный купол в большой аудитории рухнул на спящих, ранив больше двухсот человек. Их куда-то увезли.

В эти дни от пришедшей на свиданье матери (у музея весь день — толпа матерей, жен, сестер, невест: свиданье давали на пять минут в вестибюле) я узнал, что в Керенске чекисты убили дядю Мишу (ее младшего брата). За покушение Фанни Каплан в Москве на Ленина псевдонимы мстили расстрелами по всей России ни в чем неповинных людей, Это — “устрашающий” террор, по слову Троцкого-Бронштейна. “Гимном рабочего класса отныне будет гимн ненависти и мести”, — писала “Правда” пером псевдонима Сосновского. “В памяти не сохранились имена многих уведенных на расстрел из камеры в эти "ленинские дни", но душераздирающие картины врезались и вряд ли забудутся до конца дней”, — писал заключенный тогда в Бутырки историк С.П.Мельгунов.

В уездном Керенске убили восемь человек: дядю, М.С. Вышеславцева, как образованного юриста, бывшего председателя земской управы и потому ставшего комиссаром Временного правительства, бывшего предводителя дворянства Волженского, мелкого помещика Александровского, богатого купца Балкашина (четырех других не помню). Убили подло, погнали пешком на станцию Пачелма (57 верст!) будто бы везти “на суд в Пензу” и у урочища Побитое перебили штыками и прикладами. С дядей Мишей я и брат были большие друзья. Помню свое чувство при вести о его убийстве. Со дна души поднялась такая ненависть к этим зверям, что словно вижу, как въехал бы с отрядом в Керенск, разыскал бы убийц и сам перестрелял на месте, как бешеных собак.

В музее случайно узнал и о гибели моего командира полка Василия Лавровича Симановского. Его самосудом растоптала на

улице родных Кобеляк банда какого-то атамана. За что? За то, что был полковник царской армии. Вот все его преступление.

Я лежу на полу зала № 8 и чувствую, как я чудовищно устал от всей этой всероссийской “кровавой колошматины и человекоубоины”. Я скажу сейчас очень непопулярные вещи. Но непопулярности не боюсь. В те дни я возненавидел *всю Россию,* от кремлевских псевдонимов до холуев-солдат, весь народ, допустивший в стране всю эту кровавую мерзость. Я чувствовал всем существом, что в такой России *у меня места нет.* Хорошо бы вырваться из этого кровавого человеческого месива в какую-нибудь беззвучную тишину, в тихие поля, в тихие леса, а еще лучше попасть бы как-нибудь на Афон и стать там монахом, думаю я. Но знаю твердо, что никуда я не вырвусь, и если не убили сейчас петлюровцы, то наверняка убьют напирающие на Киев большевики, везя уж готовую ЧеКу, оглавленную Лацисом и Португейсом.

В музее — мороз; окна ведь выбиты взрывом адской машины. Теперь нас всего человек 500. Все другие освободились по связям, а больше за деньги. Остались безденежные и “бессвязные”. И судьбы своей мы не знаем.

Но вот внезапно пришла и наша судьба. 30 декабря 1918 года в зал № 8 вошел сам командир Осадного корпуса полковник Е.Коновалец с комендантом музея. Коновалец невысокий, худой, невзрачный. Сделали перекличку, и комендант объявил, что сегодня ночью нас — полуголых, полуголодных, вшивых — под конвоем вывозят… в Германию. В эту невероятность нельзя поверить. Но — да, ночью вывозят — под немецким и украинским конвоем. Позднее я узнал от сопровождавшего нас лейтенанта, что нашей судьбой обеспокоился какой-то видный немецкий генерал и настоял перед Украинской директорией на нашем вывозе в Германию. Он, конечно, спас души наши! И я жалею, что запамятовал его фамилию. Помню только — “фон” и что-то вроде Вестфален (но не Вестфален, конечно!).

Темные, скотские вагоны нашего поезда, где мы вповалку лежим на соломе, медленно ползут по Украине под беспрерывные то пулеметные очереди, то одиночные винтовочные выстрелы. У двух станций — Казатин и Голубы (граница тогдашней Украины) на поезд пытались напасть какие-то банды. Но Бог миловал. Лейтенант был человек решительный, и мы пересекли у Голуб границу Украины.

А 3 января 1919 года пересекли и границу Германии. Поезд стал у первой немецкой станции — Просткен. Двери вагонов откатили. Солнце. Голубое небо. Ветерок. Легонькие облака. Совершеннейшая тишина. Ни одного выстрела. И первое

ощущение: “какое отдохновение!”. Этим с 3 января 1919 года и началась моя — эмиграция.

Как я начал писать

Это было в 19 и 20 годах. Жили мы в лагере Гельмштедт, провинция Брауншвейг. Жили с братом Сергеем, обоих нас вывезли из киевского Педагогического музея. До Гельмштедта прошли через лагеря — Дёбериц, Альтенау, Клаусталь, Нейштадт. Три последних в живописнейшей местности Германии — в Гарце. В мировую войну тут сидели военнопленные офицеры: русские, англичане, французы.

В Альтенау лагерь военнопленных был — просторная вилла на опушке леса, обнесенная проволочным забором. У входа, у калитки — караульный; всегда запирает ее на ключ, Но все это лишь "по инерции войны". Комендант лагеря свободно выпускал нас — куда хотим. Я, брат, Думский, Апошнянский отправились, например, в путешествие на вершину Гарца — на знаменитую гору Брокен, где, как известно, на шабаше ведьм побывали Фауст с Мефистофелем. И куда по горной тропе поднимался сам Вольфганг Гёте, после чего эта тропа так и называется "тропа Гёте". А на "Ратхаузе" в Альтенау прибита мемориальная доска: "Здесь в 1777 году останавливался поэт Вольфганг Гёте во время путешествия по Гарцу".

Мы шли по горам, заросшим мачтовыми соснами. С обрыва Вольфсварте был виден клубящийся, дымный Брокен. Поднялись на вершину, но Брокен — в сравнении с горами Северного Кавказа — Бештау например, — не впечатляющ. На вершине Брокена — большой ресторан, за баром хозяин — толстый-претолстыq. Кроме жидкого пива военного времени в ресторане ничего нет. И никакого следа ведьм, чертей, Фауста с Мефистофелем. Впрочем, черти и ведьмы появляются тут раз в году — в Вальпургиеву ночь — 1 мая, в день святого Вальпургия. Отдохнув, уже затемно мы стали спускаться по той же "тропе Гёте", Была ночь. Была темь. Где-то в горах кричал филин. Через несколько часов мы пришли в Альтенау.

Per peges apostolorum (апостольским хождением) путешествовали мы и в Южный Гарц, в Нейштадт, куда с последним эшелоном из Киева попал мой Друг, однополчанин по мировой войне, по юго-западному фронту, Кирилл Ивановский. В этом путешествии перевалили через горную цепь "Ауф дем Аккер", в старом гастгофе в деревеньке Рифенсбек пили желудевое кофе, заедая своими галетами из пакетов, которыми снабжала нас Антанта из оставшихся запасов для военнопленных.

В Нейштадте лагерь — в большой гостинице. Встретившись в вестибюле с Ивановским, я увидал какие-то выстроенные рядами

длинные палки.

Кирилл, что это за бамбуки? — спросил я. Это кавалерия, улыбаясь, — ответил Ивановский. Кавалерия?!Это по приказу генерала Квицинского для кавалеристов. Так это лошади? — засмеялся я в восхищении. Нет, это пики.

Когда же я с Ивановским заговорил, что в гражданской войне больше участвовать не буду, что в ней для себя места не нашел и искать не хочу, Ивановский не то что не понимал этого, а просто не хотел об этом думать. Ему все уже было все равно. Это был не тот, остряк хохотун, весельчак Ивановский, любимец полка, это был потерявший всякое душевное равновесие, разбитый войнами человек.

Если ты не поедешь, что ж ты будешь здесь в Германии делать? — неохотно говорил он, — тебя ж лишат лагерного довольствия? Да я только и хочу уйти из лагеря, уйду к немцам, буду работать. То есть как работать? Да как угодно, батраком, в деревне, рабочим в городе, на любую работу.

— Ах, это все твоя романтика, — затягиваясь папиросой, Цедил Ивановский, — я хоть тоже теперь ни в какую белую армию не верю, а черт с ними, поеду куда ни повезут.

Так мы и расстались. Ивановский попал на новый фронт русской гражданской войны, в Архангельск, где покорявший север России Ленину полусумасшедший коммунист Кедров, после пораженья белых, грузил пленных на баржи и расстреливал из пулеметов.

Хорошо, что судьба — обернувшись Сталиным — жестоко отмстила Кедрову. На XX съезде партии Хрущев рассказал, как Лаврентий Берия арестовал, пытал и убил Кедрова как “низкого изменника Родине” (с нашей точки зрения Кедров, конечно, им и был. — Р.Г.). Из тюрьмы на Лубянке Кедров писал в ЦК умоляющие письма: “Мои мучения дошли до предела. Мое здоровье сломано. Беспредельная боль и горечь переполняют мое сердце”. Но, поссорившись, гангстеры друг к другу беспощадны. И Берия пустил Кедрову пулю в затылок. Туда ему была и дорога!

Не менее страшно, чем Ивановский, погиб и другой мой друг, одаренный рыжий Борис Апошнянский, лингвист и востоковед. Он ходил по лагерю Клаусталь с вечно дымящейся трубкой, профессорски рассеянный, грязный и, совершенно не имея музыкального слуха, всегда напевал на мотив вальса “На сопках Маньчжурии” две строки собственного сочинения; “Дорога идет цум Кригсгефангененлагер”. К войне он был неприспособлен, политикой не интересовался, даже газет не читал, а поехал из Германии опять в русскую гражданскую войну только потому, что везли через Англию, а он говорил: “Сам не знаю почему, но с

детства мечтаю взглянуть на Англию". И после того, как он "взглянул на Англию", взбунтовавшиеся солдаты армии Юденича в паническом отступлении от Петрограда подняли его в числе других офицеров на штыки; а он хотел жить и любил жизнь.

Наш и нежданный и недобровольный эшелон из Киева был первым. После него в Германию прибыли четыре эшелона офицеров и нижних чинов, уехавших по желанию. Всего скопилось несколько тысяч. Из лагерей в Гарце всех — через Англию — стали отправлять на фронты гражданской войны: к генералу Деникину — на юг, к генералу Миллеру — на север и в северо-западную армию генерала Юденича. Ведала этим Русская военная миссия в Берлине во главе с генералом Генерального штаба Монкевицем.

Ехать в гражданскую войну я отказался, заявив об этом русскому лагерному начальству в Клаустале — гвардии-полковнику Клюкки фон Клюгенау (он был вроде Хованского). Меня поддержал брат, четыре офицера: Шумский, Строганов, Татунько, Луковенко и вольнопер Мороз. Остальные, по-моему, ехали, как Ивановский, по инерции, подчиняясь року, на смерть. Отказ мой был воспринят и удивленно и с начальственным негодованием. Но ни поколебать меня, ни насильно отправить было нельзя ("угрозы" были).

Мне предложили подать письменное объяснение в Русскую военную миссию. Я подал: почему не хочу (и не могу) участвовать в гражданской войне. Копия сохранилась еще в моем архиве. После этого вызвали для устного объяснения в Берлин, в военную миссию, возглавлявшуюся, как я сказал, генералом Монкевицем. Я приехал. Но принял меня, к сожалению, не он. К сожалению потому, что впоследствии обнаружилось, что генерал Монкевиц — глава белой военной миссии — советский агент. Он бежал в Москву после пребывания во Франции в окружении вел. князя Николая Николаевича. И я жалею, что не видел живьем эту *личность.*

В военной миссии меня принял генерал Минут — суконный, непримечательный. Спросил: почему и как? Я изложил и видел, что Минут откровенно не понимает меня, да и понимать не хочет. Так я настоял и остался в Германии, став чернорабочим на лесоповале под лагерем Гельмштедт.

Лагерь Гельмштедт был уже не военный, а для "перемешенных лиц", тогда их скверно называли — беженцы. В Гельмштедте мы добывали средства к существованию трудами рук своих. Кто — в шахтах, кто — на лесоповале. Об этом я писал в "Коне рыжем" и не хочу повторяться. А расскажу, что меня толкнуло писать. В лагере со времени войны была скудная

русская библиотека, и в свободное от работы время я перечитал два рассказа Всеволода Гаршина: “Из воспоминаний рядового Иванова” и “Четыре дня”. В былые времена они по- трясли воображение русской интеллигенции “ужасами войны” (“внимая ужасам войны”…). Но перечитав, я подумал: да какие же это ужасы? По сравнению с гражданской войной это не так уж и страшно. Вот если бы я просто протокольно записал, что видел в гражданской, — это были бы ужасы. Правильно говорит об этом в одной своей книге Б.В.Щульгин: “Мы, участники войны мировой и войны гражданской, прекрасно знаем: мировая воина велась в грандиозных масштабах, но ее ужасы суть Kinderspiel в сравнении с прелестями войны гражданской. Жестокость и мерзость последней вне всякого сравнения: она сразу отодвинула нас на несколько веков назад”. Вот из этих “нескольких веков назад” я и вырвался, оставшись в Германии чернорабочим. Не без груда — но вырвался.

Мысль — записать все, что я пережил, что видел в гражданской войне, — засела во мне. Но если писать, думал я, — писать надо совершенно правдиво-оголенно. Где геройство— пусть геройство, личного геройства в Добровольческой армии было не занимать стать. На моих глазах мои же товарищи и совершали геройства и умирали геройски. А там, где зверство, — пусть будет зверство, где доблесть — пусть доблесть, а где грабеж — пусть грабеж.

И в свободное от лесной работы время я стал писать. Мы в лесу обдирали кору особыми скрябками с поваленных сосен. Писал я долго, ибо не умел и не думал, что писать — так трудно. Чтоб проверить, я читал по вечерам отрывки брату и друзьям. Все они прошли гражданскую войну: один на Дону, другие на Украине, все хорошо ее знали. И я видел, что написанное действует. Даже брат — самый суровый критик, говорил: продолжай, пиши. И друзья: пиши, пиши, все это обязательно надо записать. Так я и написал свою первую книгу “Ледяной поход”, которая позднее стала известна в литературе о гражданской войне.

Но когда я кончил, пришлось думать: что же делать с рукописью? В лагере мы получали русскую ежедневную газетку “Голос России”, выходившую в Берлине под редакцией Самуила Яковлевича Шклявера, с которым я позднее познакомился. Газетка была не Бог весть что, но из нее я узнал, что в Париже В.М.Зензинов издает какой-то антикоммунистический журнал на французском языке “Pour la Rousie”. Зензинова по имени я знал: эсер, приятель Керенского. Решил попросить совет: что делать с “Ледяным походом”?

Владимир Михайлович (с ним много позднее я познакомился в Париже при постановке моей пьесы “Азеф” в “Русском театре”, а еще позже в Америке и подружился), к моему изумлению, ответил быстро и дружественно. Но ничего утешительного. Ободрял, писал, что правдивая книга о гражданской войне, конечно, нужна, но не видит возможности ее где-нибудь напечатать. Письмо В.М.Зензинова на бланке “Pour la Rousie” все еще хранится в моем архиве.

Через некоторое время в той же газетке я прочел, что в Берлин приехал Владимир Бенедиктович Станкевич, бывший верховный комиссар Ставки при начальнике штаба Верховного главнокомандующего генерале Н.Н.Духонине, которого, как известно, самосудом разорвали матросы. Матросский эшелон прибыл в Ставку в Могилев одновременно с прибытием известного большевицкого псевдонима — “товарища Абрама” (прапорщика Н.Б.Крыленко), который долженствовал быть ленинским “Верховным главнокомандующим”.

Станкевич позднее рассказывал, что, видя в Ставке полное разложение, он убеждал генерала Духонина бросить Ставку и уехать. Духонин колебался, но генерал Дидерихс высказался против, говоря, что начальник штаба Главнокомандующего Российской армии покинуть свой пост не может. Духонин остался. Он, вероятно, думал, что “товарищ Абрам” его арестует. Но вряд ли думал, что его попросту насмерть растопчут озверелые Крыленкины матросы.

Как хорошо, что лет через двадцать этого кровавого “государственного обвинителя”, “прокурора республики”, “товарища Абрама” Сталин зверски отправил на тот свет, да еще перед расстрелом наиздевался над ним всласть. Крыленко заслужил свою казнь сполна.

Главнокомандующий… Ты попросту палач,

Стараньем чьим растерзан был Духонин.

— писал в те годы о Крыленко друг Блока, поэт Вл, Пяст (В.А.Пестовский), покончивший самоубийством в начале революции.

До войны В.Б.Станкевич был приват-доцент Петербургского университета по кафедре уголовного права, во время войны добровольцем поступил в Павловское военное училище и вышел в офицеры, в саперы. По национальности В.Б. был литовец, из дворян. По-литовски предки его были — Станка. Но со временем фамилия полонизировалась в Станкевич. А Станкевичи русифицировались. По политическим убеждениям В.Б. был народный социалист. Эта партия была “буфером” между кадетами и эсерами. Кадеты были конституционные монархисты,

энэсы склонялись к республиканизму. Но будучи народнического корня, они все же отталкивались от эсеров из-за их террора. В революцию Керенский, став главковерхом, назначил офицера-сапера Станкевича Верховным комиссаром Ставки.

В “Голосе России” сообщалось, что Станкевич в Берлине хочет сплотить группу под названием “Мир и труд” и издавать двухнедельный журнал “Жизнь”. По опубликованным пунктам программы “Мира и труда” такой пасифизм мне не очень нравился, но я думал, что с Станкевичем можно поговорить о “Ледяном походе”, и решил написать ему. В письме я спрашивал, можно ли хотя бы в отрывках напечатать книгу в его журнале?

Очень быстро от Владимира Бенедиктовича пришел ответ. Он писал, что заинтересован рукописью, но хотел бы, чтобы я приехал в Берлин, чтобы мы обо всем, как он писал, договорились. В Берлин мне приехать было нелегко, я был классический пролетарий, а поездка стоила денег. Тем не менее я решил ехать, брат одобрял: езжай, езжай, письмо хорошее, может, что-то и выйдет. И я поехал.

В.Б. Станкевич и журнал “Жизнь”

В 1920 году вся Германия была нищая, аккуратно-обтрепанная, полуголодная. Живя в России, я не представлял себе, что страна может дойти до такого изнурения войной. Мы, эмигранты, по сравнению с немцами были даже в привилегированном положении, ибо нам в лагерях помогала Антанта из оставшихся в Германии продуктовых складов для военнопленных. Мы получали “керпакеты”, одежду. У меня поэтому был некий костюм из английского одеяла. Одеяло — серое, ворсистое. И сельский портной-немец сшил мне из него довольно странную одежду: однобортную куртку вроде сталинской и какие-то полугалифе, потому что на длинные штаны материала не хватило. Полугалифе же заканчивались английскими обмотками, а на ногах были здоровенные американские буцы, подкованные на носках и на каблуках. Так я и поехал в Берлин.

Приехал на Штеттинский вокзал. Около него остановился где-то очень дешево. Но Станкевич жил совсем в другой части столицы, в довольно фешенебельной, около Виттенбергплац, на Пассауерштрассе в пансионе Паули. Доехал я туда на трамвае, позвонил. Открыл дверь Владимир Бенедиктович. С первого взгляда он мне очень понравился. Среднего роста, плотный, стриженый, с большой уже лысиной блондин, с подстриженными светлыми усами, мягкий в манерах, в разговоре, но глаза очень острые, пытливые. Он провел меня в свой кабинет, познакомил с женой Натальей Владимировной, рожденной Прокудиной, и с семилетней дочкой Леночкой. В кабинете мы с Владимиром Бенедиктовичем приступили к “большому разговору”. А Наталья Владимировна пошла приготовить чай.

Говорили мы о многом. Владимир Бенедиктович рассказал о своем проекте журнала “Жизнь”, о “Мире и труде” и под конец высказал настоятельное желание, чтобы я переехал в Берлин, работать в редакции “Жизни”. Он обещал какое-то скромное вознаграждение, на которое я все-таки мог прожить. Его предложение было и неожиданно, и приятно, я только подумал: а как же брат? Мы с братом были очень дружны. И я сказал Владимиру Бенедиктовичу, что отвечу из лагеря, поговорив с братом. С этого дня я подружился со всеми Станкевичами на всю жизнь. Мне страшно подумать, что я всех их пережил. Все они — и Б.Б., и Н.В., и Леночка — умерли после Второй мировой войны в Вашингтоне, в Америке,

Когда в Гельмштедте я рассказал все брату, он был не в

восторге, что я уеду в Берлин. Но я сказал, что приложу все усилия, чтобы вытащить и его в Берлин или под Берлин. Надо сказать, что брат мой Сергей по характеру был человек крайне своеобычный. Внешне Сережа был яркий блондин с серыми глазами. Пепельные, чуть волнистые волосы он зачесывал назад. Лицо очень белокожее, с хорошим румянцем. Ростом был ниже меня, но крепче сложен. По характеру пошел в обоих дедов сразу: страшно вспыльчивый, до “потери сознанья”, но быстро отходил. Любил всяческое опрощение, ненавидел города, признавал жизнь только в деревне, причем трудовую. Был страстный охотник. Он почти окончил Московский университет по юридическому факультету, оставались только государственные экзамены. Но в Москве жил только первый год — при жизни отца. А потом все время — в именьи. учился юридическим наукам по учебникам и в Москву приезжал лишь сдавать экзамены, сдавая их на “весьма”. Думал стать мировым судьей и жить только в именьи, которым и управлял. Но не с балкона иль из кабинета, а сам с рабочими с зарей выезжал в поле и шел первым плугом. Он любил простой физический труд. И за это крестьяне его уважали, как “странного барина”. Только в революцию — помню рассказ Сережи — выехал он как-то в поле пахать. Пашет. А на соседнем поле, тоже пашущий, мужик вдруг остановился да как заорет во все горло в сторону Сережи: — “Пора кончать, е… мать!” Сережа рассказывал об этом со смехом, но скоро пришлось ему бросить любимое дело — землю. Уехал в Пензу и поступил вольноопределяющимся в Приморский драгунский полк.

В эмиграции Сережа наотрез отказался идти работать — как работало множество русских эмигрантов — шофером такси, официантом в ресторане и прочее. “Чтобы мне какая-нибудь сволочь давала на чай?! Да пропади они пропадом! (Сережа выразился, конечно, резче и нецензурно). Я лучше всю жизнь чернорабочим буду!” Это было, разумеется, барство. Но своеобразное. И Сережа работал на лесоповале, в глубине — в шахтах, на какой-то каменоломне. И был доволен.

В Берлин я переехал в 20 году. Вокруг журнала В.Б.Станкевича “Жизнь” и организации “Мир и труд” собрались очень разнородные люди. В.В.Голубцов, пожилой, весьма обывательский родственник В.Д.Набокова, до революции был, кажется, чиновником министерства финансов. Н.Н.Переселенков — бывший адвокат, желчный холостяк. Юрий Викторович Офросимов, москвич, окончивший там Императорский Николаевский (Катковский) лицей, но юриспруденцией совершенно не интересовавшийся. В гражданскую войну он попал в Прибалтику, в “армию” Бермонда-Авалова. И засел там в каком-

то лагере. По просьбе Голубцова Станкевичу удалось достать ему визу в Берлин, что было тогда нелегко. Юрий писал об этом так: “Я попал в Берлин, побывав в несколько странной "освободительной армии, которая, воодушевленная приказом командующего "беи в морду как в бубен, за все отвечаю!", вместо Москвы захватила одну из столиц Прибалтики, к счастью бескровно. Но и этого для меня было достаточно, и я кое-как, в остатках военного обмундирования, с помощью доброй руки, протянутой из Берлина совершенно до тех пор незнакомого мне Б.Б.Станкевича, — осел в Берлине”. Юрий был очень талантлив. Наружностью был цыганистый, мать его была Рахманинова. Характер — очень русский, до Обломова. Полная богема и поэт Божьей милостью. В “Жизни” он дебютировал стихами, некоторые из которых я запомнил:

Разве позорно забыть
Громовых орудий раскаты,
Разве преступно быть
Снова другом и братом?
Говорить простые слова,
Вдыхать просторы безбрежно,
Смотреть, как растет трава,
И думать: я снова прежний.
И другое:
Я принимаю злобы тьму,
Разбой, убийства, издеванъя,
Как искупленье и страданья,
Как послух духу моему.
И верю я, чрез много лет
Блеснет невидимый доныне,
Как над поруганной святыней,
Над ликом тихим — Тихий Свет.
И пусть про то не нам узнать,
Узреть не нашими глазами,
Но все же никогда камнями
Не брошу я в больную мать.

Стихи эти необычайно нравились Станкевичу уже по одному тому, что для “Жизни” были “программны”. Но у Офросимова были лирические стихи гораздо интереснее. Своими стихами он сразу выделился в русском литературном Берлине и вскоре издал сборник “Стихи об утерянном”. Это была хорошая книжка, но, к сожалению, чудовищно ленивый Юрий, когда кончилась “Жизнь”, перешел в газету “Руль” и стал там писать театральные рецензии, которые ничего ему не давали (кроме грошей на жизнь), а стихи забросил на всю жизнь, хоть и сильно грустил об этом. Умер он

страшно, в Палермо, в Сицилии, в кафе от сердечного припадка, 19 октября 1967 года, в возрасте семидесяти трех лет.

Я опубликовал в “Жизни” отрывки из “Ледяного похода”, которые имели известный успех, но далеко не у всех, ибо по своему тону отличались от той литературы о Белой армии, которая стала появляться в русском Зарубежьи.

В “Жизни” печатался (но мало) молодой прозаик Александр Михайлович Дроздов. По натуре он был совершенно чужд “Жизни”. В былом, в Петрограде, был связан с известной газетой “Новое время”. Жена его, Люлька, которую все мы очень любили, была дочерью Леонида Юльевича Гольштейна, а Гольштейн в “Новом времени” и “Вечернем времени” играл роль и молодому зятю покровительствовал. О Гольштейне один остроумный евреи говорил, что не верит ему ни на грош потому, что он даже из собственной фамилии украл букву “д”. (Гольштейн не считал себя евреем, был женат на светской даме — Марии Сергеевне Дурново). В революцию Дроздов очутился в Белой армии, но не в строю, а где-то в Осваге. Потом — эмиграция, Берлин, где первое время в русской печати он имел литературный успех, издал у Ефрона книгу рассказов под ударным заглавием “Подарок Богу”, потом еще книг десять в других русских берлинских издательствах, роман “Девственница”. Литературной техникой Дроздов владел вполне. Я почему-то даже запомнил одну “эффектную” концовку его рассказа: “С полей войны не возвращаются помолодевшими”. Но техника техникой, а беда Дроздова была в отсутствии у него внутренней темы. Зинаида Гиппиус в рецензии правильно писала: “бесхребетный писатель”. И так у Дроздова было не только в литературе. Несмотря на молодость, он был душевно опустошен и циничен. И я не так уж удивился, когда этот ультраправый литератор в 1923 году внезапно, бросив жену и ребенка, уехал в Советскую Россию. Причем там, вопреки всякой логике, эдакий белобандит сразу был введен в редколлегию какого-то “толстого” журнала. Это скверно освещало его скрытый от всех, скоропалительный отъезд. В Советской России Дроздов ничего кроме халтуры не написал, сильно пил (так же как и в эмиграции) и преждевременно умер в Ясной Поляне, женившись на тамошней учительнице.

Еще сотрудником “Жизни” был Федор Владимирович Иванов, человек совсем другого склада и характера. Родился в Симбирске, учился в Петербургском университете на юридическом факультете, попал в Белую армию генерала Миллера, был тяжело ранен в область сердца, и рана, как осложнение, дала сердечную болезнь, от которой он в Берлине вскоре и умер. Федор Иванов выступил как эссеист и беллетрист. Писал он довольно

талантливо. Был человеком петербургской “Бродячей собаки”. По “Собаке” хорошо знал Адамовича, Георгия Иванова, Леонида Канегиссера, По личной судьбе был человек глубоко несчастный и умер трагично: упал (сердце) на берлинской улице и скончался в госпитале. После него осталась книга литературных эссе “Красный Парнас” и книга рассказов “Узор старинный”.

Направленчески “Жизнь” держалась только на одном В.Б.Станкевиче. В.Голубцов опубликовал какие-то до одури скучные “клочки воспоминаний”. Н.Переселенков — две-три бледных статьи. Оба были не литературные люди. Был в “Жизни” интересный случайный материал: статья известного художника Бориса Григорьева о современном русском искусстве, театральные воспоминания барона Дризена. Но все это было лишь “орнаментом” вокруг пасифистских статей В.Б.Станкевича. В № 1 “Жизни” В.Б. писал: “Период опустошения и разрушения близок к концу. С каждым днем ярче предчувствуем мы приближение творческого периода русской революции, который несомненно наступит, какой бы вывеской ни прикрывалась власть”. Политически “Жизнь” выражала желание внутреннего замирения России вместо гражданской войны.

Когда ж противники увидят
С двух берегов одной реки,
Что так друг друга ненавидят,
Как ненавидят двойники,

— писал тогда Вячеслав Иванов. Вот против этой “ненависти”, разделявшей русских на два берега, и был журнал “Жизнь”. Это желание замирения разделяли все сотрудники. Разделял его и я. Но несмотря на большое уважение к В.Б. и на дружбу, я всегда чувствовал некую мировоззренческую разность с ним. В.Б. был пасифист во что бы то ни стало — при всех обстоятельствах. От такого пасифизма я внутренне отталкивался. Он казался мне противоприродным человеку, “интеллигентской выдумкой”. Но эта разность не мешала большой дружбе с В.Б. и Н.В. Мы были дружны всю нашу жизнь.

Отмечу, в какие дебри политической парадоксальности заводил дорогого Б.Б. его пасифизм. В № 11 “Жизни” (15 сентября 1920) В.Б. писал: “"Ни к красным, ни к белым! Ни с Лениным, ни с Врангелем!" — так звучит лозунг русской левой демократии. Но если можно отрицать всю Россию, то почему же нельзя ее всю принять и признать? Что если рискнуть и вместо "ни к красным, ни к белым!" поставить смелое, гордое и доверчивое: — "и к красным, и к белым!" — и принять сразу и Врангеля, и Брусилова, и Кривошеина, и Ленина!”. Дальше В.Б. слал панегирики и “гению и гиганту” Ленину, “сотрясающему

мир”, и чудесному герою Врангелю. “А разве Врангель не чудесный герой, сумевший, базируясь на клочке Крыма, спасти национальную идею, сорганизовать власть и поднять борьбу с всеторжествующим большевизмом в годину, когда у самых смелых опустились руки?.. Идеализм, возразят многие. "Наивный, гимназический!" Ну да, конечно…” И тем не менее В.Б. не сдавался, проповедуя — “и к красным, и к белым!” Разумеется, это было донельзя химерично. Но, как с улыбкой говорил Юрий: “Ничего не поделаешь, наш лидер любит смелые парадоксы”.

Но один “парадокс” В.Б. я запомнил на всю жизнь, ибо в устах народного социалиста Станкевича слова, тогда показавшиеся парадоксальными, по сути были провидческими. Дело было так. На собрании группы “Мир и труд” выступал Рафаил Глянц. Глянц, онемеченный русский еврей, член с,д. партии, постоянный сотрудник “Форвертс”, давно жил в Германии. Был он мягким и милым человеком, оказывал Станкевичу и всем нам частые услуги в немецком мире. Говорил Глянц что-то о социализме. Возражая ему, В.Б. сказал: “Вот вы говорите о социализме, а я скажу, что совершенно уверен в том, что в России настанет время, когда только за самое слово "социализм" будут вешать”.

Журнал “Жизнь”, естественно, просуществовал недолго — с апреля по октябрь 1920 года. Издатель Г.А.Гольдберг не захотел на парадоксах Станкевича нести убытки. В.Б. пробовал найти другого издателя. Я ездил с ним к некому Отто Винцу, онемеченному русскому еврею, уже плохо изъяснявшемуся по-русски. У него было издательство “Восток”, выпускавшее и русские книги. Не вышло. Ездили к В.П.Крымову. Визит был неприятен. Никакого издателя Б.Б. не нашел, и в ноябре 1920 года “Жизнь” приказала долго жить. Сотрудники разбрелись кто куда. В.Голубцов с женой занялись чем-то кулинарным. Н.Переселенков, в совершенстве владевший немецким, поступил в немецкую фирму. Офросимов — в ежедневную газету “Руль”, редакторами которой были известные кадеты — И.В.Гессен, бывший редактор петербургской “Речи”, известный правовед и член Государственной Думы В.Д.Набоков и экономист профессор А.Каминка. Ф.Иванов пробивался литературными гонорарами — в газете “Голос России” (ежедневной), “Время” (еженедельной), в журнале “Сполохи”, редактором которого стал А.Дроздов.

В.Б.Станкевич вскоре стал соредактором (вместе с С.Я. Шклявером) издательства “Знание”. Это было предприятие архибогатейшего немецкого издательского концерна “Рудольф Моссе”, захотевшего выпускать русские книги, в надежде легкого их сбыта в Советскую Россию. Другое столь же гигантское немецкое предприятие — издательство “Ульштейн” — уже до

того с той же эфемерной целью создало издательство русских книг “Слово”, во главе которого стал И.В.Гессен. Для русской зарубежной литературы оба издательства сделали много, в особенности “Слово”, выпустившее много прекрасных книг. Но в Советскую Россию эти книги если и просочились, то лишь в “запретные фонды”. Русских книг из-за рубежа псевдонимы не пустили.

Хочу сказать о какой-то сверхработоспособности Владимира Бенедиктовича. Редактируя “Жизнь”, он тогда же написал известную книгу “Воспоминания”, вышедшую в 1921 году в Берлине. Это была *первая* книга воспоминаний о революции русского политического деятеля. Она цитируется посейчас всеми пишущими о революции. За ней В.Б. выпустил “Судьбы народов России”, которая тоже была первым серьезным трудом по этому вопросу. Затем — “Менделеев — великий русский химик”, “Фритиоф Нансен”.

У Станкевичей я часто встречал интересных людей: некоторых лидеров российской “революционной демократии”, игравших в февральской революции большую роль, — В.М.Чернов, И.Г.Церетели, В.С.Войтинский, даже с приезжавшим в Берлин из Советской России Н.Н.Сухановым (Гиммером) дважды встречался.

Виктор Михайлович Чернов — типичнейший русак. Он и был — тамбовский. Хотя крайне правая печать всегда писала, что никакой он не Чернов, а “еврей Либер”, но это только говорило о мозговой неизобретательности этой печати, Чернов был кряжист, здоровенный, вероятно, очень сильный. Черты лица очень русские, говор — тамбовский. Косматая шевелюра — серо-седая (в молодости, говорят, был рыж, теперь седел). Этот “друг Азефа”, долголетний член ЦК партии эсэров, один из ее основателей, лидер ее центра в 1917 году, циммервальдец, во Временном правительстве “селянский министр”, председатель двухдневного Всероссийского Учредительного собрания, — не вызывал во мне большой симпатии. Может быть, отталкивала его позиция в Феврале. За чайным столом у Станкевичей он всегда был весел, рассыпчато-разговорчив, иногда подпускал в речь народные поговорки. Не нравились и быстрота его речи, и быстрота жестов, какой-то рядческий смешок и общая его жовиальность. Сопровождала его всегда одна из очередных жен (третья) — худющая эстонка Ида Самойловна Сармус. Выводя Чернова в своем романе “Азеф”, я его, конечно, окарикатурил. Так как по справедливости надо признать, что Чернов был и умен, и образован, и “человек со своей биографией” (что не часто встречается), вообще — персонаж недюжинный. После Октября

Чернов и его партия были объявлены “вне закона”. Чекисты сбились с ног, разыскивая Чернова. И — найди они его — Чернову пришлось бы плохо. Но, старый конспиратор, он ушел в подполье, жил нелегально, пиша свои мемуары, и в конце концов подался на Запад, который хорошо знал по своей прежней долголетней эмиграции.

Как-то за столом у Станкевичей Виктор Михайлович рассказал интереснейший эпизод:

— Было это до войны, году так в 11-м, в Швейцарии. Толковали мы с Лениным в ресторанчике за кружкой пива — я ему и говорю: “Владимир Ильич, да приди вы к власти, вы на следующий день меньшевиков вешать станете!” А он поглядел на меня с такой монгольской хитринкой и говорит: “Первого меньшевика мы повесим после последнего эсера”, — прищурился и засмеялся.

Как ни невероятно, но “бутада в ресторанчике” через несколько лет превратилась в Архипелаг ГУЛАГ. Расстрелы эсеров (левых и правых) Ленин повел сам. А меньшевиков дострелял его “верный ученик” Сталин. И осталось от этих партий лишь “историческое воспоминание” и “архивные материалы”. Так “жизненно” обернулась “ресторанчиковая фраза”.

В Берлине в издательстве Гржебина Чернов выпустил написанные в подполье мемуары — пухлый том под названием “Записки социалиста-революционера”. Это, разумеется, ценный исторический документ, Но писал Чернов всегда как-то разгонисто-водянисто, и писания его меня не увлекали. Зато в Берлине тогда В.М. “со товарищи эсеры” издал замечательную книгу: “ЧЕ-КА”. Она и сейчас важна для истории ленинского террора.

Противоположностью Чернову — в смысле человеческого облика — был Ираклий Георгиевич Церетели, известный социал-демократ, член Государственной Думы, ссыльнопоселенец, лидер Совета рабочих депутатов в 1917 году, министр Временного правительства и член правительства независимой Грузии. Высокого роста, скромно, со вкусом одетый (я его помню всегда в темно-синем костюме, белая рубашка и темно-красный галстук), этот хорошо воспитанный, красивый грузин был немного из тех, о ком Верховенский говорил Ставрогину: “Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен”. В Церетели было это обаяние, хотя он не был таким аристократом, как, например, кн. П.А.Кропоткин, но был старинного грузинского дворянского рода: барин — социал-демократ.

Помню, как он с своим кавказским упирающимся акцентом

рассказывал у Станкевичей свой сон:

— Снится мне позавчера, что гонят меня по царской России из централа в централ и пригоняют в Сибирь, в мою ссылку. И живу я там во сне, как и наяву, в своей избе, но отчего-то мне во сне очень хорошо, чувствую, что сейчас проснусь, а так хорошо, что просыпаться не хочется. Проснулся — лежу в Берлине, оказывается. И так стало мне жаль, что не в своей я сибирской ссыльной избе. Хорошее, думаю, было время! — Церетели весело смеется. И кругом все засмеялись.

У Станкевичей мое знакомство с И.Г. было “мельком”. Позже, во Франции, я узнал его ближе. А подружился с ним в Нью-Йорке, в Америке, одно время он даже жил у нас летом в Питерсхеме, в Массачусетсе. Об Ираклии Георгиевиче я еще много напишу. У меня есть что о нем сказать.

Владимир Савельевич Войтинский был близкий друг и Станкевича и Церетели. По чертам лица и всей внешности был похож на русского мужичка, а никак не на еврея. Некрасивый, курносый, рыжеватый, очень живой, В.С. тоже был “человеком с биографией”. В молодости — большевик, знававший Ленина, прошедший тюрьмы и ссылку, в революции — антибольшевик, оборонец, комиссар Временного правительства на северном фронте, где боролся с ленинцами и разложением армии. После Октября отсидел у большевиков в Петропавловской крепости. При помощи Церетели уехал в Грузию, а оттуда на Запад,

В Берлине у Гржебина В.С. выпустил воспоминания под чуть плакатным заглавием “Годы побед и поражений'” (я заметил, что революционеры любили такие некрасовско-надсоновские плакаты). Но воспоминания В.С. весьма поучительны. Особенно в них ценны зарисовки Ленина. Бот, например, некий “кадр”. В 1907 году Войтинский (большевик) был членом Исполкома Совета безработных и поехал к Ленину в Куоккала за разъяснениями насчет допустимости тактики террора. Приехал. “Я рассказал о настроении среди безработных, о "мстителях", о их намерении бросить бомбу в заседание городской думы. Ленин слушал чрезвычайно внимательно, вставляя время от времени: Вот как? Это крайне интересно! — Затем начал расспрашивать: — Вы думаете, люди у них найдутся? — Несомненно. — Надежные? — Вполне. — Тогда Ленин сказал раздумчиво: — А может быть, это было бы недурно. Встряхнуло бы…”

Западные либералы не то делают вид, не то действительно “недопонимают”, откуда сейчас по всему миру идет террор (и “Красных бригад”, и прочих “мстителей”)? А он идет именно от этого ленинского “недурно”. Это Ильич своими ленинцами “встряхивает” мир.

“Любимой темой агитации Ленина, — вспоминает Войтинский, — была талантливая проповедь революционного нигилизма. "Революция дело тяжелое, — говорил он, — в беленьких перчатках, чистенькими руками ее не сделаешь. Партия не пансион для благородных девиц… иной мерзавец для нас и полезен тем, что он мерзавец…" В обыкновенных уголовных преступниках он (Ленин) видел революционный элемент”.

Как симпатично и симптоматично для нашего времени, что международная Организация Объединенных Наций хотела чествовать Ленина как великого гуманиста.

Воспоминания Войтинского вышли и на иностранных языках. Но не этим русский эмигрант Войтинский создал себе имя. Он выдвинулся как экономист восьмитомным трудом “Мир в цифрах”, по-русски вышедшим в издательстве “Знание” в Берлине и переведенным на все главные европейские языки. А потом уж в Америке, в Вашингтоне, В.С.Войтинский занял как экономист большое положение.

Н.Н.Суханова (Гиммера), автора известнейших “Записок о революции”, вышедших в Берлине у Гржебина в семи томах, я видел у Станкевичей дважды. И не жалею, что не больше. С виду какой-то нечистоплотный, с красноватым, лоснящимся, неприятным лицом, невоспитанный, в разговоре бестактный, Суханов произвел на меня отталкивающее впечатление. Кроме “Записок” он оставил русской истории еще и тот исторический факт, что на его квартире болыиевицкая верхушка во главе с Лениным приняла окончательное решение идти на Октябрьский переворот. Его, Суханова, якобы не было дома, а квартиру для решающего заседания конспиративно дала жена (большевичка). Но историческое “предоставление квартиры” Суханова не спасло. Сталин в каком-то “политизоляторе” все-таки убил его.

Саша Черный

Из писателей я познакомился у Станкевичей с известным поэтом-сатириком Сашей Черным (Александр Михайлович Гликберг). Он приехал в Берлин в начале 1921 года. Саша Черный производил очень приятное впечатление. Среднего роста, худощавый, правильное, я бы даже сказал, красивое лицо, седоватые коротко стриженные волосы. Держался сдержанно, был малоразговорчив, но под этой сдержанностью вы чувствовали и характер, и твердые убеждения.

Его талантливые стихи-сатиры я читывал еще в России. Кое-что почему-то даже запомнилось навсегда:

Губернатор едет к тете —
Желто-кремовые брюки.
Пристяжная на отлете
Вытанцовывает штуки…

Или:

Царь Соломон сидел под кипарисом
И ел индюшку с рисом…

В своей автобиографии В.Маяковский писал, что одно время единственный читаемый им поэт был Саша Черный: “радовал его антиэстетизм”. Меня Саша тоже чем-то радовал. Сейчас я с ним познакомился за чайным столом у Станкевичей в Берлине на Пассауерштрассе.

Станкевич, естественно, хотел его привлечь к сотрудничеству в журнале “Жизнь”, но Саша это — очень мягко по форме, но твердо по сути — отклонил. Это была не его линия. В Саше Черном жила огненная ненависть к большевизму. Такая была разве что у Бунина времен “Окаянных дней”. Да даже и у Бунина она не была так огненна.

Позднее я встретился как-то с Сашей Черным в студенческом ресторане и тут он выговорился. Он с раздражением и отталкиванием говорил о позиции Станкевича и “Жизни”, ибо ни в какую эволюцию или возможность смягчения режима не верил. Тогда он с несдерживаемой злобой, очень красочно рассказал мне, как переезжал советскую границу и как на границе какой-то безграмотный чекист осматривал чемодан с его рукописями: некоторые на его глазах рвал, другие куда-то отбрасывал, а некоторые оставлял.

— И все это глупо, невежественно, безграмотно, — говорил Саша Черный, — только чтоб свою власть над тобой показать. У меня в душе кипела такая ненависть, что если б была сила, я бы ему горло перегрыз.

Саша Черный везде бывал вместе с женой, Марией Ивановной, рожденной Васильевой. Мария Ивановна была из писательских жен — ангелов-хранителей; таких я встречал много. По каждой мелочи было видно, как она охраняет и боготворит своего Сашу.

В Берлине Саша Черный задержался недолго. Он был литературным редактором журнала “Жар-птица”. Издал несколько книг: сатиру-стихи, прозу, но все (надо честно сказать) было не на прежней высоте. Я думаю, что А.М. Гликберга надо отнести к людям, совершенно раздавленным революцией. Он любил Россию, русскую культуру, русскую литературу страстно любил и этим жил. Надо было слышать, с каким почти благоговением и любовью он говорил об Иване Бунине как о “последней сосне российского сведенного бора”. О Бунине он написал стихотворение (надо признать, очень плохое), которое кончалось (помню) тем, что в свободной России:

Бы будете одним из самых близких,
Из самых близких и родных…

Как-то я сказал Саше Черному, что всегда любил его стихи и даже (сказал) некоторые помню наизусть. Но Саша (неожиданно для меня) недовольно сморщился, как лимон надкусил, и пробормотал: “Все это ушло, и ни к чему эти стихи были…” Большевизм и творчески и душевно раздавил былого сатирика. Он переиздал в Берлине три тома своих сатир. Но все то, что писал вновь, было — не то. Видно, сатирическому таланту Саши Черного уже не на что было опереться. Он стал писать детские книги, в издательстве “Слово” издал “Детский остров” с рисунками известного художника Бориса Григорьева (тогда тоже эмигранта в Берлине). Но все, что писал Саша Черный, прежней силы не достигало:

Я индейский петух!
Ф-фух!
Самый важный,
Нос трехэтажный,
Под носом сережки
И сизые брошки.
Грудь кораблем,
Хвост решетом,
Персидские ноги —
Прочь с дороги!..
Ф-фух!

Вскоре Саша Черный с женой уехали в Италию. Потом в Париж, потом поселились во французском городке Борм. И здесь 5 августа 1932 года Саша Черный скончался: неподалеку от них

вспыхнул пожар, Саша, как и другие соседи, бросился помогать, волновался, что-то таскал, кому-то помогал, а вернувшись домой, почувствовал себя дурно и от сердечного припадка умер. Там его и похоронили на кладбище Лаванду. Не так давно стараниями друзей на его могиле поставлен надгробный памятник.

В Берлине с Мариной Цветаевой познакомил меня Эренбург, Было это вскоре после приезда ее из Москвы. Она остановилась в том же Прагер-пансионе, где жили Эренбурги. И как-то Эренбург сказал, что Цветаева хочет со мной встретиться. Я пришел. Постучал в дверь комнаты. Услышал “войдите!”. Вошел. Марина Ивановна лежала на каком-то странном предмете, по-моему на сундуке, покрытом ковром. Первое, что бросилось мне в глаза, — ее руки, все в серебряных браслетах и кольцах (дешевых), как у цыганки.

Разговор начался — с Москвы, с ее приезда. Свое первое впечатление от облика Цветаевой я ярко запомнил. Цветаева — хорошего (для женщины) роста, худое, темное лицо, нос с горбинкой, прямые волосы, подстриженная челка. Глаза ничем не примечательные. Взгляд быстрый и умный. Руки без всякой женской нежности, рука была скорее мужская, видно сразу — не белоручка. Марина Ивановна сама говорила о себе, что умеет только писать стихи и готовить обед (плохой). Вот от этих “плохих” обедов и тяжелой московской жизни руки и были не холеные, а рабочие. Платье на ней было какое-то очень дешевое, без всякой “элегантности”. Как женщина Цветаева не была привлекательна. В Цветаевой было что-то мужественное. Ходила широким шагом, на ногах — полумужские ботинки (особенно она любила какие-то “бергшуэ”).

Помню, в середине разговора Марина Ивановна неожиданно спросила:

Вы любите ходить? Люблю, много хожу. Я тоже. Пойдемте по городу?

И мы вышли из пансиона. Пошли, помню, по Кайзераллее, шли долго, разговаривая. *Я* больше слушал рассказы о Москве, о тяжкой жизни там. Я предложил зайти в кафе. Зашли. Кафе было странное— большое, белое, с гремящим негритянским джаз-бандом. Негры были в Берлине редкостью. Откуда они сюда залетели?

В кафе мы просидели, проговорили долго. Марина Ивановна прочла мне свои последние стихи. Видимо, она была внимательный и наблюдательный собеседник, Во всяком случае она открыла у меня какой-то жест, о котором я не имел понятия. Оказывается, слушая ее, я иногда проводил рукой по волосам. Этот жест Марина Ивановна мне “вернула”, извинившись “за

масть”: я блондин, а в стихотворении, присланном мне, она окрасила мои волосы в “воронову” масть:

Вкрадчивостью волос,
Вгладь и в лоск,
Оторопью продольной
Синь полуночную масть Воронову.
Вгладь и всласть
Оторопи вдоль — ладонью.

Это (не Бог весть какое) стихотворение я опубликовал в “Новом журнале” в письмах ко мне Цветаевой из Праги в Берлин. Оно вошло и в последнюю зарубежную книгу Цветаевой “После России”.

С Мариной Ивановной отношения у нас сложились сразу дружеские. Говорить с ней было интересно обо всем: о жизни, о литературе, о пустяках. В ней чувствовался и настоящий, и большой, и талантливый, и глубоко чувствующий человек. Да и говорила она как-то интересно-странно, словно какой-то стихотворной прозой, что ли, каким-то “белым стихом”.

Помню, она позвала меня к себе, сказав, что хочет познакомить с только что приехавшим в Берлин ее мужем Сергеем Эфроном. Я пришел. Эфрон был высокий, худой блондин, довольно красивый, с правильными чертами лица и голубыми глазами. Отец его был русский еврей, мать — русская дворянка Дурново. В нем чувствовалось хорошее воспитание, хорошие манеры. Разговор с Эфроном я хорошо помню. Эфрон весь был еще охвачен белой идеей, он служил, не помню уж в каком полку, в Добровольческой армии, кажется, в чине поручика, был до конца — на Перекопе. Разговор двух бывших добровольцев был довольно странный. Я в белой идее давно разочаровался и говорил о том, что все было неправильно зачато, вожди армии не сумели сделать ее народной и потому белые и проиграли. Теперь — я был сторонником замирении России. Он — наоборот, никакого замирения не хотел, говорил, что Белая армия спасла честь России, против чего я не возражал: сам участвовал в спасении чести. Но конечной целью войны должно было быть ведь не спасение чести, а — победа. Ее не было. Эфрон возражал очень страстно, как истый рыцарь Белой Идеи. Марина Ивановна почти не говорила, больше молчала. Но была, конечно, не со мной, а с Эфроном, с побежденными белыми. В это время у нее был уже готов сборник “Лебединый стан”:

Не лебедей это в небе стая:
Белогвардейская рать святая
Белым виденьем тает, тает:
Старого мира последний сон:

Молодость — Доблесть — Вандея — Дон…

И как это ни странно, но всем известно, чем кончил апологет белой идеи Сергей Эфрон в эмиграции. Вскоре он стал левым евразийцем (не с мировоззренческим, а политическим уклоном, как кн. Д.Святополк-Мирский, ПАрапов и др.), потом — председатель просоветского Союза возвращения на Родину и ультрасоветский патриот, а потом стряслось нечто страшное: его связь с какими-то советскими чекистами, и Эфрон принял участие в убийстве в Швейцарии беглого троцкиста-невозвращенца Игнатия Раиса. Я уверен, что Марина Ивановна *не была посвящена ни во что* из этой жуткой, грязной и мокрой истории Эфрона. Жена Азефа не знала, что ее муж — долголетний предатель и убийца множества своих товарищей. А Марина? На допросе ее парижской полицией — после убийства Раиса и бегства Эфрона в Советский Союз — полицейские сразу увидели её полную неосведомленность в том, что делал ее муж Эфрон, и отпустили ее на все четыре стороны. Бежавшего “на Родину” (с большой буквы) Сергея Эфрона. чекисты не сразу, а года через полтора расстреляли: по-деловому, по-гангстерски: убил, а теперь — “концы в воду”, и шлепнули его на его “евразийской родине”.

Бывая у Марины Ивановны, я видел ее дочь Алю. Аля производила впечатление странного ребенка, какого-то диковатого, держалась с людьми молчаливо, неприветливо. Она вернулась в Советскую Россию еще раньше Эфрона и отбыла там ни за что ни про что большой срок в концлагере.

Когда Марина Ивановна (в тот же год нашей встречи) переехала из Берлина в Мокропсы, под Прагой, у нас завязалась переписка. Но длилась не очень долго. В “Новом журнале” я опубликовал некоторую часть ее писем, считая, что другие печатать не нужно. Марина Ивановна вечно нуждалась в близкой (очень близкой) дружбе, даже больше — в любви. Этого она везде и всюду душевно искала и была даже неразборчива, желая душевно полонить всякого. Я знаю случай, когда она нежно переписывалась с одним русским берлинцем, которого никогда в жизни не видела. Из этой переписки ничего, разумеется, кроме ее огорчений не вышло. Мне писать Марина Ивановна стала довольно часто. Я отвечал, но, вероятно, не так, как она бы хотела. И в конце концов переписка оборвалась после письма Марины Ивановны, что больше она писать не будет, ибо чувствует, что мне отвечать ей в тягость.

Но одно время Цветаева попросила, чтобы я пересылал ее письма в Москву для Бориса Пастернака (прямо писать не хочет, чтобы письма не попадали “в руки жены”). Борис Пастернак тогда приезжал в Берлин, тоже сидел с Эренбургом в Прагердиле. В

Берлине в издательстве “Геликон” он выпустил “Темы и вариации”, “Сестру мою жизнь”. Марина его никогда не видела. Но полюбила страстно и как поэта, и ей казалось, что любит его и как женщина. Цветаева написала тогда (в Чехии) громокипящий панегирик Пастернаку — “Световой ливень”. Письма, которые она присылала для Пастернака, я должен был отсылать своему знакомому в Москве, верному человеку, а он — передавать по назначению, Причем Марина Ивановна просила, чтоб я эти письма обязательно читал. Я читал все эти письма. Они были необычайным *литературным* произведением, причем эта литература была неистовой. Помню, в одном из писем Марина Ивановна писала, что у нее родился сын (это Мур, во время войны расстрелянный в СССР за какой-то воинский проступок, кажется за опоздание с возвращением в воинскую часть) и что этот Мур родился *от Пастернака* (которого Марина не видела, но это неважно, Цветаева любила — мифы, неистовства, и расстояние тут роли не играло).

Марк Слоним, который очень дружил с Мариной в Праге, в воспоминаниях о ней рассказывает о том же вечном неутолении любви, о жажде дружбы до конца. Дружа со Сло-нимом, Марина внутренне требовала от него большего, чем дружба, а Слоним… Слоним этого дать ей не мог: он женился на очень милой, интересной женщине Татьяне Владимировне. Это — как “измена” — вызвало взрыв негодования Марины, вылившийся в блистательное, по-моему, самое замечательное ее стихотворение “Попытка ревности”:

С пошлиной бессмертной пошлости,

Как справляетесь, бедняк…

Думаю, что в Марине было что-то для нее самой природно-тяжелое. В ней не было настоящей женщины. В ней было что-то андрогинное, и так как внешность ее была непривлекательна, то создавались взрывы неудовлетворенности чувств, драмы, трагедии.

После того как наша переписка прекратилась, я увидел Марину Ивановну уже в Париже в 1933 году. Она давала вечер своей поэзии. Мы с женой пошли, Я уже знал, что Эфрон ультрасоветский, поэтому не хотел встречаться и с Мариной. Но мы все-таки встретились, когда после вечера случайно вместе выходили на улицу. Марина Ивановна мне сказала: “Приезжайте как-нибудь к нам, я буду рада”, — и дала адрес. Но я не поехал к ней, ибо не хотел встречаться с Эфроном.

Дальнейшее… Оно теперь общеизвестно. Материально тяжелая жизнь Марины в Париже кончилась трагически. После бегства Эфрона, оставшись одна (с сыном Муром), Марина

решила ехать в Советский Союз. Не знала, что дочь попадет в концлагерь, а муж скоро будет расстрелян. В Советском Союзе власти встретили ее недоброжелательно, а потому и писатели по генеральной линии сверху — тоже отнеслись недоброжелательно. Асеев даже отказался ее принять (перестраховывался чересчур!). Многие ее не приняли и не помогли. Под конец Марину Цветаеву — знаменитого русского поэта — загнали в дикую глухомань, в Елабугу, где она должна была мыть посуду в какой-то столовке. Кончилось — петлей и безымянной могилой. А ведь незадолго до отъезда эмигрантка Цветаева писала; “Мои русские вещи<…> и волей не моей, а своей рассчитаны на множества<…> В России как в степи, как на море есть откуда и куда скакать<…> Там бы меня печатали — и читали…” В России — да. Но Цветаева приехала в иную страну, которая называется — Союз Советских Социалистических Республик, и здесь ей вместо “печатали и читали” предложили повиснуть в петле (за ненадобностью).

Теперь мы знаем истинную причину ее самоубийства. Ею вовсе не было предложение стать судомойкой в столовке в Елабуге. Всю свою жизнь Цветаева делила меж творчеством и черным (домашним) трудом. Но весьма сведущий в сих делах старый энкаведист Кирилл Хенкин в книге “Охотник вверх ногами” сообщает истинную причину ее “петли”. Оказывается, елабужский уполномоченный НКВД предложил Цветаевой “ему помогать”, т. е. “доносительство”, т. е. попросту “стать стукачкой”. Тут для Цветаевой выхода не было. Она предпочла крепкий гвоздь и веревку. “В России меня бы печатали и читали…”. Ошиблась Марина Ивановна…

Что сказать о Цветаевой? Цветаева, конечно, большой поэт и большой, образованный, блестяще-умный человек. Общаться с ней было действительно подлинным платоническим наслаждением. Но иногда у Марины Ивановны, как у всякого смертного, проскальзывали и другие, сниженные черты. Когда-то Адамович, полемизируя с ней, написал, что в творчестве Цветаевой есть что-то не вечно-женственное, а вечно-бабье. Не знаю, можно ли было такую вещь написать, в особенности Адамовичу. Но не в творчестве, а в жизни у Цветаевой вырывалась иногда странная безудержность. Например, она мне писала в одном письме какие-то не долженствующие быть в ней, сниженные вещи о том, как у нее начиналась “большая дружба” с Эренбургом, как им “были сказаны все слова”, но как Эренбург предпочел ей другую (“плоть!”) женщину. Это были вульгарные (для Цветаевой) ноты. Но Адамович-то был неверен в своей грубости, ибо писал о Цветаевой-поэте. А в творчестве своем Цветаева, наоборот, была, я бы сказал, мужественна.

Женственные ноты в ее лирике прорывались не часто, но когда прорывались, то прорывались прекрасно. Я больше всего люблю лирику Цветаевой, а не ее резко-ритмические, головные ритмы (хотя Белый восхвалял именно ее “непобедимые ритмы”).

Ну вот. Конец. Осталась у меня в памяти Цветаева как удивительный человек и удивительный *поэт*. Она никак не была *литератором*. Она была каким-то Божьим ребенком в мире людей. И этот мир ее со всех сторон своими углами резал и ранил. Давно, из Мокропсов она писала мне в одном письме: “Гуль, я не люблю земной жизни, никогда ее не любила, в особенности — людей. Я люблю небо и ангелов: там и с ними я бы сумела”. Да, может быть.

“Ледяной поход”

Конец “Жизни” для меня был финансовым крахом. Гроши, что получал за статьи в “Голосе России” или “Времени” у милейшего Григория Наумовича Брейтмана (бывшего редактора киевских “Последних новостей” и автора потрясающих бульварно-детективных рассказов), — были грошами. Но голенький ох, за голеньким Бог. В “Архив русской революции”, выходивший толстенными томами под редакцией И.Б.Гессена, я продал свои воспоминания о Киеве — “Киевская эпопея” (см. том 2). Русские издательства тогда прилично платили, и это была передышка. А засим издательству С.А. Ефрона продал “Ледяной поход”, Семен Абрамович Ефрон, приятный, пожилой, с сильной проседью, тяжеловатый (по весу) человек был издателем еще в России. И, став эмигрантом, начал издавать книги в Берлине. Другого ничего делать не умел. Тогда в Берлине было около тридцати русских издательств.

Когда я пришел к С.А. с “Ледяным походом”, он принял меня любезно и, взяв рукопись, сказал, чтоб я зашел за ответом недели через две. Две недели я жил в “тревожном ожидании”. Мне было двадцать пять лет. Будучи по природе человеком (по-моему) скромным, я просто не верил, что *у меня выйдет книга!* Через две недели придя за ответом, я, разумеется, волновался. Сели. С.А. говорит:

Знаете что, Роман Борисович, рукопись ваша, конечно, интересна, и я бы ее издал, но есть одно “но”.Какое же?

— Видите ли, у вас очень много неприличных слов.

Я обмер.

— Ну, Семен Абрамович, — говорю, — они же обозначены многоточиями?

— Да, многоточиями, но читатель все-таки понимает, что это за слова, и читателю это неприятно. Вот, например, я дал прочесть нашей секретарше, Марии Абрамовне Шайкевич, так она, представьте себе, не могла даже дочитать, было шокирована.

Разумеется, и Семен Абрамович, и тем более Мария Абрамовна никакой гражданской войны не видали и не знали, что этот “неприличный” язык (а он действительно неприличен!) был обиходным языком гражданской войны. На этом языке мы говорили и в мировую, и в гражданскую. Но С.А. был по-своему, очевидно, прав. К тому же он — “капиталист”, он сильнее.

— Знаете что, Р.Б., — сказал Ефрон, — возьмите-ка вы рукопись и попробуйте выправить именно в этом смысле, а тогда приносите.

Я взял рукопись, Но духом пал: не издаст, думал я. Выправлял я недели две, удаляя все “скверные многоточия”, кое-где лишь оставил. И через две недели принес С.А. Он обещал дать быстрый ответ. Через несколько дней вызвал меня. На столе лежал — договор, приятный уже тем, что был *первым договором на книгу,* и тем, что я получал аванс, кажется, в тысячу марок. Для меня это было целое состояние. И книга, и деньги. Я был неописуемо радостен.

Вскоре “Ледяной поход” вышел. Книга имела (скажу без скромности) большой успех, но особый. Многие бывшие военные отнеслись к ней неприязненно. Я-де сгустил краски, я-де слишком много пишу о темных сторонах и т. д. Это были круги РОВСа (Русского общевоинского союза). Но я этого и ждал. Эти круги я хорошо знал и многого в них не любил. Я уважал таких генералов, как Головин, Врангель, Деникин, Ку-тепов, Миллер, были и офицеры, с которыми дружил. А не любил я те круги, из которых вышла пресловутая “Внутренняя линия”, они-то и верховодили в РОВСе.

Были и приятные отзывы. Как-то мне сказали, что приехавший в Берлин Максим Горький будто читал “Ледяной поход” и хорошо отозвался. Я написал Горькому, спрашивая, действительно ли он читал мою книгу? И быстро получил ответ, очень краткий: “Уважаемый г-н Гуль, я действительно читал Вашу интересную книгу…” и еще несколько слов. Меня эта “интересная книга” очень обрадовала. Я — мальчишка, первая книга, а тут — *сам Максим Горький,* мировая знаменитость, “всероссийский гигант”, автор всяких Буревестников, Челкашей, Мальв, песен о Соколе и прочее, пишет — “интересная книга”.

Был и такой факт. Встретился я как-то с издателем З.И. Гржебиным. Он тогда в Берлине начал грандиозное издательское дело в уверенности, что книги пойдут в Советскую Россию. Там он ворочал “Всемирной литературой”. Ему ворожили Горький, Луначарский, кто-то еще. Гржебин был вхож в сановные советские круги. И вот, когда я с ним здоровался, он с улыбкой говорит: “А я ведь вашу книгу в России еще видел”.— “Где же ее видели?” А Гржебин, улыбаясь: — “На столе у В.И.Ленина”. Я онемел, ибо не ожидал, чтоб моя книга попала на стол к самому псевдониму № 1. Правда, в газетах я читал, в интервью с каким-то иностранным корреспондентом на вопрос, чем он сейчас занимается, Ленин с усмешкой сказал; “Читаю книги господина Шульгина, — и добавил. — Надо изучать своих врагов”. Вероятно, после “изучения” Лениным Шульгина его “1920 год” и был переиздан Госиздатом в Москве. А о книге Аркадия Аверченко “Дюжина ножей в спину революции” Ленин даже высказался

публично, и какую-то книгу Аверченко тоже переиздали с предисловием Ленина. Стало быть “изучалась” и моя скромная книга. Это неплохо,

О “Ледяном походе” было много отзывов (и устных, и печатных). Но самым приятным был отзыв Юлия Исаевича Айхенвальда. Произошло это так. Айхенвальд, автор в свое время известной книги “Силуэты русских писателей” (и автор несправедливого отзыва о стихах Валерия Брюсова — “преодоленная бездарность”{6} приехал в Берлин среди высланных из России сорока четырех известных ученых, писателей и журналистов (всего выслали больше ста!). В Берлине уже существовал тогда русский “Дом искусств”, председателем коего был эдакий старичок-живчик поэт Николай Максимович Минский. Сначала “Дом искусств” собирался еженедельно в кафе “Ландграф” на Курфюрстенштрассе, потом в кафе “Леон” на Ноллендорфплац. Я бывал там всегда. В этот раз пришел почему-то рано, но там уже сидела некая поэтесса Тэтида, в свое время приятельница Макса Волошина. С Татидой все мы дружили — Офросимов, Иванов, я, Корвин-Пиотровский. Как всегда Татида сидела у входа — члены “Дома Искусств” проходили бесплатно, а с “фармацевтов” бралась плата. И вот в зал первыми входят два человека. Татида хочет взять с них как с “фармацевтов”. Я же сразу узнал Айхенвальда, которого запомнил еще по лекциям в России, и бросился к Татиде предотвратить неприличие. “Татида, — говорю, — это же Юлий Исаевич Айхенвальд!” Татида стала извиняться. Айхенвальд, улыбаясь, повернулся ко мне: “А откуда вы меня знаете?” — “Как откуда? Вас, Юлии Исаевич, вся Россия знает!” — Айхенвальд засмеялся: “А, простите, как ваша фамилия?” Я назвал и вдруг Айхенвальд удивленно; “Роман Гуль? Автор "Ледяного похода"? Я в Москве читал вашу книгу — прекрасная книга!” Я что-то благодарно промямлил, а он: “Книга там имеет успех, но *они, наверху,* ее тупо расценивают как какое-то разоблачение белого террора, по сути же она против гражданской войны вообще, а это вода вовсе не на их мельницу!”

В Берлине Ю.И.Айхенвальд сотрудничал в газете “Руль” как литературный критик. Писал под псевдонимом “Креме-ницкий”. Но Ю.И. недолго прожил. Он был очень близорук, и однажды, неудачно пытаясь перейти улицу, попал под колеса трамвая. Так, на берлинской улице, погиб русский известный писатель, выброшенный на чужбину “псевдонимами”.

Отзыв Ю.И. был приятнее всех других потому, что он прочел мою книгу *так,* как я ее писал. И Ю.И, был прав о воде и мельнице. Когда “Ледяной поход” переиздали в Советской России, у читателей он имел успех, но власти скоро сообразили,

на чью мельницу эта вода, и “Ледяной поход” исчез с книжного рынка и из библиотек, попав в “запретные фонды” как не соответствующий “генеральной линии” партии. Эту “линию” компартии по вопросу о войне совершенно точно выразил Сталин в письме к Максиму Горькому (Соб. соч. Сталина, т. 12), когда тот предложил начать издание журнала “О войне”. В то время советская печать была занята пропагандой о воинственности Франции и Англии и о том, что война вот-вот может вспыхнуть. Горький предлагал издание журнала, в котором хотел рисовать *ужасы* войны. Известный литературный критик А. Воронский, редактор “Красной нови”, идею Горького поддерживал. Но вот что Сталин ответил Горькому: “На книжном рынке фигурирует масса художественных рассказов, рисующих "ужасы" войны и внушающих отвращение ко *всякой* войне (не только к империалистической, но и ко всякой другой). Мы против империалистической войны, как войны контрреволюционной. Но мы за освободительную антиимпериалистическую войну, несмотря на то, что такая война, как известно, не только не свободна от "ужасов кровопролития", но даже изобилует ими < … > Мне кажется, что установка Веронского, собирающегося в поход против "ужасов войны", мало чем отличается от установки буржуазных пасифистов”. В 1936 году Сталин отравил Горького. Примерно в те же годы Сталин расстрелял Воронского.

После Второй мировой войны, в 1950 году, я получил из Германии, от советского перебежчика майора Бориса Ольшанского{7} письмо, которое начиналось так: “Многоуважаемый г-н Гуль, прошу простить за мое обращение к Вам, но, во-первых, Вы являетесь для меня одним из немногих русских людей в эмиграции, имя которых привык уважать давно, живя еще в Советском Союзе. Там мне пришлось прочесть вашу книгу “Ледяной поход” (с Корниловым), появившуюся в 20-х годах в советском издании…” Этот отзыв мне был ценен.

“Новая русская книга”

Прожив гонорар за “Ледяной поход”, я раздумывал: что же делать? Но опять подвернулся случай. Профессор А.С. Яшен-ко предложил работать секретарем редакции в его библиографическом журнале “Новая русская книга”. Л.С. Ященко сначала издавал библиографический журнал “Русская книга” в издательстве книжного магазина “Москва” А.С. Закса. В писательских и интеллигентских кругах журнал имел успех. Дошел даже до Александра Блока, удивившегося: “Откуда они все знают?!” В журнале печатались сведения о судьбах и работах русских ученых и писателей, как российских, так и зарубежных, Тогда еще “железного занавеса” не было, и вести получались легко.

Но “Русской книги” Яшенко выпустил всего девять номеров, и издание перешло к издательству И.П. Ладыжникова. Это было старое эмигрантское издательство. И.П. Ладыжников перепродал его Б.Н.Рубинштейну, русскому еврею, натурализованному немцу. Нам отвели удобное помещение на Аугсбургерштрассе. Это был какой-то склад книг, но для нас выделили и обставили хорошую комнату. Так началась “Новая русская книга”. Редактор — А.С.Ященко. Я — секретарь.

Профессор международного права А.С.Ященко был колоритной фигурой. И полной противоположностью В.Б.Станкевичу, типичному интеллигенту, немного не от мира сего. Ященко — крепкий *жилец,* без всяких интеллигентских “вывихов”. Среднего роста, крепко сшитый, физически сильный, с лысым черепом и невыразительным лицом, Яшенко был уроженец Кубани. Не то казак, не то иногородний, не знаю. Но подошел бы к запорожцам, которые у Репина “пишут письмо султану”. Ященко — грубоват и довольно бестактен (“киндерштубе” у него не было), но — деловой. Он никогда не расставался с кривой трубкой и любил говорить о себе. Окончил семинарию, потом университет и в конце концов стал профессором международного права, сначала в Пермском университете, а потом, когда либеральных, независимых профессоров правительство “потеснило”, Ященко заменил в Петербурге знаменитого философа права профессора Л.И.Петражицкого. Ященко был человек циничный и как-то сам мне рассказывал: “Знаете, что обо мне один раз написали? Что Ященко имел нахальство занять кафедру профессора Петражицкого!” И Ященко громко хохотал. Про себя я думал, что написали довольно справедливо, ибо, обладая профессорскими знаниями, Ященко никаким талантом и

идеями не блистал. И облик свой как-то в разговоре метко обрисовал сам. Он рассказал, что, когда был студентом-первокурсником, взял как-то словарь иностранных слов, открыл наугад и попал на слово “оппортунист” — “человек, приспособляющийся к обстоятельствам”. Громко смеясь, Ященко говорил: “И вы знаете, я прямо чуть не закричал: эврика! так ведь это же я!”. Это правда. Ященко был оппортунист. Так он не задумываясь сменил в Петербурге профессора Петражицкого. Так попал и за границу — очень рано, весной 1918 года — в Германию.

Официально это была “научная командировка за границу” от Пермского университета, а на самом деле, как он рассказывал, Ященко приехал с советской делегацией Иоффе для обсуждения с немцами каких-то дополнительных параграфов к Брест-Литовскому миру. В составе делегации были Менжинский, Красин, Ларин, кажется, Бухарин и еще кто-то. Но когда делегация должна была возвращаться восвояси, Ященко неожиданно “выбрал свободу”, заявив, что остается в Германии. “На последнем заседании, — рассказывал он, — я Менжинскому прямо сказал: А все-таки русский народ вам когда-нибудь оторвет голову! — А Менжинский, — говорит, — повернулся ко мне и так презрительно процедил: До сих пор не оторвал и не оторвет”. Увы, Менжинский, к сожалению, оказался прав и через шестьдесят лет.

В январе 1922 года в № 1 “Новой русской книги” А.С. Ященко писал: “Мы поставили себе задачей собрать и объединить сведения о русской и заграничной издательской и литературной деятельности. По мере сил своих мы стремимся создать из “НРК” мост, соединяющий зарубежную и русскую печать<…> Служить объединению, сближению и восстановлению русской литературы ставит себе задачей “НРК”.

Надо сказать, что “НРК”, по-моему, была прекрасным журналом. А редакция ее — интереснейшим местом. К нам приходило множество писательского народа: и высланные из Советской России профессора и писатели, и писатели-эмигранты, ставшие берлинцами, и писатели, приезжавшие из Советской России на время. Помню, вскоре после приезда в Берлин высланных из Советской России профессоров в редакцию пришла их группа: Бердяев, Кизеветтер, Сергей Гессен, Айхенвальд и еще кто-то, Ященко принял их очень радушно, но у него был грех — любил говорить, не давая собеседнику вымолвить слово. И тут началось именно такое словоизвержение на любимую тему — об отношении к революции. Я эту рацею Ященки слышал раз двенадцать, ему она очень нравилась. Вставляя меж слов

длительное “-э-”, Ященко громогласным и безапелляционным басом говорил: “Революция — это как подхватившая тройка. И, по-моему, просто глупо пытаться эту тройку сдержать. Что же делать? А взять плеть и нахлестывать по всем по трем. Пусть скачет. Врет — умается. И когда тройке придет крышка, вы спокойно берете вожжи и выезжаете на дорогу…” Я видел, что высланным из России профессорам эти не очень блестящие речи о тройке были и неинтересны и даже могли восприниматься как бестактность. Из вежливости они молчали. Но вдруг Кизеветтер, как-то неловко ерзая на стуле, перебил Ященко знаком руки и вежливо говорит: “Простите, пожалуйста, скажите, можем ли мы видеть профессора Александра Семеновича Ященко?” Ященко, конечно, понял тонкий ход, и лицо, и лысина его покраснели, но он деланно захохотал, проговорив: “Так ведь это же я и есть Ященко!” — “Ах, это вы, извините, пожалуйста!”, — мягко сказал Кизеветтер. Пришедшие засмеялись вместе с Ященко, но после интервенции Кизеветтера красноречие Ященко кончилось и все перешли к делу. Оказывается, они пришли за информацией об ИМКА, к кому там обратиться и прочее. А Ященко был в курсе дел, ибо в ИМКА вел какую-то работу по заочным курсам и всех там знал.

Помню, как пришел в “НРК” только что приехавший из Советской России Владислав Ходасевич. Он был страшно худ, с неприятным лицом вроде голого черепа и с довольно длинными волосами. С Ященко они были хороши еще по Москве, по каким-то литературным сборищам у Брюсова. Встретились очень дружественно, разговор пошел о том о сем, потом, помню, Ходасевич говорит: “А знаете, Александр Семенович, я кажется опять сделал глупость”. — “Какую?” — “Да вот женился опять”. — “На ком же?” — “Да на поэтессе на одной, начинающей. Мы как-нибудь зайдем вместе”. И пришли. “Поэтесса” была малоприятным, толстоватым существом с довольно злым лицом. Просидела не вымолвив ни слова.

Ходасевич заходил часто в “НКР”. Один раз он меня крайне удивил, сказав Ященке: “Александр Семенович, только пожалуйста, если будут у вас рецензии о моих книгах, чтобы никаких неприятных резкостей. Я же ведь хочу возвращаться”. Ходасевич всерьез хотел вернуться в РСФСР, но из этого, помимо его воли, ничего не вышло. В Москве его разнес как “врага народа” какой-то казенный критик, а потом сам Лев Давыдович Робеспьер отозвался о Ходасевиче крайне презрительно. Так что, к счастью для русской поэзии (и для самого Ходасевича), положение в смысле “вернуться” пошатнулось. Вместо РСФСР Ходасевич из Берлина ездил по Германии, по Италии, а потом

завалился гостить к Горькому в Сорренто, откуда в 1925 году — в Париж. И там, став настоящим эмигрантом, Ходасевич дал русской поэзии прекрасную “Европейскую ночь”, а русской прозе — “Державина” и “Некрополь”.

Очень часто в “НКР” приходил Алексей Толстой, переехавший в Берлин из Парижа. С Яшенко они были старые, неразрывные друзья. Толстой называл Яшенко Сандро, а Ященко его — Алешка иль Алексей. Душевно, натурно они были очень схожи, оба циники, оба “жильцы”. Все, что Бунин в “Воспоминаниях” пишет о Толстом — “Третий Толстой”, — верно. С Толстым в Берлине я довольно часто встречался, бывал у него и на Курфюрстендамм, и на Белъцигерштрассе. Надо сказать, художественно талантлив Толстой был необычайно. Во всем — в писании, в разговоре, в анекдотах. Но в этом барине никакой тяги к какой бы то ни было духовности не ночевало. Напротив, при внешнем барском облике, тяга была к самому густопсовому мещанству, а иногда и к хамоватости. Бунин верно отмечает Алешкину страсть к шелковым рубахам, роскошным галстукам, к каким-то невероятным английским рыжим ботинкам. А также — к вкусной еде, дорогому вину, ко всякому “полному комфорту”. Помню, Толстой, рассказывая что-то смешное Ященке, сам говорил: “Признаюсь, Сандро, люблю "легкую и изящную жизнь" (это он произносил в нос, изображая фата), для хорошей жизни и сподличать могу…” — и он заразительно-приятно хохотал барским баритоном,

“Дольче вита” могла с Толстым сделать все что угодно. Тут он и рискнул вернуться в РСФСР, и халтурил там без стыда и совести, и даже лжесвидетельствовал перед всем миром, покрывая своей подписью чудовищное убийство Сталиным тысяч польских офицеров в Катыни. Je m’en fous — было любимой присказкой Толстого в разных трудностях жизни. Переводить по-русски его присказку не решаюсь — весьма нецензурна. Помню, как-то мы с Яшенко шли по Курфюрстендамм к нашей редакции на Аугсбургерштрассе. Навстречу — Толстой. Ященко, смеясь, говорит: “Ну что, Алешка, выкинули тебя за "Накануне" из Союза писателей и журналистов?”. Толстой (он всегда был немножко актер, и хороший актер) удивленно уставился на Яшенко, будто даже не понимая, о чем тот говорит. Потом харкнул-плюнул на тротуар, проговорив: Je m’en fous. Да что такое вся эта эмиграция?.. Это, Сандро, пердю монокль — и только…” Свое самарско-французское изобретение — perdu monocle — Толстой употреблял часто с самыми разными оттенками.

Как-то в редакции Ященко рассказал мне мелкий смешной эпизод из его дружбы с Толстым. Толстой собирал трубки, это

была страсть. Ященко — тоже. У Толстого была какая-то трубка “Донхилл”, которая нравилась Ященко, и Ященко наконец ее выпросил. В слабую минуту Алешка дал, но потом затосковал. И вот, говорит Ященко, как-то утром вдруг приходит ко мне Алешка ни свет ни заря. Я еще в постели. Вижу — начинает он по сторонам зыркать, я сразу сообразил, зачем он пришел. И только успел я вскочить с постели, как Алешка бросился к этой трубке. Но я, говорит, успел ее у него вырвать.

В Берлине Толстой издал много своих книг. Он был необычайно трудолюбив, работал каждое утро, писал сразу на пишущей машинке, потом редактировал и переписывал. Ященко говорил, что Толстой при работе повязывал голову “ментоловыми компрессами”. Здесь он переиздал три тома прежних вещей (“Хромой барин”, “Лихие годы” и другие), издал “Избранные сочинения”, “Повесть о многих превосходных вещах”, “Хождение по мукам” (Ч. 1), “Аэлита”, “Рукопись, найденная среди мусора под кроватью”, “День Петра”, “Лунная сырость”, “Утоли моя печали”, “Китайские тени”, “Любовь — книга золотая”, “Горький цвет”, “Нисхождение и преображение” и другие.

Расскажу, как в “НРК” Ященко мирил Толстого с Эренбургом. Эренбург бывал у нас часто. Я тогда с ним был в хороших отношениях. Встречался и в Прагердиле на Прагерплац, где он жил наверху в пансионе с женой Любовью Михайловной. Иногда бывали вместе в ресторане. Тогда Эренбург был совсем не то, что много позднее. Это был Эренбург “Хулио Хуренито”. Этот роман он тогда закончил. Напомню о “Хуренито” хотя бы одной цитатой: “После длинных раздумий Хуренито решил — это было 17 сентября 1912 года — что культура — зло и с ней надлежит всячески бороться, но не жалкими ножами пастухов Сапаты, а ею же вырабатываемыми орудиями. Надо не нападать на нее, но всячески холить ее язвы, расползающиеся и готовые пожрать полугнилое тело. Таким образом, этот день является датой постижения Хуренито своей миссии — быть великим провокатором”.

Насколько Эренбург тогда был свободомыслен, показывает хотя бы такой факт. Были мы как-то в ресторане “Шванненэк” большой компанией, был с нами и известный немецкий писатель Леонард Франк, очень милый человек. Кто-то завел разговор о “дон-жуанском” списке Ленина, об Инессе Арманд и прочее. Саркастически улыбаясь, Эренбург сказал: “Достаточно посмотреть на Крупскую, чтобы понять, что Ленин никогда не смотрел на женщин”. Все рассмеялись. Тогда такое кощунство у Эренбурга было естественно. Впоследствии о “великом кормчем” он писал не иначе, как о “гении человечества”.

Известно, что в довоенной эмиграции в Париже Эренбург часто встречал Ленина и, как говорится, терпеть его не мог. Ленин, в свою очередь, терпеть не мог “этого лохматого”, как презрительно называл Эренбурга (о чем свидетельствует Крупская). Что Эренбург был всегда лохматый, грязноватый (да и к тому же без передних зубов) — сущая правда. В Париже во времена ленинской эмиграции Эренбург издавал собственный журнальчик под названием “Тихое семейство” и там писал о Ленине беспощадно. Однажды поместил даже карикатуру, изображавшую “великого кормчего” в фартуке с метлой в руке, и с подписью: “Старший дворник”, а о “великом труде” Ленина об эмпириокритицизме Эренбург писал: “Пособие, как в шесть месяцев стать философом”. Журнал “Тихое семейство” Эренбург писал от руки и размножал на гектографе. Так что от авторства никак не отвертишься. В архиве Б.И.Николаевского (а теперь, наверное, в Гувер-лайбрери) был полный комплект “Тихого семейства”, который я с удовольствием проштудировал. Но “Тихое семейство” выходило в “те баснословные года”… К позднему Эренбургу, ставшему не только панегиристом “старшего дворника”, но, думаю, и просто порученцем НКВД (за что говорят некоторые факты), я еще вернусь.

В Берлине Эренбург издал много книг: “Хулио Хуренито”, “Трест Д.Е.”, “Жизнь и гибель Николая Курбова”, “13 трубок”, “Неправдоподобные истории”, “Шесть повестей о легких концах”, “Звериное тепло”, “Отреченья”, “Золотое сердце”, “Лик войны”, “А все-таки она вертится” и другие.

А теперь — поучительная история, как Ященко помирил Толстого с Эренбургом. Помирил ловко, зная и того и другого и вообще недуги писательских душ. Толстой Эрен-бурга ненавидел, а когда-то были хороши. Помню, раз придя в редакцию, Толстой говорит мне: “Роман Гуль (он почему-то всегда меня так называл), зачем вы пишете хвалебно об этой сволочи? (Я напечатал несколько положительных рецензий в “НРК”). Вот так ведь и делается реклама, а он же и не писатель вовсе, а плагиатор и имитатор. Хотите знать, как он написал свой "Лик войны"? Попросту содрал всякие анекдоты, "пикантности" и парадоксы с корреспонденции французских газет — и получился "Лик войны". Это же фальшивка!”

Эренбург не оставался в долгу и о Толстом говорил не иначе как с язвительной иронией — старомоден. Для их примирения Ященко избрал такой метод. Приходит Толстой. То да се. Ященко вдруг так, к слову, роняет: “Вот, Алешка, ты ругаешь Эренбурга, а он у нас вчера был и говорит: знаете, я Толстого не люблю, но последняя его вещь, должен сказать, превосходна! Ничего не

скажешь!” — Я молчу, но вижу, что Толстой верит, и ему приятно, хоть для приличия и говорит: “Ты врешь, Сандро?” — “Да вот Роман Борисович свидетель”. Толстой что-то хмыкает, но я вижу, что клюнул.

Заходит Эренбург. Разговор о том о сем, и в разговоре Ященко запускает другого ерша: “Вот, Илья Григорьевич, вы ругаете Толстого, говорите, что старомоден и все такое. И он это знает, а вот вчера он был здесь и говорил: "Ты знаешь, не люблю я твоего Эренбурга, но последняя его вещь — надо сказать — замечательна! “Хулио Хуренито” — это класс!"”. И я вижу, что Эренбург верит. И ему приятно.

В конце концов Ященко добился своего: у Толстого и Эренбурга отношения возобновились, и Ященко, хохоча, говорил мне, что у него это для писателей проверенный метод, ибо все слабоваты в “этом самом местечке”.

В “Новой русской книге” я познакомился с Андреем Белым. Он приходил довольно часто, печатал в журнале статьи, дал свою автобиографию. Среднего роста, не худой, не полный, с полудлинными пушистыми волосами, раздуваемыми при его резких движениях, с большим лбом, переходящим в лысину, с какими-то блуждающе-разверстыми глазами, Белый производил странное впечатление, причем чувствовалось, что в эту “странность” он еще слегка и подыгрывает. В Советской России Василий Казин писал о нем:

Все жесты, жесты у него,
От жестов вдохновенно пьяный…

Это верно: в общении Белый держался “на жесте”. Может быть, с близкими людьми он был и попроще, хотя вряд ли у Белого даже могли быть “действительно близкие” люди. Казалось, что Белый из тех, кто рожден “одиночкой”. Люди ему, может быть, вовсе и не нужны. Н.В.Валентинов (Вольский), в молодости очень близко знававший Белого, как-то, смеясь, говорил мне: “Белый ведь как ангел — голова, кудри, плечики, начало туловища, а дальше ничего нет!”. При всем том Белый был, конечно, замечателен и “уникален”. Интересно рассказывает о тогдашнем Белом Марина Цветаева. На Белого все “смотрели, верней: его смотрели, как спектакль, сразу бросая его одного, как огромный Императорский театр, где остаются одни мыши”. Вот в Берлине они залетели куда-то, на какую-то большую высоту, на какую-то башню. “Стоим с ним на какой-то вышке, где — не помню, только очень, очень высоко, И он, с разлету беря меня за руку, точно открывая со мной мазурку:

— Вас не тянет броситься? Вот так (младенческая улыбка…) кувыркнуться?

Честно отвечаю, что не только не тянет, а от одной мысли мутит.

— Ах! Как странно! А я, я оторвать своих ног не могу от пустоты! Вот так, — сгибается под прямым углом, распластывая руки… — И еще лучше (обратный изгиб, отлив волос) вот так…"

Страшный "потрясатель основ российской империи", славословящий буревую стихию революции, скиф, "левый эсер", Белый в Берлине, увидав у Марины Цветаевой на столе фотографию царской семьи, схватил ее, говоря: "Какие милые… милые, милые, милые!., люблю тот мир…"

В Берлине тогда Белый был в особо взвинченном и трагическом душевном состоянии. Прежде всего он сам не знал, возвращаться ему в РСФСР иль оставаться в эмиграции. В припадке душевной и духовной затормошенности (это его выражение) он вызвал тогда из Швейцарии свою жену Асю Тургеневу, антропософку, рьяную последовательницу Рудольфа Штейнера, "доктора", как раздраженно Белый называл его впоследствии. Правда, Тургенева где-то напечатала, что никогда "женой Белого" не была, что это все создало воображение Белого, но в Берлин приехала, и их встреча обернулась для Белого пущей трагедией. Ася в Берлине увлеклась совсем уж не антропософом "ни с какой стороны", поэтом-имажинистом А.Кусиковым, тогда приехавшим из Москвы, ни на Штейнера, ни на Белого вовсе не похожим. Так, встреча с Асей лишь усилила неуравновешенность Белого.

Выразилось это странно: в сумасшедшем увлечении танцами. Тогда в Берлине в любой пивной молодежь танцевала шибер, яву, джимми — это все прародители рок-энд-ролла. И Белый на старости пустился в отчаянный пляс — по пивным, по танцулькам. Он, конечно, подвел под это некую "философическую" мистику, так что Марина Цветаева назвала танцы Белого "христопляской". По-моему же, это было просто обыкновенное несчастье необыкновенного человека. Я, слава Богу, не видел танцующего Белого. И не жалею. Те, кто его танцы видели, говорили, что это было весьма тягостное зрелище.

И в то же время Белый в Берлине очень много работал: он выпустил новые редакции своих знаменитых романов "Петербург", "Серебряный голубь" и "Глоссалолию. Поэму звуков" (правильно — "Глоссолалия". *Ред.)* в русском издательстве "Эпоха". В издательстве "Геликон" — "Записки чудака", "Путевые заметки", в парижских "Современных записках" опубликовал "Преступление Николая Летаева", выпустил несколько

стихотворных сборников: “После разлуки”, “Стихи о России”, толстый том своих старых стихотворений и замечательную поэму “Первое свидание” (в издательстве “Слово”), опубликовал и множество статей, всегда двоящихся, как, например, “Культура в современной России” (“НРК” № 1): “Культурная жизнь современной России представляет собой пеструю смесь противоречий и крайностей; красота переплетается с безобразием, головные утопии с конкретнейшими достижениями в области искусства, забота о куске хлеба, одежде, дровах переплетается с мыслями о Вечности и Гробе; смерть и воскресение, гибель и рождение новой культуры — все это столкнуто…”

Как-то раз мы вместе с Белым вышли из редакции “НКР”, жили мы примерно в одном районе, недалеко от Виктория-Луизенплац. На Тауенцинштрассе Белый показал мне кивком головы на какого-то седовласого немца в черной крылатке, проговорив: “Взгляните, настоящий рыцарь Тогенбург!” Мне пришлось “более-менее” согласиться. Когда мы дошли до дома Белого, он неожиданно проговорил: “Зайдемте ко мне, я хочу подарить вам мои книги!” Я поблагодарил. Мы поднялись в какой-то пансион. Комната Белого была завалена книгами. “Что вы хотите, чтоб я вам подарил?” Я не был скромен, взял два тома “Петербурга” и “Серебряного голубя”. Белый присел к столу и надписал по-русски преувеличенно: “Дорогому и т. д.”, хотя никаким “дорогим” я ему не был, но русские писатели (в противоположность иностранным) любят такие гиперболы. Я поблагодарил и вскоре ушел, ибо видел, что этот “жест” не должен длиться. Жалею, что книги Белого пропали; я их (вместе с другими ценными) дал “в залог” в Тургеневскую библиотеку в Париже, ибо денег у меня не было. А во время войны вступившие в Париж немцы увезли всю библиотеку в Германию, и она погибла там при бомбежке{8}. А была замечательная, основанная еще И.С.Тургеневым.

В Берлине Белый выступал несколько раз с публичными докладами. Публики всегда было много. Но когда Белый касался политических вопросов, начиналась несусветная какафония. Он готов был и проклинать большевиков и восславлять. И ничего понять толком было нельзя. И все, думаю, потому, что он сам не знал, куда же ему, Андрею Белому, в этой мировой катастрофе деваться?

Россия, Россия, Россия,

Безумствуй, сжигая меня!

Она его и сожгла. По-моему, Белый был безволен как ребенок, как юрод. Он умолял Марину Цветаеву, уехавшую из

Берлина в Прагу, устроить ему там правительственную стипендию для дальнейшей литературной работы. И как это ни странно, сама столь непрактичная, Марина через кого-то устроила Белому и квартиру, и стипендию и с радостью послала ему телеграмму. Но телеграмма опоздала: *в этот день Белый уехал… в Москву*. Его “убедила” приехавшая а Берлин из Москвы Клавдия Васильева, старый друг по антропософским увлечениям, ставшая в Советской России его женой. Конечно, большевицкой Москве Белый вовсе не нужен, даже обременителен (антропософов большевики всех пересажали в тюрьмы и концлагеря). Но *факт отъезда* Белого из эмиграции в Москву был, разумеется, большевикам нужен. И проведен ловко. В Советской России Белый был вынужден писать несвободно, искаженно, представлять себя каким-то революционером, “родственным марксизму”, и все написанное им там носит эту печать внутренней несвободы, рабства. условия жизни заставили Белого писать письмо советскому “прокурору Катаняну”. Дошел Белый и до унизительного письма Иосифу Виссарионовичу; “Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович, заострение жизненных трудностей и бесплодных хлопот вызвало это мое письмо к Вам, если ответственные дела не позволят Вам уделить ему внимание, Вы его отложите, не читая…” Незадолго до смерти Белый написал письмо и “в Совнарком”, все в заступничестве за преследуемых друзей-антропософов (и в частности, за свою жену Клавдию Николаевну Васильеву).

В “Новой русской книге” я напечатал литературно-критическую статью о творчестве Белого, но сокращенную. Полностью она вышла брошюрой в берлинском издательстве “Манфред”. Знаю, что Белый ее в Берлине читал и она ему не понравилась. Да и не могла. А вот Владислав Ходасевич, встретив меня на улице, сказал: “Прочел вашу работу о Белом. По-моему, вы там верно что-то в нем нащупали”. В те дни я увлекался эротическим подходом к литературе. Но когда позднее я написал такую же работу о Ходасевиче и ему о ней пересказала, уже в Париже, его старый друг Нина Ивановна Петровская (с которой я тоже дружил, и об этой “Ренате” из “Огненного ангела” я еще буду говорить), Ходасевичу это вовсе не понравилось. Статью о нем я долго не решался публиковать и напечатал только в Нью-Йорке в 1973 году, в своем сборнике статей “Одвуконь”, да и то в смягченном и расплывчатом варианте, изменив заглавие (неудачно, по-моему). Первоначально она называлась лучше, но уж очень как-то “медицински”. Не хочу даже приводить.

В связи с моей статьей об А.Белом — вспоминаю. После собрания в “Доме искусств” сидели мы как-то в ресторане у

стойки бара: я, Ю.Офросимов, Ф.Иванов и художник Лазарь Меерсон. Были в хорошем настроении. Вижу — в глубине ресторана встали и идут к выходу (в нашу сторону) А.Толстой и А.С. Яшенко. Возле нас остановились. Присели на высокие стулья. Толстой сел рядом со мной и говорит: “Только вчера прочел, Роман Гуль, вашу статью о Белом. Верно. Очень верно прощупали, Вообще весь подход — верный. Искусство, конечно же, в основе своей — эрос”. Я поблагодарил. Завязался разговор. Толстой, по-моему, был подвыпивши, очень разговорчив. “Вот, — говорит, — Макс Волошин. Я ведь Макса как облупленного знаю. Талант. Большой талант. Но, заметьте, все — эпика или… так, беспредметная лирика. А почему? Да потому лее, что у Макса…” (и Толстой довольно нецензурно рассказал о якобы неком анатомическом недостатке Волошина, причем показал на свой мизинец и дважды на свою голову).

Рассказ его вызвал сдержанные улыбки… “Ну, да, ну, да, — продолжал Толстой, — в этом же ведь все дело: "В дождь Париж расцветает, как серая роза" — прекрасно, совершенно прекрасно, но *любовной-то лирики* у него нет ни строчки… и *все поэтому…”* Мне захотелось подразнить Толстого, я сказал: “А знаете, Алексей Николаевич, о ком я сейчас пишу?” — “О ком?” — “О вас”. Толстой как-то даже смутился (чего я в нем не подозревал). — “Ну, это вы бросьте, Роман Гуль, бросьте, у меня ничего интересного на эту тему нет… бросьте…” Я засмеялся. И Толстой понял, что я его “разыгрываю”. Но он был прав, в его творчестве ничего интересного для эротического подхода к литературе не было. В особенности уж в “Аэлите” и прочей “коммерческой” литературе, чем он тогда занялся. А на самом деле я писал тогда о поэзии А.Блока (в ней, конечно, острейший материал!), только так и осталась в черновиках эта статья. Я охладел быстро к этому *подходу,* хотя, думаю, что в нем есть какая-то *несомненная верность.*

Часто в “НРК” приходил тишайший Борис Константинович Зайцев. С Ященко они были хороши по Москве. Иногда он заходил со своей энергичной, остроумной женой Верой Алексеевной. В Берлине Зайцев издал три тома своих старых рассказов и пьес (“Тихие зори”, “Сны”, “Усадьба Ланиных”). В “НРК” мое знакомство с Зайцевым было поверхностным. Позже, во Франции, я узнал его ближе, когда после Второй мировой войны мы оба работали в парижском “Союзе русских писателей и журналистов”: он председатель, я — товарищ председателя. Но это относится к главе “Россия во Франции”.

Заходил в “НРК” Алексей Михайлович Ремизов, на которого всякому любопытно было посмотреть и которого всякому стоило

послушать. Вроде карлика, угловатый, “футуристический”, весь “сделанный”, как и его проза — с завитками и завитушками. Конечно, Ремизов своеобразный прозаик и в литературе занял свое место, но я никогда не был поклонником его таланта; нравилась мне только его “Взвихренная Русь” (Временник 1917–1921 гг.). Ремизов — хитрюга и ловкач. Любил, чтоб о нем писали (хвалебно, конечно). Посему, наверное, вскоре и Ященко и я получили из его Обезвелволпала (Великой Обезьяньей Вольной Палаты) превосходные грамоты, удостоверяющие, что мы возведены в кавалеры 1-й степени сего фантастического, придуманного Ремизовым, ордена. Ященко — *с* заяшными шариками. А я — с васильками. Грамоты эти Ремизов писал сам на плотной бумаге удивительной, старинной славянской вязью со всякими выкрутасами и росчерками и неизменно подписывал: скрепил забеглый канцелярист Обезвелволпала Алексей Ремизов. Когда я потерял грамоту, А.М. прислал мне, уже из Парижа, “взамен чудесно пропавшей грамоты” — новую, замечательную, с возведением меня уже в “берлинские полпреды Обезвелволпала”, с подписями мексиканского полпреда Д.Святополк-Мирского, парижского полпреда П.Сувчинского, а скрепил, конечно, забеглый канцелярист Алексей Ремизов. Эта грамота ездила со мной по всему свету, пока я не передал ее (вместе с другими документами) в прекрасный русский архив и музей моего Друга Томаса Витни в Америке (Вашингтон, Коннектикут). Ремизов любил прибедняться, хныкать, жаловаться на беды жизни, но всегда жил неплохо, умел находить и издателей и почитателей; в годы эмиграции он ухитрился выпустить сорок четыре книги и в зарубежной печати опубликовал больше семисот отдельных опусов.

В Берлине у Ремизовых на Кирхштрассе я был как-то всего раз. Но мои Друг, художник Н.В.Зарецкий, очень любивший Ремизова как великого забавника, бывал у него часто, крепко дружил с ним и много о нем рассказывал. Так, оказывается, Ремизов у себя устраивал выдумки-игры. С гостями. И вот как-то после обеда Ремизов объявил, что сегодня будет игра в ревком. И обращаясь к своей жене, богатырской женщине необычайно полных форм, Серафиме Павловне, рожденной Довгелло, — сказал: “Ну вот, Серафима Павловна, стало быть, вы будете у нас — ревком!”[1] На что Серафима Павловна, обидевшись, ответила: “Я не хочу быть ревком, я хочу быть царица!” Так “игра в ревком” и не состоялась.

Одно время в Берлине Ремизов редактировал (вместе с Н.М.Минским) шуточный листок (в несколько печатных страниц) “Бюллетень дома искусств” и в нем печатал всякие

фантастические штуки о братьях-писателях. Но некоторые из писателей (например, Е. Лундберг) на него за них обиделись, и листок прекратился на втором номере. Помню из него только заметку, как Н.Бердяев почему-то проглотил сливовую косточку и что из этого вышло. А о приехавшем в Берлин Борисе Пильняке сообщалось, что какие-то люди на каком-то собрании — с криком "Пильняк начинается!" — бросились друг на друга. Ремизов был хорош с А.Белым, Н.Бердяевым, М. Горьким.

Заходил (но не часто) в "НРК" старичок-живчик, в былом декадент-символист Николай Максимович Минский. Тот самый, стихи которого — "Тянутся по небу тучи тяжелые" и "Я боюсь рассказать, как тебя я люблю" — были положены кем-то на музыку и до революции обошли всю Россию как мелодекламации. Их у нас декламировали всегда на гимназических вечерах. Минский был еврей, хотя вид у него был самый русейший. В свое время злой критик "Нового времени" Буренин, который, говорят, своими жестокими статьями ускорил смерть чахоточного Надсона, написал эпиграмму на Минского: "Я в храм вошел /Ив храме замер / Там Минскому / Поставлен мрамэр!".

Довольно часто заходил в "НРК" Михаил Андреевич Осоргин (Ильин). Он был выслан в числе сорока четырех ученых и писателей из Советской России. У Осоргина тогда, в 1921 году, вышла книжка "Из маленького домика", и о ней похвально написал в "НРК" Ф.Иванов. Но об Осоргине я тоже буду говорить в главе "Россия во Франции", ибо в Париже я его лучше узнал. Да и свои главные вещи в эмиграции Осоргин написал в Париже.

Бывали и сотрудничали в "НРК" П.Муратов ("Образы Италии"), С.Юшкевич ("Леон Дрей"). Помню, как Юшкевич, большой, полный, седой, громогласно восторгался Сергеем Есениным, говоря: "Чтобы навсегда остаться в русской литературе, достаточно всего вот этих двух строк: "Словно я весенней гулкой ранью / Проскакал на *розовом коне*. Юшкевич считал, что "розовый конь" навеки вомчал Сергея Есенина в русскую поэзию. Это стихотворение Есенина действительно прекрасно: "Не жалею, не зову, не плачу". Но думаю, что в нем есть и лучшие строки.

Бывали в "НРК" художники Г.Лукомский, Б.Григорьев, Н.Миллиоти (Г.Лукомский много писал в нашем журнале), Зинаида Венгерова (вечная спутница Минского), А.Ветлугин (В.И.Рындзюк, хлесткий, циничный литератор, автор, к сожалению, неудавшейся автобиографической повести "Записки мерзавца"), приехавшие на время из Советской России Б.Пильняк (давший в журнал свою автобиографию), имажинист Александр Кусиков (тоже давший автобиографию и прославившийся одной

строкой своего стихотворения: “Обо мне говорят, что я сволочь!” — Алексей Толстой был в восторге от этой строки и хохотал над ней до упаду). Бывал и бежавший тогда из Советской России от надвигавшегося на него ареста Виктор Шкловский, он выпустил в Берлине “Ход коня” и “Сентиментальное путешествие”, обе книги в “НРК” были обруганы — одна мной, другая Ю.Офросимовым. Но Шкловский вскоре дал “задний ход коня” и вернулся в Советскую Россию, чтоб стать там настоящим сталинским подхалимом. Бывал приезжавший из Советской России профессор А.Чаянов, выдающийся ученый, во времена Временного правительства назначенный товарищем министра земледелия, при большевиках — член коллегии Наркомзема. Чаянов был и писателем-фантастом (“Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии” и многие другие). Через несколько лет по сфабрикованному ГПУ процессу Чаянова арестовали, а позднее расстреляли.

Бывали и сотрудничали в “НРК” профессор Ю.ИАйхен-вальд, профессор Сергей Гессен (философ, педагог), профессор Г.Г.Швиттау (экономист, кооператор), профессор Б.П.Вышеславцев (философ, “Русская стихия у Достоевского” и многие другие), профессор Лев Карсавин (философ, автор многих трудов за рубежом, после Второй мировой войны схваченный КГБ и погибший в ГУЛАГе в 1952 г.). Бывали в “НРК” приезжавшие из Советской России — Борис Пастернак и Влад. Лидин. Приехавший в Берлин Вл. Маяковский дал свою автобиографию: “Я поэт — этим и интересен”. Из писателей, живших в Советской России, в “НРК” присылали и печатали статьи — Э. Голлербах, Андрей Соболь, Инн. Оксенов, Н.Ашукин, А.Яковлев и др. Приходили — старый бытовик-писатель С. И. Гусев-Оренбургский, профессор Н.Н.Алексеев, приват-доцент И.Пузино, высланный из Советской России известный архивист А.Изюмов, Наталья Потапенко (дочь известного романиста, сама беллетристка), профессор А.А. Байков, высланный, мой московский профессор по “Энциклопедии права”, члены “Цеха поэтов” — Н.Оцуп и Г.Иванов. Заходил— высланный профессор ФА.Степун, тогда автор известных “Писем прапорщика-артиллериста”, а позднее замечательных воспоминаний “Бывшее и несбывшееся”, заходил левый эсер А.Шрейдер (тоже высланный, но этих “скифов” выслали как-то странно, они были скорее — полувысланные), заходила приезжавшая на время из Советской России поэтесса Мария Шкапская, выпустившая в Берлине книгу “Барабан строгого господина”, приходил старый профессор С.Гогель (Ященко говорил, что в России о нем ходила острота: среднее между Гегелем и Гоголем), экономист ДЛутохин

(высланный). Часто бывали мои приятели — Ю.Офросимов, Ф.Иванов, Вл. Корвин-Пиотровский, совсем молодой А.Бахрах. Приходила беллетристка А. Даманская, АДроздов, Глеб Алексеев и множество других, всех не упомню. Раз — вот это я запомнил — пришла в "НРК" писательница Е.Выставкина, подлинная дама хорошего общества, недавно вырвавшаяся из Советской России, писавшая так же "легко", как Н.Лаппо-Данилевская ("Русский барин"), которая тоже была в Берлине и я с ней встречался, Ященко знавал Выставкину по России, но принял ее почему-то грубовато и среди разговора вдруг спросил: "А скажите пожалуйста, сколько вам лет?" — На эту бестактность Выставкина с улыбкой ответила: "L'etat — c'est moi". Такой элегантный дамский отпор понравился Яшенке, и он разразился своим обычным громовым хохотом. В Берлине Выставкина выпустила роман "Амазонка", который кто-то вдребезги разругал в "НРК".

Помню, как пришел в "НРК" Игорь Северянин со "своей тринадцатой". Глядя на него, я невольно вспомнил его вечер в Политехническом музее в Москве в 1915 году, когда я был студентом. Громадный зал Политехнического ломился от публики, стояли в проходах, у стен. Северянин напевно читал, почти пел (надо сказать, довольно хорошо) стихи из "Громокипящего кубка", из "Златолиры", и эти уже известные публике стихи покрывались неистовыми рукоплесканиями: аплодировала неистово молодежь, особенно курсистки. В Северянина из зала летели цветы: розы, левкои. Поэт был, как говорится, на вершине славы. И в ответ молодежи пел:

Восторгаюсь тобой, молодежь!
Ты всегда, даже стоя, идешь!
И идешь неизменно вперед!
Ведь тебя что-то новое ждет!

Еще сильнее — гром рукоплесканий, сотрясающий зал. А сейчас передо мной в кресле сидел Северянин, постаревший, вылинявший, длинное бледное лицо, плохо одет. Его "тринадцатая" — серенькая, неприметная, тоже бедно одетая.

В тот страшный день, в тот день убийственный,
Когда падет последний исполин,
Тогда ваш нежный, ваш единственный,
Я поведу вас на Берлин!

Это "военные" стихи Северянина 1914 года. И вот "он привел нас в Берлин". Северянин в Берлине дал "поэзоконцерт". Публики было мало. Когда он читал свои старые, когда-то "знаменитые" стихи, это было еще туда-сюда. Но когда читал новые — было совсем нехорошо:

Народ, жуя ржаные гренки,

Ругает “детише” его:
Ведь потруднее сбыть керенки,
Чем Керенского самого!

Как раз в это время на побывку в Берлин приехал В.Маяковский. Они встретились. И даже выступали вместе на каком-то вечере Русского студенческого союза. С ними выступал и Кусиков. Но я не пошел, ибо эгофутурист превратился в ничто, а футурист, “наступив своей песне на горло”, преобразился в сытого казенного пропагандиста. В 1914–1916 годах их можно (и даже интересно) было послушать. Но в 1922 в Берлине — трудновато. Все-таки, по старой знаменитости, Игорь Северянин издал тогда в Берлине в русском издательстве Отто Кирхнера книгу стихов “Падучая стремнина”.

Кто бывал в “НРК” очень часто, почти ежедневно, так это Иван Сергеич Соколов-Микитов. Он скончался в СССР в 1975 году, и в каком-то советском журнале о нем писали как о “старейшем советском писателе”. “Старейший” — возможно, он умер на девятом десятке. Но чтоб И.С.Соколов-Микитов был “советским” — опровергаю.

В Берлине 1920-х годов я его хорошо знал, часто встречал. Выше среднего роста, крепко сшитый (чуть-чуть горбился), лицо всегда густо заросшее темным волосом (но это не борода, а некая темная щетина), небольшие хитро усмехающиеся глаза, ушедшие в подлобье. В облике И.С. было что-то не славянское, а скорее татарское, хотя он был чистейший русак. Как писатель Соколов-Ми китов шел за Пришвиным: хороший кондовый русский язык, прекрасные описания природы, деревни, охоты, рыбной ловли, рек в разливе, лесной тишины, запахов полей. Но это и все. Круг внутренней темы И.С, был очень узок: людей в их душевно-психологическом разрезе у Соколова-Микитова не было. И здесь он сдавал Пришвину. Пришвин был человек образованный. Соколов-Микитов — примитивный интуит. Образования у него, я думаю, никакого не было. По душе он был не только очень, но разочень русский: “Мы — русские, какой восторг!” Ни на одном нерусском языке он не читал и не говорил ни слова. (Вспоминаю Чехова: “Из всех иностранных языков владею только русским!”) И за границей Микитов *увидеть* ничего не мог (да и не хотел). И правильно сделал, что в 1923 году вернулся на свою землю — в Смоленщину.

Из русских писателей Соколов-Микитов не просто любил, а обожал, боготворил, обожествлял Бунина, так же как Саша Черный. Бунин, мне казалось, это знал и в разговоре со мной, в Париже, как-то сказал: “Рад, что вы оцениваете его прозу, я ее тоже очень люблю, а многие ее не чувствуют”, Константин Федин,

с которым Соколов-Микитов в СССР был дружен, говорил мне в Берлине, что у Микитова в комнате всегда висит портрет Бунина. В Берлине И.С. очень дружил с Ремизовым, это по той же линии истого русизма. По Берлину я вспоминаю Соколова-Микитова почти всегда пъяноватым (вполпьяна). До эмиграции он служил матросом торгового флота, в эмиграцию попал по какой-то случайности и чувствовал себя тут как рыба на песке — вот и выпивал не в меру, хотя все мы тогда выпивали неплохо.

Был И.С. страшно хитер и наглухо скрытен, о себе говорил мало, почти ничего, о своих убеждениях (а они у него были!) и подавно помалкивал. Только раз, в сердцах, когда мы оба (в компании) здорово выпили, у него сорвалось, вероятно, заветное. Обращаясь ко мне, полупьяный, он резко, даже зло, вдруг проговорил: “Вот вы все о какой-то там своей свободе, о демократии талдычете, плетете, а на что она нам? Да ни на что! Нам что нужно? — и раздельно, как гвозди вбивая, произнес: — *Нам новый Иван Грозный нужен! Вот что нам нужно!”* Что у трезвого на уме — у пьяного на языке. Вырвалось это у И.С. честно, из самого нутра. И сразу оборвался, как бы жалея, что высказался. Федин мне тоже о Микитове много рассказывал. Поэтому-то я ни в какого “советского” Соколова-Микитова и не верю. Знаю: коммунизм он ненавидел.

Как он продержался в СССР без репрессий? Это уж его умелость, мужичья хитринка. К тому же он держался все “на периферии”, странствуя то с полярниками на Север, то в Сибирь, то родная глухомань Смоленщины, в столицы наведывался не часто. Повторяю, И.С. был хитер как лис, скрытен, как волчья яма, по-мужицки недоверчив ко всему. А описательный его талант был несомненен, к тому же без всякой социальности и политичности, он и держал его в так называемой советской литературе. Так я думаю.

В “НРК” Соколов-Микитов часто приходил потому, что был большим другом Ященко. Где и как они подружились, не ведаю. Только дружба была крепкая. И Ященко прощал Микитову всевозможные полупьяные шутки. Помню, раз пришел Соколов-Микитов вполсвиста. Яшенки нет, он сел за его стол, чего-то там рылся, пересматривая корректуру и… ушел. А потом, уже перед печатью номера, Ященко вдруг увидел среди “книг, поступивших для отзыва” в последних, готовых к печати, сверстанных листах жирно набрано: А.Ященко. Астры. Мемуары. Берлин. 1922. Ященко просто взревел от негодования. — “Роман Борисович, что это такое?” — Я смотрю. — “Не знаю, говорю, когда я читал этого не было”. А Ященко вдруг: “А Соколов-Ми китов тут был?” — “Был как-то, недавно”. — “Ну, я знаю, это его дело! Я ему дам! Я

ему покажу!” — И вдруг, как в театре, — звонок. Отворяю дверь: Иван Сергеевич собственной персоной и навеселе. Ященко на него, как зверь: — “Это ты, Иван Сергеевич? Ты?” — “Что я?!” — “Да эти "Астры" тут набраны!?” — Но в ответ Соколов-Микитов заливается хохотом, еле выговаривая: “Да разве это плохо?! "Астры"? Мемуары? Из красивого прошлого!” — И Ященко вдруг принялся вместе с ним хохотать. Так друзья и помирились на хохоте.

Из рассказов Федина в Берлине о Соколове-Микитове я знал, что в СССР он женился, что у него родилась дочь, знал, что жена психически заболела. Федин говорил, что злоязычная Ольга Форш удивлялась его дружбе с Микитовым: “Ну Константин Александрович, ну как вы можете с ним дружить? Не понимаю. Ведь он же… мерин…” И над этим фор-шевским “мерином” Федин смеялся.

Ященко в “НРК” очень рекламировал Соколова-Микитова, о нем печаталось, что он что-то готовит, что-то выпускает: повесть “Заря-заряница”, повесть “Нил Мироточивый”, повесть “Прорва” — но никаких этих повестей в природе так и не оказалось. Было издана книжка для детей в издательстве “Грани” в 1922 году — “Кузовок”, потом очерки “Об Афоне, о море, о Фурсике и прочем” и “Сметана”, северные русские сказки по записи Ончукова. И это все. Я о его “Афоне” писал, хваля. А в 1923 году И.С.Соколов-Микитов был уже не в Берлине, а у себя на Смоленщине. Из возвратившихся и занявших положение в советской литературе писателей-эмигрантов только он и Толстой, кажется, умерли естественной смертью. Обычно писатели-возвращенцы кончали тюрьмой, концлагерем или самоубийством (М.Цветаева, Д.Святополк-Мирский, С. Лукьянов, Глеб Алексеев, Г.Бенус и другие). Правда, кое-какие журналисты-стукачи выживали.

В 1921 году а Берлин приехали меньшевики. Одни были высланы, другие — выпущены Лениным подобру-поздорову. До высылки кое-кто из них посидел в Бутырках. Приехали: Ю.Мартов (Цедербаум), Р.Абрамович (Рейн), Ф.Дан (Гурвич), Д.Далин (Левин), Б.Двинов (Гуревич), Г.Аронсон, М.Кефали (Камермахер — милейший человек), Б.Сапир, С.Шварц (Монозон), А.Дюбуа, Б.Николаевский и другие. Меньшевики создали заграничную делегацию партии с. д, (меньшевиков). Очень скоро стали издавать в Берлине журнал “Социалистический вестник”, просуществовавший за рубежом больше пятидесяти лет (в Берлине, Париже, Нью-Йорке), пока не умер последний меньшевик. Основать меньшевикам журнал в Германии было легко: они интернационалисты — и помогла братская германская социал-демократическая партия, которая (кстати сказать) тогда

правила страной.

Вот, Александр Семенович, — помню, как-то сказал я Ященке, — хорошо быть меньшевиками, не надо нигде искать никакого издателя, куда ни приедут — везде братская социалистическая партия. Да, только для этого надо сначала сидеть по тюрьмам и пребывать в ссылках, благодарю покорно, — засмеялся Ященко, — нет, я уж предпочитаю искать издателя.

В 1922 году к нам в "НРК" пришел Б.И.Николаевский. Он был очень высок, широк, крепок, тогда очень худ, в лице что-то как будто башкирское (он уфимец). Был Б.И. сыном священника, вообще кондового духовного звания, только вот он подгулял, став меньшевиком-начетчиком. Тогда у Б.И. была редкая русско-интеллигентская бороденка. Голос, не гармонирующий с ею мощной внешностью, — высокий тенор (особенно смех!). Впрочем, и у железного канцлера Бисмарка голос (говорят историки) был такой же. Только-только вырвавшийся из Бутырок Б.И. по виду был *типичнейший* русский революционер (хоть позируй для передвижников: "Не ждали…").

Б.И. повел с Ященко разговор о возможности его сотрудничества в "НРК". Ященко — с удовольствием. И сразу дого-ворились, что Б.И. будет давать обзоры советской литературы. Это была, конечно, ерунда, ибо для художественной литературы у Б.И. "уха" не было. Но и Ященко литературно не был чуток. И Б.И. стал давать в "НРК" эти самые обзоры, подписываясь Б.Н-ский (и еще как-то).

Позднее я понял, почему пришел в "НРК" Б.И. Конечно, не для "обзоров". Тогда русская эмиграция (а ее насчитывали два-три миллиона душ или больше), рассыпавшись по всему миру — в Европе, Северной Америке, в Южной Америке, в Австралии, в Азии (на Дальнем Востоке), везде сразу же стала издавать русские газеты и журналы (и строить православные церкви). Все эти газеты и журналы приходили в "НРК". Думаю, не совру, сказав, что русской печати выходило тогда двести-триста названий[1]. Почта заваливала нас,

Я бегло просматривал, вырезал кое-что для "НРК" и охапками выбрасывал остальное в мусорный ящик. Раз это увидел Б.И. Не преувеличу, сказав, что на лице его изобразился *ужас*. — "Роман Борисович, что вы делаете!? Бы все выбрасываете!?" — "Ну, да, а что же с этим делать?" — "Да что вы! Что вы! Это же неоценимая вешь! Ради Бога, не выбрасывайте ничего, все оставляйте для меня, я буду приходить и все забирать!" Я был так глуп, что чистосердечно не понял, зачем это все Борису Ивановичу.

Дело в том, что во мне нет (а уж в молодости и подавно не было!) архивных страстей. У Бориса же Ивановича это была

всепожирающая, главная страсть всей его жизни. Он уносил из “НРК” вороха русских газет. И позже (когда я работал в архиве Николаевского над своими книгами “Азеф”, “Бакунин”, “Дзержинский”, “Тухачевский” и другими) я увидел, что Б.И. из этих охапок газет сделал. Я в восторг пришел от множества ценнейших папок с газетными вырезками. Кого и чего тут только не было! Конечно, не из одних этих газет Николаевский создал *уникальный* русский архив, единственный в мире. Он тащил все отовсюду. И сколько людей — писателей и политиков — впоследствии пользовались архивом Б.И.Николаевского, который с удовольствием предоставлял свой архив для работы. Недаром, когда немцы вступили в Париж, они в первые же дни бросились на розыски “архива Николаевского” и захватили почти все. Замечательный архив Б.И. пошел в Германию и погиб там при бомбежках Германии союзниками. Только небольшую часть, зарытую Николаевским где-то во французской провинции, он, приехав во Францию после Второй мировой войны, отрыл, а потом ездил по Германии в поисках остатков своего архива. Но в Америке Б.И. создал вновь замечательный русский архив, который в последние годы его жизни перешел в Гувер-лайбрери, в Калифорнии.

Я не встречал ни у кого такой архивной страсти и понимания архивного дела, как у Б.И.Николаевского. Причем в добывании архивных материалов у Б.И. было, так сказать, — “все позволено”. Как-то уже в Нью-Йорке я и Б.И. пили чай в скромной квартире на Бродвее у И.Г.Церетели. И И.Г., любивший всякие “остроты”, говорил: “Бот, Р.Б., вы, конечно, знаете архивную страсть Б.И. и то, что некоторые обвиняют его даже в возможности приобретения им чего-нибудь для архива путем похищения?” И Церетели продолжает, смеясь (и мы оба смеемся!): — “Но если даже так, то ведь это же — *страстъ*. А если страсть, то что же вы хотите? Почему похитить любимую женщину можно, а похитить книгу нельзя? Страсть всегда есть страсть… и с ней ничего не поделаешь…” Пошутили, посмеялись.

Но в “НРК” я был свидетелем такой вспышки страсти Б.И. Я говорил, что под редакцию издательство Ладыжникова отвело нам одну комнату в квартире на первом этаже, где были сложены какие-то старые, уже непродающиеся книги и какие-то большие пакеты. Два таких пакета лежали даже на кухне, где мы обычно мыли руки. Архивных страстей во мне не было, и на эти пакеты я не обращал никакого внимания. А оказывается, на пакетах кем-то было начертано “Мандельштам”. И Николаевского эта фамилия сразу привела в волнение. Он предположил, что это может быть архив умершего эмигранта эсдека Мандельштама, которого он по

меньшевицким святцам, конечно, превосходно знал. И оказался прав. Я не видел, как Б.И. аккуратно вскрыл пакеты, и — о боги! — он увидел подбор книг по революционному движению, да таких, что ни в сказке сказать, ни пером описать!

Б.И. вошел ко мне в редакционную комнату с двумя книгами в руках. Ященко не было. “Роман Борисович, — сказал Б.И., — там на кухне в двух пакетах книги социал-демократа (Б.И. произносил по старинке — “социаль”) Мандельштама. Никому они тут не нужны, только пропадут зря. Я возьму эти две книги?” — “Борис Иванович, — сказал я, смеясь, — вы у меня спрашиваете? Но книги же не мои, и я ни разрешения дать не могу, ни запретить вам не могу”. — “Ну и ладно, вы только помалкивайте”. И я увидел Бориса Ивановича — “в страсти”. В течение недель двух-трех пакеты Мандельштама все худели, худели, а потом перестали существовать. В кухне стало просторнее. По существу это было, конечно, похищение. Но по сути дела — правильное. Тут в кухне пакеты бы пропали, ушли бы, может быть, в мусор. А в архиве Николаевского — книги пошли во всеобщее пользование, к радости создателя архива (и, быть может, даже к радости покойного Мандельштама: в настоящие, хорошие руки попали).

О Б.И.Николаевском я буду еще много говорить во всех трех частях книги, ибо дружески общались мы и в Берлине, и в Париже, и в Нью-Йорке (пока здесь не оборвались все наши отношения, но по мотивам не человеческим, а политическим). Б.И. мне очень помог своим архивом, да и не только архивом, он мне много помог и в жизни, и потому я вспоминаю его только добром (несмотря на разрыв в Америке).

Из общения же с Б.И. в “НРК” вспоминаю еще только одну сцену. Пришел как-то к нам Николаевский. Ященко был в веселом расположении духа и, оглядывая богатырскую фигуру Николаевского, говорит: “Ну и здоровенный же вы экземпляр! Я меньшевиков таких что-то никогда и не видел. Они все какие-то дохлые”. — Б.И., улыбаясь: — “Имеются и не дохлые”. — “Да вот вижу, — и Ященко вдруг встал из-за стола. — Ну, давайте-ка поборемся, кто сильнее”. И они схватились. Стол был опрокинут, стулья отлетели в стороны, лицо и лысина Ященко побагровели. И все-таки Николаевский грохнул его на диван. Ященко поднялся. “Ну и здоровенный же вы бык! Вот вам и Второй Интернационал!” — смеялся он, тяжело дыша. И Николаевский задохнулся: победа над Ященко была нелегка, кубанец был тоже здоровенный, и уфимцу пришлось с ним поднатужиться.

Письмо Максимилиана Волошина

Этот случай из бытия “НРК” я выделяю, ибо он не только литературно, но исторически важен. Был январь 1923 года. Во второй половине дня в дверь редакции позвонили. Я отворил. Передо мной — скромно одетая женщина с удивительно приятным, строгим лицом. Она спросила, здесь ли профессор Ященко? — “Да, пожалуйста”. И она вошла. Ященке она была незнакома. Поздоровавшись, он предложил ей сесть (у нас было хорошее, большое кресло для посетителей) и спросил, чем может служить.

Я сидел за своим столом. Женщина эта — явная интеллигентка, правильное хорошее лицо, красивые карие глаза. И во всем ее облике — какое-то удивительное спокойствие. В руках у нее — кожаный портфель. Глядя на Ященко, она сказала негромким грудным голосом: “Я к вам от Максимилиана Александровича Волошина”. От неожиданности Ященко даже удивленно-вопросительно полувскрикнул: “От Макса?!”. — “Да, от Максимилиана Александровича”. — “Значит вы из Крыма?” — “Я была у него в Коктебеле. И он просил меня передать вам письмо и рукопись в собственные руки”. — “Очень, очень рад..” — бормотал несколько пораженный Ященко (он с Волошиным был дружен еще по России).

Женщина вынула из портфеля тетрадку и довольно толстую рукопись на отдельных листах. “В тетради — личное письмо вам, а это — стихи Максимилиана Александровича, которые он просит вас опубликовать за границей, где вы найдете возможным”. Ященко все взял. Стал расспрашивать, как Волошин живет, давно ли она его видела, остается ли она за границей или возвращается назад. “Нет, я не остаюсь, — с легкой улыбкой сказала она, — я скоро уеду назад… может быть, я еще зайду, если разрешите”. — “Конечно, конечно, буду очень рад…” — забубнил Ященко. Она встала, простилась с Ященко и кивнула мне. Я проводил ее до входной двери.

В редакции наши письменные столы были приставлены один к другому спинами. Так что мы сидели друг против друга. Конечно, стихи Волошина, переданные из рук в руки, меня заинтересовали. Но Ященко погрузился в чтение письма, оно было страниц в сорок-пятьдесят. А я — в какую-то редакционную работу. Но вскоре читать спокойно Ященко уже не мог, он то и дело восклицал: “Ужас!.. Черт знает что!..” И вдруг, прервав чтение, сказал: “Р.Б., это что-то невероятное, я прочту вам…” И стал читать письмо вслух. Волошин сначала писал, что посылает

письмо и стихи с очень верным человеком. “Стихи о терроре” просит опубликовать там, где Ященко сочтет правильным, так как “здесь” они опубликованы быть не могут. Дальше Волошин описывал свою жизнь в Коктебеле во время гражданской войны и после нее, когда в Коктебель приехал “очищать Крым” важный посланец Кремля Бела Кун, поселившийся в доме у Волошина.

Известно, что Бела Кун, венгерский еврей, коммунист, в гражданской войне руководитель интернационалистических отрядов, ходил в Кремле на самых верхах. И вот — после занятия Крыма красными прибыл туда, чтобы произвести жесточайший террор. Перед отъездом в Крым Бела Кун цинически заявил: “Товарищ Троцкий сказал, что не приедет в Крым, пока там останется хоть один белогвардеец”. Бела Кун приехал не один. С ним “на руководящую работу” (как официально выражаются большевики) приехала “Землячка”, псевдоним-женщина (Розалия Семеновна Залкинд), большевичка с 1903 года, фурия большевизма, не имевшая никакого отношения ни к “пролетариату”, ни к “беднейшему крестьянству”, а происходившая из вполне буржуазной еврейской семьи. Эта гадина была кровава и беспощадна так же, как и Бела Кун, и Троцкий.

В Крыму верховный руководитель террора Бела Кун и его напарница Землячка расстреляли больше ста тысяч (!) бывших военнослужащих (белых), которым сначала была “дарована амнистия”. Для процедуры расстрела составлялись списки, но они были недостаточны, и “остряк” Бела Кун приказал всем, всем, всем бывшим военнослужащим под угрозой расстрела зарегистрироваться “для трудовой повинности”. И вот по этим-то спискам для “трудовой повинности” Бела Кун с Землячкой и повели массовые расстрелы. Спаслись единицы из незарегистрировавшихся и сумевших бежать из Крыма. Впоследствии такие марксистско-ленинские массовые убийства людей перешли в Китай, в Камбоджу, во Вьетнам, в Эфиопию. И к Гитлеру. По свидетельству Раушнинга, “фюрер” среди близких людей говорил, что он “многому научился у марксистов”.

Макс Волошин в письме к Ященко необычайно сильно описывал эти кровавые крымские дни. Волошин писал, что он и день и ночь молился за убиваемых и убивающих. Дальше шло что-то — “потустороннее”. Он писал, что они много и долго разговаривали с Бела Куном и у них установились какие-то “дружеские” отношения. Чем Волошин покорил Бела Куна? Вероятно, душевной чистотой. По письму, Бела Кун сошелся с ним настолько, что разрешал Волошину из “проскрипционных списков” вычеркивать одного из десяти. Волошин описывал,

каким мучением для него было это вычеркивание “десятого”, ибо он знал, что девять будут зверски убиты. Волошин писал, что в этих кровавых проскрипционных списках он нашел и свое собственное имя, хотя ему и не надо было регистрироваться, как человеку штатскому и не белому. Но его имя вычеркнул сам страшный новый друг — Бела Кун. Боюсь утверждать, но, по-моему, Волошин писал, что Бела Кун иногда присутствовал при молитвах Волошина за убиваемых и убивающих.

Письмо было потрясающее, больше чем страшное и какое-то метафизическое. Оно произвело сильное впечатление и на Ященко и на меня. Мы пропустили время обычного окончания работ. И когда я пришел домой, мама взволнованно сказала: “Почему так поздно? Я уж волновалась…” Моя мать, Ольга Сергеевна, вместе с нашей няней Анной Григорьевной Булдаковой в 1921 году бежали из Советской России (пешком). Но о ее побеге я расскажу особо.

А сейчас — два слова о судьбе исторического письма Волошина. Ященко читал его многим, почти всем, кто приходил в редакцию: Толстому, Соколову-Микитову, Эренбургу, Николаевскому и другим, кому бы я на его месте никогда бы не стал читать. В редакции он его не оставил, а взял с собой. Но однажды, придя в “НРК”, Ященко стал взволнованно рыться в папке с корреспонденцией, в ящиках стола, везде. И наконец проговорил: — “Вы представляете себе, письмо Макса пропало!” — “Как пропало?! Ведь вы же его взяли с собой?” — “Да, взял, а вот не нахожу: ни у себя (все перерыл), ни здесь… украли…” — мрачно добавил Ященко. В этом виновато было, конечно, легкомыслие Ященки. Копии он не снял и чересчур уж рекламировал письмо Макса. Так это письмо и кануло в Лету. Страшно грустил об этом Б.И.Николаевский, говоривший: “Ведь это же совершенно уникальный исторический документ! И как мог Александр Семенович так легкомысленно его потерять!”

“Стихи о терроре”, переданные одновременно с письмом, Ященко опубликовал в очередном, февральском, номере “Новой русской книги” (НРК, февраль, 1923). Позднее “Стихи о терроре” вышли книгой в берлинском русском “Книгоиздательстве писателей”, основанном типографщиком Евгением Гутновым и редактировавшемся Глебом Алексеевым.

В СССР в так называемой “Библиотеке поэта” (М.Волошин. Стихотворения. Изд. 3-е. Л., 1977) стихов Волошина о терроре, конечно, нет и никогда не будет. Приведу хотя бы два стихотворения М.Волошина о терроре, переданных тогда из рук в руки А.С. Яшенке:

Терминология

“Брали на мушку”, “ставили к стенке”, “списывали в расход” —

Так изменялись из года в год
Быта и речи оттенки.
“Хлопнуть”, “угробить”, “отправить на шлепку”,
“К Духонину в штаб”, “разменять” —
Проще и хлеше нельзя передать
Нашу кровавую трепку.
Правду выпытывали из-под ногтей,
В шею вставляли фугасы,
“Шили погоны”, “кроили лампасы”,
“Делали однорогих чертей”.
Сколько понадобилось лжи
В эти проклятые годы,
Чтоб разорить и поднять на ножи
Армии, царства, народы.
Всем нам стоять на последней черте
Всем нам валяться на вшивой подстилке
Всем быть распластанным — с пулей в затылке
И со штыком в животе.

Террор

Собирались на работу ночью. Читали
Донесения, справки, дела.
Торопливо подписывали приговоры.
Зевали. Пили вино.
С утра раздавали солдатам водку,
Вечером при свече
Вызывали по спискам мужчин, женщин,
Сгоняли на темный двор,
Снимали с них обувь, белье, платье,
…
Связывали в тюки.
Грузили на подводу. увозили.
Делили кольца, часы.
Ночью гнали разутых, голодных
По оледенелой земле,
Под северо-восточным ветром

За город, в пустыри.

Загоняли прикладами на край обрыва,

Освещали ручным фонарем.
Полминуты работали пулеметы,
Приканчивали штыком.
Еще не добитых валили в яму,
Торопливо засыпали землей,
А потом с широкою русскою песней
Возвращались в город, домой.
А к рассвету пробирались к тем же оврагам
Жены, матери, псы,
Разрывали землю, грызлись за кости,
Целовали милую плоть.

Через много лет в Нью-Йорке, когда я работал в “Новом журнале”, ко мне пришел поэт и журналист Александр Браиловский и передал для печати рукопись поэмы Волошина “Дом поэта”, написанной уже в 1926 году. В поэме есть некое косвенное упоминание о пребывании Бела Куна в доме Волошина и о том, что имя Волошина было в проскрипционном списке.

И *красный вождь,* и белый офицер,
Фанатики непримиримых вер,
Искали здесь, под кровлею поэта,
Убежища, зашиты и совета.
Я ж делал все, чтоб братьям помешать
Себя губить, друг друга истреблять.
И сам читал в одном столбце с другими
В кровавых списках *собственное имя.*

Я рассказал Браиловскому историю получения “Стихов о терроре” и письма Волошина о пребывании у него Бела Куна и предложил, что все это добавлю к его краткому предисловию к поэме. Он согласился.

Остается сказать об убийцах. Не знаю, приезжал ли Троцкий в “очищенный для него” Крым. Кажется, нет. Его очень скоро, с полным позором для такого Робеспьера, Сталин выбросил на Принцевы острова, а потом в Мексике убил ледорубом сталинский агент, испанец Меркадер. Злом злых погублю. Троцкий вполне заслужил такую смерть. Так же кончил и Бела Кун. В ежовщину Сталин его “шлепнул” в каком-то чекистском подвале. Только Розалия Семеновна расцвела: при Сталине с 1939 года по 1943 была заместителем председателя Совнаркома СССР и членом ЦК ВКП (6). Да к тому же удостоилась награждения двумя орденами Ленина и орденом Красного Знамени. Вот так Розалия Семеновна Землячка-Залкинд! А отдала черту душу только в 1947 году, семидесяти одного года от роду.

Бегство матери из Советской России

Где-то я читал, что знаменитый итальянец Джузеппе Гарибальди всегда носил с собой портрет своей матери. Портрет этой красивой женщины он иногда вешал над своей кроватью. Однажды вошедший в комнату с удивлением спросил его: “Кто это?” Гарибальди с улыбкой ответил: “Mamma mia”. Вот так же я и брат любили свою мать.

О том, что мы внезапно увезены из Педагогического музея, мать узнала из газет. В чужом Киеве она осталась одна. Правда, жила она у близких людей, у Высочанских. В небольшом домике на Лукьяновке жили; моя тетка Е.К.Высочанская (старшая сестра отца), ее муж милейший А.Г.Высочанский, полковник артиллерии в отставке, их единственная дочь Валерия (Леруся, как мы ее с детства звали) и старый друг Высочанских А.Д.Похитонова, дочь в былом известного генерала. Никаких заработков у жителей этого домика не было. А это был страшный 1919 год военного коммунизма, террора и полного разорения всей страны.

Диктатор Украины (председатель Совнаркома), бывший долголетний эмигрант, социалист-интернационалист, болгарин из румынской Добруджи, никак не связанный с Россией Христиан Раковский в Киеве жил во дворце бывшего миллионера Могилевцева, и на его парадной лестнице стояли пулеметы. Перед зданием ЧеКи, в которой “работали” Лацис и Португейс, часовые, развалясь, сидели в национализированных “буржуазных” креслах.

Киевские школы были без учителей, больницы без лекарств, дома без отопления, магазины без товаров, у жителей были хлебные карточки, но хлеба не было, и обитатели многоэтажных домов стояли в очередях во дворе к единственному водопроводному крану, чтобы получить немного воды. В киевских садах и парках деревья рубили на дрова. Изнуренный террором, голодом, сыпняком Киев превратился в великую коммуну нищих. Жизнь этих нищих управлялась декретами, мандатами, ордерами, мобилизациями, реквизициями, уплотнением, выселением и… расстрелами. Списки расстрелянных “в порядке красного террора” печатали в органе ЧеКи “Красный меч”, газетке, никогда еще не виданной в мире; чекисты за всякое противление грозили усилением террора.

Голод, бездровье, безводицу, солдатские постои и все испытания, которым властвующая чернь подвергала русскую интеллигенцию, — мать, тетя Лена, А.Д.Похитонова, Леруся и престарелый Алексей Григорьевич в домике на Лукьяновке

переносили достойно. Жили тем, что выменивали на еду не Бог весть какие еще оставшиеся вещи.

Продрогшая, полуголодная, в туфлях, сшитых из лоскутов какого-то старого ковра, моя мать ежедневно шла на Еврейский базар, чтоб у приезжих окрестных крестьян выменивать скатерть, простыню иль полотенце на какую-нибудь еду. На Еврейском базаре шла теперь древняя меновая торговля. Сытые краснощекие бабы из подкиевских сел и скупые на слова их мужики у голодных горожан за картошку, за хлеб, за молоко брали — юбки, обивку с кресел, зеркала, гардины, графины, стулья, ножи, столы, даже ночная посуда шла в деревню как горшки для каши. Так, чтоб просуществовать, "торговал" весь когда-то богатейший город, так торговала вся Россия. И какой-то остроумец пустил словцо, что это и есть "национализация торговли", когда вся нация "торгует".

Но когда у обитателей маленького домика на Лукьяновке почти уже ничего не оставалось для меновой торговли, все они (кроме Алексея Григорьевича) разошлись на работу по чужим людям. Мать пошла в услужение к жившей неподалеку старухе. У старушки оставалась еще всякая заваль на мену, а главное, был сад с огородом, что в великую эпоху коммунизма было несметным богатством.

Став прислугой за все мать, носила на базар яблоки, стирала белье, мыла полы, убирала дом, работала в огороде и готовила на восьмерых буденновцев, стоявших постоем у тихой старушки. Эти удалые, нахрапистые парни тоже помогали жить. С кладбища, разрушая жилища мертвых, они воровали деревянные кресты и могильные ограды и, распиливая их, создавали дрова. В эту лютую зиму киевляне так спасались от замерзания.

Тогда, в 1920 году, я жил в Берлине, а брат под Берлином, работая на каменоломне. На воскресенье он приезжал ко мне. Мы, естественно, говорили о матери и судьбы ее не знали. Жива ли? Киев раз шесть, кажется, менял власть: петлюровцы, большевики, белые, опять большевики, поляки, опять большевики. В разговорах о матери у меня с братом были разногласия. Сережа был импульсивный и говорил, что мы должны бросить все и попытаться пробраться к матери в Киев. — "Чем же, ты думаешь, мы маме поможем? Тем, что нас— если даже и пустят! — арестуют или расстреляют как белых?" — "А что же ты хочешь делать?" Я отвечал, что хочу прежде всего установить письменную связь с мамой. В те времена это было, конечно, не просто, ибо регулярного почтового сообщения не существовало. Еще из Гельмштедта я послал первое письмо — с оказией — через Швецию.

Мое письмо, из которого мать узнала, что ее сыновья живы,

старший — шахтер на соляной шахте, а младший — дровосек в брауншвейгском лесу, — мать читала и перечитывала на своей работе в нетопленом детдоме. Счастье этой вести было велико, но смешивалось со страхом и даже ужасом: а вдруг из этих немецких шахты и леса вздумают возвращаться к ней, в мертвый Киев? И в одну из зимних ночей, когда плакали некормленые ребятишки детдома, мать решила: уйду к ним, к сыновьям. Как? Пешком из Киева в Германию? Да. И это решение стало жизнью матери, благодаря ему она как будто даже жила уж не в затерроризированном, голодающем Киеве, а где-то гораздо ближе к сыновьям.

В Берлине почтальон принес мне наконец первое письмо матери от 16 августа 1920 года. Она писала: “…родные мои, только мысль, что вы живы, дает мне силы тянуть жизнь. Ради вас все мне кажется легким, и то, что вы живы, сторицей вознаграждает меня за эти два года<-> много пережито, но все ничто в сравнении с тем, что наступит день, когда я вас увижу<…> В декабре нас очень обокрали — все ваше платье, которое я так берегла, украли<…> В прошлом году была больна два месяца, и день, в который получила ваше письмо, был первым днем моего выздоровления, температура с этого дня стала нормальной…”

После первого письма (хоть и не часто) ответные письма матери стали приходить. Эти письма были в чудовищно грязных конвертах, склеенных клейстером то из каких-то бумаг киевской консистории, то из бумаг окружного суда. Почтальон-немец со страшным удивлением смотрел на самодельные конверты и неведомые марки, и раз от имени заведующего почтовым отделением попросил подарить их для почтового музея. Я подарил.

Мать писала: “…я жила у одной старушки, теперь пришлось уйти от нее, так как нет теплой обуви и одежды, и я опять поселилась у Высочанских. Работаю иглой, хожу по домам и беру работу к себе<…> только мысль о вас привязывает меня к жизни, если б я могла вас увидеть<…> но об этом нельзя даже мечтать<…> Обо мне не волнуйтесь, как-нибудь проживу. Господи, что бы я дала и какие бы муки перенесла, лишь бы вас увидеть…”. И в другом письме: “… живу по-прежнему, зарабатываю тысячу в день, и едва-едва хватает, чтоб не быть голодной. Работаю все — и шубы, и платья, и белье, и шляпы, все, конечно, приходится шить из старья<…> Нынешний год зима не холодная, но очень ранняя, в сентябре начались уже морозы. От холода в комнатах тяжело<…> но все ничего, лишь бы дожить до встречи с вами<…> мысль встретиться с вами заняла все мои

помыслы, жду весны с нетерпением, по предсказаньям, весна будет ранняя…”

У Анны Даниловны Похитоновой от отца генерала осталась военная семиверстка со всеми дорогами, реками, селами, хуторами, лесами, местечками. Ежедневно, приходя с работы, мать заучивала наизусть путь своего побега из Киева до польской границы, выбрав, как верующая, направление на Почаевскую Лавру. Оставалось только ждать тепла.

Майским вечером, когда все уже на Лукьяновке зазеленело и в заглохших садах пели невесть откуда залетевшие соловьи, в калитку сада неожиданно вошла моя старая няня Анна Григорьевна Булдакова. Несмотря на теплынь — в валенках. В родном пензенском Вырыпаеве, получив письмо матери, Анна Григорьевна сразу поняла немудреный шифр и правдами и неправдами, с палкой и котомкой, добралась до Киева.

После первых слов радости Анна Григорьевна сразу сказала, что одну мать в этот побег не пустит, а пойдет с ней. И тут же стала разуваться и отпарывать подметки валенок, в которых принесла деньги. Из стоптавшихся за дорогу валенок к всеобщему огорчению керенки вынули до того промокшие и порыжелые, что мать, няня, все тут же принялись разводить плиту, сушить и разглаживать их утюгами. Принесла няня кое-что из остатков “буржуазного прошлого”: кое-какие кольца (с изумрудом в бриллиантах, с опалом в бриллиантах, с бриллиантом в платине и другие), брошки (одну еще бабушки Марии Петровны, золотую старинную-престаринную) и довольно большой бриллиантовый кулон. Все это няня хранила в избе в Вырыпаеве.

И наконец в 1921 году пришло для нас самое радостное и самое тревожное письмо мамы: “…дорогие, родные мои, в субботу, 15 по старому стилю, я двигаюсь в путь к вам, вместе с Анной Григорьевной. Не предпринимайте ничего — вот моя к вам просьба. Если что-нибудь случится по дороге, не горюйте: ваша мать видела много счастья. Отправляюсь в путь с верой и надеждой на Бога. Когда вы получите это письмо, я буду уже в пути<…> сердце переполнено надеждой увидеть вас…”

Девять-десять недель от мамы не было писем.

Небо, ветер, облака. Длинными волнами рябится пшеница. Мать и Анна Григорьевна идут от Бердичева по большой дороге, пылят по ней веревочными самодельными туфлями. В полдень под березами, обставшими шлях, набрали сучьев, со спины отвязали чайник, на костре вскипятили чай и, подкрепившись, зашагали дальше на село Чернобыль, скорачи-вая по проселочнику заученный матерью путь.

Странницы идут с палками, с мешками за спиной. Чтобы

расплачиваться за еду, за ночлеги, за перевод через границу, в мешки натолкали отовсюду собранные полотенца, кофты, салфетки, простыни.

— Замучились? — говорит Анна Григорьевна, глядя на мать, — вон девки с поля идут, попросим мешки донесть, по полотенцу дадим.

И странницы садятся на придорожный пригорок, поджидая девок, ситцевыми пятнами вышедших с межи. Девки поют пронзительными голосами. Только подойдя оборвались, с любопытством рассматривая сидящих у обочины странниц. За полотенце, смеясь и давя друг дружку, девки кинулись к мешкам. И порожняком Анна Григорьевна и мать легко ступают за ними. На сельской тихой улице мать развязала мешок, расплатилась двумя полотенцами. В закате темнеет сельская пузатая церковь с высокой звонницей. “Может, просвирня аль церковный сторож пустят?” — говорит Анна Григорьевна и палкой постучала в дверь двухоконного, присевшего на бок дома.

— Кто там? — небыстро ответил за дверью женский голос, и на порог вышла женщина с гладко зачесанными волосами и закаченными рукавами на жилистых мокрых руках. — Входите, входите, — сказала просвирня, — странных как не пустить, только горе у меня, дочь хворая, в горницу-то не зову, тут уж разбирайтесь.

В горнице на деревянной кровати, надрывая грудь, кашляла девушка. Просвирня взялась раздувать самовар, и вскоре в темноватой прихожей, освещенной светом лампады, мать засыпала на лавке, и этот сон у просвирни был как никогда отдохновенен. “Мам… а мам… кто пришел… а?” — “Странные, Лиза, странные”, — слышит, засыпая мать. — “Мам… а куда они идут?” — заливается легочный клокочущий кашель больной девушки. — “Далеко, Лиза, далеко…”.

Звон к ранней обедне разбудил странниц. По церковному двору прошел священник. Зевая и крестя рот, на крыльцо кормить кур вышла просвирня. Застив ладонью глаза, глядит вслед уходящим странницам. Несмотря на шестьдесят четыре года Анна Григорьевна идет легко, отдохнула и мать. Проселочник стелется меж пшеничных полей, с них налетает духмяный ветер, а в полях тишина, только высоко трепыхается, словно не могущий улететь, утренний жаворонок. Знаток духовных стихир, Анна Григорьевна неестественным крестьянским наголоском на ходу поет тропарь покровителю плавающих и путешествующих Николаю Угоднику, “Правило веры, образ кротости”, как всегда певала тоненько-тоненько, по-монашечьи, странствуя по святым местам. Где только няня не побывала: в Сарове, в Троице-Сергиевой лавре, в

Киево-Печерской лавре, в Иерусалиме.

Мать наизусть знает, что, пройдя Романов, им надо сворачивать на Миргород. Но — до Миргорода не дойти, устали. В Романове мать постучала в крайнюю хату, окошко приподнялось, выглянула повязанная платком баба с бельмом на глазу.

— Ночевать пустите?

Недружелюбно одним глазом оглядывая странниц, кривая баба не отвечала.

Мы полотенце дадим. Идите, — сказала равнодушно, и слышно, как прошлепала к сеням, с шумом сняв щеколду, — только в хате-то местов нет, самих пятеро, под навесом переспите.

На рассвете баба хозяйски осмотрела полотенце и рассказала, как идти на Миргород.

Полями, лесами, межами, проселочниками, большими трактами уже давно идут странницы, делая в переход верст по тридцать. Растертые ноги лечат подорожником, недаром он и растет по обочинам дорог; иногда за день не встретят живой души, иногда от верховых, от подозрительных пеших, хоронясь, бросаются в хлеба. Раз испугались в поле двух вахлаков, один, оборванный, взлохмаченный, приостановился и с сиплым хохотом закричал: “Сёмка, а одна-то ще годится!” Молча, испуганно, не оглядываясь, уходили от них странницы.

После многих ночевок мешки поопростались, За долгий путь люди встречались разные, кто совсем не пускал ночевать, говоря: “Много вас теперь шляется, может, буржуи какие беглые скрываетесь”, кто запрашивал и кофту, и полотенце, с ними торговались, а многие ничего не брали, кормили и указывали дорогу.

В полевой тишине Анна Григорьевна поет: “Волною морскою скрывшего древле”, а мать идет с думами о своих детях. После многих недель пути, подходя к Полонному, мать волновалась: тут надеялась узнать, где лучше перейти границу. Но за неделю жизни в Полонном ни у кого не узнала, годно ли для перехода заученное ею по семиверстке направление. А задерживаться нельзя, в волнении и бездействии только падают силы, и мать решила все же идти на авось по зарубленному в памяти пути, жившему в мозгу ломаной линией, уводящей из России.

Перед уходом пошли на реку искупаться. Медленная река дремала на солнце. У мостков бабы полоскали белье, колотя его вальками. С мостков, завизжав, в реку бултыхнулась баба и поплыла, Купаясь, баба перекликалась с товарками и наконец, выскочив, схватив одежду, согреваясь, побежала по траве. Возле

поодаль раздевавшихся матери и Анны Григорьевны она приостановилась и, присев на корточки, стала одеваться.

Ох, тут глыбко, не суйтесь, у нас прошлый год тут парень утонул, — проговорила баба, останавливая пошедшую было в воду мать. — А вы нездешенские? Нездешние, мы на богомолье идем, — и под влияньем все того же томящего страха за правильность взятого пути мать неожиданно для самой себя вдруг добавила: — В Почаев хотим, да вот не знаем, как границу-то перейти. Аза, — таинственно протянула баба и, сделав значительное лицо, подсела поближе. — А я вам вот что, я вам человечка найду, через границу водит, — зашептала, — брат мой, если хочете, проведет и дорого не возьмет.

Прямо с реки мать пошла к бабе. Бабина хата темная, в красном углу смуглая божница с картинками святых. У печи что-то стругает хмурый солдат, бабин брат, контрабандист, ходящий за товарами в Польшу. Выслушав зашептавшую сестру, он не изменил хмурости лица и, исподлобья оглядев мать, пробормотал, что раньше чем через неделю не пойдет. Но с ним мать и не согласилась бы идти, уж очень жуток, и мать сказала, что неделю ждать не может.

— Как хочете, ступайте сами, только вострей глядите, у границы-то там не милуют, — проговорил солдат и опять застругал, взвивая фуганком стружки.

Веря в свои молитвы, которыми горячо молились на ходу по лесам, по дорогам, по ночам в чужих хатах, мать решила завтра же идти на Шепетовку по заученному по карте пути. Последнюю ночь к Полонном мать молилась как никогда. А в желтоватой мути рассвета, с полегчалыми мешками странницы уже шли в даль новой дороги. Но чем ближе к границе, тем путь опаснее, состояние томительней, иногда пугались случайного крика, подозрительно глянувшего встречного, часто бросались в хлеба, скрываясь от пеших, конных, от проезжавшей телеги.

Когда дошли до лесного железнодорожного пути на Шепетовку и пошли по шпалам, вздохнули свободнее: встречных нет, тишина; только раз издалека показалась дрезина и на ней будто вооруженные. Что было сил странницы сбежали под откос, залегли в чащобе. Были слышны голоса, гул колес, и опять все напоено лесной тишиной. За день увидели только один перегруженный пассажирский поезд, из которого какой-то ребенок замахал им белым платком.

К вечеру, дойдя до железнодорожной будки, решили попроситься переночевать у старика сторожа. Старик принес сена, настелил на полу, и, осмелев, странницы рассказали, что идут в Почаев на богомолье, да боятся пограничников.

— На Шепетовку ни-ни, упаси Бог, не идите, — проговорил старик, — в каждой хате солдаты, вы полотна держитесь и лесом на Славуту берите, а на Шепетовку ни-ни, пропадете, верное дело.

Мощные славутские леса ревут под натиском ветра; сосны, ели ушли в поднебесье. Приостанавливаясь, странницы собирают ежевику, костянику, на полянах не раз кипятили чайник, закусывали и снова идут по ревущему, многовековому лесу. В отрочестве мать мечтала вместе с набожной теткой Варварой (сестрой отца, Сергея Петровича) пойти богомолкой по России, но пошла вот только так на Почаев, в революцию.

В лесу Анна Григорьевна поет: “Да воскреснет Бог и расточатся врази его”, а мать полна смятенных воспоминаний. То увидит на керенском балконе отца за чаепитием и словно услышит его ласковый голос: “Ольгунюшка” — и слезы позднего умиления подступают к горлу; то вспоминает рано умершего мужа, жизнь с ним в пензенском доме, в именье, как каждый год вот этой же дорогой через Варшаву ездили в Германию в Бад-Наухейм, а потом, после лечения мужа, ехали всегда в Париж на несколько дней, а из Парижа в Пензу возвращались через Италию, Бену, с непременным заездом в Москву, чтоб в Художественном увидеть новые постановки, в Большом послушать Шаляпина и вечером с друзьями семейно заехать к цыганам в загородный “Яр”. Теперь — вокруг матери стонет славутский лес. На груди у нее, под кофтой, еще бабушкин медальон с выцветшими фотографиями мальчиков трех и четырех лет, и она никак не может представить себе их шахтером и дровосеком; и горло сжимается ощущением близких слез.

Когда в Славуте странницы вошли на базар, матери стало не по себе от пестрого базарного гомона. Ржанье лошадей, крикливые бабы, красноармейцы, мычанье коров, евреи в лапсердаках, еврейки в париках. Странницы решили не оставаться тут, а пересечь Славуту. На окраинной славутской улице, играя в чижик, бегали ребятишки. уж виднелись поля, когда из проулка на странниц вдруг вышел скуластый, толстоплечий человек в рыжем френче. “Комиссар”, — пронеслось у матери, и сердце захолонуло, а френч остановился, коротко крикнув:

Документы есть?!

Есть, — ответила мать и от взгляда скуластого стала снимать со спины мешок. Мгновения ужасные, документов никаких, кроме киевских ничего не значащих бумажек. Стараясь сдержать овладевавшую телом дрожь, сама не представляя, что сейчас будет, мать хотела лишь дольше рыться в мешке, оттягивая ужасную минуту ареста. Комиссар хмуро покуривал, пытливо

взглядывал то на мать, то на Анну Григорьевну, и вдруг из того же проулка стремглав выбежал молоденький красноармеец, бешено закричав:

— Да иди же ты! Готово!

Наотмашь отбросив бычок, выпустив стаю соленых ругательств по адресу матери, что не может найти документы, комиссар бросился бегом, и в проулке они оба скрылись. Только тогда Анна Григорьевна увидела, до чего бледна еле державшаяся на ногах мать, завязывавшая дрожащими руками мешок.

— Заарестовал бы, Бог нас хранит, — зашептала Анна Григорьевна.

Почти бегом женщины заспешили из Славуты и в вечернем поле на пшеничной меже затерялись. Вечер, ветер, тишина. Кругом та же бесконечная Россия, безразличные к человеку жестокие вечерние поля, сине-черные леса и катящаяся дорога. Только чем ближе к границе, тем сильнее гудят телеграфные провода, тем напуганней люди и страшнее идти, словно подошвы пристывают к земле.

Под селом Панора дорогу пересекла ржавая, мутная речушка, вместо моста перекинуто бревно, и на берегу валяются две слеги для перехода. Ими опираясь о дно, мать и Анна Григорьевна перебрались через темную речку, и в улице, у крайней хаты заметив у завалинки копавшуюся девочку, мать спросила ее, не знает ли, где б пустили переночевать?

Девочка повела их вдоль темной улицы, доведя до хаты, где возилась в сенях простоволосая баба. Чтоб расположить хозяйку, мать в сенях же развернула перед ней оставшиеся юбку и платок, и, взяв за ночевку эти драгоценности, баба даже растрогалась.

— Вы мене слухайте, — шептала она, сидя на лавке со странницами, — у мене крестник есть, парень тихий, все тропы знает, вы ему заплатите, он и переведет вас через границу. — И баба тут **же** послала девочку за крестником, а пока его ждали, хозяйка все хвалила юбку, все примеривала ее к себе, поглаживая ладонями.

— Сама бы в Почаев пошла, жизнь-то какая, — завздыхала вдруг баба. — У мене вон зять маво мужа убил. Сам курицы не зарежет, а вот поди ты, попутал сатана, поссорились, схватил ружье да и убил враз, — и вдруг неожиданно, длинно, ручьисто баба заплакала, утираясь подолом.

В хате родилось молчание, но в сенях кто-то завозился. Мать обрадованно подумала, что пришел крестник, но вместо него в хату вошел низкорослый мужик какого-то забитого, несчастного вида, и мать почему-то сразу поняла, что это и есть убийца. Оглядев странниц, мужик поздоровался даже как-то застенчиво.

Баба тут же отвела его вглубь хаты, заговорив с ним полушепотом, но мужик сразу же отмахнулся.

— Я таких делов не делаю, — сказал строго, — за такие дела нонче пропасть можно, пускай Сенька хочет и переводит. И вдруг непреодолимый ужас охватил мать; болтливая баба, убийца-зять, какой-то крестник, все стало страшно в полутемной избе; выдадут, донесут, захотят ограбить. Зять стал возиться у печи, что-то доставая из темной бочки, а баба все расспрашивала мать, лезя в душу, кто, да откуда, да к кому идут, да когда вернутся?

Тощий квелый паренек лет семнадцати с рано выцветшим лицом вошел в хату в сопровождении девочки. Выслушав мать, он деловито помолчал, потом сказал, что пробраться через границу можно, только с опаской, пограничники в хлебах залегают, ловят и арестовывают.

Да мы ночью прокрадемся, — проговорила Анна Григорьевна. Ночью ни-ни, убьют, иттить середь дня надо, — со знаньем дела произнес паренек, — когда солнце высоко, солдаты на обед уходят, вот и надо иттить.

За пятьсот рублей керенками и две оставшиеся в мешке Анны Григорьевны простыни паренек согласился вести через границу России. Эту последнюю в России ночь нужно было выспаться, собраться с силами, но несмотря на усталость от четырехсотверстного пути мать заснуть не могла. То стонал на печи убийца-зять, то, переворачиваясь с боку на бок, чешась от блох, кряхтела баба. В темноте сеней мать лежала переполненная волненьем, все молилась Богу, и какими-то обломками громоздились воспоминания счастья прожитой жизни, с которыми прощалась, ужас возможного ареста, лица сыновей, все наплывало жестоко изнуряющей смесью бодрствования и сна и опять уходило в темь ночи.

Еще только свежел восток, а тихий паренек уже вошел в хату. С сильно бьющимся сердцем, подрагивая от холода рассвета и от волнения, мать вышла. “С Богом, с Богом”, — шептала в сенях заспанная баба. Паренек проворно пошел шагов на двести вперед. Странницы еле поспевали за ним, все боясь упустить из глаз его пеструю рубаху. Как только он оборачивался, делая условный знак, мать и Анна Георгиевна бросались в пшеницу, залегая в ней, а когда раздавался его далекий свист, выходили и опять шли за его мелькающей, удалявшейся рубашкой.

Мать все чаще взглядывала на поднимающееся солнце, оно уже высоко, стало быть, и граница близко. Сейчас, собрав все силы, надо решиться на самое страшное — перейти границу России.

Паренек манит, подзывает к себе; странницы заспешили.

— Нельзя мне дальше, теперь одни ступайте, — зашептал он, — вон луг, видите, за лугом хата под новой крышей, там и стоит польский кордон. Да вы не бойтесь, идите спокойно, быдто вы никуда и не бегёте и никакой границы тут нет, а луг — луг он и есть, — и взяв уговоренные керенки, паренек заспешил от странниц.

Зеленый луг в полевых цветах на опушке леса — это и есть та заветная граница России, о которой, изучая карту, думала мать. Вот она дошла, она перед цветущим лугом, за которым уж Польша, поход кончен, но нужно еще самое страшное усилье: среди бела дня, у всех на виду перейти этот зеленый в белых ромашках, в кашке, в желтом зверобое, простои и словно заколдованный луг. Это — жутко. Кругом лесная тишина, никого. А матери чудится, будто каждый куст, дерево, рытвина, поросль — все живое и все стережет ее каждый шаг.

Как сказал паренек, мать и Анна Григорьевна по лугу стараются идти “быдто спокойно”, но ноги не слушаются, почти бегут, сердце их торопит. Мать чувствует, что это нехорошо, что это может стать подозрительным, но удержаться уж нет сил. Сейчас луг кончится, с ним кончится и Россия. Еще каких-нибудь пятьдесят шагов, и они за границей, и надежда увидеть сыновей будет настоящей. Кругом знойная полуденная тишина, ни звуков, ни голосов, только лесной звон в ушах. И вдруг где-то совсем рядом, с русской стороны: “Эй, тетки, тетки, куда вы, кудаааааааа?!” Мать и Анна Григорьевна бросились бегом, а вслед все летит длинный крик и хохот. Это посмеялся сидевший у дерева на русской стороне дуралей-пастух.

Но они уже бежали по Польше, хоть им все и не верилось, что это не Россия. И только когда навстречу раздались польские голоса и из кустов вышли человек шесть пограничников, женщины поняли, что они уже не в России.

— В комендатуру! — проговорил старший, и от польского языка, чужой формы, чужих лиц повеяло чем-то, от чего беспомощно сжалось сердце.

Пограничники вели их к той хате под новой крышей, что показывал паренек с русской стороны. В хате их оставили наедине с хитроглазым пожилым хуторянином. “А вы, чтоб в комендатуру-то не вели, заплатите им, тут завсегда так делается”, — подмигнул хуторянин. У него мать и обменяла керенки на злоты, он их и передал старшему команды; на границе двух держав хитроглазый хуторянин был и адвокатом, и маклером, и менялой. Но как только женщины вышли из дома, молодой солдат с отталкивающим лицом куницы двинулся за ними.

— Он вас до дороги проведет, — проговорил старший.

Увешанный винтовкой, револьвером, гранатами, одетый с иголочки солдат повел женщин напрямки по чаще; они еле продираются, а чащоба березняка все гуще, глуше. Мать замечает, что поляк сворачивает туда, где продраться почти нет уж возможности, и обеих женщин все уверенней охватывает страх. Еще в Киеве рассказывали, что пограничники убивают и грабят перебежчиков. Издали слышен только стук топоров да голоса дроворубов, и будто от этих голосов солдат и сворачивает все глубже в чащу.

Анна Григорьевна с матерью переглянулись.

Где же дорога? — остановившись, проговорила мать. Идите! — яростно закричал солдат.

Но женщины не идут. Мать видит разгоряченное, хищное лицо мальчишки, узкие рысьи глаза словно ощупывают ее, словно ищут, где на ней спрятаны деньги,

— Я к сыновьям иду! — проговорила мать. — У вас тоже мать есть, куда вы нас ведете? Отпустите! Я вам все отдам! — и мать полезла за деньгами под кофтой.

Это движение могло их только погубить, ободрив еще не решавшегося на убийство мальчишку. И словно поняв это, Анна Григорьевна вдруг с палкой рванулась к нему и, как сердитая старуха ругает на деревне хулигана, закричала, замахиваясь палкой: Подлец ты! Креста на тебе нет! Деньги взяли, ограбили, а ты еще, негодяй, хочешь! Нехристь ты окаянный! — наступала с палкой вне себя от ярости Анна Григорьевна.

От ее ли криков, от донесшихся ли совсем недалеко звуков топоров, но солдат оторопел и, выхватив у матери из рук деньги, бросился в чащу. Женщины с испугом ждали: будет стрелять иль уйдет? Но бегущими, замирающими шагами солдат ломил кусты. И им вдруг стало слышно пенье птиц, которого раньше будто не было. Из последних сил продираясь сквозь кусты и мелколесье, странницы пошли на стук дроворубов…

На двенадцатой неделе полной неизвестности о судьбе матери я в Берлине наконец получил ее письмо… с польскими марками: “… вот уже две недели, как мы в Почаевской Лавре, куда пришли пешком… путь был труден, но он позади… даже думать боюсь о минуте встречи, так страшно, что после трех лет она вдруг не исполнится, когда уж так близко…”

Таким эмигрантам, как мать и Анна Григорьевна, из Польши в Германию в 1921 году переехать было трудно. Я ездил в Полицайпрезидиум, все объяснял, просил, но чиновники есть чиновники, получал ответ, что мать может приехать временно и только если на въездных бумагах будет польская виза “с поворотом”, то есть “с поворотом” назад в Польшу. “Закон есть

закон, и ничего в законе изменить нельзя”, — сказал мне наставительно толстый чиновник. Но мы закон обошли: помогли Станкевичи, самые близкие мне люди, я обо всем с ними советовался, и не раз Наталья Владимировна плакала над письмами моей матери.

Владимир Бенедиктович вдруг вспомнил, что в Варшаве в министерстве иностранных дел у него есть приятель (по-моему, Лукасевич, точно не помню) и он заведует восточным департаментом. В.Б. написал ему частное письмо о побеге матери, обо мне, о нашей дружбе, прося поставить на бумагах матери это волшебное “с поворотом”, заверяя, что мать никогда в Польшу не вернется. Благодаря этому письму матери обешали поставить “с поворотом”. Но оно и не потребовалось, ибо “закон” был обойден с другой стороны.

Тут помогла Наталья Владимировна. В Берлин из Рима как раз к ней приехала близкая подруга — Белобородова, сестра известного художника-архитектора А.Белобородова, жившего в Риме. Когда Белобородова была у Станкевичей, Н.В. рассказала ей о побеге матери и о наших хлопотах. Белобородова приехала не одна, а со своим другом — итальянцем. И на отчаяние Н.В. сказала: “Знаешь, по-моему, Умберто может помочь, он очень дружен с вашим полицайпрезидентом. Пусть Гуль заедет к нам и все расскажет Умберто, а я его подготовлю”.

Наутро я уже был у Белобородовой и Умберто в каком-то дорогом отеле, кажется, в “Адлон”. Умберто был совсем не похож на обычный, в нашем представлении, тип итальянца. Это был некрасивый блондин, широченный, вероятно, человек страшной силы, походил на борца иль боксера. Причем — очень приветливый и веселый. Он попросил рассказать о всех бедах моей матери. Я рассказал. По его коротким вопросам и кивкам головы я понимал, что он уже все знает от Белобородовой. Когда я кончил, он попросил написать имена и фамилии матери и няни, Я написал. Он взял листок, потом взял телефонную трубку, и начал говорить с… полицай-президентом. Конечно, разговор друзей пошел не о визе для моей матери. В трубку Умберто хохотал, они что-то вспоминали, от чего, вероятно, смеялся и полицайпрезидент. Умберто называл его на “ты”. Наконец стали уславливаться об общем обеде в ресторане — на завтра. И только под самый конец Умберто сказал: “Да, у меня к тебе есть одна просьба”. И Умберто очень кратко изложил дело моей матери. “Можешь ты это для меня устроить? Это очень хорошие и много пережившие люди”. Ответа полицайпрезидента я не слыхал. Но Умберто проговорил: “Данке шён”, — и они простились до завтрашнего обеда. Положив трубку и весело улыбаясь, Умберто

повернулся ко мне: “Ну, вот, все сделано, послезавтра можете ехать в Полицайпрезидиум, и вам подтвердят, что виза вашей матери будет послана в Варшаву”.

А дней через десять мать и няня сидели в моей крохотной комнате на Мейнингерштрассе, 11. Хочу рассказать об одном *чуде*. Оказывается, в Киеве мать долгое время страдала кровотечениями. Возможности пойти к врачу нет, бинтов нет, на бинты шли старые рваные простыни. А кровотечения такие, что “матрац промокал”.

Перед бегством мама молилась (она была подлинно религиозна), чтоб Бог дал ей сил дойти до сыновей здоровой: ведь если в дороге кровотечения откроются — побег сорвется. Беря в свои молитвы, несмотря на отговоры родных, мать все-таки пошла. И произошло *подлинное чудо*. Во всем четырехсотверстном походе кровотечений не было. Но как только мама *дошла до цели* — до Берлина, — открылись страшные кровотечения. Известный петербургский хирург профессор Яковцов (ставший эмигрантом) сказал, что операция нужна немедленно. Сделал. Опухоль оказалась очень большой, но не злокачественной. Яковцов не понимал, как с такой опухолью мать могла пройти четыреста верст? А вот прошла!

Вспоминаю, на Страстной к заутрене мы пошли с матерью на Хауптштрассе в протестантский храм. Протестанты предоставили свой большой храм нашей православной церкви; тут, в Шёнеберге, жило много русских.

Храм был переполнен. Недалеко стояли Алексей Толстой с женой (Натальей Крандиевской) и сыном Никитой. Толстой несколько раз оборачивался, взглядывая на нас. А дня через три встречаю его на улице. Не успел поздороваться, как он, даже с каким-то восторгом: “Ну, Роман Гуль, видел в церкви вашу матушку, какое у нее замечательное лицо! Ну вылитая моя тетка Татаринова! Кто она рожденная?” Я сказал. “Ну ни дать ни взять моя тетка Татаринова!” В моей матери не было ничего от “дамы”, тем более от “буржуазной”. Она была — женщина, мать, человек. Красивой она не была, но в ней было нечто большее, чем “красота”, в ней было благородство облика. У мамы были прекрасные карие глаза. Вот это-то благородство своим острейшим глазом и увидал Алексей Толстой. И мне это было приятно. О побеге мамы знали многие, в ежедневной газете “Голос России” о нем было подробно рассказано. Ко мне приехал репортер Б.Шенфельд-Россов, он все и написал.

Посольская церковь

Я не пишу историю русской эмиграции. Не мое дело. Хотя жаль, что она еще не написана. Но хочу, чтоб моя книга все-таки была неким *справочником* по истории зарубежной России. Разумеется, *мой* справочник будет субъективен. Это неизбежно, как почерк. Ведь я пишу о том, что *я. видел,* что *я чувствовал,* что *я пережил.* Но я дам не только (зарубежную) биографию мою и моей семьи, но и общий, чисто фактический *фон,* который показал бы *декорации* зарубежной России, Расскажу, чему "недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил и книжному искусству вразумил".

Каков же был русский Берлин? Начну с православных церквей. По числу их Берлин не мог сравниться с Парижем и Нью-Йорком, где православных церквей было множество.

В Берлине в 1920-х годах была домовая посольская церковь на Унтер ден Линден (пока в старинное здание русского посольства не въехал первый советский представитель, большевик А.А. Иоффе — тогда церковь уничтожили).

В посольскую церковь я ездил каждое воскресенье к обедне. Церковь всегда была полна молящимися. И в ней я впервые увидел бывшего члена Государственной Думы, "легендарного", крайне правого и крайне эксцентричного в своих думских выступлениях Н.Е.Маркова II-го. По лицу и фигуре он был очень схож с Петром Великим, увы! Роста столь же громадного, на голову выше всех стоявших в церкви, лицо энергичное, волосы подстрижены словно в кружалы. В эмиграции он был членом Высшего монархического совета и одним из тех, кто сразу поверил в чекистскую провокацию" Треста", что по всей Советской России будто бы уже раскинулась "мощная сеть" монархических организаций. Другую историческую личность я встречал часто после обедни. После литургии я обычно шел обедать в русский пансион фрау Бец. Фрау Бец, полнотелая, высокая, типичная немка, прекрасно говорившая по-русски, в двух шагах от Унтер ден Линден в своей квартире держала пансион. По воскресеньям за ее большим "табльдотом" сходилось много эмигрантов. Обеды были русские, вкусные, недорогие.

Среди обедавших я невольно обратил внимание на пожилого, с проседью, крепкого человека, с заклиненной седоватой бородкой, по-военному выправленного так, что если бы обедавшие и не обращались к нему "ваше превосходительство", я сразу бы определил его как военного. Штатский костюм сидел на нем, как мундир. Но генерал привлек мое внимание не

внешностью, а сужденьями. Разговоры за столом шли, конечно, о политике. К “его превосходительству” обращались с вопросами. И всегда все, что говорил это генерал, было умно, остро, было видно, что генерал политически весьма ориентирован и со своим мнением. По войнам (мировой и гражданским) я знавал русский генералитет, и надо честно сказать, что наши генералы в подавляющем большинстве были политически невежественны (в противоположность иностранным военным). Недаром во время революции сам глава генерального штаба генерал М.В.Алексеев, ища патриотической поддержки среди левых, однажды обратился к социалисту-патриоту Г.В.Плеханову: “Георгий Валентинович, ваше слово, как старого социалиста-революционера, было бы…” Плеханов поправил генерала, и, думаю, на лице Плеханова отобразился “ужас” — чтоб его, “отца русской социал-демократии”, назвали “старым социалистом-революционером”!.. Поэтому-то своей политической осведомленностью и удивлял меня кушавший со мной у фрау Бец генерал. Под конец я не выдержал и, уходя, спросил фрау Бец: “Фрау Бец, скажите, пожалуйста, кто этот генерал?” “А вы разве не знаете? — удивилась она. — Это же Александр Васильевич Герасимов!” Тут я (внутренне ахнув) понял, почему так умен и политически образован этот солидный генерал. Это — бывший начальник Охранного отделения генерал А.В.Герасимов, правая рука бывшего премьер-министра П.А.Столыпина, тот, кто мертвой хваткой схватил двустороннего предателя Азефа, заставив работать *только* на Охранное. И тот, кто спас Азефа от убийства эсерами после разоблачения, дав ему подложные документы и деньги.

Вскоре Б.И.Николаевский познакомился с А.В.Герасимовым. Оба они были великие знатоки русского революционного движения, но… с разных сторон баррикады. Они стали встречаться и беседовать (очень интересно). Дома Б.И. записывал рассказы А.В. для себя. Но давал их читать мне. Эти записи мне очень пригодились при писании мной исторического романа “Азеф”, в котором я вывел и генерала Герасимова. Герасимов опубликовал свои воспоминания по-немецки и по-французски. Жаль, что до сих пор они не вышли по-русски.

Из политических рассказов Герасимова Николаевскому я запомнил особенно один. Герасимов был близок к Столыпину в задачах внутренней политики. И вот Герасимов рассказал, что он и Столыпин разрабатывали законопроект о легализации всех русских политических партий, за исключением тех, которые прибегают к террору. По этому законопроекту (если б он осуществился) в России оказался бы такой политический спектр:

Союз русского народа, октябристы, конституционные демократы (кадеты), народные социалисты, социал-демократы (меньшевики). История указывает, что если б подобный законопроект воплотился в общественной жизни, социалисты-революционеры отказались бы от применения террора. За это говорит их отказ от террора после объявления манифеста 17 октября 1905 года. Вне легальности остались бы лишь большевики-ленинцы с своими “эксами” банков. Думаю, что это был политически мудрый путь успокоения и нормализации общественной жизни России. Но… Николаевский спросил Герасимова: почему же проект не осуществился? На что Герасимов, махнув рукой, коротко проговорил: “Камарилья в зародыше удушила…” Эта тупая дворцовая камарилья, вершившая дела у трона, более всех виновна в страшной беде России. Она отстранила Витте (и не только его), убила Столыпина, создала распутинщину и сухомлиновшину и привела к катастрофе революции…

Кроме посольской православной церкви в Берлине был синодальный собор на Фербеллинер-плац, Свято-Владимирская церковь на Находштрассе и кладбищенская церковь при Александерхайм (построенная, кажется, императором Александром III). Вот — о церквах.

Книжное дело

Теперь о русском книжном деле в Берлине. Не моя задача давать какие-то *исчерпывающие сведения*. Я не библиограф. Дам, что могу — некий набросок общей картины. Начну с самого удивительного. Оказывается, один год в Германии русских книг вышло больше, чем немецких. Об этом мне рассказал мой берлинский издатель (и приятель) А.С.Каган (“Петрополис”). Он издал в Берлине русских книг больше тысячи названий. Под маркой — “Петрополис”, “Парабола”, “Обелиск”, “Гранит” (правда, этот “Гранит” был придуман только для книг “гранитного” Троцкого, вышвырнутого Сталиным на Запад).

А.С.Каган был выслан в числе первых сорока четырех ученых, писателей, журналистов. Он был проректор Петроградской сельскохозяйственной академии (бывший Лесной институт). Вместе с Я.Н.Блохом в Петербурге он вел издательство “Петрополис”. “Петрополис” выпускал переводы иностранной классической литературы, из русской же — сборники стихотворений тогдашних выдающихся поэтов (петербуржцев): Н.С.Гумилева, А.А.Ахматовой, М.А.Кузмина, Ф.К.Сологуба, О.Э.Мандельштама, Г.Иванова и других, Гумилев, Мандельштам и Георгий Иванов даже литературно увековечили Я.Н.Блоха в “купно” ими написанной шутке;

На Надеждинской улице
Жил один
Издатель стихов
По прозванию
Господин
Блох.
Всем хорош,
Лишь одним
Он был плох
Фронтисписы очень любил
Блох.
Фронтиспис его и сгубил.
Ох!
И т. д.

Так вот, однажды в Берлине близкий знакомый А.С.Кагана — Я.Г.Фрумкин (петербуржец, адвокат, народный социалист, приятель Станкевичей, у которых я его часто встречал)[{9}]сказал, что один год в Германии русских книг вышло больше, чем немецких. Фрумкин работал в грандиозном немецком издательстве Ульштейн и мог быть в курсе. Но Каган не поверил

ему и они заключили пари. Пари выиграл Фрумкин, показав соответственный номер “Borsenblat der Deutschen Buchhandlers”. Думаю, об этом эмигрантском “рекорде” я сообщаю впервые.

Но чтобы читатель представил себе полный размах русского книгоиздания за рубежом, добавим: кроме Берлина русские книги выходили в Париже, Праге, Белграде, Риге, Софии, на Дальнем Востоке, в Южной Америке. Общую цифру “океана” книг русского Зарубежья назвать затруднительно. Желающих попробовать это сделать отсылаю хотя бы к двухтомной (толстенные тома!) “Библиографии русской зарубежной литературы (1918–1968). Составитель доктор Л. фостер. Бостон, 1970”. Работа эта никак не безгрешна, в ней пропущены ценные книги, есть неверности в именах, ошибки в псевдонимах{10}. Но общую картину “бушевания” русской зарубежной книги эта библиография все-таки дает.

Для России (если Россия когда-нибудь *будет,* в чем я далеко не уверен) зарубежная библиотека русских книг — беспримерная культурная ценность.

Да это ценность и мировой культуры! Как же этот вклад удался, как произошел? Полагаю, *по легкомыслию.* Ведь в 20-е годы (главный размах книг) в эмиграции никто не думал — ни монархисты, ни социалисты, ни сменовеховцы, ни евразийцы, ни либералы, ни консерваторы, — что пресловутая ленинская РСФСР превратится в страшный тоталитарный бестиарий, который захватит полмира. Русские политики, мыслители, писатели все (по-разному) веровали, “большевизм не вечен”, и надеялись, что в какое-то прекрасное утро что-то такое произойдет, что воскресит свободную Россию{11}. Поэтому *страшностъ* эмиграции (о чем когда-то хорошо писал Герцен) так остро не ощущалась. В этом смысле *легкомысленны* были все, А в особенности, эмигрант-обыватель. Он был каменно убежден в своей “чемоданной философии” — “ в этом году нет, но в будущем обязательно вернемся!”. Так этот обыватель и просидел всю эмиграцию “на чемодане”. Ницше говорил: “Чтобы быть мудрым, надо быть легкомысленным”. Вот неожиданно русские эмигранты и оказались “ницшеанцами”.

Самым важным в русском зарубежном книгоиздании было то, что Зарубежье издавало книги, которые запрещались и даже изничтожались в ленинском царстве-государстве. Известно, что после Октября дело *просвещения Руси* Ленин отдал в руки своей жены Надежды Крупской. Эта духовно и интеллектуально весьма ограниченная “первая советская леди” (грубее — партийная дура-начетчица) издала один за другим три циркуляра, исключительно замечательных тем, что они ясно говорили всякому, что

“бестиарий начался”.

8 ноября 1923 года из Сорренто Максим Горький писал Влад. Ходасевичу, своему соредактору толстого журнала “Беседа”, начатого Горьким в 1923 году в Берлине под редакцией М.Горького, В.Ходасевича, А.Белого, профессора Адлера, профессора Брауна: “Из новостей, ошеломляющих разум, могу сообщить, что<…> в России Надеждой Крупской <… > запрещены для чтения: Платон, Кант, Шопенгауэр, Вл. Соловьев, Тэн, Рескин, Ницше, Л.Толстой, Лесков<…> и еще многие подобные еретики. И сказано: "Отдел религии должен содержать антирелигиозные книги". Все сие будто бы отнюдь не анекдот, а напечатано в книге, именуемой "Указатель об изъятии антихудожественной и контрреволюционной литературы из библиотек, обслуживающих массового читателя". Сверх строки мною вписано "будто бы" — сему верить, ибо я еще не могу заставить себя поверить в этот духовный вампиризм и не поверю, пока не увижу "Указатель". Первое же впечатление, мною испытанное, было таково, что начал писать заявление в Москву о выходе моем из русского подданства. Что еще могу сделать я в том случае, если это зверство окажется правдой”.

В РСФСР, уже начавшей превращаться в орвелловский “Скотский хутор”, это зверство оказалось *сущей правдой*. Но Максим Горький никакого заявления о “выходе из подданства” не подавал. Его журнал “Беседа” оборвался. Вскоре Горький воспел почившего Ленина, потом — “золотое сердце” почившего Дзержинского. “Нет, как неожиданна, несвоевременна (!) и бессмысленна смерть Феликса Эдмундовича! Черт знает что!” А в 1929 году по настойчивым приглашениям Сталина шумно, как мировая пролетарская ведетта, въехал из Италии в СССР — на побывку. В 1931 же году переехал навечно.

В “стране победившего социализма” М.Горький похвалил Соловки (концлагерь), восхвалил и Беломорканал: “Черти драповые, вы сами не знаете, что сделали!..” Так обратился гуманист Горький к убийцам-чекистам Френкелю, Фирину, Берману, Когану, Рапопорту, Жуку, за которыми “за каждым тысяч по тридцать человеческих жизней”.

Но довольно скоро в путаной голове и путаной душе Алексея Максимовича произошла какая-то осечка. Обнаружилось некое “мелкобуржуазное бузотерство”. Тогда его, естественно, заточили под своеобразный “домашний арест” под неослабным присмотром секретаря-чекиста Петра Крючкова. Виктор Серж пишет, что Горький “по ночам плакал”. Возможно. Говорят, будто Горький отказывался писать книгу о Сталине и будто даже захотел назад, в солнечное Сорренто. Но тут уж разговор

короткий — в 1936 году приставленные к Горькому чекисты отравили его. Заодно отправили на тот свет, и его сына Максима. Официально это называется: “Горький был чудовищно умерщвлен бандой фашистских предателей и шпионов”{12}.

Зато post mortem Сталин разрекламировал Горького хоть куда, как мог! Сталин любил возвеличивать покойников (Фрунзе, Кирова, Маяковского, Горького и другие): *с покойниками спокойнее.* И улица Горького, и город Горький, и литературная премия имени Горького, и колхозы имени Горького, и заводы имени Горького, и памятники Горькому. Только острословие Карла Радека не было осуществлено, Радек предлагал именем Максима Горького назвать всю эпоху — Максимально-Горькой. Собраний сочинений Горького в СССР не перечесть, его переиздаваемых книг не перечислить, хоть в них кое-что и фальсифицировано, что установлено зарубежной русской печатью. Но эка важность фальсификация чего-то в Горьком, когда вся история России для советского гражданина фальсифицирована и ничего не случилось.

И все же в зарубежной России есть одна книга М.Горького, которая никогда не появится в СССР. Это — “Несвоевременные мысли”, собрание статей М.Горького из “Новой жизни”, когда он отчаянно сопротивлялся большевизму. Горький писал: “Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти<…> Рабочий класс не может не понять, что Ленин на его шкуре, на его крови производит только некий опыт<…> Рабочие не должны позволить авантюристам и безумцам взваливать на голову пролетариата позорные, бессмысленные и кровавые преступления, за которые расплачиваться будет не Ленин, а сам же пролетариат..” (“Н.Ж.” 7(20) ноября 1917). “Народные комиссары относятся к России как к материалу для опыта<…> Реформаторам из Смольного нет дела до России, они хладнокровно обрекают ее в жертву всемирной или европейской революции<…> Мне безразлично, как меня назовут за это мнение о "правительстве" экспериментаторов<…> но судьбы рабочего класса и России — не безразличны для меня. И пока я могу, я буду твердить русскому пролетариату: тебя ведут на гибель, тобой пользуются как материалом для бесчеловечного опыта, в глазах твоих вождей ты все еще не человек…” (“Н.Ж.” 10 (23) декабря 1917).

От Горького в зарубежной России осталась эта книга,“Книга о русском крестьянстве” (изд. И.П. Ладыжникова, 1922) и шесть томов малоудачного толстого журнала “Беседа”.

Я, к сожалению, не читал циркуляры Надежды Крупской. Библиографически редки. Но убежден, что Достоевский тоже

тогда попал в запретные писатели. Помню, Федин и я завтракали в Берлине у Марии Федоровны Андреевой (вторая жена М. Горького, бывшая актриса МХТ), и за завтраком М.Ф. рассказала (только нельзя было понять, одобрительно или нет, скорее просто — "для информации"), что однажды при ней Ильич, говоря о "Бесах", сказал; "Омерзительно, но гениально!". Позже я видел этот интересный отзыв в печати.

Естественно, что большевикам есть за что не любить Достоевского: он их предвидел как "бесов". Но и у меньшевиков Федор Михайлович был не в чести. Когда парижский толстый журнал "Современные записки", ведшийся редакторами эсерами, праздновал выход 50-й книги, берлинский "Социалистический вестник", ведомый Ф.Даном (Дана Плеханов называл "полуленинцем"), "внес диссонанс в редкий праздник левой эмиграции", упрекая "Сов. зап." в интересе к вопросам религии и в излишнем внимании к Достоевскому. Долголетний редактор нью-йоркской еврейской газеты "Форвертс" Каган (в молодости русский революционер) говорил: "Меньшевики это маленькие большевики". А Петр Струве — "Меньшевики это те же большевики, но в полбутылках".

В то время как в Советской России по завету Ильича "Бесы" и "Дневник писателя" за все 60 лет бытия комдиктатуры отдельными изданиями ни разу не выходили, а полное собрание сочинений Достоевского (частичная реабилитация!) началось изданием лишь в 1926 году, в русском Зарубежье уже в начале 20-х годов появилось полное собрание сочинений Достоевского (изд. Ладыжникова), а "Бесы" и "Дневник писателя" отдельными книгами издавались не раз.

Еще более существенно, что русские мыслители и русские писатели Зарубежья за годы эмиграции создали большую литературу о Достоевском. И не формального или текстологического порядка, а разрабатывая *вглубь* миросозерцание, мысли, идеи Достоевского. Перечислю книги и статьи (те, что знаю): митрополит Антоний (Храповицкий) — две книги: "Словарь к творениям Достоевского" и "Достоевский как проповедник возрождения"; Н.Бердяев — книга "Миросозерцание Достоевского" и статья "Откровение о человеке в творчестве Достоевского"; Б.Вышеславцев — книга "Русская стихия у Достоевского" и статья "Достоевский о любви и бессмертии"; А.Бем — книги "Тайна личности Достоевского", "К вопросу влияния Гоголя на Достоевского", "О Достоевском", сборники статей под редакцией А.Бема — "Достоевский — гениальный читатель", "Грибоедов и Достоевский", "Пушкин и Достоевский", "Гоголь и Достоевский", "Толстой и Достоевский. Толстой в

оценке Достоевского", "Фауст в творчестве Достоевского", К.Мочульский — книга "Достоевский. Жизнь и творчество" и статьи "Положительно прекрасный человек у Достоевского", ""Повесть о капитане Картузове" Достоевского"; А. Лясковский — книга "Достоевский"; Лев Шестов — книга "Достоевский и Ницше" и в книге "На весах Иова" две статьи — "Достоевский и блаженный Августин" и "Киркегард и Достоевский"; С.Франк — статья "Достоевский и кризис гуманизма"; Вл. Ильин — статьи "Трагедия Достоевского", "Сверхлогика любви у Достоевского"; протоирей Г.Флоровский — книга "Достоевский и Европа", статья "Религиозные темы Достоевского"; мать Мария (Скобцова) — книга "Достоевский и современность"; Е. Лундберг — статья "О Достоевском"; Г.Мейер — статьи "Баратынский и Достоевский", "Достоевский и всероссийская катастрофа"; Н.Лосский — книга "Достоевский и его христианское миропонимание", статьи — "Личность Достоевского", "Зло и добро в произведениях Достоевского", "Ермилов и Достоевский"; И.Лап-шин — книга "Эстетика Достоевского", статьи ""Братья Карамазова" Достоевского и "Красный кабачок" Бальзака", "Достоевский и Паскаль", "Метафизика Достоевского", "Комическое в произведениях Достоевского"; Ю.Никольский — книга "Тургенев и Достоевский".

Это, конечно, совсем не полный список работ по (да простится мне это слово!) *достоевсковедению* за рубежом. Но и он показывает, как русская культура Зарубежья противостояла антикультуре ленинизма. Пророчески верно сказал Д.С.Мережковский в 1921 году в Париже: "Мы не в изгнаньи / Мы в посланьи!". История это подтвердила.

В начале главы я сказал, что в Берлине 20-х годов было тридцать русских издательств. Я ошибся. Их было сорок. Многие без определенного политического лица, просто свободные издательства. А некоторые — "с лица необщим выраженьем". Например — "Скифы". Это — левые эсеры. О них стоит сказать.

"Скифы" прибыли в Берлин в 1921 году во главе с бывшим наркомюстом И.Штейнбергом и А. Шрейдером. Въехали они в Берлин шумно, с хорошими деньгами, и сразу — на широкую ногу! — открыли большое издательство, назвав его "Скифы". В этой группе, кроме Штейнберга и Шрейдера, был интересный писатель, критик Евг. Лундберг, был и человек без определенной профессии, по-моему, просто "л.с.р." Бакал, какие-то две очаровательные грузинки, кто-то еще.

Штейнберга я никогда не встречал, о чем жалею, ибо я жаден до всяких людей. Но с Шрейдером, Лундбергом, Бакалом встречался довольно часто. Говорилось, что всех их выслали. Но я

так и не понимаю, почему и как их выслали и почему они приехали с такими деньгами — после подавления большевиками левоэсеровского восстания в Москве в июле 1918 года левые эсеры ведь оказались “врагами народа”. Штейнберг в своих воспоминаниях пишет, кажется, что он “бежал”.

Теперь, из прекрасного далека времени, глядя на этих “скифов”, надо сказать, что это были по-человечески хорошие, симпатичные люди (те, кого я знал — Шрейдер, Бакал, Лундберг), но политически, по своему “революционному романтизму” — какие-то несерьезные. Странно, что эта группа “скифов” состояла почти вся из евреев, которые по своему национальному характеру, я думаю, ни к какому “скифству” не расположены. Больше того, бывший наркомюст И.Штейн-берг был ортодоксальный, религиозный еврей, соблюдавший все обряды иудаизма. Как он это увязывал со “скифством” — его “тайна”. Шрейдер же, которого я хорошо знавал, наоборот, был еврей, вдребезги испорченный Россией. “Россия” ведь — великая портилыцица характеров. В старой России я знавал и евреев, и армян, и грузин, словно вылепленных по Мите Карамазову, вообще по образу российского Саврасэ без узды. Известный националист В.В.Шульгин осуждает эту стихию в русском характере, называя ее “душевным большевизмом”, невозможным на Западе. Думаю, он в чем-то прав.

Александр Шрейдер и кончил в Париже именно так, по-карамазовски: без ума полюбил художницу Хентову (действительно интересную, “загадочную” женщину, я ее знавал), но, не получив на свою “безумную” любовь ответа, пустил себе пулю в лоб. Евг. Лундберг, с которым я впервые встретился у Станкевичей (он немного писал в журнале “Жизнь”), был, по-моему, интересным и умным писателем. В Берлине он издал несколько книг. На мой взгляд, лучшая — “Записки писателя”. В ней Лундберг тогда рассматривал вопрос, кому в истории русской революции придется “подвинуться” — “плетню или Ленину?” То есть — марксисту ли Ленину или российскому крестьянству с его “плетнем”? И Лундберг приходил, конечно, к выводу, что мужицкий “плетень” вечен и нерушим, а Ленину (хочет он того иль не хочет) придется “подвинуться”. Для того времени Лундберг писал очень убедительно. Но, увы, история революции показала, что “Ленин-то” остался недвижим, а “плетень” российского крестьянства просто смели пулеметами и снесли вооруженной силой, уничтожив при этом десятки миллионов людей.

Но перейдем к издательству. Во-первых, “Скифы” сразу же стали издавать левоэсеровский журнал “Знамя”. И выпустили

множество книг, в большинстве со “скифским” уклоном: А.Блок “Двенадцать” и “Скифы”, “Россия и интеллигенция”, “О любви, поэзии и государственной службе”, Иванов-Разумник “О смысле жизни”, “Свое лицо”, “Что такое интеллигенция”, Н.Клюев “Песнь солнценосца”, “Избяные песни”, А.Белый и С.Есенин “Россия и Инония”, С.Есенин “Триптих”, А.Шрейдер “Республика Советов”, И.Штейнберг “От февраля по октябрь 1917 года”, Е.Лундберг “От вечного к преходящему”, А. Кусиков “Аль Баррак”, А. Ремизов “Чакхчыгыс Таасу”, К. Эрберг “Красота и свобода”, Лев Шестов “Достоевский и Ницше”, сборник материалов о ленинском терроре — “Кремль за решеткой” и много другого интересного.

Но кончились “Скифы” очень быстро, по-скифски: деньги все пропустили{13}, Шрейдер (как я сказал) застрелился, Лундберг возвратился, а Штейнберг уехал в Америку. Выпущенные Штейнбергом мемуары для политического деятеля странно несерьезны, но для левых ср., пожалуй, характерны. Вспоминая октябрьский переворот, Штейнберг пишет: “Тайной политической целью Ленина всегда была диктатура большевицкой партии, и ею никогда не был объединенный фронт”. Зачем же тогда было идти с Лениным в коалицию, превратясь в “наркомюста”?! “Надо сказать прямо, — пишет Штейнберг, — мы не сделали всего, что от нас зависело<…> Мы слишком часто во имя политических или общереволюционных задач (или согласия с большевиками, или престижа власти) отмалчивались, бездействовали. Софистикой "интересов революции", как тактическим плащом, мы накрывали больно задевавшие нас вопросы революционной этики и высшей целесообразности…” И объясняет все это Штейнберг для политического деятеля неподходяще: “Мы действительно жили в *мире экзальтации”*. Он приводит даже фразу из своего выступления 31 января 1918 года; “Своей *моральной непорочностью* революция может взять штурмом весь мир!” Это, конечно, “экзальтация”, даже больше чем…

Когда-то Ленин (не без издевки, по-моему) говорил о левых эсерах, что они поддержали октябрьский переворот, войдя в Совнарком, “чтобы не войти в историю дураками”. Но судьбе было угодно показать как раз обратное. Левые эсеры вошли в историю *самыми большими дураками.* Ленин накоротке использовал их, а потом главных (да и неглавных) перестрелял почти всех. И партия левых эсеров приказала долго жить, оставив по себе только странное воспоминание о том, что такое “революционная экзальтация”.

Других “партийных” издательств в Берлине не было. Меньшевики издавались в разных издательствах. Только группа правых меньшевиков (потресовцев, плехановцев), издававшая

журнал “Заря”, выпустила книгу Г.В.Плеханова “Год на родине” (собрание его статей против Ленина из газеты “Единство”, 1917).

С “лица необщим выраженьем” были некоторые правые издательства: “Медный всадник”, издательство О. Дьяковой, издательство Сияльского. “Медным всадником” руководил Сергей Алексеевич Соколов (Кречетов), в былом второстепенный поэт-символист, в мировую войну офицер, попавший в немецкий плен и сидевший в офицерском лагере вместе с Тухачевским. Когда я писал свою книгу о Тухачевском, я воспользовался тем, что рассказал мне С.А. о Тухачевском в плену. С.А. я встречал у Владимира Пименовича Крымова (писателя, богатого человека, большого дельца), о нем будет особая речь. В “Медном всаднике” генерал П.Н.Врангель издал свои “Записки” (1916–1920). При участии П.Н.Врангеля, герцога Г.Н.Лейхтенбергского и кн. А.П.Ливена здесь издавались исторически ценные сборники воспоминаний под названием “Белое дело”.

Издавал тут свою беллетристику бывший донской атаман генерал П.Н.Краснов, хотя свой эмигрантский бестселлер — трилогию “От двуглавого орла к красному знамени” — он выпустил в издательстве О.Дьяковой. Впрочем, П.Н.Краснов был плодовитейший писатель, за рубежом он выпустил около тридцати книг, так что не обижал ни “Медный всадник”, ни Сияльского, ни Дьякову. Писал атаман размашисто и по старинке, но было бы неверно сказать, что его книги совсем не литература. Нет, П.Н.Краснов умел и мог прекрасно писать, но только о том, *что он знал.* Все его военные картины (бои, парады, военная жизнь) всегда ярки, свежи, живы и, конечно, с большим знанием дела. До сих пор помню его чудесную статью “Казачья лава” в каком-то военном журнале. Но когда П.Н.Краснов в своей трилогии писал о “мировом масонском заговоре” и выводил эмигранта Ленина-Ульянова под фамилией Бурьянова, это было плоховато.

Вспоминаю, зашел я как-то в “Петрополис”. Петрополитяне — Я.Н.Блох и А.С.Каган — в веселом настроении. И Яков Ноевич говорит: “Жаль, что вы не застали, только сейчас тут был Анатолий Мариенгоф{14} и говорил, что прочел здесь Краснова "От двуглавого орла к красному знамени" запоем. С *большим интересом,* говорит, читал. Мы ему сначала не поверили. Но он вполне серьезно сказал, что считает эту трилогию очень интересной. Я ведь, говорит, как Вольтер, из всех книг не люблю только скучные. Я его спросил, пошла ли бы трилогия Краснова в Советской России, если б ее выпустили? А он, смеясь, отвечает: покупали бы, как французские булки!”

Кстати, Мариенгофа я знавал по Пензе. Он учился в Третьей

гимназии (весьма неважной), а я в Первой. Щеголял он по Московской улице в черной форме с красными петлицами, это была форма какого-то среднего учебного заведения в Нижнем Новгороде, откуда он приехал. Дружил он в Пензе с семьей с.д. — меньшевика В.Г. Громана, работавшего статистиком в Пензенском губернском земстве. Конечно, в те *до-потопные* времена (потоп начался с революции) никто и не знал о каком-то Ленине, каких-то большевиках, меньшевиках. После революции выяснилось, что Громан был лично близок к Ленину. Одно время играл, как экономист, большую роль в ВСНХ. Потом его зверски убил Сталин. Думаю, что погиб и его сын (Сергей, кажется), с которым дружил А. Мариенгоф.

Подлинным художником слова из “правых” зарубежных писателей, издававшихся в “Медном всаднике”, был, конечно, Иван Созонтович Лукаш. К сожалению, недооцененный в эмиграции. Думаю, именно потому, что всегда ходил “в правых”. Но, на мой взгляд, под некоторыми его вещами вполне могли бы стоять подписи и Ив. Бунина, и А.Толстого. Из книг Лукаша наиболее известны — “Голое поле” (о Галлиполи), “Дворцовые гренадеры”, “Бедная любовь Мусоргского”. Всего Лукаш издал книг двенадцать. Многое осталось в журналах.

Из издательств без особого политического лица самыми большими были: издательство И.П.Ладыжникова, издательство З.И.Гржебина, “Слово”, “Петрополис”. Не знаю точных цифр. Думаю, что каждое из них выпустило больше тысячи названий. Уже в 1924 году один библиографический справочник насчитывал семьсот одиннадцать названий только классиков, изданных за рубежом (Л.Толстой, Пушкин, Достоевский, Гоголь, Чехов, Тургенев, Гончаров, Лесков, Лермонтов, Грибоедов и другие). В хорошем положении оказались писатели-эмигранты старшего поколения, уже имевшие имена в России. Их произведения (не могшие появиться у Ленина) переиздавались нарасхват: Мережковский, Бунин, Зайцев, Гиппиус, Ремизов, Саша Черный, Ходасевич, Тэффи, Бальмонт, Бердяев, Шестов и многие другие. Сразу же пошел в гору в эмиграции М.Алданов, выпустив в “Слове” свои исторические романы. Всего Алданов издал книг двадцать.

Кроме большого числа художественных произведений “Слово” выпустило ряд ценнейших мемуаров и документальных книг. Перечислять не могу, назову хотя бы несколько: “Воспоминания” гр. С.Ю.Витте, “Переписка Николая II с Александрой Федоровной”, Н.А.Соколов “Убийство царской семьи”. Кстати, Соколова я мальчишкой знавал по Пензе, он был приятелем моего дяди Сережи (судебного следователя при

окружном суде). А Соколов был следователем по особо важным делам. Выдвинул его кандидатуру на расследование убийства царской семьи (и выдвинул очень удачно) тоже наш пензяк Юрий Яковлевич Азаревич, морской офицер, бывший тогда у белых в Сибири. Воспоминания Ю.Я.Азаревича напечатаны в “Архиве русской революции”.

Кроме большого числа мемуарных и документальных книг редактор издательства “Слово” И.В.Гессен выпустил двадцать три толстенных тома большого формата “Архива русской революции”, исключительно ценных для истории революции. Без множества подобных (сотен!) книг, вышедших за рубежом, история революции так бы и осталась фальсифицированной большевиками.

Среди больше чем тысячи названий книг “Петрополиса” отмечу тоже только некоторые: первое полное собрание сочинений И.Бунина (с “Окаянными днями”, конечно!), сборник посмертных стихотворений расстрелянного Н.С. Гумилева, сборники стихов Кузмина, Мандельштама, запрещенное в РСФСР “Красное дерево” Б.Пильняка, “Моя жизнь” высланного Л. Троцкого. Больше не перечисляю, оставляю библиографам. Скажу только, что “Петрополис” в Берлине начал издавать еще журнал “София” под редакцией Н.Бердяева, посвященный вопросам духовной культуры и религиозной философии. Сотрудниками были высланные из РСФСР профессора: Л. Карсавин, С.Франк, И.Лапшин, Н. Лосский, Б. Вышеславцев и другие. К сожалению, журнал скоро оборвался.

Издательство З.И. Гржебина выпустило множество книг художественной прозы и стихов (как классиков, так и современных писателей): М.Горький, А.Ремизов, Б. Шинский, В.Ходасевич, С.Есенин, Б.Пастернак, Ф.Сологуб, П.Муратов — обрываю перечень. Из политической мемуарной литературы: “Записки о революции” Н.Суханова в 7 томах, “Записки социал-демократа” Ю.Мартова, “Записки социалиста-революционера” Б.Чернова, “Годы побед и поражений” В.Войтинского, “Б дни революции” Ф.Дана, “Год интервенции” М.Маргулиеса, “Из моих воспоминаний” Н.Русанова, “Пережитое и передуманное” П.Аксельрода и другие. Кроме того, у Гржебина выходил исторический толстый журнал “Летопись революции”, в котором большое участие принимал Б.И.Николаевский. Обрываю перечень.

Дам теперь список русских издательств в Берлине, о которых еще не упоминал: “Мысль”, “Знание”, “Грани”, “Кооперативное издательство” (книги по русской кооперации), “Русское художественное издательство (журнал “Жар-птица”), “Русское универсальное издательство”, “Литература”, “Геликон” (сборники

стихов Цветаевой, Пастернака и других), “Манфред”, “Эпоха” (первое собрание сочинений А.Блока, толстый журнал “Беседа” и другие), “Возрождение”, “Русское творчество”, издательство А.Г.Сыркина, “Огоньки”, “Восток”, издательство Е. Гутнова, “Аргонавты”, издательство А.Ф.Девриена (книги по естествознанию и сельскому хозяйству), издательство Отто Кирхнера (Северянин, Бухов, Ершов и другие), “Детинец”, “Нева”, издательство С.Д.Зальцмана, “Книгоиздательство писателей” (М.Волошин “Стихи о терроре” и другие), “Век культуры”, “Заря”, “Сотрудник”, “Вальтер и Ракинт” (художественные книги), “Русское творчество”, “Политехничкое издательство” (техническая литература), “Пироговское издательство” (медицинские книги)… Что-то, вероятно, пропустил, но обрываю. Чтобы дать читателю хотя бы приблизительную картину русского книжного дела в Берлине 20-х годов — этого достаточно.

Добавлю перечень повременных изданий. Газеты. “Голос России”, ежедневная беспартийная демократическая газета под редакцией С.Я. Шклявера, позже, ненадолго, перешла под редакцию В.П.Крымова, потом под редакцию С.Полякова-Литовцева (тогда с участием П.Н.Милюкова), и наконец ее купила группа эсеров, газета переменила название на “Дни”, и редактором ее стал А.Ф.Керенский, сотрудниками — В.Зензинов, В. Лебедев, С.Постников, Н. Воронович, из писателей — М. Алданов, М.Осоргин и другие, Вторая ежедневная газета — “Руль” под редакцией И.В.Гессена, В.Д. Набокова, А.И.Каминка. Из сотрудников — Ю.И.Айхенвальд (псевдоним — Кременецкий), известный еще в России публицист Александр ЯблоновскиЙ, который за ее “Любовь пчел трудовых” назвал Александру Коллонтай “теткой русской проституции”, Ю.Офросимов, Б.Сирин (будущий В.Набоков), из одной статьи которого я так навек и запомнил фразу, что Советскую Россию “надо презирать дрожаньем ноздрей”; я никак не мог понять, как это “технически” делается. Третья ежедневная газета была сменовеховская — “Накануне” под редакцией профессора Ю.В. Ключникова, Г.Л. Кирдецова при участии профессора С.СЛукьянова, Б.В.Дюшена, Ю.Н.Потехина. О ней я расскажу особо, Еще выходила еженедельная бульварно-“желтая” газета “Бремя” под редакцией Г.Н.Брейтмана, большого друга и выручателя всей нашей кучки — Офросимова, Иванова, Корвин-Пиотровского, меня. Когда нужно было перехватить несколько марок, Г.Н. всегда выручал. Кроме эмигрантских газет в Берлине выходила тогда ежедневная коммунистическая русская газета “Новый мир” — зиц-редактором ее был немец Курт Керстен, а издавалась она советским полпредством.

Журналы. “Жизнь” (о ней говорил), “Новая русская книга” (говорил), “Социалистический вестник” (говорил), “Знамя” (тоже говорил), “Заря” под редакцией Ст. Иваноаича (Португейса), орган правых меньшевиков-плехановцев, историко-литературные сборники “На чужой стороне” (народные социалисты: С.Мельгунов, В.Мякотин, Т.Полнер и другие, позднее издание перешло в Прагу), “Рабочий путь”, орган русских анархо-синдикалистов под редакцией ГМаксимова, М.Мрачного, А.Шапиро, Х.Ярчука, “Сполохи”,/литературный журнал под редакцией АДроздова, “Жар-птица” — литературно-художественный иллюстрированный ежемесячник, издатель А.Э.Коган (до революции издатель “Солнца России”), литературный редактор Саша Черный, художественный — художник ГЛукомскиЙ, “Русский эмигрант”, двухнедельник легкого чтения под редакцией Б.Оречкина и И.Грязнова, “Музыка”, журнал, посвященный вопросам музыки, редактор-издатель А.Р.Гурвич, секретарь Н.Д.Набоков, будущий композитор, “Вещь”, журнал конструктивистов под редакцией художника Эль Лисицкого, “Эпопея”, литературный ежемесячник под редакцией А.Белого, “Беседа”, журнал литературы и науки, основанный М.Горьким (уже упоминал), “Русский экономист” под редакцией А.Гана, “Русская правда”, национально-монархический орган под редакцией С.Соколова с участием П.Н.Краснова, “Вестник самообразования”, “Русский инженер” (орган Союза русских инженеров)… Обрываю. Тоже, может быть, что-нибудь пропустил, но — достаточно. Да, конечно, пропустил один интересный иллюстрированный журнал — “Театр и жизнь” с подзаголовком: “Журнал, посвященный пропаганде русского сценического искусства за границей”. Редактор-издатель Е.Ю.Грюнберг. В числе сотрудников указаны: “Н.Агнивцев, Д.Буховецкий, М.Н.Германова, барон Дризен, В.И.Качалов, ОЛКниппер, АЛевинсон, АХойран-ский, Г.Лукомский, СМаковский, А.Моисси, В.Дм-Набоков, П.Пильский, А.Плещеев, Макс Рейнгардт, Лев Урванцев, а. ксюнин, Ю.Офросимов и другие”. Эмигранты тут густо перемешаны с москвичами и знаменитыми иностранцами. И еще забыл: “Историк и современник”, историко-литературные сборники, под редакцией И.Петругневского, издания О.Дьяковой. В них печатался ценный исторический материал. Например, работы Н.Г.Бережанского “П.Бермондт в Прибалтике в 1919 году”, “Польско-советский мир в Риге” и другие. Русская политическая периодика в эмиграции шла от монархистов справа до анархистов налево, через эсеров, эсдеков, энэсов, кадетов, сменовеховцев и других. А журналы по искусству — от “мирискусников” “Жар-птицы” до

конструктивистов “Вещи”.

Театры и музыка

Перейдем к русским театрам и русской музыке в Берлине 1920-х годов.

Постоянных русских театров в Берлине тогда было три: “Русский романтический балет”, “Синяя птица” и “Русский театр Ванька-Встанька”. Руководителем “Романтического балета” был известный артист Петербургского Мариинского театра Борис Георгиевич Романов. В Мариинском (с 1909 по 1920) в балетах он прославился ролями Пьеро, Колена, Базиля и особенно “половецкого воина”. Б.Г. был талантливейшим танцовщиком и хореографом, но он был и интересным, остроумным человеком. Жалею, что познакомился с ним только в “третьей части этой книги” — в Нью-Йорке.

Помню, в Нью-Йорке как-то завтракали мы втроем в ресторане: А.Р.Гурвич, Б.Г.Романов и я. И за завтраком Б.Г. рассказывал, как в Париже в последний раз он был у Кшесинской и она сказала, что пишет мемуары, только не знает, как их назвать. — “А я вам помогу, Матильда Феликсовна”. — “Ну?” — “Полвека под Романовыми”. Она засмеялась и “отодрала меня за уши”, — смеялся Б.Г. Знаменитая М.Ф. Кшесинская была замужем за вел. кн. Андреем Владимировичем, с которым они и делили годы эмиграции в Париже, в молодости же М.Ф. была увлечением государя Николая II, когда он был еще наследником. Свои воспоминания М.Ф.Кшесинская выпустила по-французски под заглавием “Souvenirs de la Kchessinska” (Париж, 1960).

Под руководством Б.Г.Романова “Русский романтический балет” в Берлине существовал до 1928 года, пользуясь большим успехом не только у эмигрантов, но и у немцев. Романов давал “Жизель”, “Петрушку”, “Любовь-волшебницу”, “Шута” и другие. После Берлина Б.Г. работал в Париже у Дягилева, потом — в Италии, в Южной Америке и в Нью-Йорке в Метрополитен опера.

Прима-балериной в его балетах в Берлине выступала Елена Александровна Смирнова, выдающаяся танцовщица Мариинского театра, жена Романова, умершая, к несчастью, очень рано, в Аргентине в 1935 году. Известный балетный критик Андрей Левинсон (тоже эмигрант), автор многих книг о балете на русском и французском языках, писал хвалебно о “Романтическом балете” Романова. Кроме этой балетной труппы в Берлине жили тогда многие известные балетные артисты: Вера Каралли, Е.П.Эдуардова, Е.Девильер, В.Кригер, К.М.Горе-ва, Клотильда и Александр Сахаровы, М.Н.Кузнецова (известная певица, выступавшая с испанскими танцами), Тамара Гамсахурдия,

Александр Демидов, Эльза Крюгер и другие.

Вторым постоянным русским театром в Берлине была “Синяя птица” — директор Яков Южный. Этот театр по своему стилю и репертуару был схож с знаменитой “Летучей мышью” Никиты Балиева, ставшей эмигранткой, улетевшей из советской Москвы в Париж, где Балиев с огромным успехом вел свой театр. “Летучаямышь” гастролировала и в Лондоне, и в Америке.

В “Синей птице” ведущие актрисы были Валентина Аренцвари, Е.Девильер и Юлия Бекефи, “потрясавшая” зрителей в “Рязанской пляске”. В труппе были: режиссер И.Дуван-Торцов, сам Я.Южный, знаменитый эстрадник Виктор Хенкин, музыкальной частью ведал М.М.Шопелло-Давыдов, художественное оформление — три талантливых молодых художника: А.Худяков, Г.Пожедаев и П.Челищев, сделавший позже международную карьеру.

Репертуар “Синей птицы” включал множество милых и остроумных музыкальных безделок — “Стрелочек”, “Полночная полька”, “Русский танец”, “Вечерний звон”, “Бурлаки”, “Повариха и трубочист”, “Рязанская пляска”, “Крестьянские песни”, “Лубки”, “Как хороши, как свежи были розы”, “Песенки кинто” — коронный номер Виктора Хенкина:

На одном берегу
Ишак стоит.
На другом берегу
Его мать плачит.
Он его любит,
Он его мать,
Он его хочет
Обнимать…

Кстати, о Хенкине. В гражданскую войну он был в расположении белых и пользовался (как и всегда до революции) оглушающим успехом. В Париже мне рассказывал однополчанин-корниловец, что — не то в Харькове, не то в Киеве (я уж не помню), занятом белыми, — Хенкин с неизменным успехом выступал в каком-то большом ресторане-кабаре, заполненном, конечно, белыми офицерами. Зал горячо его приветствовал. И Хенкин в ответ на овации предложил с эстрады конкурс — стихотворение-экспромт, в котором последняя строка состояла бы из его имени, отчества и фамилии. Под общее веселье офицеры занялись экспромтом. В зале был и генерал Шкуро (“Над Кубанью белошумною Шкуро / Ставит суд — святые не спасут!”), тоже занявшийся сочинением экспромта. Но выиграл игру поручик П.Фатьянов, написав:

Кумир блондинкин и шатенкин,

О Виктор Яковлевич Хенкин!

Спустя много, много лет в “Новом журнале” в Нью-Йорке я напечатал одно стихотворение П.Фатьянова, скончавшегося во Франции:

Воспоминания… кому нужны?
Воспоминаниям не верьте.
Так, разве для себя…
Так, разве для тебя:
Вновь растревоженные сны
За несколько минут до смерти?
Воспоминания… кому нужны?
Воспоминаниям не верьте…

Театр “Синяя птица” с успехом существовал несколько лет, гастролировал и в Америке…

Душой третьего “Русского театра Ванька-Встанька” был известный поэт-эстрадник Николай Яковлевич Агнивцев, автор вышедших в Берлине стихотворных сборников “Мои песенки” и “Блистательный Санкт-Петербург”. Агнивцева я встречал, но мало. Очень высокий, очень худюший, с некрасивым, но выразительным лицом, очень выпивавший, он был воплощение бескрайней русской театральной богемы. И крутился все время среди актеров. По природе был, по-моему, очень талантлив. Но что такое талант? По-моему, в таланте непременно должна быть способность некого гипноза. И если есть гипноз, есть и талант. Разумеется, гипноз не для всех, но хотя бы для некоторых. Пушкин — это массовый гипноз. А рядом Денис Давыдов с чудесным: “Не пробуждай, не пробуждай / Моих безумств и исступлений / И мимолетных сновидений / Не воскрешай, не воскрешай…”. Давыдов— это гипноз ограниченного действия. Агнивцев, конечно, не Вячеслав Иванов. И хорошо, что так. Если б на свете были только Вячеславы Великолепные, было бы, пожалуй, скучновато. Спесивые эстеты, разумеется, найдут в Агнивцеве и мелкотемье, и даже “пошлость”. Но хорошо в свое время ответил Але-кандр Блок о пьесах Леонида Андреева: “Пусть это пошлость, но это пошлость, которая меня волнует!” Вот и у Агнивцева есть такие (не пошлости, а скорее) “легкости”, сквозь которые чувствуется несомненный талант милостью Божьей. Ну хотя бы такая ностальгия по любимому, обожаемому городу, который он так хорошо знал и которым “жил”:

План города Санкт-Петербурга
В Константинополе у турка
Валялся, порван и загажен,
План города Санкт-Петербурга
(“В квадратном дюйме — 300 сажен”).

И вздрогнули воспоминанья!
И замер шаг! И взор мой влажен!
В моей тоске, как и на плане,
“В квадратном дюйме — 300 сажен”.

Мило, мастерски сделаны многие агнивцевские шутки, ну хотя бы:

Между статуй прямо к Леде
Шла по парку гордо леди.
А за нею чинно следом
Шел лакей с шотландским пледом.
И сказала строго леди,
Подойдя вплотную к Леде:
“Шокинг!” И за этим вслед
Завернула Леду в плед.
О, заботливая леди!
Плед совсем не нужен Леде.
Уверяю вас: для Лед
Нужен лебедь, а не плед!

Все это — “легкости”. Но свои отдельные строки Агнивцев мог бы с чистой совестью подарить и Есенину, и даже Блоку. Хотя бы эту: “Ведь это юность из тумана мне машет белым рукавом!”.

Театр Агнивцева “Ванька-Встанька” просуществовал недолго. В нем (как и в “Синей птице”) давались разные интересные, талантливые безделки — “Русь эмигрантская”, “В старой Москве”, “Хоровод виз”, “Бродячие комедианты”. Некоторые постановки ставил известный актер МХТ Р.Болеславский. Музыкой ведал Г. Фистулари. Художественной частью — художник из МХТ А.Андреев. А постановка “Санкт-Петербург” шла наполненная стихами Агнивцева:

И в ночь, когда притихший Невский
Глядит на бронзовый фронтон,
Белеет тень Комиссаржевской
Меж исторических колонн…
Декабрьских улиц белизна,
Нева и Каменноостровский,
И мерный говор Куприна,
И трели Лидии Липковской…
И стариков своих не выдав,
Неколебимы средь толпы
Варламов, Ходотов, Давыдов
— “Александрийские столпы”…
Александр Сергеич, вы ли?
Вы ли это? Тот, чье имя
Я в своих стихах не смею

До конца произнести…
Белой мертвой странной ночью,
Наклонившись над Невою,
Вспоминает о минувшем
Странный город Петербург…
Ах, Петербург! Как страшно просто
Подходят дни твои к концу:
Подайте Каменному мосту!
Подайте Зимнему дворцу!

“Ванька-Встанька” пользовался успехом. Но в Агнивцеве, сильно пившем, видимо, была какая-то неуравновешенность: в 1923 году он вернулся в РСФСР. Может быть, даже по пьяному делу, Бог его знает. Там у него сначала будто что-то пошло, выпустил более-менее “соответственный” сборник стихов — “От пудры до грузовика”, в издательстве “Радуга” выпустил две книжки “для юношества”, стал сотрудником “Крокодила”. Но вскоре власти поняли, что этот Божьей милостью богемьен — не подходящ. Из “Крокодила” его ушли. Двери издательств для него закрылись. Агнивцев опустился. Сидел в дешевых пивных, где за бутылку пива писал стихотворения, ноги были обуты в калоши, обмотанные веревками. И под конец умер, как босяк, — как говорится, “под забором”. Но “забор” был не чужой, не бусурманский, конечно, а свой, расейский “забор”, под ним, говорят, и умирать гораздо приятнее.

Из драматических театральных постановок в Берлине были выступления так называемой “пражской группы” артистов МХТ, не возвратившихся в РСФСР, оставшихся за границей. Среди них — гениальный Михаил Чехов, Варвара и Лев Булгаковы, чудесный Николай Колин, Вера Греч и Павлов, Массалитинов, Вырубов, Егорова, Краснопольская, Вера Соловьева, М.Н.Германова, М-А.Крыжановская; прославившаяся в “Хозяйке гостиницы” Гольдони Ольга Гзовская и ее муж В.Гайдаров; выступали и другие известные в России актеры — Степан Кузнецов, А.И. Долинов, бывший режиссер и актер Александрийского. Ненадолго задержались в Берлине известные театральные режиссеры Н.Н. Евреинов и А.А.Санин, первый стал работать в Париже, второй — в Италии, там же, в Италии, успешно работал как режиссер актер МХТ Шаров. Мое перечисление актеров-эмигрантов, разумеется, не полное. Перечисляю, кого помню.

Теперь несколько слов о музыке в русском Берлине, Она была на большой высоте. Здесь были известные композиторы — Николай Карлович Метнер, Александр Константинович Глазунов, Александр Тихонович Гречанинов, дирижеры— Э.Купер, Ю.Померанцев, В.Бердяев, О.Заславский, наезжал Сергей

Кусевицкий, позднее “завоевавший” Америку; из пианистов концертировали — А.К.Боровский, А.И.Зилоти, Орлов, Крейцер, Арсеньев; из скрипачей — известная Цецилия Ганзен с пианистом профессором Борисом Захаровым, Лея Любошиц; виолончелисты — профессор Е.Я.Белоусов, профессор Н.Граудан, Рая Гарбузова, Григ. Пятигорский. Ненадолго в Берлине были пианисты Вл. Торовиц, А. Китаин.

Из певцов — известная камерная певица Полина Доберт, Анна Эль-Тур, Мейчик, О.Слободская, Лисичкина, баритон Большого театра Г.А.Бакланов, бас Касторский, Н.С.Ермоленко-Южина (из Мариинского и Большого), наезжал из Прибалтики знаменитый тенор Дмитрий Смирнов (в былом из Большого), наезжал и Федор Иванович Шаляпин. Но кто завоевал немецкий музыкальный мир — это Зинаида Юрьевская, изумительное сопрано, ставшая певицей немецкой оперы и любимицей публики. Благодаря таким певцам, как Юрьевская и Смирнов, на немецкой сцене вскоре появились и русские оперы; “Евгений Онегин”, “Борис Годунов”, “Царская невеста”. В Дрездене оперой “Борис Годунов” дирижировал известный Исай Александрович Добровейн, декорации сделал Андрей Худяков. К сожалению, З.Юрьевская кончила жизнь трагически, бросилась в горах Швейцарии с моста — вниз, в ущелье.

Будучи эмигрантом, в Берлин приезжал с своими песенками Александр Вертинский, автор известного “На смерть юнкерам”, теперь он пел: “И российскую горькую землю узнаю я на том берегу…”. Через много лет он возвратился в СССР, где был принят — как это ни странно — с распростертыми объятиями. Свой первый публичный концерт он дал в апреле 1944 года. Но самый первый *закрытый концерт,* как мне говорили, он дал “для работников НКВД” где-то чуть ли не на Лубянке. Тут он мог петь все что угодно. Для публики же главрепертком наложил вето на многие его “упадочности”. И правильно сделал, какой-нибудь “лиловый негр” иль “креольчик с Антильских островов”, разумеется, могли сотрясти все основы “победившего социализма”. Приезжала в Берлин из Парижа знаменитая исполнительница русских народных песен Надежда Васильевна Плевицкая, кончившая жизнь довольно страшно: умерла в каторжной тюрьме в Ренн, куда была заключена по суду за соучастие в похищении в Париже генерала Миллера советскими чекистами. Главным предателем генерала Миллера был ее муж, белый генерал Скоблин, бежавший в СССР и канувший там в небытие. Перед смертью Плевицкая во всем покаялась,

Отмечу выступления замечательного украинского хора Кошица, имевшего оглушительный успех не только у украинцев и

русских, но и у немцев, а также сводивший немцев с ума Хор (с плясками) донских казаков Сергея Жарова. Как видите, в русском эмигрантском Берлине 1920-х годов музыки было сколько угодно — от Н.К. Метнера и А.К.Глазунова, Ф.И.Шаляпина и З.Юрьевской до хора донских казаков и балалаечных оркестров.

Кстати, о балалаечниках. После отъезда А. Толстого в РСФСР мне предложили редактировать “Литературное приложение” к газете “Накануне”. Я согласился. И всегда сам его верстал в типографии, иногда с помощью В.Корвин-Пиотровского, служившего тогда в “Накануне” метранпажем и печатавшего в газете свои стихи. И вот как-то кто-то из редакции приводит в типографию человека в кожаной куртке, с пушистыми светлыми усами, с усталым лицом типично русского рабочего. По одежде и лицу я понял, что это “московский товарищ”. Приведший сказал, что человек этот недавно из Москвы, он не то председатель, не то зампред (не помню) Полиграфического треста и хотел бы осмотреть типографию. Немецкая типография, где печаталась “Накануне”, было большая — с линотипами, монотипами, печатными машинами, прессами и всяким другим оборудованием. Пиотровский взялся показать москвичу типографию. А потом они подошли ко мне, где я верстал. И по виду, и по разговору “москвич” показался мне симпатичным. Спросил, давно ли я живу в Германии? Я ответил. “Из белых?”, — спросил (но не враждебно). — “Из белых”. — “Понятно…” — Потом москвич стал жаловаться, что языка не знает, города не знает, сидит в своем пансионе, “выйтить некуда”, “немецкая еда осточертела”. — “Тут, говорят, какие-то русские рестораны есть?” — “Есть”. — Я понял, что москвич хочет посмотреть город, поесть в русском ресторане, вообще “отдохнуть” от официального путешествия по типографиям. Я предложил, что могу как-нибудь заехать за ним и свозить в русский ресторан. — “Бот, вот, очень бы хотел, а то я тут как немой…”

В Берлине были всякие русские рестораны: и фешенебельные, и поскромнее. Были: “Стрельня” (цыганский хор кн. Б.А.Голицына, солистка М.Н.Бемер), кавказский ресторан “Алла верды” (капелла Ионеску), ночной кабак “Тихий омут”, “Медведь” (“борщ с гречневой кашей во всякое время”, цыганские романсы в исполнении К.Л.Истоминой), “Русско-немецкий ресторан” (капелла И.Ф.Гилль, солиста бывшего придворного оркестра), но это все были дорогие. И в условленный день я повез москвича обедать в скромный русский ресторан “Тары-бары” на Нюренбергерштрассе.

Я москвича не расспрашивал ни о чем, но из разговора понял, что он бывший типографский рабочий, теперь наверняка партиец,

какая-то “шишка” в тресте “Полиграф”.

Вошли в “Тары-бары”. Зал небольшой, но приятный, играет оркестр что-то очень русское — “Ухарь-купец”, что ли. Музыканты — человек восемь — русская молодежь, даже не белые офицеры, а скорее белые юнкера по виду. Все в красных сафьяновых сапогах, синих шароварах, белых широких русских рубахах, талии обмотаны красными кушаками. Инструменты — балалайки, гитары, домры, а один ударяет в бубен.

К нашему столику подошла молодая интересная русская женщина, которую я хорошо знавал еще по Гельмштедтскому лагерю.

— Здравствуйте. Хорошо, что зашли к нам. Что прикажете? Из закусок, напитков? У нас сегодня борщ хороший и барашек с кашей.

Заказали все, что полагается: и водку, и закуски, и борщ, и барашка с кашей, конечно. А женщина, записав заказ в блокнотик, отошла к какому-то окошку, профессионально крикнув в него: “Борщ два! Барашек с кашей два!”

А красносапожные так аполлоно-григорьевски стонут: “две гитары, зазвенев, жалобно заныли”, что за самую душу берут. Русские же. Вижу по москвичу, что и он доволен — и водкой, и закуской, и русской музыкой, вообще — “отдыхает душой” трудящийся товарищ. А оркестр вдруг с цыганского переходит на “барыню”. И крайний юноша с бледным, тонким лицом в бешеном такте то гладит бубен большим пальцем, то бьет в него. А центральный музыкант вдруг отбросил домру, сверкнул ладонями и такую присядку мечет красными сапогами, что кое-кто из посетителей (немцы) даже повскакивали с мест: что такое?

Оборвался оркестр отчаянно. И весь зал зааплодировал. А мой москвич, отпивая пиво, покачивая головой и одобрительно усмехаясь в усы, говорит:

— Здорово дворяне дуют!

И сказано это было хорошо, по-русски, с каким-то национальным восторгом и с каким-то даже, как мне показалось, соболезнованием.

За этот русский вечер москвич меня благодарил, прощаясь у дверей дома его пансиона, куда я его проводил.

Общественная и культурная жизнь эмиграции

В 1920-х годах в Берлине было множество русских общественных и культурных организаций. Попробую перечислить (конечно, не полно) и о некоторых рассказать: Русский научный институт, Русская гимназия, “Русское научно-философское общество”, “Союз русских журналистов и литераторов”, “Общество русских инженеров в Германии”, “Союз русских преподавателей в Германии”, “Союз русских торгово-промышленных и финансовых деятелей”, “Союз русских издателей”, “Религиозно-философская академия”, “Союз русских сценических деятелей”, “Русский академический союз”, “Союз русской присяжной адвокатуры”, “Общество русских врачей”, “Русский студенческий союз”, “Союз русских переводчиков в Германии”, “Русское общественное собрание”, Народный университет, “Русский общевоинский союз”, два писательских объединения — “Клуб писателей” и “Дом искусств”, литературные содружества молодых писателей “Веретено”, “Круглый стол” (вероятно, что-то пропустил, но и этого достаточно, чтоб представить себе общественную и культурную жизнь эмиграции в тогдашнем Берлине).

Председателем Русского научного института был профессор В.И. Ясинский (высланный). Организационный комитет — профессора Ю. Айхенвальд, Н.Бердяев, Б.Бруцкус, Е.Зубашев, А.Кизеветтер, И.Ильин, А. Каминка, Л. Карсавин, Б.Одинцов, С.Прокопович, В.Стратонов, А.Угрюмов, А.Чупров, С.Франк (большинство профессоров — высланные). На открытии Института 17 февраля 1923 года первую речь произнес последний ректор Московского Императорского университета М.М.Новиков на тему “О работе русских биологов”, потом говорил профессор И.Ильин — “Проблема современного правосознания”. На заседаниях Русского научного института с докладами выступали (кроме перечисленных выше) — ГВ. Вернадский, Б.П.Вышеславцев, С.И.Гессен, С.К.Гогель, П.П.Муратов, В.А. Мякотин, К.Н.Соколов, П.Б.Струве, М.А. Таубе, Н.С.Тимашев, А.А.Эйхенвальд, А.А.Боголепов, И.И.Гинзбург, А.П.Марков, Л.М.Пумпянский, П.Н.Савицкий, Б.Э.Сеземан, А.М.Кулишер и другие. Лекции читались такие: А.Кизеветтер “Русская история XVIII и XIX веков”, И.Ильин “Учение о правосознании”, И.Стратонов “Церковь и государство в России”, С.Франк “Введение в философию”, Н.Бердяев “История русской мысли”,

Ю-Айхенвальд “История русской литературы”, П.Струве “История хозяйственного быта России”, И.Стратонов “История русского права”, Н.Тимашев “Семинарий по изучению советского строя”, А.Каминка “Русское торговое право”, Б.Мякотин “Русская история”, Л.Карсавин “Россия и Запад”, Б.Бышеславцев “История русского искусства”, П.Муратов “История русского древнего искусства”, В.Сеземан “Семинар по философии”, С.Гессен “Русская педагогика”, К.Соколов “Русское государственное право”, М.Таубе “Международное положение России”, П.Савицкий “Экономическая география России”, С.Гогель “Русские судебные уставы”, А.Боголепов “Местное самоуправление в России”, Б.Бруцкус “Аграрная политика России”, С.Прокопо-вич “Хозяйство советской России”, М.Бернацкий “Денежное обращение”, А.Марков “финансы России”, Л.Пумпянский “Положение рабочих в России”, И.Гинзбург “Минеральные богатства России”. Может быть, что-нибудь я пропустил. Но и приведенного достаточно, чтоб увидеть, какую русскую интеллигенцию выбросили из России болыпевицкие псевдонимы. Эти русские ученые могли бы оказать честь любому университету любой страны. Подчеркну, что Русский научный институт был создан на русские же эмигрантские деньги. В финансовый комитет по изысканию средств для него вошли: Н.Белоцветов, Н.Беляев, П.Бурышкин, кн. И.Васильчиков, А.Каминка, И.Коган, И.Парамонов, С. Смирнов, М. Липман, Ф. фон Шлиппе, А. форштеттер и А.Хрипунов.

Хочу сказать несколько слов о русских художниках. В тогдашнем Берлине их было много и разных. В 1922 году издательство “Русское искусство” устроило в Берлине замечательную выставку работ “всех видных русских художников за рубежом”. Выставка была великолепна. В прекрасном каталоге было шестьдесят цветных репродукций. Из зарубежных художников были представлены работы: И.Я.Билибина, Н.С.Гончаровой, Б.Д.Григорьева, М.Ф.Ларионова, Н.К.Рериха, С.А.Сорина, Д.Стеллецкого, С.Н.Судейкина, В.И.Шухаева, А.Яковлева, А.Бенуа, М.Добужинского, К.Коровина, К.Сомова и других.

Кроме того, в Берлине часто бывали (как теперь называют) “персональные” выставки живших тут русских художников: Бориса Григорьева, Ивана Пуни, Георгия Лукомского, Эль Лисицкого, Н.Миллиоти, Ксаны Богуславской, Павла Че-лишева, сделавшего позже международную карьеру. Константин Терешкович в Берлине, по-моему, не выставлялся (был очень молод и нищ), но зато позже “завоевал” Париж. Выставлялись в Берлине: Марк Шагал, Л. Зак, В.Боберман. Не помню, были ли “персональные” выставки А.Худякова, Г.По-жедаева, А.Андреева,

Любича, Л.Бермана, Г.Гликмана. Одним словом, русские художники за рубежом — как и русские ученые и писатели — были на высоте. И внесли свой вклад в мировую живопись.

Не говорю уж о том, что Василий Кандинский “гремел” тогда на всю Германию (да не только “на Германию”, его знал весь “живописный мир”). В городе Дессау по его проектам, говорят, строились какие-то особые дома (“абстрактные”, наверное?! Жалею, что не видел!). Вместе с Кандинским видное место в живописи Германии заняли Алексей Явленский (бывший поручик русской армии) и Марианна Веревкина (в былом дочь генерала, коменданта Петропавловской крепости). Еще в 1909 году в Мюнхене они создали “Новое художественное общество”, куда входили: братья Давид и Влад. Бурлюки, В.Денисов, В.Бехтеев, М.Коган, А.Могилевский и Вл. Издебский, которого я встречал в Париже 30-х годов. Большинство этих русских художников были либо беспредметники, либо сторонники полупредметного символизма. В нацистской Германии их картины были запрещены как “декадентские”. Такая же судьба ждала бы их и в ленинской РСФСР. “Люблю все, чего нет”, — писала в дневнике Марианна Веревкина, как бы перекликаясь этим с Зинаидой Гиппиус— “Хочу того, чего нет на свете”. В 1920-х годах все русские художники (разных направлений) за рубежом образовали один свободный “живописный” поток большой силы.

1 декабря 1922 года при американской ИМКА открылась (как продолжение петроградской “Волъфилы”) “Русская религиозно-философская академия в Берлине”. Речь на открытии произнес Н.Бердяев — “О духовном возрождении России и задачах Религиозно-философской академии”, Кроме него говорили С.Франк, Л.Карсавин. Курсы при Академии были: Н.Бердяев “Философия религии”, ф. Степун “Средневековое миросозерцание”, Ю.Айхенвальд “Философские мотивы в русской литературе”, И.Ильин “Миросозерцание и характер” и “Философия искусства”, С.Франк “Греческая философия”, В.Сеземан “Этика”, Н.Арсеньев “Античный мир и раннее христианство”, Б.Вышеславцев “Курс истории новой философии” и другие. Устраивались в Академии и отдельные выступления. Так, Бердяев читал доклад “Демократия и социализм как проблемы духа”. В прениях участвовали С.Гессен, Ю.Ключников, И.Ильин, Ф.Степун, Б.Вышеславцев, С.Франк и другие. Б. Вышеславцев выступил с докладом “Русская стихия у Достоевского”. В те годы в Берлине устраивалось много публичных лекций. Упомяну хотя бы некоторые.

Ф.Степун — “Освальд Шпенглер и закат Европы”, известный монархист Евгений Амвросиевич Ефимовский — “Пути России”.

Ефимовский был прекрасный оратор, подстать Степуну, только иного (адвокатского) стиля. В прошлом — известный московский адвокат, член “Общества славянской культуры”, член к.д. партии (ее правого крыла), в эмиграции Е.А. стал бесповоротным монархистом-националистом. Я его хорошо знавал еще по Москве, когда был студентом. Он меня даже пригласил однажды быть его секундантом на долженствующей состояться дуэли (он влюблен был в девицу, которую я с детства хорошо знал и в их доме мы оба бывали). Дуэль, увы, не состоялась, а мне очень хотелось “быть секундантом” (“Теперь сходитесь…”). Монархисты в Берлине редко устраивали публичные выступления, одно “О февральской революции” я помню, выступали “знаменитый” Н.Е.Марков 2-й, Д.Б. Кузьмин-Караваев, С.С.Ольденбург, А.М.Масленников и Н.Н.Чебышев. Не монархисты, в смысле открытых выступлений, были гораздо плодовитей. В “Союзе русских журналистов и литераторов” выступали: Е.Д.Кускова с докладом об истории “Помгола” (Комитета помощи голодающим), о том, как большевики членов “Помгола” разогнали, а кое-кого и арестовали, пришив “фантастические” обвинения; выступал известный социолог Питирим Сорокин, престарелый Вас. Ив. Немирович-Данченко, ненавидевший всю революцию до остервенения. В “Союзе русских присяжных поверенных” выступали с докладами на темы права А.Гольденвейзер, Фальковский, Б.Гершун, Г.Бемме и другие. И.А. Ильин читал публичную лекцию “Родина и гений” (о Пушкине). В “Клубе еврейской национальной молодежи из России” известный лидер сионистов Владимир Жаботинский читал доклад “Бялик и юность”. Артисты МХТ, не вернувшиеся в РСФСР, — Массалитинов, Краснопольская, Егорова и другие выступали с чтением Достоевского — “Вечер образов и мыслей Достоевского”. Часто с публичными лекциями на философские темы выступал некий “приватгелертер” М.Шварц, давний берлинский эмигрант. Выступал Семен Юшкевич с чтением своих вещей. В “Обществе русских врачей” (где насчитывалось 139 членов) читались медицинские доклады. В еврейско-русских кругах нашумел доклад выдающегося мыслителя и писателя, автора книги “Сумерки Европы”, написанной раньше Шпенглера, но не опубликованной в России из-за революции, Григория Ландау — “Россия и русское еврейство”. Помню, после этого доклада в “Петрополисе” Я.Н.Блох мне, смеясь, сказал: “Знаете, как теперь называется Григорий Ландау?” — “Как?” — “Ответственный еврей!” — “Почему?”— “Да ведь он же считает евреев в большой мере ответственными за революцию…” Ландау писал: “Когда грозный бунт в эпоху непосильных военных напряжений потряс

страну и сбросил всю государственную иерархию — к власти подошли единственные организованные силы, оказавшиеся созвучными тенденциям развала, именно идеологии и партии революционные, социалистические. В них огромное место занимали евреи; тем самым евреи приблизились к власти и заняли различные государственные "высоты" — пропорционально не их значению в России, а их участию в социалистических организациях. Но далее, заняв эти места, естественно, что — как и всякий общественный слой — они уже чисто бытовым образом потащили за собой своих родных, знакомых, друзей детства, подруг молодости… Словом, попытка ввести социализм не только выдвинула на верхи еврейских отщепенцев, уничтожив органическую хозяйственную жизнь еврейства, она бросила его на милость и на поживу советовластия. Отсюда сугубое количество евреев в советском аппарате, отсюда реакция негодования и ненависти со стороны окружающих…" Ландау погиб в Прибалтике, в Либаве, от рук нацистов.

Было "поэтическое" выступление петербургского Цеха поэтов — Г.Адамович, Н.Оцуп, И.Одоевцева, Г.Иванов. Выступал Андрей Белый (о нем я уже говорил). Выступал Илья Эренбург,

Но касаясь писателей, я лучше расскажу о двух писательских объединениях — "Клуб писателей" и "Дом искусств". О "Клубе писателей" *изнутри* рассказать не могу, потому что там ни разу не был. Его основали "маститые", и молодежи там было мало.

"Клуб" создался в 1922 году- Инициаторами были: Б.Зайцев, П.Муратов, Ю.Айхенвальд, М.Осоргин, Н.Бердяев, С.Франк, А.Белый, А.Ремизов, Е.Кускова, В.Ходасевич. Собирались еженедельно.

Читали: И.Эренбург, В.Шкловский, П.Муратов, М.Шкапская, А.Ремизов, М. Осоргин, В.Ходасевич, Б.Зайцев и другие. Н.Бердяев прочел там доклад "Проблема любви у Достоевского". Выступал с докладом "О задачах Камерного театра" известный режиссер этого театра, приезжавший на побывку в Берлин Таиров, в прениях участвовали Муратов, Вышеславцев, Бердяев и другие. В те годы еще не было "железного занавеса", и приезжавшие из РСФСР писатели, художники, актеры свободно общались с писателями, художниками, актерами — эмигрантами и высланными. Так, например, приехавший первым из РСФСР Борис Пильняк не только свободно общался с эмигрантами и выступал в "Доме искусств", но даже был на обеде у редактора газеты "Руль" И.В.Гессена, что в позднейшие времена каралось бы, вероятно, чуть ли не "высшей мерой наказания". В "Клубе" выступали: С.Рафалович — "О театре", приезжавшие из РСФСР — филолог П.Богатырев, Борис Пастернак. Ф.Степун прочел — "Стихия

актерской души”, в прениях выступали Б.Пастернак и А.Белый. А.Белый прочел — “О трагедии сознания”.

“Дом *искусств*”

Но мне думается, что “Дом искусств” был и веселее, и интереснее. Он собирался тоже еженедельно, сначала в большом кафе “Ландграф” на Курфюрстенштрассе, 75, потом на Ноллендорфплац в кафе “Леон”. Основали его в конце декабря 1921 года по аналогии с петербургским “Домом искусств”. И насколько еще нити, связывавшие “два берега” русской культуры (“там” и тут), были не порваны, говорит хотя бы то, что в 1922 году “Дом искусств” послал приветствие “Дому литераторов” в Петербурге и получил в ответ дружеское послание, начинавшееся — “Дорогие друзья”, за подписью самого председателя “Дома литераторов” Нестора Котляревского.

Первым председателем “Дома искусств” в Берлине был избран поэт-символист Н.М.Минский, товарищем председателя А.М.Ремизов, казначеем Зинаида Венгерова. Членами правления — А.Ященко, художник Иван Пунин, художник Н. Миллиоти, Ф.Гартман, А.Толстой и другие. Выступали в “Доме искусств” и “стар и млад”, и маститые, и только что начавшие занятия литературой. Особенно импозантны были собрания “Дома искусств” в кафе “Ландграф”. Зал — очень большой, лакеи сервировали еду, кофе, всяческие напитки. В кафе была хорошая эстрада, с которой читали выступавшие. Выступало тут много людей: А. Толстой, Н.Минский (поэма “Хаос”, которая была действительным, но малоинтересным “хаосом”), Соколов-Микитов со своими “сказками” и “сказаниями”, А.Ремизов — с “Взвихренной Русью” и всяческой “славянской вязью” и “мудренщиной”, И.Эренбург завывал “Стихи о канунах” и хорошо читал “ядовитого” “Хулио Хуренито”. Выступал, конечно, Андрей Белый с стихами о России (“Россия, Россия, Россия / Мессия грядущего дня!”). Помню его одетым с некой претензией — черное жабо над широкой белизной воротника и большая желтая роза в петлице.

Помню, как именно в “Ландграфе” выступили только-только приехавшие из РСФСР Борис Пильняк и Александр Кусиков. Позднее я с обоими довольно близко сошелся, особенно с Сандро Кусиковым. На их выступление собралось много самого разнообразного народа. И вся редакция газеты “Руль” во главе с И.В.Гессеном, и меньшевики, и левые эсеры с Шрейдером, Лундбергом и очаровательными грузинками. Пильняк читал прекрасно написанный (я вообще очень ценю этого прозаика, лет через пятнадцать — шестнадцать угробленного Сталиным в каком-то концлагере) “Съезд волсоветов”. Читал он выразительно

и сильно. И по заслугам пожал аплодисменты всех — без различия “политики”. После Пильняка выступил Александр Кусиков. Читал свои стихи тоже неплохо. Начал, конечно, с знаменитого “Обо мне говорят, что я сволочь!”, что в зале вызвало некий легкий шелест сдержанного смеха. Но и ему аплодировали, не так, как Пильняку, который действительно “захватил зал”, а так — из приличия.

Этот вечер я запомнил и еще по одному обстоятельству. Мы, молодежь, не садились в ту часть зала, где сервировали еду (дороговато было нашему брату), а садились ближе к эстраде, где можно было отделаться кружкой пива. Но я видел, что в “привилегированной” части Б.И.Николаевский сидит с какими-то неизвестными мне господином и дамой. Я не обратил на это внимания. А когда через несколько дней встретился с Борисом Ивановичем, он, улыбаясь, спрашивает: “Вы меня в "Ландграфе" видели?” — “Видел”. — “А вы знаете, кто со мной был?” — “Понятия не имею”. И, улыбаясь, Борис Иванович говорит: “Со мной сидели Алексей Иванович Рыков и его жена”. Я ахнул: “Да что вы?” — “Да, да сами захотели пойти, и, знаете, жена Рыкова все меня просила: Б.И., покажите, который Гуль? Она ваш “Ледяной поход” в России читала, и ей очень хотелось на вас посмотреть”. — “Ну, я надеюсь, вы показали ей?” — засмеялся я. “Конечно…” — “Ну и как? Одобрила?” — “А этого я уж не знаю”, — засмеялся и Б.И. своим высоким сопрановым смехом.

Поясню: Николаевский был свояком Рыкова, брат Бориса Ивановича, Владимир, был женат на сестре Рыкова, и они жили в одной квартире. Думаю, что Владимир был большевик, вряд ли с меньшевиком в одной квартире мог жить “председатель ВСНХ”, а потом “председатель Совнаркома” А.И.Рыков.

Вот какие были тогда — в 20-е годы — либеральные времена! Я спросил Николаевского: “А Рыкова никто не узнал в "Ландграфе"?” — “Никто”. — “Ваши меньшевики могли узнать”. — “Ну, это не страшно”.

Думал ли, гадал Алексей Иванович Рыков, что лет через пятнадцать его потащат чекисты в подвал на Лубянке и “шлепнут” там? А перед тем — на чудовищном, всенародном процессе бывший дворянин и бывший меньшевик Андрей Януарьевич Вышинский, кровавый “прокурор СССР”, заставит его признаться на весь мир, что он, Рыков, — предатель, шпион и агент иностранной разведки. И Рыков все это (вероятно, не без пыток) публично признает, и, не то одурманенный наркотиками, не то опоенный алкоголем (Рыков был пьяница), признает, хохоча таким страшным хохотом идиота, что у слышавших его хохот иностранных корреспондентов “мороз пробегал по коже”.

Вышинский *(Рыкову)*. Стало быть, вы шпион?

Рыков *(со смехом)*. Можно сказать, что да.

Вышинский. И Бухарин об этом знал?

Рыков *(продолжая хохотать)*. Надо думать…

Нет, тогда, в "Ландграфе", слушая Пильняка, Рыков *этого* представить себе, конечно, не мог. Не мог представить себе эдакую "встречу с Марксом". Но Рыкову даже post mortem не повезло. Сталинские эпигоны ему так и не дали "реабилитанса", и в собрании стихотворений Маяковского, в строках "Эх, поставь меня часок на место Рыкова / Я б к весне декрет железный выковал" слово "Рыкова" так и не печатается до сих пор — оставлена зияющая прореха, от которой Маяковский наверняка перевертывается в гробу. Правда, теперь Рыков уже не считается "японским шпионом" или "агентом гестапо", "марксистски-научно" он называется — "агентурой кулачества". Это вполне мило.

Думаю, что сталинские чекисты "шлепнули" тогда и Владимира Николаевского как "врага народа". За долгую нашу дружбу я никогда не спросил Бориса Ивановича о судьбе его брата (считал нетактичным), а сам он никогда ничего о Владимире не сказал.

Когда "Дом искусств" перешел из кафе "Ландграф" в кафе "Леон", стало гораздо лучше и проще. Зал — отдельный от ресторана, и на собраниях никто не ел, не пил, а занимались чем должно. Кто только не побывал в "Доме искусств"! Читал свои стихи и Вл. Маяковский, приехавший в Берлин на побывку с Лилей Брик. Впрочем, эта "дама" высшего коммуно-чекистского света в "Доме искусств" не появилась. Было бы чересчур… Коммуно-чекистского говорю потому, что ее пресловутый супруг Осип Брик начал свою карьеру как "юрисконсульт" Петроградской ЧеКа при Гришке Зиновьеве. Официально эта должность называлась "заведующий юридической частью" Петроградской ЧеКа. Какова могла быть "юрисконсультация"? Как расстреливать? В лоб или в затылок? Нет. Ося Брик занимался более тонкой "консультацией": например, формулировкой обвинений против расстрелянного поэта Николая Гумилева, нахождением в его поэзии "контрреволюционности", "реакционности". Брик же был "литературовед", ну вот и работал в ЧК по специальности. Позже, в Москве, Брики были друзьями омерзительного, высокого ранга чекиста Якова Савловича Агранова, в "салоне" которого бывали писатели, поэты (Маяковский, Асеев, Пильняк, Бабель, Всев. Иванов и другие.). Menage a trois — Бриков и Маяковского общеизвестен. Но, повторяю, в "Дом искусств" со своим зиц-мужем Маяковским

“знаменитая” Лиля все-таки не пришла{15}. Б.Пастернак говорил: “Квартира Бриков была в сущности отделением московской милиции”.

В Берлине с Маяковским я провел раз целый вечер — на обеде у Жени Манделя (вернувшегося в СССР), беспутного богемьена, вероятно, попавшего-таки на Архипелаг ГУЛАГ.

Но об этом расскажу позже. А сейчас хочу сказать о выступлениях Маяковского в “Доме искусств”. Оговорюсь для ясности: я никакой не любитель этой “тяжеловозной” “ломовой” поэзии, а многие его бутербродно-пошлые агитки вызывали во мне всегда отвращение. Например:

Партия и Ленин —
близнецы-братья.
Кто более
матери-истории ценен?
Мы говорим — Ленин,
подразумеваем — партия
Мы говорим —
партия, подразумеваем —
Ленин!

Но выступления его в “Доме искусств” были великолепны. Маяковский понимал, с чем здесь выступить, это не комсомольское собрание, чувствовал аудиторию. И читал старые вещи. И это было чудесно. Во-первых — голос. Превосходный, отчетливо-бархатный баритон, как какой-то инструмент, а не голос. Во-вторых, манера чтения обрывистыми строками, но все-таки с совсем легким полунапевом — хороша. И аудиторию “Дома искусств” — писателей, поэтов, художников, актеров — он победил.

Вы думаете, это бредит малярия?
Это было,
Было в Одессе.
Приду в четыре — сказала Мария.
Восемь.
Девять,
Десять.

И сразу чуть уловимый переход ритма и мелодии:

Вот и вечер в ночную жуть
Ушел от окон,
Хмурый,
Декабрый…

Чтение Маяковского было какое-то оркестровое. Будто читает не один человек, а стихотворение ведет какая-то оркестровая музыка. Это было по-настоящему хорошо. И запомнилось.

В “Доме искусств” я познакомился с М.А. Алдановым. Он был тогда молод, элегантен и красив просто “до невероятия”, уж очень правильны черты лица, уж очень ясны, светлы глаза, уж очень он весь был изысканно-джентльменский. Не буду перечислять, кого я тут встречал, кто здесь выступал. Выступало множество людей: Толстой, Эренбург, Адамович, Георгий Иванов, Степун, Ремизов, тот же режиссер Камерного театра Таиров… Обрываю. Лучше расскажу, как тут я увидел Сергея Есенина. И — о встречах с ним в Берлине.

Сергей Есенин за рубежом

Это было летом 1922 года. В “Доме искусств” все уже знали, что в Берлин прилетел Сергей Есенин с Айседорой Дункан, и они придут в “Дом искусств”. Народу собралось много. Шла обычная программа, но все явно ждали Есенина. И действительно, эти знаменитости приехали, но почти к концу вечера. По залу пробежали голоса: “Есенин, Есенин приехал”.

Он вошел в зал впереди Айседоры. Она — за ним. Это пустяк. И все-таки характерный, муж с женой так не ходят. Есенин был в светлом костюме и белых туфлях. Айседора в красноватом платье с большим вырезом. Есенина встретили аплодисментами. Но далеко не все. Произошло какое-то замешательство, в публике были поклонники и противники Есенина. Во время этого замешательства и общего шума один больше чем неуравновешенный (умопомешанный) эмигрант (крайне правых настроений) вдруг ни с того ни с сего заорал во все горло, маша рукой Айседоре Дункан: “Vive l’Internationale!”. Это было совершенно неожиданно для всех присутствовавших, да, наверное, и для Айседоры. Тем не менее она с улыбкой приветственно помахала рукой в сторону закричавшего полупомешанного и крикнула: “Chantons la!”. Общее замешательство усилилось. Часть присутствовавших запела “Интернационал” (тогда официальный гимн РСФСР), а часть начала свистать и кричать: “Долой! К черту!”.

Н.М. Минский неистово звонил, маша председательским колокольчиком, Есенин почему-то вскочил на стул, что-то крича об Интернационале, о России, о том, что он русский поэт, что он не позволит, что он умеет и не так свистать, а в три пальца. И, заложив в рот три пальца, действительно засвистал как разбойник на большой дороге. Свист. Аплодисменты. Покрывая все, Минский прокричал:

— Сергей Александрович сейчас прочтет нам свои стихи!

Свист прекратился, аплодисменты усилились. Стихли. А Есенин, спрыгнув со стула, подошел к председательскому месту и встал, ожидая полного успокоения зала. Оно воцарилось не сразу. Айседора села в первом ряду, против Есенина. И Есенин зачитал. Читал он не так хорошо, как Маяковский. Во-первых, голос не тот. Голос у Есенина был скорее теноровый и не очень выразительный. Но стихи захватили зал. Когда он читал: “Не жалею, не зову, не плачу/ Все пройдет, как с белых яблонь дым…” — зал был уже покорен. За этим он прочел замечательную “Песнь о собаке”. А когда закончил другое стихотворение последними строками:

“Говорят, что я скоро стану/ Знаменитый русский поэт!” — зал, как говорится, взорвался общими несмолкающими аплодисментами. “Дом искусств” Есениным был взят приступом.

В этот вечер я вблизи не видел Есенина. Мы скоро ушли своей компанией. А Есенина и Дункан Н.М. Минский (как рассказывает в своей английской книге “Багаж” Ник. Дм. Набоков, будущий композитор, будущий приятель С.Дягилева, И.Стравинского, а тогда просто молодой человек) познакомил с Набоковым, который должен был стать их провожатым в какое-то гомосексуальное кафе, что для московского гостя было “берлинской диковиной”. У Набокова об этом ночном путешествии рассказывается довольно подробно, но не очень убедительно, к тому же Есенина он почему-то называет Сергеем *Константиновичем* (видимо, производя это отчество от села Константиново — родины Есенина), а Минского — *Михайловичем* вместо Максимовича.

Вторично я увидел Есенина уже вблизи. Опять в “Доме искусств”. Он пришел туда с Александром Кусиковым. В зале было много народа. Был перерыв. Все стояли. Я стоял с М.А. Осоргиным, И когда Есенин (а за ним Кусиков) протискивались сквозь публику, Есенин прямо наткнулся на Осоргина.

— Михал Андреич! Как я рад! — воскликнул он, пожимая двумя руками руку Осоргина.

Здравствуй, Сережа, здравствуй, — здоровался Осоргин. — Рад тебя видеть! И я рад, очень рад, — говорил Есенин, — только жаль вот мне, что я — красный, а ты — белый! Да какой же ты красный, Сережа? — засмеялся Осоргин. — Посмотри на себя в зеркало, ты же — лиловый!

Верно, Есенин был лиловат от сильной напудренности. И Кусиков был “припудрен”, но не так обильно. Конечно, в те времена парикмахеры после бритья слегка пудрили ваше лицо, но потом обтирали салфеткой. Имажинисты лее почему-то оба были не только не обтерты, но сами, видно, брились и пудрились. Это производило не очень приятное впечатление. Почему они этого не понимали — не ведаю.

Вот тут я Есенина разглядел. В письме к Ромену Роллану Максим Горький о Есенине пишет так: “… маленького роста, изящно сложенный, с светлыми кудрями<…> голубоглазый, чистенький<…> ему тогда было 18 лет, а в 20 он уже носил на кудрях своих модный котелок и стал похож на приказчика из кондитерской”. Ничего схожего с этим портретом Есенина кисти Горького в Есенине я не увидел. Правда, ему было не восемнадцать-двадцать лет, а двадцать семь. Но “маленького” роста он не был. “Маленький” всегда нечто карликова-тое. Есенин

был “невысокого”, но вполне нормального роста. Впечатления “маленького” никак не производил. “Изящного” в нем тоже ничего не было, и не знаю, было ли когда-нибудь? Был он сложен как-то по-крестьянски, хоть и одет в модный дорогой костюм. “Голубоглазого” тоже не было. Глаза были какие-то тускловатые (может быть, семь-восемь лет тому назад он и был “голубоглаз”). Все лицо какое-то измученно-бледное (поэтому, может быть, и пудрился). “Светлые кудри” были, но тоже без яркости, а просто блондинистые волосы. Что мне показалось в лице неладным — низкий лоб, на который были приспущены волнистые волосы. От “приказчика из кондитерской” ничего в нем, конечно, не было. Это Горький от “социал-демократичности”, наверное, написал. А котелок он, по-моему, никогда не носил, в Москве носил — “знаменитый” цилиндр (“сын ваш — в цилиндре и в лакированных башмаках”). Об истории “цилиндров” рассказал Мариенгоф в “Романе без вранья”.

На замечание Осоргина о “лиловости” Есенин ничего не ответил, помахал рукой, прощаясь, и они с Кусиковым ушли. С Кусиковым я был хорош, мы поздоровались.

Вскоре Есенин — через Кусикова — передал свою автобиографию в “Новую русскую книгу”. Она была написана рукой, на небольших листах, с отставленными друг от друга буквами и падающими вправо строками. По-моему, эта была *первая* написанная им автобиография. В ней Есенин писал: “В РКП (б) никогда не состоял, потому что чувствую себя гораздо левее”, а об имажинистах — “коммунисты нас не любят по недоразумению”, Автобиографии в “Новой русской книге” печатались в отделе “Писатели о себе”. Надо сказать, за ничтожными исключениями, все писатели в автобиографиях кривлялись как могли, стараясь выпендриться перед всем светом, каждый по-своему. увы, это дурная болезнь всех “публичных мужчин” (выражение Герцена). Когда кончилась “Новая русская книга”, я взял себе рукописи всех автобиографий: Маяковского, Есенина, Пильняка, А.Белого, Кусикова, Эренбурга и многих других и отдал переплести книгой, Книга вышла действительно литературно ценная и привела моего друга художника Н.В.Зарецкого в “расстройство нервов”. Он стал ее выпрашивать: подари да подари, зачем тебе она, ты потеряешь, а я ее сохраню. Будучи человеком не архивным, я сдался и подарил ему рукописи автобиографий. Позднее Зарецкий передал эту книгу в знаменитый пражский эмигрантский архив, а во время войны этот архив захватили занявшие Прагу большевики. И весь архив — а в нем и книга автобиографий — ушел в Москву.

Итак, Есенин с Айседорой из Берлина — через Париж —

отправились в Америку, взяв с собой, как переводчика “между ними”, А.Ветлугина (В.И. Рындзюка), ибо Есенин ни слова не говорил по-английски, а Айседора коверкала два-три слова по-русски. Приехали “молодые” в Америку в начале октября 1922 года, в Нью-Йорк. Остановились — как и должно знаменитостям — в самом фешенебельным отеле “Валдорф-Астория” на Пятой авеню. У Айседоры был контракт — танцевать в ряде городов восточных и центральных штатов. А Есенину оставалось ее “сопровождать”, что было, конечно, несколько унизительно, ибо возила его Айседора как некую “неговорящую знаменитость”, после своих вы- ступлений выводя на сцену и представляя публике как “второго Пушкина”.

Неудивительно, что именно тут, в Америке, произошли самые буйные и безобразные сцены сего кратковременного брака. О них есть два рассказа — Вен. Левина, журналиста, стихотворца, левого эсера, имажиниста, ставшего в Америке эмигрантом, и Абрама Ярмолинского, переводчика на английский и литератора. Я бы обошел их, если б они не приоткрывали некую серьезную и страшную подробность в жизни Есенина.

По окончании турне Айседоры Есенину в Нью-Йорке удалось “разговориться”. Он встретил прежнего приятеля Леонида Гребнева (Файнберга), который в Москве “ходил в имажинистах”, а в Америке стал писать на идиш, сделав себе имя в еврейской печати. Встретил и другого “корешка” Вениамина Левина, бывшего левого эсера, с которым Есенин дружил в Москве 1918—1920-х годов. У еврейского поэта Брагинского, писавшего на идиш под псевдонимом Мани-Лейб, в скромной квартире собрались еврейские поэты приветствовать Айседору Дункан и Сергея Есенина. Ну, разумеется, пили. А что же собравшимся вместе поэтам делать? Конечно, пить и читать свои стихи. Так и было.

Пьяный Есенин прочел отрывок из “Страны негодяев”. По рассказу Б. Левина{16}, Есенин, читая, будто бы изменил одну строку в устах своего героя Замарашкина: “Я знаю, что ты еврей” — прочел не “еврей”, а “жид”. Этой “переменой” евреи возмутились. А когда Айседора согласилась танцевать и начала танец, это привело пьяного Есенина в такое дикое бешенство, что, ругаясь матерной бранью, он бросился на нее с кулаками, грозя убить. Все пришли Айседоре на помощь, стали Есенина унимать.

Но это было нелегко. В этой достаточно безобразной сцене Есенин будто бы пытался выброситься из окна, а Айседора дала понять, что он подвержен “припадкам”, и посоветовала для его же пользы его связать. Но когда присутствовавшие начали вязать Есенина веревкой для сушки белья, он, естественно, пришел в еще

большее бешенство, дрался, сопротивлялся, крыл схвативших его евреев “проклятыми жидами!”, кричал: “Распинайте меня, распинайте!” Обруганный “жидом” Брагинский будто бы дал Есенину пощечину, а тот плюнул ему в лицо. Вообще поэтическая вечеринка оказалась мало “поэтичной”.

Но на другой день поэты, разумеется, примирились. Ма-ни-Лейб с женой приехали к Есенину в отель восстановить дружбу. А душевно и физически разбитый Есенин написал Мани-Лейбу письмо, которое Ярмолинский приводит в подлинном его написании (со всеми ошибками и недописками);

“Милый, Милый Монилейб!

Вчера днем Вы заходили ко мне в отель, мы говорили о чем-то, но о чем я забыл потому что к вечеру со мной повторился припадок. Сегодня я лежу разбитый морально и физически, Целую ночь около меня дежурила сеет, милосердия. Был врач и вспрыснул морфий.

Дорогой мой Мони Лейб! Ради Бога простите меня и не думайте обо мне, что я хотел что-нибудь сделать плохое или оскорбить кого-нибудь. Поговорите с Ветлугиным, он Вам больше расскажет, Это у меня та самая болезнь, которая была у Эдгара По, у Мюссе. Эдгар По в припадках разб. целые дома.

Что я могу сделать мой Милый Милый Монилейб, дорогой мой Монилейб! Душа моя в этом невинна, а пробудив- шийся сегодня разум подвергает меня в горькие слезы, хороший мой Монилейб! Уговорите свою жену чтоб она не злилась на меня. Пусть постарается понять и простить. Я прошу у Вас хоть немного ко мне жалости.

Любящий Вас Всех Ваш С. Есенин

Передайте Гребневу все лучшие чувства к нему. Все ведь мы поэты братья. Душа у нас одна, но по-разному она бывает больна у каждого из нас. Не думайте, что я такой маленький чтобы мог кого-нибудь оскорбить. Как получите письмо передайте всем мою просьбу простить меня”.

Что в письме идет речь об эпилепсии — ясно. И Левин пишет, что, когда он пришел к Есенину через два дня после вечеринки, тот ему сказал, что все его буйство на вечеринке кончилось припадком эпилепсии, которую Есенин унаследовал от деда. Мы знаем, что в одном из стихотворений Есенин писал — “одержимый тяжелой падучей”. Но я всегда думал, что это только “стилистическая фигура”, а никак не самая настоящая “медицина”.

Еще более невероятное буйство произошло в Париже, когда Есенин и Айседора, вернувшись из Америки, остановились в фешенебельном “Hotel Crillon”. Здесь в своем пьяном безумии

Есенин перебил зеркала, переломал мебель, Айседора спаслась бегством: бросилась вызвать доктора. Но когда вернулась, Есенина не застала, его арестовала французская полиция. Только с помощью каких-то влиятельных друзей Айседоре удалось освободить Есенина, тут же уехавшего в Германию, в Берлин, по пути в Москву.

Вторично я увидел Есенина (уже разорвавшего свой "брак" с Айседорой) в Берлине перед отъездом в Москву. В Шубертзале был устроен его вечер. Но это его выступление было мрачно. Кусиков рассказывал мне, что Есенин пьет вмертвую, что он "исписался", что написанные им стихи ничего не стоят. Когда Кусиков мне это говорил, я подумал: Моцарт и Сальери. Так оно и было. Ведь среди так называемых "людей искусства" подлинная дружба да и просто человеческие отношения очень редки. Публичные мужчины подвержены какой-то душевной "проституции".

Шубертзал был переполнен. Тут уж привлекал не только Есенин-поэт, но и разрыв и скандал с Дункан. Это было размазано в газетах. Когда, встреченный аплодисментами, Есенин вышел на эстраду Шубертзала — я обмер. Он был вдребезги пьян, качался из стороны в сторону и в правой руке держал фужер с водкой, из которого отпивал. Когда аплодисменты стихли, вместо стихов Есенин вдруг начал ругать публику, говорить какие-то пьяные несуразности и почему-то, указывая пальцем на Марию Федоровну Андрееву, сидевшую в первом ряду, стал ее "крыть" не совсем светскими словами. Все это произвело гнетущее впечатление. В публике поднялся шум, протесты, одни встали с мест, другие кричали: "Перестаньте хулиганить! читайте стихи!" Какие-то человеки, выйдя на эстраду, пытались Есенина увести, но Есенин уперся, кричал, хохотал, бросил, разбив об пол, свой стакан с водкой. И вдруг закричал: "Хотите стихи?!..Пожалуйста, слушайте!.."

В зале не сразу водворилось спокойствие. Есенин начал "Исповедь хулигана". Читал он криком, "всей душой", очень искренне, и скоро весь зал этой искренностью был взят. А когда он надрывным криком бросил в зал строки об отце и матери:

Они бы вилами пришли вас заколоть
За каждый крик ваш, брошенный в меня!

— ему ответил оглушительный взрыв рукоплесканий. Пьяный несчастный Есенин победил. Публика устроила ему настоящую овацию (вероятно, к вящему неудовольствию Сальери).

Потом был вечер, на котором я познакомился с Есениным. Это было в зале Союза немецких летчиков. Уж не помню, кто устраивал вечер, кажется, газета "Накануне". Народу было тьма.

Все сидели за столиками. Кто-то выступал: кажется, Толстой, Кусиков, кто-то еще. Последним выступил Есенин, впервые прочтя “Москву кабацкую”. И что там ни говори, но в его чтеньи была настоящая сила искусства.

После выступлений все занялись едой и питьем. Наш столик (со мной был Корвин-Пиотровский, актриса Оля Протопопова, кто-то еще) был напротив столика, за которым сидели — Толстой, Крандиевская, Кусиков с какой-то очередной брюнеткой и Есенин. В зале играл оркестр. Есенин — по виду — был уже пьян, вскидывал головой, чему-то улыбался, смотрел в пьяное пространство. Потом вдруг встал с стаканом в руке, пошел нетвердой походкой. Подойдя к нашему столику, остановился и, обращаясь ко мне, проговорил с пьяной расстановкой:

— У вас очень хорошее лицо. Давайте познакомимся. Я — Есенин.

Я был тоже нетрезв, но, конечно, не так.

— Давайте, познакомимся.

Мы пожали друг другу руки, и Есенин так же пьяно пошел куда-то в коридор с фужером в руке. Здесь я уже совсем близко разглядел Есенина: мелкие черты несколько неправильного лица, с низким лбом, лицо приятно-крестьянское, очень славянское, с легкой примесью мордвы в скулах. В отрочестве и юности Есенин, вероятно, был привлекателен именно так, как пишут о нем знавшие его в те времена. Сейчас лицо это было больное, мертвенно-бледное, с впалыми щеками. Честно говоря, мне было его жаль, в нем было что-то жалостливое, невооруженным глазом было видно, что этот человек несчастен самым настоящим несчастьем. Когда он вернулся в зал, кто-то заказал оркестру трепак. Трепак начался медленно, “с подмывом”. Мы все, окружив Есенина, стали просить его поплясать. Есенин стоял, глядя в пол, потом улыбнулся. Но темп был хорош, подмывист, и вдруг Есенин заплясал. Плясал он, как пляшут в деревне на праздник— с коленцем, с вывертом. Окружив его кольцом, мы кричали:

— Вприсядку, Сережа! Вприсядку!

И вдруг смокинг Есенина легко и низко опустился, и он пошел по залу присядкой. Оркестр все ускорял темп, доходя до невозможного плясуну. Мы подхватили Есенина — под гром аплодисментов — под руки. И все пошли за общий стол. Тут, помню, почему-то заговорили о советских поэтах. Я похвалил В.Казина за его “Рабочий май” (“Почтальон пришел и, зачарованный / Пробежав глазами адреса / Увидал, что письма адресованы / Только нивам да лесам”). Но Есенин вдруг недовольно замахал рукой:

— Да что вы, да что это за поэты! Да это ведь все мои

ученики. Я же учил их писать! Да нет же, они вовсе не поэты…

И я понял, что Есенин тоже болен профессиональной дурной болезнью “публичных мужчин”: не выносит похвал другим “публичным мужчинам”.

Толстой с Крандиевской уехали. Уставшие злые лакеи умышленно громко собирали посуду, звеня тарелками. Я шел в подпитии по пустому залу. И вместо того, чтобы попасть к нашему столику, вошел в коридор, где лакеи составляли посуду. Тут на столе сидел Есенин и сидя спал. Сидел по-турецки, подвернув под себя ноги, как сидят у костра крестьянские мальчишки в ночном. Рядом с ним стоял фужер с водкой и сидел Глеб Алексеев.

Алексеев, — сказал я, — его надо увести. Он спит, — сказал Алексеев. Ну разбуди его, ведь скоро же запрут зал…

Есенин не слышал. Лица его не было видно. Висели только волосы. Алексеев разбудил его. Есенин спрыгнул со стола, потянулся и сказал как в просоньи:

Я не знаю, где мне спать.

Пойдем ко мне, — сказал Алексеев.

И мы вышли втроем из Дома немецких летчиков. Было часов пять утра. Фонари уж не горели. Берлин был коричнев. Где-то в полях, вероятно, уже рассветало. Мы шли медленно. Алексеев держал Есенина под руку. Но на воздухе он быстро протрезвел, шел тверже и вдруг пробормотал:

Не поеду я в Москву… не поеду туда, пока Россией правит Лейба Бронштейн…Да что ты, Сережа? Ты что — антисемит? — проговорил Алексеев.

И вдруг Есенин остановился. И с какой-то невероятной злобой, просто с яростью, закричал на Алексеева:

— Я — антисемит?! Дурак ты, вот что! Да я тебя, белого, вместе с каким-нибудь евреем зарезать могу… и зарежу… понимаешь ты это? А Лейба Бронштейн, это совсем другое, он правит Россией, а не он должен ей править… Дурак ты, ничего ты этого не понимаешь…

Алексеев старался всячески успокоить его, и вскоре раж Есенина прошел. Идя, он пробормотал:

Никого я не люблю… только детей своих люблю. Люблю. Дочь у меня хорошая… блондинка, топнет ножкой и кричит: я — Есенина!.. Вот какая у меня дочь… Мне бы к детям… а я вот полтора года мотаюсь по этим треклятым заграницам…

У тебя, Сережа, ведь и сын есть? — сказал я. Есть, сына я не люблю… он жид, черный… — мрачно отозвался Есенин.

Такой отзыв о сыне, маленьком мальчике, меня как-то резанул по душе, но я решил “в прения не вступать”… А Есенин

все бормотал:

— Дочь люблю… она хорошая… и Россию люблю… всю люблю… она моя, как дети… и революцию люблю, очень люблю революцию, а вот ты, Алексеев, ничего-то ты во всем этом не понимаешь… ничего… ни хрена…

Уже начало рассветать. Берлин посветлел. Откуда-то мягко зачастили автомобили. Мы остановились на углу Мартин-Лютерштрассе. Я простился с Есениным и Алексеевым и повернул к себе — к Мейнингерштрассе. Идя, я все еще слышал голос Есенина, что-то говорившего Алексееву.

Потом я видел Есенина раз у Кусикова. Там — пилось и елось. Кусиков пел цыганское под гитару, свой собственный романс “Обидно, досадно, до слез, до мученья / Что в жизни так поздно мы встретились с тобой!”. И рассказывал, что когда он приходит в русский ресторан “Медведь” (недалеко от Виттенбергплац), то оркестр сразу же мажорно встречает его этим романсом “Обидно, досадно”. Есенин под балалайку пел частушки собственного сочинения:

У бандитов деньги в банке
Жена кланяйся Дунканке!
Или:
У нашего Ильича
В лоб ударила моча!
Под советской кровлею
Занялся торговлею!

Это было совсем уже перед его отъездом в Москву. В августе 1923 года Есенин туда уехал. А в декабре 1925 года в Ленинграде повесился (“До свиданья, друг мой, до свиданья…”).

Хоть роман Айседоры с Есениным и кончился мрачно, все же она уехала в 1923 году вместе с ним. Айседору я видел в Берлине на ее выступлении. В большом зале под оркестр Айседора танцевала “Интернационал”. Говорят, в Москве этот ее “Интернационал” был так успешен, что его смотрела даже сама “гениальная горилла” — Ленин. Есть такая статья в журнале “Музыкальная жизнь” — “Ленин смотрит Интернационал”. А литературный болтун Луначарский так писал об Айседоре: “В центре миросозерцания Айседоры стояла великая ненависть к нынешнему буржуазному быту. Ей казалось, что и нынешняя биржа, и государственная чиновничья служба, и современная фабрично-заводская работа, и весь уклад обывательской жизни, все, за исключением некоторых, по ее мнению, оставшихся здоровыми частей деревни, представляет из себя грубый и глупый отход от природы, Весь мир казался ей, совершенно так же, как Карлейлю и Рески-ну, изуродованным капитализмом!” Вот как! О

литературной пошлости Луначарского за рубежом была напечатана убийственная статья М.А. Алданова, разбирающая “художественное (драматическое) творчество” этого большевипкого пошляка и пустозвона, кого сам Ленин называл “наша балерина”. Глядя на танцевальный “Интернационал” Айседоры, я чувствовал какую-то неловкость за эту в былом большую артистку. Тяжеловесная, с трясущимися под туникой грудями Айседора выделывала какие-то па, бегала по сцене, принимала какие-то позы: и все это долженствовало “выявить мощь пролетариата”. Бедный пролетариат! И бедная Айседора, как все артисты, не могшая вовремя уйти со сцены. Много позднее я прочел ее прекрасные воспоминания. Это было уже после страшной, трагической смерти Айседоры Дункан. Некоторые говорят, что смерть Айседоры было не случайной. Я этого не думаю. Ее задушил собственный длинный шарф, попавший в колесо автомобиля.

Иллюзии примирения. Евразийство. Сменовеховство. Милюков. Маклаков и др

Замечательный поэт и прозаик Федор Кузьмич Сологуб (Тетерников) был тонким острословом. Как-то в Берлине Эренбург мне рассказывал, что в РСФСР он был вместе с Сологубом на каком-то собрании писателей и "начальства". Говорилось о положении писателя, "задачах" его в РСФСР и прочем. Говорил и Сологуб. Его выступление чем-то не понравилось "начальству", и "начальство" довольно грубо его спросило: "Так что же вы, значит, Федор Кузьмич, против коллектива?" На что Сологуб, помолчав, ответил: "Нет, я за коллектив, но составленный из единиц, а не из нулей". Тогда еще можно было "выражаться" относительно свободно. Тому же Сологубу принадлежит другое острословие: "Октябрьская революция — это обезьяна французской". Ничего не скажешь — остро. Но история показала, насколько это суждение было ошибочно и упрощено. А, к сожалению, именно так большинство русской интеллигенции восприняло ленинский Октябрь, измеряя его "французским термометром", что привело многих к роковым заблуждениям, личным трагедиям и политической пустоте.

Конечно, так называемая "Великая" французская революция с ее Кутонами, Маратами, Робеспьерами, Демуленами, с сентябрьскими убийствами, с гильотиной на Гревской площади была достаточно омерзительна. Но теперь-то мы видим, что эта омерзительность была детской по сравнению с большевицкими массовыми убийствами десятков миллионов людей, с Архипелагом ГУЛАГ, с террором, длящимся седьмой десяток лет, с превращением нации в "коллективистское стадо", с полным уничтожением духовной элиты страны и, главное, с международным размахом этой антикультуры ленинизма.

Ничего не поделаешь: русская антибольшевицкая интеллигенция долго ошибалась "термометром". А когда Сталин показал глубинную "температуру" ленинского Октября, русской интеллигенции внутри страны уже не было (ее уничтожили физически), а в изгнании, на Западе, она умирала. Когда-то С.Л.Франк писал: "Основная, самая существенная, грозная и, по нашему убеждению, гибельная коллективизация, которую ставит своей задачей советская власть, есть не внешняя коллективизация капитала, промышленности, сельского хозяйства, а *внутренняя* коллективизация человеческих душ". Эту "коллективизацию человеческих душ" в СССР, это перевоспитание

людей в двуногую нелюдь показал в “Архипелаге ГУЛАГ” Александр Солженицын, а еще острее другой Александр — Зиновьев в “Зияющих высотах” и в “Светлом будущем”. Зиновьев пишет: “Что внесет русский народ в эту новую общность, исчезнув с лица земли в качестве русского народа? А он фактически исчезает в качестве нации. Революция, гражданская война, коллективизация, бесконечные репрессии, Вторая мировая война — все это сокрушило Россию как национальное образование. России давно уже нет. И не будет больше никогда. Осталось русское население— материал для чего-то другого, только не для нации”.

Характерно, что А.Зиновьев (плоть от плоти “советский человек”) вовсе и не ищет никакого духовного (и политического) выхода из тупика-нужника так называемого СССР. Отношение Зиновьева к свободе Запада — слегка насмешливое. И это естественно, ибо “коллективизация человеческих душ” уничтожает в человеке прежде всего “инстинкт свободы”. Тот “инстинкт свободы”, который был чрезмерен у Михаила Бакунина и совсем отсутствовал у Маркса. В гитлеровские времена в Европе, когда страна за страной падали под натиском нацистского тоталитаризма, таких “насмешливых” людей на Западе было очень много — хоть пруд пруди.

И все же? И все же — шаткая западная свобода устояла. Духовно победила Гитлера колыбель европейской свободы — Великобритания. Тогда она *одна,* почти безоружная, выстояла. А не выстояла б — вся бы Европа оказалась во власти гитлеровщины, которой в те годы усердно помогала и сталинщина. Поэтому и при теперешнем явном разложении Запада все-таки еще рано петь ему отходную и переставать любить *свободу человека.*

Большевицкий тоталитаризм давно переброшен за границы СССР: Китай, Камбоджа, Вьетнам, Восточная Германия, Чехословакия, Венгрия, Польша, Болгария, Румыния, Югославия, Албания, Абиссиния, Куба, некоторые арабские и африканские страны. Уже больше полмира захвачено лапами Ленина. Мы давно вступили в новую эпоху бесчеловечья. Всего этого русская политическая эмиграция в 20-х годах, конечно, не предвидела, не могла предвидеть, относя всяческие зверства к “эксцессам революции” — к гильотине на Гревской площади. Но ведь пришел же — после гильотины — Термидор? Пришел Наполеон? Пришла даже реставрация Бурбонов? “Французский термометр” жестоко подвел русскую политическую эмиграцию…

Евразийцы

В начале 20-х годов в русском, зарубежье выступили два народившихся идеологических течения — евразийство и сменовеховство, Первое евразийское издание “Исход к Востоку” вышло в Болгарии, в Софии, в 1921 году, Последующие — “Утверждение евразийцев” и журнал “Евразийский временник” — в Берлине, а самая последняя — “Евразийская хроника” — в Париже в конце 20-х годов. “Окну в Европу” они противопоставляли “упор на Азию”. Евразийство объединило группу молодых и блестящих русских ученых и писателей. В послеоктябрьской России-СССР они увидели особый “евразийский мир”, долженствующий пойти *своим особым путем.* “Мы ведем счет от исторической колыбели русского племени, от собирающего центра, который объединил Евразию именно в виде России, — писал талантливый экономист и историк Петр Николаевич Савицкий. — Россия-Евразия есть обособленное и целостное "месторазвитие" <…> Смычка географии с историей подразумевает наложение на сетку географических признаков сеток признаков *исторических,* которые характеризуют Россию-Евразию как особый исторический мир”.

Другой видный идеолог евразийства филолог князь Н.С. Трубецкой (сын князя Сергея Николаевича, общественного христианского деятеля, профессора, историка философии) писал: “Национальным субстратом того государства, которое прежде называлось Российской империей, а теперь называется СССР, может быть только вся совокупность народов, населяющих это государство, рассматриваемых как особая многонародная нация, и в качестве таковой обладающая своим национализмом”. Политически гораздо “левее” (если так можно сказать) забиравший Петр Сувчинский, проповедовавший некое обязательное “народоводительст-во”, писал: “Именно в своих идеях народоводительства коммунизм имеет что завешать будущему. Перед Россией стоит непреложная проблема создания сильной *автократической власти”.* И князь Н.С. Трубецкой, как бы в унисон Сувчинскому, так говорил о Советской России: “Согласно евразийскому учению о правящем отборе во всяком государстве непременно должен существовать *правящий слой*<… > Тип отбора, который, согласно евразийскому учению, ныне призван *установиться в мире* (Ш — Р.Г.), и в частности в России-Евразии, называется *идеократическим* и от правящего слоя отличается признаком *общности мировоззрения*<… > Мы чтим прошлое и настоящее западноевропейской культуры, но не ее мы

видим в будущем. С трепетной радостью, с дрожью боязни предаться опустошающей гордыне — мы чувствуем, вместе с Герценом, что ныне "история толкается в наши ворота". Толкается<…> для того, чтобы в великом подвиге труда и свершения Россия так же раскрыла миру некую общечеловеческую правду, как раскрывали ее величайшие народы прошлого и настоящего<…> Созерцая происходящее, мы чувствуем, что находимся посреди катаклизма, могущего сравниться с величайшими потрясениями, известными в истории, с основоположными поворотами в судьбах культуры, вроде завоевания Александром Македонским Древнего Востока или Великого переселения народов<…> историческая спазма, отделяющая одну эпоху мировой истории от следующей, уже началась. Мы не сомневаемся, что смена западноевропейскому миру придет с Востока…”

И уже совсем рискованные мысли высказывал видный евразиец, талантливый философ и писатель (несколько неврастенический человек, часто перехватывавший через край) Владимир Николаевич Ильин. В статье об “идейной близости” евразийцев и большевиков он писал: “"Идейная близость к большевикам" <…>весь вопрос в том, что разуметь под большевиками? Если под ними разуметь актуальную российскую государственность, ее духовные и экономические нужды, вопросы безопасности границ и т. д., то в этой сфере евразийцы не только "идейно близки" к большевикам, но и готовы прямо отождествить себя с ними…”

Правда, другой видный евразиец, блестящий ученый, богослов и историк Георгий Васильевич Флоровский писал, что “учтенье русской революции евразийцами никоим образом не является "принятием ее"…” Но евразийство в целом было, конечно, поиском “моста примирения” с советской действительностью. И этот иллюзорный “мост” кончился страшным крахом потому, что большевики использовали его, сначала добившись разложения евразийцев, а потом и *физического уничтожения* тех, до кого могли “дотянуться”. В этом была ленинская логика: *мыслящих по-своему* русских людей планомерно *физически уничтожали* в масштабе всего государства начиная с 1917 года.

Как же большевики уничтожили эту (евразийскую) зарубежную иллюзию примирения? Все так же. По-бесовски. Сначала провокационной связью с СССР, а потом и убийствами. С некоторых пор в евразийской печати стали вдруг появляться статьи и “документы” из Москвы от “евразийцев из РСФСР”. Что же писали эти чекисты-евразийцы? Писали очень неглупо:

“Россия представляет собой особый мир<…> Наряду с отрицательными сторонами революции евразийцы видят положительную сторону в открывающейся ею возможности освободиться России-Евразии *из-под гнета европейской культуры” (!!! — Р.Г.)*. Или — “Евразийцы должны образовать Евразийскую партию для замены Коммунистической в ее организационно-правительственном значении”. Или — “Евразийцы являются сторонниками широкого государственного *регулирования и контроля* хозяйственной жизни…” И все это печаталось зарубежными евразийцами в их органе “Евразийская хроника” без всяких комментариев, а лишь с указанием: “нам доставлен нижеследующий документ из Москвы”.

К “действию” ОГПУ перешло с 1923 года, создав “легенду”, что евразийство “перебросилось” в СССР и нашло, разумеется, благоприятную почву. Через мелких евразийцев чекистам удалось проникнуть и в “мозговой центр” евразийства. Один из таковых евразийцев, гвардии ротмистр П.Арапов (кстати, родственник генерала П.Н.Врангеля) не раз совершал “тайные” поездки из Зарубежья в Москву, чтобы *убедиться на месте в существовании в* РСФСР *евразийского движения.* И “убедился” так, что в 1926 году на “евразийский съезд” *в Москве* (!), составленный из опытных и культурно подкованных чекистов, из Праги приехал сам лидер евразийцев профессор Петр Николаевич Савицкий. А спустя некоторое время чекист А.Ланговой (сын известного профессора), “лидер евразийцев в РСФСР”, прибыл уже в Прагу на съезд зарубежных евразийцев. Я не знаю подробностей “развала” евразийского движения. Подробности — в архивах КГБ. Но развал произошел, и тот же видный евразиец В.Н.Ильин об этом писал так: “Насколько было блистательно восхождение евразийского солнца, настолько печален был его закат<.-> Это есть падение через шаткость, неустойчивость, которые обнаруживаются либо в самой идее, являясь ее внутренним пороком, либо в силу моральной порочности и беспринципности некоторых ее носителей, взявших на себя "деловую сторону проблемы"”.

Из евразийства ушли все его “создатели”: кн. Н.Трубецкой и другие видные русские ученые. Остались “деловые”, просоветски настроенные — кн. Д.Святополк-Мирский, С.Эфрон, П.Арапов и другие, неудачно попробовавшие издавать в Париже еженедельник “Евразия”. Но чем же кончили даже они? Талантливый литературный критик кн. Д.Святополк-Мирский (кстати, за рубежом вступивший в английскую коммунистическую партию) вернулся из Лондона в РСФСР для того, чтобы погибнуть на Архипелаге ГУЛАГ, С.Эфрона “шлепнули” на Лубянке, Арапов, говорят, погиб на Соловках.

У зарубежного писателя (второй послевоенной волны) Н.В.Марченко, писавшего под псевдонимом Н. Нароков, в романе “Мнимые величины” есть, на мой взгляд, очень верное определение *сути власти* псевдонимов-большевиков: “… но не кажется ли вам, что никакой партии, коммунистической партии, уже нет? — А что же есть? — Я бы сказал, что есть орден вроде иезуитов или тамплиеров, но и это будет неправильно. Правильнее сказать — есть *стая,* — Какая стая? — Стая… Стая волков, стая воронов… Орден это сообщество по духу, а стая — сообщество по породе. В стае волков могут быть только волки, не правда ли? Не-волк в волчью стаю не пойдет, да его в волчью стаю и не пустят…”

Так стая, мафия, уничтожила не только “иллюзию примирения” евразийцев, но уничтожила и тех из евразийцев, которые к стае сами пришли. Казалось бы, эти люди *хотели* быть в стае. “Но в стае волков могут быть только волки”. Своих волков сам их вожак, Ленин, хорошо называл “рукастыми коммунистами”. Вот возвратившихся на поклон к волкам евразийцев и “вывели в расход”. Упомяну еще, что в 1952 году в концлагере погиб видный евразиец, блестящий философ и богослов Лев Платонович Карсавин. А во время войны в лапы волков, занявших Прагу, попал и главный лидер евразийцев профессор Петр Николаевич Савицкий, этапированный на Архипелаг ГУЛАГ, где он хлебнул полную чашу “евразийского” горя, но где все-таки писал стихи, которые были даже опубликованы в Зарубежье под псевдонимом “Востокова” (конечно, Востокова, а не Западова!). Потрясающе, что и в Архипелаге ГУЛАГ П.Н.Савицкий нашел некое евразийское утешение. Приведу хотя бы два его стихотворения:

Свет пятьдесят четвертой параллели

(к этому стихотворению автор делает такое примечание: “на ней было тогдашнее мое местонахожденье”).

Свет пятьдесят четвертой параллели!
Как ценишь этот краткий зимний свет,
Когда в глухие долгие недели
Ни электричества, ни керосина нет.
Как радуешься первому мерцанью
Едва занявшейся за тучами зари,
С каким невыразимым ожиданьем
Глядишь на темный лес и очерк рощ вдали.
Светлеет лес — и на душе светлеет.
Вот начинаешь буквы различать.
И душу пленную средь зимней стужи греет
Возможность вновь работать и читать.

Небоправство

Здесь небо властвует над всем,
Кладет на все печать и образ,
Здесь горизонт без гор, без меж,
Простора русского прообраз.
Тут небо с нами говорит,
И небо, небо правит нами,
Зарею утренней горит,
Живит дождями и лучами.

1947. Мордовия

К этому стиху Востоков тогда же сделал следующее примечание: “Велик контраст между стесненным горами и домами небом Европы и небом нынешнего моего местонахождения”. (Вот как! Оказывается в Европе и *небато* вовсе *нет*. А я сдуру думал, что небо одно для всей земли. Оказывается, нет, Европа — безнебна. А вот АРХИПЕЛАГОМ ГУЛАГ, оказывается, *правит небо*. Какая невероятная интеллигентско-евразийская загогулина! — Р.Г.)

По отбытии им срока Савицкого вернули в коммунистическую Прагу в образе “доходяги”, где он и умер в нужде и болезнях.

Сменовеховцы

Не лучшая судьба ждала и другую “иллюзию примирения” — сменовеховцев. В том же 1921 году группа “сменовеховцев” выпустила сборник статей “Смена вех”. По своим идеологическим устремлениям эти две группы (евразийцев и сменовеховцев) были разны. Евразийцы шли от славянофилов, в их идеологии момент православия играл большую роль, они были почвенники-распочвенники. Сменовеховцы шли от западничества, но тоже подчеркивали курсивом свой пламенный патриотизм.

В сборнике “Смена вех” были статьи главных лидеров сменовеховства: бывших профессоров-юристов Московского университета — Юрия Вениаминовича Ключникова и Николая Васильевича Устрялова. В гражданскую войну оба были в Сибири членами правительства адмирала А.В.Колчака. Ю.В.Ключников — министр иностранных дел (его специальностью было международное право), а Н.В.Устрялов, — кажется, министр без портфеля (не уверен). Кстати, до Сибири Ю.В.Ключников был активным участником вооруженного антибольшевицкого восстания в Ярославле в 1918 году, но там в лапы волков не попался, а через Казань с отрядом полковника В.О. Каппеля ушел в Сибирь. Кроме Ключникова и Устрялова в сборнике “Смена вех” были статьи профессора С.С.Лукьянова (сын бывшего обер-прокурора Святейшего синода), профессора С.Чахотина, (друг Ф.А.Степуна), бывшего известного в России адвоката А.Бобрищева-Пушкина и Ю.Потехина. Отмечу, что на позиции сменовеховства встал также видный эмигрант, бывший профессор Санкт-Петербургского университета Эрвин Давыдович Гримм, печатавшийся на Балканах в сменовеховской газете “Наша мысль”. Позиция сменовеховства была такова: оставаясь (как и евразийцы) антикоммунистами, сменовеховцы верили, что провозглашенный в 1921 году нэп есть ликвидация *коммунистической* революции, примирение комвласти с населением, усиление роли крестьянства в стране, усиление национализма и постепенный переход России к формам правового государства.

Самый блестящий публицист из сменовеховцев (да и вообще блестящий публицист!) профессор Н.В.Устрялов в сборнике “Смена вех” писал: “Коммунизм не удался<..> дальнейшее продолжение этого опыта в русском масштабе не принесло бы с собой ничего, кроме подтверждения его безнадежности при настоящих условиях, а также неминуемой гибели самих экспериментаторов<…> Дело в самой системе, доктринерской и

утопической при данных услови-ях<…> Только в изживании, преодолении коммунизма — залог хозяйственного возрождения государства”.

Разумеется, тогдашнее положение в Советской России отличалось от сегодняшнего, как небо от земли: вся земля тогда была в руках крестьянства, это было единственное время в российской истории, когда крестьяне обладали всей землей и были довольны своим положением; рабочие не были прикреплены к фабрикам и заводам, а работали где хотели; в искусстве и литературе была относительная свобода, осуществлявшаяся так называемыми “попутчиками”; наряду с Государственным издательством существовали частные издательства; в хозяйственной жизни была допущена частная инициатива и многим бывшим собственникам возвратили их предприятия и дома; были широко допущены иностранные капиталы (концессии). В Советскую Россию хлынули американский, немецкий, английский капиталы. Среди других американцев бывший губернатор Нью-Йорка, а потом и бывший посол в СССР Эверел Гарриман получил тогда в Советской России интересовавшие его концессии; отдельные концлагеря существовали, но Архипелага ГУЛАГ еще не было; выезд за границу не был так свободен, как в западных демократиях, но за границу пускали довольно легко.

И если евразийская идеология внутрироссийскому, советскому обывателю была сложновата, то идеи сменовеховства внутри Советской России разделялись громадным большинством населения. Вот что об этом писали за рубежом бывшие советские граждане. Эмигрант “второй волны” Касьян Прошин (псевдоним Беклемишева) в “Новом русском слове” в статье “Проповедь изоляционизма” от 26 мая 1950 года писал: “Интересно отметить, что сейчас никто не отстаивает<…> возможности перерождения большевицкого государства, эволюции его в сторону демократии, то есть, того варианта, в который верили внутри Советского Союза еще в 20-х годах и вера в который толкала "сменовеховцев" на пересмотр их отношения к советскому режиму”. Еще определенней в журнале “Народная правда” (№ 7–8, май, 1950) писал Георгий Александров, тоже эмигрант “второй волны”. В статье “Советская власть и русская интеллигенция” Г. Александров писал: “В конце двадцатых годов под влиянием нэповских полусвобод наступило некоторое примирение между обеими сторонами (советской властью и интеллигенцией. — Р.Г.), и в настроении интеллигенции появились признаки примирения и сближения с властью. Это была эпоха внутреннего "сменовеховства", история искания путей для совместной, по

возможности, лояльной работы на благо родной страны и народа. Это было признание советской власти "де-факто"". А известный эмигрант, но уже “третьей волны”, А.Левитин-Краснов в работе “История русской церковной смуты” пишет: “Все претензии Живой Церкви на то, чтобы стать частью советского государственного аппарата, имели какой-то смысл тогда, если люди стояли на позиции сменовеховских идеалов, утверждавших, что Советская Россия должна будет в ближайшее время переродиться в крепкое национальное буржуазное государство. На это рассчитывали тогда многие, очень многие, как в России, так и за рубежом”,

Надо ли говорить, что сменовеховцы “измеряли температуру” тоже “французским термометром”: они ставили на Термидор. Но “термометр” оказался трагически неверен. Вот как воспринимал “сменовеховцев” В.И.Ленин. В речи на XI съезде своей “стаи” Ленин, между прочим, сказал: “"Большевики могут говорить, что им нравится, — писал в парижском журнале “Смена вех” профессор Н.Б.Устрялов, — а на самом деле это не тактика, а эволюция, внутреннее перерождение, они придут к обычному буржуазному государству. История идет разными путями", — и, парируя эту цитату, Ленин продолжал: — Такие вещи, о которых говорит Устрялов, возможны, надо сказать прямо. История знает превращения всех сортов; полагаться на убежденность, преданность и превосходные душевные качества — это вещь в политике совсем несерьезная. Превосходные душевные качества бывают у небольшого количества людей, решают же исторический исход гигантские массы, которые, если небольшое количество людей не подходит к ним, иногда с этим небольшим числом людей обращаются не слишком вежливо. Много тому бывало примеров, и потому надо сие откровенное заявление сменовеховцев приветствовать. Браг говорит классовую правду, указывая на ту опасность, которая перед нами стоит. Поэтому на этот вопрос надо обратить главное внимание: действительно, чья возьмет”.

В речи перед “стаей” Ленин завуалированно признавал, что нэп им введен вовсе не “всерьез и надолго”, как он сам *официально* заявлял. Ни перед “крестьянским плетнем”, ни перед каким-то “перерождением” своего “разбойничьего государства” Ленин вовсе не собирался “подвинуться”. Но это, так сказать, “черный ход”, а с “парадного подъезда” те же ленинцы, пуская нужную тогда им дымовую завесу, приветствовали “сменовеховцев”. Так, на II Всероссийском съезде политкомиссаров в октябре 1921 года Троцкий сообщил, что “нужно, чтобы в каждой губернии был хоть один экземпляр этой

книжки "Смена вех". И добавлял: — Сменовеховцы пришли к советской власти через ворота патриотизма". Почему же эдакий марксист Троцкий вдруг захотел распространения "Смены вех"? Да потому, что на том же съезде "стаи" Ленин сказал: "Сменовеховцы выражают настроения тысяч и десятков тысяч всяких буржуев или советских служащих, участников нашей новой экономической политики". Теперь-то, из прекрасного далека истории, мы видим, мы понимаем, что головка большевиков все "иллюзии примирения" встречала бдительно-враждебно, по-гангстерски: *использовать как можно, а потом — в "штаб Духонина"*. Интересно, как на XII съезде "стаи" Иосиф Виссарионович хитро отозвался о сменовеховцах. Коба сказал: "Сменовеховцы хвалят большевиков за восстановление единой и неделимой России".

Но были ли бдительны "сменовеховцы"? Нисколько. Профессор Ю.В. Ключников писал в "Смене вех": "Мистика государства — подлинная и глубокая, — не раскрывалась ли она и не раскрывается ли теперь во всем, что создало из России страну Советов, из Москвы — столицу Интернационала, из русского мужика (!!! — Р.Г.) — вершителя судеб мировой культуры". А в статье "Patriotica" профессор Н.В.Устрялов писал: "Над Зимним дворцом, вновь обретшим гордый облик подлинно великодержавного величия, дерзко развивается красное знамя, а над Спасскими воротами, по-прежнему являющими собой глубочайшую историческую национальную святость, древние куранты играют "Интернационал". Пусть это странно и больно для глаз, для уха, пусть это коробит, но в конце концов в глубине души невольно рождается вопрос: красное ли знамя безобразит собой Зимний дворец или, напротив, Зимний дворец красит собой красное знамя? "Интернационал" ли нечестивыми звуками оскверняет Спасские ворота или Спасские ворота кремлевским веянием влагают новый смысл в "Интернационал"? <…> Наши внуки на вопрос, чем велика Россия? — с гордостью скажут: Пушкиным и Толстым, Достоевским и Гоголем, русской музыкой, русской религиозной мыслью, Петром Великим и *великой русской революцией*".

В книге "Под знаменем революции" Устрялов писал, что революция подошла к стадии, когда обнаруживается ее объективный, конечный смысл: под покровом коммунистической идеологии слагается новая буржуазная демократическая Россия с "крепким мужиком" как центральной фигурой. "Мы, сменовеховцы, — писал Устрялов, — хотим, чтобы русский мужичок получил все, что ему полагается от наличной власти".

Уверенность в необратимости нэпа, в необратимости

эволюции страны к правовому строю в некоторых сменовеховцах была так сильна, что Ю.Потехин в “Смене вех” писал: “Народ с беспримерным терпением склонился перед силой большевицкой власти. Настал момент, когда эта власть должна склониться перед силой народных нужд и всемерно пойти прямо им навстречу; *иначе она будет сметена”.* увы, сметены прежде всего оказались сменовеховцы, а потом смели и народ — все многомиллионное крестьянство — со всеми его “нуждами”.

Как же отнеслась русская политическая эмиграция к евразийцам и сменовеховцам? В подавляющем большинстве резко отрицательно. В особенности к сменовеховцам, призывавшим к возвращению на родину. И лидеры русского либерализма П.Н.Милюков (левого крыла) и В.А. Маклаков (правого крыла), и лидер русского меньшевизма Ф.И. Дан, и все социалисты-революционеры, все отнеслись к “Смене вех” непримиримо. С критикой евразийцев П.Н.Милюков выступил даже публично в Париже 5 и 12 февраля 1927 года. С высоты своей энциклопедической учености Милюков, во-первых, отрицал оригинальность евразийского подхода к истории России, указывая на их прямую связь с славянофилами, Н.Я.Данилевским и К.Леонтьевым, а во-вторых, резко упрекал евразийцев в “примирении с коммунистической властью” (к которой Милюков был совершенно непримирим), в “приятии большевицкой революции как высшего проявления народной мудрости”, чего Милюков уж никак не признавал и не мог признать. Лидер русского либерализма Павел Николаевич даже обронил тогда некую “элегантную остроту”, сказав, что Россию можно, конечно, называть как угодно, если хотите “Евразией”, но с таким же основанием можно называть и “Азиопой”. Еще резче П.Н.Милюков высказывался о сменовеховцах. Но почти вся политическая эмиграция наклеивала им на спину некий “бубновый туз”, что было не- справедливо потому, что в своих “иллюзиях примирения” лидеры сменовеховцев были искренни и заплатили за них жизнями. Н.Б.Устрялова (как я уже упоминал) в Советской России в сибирском экспрессе шнуром чекисты удушили под видом грабителей. Вероятно, по личному указанию Кобы, Ю.В.Ключников исчез неизвестно как, хотя после сборника “Смена вех” для “дымовой завесы” наркоминдел Г.Чичерин (по указанию Кремля?) пригласил его как “советника” в состав советской делегации на Генуэзской конференции, что, конечно, было пропагандой и “советской эволюции”, и “советского миролюбия”. С.С. Лукьянова чекисты забили насмерть на допросе в Ухт-Печерском концлагере, хотя до этого — тоже для “дымовой завесы” — он был назначен редактором московского

французского журнала — “Journal de Moscou”.

В 20-х годах, во времена нэповских полусвобод, либерал П.Н.Милюков был тверд в своей непримиримости к большевизму. “Смена вех” была немыслима. П.Н.Милюков утверждал, что “непримиримость (к большевикам) для нас не только тактическая директива, но и категорический императив” (“Эмиграция на распутьи”). Милюков писал, что в эмиграции необходимо “сохранение пафоса неприятия советской власти и борьба с ней, а следовательно, и революционное к ней отношение, и отрицание всякого рода примиренчества” (“Россия на переломе”, т. 2). Но в 40-х годах, в самую страшную сталинщину, П.Н.Милюков стал нежданным “сменовеховцем”, создав собственную “иллюзию примирения”. В те же годы и В.А. Маклаков внезапно “сменил вехи”, выступив со своей “иллюзией примирения”.

В заголовке этого очерка у меня стоит “и другие”. Эти “и другие” были Федор Дан (Гурвич), лидер меньшевиков, в 40-е годы “целиком и полностью” ставший на “советскую платформу”, и кое-кто из эсеров, например М.А. Слоним, вступивший в группу под названием (кажется) “утвержденцев”, тоже ставших на советскую платформу. Правда, через несколько лет, когда из Кремля потянуло густым антисемитизмом, М.Л.Слоним возвратился в первобытное эсеровское состояние. Но все эти “и другие” мало интересны, у них не было своих идей. И о них я говорить не буду. Скажу только об “иллюзиях примирения” П.Н.Милюкова и В.А.Маклакова.

П.Н. Милюков

Как и почему лидер русского либерализма, вождь кадетской партии, опытнейший политик и знаменитый историк П.Н.Милюков в разгар всемогущества Иосифа Сталина, в 1942 году, стал “сменовеховцем”? Свою “иллюзию примирения” П.Н.Милюков изложил в большой статье под ударным заглавием (каких никогда не было ни у евразийцев, ни у сменовеховцев!) — “Правда большевизма”. Статья была ответом на статью “Правда антибольшевизма” непримиримого антибольшевика (“при всех обстоятельствах”), эсера Марка Вениаминовича Вишняка. Вишняк поместил свою статью в “Новом журнале” № 2. Для зарубежных русских демократов и социалистов-антибольшевиков статья Милюкова оказалась “атомной бомбой” по своей неожиданности и по разрушительности прежней идеологии П.Н.Милюкова (“Русский патриот”, Париж, 1945).

Милюков писал: “Когда видишь достигнутую цель, лучше понимаешь и значение средств, которые привели к ней. Знаю, что это признание близко к учению Лойолы. Но… что поделаешь? Ведь иначе пришлось бы беспощадно осудить и поведение Петра Великого?”. Вот куда на старости лет махнул Павел Николаевич как историк, подкинув Петру Великому Кобу, разбойника с Каджарского шоссе и грабителя Тифлисского государственного банка. Но П.Н. Милюков, как Наполеон, “существо только политическое” и мыслил всегда в категориях государственности, причем российская великодержавность всегда была целью его политической деятельности. А тут, в 1942 году, такой оглушивший его гром победы! Милюков так и пишет: “Гром победы раздавайся — этой обличительной цитатой Вишняк сразу хочет дискредитировать своих противников. Что же? Мне тоже приходится цинически повторить: да, гром победы раздавайся!..” И дальше идет не только политический дифирамб лично Кобе, но и оправдание всего ленинского Октября (чего не было ни у евразийцев, ни у сменовеховцев): “Были ли большевики органическим эпизодом русской истории? — задает вопрос Милюков и отвечает: — Ответ зависит от того, признаем ли мы Октябрьскую революцию 1917 года НАСТОЯЩЕЙ революцией в полном смысле этого слова. Французская и английская революции имели такой же (!! — Р.Г.) характер и были, несмотря (или даже вследствие) на свою разрушительную функцию, признаны не “эпизодами”, а органической частью национальной истории. Русская революция пошла дальше в направлении разрушения. Она в корне изменила *старый социальный*

строй, уничтожила “классы”, перестроила *политическую* структуру, заменила старый государственный строй управлением партийных советов и оборвала моральную традицию, уничтожив старую интеллигенцию и посягнув на старую народную веру. М.В.Вишняк называет все эти перемены провалами. Но это значит — за разрушительной стороной русской революции не видеть ее творческих достижений. Мало того: это значит игнорировать связь русского революционного творчества (!! — Р.Г.) с русским прошлым, связь, которая, собственно, и подтверждает право рассматривать русскую революцию как "органическую" часть русской истории. Еще Токвиль указал на подобную связь французской революции с прошлым”. Вот он, тот же злосчастный “французский термометр”!

Но дальше — хуже. Милюков пишет; “… Россия давно перестала быть Россией Ленина, но было бы чересчур наивно утверждать, что к этому сводится ВСЯ "государственная мудрость" диктатора. Едва успел умереть Ленин, как Сталин поспешил освободить свои руки от капитальнейшего ленинского тезиса — о необходимости мировой революции (вот как!!! — Р.Г.). Он объявил, что в России социализм может быть введен и без ее помощи. Это был первый и радикальнейший шаг в направлении дальнейшей эволюции (!!! — Р.Г.). Диктатор, правда, прикрыл свою ересь именем Ленина. Но он не был первым политиком, который скрыл свое нововведение под старым именем, освященным традицией. Сталин умудрился и свою коллективизацию земледелия оправдать цитатами из 28 томов сочинений Ленина. Было бы непростительной наивностью принимать такого рода "ленинизм" всерьез…” Милюков пишет дальше: “… в среде наших союзников распространено опасение социальной революции в случае победы Сталина. Но этому противоречит вся история отношений Сталина к Коминтерну. В осуществимость "мировой революции" в ближайшие годы действительно верили все вожди первоначального большевизма, начиная с Ленина. Но после провалов 1919–1923 гг. эта вера была потеряна. Я уже упомянул, что тотчас после смерти Ленина Сталин исключил "мировую революцию" из расчетов собственной доктрины…”

В свете всего происшедшего за 37 лет по написании Милюковым “Правды большевизма” и происходящего на наших глазах во всем мире, я думаю, что предсказание наследника Сталина неуча Хрущева — “мы вас угробим!” — гораздо ближе к истине международного положения, чем архикабинетные иллюзии знаменитого ученого историка П.Н.Милюкова с его “исключением мировой революции из большевицкой доктрины”,

Свою “иллюзию примирения” Милюков написал в 1942 году, когда начались победы на советском фронте, а скончался он в 1943 году 84 лет от роду. За несколько месяцев до смерти Милюков писал одному из друзей: “Сажусь за стол с пером в руке. Хочу что-то написать. Проходит четверть часа, полчаса — я сижу все так же и ничего не пишу…” Для политической биографии Милюкова было бы лучше, если б уже в 1942 году он оказался в таком “неписательском” состоянии. Тогда бы и иллюзорная “Правда большевизма” не появилась.

В.А. Маклаков

Столь же политически иллюзорна оказалась “смена вех” другого лидера русских либералов — В.А.Маклакова, главы Нансеновского комитета в Париже. Я знал лично и П.Н.Милюкова и В.А. Маклакова, от обоих в моем архиве есть письма. П.Н.Милюкову кое-чем я лично обязан и до сих пор вспоминаю об этом с благодарностью. В.А.Маклаков отнесся ко мне в Париже очень хорошо. Но говорить о них как людях я буду во второй части книги. А сейчас — только об “иллюзиях примирения”.

12 февраля 1945 года во главе группы эмигрантов В.А.Маклаков посетил советского посла в Париже Богомолова. Свидание было заранее условлено. Вот что сказал совпослу, чекисту Богомолову блестящий представитель подлинной русской интеллигенции, в молодости близкий к Льву Толстому, Василий Алексеевич Маклаков: “Я хочу пояснить, почему мы пришли. Эмиграция была разнородна, но сходилась в одном: в враждебном отношении к советской власти. Считала ее главным злом, помнила только вред, который она причинила, и ждала, когда она упадет. Примирение с ней она считала изменой и предпочитала здесь вымирать<…> Действительные события оказались для всех откровением, Мы не предвидели, насколько за годы изгнания Россия окрепла<…> Мы восхищались патриотизмом народа, доблестью войск, искусством вождей. Но должны были признать, что<…> все это подготовила советская власть, которая управляла Россией… Нужно работать для взаимного понимания и примирения. Эту работу мы делали независимо и будем ее продолжать. Мы вам о ней говорим не для практических целей<…> Но раз мы признаем советскую власть национальной властью и с нею не боремся, мы хотим, чтоб про нашу работу, которую мы ведем для пользы России, вы непосредственно узнали от нас<…> И наконец, те, которые думали окончить свои дни в эмиграции и России больше не видеть, счастливы, что воскресения России дождались и могут лично приветствовать ее в лице ее представителей<..> Если существуют течения прежней борьбы с советской властью, то это не мы. Мы борьбу прекратили. От тех, кто ее хочет вести, мы отделились. Самого крушения советской власти мы уже не хотим, Мы знаем, чего стоит стране революция, и еще новой революции для России не пожелаем. Мы надеемся на дальнейшую эволюцию…”

Что же ответил подлинному представителю русской интеллигенции В.А.Маклакову совпосол, чекист Богомолов? Он

ответил ему так, как и должен был ответить и как только и мог ответить чиновник-чекист. Сначала он выразил “некоторое недоверие” к эмиграции. А потом сказал: *“Мы должны к вам присмотреться, вас изучить, убедиться в вашей искренности”*. И закончил эту чекистскую казенщину предложением всем пришедшим выпить с ним за советский народ, за Красную армию и лично за генералиссимуса Сталина. Ничего не поделаешь, пришедшие выпили с Богомоловым за генералиссимуса!

Истины ради надо сказать, что В.А. Маклаков очень скоро понял ошибку своего “хождения в Каноссу”. Но об этом — во второй части книги, когда я буду говорить о “России во Франции”.

Возвращенчество

В противоположность евразийцам и сменовеховцам “возвращенчество” не представляло собой “группы” и никакой “новой идеологии” не выдвигало. Напротив, все они крепко-накрепко держались своих старых, дореволюционных убеждений. Их было четверо — умеренные социалисты. А.В.Пешехонов, видный публицист, народник, редактор известного дореволюционного толстого журнала “Русское богатство”, сам себя называвший “младшим соратником В.Г.Короленко”. Е.Д. Кускова, столь же известная публицистка, социалистка, но ни с какой партией у Е.Д. романа так и не вышло. В молодости начала с марксистской ортодоксии, кончила беспартийной умеренностью. Была “сама по себе”. Ее муж, экономист С.Н. Прокопович. И М.А.Осоргин (Ильин) — писатель-беллетрист и публицист, в молодости ходивший в “эсерах”, а потом, как и Кускова, ставший одиночкой, причем иногда заявлял себя “анархистом”, но думаю, это не очень всерьез, больше так — “бутада”, бомб он не делал, в кафе их не швырял, ни безвластия, ни непротивления не проповедовал, вообще — ничего “страшного”. Все четыре из России были высланы в начале 20-х годов как вредные “делу пролетариата”. Они и были “вредны” (не пролетариату, конечно, а ленинским псевдонимам). Все были типичные представители “ордена русской интеллигенции”. Теперь таких людей уже нет. “А все-таки жаль…”, как поет талантливый Б.Окуджава (добавим за него), что нет уже русской интеллигенции, а есть советская образованщина.

В эмиграции, когда из-под их ног ушла почва родины, они по-разному политически затосковали. Подчеркнуто это выразил А.В.Пешехонов в яркой брошюре “Почему я не эмигрировал?”. Почему же? Да потому, что бежать — пусть от ужасов большевизма (чего А.В. нисколько в своей брошюре не отрицал и не умалял) Пешехонов считал — “противным чести” и, как подлинный народник, считал, что должен разделить судьбу своего народа. Короче, Пешехонов прозой писал то, что стихами писала Ахматова: “Но вечно жалок мне изгнанник / Как заключенный, как больной / Темна твоя дорога, странник / Полынью пахнет хлеб чужой”. Посему Ахматова и не эмигрировала, хотела “быть с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был”. Скажу в скобках, я такого *“физиологического народолюбия”* с ущемлением моей личной свободы никогда не разделял и не разделяю. Если твой народ подпал под власть “разбойничьей шайки”, почему же и тебе под нее надо лезть? Под

эту “разбойничью шайку”? Я стал эмигрантом без *моего волеизъявления.* Выслала Украинская директория под немецко-украинским конвоем. Но когда переехал границу всей этой всероссийской мерзости, называющейся “революцией”, я вздохнул с истинным чувством облегчения. Слава тебе, Боже!

Вспоминаю, в революцию 1848 года в Германии к саксонскому королю пришла депутация народных представителей с требованием отречения короля и с проектом этого отречения, но они полагали, что король заупрямится, не пожелает и прочее. А король был умница, взял отречение, подписал и, возвращая, сказал: “Macht Euren Dreck aleine!”. То есть — “Делайте ваше дерьмо сами”. С саксонским мягким акцентом это звучит особенно хорошо. Сходным королевскому чувству было и мое облегчение при переезде границы. Конечно, король в эмиграцию не уходил. И вскоре был восстановлен. Я же — уходил (может быть, на всю свою жизнь) в чужую страну (так оно и вышло — *на всю жизнь!}*. И передо мной, естественно, как перед всяким “изгнанником” (по Ахматовой) вставал выбор меж двумя ценностями — родина иль свобода? Не задумываясь, я взял свободу, ибо родина без свободы уж не родина, а свобода без родины, хоть и очень тяжела, может быть, даже страшна, но все-таки — *моя свобода.*. Так что “надменные строки” Ахматовой о каком-то “изгнаннике” меня всегда необыкновенно отталкивали. Но вернусь к “возвращенчеству”.

Охваченный сей народнической “ностальгией” и чувством “долга перед народом”, А.Б.Пешехонов в середине 20-х годов стал проповедовать в Зарубежьи возвращение “домой”, причем измерял российскую революцию тоже “французским термометром”, полагая, что нэп это “Термидор”, который излечит эксцессы и уродства большевизма, открыв дорогу здоровому всенародному строительству Новой России. Бот на эту “честную работу” с новой властью и звал замечательный человек по своей душевной чистоте и публицистической одаренности, “младший соратник Короленки” Александр Васильевич Пешехонов.

Сам он и возвратился в Советский Союз, но, увы, куда хотел, *в коренную Россию* ГПУ Пешехонова не пустило. Когда-то Пешехонов писал, что советскому человеку некуда податься: либо могила, либо тюрьма, либо… советская служба. Из трех зол ему дали пока что меньшее: советскую службу, “прикомандировав” его “на время” к какому-то полпредству в Прибалтике, где он и умер совсем не старым — шестидесяти шести лет. Подтолкнули? Помогли? Ничего не известно. СССР — страна великих уголовных возможностей. Горький умер по-одному. Сын его Максим — по-другому. Фрунзе — по-третьему. Устрялов — по-четвертому.

Артист Михоэлс — по-пятому. Киров — по-шестому. Зинаида Райх — по-седьмому. Слащев — по-восьмому. Разновидностей коммунистического “мокрушничества” не перечислить! А сколького мы не знаем!

Столь же страстную проповедь “возвращенчества” в середине 1920-х годов повела в зарубежной печати и Екатерина Дмитриевна Кускова. Я ее лично знал. И должен сказать, что счастлив, что знал эту выдающуюся женщину, Но мне думается, в Е.Д. был некий разлад: душа — христианка (настоящая), а рассудок — социал-демократ. Поэтому в частной жизни Е.Д. была человеком необыкновенным: всякому бросалась помочь; тут не было ни эллина, ни иудея, ни богатого, ни бедного, ни правого, ни левого — люди, и только люди! А вот в писаниях часто проявлялась куриная слепота социалистического доктринерства. Ее “возвращенческая” публицистика под лозунгом “засыпание рва” (то есть рва гражданской войны между эмиграцией и СССР) ничего кроме раздражения и неприязни к ней лично в эмиграции не вызвала. И особенно потому, что Е.Д. в своих писаниях была страстна, резка, но… не убедительна.

Вся зарубежная печать приняла “возвращенчество” в штыки: и эсеры, и кадеты, и эсдеки, и националисты, и монархисты. В этой полемике Е.Д. Кускову почему-то ядовито называли “мадам Кускова”, что к ней как к человеку совершенно не шло: ничего “дамского” в ней не было. В чем же обвиняли “мадам Кускову”? Вдогматизме, схематизме, в соглашательстве с советской властью, в равнодушии к страданьям русского народа.

В некрологе Кусковой (“Новый журнал”, кн. 61) очень ее любивший М.М. Карпович по поводу двух последних обвинений писал: “В ее отношении к Советской власти усматривали соглашательство, не ощущая органической для нее невозможности примириться с каким бы то ни было режимом, построенным на насилии и фанатизме”. И — “…прямо чудовищным для всех знавших Е.Д. звучат обвинения ее в равнодушии к страданьям русского народа. Если бы только обвинители знали, как тяжело она эти страдания переживала и как неутомимо старалась облегчить участь хотя бы отдельных жертв большевицкой революции! Упомяну только об одном, хорошо известном мне случае. Мне пришлось быть посредником между Е.Д. и одним бывшим участником белого движения, который обратился к ней с просьбой помочь ему вызволить из Советской России сына-подростка, оставшегося на руках у престарелой бабушки (мать была расстреляна как заложница). Я знаю, сколько сил и времени было затрачено Е.Д., прежде чем ей удалось исполнить просьбу этого лично ей неизвестного и

политически несозвучного человека. Но ведь это один только случай, который надо умножить я не знаю во сколько раз, чтобы получить представление<…> о ее неоскудеваюшем сочувствии людям".

Я написал, что был счастлив лично знать Е.Д. Кускову. И это искренне. Но и у меня с ней была резкая (и может быть, даже грубая с моей стороны) полемика после Второй мировой войны, когда она, продолжая стоять на позициях "возвращенчества", писала, что для советских послевоенных эмигрантов лучше возвращаться в СССР, чем оставаться в эмиграции. Я же писал, что она толкает этих людей в концлагерь на истязания, а может быть, и на смерть. Она отвечала мне тоже резко, называя меня "демагогом". Но и бесконечно привязанный к ней М.М. Карпович в том же некрологе писал: "Надо признать, что отчасти сама Е.Д. была виновата в возникшей вокруг ее писаний атмосфере непонимания, а иногда и враждебности<…> Помимо того Е.Д., конечно, бывала и по существу не права, что неоднократно признавали даже очень ее ценившие люди".

Не могу привести цитат из "возвращенческих" писаний Е.Д. 1920-х годов. Они рассеяны в разных газетах и журналах. Но я могу дать цитаты из ее послевоенных статей конца 1940-х и начала 50-х годов. "Народ не только поддержал большевиков в 1917 году, — писала Е.Д., — но он их поддерживает все эти годы". И это Е.Д. писала в 1950 году, когда по стране ходило: "Скажите, дошли мы до социализма или будет еще хуже?". И когда зверства концлагерей с их многомиллионным населением заключенных были в разгаре (и мы, эмигранты, это знали!). Концлагерная литература за рубежом уже была большая: Ив. Солоневич "Россия в концлагере", Ю. Марголин "Путешествие в страну зе-ка", Иванов-Разумник "Тюрьмы и ссылки", Г.Андреев "Трудные дороги", Ю.Бессонов "26 тюрем и побег с Соловков", Б.Ширяев "Неугасимая лампада", М.Розанов "Завоеватели белых пятен", воспоминания профессоров (мужа и жены) Чернавиных, Никонова-Смородина, Целиги, финна Седерхольма, О.Фельтгейма "По советским тюрьмам" и другие.

Муж Е.Д., С.Н.Прокопович ("муж и жена — одна сатана!") был тоже в "возвращенчестве". В эти годы он писал: "Молотов защищает национальные и государственные интересы России", — и находил, что требование Дарданелл для СССР в острый момент послевоенных конфликтов — правильная политика. Рассудок-социал-демократ попутал Е.Д. в интерпретации даже такого грубо-пропагандного факта: когда в Вене советское командование "подарило" православному собору колокол, Е.Д. писала: "Какая глубокая перемена!" И она искренне, искренне верила в эти

“перемены”, пиша: “Компартии повсюду должны менять свою тактику и приспосабливаться к изменившейся народной психологии— в сторону жажды порядка, конструктивной борьбы с европейским хаосом < … > Коммунисты это хорошо понимают”. А я всегда недоумевал, как могла родиться у Е.Д. эта политическая куриная слепота, ведь она-то, социалистка, знала большевиков вовсе не издали (как мы), а вплотную и долголетне. Одной ее высылки как члена Комитета помощи голодающим в Поволжьи в 20-х годах (в просторечии этот Комитет назывался “Прокукиш” — Прокопович, Кускова, Кишкин) было достаточно, чтобы увидеть бесовское (и звериное) лицо большевизма! Но нет, она его так и не увидела.

Резкую в Зарубежьи отповедь получал иногда и другой из четырех лидеров “возвращенчества” — М.А.Осоргин. Так, в 1925 году в газете “Дни” он напечатал фельетон, вызвавший, как говорится, “бурю негодования”. Действительно, фельетон странноват. Михаил Андреевич (я его лично знал — такой же представитель “ордена русской интеллигенции”) написал фельетон, якобы в ответ какому-то человеку, который считал, что он, Осоргин, в “значимости таблицы умножения” для человеческой жизни, кажется, сильно сомневается. Возражая, Осоргин писал: “А может быть, таблица-то умножения… того?”. И, развивая тему, М.А. указывал, что вот революция сделана как раз “без таблицы умножения” и его оппонент, разумеется, не сомневался, что “мост, возведенный в октябре, сокрушится в течение одного месяца, трех дней, четырех часов и одной минуты”. А вышло, что обвалился не мост, а эмигрантский “балкон ожиданий”. А мост стоит “под самыми облаками — гирлянды из хрупких лилий и орхидеев без проволоки и цемента, и этот мост качается благоуханно на всех ветрах”. И в поучение Осоргин рассказывает (по-моему, крайне легкомысленно) такой случай: через какой-то широкий ручей мужики для перехода положили бревно, и на его слова, что по этому бревну переходить опасно, одна баба тут уже сорвалась в воду, мужики будто бы ответили: “Ничаво, у нас баб много!” И в этом мужицком ответе Осоргин усматривал “маленькую правду”, дискредитирующую “таблицу умножения”.

Это “ничаво, у нас баб много” в зарубежной печати и вызвало негодование, ибо в “ничаво” усмотрели оправдание террора. Особо резко против “ничаво” выступил редактор “Руля” И.Б.Гессен в статье “Ловеласы революции” (Гессен рассказывает об этом в воспоминаниях “Годы изгнания”): “Это ловеласничество вызвало в "Руле" решительный отпор, в резкости которого и по истечении десятка лет не могу каяться, потому что оно

представляло несомненно большую опасность, чем прямая просоветская пропаганда. Осоргин ведь был в числе высланных советской властью, следовательно — она имела основание считать его вредным, враждебным; если же и он готов принести ей в жертву "таблицу умножения", если ему, большевиками высланному, человеческие гекатомбы не портят благоухания революционной атмосферы, — как же не склониться перед победителями, кому же поверить, как не ему. Меня мучительно раздражало такое легкомысленное отношение к "ничаво, у нас баб много!", особенно со стороны человека, который сам находится вне этой категории и таблицу умножения громит в тепле и сытости". Гессен ставил Осоргину прямой вопрос: почему ж он, Осоргин, открыто не стал на сторону ленинцев, если — "ничаво"? На что Осоргин (крайне неубедительно) отвечал, что он вообще против всякой власти и главное завоевание революции видит в том, что это она подорвала уважение к власти вообще.

Думаю, мало кого убедили возвращаться в СССР эти четыре публициста возвращенчества. Но смуту, полемику, ссоры они, естественно, невольно для себя в Зарубежьи вызвали. И евразийцев, и сменовеховцев обошла Москва и уничтожила. Без Москвы не обошлось, оказывается, и с возвращенчеством. Тут оказалась налицо утонченная большевицкая бесовщина. Об этом рассказал Владислав Ходасевич в статье "К истории возвращенчества", написанной в 1920-х годах, но опубликованной мной посмертно (Ходасевич умер в 1939 году) в редактировавшемся мной журнале "Народная правда" (№ 17–18,1951). Этот журнал давно стал "библиографической редкостью", и я думаю, поступлю правильно, если статью Ходасевича (на мой взгляд, ценнейшую!) полностью перепечатаю. Вот она. Ходасевич пишет:

"В "Днях" и в "Последних новостях" появилось перепечатанное из советских газет письмо Горького к Ганецкому по поводу смерти Дзержинского. Что Горький Дзержинского "и любил, и уважал", для меня с некоторых пор не ново. К тому же это дело его личного вкуса и его отношений с начальством. В его письме меня взволновало другое. Отныне я по совести не могу больше хранить про себя обстоятельство, которое из горьковского письма вскрывается лишь попутно, а между тем имеет общественное значение.

Я вынужден начать издалека. В конце 1924 года, в Сорренто у Горького около двух недель гостила его первая жена, Екатерина Павловна Пешкова. Я в то время жил там же. До тех пор я с Е.П.Пешковой встречался лишь мельком. В моих глазах она была прежде всего председательница Политического Красного Креста,

сумевшая даже от большевиков добиться того, чтобы они, закрыв Красный Крест, все-таки допустили ее хоть и единоличное, но деятельное продолжение работы по облегчению участи тех, кому довелось стать жертвами ГПУ. Я смотрел на нее с уважением, которое по отношению к ней общепринято.

В Сорренто, из ее разговоров со мной и с другими лицами, а также из многих других обстоятельств, я с удивлением увидел, что к советскому режиму Екатерина Павловна относится восторженно, говорит цитатами из "Известий" и вообще держит себя "кремлевской дамой", вроде Коллонтай, Каменевой и других. С особенным постоянством обращалась она к той теме, что эмигрантам следует как можно скорее возвращаться в СССР.

Живя в Сорренто, Е.П. поддерживала оживленную переписку с некоторыми видными представителями эмиграции, в том числе с Е.Д.Кусковой. Из Сорренто Е.П.Пешкова 3 декабря 1924 года уехала в Россию. Уезжая, не раз говорила, что проездом должна побывать в Праге, чтобы там повидать Е.Д. Кускову "и других" (кого именно — не называла). На просьбы погостить еще — отвечала, что должна ехать, так как иначе не застанет Кускову в Праге, а между тем это свидание для нее важно. Спустя приблизительно месяца два после ее отъезда Горький однажды сказал мне, что в сентябре этого года (1925) истекает трехлетний срок, на который была условно выслана из России известная группа писателей, ученых и общественных деятелей, и что в сентябре же некоторые из них станут проситься обратно и поведут агитацию за возвращение. "Давно пора", — не раз повторил Горький.

Я выразил сомнение, чтобы это могло случиться. Но Горький настаивал на достоверности своих сведений и в точности назвал мне четыре имени: Е.Д.Кусковой, С.Н. Прокоповича, А.В.Пешехонова и М.А.Осоргина. На мой недоверчивый вопрос, откуда ему все это известно, он ответил, что от Е.П.Пешковой. При этом прибавил, что Екатерина Павловна ездила в Прагу, чтобы оказать непосредственное влияние на Кускову, Прокоповича и Пешехонова.

Признаюсь, я тогда разговору не придал значения. Он показался мне одним из тех политических фантазирований Горького, в которых он редко бывает удачлив и дальновиден. Однако недальновиден на этот раз оказался я. Именно в назначенный Горьким срок разразилась кампания, получившая название "возвращенской" и поднятая именно теми лицами, которых назвал мне Горький.

Когда возвращенчество обозначилось и когда действительность подтвердила назначенные Горьким имена и

сроки, я понял, что слова Горького о роли Е.П.Пешковой были, к несчастью, не фантазией, а правдой. Когда же выяснилось, что влияние московских сфер на зачинателей возвращенчества имело целью не действительное возвращение их в Россию, а лишь смуту в умах и сердцах эмиграции, то есть ее раздробление и разложение, тут стало для меня ясно, что Кускова, Прокопович и Пешехонов сделались жертвами провокации.

Начиная с сентября 1925 года я неоднократно и гораздо более подробно излагал свои сведения ряду лиц, в том числе М.А. Алданову, М.В.Вишняку и другим. Не сомневаюсь, что они помнят наши беседы. Должен заметить, что серьезного значения моим словам никто придать не пожелал. Общераспространенное доверие к Е.П.Пешковой было сильнее моих доводов, да и сам я ее обвинял лишь в том, что она бессознательно и легкомысленно выполняет миссию, на которую ее незаметно толкает ГПУ. Как на толкающую силу я, впрочем, тогда же прямо указывал на Дзержинского. Но когда я говорил, что Екатерина Павловна отзывается о нем с уважением, с любовью, с нежностью, что он — ее близкий личный друг, что она и в разлуке проявляет о нем трогательную, даже сентиментальную заботливость, — тут уж мне просто не верили, без всяких оговорок.

Да и трудно было поверить, что "утирающая слезы" Е.П.Пешкова столь душевно близка к главному палачу. Самому мне порой казалось, что я что-то преувеличиваю. Но я припоминал разговоры, факты и вновь убеждался в верности своих наблюдений. И снова какое-то сомнение все-таки меня мучило: слишком тяжело верить себе самому, когда дело идет о таких вещах.

Поэтому не с радостью удовлетворенного самолюбия ("вышло по-моему!"), а с болью в сердце и с ужасом прочитал я теперь в письме Горького полное подтверждение моих мыслей: приводимый Горьким отрывок из "трагического письма" Е.П.Пешковой по поводу смерти Дзержинского: "Нет больше прекрасного человека, бесконечно дорогого каждому, кто знал его".

Она возбуждала возвращенчество с ведома Дзержинского. При таком отношении она в этом деле не могла поступать без ведома того, кого это в первую очередь касалось и кто ей был так "бесконечно дорог". А с ведома — значит, по поручению.

Я думаю — нет надобности говорить, что все это я пишу не для того, чтобы как-нибудь "опорочить" лично Кускову, Пешехонова, Прокоповича. Вполне допускаю, однако, что они будут возражать, ибо никто не любит сознаваться в своих ошибках, а политическому деятелю особенно трудно бывает

сказать: "Да, меня спровоцировали". Конечно, нелегко будет Кусковой, Прокоповичу, Пешехонову согласиться с тем, что я за семь месяцев вперед знал, когда именно их должно с особою силой потянуть на родину. Но я виноват только в том, что мне за кулисами показали веревочку, за которую их потянут.

Я не политик. Я предпочел бы писать другое. Но наше дьявольское время порой заставляет меня выступать с описаниями того, что скрывать я считаю себя не вправе. Так и сейчас изложил я факты и сделал краткие сопоставления — лишь потому, что по совести молчать о них больше не могу. Я не должен скрывать то, что известно мне о зарождении возвращенчества. Я обязан сказать, кем соблазнены и куда завлечены его вожди, а за ними и более широкие круги эмиграции.

Владислав Ходасевич

Этим и закончу рассказ о “возврашенческой” иллюзии примирения.

В газете “Накануне”

В марте 1922 года в Берлине начала выходить ежедневная сменовеховская газета “Накануне” под редакцией профессоров Ю.Ключникова и Г.Кирдецова, при ближайшем участии профессоров С.Лукьянова, Ю.Потехина и Б.Дюшена. Сотрудниками “Накануне” стали некоторые видные эмигрантские писатели и журналисты — Алексей Толстой (редактор “Литературного приложения”), А.С.Яшенко (редактор “Научного приложения”), Ив. Соколов-Микитов, А.Дроздов, А.Ветлугин (Рындзюк), Нина Петровская (Рената из “Огнен- ного ангела”), Н.Василевский (Не-Буква), экономист Бугман, репортеры Вольский, Шенфельд (Россов) и другие. В эмиграции газета встретила недружелюбное отношение, ибо идея “примирения с советской властью” массой эмиграции не разделялась. Не знаю, кто финансировал “Накануне”, но думаю — через какое-нибудь подставное лицо она издавалась на советские деньги. Для сменовеховцев, звавших к примирению с властью и возвращению в Россию, эти деньги не были “бубновым тузом”. Для массы же антиболыпевицкой эмиграции (совершенно правильно!) были.

Станкевичи тогда жили еще в Берлине, и В.Б. хотел начать сотрудничать в “Накануне”, что вызвало резкое сопротивление Наталии Владимировны. Она ни за что не хотела, чтобы В.Б., получил наименование “сменовеховца”, хотя по сути сменовеховцы стояли на той же позиции примирения, что и журнал Станкевича “Жизнь”. Помню, генеральное сражение у Станкевичей было при мне. Владимир Бенедиктович его проиграл. Но не столько из-за доводов Наталии Владимировны, сколько из-за довода В.С. Войтинского, Войтинский говорил Станкевичу так: “Владимир Бенедиктович, я понимаю вашу точку зрения, понимаю вашу политическую позицию, но если вы хотите сотрудничать с советской властью, то есть писать для советского читателя, то лучше пишите прямо в "Известиях", чем в "Накануне", потому что "Накануне" — это большевицкий политический "камуфляж". Попробуйте писать прямо туда, в "Известия"”. Довод Войтинского подействовал. В.Б. отказался от того, чтобы стать сотрудником “Накануне”. Но и в “Известиях”, конечно, никогда не писал.

Я сотрудником “Накануне” стал. И произошло это так. К нам в “Новую русскую книгу” как-то пришел Алексей Толстой, уже редактировавший “Литературное приложение”. В разговоре спросил меня: “Роман Гуль, нет ли у вас чего-нибудь для "Литературного приложения"? Я слышал, вы роман пишете?” —

“Романа не пишу, а некую повесть пишу”. — “Вот и великолепно! Дайте отрывок для "Литературного приложения"”. — “Хорошо, что-нибудь выберу”.

Я дал Толстому отрывок из повести “В рассеянии сущие”, который появился в ближайшем номере “Литературного приложения” к “Накануне” от 22 мая 1922 года. У кое-кого из моих знакомых это вызвало некий “взрыв”. Но, конечно, не коснулось моих друзей — Станкевичей, Николаевского и других. А в правление “Союза русских писателей и журналистов” Владимир Евгеньевич Татаринов (в прошлом харьковский журналист) подал тогда письменное заявление, предлагая исключить из “Союза” всех сотрудников “Накануне”. Думаю, он по-своему был совершенно прав. Но судьбе было угодно над этим его “действом” улыбнуться. В 1947 году в Париже в правление “Союза русских писателей и журналистов” я и С.П.Мельгунов (члены правления) подали составленное мной заявление об исключении из “Союза” всех членов “Союза советских патриотов” и сотрудников газеты “Советский патриот”, выходившей в Париже. Общее собрание состоялось, и “советские патриоты” были, по-моему и Мельгунова предложению, исключены. Среди них оказался и Владимир Евгеньевич Татаринов, в те дни ставший архисоветским патриотом и фактическим редактором проболыпевицкой газеты на русском языке “Русские новости”, выходившей также в Париже. Вместе с своим другом Арсением Федоровичем Ступницким В.Татаринов был вхож тогда в советское посольство, вместе с А.Ф.Ступницким загонял на прием к совпослу Богомолову В.А. Маклакова. Так что мы с Татариновым через 25 лет “обменялись ролями”, но, “без лести преданным” и “своим в доску”, каким оказался В.Е.Татаринов в Париже, я никогда не был.

Итак, в Берлине 1922 года состоялось общее собрание “Союза писателей и журналистов”, на повестке которого стояло исключение сотрудников “Накануне”. Постоянным сотрудником “Накануне” я тогда не был, но так как я там напечатался, то счел для себя правильным прийти на собрание и быть тоже исключенным. Надо сказать, что в “Союзе” у меня было много друзей, которые моего исключения не хотели. За несколько дней до собрания ко мне пришел Юрий Офросимов и сказал примерно так: “Роман, многие не хотят тебя *исключать,* и мне сам Гессен сказал, чтобы я предложил тебе просто подать заявление о выходе. И все”.

Тут я должен сделать экскурс в область своей психологии и характера. Говорят, во мне есть некая закидчивость и “любовь к сражению”. Некоторые называли это даже “неистовостью”,

“неуемностью” и прочим. Это не совсем так. Я просто не люблю (и даже не терплю) *стадности.* И это с отроческих лет. Я всегда хотел и хочу по своей “по глупой волюшке пожить”, я — фанатик своей собственной свободы и посему в жизни часто шел “поверх барьеров”. Так, бросив все, я ушел в Ледяной поход. Так я ушел из Добровольческой армии. Так я отказался ехать в гражданскую войну из Германии и остался в ней дровосеком.

Так я написал “Ледяной поход”. Вот и тут я “закинулся”, если хотите. Я сказал Юрию, что с “черного хода” уходить из “Союза” не хочу. А поэтому я не только не подам никакого заявления о выходе, но приду на общее собрание и во всеуслышание попрошу об одновременном со мной исключении редактора “Руля” профессора А.Каминки за его торговлю с большевиками целлюлозой в Прибалтике и главного редактора “Руля” И.Б.Гессена за то, что он, как я слышал, посетил в Берлине приехавшего из Ленинграда представителя Госиздата коммуниста Илью Ионова, предлагая ему купить книги, изданные Гессеном в издательстве “Слово”. Кстати, через несколько лет, когда однажды К.Федин познакомил меня в Берлине с И.Ионовым, последний этот факт подтвердил. Юрий Офросимов был человек не только уж не закидчивый, но даже, к сожалению, несколько трусоватый. “Роман, — взмолился он, — ради Бога, ты же лезешь на рожон, на скандал. Зачем это нужно?” “Я не знаю, зачем и кому это нужно, — сказал я, — но так и передай Гессену, что я сделаю именно так, как я тебе сказал”. Юрий был удручен, но увидел, что меня тут не сломишь.

Так все и вышло. Я пришел на собрание и сказал все так, как говорил Юрию. Это произвело некое неудобное замешательство. Я видел, что председательствовавшему И.Б.Гессену это было неприятно, хоть он и улыбался, но никаких опровержений не последовало. Разумеется, всех сотрудников “Накануне” исключили (и правильно, по-моему, сделали).

После отрывка из повести “В рассеянии сущие” я в “Накануне” ничего не помещал. Но когда Алексей Толстой уехал в Советскую Россию насовсем, мне предложили редактировать “Литературное приложение” и для сего пригласили зайти в редакцию. В письме ко мне от 30 марта 1924 года из Праги Марина Цветаева писала: “Из России я выехала 29-го апреля 1922 г. Скучаю ли по ней? *Нет* (курсив М.Цветаевой. — Р.Г.). Совсем не хочу назад<…> Редактируете “Накануне”? Не понимаю, но принимаю, потому что Вы хороший и дурного сделать не можете”. Марина не могла тогда, конечно, даже представить себе, какую “дурную”, страшную “смену вех” придется проделать ей вместе с мужем С.Эфроном и чем они оба

за это заплатят. Расстрелом и самоубийством.

Редакция “Накануне” занимала обширное помещение. Меня приняли С.С.Лукьянов и Г.Л. Кирдецов. Профессор Лукьянов — сын бывшего обер-прокурора Святейшего синода. Человек воспитанный, довольно молодой, среднего роста, лицо как лицо, ничего примечательного. Но Г.А. Кирдецов мне сразу не понравился. Он был уже в годах, отталкивающей внешности (Кирдецов — это был, кажется, псевдоним). По всем своим манерам он был типичнейший, видавший всякие виды и во всех водах мытый *газетчик*. В эмиграции он издал книгу “У ворот Петрограда” (1919–1920) — о наступлении генерала Юденича на Петроград. Потом болтался где-то в Прибалтике, ни с какими сменовеховскими писаниями никогда не выступал и вдруг… оказался в редакторском кресле “Накануне”? Кончил тоже, кажется, вполне благополучно, уехал в Москву, где работал в Наркоминделе.

На неблагообразном лице Кирдецова неизменно плавала какая-то непонятная и неприятная ухмылка. В разговоре (именно с этой ухмылкой) он сказал мне, что на “Литературном приложении” указания, что я редактор, не будет. “Вы понимаете, конечно, что у вас такого имени, как у Толстого, нет”. — “Разумеется. Я ни к какой рекламе и не стремлюсь”.

Так я начал работу редактора “Литературного приложения”. Это было в июле 1923 года и длилось до июня 1924 года, когда “Накануне” закрылась “за ненадобностью”. В “Литературном приложении” сотрудничали многие писатели из Советской России: Михаил Булгаков, А. Мариенгоф, Б.Пильняк, Н.Никитин, Осип Мандельштам, Юрий Слезкин, К. фе-дин, Б.Катаев, М.Волошин, Всев. Иванов, Вл. Лидин, Всев. Рож-дественский, П.Орешин, А.Неверов, Корней Чуковский, Л.Никулин, Э.Голлербах и другие. Сотрудничал живший в Берлине А.Кусиков. Из эмигрантской молодежи я привлек своих друзей Юлия Марголина (в будущем автора замечательной книги “Путешествие в страну зека”) и поэта Георгия Венуса (вернувшегося с семьей в СССР и расстрелянного через несколько лет), кроме них — поэта Вадима Андреева (сына Леонида Андреева), написавшего об отце хорошую книгу, поэтессу Анну Присманову и других. Некоторое время сотрудничал и мой друг Вл. Корвин-Пиотровский.

К сменовеховцам-политикам я отношения не имел. Они вели газету, я же приезжал редактировать и верстать свое “Литературное приложение”. Но всех редакторов газеты я узнал. Юрия Вениаминовича Ключникова я встречал несколько раз, помню, говорили мы о его пьесе “Единый куст”, которую он написал в Париже. Довольно высокий, плотный, с темными

волосами, зачесанными назад, с лицом правильным, но ничем в глаза не бросающимся, с тихой спокойной речью, Ключников не был таким ярким человеком, как, например, Степун, Толстой, Маклаков, но был, конечно, “личностью”. Он был умен, образован; вскоре он уехал из Берлина. Как я уже упоминал, его взял Г.Чичерин на Генуэзскую конференцию в качестве “советника” (разумеется — “статиста для пропаганды” и, вероятно, по чекистскому рецепту, и для “усыпления” бдительности самого Ключникова). Затем он уехал в РСФСР и погиб в “ежовшину”.

Сергея Сергеевича Лукьянова я встречал не часто. Легко писавший, образованный, владевший иностранными языками — по отъезде Ключникова он фактически стал “передовиком” газеты, пиша об исторически неизбежном переходе большевицкой диктатуры к формам “трудовой демократии”. Судьба его сложилась страшно. По закрытии “Накануне” он с женой переехал в Париж, откуда при каких-то странных обстоятельствах он был выслан французской полицией (как мне говорили, даже будто бы с применением “наручников”) в Советскую Россию, В Москве на некоторое время стал редактором “Журналь де Моску”, а потом — Ухт-Печерский концлагерь, где его забили насмерть на допросах. В лагере же оказалась и его эффектная красивая жена.

Г.Л. Кирдецова я почти не встречал, никаких дел у меня к нему не было. Ю.Потехина встречал на его докладах о поездках в Москву и о встречах с советскими писателями. Потехин не был яркой фигурой и, как все политики-сменовеховцы, скоро уехал в Москву. Что с ним стало — Бог весть. Был в газете репортер Вольский, который тоже уехал в Советскую Россию и там был расстрелян как “агент румынской сигуранцы”. Была ли тут хоть доля правды или это была “легенда” ОГПУ? Уехал скоро в Россию и другой репортер — Шенфельд (Россов). Мельком встречал профессора С.Чахотина — человека архикнижного, странноватого, не от мира сего, старого приятеля Федора Степуна. Он тоже вернулся в Советскую Россию. Что с ним стало — не ведаю. Кажется, неожиданно дожил до старости.

Б.В. Дюшен

Но кого я довольно часто встречал и кто был человек яркий и запоминающийся — это Борис Вячеславович Дюшен. Хорошего роста, хорошо скроенный, с правильными чертами лицами, лишенного всякой растительности, нерусского, а скорее французского типа (он и был французского происхождения). Очень разговорчивый, веселый, ко всем благожелательный, всем готовый помочь, с ласковой улыбкой вне времени и пространства, Дюшен был приятным человеком. И при всем том мне всегда казалось, что он — “нарисованная дверь”, по выражению Зинаиды Гиппиус, примененному к И.И. Фондаминскому-Бунакову. Дверь-то *нарисована,* поэтому и войти в нее нельзя. Было в Дюшене что-то оптимистически-авантюристическое. Казалось, при надобности Борис Вячеславович ни перед чем не остановится, через все перешагнет.

Биография у Б.В.Дюшена была яркая. Был он сыном военного, был в эсерах, даже, кажется, в бомбистах, по специальности инженер, был фронтовым офицером, научным работником, лектором, автором многих научно-популярных книг, был журналистом, членом Учредительного собрания, комиссаром Временного правительства в Ярославле. Во время ярославского восстания 1918 года, к которому был причастен Б.Савинков, Дюшен был восставшими восстановлен в должности комиссара Временного правительства и принял в восстании самое активное участие. Подавившие восстание ворвавшиеся в Ярославль большевики за голову Дюшена назначили какую-то солидную сумму. Но чудом Борису Вячеславовичу удалось спастись. Как-то у него за чайным столом он рассказал мне и А.С.Ященко, как он спасся. Придя домой, я тогда же это записал.

Рассказывал Дюшен так: “До последнего я оставался в губернаторском доме (обычная резиденция комиссаров Временного правительства в губернских городах). Когда в город уж ворвались большевицкие банды, я бросил все, взял револьвер и вышел на Пушкинский бульвар. Было раннее утро. На окраине шла стрельба. На бульваре ни души. Я шел с револьвером по бульвару. Потом сел на скамейку и думаю: сейчас кончать или немножко подождать? Но может быть потому, что утро было чудесное, я решил подождать. А стрельба все близилась с окраин к центру. Взглянул я на небо, на револьвер и вдруг почувствовал, что смертельно устал от всей этой ерунды, называемой жизнью. Встал. Оставалось немножко приготовиться. И вдруг сзади услышал шаги и странное бормотание. Оглянулся: прямо на меня

идет человек. А стрельба с окраин все близится, разгорается. Человек подходит, и я вижу, это мой друг, рабочий, и совершенно пьяный.

Он говорит:

Ты что тут делаешь? — И, увидав у меня револьвер: — В каюк, что ль, сыграть хочешь? Да, думаю, — говорю. Брось, идем со мной, я тебя схороню.

Я пошел за ним молча, терять мне было нечего — застрелиться всегда успею. Он качается от опьяненья, а я от усталости. Дошли до базарной площади. Никого нет. Но на площадь уже падают снаряды. Посреди же площади стоит странная какая-то, как “китайская”, лавочка. Довел он меня до нее и говорит: “Лезь на потолок и лежи тихо, когда надо, я приду за тобой”. Я полез на эти самые полати, я он — слышу — ушел.

Лежать на слегах неудобно. Ну да и на бульваре валяться трупом не Бог весть какое удобство. Лежу и даже в щель смотрю, как в обратную сторону уходит мой приятель. А разрывы снарядов на площади все учащаются. И вижу вдруг столб дыма, пропал мой друг, дым прошел, а он лежит на земле, не двигается. Пофилософствовал я тут, но делать нечего — остается только лежать.

Лежал я сорок восемь часов, а на сорок девятом стало совершенно невмочь. Чувствую — сдохну. Пусть уж лучше на улице, чем на этих самых полатях. И вылез я ночью, народу никого. Подошел к какой-то стеклянной двери, посмотрел на себя — не узнаю совершенно: стоит передо мной старик лет эдак на двести. Ну, думаю, стало быть, меня и на свете нет. Так и пошел из города. У плаката с оттиском моего изображения и наградой за поимку остановился. Ценили меня дорого! А я шел и шел, ушел за город, шел по лесу, всякую гадость ел, грибы, землянику. Потом на одной маленькой станции, которую хорошо знал, прыгнул в поезд и поехал…”

Так же, как и Ключников, Б.В.Дюшен бежал из Ярославля, кажется, в Казань, оттуда в Сибирь, а оттуда в Европу, но в этом я не уверен. В Европе сначала он жил в Прибалтике, там и сошелся с Г.Л.Кирдецовым, потом — в Берлине, где в издательстве “Знание” выпустил ряд научно-популярных книг. В “Накануне”, думаю, привлек Дюшена его старый знакомый по Ярославлю Ю.В.Ключников.

Квартира у Дюшена была большая, хорошо обставленная, жили они не стесняясь, часто устраивали званые чаи и обеды. Жена его Фаина (забыл отчество, кажется, Александровна) была очень милая женщина, несложная, дочь сельского священника — обожала своего Борю.

Помню, как-то Борис Вячеславович пригласил на вечер, на чтение Анатолия Каменского, много писательского народа. Я пришел с некоторым опозданием. Были Ященко, Корвин-Пиотровский, Наталия Потапенко, Нина Петровская, инженер Сергей Зелигер, кто-то еще. И, конечно, сам Анатолий Каменский. Но что меня удивило, были еще два господина, и, знакомя с ними, Дюшен сказал: “Знакомьтесь, пожалуйста — советник посольства Братман-Бродовский и второй секретарь” (он назвал фамилию, но я ее запамятовал). Эти сотрудники посольства сидели по сторонам “гвоздя вечера” Анатолия Каменского, с которым я был уже знаком. Люди из посольства были оба польские евреи, с той только разницей, что секретарь — мефистофельски черный — говорил хорошо по-русски, лишь с мягким польским “л”, а советник посольства Братман-Бродовский говорил как-то кряхтя, плоховато, с сильным акцентом. И вообще производил отвратное впечатление: неуклюжий, рыжий, громоздкий. В ежовщину Сталин расстрелял его так же, как большинство из окружения берлинского полпреда Н.Н.Крестинского.

За чайным столом сидевшая со мной Нина Петровская (с ней в Берлине я дружил) шепнула, что у А.Каменского в прежней Москве в писательских кругах было прозвище: “Калмыцкая Богородица”. Не знаю почему, но прозвище было великолепно и очень ему подходило. Как я узнал на этом вечере, Анатолий Каменский решил, оказывается, возвращаться в РСФСР, и я понял тогда, что у Дюшена происходят явные “смотрины” его полпредскими чиновниками, перед которыми, надо сказать, Каменский глупо и дико лебезил. После вкушения всяческих “приятностей” за обильным чайным столом (Дюшен принимал всегда широко) Каменский стал читать какую-то свою новую пьесу. Она была так бездарна, что я даже не запомнил, о чем была речь. Но не в таланте суть. Каменский действительно скоро уехал в Москву. Конечно, автор “Леды” никак не был нужен “социалистической литературе”, но большевики подметали всех более или менее видных писателей из эмиграции. Мне рассказывали, что спервоначала где-то в витрине на Тверской была даже вы- ставлена большая фотография Каменского с подписью, что это автор известной пьесы “Леда”, вся “известность” которой состояла в том, что игравшая главную роль Леды актриса Шатрова (жена Каменского) появлялась на сцене в чем мать родила. Тогда, в 1900-х годах, это был, конечно, невыносимый “модерн”, страшный “прогресс”, “взрыв всех традиций”, “пощечина общественному вкусу”. По теперешним понятиям это — невиннейшая невинность. Нас уже приучили к

куда более увесистым “пощечинам”…

Анатолий Каменский был мелкий писатель и мелкий человек. До этого я встретился с ним на обеде-приеме Маяковского неким Женей Манделем и его женой (они вернулись в РСФСР и где-то там сгинули). И я был свидетелем, как Каменский подхалимствовал перед Маяковским. Он говорил: “Владимир Владимирович, ведь такого знатока русского языка у нас кроме вас нет!” Подхалимаж был примитивно-глуп, ибо никаким “знатоком русского языка” Маяковский никогда не был, да и не выдавал себя за такового. Он всячески деформировал язык — да, иногда удачно, иногда неудачно, безвкусно. На подхалимаж Каменского Маяковский отвечал каким-то неопределенным мычанием.

Позже, припоминая многое, мне казалось, что в отъезде Каменского в Москву помог ему Б.В. Дюшен. Утвердился я в этом, когда много лет спустя А.С.Ященко как-то, посмеиваясь, сказал мне, что А.Дроздов и Глеб Алексеев так скорострельно и тайно от всех уехали в РСФСР “с помощью Дюшена”. Причем (как я уже говорил) белобандита А.Дроздова сразу ввели в редколлегию какого-то толстого советского журнала, а белобандиту Глебу Алексееву в первые же дни в Москве Союз писателей устроил литературный вечер под председательством старейшего писателя Ивана Новикова. Позднее приезжавшие в Берлин Федин и Груздев предупредили меня, чтоб с Алексеевым в переписке я был осторожен, ибо он “плохо пахнет”, “дружит” с чекистом Яковом Савловичем Аграновым. Борис Суварин, опубликовавший по-французски свои “Последние беседы с Бабелем”, пишет, что на вопрос, кто такой Агранов, Бабель ответил: “Блестящая карьера! У него полная власть в районе Москвы, охраняет безопасность правительства. Это — кое-что”! Разумеется! Даже больше чем “кое-что!” Но когда до этого *“кое-что”* дотянулись Ежовы “рукавицы” и Агранова “шлепнули”, очередь пришла и за его услужающим. Только чекисты, пришедшие за Глебом Алексеевым, — проиграли. Алексеев успел выброситься из окна и разбился насмерть. Для этого стоило “ворочаться на дорогую родину”.

Рената из “Огненного ангела”

Сотрудничала у меня в “Литературном приложении” Нина Ивановна Петровская — Рената из “Огненного ангела” Валерия Брюсова и его долголетняя любовь. Как Рената Н.И. вошла в символистскую литературу. Но между символистскими временами и “накануневскими” — разверстая пропасть. В прошлом Н.И., вероятно, была привлекательна. Следы былой (пусть не красоты, но) привлекательности в ее облике были. В письмах 1904 года А.Блок писал о ней: “Очень мила, довольно умная”. Но в “накануневские” времена это “мила” к Нине Ивановне уже, разумеется, не подходило.

Лет под пятьдесят, небольшого роста, хромая, с лицом, намакиированным всяческими красками свыше божеской меры, как для выхода на большую сцену, Нина Ивановна, правду говоря, производила страшноватое впечатление. Это была женщина очень несчастная и больная. Алкоголичка, Н.И. почти всегда была чуть-чуть во хмелю, одета бедно, но с попыткой претензии — всегда черная шляпа с сногсшибательно широкими полями, как абажур. Острая на язык. Я с Н.И. дружил.

Настоящей писательницей Н.И. никогда не была, а сейчас уж и вовсе мало что могла написать. Но хорошо зная итальянский (всю войну прожила в Италии), Н.И. переводила какие-то короткие итальянские новеллы и снабжала ими “Литературное приложение”. Печатал я их (да и Толстой до меня) не из-за их качества, а чтобы как-то поддержать Н.И.: грошовая построчная плата была ее единственным заработком. А она была не одна. Везде и всегда, неразлучно, Н.И. появлялась вместе с своей сестрой Надей, производившей тяжелое впечатление: крошечного роста, с туповатым выражением глаз, с какими-то словно смазанными чертами лица, Надя всегда ходила под руку с Ниной. Ходасевич в “Некрополе” пишет о Наде: “Существо недоразвитое умственно и физически (с ней случилось несчастье в детстве: ее обварили)<…> Идиоткой она не была, но отличалась какой-то предельной тихостью, безответностью, была жалка нестерпимо и предана старшей сестре до полного забвения”. Думаю, у Нины Ивановны могла быть и боязнь пространства, и одной ей было трудно выходить, да и свою ущербную сестру одну оставить дома было нельзя. Так они и появлялись всегда вместе.

По роману “Огненный ангел” Нина была — Ренатой, Брюсов — Рупрехтом, а Андрей Белый — графом Генрихом. В те баснословные года, когда московские декаденты-символисты тщились превратить свои жизни в “поэмы”, в “незабываемые

миги”, в “трепет без конца”, Нина Петровская в Политехническом музее в упор из браунинга стреляла в Андрея Белого за то, что он “бежал от соблазна” ее “слишком земной” любви. К ее счастью (и к счастью Белого), браунинг дал осечку. А после разрыва с Белым Нина сошлась с самим “магом” декадентов, с занимавшимся “черной магией”, оккультизмом и всякой “дьявольщиной” Валерием Брюсовым (“Берем мы миги, их губя”). Оба пристрастились к морфию (“Где же мы — на страстном ложе / Иль на смертном колесе”). Помню, как-то Нина Ивановна в неком подпитии рассказала, как они с Брюсовым были где-то за границей (в Париже, по-моему) и как “весь день, не выходя из номера гостиницы, он в одних подштанниках по номеру со шприцем бегал”. Но все имеет свой конец. И “миги” кончились (“Быть может, все в жизни лишь средство / Для ярко-певучих стихов”). Брюсов довольно грубо бросил Нину, отослав из Москвы за границу. Нина оказалась “на смертном колесе”. Здесь она пыталась покончить самоубийством. Ходасевич говорит— она “выбросилась из окна” в Париже. Но Толстой рассказывал иначе, будто Нина Ивановна бросилась под автомобиль в Мюнхене. Как бы там ни было, но попытка самоубийства сделала Н.И. калекой на всю жизнь: она осталась хромой.

Война застала ее в Риме в ужасающей нищете: просила милостыню, голодала, пила, а порой “доходила до очень глубоких степеней падения” (по Ходасевичу). Алексей Толстой не был густо населен добротой ни к ближнему, ни к дальнему. На тех и других ему было плевать в высокой степени. Но справедливости ради надо сказать: это он вытащил Нину в 1922 году в Берлин и устроил ее сотрудничество в “Накануне”. Думаю, из-за того, что она несомненно была неким “живым памятником символизма”. Для Нины Берлин был “выходом” из отчаяния.

Я к Нине Ивановне относился хорошо, и мы довольно часто встречались в компании — она (с Надей, конечно), художник Н.В.Зарецкий, поэт Корвин-Пиотровский, я. Всегда, разумеется, с “возлиянием”. Без этого встреч с Ниной Ивановной, разумеется, и быть не могло. Да и все мы — надо признаться — выпивали тогда неплохо.

Рассказы Н.И. о баснословных московских годах символизма были красочны. Но будучи человеком “у последней черты”, Нина Ивановна постных разговоров не любила. Они ей были пресны. Она любила острые блюда. И рассказы ее всегда были рискованного содержания — эдакая “обнаженность” прозы. Поэтому полностью многое предать гласности не решаюсь. Но кое-что расскажу. Помню, как после моего доклада в узком литературном кружке о поэзии Ходасевича (меня тогда занимал

некий эротический подход к искусству) Нина Ивановна пришла просто в полный восторг. “Роман Борисович, да вы даже не представляете, как вы попали в самую точку! Ведь я же Владислава знаю как голенького!” И дальше шел довольно нецензурный рассказ о Ходасевиче и его первой жене художнице с каким-то странным наименованием — Коза Роза (что-то в этом роде)[17].

Но прочтя мою брошюру об Андрее Белом, о бесполости его творчества, Нина Ивановна *с* таким же азартом стала мне возражать. “Нет, нет, это не то, у вас выходит, что Белый— какая-то полная бесполость. А на самом деле все обстояло не совсем так. Уж мне-то поверьте, я эту тему лучше вас знаю”, — с хриплым смехом (она много курила) говорила Н.И. — “Ну, конечно, Нина Ивановна, тут вам и карты в руки”. — “Ну так вот я вам и говорю: он вовсе был не беспол… Но *это* ему было не так нужно, как другим… Он прекрасно мог обходиться и *без этого…”* — “Ну, стало быть, вы подтверждаете мою тезу?” — “Подтверждаю-то подтверждаю, да не совсем”. — “Да я и не утверждаю, что "совсем"…”

Как-то случайно заговорили о Яшенко, и Нина Ивановна начала хохотать, говоря: “А вы знаете, что он золотой? Нет?” — “Как так?” — “Да вот так! Я же видела его нагишом, ну совершенно нагишом — и он весь в золотом пуху. А на одной ноге у него большой палец стоит вверх…” — “Да откуда у вас эдакая осведомленность об Александре Семеновиче?” И Нина Ивановна рассказала, что на каком-то таком символистском вечере в Москве, где читались стихи, много пилось, много говорилось о всяких “чарах”, “мигах”, “одержимости”, “оргиазмах”, когда вечер был в полном разгаре, далеко за полночь, Брюсов предложил потушить электричество и всем раздеться. А через десять минут — зажечь. Согласились. Электричество потушили. И через десять минут зажгли. Что же все увидели? Никто, оказывается, не разделся, кроме Яшенко. Он один стоял голый. Поднялся общий хохот, выкрики. И страшно смущенный Ященко начал торопливо одеваться, прикрывая свою адамову наготу. Тут-то Нина Ивановна, оказывается, и разглядела, что Ященко “золотой” и большой палец на одной ноге стоит вверх.

Как-то при встрече с Яшенко я рассказал ему про этот эпизод, спросив, правда ли, что он золотой? По смущению Яшенко я увидел, что рассказ Нины Ивановны был, конечно, сущей правдой. Но Ященко все-таки пробормотал: — “Что вы слушаете эту истеричку, врет она все, ничего подобного никогда не было…” Видно, профессору международного права было неудобно

вспоминать свои “шалости амура”.

Какие-то чудовищные вещи Нина Ивановна рассказывала про Бальмонта, которого хорошо знала. Рассказывала, что когда она была женой С.А. Соколова-Кречетова, ведшего издательство “Скорпион”, у них часто собирались братья-писатели, художники, актеры, все, кто были близки к тогдашнему декадентству и символизму. И вот раз, за большим пиршеством, она, хозяйка дома, сидела за столом рядом с Бальмонтом. Компания была шумная, большая, ели, пили, говорили, кричали. Потом Нина Ивановна, как хозяйка, встала пойти на кухню о чем-то распорядиться. А в кухне кухарка так вдруг и ахнула: “"Барыня, говорит, да что это вы вся мокрая…" Взглянула я на свое платье, и вижу, действительно, что с одной стороны (с той, с которой сидел Бальмонт) я вся мокрая. Пришлось идти переодеваться”. “Так что же он сделал?”, — не совсем догадался я. “Как что? — недоумевающе проговорила Нина Ивановна, — обмочил меня всю… Нарочно, конечно…” Я выразил свое крайнее удивление, как это он так словчился, а главное, зачем? “Зачем? — переспросила Нина Ивановна, — вы не знаете Бальмонта, в другой раз было хуже. Звонит как-то Бальмонт, говорит, хочет зайти. Я ему говорю, что Сергея Алексеевича нет. А он отвечает, что ему его и не надо, поэт хочет видеть меня и читать мне свои стихи… Ну, говорю, приходите. Пришел он, долго сидел, все читал свои стихи, потом позвала меня прислуга, я извинилась, вышла. Возвращаюсь в гостиную минут через пять, Бальмонта нет. Я удивилась. И вдруг вижу — на ковре посредине гостиной оставлена визитная карточка…” — “Визитная карточка?” — “Ах, Господи, какой вы, Гуль, непонятливый… Оставил на ковре свои… ну., фекальные массы…” — “Да что вы, Нина Ивановна! Ну, стало быть, он просто ненормальный, душевно больной?” — “Ничего не ненормальный… Поэт… Декадент…” — пожала плечами Нина Ивановна.

У Марины Цветаевой есть “Слово о Бальмонте”: “Бальмонт парит в высотах и не желает спускаться, или не желает, или не может? Я бы сказала, что земля под ногами Бальмонта всегда приподнята, то есть он ходит уже по первому низкому небу земли. Когда Бальмонт в комнате, в комнате — страшно…”

Марина Цветаева любила встать на высочайшие котурны и с них все видела сюрреалистичным. Помню, как Алексей Толстой говорил о Бальмонте: “Да он же сумасшедший, он свою жену по голому животу палкой бьет!” Не знаю, был ли это очередной “анекдот” Толстого или какая-то правда о “декадентстве” Бальмонта? Но как бы то ни было, Бальмонт полноправно вошел в русскую поэзию, заняв в ней свое место:

Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце,
А если день погас,
Я буду петь… Я буду петь о Солнце
В предсмертный час!

Несколько раз Нина Ивановна говорила, что хочет прийти к нам, познакомиться с моей матерью. Я не очень спешил с приглашением, ибо понимал, что моя мать и Нина Ивановна — люди совершенно разных миров. Но Н.И. так настаивала, что наконец я ее пригласил. Она пришла, конечно, вместе с молчаливым уродцем Надей. Пили чай. Для Нины Ивановны я приготовил вино. Но визит был явно неудачен. У мамы с Ниной Ивановной никакого “общего языка” не нашлось. И когда Н.И. и Надя ушли, мама только сказала: “Какая-то странная и какая-то несчастная женщина…”

Нина Ивановна и была — странная и несчастная. Помню, как о смерти в Москве Валерия Брюсова первым сказал Нине Ивановне я. Она принесла очередную итальянскую новеллу для “Литературного приложения”. Я сказал ей, что телеграф сообщил, что умер Брюсов, и показал только что сверстанное “Литературное приложение” с большим портретом В.Брюсова на обложке. Нина Ивановна как-то потемнела в лице, ничего не сказав, взяла “Литературное приложение” и долго-долго (как застыв) смотрела на Брюсова, потом тихо, даже будто с трудом, произнесла почему-то: “Да… Это он…”. И отложила газету. Мне всегда казалось, что бедная Рената все жизнь любила Рупрехта, который жестоко разбил ее жизнь.

Когда “Накануне” кончилась, Нине Ивановне не на что стало жить, и она решилась на последнее: ехать в Париж в надежде, что ей поможет там глава Нансеновского комитета Василий Алексеевич Маклаков и старый ее друг Владислав Ходасевич. Дело в том, что в дни молодости Нины Ивановны Маклаков (великий женолюб) без памяти был в нее влюблен и, как мне говорили сведущие люди, готов был будто бы даже на ней жениться. Но Нина Ивановна, жившая среди декадентов и создававшая из своей жизни “трепетную поэму” и “творимую легенду”, блестящего Маклакова, тогда уже знаменитого адвоката, — отвергла. Он для нее был слишком “реален”. Теперь же, через много десятилетий, Нина Ивановна (с Надей) уехала в Париж, надеясь на его помощь. Знаю, что в Париже она сразу же пришла в “офис” Маклакова, но, увы, Василий Алексеевич был только “формален”, что-то посоветовал, куда-то направил, и все. Ходасевич же, сам перебивавшийся с хлеба на квас литературным заработком, тоже ничем существенным помочь не мог. И в Париже, кроме нищеты, несчастную Ренату скоро постигло самое

большое горе; умерла ее сестра-уродец Надя. Мне говорили близкие к Н.И. люди, что предела ее отчаянию не было. Когда сестра лежала в гробу, безумная Нина бросалась к ней, покрывая ее лицо и руки поцелуями, крича какие-то сумасшедшие слова: “Надя, ты помнишь минуты нашего наслаждения?!.. Надя, не оставляй меня!..” В припадке отчаяния Нина Ивановна ковыряла иглой руку мертвой Нади и потом свою, хотела отравиться “трупным ядом”. Но из этого ничего не вышло. И, похоронив последнюю близкую ей на земле душу, Нина Ивановна покончила с собой, открыв газовые краны в своем убогом жилище. Таков был конец жизни-“поэмы” Ренаты из “Огненного ангела”. Это было 23 февраля 1928 года.

Н. В. Зарецкий

Художник Николай Васильевич Зарецкий был другим сотрудником “Литературного приложения”, с которым я близко сошелся. Привела его ко мне Нина Ивановна, подружившаяся с ним на той же (более-менее) почве Бахуса. Но Зарецкий никаким алкоголиком не был, был вообще человеком совсем другой породы и из своей жизни “поэм” не творил. Всепоглощающей страстью его была русская старина: фарфор, хрусталь, гравюры, картины, Ему бы жить в XVIII веке (в начале).

Бедная (но большая) комната Зарецкого была вся заставлена, как у антиквара: на окнах, на столах, на полках по стенам — козловские, тереховские, поповские, гарднеровские, кузнецовские чашки, блюдца, тарелки, вазы, ендовы, граненый хрусталь, графин с сидящим мужичком на серебряной пробке. Все — только русское. И все это Николай Васильевич вывез в эвакуацию, когда люди спасали жен, детей, отцов, матерей,

Я такой страсти *к вещам* никогда не понимал. Лишен почти вовсе. Но в Н.В. ее ценил, ибо видел, что это подлинная *страсть,* которой он *живет.* В Берлине Н.В. здорово бедствовал, но ему и в голову не могло прийти продать что-нибудь из его старины, а продать это было нетрудно.

Вот этому графинчику с мужичком, который тебе нравится, около двухсот лет. Ну вот и продай его, Николай Васильевич.

Да ты што? А как же я буду без него? Не могу так же, как и без флигель-адъютанта (он указывает на висящий на стене портрет флигель-адъютанта императора Николая I Ростовцева). Я нашел его в гражданскую войну в Екатеринодаре на толкучке. Торговал три дня. На последние колокольчики купил. Домой бежал как помешанный от радости. Ты взгляни, что за лицо? А улыбка? Какова улыбка? А рука? Рука? И кисть-то какая! Академика портретной живописи Будкина— знаменитая кисть!

Как художник Н.В. был малопродуктивен, больше все предавался “творческой лени”, к тому ж никаких “деляческих” талантов у него не было. Он написал мой портрет, но, по-моему, это больше был Баратынский, иль Батюшков, иль Дельвиг, чем я. Но все же Н.В. был подлинным художником и кроме искусства у него ничего в мире не было. В Берлине Н.В. был председателем “Союза русских художников”.

В молодости был он корнетом Иркутского драгунского (тогда — еще не гусарского), полка, был адъютантом командира бригады генерала Ренненкампфа. В 1901 году полк стоял на берегу Березины вблизи мостов, по которым в 1812 году

переправлялся отступавший из России Наполеон. По инициативе корнета Н.В.Зарецкого на берегу Березины были тогда поставлены два каменных монумента, отражавших это событие, оба работы Н.В.Зарецкого. Средства на их постановку дал местный помещик И.Х. Колодеев.

По своей природе Н.В. был человек не военный, а истинный художник. Он вскоре и оставил военную службу, поступив в Петербурге в школу профессора Императорской академии художеств Я.Ф.Ционглинского, а позже перешел к профессору Д.Н. Кардовскому. Кстати, в Берлине Н.В, навешали старые друзья. Так, у него я познакомился с известным искусствоведом Яремичем, который привез Н.В. письмо от Д.Н.Кардовского. Вот отрывок из этого письма: “Дорогой Николай Васильевич, начну с восторга по поводу Ваших произведений. Вы стали настоящим мастером, сознательно, со вкусом и подлинно творчески создающим и ищущим форму. Браво! Правда, Ваш “уклон” иногда не “моего” романа, но зато “Домик в Коломне”, театральные костюмы и особенно гусар из “Пиковой дамы” (каков киверок! Узнаю товарища по любви к военному костюму, по любви к его поэзии!) — ну как же не быть в восторге!..”

Был Н.В. “мирискусником”, но не из крупных. Все же у меня остались кое-какие его прелестные вещи: цикл в восемь больших акварелей “Петрушка” — народно-лубочно-русский. Я подарил “Петрушку” в русский ценный музей моего друга Томаса Витни (Коннектикут), чтоб не пропали после моей смерти; были эскизы костюмов к персонажам “Пиковой дамы” (гуашь), небольшие акварели — “Пушкин в Тригорском” и “Тройка”. Николаю Васильевичу надо бы жить в пушкинские, а не в наши дни. В “Литературном приложении” я давал ему подработать отзывами о художественных книгах, о книгах по искусству.

После конца “Накануне” Н.В. переехал в Прагу, где ему жилось легче. В Праге он организовал ряд художественных выставок — выставку, посвященную Пушкину, под названием “Русское общество эпохи Пушкина” и выставку рисунков русских писателей. Первая выставка была приобретена президентом Чехословакии Масариком и хранилась в его собственной библиотеке. О второй замечательной выставке “Рисунки русских писателей”, где было двести сорок восемь репродукций рисунков тридцати русских писателей, восторженно отозвался такой знаток русской литературы, как профессор Дмитрий Иванович Чижевский. Скончался Н.В. после Второй мировой войны во Франции, недалеко от Парижа, в русском старческом доме в весьма преклонном возрасте.

У нас в Берлине Н.В. бывал часто, обычно — к обеду. Вся

наша семья его любила. Но особенно хорошо к Н.В. относилась моя жена Ольга Андреевна, которая меня иногда журила, что я отношусь “к старику” не так интегрально, как он относится к нам. Жене Н.В даже как-то подарил самим им прекрасно обрамленные две гравюры ее предков — графа Ф.П.Толстого и графа А.К.Толстого. Эти гравюры так и висят до сих пор над моим письменным столом. Журения жены были, по-моему, не верны. Я Н.В. и ценил как художника, и любил как благороднейшего, чистого и оченно русского человека.

Моя жена Ольга Андреевна

Мы поженились 27 июля 1926 года в Берлине, когда “Накануне” уже приказала долго жить и я работал в немецком издательстве “Таурус”. С Олечкой мы счастливо прожили 50 лет (двух месяцев не дотянули до золотой свадьбы). Пиша об Олечке, мне, пожалуй, легче будет рассказать с конца нашей жизни, с ее смерти, ибо умерла она всего три года тому назад, оставив меня бобылем в мире. После ее смерти я — чтоб не забыть — наговорил на кассету все о ее предсмертной болезни и смерти. С этого я и начну. Приведу запись так, как она есть, со всеми ее длиннотами и отступлениями:

“Я хочу записать на этой ленте все, о болезни и смерти Олечки. Хочу вспомнить все подробности. Это было 22 февраля 1976 года. Мы встали как обычно. Рано Олечка вставать уже не могла. Из-за высокого давления крови доктор ей не советовал. Вставали мы так часов в восемь.

Встав, я пошел в нашу так называемую “ливинг-рум”, окна которой выходят на 113-ю улицу Вест. Стоя у окна, я увидел человека, ведшего на леске собаку. Так как на нашей улице мы с Олечкой всех собак знали, и Олечка и я любили животных, я кричу Олечке, которая шла по коридору: “Олечка, посмотри, какая новая собака хорошая!” Она заспешила к окну, но у самого окна, на ковре, вдруг упала. Я схватил ее, поднял. Я не придал этому особого значения, потому что у Олечки в последнее время от артрита ослабели ноги.

Когда я ее поднял, мы пошли на кухню завтракать. И все было как всегда. Позавтракали. Олечка говорит: “Ну, теперь я пойду посижу на своем обычном месте”. Обычным местом было большое кресло в этой же “ливингрум” (гостиная, что ли, по-русски говоря). Но до кресла Олечка почему-то не дошла, а села на маленький, не особенно удобный диван, где обычно никогда не сидела. А я пошел в свою рабочую комнату. Вдруг слышу звук падения тела, Я бросился в гостиную, вижу, Олечка лежит на полу. Говорю: “Что с тобой, Олечка?!” — и пытаюсь ее поднять. Она отвечает: “Нет, нет не трогай меня. Я сама себе ставлю диагноз. У меня или опухоль в мозгу, или паралич левой стороны”. Я говорю: “Что ты, Олечка, я сейчас тебя подниму”. — “Нет, нет, не трогай, ты меня все равно не поднимешь!” Я понимал, что Олечка боится за мое сердце (после инфаркта мне запретили поднимать тяжелое). Я все-таки пытался ее поднять, но не было никаких сил, не мог. Теперь-то я понимаю, что это потому, что у нее уже была парализована левая сторона. Я

бросился к телефону, вызвать нашего “суперинтендента”, мистера Лестажа, но никто не ответил. Я позвонил к русским друзьям — Е.Г.Карюк, которая жила на шестом этаже. У нее квартировал американец-студент. Я думал, он поможет, но тоже никто не ответил. Я был в отчаянии. Кого позвать? Не могу же я оставить Олечку на полу. И решил позвонить в аптеку нашим приятелям-фармацевтам, пакистанцам. Позвонил, к телефону подошел Рафик Чодри, который к нам очень хорошо относился. Он сказал: “Через три минуты я буду у вас”.

Действительно, через три-четыре минуты он был у нас (аптека — наискось от нашего дома). Он стал поднимать Олечку. Я хотел ему помочь, но он говорит: “Нет, мистер Гуль, не мешайте мне, не мешайте, я лучше один”. Он приподнял Олечку, обхватил ее, так сказать, поперек живота и понес в ее комнату. Я видел, как ему это было тяжело, но он донес ее до кровати. Мы уложили Олечку. Рафик сказал, что если только что-нибудь нужно — звонить ему, и он сейчас же придет.

С Олечкой я разговаривал, спрашивал, как она себя чувствует? Она говорила, слегка, может быть, запинаясь, но говорила вполне ясно. Только левая рука у нее, я видел, была парализована. Я тут же позвонил нашему доктору Ковалеву, рассказал ему все. Он говорит: “Я приду в два часа, посмотрю, и тогда мы решим, что делать”.

Но вскоре я увидел, что у Олечки парализована левая сторона лица. Я тут же опять позвонил Ковалеву. Он сказал: “О, это нехорошо, я сейчас же приеду”. Он приехал, посмотрел и сказал, что нужно немедленно везти в госпиталь. Я понимал, что это нужно, ибо видел, что положение Олечки ухудшилось. Ковалев уехал, вызвав автомобиль “скорой помощи”, и я стал его ждать.

На этот раз из “скорой помогли” приехали какие-то неопытные и грубые два негра, не привезли с собой кресло для больного и, положив Олечку на носилки, пытались ее вынести из квартиры на носилках. Но это было невозможно, носилки не проходили в дверь. Я разозлился, закричал, что таких вещей не делают, что я не позволю так выносить, если у них нет больничного кресла, я принесу обычный стул и они должны на нем ее вынести и спустить в лифте вниз. Быстро я принес из кухни стул, посадили Олечку, привязали ремнями, она была совершенно молчалива, ничего не говорила, как будто все это ее не касалось.

Привязав ее к стулу, мы спустились в лифте вниз, там положили на носилки, и я поехал с Олечкой в госпиталь. Госпиталь святою Луки — наискосок от нашего дома, но они сделали, как всегда, по улицам круг. Комната в госпитале была

уже готова — с четырьмя окнами, большая, прекрасная, для одного пациента (ее заказал Ковалев), постель со всякими устройствами (поднимать выше, опускать и прочее), все очень хорошо. Но сестры мне сказали, чтобы я уходил, потому что они будут Олечку обмывать и приготовлять для осмотра доктором, и чтобы я пришел позднее.

Когда я пришел часа, вероятно, в два-три, Олечку уже вымыли, чистенько все, она лежала в постели. Лицо у нее было слегка искривлено, но она разговаривала, хотя и не совсем отчетливо, и очень обрадовалась моему приходу. Я сидел у ее постели, говорил с ней, держа ее руку в моей руке, гладил по щеке. Когда ей принесли еду, я накормил ее с ложечки, она ела, все казалось не так плохо, но когда пришел Ковалев и слегка осмотрел ее (он уже и раньше был у Олечки), он мне в коридоре сказал, что положение очень серьезно, почки почти не работают. Это установил доктор Коренман, специалист по почкам.

Вечером этого дня я опять пришел в госпиталь. Туда же пришла утя Джапаридзе и Рафик Чодри. Рафик разговаривал с Олечкой, она отвечала ему по-английски вполне понятно. Он спрашивал ее, что вы хотите, миссис Гуль, чтоб я вам принес из аптеки? Олечка говорила какие-то пустяки: “Принесите мне “Хит”, у меня болит спина”. Но мне казалось, что она вполне сознает свое тяжелое положение.

Вечером, когда принесли обед, я опять ее накормил с ложечки, во время обеда вошел Ковалев и говорит: “О, как хорошо у вас идет дело!”. Я говорю: “Да, идет хорошо. Олечка ест, все как следует”. Но это, конечно, было только обычное докторское ободрение больного.

На другой день я опять пришел в госпиталь. Обычно приходить можно было к завтраку. Вот я к завтраку, часам к двенадцати всегда и приходил. Я заметил у Олечки некоторое ухудшение в смысле речи, но все-таки она говорила со мной и несколько раз сказала: “… Ах, как ты без меня справишься со всем… не справишься ты без меня…” — я видел, *это* ее мучило.

Вечером, опять пришли друзья — Утя Джапаридзе, Е.Г.Карюк и Рафик Чодри. Олечка всех узнала, так что ничего такого страшного как будто не было. Но Ковалев мне уже сказал, что почки работают очень плохо, а это — главное. Олечкину постель окружили всякими какими-то аппаратами, стали делать какие-то перманентные впрыскивания для мочеиспускания, для улучшения деятельности почек, но все-таки я видел, что пузырь, который лежал у нее на постели, наполнялся очень плохо. И я заметил сильную опухоль ног и особенно левой руки. Так продолжалось несколько дней. Все-таки каждый день я кормил Олечку, она

говорила. Как-то даже (когда я погладил ее по щеке) она улыбнулась с трудом и сказала: “Киска, какой ты ласковый”. Я старался сдерживать при ней слезы, но это не всегда удавалось. В другой раз я пришел, когда Олечка спала. Я тихо сел у ее постели, не хотел будить. Но вдруг она открыла глаза и, увидев меня, совершенно ясно произнесла: “Куда же ты делся?” Я понял, что этими словами она отвечает какому-то своему сну. Сказав это, она тут же закрыла глаза и опять впала в полузабытье.

В один из дней, когда я пришел, я увидел, что Олечке поставили аппарат искусственного питанья (вливание в вену глюкозы) и речь у нее почти отнялась. Она говорила, вернее, пыталась говорить, но понять ее было уже трудно. Тем не менее я видел по ее глазам, что она меня сразу, конечно, узнавала, Я брал ее руку, и она мою руку сжимала…

Так шли дни за днями и даже недели за неделями, я приходил всегда два раза в день — утром и вечером, оставаясь до самого позднего часа, до которого разрешали, — до восьми часов. Обычно мы уходили втроем: я, утя и Рафик. С каждым днем я видел, что состояние Олечки все тяжелее. Она начала задыхаться. И один раз, когда я пришел, я увидел, что она совершенно задыхается, вероятно, она не могла откашлянуть мокроту, у нее шла слюна. Доктор Ковалев раньше говорил мне, что в крайности можно поставить кислородную маску. И тут, увидев, что Олечка задыхается, я бросился к главной сестре милосердия и говорю ей: “Пожалуйста, поставьте скорее кислородную маску, моя жена задыхается”.

Сестры в госпитале в большинстве были очень милые (и белые, и черные, и какие-то желто-восточные), но эта китаянка оказалась страшной стервой. Она мне резко ответила, что ничего делать не будет, пока ей не скажет доктор. Я говорю, доктор уже сказал… “Он, — говорит, — сказал вам, а не мне”. Тогда я бросился к телефону, позвонил Ковалеву, но не застал его в офисе, позвонил его жене-американке, которая была очень любезна и сказала, что тут же передаст ему, как только он придет, чтоб позвонил в госпиталь по телефону. И действительно, минут через десять Ковалев позвонил, вызвал сестру и приказал поставить кислородную маску.

Ну, эту кислородную маску надели. Вещь довольно страшная, но все-таки дышать Олечке стало как будто легче. Но это был момент, когда я уже понял, что благополучного исхода быть не может. Тем более, что доктор Коренман категорически сказал, что положение ухудшается. Все-таки ежедневно я все время сидел около Олечки и видел, что она меня узнает, хоть сказать уже ничего не может. Но когда я брал ее руку, она мою руку сжимала.

В один из моих приходов в госпиталь пришла какая-то женщина в форме сестры милосердия, китаянка, очень милая, оказавшаяся женой профессора Колумбийского университета, Она пришла как работник социального обеспечения. Сказала, что знает, что положение жены тяжелое, но что если ей станет настолько лучше, что искусственное питание будет прекращено, то госпиталь держать ее не будет, и тогда ее нужно поместить в “нёрсинг-хом” (дом для выздоравливающих, больных, престарелых). Китаянка спросила, есть ли у меня какие-нибудь сбережения? Я назвал ей сумму моих замечательных сбережений. “Ну, вот, — говорит, — вы тогда должны будете платить тысячу шестьсот долларов в неделю”. Я говорю: “Хорошо, но этого же хватит очень ненадолго, а потом что?” — “А потом — говорит, — за нее будет платить город (медикэйд)”. Я знал, что эти “нёрсинг-хомы” вещь совершенно ужасная. В особенности те, где за пациентов платит город. Но делать нечего. Сказал: “Хорошо”.

Олечка все таяла и таяла. Я приходил по-прежнему ежедневно. Приходили те же наши друзья. Но, глядя на Олечку, я видел, что мой приход ей уже не нужен, потому что она не видит меня. Я старался попасть в фокус ее глаз, но взгляд ее уже был такой затемненный, стеклянный, что было ясно, что она меня увидеть не может.

Так шло время. Заболела она, как я говорил, в конце февраля, пролежала весь март, и к концу марта началось безнадежное ухудшение. Как-то я спросил Ковалева, что вы, доктор, думаете, это может долго длиться? Он меня жестом вызвал в коридор и там сказал, что несмотря на то, что больной в бессознаньи, он может услышать голос и даже понять сказанное. Меня это удивило (я не знал об этом). Ковалев сказал, что не думает, что такое состояние бессознанья может длиться долго, что конец может наступить скоро.

Все продолжалось так же, я ежедневно ходил в госпиталь. Ковалев все мне говорил: держитесь, принимайте свои таблетки от сердца, потому что, если вы еще сейчас заболеете, это будет уже полная катастрофа. Я старался держаться, как мог. И действительно, хоть это мне самому было странно, несмотря на такое нервное потрясение и напряжение, я не чувствовал сердечных болей или недомоганий. Нет, я держался, только была страшная усталость.

Когда Олечке было уже совсем плохо и она задыхалась, я сказал Ковалеву, что хочу, чтоб она умерла при мне. Он говорит: “Я вас понимаю… и если вас не будет, вас вызовут; сначала, говорит, известят меня как доктора, а я уже вызову вас”. И вот в ночь на 4 апреля, когда я, усталый и совершенно изнемогший,

спал, в три часа ночи мне позвонил Ковалев и сказал: “Ваша жена умерла, если хотите, приходите немедленно, потому что ее оставят в комнате только двадцать минут и потом отвезут в морг”. Я очень хотел прийти, но у меня не было никаких сил. Я говорю: “Доктор, я не могу сейчас прийти”. Он говорит: “Это и лучше, не приходите, потому что это ни к чему, они сейчас ее уже вывозят”. И вот так… Олечка умерла…

Я забыл сказать, что в госпитале Олечку несколько раз навещал наш друг, священник Александр Киселев. Исповедовал ее и причастил. Олечка была по-настоящему религиозна. Похороны Олечки я хотел назначить возможно скорее. Чин отпевания служил отец Александр в Свято-Серафимовской церкви на 108-й улице. Народу было много, друзей и даже тех людей, кого я не ожидал, что придут. Пел хор, отпевание было хорошо отслужено, Олечка лежала в гробу посреди церкви. Когда я подошел к ней проститься навсегда, я долго смотрел на ее лицо. Оно было удивительно спокойное и даже с какой-то улыбкой. Впрочем, покойники в большинстве своем умирают с лицами упокоенными. Когда я подошел к гробу Олечки, я хотел сдержать рыданье, но у меня вырвался какой-то неожиданный полустон. Склонившись, я поцеловал Олечку несколько раз в лоб, потом поцеловал ее руки… отойти от гроба было трудно, и я, сделав несколько шагов, вынужден был сесть на стул, стоявший у стены неподалеку от гроба.

Так я сидел, пока к гробу подходили все присутствовавшие в церкви, прощаясь с Олечкой. Потом, как всегда, какие-то человеки из похоронного бюро подошли, закрыли гроб, завинтили и повезли к выходу.

Тут я должен сказать, какую неоценимую помощь в моем горе оказала мне Ксения Владимировна Радыш, наш друг и секретарь “Нового журнала”. Ксения Владимировна хотела сначала тоже приходить в госпиталь. Но я просил ее этого не делать, потому что знал, как Ксения Владимировна занята и дома, и в журнале, а главным образом, как она занята по уходу за какими-то ее больными пожилыми друзьями, которых она вечно кормит, опекает, ухаживает за ними. И я просил ее в госпиталь не приезжать. Но когда Олечка умерла и я был в тяжелом состоянии, Ксения Владимировна взяла на себя все хлопоты по тому, чтобы Олечку одеть, поехала в похоронное бюро Петра Яремы, который должен был взять тело из морга и привезти в церковь. Мы с Ксенией Владимировной выбрали черное Олечкино платье, белье, чулки, ботинки, все что надо, и в похоронном бюро Ксения Владимировна все сделала. Причем я ее очень просил, чтоб в этом бюро Олечку ни под каким видом не гримировали. Хотя это

бюро и принадлежит русскому или украинцу (я не знаю), но оно уже стало американским, а в них всех умерших гримируют. Мы видели с Олечкой, как лицо одной нашей знакомой, покойной Э.Э.Бражниковой, с которой Олечка было очень хороша, нагримировали так, что Олечка и я ужаснулись. По моей просьбе с Олечкой этого не произошло, она лежала в гробу так, как умерла.

Ну вот. Когда гроб вывезли из церкви, мы вышли за ним. Лимузины уже стояли. В одном поехали Ксения Владимировна, Ксения Георгиевна Чикаленко, Элли Оскаровна Хомякова. В другом Франтишек Силницкий, Коля Карюк, кто-то еще. В третий сели отец Александр, Утя Джапаридзе и я.

Лимузины тронулись в православный женский монастырь Ново-Дивеево, в Спринг Валлей, в сорока милях от Нью-Йорка. Этот монастырь основал замечательный человек, отец Адриан Рымаренко, свойственник Ксении Владимировны, она первым браком была за его сыном, погибшим при бомбардировке Берлина. Через час с лишним приехали в Ново-Дивеево. Ксения Владимировна заранее взяла на себя хлопоты и по выбору могилы, и по уплате за место для двоих (для Олечки и для меня), выбрала она очень хорошее место, совсем у дороги, так что всегда удобно подъехать.

В Ново-Дивееве на кладбище очень хорошо. Большая-большая поляна в лесу. На ней множество русских могил, кругом — лес, тишина, поют птицы. Могил — целое море. Могила Олечки была уже вырыта. Могильщики ждали. Отец Александр отслужил краткий чин погребения. Гроб опустили, я бросил первые комья земли, бросал я их и в могилу отца в Пензе, и в могилу матери во Франции, только брат умер в Гаскони без меня.

Ну вот. Могилу закопали. Мы все пошли в монастырскую столовую, где была приготовлена скромная монастырская трапеза. Очень хорошо. Люди в монастыре все милые, русские. Во время трапезы Ксения Владимировна мне сказала, что говорила с отцом Адрианом (он был уже возведен в сан епископа Роклендского под именем Андрея) и он, несмотря на свою болезнь, хочет, чтоб я к нему пришел. Он меня знал по каким-то моим книгам и по печатным выступлениям против так называемой “автокефалии” митрополичей церкви, “дарованной” ей Московской Патриархией,

Я много слышал об отце Александре от самых разных людей как о человеке необыкновенном, почти святом. И с большим удовольствием согласился к нему пойти, хотя знал, что он тяжело болен, не выходит уже из своей комнаты. Ксения Владимировна ввела меня к нему. В прихожей маленького домика нас встретил

его секретарь князь Мышецкий, который вместе с ним попал на Запад из Киева и которого отец Адриан и его покойная матушка пригрели в СССР, когда он был еще подростком.

Когда я вошел к отцу Адриану, я был поражен его лицом. Его лицо… этого не опишешь и об этом не скажешь. Лицо было какое-то светящееся, лучистое. Отец Адриан полулежал в кресле, ноги вытянуты на какой-то подставке. Подняться без чужой помощи он уже не мог. Руки у него дрожали. Я подошел под благословение. Мы сели. Ксения Владимировна крепко держала его руки, чтобы они не так дрожали, и ему это, вероятно, было приятно. Он начал со мной говорить тихим, приятным, душевным голосом. К сожалению, я не могу воспроизвести того, что отец Адриан говорил, потому что я был в очень тяжелом душевном состоянии. Отец Адриан был человеком исключительной веры и исключительного православия, такой вере можно только завидовать, но достичь ее, вероятно, очень трудно. Сначала он мне говорил, что я не должен убиваться, что я скоро увижусь с своей женой, так же как он увидится со своей умершей матушкой… Все это было очень просто, очень хорошо, очень душевно. Потом он перешел, уж я не помню по какому поводу, на Достоевского и процитировал на память что-то из его “Луковки”. Заговорил о Достоевском вообще, и я увидел, что ум у него совершенно ясный, несмотря на болезнь и преклонный возраст, память — удивительная. Я подумал, что многие так называемые достоевсковеды могли бы позавидовать отцу Адриану, как он знал этого писателя и как его понимал. Потом я задал ему какие-то вопросы о нем самом. Он стал вспоминать, как учился в петербургском Политехническом институте, как пришел к вере. Рассказ был совсем простой и в то же время чрезвычайно пронизывающий и убедительный. Глядя на него, я невольно вспомнил о старце Зосиме. Отец Адриан был именно такого типа — в миру и совершенно вне мира. Когда он рассказывал, как пришел к вере, он упомянул Оптину пустынь. Я спросил его, бывал ли он в Оптиной? Он рассказал, как был в Оптиной, каких последних старцев встречал. От Ксении Владимировны я знал, что отец Адриан провел чрезвычайно трудную жизнь в Советском Союзе. Его жестоко преследовали. А последние два года, кажется, он тайно прожил в какой-то каморке, заставленной шкафом, скрываясь от ареста (ему отказано было в прописке в Киеве).

Я боялся, оставаясь долго, утомить отца Адриана, но он все нас удерживал. Видно было, что он действительно хочет утешить меня, и утешить не грубо какими-то сусальными словами, а большой верой в Бога, в загробную жизнь и верой, что я еще встречу Олечку…

Но все-таки чересчур долго оставаться я не хотел, хоть отец Адриан несколько раз и задерживал нас. А когда стали прощаться и я опять подошел под его благословение, поцеловав его руку, он вдруг взял мою руку и поцеловал ее тоже. Тут я не мог удержаться от слез. Я видел, что и у Ксении Владимировны глаза полны слез. Отец Адриан просил меня, чтобы, когда я буду приезжать на могилу, — обязательно приходил к нему, он хочет со мной еще встретиться. Я был ему благодарен. И вышел от него действительно каким-то облегченным в своем горе.

Расселись мы опять по этим самым лимузинам. Я с отцом Александром и Утей Джапаридзе. И невольно с отцом Александром я заговорил об отце Адриане, сказав, что он человек совершенно необыкновенный. Я действительно впервые в жизни встретил такое духовное лицо. И за рубежом и в России *таких я* не встречал. Отец Александр, знавший о. Адриана еще по Германии, вполне со мной согласился, сказав: “Да, да. Таких у нас мало. Это наш старец Зосима”.

Ну, приехали мы в Нью-Йорк, приехал я к себе на 113-ю улицу. И трудно было войти в опустевшую квартиру, где мы с Олечкой прожили двадцать шесть лет. Квартира пуста. Стоят в спальне две наши постели, одна — ее — пустая; стоит кресло, в котором Олечка всегда сидела, без нее оно тоже — пустое. Так и почувствовал я свое одиночество. Но старался взять себя в руки, говоря себе: тебе уже восемьдесят лет, жить недолго. Так вот и живу. Один. Есть друзья, которым благодарен, что они есть. Работаю, пишу вот эту книгу, предсмертные мемуары. Хочется рассказать все, что пережил за рубежом с 1919 года. Да и не за рубежом только. Та (русская) жизнь входит в эту (зарубежную) жизнь. И все связано — Россией, русской культурой, близкими людьми, воспоминаниями. Ну вот. Если все это напишу так, как хочу, то, может быть, буду чувствовать некое удовлетворение, что выполнил какой-то “заказ”. Может быть, кому-нибудь моя книга — эти воспоминания: и о матери, и об Олечке, и о брате, и о всей семье, и все наши зарубежные переживания, и вся русская зарубежная жизнь — не так уж будут чужды. Может, люди прочтут с чувством разделения чувств автора. Этого бы я только и хотел”.

На этом магнитофонная запись кончается. По смерти Олечки я получил много сочувственных, соболезнующих писем — хороших, душевных (были, может быть, и формальные), но не обыденное письмо, глубоко меня тронувшее, я получил от Александры Львовны Толстой:

“Alexandra L. Tolstoy

Tolstoy Foundation Center

Valley Cottage N.Y. 10989
10 апреля 1976 года
Дорогой Роман Борисович,

Эти последние дни о Вас думаю с глубоким сочувствием и душевным пониманием тех переживаний и страданий, которые сейчас посланы Вам Богом. Словами ничего не выскажешь. Эти переживанья так глубоки, так сложны, и только люди, пережившие незаменимую утрату в жизни, могут понять. Как ни странно, но больнее всего и труднее всего вспоминать ту глубокую, внутреннюю связь, которая существует между близкими навеки. Может быть, эта духовная связь не пропадет никогда.

Иногда со страшной болью невозвратимого вспоминаются: интонация голоса, выражение глаз, руки. После смерти отца я с особенной болью вспоминала завитки волос над его старенькой шеей. И плачешь, сокрушаясь, вспоминаешь эти невозвратимые мелочи. В голову не приходит, что тот, кто ушел от нас, перестал страдать и ему легче, а думаешь только о своей утрате.

Буду продолжать думать о Вас и вспоминать в своих грешных молитвах Ольгу Андреевну.

Крепко жму Вашу руку и желаю Вам душевных сил, чтобы пережить Вашу тяжелую утрату и продолжать самоотверженную деятельность на пользу нашей родины.

С искренним уважением и сочувствием,
' Ваша Александра Толстая”

Я тут же ответил Александре Львовне:

“22 апреля 1976 года
Дорогая Александра Львовна,

Вчера вечером я получил Ваше письмо, здесь, во Флориде. Большое спасибо за него. Не скрою, что плакал над Вашим письмом — до того оно душевное и понимающее. Да, именно все это я и чувствую, именно все это и вспоминаю. Остановился я нарочно в том же мотельчике, где мы с женой уже лет шесть проводили либо март, либо апрель, и в том же самом помещении. Друзья отговаривали, но я не только не избегаю этих воспоминаний-страданий, а хочу их. С ними — лучше. И Вы меня в этом, конечно, поймете. Спасибо Вам еще раз от всей души.

Целую Вашу руку, искренне Вам преданный
Роман Гуль

Поблагодарите, пожалуйста, и Татиану Алексеевну Шауфус за сочувственную телеграмму, и Теймураза Константиновича Багратиона за сочувственное письмо”.

Потеря любимого на земле человека и одинокость после потери — страшная вещь. Но есть утешение в том, что именно

тогда наступает некая *высветленность* твоей любви, ранее обычно затемненная обыденной жизнью. Именно тут наступает чистое *откровение любви.* И душа находит в этом и утешение и получает общение с потерянным.

Помню, в “Литературное приложение” из Москвы прислала мне простенькое стихотворение неизвестная поэтесса Екатерина Галати. Ни до, ни после я о ней ничего не слыхал. Может быть, псевдоним? Я стихотворение напечатал. И почему-то запомнил. И не только я, но, помню, все в семье обратили на него внимание: жена, мать, даже брат, вообще стихи не жаловавший.

Как мудрый отравитель, время
Поит нас незаметным ядом.
Нежней, нежнее будьте с теми,
Чье сердце бьется с вами рядом.
Словам и клятвам верьте, верьте!
Непрочно пламя в хрупком теле.
Ведь только после нашей смерти
Нас любят так, как мы хотели.

Две последние строки — это именно — *о высветленности любви после смерти, об откровении любви после смерти.*

Олечка была на два года моложе меня. Родилась в селе Рамзай Пензенской губернии. Отец — земский врач Андрей Иосифович Новохацкий. Дед — Иосиф Тарасович — важный барин: действительный статский советник по чину и управляющий Пензенской казенной палатой по должности. То есть — “министр финансов” Пензенской губернии. Происходили Новохацкие из черниговских дворян-помещиков. Говорят, в давние времена были Новохатные, потом Новохатские и, наконец (обрусев), Новохацкие. У Иосифа Тарасовича было несколько имений. Пензенской казенной палатой он управлял, вероятно, хорошо, потому что и умер, стариком, в этой должности. Но имения все промотал. И, как мне рассказывала Олечкина мать, Софья Федоровна, — пропустил все на дам не особенно “тяжелого” поведения. После смерти И.Т. в его письменном столе будто бы нашли множество стопок всевозможных счетов, перевязанных разноцветными, веселенькими ленточками. Посему только один его старший сын Андрей Иосифович окончил высшее учебное заведение: медицинский факультет Московского Императорского университета. Ему предлагали остаться при университете для подготовки к профессорской кафедре, но А.И. — *по призванию* — пошел в земские врачи: хотел *помогать народу* (в те времена такие люди были часты, сейчас в СССР, наверное, маловато).

Женившись на Софье Федоровне Каменской, А.И. стал

земским врачом в большом селе Рамзай недалеко от Пензы (теперь, кажется, Рамзай переименован в “город”, не знаю почему, ибо Пенза-то в советские времена превратилась в “деревню”). В Рамзае семья Новохацких жила в именьи Константина Григорьевича Данилевского (сына известного писателя Григория Петровича Данилевского — “Девятый вал”, “Мирович” и другие). Наша семья одинаково дружила и с Новохацкими, и с Данилевскими, и там, в Рамзае, у моего отца была чудесная дача под названием “Кочка” — над прудом, в широкошумной дубовой роще, зеленая трава которой летом становилась голубой, когда в изобильи цвели лесные незабудки. А дубов таких (в два обхвата взрослого человека) я нигде в Европе не видал.

У Новохацких было четыре дочери, двух старших, Наташу и Аню, моих сверстниц, я помню с отрочества. Младших же, Олечку и Софу, я увидел только в 1914 году, когда в Москве студентом приехал к Софье Федоровне в Николаевский институт, где она была инспектрисой. Андрей Иосифович умер рано, тридцати шести лет. Его страстью были лошади, и вдвоем с кучером они объезжали молодую тройку, тройка их и разомчала, да так, что А.И. оказался под коляской. После этого у него появилась опухоль, быстро перешедшая в злокачественную (саркома), и он вскоре умер, оставив без всяких средств жену и четырех девочек. Тут Софья Федоровна и стала инспектрисой в Николаевском институте. Кстати, о лошадях. Нигде в Европе лошади, по-моему, никогда не “разносили”. Вели и ведут себя культурно, демократически. Я в Европе бывал задолго до революции — мальчиком с родителями. В России же лошади разносили сплошь и рядом. Помню — тьму случаев. Видно, у нас и лошади-то были какие-то большевицкие, евразийские.

У Софии Федоровны я бывал в институте по воскресеньям. Обычно вместе с моим другом детства Ганей Штейнге-лем, который женился в 1916 году на старшей дочери Наташе (оба погибли в революцию). В институте я впервые встретил Олечку — красивую и очаровательную.

Софья Федоровна была рожденная Каменская — прямая правнучка графа Федора Петровича Толстого, президента Академии художеств, известного медальера и скульптора, по рисункам которого были сделаны двери московского храма Христа Спасителя, взорванного псевдонимами в 1930-х годах “за ненадобностью при социализме”, устроившими на месте храма — бассейн для плавания. И плавают… до поры до времени…

Известно, что Федор Петрович Толстой был большой души человек. Это он перед государем отстоял Тараса Шевченко, вызволив его из десятилетней ссылки, из Ново-Петровского форта

на Каспийском море. И Шевченко, подружившись с семьей Толстых, долго жил у них в Петербурге, так же как и знаменитый английский трагический актер негр Аира Олдридж. Олдридж не знал русского, Шевченко английского, но у Толстых они стали близкими друзьями. Я часто полушутя говорил Олечке, что по душе она, видимо, пошла в своего прапрадеда. В Олечке была та же — уж не знаю, как назвать — не то аристократическая демократичность, не то демократическая аристократичность. В общении с людьми она не чувствовала и не видела их разницы: богатых и бедных, аристократов и пролетариев, белых и черных, черных и желтых. Поэтому в нашей зарубежной жизни множество самых разнородных людей любили ее. Олечке был прирожден христианский гений любви к людям. И везде всегда у нас было много подлинных друзей: богатых и образованных, бедных и неграмотных, малограмотных и ученых, русских, немцев, израильтян, французов, американцев, негров, пакистанцев. Например, в Нью-Йорке Олечка страшно дружила с семьей нашего китайца-прачечника, и семья эта ее “обожала”. Там был мальчик-китайчонок Ти, которого Олечка очень любила и всячески баловала. И большая (очень большая) дружба была у нас с аристократкой Е.А. Рейнолдс Хапгуд, у которой в именьи в Массачусетс мы гостили каждое лето. Помню, как Елизавета Львовна (так ее звали русские) говорила: “Ольга Андреевна, ну как это так вы умеете общаться со всеми совершенно как равная. Я не умею, а у вас это так естественно… вот люди потому-то и тянутся к вам…” Это была сущая правда. В семье нашего “суперинтенданта” (управдома по-русски, что ли), многодетного мальтийца, Олечку иначе, как “любимицей всего дома”, не называли. Но все это материал второй и третьей частей моей книги. Сейчас я только кратко скажу о судьбе семьи Новохацких в революцию.

Меня и Олечку война и революция разметала. Я не знал, где она. Она не знала, где я. Революция застала Новохацких в Москве. Из Москвы С.Ф. переехала с детьми в Ленкорань. В Ленкорани друзья-татары предупредили о назначенной резне русских. И в 1918 году — в чем были — Новохацкие бежали в Красноводск по Каспийскому морю на какой-то “утлой ладье”. Оттуда в 1919 году перебрались в Анапу, где Олечка работала в детдоме для беспризорных. В гражданскую войну скончалась Софья Федоровна и старшая сестра Наташа Штейнгель. В 1922 году, когда пошли разговоры, что дети земских врачей, оказывается, не “социально опасные” и их, кажется, будут принимать в высшие учебные заведения, Олечка переехала в Москву. В Москве поселилась у своей подруги-институтки Л.Средневой (кстати, праправнучки

Н.М.Карамзина, автора “Бедной Лизы”). Долгое время их питаньем были два стакана моченого гороха в день. Здесь Олечку настигла страшная болезнь, потребовавшая рискованной операции. В Красноводске, хоть они и сильно подголадывали, Олечка пригрела и кормила какую-то длинношерстную приблудившуюся (тоже голодавшую) собаку. От нее и заразилась (как уверенно предположил ее доктор — хирург Холин) редкой и страшной болезнью — “эхинококк” (на Западе почти неизвестной). Слава Богу, что эхинококк, проникший в организм, вклещился не в мозг и не в глаз (это — верная смерть), а в печень. Но так как врачи долго диагноз поставить не могли, то пузырь жидкости эхинококка разросся так, что операция оказалась очень опасной. Все-таки известный московский хирург доктор Холин, учившийся в университете вместе с Олечкиным отцом, в последнюю минуту сделал эту страшную операцию по удалению всего пузыря эхинококка из печени, вырезав больше трех четвертей и печени. Причем в те “революционные” времена московские госпитали были в ужасающем состоянии. Операцию делали при керосиновых лампах. Не хватало бинтов, не было лекарств. А после операции доктор Холин[1], по-отечески относившийся к Олечке, прямо сказал, что если она останется в Москве — она не выживет; “У вас есть родственники за границей, уезжайте к ним, при таком состоянии здоровья вас выпустят, вы им не нужны, вы инвалид, а за границей можете поправиться!”.

На эту подглавку об Олечке откликнулся письмом Г.А.Кочевицкий, известный музыковед и педагог-пианист. Г.А. пишет: “Ольгу Андреевну лечил Холин. В 1934 году в концлагере на Дальнем Востоке я заболел, попал а лазарет, и лечил меня этот самый Холин. Тогда до ареста (он тоже был заключенный) он был очень известным хирургом в Москве. Очаровательный человек, задержал меня в лазарете после моего выздоровления, чтоб дать мне возможность отдохнуть и попитаться получше”. В дни ареста и заключения в концлагерь Холин был пожилым человеком, никакой политикой никогда не занимался, выдающийся хирург, стало быть, очень полезный всем москвичам человек. Спрашивается, почему же Холин попал на Архипелаг ГУЛАГ? По плану уничтожения всей русской духовной и культурной элиты, проводимому ленинскими псевдонимами. Зачем? Затем, чтобы крепче держаться в седле своей власти над народом.

Ольга Львовна Азаревич (о которой я писал — “Бог дал, Бог и взял”) была уже за границей, в Германии. Она любила Олечку, как дочь. После смерти отца Олечка выросла в их доме — в именьи Муратовка у своего дяди кн. Арсения Друцкого-Сокольнинского (первого мужа Ольги Львовны). Из Германии О.Л.

прислала Олечке письмо, зовя приехать к ним. В немецком консульстве в Москве к Олечке отнеслись по-человечески, сказав, что этого письма достаточно и они дадут ей въездную визу. После долгих “советских” хлопот Олечка получила наконец и заграничный паспорт за подписью… Ягоды. Но тут встал неразрешимый вопрос; деньги на отъезд? И Олечка пошла на риск. У нее в Москве были близкие знакомые (муж и жена), до революции муж был очень богат (известная московская купеческая семья). А где река текла, там всегда мокро. И несмотря на реквизиции, социализации, национализации у него остались средства и за границей и в Москве (картины, драгоценности и прочее). К тому же при нэпе ему (видному инженеру) вернули одно из его небольших предприятий, которым он теперь прекрасно зарабатывал.

Так вот, зная о сборах Олечки за границу и зная, что у нее нет денег, этот былой богач-инженер предложил ей такую “комбинацию”. Он дает нужные на отъезд деньги, а Олечка за это перевезет через советскую границу их паспортные фотографии, подписанные чужой фамилией, и три картины из их коллекции. Разумеется, не в картинах была суть. Эти картины на Западе не имели никакой цены: три передвижника— Похитонов “Рыбацкий поселок”, Кузнецов “Березовая роша” и Мещерский “Дарьяльское ущелье”. Но этим людям хотелось дотошно выяснить всю процедуру вывоза картин из РСФСР, ибо они примеривались по-настоящему эмигрировать. Поэтому-то вся суть и была в паспортных фотокарточках: для *румынских* паспортов, которые были им уже заготовлены за границей. Из Германии Олечка должна была переслать фотокарточки в Австрию имяреку (кстати, пензяку, которого я прекрасно знал). Для Олечки риск был *чрезвычайный:* обнаружь таможенники на границе эти спрятанные, подписанные чужой подписью паспортные фотографии, дело б обернулось верной тюрьмой, концлагерем, а может быть, и хуже.

Но в характерах Олечки и моей матери была общая черта русских женщин этой породы: решимость, бесстрашие, самообладание. Так, рискуя жизнью, мать разыскала нас в гражданскую войну на Дону, так, рискуя жизнью, прошла к нам из Киева (больная) 400 верст пешком и все-таки добралась до Берлина. Так и Олечка, решив увидеть меня и своих родных, пошла на большой риск. Картины у нее были на виду, их скрывать нечего, хотя вряд ли разумно было думать, что они принадлежат Олечке. Но вот фотографии? Их Олечка скрыла изобретательно. Бритвой тонко разрезала надвое твердый картон на большой фотографии Софьи Федоровны и вложила посредине зловещие паспортные фотографии будущих “румын”. Потом склеила

картон, слегка смочила и хорошо прогладила несколько раз утюгом…

Так Олечка и выехала за границу. Но приехать к Ольге Львовне она должна была уже не в Германию, а через Германию в Италию, в Тироль, где тогда пробовали обосноваться Азаревичи.

В Берлин ко мне Олечка приехала в 1926 году. Мы поженились. У нас была большая связка писем: моих к Олечке и ее ко мне. Но при наших зарубежных передрягах, когда я попал в гитлеровский концлагерь Ораниенбург, часть моего архива пропала. Пропала и связка писем.

Полвека — с 1926 года по 1976 — мы с Олечкой не расставались, дружно прожив нашу жизнь в эмиграции — в Германии, Франции, Америке, — причем материально наша жизнь часто была совсем не “мед и сахар”. Но это все уже вторая и третья части книги.

Если б кто-нибудь когда-нибудь написал правдивый монументальный труд “Русские женщины в революцию” — этот настоятельно требуемый памятник неувиденному героизму русских женщин! Когда-то Н.А.Некрасов “потряс” читающую Россию своими (конечно, прекрасными!) “Русскими женщинами”. Да, это была та же — *душевная линия.* Но разве можно сравнить -

Покоен, прочен и легок
На диво слаженный возок.
Сам граф отец не раз не два
Его попробовал сперва.
Шесть лошадей в него впрягли,
Фонарь внутри его зажгли,
Сам граф подушки поправлял,
Медвежью полость в ноги стлал,
Поставил в угол образок.
И зарыдал… княгиня дочь
Куда-то едет в эту ночь…

— разве можно это сравнить с трагической, нищей, героической судьбой, с смертной самоотверженностью русских женщин в кровавейшую большевицкую революцию? Думаю, что так и уйдут наши русские женщины в вечность без заслуженного ими памятника, никем не замеченные, никем не воспетые…

Дружба с Константином Фединым

С будущим страшноватым генсеком Союза советских писателей, потом его председателем, потом лауреатом сталинских премий и депутатом Верховного Совета РСФСР и СССР, с Константином Фединым я был дружен. И очень. Подружились мы в 1920-х годах в Берлине, но тогда Федин не был ни председателем, ни генсеком, ни лауреатом, ни депутатом. Тогда Федин был "писателем Фединым". В "Комсомольской правде" некто А.Исбах писал в то время о Федине как о "классовом враге". Но Исбах ошибся роковым образом. В "развитии пролетарской революции" Федин оказался "классовым другом", даже — лауреатным! А Исбах? Не знаю. Мог — "в развитии пролетарской революции" — попасть на Архипелаг ГУЛАГ и сгнить там с биркой на ноге. Мог получить пулю в затылок в "ежовском подвале". Дело-то все в том, что понятие "пролетарской революции" — является *полнейшей загадкой, закутанной в тайну.* Что такое — никому неведомо.

Редактирование "Литературного приложения" к "Накануне" я вспоминаю с удовольствием. И с благодарностью этому "его величеству случаю". Оно дало мне возможность познакомиться с многими советскими писателями, приезжавшими в Берлин, а с некоторыми и подружиться (Федин, Груздев). Через них же, по их рассказам, я *ощутил* и так называемую "советскую действительность". Переписка с Фединым завязалась после моей статьи в "Литературном приложении" о его прозе. Статья, по-моему, была лестная, я писал о ранних его рассказах. ("Сад" и другие) и о первых повестях. Как все Серапионы, Федин был тогда свободным писателем. Нет, вернее — полусвободным, как все "попутчики". Совсем свободным захотел стать их ментор Евгений Иванович Замятин, написавший "Мы", но из этого ничего, кроме "легальной высылки" за границу, не вышло. С Замятиным и его женой Людмилой Николаевной и в Берлине, и в Париже я встречался.

Но далее творческая "полусвобода" Серапиона Конст. Федина была так же далека от его позднейших "соцреалистических" (и по сути халтурных) романов, как Полярная звезда от Земли. Да от попутчиков в те нэповские времена и требовалась именно некая "полусвобода", а не соцреализм. Недаром Борис Пильняк (тоже Серапион, хоть и "отдаленный") опубликовал столь вольные вещи, как "Повесть о непогашенной луне" (о том, как Сталин заэфирил на операционном столе командарма Фрунзе) и "Красное дерево", появившееся только в Берлине, в

“Петрополисе”, а в РСФСР цензурой зарезанное. Но Пильняк как человек и художник был много сильнее Федина. Потому и кончил насильственной смертью.

Вскоре по приезде Федин был у нас в семье. И как-то сразу прижился к нам. Ему понравились и моя мать, и моя жена. Обе отнеслись к нему тепло, сердечно. Надо сказать, во всем облике Федина был “шарм”. Хорошего роста, хорошо сложенный, с правильным красивым липом, умный, иногда остроумный, державшийся свободно, непринужденно, как-то очень по-русски, по-свойски, Конст. Федин был привлекательным человеком.

Немецким языком Федин владел вполне (много лучше меня). Всю войну он провел в Германии как гражданский пленный. Так что переводчик ему был не нужен, но я сразу заметил, что он никуда не любит ходить или ездить один, а всегда “с провожатым”. Я ездил с ним охотно уж потому, что Федин интереснейше рассказывал о советской жизни, советских литературных делах, о писателях (не без сплетен, конечно), всякие литературные истории. Многое из его рассказов я тогда записал. И вот — пригодилось.

Помню, как-то Федин рассказывал о своей встрече с М.Горьким и как Горький говорил ему, что их поколение, то есть Горького, уже сходит со сцены, а потому теперь они — молодые — должны представлять в мире русскую литературу. “И ты знаешь, — говорил Федин, — когда Горький мне это сказал, я почувствовал, какая действительно тяжесть ложится на плечи, ведь он прав: из старых одни умерли, другие ушли в эмиграцию, третьи перестали писать, и мы оказываемся на линии огня, на переднем фронте”. Как во многих писателях, в Федине было все “литераторское”. Другой жизнью, кроме как “быть в литературе”, “литераторствовать”, Федин, по-моему, и не жил, не умел жить. Поэтому вполне искренне и чувствовал себя тогда “послом русской литературы”, как его и принимали немцы.

В 1927—1928-х годах в Берлин приезжали многие Серапионы: К.Федин, Н.Никитин с женой, Илья Груздев с женой, Мих. Слонимский с женой. Со всеми я сошелся, в особенности с Фединым и Груздевым. Как мы впервые встретились с Фединым — хоть убей не помню. Но перешли на “ты” скоро, как и с Ильей Груздевым и с Колькой Никитиным (почему-то все его звали именно “Колька”, и это “к нему шло”). Быстрой дружбе с Фединым способствовали, конечно, обеды и ужины с возлиянием. Помню, что в первую же встречу мы поехали в КаДеВе (грандиозный универсальный магазин) на Тауэнцинштрассе покупать всякую всячину для него, для его жены Доры Сергеевны, для дочери Ниночки. Накупили, и по дороге оттуда, когда шли по

Курфюрстендамм, какой-то уличный фотограф сфотографировал нас, и фото до сих пор у меня в архиве.

Для резонанса в мире всякому писателю необходимо, чтоб за ним *стояла страна.* На советскую литературу в те годы немцы (и все иностранцы) смотрели с ожиданием чего-то нового, революционного, *“освежающего старый мир”.* Беспаспортные, безродные писатели (эмигранты), за которыми зияла географическая пустота, мало кого прельщали. А у советских — страна (да еще какая! загадочная! первая в мире социалистическая!). Для Федина в Берлине все это было важно. Федин тут был не только писателем, но писателем-послом “новой советской” страны и ее литературы. Посему немецкие издатели тогда рвали из рук рукописи и книги советских авторов. Книги Федина по-немецки выходили в “Малик Ферляг”, которым руководил коммунист Герцфельде (скажу как минимум — малоприятный тип).

Должен сказать, что к литературе Серапионов (К.Федину, Всев. Иванову, Бор. Пильняку, Мих. Зощенко и некоторым другим попутчикам — Олеша, Катаев, Булгаков, Леонов и другие) я относился с большой надеждой. В своих автобиографиях многие Серапионы бравировали аполитичностью и писали о “надклассовой литературе”: они заняты только литературой, и конец! Мих. Зошенко так и писал, что даже не знает, “к какой партии принадлежал А.И. Гучков”. И когда советский литератор Эм. Миндлин в статье в “Литературном приложении” напал на эту браваду молодых своей аполитичностью, я ответил ему, о чем он и вспоминает в мемуарах “Необыкновенные собеседники” (Сов. писатель. М. 1968): “И кто же взялся защищать советскую литературу от меня? Человек, недавно с оружием дравшийся против советской власти, только что наспех сменивший вехи, — Роман Гуль, автор нашумевшей в эмиграции книги “Ледяной поход”<…> Роману Гулю импонировало "отсутствие идеалов у молодых". Роман Гуль так и не вернулся в Россию. В сменовеховцах проходил недолго. Не дольше, чем в Берлине выходил орган сменовеховцев “Накануне”. Стало быть, по 1924 год!”.

Насчет дат моего сменовеховства Миндлин несколько путает. Но верно, что “отсутствие идеалов” у молодых я приветствовал и был, по-моему (исторически), прав. Когда советская власть предложила молодым писать с “идеалом” — это их как художников убило. Леонид Леонов с “идеалом” *дошел, до леса,* то есть до романа “Русский лес”, произведения стопроцентно “производственного” и “социалистического”, но, увы, не читабельного. Мих. Булгаков *дошел до Батума,* то есть до такой

подхалимажной пьесы о Сталине — “Батум”, что сам вождь запретил ее постановку, будто бы сказав: “Так обо мнэ пусть пишут послэ смэрти”. О рождении писательских “идеалов” в СССР Надежда Мандельштам говорит: “Одни, продаваясь, роняли слезу, как Олеша, другие облизывались, как Катаев”. Но все это стряслось с русской литературой много позднее 20-х годов. В годы же нэпа писатели были еще в полусвободе.

Запомнил я еще один рассказ Федина о Горьком. Был у него Федин где-то на даче. Сидели в комнате, стеклянные двери которой выходили на веранду и в сад. Горький говорил что-то о литературе. Федин слушал. “Вдруг, — рассказывал Федин, — вижу, из сада по ступеням веранды поднимается Мария Федоровна Андреева. Красавица. В легком летнем платье, в руках букет чудесных цветов. Вошла. Горький прервал разговор, смотрит недружелюбно. А Мария Федоровна с улыбкой кладет букет перед Горьким. Горький крайне резко и грубо: “Это еще что!?” “Цветы. Тебе”, — улыбаясь, говорит Мария Федоровна. И вдруг Горький раздраженно сбрасывает букет: “Жри сама!”

Федин рассказывал, что от смущенья в эту минуту готов был провалиться в тартарары. Но М.Ф. — опытная актриса выучки МХТ — подняла букет и без слов вышла. Горький же как ни в чем не бывало продолжал “разговор о литературе”, Известно, что Горький был отзывчив, многим помогал, многих выручал, вступился даже за судьбу великих князей Романовых, хлопоча за них перед самим Лениным (но Ленин его обманул). Был Горький и чувствителен и слезлив, мог плакать, когда писатели читали понравившуюся ему рукопись. Но сложен человек: был Горький и неправдив, лицемерен и вот даже, оказывается, мог быть груб, как босяк. Федин говорил, что Горького тут, вероятно, раздражил тот “театр для себя”, который молчаливо разыграла перед ними *актриса* М.Ф.Андреева. Возможно.

В Берлине Федин жил в пансионе, где-то около Курфюрстендамм. Не так далеко от нас, и мы виделись часто. Помню, звонит он по телефону и говорит, что приглашен выступить на вечере немецких пролетарских писателей (то есть писателей-коммунистов, наверное?), что ему звонил Герцфельде и очень просил приехать. Федин же мне говорит: “Роман, пожалуйста, приезжай ко мне, и мы вместе поедем”. Я возражаю: “Костя, да причем же тут я? Я не пролетарский и не советский, с какой же стати я поеду, ведь это же неудобно, пойми!” Но Федин — как с ножом к горлу; “Ради Бога, приезжай, один я просто не могу. Там это будет недолго. Я скажу несколько слов, может быть, прочту что-нибудь, и мы быстро уедем”. Я видел, что Федину на это собрание ехать до смерти не хочется, а без провожатого

особенно. И в конце концов он меня уломал. Поехали.

Было это собрание “пролетарских” немецких писателей чрезвычайно непрезентабельно. Небольшой залишко, когда мы вошли — сидят-ждут человек двадцать — тридцать. Председательствовал Герцфельде. Он представил Федина как выдающегося писателя Советской России, наговорил ему комплиментов, указал, какие книги Федина вышли по-немецки. После него слово было предоставлено Федину. Федин приветствовал собравшихся довольно коротко и банально, сказав, что советская литература развивается, находит новые сюжеты, новую форму и т. п. Потом кто-то из присутствующих прочел какую-то вещь Федина в немецком переводе. Все было скучно до одурения. И когда, выйдя на улицу, мы остались одни, Федин с презрением сказал: “Ну, ты видел этих *“пролетарских”* писателей? Это *же* какие-то *вычески общества”* (эти “вычески общества” я запомнил буквально).

Вторая поездка с Фединым была много интереснее. Федин опять позвонил как-то и говорит, что Герцфельде приглашает к нему на виллу на обед, у него будет Макс Гёльц (известный немецкий коммунистический Стенька Разин) и Эрнст Толлер, известный писатель. И опять Федин пристал, чтоб я с ним ехал. На этот раз я отказывался еще категоричнее, ибо понимал мою там неуместность, причем говорил Федину, что Герцфельде мне крайне несимпатичен и я вижу, что пользуюсь у него “полной взаимностью”. Но Федин насел невероятно, говорит, что один ни за что не поедет, а не ехать ему нельзя (“Малик” его издательство). Я еще яснее видел, что в характере Федина была какая-то потребность в вечной подпорке, в каком-то “провожатом”. Во мне этого никак не было. Я бы на его месте поехал один. Но Федин пристал так, что наконец моя жена и мать его поддержали: “Ну согласись, Рома, ты же видишь, как ему одному не хочется”. И я — contre coeur — согласился. Конечно, увидеть живьем легендарного Макса Тельца было небезынтересно. Но уж очень Герцфельде был мне “против шерсти”.

Одним словом — поехали на виллу Герцфельде куда-то далеко, может быть, в Далем, не помню уж. Ну, приехали. Вошли. Толлера нет, обещал быть позднее. Но мы сразу увидели легендарного. Своей наружностью Макс Гёльц меня поразил — ничего немецкого. Цыган. Низкий, коренастый, жгучий брюнет, с тонкими чертами лица, в повадках что-то физически сильное, подлинно пролетарское. Федина Гёльц заключил сразу в товарищеские объятия (как представителя “той страны, где светит незакатное солнце трудящихся”). По сторонам Гёльца — две

чрезвычайно миловидные, даже красивые девицы, типичные немки, и почему-то в каких-то белых не то туниках, не то хитонах. За обильным — едой, закусками, напитками — столом девушки сели по сторонам легендарного. Мы — напротив. Обед прошел довольно пусто, говорились какие-то банальности. Федин спрашивал, конечно, Макса Гёльца, когда же он приедет в Советскую Россию? Тот отвечал, что скоро собирается и будет счастлив побывать в стране трудящихся. Должен сказать, что Макс Гёльц, чью авантюрно-разбойничью биографию я знал так же, как все читающие газеты, мне понравился. Что-то вроде "пролетарского Котовского". В разговоре — большая непосредственность, искренность, даже какая-то детскость, если хотите. Это не какой-то там "партийный спекулянт" Герцфельде. Гёльц — человек из народа, с своими бредовыми разбойно-анархо-коммунистическими идеями, причем, по-моему, гораздо больше "анархо", чем "коммуно". Сарынь на кичку! Бунтарь. Сорвиголова. Подлинный desperado! За столом он был весел, смеялся, выпивал, позднее он действительно уехал в Советский Союз, но зачем? Да только затем, чтобы его советские чекисты утопили где-то в Волге. Они-то сразу поняли, что Макс не их поля ягода, что это бакунинский человечина, "в сладости разрушенья есть творческое наслажденье". Вот Бакунину Макс подошел бы, но не Сталину же? Для Сталина такие люди были опасны, ибо по своей натуре никакой "обработке" поддаваться не могли. Сталин его и утопил в Волге, причем в газетах было сообщено о несчастном случае с товарищем Максом Гельцем: утонул, купаясь в реке ("как тонут маленькие дети"). Некрологи, конечно, были казенно-восхвалительные.

Когда мы вышли из виллы Герцфельде, к ней подкатил автомобиль с Эрнстом Толлером. Толлер выскочил из машины, бросившись к Федину, и, встретясь впервые, они заключили тоже друг друга в братские объятия. Толлер извинялся, сожалел, что не мог приехать раньше, и т. п., Федин тоже сожалел, вообще все вежливости были соблюдены. И мы тронулись в своей машине домой. Эрнст Толлер ничего для меня интересного не представлял, таких левых интеллектуалов я встречал десятки. Высокий, худой, с длинными волосами, типичный интеллигент-еврей. Красочного — ничего. Это не Макс Гёльц.

В машине мы обменивались с Фединым впечатлениями. Федин не был так жаден до людей, как я. Меня всегда интересовал и интересует каждый человек, и вовсе не для какой-то "литературы", а как некое *впервые увиденное существо.* И всегда желание — понять это человеко-явление *для себя,* а вовсе не для того, чтобы "взять в какое-то произведение". Федин же

наоборот — “был он только литератор модный”. Когда я заговорил о “явлении” Макса Гёльца, он поддакивал мне без интереса, а когда я сказал: “А эти девушки в каких-то белых хитонах просто очаровательны…” — он посмотрел на меня с явным соболезнованием, сказав: — “А ты понимаешь, что это за "очаровательные девушки" в хитонах? Они же приставлены к Максу…” — “Как "приставлены"?” — “Эх, вы, эмигранты, эмигранты, нехитрый народ, ничего-то вы, Роман, в наших делах не понимаете и никогда не поймете. Я как только глянул на "этих девушек", сразу все понял… Они лее приставлены к этому Максу "органами". И неважно, что они спят с ним, это, кстати, тоже входит в их службу, но это не главное, а главная их обязанность — *прояснить* Макса. Ты видишь же, он природный, настоящий разбойник, а разбойник — плохой партиец, потенциально опасен, вот девушки в хитонах его и освещают…”

Признаюсь, слова Федина меня поразили: “Костя, да ты уверен в этом?” Федин слегка засмеялся: “Больше чем уверен… У нас у всех ведь "верхнее чутье" есть, какого у тебя и у всех вас тут нет… Я их "флюиду" сразу почувствовал, у нас ведь тоже много таких "очаровательных девушек", правда, не в хитонах, но хитоны дела не меняют, и эти "очаровательницы" могут быть иногда довольно страшны”.

Федин был убедителен. “Дда, — думал я, — интересный "обед"”. Дня через два Федин позвонил мне, и мы встретились в какой-то большой пивной. За сосисками и пивом Федин, улыбаясь, сказал: “А знаешь, Роман, ты ведь был прав. Герцфельде на другой день устроил мне невероятный скандал. Как вы, говорит, могли привезти с собой Гуля? Это же эмигрант, белый офицер! Это совсем не наш человек, и прочее, и т. п.” — “Видишь, Костя! И Герцфельде по-своему прав, это твое тасканье меня в качестве "провожатого" совершенно ни к чему. И в следующий раз я уж не поеду”. — “Думаю, что следующего раза уже и не будет…” Но следующие разы, увы, были.

Так, помню, сидели мы с Фединым в большом ультранемецком ресторане “Ам Цоо”, около Зоологического сада. Ужинали. Федин пришел первым, и как только я подошел к столу, он, улыбаясь во все лицо, говорит: “Не удивляйтесь, сэр, сюда попозже, так, через часок, придет Илья Ионов, я ему сказал, что буду здесь с тобой ужинать, но он не только не возражал, а сказал, что хочет с тобой познакомиться, он что-то твое читал. Так что вот еще один "следующий раз". Но Ионов — мужик подходящий и нужный, он заведующий Госиздатом в Ленинграде, старый большевик, совершенно бездарный поэт, но у него слабость — любит "вращаться среди писателей". Выпустил даже

книгу своих стихов…”

(Федин назвал заглавие; не помню, не то “Красный мак”, не то “Красный луч”, вообще что-то красное).

Действительно, к концу ужина Илья Ионов (Илья Ионо-вич Бернштейн) пришел. Чем он кончил — не знаю, думаю, Сталин “шлепнул” его в ежовщину. Таких старых большевиков-евреев Сталин убивал в большом количестве. Невысокий, типичный еврей, довольно приятный, мягкий в общении, ничего особо интересного в разговоре с ним не было, кроме того, что Ионов говорил, как к нему, в его первый приезд в Берлин, приходил И.В.Гессен, редактор издательства “Слово”, предлагая приобрести изданные “Словом” книги.

— Эти люди не понимают, — говорил Ионов, — что если мы захотим переиздать что-нибудь заграничное, то возьмем и переиздадим, конвенции нет.

Были у меня с Фединым и другие “следующие разы”. Ездил я с ним на интервью в “Берлинер тагеблят” и на встречу с Вс. Э.Мейерхольдом и Зинаидой Райх. Один Федин ездить никак не любил. Часто Федин рассказывал очень интересные вещи, Так, однажды рассказал, как Михаила Зошенко вызывали в ОГПУ, стараясь завербовать.

— Вызвали повесткой через милицию на десять утра. А Мишка человек нервический, сразу впал в волнение, но делать нечего, поехал. Принял его какой-то чин чрезвычайно любезно, угощал папиросами, потом в кабинет подали чай с бутербродами, и чин все зондировал почву, чтобы Зощенко согласился осведомлять сие учреждение о заседаниях издательства (уж не помню какого, кажется, “Советский писатель”. — *Р.Г.)*.

Конечно, все это подавалось в весьма элегантной форме, — говорил Федин, — вы же, Михаил Михайлович, наш, советский человек, мы же вам полностью доверяем и т. д.

Но, Костя, почему же вызвали Зощенко? Ведь уж более неподходящего человека трудно себе представить? Подходящий, неподходящий. А им все равно, кого вы звать. У них так получилось, что не оказалось осведомителя в этом издательстве, вот они и решили поискать. Проморили они там Мишку несколько часов за всякими разговорами на тему: но ведь вы же наш, советский человек и прочее…

Зощенко, как рассказывал Федин, вертелся и так и сяк, как карась на сковороде, и когда “чины” поняли, что тут вряд ли что-нибудь выйдет путное, с него взяли подписку о неразглашении тайны вызова и содержания разговора и отпустили. “Мишка же, — говорил Федин, — ни о каком неразглашении уж и не думал, прямо оттуда сам не свой ко мне, как сумасшедший

влетел, на нем лица не было, он вообще неврастеник, а тут совершенно растерялся, что делать, почему вызвали именно его, и боялся до смерти, как бы опять не потянули".

Рассказывал Федин много об Алексее Толстом, с которым дружил, "Ну и врут тут ваши эмигрантские газеты, пишут будто Алешка как приехал, так и начал загребать миллионы. А на самом деле первые два-три года Толстые еле-еле сводили концы с концами и к нам — то Наталья Васильевна (Крандиевская), то ее сын, то сам Толстой прибегали за десятирублевкой, чтобы на базар сходить. Да и травили его всякие РАППы, ведь Маяковский орал, что в РСФСР Толстой не въедет на белом коне своего полного собрания сочинений. Но Толстой-то въехал все-таки… только потом, после свидания у Горького с *хозяином.* Тут Толстой и пошел в гору, а до этого его держали в черном теле, "выдерживали"".

Известно, что Алексей Толстой, перекрасив коня в красную масть, получил целых три сталинских премии и посмертно даже "прозвенел бронзой". Где-то, кажется, на Никитской в Москве ему стоит памятник ("рукотворный": граф Толстой комфортабельно сидит в большом кресле). Но мало кто знает, что на самом-то деле из слов "граф Алексей Толстой" истине соответствует только "Алексей". Был он и не "граф" и не "Толстой". О том, что настоящая фамилия Толстого должна быть Бострем, упоминает и Бунин в дневнике. Но только в Нью-Йорке от Марии Николаевны Толстой, хорошо знавшей семью графа Николая Толстого, я узнал о подлинном происхождении Алексея Толстого.

У графа Николая Толстого были два сына — Александр и Мстислав. В их семье гувернером был некто Бострем, с ним сошлась жена графа и забеременела. Толстой был человек благородный (а может быть, не хотел огласки, скандала) и покрыл любовный грех жены; ребенок родился *формально* как его сын — Толстой. Но после рождения Алексея Николаевича Толстого его "юридический" отец граф Н.Толстой порвал с женой все отношения. Порвали с ней отношения и сыновья — Александр и Мстислав. Оба они не считали Алексея — ни графом, ни Толстым. Так ребенок Алексей Толстой и вырос у матери, в Самарской губернии. Но когда граф Николай Толстой скончался, уже взрослый Алешка, как "сын", приехал получить свою часть наследства. И получил. С Мстиславом Толстым я встречался на юге Франции у своих знакомых Каминка, они были соседями по фермам недалеко от городка Монтобана.

Только после рассказа М.Н.Толстой мне стала понятна суть той *"биографии"* Алексея Толстого, которую он, по настоянию Ященки, дал в "Новую русскую книгу". В этой "биографии"

Толстой не сказал решительно *ни одного биографического слова о себе.* Это были какие-то “философические рассуждения” вокруг да около (не по-толстовски бледные, никчемные). Ященко страшно ругал Толстого за нее. Но теперь мне ясно, что Ященко тоже причин “несуразной биографии” не понимал. Так она и была напечатана в “НРК” в отделе “Писатели о себе”.

В литературной карьере знаменитая фамилия, разумеется, очень помогла Алексею Толстому. Если б он эту карьеру начал как Алексей Бострем, было бы много труднее. А тут сразу — знаменитое имя плюс несомненное дарование. Свою знаменитую фамилию во всех случаях жизни Толстой умел подать как надо. Даже в немецком участке.

Помню, как в “НРК” Сандро Кусиков, помирая со смеху, рассказывал о их ночном приключении. Толстой, Есенин, Кусиков и кто-то еще всю ночь пропьянствовали в ночном берлинском кабаке. Вывалились поздно на улицу и по русской привычке начали что-то орать, хохотать, хулиганить столь шумно, что к ним подошел шуцман, сделав замечание о нарушении тишины и спокойствия. Но какие там немецкие “тишина и спокойствие”!? “Славянские души — как степи!” Замечание шуцмана их только подогрело. Но шуцман оказался свирепым законником и уже гораздо строже предложил пьяным иностранцам следовать за ним в участок для составления протокола. Делать нечего. Пошли. Впереди — Толстой, большой, полный, барственно одетый.

Пришли в участок. За столом — полицейский чин. Шуцман докладывает о правонарушении. Чин молча берет какие-то бланки и макает перо в чернильницу для составления протокола. Первого, ближайшего к нему Толстого спрашивает; “Ваша фамилия?” — “Толстой”. — Чин внимательно посмотрел на Толстого. — “Национальность?” — “Русский”. — “Профессия?” — “Писатель”. И вдруг чин откладывает перо, встает и, пораженный, любезно улыбаясь, спрашивает: “Так это вы написали роман “Война и мир”?” — “Я!” — отвечает Толстой. — “Как я рад! Как я рад! — пожимает руку Толстого оказавшийся любителем литературы полицейский. — У меня есть все ваши произведения”. “Очень рад, очень рад”, — отвечает Толстой. И, сделав знак шуцману, полицейский говорит: “Не надо протокола…” — А Толстому: — “Очень приятно, герр Толстой, можете идти, и ваши друзья тоже, только, пожалуйста, на улице не шумите… очень, очень рад, что я встретился с вами, герр Толстой…”

Веселая компания во главе с Толстым вывалилась из участка и на улице уж не в состоянии была сдержать хохота от артистического проведения сцены автором “Войны и мира”.

Рассказ Кусикова показался Ященке чуть ли не анекдотом, и

он решил “допросить” самого Толстого. “Допросил”. И тот подтвердил, хохоча своим заразительным барским баритоном. Передавая мне об этом, Яшенко говорил: — “У Алешки ведь природное актерство в крови. Помню, до революции ехали мы как-то в поезде по Франции: я, он и его друг художник (к сожалению, я забыл фамилию. — Р.Г.). И вот входим в купе — в нем две англичанки и англичанин, по виду чопорные. Ну, мы сели, и вдруг Алешка обращается к своему другу-художнику "по-английски". Конечно, не по-английски, Алешка ни одного английского слова не знает, вообще в языках швах. А тут он заговорил на каком-то внезапно ad hoc изобретенном им языке, причем фонетически это было очень похоже на английский. Художник на лету понял Алешкину игру и как ни в чем не бывало отвечает ему "на том же языке". И вот оба они с совершенно серьезными лицами начали “оживленный разговор” на изобретенном ими языке. Да так ловко, что англичане таращат глаза, не понимая, что это за язык? А "собеседники" (главным образом Алешка!) продолжают игру, иногда хохоча, будто над чем-то сказанным. Я думал, рассказывал Ященко, что умру со смеха. А они так довольно долго проразговаривали, потом расхохотались и перешли на русский. У Алексея чертовы актерские способности…”

Из времен, когда Толстой в СССР уже пошел в гору, Фе-дин как-то рассказал о неприличном, но весьма характерном для Толстого хамском дурачестве. Был у Толстого прием, много народу: писатели с женами, высокие военные с женами, актеры, актрисы, вообще советский бомонд. Собрались в гостиной, но хозяин почему-то все не выходит. “Наконец, — говорит Федин, — вышел Алешка в прекрасном костюме, надушенный, выбритый, но сквозь ширинку просунут указательный палец. И так, с самым серьезным видом, подходит к дамам, целует ручки и говорит: "Василий Андреич Жуковский… Василий Андреич Жуковский"… Одних этот его палец шокировал, ничего не могли понять, "не оценили", другие смущено засмеялись, и сам Толстой под конец разразился гомерическим хохотом на всю квартиру и вынул палец из прорванного кармана”.

Рассказ Федина меня не удивил, я знал, что Толстой был способен на дикие и хамские дурачества. За этот “палец” Федин ругал Толстого: “Понимаешь, в гостиной — уважаемые дамы, актрисы, пожилые женщины, но с Алешки все как с гуся вода… Разразился хохотом и — всему конец, даже не извинился”.

Помню, я спросил как-то Федина о гремевшей по всей Советской России пьесе Толстого (и П.Щеголева) “Заговор императрицы”, приносившей ему дикие барыши, но неожиданно

снятой. Федин рассказал: “Этот "Заговор" я видел несколько раз. Пьеса халтурная, ерундовая, но поставлена была замечательно, и актеры были заняты изумительные. Особенно Монахов — Распутин. Ты представь, поднимается занавес, на авансцене, у себя в Петербурге — Распутин, один, растрепанный, со сна, босой, в русской рубахе — перед ним посудина с кислой капустой, и он — с похмелья — жрет эту капусту руками. Ни одного слова. Только жрет. Казалось бы, ничего особенного, а Монахов с похмелья, молча, так жрал эту капусту, что через две минуты зал разражался неистовыми аплодисментами. Монахов — гениальный актер…” — “Но почему же пьесу внезапно сняли, несмотря на такой успех?” — Федин улыбнулся: — “А сняли наверное правильно. У нас ведь наверху люди хитрые, и вот вдруг поняли, что народ-то валит на пьесу вовсе не для того, чтобы смотреть "Заговор", а для того, чтобы увидеть живую "императрицу". Вот и сняли”. — “Ну а песни "Марш Буденного", "Кирпичики" — пели-пели по всей стране и вдруг — кончилось…” — “А это другая статья. И тоже для вас, эмигрантов, непонятная. И "Марш Буденного" и "Кирпичики" умерли потому, что уж *очень все их пели,* а власти наши не любят, когда *нация хоть на чем-нибудь объединяется, пусть даже на песне* (буквальные слова Федина. — Р.Г.)… К тому же кто-то еще пустил слух, что "Марш Буденного" это просто аранжировка еврейской свадебной песни, что властям тоже неподходяще”.

Рассказал Федин как-то о том, как по Москве прошел слух, что Сталин тайно приезжал на могилу Аллилуевой в Новодевичьем монастыре и как там увидели его какие-то монашки и обомлели. И от них по Москве пошли шепоты, что “хозяин”-де приезжал на могилу жены, погибшей при самых странных обстоятельствах: не то он ее застрелил, не то Аллилуева, наговорив ему каких-то отчаянных политических откровенностей: “Ты мучитель! Ты мучишь весь народ!” — застрелилась. Но как только пошли по Москве такие слухи и шепоты, всех этих монашек сразу сграбастали и куда-то упрятали в места не столь отдаленные.

Тут я делаю некоторое отступление. Моя дружба с Б.И.Николаевским продолжалась. Я как раз писал исторический роман об Азефе. Б.И. снабжал меня ценными печатными и даже рукописными материалами из своего архива и из Парижа через милейшего человека, историка Сергея Григорьевича Сватикова. С Б.И. мы часто виделись. Интересная информация от живых людей из СССР для Б.И. всегда была золотым кладом, и рассказы Федина были ему, конечно, интересны, причем Б.И. был так тюремно-подпольно конспиративен, что ему можно было все рассказать:

нигде не проговорится, не оговорится, не оступится.

Б.И. состоял тогда членом “Заграничной делегации РСДРП (меньшевиков)”. Так назвали себя высланные (а некоторые и отпущенные Лениным с миром) берлинские меньшевики. Лидером и редактором “Социалистического вестника” (после смерти Мартова) был Ф.И.Дан. (“Гоц-Либер-Дан — 1917-го года”). Вел Ф.И.Дан “Социалистический вестник” “железной рукой” и в те годы нэпа занимал высокоталмудическую позицию, то есть был “левее Ленина”, ибо ленинского нэпа не признавал (страх перед крестьянством). Но это не была позиция Б.И.Николаевского, и его политических статей в “СВ” не было. Чтобы дать представление о позиции Дана, приведу самые краткие выдержки из “СВ”.

В кричащем разногласии с правоверным поклонником нэпа, лидером сменовеховцев профессором Н.В.Устряловым, который писал тогда о Ленине несусветную восторженную чепуху: “Ленин наш, Ленин подлинный сын России, ее национальный герой, рядом с Дмитрием Донским, Петром Великим, Пушкиным и Толстым”, лидеры “Социалистического вестника” писали совсем другую, но тоже (как показала история!) несусветную чепуху: “Власть поворачивается лицом к крепкому крестьянству, к кулаку. Теория классовой борьбы замещается теорией гармонии интересов крепкого хозяйства и деревенской бедноты. Деревенская администрация уже сейчас все больше подпадает под влияние кулацких элементов…” “Весь период военного коммунизма оказался переходным не от капитализма к коммунизму, а от старо-помещичье-капиталистического к новому крестьянско-капиталистическому хозяйству”. “Под покровом диктатуры пролетариата происходит оформление буржуазных элементов. Советская национализированная промышленность подчинена стихии крестьянского хозяйства…” И так далее. И тому подобное.

Эту основную талмудическую (и, на мой взгляд, вредную!) часть “Соц. вестника” я не читал ни при какой погоде. Да и вряд ли кто, кроме “миниатюрной” группки марксистов, ею интересовался. Но в “СВ” был очень интересный отдел — на последних страницах, петитом. Он назывался не то “Письма из России”, не то “Вести из России”. Вот им-то главным образом и ведал Б.И.Николаевский. “Вести из России” были без “идеологии”: только факты. И такого живого, злободневного материала ни в каком другом русском зарубежном журнале не было. И быть не могло. Потому, что только у меньшевиков тогда еще оставались живые связи с Советской Россией. Многие меньшевики работали на больших постах в высоких советских учреждениях. Многие — в берлинском торгпредстве и

полпредстве, позже став “невозвращенцами”. Из торгпредства “выбрали свободу” — Н.А.Орлов (автор законопроекта о нэпе), юрисконсульт торгпредства А.Ю.Рапопорт, его помощник А.А.Гольдштейн, И.А. Раев и многие другие. Некоторые “невозвращенцы” уходили с хорошими деньгами. В Берлине ходил тогда милый анекдот: “Торгпредство ничего не имеет против Рабиновича но Рабинович имеет дом против торгпредства”. В полпредстве работал Ю.П. Денике, тоже “эмигрировавший” в меньшевицкую группу. Все эти связи по некой “пантофельной почте” давали “СВ” ценную информацию для “Вестей из России”.

Кстати, в этом отделе Б.И. (уже в Париже) опубликовал законспирированное “Письмо старого большевика”, которое, как теперь общеизвестно, было сводкой его разговоров с приезжавшим за границу Бухариным и которым сейчас пользуются все заграничные “историки КПСС”. Так вот, из встреч с Фединым, Сейфуллиной, Тыняновым, Груздевым и другими советскими писателями я рассказывал Б.И. много, причем то, что Б.И. печатал в отделе “Вести из России”, тщательно камуфлировалось, чтобы никак не подвести никого, и печаталось только, когда сказители были уже в СССР. Жизнь показала, что никого мы и не подвели. Эту информацию часто перепечатывала парижская ежедневная газета “Последние новости” (единственная, по словам Троцкого, газета с Запада, которую читал Сталин, ибо иностранных языков не знал). Так, в “ПН” был перепечатан рассказ о вызове выдающегося писателя в ОГПУ на предмет “завербования в стукачи” (фамилия, разумеется, не называлась). Рассказ о поездке Сталина на могилу Аллилуевой как сейчас вижу прекрасно поданным на второй странице “Последних новостей”. Перепечатывали это в переводах и немецкие и французские газеты.

Помню, как Б.И. хохотал своим высоким смехом, приговаривая: “Да, это он, это он!” — когда я передал ему полуанекдотический факт о Д.Б.Рязанове (Гольдендах, а не Гольденбах, как дано у Л.Шапиро в “Истории КПСС” и у А.Солженицына в “Ленин в Цюрихе”). Рязанов был известный большевик, культурный человек, историк марксизма, отличавшийся своей независимостью и большим остроумием. Он был заведующий Центрархива и директор Института марксизма, представителем которого на Западе он официально взял (меньшевика!) Б.И.Николаевского. Тогда это еще было возможно.

Так вот, будучи человеком духовно свободным, Рязанов давно увидел, куда заворачивает головка компартии под флагом (милого его сердцу) марксизма, и на XIсъезде партии Рязанов

сказал довольно едкую тираду, оставшуюся в истории: “Говорят, — сказал Рязанов, — что английский парламент все может; он не может только превратить мужчину в женщину. Наш ЦК куда сильнее. Он не одного очень революционного мужчину превратил в бабу, и число таких баб невероятно размножается”.

Федин же рассказал мне не бывшую, конечно, в печати такую историю. Рязанов должен был приехать в Ленинград прочесть какой-то серьезный доклад по марксизму (великим знатоком которого он являлся). “Ну, конечно, — говорил Федин, — наши ленинградские бонзы постарались набить зал до отказу, чуть ли не тысячу человек нагнали. Председательствовал М.Н.Покровский. Рязанов вышел на трибуну, взглянул в зал, помолчал и вдруг обратился к председателю: "Скажите, пожалуйста, товарищ Покровский, это все историки и все марксисты?" — "Да, товарищ Рязанов". — "Ну, в таком случае я доклада читать не буду", — сошел с трибуны и уехал”. Николаевский, повторяю, хохотал чуть не до слез. “Да, да, это он, это на него очень похоже!”

Интересный факт о Рязанове рассказал Н.И.Ульянов в “НЖ” (кн. 126), в статье об историке С.Ф.Платонове, который был помощником Рязанова в Центрархиве. “Однажды пришла в Центрархив со слезами вдова расстрелянного царского министра юстиции Щегловитова. Ее нигде не принимали на работу. Просилась на службу… Платонов колебался. Как доложить большевику и еврею Рязанову просьбу вдовы создателя дела Бейлиса? К величайшему удивлению, последовало распоряжение: "Взять!". И вдова была устроена”.

Но все эти смелости и “суворовские” экстраваганции привели, конечно, к тому, что Сталин Рязанова “кончил”. В 1931 году он был арестован и сослан в Самару. В бабу превратить Рязанова не удалось. И в 1938 году Сталин “шлепнул” его в каком-то ежовском подвале. Рязанову пришили “подпольные контакты с меньшевиками” (“Союзное бюро меньшевиков”).

Вспоминаю, как однажды в Берлине Б.И. звонит мне по телефону очень поздно, извиняется, но дело, говорит, спешное: “В Берлин приехал Рязанов и этой ночью уезжает. Я ему говорил о вашей книге об Азефе, и он очень просит достать ее ему, хочет прочесть в дороге”. И Б.И. ночью приезжал ко мне за экземпляром “Генерала Бо”, который такому читателю я дал с удовольствием.

Как-то Федин рассказал мне про поэта и переводчика Валентина Стенича, славившегося среди писательской братии остроумием и необыкновенной смелостью (вроде Рязанова, но у Рязанова был большой партийный стаж, а у Стенича — ничего). “Один раз, — говорил Федин, — идем мы компанией из

Госиздата. Остановились на Невском у книжного магазина, среди книг выставлен большой бюст Сталина. И вдруг, схватившись за голову, Стенич кричит: "И этот идиот с узким лбом правит нами! Правит всей Россией!" Конечно, вмиг вокруг Стенича образовалась пустота, все шарахнулись кто куда. Но это обошлось. Только мы поняли, что со Стеничем ходить по улицам небезопасно. В другой раз Стенич отколол такую штуку. Были мы, несколько писателей-ленинградцев, приглашены в Кремль к Ольге Давыдовне Каменевой (сестра Троцкого)… Ну, пришли, собралось довольно большое общество — сам Каменев, конечно, он из себя изображал радушного хозяина, говорил жене, чтобы она подала какие-то там котлетки, все поглаживал бородку, кто-то говорил, что с этой бородкой он похож на Николая II, и правда, что-то отдаленно общее было, пожалуй. Был Радек со своим вечным остроумием, других "вождей" не было, но писателей набилось много, времена были не особенно сытные, и поесть у Каменева котлетки было приятно. Выступали, читали стихи, какие-то отрывки… И кто-то поддразнил Стенича, вот ты, говорят, смелый, а ведь не прочтешь здесь свои стихи о Совнаркоме… Стенич вскинулся и говорит: "Конечно, прочту!" — "Ой ли?" — И Стенич взял и прочел свою невероятную "контру", где была такая строфа:

Дождусь ли я счастливейшего года,
Когда падет жидовский сей Содом.
Увижу ль я в Бутырках наркомпрода
И на фонариках российский Совнарком?

Воцарилась зловещая тишина и страшная неловкость. Кстати, Стенич еврей, настоящая его фамилия Сметанич. Тишину прервал Радек, резко сказав, что стихи, во-первых, пошлые, во-вторых, черносотенные, и он советует автору о них забыть навсегда. За ним то же самое сказал и Каменев. Стенич сидел молча, и все "перешли к очередным делам" — то есть к еде, питью и "разговорам, для которых приехали".

От себя скажу, что Стенич, конечно, не уберегся. Острый язык и злой ум его все-таки подвели: сначала он посидел в тюрьме ОГПУ, его выпустили с “наставлением”, а потом — в ежовщину — расстреляли.

С Фединым у нас были очень близкие отношения, и могу засвидетельствовать, что тогда (в 20-х годах), говоря о большевиках, он называл их — “они”. А как относился к этим “они”, показывает хотя бы его рассказ об одном приеме в Кремле. Были тут и цекисты, и чекисты, и военная головка, и писатели, и актеры. Федин рассказывал, как невероятно жрали и пили. И говорил, что на приеме был знаменитый по Беломорканалу палач-

чекист Фирин. Известно, что многие писатели (Толстой, Шкловский, даже неврастенический Зощенко и многие другие) “воспели” эту чекистскую фараонову бессмыслицу, стоившую смерти сотням тысяч людей. Федин говорил, что ему удалось увернуться и не поехать на канал, а на приеме в Кремле он всячески старался избежать столкнуться с Фириным. И в Кремле избежал. Но когда уже возвращался в Ленинград и сидел один в купе, к нему вдруг из другого купе вошел этот самый знаменитый Фирин и сразу же повел разговор о том, как жаль, что Федин не приехал на Беломор, что он должен обязательно приехать “к ним”, что ему будет там о чем написать и пр., и т. п. “Я вертелся как мог, — говорил Федин, — наотрез отказаться невозможно, ну, я обещал как-нибудь приехать, но все-таки так и увернулся от Беломорканала”.

Помню еще один рассказ Федина об Алексее Толстом. Кстати, Федин очень хорошо рассказывал и представлял людей, в нем было актерство (не столь броское, как в Толстом, но было). “Приехали как-то в дом Герцена в Москве Алешка Толстой и Пашка Сухотин поздно ночью, пьяные. Толстой требует водки. Но лакей видит, что "гражданин в доску", да и поздно, не дает. — "Как! Нет!? Позови мне сейчас же е… т… м… Герцена!" — А Герценом в доме Герцена называется управляющий рестораном, некий "метр д'отель", человек с ассирийской бородой. — Приходит Герцен. — "Дай водки!" — "Не могу, час поздний…" — "Что?! Да ты знаешь, кто я и кто ты!? Ты — хам, я тебе сейчас морду горчицей вымажу!" — "А вы поосторожней, гражданин Толстой." — "Ах, так прорастак твою мать!" — Толстой делает скандал, кроет лакеев и "метр д'отеля" матом, называет хамами. — "Кто я и кто вы!" — Но под конец, хоть и пьян Толстой, но почувствовал, что может выйти скверно, все же "рабоче-крестьянская" власть. Идет на кухню. И как будто спьяну бормочет поварам и лакеям: "Ну, я вас крыл е…, теперь вы меня кройте", — садится на плиту. — "Нет, это вам даром не пройдет, гражданин Толстой, не пройдет…" Утром Толстой торопливо уехал в Ленинград. Лакеи поершились, поершились, грозили в суд подать, пошумели, но сверху все дело замяли…” Федину Толстой говорил: “Я за границей, Костя, везде могу жить, только не в Париже, в Париже мне обязательно набьют морду, ха-ха-ха!” — гомерический хохот Толстого.

Небезынтересны были рассказы Федина о всяких не “великосветских”, а “великосоветских” придворных историях. Например, Сталин и Луначарский. “Луначарский чувствует под собой "колебание почвы". Чувствует — надо просить прием. Просит. Сталин не принимает. Луначарский в волнении. Не

принимает. Наконец — принят. Наркомпрос начинает выяснять, говорит, говорит — в ответ полное молчанье, только презрительный взгляд исподлобья. Наконец Луначарский начинает "протестовать" и вспоминать о своих заслугах… и вдруг реплика: "Тэбя болшэ нэт!" Прием кончен. Оказывается, в этот день уже подписан приказ о назначении на его место Бубнова".

Подобную же историю Федин рассказывал о Рудзутаке. "У Рудзутака под Москвой богатая вилла какого-то бывшего богача, и ведет он там широкую барскую жизнь. Вдруг чувствует "колебание почвы", чувствует, что надо "идти в Мекку". Просит приема. Не принимают. Пять месяцев просит приема Рудзутак. На шестом месяце принимают, но коротко. "Вэдэшь нэ коммунистичэский образ жизни. За это отбираем у тэбя на первый раз виллу и дадим ее Горькому. В слэду-ющий раз будэт хуже." Прием кончен. И Рудзутак молча удаляется".

Неплох был рассказ и о Крыленко. "Крыленко охотился на медведя. Обкладчик неправильно расставил охотников по номерам, так, что, когда гон начался, медведь вышел мимо номеров. Крыленко пришел в такое бешенство, что вошедшего обкладчика ударил по морде арапником так, что тот повалился с ног…" Жест вполне "крепостнический", хоть "товарищ Абрам" и посвятил всю свою жизнь борьбе "за счастье рабочих и крестьян".

Говорил Федин о всеобщей неприязни писателей к Демьяну Бедному. Рассказал, что в Питере у одного лица бережется бланк-приказ Демьяна от 1919 года какому-то начальнику железнодорожной станции: подать Демьяну салон-вагон. Написаны приказательно несколько слов с подписью: "Демьян". О Демьяне Федин рассказывал и более интересный случай. "Из-за каких-то гонорарных недоразумений Демьян был в ссоре с "Красной газетой" и не давал туда ни строки, запрещая даже перепечатывать его басни. Но однажды к редактору "Красной газеты" Чагину вдруг звонок. Звонит Демьян, говорит, что хочет мириться и будет печататься, но просит немедленно прислать ему пятьсот рублей, он сидит у антиквара-букиниста на проспекте 25 Октября. Чагин и так и сяк, говорит, сию минуту в кассе свободных денег нет. Но Демьян упрашивает, говорит, что пятьсот рублей ему нужны сейчас дозарезу. И наконец пятьсот рублей Чагин отправляет Демьяну к антиквару-букинисту. Оказывается, ловкий антиквар случайно где-то приобрел письма Демьяна к его незаконному, но кровному отцу вел. кн. Константину Константиновичу и сообщил об этом в Москву Демьяну. Тот стремглав примчался в Ленинград выкупать их. Но для выкупа до двух тысяч рублей не хватало пятьсот. И не выходя из магазина, Демьян звонил в "Красную", предлагая Чагину

мировую, только чтоб тот немедленно привез ему эти пятьсот рублей. Ну, и выкупил". Но Федин, смеясь, говорил: "Я этого антиквара-букиниста превосходно знаю, он хитруший черт, и я уверен, что парочку самых махровых писем он все-таки на всякий случай припрятал".

Интересно рассказывал Федин о знаменитом академике Ив. Петр. Павлове, который "единственный во всем Союзе" открыто не признавал советскую власть и не стеснялся об этом говорить с кафедры. Но так как Ленин завещал "сохранить пролетариату Павлова", то академику все это сходило с рук. Федин говорил, что Павлов держится не только независимо, но "вызывающе". В одной из вступительных лекций он сказал, например, что "самая глупая книга, которую он когда-либо читал, это "Азбука коммунизма" Н.Бухарина". А когда в Военно-медицинской академии началась "чистка студентов" и одним из пунктов чистки было "происхождение", то Павлов с кафедры сказал: "Если считается, что в этом учебном заведении не могут обучаться все желающие и, в частности, не могут обучаться лица духовного происхождения, то, вероятно, тем более не могут обучать лица такого же происхождения. Во всяком случае, я считаю для себя, как человека происходящего из духовного звания, преподавать в Военно-медицинской академии неуместным". И преподавание прекратил. К нему — депутации, делегации. Но старик остался непреклонен.

Другой случай — по рассказу Федина — с Госиздатом. Госиздат давно хотел издать труды Павлова. Но старик долго не соглашался. Наконец — согласился. Среди фотографий (для помещения в книге) Павлов дал свою фотографию с отцом священником, в рясе и с наперсным крестом на груди. В Госиздате впали в панику, вопрос дошел до вершин, то есть до Сталина. И вершины сказали: поместить. Но Павлов этим не ограничился, он посвятил свои труды своему сыну, а сын Павлова убит в Белой армии. И это посвящение дошло до верхов. Но верхи и тут сказали: поместить.

Еще случай. Когда Павлов во время полпредства Красина в Лондоне приехал туда на конгресс физиологов, Красин в его честь дал банкет. На этом банкете собрались все представители конгресса. Ждут, а Павлова нет, ждут — нет. Наконец Красину докладывают: академик приехал. Распахивается дверь, и в зал, где собралось множество людей, входит Павлов с колодкой всех царских наград. Но Красин — человек умный, воспитанный, не показав ни малейшего замешательства, любезно поспешил навстречу знаменитому академику. И банкет начался…

Я много записал рассказов Федина, всего не приведешь. Были

короткие записи. Например, такие. Андрей Белый приехал в Ленинград к Толстому. Вдруг телеграмма из Москвы, что в его отсутствие в квартире произведен обыск и забраны все дневники. Белый в ужасе телеграфирует Горькому. Ответная телеграмма: меры приняты, будьте спокойны. Белый все-таки мчится назад в Москву. Дневники он получил назад (после снятия с них копий, конечно) — продолжайте, мол, дальше…

Процесс меньшевиков, говорил Федин, начался с отобрания дневников у Суханова, которые он вел в течение многих лет. Они и послужили “основанием для процесса”. Но процесс, по Федину, никакого “резонанса” не имел потому, что публика уже “попривыкла” к таким “постановкам”.

Как-то я разговаривал с Фединым на тему, возможно ли “свержение советской власти” (во что я не верил). Федин сказал неопределенно: “Переверток? Черт его знает, но не дай Бог…” — “Почему?” — “Да потому, что ты даже не представляешь себе, что бы тогда произошло. Ведь у нас под полом спрессована такая ненависть, что оторвись хоть одна половица, оттуда вымахнет такой огонь, что все сожжет. Резали бы без устали… И не спрашивали бы: партийный иль беспартийный, а спрашивали бы: из какой кормушки ел, когда мы недоедали и голодали? И тем, кто ест из привилегированной кормушки, никому пощады бы не было… Знаешь, я видел как-то крестный ход у нас, и вот хоругви несли такие здоровенные, крепкие, толстолобые дяди… Я и подумал, дай им история волю, да они бы под корень всех нас вырезали… Ведь мы же все, увы, прикреплены к самой привилегированной "кормушке"… Вот в чем дело, Роман…”

Помню, я сказал, что “они не дураки”, всех кого надо взяли на коммунистический корабль и вместе плывут…

— А кто сказал, что “они” дураки? Что-что, а зарезать себя не дадут, будьте уверены! Это только тут у вас в эмиграции людишки все в какой-то розовой водице купаются — примирение, перерождение, эволюция, национализация революции, “засыпание рва”… все это чепуха… читал я тут передовицы, например, Милюкова в “Последних новостях” и вижу, ничего-то тут в эмиграции не понимают и никогда не поймут. Потому что мы там живем в мире совсем иных категорий, а вы тут — в категориях 17 года… или даже *до* 17 года… вот в чем дело… какое же тут понимание?..

О приезде Бернарда Шоу в Ленинград Федин рассказал довольно занятно. Приезд был организован “глупейшим образом”, говорил Федин, это был просто “скандал”. С вокзала Шоу повезли сразу осматривать Эрмитаж, потом еще куда-то, потом в “Европейскую” гостиницу на банкет. Шоу это взбесило, и

он сказал:

— У нас в Англии есть хорошая поговорка: если собака голодна, ее не заставляют делать фокусы.

Поняли. И дали Шоу сначала отдохнуть. На банкете, устроенном позднее, председателем был некий товарищ Рафаил, как говорил Федин, — дурак полный. Именно он задал Шоу такой вопрос:

— Правда ли, что в Англии писатели получают ни с чем несоизмеримые гонорары, и думает ли Шоу, что это хорошо, в то время когда английский пролетариат недоедает и прочее. Вопрос перевел один переводчик. Шоу не понял. Перевел второй — Шоу не понял. Перевел Луначарский. Шоу не понял. Перевел Маршак. Шоу не понял. Но сказал: “Я не понимаю, что мне говорят переводчики, но догадываюсь, что вопрос идет о писательских гонорарах в Англии. Эти гонорары хороши. Во всяком случае, если б в Англии все было национализирование, я бы хотел, чтобы писательские гонорары остались в неприкосновенности…” Хохот, недоумение…

Не помню точно, сколько раз Федин приезжал в Берлин. Чуть ли не каждый год. Первый раз, по-моему, в 1928 году, последний в 1932. И всегда мы часто виделись, он бывал у нас. Ездили по Берлину. Не раз бывали вместе у Владимира Пименовича Крымова в его барской вилле в Целлендорфе. Владимир Пименович был красочный человек. Но не как писатель. Хоть и был он плодовит, писательство его было, выражаясь по-французски, “скрипкой Энгра”. Много писал, сам себя издавал (самиздат). Красочен Крымов был как *делец,* умел деньги делать из воздуха, был очень богат и чудовищно скуп. О нем я подробно расскажу в “России во Франции”, когда мне пришлось пожить у него (правда, недолго) в его вилле в Шату под Парижем. Кстати, эта вилла ранее принадлежала знаменитой шпионке Мата Хари.

Сейчас скажу только, что у богача Крымова была некая слабость, которую он и не скрывал, а афишировал: он не мог жить без людей. Поэтому за завтраками и обедами всегда должны были быть какие-нибудь гости. Причем завтраки и обеды были не только не “скупые”, а просто-таки первоклассные: и закуски, и всякие вкусности, а из напитков — большой погреб: чего душа хочет, вплоть до шампанеи. Накрывался стол всегда на застекленной веранде, выходившей в сад. Уж не знаю почему, Владимир Пименович очень любил гостей фотографировать. Раньше я этой его любви не разделял, а теперь говорю — очень хорошо делал, по крайней мере в моем архиве остались фотографии — и с Фединым, и с Толстым, и с Николаевским, и с другими.

Последний приезд Федина был тревожный. Федин давно был болен туберкулезом. Часто кашлял и страшновато (с мокротой). А в августе 1931 года я получил от него телеграмму, что выезжает за границу лечиться. Следом пришло письмо. Федин очень просил меня приехать в Штеттин его встретить и проводить до Берлина, так как один, пожалуй, не доедет, до того слаб.

К указанному дню я выехал в Штеттин. Приехал за день до прихода парохода. День проходил по приятному, незнакомому Штеттину. (“И стоят чужие города, / И чужая плещется вода”). Переночевал в крохотном отельчике у пристани и в нужный час ждал Федина. Должен сказать, видом его я был потрясен. Федин был слаб и худ как щепка. Щеки ввалились, постарел страшно, отрастил почему-то бороду. Словом, передо мной был больной старик, непрестанно кашлявший.

Мы облобызались. Я взял его чемодан, он нести был не в состоянии. Железнодорожные билеты я взял заранее. Ехали в купе вдвоем. Костя все время кашлял в платок (кашлял с мокротой). Глядя на него, я думал: “Не жилец!” Я спросил его: к кому он хочет обратиться в Берлине? Он назвал какого-то светилу-профессора, рекомендованного питерскими врачами, и сказал, что *в* Ленинграде ему посоветовали поселиться в Шварцвальде. Тогда я изложил ему план моей жены.

В Берлине у нас есть большой друг доктор Конрад Конрадович Кюне. Кюне немец, очень долго живший в России (может быть, даже родившийся там). Кюне замечательный доктор, специалист по туберкулезу. И так как он сам когда-то был болен туберкулезом, то, естественно, знает эту болезнь как должно. Олечка предлагает Федину до обращения к знаменитости пойти к Кюне. Федин ничего не теряет. Кюне его сразу примет (Олечка уже говорила с Кюне о нем). Пусть Кюне его осмотрит и скажет свое мнение. Причем я предупредил Федина, что Конрад Конрадович доктор своеобразный. Он говорит пациентам всю правду в глаза. Так, на вопрос одного больного: какую ему держать диету? — Кюне сказал: никакую, ешьте все, потому что вам осталось жить несколько месяцев. Я сказал Федину, что и он может получить какой-нибудь “страшный” диагноз. Но диагноз Кюне его ни к чему не обяжет, после него пусть пойдет к знаменитости. Кстати, я сказал, что Кюне не сребролюбец и, может быть, с него, как с нашего друга, совсем ничего не возьмет. Федин благодарил и сказал, что так и сделает.

В назначенный день в Берлине Федин отправился на прием к Конраду Конрадовичу. Тот его всячески исследовал и сказал: “Никакой Шварцвальд вам не поможет, слишком низко. У вас есть только один выход: немедленно ехать в Давос. Там вам сделают

пневмоторакс обоих легких. И оставят на давосском воздухе. Выжить у вас — пять процентов: это зависит от того, подойдет ли вам давосский горный воздух, некоторые после пневмоторакса легких его не выдерживают. Но если давосский воздух подойдет, тогда есть некоторый шанс, что поправитесь".

После приема у Кюне Федин решил, что ни к какой знаменитости он не пойдет. Кюне произвел на него деловое впечатление, он ему верит. И так как Кюне советовал не медлить ни одного дня, ибо состояние здоровья критическое, то, не задерживаясь, поедет в Давос с письмом Кюне к доктору давосского санатория.

Так и было. Швейцарское консульство без задержки дало Федину визу, и он отбыл в Давос. Здесь Федину повезло. Оба пневмоторакса он хорошо перенес. А давосский воздух подошел ему как нельзя лучше. Итак, план Олечки пойти к доктору Кюне спас Федину жизнь в буквальном смысле слова. После Давоса Федин прожил (да еще в какой кипучей деятельности!) много лет, дожив до глубокой старости. И под старость — надо признать! — сделал немало гадостей в русской литературе, особенно в отношении Пастернака и Солженицына. Но этот переход Федина — от писателя к советскому вельможе (генсеку ССП, председателю ССП, депутату, лауреату) — психологически не сложен.

Из Швейцарии Федин часто писал мне и жене, присылал фотографии, которые до сих пор у меня в архиве. Описывал, как быстро поправляется, на сколько фунтов потолстел, как целебен воздух Давоса и прочее. А на моем столе еще стоит коробочка карельской березы, ручной кустарной работы, привезенная Фединым в подарок, когда я встретил его в Штеттине.

Под конец пребывания в Давосе — с начала сентября 1931 года до конца мая 1932 года — Федин совсем поправился. На последней фотографии — надпись: "Посмотри, как я потолстел!" Действительно, вид был совсем здорового человека.

После Швейцарии Федин провел некоторое время в Берлине. Это было, вероятно, в июне 1932 года. Но к концу года Федин должен был возвращаться в Ленинград, а из СССР шли самые скверные вести об ухудшении жизни во всех смыслах ("хвосты за керосином", "достать селедку — проблема", "завинчивание всех гаек" и т. д.). Это Федина, естественно, беспокоило. Помню, звонит он по телефону и говорит, что наше свидание надо отложить потому, что приехал Всеволод Иванов, завтра будет у него и от Всеволода он все узнает о "положении на родине". Отложили. А дня через два я у Федина в пансионе познакомился с автором "Бронепоезда".

Всев. Иванов был совсем не чета Федину. Некрасивый по внешности, но сразу видно, что умный и по характеру сильный, твердый, с посторонними замкнутый человек. “Провожать” его куда-нибудь, как Федина, не было никакой надобности. Мы пошли втроем в ресторан. В то время я как раз выпустил в Берлине у “Петрополиса” (“Парабола”) книгу “Тухачевский”. Но вышла она всего каких-нибудь дней десять, и я даже не успел ее дать Федину. В ресторане среди незначительного разговора Всеволод Иванов неожиданно бросает мне:

Ну и книжечку вы написали… ничего себе…Какую книжку? — искренне удивился я. Да о Тухачевском. Да где же вы могли ее видеть, она только что тут вы шла.

Где видел? — с какой-то не очень приятной улыбкой и не очень приятным тоном сказал Иванов. — У двух людей в Москве. Одну — на столе у самого Михаила Николаевича, а другую у Яши Агранова (так и сказал “Яши”. В числе прочих писателей Всев. Иванов бывал у этого омерзительного чекиста, имевшего отношение и к литературе).

Мне почему-то это сообщение Иванова было неприятно. У Агранова? У самого Тухачевского? С такой молниеносной быстротой? По лицу Федина я понял, что и он тут чем-то “шокирован”, хотя книги моей не знает, но по тону Иванова, вероятно, понял, что с ней что-то неладно. Ни в какие расспросы Иванова я, разумеется, не пускался. И к теме о моей книге не возвращались. Среди разговора Федин предложил Иванову поехать завтра с нами к Крымову на обед, тот согласился.

А когда мы с Фединым остались одни, он сказал, что сведения, идущие из СССР и о “завинчивании гаек”, и о резком ухудшении продовольственного положения, даже в Москве и Питере, — верны. Иванов ему рассказал какие-то удручающие вещи. “Ну, а Всеволод серьезный мужик и настоящий друг. Если говорит — стало быть, так”.

На следующий день мы втроем были у В.П.Крымова. Его милая жена, Берта Владимировна, и на этот раз сама себя превзошла в угощении. За столом Владимир Пименович подливал гостям напитки (он любил, чтоб гости становились все разговорчивее), стал расспрашивать Иванова о положении в Советской России — верны ли такие-то слухи, верны ли такие-то сообщения, но Всев. Иванова ни водкой, ни коньяком, ни шампанским не подмочишь. Он отвечал ловко, увертливо. И из его ответов никакой “картины” составить было нельзя. Эту “неразговорчивость” умный Крымов быстро понял и перешел на безболезненные темы.

Перед отъездом Федина в Ленинград мы еще раз встретились

в Берлине. Он возвращался в СССР из Шварцвальда, из Сан-Блазиена. Но эта встреча оказалась довольно “драматической”. В Шварцвальд я послал ему мои последние книги “Тухачевский” и “Красные маршалы”, вышедшие у “Петрополиса” (“Парабола”). И от них (особенно от последней) Фе-дин “пришел в ужас”. Было от чего. В предисловии к “Красным маршалам” я писал: “Может быть, не было еще исторического явления более парадоксального, чем русская революция. По существу своему крестьянская, а потому национальная, оно вскоре была втиснута Лениным в прокрустово ложе коммунистической и интернационалистской <…> Понятно, что меры коммунистической олигархии направлены против русского крестьянства <…> Сталин с своими заплечных дел мастерами не только обрубает ноги, он карнает народное тело со всех сторон ножницами пятилетки и коллективизации и втискивает это тело в рамку интернационального комму-низма <…> Борьба крестьянства с авантюристически навязанным доктринерским коммунизмом идет сейчас со всей ожесточенностью…” И так далее.

При встрече первые же слова Федина были:

Роман, как ты мог такое написать? Написал, Костя, потому что так чувствую. Но ты же теперь у нас будешь в “активных врагах народа”?

— Без сомненья. Но знаешь, Костя, после всех этих зверств коллективизации, террора — я их ненавижу так же, как ненавидел в 1917 году.

Дело твое, конечно, — мрачно и недовольно проговорил Федин, — но мы с тобой больше переписываться не можем. Ты понимаешь это? Разумеется. Думаю, что не можем.

Простились мы неплохо. Федин еще раз благодарил меня и жену за доктора Кюне. И отбыл в СССР…

С тех пор, как я “перешел в стан активных врагов народа”, я считал, что с Фединым никогда не встречусь. Это оказалось неверно. Судьба свела нас еще раз. Это было в 1934 году в Париже, куда мы в сентябре 1933 года уехали с женой из Германии после моего заключенья в концлагере “Ораниенбург”. Узнал я о приезде Федина в Париж от Евг. Ив. Замятина, которому Федин писал довольно нехорошие (по-моему) письма, весьма “дипломатично” уговаривая “вернуться на родину”. Но Замятин был настроен резко антибольшевицки и ни на каких “червяков” не клюнул. Замятин дал мне телефон отеля Федина и час, когда ему можно звонить. Я позвонил. Разговор был как будто дружеский, но Федин все же сказал: “Ты понимаешь, Роман, что теперь нам встречаться не очень удобно”. — “Вполне

понимаю, что *тебе* неудобно, я-то готов встретиться когда хочешь". И мы все-таки встретились. Федин приехал к нам.

Он расспрашивал меня о моем сидении в гитлеровском кацете, о нашей семье, о докторе Кюне. Но разговор все-таки как-то не шел, не клеился, прежних простых дружеских отношений не было. Федин повторил об "активном враге на- рода". Я подтвердил. На прощанье сказал: "Ну, теперь вряд ли когда увидимся. Скажу тебе прямо, если меня вызовут в известное учреждение (это учреждение талантливый Вл. Войнович хорошо называет — "ТУДА КУДА НАДО". — Р.Г.) и будут спрашивать о тебе, скажу, что ты продался иностранным разведкам". Я обмер и взмолился: "Костя, да ты что, в уме? Скажи, что я противник террора, коллективизации, диктатуры партии, все как есть." Но Федин безнадежно махнул рукой, "Все вы, эмигранты, одним миром мазаны. Да ты понимаешь, что, если я скажу, что ты "идейный противник того-сего", там этого просто не поймут, это для них слишком сложно. А надо сказать так, чтоб им было понятно: вот продался иностранным разведкам — это им вполне понятно, это на их языке". И Федин так убедительно об этом говорил, что я в свою очередь махнул рукой и сказал: "Ну, говори, что хочешь, как тебе удобней". — "Да, может, меня никто и спрашивать не будет. Это так, на всякий случай говорю. А тебя прощу, если будешь писать обо мне — выбирай самые черные краски, не стесняйся, пожалуйста, пиши, что я лакей компартии, что я сволочь, что я изнасиловал кошку… это для меня будет самое подходящее".

Не знаю, вызывали ли Федина ТЕ КОМУ НАДО в ТУДА КУДА НАДО? Но я о Федине с тех пор ничего не писал. И знал, что теперь-то мы с ним никогда не встретимся. Но произошла еще одна вроде как бы "встреча". Негаданная.

Когда мы с женой после конца мировой войны, в 1945 году, вернулись в Париж из Гаскони (где больше четырех лет были сельскохозяйственными батраками), эта встреча и произошла. Обстоятельства ее таковы. В Париже у меня был близкий друг Яков Борисович Рабинович. Дружили мы с Берлина 1920 года. Я.Б. был человек не без блеска: умница, прекрасно образованный, широкой души. О нем я буду писать в "России во Франции". А тут скажу только, что Я.Б. во время войны был руководителем подпольного еврейского (он был сионист) и эмигрантско-русского движения "Сопротивления". И в 1945 году от какой-то сионистской организации поехал в Германию на Нюрнбергский процесс. Я у него был как раз накануне его отъезда. Рабинович сказал, что вернется через две недели.

И вот в самом конце декабря получаю в Париже

“пневматичку”, в ней Я.Б. пишет, что просит прийти к нему, ибо привез мне самый сердечный привет с Нюрнбергского процесса. И я и Олечка ничего не поняли. Вошел я к Я.Б. со словами: “От кого же привет — от Риббентропа или от Розенберга?” Я.Б. засмеялся (он смеялся очень заразительно). — “Никак нет, ни от того ни от другого, а от Константина Федина!” Я так и ахнул.

Я.Б. рассказал, что в Нюрнберге в каком-то “трибунальском ресторане” он в первый же день случайно оказался за столом рядом с Фединым и с каким-то “сопровождающим” его типом. Разговорились по-русски. Узнав, что Я.Б. из Парижа, Федин вдруг спросил: “А не знаете ли вы такого русского писателя Гуля?” Я.Б. говорит, что был поражен вопросом. — “Романа Борисовича, говорю? Да он у меня позавчера был, мы старые друзья еще по Берлину. Федин, — сказал Я.Б. — явно очень обрадовался”. — “Вот как?” Но все же осторожно спросил, где я был во время войны? “И когда я сказал, что вы сидели у нацистов в концлагере (это он знал), а в войну были, конечно, за союзников, политический "лед" был сломан. Федин стал расспрашивать о вашей матушке, я сказал, что она скончалась. Федин произнес: "замечательная была женщина, спросил о вашем брате, я сказал, что тоже умер. На том разговор за общим столом и кончился. А потом, когда Федин, уже без соглядатая, случайно столкнулся со мной в судебном коридоре, то, остановив меня, сказал: “Передайте, пожалуйста, Роману и Ольге Андреевне мой самый сердечный привет!”" — Вот я и передал..” — закончил свой рассказ Яков Борисович.

Иди я и жена были тронуты памятью Федина.

Потом я, конечно, читал о Федине все, как он “пошел в гору” — крутой подъем на золотую, кремлевскую гору. Когда жена меня как-то спросила: как ты думаешь, что произошло с Фединым, — я так объяснял его человеческое и писательское падение. Во-первых, Федин очень больной человек. Во-вторых, Федин от природы человек слабый, эгоцентрический, а таких тоталитаризм подламывает мгновенно и без возврата. В-третьих, Федин до мозга костей “литератор”, и “литератор” тщеславный, он хочет удержаться во что бы то ни стало на верху пирамиды, причем, конечно, чувствует, что талант от него уходит. Уже “Братья” были собственно халтурой и “косоглазием”. А дальше в лес — больше дров. Федин полностью перешел на халтуру соцреализма. Но тут держаться на верху пирамиды можно было, только став “литературным функционером”. Поэтому и пошло: генсек ССП, председатель ССП{18}, депутат Верховного Совета РСФСР, сталинский лауреат, свой человек со всеми Ильичевыми, Пономаревыми, ком вельможами, душившими “во славу

социализма” все живое в литературе.

И именно эти разъевшиеся, мордастые номенклатурщики-гангстеры из Дома на Старой площади давали Федину “деликатные поручения”: уговорить, например, Пастернака отказаться от Нобелевской премии, да чтоб он написал письмо Хрущеву и в “Правду”. И вельможа Федин уговаривал Пастернака так, как хотели мордастые гангстеры. Федин должен был “зарезать” и роман Солженицына “Раковый корпус”, он его и зарезал, как хотели мордастые гангстеры. Зато жил Федин в прекрасной даче в Переделкине, обставленной александровским” гарнитуром красного дерева. А умер, перевалив за восемьдесят, в “государственном” почете и в ненависти некоторых писателей, кому была дорога свобода писателя и литературы. Бот что наделал доктор К.К. Кюне своим диагнозом.

Однажды в разговоре о Федине я сказал Олечке эту фразу — “вот что наделал диагноз Конрада Конрадовича”. “И тебе не стыдно так говорить?” — ответила Олечка. Признаюсь: тут *я* перед женой пасовал. Если б в Берлин приехал на последнем градусе чахотки сам Сталин иль Ягода, Олечка даже бы о них поговорила с Конрадом Конрадовичем. Я это очень ценил, но сам, увы, не умел.

Лидия Сейфуллина

Лидия Сейфуллина была первым советским писателем, с которым я встретился в Берлине. Было это в 1927 году. Помню, в нашей квартире на Бельцигерштрассе зазвонил телефон. Подхожу: “Алло?” — “Это Роман Борисович?” — “Да.”. — “Здесь Лидия Сейфуллина, я только что из Москвы. Простите, я к вам за справкой. Где тут можно достать третий том *моих произведений?”* Эти “произведения” меня как ножом резанули, ну сказала бы “моих книг”, “собрания сочинений”, было бы не безвкусно. Я ответил, что здесь есть большой советский книжный магазин “Международная книга” и там наверняка она найдет свои *“произведения”*. Сейфуллина поблагодарила и добавила, что в кое чем хотела бы моей помощи и хорошо бы было встретиться; “Может быть, вы приедете как-нибудь ко мне в пансион?” Я с удовольствием согласился.

В назначенный день пришел в пансион где-то неподалеку от Курфюрстендамм, почему-то там останавливались многие советские писатели. Сейфуллина встретила меня любезно. Маленького роста, типичная татарка, только глаза большие (скорее русские), какие-то темно-зеленые. Веселая, живая, резкая, волосы подстрижены челкой. Голос приятный.

Заговорили о том, о сем. Сразу почувствовалось — Сейфуллина умница и талантливый человек. Литературно тогда она была, как говорится, “в зените славы”. Вышло ее “собрание сочинений”. Вещи ее переводились на иностранные языки. Особенно “гремела” — “Виринея”, были известны и “Перегной” и “Правонарушители”. Держалась Сейфуллина хоть и просто, но явно “знала себе цену”.

Стали пить чай. В разговоре я спросил ее, где она живет? Она отвечала: “Во дворце”. Надо было бы сказать: “В Доме ученых” (он был во дворце). Помню, я (вполне искренне) похвалил “Виринею”, сказав, что очень хорош у нее народный русский язык. Она залилась заразительным смехом: “Ах, этот мой народный язык! Вот и вы хвалите! А знаете, какой конфуз вышел с Александром Веронским?” — “Нет”. — “Ну, я расскажу, он написал обо мне хвалебный отзыв, особенно хваля мой русский народный язык. И как образцы этого народного языка привел, конечно, цитаты. А в цитатах были чудовищные, просто нелепые опечатки, которых в книге почему-то было совершенно несуразное количество, подчас просто диких! Так вот он и выписал именно их — примерами “прекрасного” языка! Я потом его так стыдила!” Рассказывая, Сейфуллина заразительно, хорошо смеялась (от души), как

смеются хорошие люди. Смеялся и я.

После этой встречи мы виделись с Сейфуллиной много раз. Как-то попросила она съездить с ней в Полицайпрезиди-ум, ездили кое-куда и в магазины. В своих очерках о заграничной поездке Л.Н. меня даже увековечила, упомянув, что ездила в Полицайпрезидиум с “товарищем Гулем”. Меня же характеризовала как “тихого и воспитанного”. Ну, с “воспитанным” я согласен, но “тихости” я немного удивился. Впрочем, я, конечно, не “громок”. Я не Маяковский. Она права.

Думаю, что за наши встречи Л.Н. почувствовала, что имеет дело с “порядочным человеком”. Вероятно, поэтому, как-то при мне получив письмо от своего мужа, критика Валериана Правдухина, заговорила о том, как оба они беспокоятся сейчас о судьбе близкого им человека — оппозиционера Слепкова. В противоположность “аполитичности” Серапионов, которых в Берлине я узнал позднее, Сейфуллина “аполитичной” не была, она была “красного цвета”, “с убежденьями”. Где-то я читал, что в начале революции (с 1917 по 1919 год) Л.Н. была эсеркой. Это ей шло. На ней не было “марксистского штампа”, скорее эдакая народническая горячность. Чувствовалась человечность и свободомыслие. За Слепкова волновалась именно “по-человечески”. Этого Слепкова, так же как и других “бухаринцев”, Сталин “шлепнул”. И не только его: очередь дошла и до Валериана Правдухина, который отдал Богу душу в 1939 году в какой-то тюрьме при “невыясненных обстоятельствах”. Расстреляли попросту. Сейфуллину же, вероятно, спасла ее “литературная известность”.

Как иллюстрацию ее резкости и прямоты приведу воспоминание об одном разговоре. Как-то за чаем, в том же пансионе, разговорились о “путях” советской литературы. Мало зная Сейфуллину, я все же — очень мягко (ибо я “тихий и воспитанный”) — хотел высказать свою мысль, что все-таки, несмотря на таланты многих, подлинной, *настоящей литературы* в советской литературе маловато. Сейфуллина слушала меня с недовольным, насупленным лицом, и это заставляло меня в моих формулировках быть еще мягче. Но вдруг она не выдержала и раздраженно перебила: “Так что же вы думаете, что мы не понимаем, что мы только навоз для какой-то будущей литературы? (так и сказала “навоз”. — Р. Г.) Что же вы думаете, мы этого не понимаем?” Признаюсь, я был поражен и резкостью, и определенностью ее фразы. И увидел воочию, что живущая “там” Сейфуллина ощущает это гораздо острее и, конечно, больнее, чем люди, живущие вдали.

Помню еще один интересный вечер с Сейфуллиной. К ней

должен был прийти известный немецкий художник Жорж Гросс. Она по телефону попросила меня прийти переводчиком между ними. Гросса я встречал раньше. Это был исключительно талантливый, открытый, своеобразный, интереснейший человек. Не знаю, возможно, что формально он был даже членом немецкой компартии. Но был человеком вполне духовно свободным. Прославился Жорж Гросс (не только в Германии) своими знаменитыми зарисовками “прусских юнкеров”. Гросс действительно был первоклассный, острый рисовальшик. Но вечер с Гроссом для Сейфуллиной, по-моему, был неприятен. Как я говорил, Сейфуллина была смелый и открытый человек, но расспросы Гросса о жизни в СССР были чересчур едки. Его интересовала политика (и практика) власти в отношении крестьянства. И он стал ей сразу же задавать совершенно беспощадные вопросы: как, мол, она относится к подавлению крестьянских восстаний, почему они происходили и какова политика власти в этом смысле сейчас? Я, как переводчик, вопросов не смягчал, а иногда и сам присоединялся к вопросам Гросса. И тут я увидел впервые, как Сейфуллина “заметалась”. Она была прямой человек, и отрицать то, что в душе (я так думаю) сама не одобряла, ей было трудно. Но открыто подтверждать и соглашаться с Гроссом, с известным иностранцем, который мог передать ее слова и другим иностранцем, — было для нее тоже немыслимо. И вскоре Гросс (по-моему) понял, что Сейфуллина “в капкане”, что она не может правдиво отвечать на вопросы, и тактично прекратил эту тему, перейдя на что-то незначительное. А вскоре и ушел.

Как-то я спросил Сейфуллину, что она сейчас пишет? Ответила: “Ничего. Я же ведь татарка и, как все восточные люди, ленива. По нашей поговорке: "сидеть лучше, чем ходить, лежать лучше, чем сидеть"”. Через несколько лет Сейфуллиной пришлось “почти замолчать”, а потом и “совсем замолчать”. В 30-е годы в московских литературных кругах на нее появилась даже некая эпиграмма:

Люди иные и время иное,
Лишь Виринея на Перегное.

Преждевременный склероз всей так называемой “классической советской” литературы — явление давно очевидное. Она — “неперечитываема”: все эти “Цементы”, “Братья”, “Хлеба”, “Как закалялась сталь”, “Разгромы”, “Русские леса”, “Железные потоки” и прочее. Это же постигло и “Виринею”. В своем предсказании судьбы советской литературы как “навоза” Сейфуллина была права. Лидия Николаевна Сейфуллина умерла в Москве в 1954 году, шестидесяти пяти лет от роду. В

нормальное (не революционное) время, думаю, она могла стать интересным писателем.

Сейчас все же скажу еще об одной “иллюзии примирения” — о так называемом, “возвращенчестве”.

Николай Никитин

Серапион Николай Никитин приехал в Берлин, как и Федин, — в 1928 году. Отметим в скобках: внешне они были друзья, Серапионы, но друг друга здорово недолюбливали. Никитин, по-моему, завидовал большему литературному успеху Федина, большей известности, большему числу изданных книг. За обедами, выпивками, ужинами с Никитиным мы быстро сошлись, перейдя на “ты”. Я возил их (Федина, Никитина, Груздева) по Берлину, показывал всякие достопримечательности — от Бранденбургских ворот, картинной галереи (Кайзер Фридрих музеум). Королевского замка (Шлосс) до пролетарского ночного, похожего на громадный сарай, грязного кабака возле Алексэндерплац — “Цум гутен хаппен” (“К хорошему кусочку”), где под гармошку, скрипку, две трубы и дребезжащий рояль толпой толкся, ел, выпивал всякий уличный сброд проституток, карманников, бездельников, любопытных, “изучающих нравы” (вроде нас).

Что сказать о Никитине? Был он, по-моему, несомненно талантлив. В “Литературном приложении” к “Накануне” в свое время я дал статью о его прозе, хваля. Но талантливость Никитина (как многих литераторов) была чисто техническая, он был литератор-техник: умел “делать прозу”, подчас очень здорово (под Пильняка, под Замятина). Но у тех была *своя тема.* А у Никитина темы были чужие, напрокат, *своей темы* у него не было и быть не могло, ибо человек он был душевно пустоватый.

Помню, пришел я к ним в пансион (с ним приехала и его жена Ренэ) и налетел на неприятную сцену. Колька — просто в бешенстве — орал на Ренэ, что она не так выстирала его носки, что она их “испортила” и прочее. Крики его были столь неприятны, что я даже как-то “элегантно” вмешался, чтобы утихомирить: “Ну, носки и носки, купишь новые, да и чем и как можно испортить носки?” Но Никитин был эдакий “бонвиван”, любил модную одежду, любил весело, хорошо пожить, вообще был за философию “легкой и изящной” жизни по Алексею Толстому, но до Толстого Никитину было, конечно, не дотянуться. Толстой мог быть хамом, но и настоящий барин в нем жил.

В “Цум гутен хаппен” оркестр какофонично играл всякие шлягеры. Но вдруг заиграл “Интернационал”. Толпа как гудела, так и гудела. А сидевший рядом со мной Илья Груздев сказал: “Я чуть-чуть по привычке не встал. Ведь у нас, где бы ни заиграли "Интернационал", все должны встать и стоять, пока гимн не

кончат”. “Здесь можем и посидеть, слава Богу”, — пробормотал Никитин.

Недолюбливая Никитина, Федин как-то рассказал о Колькиной литературной завистливости. К какому-то своему роману иль повести (не помню уж) Федин почему-то написал “предисловие”, чтоб, так сказать, “предпослать его опусу”. Но сам чувствовал, что предисловие не удалось, и сомневался: печатать — не печатать? Решил собрать всех Серапионов и прочесть его, прося откровенно высказаться. Все как один стали отсоветовать печатать, находя предисловие ненужным и неудачным. И только Колька горячо выступил за обязательное напечатание. “Я видел, — говорил Федин, — что Колька именно потому и убеждает меня дать предисловие, что оно явно неудачно и было бы моим литературным минусом”.

У меня были интересные разговоры с Фединым, с Груздевым, с Сейфуллиной, с Тыняновым, но с Никитиным никакого серьезного разговора не помню. Все — анекдотцы, всяческое литературное остроумие, пустячки. Повторяю, Никитин был человек “без задумчивости”, все — по поверхности. Таковы были и его книги — “Камни”, “Полет”. Помню, как в том же “Цум гутен хаппен” Илья Груздев, когда мы были в подпитии, смеясь, говорил, как Колька делает свои рассказы. Сначала пишет рассказ как рассказ, потом берет все четыре тома словаря Даля и начинает шпиговать текст всякими заковыристыми, мудреными, полупонятными народными словами и речениями. “И вот, — смеялся Груздев, — получается *роскошный* русский народный язык!” Думаю, что примерно так оно и было.

И там же Федин рассказал, как однажды на какой-то литературной пирушке подрались Никитин и Есенин. Из-за чего уж не помню, из-за какой-то литературной ерунды, да еще с пьяных глаз. “В драке оба упали на пол, катались по полу, как бешеные, — говорил Федин, — и Есенин укусил Кольку в руку, в бицепс, да так, что не только руку поранил, а пиджак прогрыз… вот это зубки!., крепкие!., мужицкие!..” — “Ну, а потом помирились?” — “Через какое-то время помирились… только у Кольки долго рука болела…” Никитин, улыбаясь, все это подтвердил.

Помню, *я* подумал: мыслимо ли было бы себе представить, скажем, Вячеслава Иванова и Гершензона дерущимися и катающимися по полу, прогрызая друг другу пиджаки? О снижении культуры (с некой странной бравадой!) писал тогда где-то Пильняк, что теперешние, мол, советские писатели — “пишут лаптем”. Это как у Василия Каменского: “ядреный лапоть пошел шататься по городам!”. В зарубежьи Марк Алданов в

“Ульмской ночи” говорит: “советская литература элементарна до отвращения”. Элементарность — это и был “лапоть”.

Бездуховность, неглубокость, стремление “вылезти вперед”, выпендриться и обязательно получать “самый высший полистный гонорар” — сыграли с Колькой Никитиным (и не с ним одним) зловещую шутку. В 30-х годах он раньше других Серапионов ввалился в “генеральную линию” партии и даже получил за свою соцреалистическую “Северную Аврору” сталинскую премию. А когда в 1946 году секретарь ЦК А.А.Жданов выступил “перед партийным и писательским активом” с своим “знаменитым” разгромным докладом об идеологии в искусстве, громя и “будуарную поэзию барыньки” Ахматовой, и несчастного Зощенко за его “Обезьяну”, — то из беспартийных писателей в прениях (для “поддакивания” докладчику) выпустили Кольку Никитина. Он долженствовал “изобличить” своего старого друга по Серапионам Михаила Зощенко.

Об этом падении Никитина кое-что есть в литературе. В “НЖ” (кн. 129) в статье “Расправа с Зощенко” Крамова писала: “Когда же на кафедре появился Николай Никитин, зал чуть не ахнул<…> Он стоял белый как стена и что-то мямлил<…> Ну а как откажешься, если тебя вызвали и "предложили"<…> Мне даже стало его жаль<…> Подлец, прошептал кто-то сзади”.

Неверно. “Подлец” — это Эренбург, шлявшийся с чекистами по Испании в гражданскую войну, оправдывавший экивоками московские процессы. “Подлец” — это Толстой, воспевший Беломорканал и как член комиссии по расследованию убийства тысяч польских офицеров в Катыни подписавший протокол расследования, свалivший с коммунистов это чудовищное убийство на немцев. “Подлец” — это Лев Никулин, “историограф” героических мокрых чекистких дел. “Подлецов” было предостаточно. Но Колька, по-моему, не “подлец”, он — несчастный брандахлыст. Любил элегантные носки, шелковые подштанники, английские штиблеты, костюмы от первоклассного портного, все это и было — верхом блаженства. За сие коммуно-гангстеры и “предложили” ему расплатиться. Лучше, чем у Крамовой, ждановское выступление Кольки описано в самиздатском сборнике “Память” (№ 2): “В прениях выступили немногие, в том числе и Николай Никитин, но из-за своего волнения неудачно: один раз перепутал имя и отчество ответственного докладчика — в зале раздался смешок, в другой раз сказал: "С этой *эстрады,* с которой великий Ленин провозгласил…" — слушатели зашумели, зашикали. Никитин покраснел, запутался и, оборвав себя какой-то короткой фразой о собственном состоянии, сконфуженно сошел с трибуны…”

Помню, в Берлине были мы званы на обед в один буржуазный, богатый дом: я с Олечкой, Груздев с женой (Татьяной), Никитин с Ренэ и Федин. Обед был чудом гостеприимства и кулинарии: и напитки, и закуски — ни в сказке сказать, ни пером описать. Но гвоздем обеда была все-таки какая-то необыкновенная рыба. Колька Никитин в компании всегда был превосходен: весел, разговорчив, шутлив, находчив, остроумен. За столом все мужчины были уже на взводе — стоял веселый шум и смех. Подвыпивший Колька сидел рядом с Олечкой и то и дело повторял ей: “Ольга, ты потрясающая!” А когда подали эту сверхъестественную рыбу и мы стали ее есть, Колька, придя в полный гурманский восторг, вызвал общий смех и удовольствие, процитировав Хлестакова: “Люблю поесть! Ведь на то и живешь, чтоб срывать цветы удовольствия! Как называется эта рыба? Лабардан?.. Я доволен, я доволен: отличный лабзрдан-с!”

Весь обед Никитин был в ударе, был “душой общества”. А когда мы из этого хлебосольного, гостеприимного дома вышли на ночной, освещенный Курфюрстендамм (эти люди жили на Курфюрстендямм), Колька в восторге орал: “О, счастливейшие черти! Как они живут! Вот это я понимаю! Да если б я так жил с этим лабарданом, да я бы никогда из Берлина никуда не уехал!” Это было, конечно, не всерьез. Ни у Кольки, ни у кого из Серапионов и мысли не было — остаться на Западе. Во-первых, все они были “вполне аполитичны” и вполне довольны своей советской нэповской жизнью. Колькин вскрик-восторг только говорил о том, как он любит “легкую и изящную” жизнь. “Ходит птичка весело / По тропинке бедствий, / Не предвидя от сего / Никаких последствий”. А кто их тогда предвидел, эти бедствия и последствия? Никто. Умер Николай Николаевич Никитин в Ленинграде в 1963 году, шестидесяти восьми лет от роду. В памяти моей этот жуир Колька оставил милое воспоминание.

Илья Груздев

Из всех Серапионов, которых я узнал в Берлине, Илья Груздев как человек был самый хороший. Именно — *хороший.* В Груздеве не было никакой “литераторской” позы, никакой фальши. Он был душевно чистый человек. Искренен, прост, с некоторым юмором. Был Груздев, кажется, из состоятельной купеческой семьи. “Киндерштубе” во всяком случае в нем чувствовалась, В литературе он удобно выбрал охраняющую его от всяких бед тему — Максим Горький, став неким Эккерманом при Горьком. Правда, разговоры с ним Илья, кажется, не записывал (по крайней мере они не публиковались, по-моему), но “первым пролетарским писателем” Алексеем Максимовичем Илья занялся всерьез. Выпускал книги о Горьком для детей, для юношества, для “старшего возраста”. Редактировал его переписку, составлял библиографию, следил за изданием его сочинений, одним словом: Горький был доволен Груздевым, а Груздев Горьким. Для Ильи это была и “броня” и материальная база, ибо в те годы о Горьком печаталось все и немедленно (и оплачивалось как надо).

Внешне Илья был полн, мешковат, в одежде без всякой никитинской претензии на моду, лицо румяное и очень русское. Легко смущался, краснел, И был мишенью постоянных острот и иронии Федина и Никитина, что меня коробило, и я как-то Федину сказал, что это вечное подтрунивание над Ильей, по-моему, просто свинство. “Да, нет же, Илья уж привык к этому и на нас не обижается”, — отвечал Федин.

Помню, шли мы как-то с Ильей по Берлину. В газетном киоске он увидел “Руль” (ежедневная русская эмигрантская газета) и тут же его купил. “Неважная газета”, — сказал я. Ответ Груздева меня поразил. “Пусть будет неважная, это не суть важно. Ты не представляешь, *как нам всем там важно,* что тут все-таки выходит свободная русская газета. Не представляешь, какая это *нам там поддержка”.* Честно говоря, я тогда удивился этой “поддержке нам”, но с годами понял, что Илья был, конечно, прав. “Вот как-то, — говорил Груздев, — один человек привез в Питер том “Современных записок", и все мы, Серапионы (и не только Серапионы), его перечитали. Там была статья Ст. Ивановича, и, представь себе, с этой статьей мы все, ну решительно все, были согласны, будто кто-то из нас ее написал”.

Ст. Иванович (Степан Иванович Португейс) был крайне правым меньшевиком, близким к А.Н. Потресову, и был страстным ненавистником большевизма. К сожалению, я забыл, о какой его статье говорил тогда Груздев.

Помню разговор с Ильей о “Дневниках” А.Блока, над рукописями которых Груздев работал для их издания. “Нельзя полностью издать, ну никак нельзя, — говорил Груздев, — ты себе не представляешь, какой там густопсовый антисемитизм… Я был просто потрясен…”

Илье я был многим обязан. Это он протащил в издательстве “Советский писатель” в Питере, где он работал, две моих книги — “Жизнь на фукса” и “Белые по черному”. Для этого он познакомил меня в Берлине с приехавшим тогда сюда писателем Лебеденке (автор “Тяжелого дивизиона”), который, по-моему, выполнял обязанности цензора в этом издательстве. Так мне показалось. Лебеденко был партийным, но был очень дружен со всеми Серапионами. Произвел он на меня хорошее впечатление — бывший офицер-артиллерист, кажется, капитан, человек “без штампа”, живой, общительный, был он серьезно болен (что-то неладное с ногами).

Ни Федин, ни тем паче Никитин — по своему характеру — не стали бы протаскивать ни мою и ничью чужую книгу, ибо были заняты только “своими”. Все, что могли сделать в издательстве — “поддержать словом” при обсуждении рукописи. А Илья дружески взял все на себя. И провел обе книги сквозь Сциллу и Харибду цензуры (с помощью Лебеденко, я думаю).

Правда, эти мои книги быстро разделили участь переизданного в 1923 году в Москве “Ледяного похода”, то есть попали в “запрещенные фонды”. Но все-таки кем-то где-то читались. Так, после Второй мировой войны, в 1946 году я получил из Мюнхена письмо писательницы Татьяны Фесенко: “Я знаю вас давно и знаю, что ваша молодость была тоже полна всяческих испытаний. Еще студенткой, работая старшим библиотекарем литературного отдела крупной библиотеки, я разбирала так называемые "запрещенные фонды". Среди книг, ненадолго допущенных в Советском Союзе, а потом стоявших под семью замками, была и "Жизнь на фукса". Я открыла, начала читать и не могла оторваться…”

А в 1979 году героический человек, известный правозащитник Александр Гинзбург писал мне: “Надеюсь, жена сможет привезти давно ожидавший вас подарок — титульный лист от "Жизни на фукса", когда-то прочитанной мной во Владимирской тюрьме, — со всеми штампами этого заведения с года выхода книги. Видите — читают Вас зэки”

Я знаю, что в советских тюрьмах и концлагерях в библиотеках попадаются книги, на воли запрещенные. Оба этих письма были мне приятны, как всякое читательское признание. Но если “Белые по черному” меня не ранили, ибо карандаш цензора их пощадил,

то по “Жизни на фукса” какой-то цензор прошелся-таки, поставив свои *акценты,* которых не было. Поэтому сей увраж я не люблю. У меня в архиве даже есть фотография 1927 года — я стою голый (в трусах) на пляже Северного моря, и моей рукой на обороте фотографии написано: “Роман Гуль купается в Северном море после выхода "Жизни на фукса". 1927”.

Илья Груздев был чудесный друг. Когда я выпустил в “Петрополисе” в Берлине исторический роман об Азефе, Савинкове, о боевой организации партии эсеров, он стал настаивать, чтоб я прислал ему рукопись, что он проведет и этот роман. В это я никак не верил. Но Илья настаивал, и — чем черт не шутит — я послал, Илья меня извещал. Внутри издательства (первая инстанция!) роман “прошел” (думаю, все тот же либеральный Лебеденко!) и уже набран в гранках. Но дальше, увы, я оказался прав. Гранки пошли на прочтение к старому большевику, каторжанину Феликсу Кону, тому, который при наступлении Тухачевского на Варшаву должен был с Дзержинским, Мархлевским и прочими стать членом польского коммунистического правительства. Это — когда Ленин “прощупывал штыком панскую Польшу”. И Феликс Кон наложил резолюцию: “нам не нужны пособия для террористов”. Роман был погребен. Полагаю Кон по-своему, по-большевицки, был прав. Но у этой попытки Ильи оказалось некое послесловие.

В 1953 году Вера Александровна Шварц (Александрова), редактор издательства имени Чехова в Нью-Йорке, переслала мне письмо из Лондона от (забыл фамилию) что-то вроде Которовского, Качуровского. Письмо хранится в моем архиве в Йельском университете, но добраться до него мне сейчас сложно. Этот неизвестный мне человек, эмигрант второй эмиграции, в своем письме писал мне, что когда чекисты производили обыск у писательницы Елены Тагер, то нашли эти злосчастные гранки моего романа и “пришили” их ей как “хранение контрреволюционной литературы”. Разумеется, если б у Елены Тагер этих гранок и не было, ее и без того бы упекли ТУДА КУДА НАДО: в концлагерь иль в ссылку. По советской юстиции, был бы человек, а “обвинение” найдется. Таков был грустный эпилог дружеской попытки Ильи Груздева.

В 1928 году, когда Груздев с женой уезжали из Берлина, а Федин оставался еще, из СССР шли плохие вести об усилении репрессий, о недостатке продовольствия. Мы просили Илью послать мне сразу же открытку, и если сообщения об ухудшении общего положения в СССР верны, то в открытке должна быть фраза: “И дым отечества нам сладок и приятен”. Открытка от Ильи пришла. И в ней было: “И дым отечества нам оченно

приятен”. Мы поняли, что положение хуже, чем доходившие о нем слухи.

Не знаю, когда Груздев умер, где и от чего. Но храню о нем теплую дружескую память.

Михаил Слонимский

С Михаилом Слонимским в Берлине я встречался, по-моему, в 1927 году. Он приехал с молоденькой женой Дусей. Довольно высокий, худой, во внешности — ничего примечательного. И человек и писатель был он, по-моему, малоинтересный. А в литературе держался потому, что вырос в "литературной семье". Отец — постоянный сотрудник "Вестника Европы", а дядя с материнской стороны С.А.Венгеров — известный историк литературы.

Я опубликовал критические статьи о многих Серапионах (Федин, Никитин, Всев. Ивзнов, Пильняк, Зошенко), но о Слонимском сказать что-нибудь мне было трудно, проза его была бесцветна. И я воздержался.

Из разговоров с ним мало что запомнилось, хотя общались мы в Берлине довольно часто. Вот один разговор с ним я запомнил потому, что рассказ Слонимского показался мне просто невероятным. Слонимский как-то рассказал мне, что лет до двенадцати он не знал, что он еврей. "Родители нас воспитывали глупо в высшей степени, с детства мы слышали о себе какие-то басни, что мы русские и какого-то хорошего рода, чуть ли не Рюриковичи (буквальные слова Слонимского. — Р.Г.). Мы в это верили. И когда в гимназии, например, в младших классах ученики чем-нибудь обижали гимназистов-евреев, я всегда за них вступался, и мне было приятно сознание, что я заступаюсь за слабых, подвергающихся насмешкам иль обидам. Но вот, когда мне было лет двенадцать, приехала к нам тетка из провинции. Я ее никогда не видел, тетка эта по типу была ярко выраженная еврейка и весьма резкая на язык. И как-то, когда я при ней что-то сказал о нашей "русскости", она вдруг расхохоталась и сообщила мне, что мы настоящие евреи, только крещеные. Для меня это был самый страшный шок в моей жизни (буквальные слова Слонимского, — Р. Г.)".

Но почему? Я этого как-то не понимаю, — удивился я.

Не понимаете потому, что вы не еврей. И никогда не поймете. А я вдруг понял, что могу стать таким же "угнетаемым" мальчиком-евреем, как те, за которых я раньше в гимназии заступался. Тогда я чувствовал себя сильнее их, ну, как бы это сказать, ну, привилегированней их, что ли, потому и мог заступаться. И вдруг эта привилегированность моя в одну минуту рухнула. Для меня это был шок на всю жизнь, — повторил Слонимский.

Не помню уж как, но в связи с этой темой о еврействе

разговор перешел на Мережковских, Слонимский их хорошо знал, они были знакомы домами, и он бывал у них.

— А вы знаете, Зинаида Николаевна Гиппиус ведь всегда была большой любительницей задавать людям всякие едкие и каверзные вопросы. Вот она и меня как-то спрашивает “Скажите, Миша, вот вы крещеный еврей, русский человек, но вот когда вы узнаете о еврейском погроме, на какой стороне вы себя чувствуете — на стороне громящих или на стороне громимых?” Я отвечаю ей вопросом: “А вы, Зинаида Николаевна, на какой стороне себя чувствуете? — Ну, я-то, естественно, на стороне громящих. Но меня интересует, на какой стороне чувствуете себя вы, крещеный еврей, от еврейства совершенно оторвавшийся?”

Обоих Мережковских Слонимский недолюбливал. И рассказал как-то про Дмитрия Сергеевича довольно острый эпизод. Когда генерал Юденич с Северо-Западной армией подступил к Петрограду, в городе большинство людей были уверены, что он возьмет Петроград, и этому радовались как началу конца большевизма. Мережковские радовались явно.

— И вот, — рассказывал Сломинский, — иду я в эти дни по Невскому, вижу, бежит-спешит Дмитрий Сергеевич, мы с ним столкнулись. — Куда вы, Дмитрий Сергеевич, так спешите? — спрашиваю. — Да в Госиздат, — говорит, — гонорар получить, а то ведь, как Юденич вступит, все пропадет. — и побежал. (Я подумал: “Братья писатели, в вашей судьбе что-то лежит роковое”. — Р.Г.)

Когда компартия пошла на уничтожение попутчества (от “попутчик”. — Р.Г.) Слонимский, как и Никитин, забыв “серапионство”, быстро взяли курс на “генеральную линию”. В 1932 году лечившийся за границей Федин писал мне, что к нему неожиданно приехал Мишка и приезд этот “неспроста”. По письму это “неспроста” я не понял. А при встрече с Фединым в Берлине он сказал, что уверен, что Мишка приезжал, конечно, как “порученец” — “узнать, не произошла ли со мной какая-нибудь "эволюция", которая могла бы повести к "невозвращенству". Разумеется, в лоб Мишка об этом меня не спрашивал, а так — очень издалека, вокруг да около. Но я сразу учуял, в чем дело, и столь же "тонко" успокоил его и через него "власть предержащую"”.

Выполняя “генеральную линию” партии в литературе, Слонимский брал темой “врастание интеллигенции в коммунизм”, но все это было за уши притянуто, надуманно, натянуто, без проблеска дарования. Да и тема была непосильная, ибо интеллигенция “врастала” в коммунизм главным образом посредством пуль в затылок.

Ю.Н. Тынянов

Не помню, когда приехал в Берлин Юрий Тынянов. Наверное, в 1928 году. Но во время его пребывания в Берлине Серапионов, помню, не было. Вероятно, приехали позже.

С Юрием Николаевичем Тыняновым я встречался в Берлине часто. Тынянов был не схож ни с кем из Серапионов. Это был человек гораздо более тонкий, гораздо более интеллектуал, подлинный ученый. Очень мягкий, хорошо воспитанный, приятный в общении и умом и тактом. Он, конечно, не создан был для того, чтобы сойтись с ним вот так — по-русски — “душа нараспашку!”. Но общение с ним доставляло удовольствие.

Я любил его “Кюхлю” (повесть о Кюхельбекере). И вспоминаю, когда ее читал, вдруг в каком-то месте почувствовал, что у меня на глаза навертываются слезы. Полагаю, для писателя такое читательское переживание — самый ценный отзыв.

Встретились мы с Тыняновым в том же пансионе, где останавливались Сейфуллина, Федин, Слонимский. Он попросил помочь ему с покупками. Я помог. Ходить Тынянову не то что было трудно, но все-таки он ходил с палкой и осторожно, у него была страшная “Бюргерова болезнь”.

В разговоре о современной литературе я сказал ему искренне, что пережил, читая “Кюхлю”. Он поблагодарил, но скромно добавил: “А знаете, Р.Б., я ведь сначала писал "Кюхлю" как повесть для детей”. — “Но вышло не для детей, и вышло прекрасно”. — “Да, кажется, удалось. А "Смерть Вазир-Мухтара" читали?” Я честно ответил, что эта вещь меня не увлекла. И Тынянов тут же вышел из положения, сказав: “Знаю, знаю, это ведь экспериментальный роман, он так и был задуман”. После нескольких встреч, когда дружеские отношения установились, я пригласил его как-то к нам обедать.

Жили мы тогда в довольно большой квартире в Шарлотенбурге, Ам Лютцов, 13. Нас было много: мать, Олечка, я, брат Сергей, его жена и маленький племянник Миша. Сначала мы с Тыняновым сидели в нашей большой комнате с окнами, заслоненными громадными, ветвистыми деревьями. В комнату вбежал Миша, но, увидав незнакомого, застеснялся и бросился, уткнувшись в колени Олечки.

— Что ж ты, маленький, испугался, поди-ка ко мне, киска, — мягко проговорил Тынянов, протягивая к Мише руки. Я понял, что Ю.Н. любит детей.

Потом перешли в столовую — обедать. Пообедали хорошо, угостили гостя как надо. А после обеда я пошел Тынянова

провожать. И когда мы вышли из нашей двери на лестницу, Тынянов с улыбкой сказал: “Вот если б мы так пообедали у нас в Ленинграде, то на другой день на двери, может быть, появилась бы надпись: "Вчера в этом доме ели мясо!". Я ахнул. “Да, да, не удивляйтесь, мы живем трудно”. Подходя уже к станции подземной дороги, я спросил Ю.Н., что он думает, как могла бы сложиться моя судьба, если б я вернулся в Россию? От неожиданности вопроса Тынянов остановился и проговорил очень серьезно: “Как? Могу вам сказать. Прежде всего, у вас произошел бы психологический шок такой силы, что не знаю, оправились ли бы вы от него. Ведь, живя в Германии, вы совершенно не представляете тяжести нашей жизни. Вы серьезно думаете о возвращении, Р.Б.?” — “Нет, не думаю, а спросил только вас так, примериваясь…” — “Бросьте, забудьте навсегда все ваши "примеривания". Оставайтесь здесь, где живете человеческой жизнью. У нас душевно жить очень, очень трудно. Из этого прекрасного далека вы представить себе этого не можете. Но вы поймете это, как только переедете границу…”

Тут я хочу сказать о своем “примеривании”. Я верил в нэп, как и другие сменовеховцы и евразийцы, верил, что СССР ходом истории будет вынужден повернуть к нормальной, национальной, правовой государственности. Но для себя — в глубине глубин — я никогда не только не хотел вернуться в то, что называлось СССР, но просто психологически и *не мог* бы этого предпринять. И вот почему. Когда в декабре 1918 года я лежал, пленный, на полу Педагогического музея в Киеве, в меня внезапно (помимо воли) вошло (будто прорезало все существо) чувство небывалого отвращения ко *всей этой всероссийской революции,* отвращение и ненависть ко всей России, потонувшей в этой *бессмысленной,* кровавой, нечеловеческой мерзости. И тогда я не разумом, а душой и сердцем понял с какой-то сверхъестественной остротой, что *в такой России у меня места нет и быть не может.* Это чувство было настолько сильно (как при смерти близкого тебе человека), что никакие годы выветрить его не могли. И до сих пор оно живет где-то на душевном дне. Оно-то и дало название этим воспоминаниям — “Я унес Россию”: я унес *свою,* настоящую Россию с собой, а в поддельной жить не хочу.

Но желая узнать мнение советских людей, тех, кто со мной был дружен и честен, я почти всем советским писателям в Берлине задавал вопрос: как сложилась бы, по их мнению, моя судьба, если б я возвратился в Советский Союз? И НИ ОДИН ИЗ НИХ НЕ ПОСОВЕТОВАЛ МНЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ. При таком “примеривании” Федин принимал всегда некий шутовской тон, говоря: “Ну, если б ты, Роман, вернулся, скажем, к нам, в

Ленинград, ну, мы б устроили тебе квартиру. Сейчас у ленинградских писателей мода обставлять квартиры старинной мебелью красного дерева. Ну, получил бы ты какие-нибудь авансы, мы бы это тебе устроили. Ну, обставился бы и ты, А вот дальше? Дальше, честное слово, не знаю, что бы ты делал у нас? Что бы стал там писать? Не вижу как-то, просто не вижу…"

Колька Никитин на мое "примеривание" ответил грубовато кратко: "А на хрена тебе отсюда уезжать? Живешь — дай Бог всякому!" Самый категорический ответ дал Илья Груздев, Илья на меня уставился в полном недоумении: "Да ты что, Роман, в уме? Ты же не представляешь и сотой доли нашей жизни. Ну, материально живем, не жалуемся, но в смысле общего безвоздушия, в смысле свободы и независимости, к которым ты здесь привык?…Брось даже думать об этом!" Столь же определенен был и ответ Ю.Н.Тынянова.

Из Берлина Юрий Николаевич Тынянов на время поехал в Прагу на свидание с Романом Якобсоном. Оба — формалисты. Не знаю, встречались ли в России: Якобсон — москвич, Тынянов — петербуржец. Думаю, тогда Роман Якобсон еще служил в Праге на советской службе, еще не перешел на положение "невозвращенца". По возвращении в Берлин Тынянов о Якобсоне отзывался дифирамбически: и умница, и эрудит, и талант, и прочее. Говорил, что эта встреча ему много дала.

В последний раз мы с Тыняновым встретились на обеде в той же буржуазной, богатой семье, где с Никитиным, Фединым, Груздевым ели лабардан. После обеда, в общем разговоре, Тынянов упомянул, что у них в Ленинграде в литературной компании иногда возникает такая игра. Один говорит какие-нибудь две стихотворные строки или строфу, а другой узнает, какого это поэта. Тынянов сказал, что в этой игре он часто побивал рекорды. Конечно, хозяева дома тут же захотели устроить игру. И Тынянов действительно отгадывал поэтов блистательно, какие бы ему ни давали строки и строфы. Только дважды сплоховал. Первый раз я процитировал Тынянову:

Какой прибой растет в угрюмом сердце,
Какая радость и тоска,
Когда чужую руку хоть на миг удержит
Моя горячая рука…

Тынянов задумался, развел слегка руками и сказал:

— Не могу вспомнить, по-моему, это что-то из Гребенки.

— Нет, Ю.Н., это Эренбург, — ответил я.

Второй промах Ю.Н. меня немного удивил. Присутствовавшая литературная дама сказала Тынянову:

Отрок милый, отрок нежный,

Не стыдись, навек ты мой..

Не успела она докончить строфу, как Тынянов перебил:

— Ну, это, конечно, Кузмин…

Увы, Юрий Николаевич, это Александр Сергеевич Пушкин, — ответила дама.

Ах, да, да, — смутившись, даже сконфузившись, поправился Тынянов, — ну конечно же, Пушкин — “Подражание арабскому”.

Но это были только два гафа. Во многих десятках стихотворений Ю.Н. блеснул знанием русской поэзии.

По возвращении в СССР Ю.Н. Тынянов попал в разгром формалистов, ОПОЯЗа. Кое-кто из формалистов (например В.Шкловский) превратились в марксистов. Молодежь (студентов) разогнали по другим факультетам. О разгроме ОПОЯЗа Ю.Тынянов сложил шуточное послание Пушкину (см. статью Романа Якобсона“ Ю.Тынянов в Праге. Selected Wrightings. The Hague, 1979”

Был у вас
Арзамас,
Был у нас
ОПОЯЗ
И литература.
Есть “заказ”
Касс,
Есть “указ”
Масс,
Есть у нас
Младший класс
И макулатура.
Там и тут
Институт
И Гублит,
И Главлит,
И отдел культурный,
Но Главлит
Бдит
И агит
Сбит;
Это ж все быт,
Быт литературный.

Через много, много лет советские эмигранты (уже третьей волны) рассказали мне о страшном конце Тынянова. Я не хотел этому верить, просто не мог себе этого представить: сказали, что Тынянов “спился” (это при Бюргеровой-то болезни, при тыняновской трезвенности и скромности). Но в “царстве

коммунизма” все может произойти. Автор “Кюхли”, “Подпоручика Киже”, “Архаистов и новаторов” и других прекрасных работ, Юрий Николаевич Тынянов умер в Москве в 1943 году страшной смертью, сорока девяти лет от роду.

Берлин уже не столица русского Зарубежья

На судьбе демократической Веймарской республики Германии еще раз подтвердилась правда шекспировской фразы; “История — это страшная сказка, рассказанная дураком”. Помню, в каких-то мемуарах я читал, что лидер немецких социал-демократов Фридрих Эберт, бывший рабочий, седельщик, человек здравого смысла, после поражения своей страны предупреждал Антанту (Францию и Англию) от свержения германской монархии. Этот бывший рабочий считал, что немецкому народу *нужна* традиционная форма правления — монархия. Недаром после краткой и неудачной революции 1848 года, которую больше делали интеллигенты, а не народ, берлинские портные дефилировали перед королевским дворцом в Берлине с плакатами: “Unter deinen Flugeln kann ich ruhig biigeln”. В 1918 году новым *конституционным* монархом мог стать кто-то из молодых Гогенцоллернов. При социал-демократическом министерстве и большинстве социал-демократов в рейхстаге это было бы, вероятно, не плохо.

Но Антанта не вняла предупреждению Эберта. И он был избран первым президентом Германской республики. Второй президент, фельдмаршал фон Гинденбург, в своей речи о скончавшемся Эберте говорил как о благороднейшем патриоте и крупном государственном деятеле, оказавшем Германии неисчислимые услуги.

За почти пятнадцать лет жизни в Германии я узнал немцев{19} и думаю, что предупреждение Эберта было мудро. Немцы — народ прирожденный дисциплине, иерархии, организованности, труду. В них нет стихии российского окаянства. К бессмысленному, анархо-нигилистическому взрыву — “все поехало с основ” (который погубил Россию 1917 года, ибо именно его оседлал Ленин для захвата власти, потакая с ума сошедшему “от свободы” народу) — немцы, как народ, *не расположены.* Этих чувств, этой тяги к “безграничной свободе” в немцах нет. “Der Mensch ist nicht geboren frei zu sein”, — полагал Гете. Недаром Бакунин в “Исповеди” Николаю I писал из Шлиссельбурге кой крепости, как под конец жизни в Германии он *возненавидел* немцев: “Немцы мне вдруг опротивели до такой степени, что я ни с одним не мог говорить равнодушно, не мог слышать немецкого языка и немецкого голоса”. Бакунин писал несомненно искренне. Немцы (сперва германцы, потом австрийцы) и выдали его к черту — русскому царю, чтоб отвязаться от этого скифа, предлагавшего выставить

“Сикстинскую Мадонну и прочие знаменитости” на дрезденских баррикадах. Не выставили.

Откуда же “произрастают” все эти нелепые и не соответствующие действительности заявления ибанского профессора логики А.Зиноньеаа? Они “произрастают” оттого, что он неподдельный homo soveticus и мыслит по “гомосоветски”. И Зиновьев не один. Ибанский поэт Иосиф Бродский дал еще более интересное “интервью” итальянской газете “Республика”. Отрицая (для себя) всякую оппозицию коммунизму, этот господин называет себя: “я — непослушный раб”. По его слезливым письмам “дорогому Леониду Ильичу” (Брежневу) в его “непослушности” приходиться усомниться. Но что он “раб”, это с подлинным верно. Вот что о жизни в СССР рассказывает итальянцам этот *советский pair*. “Жизнь абсолютно нормальная <„> в 1972 году работники КГБ поставили меня в известность, что я должен уехать. Вот так я и уехал. Ничего особенного”. (Беру сведения об этом “интервью” из статьи Е. йагина “Римские письма”. НРС. сент. 1980) По Бродскому, качественно, оказывается, нет г. советском концлагере или в нью-йоркском Сентрал Парке. Это, оказывается, “почти одно и то же”. Но почему же из СССР за последние годы бежали десятки тысяч людей, я десяткам тысяч убежать не дают, не пускают. Почему с Кубы прибежали сто тысяч человек? Непонятно. Ведь, по Бродскому, “нью-йоркский “Сентрал Парк” это и есть советский концлагерь, ну, не совсем, правда, но “почти”. Но “почти-, как и “чуть-чуть”, в анекдоте не считаются. Почему же Бродский рассказывает такие басни? Да потому же по самому: он (made in U5SRJ) неподдельный honio soveticus! Это и есть переделка человека ленинизмом в homo sovetkus! Если человек не знает, что такое правда, он духовно вывихнут. С homo sovelicus'ами всякие дискуссии” нелепы, ибо, как говорил любивший свободу блестящий испанец Сальвадор де Мадарьяга: “с граммофоном не спорят". Я думаю, что у “граммофонов” — страх перед своей собственной свободой.

Роза Люксембург, Карл Либкнехт, Курт Эйснер, Лео Йогихес, Евгений Левинэ и другие интернационалисты, в 1919 году толкавшие немецкую революцию на “советское углубление”, успеха не имели и свои жизни кончили в Германии драматически.

Но история послевоенной Западной Европы 20-х годов стала рассказываться уж не только “дураком”, но и “дураком” алчным и слепым. Версальские победители больше склонялись к формуле князя Бисмарка: “Победитель оставляет побежденному только глаза, чтобы плакать”. Вместо того чтобы поддержать молодую немецкую демократию, они рвали с нее все, что она могла им

дать и что ей было давать уж невмоготу: “контрибуции”, “репарации”. В 1923 году Франция даже заняла своими цветными войсками Саар и Рур. А ровно через десять лет в Германии к власти пришел Гитлер. Шекспир оказался опять прав. А если б победитель был мудр, как МакАртур иль Винстон Черчилль, говоривший, что “на другой день после победы победитель должен великодушно протянуть руку побежденному”, кто знает, может быть, мир и избежал бы Гитлера с ужасами его войны. Но где там!

Экономическая катастрофа Германии 20-х годов была фантастической. У одного моего друга случайно сохранились официальные банковские справки. Приведу хотя бы три. 24 августа 1922 года за один американский доллар в Германии платили 1972 марки, а в 1923 году один доллар в Германии стоил 150 *миллионов* марок, за фунт же стерлингов в 1923 платили от 32 до 50 *биллионов* немецких марок. Я не описался — *биллионов*. В 1924 году валютная вакханалия в Германии кончилась: ввели “рентенмарк”. Но страна от экономической катастрофы не излечилась.

Эта катастрофа сделала то, что Берлин под конец 20-х годов перестал быть столицей русского Зарубежья. Из Берлина начался исход русской интеллигенции. Философы, писатели, политики, ученые, художники, музыканты, артисты уезжали в Париж, в Прагу, в Лондон, в Америку. Кому что удавалось. Бердяев, Вышеславцев, Шестов, Франк, Струве — в разное время — переехали в Париж, Профессора — Новгородцев, Кизеветтер, Гогель, Алексеев — в Прагу. Питирим Сорокин— в Америку. Политики — Керенский, Церетели, Мель-гунов — в Париж. Виктор Чернов, Ек. Кускова, С.Прокопович, В.Мякотин — в Прагу. Писатели — Зайцев, Алданов, Ходасевич, Осоргин, Минский, Муратов, Адамович, Георгий Иванов, Саша Черный, Одоевцева, Оцуп, Шмелев, Ремизов — в Париж. Композиторы — Глазунов, Гречанинов — в Париж. Метнер — в Лондон, Музыканты — Вл. Горовиц, Г.Пятигорский, А.Китаин, С.Кусевицкий — в Америку. Цецилия Ганзен — в Лондон. Художники — Б.Григорьев, Ив. Пуни, Милли-оти, Терешкович, Челищев, Андреев, Любич, Меерсон — в Париж. Актеры — Гермзнова, Крыжановская, Хмара, Вырубов и другие — в Париж. Балетные — Романов, Смирнова, Обухов и другие — в Париж. Мне пришлось расстаться g семьей Станкевичей. Вл. Бенедиктович получил кафедру уголовного права в Ковенском университете, в Литве. Туда же переехал А.С. Ященко, получив кафедру международного права. Я не могу перечислить всех представителей русской зарубежной интеллигенции, кто куда уехал, да это и не нужно. Важно, что

Берлин в конце 20-х годов — в смысле русскости — совершенно оскудел.

Из газет в Берлине осталась одна ежедневная — “Руль”. Из журналов уцелел лишь “Социалистический вестник”, ибо был связан с немецкой с.-д. партией. Русские театры закрылись. Издательства, одно за другим, умерли. Остался только “Петрополис”, выпускавший довольно много книг. Формально существовали еще два-три, но книг почти не выпускали. Общественные и научные организации одни прекратили свое существование, другие обеднели силами.

Столица русского Зарубежья перешла во Францию, в Париж. Но в четырех местах Западной Европы — в Чехословакии в Праге, в Латвии в Риге, в Эстонии в Ревеле и в Югославии в Белграде оставались еще русские культурные силы.

Некоторые читатели не любят перечней фамилий, организаций. Пусть зевнут на двух страницах. Мне эти перечни (даже самые краткие) нужны. Нужны как некие “декорации” той “России”, которую “я унес”. О Белграде перечней дать не могу. Но о Праге и Риге кое-что знаю.

Из политиков в Праге обосновались эсеры (разных оттенков, но Бог с ними, с оттенками): В.М.Чернов, В.И.Лебедев, Е.Е.Лазарев, Е.К.Брешко-Брешковская, В.Г.Архангельский, В.Я.Гуревич, Ф.С. Мансветов, С.П.Постников, М.Л.Слоним и другие. Они издавали сначала газету, а потом журнал того же названия — “Воля России”. Были видные народные социалисты: А.В.Пешехонов, А.Ф.Изюмов. Энэсы издавали исторические сборники “На чужой стороне” (позже — “Голос минувшего”) с участием С.Мельгунова, В. Мякотина, Т.Полнера и других. Были видные кадеты (тоже разных оттенков — правее, левее): Н.И.Астров, гр. С.В.Панина, В.Н.Че-лищев, П.И.Новгородцев, А.А. Кизеветтер, В.А.Харламов и другие. Была группа “Крестьянская Россия”: С.С.Маслов (во время войны, по занятии Праги Советами, схвачен СМЕРШем и погиб), А.А.Аргунов, В.Ф.Бутенко и другие. С.Маслов редактировал политически нужный журнал “Крестьянская Россия”. С Масловым я встречался в Париже. Дельный был человек. Была группа “Общее дело”: И.В.Новицкий, Л.Ф.Магеровский, В.Ф.Данченко. Были евразийцы во главе с профессором П.Н.Савицким, но о них я достаточно говорил.

Было много русских культурных организаций: “Русский юридический факультет” (под покровительством Карлова университета) — П.И.Новгородцев, Д.Д.Гримм, П.Б.Струве (переехал из Парижа), А.А.Кизеветтер, А.А.Вилков, К.И.Зайцев (позже — архимандрит Константин в монастыре в Джорданвилле,

под Нью-Йорком), М.А.Циммерман, Косинский и другие. “Русский народный университет” — М.М.Новиков (последний ректор Московского университета), Д.Н.Вергун, преподавали и многие из уже упомянутых ученых. Издавались “записки” русских ученых в Праге. “Русское историческое общество” — А.А.Кизеветтер, Е.Ф.Шмурло, В.А. Мякотин, Г.В.Флоровский, Г.В.Вернадский, С.Г.Пушкарев, Е.Ф.Максимович, А.Н.Фатеев, Саханев и другие “Кондаковский институт” — Н.П.Кондаков, Г.В.Вернадский, А.П.Калитинский, Н.Е.Андреев и другие. “Экономический кабинет” — С.Н.Прокопович, Е.Д. Кускова, профессор Байков. “Педагогическое бюро” — А.В.Жекулина, А.Л.Бем, В.В.Зеньковский. “Русский заграничный исторический архив” (под покровительством Чехословацокого Министерства иностранных дел, представитель — профессор Ян Славик) — заведующие отделами: А.Ф.Изюмов, С.П.Постников, Л.Ф. Магеровский. “Союз писателей и журналистов” — Е.Н.Чириков, Вас. Ив. Немирович-Данченко, М.И.Цветаева, А.Аверченко, Б.Лазаревский, Д.Ратгауз, П.Потемкин, И.Д.Сургучев, А.Л.Бем, С.И.Варшавский, В.А.Розенберг, М.Л.Слоним и другие. Из начинавших тогда писателей выделились — С.А.Левицкий, Р.В.Плетнев, М.Д.Иванников, Вл. С.Варшавский, С.М.Рафальский. В содружестве “Скит поэтов” — Алла Головина, Вяч. Лебедев, Эмилия Чегринцева, Вл. Мансветов, А.Эйснер и другие. Существовало в Праге русское издательство “Пламя”, основанное историком русской литературы профессором Евг. А.Ляцким и Ф.СМансветовым. В Праге работали известные русские философы — Н.О.Лосский, И.И.Лапшин, В.В.Зеньковский. Из церковных деятелей — архиепископ Сергий Пражский, славившийся исключительной скромностью жизни и добросердечием. При нем — архимандрит Исаакий (бывший белый офицер) и отец Мих. Васнецов (сын известного художника).

Русская Рига была, конечно, не чета русской Праге. Много провинциальнее. Но и тут билась жизнь русского Зарубежья. В Латвийском университете читали лекции профессора Косинский, Синайский, Попов, Круглевский. Профессор Арабажин вел частные русские университетские курсы. Выходила ежедневная газета “Сегодня” под редакцией М.С. Мильруда (издатель — Я.И.Брамс). В “Сегодня” печатались местные писатели и журналисты: Петр Пильский, Клопотовский (Лери), Ю.Галич, С.Р.Минцлов, из Парижа — М. Алданов, И.Бунин, Б.Зайцев, З.Гиппиус, Д.Мережковский, Ив. Лукаш, Тэффи и другие. С.А. Белоцветов издавал иллюстрированный журнал “Перезвоны”, литературным редактором которого (из Парижа) был Б.Зайцев. Из молодых писателей, русских прибалтийцев, вошли в зарубежную

литературу: Леонид Зуров, Ирина Сабурова, поэты Игорь Чиннов, Юрий Иваск и историк Ник. Андреев. В Риге был театр русской драмы, где выступали местные актеры и гастролеры: Мих. Чехов, Рошина-Инсарова, Полевицкая, Жихарева. Жил в Риге знаменитый тенор Большого театра Дм. Смирнов, приезжал на гастроли Ф.И.Шаляпин. Русскую православную церковь в Латвии возглавлял выдающийся человек, архиепископ Иоанн (Поммер), часто выступавший с амвона против большевиков. Его зверски убили советские чекисты на загородной даче под Ригой. Да, забыл: выходила газета “Слово” под редакцией Н.Г.Бережанского. Выходил журнал “Закон и суд” под редакцией П.Н.Якоби.

О русской Эстонии, к сожалению, могу сказать мало. Не осведомлен. Знаю, что именно в русской Эстонии зародилась идея всезарубежного празднования Дня русской культуры. В Эстонии было несколько русских издательств, много русских газет, одно время до полудесятка ежедневных и еженедельных изданий. Семь русских учебных заведений. Очень активная русская академическая группа с такими учеными, как Тютрюмов, Гримм, Курчинский, Филиппов, Шелоумов и другие. Там началось первое за границей молодежное издание “Новь”, развившееся в 30-х годах в серию неплохих одноименных альманахов. Из молодых тогда русских, живших в Эстонии, позднее составили себе имя: историк Н.Е.Андреев, поэт Ю.П.Иваск, философ С.А.Левицкий и другие.

Деревенька Фридрихсталь

Уезжать из Германии у меня не было ни желанья, ни возможности. Желанья потому, что хоть и трудно мы жили (“из руки в рот”, как говорят немцы), но все-таки “прижились”. А возможности — потому, что семья большая — шесть человек (мать, жена, я, брат, его жена и их маленький сын). Поэтому вопрос о переезде и не вставал. Только из дорогого Берлина переехали в деревеньку Фридрихсталь, километров шестьдесят (кажется) под Берлином.

Переехали случайно, по дружбе с немецкой семьей профессора Карла Штелина (Stahlin). Он занимал кафедру русской истории в Берлинском университете и вместе с профессором Гетч (Hoetzsch) вел восточноевропейский семинар, где я часто работал в библиотеке-читальне. Особенно тепло подружились мы с сыном профессора — Отто и с его женой — Ольгой (мы ее звали — Олечкой). Они постоянно жили в Фридрихстале, ибо Отто болел туберкулезом, а Фридрихсталь окружен был сосновым лесом. В нем был даже санаторий для туберкулезных.

До переезда мы каждое лето приезжали в Фридрихсталь, снимая квартиру. И вот как-то Олечка Штелина нам сказала: “Почему бы вам не купить тут участок земли, сейчас (это было в разгар инфляции) тут вы купите землю за грош”. И действительно за грош мы купили на краю деревни небольшой песчаный участок дикой целины. Брат и я перекопали его вилами, выкорчевав всю заросль и траву, все это сложили в компостную яму: пусть гниет, будет земля.

А Олечка Штелина однажды, у нас за чаем, предложила взять у нее деньги (под смехотворно божеский процент!) и выстроить маленький дом. Решились. Взяли. Лев Толстой где-то хорошо написал “о любви к земле по купчей крепости”. Вот и в нас жила такая земская “любовь”. Дом мы построили сами под руководством старика-немца, плотника. Клали с ним фундамент, выводили стены, настилали черепицу, красили полы, клеили обои, устанавливали печки. И на краю немецкой деревни вырос наш двухоконный (с фасада) сероватый дом в четыре небольших комнаты. Весь участок обнесли проволочным забором, вдоль него посадили березы, тоненькие, но уже в первый год затрепетавшие легким ситцем листьев. Посадили розы, всякие цветы, пестрый строй георгинов, несколько фруктовых деревьев: груши и яблони. Весной, когда они зацветали, везде, даже в комнатах, пахло леденцами.

В память былого пензенского именья, которое любили, наш участок мы шутя называли “местоимением”. Кто-то из древних говорил, что человеку нужен не столько дом, сколько сад. У нас появился и сад, заставивший нас его полюбить. Так мы и поливали, пололи, копали, унавоживали эту “нашу” немецкую землю.

На подловке я — по инфантильной страсти — завел голубей. Черношалие, синеплекие, белые, краснопузые, желтые, чугунные, они выносились в прозрачность утреннего воздуха с стремительным звоном крыл. Сначала они дают низкие, взволнованные круги, потом набирают высоту и в солнечных лучах кажутся бело-серебряными, “как святой дух”, а залетев на оловянную тучу, сразу выявляют всю разнобойную пестроту окрасок. Это тоже счастье: следить за полетом своих голубей. На большой высоте, отстав от стаи, лентовый красношалий начинает кувыркаться, стремительно падая вниз, и, кажется, вот-вот ударится и разобьется о крышу, но у крыши внезапно выравнивает паденье и тяжелыми кругами снова набирает высоту, догоняя снизившуюся за ним стаю. Голубей я водил в Пензе на своем дворе на Московской улице. Там мальчишкой, стоя с махалом на крыше, спорил в голубиной охоте с приказчиками соседней мануфактурной лавки братьев Кузнецовых. Приказчики эти тоже были страстные голубятники. Водить голубей — сильная, непроходящая страсть. В Фридрихсталь к нам приезжали: Б.И.Николаевский и Л.Я. Далина, В.П.Крымов с женой приехали раз на автомобиле, священник Николай Фед. Езерский, друг отца еще по Пензе, Константин Федин заглянул из Берлина: “посмотреть, как живут русские эмигранты в немецкой деревне”. Жили мы скромно, но (как вспоминаю) приятно. Со всеми соседями-немцами дружили. Тут больше были рабочие (всё социал-демократы, чудесный народ!). Была и рабочая молодежь. Кондовые крестьяне были, но мало. Деревенька — больше рабочая (ездили на работу в Ораниенбург, в Берлин). А рядом — деревенька Мальц: старозаветная, крестьянская.

Няня Анна Григорьевна

В семье мы жили дружно. Только жаль, что не было уже с нами моей (и братниной) няни Анны Григорьевны Булдаковой. Пришедшая в Берлин вместе с матерью, няня Германии (конечно) не выдержала. Без языка, жаловалась: “Ну как немая!”. Без православной церкви, домовую церковь на Находштрассе не признавала: “Да у них и колокола-то нет!” Без родных, оставшихся в Вырыпаеве. *Без России.* Конечно, в Берлине няня многому дивилась. Но в Вырыпаеве все было лучше. В Берлине — ни воли, ни поля, ни простора, один асфальт. На квартире — не постирать, как надо, не помыться. Бани нет. А когда от нас узнала о процессе некоего чудовища-немца Денке, за свою жизнь убившего и съевшего не то семь, не то восемь человек, закачала головой и сказала: “Вот те и на! Заграница! Говорят, всё тут люди культурные, да у нас в Вырыпаеве никто никого отродясь не съел”.

И как няне ни тяжко было расставаться с нами *(навеки,* это и она и мы знали), все же решила вернуться в Вырыпаево. Мы купили ей швейную машину Зингера: в Вырыпаеве пригодится. И с машиной и другими вещами я поехал проводить няню в Штеттин на пароход. Горько плакала няня, обнимая меня на пристани. “Взойди ты, Рома, еще хоть раз на сходни, я тебя обниму!” — говорила с борта. Я взошел, обнял мою старую няню Анну Григорьевну Булдакову, отдавшую нам всю свою жизнь и спасшую мать тем, что пошла с ней в поход за границу. И вот — пароход “Бюргермейстер Гаген” оттолкнулся от берега и медленно отходит. С палубы няня машет мне старой рукой. Так и махала, пока не скрылась.

С няней — из Вырыпаева — у меня установилась переписка. В возможность ее я сначала не верил. Няня по-немецки адреса написать не могла (по-русски писала самоуковыми, страшными каракулями), да и конвертов в Вырыпаеве достать было трудно наверное. И я делал так: писал ей письмо на пишущей машинке (няня хорошо читала!) и в свой конверт вкладывал конверт с нашим немецким адресом. В этом конверте *без марок* она должна была опускать свое письмо. Я же при получении оплачивал его (вдвойне). К моему удивлению, эти нянины письма доходили. И все они (с конвертами, написанными моей рукой) хранятся в моем архиве в библиотеке Йельского университета.

Спервоначала нянины письма были радостные. В одном было: “А в России жить хорошо!” Потом что-то в Вырыпаеве переменилось. Писала, что живет в избушке с выгнанной из

монастыря монашкой, стегает невестам одеяла, ребенков у рожениц принимает, одиннадцать уже приняла и все мальчики, людей лечит — стаканчики на спину ставит, сама нажала ржи пять сот, картошки сто мер собрала, а за овсы вот боится — Иван Постный, а они стоят зеленые. Писала, что была в Саранске у моего однокашника по гимназии и университету Венедикта Софронова (он в Саранске судьей стал), рассказала о нас, о Берлине, и он зовет нас назад, чтоб поскорее возвращались.

Потом в переписке произошел долгий перерыв. И наконец пришло письмо, первая строка которого была: “Дорогой Рома, это письмо верно последнее”. А дальше шло потрясающее описание начала *крестьянского погрома,* проводившегося под “научным” псевдонимом “коллективизации”. Письмо написано едва разбираемыми каракулями, но няниным красочным языком. Когда я прочел его Б.И.Николаевскому, он, ошеломленный, проговорил: “Р.Б., это обязательно надо опубликовать, дайте мне, пожалуйста, копию”. — “Только надо все законспирировать, Борис Иванович”. — “Ну разумеется…” — И я сделал копию с няниного письма, затушевав все, что могло навести на ее след.

Нянино письмо появилось в “Соц. вестнике”, в отделе “Вести из России”, как “Письмо крестьянина”. На него тогда многие обратили внимание. Но няня была права: письмо было последним. Погибла моя няня, Анна Григорьевна Булдакова, в социалистическом *погроме крестьян* села Вырыпаева.

Н.А. Орлов

С кем в Фридрихстале мы особенно сблизились, — с Николаем Афанасьевичем Орловым и женой его Евлалией Георгиевной. Знакомы мы были еще по Берлину, но здесь крепко сдружились.

Николай Афанасьевич Орлов и Евлалия Георгиевна были людьми не часто встречающимися. По одаренности. По уму. По нравственной чистоте. По стойкости характеров. И по самой обычной человеческой приятности общения. Говоря "исторически", Н.А.Орлов был *первым советским невозвращенцем*. Причем невозвращенцем видным. Всех подробностей его биографии не знаю. Что знаю — расскажу.

Н.А. был сибиряк из бедной крестьянской семьи. Он и по виду был крестьянообразен: невысокий, кряжистый, с круглым лицом, курносый, с веселыми глазами. По рассказу Н.А., в жизни его большую роль сыграл человек, оставивший след в истории русской революции — Павел Васильевич Вологодский. Вологодский был социалист-революционер и весьма состоятельный человек. В гражданскую войну — первый Председатель Совета министров при Верховном правителе, адмирале А.В.Колчаке. Сменил Вологодского расстрелянный вместе с Колчаком Пепеляев. Вологодский умер эмигрантом в Китае.

Так вот, еще в сельской приходской школе Н.А.Орлов проявил свою одаренность. И кто-то указал Вологодскому на талантливого мальчика, в семье которого средств для продолжения его образования нет. П.В.Вологодский взял мальчика под свою материальную опеку, дав возможность Н.А. окончить и гимназию, и Томский университет. По окончании университета Н.А. стал экономистом. Как и когда Н.А. пошел по революционному пути, когда стал с.-д. большевиком (наверное, в 1917 году) — не знаю. Знаю только, что после Октябрьской революции Н.А.Орлов выпустил две специальные книги: "Продовольственная работа Советской власти" (М., 1918) и "Система продовольственной заготовки" (Тамбов, 1920). Но об этих книгах в разговорах Н.А. никогда не упоминал, ибо я его встретил уже крайним социалистофобом и еще пуще советофобом.

Мне Н.А. только говорил, что нэп введен по его законопроекту, что Ленин одобрил именно его проект, и письма Ильича, которого ко времени нашего знакомства Н.А. считал "тушинским вором, демагогом и палачом", — у Орлова

хранились. Больше того. Они-то и стали его “охранной грамотой” после невозвращенства. О причинах невозвращенства, о душевном состоянии Н.А. в дни его службы в берлинском торгпредстве говорит его дневник.

В 1961 году в Нью-Йорке в “Новом Журнале” (кн. 64) я опубликовал хранившуюся у меня лет тридцать рукопись дневника Николая Афанасьевича. Заглавие я дал сам — “Дневник разочарованного коммуниста” и подписал буквами “Н.Н.” (для “конспирации” у меня были основания). Приведу хотя бы последние страницы этого дневника:

“17 *янв. 1922 г.* Антанта умна и хитра. Ею правят люди большого жизненного опыта. За ее спиной стоит класс капиталистов — единственный пока, способный править, способный — пусть изредка — практически подниматься на высоту общечеловеческих интересов. Советская Россия глупа, ибо ею правит ничтожная кучка честных и бесчестных авантюристов из женевских кабачков, ибо за спиною этой кучки темное, ненавидящее ее мужичье и вороватый, ничтожный, некультурный, униженный, в глубине своей загаженный рабочий. Сила женевских авантюристов, как и царя, — темнота народная, вечно подогреваемые зверские и собственнические инстинкты, Красная армия и чекистская охрана. Вот и все. Темнота. Злоба. Европейские мыслящие рабочие и интеллигенты презирают Ленина. Русские мыслящие рабочие и интеллигенты ненавидят Ленина. Жестокий, сумасбродный временщик, тушинский вор, демагог и палач. Не по словам, а по делам надо судить цезаря…

7 февр. 1922 г., Берлин <…> Капитализм — очень скверный строй, судя по рассказам. (Сам я никогда не был ни рабочим, ни хозяином, всегда служил у общественных организаций, черт бы их побрал!) Но капитализм обеспечивает хоть видимость самоопределения человека. Старайся, развивай свои способности, и тебя оценят. Пусть ценой голода и чахотки, но признание будет. А вот социализм — Kanzleiwirtschaft — это, видимо, нечто чудовищное. Личности тут нет. Коллектив. Воли тут нет. План и статистика. Риска тут нет и неизвестности. Организованное болото, Manteltarif и Betriebsrat. Жизнь по Бедекеру, мысль — по определению тридцатиэтажного бюро. Брр! Дурак и личный враг мой — всякий приверженец социального переворота. Где переворот — там начинается ленинская фантазия с учетом, карточной повинностью и голодом. Никогда не охватить нормальные потребности многомиллионного коллектива в схеме и плане. Будет чепуха. Исправление капитализма опытом жизни — вот нормальный путь, здоровый путь.

6 марта 1922 г. А что, если я изобличу этих прохвостов! Не в

угоду другим прохвостам, а в угоду миру и прогрессу. Впрочем, и на это наплевать. Я изобличу их за все их подлости, надувательства, подхалимство, за гибель нашего поколения, за надругательство над всем, во что мы верили. Стоит ли? Поверят ли мне? Не забросают ли меня грязью? Пожалуй, и на это наплевать. Ведь они замучили всех моих близких и дальних, они разорили великую страну <…> Мне кажется, я написал бы о них умную, гневную, бичующую книгу, такую, которая уничтожила бы их морально, окончательно разбила бы ряды всех этих чекистов и идиотов из III Интернационала. Ведь я знаю их душу — мелкую, холопскую. Вот они занялись теперь арестом левых коммунистов. Это — идиоты, но не подлецы. Идиот страшнее подлеца, но он не противен в такой степени…

29 авг. 1922 г., Берлин. Все идет отлично. 22-го Крестинский написал в Москву, что для моего настроения московский воздух будет <…> Дело сильно подвинулось к разрыву с этими людьми. Ах, тем лучше. Кончается кровавая полоса — Россия, начинается трудовая полоса — Европа. Я знаю, конечно, что будет тяжело добывать хлеб в этой переполненной Европе, я знаю, что всякой скверны здесь не меньше, чем на родине, но бессмысленного хамства меньше, пустого круговращения для отдельной личности меньше. И нет этой крови, крови, крови, ужасов, насилий и идиотизма….

11 сентября 1922 г., Берлин <…> Господин Крестинский делает свое государственное дело! Бог мой, и с этими людьми я прожил четыре года, предполагая, что у них за душой есть тот медный грош, которого я не видел за душой других. Какой же я идиот! У Крестинского — охранка, у Стомоньякова (советский торгпред в Берлине. — Р.Г.) — воровской притон. И над всем царит звезда идиотизма, узколобия, себялюбия мелких ничтожнейших мешанишек, нашедших в Ленине достойного пророка, а в Бухарине и Зиновьеве — блестящих апологетов…”

На этом дневник обрывается. Уйдя из торгпредства, Н.А. решил навсегда остаться в Германии (как я в 1919 году). После его ухода Орловы переехали в Фридрихсталь. Евлалия Георгиевна продолжала работать в торгпредстве на какой-то незначительной должности. А Н.А. стал посылать корреспонденции с Запада в газету “Сибирские огни”. Они печатались, и Н.А. даже получал гонорар. “Охранная грамота” еще действовала. Но корреспонденции были для заработка. А для души Н.А. засел за толстенный роман под названием “Диктатор”. Рукопись его оставалась у меня, но, к сожалению, погибла. Это был фантастический роман, темой схожий с “Мы” Евг. Замятина. Откровенно говоря, роман мне не очень нравился. Думаю, Н.А. не

был “беллетрист”.

Помню, однажды Н.А. показал письмо Максима Горького, которого он знавал и которому на отзыв послал “Диктатора”. Горький писал не обескураживающе, но без восторга, советовал кое-что переработать, но вот “эротика” в “Диктаторе” вызвала его грубый отклик: “Уж если писать “эротику”, надо писать ее так, чтобы<…> до Полярной звезды, а если этого нет, и писать не надо” (буквальная цитата из письма М.Горького, два слова из-за нецензурности заменяю точками. — P.F.). По-босяцки выразился Алексей Максимович, ничего не скажешь, но, увы, верно! Примером такой тошнотворно выдуманной (серебральной) “эротики” служат хотя бы до одури скучные увражи В.Набокова, скабрезные, но совершенно аэротичные.

Н.А.Орлов умер внезапно в Фридрихстале, который любил. Под жарким солнцем копал огород, и вдруг — спазмы в груди. Вместо того чтоб (как советуют врачи) сразу лечь и лежать, пока грудные боли утихнут, бросил лопату, вбежал в квартиру по крутой лестнице на третий этаж и, не дойдя до кровати, упал и умер. Евлалии Георгиевне пришлось вернуться в СССР.

“Прыжок в Европу”

В своем домике в Фридрихстале я закончил книгу о Михаиле Бакунине (вышла в “Петрополисе”), написал “Тухачевского”, “Красные маршалы” (вышли в “Петрополисе”). Написал и еще одну книгу, “Прыжок в Европу”, которая так никогда нигде и не появилась, и рукопись, к сожалению, погибла. Жаль. Это был ценный человеческий (и исторический) документ.

Вот как получился этот “Прыжок”. Приезжая в Берлин, я останавливался у близких друзей О.С. и Л.Н. Шифманович. Ольга Сергеевна (для меня Оля) была в Берлине актрисой. Наша пензячка, рожденная Протопопова. Я знал ее с гимназических лет, мы были на “ты”. Так вот, однажды во всех больших немецких газетах появилась “сенсация”: из СССР через всю Прибалтику пробрался зайцем, на поездах семнадцатилетний паренек, беспризорный Петя Шепечук. Как Оля его разыскала, не знаю, но приняла в судьбе сего “фантастического вояжера” горячее участие: Петя у них ел, пил, спал. В один из приездов я с этим юным отчаянием познакомился.

Был он крепкий, спортсменский, довольно приятный паренек, прошедший в СССР огонь, и воду, и медные трубы. В Берлине его пододели по-европейски, держался он “вполне светски”, застенчивости никакой нет и в помине, рассказывал о беспризорной жизни и о своем “прыжке в Европу” интереснейше. И Оля мне говорит: “Роман, помоги ему, запиши его рассказы. Ведь это может стать захватывающей книгой — он первый советский беспризорник на Западе”. Я согласился. И Петя стал приезжать к нам в Фридрихсталь на “сеансы рассказов” о своем детстве, беспризорничестве (не без уголовщины). Я записывал. Рукопись должна была идти, конечно, за его подписью, и вообще “все права сохранялись за автором”, то есть за Петькой.

Отмечу штрих в характере этого самого Пети. Около Фридрихсталя, среди соснового леса, течет широкий (судоходный или, вернее, баржеходный) канал, соединяющий (кажется) Берлин и Штеттин. На канал в воскресенье немцы выходили купаться, загорать на солнце. Пошли как-то и мы: я, брат и Петя. Но купаньем, ныряньем, загораньем сей русейший Петя не удовлетворился. Он захотел “поразить мир злодейством”, потрясти воображенье немцев русской удалью. И потряс. Голый, в трусах, забрался, как обезьяна, на самый верхний, высокий парапет моста. И оттуда, с большущей высоты — на виду у немцев — ласточкой сиганул в канал, нырнул и выплыл. Прыжок — первый класс!

Жизнь этого Пети со всеми его необыкновенными приключениями я довольно быстро записал. Получилась рукопись страниц в двести — “Прыжок в Европу”. Опекуном Пети взялся быть один из редакторов “Берлинер тагеблятт” (с ним я встречался, но фамилию запамятовал). Он должен был с кем-то, знающим русский, перевести “Прыжок” по-немецки и устроить его печатание. По-русски же я послал “Прыжок” П.Н.Милюкову для “Последних новостей”, С Милюковым я как раз незадолго до этого познакомился в Берлине у Б.И. Элькина. Напечатание “Прыжка” в газете, по-моему, могло быть почти сенсационным, во всяком случае крайне интересным. И П.Н.Милюков рукопись оценил и принял. Но газета есть газета. “Последние новости” были переполнены множеством *постоянных* сотрудников, и “аутсайдеры” были им не очень в масть (отбивали построчные). Поэтому, несмотря на положительный отзыв и принятие рукописи Милюковым, в газете прошли только два-три отрывка. Дальше дело застопорилось, ибо таким материалом ведал, в конце концов, Не сам Павел Николаевич, а *фактический делатель* газеты Александр Абрамович Поляков. Он “Прыжок” и застопорил.

Без малого через полвека я совершенно забыл все беспризорное содержание “Прыжка”. И рад, что в моем архиве сохранилось письмо П.Н.Милюкова об этой рукописи. Оно, по крайней мере, может дать хотя бы некое представление о ее сути. Приведу письмо П.Н.Милюкова, полученное мной в Фридрихстале:

“Praha, Bubinec, Uralske nam. б. 1 Ь. 17

7 января 1932 г.

Многоуважаемый г-н Гуль,

“Прыжок в Европу” я своевременно получил и прочел, и я и мои коллеги по редакции очень ею заинтересовались. Я хотел бы поместить ее полностью, но это встречает препятствия в обилии газетного материала. Уезжая, под новый год, из Парижа в Прагу, я все же настаивал, чтобы по возможности больше было помещено. Но окончательное решение должен был предоставить в мое отсутствие моему заместителю, И.П.Демидову. Гонорар автору мы можем предложить в 60 сантимов за строчку. Это — цифра несколько повышенная сравнительно с нашими средними за материал этого рода. Я удивлен, что до сих пор Вы не получили письма из редакции; уезжая, я напомнил Демидову о необходимости поскорее Вам сообщить о результате. В дальнейшем сноситесь с Демидовым, а я перешлю ему Ваше письмо с новым настоянием. По-моему, рукопись есть документ, в своем роде единственный, и Ваша осторожная литературная обработка только придала ему цену.

Искренне уважающий Вас

П. Мылю*ков*.

P.S. Я остаюсь здесь до 20 чисел января, после чего приеду в Берлин и остановлюсь у Элькина, 14, Kufsteinerstrasse..

(Письмо в оригинале написано по старой орфографии. — Р.Г.)

Последняя встреча с А.Н.Толстым

Дату последней встречи с Толстым даю точно, ибо сохранилась довольно подробная запись. Встретились 20 марта 1932 года. 18 получил в Фридрихстале письмо от Толстого: на короткое время в Берлине и хотел бы встретиться (телефон и адрес).

Я приехал. Остановился А.Н. в прекрасном отеле на Курфюрстендамм. Вид Толстого — веселый, беззаботный, “в хорошем настроении”. Одет как всегда по-барски. За восемь лет, что я его не видел, мало изменился (чуть пополнел, пожалуй). А все ухватки те же, толстовские. Только поздоровались, сели и: — “Роман Гуль, будьте другом, выручьте, — говорит, — вчера тут намазался и переспал с девчонкой. Сдуру дал ей адрес и телефон. Телефон уж звонил, я не подходил, уверен, что она. Как позвонит, подойдите, пожалуйста, и скажите, что герр Толстой, мол, выехал из Берлина… надо от нее отвязаться”. Действительно, во время нашего разговора раздался телефонный звонок и какой-то маловыразительный женский голос спросил (по-немецки) Толстого. Я ответил все просимое. И получил от Толстого спасибо: “отвязался от девчонки” Алексей Николаевич.

Разговор перескакивал с одного на другое. О своей жизни в СССР Толстой сказал, что до пятилетки материально ему было очень трудно, порой даже “ужасно трудно” (его слова. — Р.Г.) “Тогда ведь всякие Авербахи1 правили. Нас ни за что считали, так, в хвосте где-то. Ну, а теперь иной коленкор, "культура взяла свое.."”

Помню, мимоходом Толстой заговорил о писателях-стукачах и первым таким назвал Глеба Алексеева (как называли его и Федин, и Груздев), а вторым некоего петербургского поэта, который *еще* жив, хоть и очень стар. Я спросил о Льве Никулине. “Нет, — сказал Толстой, — о нем ходят слухи потому, что Никулин раньше же работал в ЧеКа “чиновником”, как и Бабель.”

Кстати, о “пролетарии” Авербахе. Лидер РАППа (Российской ассоциации пролетарских писателей) Леопольд Авербах к пролетариату никакого отношения не имел. Он был сыч нижегородского миллионщика Авербаха, торговавшего лесом и гонявшего по Волге пароходы. Так что Леопольд Авербах мог видеть пролетариат лишь из прекрасного далека. Мать же его была сестрой небезызвестного Якова Свердлова (тоже нижегородца), распорядителя убийства царской семьи, чьим именем обезображена не только площадь в Москве, но и город Екатеринбург. Генрих же Ягода (Ягудэ) был приемышем

миллионщика Авербаха (Ягода рано осиротел) и воспитывался в доме Авербахов, за что и женился на весьма некрасивой сестре Леопольда. Вот так и появились у Леопольда Авербаха “пролетарские” связи. И стал он “лидером пролетарской литературы” в первом в мире “пролетарском государстве”. Но à la long все это его не спасло. Сталин в 1937 году шлепнул вначале его, а потом шурина Авербаха, “верного пса” Ягоду.

Тут я сделаю не относящееся к встрече с Толстым отступление. Когда моя жена (до отъезда за границу) жила в Москве с подругой по институту Лидией Средневой, голодали они по-настоящему: питанием были два стакана моченого гороха в день. И наша общая знакомая (пензячка), хорошо относившаяся к Олечке, стала искать ей работу. И нашла, радостно вызвав Олечку к себе.

Ну, Олечка, нашла, и очень хорошую! Спасибо, Нина Афанасьевна. Будете довольны, будете работать одной из архивисток в Разведупре.

Пауза с обеих сторон.

Нина Афанасьевна, я эту работу взять не могу. Как? Почему? Да это же прекрасно оплачиваемая работа и нетрудная. Дело не в работе. В *таком учреждении я* никакой работы никогда не возьму.

Тут Нина Афанасьевна взорвалась:

Я старалась! Я вас рекомендовала как интеллигентного человека! А вы отказываетесь? Что ж, будете жевать ваш моченый горох?..Буду жевать. Только теперь уж я для вас ничего больше делать не буду, никогда! Так и знайте!

На том и кончились поиски работы для Олечки. У Льва Никулина и И.Бабеля были, конечно, совсем иные измерения.

Под конец разговора Толстой пригласил меня с ним пообедать: “Будет художник Миклашевский, Мария Игнатьевна Будберг, вы и я. Вы с Марией Игнатьевной знакомы?” — “Только *но литературе”* (я имел в виду воспоминания чекиста Петерса, где он писал о ней не вполне обыкновенные вещи). Толстой догадался, рассмеялся и, махнув рукой, сказал: “Авантюристка! Чистой воды! Но умница-баба!”

Познакомиться с Марией Игнатьевной мне было интересно. Я знал — рожденная Закревская, первым браком — Бенкендорф, вторым — баронесса Будберг, потом — друг британского дипломата Роберта Брюса Локкарта (“заговор Локкарта”, 1918), с которым вместе и была арестована Че-Кой. Основательно отсидела в тюрьме, допрашивал ее *сам* Петерс (пока не вызволил Марию Игнатьевну из узилища Максим Горький). Тогда она стала его многолетней “секретаршей” (европейскими языками владела вполне), потом уехала в Англию и стала женой известного

писателя Герберта Уэллса (“Россия во мгле”). Биография сложная, “не общего выраженья”. Петере в воспоминаниях писал о М.И. “всякие ужасти”, что ее салон в Первую мировую войну был гнездом “немецкой агентуры”. Б.И.Николаевский в разговорах со мной о М.Горьком (с которым Б.И. был хорош) обвинял Марию Игнатьевну, что именно она толкает его “вернуться на родину”. По всему этому я с удовольствием отозвался на приглашение Толстого вчетвером отобедать.

Обед был где-то на Унтер ден Линден в подвальном (весьма приятном) кабачке-ресторане, любимом Толстым. И в смысле кулинарии и в смысле разговоров обед был хорош. Художника Миклашевского я раньше не встречал. Он оставил впечатление настоящего петербургского джентльмена (хотя не знаю, был ли он петербуржец) по виду, одежде, манерам. Но ничего человечески яркого в нем Не было. А вот Мария Игнатьевна произвела впечатление, как говорится, “неизгладимое”. Высокая (можно было бы даже сказать “большая женщина”), стройная, прекрасно сложенная, с безупречным вкусом одетая (черная шляпа, черное платье, с шеи змеится длинная золотая цепь), с аристократически простой, свободной манерой держаться, некрасивая, но очень умное и породистое лицо. В разговоре сдержанна, но то, что говорит, — умно, порой остроумно.

Толстой за обедом был в ударе: весел, оживлен, как рассказчик неистощим и всегда в стиле “толстовеко-анекдотическом”. Помню, рассказывал он про парад на Красной площади, который принимал сам Клим Ворошилов: войска выстроены в каре, все замерло, никто не шелохнется — ив эту тишину из кремлевских ворот выезжает на буланом жеребце Ворошилов. Серебряные фанфары ударили как бешеные (“русские ведь любят все эти штуки!”), крики “ура”, черт знает что такое… Потом рассказывал о самом Ворошилове: “Клим— чудесный парень, выпить любит, русские песни любит, поет, фифишек любит, вот евреев недолюбливает, думаю, нет…”.

Я спросил о Блюхере. Толстой сказал, что “уральский рабочий” (что неверно. — Р.Г.), что пользуется “огромной популярностью”. Красочен был рассказ об известном большевике Шатове (псевдоним, сначала был анархистом, после Октября из Нью-Йорка приехал в Россию делать карьеру, и сделал большую, но кончил, кажется, тоже в ежовском подвале. — Р.Г.), О Шатове Толстой рассказал, как Шатов строил Турксиб. “Жара, степь, пески, женщин нет, мужчины с ума сходят. Шатов в Москву телеграмму: “Прошу спешно двести пятьдесят блядей!”. Не поверили в серьезность, а Шатов — вторую. Не верят. Он в Москву своего “эмиссара” прислал: объяснить положение. Тот и

привез на Турксиб сто пятьдесят, поместили их в бараках и… Турксиб построили".

Толстой был все тот же любитель анекдотического, великолепный, артистический рассказчик. Миклашевский что-то спросил: о "всероссийском старосте" Калинине, и Толстой сказал: "Вовсе не глуп. Это тут чепуху о нем всякую в эмиграции пишут. Он во всем разбирается. И — умно. Был он раз на вечере в "Новом мире". Читали там всякие писатели, поэты, старались как могли. Безыменский с товарищами особенно. Один прочел поэму о ГПУ. Читал и Пастернак что-то свое, лирическое. По окончании вечеря все обступили Калинина, спрашивают: "Ну как, мол, Михаил Иваныч, вам понравилось?" — "Да что же, говорит, вот Пастернак хорошие стихи читал. А эта вот полька о ГПУ, простите, это не стихи. Так писать нельзя. Конечно, ГПУ может быть темой, но трагического искусства, ГПУ для коммуниста — это трагедия…" Все, кто старались угодить, так и сели… Нет, нет, Михал Иваныч человек разбирающийся… и (Толстой смеется) тоже, как Ворошилов, фифишек любит, факт общеизвестный…"

Я спросил о сменовеховцах. Толстой сказал: "Беззвучно. Потехин написал пьесу, плохую, не вышло. Ключников — сгинул с вод. Василевский — куда-то канул. Дюшен где-то работает. Кирдецов вот, кажется, в "Наркоминделе".

Миклашевский спросил о Троцком. Толстой сказал: "Кончен. Бесповоротно. Никакой популярности. Опозорен и забыт. Если у нас на границе появится, его каждый может убить. И убьет. Спросил о Зиновьеве. "Кончен тоже. Ректором в Казанском университете сидит. Ему — не пошевельнуться. Каменев в лучшем положении, он в Москве, в Комакадемии, работает "культурно", к нему отношение лучше, но политически — тоже человек конченый".

Когда Толстой говорил о параде на Красной площади и о Ворошилове на буланом жеребце, Мария Игнатьевна спросила:

Если я вас правильно понимаю, Алексей Николаевич, вы считаете, что возрождается русский национализм?

Нет, нет, не национализм, — поспешно поправил Толстой, — а настоящий патриотизм! А посмотрели бы вы, какие у нас военные ребята! Они никого не боятся, ничего не признают — отчаянные черти! А какая дисциплина в армии — железная! А песни какие поют! Только пьют в России здорово, все пьют! Как двое встретятся — так и намажутся обязательно, хоть водка и дорогая — семь с полтиной, а шампанское пятнадцать рублей.

— А что вы думаете, Алексей Николаевич, может быть — война? Ведь тут нарастает национал-социализм, и это довольно серьезно должно изменить положение на всем Западе? — спросил

Миклашевский.

Толстой полным глотком отпил красное вино. И — категорически:

— Нет. Войны не будет. Если будет, то “рейд” без объявления войны. А уж если будет война, то и решится она на Висле. А для Вислы у нас есть специалист — Тухачевский, Ленинградским округом командует. Поседел. Но моложав и крепок. Одно время было покачнулся близостью с Троцким, но потом выправился.

Весь обед Толстой был весел, жовиален, говорил без умолку и все в тоне мажорного свете советско-патриотического оптимизма. Последним номером — рассказал полуанекдот об актере Ровном.

— В Краснопресненском районе, в театре, заполненном старой рабочей гвардией, видавшей еще 1905 год, в феврале месяце перед представлением актер Ровный (еврей) выступил самотеком с политической речью, желая, вероятно, выдвинуться. Нес он обо всем, и о международном положении, и о пятилетке в четыре года, причем говорил целый час. Рабочие слушали очень уныло. Тогда Ровный стал бросать в зал лозунги: “Долой такой-то загиб и такой-то перегиб, да здравствует мировой пролетариат” и прочее. И наконец кричит; “Да здравствует наш вождь, товарищ… Троцкий!” Это произвело в зале впечатление разорвавшейся бомбы. Поднялся крик, шум, провокация, бросились на сцену. А Ровный присел, бледный и, схватившись за голову, только кричит: “Сталин! Сталин! Сталин!” Оказывается, он попросту оговорился. Вся Москва хохотала над этим. В другой бы раз ему за это не поздоровилось, но тут решили, что с дурака взять? Доложили Кагановичу, тот сказал: “Дурак!” Так и не сделал карьеры товарищ Ровный, а даже наоборот…

Мы засиделись в подвальчике допоздна. Под конец я все-таки спросил Марию Игнатьевну: “Мария Игнатьевна, а вы читали воспоминания Петерса, он там о вас много пишет?” С умной улыбкой М.И. отмахнулась: “Да он все врет…”

За обед Толстой заплатил какой-то астрономический счет. И мы вышли на Унтер ден Линден.

— Не забудьте, Алексей Николаевич, мы назавтра приглашены к Крымову. Я заеду за вами к пяти, — сказал я, прощаясь.

И на другой день мы приехали в Целлендорф к Крымо-вым. Толстой давно знавал Владимира Пименовича. Для Крымова, большого любителя интересных собеседников, Толстой из СССР — был, конечно, клад! И Толстой в своих рассказах в грязь лицом не ударил.

Как всегда обед был сервирован на застекленной веранде. На первые вопросы — как живете и прочее — Толстой сказал то же,

что и мне, что до пятилетки жить было очень тяжело. “Нас ведь тогда ни за что считали. Ну, зато теперь другое дело. Как сломали Троцкого и всю оппозицию — стало хорошо. Теперь все для “культуры” (так и сказал Толстой. — Р.Г), под этим лозунгом отменили и уравниловку. Это — грандиозный акт, провести который нужны были "гигантские силы", ведь это первый акт революции, который нереволюционен. В литературе раньше все эти Авербахи были властителями. А что они делали? От станков брали рабочих, объявляя их "пролетарскими писателями". Но под конец "хозяин" эту глупость запретил: "Зачем из хороших рабочих плохих писателей делать?" И это оставили. Вообще "хозяин" знает, что делает”.

На вопрос Крымова, встречался ли Толстой со Сталиным, Толстой ответил утвердительно. И рассказал, как эта встреча произошла: “Встретил я его у Горького. Был в Москве, и вот звонит Алексей Максимович, зовет к нему на ужин, у него, говорит, собралась большая компания. О Сталине, конечно, ни слова. Я поблагодарил, говорю, сейчас приеду. Приезжаю — у Горького дым коромыслом! Народу масса, уже наелись, нагрузились. Здороваюсь. И изо всех людей мне навстречу встал только один, Сталин, небольшой человек, в кителе, в сапогах, немного сутулый, лицо чуть в оспинах, подстриженные усы, по внешности очень скромен. И, здороваясь со мной, говорит: "Очень приятно с вами познакомиться" (тут Толстой как-то смутился, что ли, и скороговоркой добавил: "Это, конечно, не лично со мной, а как с представителем литературы, искусства"). Я говорю: "Очень рад, Иосиф Виссарионович". И больше тут на вечере никаких разговоров с ним не было. Да какой тут разговор, когда, говорю, дым коромыслом! Ворошилов сильно намазался, посадил кого-то к себе на колени, по ошибке, что ли, приняв за женщину. Шум, говор, смех… Сталин сидел с Горьким, отпивал кахетинское. А ведь власть у него какая! — неограниченная! — стоит палец поднять — и человек падает. Всем оппозиционерам, о ком упомянет хоть в коротенькой заметке, — смерть. Во всяком случае гражданская смерть. Он Демьяна Бедного одним росчерком пера убил. После поездки Демьяна по Уралу и его фельетонов, где было больше о Демьяне, чем о деле, — "Агитпропы, агитпропы, агитпропы там и тут", — хозяин приказал — не платить Демьяну больше полтинника за строчку, и Демьян — убит наповал”.

Этот вечер у Горького и встреча с “хозяином” и стали “восхождением” А.Н.Толстого к вершинам советской славы, обилию денег и наград и, наконец, к посмертному памятнику. На представленном Сталину списке писателей, которые

долженствовали высказаться о стиле новых совзданий на месте взорванного храма Христа Спасителя, Сталин всех зачеркнул, написав: “Толстой”. И Толстой разразился в “Известиях” саженным фельетоном. А потом пошли “Хлеб”, переделка “Хождения по мукам”, “Хмурое утро”, второй и третий тома “Петра Первого”, “Иван Грозный”. А после убийства чекистами М. Горького — А.Н.Толстой занял кресло убитого, став фактическим председателем ССП. Он и член Верховного Совета СССР, и член Академии наук, и трижды сталинский лауреат, а после смерти — памятник у Никитских ворот.

Когда мы с Толстым возвращались от Крымова в такси, Толстой удивил меня фразой, которая как-то показалась мне не в унисон с его общим советским оптимизмом. После долгого молчания, когда ехали, Толстой вдруг сказал: “А знаете, Роман Гуль, какая тема для нас была бы сейчас самая современная, самая актуальная? Махно! Да, да, если б сейчас в России появился Махно, он бы мог всю Россию кровью залить… Ведь от коллективизации ненависть крестьян живет приглушенная, но страшная…”

Таксист остановился у квартиры Шифмановичей. Я простился, вылез, а таксист повез Толстого дальше, в отель на Курфюрстендамм. Фразу о Махно я как-то так и “недопонял”.

Приход Гитлера

Конечно, живя в Фридрихстале, мы (как все) чувствовали, что Гитлер неминуем, фатален. Социал-демократы, католики, консерваторы — как за соломинку хватались за престарелого президента фельдмаршала Гинденбурга. Но в 1933 году — по конституции — он вынужден был назначить рейхсканцлером представителя большинства в рейхстаге. А большинство — национал-социалисты. И Гитлер — легально — пришел к власти. Вскоре и рейхстаг (эта "пустая говорильня", по Гитлеру) запылал, подожженный *новыми людьми,* возненавидевшими веймарскую демократию с ее свободами и катастрофами.

С пламенем пожара рейхстага и у нас в Фридрихстале, как во всей стране, все сместилось в людском сознании: понимание окружающего, взаимоотношения людей — все пришло в замешательство.

Где-то я читал, что лица, чрезмерно остро воспринимающие общественные потрясения, называются *диспластиками.* Так вот, думаю, я несомненный диспластик. Ленинский Октябрь я подсознательно ощущал как некое светопреставление и конец России. Теперь в Германии я ощутил опять "перевернутую страницу истории". В эти гитлеровские дни (как и тогда, в ленинские!) мне стало как бы физически не хватать воздуха.

Фридрихсталь, как и вся страна, внезапно залился откуда-то вымахнувшими коричневыми рубахами, людьми с теми же звериными мордами, что и "рукастые" коммунисты. Они несутся в автомобилях с флагами со свастикой, на подпрыгивающих мотоциклах. Германия теперь — *их коричневое царство на тысячу лет!*

В Фридрихстале из домов "рукастые" коричневые выволакивают "врагов народа": социал-демократов, демократов, коммунистов, тащат в единственный деревенский ресторан "К трем липам". Их там "допрашивает", весь в хакенкрей-цах, полубандит штурмфюрер Волькенштейн. Допрашивает битьем до тех пор, пока "враг народа" не запоет национал-социалистический "гимн", песню Хорста Весселя — "Знамена ввысь! Ряды сомкнуты крепко!". А если не запоет — повезут дальше в только что созданный (неподалеку от Фридрихсталя) концентрационный лагерь Ораниенбург (Заксенхаузен). Там, говорят, не только бьют, но и убивают, это вам не розариумы Веймара, Гейдельберга, не папское католичество, не лютерово протестанство, не бебелевский социализм. Это— НОВАЯ ГЕРМАНИЯ АДОЛЬФА ГИТЛЕРА — ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ

ГЕРМАНСКИЙ РЕЙХ!

Стоя у горбатого моста деревеньки Мальц, я видел, как перед отрядом коричневых рубах в ноги начальнику отряда упала простоволосая немка и, в беспамятстве обнимая его сапоги, умоляла не избивать, не пытать, не увозить ее сына (двадцатилетнего социал-демократа), которого они забирают на "допрос" — "К трем липам". Деревеньки Фридрихсталь и Мальц сковал террор. Это был подлинный "Le Massacre des Innocents" Питера Брейгеля.

В эти дни я должен был поехать в Берлин. Остановился, как всегда, у Шифмановичей. И предложил Оле поздно вечером пойти на Унтер ден Линден посмотреть на массовое публичное сожжение книг, "отравлявших Германию". Ленин через свою дуру Крупскую изымал и уничтожал неугодные коммунизму книги циркулярами Крупской, втихомолку. Без сожжения. Гитлер же — с эффектом публичного сожжения.

Пошли. Сожжение было устроено на красивой квадратной площади Оперы, прямо против старого Берлинского университета, где еще витали тени Гегеля, Шеллинга и других "учителей человечества".

Приехали на Фридрихштрассе. Толпа чудовищная. Тревожно и разноголосо гудят сгрудившиеся автомобили, где-то, потеряв терпение, названивают застопорившиеся трамваи, все ночное движение пришло в замешательство. На тротуарах *к* домам жмется толпа. А по мостовой густыми колоннами маршируют, идут на Унтер ден Линден — коричневые рубахи с хакенкрейцами на рукавах, с дымными, красноватыми факелами в руках. Ногу отбивают, как чугунные. В унисон поют национал-социалистическую песню с припевом: "Blut muss fliessen! B!ut muss fliessen!" ("Кровь потечет! Кровь потечет!").

Мы все-таки протиснулись, прошли на Унтер ден Линден поближе к костру. Оранжево вздрагивая в окнах старинных домов, все кровавей разгоралось пламя громадного костра перед университетом. Бой барабанов, взвизги флейт, гром военных маршей. В темноте мечутся снопы сильных прожекторов. И вдруг, подняв правую руку к огнедышащему небу, толпа запела "Знамена ввысь!". А когда песня Хорста Веселя в темноте замерла, от костра, красноту ночи необычайной мощности громкоговоритель прокричал:

— Я предаю огню Эриха Марию Ремарка!

По площади прокатился гуд одобрения, хотя, думаю, вряд ли "площадь" читала "Im Westen nichts neues". Под этот многотысячный гул с грузовиков чьи-то красноватые (от огня) руки — множество рук! — стали сбрасывать в пы-лающий костер

книги, и пламя внезапным прыжком поднялось в ночную тьму, и, как живые, закружились горящие страницы книг.

Общее ликование. И — с точки зрения *зрелищной* — это, пожалуй, захватывающе, как океанская буря, землетрясение, потоп, как извержение лавы темных человеческих страстей. Это было вроде разгула озверелой нашей солдатчины в Октябре. Только там — взрыв анархо-нигилистического разрушения мира. А тут — иная варварская сила — всемирного порабощения. Это совсем не вчерашняя свободная Германия, это взломали культуру страны вырвавшиеся из общественной преисподней варвары.

— Я предаю огню — Людвига Ренна!

Гул одобрения, но меньший, чем при сожжении Ремарка.

— Я предаю огню — еврея Альфреда Керра!

Крики ликованья! За Керром — Генрих Манн, Франц Верфель, Леонард Франк, громкоговоритель не успевал оповещать о сожженных. Из русских подверглись сожжению — Зощенко, Кузмин, Сологуб.

В небе, освещенном заревом костра, над площадью, как стая птиц, летали огненные страницы. Люди подхватывали обгорелые куски. Какая-то немка прятала в сумочку, вероятно, на память. Поймал и я полусожженный лист, но малоинтересный, из книги Берты Зуттнер “Долой оружие!”{20}. Старушка, вероятно, и не мечтала о столь пышной рекламе, устроенной ей доктором Геббельсом.

Мой арест

В начале гитлеризма русские меньшевики переехали во Францию. “Социалистический вестник” стал выходить в Париже. Задержался только Б.И.Николаевский. Будучи тюремно-конспиративен, не говорил о причинах задержки. Только позже я узнал, что она была связана с переправкой всего его архива и главной части архива немецкой с.-д. партии через французское посольство.

В гитлеровской тоталитарной Германии я не мог душевно и психологически жить, да и разум и интуиция говорили, что эта трагедия не только Германии, в этом убеждал больше всего — “Майн Кампф”. Всем существом захотел я вырваться из этого коричневого тоталитаризма — на свободу. Но где она? Во Франции. Б.И. твердо обещал, что мне и Олечке достанет французские визы (тогда это было очень трудно!). Но Б.И. достал. И в первых числах июля 1933 года я получил письмо Б.И. из Парижа, что визы уже в Берлине во французском посольстве. Надо было теперь найти деньги на отъезд. Я это обдумывал.

Но 16 июля 1933 года в 11 часов утра, когда я работал в своем саду, к забору подъехал на велосипеде жандарм, слез с велосипеда и вошел в калитку. Этого жандарма я давно знавал. Поздоровавшись “гут-моргеном”, он, подойдя, вытащил из портфеля бумагу и, глядя в нее, проговорил:

— Вы русский писатель Роман Гуль?

— Да.

— Вы написали книгу “Борис Савинков. Роман террориста”?

— Да.

Это большевицкая книга? Нет. Ну, это неважно. Берите мыло, полотенце, подушку, вы поедете со мной.

— Куда?

В концентрационный лагерь Ораниенбург. За мою книгу? В Ораниенбург? Но это же анекдот, герр вахмистр?

Я не знаю, что вы там написали. В Ораниенбурге разберут. Собирайтесь. Да, тут еще сказано: “Роман Гуль и Ольга”. Кто эта Ольга? Ваша жена?

У нас в семье две Ольги: моя мать и моя жена, — это я сказал уже на ходу, когда мы шли в дом, чтоб я взял “мыло, полотенце, подушку”. В доме нас окружила семья, никто еще не знал темы моего разговора с жандармом.

— Меня арестовывают. Берут в Ораниенбург за роман “Генерал БО”, — сказал я по-немецки (чтобы понял жандарм) и нарочито совсем спокойно.

Жандарм нас давно знал. Это был не гитлеровец, а добропорядочный, пожилой немец, (может быть, еще вильгельмовских времен). “Ну, раз у вас две Ольги, — проговорил он, — я запрошу в лагере, о ком тут речь, а сейчас поедете только вы”.

Для меня это было облегчением. Мой роман “Генерал БО” в немецком издании у Пауль Чольнай (большое известное издательство в Вене и Берлине), по желанию издательства, был назван “Boris Savinkov. Roman eines Terroristen”. Пауль фон Чольнай — венский еврей. У него издавались Генрих Манн, Франц Верфель, Леонард Франк и многие другие, по мнению Гитлера, “отравители Германии”. Из газет я знал, что отделение издательства в Берлине захвачено гитлеровцами и все книги конфискованы. Но чтоб — арест, это — неожиданность.

Я простился с семьей, взял мыло, полотенце, подушку. И мы с жандармом пошли к калитке. У калитки вахмистр проговорил:

Если хотите, по деревне езжайте шагов на десять впереди. Многие не хотят, чтоб видели, что они арестованы.

О нет, герр вахмистр. Меня хорошо вся деревня знает, так что поедемте рядом, пусть видят, что я арестован.

Дело ваше, — пробормотал жандарм.

По деревне мы ехали тихим ходом, я кланялся направо и налево знакомым немцам. Все, конечно, понимали, куда я и зачем еду. Проехали деревню, поехали сосновым лесом, близясь к старинной резиденции герцогов Оранских — Ораниенбургу. И пока мы ехали, я вдруг понял, что это я сам себя посадил в концлагерь. Недели три тому назад я выписал свой роман в немецком переводе (надо было подарить одному немцу) из Вены от Чольнай (так всегда делалось, берлинское отделение не высылало книг авторам). Но вместо книги я получил с таможни извещение, что посылка мне “beschlagnahmt” (конфискована). Если “beschlagnahmt” (конфискована), стало быть гестапо? Но особого значения я этому не придал. А теперь вот, оказывается, я и сам “beschlagnahmt”.

Въехали в Ораниенбург; у древнего замка пересекли Луизенплац; замок украшен громадным черно-красным плакатом: “Немец! Только Гитлер даст тебе хлеб и свободу!”. В двух шагах от концлагеря лозунг звучал угрожающе. С Луизенплац свернули в улицу и скоро слезли с велосипедов у концентрационного лагеря. На воротах надпись: “Konzentrazionslager Oranienburg”.

Сквозь коридорчик караульного помещения, заполненного шумевшими вооруженными гитлеровцами, вслед за жандармом, я вошел во двор знаменитого лагеря. Жандарм шел быстро, мы пересекли вымощенный булыжниками двор, поднялись на третий

этаж кирпичного здания и вошли в пахнущую всемирной канцелярской духотой комнату. Здесь сидел такой же жандарм. Они о чем-то тихо поговорили. Сидевший тут же позвонил по телефону. И вдруг дверь порывисто растворилась и на пороге я увидел высокого, импозантного гитлеровца, настоящего розенберговского голубоглазого нордийца с множеством шевронов, с черной свастикой на рукаве, во всей военной фигуре которого было что-то нервное и резкое. Это — начальник лагеря штурмбанфюрер Шефер.

Почему вы арестованы? В чем ваше дело? — спросил Шефер, не спуская с меня глаз. Шефер — не бурбонист, обращение корректное, “светский” офицер. Мой арест — чистое недоразумение. Я — писатель, русский эмигрант, арестован за свой исторический роман, вышедший на немецком языке четыре года тому назад и имевший хорошую прессу в газетах всех направлений. Этот роман, в переводах, вышел в десяти странах. Но, вероятно по недоразумению, роман конфискован тайной полицией, а вслед за романом, как видите, арестован и я. Вы состояли в какой-нибудь политической партии? Никогда, ни в какой. Ни в немецкой, ни в русской? Ни в немецкой, ни в русской. Были на военной службе? Участвовали в мировой войне? Был. Участвовал в чине поручика. Так вы думаете, что вас арестовали только за ваш роман? Никакого другого обвинения мне не предъявлено.

Я видел, Шефер опытный полицейский. Во время допроса он глядел на меня в упор, “глаза в глаза”, и я чувствовал, что он сам понимает, что мой арест довольно нелеп.

На минуту Шефер задумался, потом резко повернулся к вахмистру и бросил:

— Я сейчас уезжаю, поместите этого господина в амбулаторию, а

назавтра я запрошу Берлин.

И так же шумно и резко Шефер вышел, громко захлопнув дверь.

Когда я вышел на лестницу в сопровождении вахмистра, он, подмигнув мне, проговорил:

— Я ему все сказал, он сам не хотел вас принимать в лагерь, но бумага… Завтра разберут, а пока будете в амбулатории.

Разницу меж дисциплинированным и даже корректным отношением к заключенным старых жандармов и насильническим (“революционным”) отношением гитлеровцев я наблюдал во все время моего заключения. Кстати, арестовавший меня жандарм через некоторое время очутился в этом же лагере на положении… заключенного.

— Сюда! — отворил дверь жандарм.

Я вошел в амбулаторию. Жандарм сказал какие-то слова главному санитару (их было три). Санитар указал мне на стул. И началась моя арестантская жизнь.

Амбулатория окнами выходила на лагерный двор, окна открыты, и внешняя жизнь лагеря — перед глазами. В просторной комнате-амбулатории — стол, несколько стульев, дрянная кушетка, шкаф, крохотная аптечка, но что меня поразило — на стене громадная олеография “Заседание III Интернационала”. Я рассмотрел ее, увидев много “милых” лиц: Троцкого, Ленина, даже Горького. Позднее я узнал от санитара, что олеографию захватили у сына Клары Цеткин в его вилле в Биркенвердере под Берлином.

В амбулатории

В амбулатории шумно толкутся сменившиеся с караула гитлеровцы, и меня не покидает чувство, что всех их будто я давно где-то видел: эти брутальные лица, грубо-бранную речь, резкие жесты и животный хохот. Господи! да ведь это же наше октябрьское отребье, та же чернь всяческих революций. Это несомненные октябрьские “ленинцы”. Да, да! Причем и тем и этим “вождь и вождишки” внушили, что они-то и есть (это отребье!) “передовой отряд бойцов” за “великую идею”. Там — построение “бесклассового коммунистического общества”, над которым никогда не заходит солнце. Здесь — построение “тысячелетнего рейха”, который даст немцам первенство в мире и всевозможные блага, заслуженные ими как “подлинными арийцами”. Известная Шекспира фраза, что “история — страшная сказка, рассказанная дураком”, особенно точно применима к ленинизму и гитлеризму. Тут даже слишком много и “страшности” и “дурости”. Обе “идеи”, перевернувшие мир, исключительно лживо-нелепы, что и доказала история. Первая — убив десятки миллионов ни в чем не повинных людей, превратила богатейшую, великую Россию — в необозримый, нищий, голодный концлагерь, ведущий ее народы к духовному, культурному и биологическому вырождению. А “тысячелетний рейх”, тоже убив миллионы ни в чем не повинных людей, развалился на глазах всех, превратив часть великой Германии в небольшое, слабое государство, а другую — в рабского сателлита СССР. Но для “отребья” эти “великие идеи” нужны как зарядка в их насильничестве над людьми. Они, это отребье, — “над народом”. По Ленину, они — “носители объективной истины”.

И вот, вчера я еще был свободен. А сегодня я уже среди “носителей объективной истины”.

— Наверх! К вахмистру Геншелю! — закричал вбежавший приземистый гитлеровец в рыжих сапогах с ушками наружу.

И я поднимаюсь к неизвестному мне вахмистру Геншелю, ненавидя и лестницу, и белокрашеные, нумерованные двери, и надраенные (заключенными!) дверные ручки, и весь этот пивной завод, наскоро превращенный в тюрьму для людей, еще вчера бывших свободными.

На втором этаже в комнате за столом — пожилой человек, вместо лица что-то вроде “полицейского клише”. Это и есть вахмистр Геншель. “Допрос о романе? — думаю я. — Но ведь это глупее глупого”. Нет. Отталкивающим от себя голосом вахмистр говорит:

— Я должен вас сфотографировать и снять оттиски пальцев. Сядьте вон там и ждите.

Делать нечего. Я сел и жду. Перед вахмистром — старый немец, крестьянин, безнадежно дикого вида; самое большее, он мог быть арестован за то, что обругал “третье царство”, и теперь в печатные бланки вахмистр заносит фамилии его жены, матери, бабушек и глухие ответы старика по пунктам длинного опросника. Потом вахмистр переходит к описанию примет “преступника”: рост, нос, глаза, но на волосах произошло замешательство, у старика не было волос: только сзади меж ушей узкой полоской они окаймляли череп, цвет их был неопределим. Вахмистр на минуту насупился, потом встал и взял все определяющий ““аппарат”: на полированной деревяшке болтались разноцветные косички, и одну за другой он накладывает их на туповатую, добрую голову дикого старика. Наконец цвет волос “преступника” установлен, и вахмистр, отпустив его, кричит

— Следующий!

Следующий был я. Я сел на теплый стул проковылявшего за дверь старика. Я тоже называл фамилию жены “Новохац-кая”, матери “Вышеславцева”, бабушки одной “Аршеневская”, другой “Ефремова”, и от этих неудобопроизносимых славянских фамилий вахмистр впал вдруг в раздражение.

— Теперь мойте руки! — злобно бормотнул он.

Я опустил руки в таз с грязной жижей, обтер их какой-то тряпкой, и каждым моим пальцем вахмистр водит по лиловой краске и по разграфленному листу, а в дверях в затылок выстроились “преступники”: члены рейхстага, ландтага, чиновники, журналисты, ремесленники, крестьяне, рабочие, бывшие свободные граждане Веймарской Германии.

Типичный пруссак, курносый блондин, в сильных увеличительных очках, гитлеровец, исполнявший обязанности старшего санитара, оказался человеком вполне приемлемым. В противоположность обычному бездельно-брутальному типу гитлеровских дружинников, это был фронтовой солдат, сдержанный, дисциплинированный.

После нескольких фраз он оставил меня в покое. Я сел у окна, глядя на лагерный двор. То и дело проходили арестанты; работавшие на кухне носили ведра, работавшие на постройках таскали доски, известку, цемент. Кого только тут не было: каменщики, маляры, столяры, слесаря, кровельщики. Из заброшенного пивного завода, по коммунистическому ленинскому методу, руками арестованных отстраивалась для них же тюрьма.

В первые дни несвобода всегда очень тяжела. К тому же гитлеровский лагерь — тюрьма, полная любых неожиданностей. Но странно устроен пишущий человек. Одним, “человеческим боком” я испытывал все отвращение и всю тяжесть тюрьмы, а “писательским боком” на все смотрел с жадным вниманием.

Под военную команду — “Ать-два! Веселей! В ногу!” — во двор вошла партия заключенных, возвращавшихся с работ. Командовал гитлеровец с жестоким лицом. Командовал с явным удовольствием. Вид арестованных был серый, понурый.

— Смирно!

Арестованные по-солдатски замерли, вытянув руки по швам. Никто не шевельнется. Гитлеровец, обходя ряды, вглядывался в замершие лица свирепым унтер-офицерским взглядом; потом, отойдя от шеренги, неистово громко заорал:

— Разойдись!

И все бегом рассыпались по двору.

Около двенадцати дня — резкий свисток, как для собак. Хромой гитлеровец свистит с удовольствием. И на этот собачий свист отовсюду стекаются заключенные, строясь в длинные шеренги — к кухне.

Перед обедом — короткая пауза. Кто сиживал взаперти, знает, что единственное место некоторой свободы в тюрьме, это — клозет. Длинной вереницей выстраиваются арестованные к каменному клозету посередине двора. Конечно, и здесь, при отправлении физиологических потребностей, арестованные отделены от гитлеровцев, в отделения гитлеровцев вход запрещен. Но когда в клозете нет гитлеровцев, изнуренные недоеданием и работой арестованные все же перебрасываются мрачными остротами. Так, вошедший понурый рабочий, ухмыльнувшись, приветствовал сидящих орлами товарищей тихим полувозгласом:

— Хейль Гитлер!

Обед

Перед обедом зазвенели кастрюльки, котелки. Арестованные строились в затылок к кухне.

— Сюда еще одну порцию! — закричал из окна санитар маленькому, кругленькому человечку, арестанту, исполнявшему обязанности кухонного мужика.

Санитары ушли на кухню. Я — один. Легкий стук в дверь. И входит этот кругленький арестант с миской в руках. Я вижу на лице его любопытство, он искоса взглядывает на меня, по моему сидению в амбулатории не понимая: кто же я? Но моя улыбка рассеивает все, и, ставя миску передо мной, тихо говорит:

Арестованный? Арестованный.

Кругленький не понимает, почему ж я не вместе со всеми, и явно хочет об этом спросить, но мимо шумят коричневые сапоги, и он быстро пошел к двери. У двери все же задержался.

Ну, вам на кухне-то, наверное, лучше? — говорю я. На кухне? — махнул рукой с горечью, выразившей всю его тюремную тоску. — Дома — жена, трое детей, а я тут четвертый месяц. За что?

Сочувствовал социал-демократам. Донесли. Тут по доносам месяцами сидят. — И покачав головой, как бы говоря “да, дела у нас в Германии делаются!”, кругленький вышел. Я видел, как шел он понуро по двору, грохоча деревянными подошвами по булыжникам.

Весь обед — это небольшая тарелка супа без хлеба. Иногда суп заправлен перловой крупой, иногда — гороховый, один раз вместо супа дали кислой капусты с ломтиком кровяной колбасы, но всегда без хлеба, а обед главная еда. Кроме обеда арестованные получают в семь утра кружку ячменного кофе без сахара с куском хлеба и на ужин в семь вечера еще одну такую же кружку с куском хлеба. Для тяжело работающих заключенных эта пища — пытка недоеданием и ослаблением сил: полное отсутствие жиров сказывается большим числом арестованных, покрытых фурункулами.

Лечение

На утренней поверке из окна я видел, как в рядах арестованных вытягивался похудевший, загорелый гемейндефорштеер нашей деревеньки Фридрихсталь, пятидесятилетний социал-демократ. Этот семейный, уважаемый человек сел в лагерь с первого же дня гитлеровского переворота. Вина его та, что, как правоверный социал-демократ, он боролся как налево — против коммунистов, так и направо — против национал-социалистов. И вот сидит в лагере, недоедая и тяжело работая. По деревне ходили слухи, что его допрашивали с пристрастием, что после этих “допросов с резиновыми палками” он пытался вскрыть себе вены куском стекла. Он не единственный. В лагере Ораниенбург попытки самоубийства арестованных были. Я знал, что пытался покончить с собой, не выдержав истязаний, старик Рихтер, глава ораниенбургских рейхсбаннеров, тоже стоявший теперь в строю арестованных.

В дверь амбулатории раздается стук. Вошел молодой арестованный.

Что тебе? — спрашивает карлик, помощник главного санитара. Нарыв, — показывает на шею. Приходи в двенадцать, когда доктор будет. Я три раза был, доктор не принял, я две ночи не спал, работать не могу.

Карлик, помолчав, важно:

— Иди сюда.

Заключенный подошел. Карикатурный карлик повернул его к окну спиной, долго смотрел на вздувшуюся от фурункулов шею, потом густо намазал ее йодом и, толкнув в спину, бормотнул: — Иди!

Много арестованных приходили с фурункулами, кашлем, порезами ног. Среди других вошел старик, типичный социал-демократ старой бебелевской гвардии.

— А, пришел старик! Ложись, ложись живей! — заорал диким голосом карикатурный карлик.

Старик жалко ухмыльнулся. Подойдя к изломанной дырявой кушетке, спустил штаны и лег животом вниз. Бормоча что-то под нос, санитар достал из аптечки пузырек и, подойдя к полуголому старику, стал лить ему на спину около седалища белую жидкость и растирать ему поясницу. Но это все только для вида. Хлопнув старика по заду, карлик через минуту крикнул: — Вставай, старик! Отправляйся!

Старик, жалко и странно улыбаясь, подтянул гашник штанов и пошел из амбулатории.

Опять стук в дверь. На одной ноге, поджав другую, впрыгнул лет шестнадцати еврей-мальчик. Мальчишка гвоздем распорол ногу, корчился от боли. На глазах выступили слезы, вероятно больше от страха предстоящего приема.

Что там еще, еврей, а? — загремело в амбулатории. — Что у тебя? Ногу сам себе отрезал, чтоб не работать? Гвоздем… наступил… — пробормотал мальчишка.

Садись, садись, давай, давай ногу, не отрежу, не бойся! — кричал карлик и, осмотрев рану, оставил мальчишку сидеть на скамье, а сам пошел к аптечке. Вокруг мальчишки, глядя на ногу, которую он держал в руках так, как приказал карлик, встали два вошедших санитара. Карлик подошел с бутылкой йода и ватой.

Не плачь, еврей, а то ногу отрежу!

И жирно намочив йодом вату, держа мальчишкину ногу, он вложил ее в распоротое место. Мальчишка извивался, корчился, но ногу из рук санитара вырвать не посмел. Карлик сидел к нему спиной, другие санитары, поняв шутку, глянули на карлика. Мальчишка кряхтел, сдерживаясь изо всех сил, чтоб не заплакать, но вдруг у него из глаз как-то “брызнули” слезы. А ногу рвануть из рук гитлеровца так и не посмел. Глянув на мальчишку и подмигнув санитарам, карлик проговорил:

— Видали еврейскую “пропаганду ужасов”? — потом вынул вату из раны. — Лети, еврей, пулей, все прошло!

Плачущий мальчишка, утираясь рукавом, заковылял из амбулатории. Когда захлопнулась дверь, карлик захохотал: — Пусть потерпит, еврей! Пусть потерпит!

Арестованные прибывают

К вечеру в лагерь въехали новые грузовики с арестованными. В сумерках долго барахтались в воротах тяжелые, затянутые тентом зеленые машины. На дворе, задрожав, остановились. Окружившие их караульные откинули заднюю стенку, и на землю стали спрыгивать сначала до зубов вооруженные конвоиры-штурмовики, а за ними разнообразно одетые пожилые, молодые арестованные.

— Темпо! Тут тебе не твоя гостиная! Темпо! — и арестованные с чемоданчиками, узелками, свертками бегут, строясь в шеренгу.

Я понимал, что грубая, с ругательствами, издевательствами, угрозами встреча новых арестованных была — "системой воспитания", "устрашения".

Из главного здания вышел комендант, штурмбанфюрер Франц Крюгер, высоченный, худой, по-обезьяньи гибкий, с маленькой головой, почти без лба, узкими, прищуренными глазами и красноватым лицом. Крюгер — гроза лагеря. Он здесь жил, ел, спал.

При его приближении строй арестованных замер, как должно. Покачиваясь на длинных аистовых ногах в коричневых галифе и высоких сапогах, Крюгер стал пристально рассматривать отданных в его полную власть привезенных. Одним бросал отрывочно угрозы, перед некоторыми у самого лица грозил кулаком. И наконец приказал — разводить!

Часть отделили, повели в главное здание, а человек шесть отвели в сторону.

— Этих в "бункер!", — крикнул Крюгер. ("Бункеры" — крошечные одиночные камеры, без окон, в каменном здании во дворе. Туда помешали завзятых "врагов народа".) Мальчишки-гитлеровцы повели первого, смуглого рабочего в синей блузе, синих штанах, остановили у каменного клозета, открыли смежную с клозетом дверь темного "бункера", и видно было, как неуверенно и неверно шагнул в темноту человек. Дверь замкнули железным засовом, и гитлеровец перед дверью махнул кулаком: "Ну, мол, попадет тебе, парень!"

На камнях у стены завода, не переговариваясь между собой, в ожидании проверки сидела группа человек в тридцать юношей и мальчиков лет четырнадцати — восемнадцати, по внешности евреев. По свистку они быстро стали строиться. Все одеты оборванно, грязно. Это было еврейское сельскохозяйственное училище из Вольцига. Всех тридцать шесть человек захватили

вместе с учителями, учителей отвезли куда-то еще, а учеников — сюда. Эта еврейская молодежь была отделена от других арестованных, им запрещалось общаться с “не евреями”. Они мыли автомобили гитлеровцев, работали по уборке лагеря. За “провинности” их наказывали довольно жестоко.

Как-то на вечерней поверке из еврейской группы труп-фюрер отделил двух и приказал им бегать по двору, описывая в беге большой круг. Два мальчика лет шестнадцати начали бег по булыжникам двора, а трупфюрер сел у стены. Когда мальчики стали уставать, трупфюрер встал, и началась “игра”.

— Быстрей, евреи! — и поток ругательств.

С мальчишек лил пот, они уж не могли бежать, задыхались, выбившись из сил от падений, скоропалительных вскакиваний, бега. Сидя у стены, на них сочувственно глядели товарищи. Но игра продолжалась. И только когда трупфюрер увидел, что бег действительно уже невозможен, мальчишки качаются, падают, задыхаются, — была подана команда: “Смирно!” — и мальчики, тяжело дыша, замерли, как истуканы.

Выслушав новый поток ругательных угроз трупфюрера, провинившиеся “враги народа” наконец отпущены по команде: “Разойдись!”

Взвешивание

В амбулатории стояли крик и ругань.

— Штурмбанфюрер приказал, чтобы всех взвешивать! — разорялся карлик-санитар. Старший санитар сопротивлялся, он хотел взвешивать только вновь прибывающих, но карлик побежал к штурмбанфюреру Шеферу, и получилось приказание: взвешивать всех, и прежних заключенных, и вновь прибывших. Я сидел в амбулатории, пытаясь читать данную мне старшим санитаром книгу: повесть доктора Ф. Хейма из жизни великосветского Петербурга 30-х годов “Die Flucht aus dem Irrenhause”, издание 1858 года. Но читать не мог, только делал вид, что читаю.

Взвешивание членов рейхстага, ландтага, рабочих, интеллигентов, чиновников, юношей-евреев шло под ругань, брань, угрозы, под взмахи кулаков. Арестованные стояли длинной шеренгой. В разграфленные ведомости карлик-санитар записывал имя, фамилию, год рождения, адрес. Заключенные стояли по-солдатски, “смирно”, каблуки вместе, руки по швам.

— Громче! Еще! Повтори! Я для тебя громкоговоритель не принес! Скидывай ботинки! На весы! Живва!

Каждый торопливо сбрасывает ботинки, рысью бежит к весам, там карикатурный карлик в громадных сапогах взвешивает их и оглушительно кричит вес, а другой санитар записывает в графу. В этом крике и хамстве один старик врезался мне в память. Согнутый, ширококостный, лет семидесяти, он отвечал на вопросы тихим голосом. За это на него обрушился такой каскад ругательств, что старик остолбенел, как-то заметался, этого не передашь, надо было видеть лицо этого степенного, солидного старика, который в своей стране вдруг оказался “врагом народа”, и сейчас с ним могут сделать здесь все что угодно.

Старик пытался все же сказать, что он не может громко говорить, он отравлен газами на войне, но объяснений не слушали, обдавая потоками унизительной ругани. И вдруг старик схватился за грудь и, как ребенок, беспомощно и страшно зарыдал на всю комнату, вздрагивающими, громкими рыданиями. Его плач был столь выразителен и неожидан, что даже санитары переглянулись, и под продолжающейся грубостью карлик заговорил другим тоном.

Ну-ну, если болен, приходи, вылечим…Кончены старые? Евреев давай! — прокричал один из санитаров. И когда ввалились в комнату все тридцать шесть человек еврейской молодежи — поднялся гитлеровский крик:

— Вы, евреи! Не шуметь! К стенке поставлю! Расстреляю! — кричал карлик.

Первому, плотному мальчишке лет семнадцати, карлик повелительно крикнул:

Имя? Как? Повтори! — заставляя несколько раз повторять трудное еврейское имя. И опросив по всем пунктам опросника, не поворачивая головы, вдруг бросил: — Штаны снимай! — Мальчишка остановился в недоумении. Другие переглянулись, не понимая, шутка это иль приказание? Они знали, что при взвешивании снимают ботинки, но, оказывается, для евреев понадобилось более точное взвешивание — без штанов.

Не слышишь, еврей, что говорю?! Штаны снимай! — гаркнули уже в два голоса гитлеровцы. И мальчишка с смущенным, покрасневшим лицом быстро скинул штаны и, шлепая босыми ногами по полу, пошел в короткой рубахе к весам. Взвешивающий его карлик сделал необычайно серьезное выражение лица, подробно рассматривая ставшего на весы полуголого мальчишку.

Один за другим сбрасывали штаны, полуголые подходили к весам евреи. Двое стояли в трусиках. Ближайший, готовясь сбросить уж и трусы, спросил: “Снимать трусики?” Но карлик повернулся к нему грозным лицом, смерил взглядом с головы до ног, словно не понимая. Так выдержал он с минуту, потом тихо пробормотал: “Оставайся в трусах. На весы! Живва!”

Санитары уставали взвешивать, кричали злей, грубей, отпускали соленые остроты. В амбулатории текла бесконечная вереница немцев разных возрастов и социальных положений. В партии из Дессау то и дело слышалось: “Член рейхстага, член ландтага, амтсгерихтсрат, штадтферорднетер”.

Фамилия! — гаркнул на одного от труда писания уставший, малограмотный карлик. Зегер, член рейхстага.

“А это социалист-пасифист Зегер”, — разглядывал я блондина среднего роста, чьи статьи когда-то читал. Теперь под окрики карлика Зегер торопился снять ботинки. Что тут “член рейхстага”, упорный многолетний труд, образованность, культура. Адольф Гитлер сказал: “Храбрый дурак ценнее, чем десять человек, испорченных интеллектуализмом”.

И взвешивают, и кричат, как на свиней, на всех этих “предателей немецкой нации”. Но это цветики, а ягодки будут наверху, в комнате № 16, на допросах у Франца Крюгера.

Атмосферу скотских окриков в амбулатории разрядил хохот над болезненно толстым арестованным, с женственным лицом и громадной шевелюрой кудрявых волос. Когда он ступил на весы, взрывом хохота разразились гитлеровцы. Под толстым человеком стрелка весов пригнулась куда-то к самому концу. На

взвешивавшегося посыпались сальные остроты. Но он даже не улыбнулся такому веселью. Я запамятовал его фамилию, твердо помню, что это был член прусского ландтага и, кажется, еврей, что тут, за исключением тридцати шести мальчиков из Вольцигз, было редко.

Именно поэтому в тот же день, когда один арестованный, слесарь из Бернбургз, назвал свою фамилию — Мозес, — гитлеровец тут же вскрикнул: “Еврей?!” И с перекошенным лицом человек ответил: “Крещеный…”

Штурмфюрер Нессенс

Я ясно понимал, что никакого “рассмотрения” дела о моем романе нет. А время шло и шло. Меня уже дважды останавливал на дворе крайне неприятный небольшой человек в хорошем штатском костюме. Худой блондин, с пронзительно стеклянными глазами, он был единственный в лагере, кто носил штатское. Тонкий нос, как нож, на узком, словно напудренном, лице придавал ему вид птицы. Довольно хищной. Разговаривая, он не глядел на вас, а как-то накоротке хватал вас острым взглядом. Его молочно-розовое лицо то и дело дергалось, и он слегка заикался.

Первый раз совершенно неожиданно он остановил меня на дворе и проговорил по-французски:

Parlez-vous français? Oui, je parle.

Этим патологическим человеком вопрос был брошен конечно, неспроста. “А не французский ли я шпион?” В концлагере цветет какая угодно фантастика. Я знал, что люди сидят тут по самым невероятным доносам.

Хищный человек всегда с опушенной головой, с танцующей походкой был штурмфюрер Нессенс — следователь концлагеря. Стало быть, тот, кто допрашивает арестованных. Это по его вызовам то и дело ведут заключенных на третий этаж в комнату № 16. Через несколько дней после того, как Нессенс заговорил со мной по-французски, я убедился, что он самый страшный человек в лагере.

Я сталкивался с Нессенсом на дворе, ловил на себе его короткие злые взгляды. Я понимал, ему не нравится, что я иностранец, что помещен в амбулаторию, что полусвободно хожу на луг, на двор, что за мной нет никакого обвинения, по которому он мог бы меня “допросить” в комнате № 16. Для людей типа Нессенса невиновных нет, все должны быть виновны. Интересную статью (воспоминания о пресловутом “знаменитом” Берте Брехте) написал его друг американский профессор Сидней Хук. Коммунист Берт Брехт пришел к нему в Нью-Йорке. Сидней Хук спросил его, как он относится к московским процессам и казням ни в чем не повинных людей. Брехт ответил: “Чем больше они невиновны, тем больше они виноваты”. Хук подал ему пальто и шляпу, и больше они не виделись.

Формула коммуниста Брехта, вероятно, вполне разделялась национал-социалистом Нессенсом. Ведь при всей разнице в “идеологической болтологии” Ленина и Гитлера *суть дела* тех и других партийцев (ленинцев и гитлеровцев) была одна. Это люди одной и той же психологии, одного и того же тонуса.

Ко мне в амбулаторию вошел Нессенс.

— Вы должны перейти наверх в камеру, — проговорил он, — в амбулатории не должны находиться арестованные.

Я понимал: если меня переведут в общую камеру, я подпаду под все правила лагерной жизни, и Нессенс назавтра поставит меня в строй, трупфюрер заставит делать приседания, а может быть, и бегать по двору. И я решил оказать какое угодно сопротивление.

Герр Нессенс, — ответил я, — я арестован без всякой вины. Это, вероятно, вы знаете. Привезший меня жандарм сказал, что начальник лагеря не хотел даже принимать меня в лагерь, поэтому я и помещен в амбулаторию.

В амбулатории мы вас держать не можем. Вы будете помещены в приличную камеру вдвоем с одним арестованным. Что вы хотите? Я не читал вашей книги, и дело о ней разберется, а пока вы арестант и ничего больше, — и вдруг с какой-то садистической полуулыбкой-полуоскалом Нессенс добавил: — Поверьте, если б вас арестовали в Берлине и вы бы сидели, скажем, на Папештрассе, к вам бы отнеслись не сколько иначе…

Я знал, какие слухи ходили об избиениях и убийствах в созданной гитлеровцами тюрьме на Папештрассе. Нессенс пригласил меня идти с ним наверх в канцелярию. Я пошел. В канцелярии работали два гитлеровца и два арестованных: еврей лет восемнадцати Барон (с которым на лугу мне раз удалось поговорить), худой, оборванный, стучал одним пальцем на пишущей машинке диктуемые гитлеровцем приказы, а пожилой человек, по фамилии Фуке, бывший член городского самоуправления из городка Бернау, раскладывал какие-то бумаги.

Войдя, Нессенс проговорил:

— Фуке! Вот этот господин будет жить вместе с вами. Покажите ему место, и он сейчас перейдет к вам. Понимаете?

— Так точно! — по-солдатски вскочив, проговорил Фуке.

Нессенс вышел.

Может быть, это излишняя подозрительность, но внешность герра Фуке не внушила мне доверия. Брюнет, с завитыми усами, Фуке был больше похож на полицейского, чем на городского советника. К тому ж мне показалось, что как-то чересчур уж выразительно глядел на него Нессенс и чересчур надавил на слово “понимаете”. “Наседку”, что ли, подсаживают? — подумал я. В обстановке лагеря все казалось подозрительным. А я, как русский, прошедший школу нашей революции, был особенно начеку. Ведь достаточно пооткровенничать с каким-нибудь герром Фуке в своей камере, сказав два слова о том, что ты не в восторге от новой Германии, и Нессенс оставит тебя в лагере уже

на “совершенно законном” основании.

Герр Нессенс сказал мне, что вы один в камере? — спросил я Фуке, когда мы шли по коридору. Один? — Фуке мрачно засмеялся, — в камере двадцать девять человек!

Я ничего не ответил, но *твердокаменно* решил: пусть меня в эту камеру сажают силой, с избиениями, как угодно, но добровольно перейти на общеарестантское положение — не перейду. Когда ж герр фуке открыл дверь камеры, из которой при нашем приближении слышался неясный гул голосов, я внутренне ахнул. Комната-камера не больше пяти шагов в длину, шага четыре в ширину, посредине небольшое пустое место, весь пол забран низкой деревянной загородкой, за которой настелена солома, и на соломе, один к другому, сидят человек тридцать грязных, измученных арестантов. Меня и Фуке встретили молчанием.

— Вот здесь есть место, — проговорил Фуке, указывая на место у двери, на котором не только уж вдвоем, а одному-то нельзя было бы поместиться.

Я не сказал ни слова. Мы вышли. Я спустился во двор. Возле амбулатории стояли Нессенс, Шефер и санитар. Я подошел к Нессенсу.

Герр фуке показал мне камеру, герр Нессенс. Вы сказали, что я буду помещен в камеру вдвоем с Фуке, а это общая камера, в которую я добровольно не пойду. То есть как не пойдете? — вспыхнул Нессенс. Мой арест является недоразумением. Как эмигрант, я нахожусь под покровительством Лиги Наций. По всему этому я считаю себя вправе не идти на общее положение заключенных. В амбулатории мы держать вас не будем! Поместите куда угодно, хоть в “бункер”, но в общую камеру я добровольно не пойду.

Шефер мельком взглянул на меня и, повернувшись к Нессенсу, бормотнул:

Пусть положит свой соломенный тюфяк в проходной комнате, рядом с амбулаторией, и спит там. Пусть, — недовольно проговорил Нессенс.

Я перетащил свой тюфяк в угол большой полупустой проходной комнаты и поместился в сыром углу, за загородкой, у окна. Сев на мешок, я ощущал “победу”, как будто дело выиграл, от Нессенса отбился. К тому *ж* в Берлине Олечкой уже предприняты шаги, и я надеялся, что скоро буду свободен. Но я понимал, что Нессенс, *со своей точки зрения,* конечно, прав, удалив меня из амбулатории.

Как раз в последний день в амбулатории мне пришлось увидеть жуткое дело. Среди дня двое санитаров внесли молодого

человека, по одежде рабочего; вид его был ужасен, он был без сознания, мычал, стонал, лицо было темно-синее. Его положили в амбулатории на кушетку. Старший санитар пытался дать ему воды, но рта ему открыть не мог. Вдруг, стоная, вскрикивая, мыча, как от сильной внутренней боли, молодой человек забился, заметался в бессознании и с грохотом упал на пол. Санитары стали его поднимать. А старший пошел вызывать по телефону карету скорой помощи.

А два дня назад я видел этого молодого, сильного рабочего совершенно здоровым в партии привезенных из Дессау. Что же с ним сделали в комнате № 16 Крюгер и Нессенс? Это я узнал, когда через некоторое время въехал во двор санитарный автомобиль и санитары вынесли умиравшего молодого рабочего.

Я сидел в это время возле здания. Около — мыли автомобиль два арестованных, и на вопрос одного другой тихо проговорил: “Из нашей партии, в комнате № 16 "допросили"… пять часов "допрашивали"…”

Крюгер и Нессенс попросту убили этого молодого человека. Может быть, резиновыми палками, а может быть, еще как-нибудь.

Гусиная колодка

Рано утром в мою проходную комнату вошла баба-молочница, кряхтя от тяжести большущих бидонов молока. Эта смешная баба в круглых очках обратила на себя мое внимание еще в первый день ареста. Я видел, как она — и к месту и не к месту — ежеминутно поднимала руку, вскрикивая перед проходившими гитлеровцами: “Хейль Гитлер!”, и те отвечали: “Хейль!”. Это приветствие о лагере слышится повсюду, и повсюду руки взлетают римским приветствием. Но все же бабе-молочнице я удивился. Откуда, думал, достали такую гитлеровскую бабу?

На столе, рядом с моим соломенным ложем, баба устраивалась с бидонами, разливала молоко в приготовленные бутылки для Крюгера, Нессенса, для караульных гитлеровцев, для двух больных арестованных. С некоторым удивлением взглянула на меня пристально сквозь свои круглые очки и вдруг проговорила вполголоса:

Тоже арестованный? Тоже.

И неожиданно эта “древняя германка”, покачав головой, завздыхала, как настоящая русская баба, и с подлинным состраданием произнесла:

— Иххихи, что делается.

Но из амбулатории раздались шаги, вошел непроспавшийся карлик-санитар, и баба, тут же подтянувшись, бодро подняла римским приветствием руку, вскрикнув: “Хейль Гитлер!” — “Хейль”, — спросонья пробормотал, полуподняв руку, карлик и, получив молоко, ушел в амбулаторию.

И снова из-под очков на меня соболезнующий бабин взгляд и “охи”. Я купил у бабы литр молока. Давно уж (разве что на войне) не пил я с таким удовольствием свежее молоко, как сейчас из арестантской кружки в гитлеровском кацете.

— Муж безработный, двое детей, вот и бегаю сюда, — полушептала баба, — знакомые мои тоже тут сидят, ох, ох, ох, что с людьми делают. А за что? Кто им что сделал?

Но снова громыхнули гитлеровские сапоги и снова, подтянувшись, вскрикивает баба: “Хейль Гитлер!” — подымая свою закорузлую руку римским приветствием.

Я глядел на бабу. Эта баба с безработным мужем и двумя детьми была как бы воплощением народной Германии. Ведь ничего, кроме страха и насмерть скованного террором отчаяния, в ее римских приветствиях не было.

На другой день с бабой мы уже были друзья. Я опять получил кружку молока, пил, сидя на тюфяке, когда баба понесла молоко

наверх к Крюгеру. Но когда вернулась, вид ее был перепуган, она бегло взглянула из-под очков, пугливо огляделась вокруг, полузакрыла лицо руками и зашептала в каком-то ужасе:

— Ах, ах, что с людьми делают, что делают, нет, лучше смерть, чем здесь., доску… доску. — залопотала она, показывая под подбородок. Но шумно вбежал караульный, и, отскочив от меня, баба снова вскрикнула: — Хейль Гитлер!

И тот на бегу пробормотал: “Хейль..”

Быстро собирая бидоны, бормоча что-то, баба, кивнув мне, выбежала из комнаты, и я видел, как уносила она, торопясь, ноги от проклятого места, на ходу приветствуя именем Гитлера встречных гитлеровцев.

Я понял, что в комнате Крюгера баба увидела допрашиваемых и увидела что-то страшное, испугавшее ее. Но что за “доска”, о которой не успела договорить баба? Почему она показывала, под подбородок поднося руку? Я догадаться не мог. Через несколько дней разговор гитлеровцев о “гензебрет” заставил меня вспомнить рассказ перепуганной бабы. А когда я был выпушен из лагеря, я узнал тайну: мне рассказали, что при допросах национал-социалисты пользуются неким средневековым прибором — “гензебрет” — доской, надеваемой на шею сразу нескольким арестованным, как гусям на базаре. Эта доска и перепугала бедную очкастую молочницу.

Из моей проходной комнаты я все чаще уходил на большой луг, примыкавший к лагерю с тыла. Уходил, чтоб “отсутствовать” из лагеря. Заросшее травой пространство луга огорожено колючей проволокой. По линии проволоки навстречу друг другу прохаживались два вооруженных автоматами часовых. На лугу всегда сидело несколько неспособных к работе стариков. Один, истощенный как труп, хромал по лугу, опираясь на палку. Появлялся и зарыдавший в амбулатории старик, с ним всегда вместе лежал сильно кашлявший молодой рабочий, по виду в последнем градусе чахотки. Лежа, о чем-то тихо разговаривали парии “третьего царства”.

С луга было видно: часть арестованных работала на крыше пятиэтажного заводского корпуса. Гремели листовым железом, крыли еще не достроенный корпус, а внизу докладывали, поправляли стены арестанты-каменщики. Возле работающих везде — неизменные вооруженные надсмотрщики. Но это работы, так сказать, “производительные”. “Эй, не мешай, мы заняты делом, строим мы, строим тюрьму!” — писал когда-то давным-давно Брюсов. Других же арестованных комендант Крюгер назначал на особые “воспитательные” работы. Так, из одной партии арестованных Крюгер отобрал человек пятнадцать.

— Вычистить двор! Чтоб травинки не было! Пусть ножами вырезают! — кричал Крюгер. — И на корточках! На корточках!

И тут же все пятнадцать присели на корточки под палящим солнцем. И на этом ими же чисто-начисто выметенном булыжном дворе, сидя на корточках, перочинными ножиками стали “вырезать” меж булыжниками всякие “признаки травинок”. Я умышленно прошел мимо них в клозет и видел их лица. Один попробовал было опуститься на колени, но гитлеровец тут же крикнул: “На корточки!” И снова толстый, старый человек, тяжело дыша под солнцем, присел, грозя разорвать надувшиеся брюки, и, выискивая травинки, стал вырезать их перочинным ножом.

Это не пустяки. Я видел их лица. Я видел, как убийственно действовала такая “работа”. О ней писал еще Достоевский в “Записках из Мертвого дома”: “Мне пришло раз на мысль, что если б захотели вполне раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался бы его заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей бесполезности и бессмыслицы. Если б заставить каторжника, например, переливать воду из одного ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу земли с одного места на другое и обратно, — я думаю, арестант удавился бы через несколько дней или наделал бы тысячу преступлений, чтоб хоть умереть, да выйти из такого унижения, стыда и муки. Разумеется, такое наказание обратилось бы в пытку, в мщение и было бы бессмысленным, потому что не достигло бы никакой разумной цели”.

В Ораниенбурге это и есть пытка и мщение “подлинных германцев” — “неподлинным”, то есть, по-ленински, “врагам народа”, насельникам концлагерей. У стены лагерного корпуса, на лугу, недалеко от меня молодой немец, по виду интеллигент, рыл громаднейшую яму, словно братскую могилу. Он взглянул на меня раз, два (арестованные понимают друг друга одним взглядом) и наконец чуть-чуть усмехнулся: “Видали, — мол, — чем занимаюсь?”

Что это вы роете? — тихо спросил я. Вроде могилы что-то, — усмехнулся опять интеллигент.

А на другой день ему приказали так же быстро, без разгибу, закидывать вырытую за вчерашний день яму. Я уверен, что ни Крюгер, ни Нессенс, ни Шефер никогда не читали Достоевского. “Сами до этого дошли”.

Закидываете? — проговорил я тихо, ложась неподалеку от интеллигента. Упражнение, — усмехнулся он. И столько было

злобы в этом слове и усмешке.

Другого интеллигента, высокого, типичного германца, блондина с острым, красивым лицом, по виду студента, трупфюрер заставил накидывать на грузовик мусор.

Чтоб в один день перекидал все, слышишь?! Так точно, герр трупфюрер!

И трупфюрер и типичный германец-интеллигент прекрасно знают, что этого мусора хватило бы на десять человек на десять дней. Но студент понимает, что работать надо весь день без разгибу, а то сядешь в темный вонючий “бункер”, и кидает, кидает лопату за лопатой. Тут тебе не Гейдельберг-ский университет, не “Критика чистого разума”. Гитлер, Геббельс, Геринг, Гиммлер, Ленин, Троцкий, Сталин, Свердлов1 знают, как “воспитывать” народ.

М.А. Алданов статью “Убийство Троцкого” (НЖ кн. I) начинает так: “Конрад Гейден в своей биографии Гитлера рассказывает: однажды фюрер за столом в тесном кругу спросил: Читали ли вы "Воспоминания Троцкого"? — Послышались ответы: "Да, отвратительная книга! Это мемуары сатаны!" — "Отвратительная? — переспросил Гитлер. — Блестящая книга! Какая у него голова! Я многому у него научился!"”

Биографу Гитлера Гейдену можно верить, что Гитлер сказал именно так. А Гитлеру надо верить, что он многому научился у Троцкого. Раушнинг в своей книге о Гитлере подтверждает, что фюрер говорил, что он *“многому научился у марксистов”*.

Если говорят о коммунистических палачах, обычно упоминают Ленина, Троцкого, Дзержинского, Сталина, Берия, Ягоду, Ежова, но очень редко Свердлова. Это несправедливо. В планированном, массовом человекоистреблении Я.М.Свердлов сыграл выдающуюся роль. В 1919 г., будучи главой советского государства и партийного аппарата, Свердлов подписал Постановление Организационного бюро ЦК РКП (б) об уничтожении казачества. Холоду и зверству этого документа мог бы позавидовать Гиммлер. В результате “постановления” — “в ряде станиц Дона было уничтожено до 80–90 процентов населения” (см. М. Бернштам. Стороны в гражданской войне 1917-22 гг. Вестник РСХД. Париж. № 128, 1979.). Свердловское уничтожение казачества как такового проводилось, конечно, не только на Дону. В зарубежной печати есть описание, как в Сибири, в Трехречье, в казачьем поселке Горбунор было уничтожено *все население, включая детей.* В свое время на это зверство в дальневосточном журнале “Рубеж” откликнулась стихотворением поэтесса Марина Веревкина: “Казачат расстреляли”:

Видно, ты уснула
Жалость человечья…
Почему молчишь ты,
Не пойму никак.
Знаю, не была ты
В эти дни в Трехречье,
Там была жестокость,
Твой извечный враг.
Ах, беды не чаял
Беззащитный хутор…
Люди, не молчите —
Камни закричат.
Там из пулемета
Расстреляли утром
Милых, круглолицых,
Бойких казачат…

В наш век массовое истребление людей как метод властвования пришло от Ленина и его псевдонимов. Гитлер создал некий варьянт, умерщвляя людей не по “классовому” признаку, а по “расовому”. Но суть дела — одна: людей убивали; люди умирали. Ленинцы убили больше людей, чем гитлеровцы. Гитлер убивал двенадцать лет, а ленинцы убивали и *убивают* шестьдесят четыре года. Причем размах ленинских убийств давно стал *всемирным.*

Я видел, как привезенного в лагерь, всего какого-то изваляннного, человека сначала заперли в клозет-бункер. Потом уж остриженного (в лагере всех стригут под ноль-ноль) ежедневно водили на допрос, а через несколько дней я столкнулся с ним у кухни, когда получал еду. Он ел, сидя на земле, у отпертой двери своего “бункера”. Лицо — мертвенное, страдальческое, глаза заплыли, как от побоев, на лбу две большие ссадины. Это был уж не человек, а измученное животное. И стоявший рядом с ним гитлеровец, ждавший, чтоб его после еды опять запереть, так и глядел на него, как на животное.

“Объединение немецкого народа, о котором говорят национал-социалисты, иллюзорно!” — писал в своей газете генерал Людендорф. Но дело-то все в том, что Адольф Гитлер вовсе и не хочет объединения, он хочет *порабощения.* Он его и достиг, как Ленин и Сталин.

Доктор Гуго Менчель, партбилет N 4

По воскресеньям в концлагере — праздник: жены, матери, дети приходят к заключенным на свидание. А свидание в тюрьме — во всякой тюрьме — это чуть уловимое, целительное прикосновение к свободе. Родные люди приносят передачи. Для передач стоит громадный стол посередине двора. Воскресный лагерь *необычайно культурен.* С полдня на дворе гремит духовой оркестр. Оркестранты — толстые красношеие бюргеры — раньше, на вольном гуляньи в парке, были одеты в цилиндры и сюртуки. Теперь — в коричневых рубахах с хакенкрейцами на рукавах. Но оркестр гремит прекрасно военными маршами, особенно Баденвейлерским, любимым маршем "фюрера", под который в армии он маршировал ефрейтором. Барабанщик дубасит в большой барабан, стонут корнет-а-пистоны, взвизгивают флейты, разрывая воздух, бухают медные литавры. Музыка для заключенных в концлагере! До чего ж это культурно! И как до этого не дошли, не додумались "гениальный архитектор" системы коммунистических лагерей Нафталий Френкель, иль Генрих Ягода, или сам Иосиф Виссарионович? А вот Гитлер и Гиммлер сразу додумались. Такому "нашему достижению" умилился бы Алексей Максимович Горький! Прослезился бы!

Олечка приходила ко мне каждое воскресенье. Мы могли говорить тридцать минут. Как все. Она приносила "передачи": незатейливую еду, больше от соседей, друзей-немцев. Когда первый раз она, пройдя сквозь караульное помещение, вошла во двор, в этот "дантов ад", я ее ждал у стены главного здания. И, увидав меня, он пошла ко мне с хорошей, ласковой улыбкой (ободряющей). Но шла она (как мне показалось) не своей легкой походкой, а будто ноги ее приклеивались к булыжникам двора. Я ее обнял, поцеловал (это разрешалось заключенным), и мы, разговаривая, встали у стены.

В это время (я увидел) в лагерь вошел Шефер и как всегда быстро идет к главному зданию. Около нас вдруг остановился. "Это ваша жена?" — спросил. — "Да". Шефер вошел в главное здание, тут же вынес стул и, поставив его около Олечки, проговорил: — "Setzen Sie sish, gnadige Frau!" Видали? Какая любезность! Конечно, любезность.

На последнее свидание Олечка пришла радостная. И успела мне все рассказать об "успехе" в попытках моего освобождения. После моего ареста она металась по Берлину, пытаясь у кого-нибудь из знакомых узнать, что ей предпринять, чтоб поскорее вытащить меня из Ораниенбурга. И вот случайно узнала, что в

Берлин из Парижа на несколько дней приехал Борис Исакович Элькин. Он, еврей, сразу после переворота благоразумно с семьей покинул “третий рейх”, переехав во Францию. А сейчас приехал — ликвидировать квартиру и свои дела.

Б.И. Элькин кадет, верный “оруженосец” П.Н. Милюкова, в Берлине занимался адвокатской практикой, и кое-какие немецкие связи у него могли быть. Еще в 1921 году я встречал его у Станкевичей (они дружили давно, по Петербургу). Олечка познакомилась с Б.И. в Тироле, когда Элькины приезжали на отдых в пансион к О.Л. Азаревич, с которой были хороши.

Принял Борис Исакович Олечку тепло. Когда она рассказала о моем аресте, ответил, что знает, читал в Париже в “Последних новостях” заметку на первой странице. (Заметка страшноватая: “арестован и заключен в концентрационный лагерь Ораниенбург писатель Роман Гуль”, этот № “Поел, нов.” в моем архиве. — Р.Г.) Олечка рассказала Б.И., что мой брат писал обстоятельное объяснение прокурору, прося о вмешательстве, и такое же ландрату, но оба ответили, что дело это “вне их компетенции”. Тут Б.И. махнул рукой: “Пустая потеря времени! Ведь никакой же *законности* сейчас нет. Действует — насилие. И прокурор и ландрат сами, наверное, трясутся, как бы не попасть им в тот же концлагерь!” — “Что же делать, Б.И.?” Б.И. сказал так: “Освободить Р.Б. можно только, найдя каких-то немцев, приличных гитлеровцев, это единственный путь. Есть у вас такие?” Олечка сказала, что пытался помочь приятель-немец из Фридрихсталя, электрик Минге. Раньше он был социал-демократ, потом ушел к национал-социалистам. Ездил в Ораниенбург хлопотать, но — безрезультатно. “Ну, это малая пешка, тут надо кого-нибудь покрупнее”. Олечка сказала, что у нее были очень хорошие отношения с ее зубным врачом, доктором Гуго Менчелем, но она давно уж у него не была. Менчель — русский немец, говорит по-русски, как русский. У него всегда была пропасть русской клиентуры. Но до гитлеровского переворота никто не знал, что он — национал-социалист. А теперь узнали, что доктор Менчель — старый, видный гитлеровец. Тут Б.И. ожил, перебив Олечку: “Так чего ж вы к нему не пошли сразу? Ведь это как раз то, что нужно! Не теряйте времени, езжайте к этому вашему Менчелю, это единственный реальный путь…”

И Олечка поехала к своему давнему дантисту, доктору Гуго Менчелю на Кнезебекштрассе. Приехала во время приема. Но, увидев ее и спросив, в чем дело, Менчель сказал: “Подождите, Ольга Андреевна, у меня последний пациент, когда я его отпущу, мы поговорим”. Последним пациентом оказался генерал А.А. фон Лампе, начальник РОВСа на Германию. Когда доктор отпустил

генерала, он вошел к Ольге с улыбкой: “У меня в кабинете был Алексей Александрович фон Лампе и, знаете, когда я ему сказал, что ваш муж арестован и сидит в Ораниенбурге, Лампе ответил: "Так ему и надо!" Почему это?” Олечка объяснила Менчелю, почему этот господин из РОВСа мог так сказать. Добавлю, что генерал А.А. фон Лампе обо мне выразился сильно опрометчиво. Я просидел в Ораниенбурге двадцать один день и уехал во Францию. А вот когда гитлеровцы взяли этого генерала фон Лампе в тюрьму (кажется, на Па-пештрассе), он просидел, несмотря на хлопоты Менчеля, больше двух месяцев. И обращение с ним было настолько мрачное, а допросы настолько длительные и жестокие, что его не выпустили из тюрьмы даже на один день — проститься с умиравшей от туберкулеза дочерью. Вот как не стоит злорадствовать чужой беде — “своя награда”. Но еще Достоевский писал, что в несчастии ближнего есть “нечто, веселящее глаз”.

Менчель был на редкость добрый и отзывчивый человек. Когда Олечка все рассказала, он только упрекнул ее в одном: “Почему ж, Ольга Андреевна, вы не приехали ко мне сразу? Ведь я бы надел мундир со всеми регалиями и поехал бы прямо в гестапо. Под мое ручательство вашего мужа тут же бы отпустили. А теперь гораздо сложнее, на него завелось "дело", переписка всяческих инстанций… Но обещаю, завтра же утром в мундире и при регалиях поеду в гестапо и *ручаюсь,* что через неделю ваш муж будет на свободе. Как-никак мой партийный билет № 4, а у Фюрера № 7 (может быть, № 8, не помню уж. — Р.Г.).

Обо всем этом на свидании Олечка мне и рассказала.

Чей это был брат

После воскресенья, в понедельник, концлагерь жил редко нервной жизнью. В лагерь въехало несколько грузовиков с арестованными. Через мою проходную комнату из “Главной кассы” гурьбой прошли торопившиеся гитлеровцы. Я слышал: “Пойдем… брата… привезли”. Фамилию я не разобрал, но фраза заставила и меня подойти к окну.

На дворе стояли выстроившиеся новые арестанты. К ним шел Крюгер, на ходу закричавший: “Здесь такой-то?” (фамилию я опять не разобрал. — Р.Г.). Из первого ряда арестованных сделал шаг молодой человек.

— Назад, в строй! — заорал Крюгер. Это был один из приемов: вызвать по фамилии и, когда арестованный невольно делал шаг, кричать на него, обрушиваясь дикой грубостью.

Встав прямо против арестованного, Крюгер качал осыпать его угрозами. Это и был “чей-то брат”, либо видного социал-демократа, либо рейхсбаннера, либо коммуниста. Под криками Крюгера он должен был стоять “смирно”. Шатен, широкоплечий, с типично немецким круглым лицом, интеллигент, по виду лет двадцати двух. Хорошо одет, коричневый пиджак, спортивное кепи, “пумпхозен”, чулки и, на что я случайно обратил внимание, на ногах — красные туфли, именно такие, какие я люблю, без каблука с сквозной подметкой. В руках — картонная коробка с надписью фирмы “Хинкель”.

Меня поразил контраст его корректного вида и бешеной ненависти, которую он вызывал у Крюгера и собравшихся национал-социалистов.

— Nna, Sie kriegen Feuer bei uns! — угрожающе бросил Крюгер молодому человеку.

Я отошел от окна, но до меня вскоре долетел новый крик Крюгера:

— …посмотрим, как бегает, —

Я подошел к окну. “Чей-то брат” бежал по булыжному двору что есть силы. Но был сыроват, и Крюгер махнул одному из гитлеровцев:

— Наддай!

Под смех караульных здоровенный солдат бросился за арестованным и, нагнав, из бегу, изо всех сил стал наносить удары кулаком в спину, в затылок. Казалось под ударами молодой человек упадет, но нет, он держался, стараясь бежать что было духу.

— Назад! — скомандовал Крюгер.

Молодой человек на бегу повернулся. Сейчас все видели его лицо. Оно было будто сведено судорогой, как у притащенного на бойню, уже не упирающегося животного, на нем— и ожидание удара сзади, и выражение полной беззащитности. На глазах всех он бежал прямо на Крюгера. И наконец по команде встал, задохнувшись, перед ним.

— В “бункер”! — крикнул Крюгер. И собравшего свои вещи “чьего-то брата” повели в одиночку, в “бункер”.

Часа через два я видел, как гитлеровец быстро вел его к Крюгеру на “допрос”. Молодой человек на ходу ладонью отряхивал пиджак. По испачканной спине было явно, что в “бункере” он лежал на полу. Меня интересовало: чей же он брат, если встречен такой злобой?

Вечером, поужинав кружкой кофе с куском хлеба, я сидел возле главного здания. Из караульного помещения в лагерь вошел Нессенс. И остановился среди кучки караульных гитлеровцев.

Мне в Берлине сказали, сюда пришлют брата (и снова, как я ни напряг слух, фамилии не расслышал)… Привезли его? Так точно, герр штурмфюрер! Приведите-ка его ко мне! — произнес Нессенс, выходя из круга гитлеровцев.

Было ясно, Нессенс вызывал “на допрос” “чьего-то брата”. И факт, что даже в Берлине ему говорили о “чьем-то брате”, был подтверждением, что арестованный — брат крупного противника национал-социалистов.

Гитлеровец вывел “чьего-то брата” из “бункера”. Они шли быстро. А Нессенс прохаживался возле караульного помещения, опустив голову. В двух шагах от Нессенса арестованный встал руки по швам. Нессенс взглянул на него, тихо сказав: “Пойдемте ко мне”, — и пошел в главное здание, арестованный за ним. Они прошли через мою проходную комнату в “Главную кассу”. Я выждал несколько минут. Потом тихо пошел к себе. Судьба этого человека меня волновала. Не успел я дойти до своего соломенного тюфяка, как услышал несущиеся из “Главной кассы” неистовые крики Нессенса: “Что?! Что?! Что?!” — и было слышно, как один за другим сыпались удары. По звуку казалось: Нессенс бьет по лицу, и в ответ его исступленным крикам раздавалось какое-то странное полумычание.

Я лег на свой мешок. Крики Нессенса становились дики. Вместе с ударами пошла какая-то возня. Оставаться в комнате я не мог. Стараясь не показать вида стоявшим возле здания гитлеровцам, я вышел и сел далеко от них, на лугу. Вдруг раздался резкий шум отброшенный двери, быстрые шаги, из здания выбежал Нессенс; он даже не взглянул на солдат, пробежал в караульное помещение и тут же побежал назад с

резиновой палкой в руках. Стало быть, избитый ждал его. Устав бить кулаком, Нессенс схватил теперь резиновую палку.

Вскоре солдаты разошлись кто куда. Одни — в караульное помещение, другие наверх — к Крюгеру. Я не мог решить: входить мне в проходную комнату или нет? На дворе стемнело. Посидев еще минут пять, я попробовал войти, но оставаться в комнате я не мог. В “Главной кассе” шла возня, с хрипами, мычанием, было ясно: Нессенс его убивает. Деваться мне было некуда. Единственное место — клозет. Арестованные сейчас уже в помещении. Я пересек пустой двор. В клозете — ни одного человека. Я остановился в одном из отделений прямо против окошечка, выходящего на главное здание. Я ждал: выведут ли изуродованного арестованного “чьего-то брата”, поведут ли в “бункер” или не выведут (стало быть — убит).

Я простоял минут пятнадцать. Наконец из двери главного здания быстро, мелкими шажками вышел Нессенс, на нем было штатское пальто внакидку, через караульное помещение он, очевидно, вышел на улицу.

Подождав немного, я пересек двор, вошел в проходную комнату, взглянул на дверь “Главной кассы” — полная тишина. Я лег на свой тюфяк. Было темно, тихо. В окне — легкий серп луны. Арестованные спали. Мимо моей загородки в “Главную кассу” прошел телефонист. Я думал: заперта ли дверь? Нет, он свободно отворил ее и даже оставил полуоткрытой. Стало быть, “чьего-то брата” не оставили там.

Я прикрылся одеялом, закрыл глаза, долго неподвижно лежал, слушая то смех и взвизги возле решетки лагеря девиц, пришедших в темноте к уставшим от своей службы гитлеровцам, то — тихие звуки гармоньи. Гармонист выбивал одно и то же, отчетливо: “Знамена ввысь! Ряды сомкнуты крепко!”.

Я думал о “чьем-то брате”. Представлял себе его мать. Вероятно — сырая, крупная немка. Этой ночью думает о сыне. Если у арестованного есть старший, известный брат, стало быть, она пожилая женщина. И эта мать, как тысячи немецких матерей, сейчас не спит, волнуясь за жизнь своего сына в лагере и еще не зная, что он уже мертв, изуродован, валяется на полу темной комнаты…

Гармонья оборвалась. Кто-то, напевая, прошел по двору. И вдруг с улицы донеслись гудки и шум приближающегося грузовика. У ворот гудок заревел беспрерывно, пронзительно. В караулке заметались, было слышно, как открыли ворота. Грузовик въехал, с грузовика спрыгивали люди, потом раздался голос начальника лагеря Шефера, отдававший какие-то приказания.

На дворе вспыхнуло электричество, и кто-то шумно вбежал в

амбулаторию, а двое прошли в “Главную кассу”. Я лежал, прикрывшись одеялом так, чтоб в случае, если в проходной комнате зажгут электричество, думали б, что я сплю. Сознание работало остро, нервы отвечали на каждый шум, звук. Я слышал, как на ходу, с кем-то разговаривая, Шефер со двора прошел в амбулаторию, вошел в сопровождении многих людей. Из амбулатории донеслись возня, с грохотом тащили что-то тяжелое. Я подумал: из соседней комнаты (между “Главной кассой” и амбулаторией) тащат либо связанного, изуродованного, либо убитого Нессенсом “чьего-то брата”. Вдруг это тяжелое с сильным грохотом бросили на пол. И после короткой паузы раздался с усмешкой голос Шефера:

— Kinder! Wie habt Ihr ihn beschmuzt! Ребята! Как вы его измазали!

Ясно: Шеферу показывают труп убитого “чьего-то брата”.

Последний день в лагере

Утром, потягиваясь, умывались у кранов гитлеровцы. Так же строились на дворе арестованные. Прошли вольцигские евреи — мыть приехавшие за ночь автомобили. Небо над лагерем — лазурное. Солнце — золотое, поднимается быстро, обещая жаркий день. И никто из арестованных не знает, что ночью Нессенс забил насмерть “чьего-то брата”.

Встал и я. После бессонной ночи чувствовал разламывающую усталость. Умывшись на дворе, вместе с приведенным из “бункера” арестантом, я взял у разносившего с кухни все того же “кругленького” арестанта свою чашку ячменного кофе. После кофе решил войти в амбулаторию, куда заходил иногда к старшему санитару за добавочной чашкой кофе. Мне хотелось, хоть мельком, взглянуть: ведь что-нибудь да должно остаться в амбулатории от ушедшей ночи? Подошел к амбулатории. Торкнулся, но дверь неожиданно заперта. Изнутри крик карлика: “Нельзя!” И я видел, как на прием к санитарам тщетно торкались арестанты и уходили ни с чем.

Только после обеда дверь амбулатории открылась. Я решил зайти к старшему санитару “за карандашом” (мы имели право писать родным открытки с штампом концлагеря Ораниенбург). Вошел. Старший санитар сидел, пиша, у стола. Пол полусарайной комнаты свежевымыт, некрашеные доски еще сыры; посреди комнаты — большое, сырое от воды, темное пятно. Я подумал: кровь?

Спросил карандаш. Санитар, не отрываясь, подал мне, и, медленно уходя, я обвел амбулаторию взглядом: все как всегда, но вдруг в глаза бросились: меж кафельной печкой и кушеткой стоят красные ботинки со сквозной подметкой. А на санитарской полке вместе с другими вещами коробка с надписью “Хинкель”. Ботинки и коробка с вещами достались “победителям”?

Сидеть в проходной было невыносимо. Я ушел на дальний луг, где лежали больные старики-арестованные, а посредине маршировали в шереножном учении сменившиеся с караула гитлеровцы. Лег в самом дальнем углу. Вскоре сели поблизости два вольцигских мальчика-еврея лет по пятнадцать. Один вытащил из кармана рекламы от папирос (портреты киноартистов) и, советуясь с товарищем, стал сортировать эти картинки.

— Что это у вас? — спросил я.

Он чуть смущенно проговорил:

— Артисты. Только это не я собираю, это — товарищ. А я

собираю — аэропланы.

Недурные арестанты, думал я, собирающие “артистов” и “аэропланы”, а ведь сидят уже с месяц, виноватые в том, что — евреи. Вскоре на луг пришла партия “новеньких” арестованных. Среди них выделялся громаднейшего, почти гигантского роста животастый, бритый старик с остатком седо-рыжих волос бобриком. Лет шестидесяти пяти, добротно одет, типичный парламентарий и, если угодно, “бонза”. На лугу, обнесенном колючей проволокой, на старика было жалко смотреть. Явно привыкший к достатку, к хорошим креслам, к дивану своего кабинета, он как-то сторонился полуголых в этой жаре арестованных. В тугом воротничке, с хорошим галстуком, словно в “накрахмаленном”, темном костюме, он стоял посреди луга, как топором ошарашенный мастадонт, явно не решаясь сесть на траву. В этой партии было много интеллигентов; какой-то изящный, богемистый молодой человек, вероятно, больной, не снимавший в эту жару пальто, постоянно кашлявший.

Я лежал, глядя то на арестованных, то на круживших в небе разноцветной стаей чьих-то голубей, то на ораниенбургскую тихую церковь, то на проходивших по улице, невольно останавливавшихся у лагерной проволоки людей. Но проминавшийся по линии решетки часовой окрикивал всякого зазевавшегося: “Останавливаться запрещено!” — и они ускоряли шаг, уже не оглядываясь.

Когда я вернулся в проходную комнату перед “обедом”, ко мне подошел старший санитар. И сказал, что из Берлина приехал чиновник, звонил по моему делу раз шесть, и меня, вероятно, сегодня выпустят.

— Он ругался, говорит, безобразие! Человека зря держите! — засмеялся санитар. Этот санитар был неплохой мужик; машинный, прусский солдат, но не злой.

Я понял, что партбилет № 4, мундир и регалии доктора Менчеля добились моего освобождения. Действительно, вскоре ко мне вошел этот чин из Берлина. Он был совершенно не похож на лагерное начальство. Высокий, в штатском (видно, дорогом) костюме. Прекрасные манеры. “Вполне светский”. Такие обычны в министерствах иностранных дел. Но джентльмен, я думаю, все же был из гестапо. Рассматривая меня, как мне казалось, “не без интереса” (русский! писатель! эмигрант!), чин проговорил: “Ваш арест выяснен. Это недоразумение. Пакуйте вещи и отправляйтесь домой! Но если вы нам понадобитесь — мы знаем ваш адрес”. Угроза была не совсем джентльменская, но, вероятно, это — “стандартное напутствие”.

На клочке бумаги джентльмен написал записку, с которой я

пошел на третий этаж, в канцелярию. Там — обычное столпотворение. К двум столам тянулись очереди только что привезенных арестантов.

Прежде чем выдать мне пропуск, гитлеровец Цигельаш вынул из картотеки мое “дело”, и я наконец увидел свою фотографию работы вахмистра Геншеля. Это было жуткое изображение. Бегло просмотрев мои бумаги, Цигельаш протянул бланк с печатным текстом: “Я, нижеподписавшийся, обязуюсь никогда, ни устно, ни письменно не выступать против настоящего правительства Германии, а также свидетельствую, что со мной в лагере было самое хорошее обращение и никаких претензий к администрации лагеря я предъявить не могу”.

Такие бланки при освобождении подписывают все (кроме убитых). Не дочитав текст, я подписал и получил пропуск— “Der Roman Goul kann das Lager verlassen”, печать, подпись. Мне особенно понравилось это “Der”. С чувством внезапного выздоровления после тяжелой болезни я быстро спускался вниз по лестнице.

— Вы куда? — передо мной поднимающийся на третий этаж Нессенс (видимо, увидал в руке у меня бумажку).

— Я освобожден, — и не задерживаясь, я спустился вниз. А вверх по лестнице, друг другу в затылок, поднимались новые арестанты.

Идут бараны в ряд,
Бьют барабаны!
Шкуру для них дают
Сами бараны!

На свободе

Дома, за первым же чаем, я рассказал о лагере, “чему свидетелем Господь меня поставил”: как истязают, пытают, убивают. От рассказа об убийстве “чьего-то брата” жене Сережи стало дурно, у нее началась рвота. Вся семья рассказом была *потрясена:* в деревне ходили туманные слухи, что Ораниенбург — не “пансион для благородных девиц”. Но слухи слухами. А *факты — фактами.*

Вся деревня, конечно, сразу узнала о моем освобождении. Новости тут ходят от двери к двери. Некоторые, как фрау Курт, владелица деревенской лавочки, с которой мы многолетне дружили, встретила меня сдержанно: перестраховывалась. И я ее понял: муж, дети, лавка, лучше подальше от “этого русского”, Бог его знает, что там такое. Были, правда, и не пугавшиеся меня немцы, но это всё старые люди. С инженером Профе я столкнулся у нашего дома, он (бывший социал-демократ) шел куда-то с хакенкрейцевой повязкой на рукаве. Поздоровались дружески. “Вступили в партию, герр Профе?” — спросил я просто, без “уязвления”. “Jawohl, — ответил он, — mann muss mitmachen”. Эта психология — “mann muss mitmachen” — была типична для *всей* Германии. Ни о каком “сопротивлении” помину не было. Только раз я прочел в газете, что в берлинском предместий Кёпеник молодой социал-демократ Шмаус при аресте оказал вооруженное сопротивление, убив двух гитлеровцев. Его схватили тяжелораненного, вместе с его отчаянной матерью, которая, когда вломились гитлеровцы, кричала: “Стреляй в них, Антон! Стреляй! Чего ж ты ждешь?!”. Отец Шмауса не дался гитлеровцам живьем, забаррикадировавшись на чердаке, успел повеситься. Исторический же факт: Германия легко и покорно сдалась силе Адольфа Гитлера.

Через несколько дней я поехал в Берлин познакомиться с доктором Менчелем и поблагодарить за хлопоты. Он мне понравился: душевный человек (думаю, чуть-чуть “испорченный” Россией). О лагере, разумеется, не говорили. Но из его слов я понял, что мой арест был произведен из-за тупости какого-то безграмотного гестаписта, принявшего подзаголовок моей книги (в немецком переводе) “Roman eines Terroristen” как то, что *автор ее террорист.*

В Берлине о концлагере я, разумеется, все рассказал друзьям — Льву Николаевичу и Оле Шифмановичам. Для них мой рассказ тоже был “открытием Америки” (неприятной!). Но когда Оля, так сказать, “в честь” моего освобождения устроила завтрак,

пригласив общих знакомых, с ними я держался как ни в чем не бывало, будто в лагере я и не был. Почему? Да потому, что тогда в Берлине (не надо из песни выкидывать слово) густо цвели такие доносы русских на русских, что сам всемогущий Геринг все нелепые доносы стал называть “русскими доносами”. Завтрак у Шифмановичей прошел оживленно. Знакомая русская дама нашла, что я “чудно выгляжу”, и, мило улыбаясь, говорила: “Ну, вот говорят — концлагерь, концлагерь — да по вас, Р.Б., и не подумаешь, что вы чуть не месяц провели в концлагере. У вас чудный, чудный вид! Загорели, будто с французской Ривьеры приехали! (Я действительно, лежа на лугу концлагеря, загорел, как мулат). Я не разочаровывал милую даму, говорил, что, действительно, если это была и не Ривьера, то все же я много времени проводил на свежем воздухе.

А Льву Николаевичу (до завтрака) советовал скорее покинуть третий рейх. Шифмановичи и покинули его вскоре после нашего с Олечкой отъезда, переехав в Париж, потом в Лондон.

Только одному *совершенно незнакомому человеку* — инженеру Будовскому — я еще рассказал все о лагере с мельчайшими подробностями, но это особый случай.

Как я писал, наш дом стоял на окраине Фридрихсталя, но деревенька изгибалась полукругом, и на другом конце, в сосновом лесу, поодаль от деревенских домов, была барская вилла Будовского (с службами, гаражами и прочим). Знакомы мы не были. Видел я Будовского раза два на деревенских демонстрациях Штальхельма — правой националистической организации, вначале пробовавшей конкурировать с гитлеровцами, но быстро самораспустившейся. Правда, Будовский в рядах не маршировал, а, так сказать, подпирал слабую демонстрацию, тихо едучи в ее конце в автомобиле. Когда я это видел, я, признаться, подумал: перестраховывается еврей Будовский. Так оно наверное, и было. А рассказал я ему о концлагере при таких обстоятельствах.

На второй-третий день моего освобождения, поздно, часов около одиннадцати ночи (когда вся деревня уже спала), к нам в окно раздался тихий стук. Олечка вышла — увидела сынишку Будовского, милого мальчишку лет пятнадцати. Он спросил ее по-немецки: “Могу я видеть господина Гуля?” Олечка ввела его на застекленную веранду, крикнув: “Рома, тебя!” Я был уж в пижаме, вышел. “Господин Гуль, — сказал мальчик по-немецки (по-русски дети и жена Будовского не говорили), — папа спрашивает, не могли ли бы вы к нему прийти?” Я сразу догадался, о каком “предмете” папа хочет со мной говорить, и если прислал сынишку по темноте, то разговор этот ему почему-то важен. “Конечно,

могу, — сказал я, — с удовольствием приду к папе завтра. В котором часу можно прийти?" "Нет, нет, — застеснялся мальчишка, — папа просит вас сейчас прийти, со мной". Я понял, что Будов-скому почему-то нужна спешная встреча. Согласился.

От нашего пролетарского дома до прекрасной виллы Будовского восемь-десять минут хода через сосновые саженцы (вне деревни) по узкой песочной тропе. Мы пошли с мальчиком. Было темно. В деревне — полный сон. В вилле Будовского — неяркий свет. Когда мы вошли в переднюю, из боковой комнаты быстро вышел Будовский: брюнет, хорошего роста, плотный, уже толстеющий, лет сорока шести, чуть лысоватый, лицо живое, умное. Извинился, что побеспокоил, поблагодарил, что пришел, и пригласил в кабинет. В кабинете (кожаные кресла, кожаный диван, все как надо в богатом доме) мы сели — он за письменный стол, я — против него. Будовский по-русски говорил безукоризненно (киевлянин). Не думаю, чтоб он был эмигрант. Давно жил в Германии, немецкий подданный, занимал большое положение не то у Симменс-Шуккерт, не то у Симменс-Гальске. Разговор был примерно такой:

— Вас недавно освободили из Ораниенбурга?

— Да.

— Мы не знакомы, к сожалению. У меня к вам большая просьба: расскажите, пожалуйста, все об этом лагере, мне сейчас это очень (подчеркнул он) нужно знать, по серьезным причинам.

Я видел лицо Будовского. Его взволнованность (когда он заговорил), нервность передались мне. Он вызвал к себе полное мое доверие. Мне даже почувствовалось почему-то, что он — в опасности. И я начал подробный рассказ именно так, как он просил — "со всеми мелочами, со всеми подробностями". Будовский слушал напряженно, иногда перебивал вопросами. Не знаю, сколько времени я рассказывал: и о пытках, и об истязаниях, о "гензебрет", о Нессенсе, о "бункерах", об убийстве "чьего-то брата", об убийстве молодого рабочего, о вольцигских евреях-мальчиках, о том, как я освободился, о докторе Менчеле. Лицо Будовского, освещенное стоячей лампой, было передо мной. Я видел, чем дальше я говорил, тем сильнее действовал на него рассказ. Когда я кончил — Будовский был *потрясен,* я это видел. Я сказал:

— Я освободился скоро потому, что я русский эмигрант и мой арест был действительно нелеп, ибо какой-то неграмотный дурак-гестапист по подзаголовку романа решил, что я "террорист". Но если туда попадете вы — немецкий подданный, еврей, — честно скажу: у Нессенса с вами могло б произойти все что угодно. Вы меня простите, мы встретились первый раз в жизни, но если б вы

сейчас у меня спросили совет, я посоветовал бы вам возможно скорее уезжать из Германии. Понимаю, вам это не просто, большая семья, дело…

Будовский нервно перебил:

— Я тоже буду с вами откровенен. У меня уже есть неприятности, некие мерзавцы-нацисты уже пытаются меня шантажировать и угрожают… Теперь, после вашего рассказа, я понимаю, что благодаря им могу очутиться в том же аду, из которого вы вырвались. И освободиться мне так легко вряд ли удалось бы. У меня — хорошие связи в Штальхельме, но сегодня это ничего не стоит. Вы говорите, что уезжаете с женой во Францию? Правильно делаете. И знаете — это, конечно, совершенно между нами, — я тоже начну хлопоты о французских визах, у меня есть связи…

В это время на письменном столе зазвонил телефон. Я встал, чтоб не мешать, проститься, уйти. Но, не беря еще трубку, Будовский скороговоркой проговорил: “Нет, нет, пожалуйста, не уходите, я вас прошу, останьтесь…” В его словах была какая-то чрезмерная нервность, беспокойство, и я сел опять в кресло. Он взял телефонную трубку. Начался разговор (по-немецки). По коротким ответам Будовского я понял, что звонят именно “эти мерзавцы”. Будовский отвечал односложно, с самообладанием, но я видел, что разговор ему крайне неприятен и может быть, даже опасен. Положив трубку, он сказал: “Опять эти мерзавцы… они могут сделать что угодно… могут приехать ко мне…”

Будовский был в крайнем волнении. Было уж поздно. Мне надо было уходить. Мы простились. Но когда я был уже у выходной двери, Будовский вдруг окликнул меня: “Р.Б., а деньги у вас на билеты во Францию есть?” С деньгами было плоховато, но я ответил: “Есть, есть, спасибо”. “Хороший психолог” Будовский эту “плоховатость”, вероятно, ощутил и сунул мне в карман какие-то ассигнации. Я сопротивлялся, но он очень хорошо, по-человечески сказал: “Вы мне оказали громадную услугу своим рассказом, вы даже не понимаете, какую услугу. Почему ж я не могу оказать вам небольшую услугу? В такое время мы должны помогать друг другу чем можем…”

В Париж Будовский с семьей приехал вскоре после меня. Он разыскал меня. Я был у них на рю Пуссэн, 37 (в 16-м аррондисмане) в большой, прекрасной квартире. Мы встретились как друзья. Но, обжегшись на Германии, Будовский не верил и Франции. Вскоре с семьей он переехал в США. И наше краткое знакомство кончилось.

В последний приезд в Берлин (получать французские визы) на вокзале “фридрихштрассе” я встретил “солагерника”,

освобожденного после меня. Это был милый старый немец, с которым я познакомился на лугу. Он рассказал, что Крюгер ночью расстрелял на дворе четырех из Бернбурга за “попытку бегства”, что в “бункере” № 2 повесился на помочах арестованный из Потсдама и Крюгер приказал у всех заключаемых в “бункеры” впредь отбирать помочи. Дождался Крюгер и сына президента Эберта, его привезли в Ораниенбург вместе с известными социал-демократами Кюнстлером и Гейльманом.

3 января 1919 года Господь Бог унес меня от ленинского тоталитаризма в свободную Германию. А 3 сентября 1933 года — от гитлеровского — в свободную Францию.

Конец первого тома

South Jamesport, N.Y., 1980

Том второй. “Россия во Франции”

Въезд в Париж

В Германии у нас было мало вещей. Это тут, в Америке, сами собой появились 15 пиджаков, 15 штанов, множество рубах, ботинок и никчемных (в сущности) разновидных галстуков. В Германии у меня был один костюм (и в коле, и в мяле, и в добрые люди), две рубахи — одна на мне, другая — на смену, одни ботинки. Олечка была не богаче. Так что перед отъездом из Фридрихсталя во Францию укладываться было легко. Разумеется, — рукописи, книги, фотографии, письма. И тут у нас с Олечкой произошло "недоразумение". Я увидел, что она берет с собой мои письма к ней из концлагеря.

Олечка, ты хочешь взять их?

А ты думаешь, я их брошу? — спокойно, но твердо (я эту "тихую твердость" знал) ответила Олечка.

Но это же безумие, это же ни к чему! Эти открытки со штампом концлагеря нас могут на границе подвести! Ведь вещи же наверняка будут осматривать. И если гитлеровцы наткнутся на концлагерные письма, может произойти черт знает что, нас могут задержать для выяснения. Неужели ты этого не понимаешь?

Увы. Уговоры и доводы напрасны. Я знал, что есть случаи, когда Олечку не "переубедишь".

— Не волнуйся, пожалуйста, — ответила она, — никто их у меня не найдет.

— Куда ж ты их спрячешь?

— Куда? Да я их и не спрячу. Я просто положу их в свою сумку.

Я шумел. Убеждал. Ни к чему. И пришлось покориться. Мои концлагерные открытки были связаны и положены в ручную сумку (в так называемый "ридикюль").

На германской границе наши вещи, конечно, осматривали, открывали чемоданы. Но Олечкина сумка так и осталась у нее в руке без осмотра. И концлагерные открытки поехали с Олечкой дальше — в Ниццу.

Денег у нас никаких не было. Только — доехать. В Париже остановиться вдвоем было не на что. Да и одному мне — не на что. Поэтому Олечка ехала в Ниццу к ее тете — Ольге Львовне Азаревич ("Бог дал — Бог и взял"). А я с двадцатью франками в кармане — в полную неизвестность — в Париж. Я, разумеется, понимал, что мое — *свободное.* — французское будущее будет очень трудным. Но ехал — на свободу! Единственный адрес, куда я мог ткнуться, был — Б.И.Николаевский. Все должно было начаться с него.

И вот серый рассвет, мелкосеющий дождь, и пустоватый поезд несет меня к Парижу. Каруселью отбегают сиреневые домики, плещущие розами палисадники, как картонные вертятся сероствольные платаны, кудрявые девушки в пестрых платьях пролетают мимо, их застлали рекламные щиты коньяков, пудры, прованского масла. Неясным беспокойством ощущается близость Парижа.

Прикусив опушенную усиками верхнюю губу, черноглазая француженка пудрит плохо вымытое в вагонной уборной лицо, сурьмит выщипанные кукольные брови и толстым карандашом делает свой бледный рот похожим на красный рот слепого котенка. Париж уже близок. В это туманное утро, заволоченное дождливой мглой, кто-то встретит ее на вокзале и под локоть подсадит в дешевый автомобиль. Француз с подвитыми усами и молодо блещущими беззрачковыми глазами, в веселеньком галстуке, что-то напевает, укладывая чемодан. Он улыбается тоже, вероятно, парижской встрече. Даже лукавый, седо-розовый аббат в ожидании Парижа закрыл молитвенник и сунул его в глубокий карман вороной сутаны.

Париж ждет их всех. А ведь всего несколько часов назад я не видел ни этих беспечных глаз, ни беззаботных движений, ни беспричинно выходящих на губы улыбок. Ведь всего этого я не видел уже лет двадцать; с того самого дня, как из родного дома ушел на войну. А после войны — из окопов. — возвращаться было почти некуда. А там — две гражданских войны и невольный вывоз в побежденную Германию. Но и в Германии я ничего подобного не видел.

Я совсем забыл даже, что где-то существует еще вот такая беспечная жизнь, с множеством дешевеньких колец на пальцах, с лакированными женскими ногтями, веселенькими галстуками, с затопляющей рекламной пестротой алкого-лей. От этого отдохновенного, легковейного воздуха я отвык. А тут и от лукавого аббата, и от темноглазой девушки, и от напевающего старичка, и от дамы с расфранченными кукля-тами-детьми, от всех французов, от всей Франции веет наслаждением жизнью (joi de vivre).

Вспотевший паровоз, отплевываясь белым паром, пробегает по мостам, насыпям, откосам, с приятным разговором перепрыгивает с рельс на рельсы и наконец, шипя, вплывает под стеклянный дымный колпак парижского вокзала.

Я себе так и представлял Париж. С низко опустившегося неба, как с потрепанной декорации, несет липкая сквозная мгла; тускло блестит грязнота асфальта. В этой сырости, кажется, не может быть солнца. Перед вокзалом я останавливаю по воде с брызгами

шуршащий, красно-желтый, попугайный автомобиль, и в этой мокрети в общем потоке машин я уже двигаюсь по улицам, “входя в жизнь Парижа”. На него я гляжу с приготовленной русской любовью. Но, Боже мой, как заброшены эти седые улички, как грязны тупички, как нечистоплотен, сален великий город, какими дряхлыми проулками везет меня неизвестный француз, зарабатывающий на жизнь искусством шофера. На тротуарах из железных коробок вывален вонючий мусор, в стоках мостовой как живые распластались грязные тряпки, волнуемые водой; какая-то ребрастая, подыхающая сука обнюхивает выставленные у молочной бидоны, и из-под открытых общественных уборных по мостовой текут ручьи. О, Париж! Вот он, дряхлый чаровник мира! Как же ты грязен, старичок, пока тебя еще не побрили и не сделали утреннего туалета.

Но вот вместе с потоком машин мы влетаем в широкую светлость улиц, и Париж словно поворачивается другим боком. Это — Лувр, Тюильри, “батюшка Пале-Руаяль”, места “великих” французских волнений, священных безумий, убийств и смертей. Вот когда-то глотавшая головы гильотиной площадь Согласия, как она хороша в это синее утро и как тиха через полтораста лет! От нее потянувшиеся утренние Елисейские поля дышат прелестью французской деревни, на их каштанах поют птицы и за ночь взмокшую гладь мостовой, позевывая, подметают какие-то старички в смешных картузиках.

Резко мелькнула зеленоватая, мутноилистая Сена с белыми горбами ее мостов. И вдруг блеском ослепляет перспектива площади Инвалидов, а за ней зеленые деревья и кусты Марсова поля с поднявшейся воздушным кружевом состарившейся знаменитостью, старушкой Эйфелевой. И опять кварталы открытых базаров, шумливых лавчонок, подозрительных кабачков, это опять тот же Париж, повернувшийся ко мне уж не знаю каким боком.

Наконец я приезжаю на улицу, где в ошеломительном Париже поселился Борис Иванович. Расплатившись с шофером новыми для меня монетами с изображением Марианны, поднимаюсь по лестнице. Знаю, что живет он у русских. Вот, думаю, сейчас мы с Б.И. и обговорим, куда же мне определиться в столице Франции.

На мой звонок дверь отворяет русская хозяйка квартиры и неприветливо-безразлично говорит, что Бориса Ивановича нет, он болен — в госпитале. Это был подлинный душ Шарко большой силы. Я даже не спросил неприветливую даму, чем Б.И. болен и надолго ли в госпитале. С чемоданом в руке я вышел на улицу. Что же мне делать? В портмоне чуть побольше десяти франков. Я был, как говорят, “на границе отчаяния”. Но отчаиваться никому

не советую, это худший “выход из положения”. Я стоял на улице. Первое, что пришло мне в голову: может быть, позвонить Владимиру Пименовичу Кры-мову — они переехали из Целлендорфа в Шату, под Парижем. Я знал, что нацисты довольно нелюбезно налетели к Крымову ночью с обыском, вломились в виллу, все обыскали, искали что-то даже в саду какими-то приборами. Встретив его тогда, после обыска, я спросил, что же они у вас в саду-то искали? В.П. улыбаясь, говорит: “Не знаю, наверное, "царские бриллианты"”. После такого налета-обыска оставаться Крымовым в “третьем рейхе” было не совсем подходяще. И они перекочевали в Париж, где В.П. тут же купил виллу в Шату, на берегу Сены, совсем под Парижем.

На мой звонок трубку берет Владимир Пименович. Я говорю, Владимир Пименович, так и так, я приехал в Париж… Хотел рассказать, что Б.И. болен и мне некуда деться, но В.П. сразу же удивленно перебивает: “Вы в Париже?! Прямо из концлагеря?! Чудесно! Приезжайте сейчас же к нам. У меня к завтраку будут интересные люди — Александр Иванович Гучков и Казембек, нам всем будет интересно вас послушать — о Германии, о концлагере…”

Я забыл, это было как раз воскресенье, а по воскресеньям у В.П. всегда завтракают “интересные люди”. В.П. объяснил, как доехать поездом с Гар Сан-Лазар (кажется). Я его спросил, сколько стоит дорога. Он сказал. Вижу, на проезд хватит. — Хорошо, еду! — говорю. И тут же решил, что попрошу у В.П. разрешения на первое время у них остановиться, пока Б.И. выйдет из больницы.

Приехал в Шату, разыскал жилище Крымовых (3, авеню д'Эпремениль). Вилла чудесная. На самом берегу Сены, к реке спускается сад. В саду — розы, всякие цветы. Крымовы встретили меня радушно. Я рассказал им, что Б.И. болен и я попал в бездомное положение, и попросил разрешения на несколько дней остановиться у Крымовых. И Б.В. и В.П. сказали: “Конечно, конечно, мы вас устроим в садовом домике”. Крошечный садовый домик был мне очень кстати: один, никого не стесню. Домиков таких было два — у высокой стены по углам сада. Вот я и расположился в одном из них. умылся, привел себя как мог в порядок. С дороги, конечно, устал, и хотелось мне, по правде сказать, только спать, но я понимал, что за завтраком для В.П. буду неким “аттракционом”: ведь я сейчас наверняка единственный человек в Европе, побывавший в гитлеровском кацете, и, разумеется, меня будут расспрашивать о концлагере, о Германии. Мне есть что рассказать. К завтраку я был готов “быть аттракционом”.

Встреча с Казембеком мне была безразлична. Но встретиться с А.И. Гучковым — имя которого знала вся Россия — и по Государственной Думе, и по Временному правительству, — я, разумеется, хотел. И не потому, что А.И. Гучков — всероссийская знаменитость. А потому, что это был политический деятель и человек, которому я сочувствовал. Меня притягивало, что Гучков был человек воли, действия, сторонник сильной власти и в то же время *народный* человек в хорошем понимании народности. Это председатель Третьей Государственной Думы А.И. Гучков, губя себя в мнении о нем царя и царицы, мужественно боролся с тупой, бескультурной дворцовой камарильей, неосмысленно толкавшей Россию к неминуемой гибели. Гучков публично называл камарилью “мерзавцами”. Это Александр Иванович с думской трибуны осмелился назвать Распутина “проходимцем, хлыстом, эротоманом, шарлатаном” и высказать негодование, что газетам в Петербурге и Москве запрещено что бы то ни было писать о Распутине. После этой его речи царица сказала: “Гучкова мало повесить!” Но увы, монархисту Гучкову (и Шульгину) было суждено привезти государю проект отречения. И всей России суждено было рухнуть. Я очень хотел встретиться с эмигрантом А.И.Гучковым.

Завтрак с А.И. Гучковым

В.П. Крымов был человек необычный. Умный, сухой, к людям совершенно безразличный, без всяких сантиментов, только деловой, а целью “дел” были — деньги. Он рассказывал сам, как добивался в жизни богатства. И — добился. Впервые я встретил его в Берлине, в 1920 году, в редакции журнала “Жизнь”. Разумеется, направление “Жизни” его никак не интересовало. Но, как старый журналист (“Новое время”, “Столица и усадьба”), он приехал познакомиться в редакцию единственного русского журнала в Берлине. Тогда В.П. только-только вернулся из кругосветного путешествия. Почему он попал в кругосветное? Да потому, что в феврале 1917 года *во всей России* Крымов оказался единственным провидцем. Правда, по его рассказу, был еще кто-то второй (но, к сожалению, я забыл фамилию).

Провидчество В.П.Крымова состояло в том, что *в первый же день февральской революции,* когда во всей России царило *всенародное ликование* (“Пойдем на весенние улицы! Пойдем в золотую метель!”, — писала Зинаида Гиппиус; Конст. Бальмонт вприсест создал гимн Свободной России, а Александр Тихонович Гречанинов положил его на музыку; даже идеолог русской контрреволюции в Зарубежье Петр Струве в феврале был среди “приявших”), а Владимир Пименович (как он рассказывал) понял сразу, что *“всему конец!”* и *“все обрушится!”* И тут же сделал практические выводы: весь свой капитал быстро перевел в Швецию, а сам (с женой) выехал из России. Так как покинуть Россию можно было лишь в восточном направлении, В.П. в первом классе сибирского экспресса пересек всю Сибирь и через Японию, не торопясь, отправился в кругосветное путешествие. Где он только не побывал, каких только стран не повидал в то время, как в России все “углублялась” и “углублялась” революция. В книге “Барбадосы и Каракасы” В.П. рассказал о своем кругосветном путешествии. Он останавливался на многих экзотических островах, объехал все Центральную Америку, пересек Атлантический океан, приплыл в Марокко в Касабланку и, наконец, в 1920 году прибыл в Европу. Приехал в Берлин. Война была давно кончена, в России шел ленинский развал.

В Германию В.П. въехал богатым, ни от кого не зависимым человеком. Будучи дальновидным и ловким дельцом, В.П. и здесь приумножил свой капитал. В Берлине он мне как-то рассказывал о “человеческой глупости”. “Многие, казалось бы, деловые люди, — говорил он, — боятся советских векселей, им все кажется, что это "не настоящее", я же понимал, что советское

правительство никогда не допустит опротестования ни одного своего самого ничтожного векселя. И стал скупать советские векселя". Этой скупкой В.П. приумножил свой капитал. В 1921 году он было купил у А.Гольдберга эмигрантскую газету "Голос России", но, вероятно, поняв, что это не "дело", вскоре с ней развязался. А потом — уж не знаю как — В.П. стал директором какого-то полусоветского общества "Промо" по закупке мелких предметов, не требующих лицензии Торгпредства. С приходом же Гитлера к власти (после ночного обыска гестаповцами его виллы) В.П. покинул Германию, поселившись под Парижем.

За все это время "скрипкой Энгра" большого дельца В.П.Крымова была журналистика и литература. Свое писательство он очень любил. И как-то говорил, что "литература — наркоз, и кто его попробовал, никогда не в состоянии бросить". За рубежом В.П. издал много книг: "Монте-Карло", "Барбадосы и Каракасы", "В царстве дураков", "Богомолы в коробочке", "Бог и деньги", "Сидорово ученье", "Миллион", "Похождения графа Азара", "Фенька", "Детство Аристархова", "Хорошо жили в Петербурге", "Город Сфинкс". В.П. происходил из старообрядцев Прибалтики. Всего, я думаю, В.П. издал больше двадцати книг. И некоторые у читателей имели успех.

Но если сейчас книги Крымова не переиздаются и вряд ли когда-нибудь будут переизданы, то все же надо признать, что имя Крымова как редактора-издателя журнала "Столица и усадьба" долго не забудется. Уже давно комплект этого журнала стал редкостью и очень ценится. Помню, как В.П. рассказал мне и Б.И.Николаевскому, почему и как он стал издавать этот исторически ценный журнал. Отнюдь не из любви к истории и литературе.

Как я говорил, В.П.Крымов происходил из купцов-старообрядцев. Но никакие "обряды" — ни "новые", ни "старые" — его не интересовали. А вот делатель денег он был "гениальный". Окончил В.П. Петровско-Разумовскую академию в Москве. Но по сельскохозяйственной дороге не пошел. Там, кстати, он учился вместе с Ф.В. фон Шлиппе, позднее бывшим московским уездным предводителем дворянства: они были друзья, на "ты".

Когда В.П. стал работать в "Новом времени", построчных ему было маловато. И он всегда "выдумывал", как бы и где бы заработать. Еще студентом, без всякого приглашения, он поехал в Ясную Поляну к Льву Толстому. Разумеется, Толстой его не принял. Но Крымов "блестяще" вышел из положения. Он написал довольно бульварную статью "Как меня выгнал Лев Толстой" и на ней хорошо заработал в нескольких газетах.

О зарождении “Столицы и усадьбы” Крымов рассказывал так. В Петербурге, став сотрудником “Нового времени”, Крымову дозарезу хотелось вступить в члены Английского клуба (опять-таки не из “чванства”, а чтоб делать дела, завязывая “великосветские знакомства”). И вот он выдумал обойти “высший свет”, начав издавать дорогой, с многокрасочной обложкой, на меловой бумаге, типографски сделанный безупречно великосветский журнал “Столица и усадьба”. Этот ежемесячный журнал был полон фотографий “усадеб” и архитектурных “красот” столицы и провинции: старинные усадьбы, старинные дома, портреты и фотографии семей их владельцев и, конечно, соответствующий текст.

В издании первого номера ему помогли такие связи, как дружба с Ф.В. фон Шлиппе и некоторыми другими людьми “высшего света”. Но уже первый номер “Столицы и усадьбы” имел большой успех в кругу “великосветья”. Второй издавать было много легче, а дальше пошло как по маслу: материалы (и очень ценные) повалили к редактору-издателю вместе с просьбами напечатать: фотографии, портреты и соответствующий текст. Таким образом Крымов установил личные знакомства со многими великосветскими людьми, а с некоторыми и “подружился”. И когда он почувствовал под собой почву, то и вступил-таки в Английский клуб, да еще так, что против него не было ни одного “черного шара”. А там вместе с связями начались и “новые дела”, и новые доходы.

В другой раз меня и Бориса Ивановича подвыпивший за ужином Крымов спросил: “А знаете, как нововременские журналисты делали деньги?” Но откуда нам, “интеллигентам-пролетариям”, это знать? И Крымов рассказал (конечно, “не про себя, упаси Боже!”): “Вот узнает журналист, что у такого-то банка дела плоховаты или "рыльце в пушку", садится и пишет об этом статью, отдает в набор и с гранками едет в банк к директору. Ясно, что директор журналиста из "Нового времени" принимает. Журналист "с сочувствием" говорит директору, что хочет предупредить его, какую статью получило "Новое время", и что печатание ее надо как-то "предупредить". Директор не дурак, знает, что нужно сделать для предупреждения" и дает журналисту "известную сумму". А тот, приехав в типографию, приказывает рассыпать набор этих гранок, а гранки уничтожает”.

Так как Крымов рассказывал “не про себя”, я спросил его: “Но неужели и Алексей Сергеевич Суворин знал о таких операциях?” — “Вы наивный человек, Р.Б. До Алексея Сергеевича было рукой не дотянуться, он занимался своими делами — "Дешевой библиотекой", "Русским календарем", "Всей Россией",

переписывался с Чеховым, писал романы и пьесы…”

Известно, что самые талантливые сотрудники “Нового времени” — В.В.Розанов, В.П.Буренин, М.О.Меньшиков умерли в нищете, погибнув в революцию. Но они были не “дельцы”, а *писатели.* Крымов же сделал себе большое состояние, ловко перевел его за границу и тут приумножал его разными “операциями”, какими только мог.

Помню, как однажды в Целлендорфе меня и Бориса Ивановича В.П. поставил в тупик. За обедом я сказал В.П. о том, какие разношерстные люди разделяют за его столом трапезу, и монархисты — С.А.Соколов-Кречетов, Ф.В. фон Шлиппе, сенатор Бельгард, и меньшевики — Б.И.Николаев-ский, Ю.П.Денике, и А.Н.Толстой и К.Федин, и многие другие. “Да, я люблю разных людей, — ответил В.П., — у меня даже товарищ Мефодий обедал”. — “А кто это товарищ Мефодий?” — “А, Роман Борисович, много будете знать, скоро состаритесь”.

Я, конечно, позабыл об этом “товарище Мефодий”, но Борис Иванович был великий следопыт и через несколько дней звонит мне по телефону. “А знаете, Р.Б., ведь я установил, кто "товарищ Мефодий"”. — “Кто же?” — “Товарищ Мефодий — это Дмитрий Захарович Мануильский”. Я обомлел. “Как, говорю, этот коминтернщик?” — “Не только комин-терншик, но и секретарь ИККИ”, — говорит Б.И. — “Ну, слушайте, Б.И., это же невозможно. Что ж вы думаете, что Мануильский мог обедать у Крымова?” — “Я ничего не думаю, я только знаю, что "товарищ Мефодий" — одна из партийных кличек Мануильского. Вот и все”. — “Ну, знаете, я в следующий раз обязательно спрошу Крымова”. — “Спросите…”, — засмеялся Б.И. И вот, когда мы опять сидели на той же веранде, я как бы невзначай говорю: “В.П., а ведь я узнал, кто такой товарищ Мефодий”. И вдруг В.П. уставился на меня с выражением полного недоумения и непонимания. — “Какой такой товарищ Мефодий?” — “Да вы же нам в прошлый раз говорили, что у вас обедал товарищ Мефодий”. — “Я? Говорил? Да что вы, Р.Б., вы на меня как на мертвого! Никогда в жизни я вам не говорил ни про какого товарища Мефодия и такого не знаю. Вот Кирилла и Мефодия знаю, но, к сожалению, они у меня не обедали”. Я понял, что тему эту надо оставить. И оставил. Так и остался для меня загадкой “товарищ Мефодий”.

Часов в одиннадцать из своего садового домика я пошел по дорожке в виллу. Пока Берта Владимировна хлопотала с завтраком, Владимир Пименович показал мне оба этажа. Очень хороши были комнаты, выходившие окнами в сад — окна широкие, высокие, сквозь них — сад, видна и река, на реке какие-то баркасы, баржи. Тишина. Своей виллой В.П. был явно доволен.

А знаете, кому она раньше принадлежала? Мата Хари! Этой знаменитой шпионке, расстрелянной французами?

— Ну да. А потом — Максу Линдеру, Сесиль Сорель…

Но мне показалось, что знаменитые актеры-владельцы не так “импонировали” В.П., как трагически кончившая жизнь авантюристка. Полагаю, что и у Мата Хари, и у Макса Линдера эта вилла была соответственно обставлена. Не то было у В.П. Конечно, диваны, кресла, стулья, столы, лампы — все как надо, на месте, но все это — с бору с сосенки, никакой приятной глазу, стильной и красивой мебели не было. Думаю, на это В.П. скупился. Так у него было и в Целлендорфе.

Первым из гостей пришел Александр Львович Казембек, “глава” партии младороссов. Когда он выступал с публичными докладами, десятка два младороссов выстраивались на эстраде шеренгой и при его появлении, подняв правую руку римским приветствием, скандировали: “Глава! Глава! Глава!”. По-моему, это было не очень умно. Но Казембеку, должно быть, нравилось. До его прихода В.П. спросил: “Вы ничего не имеете против встречи с Казембеком?” — “Нет, — говорю, — решительно ничего. Я жаден до людей. Это только интересно”.

Казембек был среднего роста, хорошего сложения, приятного облика, в лице — что-то отдаленно-восточное. Поздоровавшись, я спросил его, не родственник ли он пензенским Казембекам (со мной учились в гимназии два брата Казембе-ка, сыновья прокурора). А.Л. сказал, что это его двоюродные братья, а сам он — казанский. Разговор пошел о том о сем. “Глава” был человек хорошо воспитанный, явно неглупый, несмотря на все эти нелепые младоросские лозунги — “царь и советы!”. Но, разумеется, ни о “царе”, ни о “советах” мы тут не говорили.

Позже пришел Александр Иванович Гучков. Я на него глядел во все глаза. Пожилой, невысокий, с коротко подстриженной седоватой бородой, в очках, очень скромно одетый, чуть прихрамывал (от английской пули в бурскую войну), голос негромкий, приятного тембра. И это — не гипноз имени. Когда А.И. за столом заговорил, почувствовалось: и умен, и бывалый, большой человек.

Гучков сразу обратился ко мне с вопросами о Германии, о настроении немцев, об отношении их к Гитлеру, о концлагере. Расспрашивал с живым интересом. В сущности, он один и расспрашивал так настойчиво: Германия Гитлера видимо его интересовала. Крымов и Казембек задавали мелкие вопросы. Я рассказывал много, подробно. Александр Иванович, подтверждающее кивая головой, сказал: “Да, да, у меня те же сведения, полученные по частным каналам”. Я видел, мои

рассказы Гучкову *нужны.* После завтрака он спросил: “Вы, Р.В., остаетесь в Париже? Я хотел бы, чтоб вы как-нибудь зашли ко мне. Вот мой телефон и адрес”, — и дал адрес и телефон. Я поблагодарил, сказал, что непременно приду.

Тут политические разговоры кончились, ибо шумно и буйно вошел приехавший Николай Николаевич Евреинов со своей эффектной женой Анной Александровной. “Все, кто знал Евреинова, согласятся со мной, что для него самый подходящий эпитет — блистательный. Приходя в гости, он охотно брал на себя роль развлекателя. Для этой роли он был вооружен превосходно: фокусы, куплеты, каламбуры, анекдоты так и сыпались из него без конца. Он всегда чувствовал себя на эстраде… Без игры он не мог прожить ни одного дня”, — так — совершенно правильно — характеризует Евреинова в своей “Чукоккале” Корней Чуковский. И тут с места в карьер Николай Николаевич поднес Крымову свою новую книгу с дарственной надписью, прочтя которую Крымов засмеялся и огласил гостям: “Я хотел бы быть Владимиром Крымовым, если бы не был Николаем Евреиновым”.

Знакомя меня с Евреиновым, Крымов, разумеется, не преминул сказать, что я “только что из гитлеровского концлагеря”, но для Н.Н. политика, видимо, была мало интересна. В ответ он театрально пустил какой-то каламбур. И все. По правде сказать, после дороги и “въезда в Париж” я хотел только спать в садовом домике. А тут надо сидеть и “поддерживать разговор”.

Первым поднялся уходить А.И. Гучков. Прощаясь, он повторил, чтоб я обязательно позвонил и пришел поговорить. После его ухода, улучив удобную минуту, когда Н.Н.Евреинов рассказывал что-то “блистательное”, я шепнул Берте Владимировне, что хочу уйти, и незаметно (“по-английски”) вышел в садовый домик и заснул там как мертвый.

В Шату у В.П. Крымова

За утренним завтраком В.П. меня поразил, неожиданно спросив: “У вас, Р.Б., денег ведь нет? А вам нужны на поездки в Париж. Вот я вам даю 30 франков”, — и протянул мне деньги. Зная скупость В.П., я удивился, поблагодарил, говорю: “Большое спасибо. При первой же возможности я вам отдам…” — “Нет, нет, — встрепенулся В.П., — пожалуйста не отдавайте!” Я удивился еще больше. — “Как, не отдавать? Почему?” — “Да потому, что если вы отдадите, то можете потом попросить большую сумму, а мне будет трудно и неловко вам отказать, лучше так… не отдавайте…” Самостраховка была оригинальна, но напрасна: не такие у меня были отношения с В.П., чтоб я мог попросить у него денег. Но 30 франков были кстати.

В Шату В.П. рассказывал мне много интересного. Так, он рассказал, кто у него бывает. В.П. особенно любил сводить “полярных” людей. У него, например, завтракали вел. кн. Андрей Владимирович и известный лидер эсеров Николай Дмитриевич Авксентьев. За этими завтраками они очень сошлись. “Если б мы раньше знали вас, если бы знали, ведь тогда бы ничего рокового и не произошло, — говорил великий князь Авксентьеву, — но ведь мы вас не знали…” Андрей Владимирович был прав: горе было в том, что придворная знать *не знала* толком ни интеллигенцию, ни народ, а жила псовыми охотами, кафешантанами, приемами, карьерами, балами в своем замкнутом кругу “великосветья”.

Авксентьев был прекрасный рассказчик, говорил В.П. За завтраком он как-то рассказал эпизод из времен, когда он был министром внутренних дел Временного правительства. Однажды заседание было назначено в нижнем этаже Зимнего дворца. Авксентьев пришел первым и, как только раздавался звонок, спешил открыть пришедшему дверь. Отворил раз, отворил два, а на третий старик дворецкий, прослуживший всю жизнь в Зимнем дворце, сердито отстранил его, наставительно сказав: “Не на то вы сюда посажены, чтобы двери отворять…” Больше Авксентьев, конечно, на звонки уж не вскакивал.

Бывали в Шату Бунин, Ходасевич, Цветаева, многие писатели. О Цветаевой Крымов сказал: “Ну, теперь Марина Ивановна совсем другое пишет! Вы читали ее "Хвалу богатым"?”

И засим, с колокольной крыши
Объявляю, люблю богатых!

Я читал “Хвалу” и теперь понял, что М.И. наверное читала ее в Шату, у Крымова. Но “совсем другого” в “Хвале” не было, ибо “богатым” там поэтически наговорено довольно много

некомплиментарного. И написана “Хвала” в двадцатых годах.

О Ходасевиче В.П. рассказал хороший эпизод. Я знал, что В.П. всегда хотелось (очень хотелось) войти в “настоящую литературу”. В Париже таковой были “Современные записки”. Но туда его не пускали, и как “нововременца”, и как не писателя par exellence, а — дельца. Как-то сам В.П. говорил мне, что его приятель Аркадий Руманов (в свое время представитель “Русского слова” в Петербурге), которого Зинаида Гиппиус прозвала “тротуарная орхидея”, сказал старому знакомцу Крымову: “Нет, В.П., нас с вами туда (в “Сов. зап.”) никогда не пустят, мы ведь *меченые”,* — и В.П., рассказывая это, улыбался. Но все же он как-то попросил Ходасевича написать в “Современных записках” отзыв о его книге “Сидорове ученье”. Вскоре кто-то В.П. передал, будто Ходасевич говорил: “За три тысячи франков — напишу”. В.П. решил поймать на этом Ходасевича. И встретив его на русском литературном балу, здороваясь, сказал: “Владислав Фелицианович, мне передали, что за рецензию обо мне вы хотите три тысячи франков?” На что Ходасевич спокойно ответил: “Вам сказали неправду. Я хочу пять”. Крымов весьма оценил это остроумие Ходасевича и, рассказывая, смеялся. Рецензии в “Современных записках” так и не было.

О Бунине В.П. рассказал, что этого высокого гостя он угощал в Шату каким-то дорогим шампанским. В ведерке на стол подали две бутылки. Одну выпили, а другую Бунин сказал, что возьмет с собой домой. И увез. Это было до Нобелевской премии, И.А. был тогда бедноват.

Как-то в эти дни в Шату В.П. спросил меня: “А как же вся ваша семья, останется в Германии?” — “Нет, — сказал я, — я сделаю все, чтобы их вытащить сюда”. — “Сюда” — удивленно произнес В.П. — Роман Борисович, бросьте говорить детские вещи. Вот приехали вы один (даже жену не могли привезти с собой) и очутились, в сущности, на улице (это “на улице” богатый В.П. подчеркнул, что мне не понравилось). А семья в четыре человека?! Да вы знаете, что *богачи* (В.П. опять это подчеркнул) не могут сейчас достать визы из Германии…” — “И тем не менее, — сказал я, — я сделаю все, чтобы семью вытащить во Францию”. Я видел, что моя бедняцкая категоричность раздражает богатого В.П. — “Ну, если вы, в вашем положении, достанете визы, тогда вам надо поставить памятник на пляс де ля Конкорд!” (буквальные слова Крымова. — Р.Г.), — с усмешкой сказал Крымов.

Через два года, когда с отчаянным напряжением я эти визы достал и вытащил всю семью во Францию, я был у Крымова и напомнил ему о памятнике. “Побежденный” В.П. признал, что я

“совершил чудо”. Это и было, если хотите, чудо, потому, что я встретил прекрасного, добрейшего, замечательного человека, французского адвоката, мэтра Александра Тимофеевича Руденко, который чудодейственно (без копейки денег, конечно!), после моих тщетных двухлетних мытарств-хлопот *в один день* достал мне визы. Но об этом — рассказ особый.

Я был благодарен (и до сих пор благодарен) Б.В. и В.П.Крымовым, что при “въезде в Париж” они дали мне пристанище в садовом домике{21}. Но характер мой оставался моим характером. И когда однажды за утренним завтраком *мне показалось,* что В.П. как-то “элегантно”, но все же хочет ткнуть меня мордой в мою бедность и в его богатство (а это было в его характере), я мгновенно решил покинуть Шату. В тот же день я сказал Б.В. и В.П., что переезжаю в Париж. Они удивились, удерживали, но я твердо решил уехать. И уехал в бедняцкий отель, в комнату незнакомого (рекомендованного мне письмом Олечки) шофера Жоржа Леонтьева.

“Золотая лилия ”

Отель, где жил Жорж Леонтьев, жестоко-иронически назывался “Золотая лилия”. Улица, где цвела эта “лилия”, — как кишка узкая, вонючая, грязная арабская толкучка: здесь жили уличные торговцы-арабы (алжирцы) и русские эмигранты-шоферы.

Когда я вошел в “Золотую лилию”, меня охватило зловоние уборных, неубранных постелей, лука, чеснока. По узкой, как штопор, винтовой лестнице я вштопорился на второй этаж, постучал, услышал: “Войдите!” И вошел в грязноватую комнату с окном в веселеньких занавесочках, с двумя постелями и зеркалом между ними. Это, конечно, не Шату, и никакая Мата Хари в таких “лилиях” не цвела. Но ничего. Это — вторая станция моей парижской бездомности.

Жорж Леонтьев оказался добрым малым, сильно заливавшим “пинаром” (красным вином) свою шоферскую жизнь. Он принял меня “с распростертыми объятиями”, сказал — очень рад познакомиться, читал мои книги и гостеприимно предложил “чувствовать себя как дома”. Его целый день нет, и пустая постель и комната в моем распоряжении.

Утром Жорж ушел в гараж за своей машиной. А я пошел по Парижу. С утра Париж одет в голубоватую дымку. Я иду в подвижной парижской толпе, стучащей миллионами женских высоких каблуков, мелькающей женскими икрами в шелковых чулках. Париж отовсюду кричит ртом уличных торговцев; мясники в белоснежных, но чуть-чуть закровавленных передниках зазывают за мясом, арабы предлагают орешки, хрипят лотошники, продавая фрукты, овощи, запыленные конфеты, небритые газетчики выкликают клички газет, а у туннеля подземной дороги уличный певец с лицом бандита поет под гармонью песенку о любви, о Париже; и тут же неподалеку на улице стоят три козы, пастух и овчарка; слушая песню, пастух все же не забывает предлагать прохожим козий сыр и козье молоко.

Мимо книжных лавок букинистов, где приколоты раскрашенные портреты каких-то генералов, великих людей, куртизанок, я выхожу к закопченным скалам Notre Dame. По зеленоватой Сене медленно плывут груженные диким камнем баржи, какие-то белые пароходики, баркасы, и на оковавших реку гранитах полудремлют парижские лентяи-рыболовы, закинувшие удочки в муть Сены.

В голубой дымке под золотым солнцем, потоком как будто беспечной и веселой, но страшной и напряженной жизни течет

беспощадный Париж. Он дробится во мне картиной кубиста. Я не привык к этой греческой свободе уличной жизни. И в шуме чужого языка, на чужих улицах, среди чужих жестов, в движении чужой стихии тяжело быть инородным и совершенно свободным. Я это ощущаю, стоя у фонтана на площади Saint-Michel. Я гляжу на весь этот движущийся вокруг меня Париж и думаю: “Да, какая это тягость, жить без своего неба, своего дома, своего крыльца”. Это, конечно, слабая минута, это пройдет. Но сейчас никто не знает, как вблизи желто-черноватых стен Notre Dame я в первый раз за всю свою бездомную жизнь завидую и этому неспешному старичку-французу в какой-то старомодной разлетайке, с седой бородкой Наполеона III, и седокам сгрудившихся у моста разноцветных автомобилей, и пассажирам трясущихся зеленых автобусов, всем им, французам, только потому, что они у себя дома и у них дома, в Париже, очень хорошо.

Я иду к Люксембургскому саду. Все французы кажутся мне неживыми, ускользающими, движущимися сквозь затуманенный бинокль. Они весело обедают на открытых верандах ресторанов и кабачков, они смеются; едят со смаком устрицы, сыр, виноград, пьют вино. Я давно отвык и от этого обилия яств, и от этого пиршественного веселья, для которого, вероятно, нужнее всего душевное спокойствие. О, у них его, до зависти, сколько угодно! Правда, мне чудится и иное, но это за мной, вероятно, идет тревожная тень Германии: а не опасно ли так уж ублажаться устрицами, вином, мясом, салатами и время ли так уж подолгу сидеть на этих чудесных, располагающих к лени и разговорам верандах кофеен? Ведь рядом, в Германии, встали беспощадные мифы XX века, там сейчас презирают и отдохновение, и свободу, и праздность, и изнеживающее обилие яств. Там едят грубо, работают без роздыха, создавая выносливых новых людей, которые будут безжалостны, если им придется разрушить с воздуха этот хрупкий Париж и всю эту наслаждающуюся Францию, не могущую оторваться от хорошо приснившегося сна.

Вот он, Люксембургский сад, памятник Верлену, памятник Бодлеру. На фоне зелени застыли в движении темные бегущие скульптуры. Над цветами, бассейнами, газонами, детьми, играющими в мяч, и буржуа, стучащими молотками довоенной игры крокет, над всем чудесным садом, где в вакхической беспланости разметаны желтые железные стулья, на которые многие положили ноги и, греясь на солнце, полудремлют, над всем изяществом этого нежного Люксембурга летит размягчающая душу и волю песенка гармониста о том, что мимо него проплыла любовь на речной шаланде и он тоскует об этой уплывшей любви. Конечно, может быть, вывезенное из Германии

мое чувство тревоги и ложно; вероятно, я ничего не понимаю в этой светлолющейся латинской стихии. Может быть, в последнюю минуту, в смертельном страхе за свой очаг, хромоногий гармонист, забыв уплывшую любовь, и бросится храбрым солдатом к границам Франции. Я, беглец из двух тоталитарных стран, просто гуляю в Люксембургском саду и думаю. Я думаю даже о том, что бездомность иногда становится достоинством, давая и опыт, и облегченность пути, в котором ничего уж не остается для потерь. Так я хожу среди французов в музыкальном сумбуре Люксембургского сада, как в пустыне. Но начинает смеркаться, сторожа звонят, сад запирают, и надо уходить. И я ухожу в “Золотую лилию”.

Я был благодарен Жоржу Леонтьеву не только “за приют”, но и за то, что он открыл мне мир русского шоферского Парижа. Когда поздно вечером мы шли обедать, моим Виргилием был Жорж. Вокруг Ля Мотт-Пике в дешевых русских ресторанах и в грязноватых “бистро” сходилась русско-шоферская братия. Тут больше пили, чем ели. Пили много потому, что “замело тебя снегом, Россия…” И эту трагедию “заливали пинаром”. Конечно, не все русские шоферы пили вмертвую. Многие жили семейной жизнью. Многие выбились из шоферства, войдя во французскую жизнь, многие скопили деньги, купили свои машины. Из шоферов, например, вышел талантливый писатель Георгий Газданов, автор “Вечера у Клэр”, “Ночных дорог” и др. Многие как следует встали на ноги. Но Жорж-то показал мне тот русско-шоферский мир, который, пия, шел ко дну, не хотя никуда “выбиваться”. “Хорошо, что никого,/ Хорошо, что ничего,/ Так черно и так мертво,/ Что мертвее быть не может/ И чернее не бывать,/ Что никто нам не поможет/ И не надо помогать”. Эти строки Георгия Иванова как списаны с Жоржа и его собутыльников.

Жорж был из хорошей, военной семьи. Отец — кадровый офицер, близкий родственник генерала Ставки Ю.Данилова. По молодости лет в гражданскую войну Жорж попал с гимназической скамьи — вольнопером. А в Париже перед собой ничего кроме шоферства не видел. Собутыльниками Жоржа были и кадровые офицеры, и военного времени, все, кто, потеряв родную почву, не могли и не хотели “в этой растреклятой Франции” куда-то “выбиваться”. Вот и “пили”. Колоритной фигурой в этом мире пьяного паденья был ротмистр Бухарин. Жорж мне его показал. Ротмистр Бухарин — кадровый офицер из очень хорошей семьи, заслуженный боевой кавалерист, как говорили — незаменимый товарищ и безупречный джентльмен. Но, как парижский шофер, он пил и пил (“И никто нам не поможет, и не надо помогать!”).

Жорж говорил, что Бухарин дошел уже до невменяемого состояния. В этих ресторанчиках он мог сказать только одну фразу и неизменно ее произносил: “Господину офицеру стакан красного вина!” Этот стакан ему подавали. И больше ротмистру Бухарину — не требовалось. Он был в таком градусе алкоголизма, что от одного стакана, поданного “господину офицеру”, пьянел. И кто-нибудь из друзей помогал ротмистру выйти на ночную парижскую улицу, чтоб добраться домой. Говорили, что умер ротмистр Бухарин страшно.

Жизнь из “слагаемых”

Не без труда, но из “Золотой лилии” я вырвался. И вскоре Олечка на драндулете (грузовичок времен царя Гороха) приехала из Ниццы. Мы вселились в пустовавшую меблированную квартиру (в одну комнату) ее подруги еще по России К.В.Леонтьевой (двоюродной сестры Жоржа) на рю Олье в 15-м арондисмане, оккупированном русскими эмигрантами. Переход из берлоги к нормальной (хотя бы по виду) жизни построился из многих слагаемых.

Б.И.Николаевский поправился. Мы встречались. Он меня слегка поддержал. Из “Союза русских писателей и журналистов” я получил некую допомогу. Вместе с Б.И. бывали у Алексея Грановского в роскошной квартире на авеню Анри Мартен. В сущности, у Грановского было две роскошных, ибо из своей роскошной он приказал пробить стену в соседнюю роскошную квартиру очень богатой женщины, г-жи Гудман, ставшей его женой.

Алексей Михайлович Грановский, бывший режиссер советского Государственного еврейского театра (ГОСЕТ), где он с успехом ставил “Три еврейских изюминки”, “Вечер Шо-лом Алейхема”, “200 тысяч” (и многое другое), в 1928 году, во время зарубежной гастрольной поездки — остался на Западе (“выбрал свободу”). Я встречался с ним еще в Берлине. Прочтя моего “Азефа”, Грановский попросил Б.И.Николаевского как-нибудь привести меня. И мы с Б.И. не раз у него бывали, причем в первый приход Грановский уверял, что я “вылитый Савинков”. Думаю, это было так, “от нечего говорить”, а может быть — “режиссерское вдохновение”. Грановский был приятный, барственный человек. Но в Берлине его театральные замыслы не удавались, и в “некой тоске” он все говорил: “Мне нужны *миллионы! Миллионы!* Вот тогда бы я показал…” И миллионы не замедлили прийти в виде госпожи Гудман, красивой миллионерши.

В первую *же* парижскую встречу Грановский заказал мне “синопсис” для фильма “Тарас Бульба”, который он готовил. И я тут же получил хороший аванс. Грановский был широк, а теперь в особенности. Такие “синопсисы” он заказал нескольким писателям — М. Алданову, М.Осоргину, кому-то еще. И когда получил все, говорил: “Удивительное дело, писатели совершенно не чувствуют кино, вот у меня шесть “синопсисов”, и ни в одном ни одной фразы, которую можно было бы использовать для фильма”. По-моему, имея миллионы Гудман, Грановский просто хотел дать подработать писателям. Это было в его духе.

Широту и барственность (пренебрежение к расходам) Грановский проявлял и при съемках фильма. На роль Тараса Бульбы пригласил за какой-то несметный гонорар знаменитого французского актера Гари Бора, статистами казаками взял русских эмигрантов казаков-джигитов. Вообще, русские эмигранты у него на “Тарасе Бульбе” подработали. Все ставилось на широкую ногу, чтоб “поразить мир злодейством”. Но говорили, что бывало и так: когда все уже было готово к началу съемок, и актеры, и статисты, и джигиты, и фотографы, и камермены, ждали только режиссера Грановского, он приезжал и говорил своему помощнику: “Распустите всех, я сегодня не в настроении…” И платили, и распускали.

Фильм “Тарас Бульба” был художественным и финансовым провалом. За ним — провалом был и второй “грандиозный” фильм “Король Позоль”. Почему? По-моему, потому, что Грановский был уже болен. Он мне часто казался чрезмерно усталым, больным человеком. После своих двух фильмов он прожил недолго и умер от рака крови. А потерявшая на его фильмах свои миллионы госпожа Гудман покончила жизнь самоубийством. Я вспоминаю Алексея Грановского с самым добрым чувством. Он был одним из солидных “слагаемых” моего становления на ноги в Париже.

Поместил я в Париже кой-какие статьи в “Иллюстрированной жизни”, вскоре закрывшейся, в “Иллюстрированной России”. Из “Золотой лилии” я разыскивал друзей и знакомых-парижан. Нашел Веру Левитову, сестру милосердия нашей 2-й роты Корниловского полка, с которой дружили еще по “ледяному походу”. Варя (Васильева) и Таня (Кунделекова, убита под Орлом), молодые девушки, курсистки, в 1917 году пошли сестрами милосердия в Добровольческую армию. Обе были с нами в боях на Таганрогском фронте (под Чалтырем, под Хопрами). И обе ушли с нами в степи, в “ледяной поход”, когда туча Красной армии плотным кольцом окружила Ростов и у нас остался единственный узкий выход отступления из Ростова — в неизвестность, в степи. Возьму цитату из “Ледяного похода”, написанного мной 64 года тому назад.

“Я подошел к нашим сестрам: Тане и Варе. Они стоят печальные, задумчивые. "Вот, посоветуйте, Рома, идти нам с вами или оставаться, — говорит Варя, — мама умоляет не идти, а я не могу, и Таня тоже". — "Советую вам остаться: ну куда мы идем? — неизвестно. Может быть, нас на первом переулке пулеметом встретят? За что вы погибнете? За что принесете такую боль маме?" — "А вы?" — "Ну, что же мы? Мы пошли на это". Варя и Таня задумались.

Совсем стемнело. Утихла стрельба. Мы строимся. Все тревожно молчат. На левом фланге второй роты в солдатских шинелях, папахах, с медицинскими сумками за плечами Таня и Варя.

"Сестры, а вы куда?", — подходит к ним полковник Симановский. — "Мы с вами". — "А взвесили ли вы все? Знаете ли, что нас ждет? Не раскаетесь?" — "Нет, нет, мы все обдумали и решили. Я уже послала письмо маме", — взволнованно-тихо отвечает Варя.

Толпимся, выходим во двор. В дверях прислуживавшие на кухне женщины плачут в голос: "Миленькие, да куда ж вы идете, побьют вас всех! Господи!"".

В Париже в один мой приход к Варе произошло нечто незабываемое. Пришел часа в четыре. Варя: “Рома, вы обедали?” — “Конечно”. Сели чай пить, разговоры о прошлом, о “ледяном походе”, — “бойцы вспоминают минувшие дни”, — об убитых близких друзьях (Свиридов, Ващенко, князь Чичуа, многие другие). Но удивляюсь, Варя смотрит на меня как-то странно: упорно-пытливо. И вдруг — категорически: “Рома, вы голодный!” — “Да что вы, Варя!” — “Да не притворяйтесь, я вижу! И сейчас сделаю вам котлеты!” Скоро котлеты действительно появились передо мной. Но что это были за котлеты! Самые вкусные в мире! Прошло полвека, а их вкус я все помню. Даже недавно в письме к Варе из Нью-Йорка в Париж о них вспоминал.

Нашел я свою двоюродную сестру Лялю Гуль (дочь дяди Анатолия). Все это были в том или ином виде “слагаемые”. Но кто оказался очень существенным “слагаемым”, так это берлинский друг, художник Лазарь Меерсон, превратившийся в Париже в фильмовую известность.

В Берлине Меерсон особенно дружил с Юрием Офросимовым, с которым одно время они вместе снимали комнату, превращая ее в какой-то “вертеп Венеры погребальной”, ибо оба были неряхи-богемьены. В Париж Меерсон приехал года за четыре до меня. И попал не в “Золотую лилию”, а под мост Александра III — ночной приют парижских “клошаров”. Ночевал и на скамейках Булонского леса, пока по счастливой случайности не встретил актера Каминку и тот его устроил писать декорации в киностудии своего дяди (кажется) Александра Каминка. Тут, уж не знаю как, Лазарь познакомился с тогда только что начинавшим кинорежиссером Рене Клером (позднее — “бессмертным”, академиком). Клеру понравились декорации Меерсона, и он предложил ему работать в его фильме, который он как раз ставил — “Под крышами Парижа”. Лазарь сделал декорации. Фильм прогремел на всю Францию, даже, пожалуй, на весь мир. Рене

Клер — тоже. И Лазарь Меерсон стал известным кинодекоратором, продолжая работать с Рене Клером. Спанье под мостом Александра III, скамейки Булонского леса, все отошло в биографию. А в жизни появилась превосходная белая студия с громадным (во всю стену) окном на парк Монсури.

Когда я позвонил Меерсону (мы уже жили на рю Олье), Лазарь пришел в восторг и тут же заявил мне, чтоб я ни о чем не беспокоился: на первое время он оплачивает и нашу квартиру и ежемесячно дает деньги на прожитие, пока я не встану на ноги. Это было великолепно! Но я-то знал, что Лазарь богемьен-невропат, что он сказал сегодня, может забыть завтра. И все-таки это было прекрасно!

Нашу встречу Лазарь назначил не где-нибудь на Монпар-насе за стаканом кофе, а в фешенебельном кафе “Рон пуан де Шан з'Элизе”. Ну, хорошо. Я приехал в этот “Рон пуан”. Меерсон — в прекрасном дорогом костюме с каким-то невыразимым галстуком (хорошего тона), вообще будто никакого голодранства, скамеек Булонского леса и моста Александра III не было и в помине. Расспрашивал о том о сем, о Юрии, о концлагере, пригласил нас с Олечкой к себе на обед. Он был женат на известной всему Монпарнасу, легендарной, эффектной Мэри, тоже русской эмигрантке. Рассказывали, что в кафе “Дом”, где обычно сидела Мэри, к ее столику однажды подошел известный художник Оскар Кокошка, сказав: “Мне говорили, что у вас самое красивое попо на Монпарнасе, я хочу вас написать”. Увы, сеанс не состоялся.

На обеде у Меерсонов в большой белой студии, застланной пушистым белым бобриком, все было “невыразимо изысканно”. Стеклянный стол, стеклянная посуда, еда, вино, всяческие деликатесы, все — лучшее, все — дорогое. И все-таки самым сногсшибательным номером был лакей: калмык в черных брюках, белой куртке и белоснежных перчатках. “Лазарь, что это за аттракцион?”, — спросил я. — “Не знаю, это Мэри выдумала, спроси ее”. Мэри объяснила, что через русских знакомых нашла этого калмыка и теперь не нарадуется: он научился всяким штукам, чудесно работает, подает, убирает. Думаю, и калмык таким “поворотом” судьбы был доволен.

Насчет “невропатии” Лазаря я, конечно, был прав. Два месяца он давал мне деньги на оплату квартиры, а потом “забыл”, а я, разумеется, не напоминал, ибо и это было дружеской помощью. За это время и я кое-что заработал, и Олечка нашла работу: брала вязанье у казачки Будариной — Олечка вязала ей шерстяные и шелковые дамские вещи для какого-то богатого французского “дома мод”. Так мы и начали нашу свободную жизнь в Париже. Сделаю примечание: официально мы “права на работу во

Франции” не имели. Визы были “без права работы”, как у многих русских.

У А.И. Гучкова

С рю Олье я позвонил Александру Ивановичу. Он назначил мне встречу. Жил он неподалеку. Квартира в три комнаты, скромная, эмигрантская. В России А.И. знавал настоящее “хлопчатобумажное” богатство, но этим не интересовался, занят был: сначала войнами — в Южной Африке (с бурами) против англичан, на Балканах с македонцами против турок, в Маньчжурии против японцев, потом — в войну 1914—17 гг. — председатель Центрального военно-промышленного комитета. Параллельно — большая политика: председатель “Союза 17-го октября”, председатель Третьей Государственной Думы. Вперемежку — несколько дуэлей, а под конец войны — заговоры: попытки дворцового переворота.

Принял меня А.И. радушно. Принес из кухни два стакана чая и какое-то печенье. В разговоре спросил, что я пишу. Я сказал, что закончил книгу о терроре — “Дзержинский” — и хочу ее здесь издать. А.И. одобрил, заинтересовался, спросил, не могу ли я дать прочесть рукопись, я сказал — с удовольствием принесу{22}.

— У меня, Р.Б., к вам есть дело, — проговорил Гучков, — в Париж приехала дама, побывавшая в советских концлагерях. Рассказывает потрясающие факты. Я просил ее все записать, но она не из пишущих. Не взялись ли бы вы записать ее рассказы? Дело — нужное.

Я согласился. С дамой встретился у А.И. Она действительно рассказывала много интересного, но записи так и не вышли: дама куда-то уехала.

Помню, в первый мой приход Гучков сетовал на Петра Струве за его статью о Николае II (напечатанную запамятовал где).

— Струве пишет о царе, — говорил Гучков, — как о необыкновенном человеке, как о разумном правителе и т. д., но ведь Струве, так же как я, прекрасно знает, что это неправда. И все-таки пишет. Зачем? Такая неправда только вредна…

Я статьи Струве не читал, ничего сказать не мог. Разговор перешел на вопрос о монархии вообще. А.И. сказал, что он монархист. Я ответил, что монархия, по-моему, нужна там, где *в народной толще* есть потребность в ней, вот как в Англии — там народу нужна эта мистико-эстетическая институция, и я бы не хотел, чтоб Англия превратилась в республику. Но в России ведь — к всеобщему нашему остолбенению — революция показала, что *в народе* никаких монархических традиций, никакой этой мистико-эстетической потребности не было.

Вы помните, А.И., — говорил я, — как в феврале в полках, в

бараках солдаты в каком-то остервенении топтали портреты царя и царицы. И Михаил Александрович был, по-моему прав, что не принял престол, да и уговаривал-то его принять престол один-единственный Павел Николаевич Милюков, даже Родзянко был против. И Родзянко был прав. Ведь если б Михаил Александрович принял престол, в России пошла бы такая поножовщина и пугачевщина, что страшно себе представить.

Да, я все это знаю, — как-то уклончиво, нехотя сказал А.И., — и все-таки я — за монархию. Но, А.И., в теперешней России нет уж совершенно никаких корней для восстановления монархии…

Не знаю, не знаю, все бывает, — еще более уклончиво проговорил Гучков и добавил: — Я ведь и для Франции хотел бы монархии.

В устах умудренного политика это показалось мне какой-то “навязчивой идеей”, ибо представить себе, что во Францию, перепаханную ее революциями, въезжает из Бельгии граф Парижский, становясь королем, — политически немыслимо.

А.И. продолжая разговор, сказал: “Я ведь в демократической формуле Джефферсона — Линкольна — "все для народа, все через народ" — принимаю только первую часть — "все для народа". Но не — "все через народ"”. Я понял, что А.И. сторонник авторитарной власти. Конечно, авторитарная власть бывает неизбежна и нужна (например, генерал Франко, победивший московских чекистов), но быть ее сторонником, как таковой, навечно, мне казалось неправильным; авторитарные правители неизбежно будут греховнее демократических, ибо — бесконтрольнее. Демократия — никакое не царствие небесное, но все ж лучшее из всего худшего, что у людей есть, все же больше возможностей ограничения греховности людской природы. Это я и высказал Александру Ивановичу. Но так мы и остались — каждый при своем.

В другой раз А.И. пригласил меня к чаю. Чай — в столовой, разливала дочь А.И. Вера (по мужу, англичанину, кажется, Трейл). Кроме меня был Кирилл Зайцев, автор книги о Бунине, книгу эту Бунин весьма одобрил. Позже Зайцев стал архимандритом Константином в Америке, в монастыре в Джорданвиле. Зайцев был человек острый, умный, образованный. За столом в общем разговоре он довольно остро “столкнулся” с Верой Гучковой. И неудивительно: Зайцев страстный антибольшевик, а Вера (как ни нелепо) — коммунистка (и ее муж — коммунист). Помню, я как-то удивился, зачем А.И. приглашает гостей — антибольшевиков и Веру. Вера — высокая, некрасивая, в манерах и разговоре резкая. “Коммунизм”, “советизм” к ее резкости и манерам шел.

Во время чаепития А.И. пригласил меня и Зайцева (был еще кто-то, но не помню кто) на доклад финна Седерхольма, побывавшего в советских тюрьмах и концлагерях. Воспоминания Седерхольма позже вышли книгой в Риге. Я понял, что у А.И. есть некий небольшой кружок людей, с кем он общается, а иногда и устраивает закрытые собрания (по приглашениям).

На доклад Седерхольма мы пошли вместе с Борисом Ивановичем. Доклад был, по-моему, в “Биотерапии” (неком предприятии бывшего народного социалиста А.А.Титова, богатого человека, химика по специальности). Там был зал, где происходили эмигрантские выступления. В дверях зала у небольшого столика сидел пожилой господин, перед ним лист приглашенных, и по предъявлении приглашения он ставил отметку против фамилии. Господин этот привлек мое внимание своей внешностью. Хоть он и сидел, но явно был очень высокий, волосы не седые, а белые, лицо моложавое, костистое, красивое, крупных черт. Б.И. с ним поздоровался. В зале я спросил Б.И.: “Кто это?” — “Не знаете? Это Сергей Николаевич Третьяков, товарищ министра торговли и промышленности Коновалова во Временном правительстве”, — произнес Б.И. с уважением к большому прошлому этого господина.

В зале было тридцать — сорок приглашенных: социалисты — Ст. И. Португейс (крайне правый потресовец), Г.Я.Аронсон, еще кто-то; были кадеты; были правые. Я мало кого знал. Но в первом ряду сразу узнал генерала Скоблина. В “ледяном походе”, в Корниловском полку он был штабс-капитан и помощник командира полка полковника Неженцева.

Председательствовал А.И.Гучков. Седерхольм занял место рядом с ним. Доклад был интересен, изобиловал фактами ужасов советских концлагерей. После доклада А.И. спросил: нет ли у кого вопросов к докладчику? И тут же из первого ряда поднялся Скоблин, задав, как мне показалось, совершенно глупый вопрос: “Скажите, пожалуйста, неужели среди заключенных, когда они стояли в строю перед чекистом, бившим их товарища, никого не нашлось, кто бы бросился на этого мерзавца?” Не помню, что ответил докладчик. Помню, я подумал: “Какой дурак Скоблин…” Но после похищения генерала Миллера, когда выяснилось, что бежавший в СССР Скоблин предал его чекистам, я вспомнил вопрос и понял, что вопрос был вовсе не так уж глуп: провокатору надо было лишний раз *публично подчеркнуть* свою совершенную “непримиримость к коммунизму”. А позднее, во время войны, когда немцы в Смоленском архиве НКВД нашли документы, изобличавшие С.Н.Третьякова как советского агента (немцы расстреляли его), я понял, что кружок А.И. Гучкова и он сам были

под двойным стеклянным колпаком НКВД: Скоблин в первом ряду, Третьяков — у входа. К тому ж — в придачу — дочь и зять коммунисты.

Как-то А.И. позвал меня поговорить о прочтенной им моей рукописи “Дзержинский”. Поговорили. А.И. рукопись весьма одобрил. А когда я собрался уходить, А.И., взглянув на часы, проговорил: “Подождите, Р.Б., до четырех. В четыре ко мне должен прийти Александр Федорович Керенский. Вы не знакомы?” — “Нет”. — “Ну вот и познакомитесь и тогда пойдете. У меня с ним есть кой-какой разговор”.

Я остался. И разговор, естественно, перешел на А.Ф.Керенского. Я спросил А.И., как он расценивает его? “Герой не моего романа, — махнув рукой, проговорил А.И., — лично, конечно, человек честный, но слабый, совершенно слабый. Все только — актерство, жесты, эффекты! А на этом в политике далеко не уедешь… Вот Савинков, — продолжал А.И., — совсем другое дело. Это был человек действия. За Савинкова я бы десять Керенских отдал…”

В это время раздался звонок. Я встал, простился. Мы вышли в переднюю. А.И. открыл дверь, и в дверь не вошел, а как-то ворвался Александр Федорович Керенский. Наружность Керенского — всероссийски известна. Но сейчас, перевалив за пятьдесят, Керенский был уж не тот. Лицо землистое, в глубоких складках-морщинах, какое-то обвислое. Я стоял, чтоб уйти…

— Александр Федорович, вы не знакомы? Это — писатель Роман Борисович Гуль, приехал из Германии…

И тут произошло нечто меня потрясшее. А.Ф.Керенский круто, словно на каблуках, повернулся ко мне, выхватив из жилета лорнет на широкой черной ленте и, приставив к глазам, стал меня рассматривать. Этим лорнетом на черной ленте я был ошарашен. Керенский, конечно, меня по имени знал, я кое-что писал о нем не очень лестное. Посему, вероятно, и рассматривал. Затем, оторвав лорнет от глаз, Александр Федорович протянул руку, громко, отрывисто сказав:

Здравствуйте! — голос у А.Ф. — прекрасный баритон.

Здравствуйте, Александр Федорович, — ответил я. Поздоровавшись с Керенским, я вышел. “Господи, — спускаясь по лестнице, думал я, — но почему же именно лорнет? Да еще на черной широкой ленте? Почему не очки, не пенсне, не монокль, наконец (вставить при случае). А то ведь это же какая-то графиня из “Пиковой дамы”, а никак не вождь февральской революции”.

А.Ф. Керенский

Думаю, будет лучше, если я, отступив от хронологии “России во Франции”, расскажу все об А.Ф. Керенском: о наших встречах, разговорах, о некоторой близости (одно время, в Америке). Многое будет — из “России в Америке”, но зато тема — А.Ф. Керенский — будет дана полнее.

Вторично я увидел Керенского на улице, на авеню де Вер-сай. Он меня не заметил. Думаю, он никого заметить не мог. Во-первых — сильно близорук, ходил с палочкой. Во-вторых, Керенский не шел, как обычно ходят люди по улице, а почти бежал, и на согнутых в коленях ногах, что было необычно и некрасиво. На голове никакого головного убора. Керенский по улице ходил с непокрытой головой, как молодые. Волосы — седоватый бобрик, без всякого намека на ленинскую лысину.

И вот, когда Керенский однажды так “бег” по парижской улице (он любил моцион, гулять), какая-то русская дама, шедшая с девочкой, остановилась и громко сказала девочке, показывая пальцем на Керенского: “Вот, вот, Таня, смотри, смотри, этот человек погубил Россию!”

Мне об этом рассказывал Владимир Михайлович Зензинов, ближайший друг Керенского, и добавлял, что на Александра Федоровича “слова этой дамы подействовали ужасно, он несколько дней был сам не свой”.

Когда я ближе узнал А.Ф., я, конечно, никогда о “загублении” им России не говорил, но не раз чувствовал, что эту тему он воспринимает болезненно. Вероятно, потому, что наедине с собой чувствовал, что в чем-то, где-то (несмотря на всеобщий всероссийский развал, на всеобщее российское окаянство) он все-таки как-то перед Россией виноват своей слабостью. Ведь необычайно любившая его Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская (известная бабушка русской революции), называвшая Керенского не иначе, как “Саша”, подавала ему *истинно государственный совет* спасения России. Она говорила Саше, что он должен арестовать головку большевиков как предателей, посадить их на баржи и *потопить*. “Я говорила ему: "Возьми Ленина!" — а он не хотел, все хотел по закону. Разве это было возможно тогда? И разве можно так управлять людьми?.. Посадить бы их на баржи с пробками, вывезти в море — и пробки открыть. Иначе ничего не сделаешь. Это как звери дикие, как змеи — их можно и должно уничтожить. Страшное это дело, но необходимое и неизбежное”.

Но Саша о такой *действительно государственной мере* (я

говорю это всерьез) и слышать не хотел: перед ним “сияла звезда социализма”. Эта фраза о “звезде социализма” была в воспоминаниях Е.К. Брешковской, которые мы напечатали в “Новом журнале” (кн. 38). Но близкий друг А.Ф., тогда редактор журнала, Михаил Михайлович Карпович сказал мне, секретарю редакции, обычно правившему рукописи: “Знаете что, Р.Б., эту "звезду социализма" давайте вычеркнем, она Александру Федоровичу теперь будет очень неприятна!” И вычеркнули. Михаил Михайлович был прав. За границей эмигрант А.Ф.Керенский, по-моему, никаким социалистом не был. Ну, может быть, самым крайне-крайне-правым, и то не мировоззренчески, а в смысле нужности социальных реформ. Помню, как-то, сидя у нас в квартире на 113-й улице в Нью-Йорке, А.Ф. проговорил: “Ведь они, они меня погубили!” — и указывал при этом на противоположную сторону улицы, где (прямо напротив) жили лидер меньшевиков и бывший влиятельный член Совета рабочих депутатов Р.А. Абрамович (Рейн) и некоторые другие меньшевики. Заграничный Керенский, по-моему, был куда больше националист, чем социалист, поэтому-то его и недолюбливали (весьма!) меньшевики, оставшиеся твердокаменными. А официальные националисты считали его “предателем”. Так что политически Керенский за границей был в неком “безвоздушном пространстве”.

Е.К. Брешковская всю жизнь была верующей христианкой. Был ли в былом А.Ф.Керенский верующим — не знаю. Но за границей А.Ф. был церковным православным человеком, посещавшим церковь и выстаивавшим службы от начала до конца, во время Великого поста ни одной службы не пропускавшим, исповедовавшимся и причащавшимся. Это я видел собственными глазами в Нью-Йорке в Свято-Серафимовской церкви у отца А.Киселева.

Третий раз в Париже я встретил А.Ф.Керенского (прилетевшего из Нью-Йорка) на вокзале на площади Инвалидов. Б.И.Николаевский известил меня из Америки, прося встретить А.Ф. Дело в том, что А.Ф. был членом создавшейся в Нью-Йорке Лиги борьбы за народную свободу, председателем которой был избран Б.И.Николаевский, я же был неким представителем этой общедемократической организации в Париже. Я редактировал тогда журнал “Народная правда”, сбив вокруг него небольшую группу, назвавшуюся “Народное движение”, входившую в Лигу.

Александра Федоровича я встретил в конце длинного туннеля на площади Инвалидов. Он так же быстро шел, вид бодрый, улыбающийся. Поздоровались уже как знакомые (члены же ведь одной организации! Почти что “партийные товарищи”!).

А.Ф. сказал, что поедет прямо к своему другу Михаилу Матвеевичу Тер-Погосяну, предложив ехать с ним вместе. Тер-Погосян был эсер, верный “оруженосец” Александра Федоровича. Тер-Погосян Керенского просто-таки “обожал”. Я с М.М. был знаком, бывал у него, но знакомство поверхностное. И считая нетактичным мое появление при встрече близких друзей, я сказал, что лучше позвоню А.Ф. завтра и мы условимся, когда встретиться.

А.Ф.Керенскому было небезынтересно встретиться и со мной, ибо я только что вернулся из поездки по Германии (Мюнхен, Гамбург, Ганновер и опять Мюнхен, я расскажу о поездке отдельно), где от имени Лиги вел переговоры с представителями организаций новой, послевоенной эмиграции. Но, конечно, особенно интересна Александру Федоровичу была встреча с живым представителем этой советской эмиграции, с одним из лидеров СБОНРа (власовцев) — Юрием Васильевичем Диковым. Ему я выхлопотал приезд в Париж на неделю. И поселил в отеле неподалеку от нас.

Между первой и второй эмиграцией прошло больше тридцати лет, и человечески, и политически обеим встреча друг с другом была важна и интересна. Не знаю, прав ли я, но мне казалось, что А.Ф.Керенскому хотелось “примериться”: поймут ли его — бывшего “главу” Февраля — новые советские люди? Думаю, что я в этом прав. Первая эмиграция (в большинстве Белая армия) к нему относилась враждебно. Ведь даже верховное командование Белой армии в свое время в приказе упоминало о нем как о “предателе”, со всеми вытекающими отсюда “последствиями” в случае его появления в районе армии. В первой эмиграции А.Ф.Керенский был “полуодинок”.

Встреча состоялась на другой же день. А.Ф.Керенский пригласил на обед меня с Олечкой и Ю.В.Дикова в *свой* ресторан на пляс Пасси (неподалеку от метро), где хозяин и лакеи, многолетне его знавшие, называли А.Ф. не иначе, как “Monsieur le Président”. Перед войной А.Ф. жил тут и был частым посетителем ресторана. За обедом разговор — как всегда при первом знакомстве — перемежался и житейскими, и политическими темами. Ю.В.Диков, адъютант генерала В.Ф. Малышкина, производил приятное, выгодное впечатление: умный, тактичный, демократ по взглядам, прошел через советский концлагерь. Работал в штабе генерала А.А.Власова, так что многое из того, что он говорил, было очень интересно. В отношении Керенского Диков держался почтительно-тактично. И встреча с ним А.Ф.Керенскому была явно приятна и интересна. На другой день А.Ф. меня за нее благодарил. В этом же ресторане мы завтракали

втроем: Керенский, я, Борис Суварин, и — Керенский, я и П.А.Берлин (известный публицист, экономист, раньше работавший в Торгпредстве, но “выбравший свободу”).

Наших встреч — втроем: А.Ф., я и Ю.В.Диков — было здесь несколько. На последней А.Ф. сказал, что хорошо бы, если Ю.В.Диков познакомился с В.А.Маклаковым. Я понял, что Керенский с Максаковым об этом уже говорил. Ю.В. согласился. И в условленный час мы приехали на квартиру В.А. Маклакова. Диков, по-моему, слегка волновался, ибо не знал, как у него, власовца, сложится встреча с Маклаковым, ходившим с группой эмигрантов на прием к советскому послу Богомолову и, разумеется, вполне далекому от “власовства”.

К Маклакову в кабинет мы вошли последними. У него уже были А.Ф.Керенский, М.М.Тер-Погосян, А.С.Альперин, А.А.Титов. Для нас обоих это было неожиданностью. Тер-Погосян (эсер), Альперин (энэс), Титов (энэс) были как раз из той эмигрантской группы, которая вместе с Маклаковым путешествовала к совпослу Богомолову и выражала там патриотические чувства. Все они, конечно, были антивласовцы. Я с ними был знаком. Керенский представил Ю.В.Дикова. Все уселись в просторном кабинете. Маклаков — за письменным столом.

Первыми стали задавать вопросы Дикову Тер-Погосян, Альперин, Титов. Хоть и были они люди воспитанные, резкостей не говорили, но в вопросах все же чувствовалось полное “неприятие” власовства. Диков отвечал умно. Без уверток. Маклаков молчал. Керенский сказал какие-то “смягчающие” слова о “новых людях” и “новой демократии”. Последним заговорил Маклаков.

Сразу — с первых же фраз — почувствовалось, насколько В.А. “головой выше” всех присутствовавших. Умнее. Мудрее. Глубже. Речь была простая, ясная, умная, логичная, легко воспринимаемая. То, что сказал Маклаков, по-моему, для всех присутствовавших (в особенности для компаньонов по путешествию к Богомолову) было неожиданностью. Обращаясь только к Ю.В. Дикову, Маклаков говорил тепло, очень дружески (по-русски душевно). В.А. сказал, что вполне понимает, *что* Ю.В. и другие русские люди пережили и перенесли, живя под террором коммунизма, поэтому его нисколько не удивляет, что в Германии сложилось антисоветское, власовское движение. “В своем антисталинизме вы были искренни, у вас была своя правда, и вам и вашим товарищам совершенно не перед кем и не в чем, Юрий Васильевич, извиняться. Вы должны ходить так же, как все, с высоко поднятой головой”, — так закончил Маклаков.

Патентованные антивласовцы молчали, но я видел, что таких

слов от В.А. Маклакова они “никак не ожидали”. Керенский довольно улыбался, глядя, как Маклаков пожимает руку Дикову. Ну, а больше всех поражен был, конечно, “власовец” Диков. Пожимая руку Маклакова, он говорил ему какие-то слова благодарности.

Когда мы с Ю.В. вышли на улицу, чтобы ехать к нам домой, Диков был вне себя от радости и возбуждения. — “Ну, этого я никак не ожидал, — говорил он. — И какой блестящий человек! Да я таких просто и не видел никогда! Вот бы нам такого!”.

Но “таких” — по блеску, по уму, по дару речи — во всей России было не очень много. Керенский перед Маклаковым казался “маленьким” и косноязычным.

В последний раз в Париже я встретился с А.Ф.Керенским на его докладе в “Биотерапии”. Доклад устраивала, кажется, наша группа “Народной правды” (не уверен). В “Биотерапии” зал, человек на полтораста, был, конечно, битком. Имя Керенского всегда “делало сборы”. А.ф. говорил о современном международном положении, о задачах эмиграции, о Лиге, о русских в Америке. Я несколько раз слышал красноречие Керенского. Он, конечно, был подлинный оратор, но “не моего романа”. В противоположность Маклакову красноречие Керенского было крайне эмоционально, даже, я сказал бы, “пифично” (от слова “пифия”). Иногда на большом подъеме Керенский уже не говорил, а как-то отрывочно выкрикивал. Мне это не нравилось. Как-то (уже в Нью-Йорке), сидя у нас, А.Ф. рассказал о себе интересный эпизод, характеризующий, по-моему, весь стиль его ораторского дара. А.Ф. рассказал, как однажды, еще до революции, когда он выступал на каком-то процессе защитником, после заседания, в перерыве, председатель суда попросил его (для удобства председателя), чтобы А.Ф. вкратце набросал ему содержание его речи. “Этого я сделать не могу”, — ответил Керенский. — “Почему?” — удивился председатель. — “Да, потому, что когда я выступаю, я не знаю, *что* я скажу. А когда я кончил, я не помню, *что* я сказал”. Рассказывая это, А.Ф. улыбался своему рассказу. А я не улыбался. Тут-то именно я и подумал: “Что ж, стало быть, ты говоришь, как пифия, не зная сам, что скажешь и не помня, что сказал?”

Но в “Биотерапии”, помню, был момент, когда Керенский захватил весь зал. Он рассказывал, что как-то ехал по Канаде, и как Канада напомнила ему Россию — те ж сосновые леса, те ж широкие реки, — и какое он почувствовал вдруг отчаянье, что вот в Канаде люди живут в полной свободе, в полном довольстве, а Россия — почему же Россия?! — полонена этой страшной трагедией неожиданного рабства и хозяйственного развала. Ведь

Россия могла быть такой же Канадой! Это А.Ф. говорил искренне, и все почувствовали его настоящую любовь к России! Зал проводил Александра Федоровича шумными аплодисментами.

Больше во Франции я Керенского не встречал. Назавтра он улетел в Нью-Йорк.

В Нью-Йорке, где мы жили с женой с 1950 года, я часто встречался с Керенским на заседаниях Лиги борьбы за народную свободу. Заседания Лиги обычно были в нашей квартире на 506 Вест 113-й стрит. Но ни о Лиге, ни о Керенском в связи с Лигой я говорить сейчас не буду. Это материал третьего тома — "Россия в Америке". Я скажу только о личных встречах и запомнившихся разговорах.

В Нью-Йорке А.Ф.Керенский жил в фешенебельном районе, в прекрасном особняке госпожи Симеон, на 91-й улице Ист. Муж ее, конгрессмен, республиканец, был другом Керенского. И Симеоны предложили Керенскому жить у них. А.Ф. занимал на втором этаже две небольшие комнаты. Но мог пользоваться всем помещением. Особняк был барский. Особенно хорош был просторный кабинет — по стенам в шкафах книги, камин, удобные кресла, стильная мебель. Керенский принимал здесь гостей. Иногда устраивал "парти". Прислуживали в особняке японцы — муж и жена. Мистер Симеон вскоре умер, осталась вдова. Но положение Керенского, в смысле обитания в особняке, не изменилось.

Помню, как-то я был у А.Ф. Сидели мы, как всегда, в большом кабинете. И к Керенскому пришел один новый советский эмигрант, недавно приехавший из Германии. Не буду называть его фамилию, Бог. с ним. Несколько позднее, когда он был у меня, я выгнал его из квартиры. Назовем его господин Х. Его приход показал мне, как Керенский падок на лесть. Но разница, по-моему, должна быть в градусе правдоподобия лести, чтобы лесть не переходила в ложь. Керенский этих градусов не чувствовал.

На меня господин Х. сразу произвел ненадежное впечатление. С места в карьер он стал говорить Керенскому стопудовые комплименты, явно не чувствуя пропорций лжи. Он говорил, что в СССР весь народ помнит Керенского, что его имя для народа свято, что весь народ чтит его. Лесть была невыносимо груба, по-моему, просто оскорбительна. И я был поражен, что Керенский от рассказов этого господина — расцветал и улыбался. Этой вульгарной лжи он явно хотел верить, и я видел, что верит.

Когда наглый господин Х. наконец ушел, Керенский мне в разговоре бросает: "Симпатичный человек, правда?" Я говорю: "По-моему, нет". Керенский удивленно: "Почему?". Я говорю: "По-

моему он был неискренен во всем, что говорил, и этим на меня произвел неприятное впечатление". Керенский вдруг недовольно оборвал: "Ну, не будем об этом говорить!" И мы перешли к делу, для которого я пришел.

Мы с Керенским довольно часто завтракали в ресторанах. И часто он рассказывал интересно. Но иногда замыкался, когда тема была не по душе. Как-то раз я заговорил о Николае II. Керенский ответил коротко, что Николай II как человек производил на него положительное впечатление. И, помолчав, добавил, что когда впервые он, со своим окружением, приехал на свидание с бывшим государем, первый момент для него был страшно труден: как поздороваться с арестованным бывшим монархом? Протянуть руку? Не протянуть? И Керенский, "не обращая внимания на свое окружение", в последнюю секунду решил, конечно, протянуть.

— Я протянул ему руку, государь тоже протянул — мы поздоровались.

Мне хотелось выжать из Керенского побольше рассказов о государе. Но Керенский этому внутренне сопротивлялся. Однажды, будто что-то вспомнив, сказал: "Об интимной жизни государя мне много рассказывала статс-дама Нарышкина". "Что же она рассказывала?", — спросил я. "А этого я вам не скажу так же, как не говорил никогда и никому!". И после краткой паузы: "Это уйдет со мной — туда, — Керенский указал пальцем в пол, — … в могилу…". Мне это понравилось. Нигде, никогда, ничего неприятного для памяти государя Керенский не писал и не говорил.

Другой разговор в каком-то роскошнейшем ресторане, где нас обслуживала целая вереница лакеев со всех сторон, для Керенского был неприятен. На этот завтрак нас обоих пригласил очень богатый человек Владимир Николаевич Башкиров. Ресторан был "потрясающий": и блюда, и вина, и услуги. И все шло превосходно: я сидел против А.Ф., Башкиров с краю стола (стол на троих). Башкиров происходил из очень богатой купеческой семьи, он давно знал Керенского еще по России и во времена Временного правительства играл не последнюю роль. Он, кажется, был товарищем министра, заведуя вопросами продовольствия. Во всяком случае, все продовольствие Петрограда было в ведении Башкирова.

За завтраком Башкиров выпивал, смеялся, предавался воспоминаниям о прошлом. И вдруг говорит: "А помните, Александр Федорович, как перед корниловскими днями вы мне отдали распоряжение приготовить фураж и продовольствие для идущей на Петроград Дикой дивизии и корниловских отрядов…",

— и Башкиров в связи с этим хотел что-то рассказать. Но лицо Керенского было передо мной. Оно изменилось почти в гнев, и на весь ресторан (Керенский всегда-то говорил громко, а тут), металлически отчеканивая каждое слово, проговорил: “Ни-ког-да ни-ка-ко-го та-ко-го рас-по-ря-же-ния я вам не отдавал! Я та-ко-го рас-по-ря-же-ния не от-давал”, — повторял он, отчеканивая каждый слог и глядя в упор на Башкирова. Но Башкиров с дружеской улыбкой: “Да что вы, Александр Федорович, Роман Борисович свой человек, наш друг, при нем можно все говорить!” Этот ответ еще больше раздражил Керенского. Лицо всегда землистое, по-моему, даже побледнело. И тем же металлическим голосом, с той же деревянной интонацией он опять отчеканил: “Я ни-ког-да та-ко-го рас-по-ря-же-ния вам не отдавал!”

Конечно, я понял, что причиной “подавляемого возмущения” Керенского был я. Я не был для Керенского ни “свой человек”, ни “наш друг”. И Башкиров, разумеется, сделал необъяснимый гаф. После трижды “отчеканенной фразы” он это почувствовал. И разговор оборвался, перешли на что-то другое.

Но я видел (понял), что Башкиров говорит сущую правду. И если Керенский отдавал ему, заведующему продовольствием Петрограда, распоряжение приготовить фураж и продовольствие для выступавших против Петрограда корниловцев, то ясно, что Керенский — на первом этапе — с этим политически безнадежно-нелепым восстанием генерала Корнилова был связан. Впрочем, это уже и было “секретом Полишинеля”, это подтверждали многие, в частности, бывший министр Временного правительства Ираклий Георгиевич Церетели (о чем я еще скажу; Церетели резко отрицательно относился к Керенскому. — Р.Г.). А Б.И.Николаевский, с которым в Лиге у А.Ф.Керенского были плохие отношения, однажды на заседании бюро Лиги, когда Керенский по какому-то поводу что-то сказал о морали, вдруг резко пробормотал: “После дела Корнилова у вас нет права говорить о морали”. Со стороны Николаевского это было и “верхом бестактности”, и грубостью. Я был удивлен, что Керенский никак не реагировал, промолчал.

Помню, как однажды у нас за чаем, оставшись после заседания Лиги, Керенский в разговоре о мировой войне рассказал, как его “целовала целая дивизия”. Это было в разгар его всероссийской славы. Он приехал на фронт, не в окопы, конечно, а в расположение дивизии, и произнес перед ней речь, стоя в своем автомобиле. После речи вся “наэлектризованная” им дивизия, сломав строй, смяв охрану и кордон, окружавший автомобиль военного министра, ринулась к нему, и тут-то и началось “целование целой дивизией”. Керенский говорил:

“Знаете, это было черт знает что, я был в полной уверенности, что через полчаса окажусь трупом…”

Как-то, прохаживаясь у нас по большой комнате, Керенский вдруг пропел три слова известного романса — “Задремал тихий сад…” Голос — приятный, сильный баритон. “Александр Федорович, — говорю, — да у вас чудесный голос!” Он засмеялся. “Когда-то учился пенью, играл на рояле, потом все бросил…” И после паузы: “И вот, чем все кончилось…” Я понял это так, что Керенский внутренне упрекает кого-то, может быть, “всю Россию”, которая “подвела” его, а он ей отдал все таланты. Потом я спросил А.Ф., не имеет ли он отношения к городу Керенску, где я провел свое детство? А.Ф. подтвердил, что имеет. Его дед (может быть, прадед, точно не помню) был протопопом в керенском соборе. — “А вы знаете, что большевики переименовали Керенск? Он же теперь — Вадек”, — сказал А.Ф. Да, я знал, что большевики назвали этот старый уездный городок — Вадек, по реке Вад, на которой он стоит. Переименование, конечно, глупое, но большевикам надо же стереть всякое напоминание о Феврале, о Керенском.

Как-то, когда зашел разговор о моем романе “Азеф” и о боевой организации партии эсеров, Керенский, улыбаясь, сказал, что в молодости хотел стать террористом и войти в Боевую, но на приеме у Азефа — “провалился”. Азеф его не принял.

В 1974 году я напечатал в “Новом журнале” (кн. 114) записку О.Д.Добровольской (жены последнего царского министра юстиции), которая рассказывала об отношении А.Ф.Керенского к арестованному государю, о его положительном отзыве о государе и так далее. Но в рассказе Добровольской меня больше всего заинтересовало, что почти каждый вечер (а иногда и ночью) к совершенно измученному за день Керенскому приходили два близких ему человека, с которыми он вместе ужинал, обсуждая “текущие дела”. Два человека были: граф Орлов-Давыдов, до революции один из богатейших людей России, его я встречал в Париже и об этом еще расскажу; другой друг Керенского был великий князь Николай Михайлович, историк. Их ежевечерние (или еженощные) приходы к А.Ф. меня интриговали — зачем? почему? И как-то за ужином у общих знакомых я спросил А.Ф. о записке Добровольской и действительно ли приходил к нему вел. кн. Николай Михайлович? О записке Керенский отозвался, как о правдивой, сказал, что Добровольская жила в казенной квартире министра юстиции и, въехав в эту квартиру как министр юстиции Временного Правительства, он, разумеется, ее не выселил, а оставил жить, как жила, заняв только кабинет и одну комнату. О вел. кн. Николае Михайловиче Керенский с доброй улыбкой

сказал: “Да, это верно. Он приходил ко мне *как Никодим”*.

Общеизвестно, что вел. кн. Николай Михайлович, политически весьма разумный человек, в дни распутинщины и сухомлиновщины подавал царю записки, предупреждавшие о катастрофе. Но его записки (как и других Романовых) на царя никак не действовали. Династия погибла. Россия рухнула. Ленин расстрелял Николая Михайловича вместе с другими великими князьями. Об их освобождении тщетно хлопотал М.Горький. Но Ленин, по Нечаеву, хладнокровно уничтожал всю “великую ектенью”. В этих убийствах ему помогал “глава Советского государства и партаппарата” Яков Свердлов, распорядитель убийства царской семьи. Троцкий пишет, что когда он узнал от Свердлова о свершении запланированного убийства, у него якобы невольно вырвалось: “Как, всех?” — “Ну, конечно, всех… в чем дело?” — ответил Свердлов. Это свердловское “в чем дело?” остается в истории образцом непревзойденного болыпевицкого зверства.

Однажды, будучи в гостях у Керенского, я спросил, как ему удалось бежать из Гатчинского дворца, окруженного бушевавшей большевицкой матросней и солдатней, когда казаки генерала Краснова “проголосовали” выдать Керенского большевикам в обмен на свободный пропуск их на Дон. Об этом “бегстве” существовали разные “сплетни”, будто Керенский переоделся в костюм сестры милосердия и прочее. Керенский рассказал, что этот побег для него самого был неожиданностью. В последнюю минуту к нему в комнату дворца внезапно вошел В.Фабрикант (эсер) и принес матросскую форму. Не помню, но сам Фабрикант тоже, кажется, был в матросском. Фабрикант торопил Керенского с переодеванием, ибо всякое “промедление” было действительно “смерти подобно”. Переодевшись в матросскую форму, Керенский и Фабрикант (с большим риском для жизни) вышли из дворца, сквозь оболыпевиченную толпу прошли на улицу, добрались до Китайских ворот и уехали на приготовленном Фабрикантом автомобиле в приготовленное им же “подполье” — дом в лесу. В эмиграции Фабрикант жил в Нью-Йорке, был связан с американскими рабочими организациями. Умер девяноста двух лет.

В другой раз я спросил Керенского: “А.Ф., а где вы были во время открытия Учредительного собрания?” Керенский помолчал (таинственно), потом сказал: “В Петрограде, в подполье”. Рассказал, что из “подполья” он хотел загримированный по фальшивому пропуску пройти в Таврический дворец на открытие Учредительного собрания и выступить там открыто с речью против большевиков. “Связным” между ЦК партии эсеров и

Керенским был Владимир Михайлович Зензинов. Он приходил к Керенскому на конспиративную квартиру. И в ответ на настойчивое желание Керенского пройти в Учредительное Собрание, чтоб выступить там, — последовало категорическое “нет” ЦК партии. Эту категоричность отвода столь сенсационного выступления Керенского за свободу России — с речью на весь мир — ЦК партии эсеров мотивировал тем, что большевицкая солдатня и матросня, якобы “охраняющая” Учредительное собрание, в таком случае могла просто открыть сплошной огонь и по Керенскому, и по всем депутатам эсерам (их было большинство). И Учредительное собрание кончилось бы “кровавой баней”.

Помню, на Монпарнасе в литературной компании поэт Георгий Иванов как-то сказал, что через сто лет Керенский — это тема для большой драмы. Не знаю. Так как все “кончилось” эмиграцией и смертью “при нотариусе и враче” — темы для драмы, по-моему, нет. А вот если бы Керенский умер в Таврическом дворце, на открытии Учредительного собрания, во время героической речи за свободу России от пуль большевицкой сволочи — тема была бы. И даже раньше, чем через сто лет. Но, как известно, все кончилось довольно позорно и даже, пожалуй, “ридикюльно”, без героизма. Председатель Учредительного собрания Виктор Михайлович Чернов и товарищи эсеры вместе с большевиками пропели “Интернационал”. А потом матрос Железняк предложил Чернову убираться к чертовой матери. Так Всероссийское Учредительное собрание исторически и превратилось в “Учредилку”.

Наших дедов мечта невозможная,
Наших героев жертва острожная,
Наша молитва устами несмелыми,
Наша надежда и воздыхание, —
Учредительное собрание, —
Что мы с ним сделали?..

Граждански верно писала Зинаида Николаевна Гиппиус.

И.Г. Церетели и А.Ф. Керенский

С воспоминаниями об А.Ф.Керенском у меня невольно сплетается И.Г.Церетели. Потому ли, что оба были главными “действующими лицами” трагедии “Февраль — Октябрь 1917 года”? Потому ли, что И.Г. часто говорил о Керенском (всегда резко отрицательно)? Не знаю. Но я чувствую (писательски), что должен сейчас дать очерк об Ираклии Георгиевиче (после Керенского). И нарушая вновь хронологию “России во Франции”, дам, что помню о Церетели (и во Франции, и в Америке)[{23}].

В “России в Германии” я писал о встрече с И.Г.Церетели в Берлине у Станкевичей в 1920-х годах. Дал некий набросок его внешности и производимого им впечатления. Высокий, скромно, всегда аккуратно одетый (темно-синий костюм, темно-красный галстук), красивый, с правильно-грузинскими чертами лица, говор с легким (приятным) кавказским акцентом, Ираклий Георгиевич был немного из тех, о ком Вер-ховенский говорил Ставрогину: “Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен”. В Церетели обаяние было, хоть он и не был большим аристократом. И.Г. происходил из небогатого старинного грузинского дворянского рода. Но “хорошее рождение” и хорошее воспитание в нем чувствовались сразу. В противоположность “бесу” Ставрогину, “к добру и злу постыдно равнодушному”, И.Г. добро от зла отличал и этически, и эстетически, он был каким-то “цельным”, не приемлющим никаких компромиссов. В этом смысле, по-моему, И.Г. был даже как-то труден, чрезмерно ригористичен, что политикам обычно не свойственно.

Может быть, именно поэтому в своей зарубежной жизни (около 30 лет) эмигрантской политикой, ни русской, ни грузинской, И.Г. не занимался. В самом начале еще выступал как представитель независимой Грузии, но скоро оборвалось. Уже этой политической “отстраненностью” Церетели был своеобразен. В конце 20-х годов он поступил студентом на юридический факультет Парижского университета и в 1932 году его окончил. Ему было тогда 50 лет.

В Париже с И.Г. я встречался в 1946—48 году. Первый раз он пришел к нам в квартиру (из одной комнаты) на 253, рю Лекурб, на 5-м этаже, без лифта. Пришел по какой-то просьбе Б.И.Николаевского из Америки. С Николаевским я был в постоянной переписке. А Церетели и Николаевский были давние друзья. Но их дружба, по-моему, была неравная. Церетели хорошо, дружески относился к Б.И., как к верному другу. Николаевский же необычайно заботливо и трогательно любил

“Ираклия” (как его всегда называл). Это была высокая дружба. Как рыдал Б.И., когда в Нью-Йорке Ираклий Георгиевич умер!

На рю Лекурб Церетели заходил к нам довольно часто. Мы сошлись. Ираклий Георгиевич особенно хорошо относился к Олечке, вероятно чувствуя схожую с ним прямолинейность характера (“в одну краску”). В те годы я и Олечка как могли помогали советским послевоенным эмигрантам: и материально, и морально, кой-кому даже помогли бежать из Европы. Помощь шла из Америки через Николаевского и Зензинова: одежда, кое-какие деньги. И часто наша однокомнатная квартира (и крохотная кухня) были полны этими новыми людьми. И.Г. знал это, но никак этому не сочувствовал. “Ну, что вы, Р.Б., с этими новыми возитесь? Я уверен, что из них половина провокаторов, я и Б.И. об этом писал”, — не то серьезно, не то в полушутку говорил И.Г. Но ни я, ни Б.И. с ним согласны тут не были.

В эти приходы к нам — за чаем — И.Г. рассказывал иногда очень интересно. Как-то он рассказал, как его всячески обхаживали, чтоб он вместе с Маклаковым пошел на прием (“на поклон”) к советскому послу Богомолову. Известно, что тогда — после победы — русскую парижскую эмиграцию охватил восторг патриотизма. И, естественно, советское посольство бесовски эти русские чувства пыталось использовать (я думаю, по линии КГБ главным образом). На Ираклия Георгиевича шла особая атака всяких советских патриотов. Это было и понятно. Уговорить пойти на прием к советскому послу И.Г., известного лидера русских и грузинских социалистов, члена II Интернационала, друга Каутского, Реноделя, Рамадье, Блюма, было куда заманчивей, чем приход правого кадета Маклакова или главы РОВСа, монархиста адмирала Кедрова, которые эту “Каноссу” проделали в феврале 1945 года.

Лобовую атаку на И.Г.Церетели, атаку уговоров, так сказать, сдать свою прямолинейную, ригористическую анти-большевицкую позицию и переступить порог советского посольства Николаевский в письме ко мне считал проводимой “по личному указанию товарища Сталина”. Предположение вполне допустимое. Но Церетели был тверд как камень. Как-то я спросил его:

Ираклий Георгиевич, это правда, что пойти на прием к Богомолову вас уговаривал сам Маклаков?

Правда, — чуть улыбаясь, сказал И.Г. — Но так как я никуда ехать на разговоры не хотел, Маклаков приехал ко мне. И развернул все свои красноречивые доводы, чтобы я вместе с ним отправился на рю де Гренель. Но успеха он, к сожалению, у меня не имел, — улыбался И.Г. — Я спросил его: — Кого же вы будете

представлять? Маклаков ответил: — Самого себя. На это я сказал, что представлять Богомолову “самого себя” я не собираюсь…

И все-таки на вас и после страшно наседали. Мне говорили, будто из СССР приезжал даже какой-то грузин, ваш бывший знакомый?

Верно. Приезжал. Но успеха тоже не имел…

Тут я заметил, что о визите этого грузина И.Г. не хочет рассказывать. Но именно этот “грузинский визит” и дал Николаевскому повод предположить, что в дело вмешался “лично товарищ Сталин”.

— А вы знаете, кто ко мне еще приезжал по этому делу? — с какой-то улыбкой и смеха и полупрезренья сказал И.Г. — Георгий Адамович…

Я обмер:

— Георгий Адамович?

— Да, да, вот этот самый литературный критик…

Обмер я потому, что такой “глупости” никак не ожидал ни от Адамовича (человека весьма неглупого), ни от тех, кто его подталкивал ехать к совершенно незнакомому И.Г.Церетели с какими-то доводами о “примирении с Россией”. Известно, именно в те годы Адамович был советским патриотом, сотрудничал в просоветских парижских газетах, издал весьма просоветскую книгу по-французски “Д'отр патри”. Все это так. Но чтобы Адамович, по самой природе своей человек совершенно не политический, решился на роль давателя политических советов — кому? — И.Г.Церетели, известному, опытному политическому деятелю, это могло восприниматься только как комизм. Так это и было воспринято И.Г. На мое крайнее удивление И.Г. продолжал полуиронически, полупрезрительно: “Да, да, литературный критик Адамович, которого я никогда в жизни не видал, приехал — представьте себе — ко мне с теми же доводами о необходимости "примирения с Россией"”…

Не убедил? — спросил я, смеясь. Увы, нет, — засмеялся и И.Г.

И.Г. любил остроумие. И сам был остроумен. Верхи французской социалистической партии его хорошо знали, и как лидера русских социал-демократов в 1917 году, и как кратковременного представителя независимой Грузии. И вот как-то на съезд французской социалистической партии И.Г. пригласили как гостя. Считая его, вероятно, гостем почетным, председатель объявил, что среди нас присутствует “наш друг, известный русский и грузинский социалист Ираклий Церетели”, и предложил И.Г. выступить с приветствием съезду. Раздались аплодисменты. Для И.Г. предложение было неожиданно. Но председатель жестом предлагает ему выйти на трибуну. Делать

нечего. И.Г. поднялся на трибуну. Аплодисменты сильнее. А когда наконец стихли, И.Г. сказал (он хорошо говорил по-французски):

— Дорогие товарищи, я очень польщен (и т. д.)… Но я уже погубил две страны — Россию и Грузию, неужели вы хотите, чтоб я погубил еще третью — Францию…

Говорят, зал буквально взорвался от бури хохота и аплодисментов (французы любят остроумие и умеют его ценить). Под шум всеобщего "восторга", смешанного из смеха и аплодисментов, Ираклий Георгиевич и сошел с трибуны. (Сейчас "шутку" Церетели взялся выполнять президент-социалист Миттеран. И, как Бог свят, выполнит.)

Конечно, И.Г. был и оставался социалистом ("безработным"). Этого мундира не снимал, сам от себя не отрекался, но в выступлении на съезде было, по-моему, не только "остроумие". Как мне кажется, под остроумием лежало глубокое разочарование и в революции и в революционерах. Помню, как при Николаевском И.Г. как-то мне говорил: "Роман Борисович, да не слушайте, ради Бога, вы этих меньшевиков! Ведь всех меньшевиков нянька в детстве на голову уронила…"

И Николаевский, и я смеялись. Но и под этой шуткой я чувствовал нечто тоже не совсем шуточное. Недаром И.Г. не сотрудничал в меныпевицком "Социалистическом вестнике", а о некоторых меньшевиках, как, например, о Дане, отзывался весьма неодобрительно. С Даном у И.Г. дело дошло до разрыва отношений и опубликования открытого письма в "Воле России" (орган эсеров), ибо "Социалистический вестник" письмо Церетели отказывался напечатать.

Известно, что в июльские дни 1917 года резолюцию о возможности вооруженного подавления болыпевицкого выступления Совет рабочих депутатов принял под давлением главного из лидеров — И.Г.Церетели. Как-то мы говорили об этом. И.Г. рассказал, как психологически трудно было провести такую резолюцию.

"Ведь в Совете многие еще считали большевиков товарищами, пусть "заблуждающимися", но товарищами. И вот когда мы (небольшое число членов Совета) убедили принять эту резолюцию, Либер тоже выступил за эту резолюцию, но после с ним произошла истерика, настоящий истерический припадок, он рыдал, как ребенок, говоря, что никогда не мог себе представить, чтоб ему, социалисту, пришлось вооруженной силой подавлять выступление своих же товарищей-социалистов и рабочих…"{24}

Какова же судьба этого хрупкого (и честного) социалиста Либера при диктатуре его "все-таки товарищей"? Сначала Сталин сослал Либера в Сибирь, а потом — *без всякой истерики!* —

расстрелял. Тем “социализм” Либера и кончился. Его судьба (и его истерика) характерны для многих русских и нерусских (иностранных) социалистов. Это их почти религиозная слепота. И *их* судьба быть расстрелянными “своими же товарищами”.

В эти годы в Париже я дружил и с Николаем Владиславовичем Вольским (Валентиновым). Н.В. был очень интересным человеком и блестящим писателем. Его книги — “Встречи с Лениным”, “Малознакомый Ленин” и другие. О нем я буду говорить особо. Но Вольский не любил Церетели, а И.Г. не любил Вольского, отзываясь о нем не иначе, как “человек с нечистой совестью”. Почему? Не знаю. Говорят, когда-то, на собеседовании у Бунакова-Фондаминского, между ними произошла какая-то острая стычка. И вот однажды, когда я был у Вольских, он дал мне прочесть свою запись бесед с Плехановым в 1917 году в Москве, когда Плеханов приехал на Государственное совещание и жил у Вольских. В записи были резкие отзывы Плеханова о Церетели. Приведу их. Вольский писал: “Говоря о меньшевиках, Плеханов с особенной резкостью относился к Церетели. Он делал это с таким раздражением, что меня, хотя Церетели совсем не был моим героем, — просто коробило. У меня даже мысль промелькнула, уж не завидует ли Плеханов славе Церетели, в то время притягивавшего к себе внимание несомненно больше, чем Плеханов. После одной из резких фраз Плеханова по адресу Церетели я не выдержал и заметил:

— Георгий Валентинович, к Церетели вы очень несправедливы!

Это замечание прямо вздернуло Плеханова на дыбы.

— Обижать Церетели не входит в мои задачи. Его называют талантливым выразителем взглядов меньшевиков, и я, делая *уступку* общественному мнению, тоже называю его талантливым деятелем. Пусть будет так. Престиж Церетели, как видите, внешне поддерживаю. Это очень хорошо, когда нас, стариков, заменяют молодые товарищи. Но я все-таки не вижу, в чем талантливость Церетели? Достаточно ли он образован, чтобы в наше ответственное время играть роль, которую, видимо, он себе отводит. Я интересовался узнать, в чем и когда Церетели проявил свои теоретические познания, — никто не мог на это мне ничего указать. За всю жизнь он не написал, кажется, даже малюсенькой статьи. Никакой теоретической серьезной марксистской подготовки у него, по-видимому, нет. Можно ли теперь без теоретического компаса плавать на российском океане? А *Церетели плавает, и паруса его корабля раздувают только циммервалъд-кин-талъский ветер и большие аплодисменты, которыми награждает его невзыскательная аудитория.* На

Государственном совещании мы видели эффектную сцену — выразитель торгово-промышленных кругов Бубликов, под гром аплодисментов, пожимал руку Церетели, выразителю взглядов меньшевиков. Я с Бубликовым после этого говорил, он ясно отдает себе отчет в смысле и значении этой политической сцены. Но понимал ли ее Церетели — в том имею все основания сомневаться. Продуманности у Церетели нет. Есть только *кавказская декламация,* а с ней одной нельзя понимать ход исторических событий и ими управлять. Если из молодых общественных деятелей, выдвинувшихся в последнее время, взять, например, Савинкова и Церетели, то скажу вам: за одного Савинкова, понимающего, что Россия гибнет и что нужно для ее спасения, — *я десять Церетели отдам.* Понимания того, что нужно делать, у него нет". (Весь абзац о Церетели отчеркнут Вольским и его рукой написано: "Самая точная передача!" — Р.Г.)

Дальше Н.В.Вольский писал: "Будучи у нас, Плеханов написал три статьи: одну на тему "Россия гибнет", другую о значении Московского совещания и третью о Церетели. У меня под руками нет сейчас ни одной из них, не помню и их названий, но хорошо помню, что в появившейся в "Единстве" статье о Церетели не было и *сотой доли* тех язвительных суждений, которыми Плеханов его осыпал. Особая злоба, с которой он о нем отзывался, для меня и по сей день непонятна. Не было ли в ней какого-то личного момента? Было бы полезно (для истории) спросить об этом Церетели".

Зная эту запись Николая Владиславовича, я как-то и спросил Церетели, было ли что-нибудь личное в неприязни, с которой иногда выступал против него Плеханов? "Ну, конечно, было", — сказал И.Г. И рассказал следующее (после ухода Церетели я, как всегда, его рассказ записал. — Р.Г.): "Плеханов ко мне относился до 1917 года необычайно хорошо. И так он обо мне и писал в книге "Тернии без роз". Там он писал обо мне чрезвычайно лестно и высказывал личные симпатии, что у Плеханова было редко. Встретились мы в 1917 году очень дружески. Я к нему часто заходил. Плеханов сам заговорил со мной о том, что он бы хотел быть введен в Исполнительное бюро Совета, как и другие известные социалисты, с правом совещательного голоса. Сказал об этом Плеханов мне после моего доклада о войне в апреле месяце, когда была принята моя резолюция о необходимости продолжения войны. Я сказал Плеханову, что конечно, его вступление в Совет чрезвычайно желательно. Но Плеханов тут же мне сказал, что он только не хочет быть оторванным от товарищей, с которыми работал во время войны за границей, и просит также о введении на тех же основаниях Григория

Алексинского. Я ему ответил, что лично у меня к Алексинскому сердце не лежит, объяснил почему и сказал сразу, что это, вероятно, встретит большие затруднения. Но Плеханов стоял на своем очень твердо. Я сказал — хорошо, *я* передам ваше предложение и ничего не сделаю сам против него, но все-таки думаю, что оно вряд ли пройдет. Когда я об этом сказал в Совете — поднялась целая буря. Дан, Гоц, Чхеидзе и другие и слышать не хотели о вводе Алексинского, и его ввод был категорически отклонен. Несколько дней я не звонил Плеханову, он мне позвонил сам. Мы встретились. Я ему сказал, как дело было. И вот тут он обиделся насмерть и обвинил меня в том, что я не хотел этого, он говорил: "Если б вы поставили вопрос об Алексинском ультимативно, он прошел бы, а вы этого не хотели сделать". Это было началом большой обиды, ибо Плеханов из-за этого не вошел в Совет. После этого Плеханов прекратил мне звонить. Вторым фактом, осложнившим наши отношения, была история с Робертом Гриммом. Плеханов был резко против всех циммервальдцев. Когда Гримм был разоблачен как грязная личность, я потребовал от правительства его высылки из России. Плеханов это очень приветствовал, но обвинил меня в том, что я не воспользовался историей с Гриммом и не ударил по циммервальдцам вообще. Тут Плеханов написал свою резкую статью обо мне. Но основной обидой был факт неввода Плеханова в Исполнительное бюро Совета, причем Плеханов приписывал это "нежеланию Церетели"".

Отмечу, кстати, что в этой же записи Н.В.Вольский пишет о Плеханове так: “Плеханов несомненно был человеком злопамятным…” Думаю, эта злопамятность была и в отношении к И.Г.Церетели. Когда И.Г. кончил свой рассказ, я сказал:

А все-таки очень жаль, что так вышло с Плехановым. Ведь его имя как “отца русской социал-демократии”, его широкие связи в социалистических кругах Запада поддержали бы в Совете разумное, оборонческое крыло. Конечно жаль. Но Плеханов сам виноват в этом… — ответил И.Г.

Скажу несколько слов о “ненависти” социалистов к Алексинскому. Ее я наблюдал сам при общении и с эсдеками и с эсерами. Например, такой, казалось бы, мирный и благожелательный к людям человек, как С.М.Шварц, один из “столпов” “Социалистического вестника”, приходил в совершенный раж при разговоре об Алексинском. Такой, казалось бы, принципиальнейший антибольшевик “при всех обстоятельствах”, как М.В.Вишняк, приходил в такое же состояние, когда я говорил с ним об Алексинском. Почему же почти у всех русских социалистов имя Г.А.Алексинского вызывало

такую тотальную неприязнь? Я думаю, потому, что Алексинский один из первых обнародовал о связи Ленина с Парвусом и с деньгами немецкого генерального штаба. И эта неприязнь к Алексинскому, по-моему, говорила о том, что где-то в самой глубине глубин *социалистам* было неприятно и компрометантно эдакое чудовищное разоблачение *социалиста* Ленина, как получение им денег от кайзера. Странно? Для меня это было странно. Но у социалистов тут обнаруживалась (несмотря на их непримиримость к большевизму, на их идейную борьбу, на расстрелы, на кровь) какая-то *подсознательная социалистическая* круговая порука. “А все-таки наш”. Разумеется, не у ста процентов. У Плеханова, Потресова, Чайковского, Бурцева, Брешковской этого не было.

Помню, И.Г. интересно рассказывал о его пути из Сибири, из ссылки — в Петроград, когда началась революция 1917 года. Известно, что революция для всех была неожиданностью. Не только для эмигранта Ленина, но и для россиян внутри страны. Конечно, многие видели, чувствовали всякие неладности в России, ощущали разложение, бессилие власти. И все ж революция была как снег на голову. Особенно для ссыльнопоселенцев, каким был Церетели в Сибири, оторванных от нормальной жизни.

И вот в один день сногсшибательная весть — в Петрограде переворот… революция… И из столицы от революционного министра юстиции Керенского в Сибирь летят телеграммы, освобождая политических заключенных и ссыльных, а многих именитых из них, как Церетели, Брешковскую и других, превращая в героев. Вчерашние власти (исправники, прокуроры, губернаторы) обязываются оказывать им всяческое содействие в спешном приезде в революционную столицу — в Петроград.

И.Г.Церетели говорил, что путь был длинен и утомителен, ибо на каждой большой станции их встречали революционные толпы, красные знамена, цветы, приветственные речи, на которые надо было отвечать речью. Не помню точно где, кажется, в Томске ссыльных встретила несметная радостная революционная толпа, и какой-то прапорщик, местный лидер, зная, что Церетели противник войны, доложил ему, что они тоже “против войны” и давно уже задержали отправку целого поезда с снарядами для фронта. Прапорщик просил у Церетели его одобрения-распоряжения.

— Это был первый случай, когда я был поставлен лицом к лицу с реальной жизнью. И понял, что обязан взять на себя ответственность. Конечно, верно, я, как социалист, был против войны, но я понимал, что произойдет на фронте, если на каждой

российской станции начнут останавливать поезда с снарядами. Пришлось выступить перед толпой и перед ее делегацией, сказав, что такие самовольные задержки поездов с снарядами — вещь невозможная. А вы подумали, товарищи, о том, что может произойти на фронте с нашими братьями в окопах, если мы лишим их снарядов? Ведь немцы этим воспользуются.

И делегация и толпа поняли. И революционный прапорщик "отрапортовал" Церетели, что поезд с снарядами будет немедленно отправлен по назначению.{25}

— Вообще наше положение социалистов, членов Совета, психологически оказалось очень трудным, — говорил И.Г. — Ведь вся наша жизнь была борьбой с правительством, с существующим государственным строем, с государственной властью, и вдруг в один день революция поставила нас почти что на место правителей государства. Но правители государства обычно люди совершенно иной природы и иной психологии. В среде революционеров было всегда естественное отталкивание от "государства", от "власти". И среди нас не было людей с психологией "государственных деятелей". Этим и объясняется, что Керенский, изображавший из себя "государственника", плавал на поверхности, на этом и играл, не будучи вовсе годным для подлинно государственной работы. К тому же наше положение в Совете было психологически трудно и тем, что — помните, какая вырвалась тогда из народных глубин страшная стихия ненависти, мести, разрушения. Мы — большинство Совета — были, разумеется, против нее и пытались ввести ее в какие-то берега революционной законности и порядка. А вот Ленин, наоборот, всячески разнуздывал эту стихию, чтобы на ее волнах прийти к власти. Разумеется, его путь был не труден, но это был не наш путь.

И.Г. рассказывал, как, приехав из Сибири в Петроград, он вскоре был у Керенского: "В этом разговоре Керенский рассказал мне следующее. Знаете, говорил он, меня всегда губили друзья. Когда начались волнения в Петрограде, у меня была *интуиция* (И.Г. подчеркивает это слово, действительно характерное для Керенского, часто его употреблявшего. — Р. Г.), что петроградские волнения перейдут в революцию и солдаты обязательны придут к Государственной Думе. И я хотел пойти в казармы, чтоб *самому* вывести солдат на улицу и привести их к Думе. Но друзья (Керенский был близок тогда с Н.Н.Сухановым (Гиммером), с Н.Д.Соколовым. — Р.Г.) меня от этого отговорили, они не верили в революцию. А вы понимаете, ведь было бы совершенно иное дело, если бы я *лично* (подчеркнуто в рассказе Церетели. — Р.Г.) привел солдат к Думе!"

Известно, что Милюков, Плеханов, Гучков, Набоков (управляющий делами Временного правительства) и многие политики относились к Керенскому отрицательно. И все же мне казалось, что Церетели как-то уж слишком “нажимает педаль”, столь уничтожительно трактуя Керенского. Когда он назвал его “паяцом”, я сказал: “Стало быть, вы согласны с стихотворением Зинаиды Гиппиус?” — “А я его не знаю”. — Я привел: “Проклятой памяти безвольник,/ И не герой, и не злодей,/ Пьеро, болтун, порочный школьник,/ Провинциальный лицедей”. — “Вполне”, — ответил Церетели.

Гораздо больше разговоров о Керенском у нас было в Нью-Йорке, в скромной квартире И.Г.Церетели на Бродвее, 3605 (около 148-й улицы). Приходя домой, я записывал рассказы, так же как и в Париже. Как-то я спросил И.Г. об отношении Совета рабочих депутатов к Керенскому. Церетели сказал: “Там у него не было никакого влияния, там его, в сущности, *все* презирали, а поддерживали только потому, что никого другого на роль “заложника” во Временном правительстве найти было нельзя. Поэтому Керенского и терпели. И со стороны кадетов к нему было такое же отношение (особенно у Набокова и Милюкова), но им Керенский был тоже нужен по той же причине, другого "заложника" и у них не было. Приходилось его терпеть. Вот он и болтался, делая свои “жесты ”.

Как-то заговорили о заговоре Корнилова и о роли в нем Керенского и Савинкова. Церетели сказал: “Савинков не играл двойной роли, все мы знали, что он с Корниловым, но у них были расхождения. Савинков поддерживал Корнилова в его восстании против революционной демократии, но не поддерживал его действий против Временного правительства, тут они расходились. Во время восстания Корнилова я у Савинкова был (Савинков в то время был назначен Керенским генерал-губернатором Петрограда. — Р.Г.) и прямо его спросил: за кого он? И будет ли он честно выполнять свои обязанности борьбы против Корнилова? Надо сказать, что в это время Савинков уже заискивал перед большинством Совета, и он дал мне слово, что будет действовать *честно*. У Керенского же, — продолжал Церетели, — была подлинно двойная игра. Он вел с Корниловым переговоры, но хотел сам возглавить восстание. Корнилов же этой роли ему не давал. Из-за первой роли произошел разрыв. Когда Керенский увидел, что Корнилов первой роли ему никогда не даст, а может быть, и расправится в конце концов с ним самим, Керенский и переметнулся к революционной демократии. Я виделся с Керенским во время восстания Корнилова. На него было жалко и противно смотреть. Это был совершенно потерянный человек. Он

мне сказал: "Некрасова и Терещенко я уже не вижу два дня. Меня все покинули. Все. — И вдруг он отодвигает ящик письменного стола, вынимает револьвер и прикладывает к виску с какой-то жалкой, глупой и деланной улыбкой. Он, вероятно, думал, что этот плохой актерский жест произведет на меня впечатление. Но на меня это не произвело решительно никакого впечатления, кроме чувства презрения и гадливости. Он мне тогда был просто противен. И, вероятно, почувствовав это, он как-то неловко отнял револьвер от виска и спрятал его в стол. Зато, когда корниловское выступление было подавлено, Керенский распушил хвост и вел себя так, будто это он подавил. Он вел себя опять как "вождь". На самом же деле во время выступления Корнилова Керенский был совершенно жалок. А после корниловского выступления и правые (кадеты) и левые (Совет) настолько презирали Керенского, что встал вопрос о его смещении. Для этой цели начались переговоры (негласные). От кадетов в них участвовали Набоков и Аджемов, а от Совета — я".

Церетели говорит, что об этом Набоков пишет в своих мемуарах, но не пишет об одном разговоре, самом интересном. У Церетели была мысль вместо Керенского выдвинуть В.В.Руднева{26}, или генерала Верховского, или же, как он сказал, "на худой конец" Авксентьева. Но при переговорах с Набоковым все это провалилось, ибо Набоков, выслушав Церетели, сказал: "Одним словом вы хотите вести вашу политику через человека более сильного, более подходящего, дабы ваша политика была более удачной. Но мы этого не хотим. Ведь вы же не согласитесь на наших кандидатов? Например, на Милюкова?" Церетели сказал: "Конечно, нет". — "На Алексеева?". — "Тоже нет". — "Так как же? Вы знаете, как я отношусь к Керенскому. (Набоков относился к Керенскому с полным презрением, — буквальные слова Церетели. — *Р.Г.).* Но пусть уж он остается, мы предпочитаем, чтоб он как-нибудь дотянул до Учредительного собрания. Лучших руководителей мы не хотим". — "Так все и осталось", — говорил И.Г.

Церетели говорил даже, что в возможности подавления восстания большевиков это отталкиванье от Керенского сыграло "некоторую роль". "Поддерживать Керенского" не хотели ни правые, ни левые, а этим пользовались большевики. Правильно писал один мемуарист, что победой над Корниловым "Керенский наголову разбил самого себя и тем похоронил "Февраль"".

Помню, Н.В.Вольский (под своим псевдонимом "Юрьевский") напечатал в "Социалистическом вестнике" (окт. 1953) статью о московском Государственном совещании и об известной речи на нем А.Ф.Керенского. По-моему, не желая портить личных

отношений с Керенским, Вольский завуалировал многое из этой речи, представив Керенского в образе “Алеши Карамазова”. Н.В. писал, что во время речи в заседании царило “страшное напряжение”: съезд увидел перед собой “Алешу Карамазова”. Церетели этой статьей возмутился до крайности: “Статья Юрьевского просто глупая, "страшное напряжение" было, но вовсе не оттого, что съезд увидел перед собой Алешу Карамазова, а оттого, что все увидели в Керенском — дешевого актера, Гамлета Щигровского уезда, от этого все себя так и чувствовали”.

Когда я спросил И.Г., неужто в речи Керенского действительно было все это: “я растопчу цветы души моей”, “я замкну сердце и брошу ключ в море”, Церетели махнул рукой, сказав: “Ну конечно, все это было. И еще худшее было. Я правил стенограмму речей для печати. Из его речи я выбросил множество этих ужасающих глупостей, но всех выбросить, конечно, не мог, и то, что появилось в печати, — точно и верно. Эта его речь была убийственна не только для него как политического деятеля, но и для всего Временного правительства, ибо все увидели, кто стоит во главе страны…”

В упоминавшейся записи Н.В.Вольского о его разговоре с Плехановым в августе 1917 года есть отзыв Плеханова и об этой речи Керенского: “Плеханов мне мрачно заявил, что никогда он не мог предположить, что Керенский захочет поставить себя в такое смешное и жалкое положение. "Что такое Керенский? Ведь он не только русский министр, а глава власти, созданной революцией. Слезливый Ламартин был всегда мне противен, но Керенский даже не Ламартин, а Ламартинка, он не лицо мужского пола, а скорее женского пола. Его речь достойна какой-нибудь Сары Бернар из Царевококшайска. Керенский это девица, которая в первую брачную ночь так боится лишиться невинности, что истерически кричит: мама, не уходи, я боюсь с ним остаться!"” (Весь абзац подчеркнут Вольским, и его рукой написано: “Абсолютно точная передача!” — Р.Г.).

Признаюсь, мне неприятно приводить эти жестокие отзывы об А.Ф.Керенском потому, что Керенский как политический деятель (несмотря на все недостатки) никогда не был “человеком Зла”. “Людьми Зла” были Ленин, Троцкий, Зиновьев, Сталин, которым было “наплевать на Россию”, “плевать на народ”. Керенский был, конечно, “человеком Добра”. Он любил Россию, любил народ и хотел ему добра. Но я привожу цитаты потому, что это — *история.* И от нее никуда не уйти.

Сейчас я нарочно возьму отзыв друга Керенского, Федора Августовича Степуна, который до конца жизни относился к Керенскому дружественно, а в 1917 году был у Керенского

начальником политического отдела военного министерства. Вот что пишет Ф.А. о той же речи Керенского на Государственном совещании: “…Керенский угрожал темным силам, с которыми все время боролся и от которых искал защиты у собравшихся в Большом театре. Заговорив со своими невидимыми врагами, Керенский, и без того замученный и затравленный, вдруг потерял всякое самообладание. Его сильный, выносливый голос стал то и дело срываться, переходя минутами в какой-то зловещий шепот. Чувство меры и точность слов, которые никогда не были сильными сторонами ораторского дарования Керенского, начали изменять ему. С каждой фразой объективный смысл его речи все больше и больше поглощался беспредельным личным волнением. Зал слушал с напряженным вниманием, но и с недоумением. Я сидел на эстраде совсем близко от стола президиума. По лицу Керенского было видно, до чего он замучен, и, тем не менее, в его позе и в стиле его речи чувствовалась некоторая нарочитость; несколько театрально прозвучали слова о цветах, которые он вырвет из своей души, и о камне, в который он превратит свое сердце… Но вдруг тон Керенского снова изменился, и до меня донеслись на всю мою жизнь запомнившиеся слова: "Какая мука все видеть, все понимать, знать, что надо делать и сделать этого не сметь!" Более точно определить раздвоенную душу "Февраля" невозможно. Керенский говорил долго, гораздо дольше, чем то было нужно и возможно. К самому концу в его речи слышалась не только агония воли, но и его личности. Словно желая прекратить его муку, зал на какой-то случайной точке оборвал оратора бурными аплодисментами. Керенский почти замертво упал в кресло”.

Уже это описание речи Керенского ФА.Степуном подтверждает, что отзывы И.Г.Церетели были объективно правдивы.

Однажды в Нью-Йорке Керенский, (я думаю) зная об отношении к нему Церетели и зная, что я хорош с И.Г. и встречаюсь с ним, как бы обронил в разговоре: “Не понимаю, почему мои отношения с Ираклием в Нью-Йорке как-то испортились, в Париже у нас были дружеские отношения”. Я понял, это говорится для того, чтоб я передал Церетели. Я передал. На что И.Г. ответил: “Все он по обыкновению врет. Никогда у меня с ним хороших личных отношений не было. В Париже он передо мной заискивал потому, что у меня были дружеские отношения с видными французскими социалистами — Пьером Реноделем, Рамадье и другими. А у него никакой связи с ними не было. Вот он и хотел, чтобы я его с ними свел”.

В 1951 году в Нью-Йорк из Германии приехал Николай

Владимирович Воронович. Воронович — военный с красочной биографией. В прошлом — камер-паж вдовствующий императрицы Марии Федоровны{27}. В 1917 году (можно сказать) — “камер-паж” Александра Федоровича Керенского. Примкнув к эсерам в революцию, Воронович остался верен Керенскому (и близок) до смерти: и в революцию, и в эмиграции. В гражданской войне Воронович был не красным, не белым, а “зеленым” (“зеленая армия, кустарный батальон”) и командовал “зелеными” где-то в горах Крыма. Это он интересно описал (“Меж двух огней”. “Архив русской революции” № 7).

И вот как-то у нас на 113-й улице в Нью-Йорке Н.В. рассказал мне историю, в которую я спервоначала не очень поверил. Воронович говорил, что когда государь с семьей был отправлен из Царского в Тобольск, в Петрограде создалась группа офицеров, поставившая задачей организацию побега царской семьи из Тобольска. У Вороновича с этой группой была связь. И он сказал мне, что на подготовку побега государя с семьей он (Воронович) передал этой группе офицеров два миллиона рублей, полученных им (Вороновичем) от А.Ф.Керенского из “секретных фондов”.

Несколько ошеломленный рассказом, я спросил Николая Владимировича: “Ну, а почему ж эта попытка не удалась?” — “Почему? Да потому, что офицеры разворовали деньги и пропили”. И добавил: “Если б я это только мог предвидеть, я сам бы взялся за это дело”. Одну фамилию из офицерской группы он называл — ротмистр Марков.

Тому, что деньги “разворовали и пропили”, я не удивился. Революция ведь разложила вовсе не только солдат, но и офицеров (и даже генералов!). На эту тему можно было бы написать документально-исторический труд. К сожалению, он не написан. О таком же разворовании денег рассказывает монархист полковник Ф.В.Винберг[1] (член Рейхенгальского монархического съезда) в книге “В плену у обезьян. Записки контрреволюционера”. Оказывается, суммы, полученные группой офицеров на поднятие восстания в Петрограде в дни корниловского мятежа, были растрачены и пропиты. Глава заговора Гейман решающую ночь пьянствовал в “Вилла Роде”, а главные заговорщики полковники Сидорин и де Симитьер оказались “в нетях”.

С полковником Ф.В.Винбергом я вместе сидел в киевском Педагогическом музее под арестом у петлюровцев в декабре 1918 года. Должен сказать, что при переговорах с петлюровцами в музее Ф.В.Винберг держал себя с исключительным достоинством.

Через несколько дней после рассказа Вороновича я завтракал с А.Ф.Керенским на Ист-Сайд в его любимом скромном ресторане.

Я сказал ему о рассказе Вороновича и спросил: правда ли это? Керенский недовольно насупился и отрывисто пробормотал: “Не знаю, не знаю, ничего не могу сказать… После моей смерти мой архив будет опубликован”, — и быстро перешел к другим темам. Про себя я подумал: Керенский не опроверг? А то, что не хочет мне говорить, — понятно. Я решил спросить Церетели. И.Г. мог и слышать об этом и во всяком случае знал тогдашнюю обстановку.

Вскоре, сидя у Церетели, я рассказал ему и о рассказе мне Вороновича, и об ответе Керенского на мой вопрос. “Как вы думаете, И.Г., это могло быть?”, — спросил я. Я ждал, что И.Г. засмеется, махнет рукой и скажет: “Какая болтовня! Какая чепуха!” Но этого не последовало. И.Г. задумался, у него иногда это бывало: прежде чем ответить на какой-нибудь вопрос, он довольно долго молчал. Потом И.Г. спокойно и серьезно сказал, подчеркивая каждое слово: “Это вполне могло быть, это вполне в духе Керенского, в его стиле”. По ответу Керенского и по ответу Церетели я понял, что Воронович сказал мне правду — Керенский ему эти деньги дал!

Русский Париж

Собственно, в Париж я приехал к шапочному разбору. Через шесть лет началась “странная войнишка” (“drôle de guerre”). А вскоре ее “странность” перешла в страшность. Под военные марши немцы “вмаршировали” в Париж. Въехало, разумеется, и гестапо. А за ним и сам Гитлер. Русский Париж приказал долго жить. Его расцвет (даже блеск!) приходился на конец 1920-х годов. Чего тогда и кого тогда тут не было! Но все ж в 1933 году я еще захватил “отблеск” этого потрясаюшего русского Парижа, этой замечательной “унесенной России”.

Читателю, конечно, придется (как и при описании русского Берлина) на нескольких страницах зевнуть, ибо говоря о культурной, общественной, политической, литературной жизни русского Парижа, я должен дать много “сухих перечней”: русских знатных лиц, русских культурных организаций, русских православных церквей, русских газет, журналов, русских театров оперы, драмы, балета. Этих “декораций” требует моя главная тема — “унесенной России”. Кстати, когда первый том моей трилогии давно уже печатался, я наткнулся в “Вестнике РХД” на опубликование неизвестных стихотворных черновиков Влад. Ходасевича. Среди них: “А я с собой мою Россию/ В дорожном уношу мешке”. Прочтя, я ощутил совпадение чувств. Стало быть, у Ходасевича тоже было ощущение “уноса” подлинной России, навсегда и необратимо канувшей в Лету, как былая Эллада. Ведь в СССР{28} у большинства населения разрушена память о прошлой России, отняты ее традиции, отнята мысль, слово и духовно советское население омертвело: “мертвые молчат и живые молчат как мертвые”. Все вышло по “Бесам” Достоевского: “… все к одному знаменателю… полное послушание, полная безличность!”, — говорит Верховенский. И Бердяев в “Новом средневековье” правильно подтверждает: “Советское строительство ужаснее и кошмарнее советского разрушения. Это система Шигалева, система скотоводства, примененная к людям”. Умно сказал о советских людях один видный советский ученый, побывавший в командировке на Западе, своему старому другу-эмигранту: “Мы как собаки, все видим, все понимаем, а сказать ничего не можем”.

Итак! Русский Париж!

Православные церкви

В царствование императора Александра II, как раз в год освобождения крестьян, в Париже на рю Дарю был построен прекрасный русско-византийского зодчества собор Св. Александра Невского. Так он и стоял единственный русский православный храм в Париже до лет всероссийского потопа и революционного развала России. После гражданской войны Франция и (особенно) Париж наводнились русскими эмигрантами “всех прав и состояний”, от крестьян до князей. Сколько их приехало во Францию, не знаю. Думаю, две-три сотни тысяч. Ведь всего в мире российских эмигрантов оказалось тогда больше двух миллионов.

И когда я въехал в Париж, православных храмов в нем было уже больше тридцати. Укажу только те, что знаю: церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (15-й арон-дисман), Свято-Серафимо-Покровский храм (15-й), храм Знамения Божьей Матери (16-й), храм Всех Святых в Земле Российской Просиявших (16-й), храм Сергиевского подворья (19-й), Галлиполийская церковь (16-й), церковь Покрова Пресвятой Богородицы (15-й), церковь Всех Скорбящих Радости (5-й), церковь Трех Святителей (15-й). Всех в районе “большого Парижа” перечислить не могу. Знаю, что в двадцатых годах в епархии митрополита Евлогия (Георгиевского), возглавлявшего русскую православную церковь в Западной Европе, было больше 100 приходов. Так что эмиграция, унесшая Россию, унесла с собой и свою православную церковь.

Высшие учебные заведения{29}

В Париже было семь русских высших учебных заведений. При Парижском университете на трех факультетах были открыты русские отделения. Привлечено больше сорока русских ученых. Отмечу лишь некоторых. На юридическом — международное право — Б.Э.Нольде, А.А.Пиленко; политическая экономия — А.Н.Анцыферов, М.А.Бунатян; государственное право — А.Л.Байков, В.Н.Сперанский, П.П.Гронский; финансовое право — М.В.Бернацкий, А.М.Михельсон; гражданское право — В.Б.Эльяшевич; история государственных учреждений — Д.М.Одинец; уголовное право — В.Д.Кузьмин-Караваев. На физико-математическом — Д.П.Рябушинский, С.И.Метальников, Э.Г.Когбетлианц, С.Н.Виноградский и другие. На историко-филологическом — Н.К.Кульман (русская литература), А.В.Карташев (история русской церкви), М.Л.Гофман (пушкинист), А.Левинсон, Г.Лозинский, К.Мочульский и другие.

Франко-русский институт (высшая школа социальных, политических и юридических наук, дипломы которой были равны дипломам французских факультетов). Этот институт имел целью “подготовку молодых кадров для общественной деятельности на родине”. Увы, сие “не состоялось”, и “молодые кадры” осели во Франции, став французами. Председателем Франко-русского института был известный социолог Гастон Жез, председателем совета профессоров — П.Н. Милюков.

Мои перечни учреждений, лиц и указания на книги далеко не полны. Я уже говорил, что не пишу ни историю эмиграции, ни библиографию эмигрантских изданий. Я делаю только некий *набросок* русской культурной жизни в Париже, который дал бы примерное о ней представление.

Земско-городской союз открыл Русский коммерческий институт. Профессора — А.П.Марков, Л.Г.Барац, М.В.Бернацкий, К.О.Зайцев, Я.М.Шефтель, А.А.Титов, П.Н.Апостол, В.Ф.Сологуб, А.М. Михельсон и другие. Земгору же вместе с “Русской академической группой” принадлежит создание Русского народного университета с многими разнообразными отделениями. Существовал и Русский политехнический институт, имевший заочные курсы, которые помогли многим эмигрантам приобрести нужную техническую квалификацию.

ИМКА помогла созданию Русского высшего технического института. Председатель — П.Ф.Андерсон, помощник — проф. П.Паскаль. Совет профессоров — проф. П.Ф.Козловский, проф. Н.Т.Беляев, проф. Д.П.Рябушинский и другие.

И наконец, существующая доныне (можно сказать “знаменитая”) — Русская консерватория имени С.В.Рахманинова, помещающаяся в приятном особняке на авеню де Нью-Йорк (в мои времена — авеню де Токио). Ее создало Русское музыкальное общество. Классы — рояля, скрипки, виолончели, пения, духовых инструментов, теории музыки, вокального ансамбля, дикции, декламации, балетная студия. Директор — Н.Н.Черепнин. Преподаватели — Вл. И.Поль, О.Н.Конюс, С.Мелик-Беглярова, Б.Зак, А.Ян. Рубан, А.А.Бернарди, Н.Н.Кедров, В.И.Страхов, В.Вальтер, Ю.Конюс, Г.В.Окороков, Ф.Гартман, Е.Гунст, П.Видаль, Н.Н.Черепнин, кн. С.М.Волконский, А.И. Лабинский, Н.А. Шамье, СМ.Лифарь и другие.

Упомяну еще (хоть и не дававшие никаких дипломов) Высшие военные курсы генерала генерального штаба Н.Н.Головина, автора ценного многотомного труда “Российская контрреволюция в 1917-18 гг”.

Ученые, философы, писатели

Говоря о русских культурных силах за рубежом, нельзя обойти выдающихся русских ученых, работавших во французских научных учреждениях. Так, в Пастеровском институте всемирно известный академик Сергей Николаевич Виноградский стоял во главе отдела по исследованию микробиологии почв. Для него было куплено специальное владение, где были построены лаборатории. С.Н. проработал там тридцать лет, после его смерти заместителя не нашлось и лаборатории закрылись. В Пастеровском же институте работали профессор С.И.Метальников, доктор И.И.Манухин, профессор А.Безредка (бывший еще сотрудником Пастера). Работали доктора В.Н.Крылов, П.Н.Грабарь, Л.И.Кепинов, А.М.Гелен (рожд. Щедрина), К.Туманов, В.Шорин, В.М.Зернов, М.А.Волконский и другие. Во французском Аэродинамическом институте — всемирно известный в научных кругах профессор Дмитрий Павлович Рябушинский. В лабораториях Коллеж де Франс — знаменитый химик Алексей Евгеньевич Чичибабин, одна из лабораторий там так и называлась — “лаборатория Чичибабина”. Большую работу во Франции проделал известный зоолог К.Н.Давыдов, член Французской академии, автор свыше пятидесяти научных работ.

Перейду к вольным философам. В Кламаре (пригород Парижа) в двухэтажном особнячке жил высланный из большевицкой России Н.А.Бердяев, “Кламарский мудрец”. Этот особняк подарила Бердяеву какая-то состоятельная иностранка, поклонница его “персонализма”. За годы изгнания Бердяев написал множество (подчас противоречивых) книг: “Миросозерцание Достоевского”, “Смысл истории”, “Философия неравенства”, “Новое средневековье”, “Философия свободного духа”, “Христианство и классовая борьба”, “О назначении человека”, “Судьба человека в современном мире”, “Самопознание”, “О рабстве и свободе” и другие. Бердяев был, конечно, глубокий, интересный писатель. Здесь не место о нем говорить по существу. Но меня у Бердяева всегда как-то коробили его страстные “филиппики” против так называемой “формальной демократии”: “Этому умиранию демократии нужно только радоваться, так как демократия ведет к "небытию" и основана не на истине, а на формальном праве избирать какую угодно истину или ложь” (“Новое средневековье”). То же было и у о. Сергия Булгакова: “Религиозно-революционное, апокалипсическое ощущение "прерывности" роднит меня неразрывно с революцией,

даже — horribile dictu с русским большевизмом. Отрицая всеми силами души революционность как мировоззрение и программу, я остаюсь и, вероятно, навсегда останусь "революционером" в смысле мироощущения" ("Автобиографические заметки"). А я, грешный, пройдя сквозь ту же революцию, на старости лет думаю, что экзистенциально оправданней и мудрее бытие самого что ни на есть распоследнего "обывателя", чем какого-то там "революционера", указующего "путь человечеству". "Смирись, гордый человек!"

Мне был странен самый простой *жизненный факт:* заушаемая Бердяевым "формальная демократия" (пусть со всеми ее недостатками, зависимостью от обывателя, политическими плутнями, демагогией!) дала Бердяеву (и Булгакову) возможность в течение десятилетий полностью проявить себя, свои творческие силы, свою недюжинную личность ("персональность"). Живя в "формальной демократии", Бердяев спокойно мыслил, свободно написал множество книг (с поношениями "формальной демократии"!) и незадолго до смерти получил высокое признание — доктор honoris causa знаменитого Кембриджского университета (как известно, Великобритания — колыбель и цитадель "формальной демократии"), чего за всю семисотлетнюю историю Кембриджа из русских удостоились лишь Чайковский и Милюков. И умер Бердяев в своем "кламарском уединении" (подаренном ему "недорезанной буржуйкой") спокойно, окруженный заботами близких. Ну, а если бы он не был "выслан", а, как отец Павел Флоренский остался бы жить там, в отечественной сатанократии, которой под конец жизни Бердяев неожиданно стал слать "воздушные поцелуи". Об этом Бердяеве хорошо написал Г.П.Федотов: "ослепший орел, облепленный советскими патриотами". Нет никакого сомнения, что в СССР Бердяев был бы уничтожен на Архипелаге ГУЛАГ, как и автор "Столпа и утверждения истины" о. П.Флоренский, которого В.В.Розанов считал "умнейшим человеком России". Погиб о. П.Флоренский где-то на каторге в районе Соловков. Вероятно, Бердяев был бы уничтожен даже много раньше, ибо отец Павел был не только христианский мыслитель, но и выдающийся математик и физик и большевицкая мафия долго эксплуатировала этот его гений. Бердяев же ничего подобного дать мафии не мог, и уничтожение его (как множества других представителей русской культуры) наверняка произошло бы "ускоренным темпом". Поэтому, читая книги Бердяева с всяческими (разумеется, "сверхмудро", "духовно" обоснованными) выпадами против "формальной демократии", я всегда думал: слава Богу, как хорошо, что Бердяев живет-таки в "формальной демократии".

Вровень Бердяеву в смысле философского международного влияния стоял Лев Шестов (“Добро в учении Толстого и Ницше”, “Достоевский и Ницше”, “Власть ключей”, “На весах Иова”, “Афины и Иерусалим”, “Киркегард и экзистенциальная философия”, “Умозрение и откровение” и др.). Другие русские философы, связанные с Парижем — Ф.А.Степун (“Жизнь и творчество”, “Лик России и лицо революции”, “Достоевский и Толстой”, “Мистическое мировоззрение” и др.). Б.П.Вышеславцев (“Русская стихия у Достоевского”, “Этика преображенного эроса”, “Трагизм возвышенного и спекуляция на понижение”, “Вечное в русской философии” и др.); попавший после войны в лапы Советов и трагически погибший в концлагере Л.П.Карсавин (“Философия истории”, “О сомнениях в науке и в вере”, “Церковь, личность и государство”, “Джордано Бруно” и др.).

Блестяще была представлена русская художественная проза и поэзия. После большевицкого переворота (не ошибусь, если скажу) большинство русских известных прозаиков ушло в эмиграцию. Остались второстепенные — Телешов, Новиков, Серафимович и другие. Среди эмигрантов были и “старики”, как П.Д.Боборыкин (“Китай-город”, “Дельцы”, “Жертва вечерняя” и др.); Вас. Ив. Немирович-Данченко (“Страна холода”, “Плевна и Шипка”, “Соловки”, “Цари биржи” и др.). В отрочестве от родителей я слышал его фамилию “измененной” на “Не-в-меру-Вранченко”. Так, оказывается, его прозвали давным-давно за корреспонденции с театра военных действий (1877—78). Но оба старейшины русской прозы не попали в Париж. Боборыкин поселился в Швейцарии, где и умер. Немирович-Данченко — в Праге. Не в Париже умерли и Леонид Андреев (Финляндия), Александр Амфитеатров (Италия), Евг. Н. Чириков (Прага), А.Аверченко (Прага).

В Париже жили — И.А.Бунин (“Жизнь Арсеньева”, “Митина любовь”, “Лика”, “Окаянные дни”, полн. собр. сочинений), А.И.Куприн (“Юнкера”, “Елань”, “Храбрые беглецы” и др.). Б.К.Зайцев (“Анна”, “Дом в Пасси”, “Путешествие Глеба”, “Золотой узор”, “Древо жизни” и др.), И.С.Шмелев (“Солнце мертвых”, “Пути небесные”, “Неупиваемая чаша”, “Лето Господне” и др.), А.М.Ремизов (“В розовом блеске”, “Взвихренная Русь”, “Огненная земля”, “Посолонь”, “Звезда надзвездная” и др.), Д.С.Мережковский (“Рождение богов”, “Наполеон”, “Тайна Запада”, “Иисус Неизвестный”, “Франциск Ассизский”, “Данте” и др.), М.А.Осоргин (Ильин) (“Сивцев Вражек”, “Вольный каменщик”, “Свидетель истории”, “Книга о концах” и др.), Н.Н.Евреинов (“Театр вечной войны”, “Шаги Немезиды”, “Чему нет имени”, “История русского театра” и др.), П.П.Муратов

(“Образы Италии”, “Эгерия”, “Магические рассказы” и др.), В.В.Вейдле (“Умирание искусства”, “Вечерний день”, “Задача России” и др.), МААлданов (Ландау) (“Св. Елена”, “Девятое термидора”, “Чертов мост”, “Заговор”, “Ключ”, “Бегство”, “Истоки” и др.), Тэффи (“Восток”, “Черный ирис”, “Стамбул и солнце”, “Тихая заводь”, “Городок”, “Воспоминания” и др.), Б.Темирязев (Ю.Анненков) (“Сны”, “Тяжести”, “Рваная эпопея” и др.), С.С.Юшкевич (“Вышла из круга”, “Дудка”, “Голубиное царство”, “Автомобиль” и др., умер до моего въезда, в 1927 г.). Пропустил — В.П.Крымова, С.Р.Минцлова, Ив. Наживина, Илью Сургучева. Но это все — “боги второй величины”.

Русская поэзия была представлена хорошо: К.Д.Бальмонт, З.Н.Гиппиус, И.А.Бунин, И.В.Одоевцева, В.Ф.Ходасевич, С.К.Маковский (бывший редактор “Аполлона”), М.И.Цветаева, Г.И.Иванов, Г.В.Адамович, С.А.Соколов-Кречетов, Н.А.Оцуп. Из больших поэтов — Вяч. Иванов жил в Риме и редко наезжал в Париж.

К моему въезду в Париж уже создалась и чисто эмигрантская молодая интересная проза и поэзия: Я.Горбов, Г.Газданов, В.Набоков, И.Лукаш, Л.Зуров, Г.Кузнецова, Г.Евангулов, А.Седых, В.Варшавский, В.Яновский, Ю.Фельзен, А.Ладинский, В.Корвин-Пиотровский, Б.Поплавский, В.Смоленский, Г.Раевский, Мих. Струве, А.Штейгер, Е.Таубер, Ю.Тера-пиано, А.Гингер, Д.Шаховской, З.Шаховская, Б.Божнев, Д.Кнут, А.Присманова, А.Головина, П.Ставров и многие другие Тоже, вероятно, кого-нибудь пропустил.

Были в эмигрантской литературе сатирики, юмористы. Но главным образом “старорежимные”: П.Потемкин, Саша Черный, Тэффи, Дон Аминадо, Вл. Азов, Валентин Горянский. Одно время петербургские “сатириконцы”, со старым своим издателем Н.Корнфельдом, начали даже издавать “Сатирикон”. Но дело не пошло. А участвовали талантливые писатели и художники (Ю.Анненков, В.Шухаев, А.Бенуа, А.Яковлев, К.Терешкович, З.Серебрякова и др.). Приведу кое-что из парижского “Сатирикона”.

Рисунок: “Похоронная процессия, за гробом идут две равнодушные фигуры, и одна другую спрашивает: "Как вы думаете, попадет он в Царствие Небесное? — Не думаю… для этого он слишком застенчив…"

Или — *“Современная Клеопатра.* Голая, жирная, розовая, глаза прищурены, в ателье пусто и неуютно. Под рисунком подпись: “Какая тоска… Ни Цезаря, ни Антония — одни художники…"”

Прекрасную сатирическую прозу писала Н.А.Тэффи (урожд.

Лохвицкая, сестра поэтессы Мирры Лохвицкой, дочь петербургского профессора). Ее знаменитый рассказ “Городок” начинался так: “Городок был русский, и протекала через него речка, которая называлась Сеной. Поэтому жители городка так и говорили: живем худо, как собаки на Сене…”. Еще лучше был прославивший Тэффи рассказ “Кэфер”. Приехал в Париж русский эмигрант, отставной генерал. Друзья повезли его — показать “красоты Парижа”. Привезли на площадь Согласия с знаменитым египетским Луксорским обелиском и изумительной перспективой Елисейских полей, уходящей до самой Этуали. Конечно, друзья спрашивают: “Ну, как хорошо?… Нравится?” — “Хорошо-то хорошо… очень даже хорошо… но Que faire? Фер-то-кэ?” Это “Фер-то-кэ” так и врезалось в жизнь парижских эмигрантов.

Запоминающиеся сатиры в стихах писал Дон Аминадо (АЛ.Шполянский). Люблю его “Писаную торбу” — о неисправимых демократах-доктринерах.

Могу ли ждать от тучных генералов,
Чтоб каждый раз в пороховом дыму
Они своих гражданских идеалов
Являли блеск и в Омске и в Крыму.

Когда в поход уходит полк казацкий,
Могу ль желать, чтоб каждый на коне
Припоминал, что думал Златовратский
О пользе грамоты в безграмотной стране.

Ах, милые! Вам надо дозарезу,
Я говорю об этом не смеясь,
Чтоб даже лошадь ржала Марсельезу,
В кавалерийскую атаку уносясь.

Говорят, за это стихотворение автору “влетело по первое число” от редактора “Последних новостей” П.Н.Милюкова, где Дон Аминадо постоянно сотрудничал. Но у русско-парижского широкого читателя Аминад Петрович был в чести, очень популярен.

Гораздо более лиричен и “тих” был другой старый “сатириконец”, талантливый Петр Петрович Потемкин, до революции привлекший к себе внимание сборником “Герань”. В Париже Потемкин был настроен весьма ностальгически.

В утреннем рождающемся блеске
Солнечная трепыхалась рань…
На кисейном фоне занавески
Расцветала алая герань.

Сердце жило, кто его осудит:
Заплатило злу и благу дань-
Сердцу мило то, чего не будет,
То, что было, — русская герань.

Потемкин умер рано. До моего “въезда” в Париж. В 1926 году его похоронили на кладбище Пер-Лашез. К этой же группе поэтов надо отнести (известного тоже еще по России) Лоло (Л.Г. Мунштейна). Две его “ностальгические” строки так навсегда и запомнились: “Пыль Москвы на ленте старой шляпы/ Я как символ свято берегу”. (Умер Л.Г. в Париже в 1947 году).

Общественные организации

Русских организаций было много. “Президентом” русской эмиграции во Франции надо, конечно, считать бывшего посла Временного правительства во Франции Василия Алексеевича Маклакова. Он был представителем так называемого “Центрального офиса по делам русских беженцев”, учреждения, с помощью которого начиналась жизнь всякого русского эмигранта в Париже. На этом посту В.А. бессменно пробыл с 1925 года до немецкой оккупации, когда его арестовало гестапо и он из “офиса” переехал в тюрьму Шерш Миди (и довольно надолго).

Наиболее многочисленной из русских организаций в Париже был, конечно, РОВС (“Русский общевоинский союз”), основанный в двадцатых годах генералом П.Н.Врангелем. Многочисленность была естественна, ибо русская эмиграция во Франции (в противоположность таковой в Германии) была преимущественно военной. Здесь нашли оседлость остатки Белой армии. Увы, в истории эмиграции РОВС заслужил недобрую славу, и, во-первых, созданием внутри союза пресловутой “Внутренней линии”, во-вторых, похищением чекистами двух его возглавителей — генерала А.Кутепова (1930) и генерала Е.Миллера (1937). Провокатором-наводчиком похищений и возглавителем “Внутренней линии” был генерал Н.Скоблин. Об этих грустных и гнусных делах подробно-документально рассказывает Б.В.Прянишников в замечательной книге “Незримая паутина”. Надо уточнить, РОВС, в сущности, не был “общественной” организацией, это была воинская организация, по военной структуре и построенная.

Крупной общественной организацией попервоначалу был Земско-городской союз во главе с его основателем, бывшим председателем Временного правительства (первого состава) кн. Г.Е.Львовым (вскоре умер), бывшим министром Временного праввительства А.И.Коноваловым, бывшим министром Временного праввительства Н.Д. Авксентьевым, бывшим городским головой Москвы В.В.Рудневым, ростовским адвокатом В.Ф. Зеелером, доктором Н.С.Долгополовым и другими. В годы расцвета Земгор вел очень большую работу, поддерживая шестьдесят пять различных русских культурных и благотворительных учреждений, выдавая стипендии русским студентам, поступавшим в высшие учебные заведения Франции. Когда я въехал в Париж, во главе Земгора стоял Николай Саввич Долгополов, у которого я даже одно время работал (после Второй мировой войны).

Были в Париже: “Русская академическая группа” — профессор Е.В.Аничков, профессор П.П.Гронский, профессор С.И.Метальников, академик М.И.Ростовцев, академик Н.И.Андрусов, профессор Кузьмин-Караваев и многие другие; “Русское христианское студенческое движение”, опиравшееся на Сергиевское подворье; “Союз русских адвокатов” во главе с известными петербургскими, московскими, киевскими присяжными поверенными — О.С.Трахтерев, И.А.Кистяковский, Вяч. Н. Новиков, М.Г.Казаринов, Н.В.Тесленко, М.С.Маргулиес, Д.Н.Григорович-Барский и многие другие; “Союз бывших деятелей русского судебного ведомства” — сенатор Н.Н.Таганцев, Е.М.Киселевский, П.А.Старицкий, и другие.; “Российский торгово-промышленный и финансовый союз” — Н.Х.Денисов, С.ГЛианозов, Г.Л.Нобель и другие; “Федерация русских инженеров за границей” — П.Н.Финисов, В.П.Аршаулов, Э.В.Войновский-Кригер, В.А.Кравцов и многие другие; “Объединение русских врачей заграницей” — И.П.Алексинский, В.Л.Яковцов, А.О.Маршак, В.Г. Барац, В.Д. Аитов, К.С. Агаджанян; эти врачи создали “Русский госпиталь”, где работали большие русские специалисты во главе с известным московским профессором В.Н.Сиротининым; госпиталь обслуживал ежегодно больше пятисот человек больных; “Красный Крест” — граф П.Н.Игнатьев, Б.Е.Иваницкий, барон Б.Э.Нольде, доктор И.П.Алексинский и другие; при “Красном Кресте” — бесплатная амбулатория; “Общество русских химиков” во главе с А.А.Титовым; “Русская гимназия” — директор — бывший директор московской Медвед-кинской гимназии В.П.Недачин, его сменил Б.А.Дуров. За годы существования гимназия выдала больше девятисот аттестатов зрелости, признававшихся во Франции; “Национальная организация русских скаутов” во главе с известным “старшим русским скаутом”, основателем русского скаутизма еще в России О.И.Пантюховым; “Национальная организация русских витязей”; “Союз русских инвалидов”, “Казачий союз”, “Русские соколы”, “Общество ревнителей русской старины”, “Общество охранения русских культурных ценностей”, “Православное дело”, основанное матерью Марией (Е.Ю.Скобцовой, мученически погибшей в гитлеровском концлагере), “Союз русских сестер милосердия”, “Союз русских шоферов” (тысяча двести членов) — кто только в Париже не сидел тогда за рулем: генералы, адвокаты, инженеры, но масса — белое офицерство. Были землячества (московское, петербургское, киевское, харьковское и др.); существовали объединения лицеистов, правоведов, кадетов, полковые объединения, казачьи станицы (донцов, кубанцев, терцев), всех тех, кого “как

казаков” *как таковых* уже в 1919 году глава русского государства и глава партаппарата Яков Свердлов предписал “уничтожить”, и их уничтожили на 80–90 процентов (Постановление Бюро ЦК РКП(б) об уничтожении казачества). Как видим, “массовое уничтожение” людей как метод властвования началось задолго до Адольфа Гитлера.

Вот некий перечень русских организаций. Для “наброска” общей картины русской парижской общественной жизни, думаю, он достаточен. Да, забыл — “Союз русских дворян”, вызывавший кой у кого улыбку сострадания своей “археологичностью”. Но по-моему, а почему бы и нет? Люди вправе создавать любые “союзы”, по любым признакам, хотя бы по цвету волос или глаз: “союз блондинов”, “союз брюнетов”, “общество голубоглазых”, “объединение зеленоглазых”. У человеков мало утешений в мире. И если что-нибудь утешает — и слава Богу! “Союз дворян” занимался, кажется, установлением генеалогий, и, говорят, “не всегда достоверных”. И в этом ничего страшного нет, если это кого-нибудь утешало. Сам претендент на французский престол, граф Парижский в интервью с журналом “Матч” сказал: “В мире есть две вещи, которые всегда можно легко подделать — родословную и баланс”.

Пресса и издательства

О русских газетах и журналах в Париже надо сказать, что именно здесь — в Париже — десятилетиями было главное сосредоточие изданий свободного слова русской эмиграции. С начала 1920-х годов и до Второй мировой войны (1940 год) в Париже выходили две большие ежедневные газеты — “Последние новости” и “Возрождение”, ничем не уступавшие французской столичной печати (даже тиражом: “Последние новости” доходили до 40000 экземпляров).

“Последние новости” — республиканско-демократическая газета под редакцией П.Н.Милюкова. В своих статьях Милюков защищал положение, созданного им “Республиканско-демократического объединения”: “сохранение пафоса неприятия советской власти и борьба с ней, а следовательно, и революционное к ней отношение и отрицание всякого рода примиренчества”. В “Последних новостях” писали многие известные политические, общественные деятели и журналисты: П.Н.Милюков (передовицы), Е.Д. Кускова, генерал А.И.Деникин, кн. В.А.Оболенский, М.Осоргин, С.А.Поляков-Литовцев, С.Н.Прокопович, фельетоны (в стихах и в прозе) — Дон Аминадо, литературную критику — Г.В.Адамович, политический репортаж — Андрей Седых (будущий редактор ежедневной газеты в Нью-Йорке “Новое русское слово”), о театре — бывший директор Императорских театров кн. С.М.Волконский, о балете — известный балетный критик Андрей Левинсон, о музыке — Б.Шлецер, о живописи — Александр Бенуа, всех сотрудников перечислить не могу.

“Возрождение” была “органом русской национальной мысли”, издавал ее богатый человек А.О.Гукасов, редактировал первоначально П.Б.Струве, затем — Ю.Ф.Семенов. Сотрудничали: Н.С.Тимашев (передовицы), социолог с международным именем, позднее, в Америке, член редколлегии “Нового журнала”, Ив. А.Ильин, высланный большевиками мой бывший профессор юридического факультета Московского университета, в эмиграции автор многих ценных книг. После прихода Гитлера к власти И.А., как и некоторые другие русские националисты, увидел в гитлеризме “спасение России от большевизма” и писал в “Возрождении”: “Мы не должны смотреть на национал-социализм глазами евреев”. Но довольно скоро гитлеровцы показали Ивану Александровичу, что его “русский национализм” им не только не нужен, но и неподходящ. Ранним берлинским утром гестаповцы арестовали И.А., на полицейском грузовике доставив на допрос в

гестапо. После этого “камуфлета” разочарованный И.А. оставил пределы “третьего рейха”, уехав в Швейцарию, откуда глядел на гитлеризм, по всей вероятности, уже некими “глазами евреев”. Писал в “Возрождении” Георгий Мейер, автор глубоких, своеобразных статей о Достоевском. Литературным критиком был Владислав Ходасевич. Острым и лютым фельетонистом был А.Ренников (Андрей Митрофанович Селитренников), старый сотрудник петербургского “Нового времени”. Помню, полемизируя с эсерами М.В.Вишняком и С.М.Соловейчиком, Ренников писал: “Вишняк в цвету, Соловейчик заливается”. Писал в “Возрождении” талантливый былой “сатириконец” Валентин Горянский (Валентин Иванович Иванов), писал Илья Сургучев (“Осенние скрипки” в МХТ), Иван Наживин, всех не перечислить, обрываю.

Надо сказать, что художественная литература (проза и поэзия) в обеих газетах была представлена превосходно: И.А.Бунин, Б.К.Зайцев, Д.С.Мережковский, А.И.Куприн, И.С.Шмелев, М.А.Алданов, А.В.Амфитеатров, Н.А.Тэффи, З.Н.Гиппиус, К.Бальмонт, И.В.Одоевцева, М.И.Цветаева и многие из молодых (уже эмигрантских) писателей.

До моего въезда в Париже выходила еще третья ежедневная (эсеровская) газета “Дни” под редакцией А.Ф.Керенского, а до нее четвертая — “Общее дело” под редакцией В.Л.Бур-цева. Позже выходили многие еженедельные и ежемесячные издания — “Россия и славянство” (П.Б.Струве), “Евразия” (С.Эфрон, Артур Лурье, друг Маяковского, кого Маяковский рекламировал так: “Тот дурье, кто не знает Лурье”, Д.Свято-полк-Мирский, П.Сувчинский, П.Малевич-Малевский), “Звено” (М.Кантор), “Бодрость” (младороссы), “Борьба за Россию” (В.Бурцев, С.Мельгунов, А.Карташев, М.Федоров, П.Рысс, этот журнал предназначался для переброски в СССР), “Мла-дорoсская искра”, “Новая Россия” (А.Ф.Керенский), “Версты” (Д.Святополк-Мирский, М.И.Цветаева и др.), “Социалистический вестник” (Ф.И.Дан), “Иллюстрированная Россия” (М.П.Миронов), дававшая подписчикам прекрасные приложения, например известную книгу генерала Н.Н.Головина “Русская контрреволюция 1917–1918 гг.”. Выходили — “Военная быль” под редакцией А.Геринга, “Морские записки”, казачий журнал “Родимый край”, интересный литературный журнал “Числа” под редакцией Н.Оцупа, вокруг которого группировалась эмигрантская писательская молодежь, так называемая “парижская нота”, “Завтра” (“утвержденцы”, Ширинский-Шахматов), “Костер” (солидаристы), “Еврейская трибуна”, “Вестник Русского студенческого христианского движения”, “Православное дело” (мать Мария, К.Мо-чульский и

др.), “Часовой”, орган связи русского воинства, под редакцией В.В.Орехова; монархический вестник “Двуглавый орел”.

Перейду к “толстым” журналам. Традиционно-русским “толстым” журналом были “Современные записки”, ведомые эсерами Н.Д.Авксентьевым, И.И.Бунаковым (Фонда-минским), В.В.Рудневым, М.В.Вешняком и А.И.Гуковским. И в создании и в длительности существования этого исключительно ценного журнала большую роль сыграл А.Ф.Керенский. В 1920 году А.Ф.Керенский заключил соглашение с министром иностранных дел Чехословакии Эдуардом Бенешом. Это соглашение дало возможность эсерам начать несколько изданий, и в частности “литературный и общественно-политический” журнал “Современные записки”. Отдадим должное редакторам: ничего “эсеровского”, “направленческого” в журнале не было. Были, конечно, статьи редакторов, но журнала не портили. У журнала был очень широкий и весьма разнообразный круг сотрудников. Многие — с мировыми именами.

В отделе прозы и поэзии были напечатаны лучшие зарубежные вещи Ив. Бунина, Бор. Зайцева, Ив. Шмелева, М.Алданова, были вещи Андрея Белого (когда он был еще за границей), Максимилиана Волошина, З.Гиппиус, Евг. Замятина, Вяч. Иванова, А.Куприна, Д.Мережковского, Георгия Иванова, П.Муратова, М.Осоргина, А.Ремизова, В.Набокова, Б.Темирязева (Ю.Анненкова), А.Толстого (“Хождение по мукам”, первый, неизгаженный текст, автор был еще эмигрантом), Тэффи, В.Ходасевича, М.Цветаевой, неопубликованные рукописи Льва Толстого, воспоминания Ф.Шаляпина. Статьи — Н.А.Бердяева, А.Бема, В.Вейдле, Е.Брешковской, К.Бальмонта, Б.П.Вышеславцева, М.О.Гершензона, пушкиниста М.Гофмана, известного адвоката О.Грузенберга, кн. Петра Долгорукова, профессора С.Завадского, профессора С.Загорского, В.Зеньковского, А.Карташева, профессора А.Кизеветтера, неопубликованные письма Вл. Короленко к Луначарскому, Е.Кусковой, А.Левинсона, Н.Лосского, В.Маклакова, П.Милюкова, С.Мелыунова, В.Мякотина, профессора М.Новикова, профессора Б.Э.Нольде, А.В.Пешехонова, Ф.И.Родичева, академика М.И.Ростовцева, Л.Сабанеева, И.Солоневича, Ф.А.Степуна, а. Л.Толстой, Н.С.Тимашева, Г.П.Федотова, Г.В.Флоровского, профессора Д.И.Чижевского, Е.Н.Чирикова, профессора А.А.Чупрова, Льва Шестова, Б.Ф.Шлецера, Е.Юрьевского и многих других. Когда “Современные записки” праздновали выход 50-й книги журнала, на юбилей сочувственно отозвался такой совершенно уж далекий от “эсерства” (когда-то назвавший “народничество” революционным “сифилисом”) П.Б.Струве. Он

правильно предлагал заменить в подзаголовке журнала “общественно-политический” на “журнал русской культуры и литературы”. Так, в сущности, это и было. “Современные записки” внесли в русскую культуру разнообразный и ценный вклад. С 1920 года по 1940-й вышло семьдесят толстых книг. Но уже в 30-х годах (приход Гитлера к власти) издавать “Современные записки” стало трудно. Думаю, чехословацкая поддержка оборвалась, не до того было. В 1939 году в журнале остался один редактор — Вадим Викторович Руднев (безвозмездный, никак не могший бросить свое детище). В 1940-м (из-за войны) журнал приказал долго жить, а Руднев с женой Верой Ивановной с трудом пробрались в “свободную зону” Франции и провели некоторое время у нас на ферме в Гаскони, под Нераком. Вскоре в городе По Вадим Викторович умер (об этом я расскажу особо).

В 1937 году начал выходить второй “толстый” журнал “Русские записки” под редакцией П.Н.Милюкова (секретарь — М.В.Вишняк, издатель в прошлом эсер, богатый человек М.Н.Павловский). В заявлении от редакции П.Н.Милюков писал, что “Русские записки” “предполагают перейти от традиционного типа толстого журнала к типу, приближающемуся к обычным иностранным Revues, с подбором статей преимущественно актуального и информационного характера”. Но ни к каким Revues “Русские записки” не перешли, так и оставшись вторым “толстым” журналом, но гораздо более бледным и односторонним. Особенностью “Русских записок” была их подчеркнутая “секулярность”. Поэтому этот журнал и не мог захватить такой широкий спектр сотрудников, как “Современные записки”. Такие писатели, как Бердяев, Федотов, Карташев и многие другие, для атеиста и позитивиста Павла Николаевича были табу. Не зря же А.А.Кизеветтер как-то назвал Милюкова — “семидесятилетним комсомольцем”. В 1939 году из-за военных событий “Русские записки” оборвались на 21-й книге.

В противоположность “секулярным” “Русским запискам” в Париже выходили два серьезных журнала, посвященных религиозно-философским вопросам: “Путь”, орган русской религиозной мысли, под редакцией Н.А.Бердяева при участии Б.П.Вышеславцева, издававшийся русской Религиозно-философской академией и “Новый град” под редакцией И.И.Бунакова (Фондаминского), Ф.А.Степуна и Г.П.Федотова, посвященный, если так можно сказать, христианизации общественной жизни. Участники его были новым явлением в русском мире — русскими христианами-демократами. В № 1 Г.П.Федотов писал: “Против фашизма и коммунизма мы

защищаем вечную правду личности и ее свободы — прежде всего свободы духа”. Но эти журналы, как и всю свободную печать русского Зарубежья, безвозвратно и начисто смела Вторая мировая война.

Но насколько в Париже русская печать была широко и разнообразно представлена, настолько русский Париж — в полную противоположность русскому Берлину — почему-то был беден русскими издательствами. Может быть, это вопрос курса франка — не знаю. Но больших издательств, как берлинские “Петрополис”, “Слово”, издательство З.Гржебина, “Медный всадник”, издательство О.Дьяковой и другие, — в Париже не было. Возникали и почему-то быстро умирали: “Франко-русская печать”, “Русская земля”, “Родник”, кое-что издал книжный магазин Я. Поволоцкого, издавало “Возрождение” (преимущественно своих сотрудников) — Шмелева, Чирикова, Сургучева, Лукаша, Ренникова и других. “Современные записки” издали, вероятно, книг полтораста-двести (тоже своих сотрудников) — Бунина, Зайцева, Осоргина, Степуна, Ходасевича, Милюкова, Ростовцева, Нольде, Вишняка, Маклакова, Тэффи, Сирина и других. ИМКА-пресс издавала, но только книги по религиозно-философским вопросам — Бердяева, Булгакова, Шестова и других. Так что в 20-х годах русские писатели-парижане часто издавались в Берлине, Праге, Белграде, Софии. А когда пришли “гитлеровские времена”, везде в Европе русское зарубежное книжное дело резко упало. Въехав в Париж, я застал одно очень скромное, но все-таки действующее издательство — книжный магазин “Дом книги”. Там я и издал две свои книги — “Дзержинский” и “Ораниенбург”. Эта парижская бедность издательствами даже запечатлена И.А.Буниным в шуточной пародии:

Автор к автору летит,
Автор автору кричит:
Как бы нам с тобой дознаться,
Где бы нам с тобой издаться?
Отвечает им Зелюк:
Всем, писаки, вам каюк!
Отвечает им Гукасов:
Не терплю вас, лоботрясов!
Отвечает ИМКА: мы
Издаем одни псалмы!

Русские театры (драма, опера, балет)

Международное имя русскому театру было создано — именно здесь, в Париже — еще до революции, в 1912–1913 годах, “Русским балетом” С.П.Дягилева. В 30-х годах это эхо дягилевскои славы продолжалось, несмотря на неожиданную (на пятьдесят седьмом году) смерть создателя “Русского Балета”, уже эмигранта, С.П.Дягилева. Дягилев умер не в Петербурге, не в Москве, а в любимой им Венеции, на Лидо, в “Отель де Бэн” и похоронен на венецианском кладбище на острове San Michèle. На надгробном камне вырезано по-русски: “Венеция, постоянная вдохновительница наших успокоений”.

Из трех линий театра — драма, опера, балет — за рубежом русский балет был несравненно более долголетен и блестящ. Неудивительно. Природа искусства танца (как и музыка) международней, не связана ни языком, ни национальной почвой — как опера и особенно драма. А зритель танца — интернационален.

В эмиграции Дягилев восстановил свой балет в Монте-Карло в начале 1920-х годов. Выступали у него русские “звезды” первой величины: Тамара Карсавина (сестра замученного в советском концлагере известного философа Льва Плато-новича Карсавина) {30}, Бронислава Нижинская (балерина и хореограф), Ольга Спесивцева, Екатерина Девильер, Вера Тре-филова, Лидия Лопухова, А.Никитина, Любовь Чернышева, Лидия Соколова, Вера Савина, Фелия Дубровская, Вера Немчинова (потрясшая “весь Париж” в балете “Les Biches”, вызвав восторженную статью “самого” Жана Кокто[2], а он в балете был “свой человек” и “понимал толк”), Ида Рубинштейн, которая, впрочем, не столько танцевала, сколько “появлялась” на сцене, но “появлялась” удачно, Александра Данилова, Георгий Баланчин (позднее балетный завоеватель Америки), Сергей Лифарь (позднее руководитель балета парижской Гранд Опера), Леонид Мясин (танцовщик и хореограф), Борис Романов (танцовщик и хореограф), Николай Зверев (танцовщик и хореограф), Анатолий Вильзак, Станислав Идзиковский, Леон Войциковский и другие.

В своей статье Жан Кокто писал, что когда “эта очаровательная девушка вышла из-за кулис на пуантах ее длинных классических ног, мое сердце забилось. Я был поражен, как чудесно сумела она соединить классические фигуры с новыми жестами и движеньями плеч…”

В.Н.Немчинова рассказывает, что на первой репетиции “Les Biches”, когда она начала танцевать в сшитом для нее длинном

муслиновом платье (по рисунку Марии Лоренсен), Дягилев вдруг взял ножницы, подошел и обрезал платье, обнажив тем все ее ноги в трико. Так он предложил ей танцевать. По тем временам это было “неслыханно”. Немчинова говорит, что сначала ей было стыдно, ей казалось, что она танцует почти голая. Но Дягилев знал, что делал. В “Les Biches” Немчинова имела оглушительный успех. Другие “лоретки” танцевали в длинных, необрезанных платьях.

Александра Михайловна Балашова, знаменитая прима-балерина московского Большого театра с 1921 года жила в Париже. Здесь она открыла балетную школу в зале Плейель. В 1963 году директор балетного театра в Страсбурге обратился к ней с просьбой поставить балет “Тшетная предосторожность” Доберваля, в котором в свое время в роли Лизы А.М. выступала в Москве. А.М. согласилась. В постановке Балашовой балет в Страсбурге имел большой успех. Труппа совершила с ним турне по всей Франции. Скончалась А.М. под Парижем в 1978 году.

Надо сказать, что в то время как советский балет Москвы и Петербурга (мне противно, как и Бунину, писать слово “Ленинград”) много больше полувека все топтался (и топчется) на одном “классическом па”, что вызвало бегство на Запад балетной “премьерной” молодежи (Макарова, Нуреев, Барышников, Годунов и др.), — Дягилев в своих художественных и хореографических исканиях шел резко “вперед”, поведя за собой весь балет Запада. В этом ему помогали русские композиторы: И.Ф.Стравинский (“Песнь соловья”, “Пульчинелла”, “Поцелуй феи”, “Аполлон Мусагет”), С.С.Прокофьев (“Стальной скок”, “Блудный сын”), Н.Черепнин, А.Глазунов; из молодых эмигрантов — Н.Набоков (“Ода”), Вл. Дукельский (“Зефир и флора”), Игорь Маркевич; из композиторов-иностранцев — Дариус Мило, Ф.Пуленк и другие. С Дягилевым работали художники: М.Ларионов, Наталия Гончарова, Леон Бакст, Павел Челищев, Мст. Добужинский, Сергей Судейкин, кн. А. Шервашидзе, Жорж Якулов, Наум Габо; из художников-иностранцев: П.Пикассо, Ж.Брак, М.Утрилло, А.Дерен, Жорж Руо, Мария Лоренсен и другие; Хореографы: М.Фокин, Н.Зверев, Б.Нижинская.

Русскую балетную традицию Дягилева за рубежом подхватили многие: Георгий Баланчин (в Америке), Сергей Лифарь в парижской Гранд Опера, путешествующие по разным странам труппы — князя Церетели и Со1опеГя de Basil (в переводе на русский — бывший полковник Василий Григорьевич Воскресенский), Иды Рубинштейн, маркиза де Куэваса, Леонида Мясина, В.Немчиновой — А.Долина, Бориса Романова, Георгия Скибина и другие. К тому же — время шло. На мировую сцену

вышла и молодая русская зарубежная смена: Андрей Еглевский, Борис Князев, Д.Лишин, М.Панаев, Т.Ря-бушинская, Т.Туманова, Ир. Баранова, Л.Черина (черкешенка Чемерцина), В.Блинова, О.Морозова и другие. Это все воспитанники нескольких балетных студий знаменитых русских балерин: в Париже преподавали — М.Кшесинская, Л.Егорова, О.Преображенская, А.Балашова1, так что русская балетная традиция не порывалась. О русском балете за рубежом литература громадна. И мемуары (С.Лифарь, Борис Кохно, М.Фокин и др.) и работы критиков-балетоманов: из русских Андрея Левинсона, а работам иностранцев несть числа! Прав Сергей Лифарь, писавший, что “мировой балет всей первой полодины XX века есть создание балетных сил русской эмиграции”. Это не самохвальство, а авторитетное утверждение факта в истории современного искусства.

Русская опера тоже одно время блеснула русскими зарубежными силами во главе с Ф.И.Шаляпиным. Но блеск этот был, естественно, не столь длителен, как у балета. В Париже 20-х, 30-х годов жило много известных оперных и камерных певцов-эмигрантов: М.Н.Кузнецова (из Большого театра), Н.С.Ермоленко-Южина, Лидия Липковская (примадонна театра Зимина), Н.Карандакова, Ян Рубан, Женя Турель, Нина Кошиц, Е.А.Садовень, М.С.Давыдова, А.Е.Яковлева, Лисичкина, бас А.Мозжухин, бас Запорожец (ему, говорят, сам Шаляпин признавался: эх, братец, мне бы твою “октавку”!), тенор Поземковский, тенор Александрович, Кайданов, Г.Гришин и, наконец, гений русской оперы Федор Иванович Шаляпин. Сил для первоклассной оперы было больше чем надо. Тем более, что в Париже жили: и известные режиссеры — А.Санин, Н.Евреинов; и дирижеры — Э.Купер, А.Лабинский; и театральные художники — И.Билибин, К.Коровин и другие; и такие хореографы, как М.Фокин.

И вот стараниями М.Н.Кузнецовой, при материальной поддержке ее мужа Альфреда Массне, в 1929 году в Театре Елисейских полей (больше двух тысяч мест!) открылись спектакли “Русской оперы” с участием Ф.И.Шаляпина. Режиссеры — Санин, Евреинов; художники — Билибин, Коровин; хореограф — Фокин. В течение шести месяцев эти представления стали неким русским “триумфом”: “Борис Годунов”, “Князь Игорь”, “Русалка”, “Царская невеста”, “Царь Салтан”. Успех — и, конечно, прежде всего ошеломительный успех Шаляпина — по своей художественной силе был равен успеху лучших балетов Дягилява.

Театральный критик “Последних новостей”, бывший директор Императорских театров кн. С.М.Волконский об одном из спектаклей писал: “Русский праздник продолжается. Это было

торжество! Кто не видел, не может себе даже вообразить тех зрительно-слуховых видений, которые перед ним проходили… Видевшие московскую постановку в декорациях Врубеля отдают пальму первенства парижской". Столь же восторженно писали и французы: "Présentation magnifique!.. Véritable manifestation d'art qui ne peut manquer de donner complète satisfaction au spectateur le plus difficile".[1] ("Paris Soir", 2 / 11.1929). ("Восхитительное представление!.. Спектакль подлинного искусства, который не может не удовлетворить даже самого требовательного зрителя".)

Но долголетия у русской оперы в Париже, разумеется, быть не могло. Через шесть месяцев "Русская опера" отправилась в Южную Америку, где гастролировала с успехом, но потом… распалась. Правда, кн. Церетели удачно дал эти оперы в Лондоне, Брюсселе, Барселоне. Но в Париже русская опера уже не поднялась.

Еще труднее была создать некий "репертуарный театр" русской драмы. Для него, как и для русской оперы, не хватало зрителей. Но попытки создать русский театр начались с самого начала появления во Франции русской эмиграции, ибо известных и больших русских актеров было много. Из МХТ в эмиграцию ушла так называемая "Пражская группа": гениальный Михаил Чехов, Вырубов, Массалитинов, Лев Булгаков, Варвара Булгакова, Германова, Астрова, Крыжановская, Греч и Павлов, Барановская, Токарская, Вера Соловьева, Николай Колин, Зелицкий. Из студии МХТ — Е.Липовская, Григорий Хмара, Богданов. Из других театров — знаменитая Е.Н.Рошина-Инсарова. Д.Кирова, И.Мозжухин, Рахматов, ЭсПе. В театре "Мадлен" Н.Ф. Балиев с успехом возобновил свою неповторимую "Летучую Мышь". В театре Шатле открылся "Театр русской драмы", где Е.Н.Рощина-Инсарова выступала в пьесе Немировича-Данченко "Цена жизни", выступали В.М.Греч, П.А.Павлов, А.А.Вырубов. В пьесе Гольдони "Хозяйка гостиницы" под режиссурой Рахматова с успехом выступала молодая актриса студии МХТ Е.Липовская. Актриса Д.Н.Кирова основала "Русский интимный театр", дававший спектакли на улице Кампань Премьер. Актер Эс-Пе основал "Зарубежный камерный театр". Известный режиссер Федор Комиссаржевский открыл театр-кабаре "Радуга", вскоре объединившийся с Никитой Балиевым. Большим заслуженным и длительным успехом пользовались Георгий и Людмила Питоевы, дававшие в театре "Матюрен" на французском языке пьесы Поля Клоделя, Жана Ануя, Пиранделло. Из молодых актрис сделала французскую карьеру Елизавета Кедрова (Лиля Кедрова), выступавшая в театре и кино.

Но в дни моего въезда в Париж эти театральные начинания

были уже в прошлом (кроме Питоевых). При мне организовался довольно скромный русский театр, главным образом из молодых актеров (всех не помню): Богданов, Петрункин, Бологовской, Чернявский, Загребельский, Карабанов, Бахарева, Мотылева, актрисами со стажем были Крыжановская (из МХТ), Токарская (из МХТ).

Этот театр, дававший пьесы в зале “Журналь” (100, рю Ришелье), был задуман как более-менее “репертуарный”: пьесы шли еженедельно по субботам и воскресеньям. В 1936 году (с января по май) театр дал девяносто представлений. И с успехом. Причем ставились пьесы не только эмигрантов-писателей, но и советских: “Новый дом” Булгакова, “Дорога цветов” Катаева, “Чудеса в решете” Толстого, “Волчья тропа” Афиногенова и другие. Из эмигрантов — “Линия Брунгильды” Алданова, “Крылья Федора Ивановича” Хомицкого, вечер юмора из произведений Тэффи, “Изобретение Вальса” Набокова, поставлен был и мой “Азеф”. Режиссировал его артист студии МХТ Григорий Хмара, в Москве стяжавший успех в пьесах “Потоп” и “Сверчок на печи”.

Сие событие с моим “Азефом” произошло так. В Париже 20-х, 30-х годов большую роль в русской культурной жизни играл Илья Исидорович Фондаминский (Бунаков), мученически погибший в гитлеровском концлагере Аушвиц. Передают, что уже арестованный, в Компьенском лагере (под Парижем) он принял там христианство. А в Аушвице будто бы вступился за избиваемого заключенного и был забит насмерть.

Илья Исидорович был человеком необычайной, как говорят, “кипучей” энергии, что-то юношеское было в этих его вечных беззаветных заботах о деле русской культуры в эмиграции. Он был одним из создателей и редакторов “Современных записок”, где публиковал свою большую историософскую работу “Пути России”, при “Современных записках” создал русское издательство, он же основал “Русские записки”, но по “не зависящим от него обстоятельствам” этот журнал перешел в руки П.Н.Милюкова: издатель, М.Н.Павловский, в прошлом эсер, как и Фондаминский, не пожелал, чтоб “Русские записки” велись фондаминским в христианско-демократическом духе, предпочитая позитивиста П.Н.Милюкова. И.И. Фондаминский от эсерства в эмиграции ушел, став христианским демократом. Оставив “Русские записки” Милюкову, он стал вместе с “созвучными” ему Г.П.Федотовым и Ф.А.Степуном издавать христианско-демократический “Новый град”. Большое участие И.И. принимал в привлечении к эмигрантской литературе молодых (уже эмигрантских) поэтов и писателей. Создал их литературную группу под названием “Круг” и помог издавать

альманах того же названия. Будучи человеком состоятельным, И.И. помогал многим материально. Вообще в смысле кипучести, разносторонности, неутомимости и бескорыстия его дел (я думаю) Илье Исидоровичу в эмиграции не было равных.

Вот и “Русский театр” был его созданием. Он сколотил некую “группу содействия” (А.Гурвич, М.Алданов, Н.Тэффи, Н.Авксентьев, В.Зензинов и др.), сбил для театра актерскую группу, преимущественно из молодых и создался “Русский театр”. Я попал в его орбиту после случайного разговора с В.М.Зензиновым о моем романе “Азеф” (“Генерал БО”). Не в пример другим эсерам, усмотревшим в моем романе чуть ли не пасквиль на эсеров (например Брешковская даже запретила, чтобы кто-нибудь приносил мою книгу в ее дом), Зен-зинов (он тоже в романе выведен под его настоящей фамилией, как и другие) никаких “плохих чувств” к роману не питал. Улыбаясь, он сказал мне, что спервоначала подумал, что я написал роман из китайской жизни. — “Почему?” — “Да потому, что у нас никто Боевую не называл — “БО”, всегда говорили “Б.О.” (то есть “Бе. О.”)”. И еще В.М. удивился, что я использовал его воспоминания о Б.О., которые печатались в газете “Форвертс” на идиш. “Может быть, вы владеете идиш?” — улыбаясь, спросил В.М. — “Нет, к сожалению. Но Николаевский дал мне ваши воспоминания на русском языке”. Этому В.М. не удивился, он знал — что только в архив Николаевского ни попадало.

В этом разговоре я и упомянул, что по этому роману у меня написана пьеса “Азеф”. Зензинов заинтересовался: “А знаете, я скажу об этом Илье Исидоровичу, это может заинтересовать "Русский театр"”.

Сказать И.И. было просто, ибо Зензинов жил у Фондаминского. Они были друзья с отроческих лет, к тому же партийные товарищи, эсеры. Вскоре я получил от Фондаминского “пневматичку”, он приглашал меня к нему. Я пришел. Дверь открыл сам Фондаминский. Высокий, хорошо сложенный, красивые черты лица, седоватые волосы; в целом — человек видный, приятного облика. Поздоровались. Провел через ряд комнат в гостиную. Еще недавно, когда была жива его жена Амалия Осиповна, женщина (как говорили) редкой красоты и обаятельности, друг Зинаиды Гиппиус, кому Гиппиус посвятила немало стихотворений, в этой просторной и (вероятно) дорогой квартире Фондаминские давали “чаи”, на которых (как говорил Зензинов) пребывал весь русский литературно-музыкально-артистический и политический Париж: Мережковский и Гиппиус, Бунины, Зайцевы, Шмелев, Тэффи, Аминадо, Ходасевич, балерины Карсавина и Федорова 2-я, художники А.Яковлев, Н.Гончарова,

М.Ларионов, В Шухаев, Борис Григорьев, мексиканец Диего Ривера, пианист Артур Рубинштейн; политики: Милюков, Керенский, Струве, Авксентьев, Церетели, Вольский (Валентинов), литературная и актерская молодежь… Теперь квартира носила холостяцкий характер, жили только Фондаминский и Зензинов. Комнаты, через которые мы прошли, заставлены полками с книгами, в одной комнате — стучала на пишущей машинке мать Мария (Скобцова, погибшая в гитлеровском концлагере Равенсбрук). Из другой вышел Зензинов.

Мы сели в гостиной — Фондаминский, Зензинов и я. Фондаминский сразу “взял быка за рога”. Видимо к роману он, как и Зензинов, не относился “в штыки” (как Брешковская). Я коротко рассказал о пьесе, о ролях. Фондаминский спросил, не хочу ли я прочесть пьесу у него всей труппе “Русского театра”. Я согласился. И вскоре чтение состоялось. “Председательствововал” Фондаминский, были: Григорий Хмара и все актеры труппы — Богданов, Петрункин, Чернявский, Загребельский, Карабанов, Токарская и другие.

Когда я читал, я был уверен, что пьеса моя хороша. Только позже я понял, что все “как раз наоборот”. По окончании чтения Фондаминский попросил присутствующих высказываться. Актеры высказывались: и все положительно. Только один (помню) выразился “загадочно”: “Во всяком случае, — сказал он, — пьеса Романа Борисовича не хуже пьесы Алданова "Линия Брунгильды"”. Комплимент довольно двусмысленный, ибо поставленная этим театром “Линия Брунгильды” была, по-моему, каким-то “нагромождением разговоров”. Итак, мой “Азеф” пошел на сцену “Русского театра”.

Теперь-то я знаю, почему моя пьеса была плоха. Потому, что в ней не было никакого *“театра”,* никакой, совершенно необходимой для сцены, “театральной игры”, никакой “игровой завлекательности”, без чего “театра” нет. Это были “исторические сцены”, быть может неплохие по диалогам, но *театра, игры, сцены* не было. Правда, когда я прочел левой ногой состряпанную в СССР А.Толстым пьесу “Азеф”, я увидел, что такой *халтурищи я,* конечно, не написал. Но “Азеф” Толстого и не увидел рампы даже в СССР, сцены которого больше полувека трещат от отвратительной пропагандной халтуры.

Режиссировал “Азефа” Гр. Хмара. Он же взял роль Савинкова, Каляева — Богданов, Сазонова — Петрункин, Азефа — Загребельский, Ивановскую — Токарская, жандармского генерала — Чернявский. Присутствуя на репетициях, я видел, что никакого Савинкова Хмара не сыграет. Савинков слишком для него “тонок”. Эту психологическую “тонкость” Хмара заменял каким-

то “надрывным криком”, что было, разумеется, фальшью. Кто был на месте *по внешности,* так это Загребельский — Азеф. Он вполне мог играть эту роль без всякого грима: вылитый живой Азеф. Но и только. А этого было, конечно, маловато. Кто, по-моему, был хорош, это Чернявский — жандармский генерал и Токарская — старая террористка. Но это были роли эпизодические.

Итак, день премьеры настал. Смотреть свою пьесу на сцене никому не советую. Разве только известным драматургам известных пьес, когда от аплодисментов публики — “рухнул зал и театр застонал”. Но смотреть мне, никакому не драматургу, свою плохую пьесу в плохой постановке — это был с моей стороны “героизм”, совершенная пытка, подлинное мучительство. На “Линии Брунгильды” Алданов не отважился остаться в зале, “не хватило нервов”, ушел в ближайшее кафе, и в антрактах друзья прибегали и “докладывали” ему, как и что. Думаю, привирали, вероятно из “сострадания”. Нервно я оказался крепче Алданова. “Стиснув зубы”, “несмотря ни на что”, решил стать зрителем. Только сел в самый дальний угол самого последнего ряда, а Олечка и двоюродная сестра Ляля остались во втором ряду (авторские места). Театр был полон до отказа. Билеты все проданы. В первом ряду — Вл. Л.Бурцев, И.А.Бунин, И.И. Фондаминский, Б.К.Зайцев с женой, Тэффи рядом с кн. Феликсом Юсуповым (убийцей Распутина), коего я улицезрел впервые, М.Алданов, В.Зензинов, Илья Сургучев, многие знатные россияне, рецензенты газет. Занавес поднялся. И началась моя мука. Я видел: и это не то, и то не так, и это никуда не годится, и то фальшиво. Публика была вежлива. После каждого акта хорошие аплодисменты (конечно, “не переходящие в овацию”, но продолжительные). Стало быть, публика “приняла”.

В антракте из своего “угла” я пошел к жене. И она, и Ля-ля довольны. Только жена сказала, что Бунин из первого ряда все поворачивался и смотрел больше на Лялю, чем на сцену. “Это было совершенно неприлично”, — проговорила жена. Когда же на сцене (при крайней убогости обстановки) Азеф должен был спать и во сне бормотать фразы, могшие его разоблачить, — и тучный Загребельский вместо постели с превеликим трудом улегся на какую-то убогую, куцую для него кушетку, Бунин во всеуслышание произнес: “Недурна картинка!”. И был, конечно, прав.

В этом же антракте я встретил Вл. Л.Бурцева в коридоре, он был в полном восторге. Но вот от чего:

— Господи, да откуда вы выкопали такого Азефа? Ведь это же вылитый, ну вылитый, живой Азеф, а уж я-то Азефа знал!

И это была сущая правда. И я был рад, что хоть этим

обрадовал Владимира Львовича. Встречные знакомые говорили мне приятные слова. Но я-то чувствовал полное “авторское отчаяние”, хоть и не показывал вида. Единственно чем я себя утешал — что сбор полный и я получу хорошие авторские. Но, увы, и тут меня постигла неудача. Администратор театра был многоопытный жулик, умевший “остричь” любого автора. Наговорив мне с три короба какой-то чепухи, он сказал, что сейчас не может решительно ничего заплатить: расходы, расходы и расходы. Этим и кончилась для меня “премьера”. Отзывы русских газет о спектакле были положительные. “Последние новости” похвалили, они всегда поддерживали “Русский театр”. Но и младоросская “Бодрость” (30. 3. 37) отозвалась доброжелательно: “Пьеса смотрится с неослабевающим интересом… Хороша г-жа Токарская в роли старой революционерки, очень неплохо переданы Петрункиным и Богдановым — Сазонов и Каляев. Остальные артисты дружно поддерживали общий темп пьесы, прошедшей с несомненным успехом”. В “Возрождении” (22. 5. 37) Илья Сургу-чев дал большой отзыв, меня слегка удививший, ибо Сургучев имел несомненное отношение к театру, его “Осенние скрипки” прошли в МХТ (правда, кажется их провел Вл. И.Немирович-Данченко при большом сопротивлении К.С.Станиславского, но все же, как бы там ни было — прошли!). “Пьеса г. Гуля — писал Сургучев, — не пьеса, собственно, а скорее — ревю, обозрение, в котором кружится ряд зловещих, окровавленных покойников. Театр хорошо сделал, напомнив о том зловонном дне, на которое упала большая политическая партия, наделавшая России много труднопоправимых бед. Пусть молодежь поймет, что нет ничего легче, как бросить топор в воду; попробуйте его вынуть. Спектакль будет полезным и для молодежи… г-н Загребельский отлично "взял" Азефа с его низким лбом, бычьей шеей и кувшинным рылом. Очень хорошо задумана его "спина" в начале первого акта. Роль еще эскизна, но наличность большой театральной находки несомненна. Хорошо, отчетливо и тоже в масштабе большого рисунка сделан Савинков у г. Хмары. Если бы у автора хватило сил по-настоящему сделать жандармского генерала, то г. Чернявский мог бы дать фигуру, стоящую на уровне Порфирия из Достоевского… Гг. Богданов, Петрункин, Новоселов, Кононенко, Карабанов, чета Бологовских высоко несли знамя русского театра… Поставлена пьеса очень хорошо и тщательно, иногда — в манере "Гран-Гиньоля"”.

Ну, насчет “Гран-Гиньоля” это, конечно, от лукавого. Ничего, разумеется, похожего на “Гран-Гиньоль” в пьесе не было, да и быть не могло. “Гран-Гиньоль” переживал я, в самом дальнем

углу последнего ряда.

“Азеф” прошел четыре раза. И все разы “с аншлагом”. Публика шла. Отмечу, что Вл. Л.Бурцев смотрел “Азефа” все четыре раза, сидя в первом ряду. Вероятно, будил в себе “заснувшие страсти” и “прошлую славу”. Но я за все “четыре страдания” от администратора-жулика так никакого “утешения” и не получил. А когда, возмущенный, сказал об этом Григорию Хмаре, тот, иерихонски расхохотавшись, проговорил: “Да разве вы его не знали? Он — живоглот, он так жаден, что носки стирает в одном стакане воды, а второго ему жалко”.

После четвертого представления “Азефа” сняли с репертуара, но не потому, что не делал сборов. Снятию предшествовало заседание у И.И. Фондаминского. Председательствовал Н.Д. Авксентьев, кратко сказавший, что при начавшихся преследованиях евреев в Германии он считает, что давать пьесу “Азеф” — “unzeitgemàss”. Почему-то Авксентьев так и сказал по-немецки: “unzeitgemàss”. Я знал, что он обучался наукам в Гейдельбергском университете. Не думаю, чтоб Авксентьев был прав. На эту тему правильно когда-то сказал первый президент Израиля Х.Вейцман: “Разрешите и нам иметь своих мерзавцев”. Но так или иначе, моя “драматургия” кончилась. И никогда других пьес я не писал, поняв, что я не драматург. И вообще *театр, как таковой,* не моя стихия. Я не театроман, не балетоман. Духовно и душевно для меня ничего нет более непринимаемого, чем, скажем, “театрализация жизни” Н.Н.Евреинова или “нарочитая снобистика” В.Набокова. Мне первоценно в жизни то, что немцы хорошо называют “das Elementare” (первозданное, первопричинное, стихийное). Я люблю *реалию* жизни, люблю “пляску с топотом и свистом под говор пьяных мужиков”, а не Жизель, которая, умирая, “дрыгает ножкой на сцене лунно-голубой” (по Ходасевичу).

Русские во французском кино

Хочу хотя бы вкратце отметить работу русских эмигрантов во французском кино. Пожалуй, даже не работу, а “вклад”, если согласиться с известным французским кинорежиссером Жаном Ренуаром (сыном знаменитого живописца-импрессиониста), писавшего о фильме Ивана Мозжухина и Александра Волкова “Пылающий костер”: “Зал свистал и рычал, шокированный этим зрелищем, настолько отличавшимся от обычной банальщины. Но я был в восторге. Наконец-то я увидел хороший фильм, созданный во Франции. Правда, он был сделан *русскими,* но — в Монтройе, во французской атмосфере, в нашем климате”. А историк французского киноискусства Марсель Лапьер писал о кинорежиссере А.Волкове, поставившем фильм “Гений и беспутство” (по роману А.Дюма-отца “Кин”): “Фильм чрезвычайной кинематографической напряженности и должен быть отмечен во всех антологиях немого искусства”.

После такого “французского эпиграфа” полагаю себя вправе помянуть добрым словом русских деятелей французского кино 20-х и 30-х годов: актеров, художников, режиссеров, продюсеров. Упомяну лишь главных, дабы не начал зевать и скучать “от перечня” мой читатель.

Начнем с актеров, но с некой печальной оговоркой: фильмы со знаменитыми русскими актерами Иваном Мозжухиным, Николаем Колиным, Валерием Инкижиновым шли во всем мире. Этих чудесных “немых актеров” знал *мировой кинозритель,* но… но только до первого говорящего фильма, то есть до 1931 года. Когда “великий немой” неожиданно заговорил, международные карьеры “немых” знаменитостей вместе с баснословными гонорарами, мировой рекламой и беспечной жизнью оборвались. Утешеньем могло служить, что такую же судьбу разделил “сам” Чарли Чаплин. Утешение малое.

Во времена “немого” кино наиболее блестящим зарубежным русским актером во Франции (а стало быть, во всем мире) был Иван Ильич Мозжухин. В Париже я встретил его раз, но мельком и во времена уже “говорящего фильма”, когда Мозжухин был в полном упадке. В мировой славе я его лично не знавал. Но помню его со стародавних времен, ибо Иван Мозжухин — земляк, как и я, пензяк, “толстопятый”. Только разница в возрасте была большая. Я — в первом классе Первой гимназии. А Мозжухин — в восьмом классе Второй гимназии. Но уже тогда Мозжухин часто выступал на сцене в любительских спектаклях и спектаклях смешанных из актеров и любителей. Помню его в пьесе

Островского “Лес” в Зимнем театре Вышеславцева (в Пензе было два репертуарных театра — Зимний и Летний). В “Лесе” Мозжухин играл “Алексиса”. Богатую пожилую помещицу Гурмыжскую играла наша близкая знакомая — Арсеньева (запамятовал имя и отчество), а недоучившегося гимназиста, за которого она выходит замуж, Алексея Буланова, “Алексиса”, играл Мозжухин. И играл превосходно, по крайней мере — я его запомнил.

В Пензе гимназист Мозжухин был необычайным франтом, таких тогда звали “пижонами”: в обтянутых брючках со штрипками, в фуражке с крошечными полями (мода тех времен), в шинели с иголочки. После гимназии пошел на сцену и выдвинулся сразу в каком-то драматическом театре в Петербурге и в первых тогдашних кинофильмах (помню, очень хорошо играл “Отца Сергия” по одноименному рассказу Льва Толстого).

За границей же, в эмиграции в Париже начался “блеск”: фильмы “Буря” (1921), “Дом тайны” (1922), “Казакова” (1922), “Пылающий костер” (1922), “Белый дьявол” (по “Кавказскому пленнику” Лермонтова, 1922), “Кин” (по роману Дюма, 1923), “Мишель Строгов” (по Жюль Верну, 1925), “Сержант Икс” (1932), “Моналеско, король грабителей”, “Хаджи Мурат” (по Льву Толстому) и многие, многие другие. Кроме актерства Мозжухин был и режиссером вместе с А.Волковым. Слава и деньги лились рекой. Но все это… до 1931 года, до тех пор пока “немой” не заговорил. Тогда для талантливейшего русского актера Ивана Ильича Мозжухина началось угасанье: угасанье славы, безденежье, ибо ничего не копилось, а по-русски все пролетало: “гений и беспутство”, “однова живем!”. И наконец — заболевание (туберкулез, кажется) и тяжкая смерть в нужде, в безденежьи, в чужом Париже. Хоронить Мозжухина было не на что. Друзья актеры, художники, музыканты вскладчину похоронили на Пер-Ла-шез пензяка Ивана Ильича Мозжухина.

В советской “Театральной энциклопедии” — ни одной строки нет о талантливейшем И.И.Мозжухине. Как правило, в совизданиях об эмигрантах (актерах, художниках, певцах) раньше ничего не давалось. Теперь стали давать несколько строк. Но только о работе до революции. В советском Энциклопедическом словаре (1980) о Мозжухине есть “две строки”. Так что полная память о нем только и осталась в истории французского “немого” кино.

Столь же знаменит во французском немом кино был Николай Колин, об игре которого французы писали восторженно — “великий Колин”! Он действительно был актер Божьей милостью. Николай Федорович Колин начал актерскую работу в 1-й Студии

МХТ вместе с Ричардом Болеславским, в эмиграции ставшим большим режиссером в Голливуде, поставившим множество фильмов. Десять лет Колин был бессменным членом правления 1-й Студии. В МХТ с подлинным блеском выступал в “Двенадцатой ночи” Шекспира, в “Гибели "Надежды"”, “Ведьме”, “Юбилее”, “Сверчке на печи”, в “Селе Степанчикове” и многих других пьесах. В 1-й Студии с учениками консерватории поставил оперу “Евгений Онегин”. Уже в России у Колина было настоящее большое имя. В МХТ он играл те *же* роли, что и Михаил Чехов. О своей работе в 1-й Студии МХТ Колин пишет: “Я не выходил из студии, разве когда был занят в самом МХТ. А почему не выходил? Очень просто: я жил в студии. Спал на диване (он так и назывался "колинский диван"), в комнате, где гримировался мужской персонал”. В кино в России Колин не снимался (запрещали Константин Сергеевич и Владимир Иванович, оба не признававшие кино настоящим искусством).

Став эмигрантом, в Париже Николай Колин начал сниматься в кино и создал себе во Франции большое имя. Особенно известны его фильмы: “600 тысяч в месяц”, “Втихомолку”, “Парижский тряпичник”, “Пылающий костер”, “Кин” и многие другие. В “Кине” и “Пылающем костре” Колин выступал вместе с Мозжухиным. Вот что Николай Федорович пишет об Иване Мозжухине в письмах к режиссеру К.Е.Аренскому, которые я напечатал в “Новом журнале” (кн. 113): “Заметьте, многие киноартисты кончают жизнь нелепо. Мозжухин, краса и гордость русского кино, снимался без передышки, гонорары имел аховые, а на похороны собирали деньги по подписке. Куда ушли деньги, непостижимо, он и сам не знал”.

А о себе Колин пишет: “Мой жизненный монтаж тоже был сделан плохим сценаристом. Бум! Трах! Бах! Фейерверк на весь Париж. Потом говорящий фильм, который нас всех по башкам… Да, Париж… Париж город сверхъестественный. Прожил в нем почти 20 лет, сжился с ним, полюбил его всеми фибрами души. Здесь начиналась и кончилась моя кинематографическая карьера (немой фильм). Достиг высот необычайных и с приходом говорящего фильма тихо спустился вниз. Сказка кончилась”.

Русские актеры (по крайней мере настоящие, прежние, свободные) — люди совсем иной породы. Европейские и американские “звезды” сходят со сцены нормально: с хорошим капиталом и комфортабельно доживают свой век (Чаплин, Джон Вейн, Жан Габен, Гари Грант, Грегори Пек, Мэри Пикфорд, Грета Гарбо, Марлен Дитрих и пр.). Русские же “звезды” почти все — “с исступлением чувств”, и конец их часто трагический. У Мозжухина было беспутство и сорил деньгами без удержу. У

Колина тоже был “порок”: никак не мог оторваться от тотализатора. Даже на старости лет (семидесяти девяти лет от роду), уезжая из Европы в Америку, пишет Аренскому: “Теперь о самом главном: где в Америке существуют бега? (это значит лошадки бегают…) Не смешайте со скачками, хотя и скачки меня тоже интересуют. Не случайные бега, а регулярные, то есть летом и зимой и во всякую погоду. Это моя вечная страсть”. Кстати, та же страсть разорила знаменитого Никиту Балиева и вместе с ним его “Летучую мышь” (не мог оторваться “от лошадок”).

В 1956 году Н.Ф.Колин приплыл из Европы в США. Тут под Нью-Йорком, в Наяке, и скончался в 1973 году девяноста пяти лет от роду. Жил в бедности. Друзья собирали для него деньги вскладчину. А он писал Аренскому: “Раскрываю книгу, моя "святая святых", которую берегу как зеницу ока. Это все рецензии о 1-й Студии МХТ… И везде Колин, Колиным, о Колине… Рецензии такие, что реву белугой, когда читаю их…”

Видное место среди русских киноартистов на Западе занимал Валерий Инкижинов, советский актер, сотрудник Вс. Мейерхольда, получивший известность исполнением главной роли в советском фильме “Буря над Азией”. В середине 20-х годов, будучи на Западе, В.Инкижинов “выбрал свободу”, став эмигрантом. Исполнял главные роли в фильмах “Безрадостная улица” с Гретой Гарбо, “Амок”, фильм Ф.Оцепа (советского режиссера, тоже “выбравшего свободу” и ставшего эмигрантом), “Пираты рельс”, фильм Кристиана Жака, “Волга в огне”, фильм В.Стрижевского, “Триумф Строгова”, фильм В.Туржанского, “Дочь Мата-Хари”, фильм Э.Мерузи, и во многих других.

Наталия Кованько, киноактриса, получившая известность еще до революции, в Париже играла главные роли в фильмах В.Туржанского “Прелюд Шопена”, “Песнь торжествующей любви” (по Тургеневу), “Тысяча и одна ночь”, “Замаскированная дама” и во многих других. Наталия Лисенко, киноактриса тоже известная еще до революции, в Париже выступала в главных ролях в фильмах “Тревожная авантюра” Я.Протазанова, “Дитя карнавала”, “Кин” — фильмы А.Волкова, “Афиша”, фильм И.Эпштейна, “На рейде”, фильм Кавальканти, и во многих других. В письме К.Аренскому Н.Колин пишет о ней то же, что и о Мозжухине: “Лисенко, красавица, одевалась в лучших мезонах Парижа, сорила деньгами, никаких счетов в банке не имела и теперь кончает жизнь в старческом доме под Парижем без единого сантима” (письмо от марта 1962 г.). Сандра Милованова, ученица Анны Павловой, стала киноактрисой, играла в фильмах: “Тревожная авантюра” Я. Протазанова, “Мимолетные тени” А.Волкова, “Призрак Мулен Руж”, “Жертва ветра” — фильмы Рене

Клера, “Мишель Строгов”, фильм В.Туржанского, и во многих других. Поликарп Павлов, известный артист МХТ, играл в фильмах “Раскольников”, “Шехерезада”, фильм А.Волкова, “Панама”, фильм Н.Маликова, “Идиот” (по Достоевскому), фильм Г.Лампена, “Анастасия”, фильм А.Литвака, “Монпарнас, 19”, фильм Ж.Беккера, и во многих других. Николай Римский (актер Юга России) в Париже выступал в кино — “Роковой срок”, фильм А.Волкова, “Тысяча и одна ночь”, “Эта свинья Морена”, “Замаскированная дама” — фильмы В.Туржанского, “Счастливая смерть”, “Белый негр” — фильмы Надеждина и во многих других. Владимир Соколов, артист московского Камерного театра, играл в Париже в фильмах: “Опера за 4 гроша”, фильм Пабста, “На улицах”, фильм В.Триваса, “На дне” (по М.Горькому), фильм Жана Ренуара, сценарий Евг. Замятина, “Мейерлинг”, фильм Литвака и во многих других. Григорий Хмара, артист 1-й Студии МХТ, играл в фильмах “Распутин”, “Человек, который убил” (по Клоду Фарреру), “Один раз в жизни”, “Друг придет вечером”, фильм Раймона Бернара и во многих других. Ольга Чехова — в России начинающая, но известная уже актриса, выступала в Париже в фильмах: “Соломенная шляпа” Рене Клера, “Мулен Руж”, фильм Э.Дюпона, и во многих других. Федор Иванович Шаляпин в Париже играл Дон Кихота в фильме “Дон Кихот” (по Сервантесу), Аршавир Шахатуни выступал в фильмах: “Мишель Строгов” В.Туржанского, “Наполеон” А.Ганса, “Угроза” Ж.Бертена, “Андроник” и в других. Обрываю перечень, который совсем не полон, но для очерка “Русский Париж”, думаю, достаточен.

Перейду к русским художникам, работавшим во французском кино, из которых многие имели большое имя, а другие создали себе имя в кино. Названий фильмов не указываю, ибо это отяжелит перечень: А.Андреев, Мих. Андреенко, Юрий Анненков, А.Бакст, А.Бенуа, Н.Бенуа, Борис Билинский, А.Божерянов, К.Бруни, Г.Вакевич, М. Добужинский, И.Лошаков, Л.Мейерсон, П.Минин, Н.Ремизов, Петр Шильдкнехт и многие другие. Обрываю.

Как фильмовые режиссеры в Париже работали: А.Волков, А.Грановский, Г.Лампен, А.Литвак, Вяч. Туржанский, Вл. Стрижевский и другие. Как “продукторы” — ветеран русского кино, начавший еще в России, И.Н.Ермольев (“Тревожная авантюра”, режиссер Як. Протазанов, “Роковой срок”, режиссер А.Волков, “Денщик” (по Мопассану), режиссер В Стрижевский). Ермольев поставил много фильмов, имевших большой успех. Еще больше фильмов выпустил А.Б.Ка-минка (“Прелюд Шопена”, режиссер В.Туржановский, “Кармен”, режиссер Жак Федер, “На дне” (по Горькому), режиссер Жан Ренуар, “600 тысяч в месяц”,

“Песнь торжествующей любви” (по Тургеневу), режиссер В.Туржанский “Цвет папоротника”, фильм марионеток Вл. Старевича (кстати, режиссер и оператор В.Старевич был первым, выдумавшим в кино театр марионеток). В своем обществе “Альбатрос” А.Каминка поставил великое множество разнообразных фильмов. Интересные фильмы ставил и А.Р.Гурвич в обществе “Луна-фильм”: “Собака Баскервилей”, по Конан Дойлю, главную роль играл артист МХТ Георгий Серов из Студии МХТ, выступавший и во французском театре Шарля Дюлена. Умер Серов на сцене от разрыва сердца. Стоит отметить, что “собаку” (баскервильскую) “играла”, если так можно выразиться, сестра поэта Ю.Терапиано. Она так выла, что у зрителей шли мурашки по коже. В “вытье” и была ее роль. В “Луна-фильм” вышли: “Вдова повешенного” с югославской артисткой Итой Риной, “Драма Маттерхорна”, оперетта “Только не в губы”, музыка Мориса Ивена, режиссеры Н.Римский и Н.Евреинов, “Управляйте мной, мадам!”, “Любимица батальона”, музыка польского композитора Казимира Оберфельда, “Дядя из Пекина”, режиссер Никита Гурвич под псевдонимом Жак Дармон. Много фильмов выпустил известный продуктор Григорий Рабинович, раньше работавший в большом немецком фильмовом обществе “Уфа”: “Набережная в тумане”, режиссер М.Карне, “Я была авантюристкой”, режиссер Р.Бернар, “Биение сердца”, режиссер А.Декуэн, “Травиата”, “Фауст”, “Маскарад”, “Божественная каста” и многие другие. С годами во французское кино пришли русские “эмигрантские дети”, “почти французы”: Роже Вадим (Племянников), Марина Влади (Полякова-Байдарова), Натали Натье (Н.Беляева). Но это уже много лет спустя после моего “въезда” в Париж. И к моей теме не относится.

Русские художники в Париже

Тема о русских художниках в Париже “объемна”, как говорят теперь по-советски. Не знаю, дам ли я в кратком наброске достаточно для общей картины “русского Парижа”?

Общеизвестно — Париж всегда был столицей мировой живописи. Помню мое парижское уличное удивление, которого не пережил ни в одной стране, ни в одном городе. Сидит на площади (или на улице) на каком-то “треножнике” художник, пишет пейзаж. Вокруг плотным кружком стоят разные люди (остановившиеся прохожие) и молчаливо, внимательно, заинтересованно следят за его мазками по полотну. Стоят долго. И я вижу, что все они относятся к работе художника, как к *настоящему делу*.

Русские художники подолгу живали в Париже и до революции. А после нее наводнили Монпарнас, Монмартр, Сан-Жермен-де-Пре, став парижанами. Тут были все: реалисты, мирискусники, предметные символисты, импрессионисты, экспрессионисты, абстракционисты, кубисты, дадаисты и так далее. Основоположник “Мира искусства” Александр Бенуа; Юрий Анненков, иллюстратор “Двенадцати” А.Блока, рисовальщик портретов Ленина, Троцкого и автор двухтомных воспоминаний “Дневник моих встреч”; Наталия Гончарова и Михаил Ларионов (“Бубновый валет”, “Ослиный хвост”), о них убитый чекистами Н.Гумилев писал: “Восток и нежный и блестящий / В себе открыла Гончарова, / Величье жизни настоящей / У Ларионова сурово”. Иван Билибин, Константин Богаевский, Мстислав Добужинский, Борис Григорьев (“Расея”), Константин Коровин, Н.Миллиоти, Зинаида Серебрякова, Константин Сомов, Сергей Судейкин, Дм. Стеллецкий (когда Дягилев в Париже предложил ему написать декорации к какому-то балету, показавшемуся Стеллецкому кощунственным, отказ свой художник объяснил так: “Во-первых, я дворянин, во-вторых, я русский дворянин, в-третьих, я русский православный дворянин”; Стеллецкий расписал церковь на Сергиевском подворье в Париже); Ф.Малявин, П.Мансуров (ученик Малевича), Н.Калмаков, много работал для театра, приобрел большую известность, С.Иванов, П.Шмаров, А.Лаховский, Н.Исцеленов (архитектор и скульптор), кн. А.Шервашидзе, П.Нилус, Ксана Богуславская, А.Грищенко, Ростислав Добужинский (сын Мстислава Добужинского), Альберт Бенуа (акварелист и архитектор, по его планам построена часовня в Сент-Женевьев-де-Буа), Г.Пожидаев (театральный художник и пейзажист),

А.Алексеев (знаменитый иллюстратор Достоевского, Гоголя и др.), Е.Ширяев, Л.Бенатов, А.Блюм, А.Минчин, Б.Гозиансон, Хана Орлова, П.Трубецкой, Андрусов, Артемов, Гурджиан, Аронсон, Цадкин и др; А.Яковлев (участник двух экспедиций, устроенных Андре Ситроеном, — “Черный поход” через Африку и “Желтый поход” через Азию, — давших Яковлеву сотни полотен, рисунков, эскизов, выставлявшихся в Париже); Василий Шухаев (вернувшийся в 1935 году в СССР и за сию глупость получивший пятнадцать лет концлагеря, как “вредитель”; работал пятнадцать лет на лесоповале); Леон Бакст — столп “Мира искусства”, портретист и театральный художник, оказавший влияние на декоративное искусство Франции; Сергей Чехонин, делавший чудесные, смелые костюмы и декорации в балете Немчиновой — Долина и в “Летучей мыши” Никиты Балиева; Иосиф Браз (известный портретист, портрет Чехова), приехал в Париж в 1930 году после десятилетнего заключения на Соловках Иван Лебедев стяжавший у французов известность как гравер и иллюстратор; бежавший от Гитлера знаменитый отец абстракционизма Василий Кандинский, автор книги “Духовное в искусстве”; не менее знаменитый Марк Шагал, живописец летающих местечковых евреев, зеленых хасидов, мистических иллюстраций к Библии, сделавший плафон для парижской Гранд Опера; Георгий Лукомский, известный иллюстратор книг многих городов (“Киев”, “Московский Кремль” и др.), Хаим Сутин, Конст. Вещилов, Григорий Шильтян, Дм. Бушен, А.Серебряков, Иван Пуни, Константин Терешкович, Сергей Шаршун, Леон Зак, Ник. Исаев, Ник. Бенуа (театральный художник, сын Александра Бенуа), Р.Пикельный, Мих. Андреенко, Дм. Меринов, Любич, Леонид Кремень, Борис Билинский (театральный художник), А.Андреев (театральный художник из МХТ, во Франции работал для кино), С.Лисим, Борис Шаляпин (сын Ф.И.Шаляпина). Обрываю перечень, хоть знаю, что многих пропустил. Отмечу еще только четырех, попавших в эмиграцию совсем “зелеными” и сделавших себе международное имя: Андрей Ланской, Николай де Сталь, Павел Челищев и Сергей Поляков (из известной цыганской семьи Поляковых). О их творчестве много написано. Их работы — в музеях Европы и Америки.

Русская музыка в Париже

Общеизвестно, что болыпевицкие псевдонимы выбросили из России за рубеж цвет русской культуры во всех ее областях: в философии, в науке о праве, в экономике, истории, социологии, археологии, в точных науках, в адвокатуре, в литературе, в театре, балете, опере, в живописи, в музыке. Конечно, кто-то из представителей старой русской культуры остался и в Советской России (либо не хотел уйти в изгнание, либо не мог). С годами оставшиеся были уничтожены: одни физически, другие приведены к молчанию. Были и такие, кто пошел в услужение к псевдонимам, покончив, так сказать, духовным "самоубийством".

Можно утверждать, что русская музыка в Париже 20-х и 30-х годов была явлением не русским, а мировым. С 1920-х годов до 1939-го в Париже жил Игорь Федорович Стравинский, создавший себе мировое имя. В СССР музыки Стравинского в эти годы *не существовало,* ибо это был "сумбур вместо музыки", и в течение десятилетий Стравинского там успешно заменял… Тихон Хренников. Говоря о творчестве И.Ф.Стравинского, упомяну лишь некоторые его композиции, созданные за рубежом: одноактная опера "Мавра" по поэме Пушкина "Домик в Коломне", хореографическая кантата "Свадебка", мелодрама-балет "Персефона" (по А.Жи-ду), "История солдата", "Русская песнь", "Байка про Лису, Петуха, Кота да Барана", "Фавн и пастушка", балеты "Песнь соловья", "Пульчинелла", "Поцелуй феи", "Апполон Муса-гет". В 1926 году в Италии, в Падуе, на праздновании 700-летия св. Антония Падуанского с атеистом-эстетом Стравинским "что-то произошло", что мы точно не знаем. Стравинский "обрел веру". И с тех пор его музыка обогатилась религиозными темами. Он создал "Отче наш", "Верую", "Богородице Дево радуйся". В 1939 году Стравинский переехал в США. Скончался в 1971 году. Похоронили знаменитого русского композитора, по его желанию, в Венеции на кладбище "San Michèle" недалеко от могилы Дягилева.

Столь же громкое мировое имя приобрел за рубежом Сергей Сергеевич Прокофьев. Его вещи — скомороший балет "Сказка про шута, семерых шутов перешутившего", "Любовь к трем апельсинам" по Карло Гоцци, опера-сказка "Огненный ангел" по Валерию Брюсову, балеты — "Стальной скок", "Блудный сын". Кроме того, *пианист* Прокофьев концертировал во всем мире и везде с "бушующим успехом". Но в 1932-м он возвратился в СССР. Думаю, из-за своей природной "экстравагантности". И что же? Как пишет советская театральная энциклопедия, "Прокофьев

занял почетное место в ряду активных *строителей* (ну конечно же “строителей”, а как же иначе?!) *музыкальной культуры”*. Ведь в СССР трудящиеся шестьдесят пять лет *строят* социалистический “хрустальный дворец с золотыми уборными”. И С.С.Прокофьев “включился” в *строительство,* создав оперу “Семен Котко” по халтурной повести В.Катаева “Я сын трудового народа” и оперу “Повесть о настоящем человеке” по халтурной повести Б.Полевого. За двадцать лет “строительства музыкальной культуры” С.С.Прокофьев шесть раз был “удостоен Сталинской премии” (“Иван Грозный”, “Александр Невский”, “На страже мира”, “Здравница” и пр.). Но умер Прокофьев неудачно: 5 марта 1953 года, в один день со Сталиным. Смерть прошла незамеченной (народ оплакивал великого вождя народов). Но посмертно новые вожди наградили Прокофьева Ленинской премией! И о когда-то свободном, дерзком, насмешливом, экстравагантном композиторе Прокофьеве казенные органы писали, что в СССР у Прокофьева произошел “поворот к подлинно реалистическому искусству, проникнутому глубокой человечностью”. Эта “глубокая человечность” прилагалась и к Ленину, и к Сталину.

Жил и работал в эти годы в Париже Александр Константинович Глазунов, бывший директор Петербургской консерватории, в 1922 году даже — народный артист республики. Но Глазунов променял эту “золотую уборную” на трудную, свободную жизнь за рубежом. Упомяну его прежние произведения: балет “Раймонда”, музыка к пьесе “Саломея” Оскара Уайльда, к драме Лермонтова “Маскарад”, восемь симфоний. В Париже А.К.Глазунов написал эпическую поэму для Французской академии изящных искусств. А как Глазунов относился к “золотым уборным” СССР — приведу цитату из воспоминаний Анны Кашиной-Евреиновой (жены Н.Н.Евреинова). Вот разговор Н.Н.Евреинова и А.К.Глазунова в мон-мартрском кафе.

“Николай Николаевич, объясните мне, почему мы с вами здесь? Зачем? Вы — русский деятель театра, я — русский композитор. Зачем мы здесь? — говорил уже подвыпивший Глазунов.

— А вам разве ТУДА хочется, Александр Константинович?

— Ой, что вы, что вы! — испуганно замахал руками Глазунов. — Когда и во сне-то вижу, что я ТАМ, так просыпаюсь в холодном поту!”

Скончался знаменитый русский композитор А.К.Глазунов в Париже в 1936 году. В Париже Глазуновым созданы: “концерт-баллада” для виолончели, концерт для саксофона с оркестром,

элегия для струнного квартета, 7-й квартет, “прелюд и фуга” для органа, “фантазия” для органа, романсы и др. Для церковного хора — знаменитый распев “Да воскреснет Бог”.

Жил в Париже Александр Тихонович Гречанинов, написавший здесь музыку к “Женитьбе” по Гоголю (декорации С.Судейкина, 1950), детскую оперу “Кот, петух и лиса”, “Литургию доместика” с участием оркестра, исполнявшуюся во многих католических храмах, “Римские сонеты”, сюиты для фортепиано и виолончели, а также вокальные произведения. Я познакомился (и, можно сказать, даже подружился) с Александром Тихоновичем уже в Америке, в Нью-Йорке. Он был милый человек и интересный рассказчик о прошлом, но, к сожалению, обремененный навязчивой идеей: “Чем я хуже Рахманинова, а вот его повсеместно исполняют, а меня замалчивают, да, замалчивают”, — то и дело говорил Гречанинов. Незадолго до кончины А.Т. подарил мне книгу своих воспоминаний “Моя жизнь” и хорошую, большую фотографию: он снят в нью-йорском Сентрал Парке, сидит у какой-то скалы.

Приведу небольшой отрывок из этой книги.

“В 1937 году в Париже был объявлен конкурс на сочинение католической мессы и пяти мотетов для четырехголосного смешанного хора и органа. Я решил принять участие в этом конкурсе. Он был открытый, то есть имя автора не скрывалось под каким-либо девизом. У меня было мало уверенности в том, что, будучи православным, я смогу конкурировать с католическими композиторами в этой области, а потому, написав один мотет, я послал его аббату Henri Delepin'y, директору издательства, объявившему конкурс, чтобы знать, стоит ли мне участвовать в конкурсе, могу ли я иметь какой-нибудь шанс на получение премии. В ответ на мое письмо ко мне приезжает сам аббат и выражает восторженные похвалы этому мотету и советует писать дальше. Все пять мотетов написаны, отосланы аббату, — “писать ли мессу?” — спрашиваю.

— Конечно, писать, — отвечает аббат.

Написана и месса. Опять приезжает ко мне аббат, новый мой поклонник, и уверяет, что все написанное мною так хорошо, что я получу все десять премий — и за мессу, и за мотеты.

Вы в этом уверены? — спрашиваю я. Настолько, — отвечает он, — что могу дать вам аванс, если желаете.

Это было как раз кстати, т. к. я собирался в турне в прибалтийские страны с г-жой Макушиной и мне нужны были деньги, чтобы тронуться в путешествие. Уже будучи в Стокгольме, я получил официальное извещение, что все мои мотеты и месса получили премии (10000 франков). А было у меня тридцать

восемь конкурентов католиков — французов и бельгийцев.

Весной того же года, по возвращении моем из Прибалтики, я дирижировал в Париже своей мессой — названной “Missa Festiva”, — в одной католической церкви, а в следуюшем сезоне месса была торжественно исполнена в соборе Notre Dame de Paris хором в двести человек также под моим управлением. Служил кардинал Verdier. Собор был переполнен молящимися”.

Часто наезжал в Париж Сергей Васильевич Рахманинов. Но в 20-е, 30-е годы Рахманинов больше концертировал во всем мире, особенно подолгу — в Америке, и стяжал мировую славу и богатство. Выступал С.В. и как дирижер, и как пианист. Как композитор С.В. работал мало, написал заграницей всего 42–45 опусы. В 1933 году в интервью парижской газете “Последние новости” Рахманинов сказал: “После России мне как-то не сочиняется… Воздух здесь другой, что ли…” За рубежом Рахманинов написал: “Вариации на тему Корелли” (1931), “Рапсодию на тему Паганини” (1934), “Симфонию № 3 (1935/36), “Симфонические танцы” (1940). Знатоки его музыки эти произведения считают лучшими достижениями Рахманинова-композитора. В письме к Эм. Карл. Метнеру (брату композитора НЛСМетнера) Рахманинов в 1929 году писал: “Я эстрадный человек, то есть люблю эстраду и в противоположность многим артистам не вяну от эстрады, а крепну…” В том же интервью “Последним новостям” Рахманинов сказал: “В Америке я работаю уже пятнадцатый сезон. За это время я дал около семисот пятидесяти концертов. Я никогда не мог делать два дела вместе. Я или играл, или только дирижировал, или только сочинял”. В сезоне 1929/30 года Рахманинов дал пятьдесят четыре концерта: тридцать в Европе и двадцать четыре в Америке. В Америке не было не только уж большого города, но и маленького городка, где бы ни выступал Рахманинов. И всегда — с ошеломляющим успехом, особенно когда играл свои веши. “Я концертировал в Америке чуть ли не ежедневно подряд три месяца. Играл исключительно свои произведения…” Может быть, никто из русских композиторов и пианистов не завоевал такого — в подлинном смысле — *мирового* имени, как Рахманинов. И это тогда, когда в СССР Рахманинов всего-навсего был “недобитым белогвардейцем” и его произведения не исполнялись. После смерти Рахманинова — спохватились. Номенклатурщики (это людье), видите ли, “реабилитировали” (перед кем?) великого русского музыканта Сергея Васильевича Рахманинова (какая честь!): и музей его имени, и издание его писем, и исполнение его произведений…

В Париж из Лондона наезжал и другой знаменитый русский

композитор-эмигрант — Николай Карлович Метнер, автор ценной книги “Музы и мода”. О нем как музыканте хорошо пишет Рахманинов в письме к его брату: “Я решительно сомневаюсь, были ли когда на свете такие пианисты! Непонятно, как он остается жив, источая такое количество энергии, и какой энергии!” Но Н.К. Метнер в Союзе не “реабилитирован”. Надо понять и номенклатурщиков: нельзя же “реабилитировать” всю Россию, которую они убили.

Жил в Париже композитор Фома Александрович Гартман, автор оперы “Эстер” и балета “Аленький цветочек”, шедшего в свое время в Мариинском театре. Гартмана высоко ценили и Рахманинов, и Шаляпин, В эмиграции Гартман сначала в Константинополе, потом в Берлине организовал симфонический оркестр для пропаганды русской музыки. Потом переехал в Париж и здесь стал профессором Русской консерватории. Написал балет “Бабетта”, поставленный в 1935 году в Ницце, четыре симфонии, писал и камерную музыку (романсы на слова К.Бальмонта). После войны переехал в США, скончался в Принстоне (1956).

Своеобычным композитором в Париже был Иван Александрович Бышнеградский, из плеяды “русских модернистов” (А. Рославец, Артур Лурье, Обухов, Литинский). По своему мировоззрению Бышнеградский был близок к Скрябину В Париже он написал свое главное произведение “День Бытия” для симфонического оркестра с чтецом, декламирующим текст. Впервые “День Бытия” был исполнен в 1976 году в Париже. Кроме “Дня Бытия” композитор написал ряд этюдов и прелюдий. Писал Вышнеградский и статьи по теории музыки, давая объяснения своего стиля — трактат “Manuel d'harmonie à quatre de ton”, “Musique et Pansonorité”, публикуя их во французском журнале “Revue Musicale”. Зарубежный музыковед Андрей Лишке в некрологе Вышнеградского пишет, что любимым словом композитора было “Всезвучие” (Pansonorité), и приводит фразу из его статьи, которая, по мнению Лишке, дает исчерпывающее определение художественного мировоззрения Вышнеградского: “Музыка есть умение наилучшим образом отражать Всезвучие при помоши музыкальных звуков”. Произведения И.А. Вышнеградского исполняются во Франции, Западной Германии, США, Канаде. Правда, А.К.Глазунов так отозвался о музыке Вышнеградского: “Вчера слушал музыку Вышнеградского на изобретенном им готовом четверти то ином пианино. От этих "четвертей" у меня разболелась голова”.

Из преподававших в Русской консерватории композиторов я ничего не пишу о Вл. Ив. Поле (муж известной камерной певицы

Ян Рубан), А.К. Требинском и Л.Л.Сабанееве. Владимира Ивановича Поля я часто встречал в Париже, но совсем не по “музыкальной” линии, а по другой (о чем речь будет дальше). Композиций Поля, к сожалению, не знаю, так же как не знаю, к сожалению, творчества А.К. Требинского и Л.А. Сабанеева. Я читал много статей Л.Л.Сабанеева по вопросам искусства, и всегда с интересом, ибо Л.Л. был большим знатоком во многих областях искусства.

Жили в Париже известные композиторы, отец и сын Черепнины. Николай Николаевич Черепнин был первым директором Русской консерватории имени Рахманинова, Композитор и дирижер Н.Н.Черепнин, как и А.К.Глазунов, в России был профессором Петербургской консерватории, был Дирижером в Мариинском театре. За рубежом создал оперу “Ванька Ключник” (1935), балеты “Вакх” (1922), “Сказка о царевне Улыбе” (1922), “Роман мумии” (1924), редактировал оперу М.Мусоргского “Сорочинская ярмарка”, аранжировал для балета оперу Н.А.Римского-Корсакова “Золотой петушок” (1937, Лондон), выступал как дирижер и пианист. Александр Николаевич Черепнин (его сын), композитор и пианист, много дал русской музыке за рубежом. Как пианист концертировал во Франции, Англии, Германии, Австрии, Канаде, США, во всем мире. Ему принадлежат опера “Оль-Оль” (1928), “Свадьба Зобеиды” (1933), “Трепак” (1938), “Легенда о Разине” (1941). Черепнин оркестровал и завершил неоконченную оперу М.Мусоргского “Женитьба” (1937).

Другими молодыми композиторами Зарубежья были Н.Д. Набоков (балеты “Ода”, “Юнион Пасифик”, оратории “Иов”, “Лирическая симфония” и др.) и Влад-Дукельский (п Париже — балет “Зефир и Флора”, в Америке, под псевдонимом Вернон Дюк, Дукельский сделал себе имя в области “легкой музыки”).

Жил в Париже композитор А.А. Бернарди, бывший дирижер в Мариинском театре в Петербурге, в молодости друживший с членами “Могучей кучки”, особенно со знаменитым М.А. Балакиревым. В Париже А.А. был профессором Русской консерватории имени Рахманинова. Музыкальное наследство А.А., к сожалению, мало известно широкой публике. Во французском журнале “Revue de Musicologie” (1982) об А.А.Бернарди помещена статья Андрея Лишке. Из произведений А.А.Бернарди мы знаем сюиту “Кружевной век”, “Вариации на тему Янки Дудль”, кантату “Лес” на слова Кольцова. Скончался А.А.Бернарди в 1943 году в Париже.

Столь же мало знаем мы о другом зарубежном русском композиторе и дирижере Юр. Н и к. Померанцеве. В России

Ю.Н.Померанцев был автором балета “Волшебные грезы”, оперы “Покрывало Беатриче”, многих романсов на слов;! А.Фета и А.К.Толстого, Был дирижером сначала в театре Зимина, потом — В Большом. На концертах выступал совместно с Н.К. Метнером. Б Париже Ю.Н.Померанцев был директором Музыкальной школы при Русском народном университете. Музыкальное наследство Ю.Н.Померанцева еше ждет исследователя.

Совершенно особое место в русской музыке за рубежом занимает глубокий знаток и историк богослужебного пения русской православной церкви Иван Алексеевич Гарднер, автор капитального двухтомного труда “Богослужебное пение русской православной церкви”. Музыке православного литургического пения посвятил себя и зарубежный композитор Иван Семенович Лямин, окончивший Парижскую национальную консерваторию с отличием первой степени. Чтобы существовать с семьей, И.С. писал музыку к многочисленным фильмам: “Les Cathédrales de France”, “Alpinisme”, “Ski de printemps”, “Dessins animés”, “Au clair de la lune” и многим другим. Но это был лишь “хлеб насущный”, за подлинный художник “единым хлебом” не живет. Приведу выдержку из письма И.С.Лямина к своему другу (от 1937 года), опубликованного в статье М.Ковалевского “Композитор И.С. Лямин” в парижской “Русской мысли”: “Работа у меня совсем не интересная, и делаю я ее механически, ни головой, ни сердцем в ней не участвуя… Это я говорю, конечно, о "настоящем" творчестве, нужном не для меня, не для людей, а вообще так, как бы для выявления и прославления истины — вне зависимости от чего бы то ни было… Вот не знаю, суждено ли мне когда-нибудь приобщиться к этому… А ведь только это и интересно, только то и ценно, что никому не нужно, а нужно только "истине" и через нее… нужно всем…”.

В 1944 году в день освобождения Парижа от немцев И.С. Лямин был убит шальной пулей, влетевшей в окно. Друзья И.С. Лямина стараются обнародовать церковные песнопения, созданные этим интересным человеком и композитором: “Господи сил с нами буди” для смешанного квинтета, “Благослови, Душе моя, Господа”, “Заповеди блаженства”, “Херувимскую песнь- для большого смешанного хора, и другие. Дай Бог им удачи!

Перечислю русских зарубежных дирижеров, пианистов, скрипачей. Мировую известность как дирижер завоевал С.А.Кусевицкий, начавший выступления в Париже, а с 1924 года, переехав в Америку, — в Бостоне. Большую известность приобрел Игорь Маркевич, одно время дирижировавший в знаменитых концертах Ламуре в Париже, основавший школу дирижеров в

Зальцбурге. Выдающимся дирижером был и Н.Малько, Как пианист в Париже выступал Владимир Горовиц, позже в Америке ставший мировой знаменитостью. Как всегда с большим успехом в Париже выступал известный дирижер и пианист Исай Александрович Добровейн. По заказу известного общества Пате И.А. проделал громадную музыкальную работу, зарегистрировав всю оперу “Борис Годунов” Мусоргского с Борисом Кристовым в главной роли. Лжедмитрия пел Николай Гедда. Регистрация происходила в парижском Театре Елисейских полей под тщательнейшим руководством Добровейна и является до сих пор самой лучшей музыкальной записью этой оперы. Из пианистов надо отмстить; А.Браиловского, Н.А.Орлова, А.Боровского, Сулима Стравинского (сына И.Ф.), Кс. Прохорову. Из скрипачей — Цецилия Ганзен, Н.Мильштейн, А.Андреев, М.Эльман, Е.Цимбалист. Из виолончелистов: Гр. Пятигорский, Дмитрий Маркевич. Обрываю. Вероятно, кого-нибудь пропустил, да простят мне “пропущенные”.

Пиша этот набросок о “русской музыке в Париже”, я знаю, что делаю не свое дело, ибо в музыке я всего-навсего “любящий слушатель”. О музыке в “унесенной России” должен написать *книгу* кто-нибудь из зарубежных музыковедов, например Андрей Лишке, не только знающий эту музыку как должно, но и лично знававший многих знаменитых зарубежных композиторов и музыкантов.

Хоры, цыгане, Вертинский, Плевицкая

Очерк о русской музыке в Париже был бы неполон, если б я не сказал о русских хорах. Эти зарубежные русские хоры пели не только для русских: гастролировали во всем мире с неизменным успехом. Русский народ — певческий: чего-чего, а поют русские от природы хорошо.

В эмиграции первым создался хор знаменитого еще по России хормейстера А.А.Архангельского. Архангельский создал свой хора Праге в 1923 году из ста двадцати человек. Но через год Архангельский скончался, управление хором перенял известный А.Г.Чесноков, но ненадолго: переехал в Париж, и хор самораспустился.

В Париже выступало несколько русских зарубежных хоров: Хор донских казаков Сергея Жарова, воспитанника (если не ошибаюсь) Московского синодального училища. Этот хор (с “плясками и свистом”) имел международный успех, гастролируя во всем мире. Вокально соперничавший с ним был хор имени атамана Платова, руководимый Николаем Кострюковым. И этот хор успешно объездил весь мир.

Но если хоры русской народной песни в Париже успешно делали ставку на “русскую грусть” и “русскую удаль” с залихватскими плясками, то знаменитый (так вполне можно сказать) парижский церковный хор Н.Афонского был хором тонкой и сложной художественности исполнения как церковных песнопений, так (иногда) и светского пения. Хор Афонского выступал (в концертах) вместе с Ф.И.Шаляпиным. Н.Афонский был не только выдающимся регентом, но и композитором церковных богослужебных песнопений. Говорят, что Шаляпин считал хор Афонского “лучшим в мире”. Похвально и лестно отзывались о хоре Афонского — Гречанинов, Черепнин, Рахманинов. А им и книги в руки!

Большую вокальную русскую ценность за рубежом представлял знаменитый квартет Ник. Ник. Кедрова. До революции его квартет знала вся музыкальная Россия. Н.Н.Кедров был профессором Петербургской консерватории и руководителем придворной певческой капеллы. Став эмигрантом, п Париже в 20-х годах Н.Н.Кедров восстановил квартет и объехал с ним весь мир, имея везде успех. Н.Н.Кедров был не только “душой квартета”, но и композитором церковного пения, он автор “Вселенской литургии” и “Отче наш”, до сих пор исполняющихся в зарубежных русских православных церквах. Много духовных концертов квартет Н.Н.Кедрова давал в католических храмах.

Умер Н.Н.Кедров в 1940 году. Сменил его, как “душу квартета”, Н.Н.Кедров-младший (его сын).

Говоря о русских хорах, не могу не сказать о зарубежных цыганах. В России цыганская песня, как нигде (может быть в Венгрии, в Румынии?), навсегда переплелась с русской. Кто только не был страстным “цыгаманом” из русских писателей: Лев Толстой, А.Пушкин, Н.Некрасов, Аполлон Григорьев, А.Апухтин, Н.Лесков. Н.С.Лесков изумительно передал самую суть цыганщины, этого “достигательного”, как он говорил, пения. Приведу цитату из “Очарованного странника”: “Вот цыгане покашляли, и молодой взял в руки гитару, и она запела. Знаете… их пение обыкновенно достигательное и за сердца трогает, а я как услыхал этот самый ее голос… ужасно мне понравилось! Начала она так, как будто грубовато, мужественно эдак: "Мо-о-ре во-оо-ет. мо-оре стонет". Точно в действительности слышно, как и море стонет, и в нем человек поглощенный бьется. А потом вдруг в голосе совсем другая перемена, обращенье к звезде: "Золотая, дорогая, предвеща-тельница дня, при тебе беда земная недоступна для меня". И опять новая обратность, чего не ждешь. У них все с этими обращениями, то плачет, томит, просто душу из тебя вынимает, а потом вдруг хватит в другом роде и точно сразу опять сердце вставит… Так и тут она это "море"-то с "челном" всколыхнула, а другие как завизжат всем хором:

Джа-ла-ла, Джа-ла-ла,

Джа-ла-ла, прингала…”

Почему цаганская песня могла так действовать на русского человека? По-моему, потому, что в славянах вообще, а в русских особенно, живет некая тяга к *исступлению чувств*. Пример тому — страстный жизнелюб Аполлон Григорьев, обессмертивший себя “Цыганской венгеркой”. Это тоска по стихийности, по первозданности, по этому самому “das Elementare”.

В молодости, в России, я любил цыганщину. Но послушать настоящих цыган *живьем* довелось только раз. Зато этот “раз” я навек запомнил. Было это, к сожалению, не у “Яра” и не с загулом. А был это чинный большой концерт в Благородном собрании в Москве в 1915 году всего цыганского хора от “Яра” во главе с незабываемой Настей Поляковой. Концерт давали цыгане в пользу раненых на войне солдат и офицеров, лежавших в московских госпиталях.

Как сейчас помню, чудесный зал Благородного собрания — битком. На сцену выходят яровские цыгане и цыганки в разноцветных, своеобразных, ярких одеяниях с монистами. А когда этот очень большой хор заполнил эстраду, под бурные аплодисменты зала, вышла и знаменитая Настя Полякова: одета в

ярко-красное (какое-то “горящее”) платье, смуглая, как “суглинковая”, статная. А за ней два гитариста — в цыганских цветных костюмах. Настя встала в середине эстрады, впереди хора, гитаристы — по бокам. И началось. Чего только Настя Полякова тогда не пела: “Ах да не вечерняя” (любимая песня Льва Толстого), “В час роковой”, “Отойди, не гляди”, “Успокой меня неспокойного, осчастливь меня несчастливого”… А гитаристы на своих “красношековских” гитарах (гитары все в лентах) такими переборами аккомпанировали, что “закачаешься”.

А потом? А потом — всего лет через семь-восемь — Настя Полякова с цыганским хором (уж не таким большим, но хорошим) пела в дорогом ночном парижском ресторане {кажется, в “Щехерезаде”). Хором управлял ее брат Дмитрий Поляков, в хору и соло пели, ей полетать, знаменитые цыганки — Нюра Массальская, Ганна Мархаленко, пел и ныне здравствующий (девяноста пяти лет) знаменитый Владимир Поляков, ее племянник, пели чудесные цыгане Дмитриевичи.

Наездами в Париже бывал знаменитый исполнитель цыганского романса — Юрий Морфесси. “Правнук греческого пирата”, как он говорил о себе. Успех у него всегда бывал небывалый. Такой же, как и во всей России до революции. В России Морфесси пел даже перед государем на яхте “Полярная звезда”, за что получил царский подарок — запонки с бриллиантовыми орлами. Еще любимцем цыганщины у русских парижан был бывший летчик Н. Г.Севе реки и, большой друг Морфесси, сын знаменитого до революции певца.

Настя Полякова концертировала во Франции, в Германии, в Америке — пела даже в Белом доме перед президентом ФА-Рузвельтом. Но вряд ли Рузвельт “понял” что-нибудь в этом “исступлении чувств* (это специальность русская, а никак уж не американская). Теперь все эти знаменитые зарубежные цыгане ушли в лучший мир (остался один-одинешенек Владимир Поляков). Настя Полякова умерла в Нью-Йорке в бедности.

В былой России цыганшина жила как у себя дома. В Москве — Поляковы, Орловы, Лебедевы, Панины. Б Петербурге — Шишкины, Массальские, Панковы. Сколько цыганок вышло замуж за русских дворян и купцов. Цыганское пение было на высоте. Русский эмигрант, парижанин, в былом известный театральный критик, А.А.Плещеев в книге воспоминаний “Под сенью кулис” рассказывает, как во время “загула” у яровских цыган знаменитый композитор и пиянист Антон Григорьевич Рубинштейн рухнул вдруг перед хором на колени и прокричал: “Это душа поет, душа говорит! Слушайте!!! А я? Что я? Инструмент играет, а не я! Я не должен играть перед вами!” Вот как понимали цыган такие

музыканты, как Рубинштейн!

Известно, что Ленин и Гитлер физически истребляли цыган, *как таковых*. Ленин потому, что кочевое, таборное “фараоново племя” не укладывалось в “Марксову теорию” и к пресловутому “пролетариату” никак не подходило. Поэтому цыгане “массовидно” уничтожались. Гитлер потому, что не считал цыган “арийцами”, хотя таинственное “фараоново племя” к истинным арийцам было, вероятно, гораздо ближе, чем австрийский ефрейтор. Но в начале тридцатых годов в СССР произошла некая “реабилитация” (после того, как цыган, *как племя,* уничтожили). В 1931 году в Москве (для привлечения иностранных туристов и выкачивания из них валюты) даже открыли “советский цыганский театр "Ромэн" при Главискусстве Наркомпроса РСФСР”, причем задача театра определялась так: “театр должен пропагандировать переход цыган к оседлой трудовой жизни”. Художественным руководителем театра стал М.И.Гольдблат (не цыган). Потом С А. Баркан (не цыган). Эмигрант “третьей волны” рассказал мне такой анекдот о театре “Ромэн”, Кто-то будто бы спросил Баркана: “Скажите, пожалуйста, сколько у вас в театре настоящих цыган?” На что Баркан будто бы ответил: “Кроме меня и Рабиновича, остальные все евреи”. Это, конечно, “хохма”. В театре “Ромэн” есть цыгане, но их “кот наплакал”. Мне называли фамилии цыган: цыганский премьер Н.Сли-ченко, Тимофеева, Волшаниновы, Жемчужина, Шишков, Ту-манский, кто-то еше. Исторический же факт: *цыгане, как племя, в СССР уничтожены.*

Отмечу двух знаменитых эстрадных певцов русского Парижа. Александр Вертинский и Надежда Васильевна Плевицкая. До революции у обоих в России гремело “всероссийское имя”. В Париже Вертинский выступал и в своих концертах, и в благотворительных для русских зарубежных организаций. Сначала его пение “делало сборы”. Вперемежку со старым он пел и новое: “Хорошо мне в степи молдаванской”, “И стоят чужие города, / И чужая плещется вода”, положенное им на музыку, чуть измененное стихотворение Георгия Иванова “И слишком устали, и слишком мы стары / Для этого вальса, для этой гитары”. Но, конечно, за рубежом публики для Вертинского было маловато. К тому же некоторые эмигранты относились к нему подозрительно-недружелюбно. Один знакомый как-то сказал мне: “У Вертинского красные подштанники!”, намекая на какие-то советские связи. Не знаю, были связи иль их не было, но когда Вертинский вернулся в СССР, встречен был с распростертыми объятиями. Актеры часто, увы, — не граждане. В Париже Вертинский пробовал петь по-французски — не вышло, “не оценили”, пришлось оставить. Перенес свои выступления в

русские ночные кабаки. Но это мало давало. И из Парижа А.Вертинский уехал на Дальний Восток, а оттуда в СССР.

В связи с Вертинским вспоминаю Эренбурга. Правда, это относится не к Парижу, а еще к Берлину. Как-то на концерте Вертинского мы с Олечкой оказались в зале совсем рядом с Эренбургом и его женой Любовью Михайловной. Близко к эстраде: Эренбурги в первом ряду, мы во втором. Вертинский — "в своем репертуаре". Тут и "Бразильский крейсер", и "Пей, моя девочка", и "На смерть юнкеров", и "Концерт Сарасате". Пел по-своему хорошо, голос приятный (и довольно большой, к удивлению), жест выразительный, актерское исполнение тонкое. Конечно, это не "Критика чистого разума" и не "Диалоги Платона", мы знали, для чего сюда пришли. И Эренбург все это, конечно, прекрасно понимал. Но сидя перед нами, вел себя нагло, нахально, невоспитанно. После каждой вещи начинал демонстративно хохотать, так что и Вертинский мог это заметить с эстрады. Такое отношение к выступлению артиста (любого) мне было противно. И я невольно вспомнил, что ведь совсем еще недавно этот же Эренбург подражал именно Вертинскому, изо всех сил пиша стихи "под него", но гораздо хуже. Вот эти перлы Эренбурга:

Иль, может быть, в вечернем будуаре,
Где ровен шаг от бархатных ковров,
Придете вы ко мне в небрежном пеньюаре,
Слегка усталая от сказок и духов.

Портьеру приподняв, вы выйдете оттуда,
Уроните в дверях свой палевый платок,
И, обойдя кругом тяжелые сосуды,
Дадите мне вдохнуть неведомый цветок.

Тут, по-моему, очень хороши: и какой-то "палевый платок" (почему он палевый?), и совершенно непонятные "тяжелые сосуды" (вызывающие странные ассоциации). У Вертинского все было и легче, и милее, и веселее: "А когда придет бразильский крейсер, / Капитан расскажет вам про гейзер", "Хорошо мне в степи молдаванской… И российскую горькую землю / Узнаю я на том берегу". По сравнению с беспомощным стихом раннего, "томного" Эренбурга это просто отдохновение.

Когда после "въезда" в Париж я пришел в один книжный магазин, владельца которого я знал по Берлину, он сказал мне, что после заметки в "Последних новостях" о моем аресте и заключении в концлагерь Ораниенбург в магазин к нему пришел как-то Эренбург. Он говорит Эренбургу: "Илья Григорьевич, слышали, Романа Гуля гитлеровцы арестовали и заключили в

концлагерь”. А Илья Григорьевич “с презреньем”: “И хорошо сделали, пусть там и сидит”.

В это время Эренбург был уже “маршалом советской литературы”, раньше отвратительно беззубый — вставил белоснежные протезы, раньше грязный и “тухлый” (по выражению Алексея Толстого) — теперь в дорогом новом костюме, чистый, отрастил большое брюхо. Только походка у Эренбурга осталась та же: ходил по-бабьи, неприлично крошечными шажками, как гейша.

Знаменитую исполнительницу русских народных песен Н.В. Плевицкую я слыхал многажды. И в России, и в Берлине, и в Париже не раз. Везде была по-народному великолепна. Особенно я любил в ее исполнении “Сумеркалось. Я сидела у ворот, / А по улице-то конница идет…” Исполняла она эту песню, по-моему, лучше Шаляпина, который тоже ее пел в концертах.

В Париже Н.В. со своим мужем генералом Н.Скоблиным жили постоянно. Но не в городе, а под Парижем, в вилле в Озуар-ля-ферьер. Концерты Н.В. давала часто. Запомнился один — в пользу чего-то или кого-то, уж не помню — но помню только, множество знатных эмигрантов сидели в первых рядах: Милюков, Маклаков, генералы РОВСа, Бунин, Зайцевы, Алданов (всех не упомню). Надежда Васильевна великолепно одета, высокая, статная, была, видимо, в ударе. Пела “как соловей” (так о ней сказал, кажется, Рахманинов). Зал “стонал” от аплодисментов и криков “бис”. А закончила Н.В. концерт неким, так сказать, “эмигрантским гимном” (не знаю, кто писал слова и музыку)[{31}]:

Замело тебя снегом? Россия,
Запуржило суровой пургой.
И одни только ветры степные
Панихиду поют над тобой!

И со страшным, трагическим подъемом: Замело! Занесло! Запуржило!..

Гром самых искренних эмигрантских аплодисментов. “От души”. Крики искренние — “Бис!” “Бис!”. И кому тогда могло прийти в голову, что поет этот “гимн” погибающей России — не знаменитая белогвардейская генеральша-певица, а самая настоящая грязная чекистская стукачка, “кооптированная сотрудница ОГПУ”, безжалостная участница предательства (и убийства!) генерала Кутепова и генерала Миллера, которая окончит свои дни — по суду — в каторжной тюрьме в Ренн и перед смертью покается во всей своей гнусности.

Как сейчас слышу ее патетические ноты, как какой-то неистовый, трагический крик:

Замело!.. Занесло!.. Запуржило!..

Монпарнас

С юности (по книгам) я, конечно, знал, что в Париже (каким невероятным представлялся из Пензы Париж!) среди прочих “чудес” есть Монмартр и Монпарнас. Там общаются знаменитые художники, писатели, “бьет” какая-то особая, сверхъестественная жизнь всемирной богемы. Но тогда в Пензе я никак не мог бы себе представить, что русская революция, бросая меня из страны в страну, сделает меня и “парижанином”, выбросив именно почти что на самый Монпарнас.

Тут же после нашего вселения с Олечкой на рю Олье, 16, я, конечно же пошел на эту самую всесветную знаменитость — на Монпарнас. Прошел рю де Вожирар, возле которой жил, свернул на бульвар Пастёр, а с него — вот он и батюшка бульвар Монпарнас! И я уже на всемирно знаменитом пупе земли — на Монпарнасе, как раз на пересечении бульвара Распай и бульвара Монпарнас и двух улиц — Бреа и Деламбр. А в широкие бульвары втекают еще какие-то улички, так что все вместе образует некую как бы площадь, по окраине которой и расположены знаменитые кафе — “Ротонда”, “Дом”, немного подальше — “Селект”, “Купель”, какие-то еще. Столики со стульями стоят прямо на широком тротуаре, заполнены разными, красочными по одежде (а иногда и по цвету кожи: японцы, индусы, мулаты) людьми. Тут спившиеся гении, и гениальные неудачники, и проходимцы, невропаты, и признанные художники, и всякий сброд, не относящийся к искусству.

Сначала я стал обходить и осматривать эти кафе внутри. И вот, когда я подходил к “Купель” (довольно неприятное большое буржуазное, а не богемное кафе-ресторан), из-за крайнего столика мне навстречу вдруг поднялся человек и с широко раскрытыми объятиями пошел прямо на меня. Я без труда узнал его. Это был Владимир Евгеньевич Татаринов, тот сотрудник берлинской газеты “Руль”, по заявлению которого десять лет тому назад всех сотрудников газеты “Накануне” (в том числе и меня) исключили из Союза русских писателей и журналистов в Берлине.

— Роман Борисович! Господи! Как я рад, что вы вырвались из этого проклятого концлагеря! — проговорил он, обнимая меня. Надо сказать, что с Татариновым в Берлине я лично даже не был знаком. И тем приятнее была мне эта неожиданная дружеская встреча. Мы облобызались, сказали друг другу несколько дружеских фраз. И я пошел на другую сторону бульвара, взглянуть, что это там еще за кафе “Селект”. Но из всех монпарнасских кафе понравился мне больше всего угловой

“Дом”. Там я и воссел за столик. Лакей меланхолично, больше для вида, обмахнул столик какой-то тряпкой, я заказал знаменитый “кафэ-крем” за двадцать сантимов. За этим грязноватым стаканом кофе с молоком вы могли тут сидеть и день и ночь, никто вас не побеспокоит платежем — это традиция, естественно установленная безденежными завсегдатаями Монпарнаса. Позднее я узнал, что некоторые из них иногда сидят тут за кафэ-кремом до тех пор, пока какой-нибудь приятель не подвернется и не заплатит эти двадцать сантимов.

Надо оговориться. Я “одним боком” всегда любил и люблю богему. А “другим боком” — не очень, не чересчур. В качестве классического “монпарно” (так французы называли завсегдатаев Монпарнаса) я не мог бы проводить тут ночи и дни, как проводили многие русские эмигранты — литераторы, художники, актеры. Почему я не мог превратиться в “монпарно”? Да наверное потому, что по нутру я человек земский, “толстопятый пензенский” и никак не превратим в эдакую “столичную штучку”. Я невольно “любил и лелеял” эту свою природную земскость.

Но я все-таки любил поболтаться на Монпарнасе в “Доме”. Оттого, что тут можно было удобно предаться некой “творческой лени”. Кажется, у Льва Толстого где-то сказано что-то вроде того, что лучше всего думается тогда, когда ни о чем не думается. Вот — Монпарнас и был именно местом такого душевного состояния. Конечно, тут я встречал иногда кое-кого из приятелей. Но любил больше сидеть один. Помню, как-то сижу один у самого прохода, и вдруг кто-то кладет мне руку на шею и говорит: “Вот сидит дикий Гуль”. Оглядываюсь, а это Ваня Пуни, знакомый еще по Берлину, улыбается, проходя дальше, кого-то разыскивая. В Париже Пуни как художник сделал себе большое имя. И его, и его жену Ксану Богуславскую я любил: милые были люди!

Запойными “монпарно” из русской богемы были многие. Например, одареннейший поэт Борис Поплавский. Но в Париже я его никогда не встречал. А в Берлине была одна “как бы встреча”. И характерная (для него). Но сначала приведу “Розу смерти” — одно из лучших его стихотворений:

В черном парке мы весну встречали.
Тихо врал копеечный смычок.
Смерть спускалась на воздушном шаре,
Трогала влюбленных за плечо,
Розов вечер, розы носит ветер,
На полях поэт рисунок чертит,
Розов вечер, розы пахнут смертью
И зеленый снег идет на ветви.
Темный воздух осыпает звезды,

Соловьи поют, моторам вторя,
И в киоске над зеленым морем
Полыхает газ туберкулезный.
Корабли отходят в небе звездном.
По мосту платками машут дух,
И сверкая через темный воздух,
Паровоз поет на виадуке.
Темный город убегает в горы.
Ночь шумит у танцевальной залы,
И солдаты, покидая город.
Пьют густое пиво у вокзала.
Низко, низко, задевая души,
Лунный шар плывет над балаганом.
А с бульвара, как орган тщедушный,
Машет карусель руками дамам.
И весна, бездонно розовея,
Улыбаясь, отступая в твердь,
Раскрывает темно-синий веер
С надписью отчетливою: смерть.

А вот единственная (но запомнившаяся) “встреча” с Поплавским. Было это в 20-х годах в Берлине. Мы тогда вели молодую, беспутную, беспечную и не всегда сытую жизнь. По субботам своей компанией (я, Офросимов, Иванов, Корвин-Пиотровский) собирались в пивной около Штутгартерпляц у легендарной фрау Утеш. Фрау Утеш легендарна была своим гостеприимством. Полнотелая, дебелая, молодая, типичная немка-берлинка, фрау Утеш была большой любительницей выпить (даже “врезать как следует”) вместе с гостями. И когда у нас не хватало денег, милая Утеш записывала “в долг”, долг позднее погашался, а иногда и не погашался, на что фрау Утеш не очень обижалась. Она нас любила за веселье, за беззаботность, а меня почему-то неизменно называла не иначе, как Fiirstchen (князек, князенька), как я ни уверял ее, что никаким “князьком” не являюсь.

Так вот. В ее пивной обычно бывало полным полно: русские студенты, болгарские студенты (чудесные ребята — Зубов, Гумнеров, уж не знаю, где они, живы ли, тоже хватили горя через край!), бывали начинающие литераторы (вроде нас), всякая богема. И вот однажды сидим мы за столиком вчетвером. А неподалеку с кем-то за столиком наша приятельница поэтесса Татида (по фамилии Цемах, уверявшая, что ее род идет прямехенько от царя Соломона!). У Татиды (близкой подруги по Крыму Макса Волошина) — оригинальное, очень узкое лицо с большим прямым (скорее греческим, чем еврейским) носом.

Наружностью она обращала на себя внимание.

И вот среди пивного веселья, хохота, криков вдруг — всеобщее замешательство. Сидевшие, как пружинные, повскакали с мест. Сначала мы не могли понять, в чем дело, из-за чего весь сыр-бор? Оказывается, сидевший за соседним (с Татидой) столиком совершенно неизвестный ей молодой человек, странный, неопрятно одетый, вдруг встал, подошел к Татиде и ни с того ни с сего дал ей пошечину. Татида вскрикнула, упав на стол головой. Все вскочившие бросились на странного молодого человека. Схватили, кто за шиворот, кто за руки, вывернув ему их за спину, и с шумом потащили к выходной двери, где (буквально) вышвырнули на улицу с трех-четырех ступенек.

Я подошел к рыдавшей Татиде. Она рассказала, что в жизни никогда не видела этою молодого человека и не знает, кто он, почему на нее так пристально смотрел, а потом, подойдя, ударил ее по лицу. Это был Борис Поплавский, позднее автор “Розы смерти” и других прекрасных стихов. Те, кто сидели с ним, тоже ничего не могли объяснить в этом его “безобразии”. Один сказал, что он — Борис Поплавский, студент художественной школы. Причем, постучав пальцем по лбу, добавил: “Борис немного того-.”

У Достоевского Николай Всеволодович Ставрогин проделывал такие же “эксцентричности”. Бедного губернатора Ивана Осиповича вместо того, чтобы прошептать ему что-то на ухо, — “он вдруг прихватил зубами и довольно крепко стиснул в них верхнюю часть его уха. Губернатор задрожал, и дух его прервался: "Nicolas! Что за шутки!" — простонал он не своим голосом”. А Петра Павловича Гаганова, любившего ко всему приговаривать: “Нет-с, меня не проведут за нос!” — Николай Всеволодович, стоявший в стороне один, вдруг подошел к Петру Павловичу, неожиданно, но крепко ухватил его за нос двумя пальцами и успел протянуть за собой по зале два-три шага. Злобы он не мог иметь никакой на господина Гаганова. Можно было подумать, что это чистое школьничество, разумеется, непростительнейшее, и однако же рассказывали потом, что он в самое мгновение операции был почти задумчив, "точно как бы с ума сошел", но это уж долго спустя припоминали и сообразили”. Вспомнил я эту единственную “встречу” с Поплавским потому, что она говорила о его серьезном душевном “неустройстве”. О том же говорили и многие его стихи и “декадентский” его дневник, опубликованный уже после смерти поэта. О Дневнике интересную статью написал тогда “сам” Николай Александрович Бердяев.

Поплавский был несчастнейшим “монпарно”. Носил почему-

то черные очки. Приведу ещё одно его упадочно-интересное стихо:

Снег идет над белой эспланадой.
Как деревьям холодно нагим.
Им. должно быть, ничего не надо,
Только бы заснуть хотелось **им.**
Скоро вечер. День прошел бесследно.
Говорил; измучился; замолк.
Женщина в окне рукою бледной
Лампу ставит желтую на стол.
Что же Ты на улице, не дома,
Не за книгой, слабый человек?
Полон странной снежною истомой.
Смотришь без конца на первый снег.
Все вокруг Тебе давно знакомо.
Ты простил, но Ты не в силах жить.
Скоро ли уже Ты будешь дома?
Скоро ли Ты перестанешь быть?

Борис Поплавский (этот “царства Мои парнасского царевич”, как сказал о нем Николай Оцуп) умер в своем “царстве” страшной смертью: от чрезмерной дозы героина и кокаина.

Конечно, среди русских поэтов-монпарнасцев Поплавский был исключением. Он нигде не работал. “По убеждению”. Жил в полной нищете, которой не тяготился, а даже ею бравировал. Вот запись из его “Дневника”: “В совершенном покое, до отказа "выкатив" коричневую грудь, прохожу я одною ногою по воде (левая подошва пьет воду), другою ногою в огне (правый, резиновый башмак греет), нарочно усиливая, сгущая нищету своего лица (не бреюсь) и своего платья (люблю рванье) тогда, когда я победил всякую жажду и усомнился в счастье Иисуса…”

По смерти Поплавского литературный критик “Последних новостей” Г.В.Адамович назвал его “гениально вдохновенным русским мальчиком, нашим Рембо”. Я никогда (с юных лет) не был поклонником этих самых “русских мальчиков” Достоевского. В тургеневском “Рудине” Лежнев так говорит о типе “русских мальчиков”: “В глазах у каждого восторг и щеки пылают, и сердце бьется. И говорили мы о Боге, о правде, о будущем человечества, о поэзии…” А наш старший современник Влад. Мих. Зензинов, которого я хорошо знал и в Париже, и в Нью-Йорке, в своих “Воспоминаниях” так пишет на ту же тему: “С юности с меньшим, чем счастье всего человечества, мы не мирились”. В юности и молодости я знавал таких “русских мальчиков”, но меня почему-то не только не притягивал их душевно-духовный мир (пусть и искренний, и внутренне-честный), но, отталкивал, как некий

болезненный вывих, некое никому ненужное уродство. Мне казалось, что они проходили мимо *своей собственной жизни,* мимо *своей особи.* А она-то и была мне всегда дорога. Я никогда не хотел “переделывать мир”, мне хотелось “переделывать себя”. Конечно, примененное Г.Адамовичем к Поплавскому наименование “русский мальчик” было и неверной и неуместной литературной болтологией. Поплавский к категории “Белинских” никак не принадлежал. Его природа была совершенно иной, ставрогинско-декадентской. А вот что он внутренне, вероятно, был весьма схож с Артюром Рембо, это, конечно, верно. Но вряд ли мыслимо “впрячь в одну телегу” автора “Пьяного корабля” и “русского мальчика”. Рембо был чисто “французский мальчик”. Кстати, у Поплавского есть хорошие стихи о Рембо и Верлене.

Монпарнасская группа молодых русских поэтов, названная тем же Поплавским — “парижская нота” была разношерстна и по составу, и по дарованиям. Кроме вопросов поэзии и литературы, толковалось о “проклятых вопросах”, о Боге, о Маркионе, о судьбе человечества, о вечности и гробе и т. п. Мне все эти РАЗГОВОРЧИКИ были совершенно чужды, я их не только не любил, но находил какой-то безвкусной кощунственной болтовней. Нормально, если человек думает о Боге, нормально, если человек пишет о Боге, нормально, если человек проповедует Бога. Но душевно противно, когда на каком-то собрании люди РАЗГОВАРИВАЮТ о Боге. “С кем же вы?! — кричал разнервничавшийся Мережковский на одном из таких собраний с этой монпарнасской молодежью (собрания эти у Мережковских назывались “Зеленая лампа”), — с кем? С Христом или с Адамовичем?” Думаю, что “Монпарнас” был много-много ближе к Адамовичу, чем к Христу.

Помню, однажды сижу я в “Доме”, подходит художник Сергей Шаршун, я его знавал по Берлину. “Что, говорит, вы один сидите? Там же, — он показал на дальний угол кафе, — вся литературная братия”. Я в шутку говорю: “Не люблю толпы, Сергей Иваныч”. — “Аааа…” — засмеялся Шаршун и пошел к “братии”. Позже поэт Перикл Ставров, вместе с французом Ланье переводивший на французский моего “Дзержинского”, рассказал, что моя фраза о “толпе” была принята “братией” не то как заносчивость, не то как поза. Я же на самом деле никогда не любил так называемое “общество литераторов”. Поэтому в Париже знавал большинство монпарнасцев издалека.

Молодых русских поэтов и прозаиков тогда в Париже было много. И все они (в противоположность Поплавскому) днем работали, кто окномоем в магазинах, кто телефонистом, кто на

фабрике, кто таксистом, кто маляром, кто в автомобильном гараже. Счастливчиками считались те, у кого жены хорошо зарабатывали в “модных домах” (как портнихи или манекенши). О их мужьях по Монпарнасу даже ходило некое двустишие:

Жена работает в “кутюре”.
А он, мятежный, ищет бури!

Таланты многих эмигрантских поэтов-монпарнасцев я ценил. В противоположность декаденту Поплавскому Владимир Смоленский писал ясную, неусложненную поэзию, иногда сильную. Вот его очень эмигрантское стихо, заслужившее известность:

Над Черным морем, над белым Крымом
Летела слава России дымом.
Над голубыми полями клевера
Летели горе и гибель с севера.
Летели русские пули градом,
Убили друга со мною рядом.
И ангел плакал над мертвым ангелом,
Мы уходили за море с Врангелем.

Об этом неожиданно удачном ассонансе — “ангелом — Врангелем” кой-кто из поэтов говорил с нескрываемой завистью: “большая удача!”. Но гораздо мужественней и цельней на ту же тему написал Николай Туроверов, поэт-казак, редко появлявшийся на Монпарнасе. Занимался он больше “донскими” делами. Создал “Казачий музей”. Вот его стихо — “Конь”:

Уходили мы из Крыма
Среди дыма и огня,
Я с кормы, все время мимо,
В своего стрелял коня.
А он плыл изнемогая
За высокою кормой.
Все не веря, все не зная.
Что прощается со мной.
Сколько раз одной могилы
Ожидали мы в бою.
Конь все плыл, теряя силы,
Веря в преданность мою.
Мой денщик стрелял не мимо.
Покраснела чуть вода,
Уходящий берег Крыма
Я запомнил навсегда.

Типичным представителем “парижской ноты” (по Адамовичу) в своей простоте, ясности, лаконичности стиха был молодой Анатолий Штейгер, рано умерший от туберкулеза. Его

единственная книжка коротких стихов осталась в эмигрантской поэзии — “томов премногих тяжелей”.

У нас не спросят вы грешили?
Нас спросят лишь: любили ль вы?
Не поднимая головы.
Мы скажем горько: да, увы!
Любили… как еще любили!..

Я, разумеется, не пишу никакого *обзора эмигрантской поэзии*. Это задача большой книги. Но упомяну хотя бы имена парижан поэтов-эмигрантов, “унесших Россию”. Жили тогда в Париже уже известные в России: К.Бальмонт, И.Бунин, З. Гиппиус, Георгий Иванов, Н.Оцуп, Вл. Ходасевич, Марина Цветаева, И.Одоевцева, мать Мария (Скобцова), С.Маковский. Из начавших писать только в эмиграции: А. Величковский, Т.Величковская, В.Злобин, И. Кноринг, Ю.Софиев, Д.Кнут, Г.Кузнецова, Ант. Ладинский, В.Мамченко, В.Набоков, Ю.Одар-ченко, Б.Божнев, К.Померанцев, Б.Поплавский, А.Присманова, АТингер, Г.Раевский, В.Смоленский, Ю.Мандельштам, И.Ставров, Е.Таубер, Л. Червинская, Ю. Терапиано, А.Штейгер и другие. Как всегда при таких перечислениях, я, наверное, кого-нибудь пропустил. Да не разгневаются пропущенные.

Кстати, о “молодости” этих поэтов Владимир Варшавский, смеясь, рассказал как-то анекдот, сочиненный Тэффи. “Иду, говорит Тэффи, ночью по Монпарнасу, вдруг из какого-то кафе гуськом, один за другим, выходят евреи средних лет. Спрашиваю спутника: "Кто это? Что за люди?" — "А это, говорит, Союз русских молодых поэтов"”. Конечно, Тэффи, как во всяком анекдоте, “нажимает педаль”. Среди русских поэтов были евреи (Кнут, Гингер, Раевский, Ю.Мандельштам), но отнюдь не в большинстве. А вот насчет “средних лет”, это, пожалуй, тонко.

В “Последних новостях”

Я знал, что ничего из этого не выйдет: “все места заняты”. Но все ж, думая что-нибудь подработать, поехал в “Последние новости”. Все-таки газета напечатала несколько отрывков из “Прыжка в Европу”, сообщала о моем аресте и освобождении (в № 4490 в июле 1936 года “Последние новости” дали заметку: “Роман Гуль: После почти месячного заключения в концентрационном лагере Роман Гуль, об аресте которого в Германии мы в свое время сообщали, освобожден”). Стало быть, мой приход не будет уж так “ни с того ни с сего”. С П.Н.Милюковым я познакомился еще в Берлине. Обменялся письмами. К тому же я хотел просить Милюкова, как и Гучкова, и Бурцева, и Церетели, помочь мне их подписями под прошением о въездной визе во Францию из Германии моей семье.

Я созвонился с Павлом Николаевичем. Он назначил приехать в редакцию к шести вечера. И захватив с собой (на мой взгляд сенсационную) статью “Кто убил генерала И.П. Романовского”, поехал. Об убийстве генерала Романовского точных сообщений в печати не было. А на меня “упал некий апельсин”. У Я.Б.Рабиновича я познакомился с его другом, русским ученым-египтологом, автором труда “Термины, обозначающие "сердце" в египетских текстах”, А.Н. Пьянковым. Он изучал тексты на фараоновых гробницах Египта. Был он собеседник интересный: блестяще образованный, иронически-живого ума, острослов уайльдовского типа. По душе человек хороший. И когда за чайным столом у Я.Б. я рассказал, что поеду на днях в “Последние новости” поговорить о помещении литературных статей, А.Н. перебил: “А хотите, Р.Б., я вам дам такой материал, какой они у вас с руками оторвут?” — “Очень хочу”. Пьянков рассказал, что у него есть собственноручное письмо убийцы генерала Романовского — поручика Харузина о том, как он убил генерала, есть официальные документы о личности Харузина и даже его фотография. Это действительно была “сенсация”, ибо ни фамилия убийцы нигде никогда не называлась, ни точные обстоятельства убийства не были рассказаны. Оказывается, Пьянков и Харузин были друзья детства, вместе учились в гимназии в Москве, и когда после убийства генерала Романовского Харузину нужно было куда-то скрыться (скрылся он неудачно, его где-то кто-то тоже убил), он пришел к старому другу и оставил ему весь этот материал в большом конверте, запечатанном сургучом, с просьбой, если он, Харузин, погибнет, — вскрыть. Через много лет Пьянков вскрыл конверт, а

сейчас предложил мне все опубликовать.

Редакция “Последних новостей” помещалась в центре Парижа, на 26, рю Тюрбиго, на втором этаже. В первом — какое-то грязноватое бистро, Dupont (“chez Dupont tout est bon”), куда сотрудники газеты спускались пить кофе, пиво, закусывать. Вошел в редакцию. Помещение многокомнатное, но весьма непрезентабельное. Встретил меня сидевший у телефона высокий, довольно невыразительный человек. Я уже знал, что это талантливый поэт Антонин Ладинский.

О чем ты плакала, душа моя,
Вздыхая за решеткой бытия?
Куда рвалась, как пленница в слезах,
Искала выход голубой впотьмах?
В какие небеса взлетала ты
Из этой непроглядной темноты?

Я знал, что Ладинский тяготился работой телефонного мальчика и первого, принимающего посетителей. Он меня сразу спросил о цели моего прихода. Я назвал себя. Он сказал, что меня знает. Я сказал, что знаю его. Поздоровались. Он добавил, что Павла Николаевича еще нет, но он доложит обо мне его помощнику И.П.Демидову. Войдя в какую-то комнату, он тут же вернулся, проговорив:

— Проходите, пожалуйста, сюда. Игорь Платонович вас примет.

Я вошел. Комната большая, полупустая, в конце за столом сидит необычайно худой и очень смуглый пожилой человек, сразу же мне не понравившийся. А стиль, в котором он меня принял, показал, что человек и не очень умен, и не очень хорошо воспитан. Увидев меня, Демидов, как-то по-чиновничьи поджавшись, поднялся в струнку и нарочито сухим тоном недовольно произнес:

— Чем имею честь вам служить?

“Ах, вот ты какой, — подумал я, — так ты, стало быть, еще и дурак!” И совершенно в том же тоне я ему ответил:

Покорно благодарю. Ничем. У меня свидание с Павлом Николаевичем в шесть часов. Павла Николаевича нет. Вы можете подождать его здесь. Покорно благодарю.

Позднее, когда я читал воспоминания А.В.Тырковой-Вильямс (“На путях к свободе”), я понял, почему Милюков взял к себе в помощники такого Демидова. Очень близко знавшая Милюкова Тыркова писала: “Он подбирал свое ближайшее окружение, привлекая людей не столько крупных, сколько услужливых, преданных”. Таким “услужливым” явно был и Демидов.

Я сел на самый близкий к выходу из комнаты стул. Тон

неумного Демидова мне был ясен: сменовеховец, человек из концлагеря, Бог знает за что там его посадили, вообще может быть, какая-то темная личность. Раскрыл газету, стал читать, не обращая на Демидова внимания. Мимо двери проходили разные сотрудники, некоторые бросали на меня “взгляд не без любопытства”. Наверное Ладинский сказал обо мне в редакционной комнате, подумал я. Так прошел, бросив “взгляд”, А.А.Поляков, я его знал по виду. Других не знал. Но вдруг в дверях остановился М.А.Алданов и сразу подошел ко мне. Его я, хоть и поверхностно, знавал по Берлину. Алданов поздоровался и отозвал меня в коридор. Тут он сразу стал расспрашивать о концлагере. Я ведь тогда был единственный человек в Европе, кому удалось побывать в гитлеровском кацете. Алданов расспрашивал подробно, как “историческому романисту” и подобало. Вдруг он спросил:

— А вас били?

Вопросом я был поражен. Ведь Бунин называл Алданова “последним джентльменом русской эмиграции”, а вопрос был “верхом бестактности”. Ведь если б меня и били, неужели я стал бы рассказывать об этом Алданову? Но меня не били. И своим “нет” я даже, кажется, разочаровал его. Алданов расспрашивал меня долго обо всем. А я, глядя на него, думал, как он изменился за десять лет: потолстел, обрюзг, ни следа былой элегантности и красивости. Когда же я сказал ему, что привез статью об убийстве генерала Романовского, Алданов тут же повел меня к главному “махеру” газеты А.А.Полякову. “Это по его части, а Павлу Николаевичу он уж покажет”.

Старый газетчик А.А.Поляков, сотрудник еще сытинского “Русского слова” в Москве, а потом в Петербурге, кажется, “Биржевых ведомостей”, сидел за столом, заваленным рукописями, корректурой, вырезками. Но когда Алданов сказал ему о теме моей статьи, он сразу, как хорошая гончая, заинтересовался, по нюху почуяв, что это действительно сенсационный, подходящий материал. Я дал ему и статью, и подлинники документов, и фотографию Харузина. Все это он бегло просмотрел, скрепил скрепкой, сказав: “Да, это может быть интересно”. Я просил его (Христом-Богом) об одном, чтоб по напечатании статьи он вернул мне оригиналы документов и фотографию. Поляков, конечно, уверял, что вернет. Но это была неправда. Ни одного подлинника документов он так и не вернул: “Куда-то забозлал, не нахожу!”, — довольно грубо отговаривался он. Слава Богу еще, что я получил назад фотографию Харузина, которая в газете не была напечатана. А документы Поляков, видимо, присоединил к собственному архиву как уникальные.

Моя статья “Кто убил генерала И.П.Романовского” появилась в “Последних новостях” очень быстро. И так как это убийство почти не было освещено, я считаю правильным привести ее полностью, как исторический документ. Вот она:

КТО УБИЛ ГЕНЕРАЛА РОМАНОВСКОГО

5 апреля 1920 года в Стамбуле, тогда еще Константинополе, в биллиардной комнате русского посольства выстрелом из револьера был убит начальник штаба Добровольческой армии генерал И.П.Романовский.

Это таинственное убийство русского генерала русским офицером, происшедшее под конец борьбы Добровольческой армии, ошеломило тогда не только русскую эмиграцию, но и иностранцев в Константинополе.

Попытки выяснить, кем было подготовлено это позорное для русских убийство, кто были его вдохновители и, наконец, кто был тот “офицер в светлой шинели мирного времени”, фактический убийца генерала Романовского, — остались тщетны.

Прошло без малого шестнадцать лет. Но ответы на эти вопросы представляют и посейчас бесспорный общественный и политический интерес.

Недавно мне переданы лицом, заслуживающим абсолютного доверия, документы, до известной степени приподнимающие покров над этим загадочным преступлением. Лицо, передавшее документы, хорошо знало русские константинопольские круги, в которых вращался убийца генерала Романовского, а самого убийцу знало с гимназических лет. Этому лицу убийца и оставил приводимые здесь документы и сам рассказал, как он убил генерала Романовского.

4 апреля 1920 года, после сдачи главного командования генералом Деникиным генералу Врангелю, от берегов Черного моря отошел английский миноносец, увозя на своем борту покинувшего Добровольческую армию ее бывшего главнокомандующего и его бессменного начальника штаба генерала И.П.Романовского.

В сопровождении английского генерала Хольмана А.И.Деникин и И.П.Романовский плыли в Константинополь. За английским миноносцем шел французский, на котором были адъютанты и офицеры свиты.

О прибытии генералов Деникина и Романовского в Константинополь официально ничего не сообщалось. Вероятно, из предосторожности. Даже русский военный агент в Константинополе, генерал Агапеев, узнал о приезде бывшего главнокомандующего и его начальника штаба только в самый последний момент от военно-морского агента, капитана 2-го

ранга Щербачева.

Но это — официальные круги. Тайная же крайне-правая монархическая организация, группировавшаяся вокруг русского консульства в Константинополе, уже наметившая своей жертвой генерала Романовского, прекрасно знала, кого везет на борту английский миноносец.

Это подтверждается тем, что взявшийся за выполнение убийства член этой организации, поручик из информационного отделения отдела пропаганды при особом совещании при главнокомандующем, убил Романовского сразу же по приезде его в Константинополь.

Было ли обставлено убийство тщательной конспирацией? Нет. Главнокомандующий английскими войсками в Константинополе, генерал Мильн, после убийства вызвавший к себе генерала Агапеева, в резкой форме упрекал последнего за непринятие им мер к охране генерала Романовского, заявляя: “О большом заговоре на жизнь Романовского знали все!”.

Если об этом знали англичане, то, разумеется, русские могли знать еще лучше. Тем не менее, никаких мер охраны принято не было, ибо, как сообщает генерал Агапеев, он узнал о приезде Деникина и Романовского в последний момент.

О том, что это убийство “висело в воздухе”, говорит и тот факт, что как только английский миноносец с генералами Хольманом, Деникиным и Романовским прибыл к пристани Топханэ, генералов, одновременно с военным агентом Агапеевым, встретил и офицер английского штаба, пытавшийся предупредить о грозящей опасности.

Об этом предупреждении генерал Деникин пишет так: “Англичанин что-то с тревожным видом докладывает Хольману. Последний говорит мне:

— Ваше превосходительство, поедем прямо на английский корабль.

Англичане подозревали. Знали ли наши? Я обратился к генералу Агапееву:

Вас не стеснит наше пребывание в посольстве… в отношении помещения? Нисколько. А в… политическом отношении? Нет, помилуйте…”

И генералы Деникин и Романовский поехали в русское посольство. Но перед зданием посольства, ожидая Романовского, уже прохаживался высокий худой поручик “с желтым лицом”, одетый “в светлую шинель мирного времени”. Это и был член тайной крайне-правой организации, вынесшей смертный приговор Романовскому.

Когда Деникин и Романовский подъехали, у здания

посольства собралась группа офицеров, их жен, здесь же были сложены чемоданы. В группе стоял и поручик-убийца, с заряженным парабеллумом в кармане.

Генерал Романовский вошел в помещение русского посольства. Офицер “в светлой шинели мирного времени” пошел за ним. Обстановка для убийства складывалась благоприятно. Романовский вошел в биллиардную комнату, в которой не было решительно никого. За Романовским вошел в биллиардную и высокий офицер, нагоняя генерала. И когда Романовский был почти уже у двери, офицер окликнул его: “Генерал!”.

Романовский обернулся. В этот момент, выхватив парабеллум, “офицер в светлой шинели” с двух шагов разрядил его в Романовского. Романовский упал, обливаясь кровью. А офицер бросился назад к двери. Но тут произошла частая в подобных случаях странность. Вместо того чтобы бежать к выходу, убийца почему-то бросился наверх по лестнице посольства (он сам этого не мог объяснить). Первая дверь, которую он попробовал растворить, оказалась заперта. Тогда убийца бросился этажом выше, но здесь прямо ему навстречу вышла неизвестная дама (она была единственным свидетелем, видевшим убийцу). Увидев перед собой даму, убийца пришел в себя и, вместо того чтобы бежать дальше наверх, овладев собой, спокойно спустился с лестницы, вышел, сел на подходивший в этот момент трамвай и уехал к себе на квартиру, находившуюся в Шишли.

Так рассказал обстановку убийства сам убийца, поручик Мстислав Алексеевич Харузин, служивший в информационном отделении отдела пропаганды особого совещания при главнокомандующем вооруженными силами на юге России.

Вот его удостоверение:

“УДОСТОВЕРЕНИЕ № 352

Дано сие поручику Мстиславу Алексеевичу Харузину в том, что он действительно состоит на службе в константинопольском информационном отделении отдела пропаганды особого совещания при главнокомандующем вооруженными силами на юге России, что подписью с приложением казенной печати удостоверяется. Константинополь, 6 сентября 1919 года (н. ст.). Вр. и. д. начальника отделения

Г.Курлов

Секретарь (подпись неразборчива)”.

Рассказ М. Харузина об убийстве почти целиком подтверждается и результатом следствия, сообщаемым генералом В.П Агапеевым в статье “Убийство генерала Романовского”. Из сообщений же генерала А.И Деникина можно добавить, что

Романовский пошел через биллиардную комнату, дабы, в отсутствие адъютантов, самому распорядиться о подаче автомобиля, ибо ни Деникин, ни Романовский не могли оставаться в помещении русского посольства, так как русский дипломатический представитель (г. Якимов? — Р.Г.), несмотря на приглашение генерала Агапеева, в помещении генералам Деникину и Романовскому отказал.

Дальнейшие события в связи с убийством известны. Оно вызвало необычайное возмущение в кругах союзного командования, особенно у англичан. Предполагая, что со стороны этой же организации может произойти покушение и на жизнь генерала Деникина, генералы Мильн и Хольман ввели немедленно английские войска в здание русского посольства для охраны генерала Деникина.

В тот же день генерал Деникин перешел на английское судно, а на другой день отплыл на дредноуте “Мальборо” в Англию.

Лица, прекрасно знавшие тогдашнюю константинопольскую обстановку, говорят, что установить личность убийцы не представляло, конечно, решительно никакого труда. Но английское следствие, не пролив света на убийство, оборвалось потому, что англичан детальное расследование этого дела не интересовало — не их территория, не их жертва, не их убийца.

Русское же следствие тоже оборвалось, но, вероятно, по другим мотивам.

И “где-то наверху” было решено дело потушить, а убийцу скрыть, отправив его из Константинополя. Такая отправка Харузина была тем более легка, что он был очень близок к русскому константинопольскому консульству.

Консульство быстро помогло Харузину получить “командировку” к Кемаль-паше в Анкару для “установления связи с начинающимся кемалистским движением”. Но и с этой командировкой Харузин не торопился. Он выехал только через месяц после убийства генерала Романовского.

В это время Кемаль-паша отбивался от греков. Путешествие в Анкару представляло большой риск. Возможно, что лица, посылавшие Харузина, учитывали этот риск, полагая, что из этой поездки “на тот свет” Харузин, может быть, и не вернется. Так и вышло. Харузин действительно не вернулся. (От какой пули погиб убийца генерала Романовского, от греческой ли, турецкой или просто бандитской, неизвестно).

Вещи Харузина оставались на квартире в Шишли. Прошел месяц, два, три, полгода. Сначала о Харузине в офицерских кругах появлялись легенды, что он действует у Кемаль-паши под именем Кару-Зен. Но легенды таяли. И, наконец, выяснилось, что

Харузина нет в живых.

Тогда лежавший в его вещах конверт, запечатанный сургучной печатью, был вскрыт. В конверте был лист бумаги, на котором рукой Харузина было написано следующее:

“СООБЩЕНИЕ

Сообщаю, что 5 апреля 1920 года, в 5 ч. 15 м. дня, в биллиардной комнате русского посольства в Константинополе из револьвера системы “парабеллум” мною убит двумя выстрелами генерал Романовский. Подтвердить могут лица, видевшие факт и узнавшие о нем немедленно.

Мстислав Харузин”.

Зачем писал Харузин это “сообщение”? Но тут мы уже переходим к психологии убийцы и спускаемся даже в подвалы некой “достоевщины”.

Мстислав Алексеевич Харузин родился в 1893 году в состоятельной интеллигентной семье. В 1912 году он окончил в Москве гимназию имени Медведниковых. Его отец, человек крайне правых, “черносотенных” убеждений, был сенатором. По окончании гимназии Харузин поступил в Лазаревский восточный институт, где посвятил себя изучению турецкого языка и Турции. Занимался он также археологией. Увлечение Востоком заставило Харузина в 1914 году поехать в Египет. Война застала его в Константинополе. Вернувшись в Россию, он поступил не в строевые части, а в отряд Красного Креста. В 1915 году Харузин поступил в Михайловское артиллерийское училище, которое и окончил перед революцией.

В Добровольческой армии Харузин все время работал во всевозможных “секретных”, “особых” и “разведывательных” организациях, принадлежа к распространенному типу тыловых “контрразведчиков”. Убивший боевого генерала Романовского, участника мировой войны, участника “ледяного похода” и всей последующей борьбы Добровольческой армии, Харузин сам никогда на фронте не был и войны не видел. Его жизнь проходила в тыловой атмосфере конспираций, подпольщины, заговоров и интриг, ведшихся самыми темными закулисными элементами армии. Бот еще одно удостоверение Харузина:

“Начальник отдела генерального штаба
военного управления.
10 ноября 1919 года.
№ 942 (оу), г. Ростов-на-Дону.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Предъявитель сего, поручик Харузин, действительно командирован особой осведомительной организацией в города Северного Кавказа (Владикавказ, Грозный, Темир-Хан-Шура,

Петровск, Дербент) для ознакомления с положением горских народов. При нем следует Махамед Акуджи. Начальник военного управления просит оказывать ему содействие. Что подписью и приложением казенной печати удостоверяется.

За начальника отдела генерального штаба, генерального штаба полковник *(подпись неразборчива)*.

За начальника особого отделения генерального штаба
полковник *(подпись неразборчива)**.

Как владеющий восточными языками, Харуэин отправлялся не только на Кавказ, но и в Туркестан и в Турцию. Турцию Харузин особенно любил и даже “считал себя турком”', действительно собираясь стать мусульманином.

Работа во всяческих тайных организациях, разумеется, давала и неуравновешенности, и всем странностям Харузина богатую пищу. Близко знавшие Харузина отмечают в нем крайнее позерство и манию величия, хотя бы геростратову. Никогда не видавший боев, Харузин нередко высказывал близким желание “попробовать волю” — “убить”.

Для тайной террористической монархической организации, в которой состоял Харузин, он был сущий клад. Этот обремененный “маниями” человек был чрезвычайно подходящ для роли выполнителя террористического акта. Наряду со многими завиральными идеями, Харузин считал также необходимым "бороться с жидомасонством”. А так как, свалив генерала Деникина, крайне-правые генералы И поддерживавшие их группы пустили в оборот примитивную агитку, относя все поражения Добровольческой армии на счет генерала Романовского, “продавшего армию жидомасонам”, то естественно, что этими организациями генерал Романовский и был выставлен как мишень для пуль одержимого Харузина, Харузин же этим “актом” служил не только “идеям” своей тайной организации, но и удовлетворял свое давнее желание “попробовать волю”.

Много, много позже, уже в Нью-Йорке, у меня завелась эпистолярная дружба с интересным человеком — Каролем (по русскому отчеству Михайловичем) Вендзягольским. Он жил, как польский эмигрант, в Бразилии, в Сан-Пауло, где и умер. Вендзягольский — родовитый шляхтич, с молодости — русский революционер (с.р. правого толка), друг Б.Б.Савинкова, в Первую мировую войну был комиссаром Временного правительства 8-й армии. После Октября он и Савинков пробрались на юг к генералу Л.Г.Корнилову выяснить, могут ли они в Добровольческой армии вместе бороться против большевизма. Но их разговор с Корниловым был ни то ни се, хотя он и просил их остаться в армии. После Корнилова они разговаривали с

И.П.Романовским. Бендзягольский дает сжатую характеристику этого убитого Харузиным генерала.

“Начальник штаба Главнокомандующего Добровольческой армией Иван Павлович Романовский был не только выдающимся офицером генерального штаба. Это был глубокий, умный человек, отличавшийся от прочих генералов точностью понимания действительности, очень современным взглядом на сущность революции и на задачи и цели контрреволюции, которая должна была состояться во имя высоких целей возрождения страны и государства.

Генерал Романовский был убежденным монархистом, но, будучи внимательным и умным свидетелем происходящего, он согласовал свои убеждения, чувства и даже вкусы с современностью. Поэтому он стремился глубоко обосновать контрреволюцию. Он понимал, что не физическое уничтожение революционеров дает контрреволюции фундамент, а только пробуждение в массах контрреволюционного духа и может и должно дать истинное возрождение родины. Всех тех контрреволюционеров, которым казалось, что революцию надо лишь схватить за горло и прикончить посредством нагана и нагайки, Романовский считал неврастениками и авантюристами, вызывающими опасения…

Романовский внимательно слушал мысли Савинкова и очень нерадостные выводы из них. Когда же Савинков спросил генерала в упор, что он думает о нашем присутствии здесь и о сотрудничестве, Романовский коротко и твердо сказал:

— Уезжайте отсюда безотлагательно. Послезавтра может быть уже поздно. Помогайте нам извне. Здесь ваши враги сильнее ваших друзей, потому что они являются здесь *стихией*…

И вот этот замечательный человек, блестящий генерал старой русской армии, консерватор и европеец с благородным мистическим уклоном, характерным для русского, был застрелен в Константинополе каким-то преступным дегенератом и глупцом”. (“НЖ”, кн. 70).

Харузин — убийца генерала Романовского, Таборицкий и Шабельский-Борк — убийцы Набокова и люди сходного им “душевного склада” в Белой армии были именно *стихией,* которая губила и погубила Белую армию, лишив ее духа *народного восстания.* После “ледяного похода” я ушел из Добровольческой армии, чувствуя именно эту отталкивающую меня *стихию.*

У П.Н. Милюкова

Когда я приехал впервые в редакцию “Последних новостей”, у Милюкова в кабинете задержался недолго. Я сказал Павлу Николаевичу, что передал Полякову статью об обстоятельствах убийства генерала Романовского и соответствующие документы. Милюков ответил: “Это интересно, я прочту”. Но когда я начал говорить о том, что был бы ему благодарен, если б он, так же как Гучков, Бурцев и Церетели, поддержал во французском министерстве внутренних дел мое прошение о въездной визе из Германии для моей семьи, он ответил: “Видите, здесь я очень занят редакционной работой и не могу об этом с вами говорить. Зайдите ко мне на дом, утром, часам к десяти, и мы об этом поговорим”. Признаюсь, меня этот ответ удивил, ибо у Милюкова была репутация человека предельно холодного, относившегося к отдельным людям без всякого интереса. И тут он вполне мог мне отказать, он не знает моей семьи, а меня видит второй раз в жизни. Нет. Милюков написал свой адрес, 17, рю Лериш, второй этаж, послезавтра в десять утра.

Жил Милюков недалеко от Гучкова, в том же, переполненном русскими эмигрантами, 15-м арондисмане. Рю Лериш в двух шагах от нашей рю Олье. Такая же неопрятная, неприглядная улица с облезлыми старыми домами. Ровно в десять я вошел в дом № 17, поднялся на второй этаж (лифта в доме не было) и повернул в двери старомодный звонок. Раздался громкий звоночный звук, и тут же дверь открыл сам Павел Николаевич. Поздоровавшись, он провел меня в свой “рабочий кабинет”. Но, господи, что это был за кабинет! Милюкова, историка и политика, знал весь мир. Его “Очерки по истории русской культуры” переведены на все главные языки. Как ученый, он награжден был званием доктора honoris causa Кембриджского университета. Но вряд ли кто мог предположить, что этот выдающийся русский ученый работает в такой бедной комнатенке, затопленной потопом книг, газет: и на полках, и на столе, и на полу. Он сел за заваленный всяким рабочим материалом стол. Я — рядом на стуле.

Милюков был сед как лунь (сед до полной белости). Волосы коротко подстрижены, такие *же* белые подстриженные усы, все лицо ровно розоватое. Говорят, что в кадетской партии у П.Н. было прозвище — “каменный кот”. В таком прозвище было что-то удивительно меткое. Говорил П.Н. старым московским говором. Вместо “восемнадцать” говорил “осьмнадцать”. Но в разговоре П.Н. не было того, что сразу привлекало в А.И. Гучкове: какой-то

заинтересованности в собеседнике. Милюков был предельно деловит. Возможно более коротко я рассказал ему о трагическом положении моей семьи в Германии, которой просто нечем было жить, и просил его подписать мое прошение в министерство внутренних дел, как это уже сделал Гучков и обещали сделать Церетели и Бурцев.

— Я, конечно, подпишу, — проговорил Милюков, — но вы, вероятно, не знаете нравов французских чиновников и этих учреждений. Их ничем не прошибешь, и я сомневаюсь, чтоб из этого “демарша” что-нибудь вышло.

Я ответил, что меня поддерживает наш бывший посол в Швеции, К.Н. Гулькевич, работающий теперь в Лиге Наций в отделе помощи беженцам. К.Н. Гулькевич выхлопотал мне небольшую ссуду на аренду фермы, на которой поселится моя семья.

— Хорошо. Старайтесь. Понимаю вас и подпишу, — с этими словами Милюков взял ручку и прошение, подписав там, где в скобках было напечатано по-французски его имя, фамилия и “ancien ministre”. Подписав, П.Н. добавил: Вот если б они могли переехать в Чехословакию, я, вероятно, мог бы помочь, у меня хорошие личные отношения с Бенешем, а в таких делах личные отношения очень важны.

После этой фразы я понял, что Милюков совершенно не похож на Демидова. Я поблагодарил П.Н., но сказал, что в Чехословакию семья, к сожалению, перебраться не может. И не желая его задерживать, поблагодарив еще раз, простился. Милюков проводил меня до двери.

У В.Л. Бурцева

С той же просьбой я был и у Владимира Львовича Бурцева. С ним я в свое время познакомился в Берлине, но при весьма “странных” обстоятельствах, о которых стоит рассказать. Звонит мне как-то по телефону Б.И.Николаевский и говорит: “Р.Б., в Берлин приехал Владимир Львович Бурцев, был у меня и говорил, что очень хочет встретиться с вами”. Мой роман “Азеф” (тогда — “Генерал БО”) давно уже вышел вторым изданием. Имел успех. И мне стало сразу как-то неловко: может быть, Бурцев недоволен тем, как я вывел его в романе? Я спросил Б.И.: “На какой же предмет он хочет со мной встретиться?” — “Не знаю, он ничего не сказал, но вашего “Генерала БО” очень хвалил”. — “Хорошо, дайте мне телефон Владимира Львовича, я ему позвоню”. Б.И. дал, добавив: “После свидания расскажите, что это за "конспирация"” (Б.И. был большим любителем собирания всяких “фактов”). Итак, с Вл. Льв. я созвонился, сказав, что его просьбу о встрече передал мне Б.И. и я буду ей очень рад. Бурцев был любезен и тут же назначил встречу на завтра в кафе на Виттенбергпляц, около которого жил. Человек я (всю жизнь) очень точный (пунктуален, “как Ленин”) и ровно в назначенный час вошел в кафе, где в углу сразу узнал сидевшего, седого, в очках, сгорбленного Бурцева. Я пошел прямо к нему.

Роман Борисович? Так точно, Владимир Львович. Очень рад, очень рад, спасибо, что пришли.

Мы уселись за столиком в углу кафе. И так как я был приглашен не знаю зачем, я предоставил инициативу разговора Владимиру Львовичу. Сам же только разглядывал его, находя, что в романе я описал его наружность вполне точно (по портретам).

— Ну, вот, — заговорил Бурцев, — рад с вами познакомиться. Конечно, читал ваш роман и могу сказать вам комплимент: никаких неточностей в фактах, в его теме у вас нет. Я то уж знаю все это дело и иногда даже удивлялся, как хорошо все документировано.

Я сказал, что в документации меня поддерживал такой “дока” в истории революционного движения, как Борис Иванович, да еще Сергей Григорьевич Сватиков из Парижа, в распоряжении которого, как комиссара Временного правительства при посольстве, был весь архив царского парижского посольства.

— Да, да, я это знаю. Документаторы у вас были знающие, но вот в мелких деталях у вас есть большие ошибки.

Я невольно насторожился.

— Вот, например, в описании моей наружности.

Мне стало неловко.

— Вы пишете, что у меня большие, выставленные вперед зубы..

Мне стало еще более неловко.

— И это может быть правильно. Но вы добавляете-прокуренные….

Мне стало совсем уж неловко.

— А я уверяю вас, что никогда в жизни не выкурил ни одной папиросы.

Тут уж мне не оставалось ничего, как начать извиняться и говорить, что в следующем издании я все это выправлю. Но Вл. Льв. естественно и просто остановил меня:

— Не волнуйтесь, ничего тут особенного нет. Ну, эка важность, что сделали меня курящим, да еще каким! Завзятым! Ну "прокурил" зубы, ну, пустяки, — улыбался Бурцев.

И я почувствовал по его тону, что Бурцев "хороший человек" и на такие пустяки внимания не обращает. Потом в нашем разговоре наступила некая пауза, по которой я понял, что Вл. Льв. захотел встретиться со мной вовсе не из-за "прокуренных" зубов. Паузу эту я заполнял незначащими вопросами, надолго ли он в Берлине? Почему выпускает "Общее дело" так нерегулярно? Вл. Льв. на все это отвечал, но я чувствовал, что к главной теме нашего свидания мы еще не перешли. И наконец Вл. Льв., как бы невзначай, сказал:

Я хотел вас спросить, Р.Б., не знаете ли вы некоего доктора Калиничейко? Калиниченко? — переспросил я. Да, — не сводя с меня глаз, проговорил Бурцев. Н нет, Вл. Льв., не знаю…Нигде, никогда не встречали? Нигде. Никогда. И даже не слышал ни от кого эту фамилию. Странно. А мне сказали, что у вас есть такой знакомый. И мне это важно знать.

Нет, Вл. Льв., такого знакомого никогда у меня не было и даже не слышал о таком. — И чтоб выявить какую-то явную нелепость этой темы, я добавил: — Да, одного доктора Калиниченко я действительно знаю "за глаза", но и вы его, Вл. Льв., наверное знаете. Я в газетах часто встречал объявление: "Калефлюид" доктора Калиниченко восстанавливает силы и т. д.". Эта моя шутка явно подействовала. Я видел, что Вл. Льв. вполне уверился, что никакого доктора Калиниченко я не знаю.

А почему вы спросили меня о Калиниченко? Вам кто-нибудь говорил, что у меня есть такой знакомый? Да, говорили. И мне это важно. Я и приехал это проверить.

— Нет, к сожалению, ничем вам тут помочь не могу.

Вскоре мы вышли из кафе. Я хотел проводить Вл. Льв. в пансион, где он остановился, но Бурцев сказал:

Нет, Р.Б., я домой еше не пойду. Мне надо зайти в издательство “Петрополис”, поговорить. Где оно? Вы не знаете?

Конечно, знаю. Это же мое издательство. Это совсем тут недалеко. Если хотите, я вас провожу. Отлично, спасибо.

И мы вместе пришли в “Петрополис”. Там и А.С.Каган и Я.Н.Блох были обрадованы такому приходу: еше бы — автор романа вместе с его знаменитым персонажем! И тут же захотели нас вместе сфотографировать. Вл. Льв. ничего не имел против. Я тоже. И нас сфотографировали на дворе около издательства.

Возвращаясь домой, я думал об этом смехотворном розыске через меня какого-то доктора Калиниченко. И решил, что кто-то из “работавших” с Бурцевым людей (а с ним с некоторых пор стали “работать” лица, весьма сомнительные по советской агентуре, хотя бы генерал Дьяконов и другие), пытались провести его по какому-то ложному следу, измыслив “доктора Калиниченко”. Когда я рассказал об этом Борису Ивановичу, он засмеялся и со мной вполне согласился: “Да, в Париже его сейчас окружают весьма подозрительные типы…”

И вот теперь, через много лет я шел в Париже к Владимиру Львовичу на 13, рю де Фелантин в 5-м арондисмане, чтоб попросить его поддержать мое прошение, ибо имя Бурцева французы прекрасно знают.

Былой редактор “Былого” и “Общего дела”, былой разоблачитель Азефа, чье имя тогда обошло газеты всего мира, жил на первом этаже в не просто бедной, а нищенской крохотной квартирке: комнатушка с кухонькой. Беспорядок и неубранность в квартирке были несусветные. Книги, газеты, пачки “Общего дела” заваливали все. Владимир Львович занимался одним: борьбой с большевизмом, пусть даже в одиночку! Статьи Бурцева в “Общем деле” всегда кончались заклинательно и с восклицательным знаком: “Проклятье вам, большевики!” Тогда многим это казалось маниакальной идеей, смешным донкихотством. Но жизнь показала, что бурцевское “проклятье” было провиденциальным. Уже захватившие полмира большевики не заслуживают ничего кроме проклятья.

Меня Владимир Львович принял очень дружески. Хвалил моего “Дзержинского”. С грустью разводя руками, говорил, что “мир не видит страшной опасности большевизма и преступно попустительствует его распространению, за что страшно расплатиться”.

Прошение он, конечно, подписал. Рассказывал, что в свободное время от борьбы с провокацией и большевизмом по-прежнему (всю жизнь!) пишет книгу о Пушкине. “А издать, — Бурцев грустно развел бледными руками, — негде! А самому —

не на что!”

Умер Вл. Льв. Бурцев, этот замечательный по своей душевной чистоте человек, в Париже, оккупированном немцами. Андрей Седых в своих воспоминаниях “Далекие, близкие” рассказывает, что умер Бурцев от заржавленного гвоздя, которым была прибита дырявая подметка его башмака (может быть, сам и прибивал?). Гвоздь поранил ногу, началась гангрена, общее заражение. Бурцев лежал в каком-то городском госпитале, редко приходя в сознание. В минуту проблеска, в полубреду Владимир Львович слез с кровати и пошел было к двери.

Вы куда? — кинулась к нему сиделка. Домой… — еле слышно произнес Бурцев и упал мертвый.

“Прыгайте, гражданин!”

Разумеется, Милюков оказался прав. Прошение о визах для семьи, подкрепленное подписями трех “бывших министров” и В.Л.Бурцева, не возымело никакого действия. Об этом мне лично сообщил, вероятно, сам заведующий отделом таких виз мсье Бланшар с той безукоризненной французской вежливостью, которая хуже грубости. На эту “ледяную вежливость”, свойственную французским чиновникам (в особенности когда дело касается “метеков”), я нарывался не раз. А положение семьи в Германии становилось поистине трагичным. Брат, работавший чернорабочим на прокладке какого-то шоссе, оказался безработным, и на его “пособие по безработице” семья прожить не могла. Поэтому каждый второй франк, что мы с женой зарабатывали в Париже (а зарабатывали скудно), переводили в Фридрихсталь, но заработки наши были ничтожны. И надо было предпринять все, чтоб как-то перетащить семью на ферму во Францию. Работать на земле, крестьянином — это была давняя мечта брата.

И вот я метался в поисках этой растреклятой визы, иногда приходя в отчаяние, ибо предчувствовал превращение гитлеризма в войну, так же как теперь предчувствую страшность большевизма, который ввергнет человечество в еще большую катастрофу и духовное вырождение.

Все эти беды с визами мы обсуждали всегда с Б.И.Николаевским; он, как мог, старался помочь. Какие пороги я не обивал! Был у сенатора Мориса Виолетт, бывшего министра в кабинете Клемансо. В его роскошную квартиру на рю де Гренель сопровождал меня С.И.Левин, которому я и передал за “демарш” Мориса Виолетт сто франков. Но — провал, отказ. Ездил к каким-то французским “шишкам” с бывшим служащим царского посольства Тюфтяевым, вечно пьяным, которому тоже что-то платил из своих грошей. Но правильна русская пословица — “свет не без добрых людей”. И я нашел двух: бывшего русского посла в Швеции К.Н.Гулькевича, которого Фритьоф Нансен пригласил в Лигу Наций работать в отделе помощи русским эмигрантам, и французского адвоката, мэтра Александра Тимофеевича Руденко; он (разумеется, совершенно безвозмездно!) стал помогать мне в моих непосильных хлопотах с визами.

К.Н. Гулькевич, которого я никогда в глаза не видал, а только переписывался, был, видимо, исключительным человеком. Вот, кстати, его характеристика в воспоминаниях И.В.Гессена “Годы

изгнания”: “Отрадным моментом в Стокгольме была встреча с бывшим посланником нашим К.Н.Гулькевичем, которого я знал в Петербурге директором департамента министерства иностранных дел. Его благородная скромность, строгая корректность и чарующая благожелательность не были принадлежностью дипломатического обличья, а служили проявлением прекрасной души и свидетельством лучших дворянских традиций”. Вот с этим Константином Николаевичем у меня и завязалась сердечная переписка. В первом ответном письме он писал, что читал мои книги, что вполне понимает трагическое положение “разорванной семьи” и сделает все что может. И Гулькевич сделал. Несмотря на то, что денежные пособия эмигрантам в Лиге Наций были отменены, он выхлопотал мне ссуду для аренды фермы во Франции. И на эту ссуду я поехал в город Ажен, в департамент Лот-и-Гаронн, чтобы арендовать ферму. А это Давало “шанс” на получение визы, ибо в этом департаменте тогда было много бросаемых и брошенных ферм. Поездка по чудесной Гаскони началась у меня из городка Генриха IV — Нерак. Поездка была великолепна. Я действительно нашел русского фермера Кайдаша, который бросал свою небольшую ферму, но хотел ее продать, а не сдать в аренду. На это денег у меня, конечно, не было.

Мэтр Александр Тимофеевич Руденко был старый парижанин, работавший с известным французским адвокатом и депутатом палаты, “другом русской эмиграции” Мариусом Муте. Жил Руденко, как сейчас помню, на 25, рю Пьер Де-мур в 17-м арондисмане. Толстый, добродушный, приветливый Руденко был оптимист и уверял, что как ни трудно, а визы эти мы получим. Он говорил обо мне со своим другом, видным социалистом и членом палаты депутатов Полем Рамадье (впоследствии недолгим премьером Франции) и направил меня к нему, дружески напутствуя: “Вы, Р.Б., не смущайтесь, по виду Рамодье очень замкнутый, суровый человек, но у него не только доброе, а добрейшее сердце…”

У Рамадье меня поразила скромность его небольшой квартиры по сравнению чуть ли не с музейной роскошью квартиры Мориса Виолетт. Рамадье обещал написать о моем деле в отдел виз министерства внутренних дел. Написал. Но и тут все уперлось в “вежливый отказ” мсье Бланшара. Я был в отчаяньи, а Руденко уговаривал не “терять нервы”. Мне казалось, Милюков прав: “французских чиновников ничем не прошибешь”.

В это время вызвал меня Б.И.Николаевский обсудить “ситуацию”. Я пришел. Б.И. говорит: “Я о вас и вашем деле вчера говорил с Мануилом Сергеевичем Маргулиесом. Он очень видный масон. Когда я ему рассказал о ваших хлопотах и трагическом

положении семьи, он сказал, что мог бы помочь по масонской линии, что депутата от Лот-и-Гаронн, Гастона Мартэн, он знает как масона и мог бы к нему обратиться, но для этого, говорит, надо, чтобы Роман Борисович вступил к нам в ложу.

Наступила пауза. Такого “оборота” я никак не ожидал. А Б.И. улыбается: “Ну как? Маргулиес к вам очень хорошо относится, лестно отзывался о вас как писателе, и я понял, что он заинтересован, чтобы вы вступили в его ложу”.

На улыбку Б.И. я ответил не сразу.

Вам-то хорошо, вы человек архивный, вот у вас и будет “собственный корреспондент в масонстве”. — Борис Иванович засмеялся своим сопрановым смехом. — А мне каково? О масонстве я не имею никакого представления, и что это за ложа, и Маргулиеса не знаю. Если б я был хоть уверен, что он действительно достанет визы. Но после всех неудач я и в этом не уверен. Обдумайте. По-моему, вы ничего не теряете, — и Б.И. протянул записку, сказав: — Вот телефон и адрес Маргулиеса, он хочет с вами позавтракать и поговорить о вашем деле.

Я взял записку.

Посоветуюсь с Олечкой. Я-то считаю, прыгайте, гражданин! — напутствовал, прощаясь, Борис Иванович.

Дома поговорили с Олечкой. И я решил — “прыгнуть”!

У М.С. Маргулиеса

Мануил Сергеевич Маргулиес — до революции известный петербургский адвокат. Во время гражданской войны — министр торговли, народного здравия и снабжения в эфемерном (как оказалось) Северо-Западном правительстве при генерале Юдениче.

Жил Маргулиес на рю Верди в 16-м арондисмане, в прекрасной барской квартире. Приехал я к завтраку. Принял меня Мануил Сергеевич исключительно любезно. По виду был импозантен. Высокого (почти громадного) роста, мощный, полный, грузный. Лицо красивое, правильных черт, небольшие седые усы, бритый. Вообще — барин, интеллигент.

Стол накрыт на две персоны. Завтрак прекрасный. Подавала прислуга. Вообще, никакой "эмигрантскости", как у Гучкова, Милюкова, Бурцева, не было и в помине. Сначала М.С. попросил меня рассказать о деле с визами. Я рассказал. Он посочувствовал. И сразу перешел к "предмету".

Я, Р.Б., вам, конечно, очень сочувствую в вашем трудном положении и хотел бы помочь. Но реально помочь вам я могу, по-моему, только моими масонскими связями. Вот вы, например, упомянули имя депутата от Лот-и-Гаронн Гастона Мартэн, я его знаю как масона и могу обратиться к нему с просьбой похлопотать о вашем деле в министерстве внутренних дел. Но все это я могу сделать, конечно, если вы вступите членом в нашу ложу. Тогда я могу хлопотать о вас как о "брате".

Мануил Сергеевич, — сказал я, — скажу вам откровенно, о масонстве я не имею никакого представления. Все, что я о масонстве знаю, это по "Войне и миру" Толстого. Помните, как Пьер Безухов встречается в Торжке, кажется, с большим масоном Баздеевым и тот вовлекает его в масонство.

Ну, это старина-матушка! — с улыбкой перебил меня Маргулиес. — Я с вами буду тоже совершенно откровенен, ибо хоть мы и не были знакомы, но я вас знаю как писателя, у нас много общих друзей, отзывающихся о вас очень хорошо. Я состою досточтимым мастером ложи "Свободная Россия" в "Великом Востоке Франции". Я основал эту ложу. И "Великий Восток Франции" стремится основать возможно больше русских лож как духовный и политический противовес большевизму. Пока у нас только две ложи: наша "Свободная Россия" и "Северная Звезда", где досточтимый мастер Николай Дмитриевич Авксентьев, которого вы хорошо знаете. Скажу заранее, чтоб парировать ваше впечатление от описания Толстым ритуала посвящения Пьера

Безухова вмасоны. Во Франции испокон веку существуют два масонских Посвящения — “Великий Восток Франции” и “Великая Ложа Франции”. Между ними есть разница в том, что в “Великой Ложе Франции” ритуал посвящения гораздо сложнее. Там блюдется “шотландский ритуал”. У нас все это значительно упрощено. Короче скажу, наше объединение больше с политическим, антибольшевицким уклоном. И если вы вступите к нам в ложу, то встретите многих своих знакомых.

Мануил Сергеевич был умный человек и совсем не мистик, а практик. Никаких проповедей (как Баздеев Пьеру Безухову) “о внутреннем самоочищении”, “о Боге, постигаемом жизнью”, “о масонстве как достижении истины”, “о праотце Адаме” он не говорил. Как опытный адвокат, он, вероятно, чувствовал “клиента”. И нажимал главным образом на политическую, антибольшевицкую линию и на помощь в деле с визами. По всему тому, что и как он говорил, я видел, что ему действительно хочется вовлечь меня в “свои сети”: как-никак у меня “биография”, некое литературное имя, книги и по-русски, и по-французски, и я уж не такой петый дурак, не какая-нибудь орясина.

После завтрака, когда мы пили чай, я сказал Мануилу Сергеевичу:

Знаете, М.С., дайте мне срок в два дня на размышления. Я вам позвоню о своем решении и думаю, оно будет положительным. Прекрасно. Позвоните, Р.Б., примерно в это время я всегда дома.

Простились мы сердечно. Приехав домой, я рассказал все Олечке. Сказал, что по всему тому, что говорил М.С., думаю — ничего неприятного тут не будет, а в визах Маргулиес мне поможет (кстати, в этом я ошибся, ничего он сделать не мог). Олечка подвела итог: “Что же, попробуй!”. Поехал к Николаевскому, тот меня по-прежнему “подталкивал”, говоря, что у Маргулиеса большие связи во французском мире. Помню, при этой встрече Николаевский вытащил из какого-то чемодана голубую, золотом шитую ленту через плечо и такой же голубой с золотом, довольно большой передник. И на мой удивленный вопрос: что это такое? — сказал, что это масонские одеяния, он их получил от семьи одного умершего масона. Николаевский все собирал “для архива”, для “архива” и меня “подталкивал”. Сам же, как атеист, марксист, разумеется, в масоны не вступил бы.

Кто из русских были масонами

Местом зарождения ордена вольных каменщиков были, как известно, Франция и Англия, точнее Ирландия (“О, Ирландия! океанная, мной невидимая страна!”) и Шотландия. В 1725 году была основана “Великая Ложа Ирландии”. В те времена католические священники совмещали и церковь и масонство. В 1736 году в Шотландии была основана “Великая Ложа Шотландии”. Наиболее видным шотландским масоном был известный поэт Роберт Бернс.

Во Франции первая масонская ложа была основана в 1721 году в Дёнкерке. Французские вольные каменщики внесли в масонство тенденцию антиклерикализма. Как известно, вольным каменщиком был Вольтер и, казалось бы, не очень с ним схожий Филипп Эгалитэ, до революции — великий мастер “Великого Востока Франции”. В революцию Филипп Эгалитэ отказался от сего поста и своим голосованием отправил своего кузена Людовика XVI на эшафот. Это, конечно, плохо увязывается с масонской “любовью к людям как братьям”. Впрочем, и сам былой “великий мастер” отдал свою голову тому же эшафоту на той же Гревской площади. Очень быстро масонство распространилось в Германии. И в Россию пришло с Запада.

Кто же из знаменитых и известных людей России, в XVIII и начале XIX веков, были масонами?{32} А.С.Пушкин{33}, посвящен в ложе “Овидий”, А.С.Грибоедов, посвящен в ложе “Объединенные друзья”, барон А.А.Дельвиг (“Меня зовет мой Дельвиг милый, / Приятель юности моей”) — ложа не указана, генерал-фельдмаршал М.И.Голенищев-Кутузов, князь Смоленский, посвящен в ложе “К трем ключам”, член ложи “Овидий” и “Три знамени”, граф М.М.Сперанский, член ложи “Северная Звезда”, А.П.Сумароков, указан в списке великих мастеров, но ложа не указана, генералиссимус А.В.Суворов, князь Италийский, граф Рымникский, член ложи “К трем звездам”, граф Ф.П.Толстой, президент Академии изящных искусств, известный медальер и скульптор, член ложи “Камень истины”, вел. кн. Константин Павлович, наследник престола, член ложи “Объединенные друзья” и “Астреи”, М.М.Херасков, автор масонского гимна “Коль славен наш Господь в Сионе”, музыка Бортнянского. Обрываю перечисление, опуская Новикова, Радищева, Рылеева и многих других. Отмечу только кажущееся “курьезом” масонство любимца императора Николая I, шефа жандармов графа А.Х.Бенкендорфа (ложа “Объединенные братья”) и начальника III отделения Е.И.В. канцелярии полковника Л.В.Дубельта (ложи “Объединенные

братья” и “Палестина”).

Нзвестно, что в первой половине XIX века масонские ложи в России были закрыты. И все же кое-какие масонские организации существовали, и участвовали в них весьма видные люди. Так, например, перед тем, как появиться в царском дворце роковому Распутину, о чем так хорошо писал Н.Гумилев:

В гордую нашу столицу
Входит он, Боже, спаси!
Обворожает царицу
Неодолимой Руси.
И не упали, о, горе!
И не сошли с своих мест
Крест на Казанском соборе
И на Исакии крест.

— перед этим, в 1901–1902 годах “в гордую нашу столицу” не вошел, а въехал некий француз мсье Филипп, известный “лионский целитель”, которого официальная французская медицина считала человеком не только “не имеющим права практики”, но и “подлинным шарлатаном”. Но этот “сверхъестественный” человек, обладавший даром “внушения” и “целительства”, легко проник к царице и царю. И как пишет В.Э.Мишле в книге, вышедшей в 1937 году, “через Филиппа последний русский царь был… посвящен в мартинизм”, доктрина которого покоилась на мистическом утверждении, что “человек в себе имеет божественный свет, о котором не подозревает”. П.Б.Струве в журнале “Освобождение” (№ 8 от 2/15 октября 1902) по поводу Филиппа писал: “В петербургских кружках, близких ко дворцу, много говорят про настроения Государя. С весны нынешнего года на него имеет большое влияние некий г. Филипп, гипнотизер и оккультист… Без Филиппа, говорят, не принимаются никакие решения, г. Филипп дает советы по важным вопросам как семейной жизни, так и государственной. Он вызывает тень покойного императора Александра III, внушающего те или иные решения. Влияние Филиппа — неоспоримый факт”. В переписке императора Николая II и императрицы Александры Федоровны императрица упоминает мсье Филиппа семь раз. Приведу хотя бы две выдержки. В письме от 6 сентября 1915 года: “Скоро праздник Пречистой Девы — 8-го числа. Это мой день — помнишь m-r Philipp'a — и Она нам поможет”. В письме от 14 декабря 1916 года: “Глупец тот, кто хочет ответственного министерства, писал Георгий (вел. кн. Георгий Михайлович. — Р. Г.). Вспомни, даже m-r Филипп сказал, что нельзя давать конституцию, так как это будет гибелью России и твоей…” Пребывание мсье Филиппа при дворе кончилось скандалом и

удалением этого “мартиниста” из России. И его “посвящения”, вероятно, отпали.

Русские масоны в Париже

В Париже, как и говорил Мануил Сергеевич, в “Великом Востоке Франции” (храм на 16, рю Кадэ, Париж, 9) было две русских ложи — “Свободная Россия” и “Северная Звезда”. В “Великой Ложе Франции” (храм на 8, рю Пюто, Париж, 17) было шесть: “Астрея”, “Северное Сияние”, “Гермес”, “Юпитер”, “Гамаюн”, “Лотос”. Так как масонство было орденом “тайным”, то, разумеется, вокруг “тайн” росли вымыслы, порой глупо-нелепые, рассчитанные на низкопробные вкусы. Я о масонстве узнал мало, но что узнал, расскажу, хотя древним масонским уставом эти запрещено и даже карается физическим уничтожением “рассказывающего”, то есть смертью. Авось, думаю, как-нибудь обойдется.

Посвящение

В назначенный день и час я должен был приехать в храм “Великого Востока Франции”, где меня у входа встретит один из братьев ложи “Свободная Россия”. Я спросил Маргулиеса, как он меня узнает? — “Не беспокойтесь, он вас очень хорошо знает”.

И вот, с небольшим опозданием (минут в пять) я подошел к храму на 16, рю Кадэ. У храма стоял невысокий худой, пожилой человек, ожидая меня. Я его знал по Берлину. Это был Борис Львович Гершун — до революции известный петербургский адвокат по гражданским делам (Маргулиес был по уголовным). В Берлине Гершун продолжал адвокатскую практику, а по приходе Гитлера переехал в Париж. Мы поздоровались, как давние знакомые, и он повел меня по коридорам и большим казарменным комнатам храма. На ходу Б.Л. сказал: “Р.Б., ложа уже вся в сборе. Поэтому я проведу вас сразу в комнату медитаций, где вы пробудете минут десять, чтоб собраться с мыслями, проверить себя в последний раз, сосредоточиться, а потом я за вами приду”. — “Хорошо”.

Мы поднимались по широкой грязноватой лестнице (в этом старинном масонском храме вообще все было как-то грязновато). Б.Л. остановился на одном повороте широкой лестницы, отпер ключом дверь в стене, и я вошел в крошечный отсек, где можно было только сесть на что-то вроде табурета, перед которым в стену была вделана доска (вместо стола), на ней лежала Библия на французском языке. Стены и потолок отсека были красочно расписаны. “Вот, посидите здесь, подождите, и минут через

десять я приду”, — с дружеской улыбкой сказал Б.Л. По его улыбкам и дружественному, совсем не торжественному тону я чувствовал, что он, как и Маргулиес, не “чересчур мистик”.

Итак, я остался заперт в отсеке. Сел на табурет. И вдруг вместо “медитаций” меня разобрал какой-то неудержимый внутренний смех. Настолько глупый, что я сам себя оборвал внутренне: “Дурак! — сказал я себе. — Ничего смешного тут нет!”. Правда, медитацией я не занимался. А стал рассматривать разрисованность стен. На потолке было изображено “всевидящее око”, освещенное внутренним светом. На стенах, в красках, нарисованы — солнце, луна, молоток вольного каменщика, лопата, какой-то столб… Десять минут прошли быстро. В двери завозился ключ. Она открылась. Передо мной опять был Б.Л. с черным платком в руке.

Вы готовы, Р.Б.? — спросил он. Готов. Прекрасно. Теперь, Р.Б., я завяжу вам глаза вот этим платком, — с той же милой улыбкой проговорил Б.Л., — и поведу вас в ложу, где заседают братья. Так сказать, на допрос, — улыбался Б.Л. — Братья будут задавать вам разные вопросы. — И чуть понизив голос, дружески сказал: — Один из братьев задаст вопрос о вашем участии в газете “Накануне”, это я говорю доверительно, чтоб вы знали. Очень хорошо. Я никогда не стеснялся сменовеховства и участия в “Накануне”.Чудесно. Это я так, на всякий случай… А теперь повернитесь, пожалуйста, я завяжу вам глаза.

Я повернулся. Б.Л. завязал мне не только глаза, но почти все лицо легким, но плотным черным платком. Я очутился в темноте. Б.Л. взял меня под руку и повел. Дорога была недалекая. Я чувствовал, что мы вошли в какую-то комнату, в которой были люди (кто-то откашлялся, кто-то скрипнул стулом). Мы сделали несколько шагов. Б.Л. остановил меня, проговорив: “Садитесь, Р.Б. Вот здесь стул”. Я сел на стул. Хоть в темноте, но я чувствовал, что мы в ярко освещенной комнате.

Через мгновенье раздался сильный троекратный стук. (Это был стук деревянного молотка.) И голос Маргулиеса (досточтимого мастера ложи) проговорил: “Дорогие братья, в нашу ложу "Свободная Россия" стучится Роман Борисович Гуль…” И дальше шли какие-то уставные слова о том, что братья должны выяснить, достоин ли Р.Б. стать членом ордена вольных каменщиков и т. д. Окончив уставную формулу, Маргулиес сказал:

— У кого из братьев есть вопросы к Р.Б.?

Прошла короткая пауза. И незнакомый мне голос сказал:

Вы верите в Бога? Верую. По крайней мере, хочу веровать.

После некоторой паузы другой голос спросил: Верите ли вы в

наш масонский девиз — свобода, равенство и братство? И если верите, то как? Верю в свободу, ограниченную законом. В равенство людей перед законом и Богом. И в братство, то есть в любовь к ближнему, хоть это и трудно достижимо. Любите ли вы музыку Рихарда Вагнера? — спросил третий голос.

Этому вопросу я крайне удивился. При чем тут Вагнер? Но по вступлении в ложу, присутствуя на посвящениях, я увидел, что вопросы задаются самые неожиданные, иногда невероятные, к "предмету масонства" совершенно не относящиеся. Так, при посвящении одного малокультурного человека кто-то из братьев спросил: "Какое здание в Париже вы считаете самым совершенным по архитектуре?" И человек с завязанными глазами ответил: "Трокадеро", — что вызвало улыбки и удивленные переглядывания, ибо старое Трокадеро было, вероятно, самым безобразным зданием Парижа. На вопрос о музыке Вагнера я ответил:

Кое-что люблю. Например, марш валькирий. Но основательно музыку Вагнера не знаю. Почему вы пошли в Белую армию, участвовали в "ледяном походе", и ушли из нее?

Пошел потому, что считал необходимой вооруженную борьбу с большевиками. А ушел потому, что увидел, что такая Белая армия победить не может, ибо она была лишена духа народного восстания.

Почему вы пошли в газету "Накануне" и стали сменовеховцем? — проговорил голос из левого угла.

Пошел в "Накануне" и стал сменовеховцем потому, что тогда, в начале 20-х годов, верил, что нэп вынудит большевиков к отступлению и страна постепенно перейдет к правовой, нормальной государственности.

После некоторого молчание кто-то спросил:

Каким образом вы попали в гитлеровский концлагерь? За что? Попал, вероятно, по глупости какого-то некультурного гестаповца, принявшего — при конфискации нацистами моей книги "Азеф" в немецком переводе — ее подзаголовок как то, что автор ее — террорист. Заглавие книги по-немецки было: "Boris Savinkov, Der Roman eines Terroristen".

Допрашивали меня минут пятнадцать-двадцать. Ни одного чисто масонского вопроса — "о вере в возможность очищения и самосовершенствования", "о необходимости деятельной любви к людям" и прочем не задавали. И я понял, что М.С. правильно говорил, что их ложа больше "братское политическое объединение, чем мистическое". Когда вопросы прекратились, наступила длительная пауза. Мне почудилось, что кто-то с кем-то перешептывались. А потом раздался тот же троекратный удар

деревянного молотка, и в центре комнаты голос М.С. произнес:

— Есть ли у братьев еще вопросы к Р.Б.?

Ответило молчание.

— Вопросов нет, — проговорил М.С., — и я, как досточтимый мастер ложи “Свободная Россия” “Великого Востока Франции” объявляю, что Р.Б.Гуль принят в нашу ложу вольных каменщиков как брат, в градусе ученика. Брат Гершун, развяжите глаза брату Р.Б.Гулю.

Ко мне кто-то подошел. Это был Б.Л.Гершун. Развязал на затылке спавший с лица черный платок, и я увидел в ярко освещенной комнате человек двадцать-тридцать членов ложи. В центре на каком-то возвышении (вроде кафедры) сидел досточтимый мастер ложи М.С. Маргулиес, на груди у него (через плечо) была красная, шитая золотом лента. А когда он встал, я увидел на нем такой же красный, шитый золотом передник. На некоторых братьях были такие же красные ленты через плечо и передники. Но их было немного. Большинство были в голубых лентах и голубых передниках, какие мне показывал Б.И.Николаевский. Позднее я узнал, что есть голубое масонство — до третьего градуса мастера (ученик, подмастерье, мастер). И — красное масонство (с третьего градуса и выше до тридцать третьего). Ко мне подошел Б.Л.Гершун, привязал мне маленький кожаный передник (и никакой ленты), которые носят “ученики”, масоны первого градуса.

Мое “посвящение” таким образом и окончилось. И все мы пошли в другую комнату разделить братскую “агапу”, то есть братскую трапезу, застолье. Тут уж все братья сняли ленты и передники и уселись за сервированный длинный стол. И за едой (хорошей) начался самый непринужденный, обычный разговор. И это было приятное общество культурных, интеллигентных людей.

“Агапа”

За столом я оказался с интересными людьми. Против меня сидел Александр Иванович Хатисов, справа и слева от него К.К. Парчевский и М.Е. Фридиев. А.И. Хатисов — лет шестьдесят с лишним, но сильный, крепко сложенный, с лысым черепом, по виду деловой, волевой, замкнутый, неразговорчивый, был “братом оратором” ложи. Позднее я слышал его выступления — всегда без всяких “цветов красноречия”, но умные, свободные, как у человека, привыкшего к публичным выступлениям. До революции Хатисов был городским головой Тифлиса, что, как говорил Маргулиес, требовало в работе большого такта и

дипломатических способностей, ибо большинство населения Тифлиса — грузины, а Хатисов армянин, хотя по типу ничего армянского в нем не было. Пост городского головы он занимал долго и успешно. На Кавказе, как рассказывал Маргулиес, Хатисов сблизился с великим князем Николаем Николаевичем и был главным воротилой в подготовке дворцового переворота, целью которого была замена на троне слабовольного Николая II волевым Николаем Николаевичем. Вспыхнувшая революция смела все эти "подготовки". Маргулиес говорил, что у Хатисова есть воспоминания. Они никогда не были напечатаны. А жаль. Это, вероятно, был исторически ценный документ человека, много и многих знавшего.

Сидевшие рядом со мной Сергей Александрович Будаговский и Владимир Владимирович Толли оба были прекрасными людьми. Бывает так, вы встречаете человека и с первых же слов чувствуете, что он прямодушен и "чист душой". Вот таким *чистым* был Сергей Александрович. Образованный, начитанный, он окончил в Париже Сорбонну. По специальности — экономист, хорошо был устроен в каком-то большом французском предприятии. В ложе он был "брат секретарь". Мы с ним были в самых хороших отношениях. И я истинно грустил, когда после победной для союзников войны, в угаре охватившего парижскую русскую эмиграцию "патриотизма", С.А. в числе этих "угоревших", обманутых кагебешной политикой Сталина, вернулся в СССР. Сколько мы с ним спорили! Как я его убеждал не делать этого рокового шага! Но С.А. твердил одно: коммунизм исторически изжит, национальная Россия проснулась и наше место там. Прямодушие, честность с собой, любовь к России толкнули его… в СССР, думаю, прямиком на Архипелаг ГУЛАГ.

Такова ж была судьба и Вл. Вл. Толли. Выдающийся инженер, прекрасно устроенный во Франции, после войны и он (как С.А.) поддался "угару патриотизма". И тоже сделал непоправимый шаг — уехал в "возрождающуюся национальную Россию", которая обернулась ему Архипелагом ГУЛАГ.

Сидевший рядом с Хатисовым Михаил Евгеньевич Фридиев был другого сорта человек, непохожий на Будаговского и Толли. Умный, образованный пражанин (откуда он приехал в Париж), он был человеком не без хитринки, но вполне добропорядочным. В Праге он примыкал к группе "Крестьянская Россия", лидером которой был Сергей Сергеевич Маслов, человек деловой и боевого темперамента. Маслов издавал бескомпромиссно антикоммунистическую "Крестьянскую Россию", журнал, который проникал и в СССР и, естественно, стоял большевикам поперек горла. Недаром по занятии Праги красными СМЕРШ мгновенно

схватил Маслова и убил. Один раз при приезде Маслова в Париж Фридиев сказал, что С.С. хочет со мной познакомиться. И они были у нас. Причем (почему-то помню) за чаем Сергей Сергеевич очень хвалил сваренное Олечкой варенье из райских яблочков и с удовольствием пил с ним чай.

Другим соседом Хатисова на “агапе” был человек совсем другого сорта, чем Будаговский, Толли, Фридиев. Это был Константин Константинович Парчевский. По образованию юрист, талантливый журналист, сотрудник “Последних новостей”, невысокий, невыразительной наружности, причем вечно с потными руками, будто он их только-только опустил в воду. При знакомстве с Парчевским меня сразу в нем что-то оттолкнуло. Это почти всегда бывает: либо интуитивное притяжение к человеку, либо отталкивание, иногда бывает, конечно, и безразличие.

Старый, многоопытный чекист Кирилл Хенкин написал книгу “Охотник вверх ногами”, книгу *двухлицевую* (непонятно, “куда автор смотрит”, “для кого пишет”: *для нас или для них?)*. По-моему, его все-таки больше клонит к востоку. Тем не менее Хенкин пишет много верного, например о “третьей эмиграции” и как ее фильтруют при выезде, и о том, что эмиграция всегда была (и есть!) для КГБ большой резервуар стукачей, агентов и даже убийц. Эфрон, Скоблин, Третьяков, Плевицкая, неизвестый убийца Навашина среди бела дня в Париже, убийца сына Троцкого, Льва Седова, спокойно проживающий в США, и даже, кажется, “в чине” профессора, таинственное “самоубийство” беглого резидента НКВД В.Кривицкого в Вашингтоне. Да и о Горгулове в Париже упорно говорили, что руку параноика подтолкнули его “просоветские друзья”. И с внутренним криком “фиалка победит машину!” Горгулов убил президента Франции Поля Думера. Лозунг Торгу лова о “фиалке и машине” я беру из его книги “Тайна жизни скифов”. Проза и стихи… “Фиалка”, по Горгулову, это, оказывается, Россия, а “машина” — это “гнилой Запад”. И эта самая “фиалка”, по Горгулову, должна победить “машину”. Помню, какую злорадно-подлую статью о “горгуловшине” напечатал в “Известиях” пресловутый Илья Эренбург, утверждая, что вся русская эмиграция это и есть “горгуловшина”. Впрочем, в “Известиях” же Эренбург напечатал роскошную статью о Сталине — “Наш рулевой”. В это время Эренбург ВСЕ УЖЕ МОГ. Даже мог выйти из членов “Антифашистского еврейского комитета” *за некоторое время до ареста и расстрела его членов.*

О Парчевском Хенкин пишет, что во времена служения Хенкина в НКВД (своей подлинной работы он не вскрывает) Парчевский работал не только в “Последних новостях”, но слал

некие “рапорты” и в советское полпредство, то есть попросту “стучал”. Когда “Последние новости” послали Парчевского в Парагвай исследовать, почему русские эмигранты из Франции вдруг потянулись гужом в эту “экзотическую Америку”, Парчевский ездил в Парагвай и напечатал интересный репортаж о сем парагвайском “исходе” русских из Франции. Репортаж вышел и отдельной книгой. Но копии его шли, оказывается, и в полпредство. Не удивляюсь. Впечатления Иисуса Христа Парчевский никак не производил. Во время войны он со всей семьей уехал в СССР, причем вовсе не на Архипелаг ГУЛАГ, а на работу. Допускаю, что и в ложе “Свободная Россия”, где после Хатисова Парчевский стал “братом оратором”, этот человек с мокрыми руками “постукивал” КУДА НАДО.

История провокаций в русской эмиграции еще не написана. Только Б.В.Прянишников в “Незримой паутине” описал, как РОВС был насквозь пронизан так называемой “Внутренней линией”, то есть советскими агентами. Но жизнь показывает, что в каждой русской зарубежной политической организации и в каждом значительном органе печати были советские “стукачи”.

В партии социалистов-революционеров таковым был видный “потомственный” эсер Вас. Вас. Сухомлин. “Потомственный” потому, что и папа и мама были заслуженные эсеры-эмигранты. И родился сей Вас. Вас. в Париже, почему французский язык для него был как родной. С этим господином я однажды встретился. Как-то, придя к нам, Б.И.Николаевский говорит: “Виделся вчера с Сухомлиным, в разговоре он спрашивал о вас, говорит, что хотел бы с вами познакомиться. У него большие французские связи, он редактор французской газеты “Ля Репюблик”, и вам, Р.Б., стоит с ним познакомиться, он может помочь в устройстве переводов на французский и книг, и статей”. — “Спасибо, — говорю, — позвоню”. И позвонил. И был в “Ля Репюблик”. Сухомлин любезно расспрашивал о концлагере, о чем пишу. Я сказал — о терроре, о Дзержинском. Он даже одобрил и вообще хорошо отозвался о моих книгах. При прощании звал заходить к нему в редакцию. Но так я его больше и не видал. Правильно говорят, Бог шельму метит. Сухомлин произвел на меня отвратное впечатление: толстый, какой-то косоротый, нечистоплотно одетый, глаза — один на вас, другой в Арзамас.

Как оказалось, провокатором у эсеров Сухомлин был десятилетия. И разоблачен был случайно в Америке, после войны. Причем защищали его с пеной у рта два закадычных друга по партии — Вл. Ив. Лебедев и МА. Слоним. Вл. Ив. Лебедев был своеобразной фигурой: эдакий “удалой добрый молодец”. Невысокий, приземистый, с пронзительным цыганским лицом, он

был кадровый офицер царской армии, но, бросив военную службу, ушел в революцию, в эсеры. Говорят, что в гражданскую войну, командуя отрядом армии Учредительного собрания, где-то не то под Казанью, не то под Самарой, Лебедев шел в атаку впереди своего отряда в красной русской рубашке. Это, конечно, в стиле "удалого добра молодца". Так вот, когда Сухомлина все-таки разоблачили, И. Раузен, эсер и большой приятель В.И.Лебедева, рассказывал мне, что Лебедев "рыдал как ребенок" на квартире у Раузена. Было отчего "рыднуть". Лебедев десятилетия дружил, оказывается, не *с* партийным товарищем Сухомлиным, а с большевицким "стукачом" первой степени. Ведь Сухомлин был не только видным членом группы В.М.Чернова, но вместе с Черновым представлял партию во II Интернационале! Вот куда, и как легко, попадают большевицкие стукачи! А теперь оказалось, Сухомлин в Америке, под псевдонимом В.Белкин был сотрудником большевицкого "Русского голоса" и корреспондентом коммунистической "Леттр франсез", где писал гнусности о Викторе Кравченко, за что последний привлек газету к суду и выиграл процесс. Когда Сухомлин бежал в СССР, то получил там "персональную пенсию". Было за что. У монархистов великого князя Николая Николаевича и его окружение "освещал" не кто-нибудь, а царский генерал генерального штаба Монкевиц, скрывшийся в СССР. В правой националистической газете А.О. Гукасова "Возрождение" в Париже оказалось два стукача: бывший лицеист, дворянин, талантливый журналист, видный масон Лев Любимов, после войны выпустивший в Москве воспоминания об эмиграции, полные невероятного вранья. А вторым "тайным советским агентом" (как пишет А.Седых в "Далекие, близкие") был некий Ник. Ник. Алексеев, бывший белый контрразведчик, после войны неизвестно куда канувший. В партии младороссов оказался "стукачом" сам "глава" партии А.Л. Казембек, бежавший в СССР из Америки, бросив семью на произвол судьбы (вероятно, надо было торопиться). В.Л.Бурцева опутывал провокациями царский генерал Дьяконов, масон, скрывшийся в СССР. В группе А.Ф.Керенского появился весьма опасный агент, офицер-корниловец Коротнев, выкравший у эсеров этой группы архив Административного центра. Этот Центр издавал "Информационный бюллетень" и из Ревеля забрасывал его в СССР. Украв архив, перед бегством Коротнев оставил записку, что убить Керенского "был не в силах". Думаю, Коротнев был плохой большевицкий агент. Его "прощальная" записка стала известна в эмиграции и, конечно, парижскому резиденту НКВД. А в сем учреждении за то, что "был не в силах убить", по головке не гладят. И получив от агента-вора Архив, Коротневу, вероятно,

пустили пулю в затылок в лубянском подвале. Помню, как А.Ф.Керенский в Америке рассказывал мне, что этот тайный советский агент Коротнев был рекомендован ему другом Керенского, бывшим министром юстиции Временного правительства П.Н.Переверзевым, как “исключительно честный и порядочный человек”. Весь архив Административного центра хранился в особнячке на 9 бис, рю Винёз, где А.Ф.Керенский жил один. “Часто, — рассказывал Керенский, — когда я был уже в постели, Коротнев стучал в дверь и просил разрешения войти поговорить”. Керенский впускал его. И они иногда долго говорили о России, о политике, о большевиках, о том о сем. “И вот не убил!” — закончил свой рассказ А.Ф. — “Чем же вы, А.Ф., это объясняете, ведь он же свободно мог убить вас в постели в этом особнячке?” — А.Ф. широко улыбнулся и, подняв указательный палец вверх, проговорил: “Шарм!”

Я обрываю это отступление о “стукачах” и провокаторах-эмигрантах. Не моя тема. А нужно бы было, чтобы кто-нибудь об этом написал. Я коснулся ее только потому, что она пришлась к слову, когда я вспомнил на первой “агапе” ложи “Свободная Россия” — “брата” К.К.Парчевского.

Среди масонов

После вступления в ложу “Свободная Россия” отношения мои с М.С.Маргулиесом, естественно, стали ближе. М.С. было далеко за семьдесят, жил он один (жена умерла, сын, ученый-китаевед, жил где-то за границей). М.С. тяжело переносил одиночество. К тому ж у него был старческий порок: любил говорить, говорить, говорить, рассказывать и рассказывать. Хоть теперь я дожил до более глубокой старости, чем Маргулиес, слава Богу, *этого* порока у меня нет. Никогда не любил и не люблю *говорить,* я любил и люблю *слушать.* И для Маргулиеса был незаменим. Его рассказы я слушал с удовольствием. Поэтому-то он так часто и приглашал меня к традиционному завтраку.

Разумеется, слово свое М.С. сдержал: составил письмо “по масонской линии” к депутату от Лот-и-Гаронн — Гастону Мартэн, прося похлопотать в министерстве внутренних дел о визах для семьи “нашего брата Романа Гуля”.

С этим письмом, захватив свои книги на французском языке (“Азеф”, издательство Галлимар; “Тухачевский”, издательство Мальфер; “Красные маршалы”, издательство Бержэ-Левро), я отправился к Гастону Мартэн, с которым М.С. договорился о моем с ним свидании. Принял меня Гастон Мартэн весьма любезно в

приятной квартире. Он был маленький, кругленький “французик из Бордо” (и действительно был из Бордо!). Поблагодарив за книги с “дедикасами”, сказал, что напишет о них в газете “Л'Эвр”. И действительно написал довольно лестно. О Тухачевском: “Nous avons eu déjà l'occasion de signaler ici même les livres de m. Roman Goul, et le caractere à la fois coloré, direct et un peu sommaire de leur présentation historique. L'ouvrage actuel est une biographie plus fouillée et semble-t-il plus objective, de l'actuel chef de l'armée rouge… Grâce à l'ouvrage actuel nous en possédons du moins un récit vivant et précis-”

Гастон Мартэн, разумеется, обещал написать в министерство внутренних дел о визах. Вообще, “было все очень любезно”. Но эти “масонские связи” оказались, грубо говоря, липой. Как и раньше, в визах мне было отказано тем же “вежливым” мсье Бланшаром. А дальше я увидел, что у Маргулиеса никаких “магических” связей просто нет. И в этом смысле мой “прыжок” (“прыгайте, гражданин!”) оказался совершенно напрасным. Но о “прыжке” я не жалел, ибо встретил много интересных людей.

Во-первых, Маргулиес. Как-то М.С. рассказал мне, почему он так скоропалительно покинул Россию. Известно, что в 1912 году в Сибири, на Ленских приисках произошел расстрел демонстрации рабочих, вызвавший по всей России общее негодование. Зато теперь любые расстрелы в СССР, став “бытовым явлением”, никаких общественных негодований не вызывают, ибо и общественности-то просто нет. Дело о ленском расстреле в конце концов перешло в суд. Адвокатом со стороны рабочих выступил А.Ф.Керенский (совершенно безвозмездно, конечно, слава дороже денег!), а со стороны предпринимателей — М.С. Маргулиес. И вот сразу после Октября, когда в Петербурге болышевицкие банды врывались в квартиры “буржуев” с обыском — искать, “нет ли оружия”, к М.С. Маргулиес у тоже ворвались. “Конечно, никакого оружия у меня не было, — рассказывал Маргулиес, — но командовал отрядом какой-то еврей, полуинтеллигент, страшная бестия! И эта бестия спросила меня, тот ли я самый адвокат Маргулиес, который выступал на процессе о ленском расстреле со стороны “капиталистов и империалистов”? (Ленские прииски принадлежали смешанной англо-русской компании.) Да, говорю, выступал на процессе, но ничего против рабочих не говорил. А эта бестия никак не отвязывается; нас, говорит, не интересует, *что* вы говорили, мы это можем установить. Нас интересует, почему эти “капиталисты и империалисты” обратились *именно к вам,* а не к другому адвокату? Этого, говорю, я вам объяснить не могу, не знаю почему… Ну, одним словом, под конец он отвязался, но ушел с какими-то полуугрозами. И я понял, что

лучше мне — от греха подальше — эмигрировать. И вскоре же покинул Россию…”

Помню, за одним из завтраков М.С. угостил меня графом Орловым-Давыдовым. В России Орловы-Давыдовы были несметно богаты, о них говорили, что им принадлежит не то весь правый, не то весь левый берег Волги. Сейчас со мной за завтраком сидел большой (такой же, как Маргулиес), полный, с расплывшимся лицом старый человек, очень приятный в манерах, в разговоре. Маргулиес (до завтрака) мне сказал, что граф — старый масон, высокого градуса. Это именно он во времена Временного правительства ежевечерне или еженощно, вместе с вел. кн. Николаем Михайловичем (историком), приезжали к замученному за день премьеру Керенскому и вели с ним какие-то долгие разговоры, причем граф привозил с собой своего повара, который готовил ужин для трех друзей. Думаю, это были масонские визиты. Думаю, что либеральный вел. кн. Николай Михайлович был тоже вольный каменщик.

Но, завтракая и разговаривая с графом, я видел перед собой только старого русского барина, светского человека, а отнюдь не какого-нибудь “государственного мужа”. И в моем представлении этот старый барин связывался только с известным цыганским романсом “Я ехала домой, / Душа была полна / Неясным для самой, / Каким-то новым счастьем…”. Когда я был гимназистом, во всех газетах шли отчеты о скандальном процессе известной петербургской певицы Пуарэ и графа Орлова-Давыдова. В чем там была суть, уж не помню. знаю только, что для этой цыганской певицы, возлюбленной графа, кто-то сочинил ставший знаменитым этот романс, и Пуарэ исполняла его “бесподобно”: как она “ехала домой” и как что-то там “поняла”…

Гораздо интересней были завтраки с Маргулиесом, когда мы были вдвоем. Он рассказывал и рассказывал. Например, я как-то спросил его, масон ли Керенский? Маргулиес отмахнулся: “Да какой он масон! Нет. Он был в думской масонской группе, но эта же группа как масонская не признавалась ни во Франции, ни в Англии, потому что это было не ритуальное масонство, а именно *группа,* политически сочувствующая масонским либеральным идеям. Ни инсталляций, ни лож, ничего там не было, были только некие политические связи с заграничными масонами. Только и всего. Были там Некрасов, Терещенко… А когда Керенский стал эмигрантом и приехал в Париж, он в масонство не вошел, не захотел. И вот недавно он читал у нас в "Великом Востоке" доклад о положении в России. Но доклад был en tenue blanche”. Я спросил, что это такое? М.С. объяснил, что в масонские храмы часто приглашают на доклады разных политических и

общественных деятелей не масонов, и тогда доклады их проходят, как обыкновенные лекции (без лент, передников, без всякого ритуала, разумеется). Это и называется на масонском языке — en tenue blanche.

Спрашивал я Маргулиеса о Милюкове и Гучкове — масоны ли они? Маргулиес рассказал, что и того и другого долго уговаривали вступить в орден, ибо их вступление было бы ценно, но и тот и другой отказались. Милюков на все уговоры отвечал: “Я не мистик, а потому масоном стать не могу”. “И что вы хотите, он был прав, — говорил М.С., — до седых волос его любимым героем в русской литературе остается Базаров. А каким же масоном может быть Базаров? Кизеветтер правильно назвал Милюкова: "семидесятилетний комсомолец"!” — “А Гучков?” — “И он отказался, заявив себя верным сыном Православной Церкви”. — “Но ведь верующие православные в масонстве есть и были?” — “Конечно. У Гучкова это была просто отговорка. Причем им обоим предлагали ведь не посвящение в "ученики", а сразу наивысший тридцать третий градус! Из русских его имеют только двое: я и Маклаков”. — “А в какой ложе Маклаков?” — “У нас в "Великом Востоке", в ложе "Северная Звезда"”.

Помню, я сказал что-то лестное о Маклакове, но М.С. как-то даже “обиделся”. Надо сказать правду: Маргулиес был очень тщеславен и честолюбив и к таким людям, как Милюков, Гучков, Маклаков, имевшим всероссийское (и даже мировое) имя, относился крайне ревниво, ибо у Маргулиеса такого имени не было и быть не могло. Был “тридцать третий градус” — и только. Поэтому при всяком случае он пускал всевозможные шпильки всем трем: Милюков — Базаров, Гучков — бреттер, а о Маклакове, когда я сказал о нем что-то лестное, М.С. ответил “снисходительно”: “Ну, да он оратор неплохой. Но он же ведь психопат-бабник. Если вы только повесите на стену юбку, он сразу под нее полезет. И к тому же — это общеизвестно — он патологически скуп, просто жаден. На каком-нибудь концерте или собрании всегда норовит так надеть пальто и улизнуть, чтоб не дать на чай в гардеробной, а в ресторане — чтоб не дать лакею на чай”.

Когда я дал М.С. подписать еще раз прошение о визах, которое уже подписали Милюков, Гучков, Маклаков, Церетели и под их фамилиями везде было “ancien ministre”, Маргулиес, взяв ручку, чтоб подписать, как бы невзначай бросил: “Собственно говоря, и под моей фамилией вы могли бы напечатать “ancien ministre”. Это относилось к его кратковременному “министерству” в эфемерном Северо-Западном правительстве при генерале Юдениче. Чтоб доставить старику удовольствие, я, конечно,

припечатал и под Маргулиесом “ancien ministre”. Вообще, при несомненной одаренности и недюжинности в М.С. Маргулиесе было много (пожалуй, даже чересчур!) суетности. С библейским Экклезиастом — “все суета сует и суета всяческая” — он никак не мог бы согласиться. Суетой — *жил.*

Кстати, о суетности. Уже после моего вступления в ложу “Свободная Россия” я зашел как-то к Я.Б.Рабиновичу. У нас были очень хорошие, дружеские отношения, но, разумеется, о моем посвящении я бы ему не сказал: “тайна есть тайна”. Но как только мы сели в его кабинете, Я.Б. говорит: “Ну, поздравляю вас, Р.Б.”. — Я удивленно: “С чем?” — “С вступлением в наш орден вольных каменщиков”. — Я удивился вдвойне: “Во-первых, откуда вы знаете? И во-вторых, почему в наш?” Я.Б. ответил с улыбкой: “В "наш"? Потому, что я тоже состою в ордене, и довольно давно. А узнали в нашей ложе "Юпитер" все мы, потому что для нас, масонов, никакое посвящение не секрет, мы всегда узнаем о них. И скажу вам, что все мы пожалели, что вы вступили не к нам в "Юпитер", а к Маргулиесу в "Свободную Россию"”. — “Какая же разница?” — “Большая. У нас в "Великой Ложе Франции" сохранилось больше от древнего масонского шотландского ритуала. А "Великий Восток", весь в целом, гораздо более политичен. Маргулиеса же ложа — это больше общественно-политическое объединение, чем масонское”. — “Ну, мне это, пожалуй, как раз и более подходяще. Вы более-менее мистик, а я насчет мистики слабоват”. И я рассказал Я.Б. о том, что меня толкнуло в ложу Маргулиеса (о “прыгайте, гражданин!”). Я.Б. сказал: “Боюсь, что и тут вы разочаруетесь. У Маргулиеса нет больших связей, которые бы вам помогли”. Дальше в разговоре я спросил Я.Б., давно ли он в масонстве, он сказал, что — довольно давно, но когда я спросил его, в каком *же* он градусе, Я.Б., смеясь, от ответа уклонился. Кто-то мне потом говорил, что он был в семнадцатом градусе (и это, если не ошибаюсь, последний градус перед тридцать третьим).

Я.Б. был человек веселый, остроумный. Спросил, как мне понравились братья “Свободной России”, я ответил: “Ничего. Есть люди полноценные, интересные”. — “Видите ли, в русские масоны идут две категории людей, — сказал Я.Б., — евреи и кавалергарды, — и засмеялся, — у вас, кажется, насчет кавалергардов слабо, а вот у нас — князья, графы и прочие родовитые "кавалергарды"”. Это было верно. Позднее я встречался на агапах и с Вяземским, и с Шереметевым, и с Давыдовым, и с Товстолесом, и с другими “кавалергардами”. Толковали мы с Я.Б. о многом. Он пригласил меня в воскресенье на обед, сказав, что будут Н.Н.Евреинов и А.Н.Пьянков. Я понял, что оба — масоны.

Но Евреинов отзвонил, не мог прийти. А.А.Пьянков пришел. После обеда как-то случайно зашел разговор о суетности. Ученый-египтолог А.Н.Пьянков, большой приятель Я.Б., был человек довольно парадоксальный: ум эксцентричного склада, цинический, но в меру, без вульгарности. Когда после обеда мы пили чай, Пьянков, шутя и смеясь, заговорил о суетности в масонстве.

— В наших черносотенных кругах всякие ихтиозавры и динозавры пишут о масонах пудовые глупости, приписывая нам какие-то "сатанинские мессы" и прочую чушь. Но в известном смысле можно сказать, что некий "сатанизм" в масонстве есть.

Зная любовь Пьянкова к "парадоксам", и Я.Б. и я улыбались.

— Нет, нет, не смейтесь, — продолжал, сам улыбаясь, Пьянков. — Давайте разберемся, но — мудро. Что такое сатана? На что он толкает? Конечно, прежде всего, на суету сует, ибо суета сует и есть его аура. А чем в своей сути живут масоны? Скажем, положа руку на сердце, именно суетностью, а в этом и есть "сатанизм". Все эти разговоры о "братской любви к людям", о "нравственном самоусовершенствовании", о "совокупном познании истины", "о Боге как существе всемогущем, вечном и бесконечном", все это словеса, прикрывающие суетность. Часто человек идет в масонство, чтоб не быть простым обывателем Иваном Ильичем, а стать неким "братом, охраняющим входы" или "братом дародателем", и это льстит — чему? Его суетности. Наш "брат" Н.Н.Евреинов правильно развивает теорию "театрализации жизни", так называемого "театра для себя". "Театр для себя" живет в каждом. И вот, когда Иван Ильич преображается из простого обывателя в "брата, охраняющего входы", он входит уже в какую-то "роль". И "роль" эта ему нравится. Пусть экзистенциально он тот же Иван Ильич Перепелкин, но *для себя* он уже "брат дародатель" или "брат, охраняющий входы". И какие-то в миру знаменитые люди называют его, простого Ивана Ильича, своим "братом". Вот и начинается "театр для себя", которым Иван Ильич *живет.* Причем это еще прикрыто "тайной". А "тайна" — сильная вещь. "Тайна" — великий мотор в человеке. Об этом умно говорит Зигмунд Фрейд. А все это вместе, конечно, *суета сует,* которую любит именно "сатана".

Пьянков сам улыбался. Я.Б. смеялся, хорошо зная Пьянкова.

Но Александр Николаевич, вы же не станете отрицать, что есть *подлинные масоны,* верующие в правду масонства, ну, например, Григорий Николаевич Товстолес, как-то искренне сказавший: "Масонство — это мой монастырь".

Ну, вот он и есть настоящий Иван Ильич! Он верит в пустоту высокопарных слов и пробует наполнить их своими довольно

неясными добрыми чувствами. Но от этого общая суета сует не исчезает.

Когда прошел какой-то положенный срок и мне надо было переходить из “учеников” во второй градус — в “подмастерье”, М.С. сказал мне: “Р.Б., прочтите какой-нибудь доклад в ложе, и мы переведем вас во второй градус”. Я предложил, что прочту доклад “О начале коммунистического террора”, из книги “Дзержинский”, которую я готовил. “Вот и великолепно!” — сказал М.С. Я прочел этот доклад в ложе “Свободная Россия”, перейдя тем во второй градус со званием “подмастерья”. Тут я снял кожаный передник “ученика” и надел голубую ленту с золотым шитьем через плечо и такой же шитый золотом голубой передник. Так я вошел в “голубое масонство”.

А через несколько дней вышеупомянутый советский стукач Н.Н.Алексеев напечатал в газете “Возрождение” статью о маршале Тухачевском, тогда приехавшем в Париж из Лондона, куда был послан присутствовать на похоронах английского короля. Статья, подписанная буквой “А”, была подкинута НКВД — чисто стукаческая, полная лжи и о М.Н.Тухачевском и обо мне. Н.Н.Алексеев писал, что еще со времен своего плена Тухачевский был немецким агентом и из плена он не бежал, а был послан в Россию немцами. Мне посвящался такой абзац: “Наиболее обстоятельная книга о Тухачевском была написана несколько лет тому назад бывшим участником первого похода, затем перекинувшимся к большевикам и *от них уехавшим в Берлин и Париж* (курсив мой. — Р.Г.) романистом Романом Гулем. К ней нельзя относиться с большим доверием потому, что *как раз в эти дни Р.Гуль выступал в Париже в одной из масонских лож с докладом о “масонстве в СССР”, а М.Тухачевский сам принадлежал к масонству со времен еще пребывания в германском плену”* (курсив мой. — Р.Г).

Прочтя эту “работу” стукача, я пришел в ярость. Написал письмо в редакцию и сам поехал в “Возрождение”. Первым, на кого я наткнулся там, был как раз Н.Алексеев. Он, конечно, понял, зачем я приехал, и с саркастической улыбкой вышел в соседнюю комнату. А меня принял секретарь редакции. Я дал ему письмо, сказав, что если оно полностью, без изменений, не будет напечатано в “Возрождении”, я привлеку редакцию к суду за клевету. И попросил дать мне ответ сразу. Секретарь с письмом куда-то ушел. Через несколько минут ко мне вышел редактор Ю.Семенов (несчастная бездарность!) с моим письмом в руках и сухо сказал, что письмо будет напечатано.

16 февраля 1936 года мое опровержение было полностью напечатано. А в 1937 году в Париже резидент НКВД Кривицкий

бежал из полпредства, “выбрав свободу”. И свои разоблачения стал печатать в меньшевицком “Социалистическом вестнике”, сообщив, что статья о Тухачевском была подкинута НКВД, и добавлял, что в “Возрождении”, он, резидент НКВД, мог напечатать все, что хотел.

Кстати, о приезде Тухачевского в Париж. В Париже, как эмигрант, жил его друг-однополчанин по гвардии Семеновскому полку Сергей Ганецкий. Ганецкий был материально хорошо устроен, он был директор хорошего отеля “Коммодор”. И зная его, Тухачевский встретился с ним. Может быть, один. А может быть, в сопровождении военного атташе (энкаведиста) Венцова, как тень везде бывавшего с Тухачевским. Этот Сергей Ганецкий раньше рассказывал друзьям интересную деталь биографии Тухачевского. Когда в Советской России, после побега из немецкого плена, Тухачевский пошел в формировавшуюся Красную армию, Ганецкий с удивлением спросил его: “Как ты можешь идти туда?” На что Тухачевский ответил: “Я ставлю на сволочь…” И Тухачевский оказался исторически прав: сволочь победила (не без помощи “нашего Бонапарта”, как иронически называл Тухачевского Ленин). Но Тухачевский просчитался в одном — в том, что *сволочь* убьет и его. И убьет подло и зверски. А за ним убьет и его старуху мать, замечательную русскую женщину, простую крестьянку из Смоленщины, которая, несмотря на все “допросы” и пытки, отказалась признать своего Мишу “врагом народа”. В то время как другие родственники “признали”. Страха ради иудейска.

Собрания ложи “Свободная Россия” были не часты, сопровождались всегда братскими “агапами”. Я их посещал. Иногда эти заседания бывали в русском масонском доме на 29, рю де л'Иветт, где собирались все русские ложи: шесть от “Великой Ложи Франции” и две от “Великого Востока”. Особняк русских лож на рю де л'Иветт поразил меня: старинный барский особняк, красивый, окруженный какой-то зеленью, он стоял поодаль от других домов. Внутри прекрасный паркетный зал с двумя большими зеркалами. В нижнем этаже — своя кухня, где готовил повар (вероятно, тоже вольный каменщик?). Тут иногда устраивались доклады для русских лож, а после доклада обмен мнений и превосходные агапы для всех. Надо честно сказать, что и публика, и атмосфера таких собраний и застолий были и приятны, и интересны.

Помню, например, доклад серьезного историка русского масонства Павла Афанасьевича Бурышкина. Бурышкин был коренной москвич, из старого купеческого рода, во времена Временного правительства был, кажется, товарищем министра

Коновалова. Умница. Образованный человек. Доклад его был — “Лев Толстой и масоны”. Как сейчас помню его начало. Бурышкин начал с заметки в дневнике Льва Николаевича: “Сегодня весь день думал о масонах, — Бурышкин сделал глубокую паузу и потом закончил цитату, — какие дураки…”

По залу пробежал невольный смех. Далее П.А. говорил о том, почему рационалист Толстой не мог стать масоном и в “Войне и мире” писал о масонстве несколько иронично, а иногда, говоря о Пьере Безухове, и довольно жестоко.

М.С. Маргулиес по-прежнему относился ко мне очень дружески. Мне думается, и потому, что ему было немного стыдновато, что несмотря на обещания он ничем мне помочь не мог с визами. Стыдновато было за свое масонское бессилье. В 1937 году он попросил меня прочесть еще один доклад в ложе для того, чтоб он мог перевести меня в третий градус (из “подмастерьев” в “мастера”), на чем мое масонство и кончилось. Правда, после войны Я.Б.Рабинович и А.Н.Пьянков затащили меня, как мастера, в свою ложу “Юпитер”, но это кончилось быстро и довольно драматично: я ушел из масонства совсем, и ушел демонстративно по политическим мотивам, ибо в русском масонстве в Париже тогда началось некое примиренческое течение в отношении к сталинскому СССР. Но об этом я расскажу, когда хронологически дойду до послевоенных лет.

У графини Л.Н. Воронцовой-Дашковой

Чаи у Я.Б.Рабиновича и жены его Ольги Владимировны были всегда приятны. Кроме А.Н.Пьянкова бывал Ник. Ник. Евреинов (со своим “театром для себя”), всегда остроумен, парадоксален. Бывали братья Д.Н. и Б.Н.Ермоловы, наши пензяки, родственники известного генерала Ермолова, но их по Пензе я не знал, оба учились где-то в столицах. До революции Дмитрий Николаевич пошел по министерству внутренних дел, в гражданскую войну — в белой разведке, а сейчас у него был “бакалейный магазин”, но в его “бакалею” я не особенно верил. Почему-то — без всяких оснований — казалось, что он и сейчас должен быть связан с какими-то Intelligence. Борис Николаевич был византолог, работал в Византийском институте в Париже. Еще встречал я у Я.Б. гвардии капитана (артиллериста) М.Н. Сейдлера (досточтимый мастер ложи “Юпитер”). Он был тот самый офицер, который от имени офицерской организации предлагал вел. кн. Михаилу Александровичу (после его отречения) побег из России. План, говорят, был безошибочен. Но Михаил Александрович отклонял всякий побег, говоря: “Я не хочу бежать из своей страны”. Отказ, по-моему, был не мудр. Я никогда не понимал этой *“нерасторжимой связи со своей страной”*. Ну, а если моя страна осатанела, озверела, обокаянилась, как Россия в 1917—18 годах? В Дневнике за 1921 год И.А.Бунин записал: “И как надоела всему миру своими гнусностями и несчастиями эта подлая, жадная, нелепая святая Русь!” И был прав. Я всегда чувствовал свою бытийственную, личностную связь со *всем миром,* а не только со *“своей страной”*. Весь мир — мой. Весь мир — Божий.

Вскоре после моего знакомства с М.Н. Сейдлером Я.Б. передал, что у него и его сестры графини Л.Н.Воронцовой-Дашковой возникла мысль: не записал ли бы я ее рассказы о вел. кн. Михаиле Александровиче, с которым она была дружна, а ее покойный муж граф Воронцов-Дашков был самым близким (с детства) другом Михаила Александровича? Я согласился.

В условленный день я пришел к Л.Н. в отель “Наполеон” (авеню Фридланд), где она жила. Она поразила меня и приветливостью, и своей красотой. Близкий к придворным кругам человек говорил мне, что графиня Людмила Николаевна слыла при дворе самой красивой женщиной. В таких оценках, думаю, “двор” был компетентен.

Так как Л.Н. рассказывала о великом князе как о *человеке,* я предложил заглавие “Человек, отрекшийся от трона”. Л.Н. согласилась. Так начались мои записи рассказов Л.Н. В ее

комнату подавался чай и что-нибудь к чаю. Ее рассказы я записывал скорописью. Дважды для уточнений рассказанного Л.Н. приглашала на “чаи” генерала кн. Бекович-Черкасского, бывшего командира Татарского полка Дикой дивизии и бывшего командира Дагестанского полка генерала кн. Амилахвари той же дивизии, которой во время войны командовал вел. кн. Михаил Александрович. Оба князя оставили у меня самое приятное воспоминание. Не помню, чем занимался эмигрант Бекович-Черкасский, но Амилахвари зарабатывал на жизнь как парижский таксист.

И Л.Н. и я полагали, что ее рассказы о великом князе, отрекшемся от престола, заинтересуют и русскую и иностранную печать. Увы, мы ошиблись. “Последние новости” отклонили печатание. А.А.Поляков сказал мне коротко: *“Нам* не подходит”. Вероятно, и единственный человек, уговаривавший в 1917 году Михаила Александровича принять престол, П.Н.Милюков был против печатания, ибо теперь стал республиканцем. Иностранные газеты совершенно не заинтересовались. И единственно, где я напечатал эти записи, была газета “Сегодня”, за какие-то гроши, причем редакция сделала в тексте сокращения.

РОМАН ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ

В 1912 году брак великого князя Михаила Александровича, брата Николая II и бывшего наследника престола, наделал в России не меньше шума, чем брак герцога Виндзорского в наши дни в Англии.

Браку великого князя предшествовал длительный роман.

Младший сын Александра III великий князь Михаил Александрович в 1908 году командовал эскадроном кирасирского Ее величества полка, шефом которого состояла мать великого князя, вдовствующая императрица Мария Федоровна.

Полк стоял в Гатчине, под Петербургом. Там на одном из полковых праздников великому князю в числе других жен офицеров была представлена Наталья Сергеевна Вульферт.

Это, казалось бы, мимолетное знакомство перешло быстро в длительный роман, закончившийся браком и отречением великого князя от всех присущих ему по положению прав.

Наталья Сергеевна Вульферт была женщиной красивой и образованной: происходила она из очень интеллигентной семьи. Ее отец, С. Шереметевский, был известным адвокатом. Первым браком Наталья Сергеевна вышла за музыканта С.Мамонтова, вторым за кирасирского офицера Вульферта. В третьем браке с великим князем Наталья Сергеевна получила фамилию Брасовой.

Брака великого князя и Н.С.Вульферт не желали ни император Николай II, ни мать, вдовствующая императрица Мария Федоровна. Когда император узнал о намерении великого князя все-таки жениться на Н.С.Вульферт, он вызвал великого князя во дворец и отдал краткий приказ:

— Черниговские гусары!

Великий князь назначался командиром Черниговского гусарского полка, стоявшего в Орле, куда он должен был немедленно отправиться.

Гатчина, кирасиры, Н.С.Вульферт, все было покинуто. Но мягкий по своему характеру великий князь в данном случае проявил непреклонную волю, решив жениться на любимой женщине, даже несмотря на противодействие императора.

Великий князь уехал в Орел. Но роман продолжался. По настоянию великого князя ротмистр Вульферт согласился на развод с женой. И в 1912 году великий князь и Наталья Сергеевна покинули Россию, уехав за границу, в Вену, где великий князь в строгой тайне предполагал совершить обряд венчания.

Но даже в Вене при заключении брака великий князь вынужден был действовать с крайней осторожностью. Он нашел в

Вене не русского, а сербского православного священника, дабы заключенный им брак не подлежал расторжению со стороны Святейшего синода.

Так, в 1912 году в Вене в православной церкви великий князь Михаил Александрович обвенчался с Натальей Сергеевной Вульферт.

В ОПАЛЕ В ЛОНДОНЕ

Как только император узнал о заключении брака, в ответ последовал указ, в котором, как мера репрессии, над всем имуществом великого князя устанавливалась опека в составе трех назначенных государем лиц, а великому князю запрещался въезд в Россию.

Великий князь как частное лицо остался жить за границей. Из Австрии в 1913 году он вместе с женой и родившимся сыном Георгием переехал в Англию в замок Небворт, недалеко от Лондона.

Здесь, под Лондоном, и проводил свои дни опальный великий князь, лишенный возможности вернуться в Россию. Для великого князя такая вынужденная разлука с родиной была нелегка. И в особенности она стала тяготить его, когда в 1914 году вспыхнула война и когда долг военного звал его вступить в ряды армии. Но великому князю, не подчинившемуся воле императора, возвратиться в Россию было нелегко.

1914 год я проводила во Франции, в Ницце. Но незадолго до объявления войны я выехала в Россию и здесь, в нашем крымском имении “Форос”, получила от моего мужа (тогда еще жениха) графа И.И. Воронцова-Дашкова телеграмму, вызывавшую меня в Петербург.

Я быстро собралась и двинулась в путь.

Мой муж граф И.И.Воронцов-Дашков был ближайшим к великому князю Михаилу Александровичу человеком. Семья графов Воронцовых по древности своего рода и по положению при дворе была одной из самых близких к династии. Великий князь и граф Воронцов вместе росли, их связывала дружба детских лет. И в Петербурге из разговоров с мужем я узнала, что великий князь в замке Небворт в эти дни чрезвычайно тяжело переживает свою оторванность от родины.

Об этих чувствах граф Воронцов был осведомлен из писем, и, как истинный друг, мой муж взялся хлопотать о разрешении великому князю вернуться на родину.

Просьба к императору, а также к вдовствующей императрице была обращена от имени отца моего мужа, наместника Кавказа, генерал-адъютанта графа И.И.Воронцова-Дашкова, с чьим мнением считались государь и двор.

С письмом старого графа Воронцова мой муж был принят императором и вдовствующей императрицей. И в это же время государь получил от великого князя телеграмму, в которой тот просил о разрешении вернуться на родину. Великому князю было

дано разрешение вернуться.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГ

В конце августа 1914 года великий князь приехал в Петербург, где временно остановился в “Европейской гостинице”. Но от мужа я узнала, что все-таки “лед” между великим князем и государем (а главное, между ним и государыней) еще не разбит.

На приеме у государя великий князь, раньше командовавший Кавалергардским полком, просил дать ему в командование какой-нибудь полк в действующей армии, но государь приказал оставаться в Петербурге, то есть быть фактически в бездействии.

Великого князя, никогда не любившего придворной жизни и ее этикета и мечтавшего поскорее вырваться на фронт, такое положение чрезвычайно тяготило.

Муж рассказывал, что когда ему приходилось провожать великого князя во дворец на официальные приемы, тот часто говорил своему шоферу: “Тише… езжай тише…” — великий князь всегда старался приехать во дворец уже к моменту приема, дабы сделать свое пребывание там возможно более коротким.

Чтобы спасти его от вынужденного бездействия придворной жизни, на помощь ему во второй раз пришел старый граф И.И.Воронцов-Дашков, очень любивший великого князя.

Незадолго до этого у наместника Кавказа генерал-адъютанта графа И.И.Воронцова-Дашкова возникла идея сформировать из всех кавказских народностей кавалерийскую дивизию. И теперь граф телеграфно обратился к государю с просьбой о назначении великого князя начальником этой дивизии.

На такую телеграмму отказа быть не могло. И великий князь стал начальником “Дикой дивизии”.

МОЁ ЗНАКОМСТВО С ВЕЛИКИМ КНЯЗЕМ

В сентябре 1914 года формирование Дикой дивизии заканчивалось в маленьком городке Винница на Украине. Здесь я и познакомилась с великим князем Михаилом Александровичем.

Я приехала в Винницу провожать своего мужа перед выступлением на фронт. Никогда не бывав в этом городке, я ехала, окруженная целым штатом прислуги, не подозревая, что в этом местечке, занятом сплошь войсками, мне негде будет не то что разместить прислугу, но даже разложить привезенные вещи.

На вокзале меня встретил муж, сказавший, что великий князь уже несколько раз спрашивал, приехала ли я, и очень хочет со мной познакомиться.

Разумеется, и мне хотелось познакомиться с Михаилом Александровичем, о котором я так много слышала, но меня, очень молодую женщину, смущало одно обстоятельство. Я была еще тогда не разведена с моим первым мужем, развод бесконечно тянулся, и это положение при знакомстве с великим князем меня, естественно, смущало, хоть граф и успокаивал меня тем, что “на такие пустяки великий князь не обращает ни малейшего внимания”.

В Виннице я остановилась в единственном существовавшем там небольшом отеле с громким названием “Савой”. От крошечных размеров номера и от всей обстановки я была в отчаянии. И вот, когда, только что приехав, я с помощью горничной кончала свой туалет, в мой номер раздался стук, а затем на пороге появился великий князь.

Никогда не забуду первого впечатления: высокий, стройный, как все офицеры Дикой дивизии затянутый в черкеску, с ласковым открытым лицом английского типа (в лице великого князя было много черт, близких английской королевской семье), с большими серыми глазами.

— Здравствуйте, Людмила Николаевна, — проговорил он, — простите, пожалуйста, что я так стремительно ворвался к вам, но я так хотел поскорее познакомиться с невестой моего лучшего друга, что, надеюсь, заслуживаю снисхождения.

Прощаясь, великий князь пригласил нас с мужем приехать к нему обедать. И в шесть вечера мы подъехали к небольшому скромному домику, где он жил со своей женой.

За простым обедом, кроме нас, были секретарь великого князя Н.Н.Джонсон и его адъютант хан Эриванский и Н.Н.Абаканович. Михаил Александрович много рассказывал о своей жизни в Англии, которую он очень любил и в которой, по

его словам, “чувствовал себя как дома”. Я знала еще от мужа, что великий князь был большим англоманом и не только поклонником английского характера и быта, но и сторонником политических форм Британской империи. Эта любовь к Англии была привита ему еще в детстве англичанином — воспитателем мистером Хет.

Я не преувеличу, если скажу, что мое первое знакомство с Михаилом Александровичем положило начало большой и долгой дружбе. В течение месяца, что я пробыла в Виннице, мы виделись с великим князем ежедневно. Мы вместе обедали, вместе выезжали на прогулку, а иногда по вечерам он играл у нас с мужем, князем Вяземским и Н.Н.Джонсоном по маленькой в карты, в “тетку”.

Великий князь был самым богатым из великих князей и одним из богатейших людей России. Кроме личного состояния к нему перешло и состояние покойного брата Георгия Александровича, но Михаил Александрович был человеком, не замечавшим своего богатства. Я никогда не могла удержать улыбку, видя, как в Виннице он за карточным столом по-детски радовался, если выигрывал 15 копеек, и становился расстроенным, если проигрывал такую же “сумму”.

ПОДАЛЬШЕ ОТ ПРИДВОРНОЙ ЖИЗНИ

В характере великого князя было много прирожденного уменья очаровывать людей. Но в отличие от некоторых других членов династии, в Михаиле Александровиче прежде всего резко бросались в глаза его простота и какая-то особая скромность, переходившая даже в застенчивость.

Всего, что было связано с пышностью, парадностью, этикетом, великий князь избегал. Всему, что было связано с проявлением каких-нибудь бурных чувств, он был чужд, был ровен, спокоен, уравновешен. И в полной гармонии с такой уравновешенностью были вкусы великого князя. Михаил Александрович любил искусство, музыку, спорт, животных, цветы.

Великий князь Михаил Александрович был блестяшим наездником. В понимании коня великому князю мало было равных. В Гатчине великий князь не раз скакал на скачках. Но самым большим удовольствием его высочества было оседлать своего кабардинца и совершенно одному скакать по полям и лесам.

Кроме конского спорта великий князь любил автомобиль, которым прекрасно правил; любил гимнастику на приборах; и очень любил физический труд, в особенности пилить дрова, чем и занимался часто вместе со своим адъютантом князем В.А.Вяземским.

Любя музыку, великий князь сам немного сочинял. Особенно любил он народную восточную музыку. И в Виннице при нем был знаменитый зурнач Зубиев, который подолгу играл ему кавказские заунывные напевы.

Однажды на фронте в Австрии, в Тулстуместе, когда Дикая дивизия стояла в резерве в лесу, всадники-кабардинцы пели свои национальные песни. Присутствовавший тут же, сам кабардинец, помощник командира Татарского полка князь Бекович-Черкасский приказал пение прекратить. Но великий князь удивленно обратился к нему:

Почему вы прекратили пение, князь? Мне кажется, что для европейского уха оно простоужасно.

— Нет, нет, — запротестовал Михаил Александрович, — напротив, это прекрасные напевы. Я в них чувствую что-то древнее, похожее на индусское, пусть поют…

И он не только продолжал слушать, но даже попросил князя Бековича перевести ему слова песен, чтобы записать их.

— Я могу перевести, — ответил князь, — но это песни про национального кабардинского героя князя Кучук-Аджигиреева,

сражавшегося в 1830 году против русских.

Михаил Александрович засмеялся и настоял на переводе песен.

ПОЧЕМУ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ НЕ ХОТЕЛИ НАГРАЖДАТЬ ОРДЕНОМ СВ. ГЕОРГИЯ

В октябре 1914 года, повенчавшись с графом Воронцовым, я поселилась в Петербурге на Английской набережной. Но из Петербурга я часто ездила в прифронтовую полосу к мужу, командующему Кабардинским полком Дикой дивизии, и я всегда, конечно, в эти приезды встречалась с Михаилом Александровичем. От мужа, от князя Бековича-Черкасского, князя В.А.Вяземского, Н.Н. Джонсона и командира Дагестанского полка князя Амилахвари я узнала многое из жизни на фронте.

Всему ближайшему окружению, начальнику штаба генералу Я.Д. Юзефовичу и командирам полков было много хлопот с великим князем, желавшим быть возможно ближе к линии огня. Удерживать его было нелегко. Таков был характер Михаила Александровича. Вместе со скромностью он был чрезвычайно самолюбив, и одна мысль, что, пользуясь своим положением, он может держаться в тылу, заставляла его делать все обратное.

В начале 1915 года, когда корпус генерала Баяровича двигался к Перемышлю, на долю отряда великого князя выпала серьезная задача: задержать наступавшую немецкую кирасирскую дивизию. Задача была выполнена образцово, и Михаил Александрович лично был под огнем.

По статуту ордена св. Георгия член императорской фамилии, бывший под огнем, получал Георгиевский крест, и командир корпуса хан Нахичеванский представил его к этой награде. Но представление показало, что при дворе осталось чувство нерасположения к великому князю, доставившему много хлопот своим морганатическим браком. Николай II оставил без движения представление к ордену. Говорят, это было сделано под влиянием императрицы. Но война шла. За дела на Сане великий князь был вторично представлен к той же награде. Но и это представление не получило движения.

Тогда, после нового дела, по которому Михаил Александрович заслуживал награждения Георгиевским крестом, генерал Брусилов, командующий 8-й армией, взял на себя провести награждение через Георгиевскую думу своей армии. Дума признала великого князя достойным, и постановление ее пошло на высочайшее утверждение. В этом случае отказа быть не могло, и Михаил Александрович получил наконец Георгиевский крест, привезенный флигель-адъютантом полковником Дерфельденом.

СВЯЩЕННИК ВОЗГЛАШАЕТ МНОГОЛЕТИЕ ИМПЕРАТОРУ ФРАНЦУ-ИОСИФУ

Желание “быть в тени” было характерно для Михаила Александровича. Мне запомнились многие случаи, иллюстрирующие это.

Самым большим удовольствием для Михаила Александровича было снять с себя погоны и, накинув простой полушубок, идти со своим адъютантом князем В.А.Вяземским в солдатский кинематограф. Как рассказывал князь, там, в толпе, никем не узнанный, он чувствовал себя великолепно.

— Вот в таком состоянии, князь, я совершенно счастлив, — говорил Михаил Александрович.

А когда во время войны великому князю в местечке Язловец надо было посетить женский монастырь в замке князей Понятовских, где воспитывались аристократические молодые девушки, он, зная, что на него будет обращено большое внимание, попросил своего начальника штаба сообщить, что вместо великого князя приедет начальник штаба. Сам же он в этом посещении взял на себя роль адъютанта. И на приеме великий князь радовался, когда все обращались к генералу ЯД. Юзефовичу и никто не обращал внимания на адъютанта, под видом которого скрылся Михаил Александрович.

Это желание “быть незаметным” соединялось в нем с конфузливостью. Князь Вяземский рассказывал смешной случай, происшедший с Михаилом Александровичем и моим мужем.

Из Петербурга я посылала мужу посылки на фронт, но из-за переходов дивизии они задерживались, и однажды в местечке Копыченцы в Галиции муж получил сразу множество посылок. Над таким изобилием плодов земных смеялись окружившие мужа друзья. Муж же мой, большой шутник, тут же на воздухе, словно торговец, разложил все продукты и, стоя за импровизированным прилавком в одном бешмете, был сильно похож на “духанщика”.

Михаил Александрович и приближенные стояли здесь же, все без черкесок, без погон, в одних бешметах. Как раз в этот момент мимо проходила воинская часть, от нее отделился военный врач и, приняв “прилавок” моего мужа за полковую лавочку, а Михаила Александровича за приказчика, начал, обращаясь к великому князю на “ты”, необычайно хвалить его за расторопность, за организацию такого прекрасного прилавка.

— Вот это ты молодец! — кричал доктор, хлопая по плечу Михаила Александровича. — Две недели мечтаю выпить чаю с

лимоном! Нигде нет, а у тебя, братец, все есть!

Порывистостью военного врача Михаил Александрович был так смущен, что ничего не мог выговорить… Улыбаясь, указывая на мужа, он только говорил: “Да нет, это он не продает… это он для себя…”

Но доктор не унимался, пока князь Вяземский не шепнул ему, кто перед ним. Доктор оторопел, но Михаил Александрович уверил доктора, что ровно ничего не произошло, и в виде подарка завернул ему с “лотка” моего мужа пакет с фруктами.

Вспоминаю еще эпизод, рассказанный мне князем Бековичем-Черкасским.

В декабре 1914 года Дикая дивизия шла по Галиции и подходила уже к Карпатам. Из штаба дивизии по телефону передали во все полки, что 6 декабря приказано устроить парад и отслужить молебен по случаю именин Николая II. Во всех полках шли приготовления к службе и параду. В расположении Татарского полка нашелся русинский священник, взявшийся отслужить службу.

Во время службы мусульмане Дикой дивизии собрались во дворе церкви, куда съехались муллы, а в церкви собрались христиане, организовав из офицеров и солдат импровизированный хор. Все шло гладко, но когда хор пропел многолетие, управлявшему хором офицеру Вырубову показалось что-то странное в возгласах русинского священника. Офицер вслушался — и подумайте! — О ужас! Русинский священник возглашает многолетие не императору Николаю II, а императору австрийскому Францу-Иосифу!

Произошло замешательство. Священника арестовали. Он оправдывался, что, как подданный австрийского императора, сделал это по привычке. Через командира полка дело дошло до Михаила Александровича, но тот только рассмеялся, приказав забыть этот инцидент и отпустить испуганного священника.

ПОЛКОВНИК ЯКИМИДИ, ПО ПРОЗВИЩУ “ДУШКА”

В кругу близких Михаил Александрович часто любил пошутить.

Однажды в комнате одного своего нервного адъютанта Михаил Александрович привязал все вещи веревками и привел ночью в испуг адъютанта, когда в его комнате вещи задвигались “сами собой”.

Помню, как подшутил он еще над приближенным к нему офицером бароном Врангелем. За столом великого князя подавалось вино и водка, но сам он ничего не пил. И как-то шутя предложил со всех пьющих брать штраф в пользу раненых и завел для этого кружку.

Барон Врангель любил выпить, но был скуп и, дабы не платить штрафа, под разными предлогами стал во время обеда выходить из-за стола в свою комнату и, там выпив изрядно, возвращался к столу. Однажды Михаил Александрович застал Врангеля на “месте преступления”, и… барон должен был опустить в кружку великого князя целых 50 рублей!

Но вскоре эти шуточные “штрафы” были упразднены. Чтобы никого не стеснять, великий князь приказал подавать всем вино, а для себя вместо красного вина клюквенный морс и вместо белого — жиденький чай.

Однажды пехотный офицер, приехавший в дивизию и приглашенный к завтраку, сказал оказавшемуся его соседом моему мужу: “Смотрите, говорят, великий князь не пьет! Да он уже два стакана хлопнул!” — “А не хотите ли попробовать вина из великокняжеской бутылки?” — спросил муж. — “Отчего же, с удовольствием, если это удобно”, — проговорил офицер, и муж обратился к Михаилу Александровичу за разрешением. Тот, улыбаясь, разрешил. Смутившемуся гостю пришлось выпить большой бокал кислого клюквенного морса.

Раз к завтраку был приглашен офицер Дикой дивизии полковник Якимиди, известный под прозвищем “душка”, ибо всех встречных и поперечных Якимиди называл “душка” и при том был большой любитель Бахуса.

При поездке товарищи предупреждали Якимиди, чтобы он не забывал и не вздумал назвать “душкой” Михаила Александровича. Якимиди уверял, что все будет хорошо. Но Якимиди вскоре совершенно забыл, с кем имеет дело, и после завтрака великий князь, смеясь, рассказывал, что Якимиди назвал

его “душкой” три раза.

ПЕРЕД РЕВОЛЮЦИЕЙ

В 1915 году я встречала Михаила Александровича в Петербурге, когда тот приезжал с фронта в Гатчину. В эти приезды он часто заезжал за нами в своем открытом паккаре и мы вместе уезжали на охоту под Гатчину. Там мы останавливались в охотничьих царских домиках: муж мой, большой специалист в кулинарии, готовил сам замысловатые блюда, и время чередовалось между охотой и беззаботным весельем.

Возвращаясь с охоты в Гатчину, Михаил Александрович любил показывать нам мрачный Гатчинский дворец, где протекли его детские годы.

Однажды, показывая гимнастические комнаты дворца, он сбросил с себя черкеску и, оставшись в одном бешмете, стал на турнике и параллельных брусьях делать самые отчаянные упражнения, взвиваясь как птица.

В начале 1916 года Михаил Александрович покинул Дикую дивизию, будучи назначен командиром 2-го кавалерийского корпуса, а незадолго перед революцией переехал в Гатчину, получив назначение генерал-инспектора кавалерии.

В связи с этим назначением предполагалось, что Михаил Александрович встанет во главе особого крупного конного отряда, предназначенного для самостоятельных действий на фронте. Но этому не суждено было осуществиться. Разразилась революция.

ЗАГОВОР ПРОТИВ АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ

К концу 1916 года, когда Михаил Александрович жил уже в Гатчине, атмосфера при “большом” дворе, в связи с неудачами на фронте, начинавшимися волнениями в Петербурге, а главное в связи с делом Распутина, становилась все нервнее.

Я не ошибусь, если скажу, что подавляющее большинство придворных считало императрицу виновницей всех несчастий. Мне пришлось близко знать многое, чего не знали широкие круги, и я должна сказать, что императрица под влиянием постоянного страха за жизнь наследника Алексея в это время была тяжко больным, впавшим в мистицизм человеком. Но обладая от природы сильной волей, императрица все же подчиняла своему влиянию государя. И многими великими князьями, и людьми, близкими ко двору, это влияние считалось пагубным.

Попытки отдельных лиц (Балашов, Орлов) повлиять на государя, дабы парализовать влияние императрицы, успеха не имели. И в придворных кругах против императрицы началась закулисная борьба, подчас переходившая в заговоры. К этим конспирациям имели отношение многие из великих князей. И только Михаил Александрович оставался вне этой борьбы.

Это не значит, что он был индифферентен к тому, что волновало тогда людей, близких к престолу. Но в Михаиле Александровиче отсутствовало желание борьбы. Он по-прежнему хотел оставаться “в тени” и не принимал активного участия в политической жизни страны.

Вспоминаю характерный разговор с Михаилом Александровичем на тему об одном придворном заговоре, о котором мне пришлось узнать совершенно случайно.

Это было в конце ноября 1916 года. Меня вызвал по телефону мой близкий родственник, прося приехать к нему по важному делу. Я приехала и в его кабинете застала эффектную даму г-жу Т., носившую громкую фамилию мужа, но не принятую в петербургском свете из-за своего образа жизни и из-за своего происхождения. Тем не менее (я это знала), г-жа Т. имела знакомства среди великих князей и с некоторыми из них была хороша. Мой родственник рассказал, что, зная мою дружбу с Михаилом Александровичем, он вызвал меня, дабы я сама услышала из уст г-жи Т. рассказ о предполагаемом заговоре, связанном как будто косвенно и с именем Михаила

Александровича, и из этого рассказа, как друг великого князя, сделала бы любое употребление.

Г-жа Т. рассказала следующее. Недавно она виделась с князем Игорем Константиновичем, который рассказал г-же Т., что он узнал, что в особняке на Мытнинской набережной происходят по четвергам весьма конспиративные собрания и что слухи об этих собраниях уже дошли до Николая II и тот поручил Игорю Константиновичу достать список всех участвующих там лиц.

Не находя иного пути, Игорь Константинович предложил г-же Т., с которой был хорош, не узнает ли она, кто собирается на Мытнинской. При этом Игорь Константинович сказал, что государь этого еще не знает, но он-то, Игорь Константинович, знает, что там ведется заговор против императрицы, в котором участвуют многие великие князья, и собирающиеся там хотят обратиться к царю с петицией об устранении императрицы от влияния на государственные дела и даже о заточении ее в монастырь, а в случае отказа государя на собраниях дебатируется вопрос о попытке переворота с отстранением государя, причем некоторые высказываются за Михаила Александровича.

Я ответила, что ничего подобного от великого князя ни я, ни мой муж не слыхали и, зная характер великого князя, я уверена, что он никогда на это не пойдет.

На этом мы расстались.

Тем не менее от своего родственника я узнала, что на следующий день ранним утром г-жа Т. поехала прямо к великому князю Сергею Михайловичу, прося его о приеме. Великий князь в приеме отказал. Но г-жа Т. так настаивала, что ей нужно видеть великого князя по делу чрезвычайной важности, что тот наконец принял ее.

Г-жа Т., сделав условный знак заговорщиков и тем войдя в доверие великого князя, сказала, что получены сведения, что все собирающиеся на Мытнинской будут на ближайшем собрании переписаны, и единственное средство избежать этого — это сейчас же предупредить всех по телефону, но чтобы великий князь не делал этого из своей квартиры, ибо за его аппаратом следят. Поверивший г-же Т. великий князь дал телефонные номера, по которым нужно было позвонить, написав их собственноручно. И с этим списком г-жа Т. прямо из квартиры Сергея Михайловича поехала к Игорю Константиновичу, а последний со списком выехал в Ставку к государю.

Вскоре после этого мне пришлось читать письмо Игоря Константиновича к одному из своих друзей, в котором тот писал, как он в Ставке встретился с вызванным туда Сергеем Михайловичем, который “белый от злости” подошел к Игорю

Константиновичу, сказав: “Как ты смел передать государю какой-то список?” — “А зачем же вы, дядя, его писали?” — спросил Игорь Константинович.

На одном из обедов у нас я рассказала Михаилу Александровичу о всей этой истории с г-жой Т., спросив его, не знал ли он об этом?

Не только не знал, но и совершенно всему этому не сочувствовал бы, — ответил великий князь. То есть чему бы вы не сочувствовали? — желая уточнить ответ, переспросила я.

И, улыбнувшись, он прибавил:

— Переходу короны ко мне, графиня. Вы ведь знаете, до чего меня никогда не соблазнял трон…

Через некоторое время я узнала, что результатом сборищ на Мытнинской набережной явилось то, что многим из великих князей и высокопоставленных лиц было велено покинуть Петербург.

УБИЙСТВО РАСПУТИНА

Как-то после моей встречи с г-жой Т. у нас обедал великий князь Дмитрий Павлович. Будучи еще под впечатлением рассказа о заговорщиках с Мытнинской и думая, что уж если многие великие князья бывали там, то Дмитрий-то Павлович там должен был быть, я шутя предложила великому князю погадать по руке.

Взяв руку Дмитрия Павловича, я начала “гадать”, но вскоре, сделав испуганное лицо, сказала: “Ваше высочество, я вижу у вас на руке — кровь…”

Каково же было мое изумление, когда Дмитрий Павлович изменился в лице и отдернул руку, а вскоре, внезапно вызванный свои адъютантом Шагубатовым, извинившись, куда-то уехал. Мое “гадание” оказалось пророческим: в тот же вечер произошло убийство Распутина.

Это убийство можно было предвидеть, и, тем не менее, оно потрясло многих, как удар грома. В свете говорили только о нем. В момент убийства Михаил Александрович находился в Гатчине.

Мы с мужем тут же приехали туда.

Когда мы вошли в домик на Николаевской улице № 24, большинство гостей были в столовой, мы же с мужем, великим князем и Н.Н.Джонсоном прошли в гостиную.

Помню как сейчас наш короткий разговор и всю обстановку, в которой он произошел. Н.НДжонсон сидел у рояля, что-то наигрывая. Великий князь показался мне крайне взволнованным. Здороваясь со мной, он проговорил:

Ах, графинюшка, как жаль, что я не убил эту гадину…Ваше высочество, но разве все зло в нем? — сказала я. А в ком же? — проговорил великий князь. Вы не знаете? Распутиншина слишком глубоко пустила корни…

— Не будем об этом говорить, графиня, — изменившись в лице, проговорил Михаил Александрович. Через несколько недель вспыхнула революция.

МЫ УЗНАЁМ О РЕВОЛЮЦИИ НА ОХОТЕ

Мой муж был страстным охотником, за свою жизнь убившим больше пятидесяти медведей, на которых иногда ходил и с рогатиной. О революции мы узнали 27 февраля 1917 года во время охоты в нашем имении “Шапки” под Петербургом.

По иронии судьбы, наша последняя охота в “Шапках” была на редкость удачной. К нам съехались князь Лопухин-Демидов, князь Эриванский, лейб-гусар Смицкой, граф Павел Шувалов, князь Гагарин и многие другие. Все были в самом хорошем расположении духа, в особенности муж, убивший трех рысей.

Был прекрасный зимний день. По окончании охоты вдруг к моему мужу подскакал один из наших слуг и сказал, что в Петербурге стрельба, министры арестованы и солдаты переходят на сторону восставших.

Несмотря на то, что все мы, близкие ко двору, весь 1916 год жили в напряженной атмосфере всевозможных слухов о заговорах и конспирациях, однако никому из нас в голову не приходила мысль, что революция так близка к нам!

От нашего имения “Шапки” в Петербург на протяжении двадцати верст шла наша собственная железнодорожная ветка. Через полчаса мы были уже в поезде. Когда мы остались с мужем в купе вдвоем, меня охватило предчувствие чего-то непоправимого. Когда поезд подошел к Николаевскому вокзалу, все было полно солдатами в красных бантах.

Нашего шофера у вокзала мы не нашли. Кое-как на извозчике добрались мы до нашего особняка на Английской набережной. Везде слышалась стрельба. Неслись переполненные людьми грузовики.

Я ПЫТАЮСЬ УЗНАТЬ, ГДЕ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Два дня, 28 февраля и 1 марта, прошли в лихорадке.

С первого же момента беспорядков беспокоились за судьбу Михаила Александровича. А когда узнали об отречении государя в его пользу, наше беспокойство перешло все границы. Ведь мы даже не знали, где он сейчас находится.

Телефоны бездействовали. В город было выйти нельзя. Но мне во что бы то ни стало хотелось узнать хоть что-нибудь о великом князе, который в этот момент становился как будто императором.

У меня был преданный шофер. Я просила его во что бы то ни стало поехать к знакомым, дабы узнать: где Михаил Александрович?

2 марта 1917 года рано утром запыхавшийся шофер вбежал ко мне, рассказав, что Михаил Александрович здесь, в Петербурге, и находится сейчас у князя Путятина на Миллионной. Я и муж решили сейчас же ехать туда. Я хотела, чтобы ближайший к Михаилу Александровичу человек, мой муж, в этот ответственный момент был подле него. Я знала хорошо характер великого князя, знала его скромность, но в этом характере я знала и большое самолюбие.

Через двадцать минут во дворе нашего особняка стояла машина. Я второпях кончала свой туалет, как вдруг в передней послышалась возня, звон разбитых стекол и прямо к моему будуару раздался шум шагов.

Дверь в будуар распахнулась. В этот момент я стояла перед зеркалом с распущенными волосами, одна из горничных заплетала мне волосы, другая застегивала платье. Я только успела повернуться — на пороге были два матроса.

Машина уже ждала, чтобы ехать к князю Путятину. Понимая, что тут нельзя показать испуг, я закричала:

— Что вам здесь надо? Вы врываетесь в дом! В спальню! Что это такое?!

Увидев перед собой совсем молоденькую безоружную женщину, матросы смутились.

— У вас в доме скрылся городовой, — проговорил первый из них.

— Что?! Городовой?! — перебила я его. — До сегодняшнего дня я не принимала у себя в доме городовых! И

никогда бы не впустила вас, если бы вы не ворвались силой!

Свой монолог я закончила тем, что предложила искать где угодно. Но это так подействовало на матросов, что они ушли, а после их ухода наш швейцар слезно благодарил меня за спасение своего брата — скрывшегося у нас в доме городового.

В КВАРТИРЕ КНЯЗЯ ПУТЯТИНА ПЕРЕД ОТРЕЧЕНИЕМ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ОТ ПРЕСТОЛА

Через пять минут мы уже мчались с мужем к Миллионной, № 12, к князю Путятину. Мы приехали туда часов в девять утра. Но даже в этот ранний час ехать по Петербургу было опасно. Стреляли, летали шальные пули. Нашу машину обстреляли дважды, пули пробили шины задних колес, и мы доехали уже на ободах. В этот день при таком же обстреле автомобиля был убит ехавший с военным министром Временного правительства А.И. Гучковым племянник моего мужа князь Д.Л.Вяземский.

Мы поднялись по знакомой лестнице в квартиру князя Путятина. В парадных комнатах, выходивших на улицу, никто не сидел, ибо на улице стреляли и сидеть здесь было небезопасно.

Нас провели в столовую. В столовой стоял бледный, одетый в китель Михаил Александрович. Вид его был чрезвычайно болезнен, я уже знала, что великий князь давно страдает приступом болей язвы желудка. В этот момент у него был такой вид, словно он еле держится на ногах.

Михаил Александрович рассказал нам с мужем, что, узнав о чрезвычайно напряженном положении в Петербурге, он еще 26 февраля приехал сюда из Гатчины, ибо многие политические деятели просили великого князя предупредить государя о серьезности надвигающихся событий и переговорить об этом с ним по прямому проводу.

26 февраля из главного штаба Михаил Александрович вызвал Ставку и через начальника штаба Ставки генерала Алексеева просил государя подойти к проводу, дабы поговорить с государем о делах чрезвычайной важности. Но государь к проводу не подошел, несмотря на то, что великий князь дважды настаивал на этом. Оба раза государь ответил, через генерала Алексеева, что не видит никакой надобности в каком-либо спешном разговоре, и предложил великому князю соединиться со Ставкой завтра. Но “назавтра” Петербург был уже во власти революции. А через два дня государь отрекся от престола. Для Михаила Александровича было полной неожиданностью, что Николай II отрекся от престола не в пользу своего сына Алексея, а в пользу Михаила Александровича.

27 февраля в главном штабе великий князь оставаться уже не мог из-за стихийно развивавшихся событий. Со своим секретарем Н.Н.Джонсоном он проехал в Зимний дворец. Будучи чрезвычайно

голодным, Михаил Александрович просил коменданта дворца Ратиева дать ему что-нибудь поесть. Но в то время как великий князь начал есть, комендант вбежал, сказав, что он должен сейчас же покинуть дворец, ибо с минуты на минуту в него могут ворваться. И Михаила Александровича с Н.Н.Джонсоном через Эрмитаж дворцовая прислуга вывела на Миллионную, где Михаил Александрович и Н.Н.Джонсон нашли приют в квартире князя Путятина.

В то время как Михаил Александрович рассказывал нам об этом, в столовую вошли Н.Н.Джонсон, управляющий делами великого князя А.С.Матвеев и украшенный красным бантом великий князь Николай Михайлович. Мне казалось, что все окружавшие великого князя охвачены нерешительностью. В нерешительности был и сам князь, часто морщившийся, превозмогая боли в желудке.

В мыслях всех был один вопрос: что делать Михаилу Александровичу? Отказаться от престола, и тогда вся власть перейдет к Государственной Думе, или взять на себя бремя власти?

— Ко мне приходили члены Думы, но и у них нет единодушия, — обращаясь к нам, сказал великий князь тоном человека, чувствующего всю тяжесть ответственности.

Муж спросил великого князя, когда он должен дать ответ.

— Не позже завтрашнего дня. События идут страшным темпом. Я должен решать немедленно.

Надо сказать правду, никто, даже мой муж, ближайший человек к великому князю, не нашел в себе в этот момент мужества поддержать колеблющегося Михаила Александровича. Напротив, большинство говорило о том, что события зашли слишком далеко, что “великий князь не доедет до Думы”, что толпа “поднимет его на штыки”.

Я была очень молода и, может быть несдержанна. Но по-своему чувствуя всю трагичность момента, вразрез с общим настроением, я стала умолять Михаила Александровича, говоря, что он не имеет права в такой момент отказаться от трона.

— Ваше высочество, я женщина, и не мне давать вам советы в такую минуту, но если пойдете сейчас в Думу, вы спасете положение!

Михаил Александрович проговорил:

— Нет, я думаю, графиня, если я так поступлю, польется кровь и я ничего не удержу. Все говорят, если я не

откажусь от трона, начнется резня, и тогда все погибнет в анархии…

Я до сих пор уверена, что нерешительность Михаила

Александровича выявилась только потому, что ни в ком из окружавших его он не видел железной решимости идти до конца. Одни молчанием подтверждали правильность его отрицательного решения, другие открыто его поддерживали. Думаю, что момент физического страдания играл тоже роль в принятии отрицательного решения. Боли по временам были настолько сильны, что Михаилу Александровичу было трудно говорить.

ОТРЕЧЕНИЕ

С тяжелым чувством уезжала я в этот день от князя Путятина, решив во что бы то ни стало приехать завтра утром, а за это время попытаться убедить мужа переменить свое решение и повлиять на Михаила Александровича в обратном смысле.

Я была абсолютно уверена в том, что муж, ближайший друг Михаила Александровича, мог повлиять на него в смысле положительного решения. Но мужем, как другом великого князя, владело прежде всего чувство беспокойства за его жизнь. Возражая мне, он говорил, что принятие престола Михаилом Александровичем означает необходимость тут же пытаться силой усмирить революцию. Но в преданность войск веры не было.

Конечно, в этом была своя правда.

К сожалению, на другой день 3 марта, мы только к пяти часам дня могли приехать к князю Путятину. Меня поразила картина внутри особняка. Из передней я видела, что в гостиной, сидя в креслах, спали штатские люди; кажется, председатель кабинета министров князь Львов и другие общественные деятели, проведшие ночь в переговорах с Михаилом Александровичем.

Его не было. Я прошла в столовую, где возле стола стояли Н.Н.Джонсон и А.СМатвеев.

— Все решилось, графиня, великий князь отрекся, — сказал мне Н.Н.Джонсон, один из самых преданных ему людей, через полтора года разделивший его трагическую участь — расстрел в лесу под Пермью.

Н.Н.Джонсон рассказал, что в последние минуты перед отречением Михаил Александрович, все еще колебавшийся, спросил с глазу на глаз председателя Государственной Думы М.В.Родзянко: может ли он надеяться на петербургский гарнизон, поддержит ли он вступающего на престол императора? Родзянко ответил отрицательно и добавил, что если великий князь не отречется от престола, то, по его мнению, начнется немедленно резня офицеров петербургского гарнизона и всех членов императорской фамилии.

После совещания с министрами Временного правительства великий князь удалился в соседнюю комнату и там, оставаясь один в течение пятнадцати минут, принял решение отречься от престола.

Принять положительное решение Михаила Александровича уговаривали только два министра Временного правительства — П.Н.Милюков и А.И.Гучков, но голоса их были одиноки.

Для меня, казалось бы, уже вчера было ясно, что Михаил

Александрович отречется от престола, и все-таки, когда я услыхала от Н.Н.Джонсона о совершившемся факте отречения, я была во власти страшных предчувствий.

В этот момент вошел Михаил Александрович. Бессонная ночь не прошла для него даром. Он казался восковым, только на губах играла прежняя улыбка.

Стало быть, такая судьба, графиня, — тихо проговорил он. Но я уверена, что Учредительное собрание призовет вас, ваше высочество, — проговорила я, чтобы подбодрить присутствующих.

— Не думаю, — ответил Михаил Александрович и, улыбнувшись, добавил: — После отречения А.Ф.Керенский назвал меня благородным человеком и протянул мне руку не как великому князю, а как гражданину…

В этот же день Михаил Александрович, разбитый всем пережитым за эти три дня, уехал к себе в Гатчину, где его ждала жена Н.С.Брасова.

Помню наше последнее свидание с великим князем Михаилом Александровичем. Это было в Гатчине 4 апреля 1917 года. Мы приехали туда с мужем и оставались у великого князя весь день. В это последнее свидание Михаил Александрович рассказал мне, что, оказывается, Николай II после своего отречения послал Михаилу Александровичу телеграмму, адресованную “Императору Михаилу I” и подписанную “твой верноподданный брат Николай”, в которой убеждал Михаила Александровича принять корону. Но этой телеграммы Михаил Александрович так и не получил. Она не дошла да великого князя. О ней великий князь узнал от Николая II на свидании в Царском Селе, которое имело место с разрешения А.Ф.Керенского, в момент, когда отрекшийся царь находился под арестом.

Я спросила Михаила Александровича, могла ли телеграмма, если бы она была получена вовремя, изменить принятое великим князем решение?

— Могла бы, — ответил он.{34}

Говорить дальше о своем отречении от престола он не хотел.

Мы разговаривали в биллиардной комнате. На биллиарде лежало несколько фотографий Михаила Александровича. Я попросила у него одну из них. Это был большой портрет в генеральской шинели. Он написал на портрете “Михаил, 4.IV.1917. Гатчина” и передал мне. Этот портрет я храню до сих пор.

СМЕРТЬ

Революционные события развивались стремительно. Уже в мае 1917 года я была вынуждена уехать из Петербурга в Крым и оттуда на Кавказ.

Вспыхнувшая гражданская война разорвала Россию на два лагеря, и на Кавказе мы с мужем оказались отрезанными от Михаила Александровича. Но мы, конечно, не думали, что отрезаны навсегда. Сведения о Михаиле Александровиче до нас доходили редко.

До нас доходили слухи, что после боев под Гатчиной, когда красные разбили войска Временного правительства, Михаил Александрович будто бы обратился с письмом к Ленину, прося оставить его в покое, дав возможность жить в стране как обыкновенному гражданину. Ленин будто бы оставил это письмо без ответа. И, живя в Гатчине, Михаил Александрович продолжал быть под угрозой ареста, а может быть и смерти.

От своего брата я узнала о попытке офицерской организации вывезти великого князя из Гатчины. Мой брат, артиллерийский офицер, был командирован к нему с этой миссией.

Михаил Александрович принял брата, но от побега категорически отказался, сказав, что бежать никуда не хочет, а если бы бежать все-таки пришлось, то комиссар Рошаль с глазу на глаз гарантировал в нужную минуту побег.

Было ли это искреннее желание Рошаля спасти ему жизнь или это была ловушка — я не знаю.

Судьбе было угодно, чтобы Рошаль вскоре погиб на румынском фронте, где он как комиссар, был расстрелян по приказу генерала Щербачева, а великий князь арестован в Гатчине и увезен в Петербург, в Смольный.

До последней минуты Н.Н.Джонсон был неразлучен с великим князем. Это была давняя дружба. Вместе с Михаилом Александровичем Н.Н.Джонсон окончил Михайловское артиллерийское училище и, выйдя в офицеры, всегда оставался его личным секретарем.

Когда в Гатчине арестовали Михаила Александровича, Н.Н.Джонсону заявили, что он свободен и может ехать куда угодно. Джонсон отказался от свободы, сказав, что поедет с великим князем.

— Я хочу разделить все, что ждет Михаила Александровича, и прошу меня считать арестованным.

Великого князя и Н.Н.Джонсона повезли сначала в Петербург в Смольный, где они долго оставались заключенными, а потом из

Смольного повезли далеко на Урал, в Пермь, где первое время их поместили в гостиницу.

“НОМЕРА КОРОЛЕВЫ”

Там, в небольшом провинциальном городе, Михаил Александрович и Н.Н.Джонсон сначала жили довольно свободно. Ежедневно от неизвестных лиц они получали передачи.

В 1920 году, когда я вместе с мужем уже покидала Россию, по пути за границу я узнала об ужасном конце Михаила Александровича и Н.Н. Джонсона.

Мне рассказали, что отправка в Пермь произошла будто бы по личному приказу Ленина и что Ленин якобы выслал охрану во главе с чекистом, лично перед Лениным ответственным.

Но в это время по всей России действовала “власть на местах”, и в Перми осуществлял эту “власть на местах” кровожадный коммунист Мясников. Этот коммунист стал добиваться расстрела Михаила Александровича во что бы то ни стало. Мясников ночью явился к Михаилу Александровичу, объявив ему и Н.Н.Джонсону, что их сейчас увезут, потому что на город наступают белые.

Михаила Александровича и Н.Н.Джонсона под сильным конвоем повезли из Перми по направлению к близлежащему фабричному поселку Мотовилиха. Но по дороге, в лесу Мясников внезапно выстрелил, ранив Михаила Александровича. Тот, уже раненный, бросился на него, но силы были чересчур неравны, и Михаил Александрович и Н.Н.Джонсон были расстреляны. Тела Михаила Александровича и Н.НДжонсона были брошены в плавильную печь на заводе в Мотовилихе.

По жестокой иронии революции теперь в Париже живут, как эмигранты, жена великого князя Михаила Александровича графиня Н.С. Брасова, в 1931 году потерявшая разбившегося на автомобиле единственного сына Михаила Александровича Георгия; и там же в Париже живет убийца великого князя Михаила Александровича коммунист Мясников, превратившийся в “контрреволюционера”.

Вспоминая трагическую судьбу Михаила Александровича, я всегда задаю себе один и тот же вопрос: почему он не воспользовался еще в Гатчине услугами людей, предлагавших ему бегство?

В Гатчине предлагали три серьезных плана бегства. Один план предлагал приближенный к нему генерал Врангель. Второй план от имени офицерской организации предлагал мой брат. В третий раз летчики предлагали бегство на аэроплане. Но все три раза Михаил Александрович отклонял бегство, говоря: “Мне не нужно и я не хочу бежать из своей страны”.

“Кинжал”

На этом — отказе от побега — кончаются рассказы Людмилы Николаевны. А теперь о Григории Мясникове, которого я единственный раз встретил в Париже.

Телефона у нас в Париже не было. Тогда во Франции телефон был некой роскошью (не то что в Америке у каждого свой телефон!). Поэтому я заходил к Б.И.Николаевскому без предупреждений. Жили мы неподалеку. И вот захожу как-то к Б.И., стучу в дверь его комнаты и вхожу. Б.И. — за столом, а в кресле какой-то смуглый, муругий, плотный человек с бледно-одутловатым лицом, черными неопрятными волосами, черные усы, лицо будто замкнуто на семь замков. При моем появлении муругий сразу же поднялся — невысокий, крепко сложенный. “Ну, я пойду, Борис Иваныч”, — и протянул ему руку. Николаевский пошел проводить его до выходной двери.

Возвращается Б.И., спрашивает с улыбкой: “Видали?” — “Видел, кто это?”. — Б.И. *со значением:* “А это Григорий Мясников…” — Я поражение: “Как? Лидер рабочей оппозиции? Убийца великого князя Михаила Александровича?!” Б.И. подтверждающе кивает головой: “Он самый. Работает на заводе. Живет ультраконспиративно по фальшивому паспорту, французы прикрыли его. И все-таки боится чекистской мести. Совершенно ни с кем не встречается. Только ко мне приходит. Рассказывает много интересного”. Я подумал, вероятно, рассказы Мясникова Б.И. для истории записывает. “Знаете, — продолжал Б.И., — он как-то рассказал мне, *что* толкнуло его на убийство великого князя. Это целая беллетристика, и довольно сложная, это уж больше по вашей части…”

И Б.И. передал мне рассказ Мясникова, что когда он был еще молодым рабочим и впервые был арестован за революционную деятельность и заключен в тюрьму, то, беря из тюремной библиотеки книги, читал Пушкина, как говорит, “запоем” (оказывается, Пушкин — “любимый поэт” Мясникова!). И вот Мясников наткнулся на стихотворение “Кинжал”. “И он, — говорит Б.И., — рассказывал, что "Кинжал" произвел на него такое потрясающее впечатление, что в тюрьме он *внутренне поклялся* стать вот таким революционным "кинжалом". Вот где психологические корни его убийства великого князя. И говорил он об этом очень искренне…”

Конечно, Александр Сергеевич Пушкин не мог бы, вероятно, никак себе представить такого потрясающего читательского “отзвука” на его “Кинжал”. Но зная “Кинжал” и обстоятельства

убийства вел. кн. Михаила Александровича, надо сказать, что большевик Мясников был вовсе не человеком того “кинжального типа”, о которых писал Пушкин. Приведу стихотворение, и посмотрим, есть ли в нем хоть какая-нибудь связь с той “манией”, которая “вспыхнула” в большевике Мясникове.

Кинжал

Лемносский Бог тебя сковал
Для рук бессмертной Немизиды,
Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия позора и обиды.
Где Зевса гром молчит, где дремлет меч закона,
Свершитель ты проклятий и надежд,
Ты кроешься под сенью трона
Под блеском праздничных одежд.
Как адский луч, как молния Богов,
Немое лезвие злодею в очи блещет,
И, озираясь, он трепещет
Среди своих пиров.
Везде его найдет удар нежданный твой:
На суше, на морях, во храме, под шатрами,
За потаенными замками,
На ложе сна, в семье родной.
Шумит под Кесарем заветный Рубикон,
Державный Рим упал, главой поник закон;
Но Брут восстал вольнолюбивый:
Ты Кесаря сразил — и мертв объемлет он
Помпея мрамор горделивый.
Исчадье мятежей подъемлет злобный крик:
Презренный, мрачный и кровавый,
Над трупом вольности безглавой
Палач уродливый возник.
Апостол гибели, усталому Аиду
Перстом он жертвы назначал,
Но вышний суд ему послал
Тебя и деву Эвмениду.
О юный праведник, избранник роковой,
О Занд, твой век угас на плахе;
Но добродетели святой
Остался глас в казненном прахе.
В твоей Германии ты вечной тенью стал,
Грозя бедой преступной силе —
И на торжественной могиле
Горит без надписи кинжал.

Марк Юний Брут был заговорщиком против Цезаря и участвовал в его убийстве довольно подло. “Tu quoque, fili mi!”, “Et toi aussi, mon fils”: “И ты — о, Брут!” — приписываются слова Цезарю, увидевшему среди “кинжальщиков” своего любимого

Брута. Зато кончил Брут мужественно — самоубийством. Но оставим древности. Перейдем в новую историю. Известно, что под "апостолом гибели" Пушкин разумел кровавую гадину, якобинца Марата, а под девой Эвменидой — Шарлотту Корде. Занд — немецкий студент, убивший консервативного писателя Коцебу. Но все эти "кинжалы" отнюдь не похожи на убийство Мясниковым великого князя Михаила Александровича. Идя убивать, Шарлотта Корде *знала, что убивает и себя,* она *жертвовала* собой. И умерла на эшафоте. Студент Занд, идя на убийство Коцебу, предвидел и свою участь. И был казнен на плахе. Эти "кинжалы" были скорее людьми типа Ивана Каляева, не только знавшего, что, убивая вел. кн. Сергея Александровича, он и сам идет на смерть, но и отказавшегося от подачи прошения о помиловании, о чем настойчиво просили его в тюрьме и прокурор Федоров, и вдова убитого Сергея Александровича, вел. кн. Елизавета Федоровна. Каляев отказался от "помилования", ибо добровольно *шел на смерть.* И был повешен во дворе Петропавловской крепости. Он был действительно пушкинским "кинжалом", так же как и Шарлотта Корде. Ну, а Мясников?

Великий князь Михаил Александрович был беззащитным пленником его (Мясникова!) большевицкой партии. Никаких правительственных постов он никогда не занимал. От престола отрекся. Планы побегов отклонил. Так что весь его "грех" перед рабочим-большевиком Мясниковым состоял только в том, что он был одним из династии Романовых. И только. "Грех" не велик. К тому же, убивая безоружного, беззащитного пленного великого князя, Мясников *свою жизнь* не только не отдавал (как Корде и Каляев), но и решительно ею никак не рисковал. Он попросту был уголовным бандитом, убийцей-большевиком беззащитного человека, как Юровский и Голощекин были убийцами-большевиками царя и его семьи.

На рассказ Бориса Ивановича об этой Мясниковской "кинжальной" мании меня беллетристически распалил. Мне захотелось с Мясниковым встретиться. "Борис Иванович, нельзя ли это устроить?" — спросил я. Николаевский отрицательно покачал головой: "Ausgeschlossen, — сказал, — Мясников боится всех русских встреч. В Париже встречается единственно со мной потому, что знал меня еще по России…"

Но чем же кончил этот "сверхконспиратор" Мясников? В большевицкой России он был герой-убийца вел. кн. Михаила Алексаендровича, потом "лидер рабочей оппозиции", попробовал после Октября перечить даже непререкаемому большевицкому "идолу" Ленину, за что и получил ссылку на Кавказ, а оттуда бежал за границу, ибо хорошо понимал партийные "военные

хитрости”: сначала — на Кавказ, а потом — на Тот Свет! Так он и пробрался в Париж. Но кончил — глупее глупого.

После победы союзников, когда русскую эмиграцию (от князей до Григория Мясникова) охватил угар “советского патриотизма”, этот старый партиец-подпольщик тоже поверил кагебешной сталинской пропаганде. Из своего стопроцентного “конспирата” вышел, поехал прямо в советское посольство “на разговоры”. Вероятно, “разговаривал” с первым секретарем (резидентом КГБ) А.А. Гузовским, с тем, который угощал И.А.Бунина (вместе с послом Богомоловым) “русской рябиновкой” и “русской икрой”, заливая Ивану Великому тары-бары о “полном собрании сочинений Ивана Алексеевича в Москве, в Госиздате”. А.А.Гузовский посылал и Н.А.Тэффи букеты роскошных цветов, напоминая ей, как когда-то она сотрудничала в Петербурге в легальной “Новой жизни” у Ленина. Что и как “заливал” А.А.Гузовский Григорию Мясникову — тайна. Но “залил” так, что убийца великого князя, старый конспиратор-подпольщик-большевик Григорий Мясников вернулся в Москву, где его, конечно, и “шлепнули” на Лубянке. Жизнь отплатила не правой рукой, так левой!

У Н.П. Саблина

На одном из последних “чаев” Людмила Николаевна сказала, что виделась с Н.П.Саблиным (бывшим флигель-адъютантом государя) и он просил узнать у меня: не соглашусь ли я записать и его рассказы, ибо сам он человек не пишущий, к тому же больной. Я с удовольствием согласился, ибо знал о близости Саблина к бывшим государыне и государю и рассказы его должны были быть исторически интересны. Людмила Николаевна дала мне его телефон. Я созвонился с Николаем Павловичем, и мы встретились.

Жил Саблин, бывший флигель-адъютант императора, капитан 2-го ранга гвардейского экипажа1 на рю Эрланжэ в небольшой, но хорошей квартире. Жена его (красивая, эффектная), кажется, бывшая арфистка. Приняли меня любезно. Но сразу я увидел, что Н.П. — больной человек (сердце). Мы сговорились, когда я приеду к нему на “сеансы” (как он назвал мои записывания его рассказов). Был Н.П. совсем седой, но по-прежнему очень красивый, по-военному (несмотря на возраст) выправленный. К сожалению, таких “сеансов” было всего пять-шесть. Болезнь Н.П. их прервала. Вот что рассказал мне Николай Павлович.

С ЦАРСКОЙ СЕМЬЕЙ НА “ШТАНДАРТЕ”

Я был представлен императрице и императору в 1906 году в апреле месяце в Царском Селе. Я был тогда двадцатишестилетним лейтенантом гвардейского экипажа. Помню, как сейчас, в Царском Селе парад морскому батальону, только что вернувшемуся с подавления революционных беспорядков в Прибалтике. После парада в присутствии государя в Александровском дворце состоялся высочайший завтрак.

В громадном круглом зале дворца были сервированы два стола; за одним, круглым, сидели государь Николай II, императрица, княжны, великая княгиня Мария Павловна- младшая и двенадцатилетний Дмитрий Павлович. С царской семьей Сидели несколько приближенных офицеров. Мы же, остальные офицеры гвардейского экипажа, заняли места за другим столом.

Я уже знал о моем будущем назначении на царскую яхту “Штандарт”, но все же был взволнован, когда дежурный, старший капитан 1-го ранга Чагин, командир “Штандарта”, подошел ко мне, сказав, что хочет меня представить императрице как будущего офицера яхты. И Чагин подвел меня, представляя, к императрице, стоявшей возле сервированного стола. Императрица подала мне руку, сказав:

— Я очень рада.

И я занял место за царским столом, неподалеку от императрицы. Меня поразила ее спокойная, величавая красота. Императрица держала себя очень просто, разговаривала, смеялась, она хорошо говорила по-русски, хотя и с заметным немецким акцентом. Неподалеку от императрицы и прямо против меня сидела ее фрейлина Анна Вырубова, с которой тогда уже была очень близка императрица. Но насколько очаровательное впечатление произвела на меня, молодого лейтенанта, императрица, настолько же мне не понравилась ближайшая к ней фрейлина. Я уже знал от лиц, близких ко двору, что этой слабовольной, доброй женщиной многие пользовались для влияния на императрицу и это влияние причиняло тогда уже немало зла.

После окончания завтрака, во время которого я удостоился разговора с императрицей, я получил официальное назначение на яхту “Штандарт” и с тех пор в продолжение десяти лет стал одним из близких людей к царской семье. Вплоть до трагической катастрофы и революции я был одним из ближайших к императору и императрице людей. В продолжение лета и зимы

1906 года мы, несколько офицеров с яхты гвардейского экипажа: я, Тимирев, Салтанов, Вадбольскйй — часто ездили в Петергоф к фрейлине Вырубовой, где жила она в дворцовом особняке; там обычно играли в домино, любимую игру государыни; иногда ездили к балалаечникам, музыку которых государыня также любила. Это времяпрепровождение вблизи государыни и близких ей лиц всегда было чрезвычайно приятно своей непринужденностью, простотой, весельем.

А в следующем, 1907 году мы отправились на яхте с царской семьей в плаванье. В этом плаванье произошло в свое время обошедшее все газеты событие, когда царская яхта наскочила на камень около Аосских шхер. Помню как сейчас- великолепный июньский день; в четыре часа я сдавал вахту старшему лейтенанту Терпигореву и лег отдохнуть в каюте, которая выходила на правый борт яхты, и заснул мертвым сном. Государыня с семьей в это время, окончив дневные игры с детьми, мыла руки, чтобы идти пить чай. Как вдруг в этот момент словно что-то подняло яхту и раздался страшный удар. Полетели со звоном битая посуда, стекла, в коридоре, в буфете творился форменный хаос, когда я выскочил из своей каюты, бросившись на носовую часть, узнать, в чем дело, где уже была вся команда.

Мы шли в тот момент в шхерах в конце Финского залива к северу. После страшного удара на носовой части на мгновение воцарилась полная тишина. Общий взгляд был устремлен наверх, где находилось все начальство. Оттуда раздался крик капитана 1-го ранга Чагина, командира яхты:

— Гичка! К спуску! Для его императорского величества!

Колокола громко в бой! На яхте тревога! По всей яхте водяные звонки тревоги. Все бросились по местам. Я как офицер, заведующий всем кормовым отделением, по уставу должен был проверить, все ли закрыто от днища до верха, и поэтому волей-неволей встретил государя в его каюте. Государь был спокоен, но быстро собирал бумаги в портфель. (Это было трехнедельное плаванье.) — Что случилось? Каково положение наверху? — проговорил, обращаясь ко мне, государь. — Каким местом мы сидим на корме? — В каюте были государыня и дети.

Но ничего точного сообщить государю я не мог. Картина же в этот момент была такова: “Штандарт” накренился градусов на 19, кругом яхты масса кораблей, пятнадцать — двадцать, все двигались прямо к яхте, не понимая, что случилось, в сознании необходимости подать помощь. Все начало выясняться спустя первые тревожные мгновенья. Оказалось, что яхта — саженях в двадцати от каменного острова, но на фарватере появилось какое-то неизвестное препятствие. Палуба начала проваливаться, стуки

раздавались в днище яхты, нос и корма вылезли, став свободными. Командир вошел к государю, прося его тут же съехать с яхты. В первый момент катастрофы мы все бросились искать матроса Деревенько, дядьку цесаревича.

Кругом яхты масса судов, шлюпок, все столпилось на случай оказать помощь яхте. Ревельское спасательное общество выслало свой пароход. Были вызваны немедленно все яхты, но ни одна из них не успела прийти. И государь с семьей перешел на рабочий крейсер "Азию", где и заночевал в семь вечера.

Тем временем мы, офицеры, вместе с механиками, во главе с командиром осматривали яхту, доискиваясь причины катастрофы. При осмотре яхты мы нашли громадную вогнутость в днище, настолько большую, что если б эта вогнутость превратилась в пробоину, катастрофа могла бы принять куда более страшные формы.

К двенадцати часам ночи яхта была уже пуста. Весь экипаж был снят прибывшими ревельскими пароходами спасательного общества, а вместе с экипажем сняты были и уланские трубачи, всегда увеселявшие музыкой государя и его семью в этих увеселительных прогулках на яхте.

Наступил день отплытия царской яхты. Этому предшествовал — и сопровождался большой пышностью — церемониал. Собрались все суда, назначенные к плаванью, с утра в полном составе и в полном порядке, как в смысле погрузки углем, так и в смысле порядка всей команды. Почти всегда плавание государя начиналось в четыре часа. И к этому времени "Штандарт", представлявший из себя красивейшую игрушку, — каждый момент слушал и ждал сигнала кондуктора, который стоял на мостике, наблюдая и ожидая выхода из Петергофа "Александра" под флагом императора.

Как только кондуктор кричал: "Государь император выходит из порта на "Александре"! — с этого момента и начиналось плаванье. Охрана судна становится на свои места. Все по своей службе. Паровые катера, два чудесных корабля — "Петергоф" и "Бунчук", под командой флаг-капитана идут медленно навстречу "Александру". А "Штандарт" уже готов к принятию государя, его семьи и ближайшей свиты. На "Штандарте", уходящем в плаванье с государем, обычно было такое количество народу: десять человек ближайшей государю свиты со своей прислугой; около пятидесяти человек лакеев первого, второго и третьего классов (лакеи первого класса служили государю, второго класса — ближайшей свите, третьего класса — прочим сопровождавших); двадцать пять поваров и кухонной прислуги; хор музыкантов и певчих около ста человек; и экипаж "Штандарта" — офицеры и

матросы.

Паровые катера встречают “Александр”, на борту которого находится государь. Государь с семьей переходит с “Александра” на “Бунчук”; оба катера, “Бунчук” и “Петергоф”, судна замечательной красоты, и такова же подобранная на них команда: на одном подобраны все брюнеты, молодец к молодцу, на другом такие же молодцы блондины. Катера оборудованы по последнему слову морской техники.

На яхте оркестр играет встречу — в момент, когда с катера “Бунчук” государь переходит на свою царскую яхту. Государь обходит фронт офицеров и матросов. Государыня принимает поднесенные ей цветы. Наконец раздается команда: По местам стоять! — и яхта снимается с якоря под звуки оркестра, уходя в море, под флагом государя, и тогда все крепости Кронштадта салютуют. Но это зависело всегда от желания государя — идти ли под вымпелом или под флагом. Иногда государь приказывал выбросить флаг, а в море — брейд-вымпел.

Жизнь на яхте всегда шла по своему точному регламенту. В начале июля 1909 года яхта уходила в плаванье на двадцать четыре дня. Первый курс был к шведским берегам, где государь должен был отдать визит шведскому королю, который был с визитом в прошлом году. Чудные берега, шхеры идут до самого Стокгольма; днем— видны укрепления; подходя к Стокгольму, государь вышел на борт — смотреть на лагерные укрепления и занятия шведских войск. В этот момент мы ясно различили отплывающий от берега катер, шедший по морю. Оказывается, на катере плыли высшие морские шведские офицеры, везшие ящик орденов для всех офицеров яхты “Штандарт”, чтобы, прибыв в Швецию, мы все уже вместе с русскими орденами имели на груди шведские.

Ясный день. Солнце. Легкий бриз. Яхта подходит, скользит к Стокгольму. Чудный порт, все в нем сделано на широкую ногу, красиво. Полковник королевской гвардии встречает государя, у пристани уже стоит карета для эскорта государя во дворец, куда государь и уезжает с государыней с пристани под звуки музыки и крики далекой толпы.

Вечером в королевском дворце — обед. А на другой день — ответный завтрак на яхте. Дабы принять шведского короля и королеву, на рейд выезжаем мы, офицеры, на громадной гондоле в сорок гребцов. Гондола, сделанная из старинного дерева, очень красива. Итак, обменявшись визитом со шведским королем, побывав кроме того у великой княгини Марии Павловны-младшей, вышедшей замуж за ненаследного принца Альбрехта, государь отдал приказ яхте плыть дальше, взяв курс на Киль, на

свидание с германским императором Вилгельмом II.

В Киле было известно о приходе царской яхты; в городе царило оживленье, все готовилось к пышному приему. Но согласно приказанию государя яхта, против всеобщего ожидания, прошла прямо к входному шлюзу. И только здесь, в шлюзе, встретил яхту громадный почетный караул в полковых старинных формах, в белых брюках, с громом оркестров музыки. И в тот момент, когда яхта дала ход из шлюза по каналу, справа и слева по берегу появились кавалерийские эскорты первых кавалерийских гвардейских полков Вильгельма II и полк Августа (бессмертные гусары). На каждых одиннадцать человек конников приходился один офицер, все в полной парадной форме, необычайно красивой. На замечательных тонкокровных конях они скакали, сопровождая быстро идущую царскую яхту, скакали в карьер, и через каждые пять верст стоял новый взвод кавалеристов, сменявших доскакавших. Это было чрезвычайно эффектное зрелище, на которое государь и государыня, окруженные свитой, глядели с борта быстро идущей яхты.

Чтоб не отстать от яхты, кавалеристам приходилось делать объезды, они неслись карьером и ни на минуту не отставали. В трех главных местах были выставлены большие отряды пехоты с гремевшими оркестрами.

А на переходе из Киля в Вильгельмсхафен к яхте подплыл катер, везший на борту императора Вильгельма II. В это время я уже был близок к царской семье, как к императору, так, в особенности, и к императрице, и я знаю, что этого свиданья государь не хотел, им он тяготился, поэтому яхта и не заходила в Киль, но тут уже свиданье с германским императором состоялось, хотя было очень кратко и официально.

К вечеру из Вильгельмсхафена мы вышли в неуютное туманное Немецкое море. Тут началась качка. Налетел ветер, все наполнилось густым туманом. И только благодаря разным усовершенствованиям на немецких миноносцах, которые сигнализировали и в тумане, яхта могла спокойно выйти в бурное море. Началась морская качка, плохо действовавшая на великих княжен.

Зато к Шербургу мы подходили в ясную погоду, в полдень, по залитому солнцем морю. У Шербурга на рейде нас уже ждал весь французский флот. Под гром салютов со всех судов яхта стала в Шербурге на якорь. Из-за тумана навстречу нам были высланы курсировавшие крейсера. И в час дня на дредноуте “Репюблик” в высочайшем присутствии и в присутствии президента Франции — Фальера — состоялся завтрак. После завтрака у государя была беседа с президентом Фальером с глазу на глаз. А вечером на

рейде началось необычайное празднество, электрическая иллюминация, морской маскарад, венецианский оркестр.

На другой день произошел неприятный случай, который, к счастью, окончился благополучно. Надо было грузить уголь для похода в обратный путь. И надо было выбрать такое время, когда государя не было бы на яхте. Выбрали обеденное время, государь как раз отбыл на обед на дредноут “Прованс”. Но когда в спешке подтягивали баржу с углем, между яхтой и баржой лопнул трап и три человека сорвались в воду. К счастью, их спасли. И все обошлось.

Через несколько дней царская яхта, провожаемая французскими судами, отбыла в Англию, в Портсмут. Посреди пролива нас встретил английский эскорт — три крейсера — и повел нас к Портсмуту. На громадном портсмутском рейде императорскую яхту встретил весь английский флот, построенный в каре. На нем было более тридцати английских адмиралов. Здесь же яхту государя встретил король Георг V на своей яхте “Виктория и Альберт” и, пропустив “Штандарт” вперед, пошел сзади нас. Между английскими кораблями стояли катера с названием эскадры, к которой мы подходили. Обход всего флота продолжался более полутора часов, после чего мы взяли направление к одному острову, где были собраны все частные яхты для международных гонок. Тут была и яхта английского короля, и яхта императора Вильгельма. Это была красивейшая картина, так как яхты были богатейшие и все только парусные. Международные гонки яхт продолжались три дня, на них выявились лучшие силы мира этого спорта.

В свободное время государь принимал на “Штандарте” офицеров английского полка, шефом которого он состоял. Играл английский военный оркестр. Принимал государь и разных высших английских должностных лиц, в числе которых был лорд-мэр в своем старинном одеянии.

В один из вечеров я был позван к государю, который предупредил меня, что на катере он совершит поездку на одну яхту и что эта поездка не подлежит никакой огласке. Яхта, которую посетили государь и государыня, принадлежала бывшей французской императрице Евгении (жене Наполеона III, она скончалась в 1920 году). На яхте государя и государыню встретила очень пожилая женщина, они провели в разговоре около двадцати минут, простились и отбыли на “Штандарт”.

Из всех офицеров только я и командир не были на берегу. Я командовал катером государя и получил тогда от государыни подарок в память этой стоянки в Англии.

Обратный путь был тот же. Немецкое море. Вильгельмсхафен.

Киль. Мимо Киля мы проходили днем. И вдруг на одном из поворотов совершенно неожиданно увидели катер. Я был на вахте и вижу: катер императора Вильгельма. Он был в русской адмиральской форме (летней, белой), с большим букетом цветов. Это никого не обрадовало. Великие княжны Вильгельма не любили и были недовольны, потому что, как они говорили, — Вильгельм всегда паясничает, любит “валять дурака”. Появление его было столь неожиданно, что принят он был на яхту через передний (грузовой) трап. Оставался он на яхте около двух часов и, как я узнал от государыни, — уговаривал их остановиться в Киле, чтоб видеть весь германский флот и участвовать в морских праздниках, которые должны были состояться на другой день. Но государь под каким-то предлогом отказался. И яхте было приказано в Киле взять запас воды и идти в шхеры в Финляндию, что и было сделано. Все плавание продолжалось двадцать четыре дня. Было это в 1910 году.

ГРИГОРИЙ РАСПУТИН

Впервые я услышал имя Распутина в 1907 году в Финляндии. И услышал от государыни. Заговорила она о Распутине наедине со мной, сказав, что хотела бы узнать о нем мое мнение. Она попросила меня с ним встретиться. До этого я слышал, что какой-то простой человек бывает в царской семье. Но не придавал этому никакого значения. Я, разумеется, согласился с желаньем государыни, совершенно не представляя себе, кого я встречу. Государыня предупредила меня, чтоб я не искал в этом человеке "чего-то особенного". "Это очень набожный, прозорливый, настоящий русский мужичок, — сказала она, — он знает наизусть церковные службы. Конечно, это человек не вашего круга, но с ним вам будет интересно встретиться". И государыня дала мне его адрес.

Дня через два я поехал на какую-то улицу (не помню сейчас точно), где-то около Знаменской. В простом доме, как мне кажется, Лахтиных, я разыскал Распутина. По тому, как он меня встретил, я понял, что о моем приезде он уже знал. Встретил он меня очень доброжелательно. И сразу заговорил со мной о религии, о Боге. Я отвечал довольно сдержанно. Распутин начал восторженно говорить о царской семье. Потом он перешел к обычным темам. В частности, спросил, пью ли я? Одет Распутин был в длинную русскую рубаху, штаны заправлены в высокие сапоги, поверх рубахи — какой-то полукафтан, полузипун. Производила неприятное впечатление неопрятная, неровно остриженная борода. Был он шатен, с большими светлыми, очень глубоко сидящими в орбитах глазами. Глаза были чем-то не совсем обыкновенные. В них "что-то" было. Распутин был худой, небольшого роста, узкий, можно даже сказать, тщедушный. Когда я уходил, он попросил у меня пять рублей. "Дай, голубчик, мне пятерку, а то совсем я издержался". Я этому удивился, но дал. Произвел он на меня впечатление скорее неприятное.

Так как это было желанием государыни, я встречался с Распутиным не раз на его квартире. Государыня хотела, чтобы я ближе его узнал и чтоб получил от него благословение. После нескольких встреч с Распутиным я все-таки сказал государыне о своем не очень благоприятном впечатлении о Распутине. Она ответила: "Вы его не можете понять, потому что вы далеки от таких людей, но если даже ваше впечатление было бы верно, то это желание Бога, что он такой".

Во времена этих моих встреч *с* Распутиным я вел разговоры о нем и с А.Вырубовой, стараясь узнать, что он за человек? От

Вырубовой я узнал, что Распутина близко знала вел. кн. Милица Николаевна (жена вел. кн. Петра Николаевича) и Анастасия Николаевна (жена вел. кн. Николая Николаевича), что его хорошо знает и сам вел. кн. Николай Николаевич, Распутин бывает у него во дворце. На мой вопрос, почему сейчас Распутин ближе к Вырубовой, чем к вел. кн. Николаю Николаевичу и его окруженью, Вырубова ответила, что это желание императрицы: ей легче и удобней сноситься с Распутиным через Вырубову, чем через Николая Николаевича или через Сандро Лейхтенберг-ского. Государыня, будто бы, хотела держать свои встречи с Распутиным втайне, она, будто бы, почувствовала, что окруженье вел. кн. Николая Николаевича через Распутина хочет влиять на нее.

Должен сказать, что, узнавая ближе Распутина, я позволял себе говорить ему резкую правду в глаза. Так, я говорил, что ему не следует ездить из Царского в Петербург в первом классе; сказал, что он держит себя в отношении царской семьи неподобающе развязно; сказал, что мне известно, что на одной станции он крайне грубо ругал начальника станции, а этого он делать не должен. Говорил ему, что он не должен “требовать” приглашений во дворец, не должен лезть нахрапом. На это Распутин ответил: “Вот когда надо молиться о наследнике — зовут, а когда не надо — то нет!”.

Я видел, что Распутин старается “втереться” во дворец, в царскую семью. Поэтому, когда в 1912 году царская семья была в Ялте, я, чтоб не допустить распространения всяческих слухов (которые уже начали ходить по стране), сделал все, чтобы Распутин не приезжал на яхту, на которой я был старшим офицером. Я попросил священника, бывшего на яхте, пойти и поговорить об этом с Распутиным. Он был, говорил. И вынес то же отрицательное впечатление. В частности, священник тоже обратил внимание на глаза Распутина, сказав: “У него в глазах что-то есть”. Так я все-таки устранил приезд Распутина на яхту.

Помню, в конце войны, в 1916 году летом, как-то в одну из поездок с государем из Царского в Петергоф купаться в Финском заливе (государь любил плавать и хорошо плавал), я решил сказать государю кое-какую неприятную правду о Распутине. Дело в том, что как раз накануне я видел Распутина у него на Гороховой, № 2 — в совершенно пьяном, безобразном виде. Это в первый раз я увидел его в таком непотребном состоянии. Я решил доложить об этом государю. После купанья, не без труда, но я все-таки доложил.

Государь принял мой рассказ совершенно спокойно, сказав: “При смене дежурства доложите об этом императрице”. Я видел, что все, что касается Распутина, государь всецело оставляет на

решение государыни. Надо сказать, что в противоположность государю у государыни был очень сильный характер, сильная воля.

На другой день в девять часов утра императрица приняла меня, и в присутствии государя я рассказал все, чему был свидетелем на Гороховой, 2. Я видел, какое тяжелое впечатление произвел мой рассказ на государыню. Она сдерживала слезы, но не выдержала и заплакала. Овладев собой, она сказала: “Это Господь Бог шлет испытания нам, проверить — признаем ли мы его даже и таким…”

Мое отношение к Распутину ухудшалось: я видел, что он приносит много зла и династии, и стране. Государыня мое отрицательное отношение к Распутину чувствовала, видела. “Вы его не поняли”, — как-то сказала мне государыня. И с некоторых пор из наших разговоров тема о Распутине была исключена. Поэтому я не знал ни дня похорон Распутина и ничего, связанного с убитым Распутиным. Со мной на эту тему ни государь, ни государыня не говорили…

На этом прерываются мои записи рассказов Н.П.Саблина, ибо сердечная болезнь Н.П. осложнилась и я больше навещать его не мог. Вскоре, как мне говорили, Н.П. скончался. Но я хочу привести одну фразу из рассказов Н.П. Саблина, которую он мне повторял несколько раз, хотя хронологически мы в своих беседах до этого времени и не дошли. Эта фраза относится ко времени революции, ко времени перевода государя и его семьи из Царского в Тобольск. Н.П.Саблин несколько раз говорил мне, что “государь через Нилова передал ему, что он правильно поступил, не поехав с ними в Тобольск”. Думаю, эту фразу Саблин повторял мне несколько раз, потому что в кругах монархистов некоторые упрекали его (“ваше место было — быть с царской семьей до конца”) в том, что он, очень близкий царской семье человек, не поступил так, как поступил граф Илья Татищев, который остался верен царской семье до конца, поехав с ней в Тобольск, и вместе с ней был зверски умерщвлен большевиками.

Рассказы А.Д. Нагловского

Н.П.Саблин и А.Д.Нагловский были людьми одного петербургского “высшего круга”. Саблин был флигель-адъютант царя. Отец Нагловского был придворный, генерал. В детстве А.Д. играл с детьми великих князей. Потом — “пушкинский” Александровский лицей. Но жизнь они прошли разную. Н.П.Саблин — “опора режима”, “слуга царю”. А.Д. Нагловский — “разрушитель режима”, большевик, нарком в Петрокоммуне Гришки Зиновьева. Но под конец жизни судьба “уравняла” их, сделав обоих — русскими эмигрантами в Париже, похороненными на русском эмигрантском кладбище.

А.Д.Нагловский рассказал мне, что еще в лицее, лет шестнадцати — семнадцати, он “увлекся марксизмом”. А студентом Института путей сообщения вступил в с.д. партию (большевиков). К революции 1917 года Нагловский был уже “старым большевиком”, хорошо знавшим всю “партийную головку”.

В Париже А.Д.Нагловский жил в Иси-ле-Мулино, в том же доме, что и Б.И.Николаевский. Дом этот был “оккупирован” меньшевиками: С.Шварц и В.Александрова, Л.Пистрак и многие другие. Нагловский жил у Фарбер. Был он уже в годах, очень худой, щуплый, слабого здоровья. При первом же знакомстве он показался мне человеком — в смысле жизненной энергии — конченым. Думаю, полная разочарованность в “деле жизни” (революция), риск побега из Рима в Париж, объявление его большевиками “вне закона”, все вместе как-то надломило энергию. Он нигде не работал, ничего не делал. За него работала молодая, боевая, красивая жена — Женя Фарбер.

Борис Иванович постоянно твердил, что Нагловский для истории большевицкой революции — клад. И дал мне идею записать его рассказы. Но уговаривать меня было и не надо: А.Д.Нагловский, как “необычайная биография”, меня самого интересовал. И как-то я предложил ему записывать его рассказы. А.Д. согласился с удовольствием, но только при условии: публиковать под псевдонимом. И вот Александр Дмитриевич стал приходить к нам и рассказывать: о Красине, Воровском, Зиновьеве, Троцком, Ленине, о том, как, назначенный советским торгпредом в Италию, он порвал с большевиками, попав из Рима в Париж и ставши “невозвращенцем”. За что получил титул “изменника родины и врага народа” и был объявлен — “вне закона”. Из записей его рассказов я дам здесь только три: о Ленине, о Троцком и о Зиновьеве.

ЛЕНИН

Я тогда работал в партийной организации в Казани. Это было время нарастающего революционного взрыва по всей России, уже чувствовались его предвестия, и в нашей провинциальной организации велась энергичная революционная работа.

Перед приближающейся революцией у нас жестоко дебатировался вопрос о вооруженном восстании. Он являлся центральным на всех заседаниях и конференциях. Но в провинциальных организациях по этому вопросу чувствовалось колебание, шатание, нерешительность. Партийная провинция решить этот вопрос самостоятельно не могла. Многие противились вооруженному восстанию. Одним словом — большевицкой провинции требовались ясные “директивы” вождей.

Вот тогда-то казанская организация большевиков и послала меня в Женеву к В.И. Ленину, уже в то время пользовавшемуся громадным авторитетом в партии.

В середине июня я выехал из Казани. Ехал я к Ленину не только для того, чтоб привезти от него директивы. Кое-что вез и для Ленина. Казанская организация к моему отъезду собрала около 20 000 рублей для ЦК партии, каковой взнос я и должен был вручить Ленину.

Мне было ровно двадцать лет, и я был “убежденным большевиком”, прошедшим уже несколько тюрем, знававшим и нелегальную жизнь, и надзор полиции, вообще окунувшимся целиком в бытие подпольщика и партийного агитатора.

Как сейчас помню, лето стояло великолепное. Я ехал легально. Переезд мой через границу Германии прошел вполне благополучно. В Германии я не задерживался и в последних числах июня уже был за швейцарской границей; поезд мчал меня к Женеве.

В первый же день моего приезда в Женеву я отправился по данному мне в Казани адресу. Но явка была не прямо к Ленину, а к другому члену партии, грузину, настоящую фамилию которого я так и не узнал.

О моем приезде ЦК был уведомлен. Грузин тут же дал мне адрес Ленина, сказав, что лучше всего зайти к нему между пятью — шестью часами вечера. И в этот час я уже шел по скромной женевской улице в районе рю де Каруж, разыскивая дом, где жил Ленин.

Свидание с Лениным меня, разумеется, волновало. До этого мне приходилось видеть многих партийных лидеров, и должен

сказать, что у большинства из них всегда было и чванство, и "взгляд свысока", и все прочие атрибуты лидерства. Тем приятнее поразила меня встреча с Лениным всем совершенно обратным. Эта встреча произвела на меня сильное впечатление.

Обстановка, в которой жил Ленин, была больше чем скромная. Бедная. Он жил с Крупской в одной комнате. На стук в дверь я услыхал картавящий на "р" крик. И вошел.

Внешность Ленина помню отчетливо. Небольшого роста человечек с монгольским лицом, очень живой, очень приветливый, одетый в потрепанный пиджачный костюм. Характерны были живые, быстрые глаза, пронзительно глядевшие из-под большого крутого лба.

Несмотря на разницу лет и положения в партии, естественно-приветливое, живое товарищеское обращение без тени какого бы то ни было чванства меня сразу подкупило. От "бонзы" в Ленине не было тогда ничего. Это был старший товарищ, к тому же горящий "огнем дела".

Сразу же Ленин попросил Крупскую "приготовить чайку" и за пустым, без всяких "аблимантов" чаем Ленин жадно принялся меня расспрашивать о партийных делах в Казани, о настроениях в России, о возможности большевицкой деятельности в столицах и прочем. Видно было, что Ленин всем этим горит.

С первых же слов в нем чувствовался сразу большой ум, тонко схватывающий каждую мелочь, хитрая практическая сметка и, конечно, абсолютная преданность делу партии. К тому ж, в противоположность другим вождям, в Ленине тогда было что-то еще очень живое, молодое. Ему тогда минуло тридцать пять лет.

Единственно, что производило неприятное впечатление, это общий тон Ленина, когда он начинал говорить о противниках. Это был тон беспардонного издевательства, пересыпанный грубой руганью.

Давно забыв о стоявшем перед ним чае, Ленин уже быстро ходил, засунув большие пальцы рук на груди в карманы жилета. Это была обычная привычка Ленина — говорить, ходя из угла в угол. Хотя, собственно, он даже не говорил, обращаясь ко мне, а словно читал лекцию о "текущем моменте".

Отмечу здесь мимоходом одну черту, сразу бившую в облике Ленина. Теперь о Ленине коммунисты обычно пишут как о каком-то "спокойнейшем мудреце", вещавшем истины. Напротив, уж тогда Ленин был крайне нервен, непоседлив, взвинчен. Это был, конечно, явный *неврастеник,* а вовсе не мудрец "божественного спокойствия".

Когда я взял быка за рога, начав говорить о том, что больше всего волновало партийные низы в России — о вооруженном

восстании: быть ему или не быть, идти на него или не идти, Ленин, на минуту было присевший к столу, вдруг быстро вскочил и резко, очень сильно картавя, совершенно не выговаривая “р”, заговорил:

Что нужно делать? Нам нужно одно — *вооруженное восстание* — повторял он тоном непререкаемой необходимости, повелительно и бесспорно. Когда же я указал, что в партийных кругах в России живет сомнение в том, что восстание едва ли может быть победным, Ленин сразу даже остановился.

Победа?! — проговорил он. — Да для нас дело вовсе не в победе! — и делая правой рукой резкие движения, словно вбивая какие-то невидимые гвозди, Ленин продолжал: — От моего имени так и передайте всем товарищам: нам иллюзии не нужны, мы трезвые реалисты, и пусть ни кто не воображает, что мы должны *обязательно* победить! Для этого мы еще слабы. Дело вовсе не в победе, а в том, чтобы восстаньем потрясти самодержавие и привести в движение широкие массы. А потом уже наше дело будет заключаться в том, чтобы привлечь эти массы к себе! Вот в чем вся суть! Дело в *восстанъи как таковом!* А разговоры о том, что “мы не победим” и поэтому не надо восстания, это разговоры трусов! Ну, а с ними нам не по пути!

Все было ясно. Директивы получены. Мой первый визит к Ленину кончался. Прощаясь, Ленин жал руку, говорил всякие подбадривающие комплименты. В Ленине тех времен было много силы, здоровья, энергии. Но, в противоположность холодному барственному Плеханову, в Ленине не было ничего от “высокой мудрости”. Это был умный, смелый, очень хитрый партийный заговорщик, властный водитель клана. Политический боец, исполненный абсолютного цинического презрения ко всему, кроме себя самого. Всей манерой речи, каждой фразой, каждым словом он как бы говорил: “Знайте, во-первых, что все, кроме меня, дураки и никто ни в чем ничего не понимает! А во-вторых, если все товарищи будут слушать меня, то из этого выйдет настоящий толк! И даже очень большой толк! Вот и извольте мне беспрекословно подчиняться! А я уж знаю, что буду делать!”

Прощаясь, я сказал Ленину о привезенных деньгах. Это Ленина очень обрадовало. Он ответил, что деньги я должен передать тому самому грузину, который дал мне его адрес. И на мгновенье задумавшись, Ленин вдруг сказал, что было бы правильнее, чтобы я после Женевы ехал не в Казань, а в Петербург, где необходимо усилить большевицкую агитацию среди питерских рабочих. Я согласился. На том мы и порешили. Перед отъездом Ленин обещал дать точные инструкции.

Через две недели, в течение которых в Женеве я несколько

раз встречался с Лениным, поезд мчал меня уже назад в Россию, но не в Казань, а, по указанию Ленина, в Петербург, где я должен был стать ответственным пропагандистом Нарвского района. Мне дана была явка в страховом обществе на углу Морской и Гороховой.

В те предгрозовые предреволюционные месяцы ленинские вожделения в Петербурге направлялись главным образом на Путиловский завод. Сознание, что в этой цитадели русского пролетариата нет *никакой* большевицкой организации, приводило Ленина в бешенство.

Насколько вообще тогда, в 1905 году, были слабы большевики и насколько не имели корней в массах, показывает факт, что вся организация их в Петербурге едва ли насчитывала около тысячи человек. А в Нарвском рабочем районе — человек около пятидесяти. Связи с рабочими были минимальны, вернее сказать, их почти не существовало. Болыпевицкое движение было чисто интеллигентское: студенты, курсистки, литераторы, люди свободных профессий, чиновники, мелкие буржуа — вот где рос тогда большевизм. Ленин это прекрасно понимал, и, по его плану, эти "кадры" партии должны были начать завоевание пролетариата. Тут-то и интересовал его Нарвский район и самый мощный питерский Путиловский завод, где тогда имели большое влияние гапоновцы.

В страховом обществе, куда я пришел с явкой от Ленина, меня встретил мрачный бородатый мужчина, дал все указания, адреса. И вскоре я приступил к попытке создать на Путиловском заводе "большевицкую организацию".

увы, дело это было очень трудное. Только теперь у болыпевицких историков все выходит очень гладко. На самом же деле все обстояло куда менее импозантно, а подчас и вовсе безнадежно.

Питерские рабочие шли тогда за меньшевиками и эсерами. В течение многих недель я пытался сколотить хоть какой-нибудь болыпевицкий рабочий кружок на Путиловском заводе. Но результат был плох. Мне удалось привлечь всего-навсего пять человек, причем все эти пять, как на подбор, были какими-то невероятно запьянцовскими типами. И эта пятерка на наши "собрания" приходила всегда в неизменно нетрезвом виде.

Вскоре эта моя "деятельность" неожиданно оборвалась — был издан Манифест 17 октября, после которого большевицкая организация в Петербурге могла уже приступить к более или менее широкой полулегальной работе.

Тут-то после манифеста и встретил я снова Ленина. Правда, эта петербургская встреча была "мимолетна". В трамвае. Помню,

я ехал по Бассейной, вдруг в вагон вошел человек, по всему обличью очень напоминающий Ленина, но с чрезвычайно большими светлыми усами. Эта странная фигура, не замечая меня, шла в мою сторону и вдруг села прямо передо мной. Мне достаточно было пристального взгляда, чтобы узнать Ленина. Я слегка подмигнул ему. Он меня тут же узнал, но явно не пожелал быть узнанным, заволновался, сделал отрицательный знак головой, чтоб я, мол, не подавал никаких признаков знакомства. И вдруг даже встал и на следующей остановке вышел из трамвая.

Вскоре я увидел Ленина во второй раз, уже без усов, без грима, он выступал на митинге на курсах Лесгафта. Ораторская манера была совершенно та же, как тогда передо мной в Женеве. Ленин так же ходил по трибуне из угла в угол и, сильно картавя на “р”, говорил резко, отчетливо, ясно. Это была не митинговая речь (на что в те поры среди большевиков был только один мастер — “товарищ Абрам”, Крыленко). У Ленина это была даже не речь. Ленин не был оратором, как, например, Плеханов, говоривший по французской манере с повышениями и понижениями голоса, с жестами рук. Ленин не обладал искусством речи. Ленин был только — логик. Говоря ясно, резко, со всеми точками над “i”, он с огромной самоуверенностью расхаживал по трибуне и говорил обо всем таким тоном, что в истинности всего им высказываемого вообще не могло быть никаких сомнений. Раз он, Ленин, говорит, стало быть, это так и есть. И только полемизируя, Ленин выходил из тона этой безграничной самоуверенности и впадал в дешевую насмешку и грубость издевки.

В Петербурге под прикрытием легальности в организованных тогда большевиками нескольких рабочих клубах под энергичным руководством Ленина пошла довольно-таки широкая работа по привлечению масс и, в частности, по подготовке вооруженного восстания. В эти дни болышевицкая работа стала давать уже гораздо большие результаты. И, например, большевицкий клуб за Нарвской заставой привлекал уже на свои лекции и агитационные собрания порядочное количество путиловцев.

В те дни большевиками были собраны значительные суммы. Партия стала копить оружие. Организовалась и первая болыыевицкая боевая дружина в двадцать пять человек, поступившая в распоряжение заведовавшего тогда всеми дружинами большевиков Л.Б.Красина.

Но сам Ленин в Петербурге в те дни пробыл недолго. Не помню, куда он исчез, но исчез быстро, дав директивы и окончательно сплотив большевиков на лозунге вооруженного восстания. Помню, за восстание были тогда — Г.Алексинский,

И.Сталин (тогда незаметный член партии), Н.Крыленко и главный руководитель боевыми отрядами — Л.Красин.

Но так как ни широкие массы питерских рабочих, ни другие революционные партии в Питере лозунга вооруженного восстания не разделяли, то начать вооруженное восстание здесь большевики не решились, обратив все свое внимание на восстание в Москве.

Разумеется, и это восстание имело немного шансов на успех. Оно и было подавлено. И в результате разгрома как восстания, так и партии в среде последней возникла острая оппозиция к Ленину, критиковавшая его “авантюристическую тактику”, обрушившаяся на его “нечаевщину”, на тактику “вспышкопускательства”. Но Ленин в своей “линии” был абсолютно твердокаменен. Ленин остался на своем. По его мнению, восстание было нужно, и прекрасно, что оно было. От своих положений Ленин никогда не отступал, даже если оставался один. И эта его сила сламывала под конец всех в партии.

Следующие мои встречи с Лениным относятся уже к 1917 году.

Теперь уже стало известным, что до приезда Ленина в Россию большевицкая партия пребывала в состоянии полной растерянности. Мне, как “очевидцу”, тогдашнему члену партии, остается этот факт только подтвердить: без директив “вождя” в 1917 году в партии шел невероятный разброд. Приезд Ленина считался совершенно необходимым, хотя надо сказать, что тогдашнее большинство видных партийцев ждало Ленина с опасениями, предчувствуя, что в этом хаосе Ленин сразу займет крайнюю атакующую позицию в отношении Временного правительства и Совета рабочих депутатов.

Таврический дворец тех дней, где заседал Совет, представлял тревожную картину. На трибунах — головка Совета: лидеры меньшевиков и эсеров. Где-то по кулуарам растерянно мечутся, мнутся, пробегают большевики — Стасова, Бубнов, Сталин, Каменев, Стеклов и другие. А зал залит революционной толпой, производившей, надо сказать, самое гнетущее впечатление. В большинстве это был, конечно, не народ, а большевицки настроенный *охлос,* на который и оперся в скором времени Ленин. Но пока что речами Чхеидзе, Церетели, Керенского даже в самом остром вопросе — о войне — этот охлос сдерживался все-таки на позициях оборончества, хоть и было ясно, что скрепы, пролегавшие от трибуны в зал, чрезвычайно хрупки. Хрупкость обнаруживалась ежечасно.

Помню выступление Плеханова — о войне. Прекрасный оратор западноевропейской манеры, Плеханов на этот раз

говорил необычайно резко о войне до победного конца, о германском милитаризме, о славных союзниках, о героической Бельгии. При уважении к его имени, в зале стояла тишина. Но когда он кончил, тишина так и осталась стоять, не прерванная ни единым хлопком. И чтобы как-нибудь выйти из положения, встал Чхеидзе, произнося сглаживающую половинчатую речь.

Приехавшего Ленина я увидел на вокзале. Этот приезд достаточно описан в литературе, и я не коснусь его подробностей. Скажу только, когда я увидел вышедшего из вагона Ленина, у меня невольно пронеслось: “Как он постарел!” В приехавшем Ленине не было уже ничего от того молодого, живого Ленина, которого я когда-то видел и в скромной квартире в Женеве, и в 1905 году в Петербурге. Это был бледный изношенный человек с печатью явной усталости.

Приняв поздравления, Ленин ответил на них известной демагогической речью. Для всех стало ясно, что Ленин совершенно готов к продолжению заговорщицкой борьбы. И он повел ее из дворца Кшесинской.

Впечатление о сильной “постарелости” Ленина подтвердилось и в последующие дни, когда я часто встречал его в этом дворце. Весь вид Ленина был резко отличен от прежнего. И не только вид. В обращении исчезли всякое добродушие, приветливость, товарищеская легкость. Ленин этого времени по всей своей цинической, замкнутой, грубоватой повадке казался заговорщиком “против всех и вся”, не доверявшим никому, подозревавшим каждого и в то же время решившим всеми силами, не считаясь ни с чем, идти в атаку на захват власти.

Разумеется, как и в былые дни, его обаянье в партии было сильно. Но тем не менее, прежде чем захватить власть в стране, Ленину предстояло еще завоевать свою партию. Против него шло не только “будированье по закоулкам”, но оказывалось и резкое открытое сопротивление. Не только Каменев, Зиновьев, но подавляющее большинство партии было не на его стороне. И все же Ленин был настолько уверен в себе, настолько “самодержавен”, что сразу же перешел в атаку на оппозиционеров.

Помню, как уже на первых собраниях во дворце Кшесинской он кричал: “Или теперь, или никогда! Наш лозунг — вся власть Советам! Долой буржуазное правительство!” — и, перекосив лицо, картавя, в демагогической речи звал “идти с кем угодно, с улицей, с матросами, с анархистами”, но идти на немедленный захват всей полноты власти! И в самое короткое время Ленин подмял под себя всю партию, чувствовавшую, что сил сопротивляться ему — нет, а без этого заговорщицкого кормчего

она — ничто.

Временный уход Ленина в подполье после июльских дней увел его из поля моего зрения. Я увидел Ленина снова уже в Смольном в роли председателя Совета народных комиссаров. Тут мне приходилось наблюдать его довольно часто.

Суммируя впечатление, которое у меня не опровергалось и последующими общениями с Лениным, я, вероятно, пойду вразрез с установившейся репутацией Ленина не только уж в большевицкой, но даже, пожалуй, и в анти-большевицкой литературе.

Обычно Ленин "все же" признается "государственным человеком". Встречаясь с Лениным на государственной работе, делая ли ему доклады, получая ли от него распоряжения, этого впечатления у меня *никогда не создавалось*. Напротив, все говорило о противоположном.

Среди большевиков были люди государственного размаха, могущие быть "министрами" в любой стране. Это — Л.Б.Красин, человек большого ума, расчета, инициативы, трезвого глаза. Это — Л.ДТроцкий, несмотря на то, что ни на кого эта фигура никакого "обаяния" не производила. Но только, разумеется, не Ленина зачислять в государственные люди.

Прежде всего Ленин был типичным человеком подполья. Ленин не знал ни жизни, ни России, ни русского крестьянства, не знал фактов. Ленин был существом *исключительно партийным*. Ни в одной стране он не мог бы быть "министром", зато в любой стране мог бы быть главой заговорщицкой партии. Ленин был *узкопартийный конспиратор до мозга костей*.

И сидя ли в Кремле или в Смольном, Ленин действовал везде именно так, как привык действовать в партии. В то время как распоряжения и назначения Троцкого или Красина обычно как-то базировались на здравом смысле, распоряжения и назначения Ленина бывали иногда поистине шедеврами нелепости.

Дара подбора людей, более-менее обязательного для "государственного человека", у Ленина не было. *Партиец* у Ленина мог получить *любое* назначение. Так, с первых же дней Ленин выдвигал и прочил чуть ли не в "главнокомандующие" бездарную пустоту, партийца Лашевича, дошедшего в мировой войне до чина унтер-офицера. В вопросах промышленности, отметая мнения людей здравого смысла, Ленин сплошь и рядом обращался за советами к Ю.Ларину, человеку ни в чем не компетентному, фанатическому начетчику большевицкой программы. Можно безо всякого преувеличения сказать, что деятельность Ларина заключалась в систематическом разрушении промышленности. Но мнение этого прикованного болезнью к

постели фанатика с полуокостенелым телом и воспаленным мозгом было часто решающим в распоряжениях Ленина.

Чтоб охарактеризовать Ларина, приведу случай из его распоряжений. В декабре 1917 года ко мне в комиссариат пришел знакомый студент-технолог, беспартийный, единственным занятием которого были бега и игра на билиарде. Студент спрашивал, нет ли какой-нибудь для него “работенки”? Даю ему письмо к Ларину, полагая, что, может быть, у него он что-нибудь найдет. Через три часа студент приходит в очень веселом настроении.

Прочтя письмо и узнав, что этот студент — “технолог” — Ларин тут же устроил ему назначение комиссаром правления одного из крупнейших русско-бельгийских металлургических заводов на юге России. Студент был не из нерешительных. Поехал действовать по директивам Ларина и в самый короткий срок закрыл правление завода, остановив всю деятельность этого крупнейшего предприятия. Окончив же свою деятельность этот студент — директором советской балетной школы.

“Неталантливость” в подборе людей в Ленине была поразительна. Помню, позднее, в бытность Ленина в Москве, из Питера я приехал к нему в составе “пятерки” представителей железнодорожников с “челобитной” снять с поста наркома путей сообщения литератора Невского, под нелепостью распоряжений которого железнодорожники задыхались.

Приехавшие входили в кремлевский кабинет Ленина не без волнения. Было неизвестно, с какой ноги встал “Ильич”. Но каково же было удивление, когда после первых же наших слов Ленин сразу перебил:

— Знаю, знаю, что у Невского происходит черт знает что! Он никуда не годится! И я его выгоню вон! У меня для вас есть замечательный нарком! — и Ленин назвал фамилию, — Кобызев.

Кобызев — средней руки инженер. Чем он пленил Ленина — неизвестно. Но высказывания каких бы то ни было сомнений в кабинете диктатора неуместны. И Кобызев стал наркомом ровно… на месяц, после чего его Ленин тоже “выгнал вон”.

В характере Ленина, как в отношении людей, так и дел, была мелочность. И в Смольном и в Кремле впечатления главы правительства Ленин не производил. Это был всегда партийный заговорщик, но не глава государства.

В Москве впервые я увидел Ленина в Кремле в мае 1918 года, в день восстания в Поволожьи чехов. В небольшой кремлевской комнате, непосредственно примыкавшей к кабинету Ленина, шло очередное заседание Совнаркома, обсуждавшего один из бесчисленных докладов “об эвакуации”.

У стены, смежной с кабинетом Ленина, стоял простой канцелярский стол, за которым сидел Ленин, рядом — его секретарша Фотиева, женщина ничем кроме преданности вождю не примечательная. На скамейках, стоящих перед столом Ленина, как ученики за партами, сидели народные комиссары и вызванные на заседание видные партийцы.

Такие же скамейки стояли у стен перпендикулярно по направлению к столу Ленина; на них так же тихо и скромно сидели наркомы, замнаркомы, партийцы. В общем, это был класс с учителем довольно-таки нетерпеливым и подчас свирепым, осаживающим "учеников" невероятными по грубости окриками, несмотря на то, что "ученики" перед "учителем" вели себя вообще примерно. Ни по одному серьезному вопросу никто никогда не осмеливался выступить "против Ильича". Единственным исключением был Троцкий, действительно хорохорившийся, пытаясь держать себя "несколько свободнее", выступать, критиковать, вставать.

Зная тщеславие и честолюбие Троцкого, думаю, что ему внутренне было "совершенно невыносимо" сидеть на этих партах, изображая из себя благонамеренного ученика. Но подчиняться приходилось. Самодержавие Ленина было абсолютным. Хотя все-таки шило распаленного тщеславия и заставляло Троцкого вскакивать с "парты", подходить к Ленину, выходить из комнаты и вообще стараться держаться перед остальными "учениками" так, как бы всем своим поведением говоря: "Вы не воображайте, что я и вы одно и то же! Ленин, конечно, Ленин, но и Троцкий тоже Троцкий!" И уже "тоном ниже", но все-таки пытался подражать своему шефу помощник Троцкого исключительно развязный Склянский.

На этом заседании во время прений Ленину подали свежую телеграмму о восстании чехов в Поволжьи. Ленин взволновался до крайности. Заседание было прервано. И когда я в соседней комнате разговаривал с Троцким, туда быстрыми шагами вошел Ленин и, обращаясь к Троцкому, резко проговорил:

— Сейчас же найдите мне Розенгольца! Стало ясно: Ильич почему-то решил отправить в Поволжье Розенгольца. Это внезапное назначение ни в Троцком, ни в других наркомах явно не могло встретить сочувствия. Но все ж все тут же бросились разыскивать Розенгольца.

Два слова о Розенгольце. Этот человек выдвинулся на военно-чекистской работе. По основной специальности он фельдшер. Издавна знавшие его отзывались о нем не иначе, как "ужасный тип". Обязан он отмеченности Лениным только из-за необычайной жестокости и абсолютного наплевательства на

жизни хотя бы десятка тысяч людей. Когда Розенгольц был назначен заведующим политическим управлением НКПС, этот круглый, гладкий человек подбирал служащих по политуправлению так. Вызывал в свой кабинет и задавал один вопрос:

— Сколько контрреволюционеров вы расстреляли собственноручно?{35}

Если опрашиваемый мялся или сообщал, что “не приходилось”, то уходил из кабинета, не получив никакого назначения. Впоследствии Розенгольц эту свою деятельность сменил на дипломатическую, став полпредом в Англии. В Лондоне он начал давать блестящие балы, танцуя с дамами английского дипломатического корпуса и чувствуя себя совершенно “в своей тарелке”.

В мае 1918 года Ленин отправил Розенгольца с аршинными мандатами в Поволжье, ибо Розенгольц принадлежал к тем “рукастым” коммунистам, которых особенно ценил Ленин.

Чем шире развивалась гражданская война, тем усиленней Ленин интересовался ВЧК и террором. В эти годы влияние Дзержинского на Ленина — несомненно. И тем нервнее, раздражительнее и грубее становился Ленин. В 1918–1919 годах нередко приходилось его видеть на собраниях Совнаркома выходившим из себя, хватавшимся за голову. В прежние времена этого не бывало. Старый заговорщик, Ленин явно изнашивался. И тут действовала не одна болезнь. Иногда, глядя на усталое, часто кривящееся презрительной усмешкой лицо Ленина, либо выслушивающего доклады, либо отдающего распоряжения, казалось, что Ленин видит, какая человеческая мразь и какое убожество его окружают. И эта усталая монгольская гримаса явно говорила: “да, с таким "окружением" никуда из этого болота не вылезешь”.

— Фанатик-то он фанатик, а видит ясно, куда мы залезли, — говорил о Ленине Красин, относившийся к октябрьской верхушке большевиков тоже с нескрываемым презрением.

Вот именно в эти-то годы и влиял на Ленина Дзержинский, еще более узкий фанатик, чем он. Ленин брал на себя, разумеется, всю ответственность за террор ВЧК. Он считал его необходимым. И Дзержинский был ему под-стать.

Их силуэты особенно запомнились мне на одном из заседаний. Не помню, чтоб Дзержинский просидел когда-нибудь заседание Совнаркома целиком. Но он очень часто входил, молча садился и так же молча уходил среди заседания. Высокий, неопрятно одетый, в больших сапогах, грязной гимнастерке, Дзержинский в головке большевиков симпатией не пользовался.

Но к нему люди были “привязаны страхом”. И страх этот ощущался даже среди наркомов.

У Дзержинского были неприятны прозрачные больные глаза. Он мог длительно “позабыть” их на каком-нибудь предмете или на человеке. Уставится и не сводит стеклянные, с расширенными зрачками глаза. Этого взгляда побаивались многие.

Вот на одно из заседаний, при обсуждении вопроса о снабжении продовольствием железнодорожников, в этот же “класс” с послушными “учениками” и вошел Дзержинский. Он сел неподалеку от Ленина. Заседание было в достаточной мере скучным. Но время было крайне тревожное, были дни террора.

Обычно Ленин во время общих прений вел себя в достаточной степени бесцеремонно. Прений никогда не слушал. Во время прений ходил. уходил. Приходил. Подсаживался к кому-нибудь и, не стесняясь, громко разговаривал. И только к концу прений занимал свое обычное место и коротко говорил:

— Стало быть, товарищи, я полагаю, что этот вопрос надо решить так! — Далее следовало часто совершенно не связанное с прениями “ленинское” решение вопроса. Оно всегда тут же без возражений и принималось. “Свободы мнений” в Совнаркоме у Ленина было не больше, чем в совете министров у Муссолини и Гитлера.

На заседаниях у Ленина была привычка переписываться короткими записками. В этот раз очередная записка пошла к Дзержинскому: “Сколько у нас в тюрьмах злостных контрреволюционеров?” В ответ от Дзержинского к Ленину вернулась записка: “Около тысячи пятисот”. Ленин прочел, что-то хмыкнул, поставил возле цифры крест и передал ее обратно Дзержинскому.

Далее произошло странное. Дзержинский встал и как обычно, ни на кого не глядя, вышел с заседания. Ни на записку, ни на уход Дзержинского никто не обратил внимания. Заседание продолжалось. И только на другой день вся эта переписка вместе с ее финалом стала достоянием разговоров, шепотов, пожиманий плечами коммунистических сановников. Оказывается, Дзержинский всех этих “около тысячи пятисот злостных контрреволюционеров” в ту же ночь расстрелял, ибо “крест” Ленина им был понят как указание.

Разумеется, никаких шепотов, разговоров и качаний головами этот крест “вождя” не вызвал бы, если бы он действительно означал указание на расправу. Но как мне говорила Фотиева:

— Произошло недоразумение. Владимир Ильич вовсе не хотел расстрела. Дзержинский его не понял. Владимир Ильич обычно ставит на записке крест как знак того, что он прочел и

принял, так сказать, к сведению.

Так, по ошибочно поставленному “кресту” ушли на тот свет “около тысячи пятисот человек”. Разумеется, о “таком пустяке” с Лениным вряд ли кто-нибудь осмелился говорить. Ленин мог чрезвычайно волноваться о продовольственном поезде, не дошедшем вовремя до назначенной станции, и подымать из постели всех начальников участков, станционных начальников и кого угодно. Но казнь людей, даже случайная, мне казалось, не пробуждала в нем *никакого* душевного движения. Гуманистические охи были “не из его департамента”.

Последний раз я видел Ленина в 1921 году. Видел тоже в Кремле и тоже на заседании. Ленин, как всегда, то ходил меж скамеек по комнате, то садился за председательский стол. Но уже тогда он производил впечатление человека совершенно конченого. Он то и дело отмахивался от обращавшихся к нему, часто хватался за голову. Казалось, что Ленину “уже не до этого”. Ни былой напористости, ни силы. Ленин был явный не жилец, и о его нездоровье плыли по коридорам Кремля всевозможные слухи. А за спиной этого желтого истрепанного человека, быстро шедшего к смерти, кипела ожесточенная борьба — Сталина, Зиновьева, Каменева, Троцкого.

Когда через три года Ленин умер, я видел многих видных вельмож коммунизма, которые плакали самыми настоящими человеческими слезами. Плакали не только Крестинский, Коллонтай, Луначарский, но (в самом буквальном смысле) плакали заматерелые чекисты. Эти слезы были довольно “трогательны”. Но любовь партии к Ленину, и даже не любовь, а какое-то “обожание”, были фактом совершенно несомненным.

В Ленине жила идея большевизма. Он олицетворял ее. Людям нужны “идолы”. И был великим идолищем большевизма.

ТРОЦКИЙ

Впервые я встретил Троцкого в 1905 году в Петербурге на заседании Совета рабочих депутатов в Вольном экономическом обществе. Я был членом Совета от Путиловского завода. Троцкий же, как известно, был товарищем председателя. Надо сказать, что тогда Троцкий пользовался в революционных кругах Петербурга большой популярностью. Заслонив ничтожную фигуру официального председателя Совета, Хрусталева-Носаря, Троцкий вел тогда за собой весь Совет, а Совет вел питерский пролетариат.

Время горячее. Горяч был и Троцкий, эдакий "молодой Лассаль" на питерском фоне. Коньком его тогдашних речей была изобретенная им теория перманентной революции. С этой теорией он и выступал, зовя рабочих "от восстания к восстанию" и обещая неминуемую окончательную победу.

Его выступления помню очень хорошо. Среднего роста, темный шатен, с громадной шевелюрой откинутых волос, большим лбом, острым носом, Троцкий на трибуне как бы вырастал и казался высоким. Голос резко-металлический. Демагогический оратор он уже тогда был хороший, хотя речи его всегда, как говорили греки, "попахивали лампадным маслом": чувствовалось, что это не экспромты, а сопровождающиеся эффектными жестами и эффектными паузами тщательно разученные выступления.

По своей манере говорить Троцкий был полным антиподом Ленину. Ленин ходил по трибуне. Троцкий стоял. У Ленина не было никаких цветов красноречия. Троцкий ими засыпал публику. Ленин не слушал себя. Троцкий не только слушал, но, пожалуй, и любовался собой. В речах Ленина всегда было ясно, чего он хочет. У Троцкого предельной ясности никогда не было; его речь всегда можно было несколько вывернуть — и так, и иначе.

Разница душевного строя этих несхожих между собой революционеров сказывалась тогда и в их деятельности в Петербурге. Большевик Ленин редко появлялся на массовых собраниях, он вел борьбу в своей партии, этот "крот" рыл "подземные ходы". Меньшевик Троцкий сразу бросился к "ослепительному" свету рампы, к публике, к аплодисментам. Тут было не только чрезмерное тщеславие, которым очень богат был Троцкий, но был и правильно выбранный плацдарм своей деятельности, ибо Троцкий был действенен только на толпе, "на миру", он должен был быть всегда "любимцем публики", хотя бы даже галерки. Успех Троцкого был всегда успехом актера. И в то время как в Ленине во всем чувствовалась крайняя деловитость, в

Троцком — неизменный треск фейерверка.

Разность этих людей оттенялась даже в одежде. Ленин всегда был одет “как попало”. Троцкий одевался с некоторой тщательностью, ему вовсе было не все равно, как и какой повязать галстук.

Но тогда на революционном фоне Петербурга Троцкий был куда более приметен. Ленин вел только большевицкую партию, Троцкий же, через Совет, несомненно вел питерских рабочих. И удайся революция 1905 года, революционным вождем в Петербурге стал бы, конечно, Троцкий.

Но дело кончилось иначе — письмом Троцкого к Витте, от которого, как известно, Витте пришел в бешенство и Троцкий был арестован. Невольно хочется сказать, что судьбы этих двух людей, Витте и Троцкого, оказались очень схожи. Достигший власти Витте, в сущности, всегда оставался “чужим” среди придворных Зимнего дворца и кончил опалой. Во время революции достигший “высшей власти” Троцкий неизменно оставался чужим среди придворных Кремля, и всем известно, чем он кончил.

Приехавшего из Америки в 1917 году Троцкого я встречал в Таврическом дворце на заседаниях Совета рабочих депутатов. Суммируя впечатление от общений с ним и от его выступлений, скажу, что в отличие от всех социалистов, проведших войну внутри России, Троцкий был отмечен некой “девственностью”. Живший вдали от России, не переживавший войны, Троцкий как бы “законсервировался” на позициях 1905 года, и в то время как внутри страны российские социалисты неминуемо отражали в себе все сомнения, колебания и тяжелые переживания народа, Троцкий в этом отношении был “девственен”. Для него ничего этого не существовало, и задумываться Троцкому не приходилось, у него имелась все разрешающая теория “перманентной революции”: японская война, 1905 год — первый удар; мировая война, 1917 год — второй удар. И Троцкий выскочил на русскую землю эдаким туристом — “прямо с корабля на бал”.

В противоположность Ленину внешне Троцкий за эти годы не сильно изменился. Казался очень бодрым и “полным сил”. Да ему и было всего тридцать восемь лет.

Возвестив о совпадении своих позиций с позициями Ленина, Троцкий пошел вместе с ним в атаку на Временное правительство, но и теперь соответственно характерам распределялись их роли. Приманивая массы на “червя большевизма”, Ленин, как свинцовый груз, тянул леску в глубь, а поплавок-Троцкий моментально поплыл по по- верхности. Новый свет рампы, интервью, словом, те же подмостки Совета рабочих депутатов, только тут уж приходилось из задних рядов

протискиваться в завоеватели Совета. В этом и есть заслуга Троцкого перед большевизмом: демагогией своих речей он завоевал большевизму Совет (хотя это было и не особенно трудно).

Не будет преувеличением сказать, что и в 1917 году в массах Троцкий был известнее и популярнее Ленина. Но то, что было незаметно для зрителя извне, было очевидно всякому более-менее крупному партийцу: как только Троцкий менял роль "поплавка" и уходил в глубь больше-вицкой партии, он неизменно в ее теле оказывался "чужероден".

Вражда к Троцкому главных партийных деятелей вовсе не родилась в 1924 году, по смерти Ленина. Тогда она только "пришла в действие". Жила же она и не скрывалась все время с 1917 года. Положение Троцкого в партии было всегда как бы положением "кандидата в большевики", а не большевика.

С 1917 года по 1920 мне часто приходилось встречаться и с Троцким и с его противниками и могу засвидетельствовать, что крайняя неприязненность к нему Зиновьева, Крестинского, Сталина, Стучки, Дзержинского, Стасовой, Крыленко и многих других проверенных ленинцев существовала всегда и редко чем-нибудь прикрывалась. Все эти люди только "терпели" Троцкого потому, что он был нужен большевицкой революции, и потому, что Ильич заключил с ним некое "джентльменское соглашение". Эта владычная рука Ленина, поддерживающая Троцкого под спину, всегда была ощутима, и без этой руки падение Троцкого могло быть ежедневным.

Отказ в кредите Троцкому и недоверие к нему происходили от следующих причин. Во-первых, Троцкий действительно был многолетним меньшевиком. Правда, он занимал всегда более выгодную его натуре межеумочную позицию, плавая по социал-демократическим водам заманчивым поплавком "перманентной революции" и не идя ни под Ленина, ни под Мартова, ни тем более под Плеханова с Потресовым. Но вот именно поэтому со стороны таких совершенно нетерпимых, узкобольшевицких мозгов, какими обладали и обладают твердокаменные ленинцы, Троцкий и был всего только "сменовеховцем". Кредит измерялся подпольным стажем и заслугами. У Троцкого ничего этого не было. К тому же психологически Троцкий и ленинцы были разны. Это чувствовала головка партии, и это тоже против Троцкого вызывало раздражение.

Чтобы быть объективным, надо сказать, что Троцкий интеллектуально был выше ленинцев на голову, хотя это и не Бог весть уж какой комплимент, ибо интеллектуальные силы ленинизма были всегда чрезвычайно убоги. Но умственное и

культурное превосходство, эта бывалость и просвещенность, при невероятно эгоцентрическом характере и надменности Троцкого, при его жажде “наполеонства”, сквозившей во всем, в манере, речи, полемике, вызывали естественное озлобление у головки ленинцев. А у некоторых, как у Зиновьева и у Сталина, это чувство переходило в буквальную ненависть.

В рамки большевицкой организации Троцкий не вкладывался, он, как резиновый чертик, неизменно из нее выпрыгивал. Стать “нечужеродным”, “своим” мешали болезненное честолюбие, сознание, что если он и не Ленин, то почти Ленин. А я думаю, что наедине Троцкий ценил себя куда выше Ленина!

После октябрьского переворота я видел Троцкого в роли наркоминдела. Тут мне казалось, что на короткое время о Троцком в партии как-то забыли. Дали наркоминдел, “делай, мол, там что хочешь!” И в самом Троцком на короткое время проснулся, пожалуй, больше журналист, чем “министр”. Он бросился в секретные архивы, ими зачитываясь, пиша ноты и лозунги, дал волю своей фантазии.

На первой же министерской должности Троцкий стал приближать к себе специалистов. В противоположность Ленину, у которого “партиец все мог понимать и все делать”, Троцкий искал и брал людей дела, как, например, племянника бывшего военного министра Поливанова, сына бывшего министра Муравьева и других. Троцкий хотел быть окружен “настоящим министерством”, настоящими чиновниками, а не большевицкими импровизаторами, к которым в ответ на недоверие относился с презрением.

Но фантазии Троцкого в роли революционного дипломата революционнейшей страны кончились… Брестом. На этом его дипломатическая карьера оборвалась, и Ленин назначил Троцкого наркомвоеном.

Этому шумному назначению Троцкого предшествовало не лишенное интереса и в литературе не освещенное событие. В марте 1918 года, когда Совнарком переезжал из Петербурга в Москву, Ленин заявил в Смольном, что хочет оставить Троцкого в Петрограде главой питерского Совнаркома, а Зиновьева взять с собой в Москву.

Вопрос этот обсуждался на собрании актива петербургских большевиков, где вызвал взрыв возражений, демонстрировавших открытый отказ в кредите Троцкому со стороны ведущей головки большевизма. Из питерских большевиков Троцкого не поддержал никто, тогда как кандидатура Зиновьева в председатели петербургского Совнаркома выставлялась как самоочевидная. И Ленин с этим вынужден был согласиться.

В результате в марте 1918 года Зиновьев взял Петроград своей вотчиной, а Троцкий стал наркомвоеном. С Зиновьевым в 1918–1919 годах я виделся почти ежедневно. Отношение его к Троцкому было самое отвратительное, причем и Троцкий платил Зиновьеву той же монетой.

Причина этой обоюдной ненависти была ясна. Зиновьев требовал себе как раз ту самую роль, на которую претендовал Троцкий — дублера Ленина. И чистокровный большевик, старый наперсник Ленина Зиновьев пытался всеми силами отпихнуть Троцкого от попытки дублировать Ильича. Троцкий, разумеется, не оставался в долгу. В своей драке они забыли только о Сталине, который одинаково ненавидел их обоих.

В 1918–1919 годах взаимная враждебность Зиновьева и Троцкого не оставалась только в сердцах двух вельмож, борьба их явственно реализовалась и в жизни. В то время как Троцкий начал организовывать военное ведомство, подбирая опять-таки “настоящих военных”, генералов, полковников и комиссаров, долженствующих быть ему преданными, Зиновьев не желал выпускать из рук военную организацию Петрограда. Игра Зиновьева опиралась на то, что “полубольшевик” Троцкий подбирает людей политически ненадежных, в то время как Зиновьев создаст надежную организацию.

Парируя эту игру, Троцкий в 1918 году стал привлекать к себе чекистов, организовав при себе чекистский отряд во главе с Павлуновским. Привлек он к себе и видного чекиста Берзина. Из этого чекистско-коммунистичес-кого аппарата впоследствии и выросла, в сущности, оппозиция троцкистов. Тогда же, в ведомственной борьбе Троцкого (с Зиновьевым в Петербурге, со Сталиным в центре, с Ворошиловым на юге), этот аппарат играл большую роль, спасая часто положение Троцкого и поддерживая его у власти.

Троцкий был властолюбив и тщеславен, подчас даже мелочно. В психологии его было что-то от нувориша. Так, помню приезд его в Петроград весной 1919 года. Из Москвы в Петроград Ленин обычно ездил в купе первого класса. Троцкий — в комфортабельном поезде. В этот приезд я был вызван к нему на Николаевский вокзал. На Николаевском вокзале — поезд из вагонов бывших царских поездов, оборудованный по последнему слову комфорта, тут и типография, и отдельный вагон для свиты, и первоклассная кухня, и ванны, словом, “царский” поезд. Чтоб дойти до поезда, мне пришлось пройти сквозь две цепи солдат. В поезде меня принял адъютант, бывший царский офицер, который и доложил обо мне наркомвоену. Троцкий принял меня в салон-вагоне, сидя за столом. Следов былого “молодого Лассаля” в

Троцком тогда уже не было. Необыкновенная надменность человека, привыкшего к безграничной власти, — вот каков был тон Троцкого. Его окружение из офицеров перед ним держалось необычайно подтянуто. Ни перед Лениным, ни перед Зиновьевым никто бы так не стоял. Тут пахло настоящим аракчеевским фрунтом.

Пока я ждал, Троцкий тут же принимал какой-то доклад, высокомерным тоном министра задавая вопросы, и как только ответы ему казались неудовлетворительными, от тут же обращался к секретарю, говоря коротко:

— Запишите, что было сейчас сказано!

Иногда такие записи означали вызов Павлуновского и расстрел на месте. Это был стиль Троцкого.

В небрежном постукивании карандашом по столу, во взгляде свысока, в позе нога на ногу, в повелительном обращении со своим окружением из бывших офицеров — во всем у Троцкого чувствовалось, что этот человек упивается властью. Царские поезда, свита, помпа, расстрелы — в Троцком очень даже теплился “стиль Бонапарта”. Но в то время как извне, иностранцам, белым армиям, обывателям Троцкий казался необычайно властным, на самом деле властность Троцкого, наталкиваясь на партийный аппарат, вглубь не шла. Ленинцы только давали Троцкому резвиться. Победно воевавшему на фронтах Троцкому приходилось жестоко огрызаться внутри партии, где его хватали за икры со всех сторон.

Именно благодаря этому Троцкий и создавал вокруг своего поезда “государство в государстве”, подбирая и обласкивая нужных ему людей, хотя надо сказать, что критические моменты гражданской войны иногда выносили Троцкого наверх и с этого верха Троцкий презрительно тыкал сапогом Зиновьева и его товарищей.

Таким моментом для Троцкого было наступление генерала Юденича на Петроград. Эти мрачные, страшные дни конца октября 1919 года заслуживали бы отдельных воспоминаний. Юденич под Петроградом, занял Царское, подошел к Пулковской горке и угрожает Тосно и Ораниенбауму. Головка питерских большевиков переживала подлинную панику. Красные войска разбегались куда глаза глядят. Зиновьев, панически трусливый в моменты опасности, теперь только и делал, что по прямому проводу требовал из Москвы директив по эвакуации Петрограда, заявляя, что “держаться больше не может!”

Попытки организовать наскоро сбитые рабочие дружины ни к чему не привели, под нажимом Юденича подступы к столице обнажались, и с часу на час ожидалось занятие города белыми.

Предавшийся панике Зиновьев почему-то еще был убежден, что и Финляндия выступит против Петрограда. Вот в этот-то момент, когда в Смольном Зиновьев собрал всех петербургских наркомов и истерически кричал: “Вы все останетесь тут! Хоть три дня! Я никуда никого отсюда не выпущу!” — из Москвы сообщили, что в Петербург выехал Троцкий. Для Зиновьева — конфуз. Для Троцкого — триумф, кратковременный, но несомненный.

Троцкий приехал в Петроград поздно вечером. С той же помпой пришли два царских поезда. С Троцким — большая свита двух сортов, военные во главе с генералом Надежным и чекисты во главе с Павлуновским. Окруженный этой свитой, Троцкий с вокзала приехал прямо в Смольный и вошел в кабинет Зиновьева (прежний кабинет Ленина), где вокруг Зиновьева собрались питерские комиссары. С места в карьер, обращаясь к Зиновьеву, Троцкий проговорил:

— Здравствуйте, товарищ Зиновьев! На ваш запрос об эвакуации заявляю, что Петроград сдан не будет! Я приехал от Совнаркома с неограниченными полномочиями. А за сим — созовите собрание партийного актива Петрограда!

И когда Зиновьев еще не успел произнести ни слова, Троцкий повернулся к Павлуновскому и резко-металлически, с резонансом, рассчитанным на всех присутствующих, проговорил:

— Товарищ, Павлуновский, приказываю немедленно арестовать и расстрелять весь штаб защиты Петрограда! А вам, — обратился он к генералу Надежному, — немедленно принять на себя командование 7-й армией и организацию штаба защиты!

Минута — “бонапартовская”. При полном молчании Надежный и Павлуновский, окруженные помощниками, вышли из кабинета. В эту же ночь Павлуновский расстрелял совершенно ни в чем не повинный штаб защиты Петрограда во главе с бывшим офицером генерального штаба Линденквистом. Защита перешла в руки генерала Надежного. А расстрелы — к чекисту Павлуновскому, этому обер-палачу при Троцком, вызывавшему во всяком человеке бесконечное отвращение: высокий, худой, с жуткими глазами убийцы, одетый в “лихую” кавалерийскую шинель до пят, с рукой на перевязи, Павлуновский со своим отрядом по мановению руки Льва Давыдовича расстреливал бесчисленное количество людей.

Когда Павлуновский и Надежный вышли и в кабинете остались Зиновьев и человек пять питерских комиссаров, Троцкий сразу же как-то “размяк”. “Железный жест” был сделан, и в ожидании нового жеста на собрании пете-ребургского актива Троцкий похаживал по кабинету Зиновьева, подшучивал над тем, что “Зиновьев, кажется, осунулся”, брал с полки книги,

перелистывал, читал наугад какие-то цитаты и по поводу их острил, потом снова клал книгу на полку и снова подшучивал над Зиновьевым и над телефоном с громкоговорителем, стоявшим у него на столе. На эти остроты Зиновьев реагировал слабо. В это время, по приказу Троцкого, происходила смена всей охраны Смольного. Прежнюю охрану сменили приехавшие с Троцким какие-то такие морды, что на них смотреть было жутко. Эта смена, вероятно, должна была подчеркнуть окончательную победу Троцкого над Зиновьевым: не оставалось камня на камне.

Когда в зале Смольного собрался актив петербургских большевиков (это было красочное, “историческое” заседание, занятия Петрограда белыми ждали с минуты на минуту), — Троцкий выступил с речью. Тут снова из посмеивающегося журналиста Троцкий превращался в “железного вождя”. Гремела речь о постыдности поведения коммунистов, о психологии дезертирства, о беспощадности мер, которые он примет, всем и всему Троцкий грозил расстрелом.

Ночь в Смольном прошла в лихорадочной работе. Сюда привезли арестованный штаб бригады, действовавший под Ораниенбаумом. Этой же ночью Троцкий в сопровождении генерала Надежного выехал на фронт, а в Смольный из Москвы приехал Красин, на которого было возложено поручение в случае сдачи Петрограда подготовить приведение петербургских заводов в полную негодность. Этим Красин и занялся.

Наутро я застал Троцкого в Смольном. Обсуждался вопрос о переброске на фронт подходивших из Москвы и с Мурманского фронта подкреплений. Троцкий стоял посредине кабинета Зиновьева, у двери — двое чекистов, Павлуновский в своей кавалерийской шинели и начальник особого отдела петроградской ЧК Комаров. За столом секретарь Троцкого с неизменным блокнотом, а перед Троцким — перепуганный начальник военных сообщений Петрограда Араратов.

— Сколько времени нужно, чтобы перебросить войска с Финляндского вокзала на Балтийский? — кричал Троцкий Араратову.

— 24 часа, по-моему.

— Что? Саботаж! Запишите сказанное! — кричит

Троцкий и тут же Павлуновскому: Арестовать!

Павлуновский и Комаров уже двинулись к потерявшему всякое присутствие духа Араратову, и если бы за него не вступились все присутствовавшие, Араратов был бы немедленно расстрелян, как было уже расстреляно множество людей. Троцкому объяснили, что перебрасывать войска по железной дороге с вокзала на вокзал не нужно, гораздо быстрее войска

пройдут в пешем строю.

В этот день под руководством Троцкого Петроград спешно делился на три зоны, из которых две могли быть сданы, а третья должна была защищаться до последнего. В деле обороны Петрограда Троцкий, конечно, сыграл роль, но все же чудес не бывает и Троцкий ничего бы не сделал, если бы ему не помог… сам генерал Юденич.

Уверенность в том, что если генерал Юденич будет продолжать наступление, то город будет взят, была абсолютна, а сдача Петрограда грозила самыми серьезными последствиями и для центральной власти. Но генерал Юденич в это время три дня простоял перед беззащитным Петроградом в полном бездействии. Бездействие генерала Юденича было непонятно. Оно и создало триумф Троцкого — в течение этих трех дней все время подходили красные подкрепления.

Под Петроград были переброшены уже довольно значительные части, и для подъема духа войск Троцкий сам выехал на автомобиле в Гатчину. Я сопровождал его. Это был решительный момент, когда красные перешли в наступление, а белые дрогнули.

О Троцком коммунисты-военные частенько говорили как о человеке трусливом. Придерживаясь объективности, должен сказать, что в Гатчине Троцкий держал себя вполне соответственно своей роли. Может быть, у него и дрожали поджилки, когда автомобиль под обстрелом белых влетел в еще не занятую Гатчину. Но трусости Троцкий не проявил. Напротив, несмотря на предостережения окружающих, он вылез из автомобиля, шел под обстрелом, вообще все было именно так, как подобает “полководцу”.

Об энтузиазме красных войск при защите Петрограда говорить, конечно, не приходится. Этот энтузиазм создали чекистские и курсантские отряды, шедшие с пулеметами сзади войск, расстреливая на месте всех дрогнувших или пытавшихся дезертировать.

В гражданской войне защита Петрограда была моментом большого ведомственного успеха Троцкого и поражения Зиновьева. Но насколько Троцкий был непопулярен в партии, показывает хотя бы тот факт, что несмотря на такие “головокружительные” заслуги он уже в следующем году под давлением головки партийцев ушел с поста наркомвоена и стал народным комиссаром путей сообщения.

Тут, в Москве, на Ново-Басманной, в здании НКПС, я не раз видел Троцкого. Привыкший ко всему “военному”, он и тут действовал на военный манер — часовые в коридорах, часовые у

кабинета.

В мае 1920 года я был вызван Троцким по поводу назначения на работу по железнодорожному ведомству. Разговор ничем особым примечателен не был. Но от этого визита осталось ощущение, что снятый с поста наркомвоена Троцкий уже на ущербе, затерт и поражен ленинцами.

Изменился и вид Троцкого, он сильно постарел, лицо бледно-желтое, пробилась сильная седина, было ясно, что сивку укатывали крутые горки. Популярностью на посту наркома путей сообщения Троцкий не пользовался. Видные коммунисты-железнодорожники, как всегда, считали его не своим, а спецы и низший технический персонал ненавидели за вводимые дикие террористические методы, за военизацию железных дорог. На железных дорогах Троцкий ввел подлинную аракчеевщину. Его чекисты, перешедшие сюда вместе с ним из военного ведомства, в смысле бессудных расстрелов творили нечто неописуемое. Военизация приводила к невероятному самодурству местных властей. Но в роли наркома путей сообщения Троцкий уже явно пел свою лебединую песню. Он падал медленно, но верно. Подпорка, в виде руки Ленина, уже ослабела, а самостоятельной силы удержать власть не было.

В то время как за Лениным стояла вся партия, за Дзержинским вся ВЧК, за Сталиным сильная часть партии и даже за Зиновьевым в Петербурге была довольно крепкая группа лично ему преданных “зиновьевцев”, за Троцким была пустота. Дара водительства у Троцкого не было. В недрах большевиков Троцкий не свой, у него нет ни друзей, ни последователей. В массах, где когда-то Троцкий имел популярность, он ее сам давно потопил в крови расстрелов. В партии за Троцкого была лишь часть интеллигенции и одиночные военные, лично им выдвинутые, да группа чекистов, подобных Павлуновскому. Чтобы сыграть роль, этих сил было слишком мало. И в итоге оказалось, что все свои рулады Троцкий пропел соло, с закрытыми глазами, как глухарь на току.

Так, пролетев по большевицкому небу фейерверочной ракетой, с шумом, с треском, пальбой, Троцкий все снижался и потухал. Наконец, перелетев границы России, ракета с шипением упала в воды у Принцевых островов и потухла.

ЗИНОВЬЕВ

В первый раз я увидал Зиновьева в 1917 году в Совете рабочих депутатов, когда он произносил речь. Среднего роста, плотный, ожирелый, с откинутой назад вьющейся восточной шевелюрой, Зиновьев не говорил, а кричал необычайно пронзительным фальцетом. Легкость речи его была удивительна. Казалось, Зиновьев может так говорить часами, днями, неделями. Охваченный ораторским жаром, иногда он казался на трибуне даже эффектным. Во всяком случае производил впечатление и темпераментного, и убежденного человека.

Позднее, когда мне пришлось встречать Зиновьева в кругу видных питерских большевиков, я замечал, что очень многие (например, Стучка, Крестинский, Коллонтай) к этому "убежденному большевику" относятся не только без всякого пиетета, но и с плохо скрываемым раздраженным неуважением. При разговорах с этими людьми о Зиновьеве часто приходилось видеть брезгливое пожимание плечами, иногда с добавлением "нечистый человек".

Но таково отношение к Зиновьеву было только в головке питерских большевиков, в широких же слоях партии и среди революционно настроенных рабочих Зиновьев пользовался тогда несомненным большим влиянием, и все его выступления проходили неизменно с шумным успехом.

Речи Зиновьева были совсем непохожи на речи Ленина и Троцкого. Ленин вообще не обладал ораторским дарованием, к тому же Ленину всегда была нужна аудитория, которая к его идеям была хотя бы минимальна подготовлена. Не рассчитаны на последние ряды галерки бывали и речи Троцкого. Речи же Зиновьева были как раз для галерки. Зиновьев был демагогом черни.

Рассказывают, когда Ленин задолго до революции на эмигрантском собрании впервые услыхал визгливый фальцет произносившего речь Зиновьева, он сразу же обратил внимание на экспансивного молодого человека и приблизил его к себе как могущего стать "первоклассным агитатором". С тех пор близость Зиновьева к Ленину никогда не прерывалась. А после октябрьской революции именно Ленин выдвинул Зиновьева на руководящий пост в Петербурге, где с отъездом Совнаркома в Москву Зиновьев стал полновластным диктатором Петрокоммуны.

Для определения размеров власти Зиновьева в Петрограде надо сказать о том, какими учреждениями осуществлялась тогда вообще власть большевиков в революционной столице. Тогда в

Петрограде было три сорта коммунистических учреждений, олицетворяющих власть.

Первым был Совет рабочих депутатов, деливший Петроград на районы (Нарвский, Спасский, Василеостровский и другие, соответственно прежним полицейским частям). В районах действовали районные советы. Разумеется, компетенция их никаким законодательством ограничена не была, и советы занимались всем, чем хотели: реквизицией зданий, мобилизацией населения на работы, обложением налогами, арестами и прочим.

Впрочем, учреждением, олицетворяющим власть, была — партия, в лице Питерского комитета, имевшего также районные комитеты. Круг действий районных комитетов был аналогичен кругу действий районных советов; их функции почти всегда переплетались, создавая тем невообразимую неразбериху.

Третьей властью в столице был Совет народных комиссаров. Правда, название “народных”, по приказу из Москвы, очень скоро было отменено и питерские комиссары стали просто “комиссарами” Петрокоммуны. Деятельность этого наивысшего органа власти сплеталась тоже с деятельностью Совета депутатов и с работой комитета партии. И вся хаотичность работы этих учреждений триедино скреплялась только личностью Зиновьева, который в своем лице объединял все три учреждения. Зиновьев был председателем Совета комиссаров, председателем Совета рабочих депутатов и председателем Питерского комитета партии, являясь таким образом абсолютным диктатором Петрограда и Петроградской области.

В Смольном, в кабинете Зиновьева, сосредоточивалось все. Окружали Зиновьева следующие лица: комиссаром народного хозяйства был Молотов. Этому небольшому безличному человеку с плоским, невзрачным лицом в то время никто бы не предсказал его головокружительной карьеры. На больших собраниях сильно заикавшийся Молотов не выступал. Собственных идей не имел, за исключением одной. Молотов носился тогда с идеей “всеучета”. И надо сказать, в этой “гениальной идее” было что-то от “идей” капитана Лебядкина. Молотов хотел “учесть в России решительно все”, от запасов сырья, оборудования фабрик, транспорта, военного снаряжения до площади квартир и всей “движимости”, имеющейся на руках всего населения. В его предложениях идея “всеучета” приобретала настолько юмористический характер, что Зиновьев всегда снимал ее с обсуждения.

Комиссариат внутренних дел Зиновьев отдал одной из своих жен — г-же Равич. Говорят, что в частной жизни Зиновьев был хорошим семьянином. Во всяком случае, придя к власти, Зиновьев сразу же позаботился о постах для своих обеих жен.

Правда, “сексапильная” дама, г-жа Равич, делами своего комиссариата почти не занималась, да, вероятно, и не имела к этому данных, зато большую роль она играла в Питерском комитете партии, где была секретарем и, так сказать, верным “оком и ухом” своего мужа.

Своей первой жене, престарелой Лилиной, Зиновьев отдал комиссариат социального обеспечения. В противоположность Равич, Лилина была антипатичной увядшей женщиной лет пятидесяти пяти, чрезвычайно желчной и раздражительной. Административных дарований у нее было не больше, чем у второй жены, но она была старым партийным работником, а потому имела вес и сама по себе и в особенности как жена Зиновьева.

Комиссаром городского хозяйства (должность в те времена глубоко номинальная) был М.И.Калинин. Ввиду его дальнейшей карьеры на нем хочется остановиться. Тогда в продолжение двух лет я чрезвычайно часто встречался с Калининым. В Совете комиссаров, в Совете депутатов, в комитете партии, везде Калинин был абсолютно безгласен. Крайне невзрачного мужичка не замечал никто, и не по какой-нибудь злонамеренности, а просто потому, что его действительно нельзя было заметить, настолько сер и даже как-то несчастен был будущий президент Советского Союза. Зиновьев третировал Калинина как хотел и употреблял его только на единственное амплуа — если где-нибудь в городе возникал какой-нибудь конфликт, Калинин посылался туда, и опять-таки не из-за дипломатических способностей Калинина, а всецело из-за его декоративной крестьянской внешности. На ней-то Калинин, как известно, и сделал карьеру.

Зато человеком совсем другого склада был комиссар печати Володарский. Разбитной, наглый парень из портных, Володарский был весьма энергичен и к тому же недурной оратор. Среди своих он был всегда любитель анекдота и “душа общества”, во внешнем же мире появлялся как фигура крайне свирепая, и Зиновьев выбрал его, чтобы задушить печать.

Володарский создал “трибунал по делам печати”, председателем которого был назначен рабочий Зорин. Между Зориным, рабочим от станка, вовсе не желавшим никакого удушения печати, и Володарским, действительно душившим печать, вспыхивали частые раздоры, и всегда по одному и тому же поводу. Зорин ни за что не хотел соглашаться с “предрешенностью” приговоров трибунала. В Зорине жил еще призрак “свободы”, и на безапелляционные указания Володарского закрыть такую-то газету Зорин вспыхивал и кричал:

“Не буду закрывать! Если хочешь все закрыть, так и объяви, что все закрываешь!” Но в такие моменты в спор вмешивался Зиновьев, и все кончалось все-таки тем, что в трибунале Зорин объявлял очередной приговор о закрытии той или иной газеты.

Остальное окружение Зиновьева составляли — Урицкий, председатель ЧК, в распоряжении которого была так называемая “волчья сотня Урицкого”, с бору с сосенки набранный охлос, действовавший не только в столице, но и в прилегающих к Питеру районах; Луначарский, Залуцкий, Марков, Позерн, Бадаев и три левых с.-р. Из всех этих “министров” революционного Петрограда диктатор Зиновьев был самой колоритной фигурой. Иногда, глядя на Зиновьева, мне казалось, что в этом разжиревшем человеке с лицом провинциального тенора и с длинной гривой вьющихся волос проснулся какой-то древний восточный сатрап. В периоды опасности (октябрьская революция, восстание Кронштадта, наступление Юденича) Зиновьев превращался в дезориентированного, панического, но необычайно кровожадного труса. В периоды же спокойного властвования Зиновьев был неврастеничен, безалаберен и, в противоположность многим старым большевикам, не имевшим вкуса к плотским “прелестям жизни”, Зиновьев с большим удовольствием предавался всем земным радостям. Хорошо выпить, вкусно поесть, сладко полежать, съездить в театр к красивым актрисам, разыграть из себя вельможу и мецената — все это Зиновьев чрезвычайно любил и проделывал с большим аппетитом.

В то время как при Ленине в Петербурге частная сторона жизни комиссаров в Смольном была в полном небрежении, при Зиновьеве на нее сразу же было обращено сугубое внимание. По его личному распоряжению в Смольном стали даваться так называемые комиссарские обеды, которые не только уж на фоне революционного всеобщего недостатка, но и в мирное-то время могли считаться лукулловскими. Только когда в столице голод принял чрезвычайно сильные размеры, комиссары стали указывать Зиновьеву на неудобство в Смольном этого “гурманства” и “шика”. И Зиновьев приказал перенести комиссарские обеды в “Асторию”, гостиницу, целиком занятую коммунистической знатью, где подобные “отдыхи” могли проходить более незаметно.

Говоря о трусости Зиновьева, надо сказать, что в Смольном он ввел необычайную охрану. У входа в Смольный сидели бессменные пулеметчики за двумя пулеметами. Пропуска всех контролировались не только при входе в здание, но еще на каждом этаже. В смысле “охраны” был образцовый порядок. Зато

на заседаниях комиссаров у Зиновьева беспорядок достигал апогея. Митинговый демагог и мастер интриги, как организатор Зиновьев был очень слаб. Заседания Совета в Смольном происходили в бывших институтских классах, где попало, не имелось даже определенной комнаты. На заседаниях Зиновьев говорил очень мало, вел заседания безалаберно, протоколы составлялись уже после заседаний секретаршей Красиной (у Сталина попавшей в тюрьму). Одним словом, с педантической аккуратностью Ленина у Зиновьева не было ничего общего. Зиновьев был “на коне” только в демагогических выступлениях и в темноте интриг.

Зато как в демагогии, так и в интриге Зиновьев был мастер. От природы необычайно хитрый и ловкий, Зиновьев тут возвышался до большого мастерства. Особенно памятна мне игра Зиновьева с левыми эсерами накануне их восстания, когда на областном съезде большевиков и левых эсеров Зиновьев, ненавидевший левых эсеров и ждавший только случая перегрызть им горло, вдруг выступил с предложением увеличить число мест левых эсеров в Совете комиссаров и, в частности, назначить левого эсера Лапиера на место комиссара путей сообщения.

Этому предложению все комиссары-большевики были крайне удивлены. И на ближайшем заседании Совета комиссаров несколько из них подошли к Зиновьеву, спрашивая, что сей сон означает? Хитро улыбаясь, Зиновьев увел спрашивающих в свой кабинет, сообщив под величайшим секретом, что у него имеются сведения о готовящемся восстании левых эсеров, но что меры им уже приняты и он хочет только своим предложением усыпить бдительность левых эсеров.

Действительно, назначенное левыми эсерами выступление Зиновьев предупредил полным разгромом их штаба. В этот день ранним утром правая рука Зиновьева, комендант Петрограда, приехавший в Россию из Америки полубандит-полуанархист, действовавший под псевдонимом “Владимир Шатов”, уже оцепил Садовую улицу и с отрядами большевиков пошел “штурмом” на Пажеский корпус, где помещался штаб левых эсеров, причем штурму предшествовал обстрел здания из подвезенных орудий. Штаб левых эсеров был быстро взят, и Штейнберг, Лапиер и другие засевшие в корпусе левые эсеры бежали. Зиновьев потирал от удовольствия руки.

Но не только в отношении к врагам Зиновьев был беспощаден. В отношении к людям вообще в характере Зиновьева были преувеличенная подозрительность и недоверчивость. Зиновьев доверял только своим двум женам. Всех же других он мог выдвигать на видные места, но тут же и сбрасывать в

неизвестность. В отношении же врагов Зиновьев проявлял исключительную жестокость.

Разумеется, никто из вождей коммунизма не отличался ангельской добротой к “человеку”. Но жестокость их была разная. У Ленина она покоилась на полной безынтересности к людям вообще. Троцкий был жесток для жеста, для позы. В Зиновьеве же было что-то эмоционально-жестокое, я бы сказал даже, садистическое. В Петрограде именно он был вдохновителем террора.

Помню два случая. Однажды в августе 1919 года по делам службы я был в кабинете Зиновьева, когда туда пришел председатель петербургской ЧК Бакаев. Бакаев заговорил о деле, сильно волновавшем тогда всю головку питерских большевиков. Дело было в следующем. Одна пожилая женщина, старая большевичка, была арестована ЧК за то, что при свидании с знакомой арестованной “белогвардейкой” взяла от нее письмо, чтобы передать на волю. Письмо было перехвачено чекистами. Дело рассматривалось в ЧК, и вся коллегия во главе с Бакаевым высказалась против расстрела этой большевички, в прошлом имевшей тюрьму и ссылку. Но дело дошло до Зиновьева, и Зиновьев категорически высказался за расстрел.

В моем присутствии в кабинете Зиновьева меж ним и Бакаевым произошел крупный разговор. Бакаев говорил, что если Зиновьев будет настаивать на расстреле, то вся коллегия заявит об отставке. Зиновьев взъерепенился как никогда, он визжал, кричал, нервно бегал по кабинету и на угрозу Бакаева отставкой заявил, что если расстрела не будет, то Зиновьев прикажет расстрелять всю коллегию ЧК. Спор кончился победой Зиновьева и расстрелом арестованной женщины на Охтенском полигоне, где обычно расстреливали добровольцы-железнодорожники Ириновской дороги.

Другой случай таков. В дни наступления Юденича на Петроград в моем присутствии Зиновьеву однажды доложил “начальник внутренней обороны Петрограда” известный чекист Петерс, что чекистами пойман человек, вероятно белый, перешедший границу с целью шпионажа. Помню, как у Зиновьева вдруг как-то странно загорелись глаза и он заговорил отвратительной скороговоркой:

— Это прекрасно, прекрасно, вы его, товарищ Петере, пытните как следует, все жилы ему вымотайте, все, все из него вытяните.

Зиновьев в этот момент был необычайно отвратителен.

Но при всей своей хитрости, ловкости и мастерстве интриги, что-то все-таки помешало Зиновьеву вовремя разглядеть сложный

клубок партийных интриг, ведшихся в Москве вокруг заболевшего, сдававшего Ленина. Зиновьев промахнулся, недооценив силы Сталина. Мне запомнилась одна встреча этих людей.

Помню, летом 1919 года, между первым и вторым наступлением Юденича, в Смольный к Зиновьеву приехал из Москвы член Реввоенсовета Сталин для обсуждения вопросов, связанных с эвакуацией Петрограда. На это совещание я был вызван Зиновьевым, и вопросы эвакуации непосредственно касались моего ведомства.

Барственно и небрежно развалясь, Зиновьев сидел в массивном кресле, громко и резко говорил, страшно нервничал, то и дело откидывая со лба космы длинных волос. Сталин ходил по кабинету легкой кавказской походкой, не говоря ни слова. Его желтоватое, чуть тронутое оспой лицо выражало какую-то необычайную скуку, словно этому человеку все на свете давно опротивело. Только изредка он задавал односложные вопросы, и эта односложность и неясность позиции самого Сталина в вопросе об эвакуации Петрограда, на которой настаивал Зиновьев, последнего еще больше нервировала и горячила. Но Сталин так и промолчал все заседание, закончив его односложной репликой:

— Обдумаю и скажу, — и вышел от Зиновьева.

По уходе Сталина Зиновьев пришел в совершенно необузданное бешенство. Человек неврастенический, Зиновьев сейчас кричал и на Сталина, и на ЦК, который не мог прислать к нему никого другого, а “прислали этого ишака!” Этот сочный эпитет Зиновьев в своем бешенстве варьировал на все лады, разумеется не предполагая, что вот именно этот “ишак” после смерти Ленина и окажется самым сильным человеком в партии и через пятнадцать лет посадит Зиновьева в тюрьму как “белогвардейца” и “контрреволюционера”.

Зиновьев пал по той же причине, что и Троцкий. У обоих, по смерти Ленина, без его “поддерживающей руки”, самостоятельных сил не было.

Мои записи воспоминаний А.Д. Нагловского были напечатаны в “Современных записках” (кн. 61, 62). Но — я удивился — с сильными сокращениями. Через некоторое время удивление мое как будто разъяснилось. Как-то в помещении архива Николаевского я встретил М.В.Вишняка {члена редколлегии “Современных записок”). Мы не были знакомы. Борис Иванович познакомил нас. И вдруг Вишняк с места в карьер говорит: “Читал ваши записки воспоминаний Нагловского. В целом, конечно, небезынтересно (со снисхождением говорит!), но я нахожу, что *так писать* все-таки нельзя”. Я не понял. “Как?” —

говорю. — “Ну, некоторые места, по-моему, неудачны, ну, например, о Зиновьеве *так* все-таки писать нельзя.” Я как будто стал понимать. Но, чтоб уточнить, переспрашиваю: “О Зиновьеве? Да Зиновьев же самый настоящий прохвост…” — “Ну да, прохвост, но *так* все-таки писать нельзя..” На этом разговор как-то оборвался, Вишняк сел за стол работать.

Идя домой, я все думал, что это за притча такая? Завзятый антибольшевик, завзятый эсер, секретарь двухдневного Всероссийского Учредительного собрания, счастливо и случайно бежавший в Москве из-под большевицкого ареста и скрывшийся, М.В.Вишняк вдруг “запрещает” *так писать*. О ком? О настоящем кровавом мерзавце, большевике Зиновьеве!? Неужели, думаю, только потому, что Зиновьев — еврей (Радомысльский) и Вишняк, как еврей, считает, что подавать Зиновьева во всей его “красе и прелести” значит — “сеять антисемитизм”? Я знал, что и такая точка зрения существует. Но эту точку зрения считал и считаю *совершенно коронной.* Президент Израиля Вейцман был прав, сказав: “Разрешите и нам иметь своих мерзавцев”. Я всегда “разрешал”. Но теперь я догадывался, почему в “Современных записках” многое смягчили или опустили вовсе. Наверное, “надавил” Вишняк. Психологически Марк Вишняк был не похож на еврея Леонида Канегиссера, застрелившего омерзительного еврея-чекиста Моисея Урицкого. Позднее, в Америке в “Новом журнале” я напечатал воспоминания Нагловского полностью, добавив весьма поучительную главу “Воровский в Италии”. Поучительную потому, что эта глава рассказывает о наглых методах советского шпионажа в западных странах. Тогда в Италии у Воровского главой шпионажа был известный чекист Яков Фишман, бывший левый эсер, но после “покаянного письма” о своих “заблуждениях” дослужившийся в ВЧК до высоких постов.

Нищета и чудеса

В “Mémoires d'outre-tombe” Шатобриан подробно описывает, как он, будучи эмигрантом в Лондоне, голодал; “Голод меня пожирал; я сосал куски белья, которые мочил в воде; жевал траву, бумагу. Когда я проходил мимо булочных, мои страдания были ужасны. В один такой мучительный зимний день я как приросший простоял два часа перед магазином сухих фруктов и копченого мяса, глотая глазами все, что видел; я готов был съесть не только всю еду, но и упаковку, коробки, корзинки”.

В Париже я ни перед какими такими магазинами не стоял. Но мы с Олечкой достаточно хватили эмигрантской нищеты. В большом городе она начинается, когда не на что купить трамвайный билет. В дни этой бедности мы ели картошку и капусту, на это как-то хватало. За квартиру — не плачено за шесть месяцев. Это — привилегия парижан. В другом городе нас давно бы с полицией выкинули на улицу. А в Париже такая уж неписаная традиция: терпят. И правильно делают. В конце концов всегда приходит какое-то чудо (и домовладельцы не внакладе). Конечно, время было неприятное. Консьержка (стервистая, чахоточная) будто норовила прищемить тебя дверью, бросая полные презренья взгляды.

Все это происходило на рю де ля Конвансьон, 158. Но что это была за квартира! Одна (небольшая) комната. Посредине (почти всю ее занимал) высокий красно-полосатый пружинный матрац на двоих, накрытый покрывалом. Этот многоуважаемый матрац приобрели на блошином рынке. И Олечка долго возилась, пока вывела из него керосином клопов. Кроме матраца в углу стоял колченогий стол, около него два стула. В стену вделан шкаф (для белья, платья). Крохотная газовая кухонька (на двоих) примыкала к комнате. Все это — на пятом этаже, и если старенький, дребезжащий лифт отказывался вас поднимать, приходилось “идти ногами”. Вот за эту-то “квартиру” мы и не платили шесть месяцев.

За колченогим столом я писал “Дзержинского”, “Ораниенбург”, статьи для “Иллюстрированной России”, “Иллюстрированной жизни”, “Последних новостей”, “Современных записок”. За ним отделал рассказы гр. Л.Н.Воронцовой-Дашковой, Н.П.Саблина, А.Д. Нагловского.

Помню, зашел как-то в гости давний знакомый еще по Берлину, Давид Вениаминович Пружан. Мы встречались с ним у Станкевичей. Пружан — старый журналист, думский корреспондент “Биржевки” (“Биржевых ведомостей”) и в

Государственной Думе сидел в “черте оседлости”, как иронически называли в Думе места для журналистов. Во Франции жил под Парижем, на собственной ферме. Все было в порядке.

Ну, сидим, разговариваем. Вдруг Пружан говорит: “Гульчик, а хорошо бы чайку выпить!” (Меня он называл “Гульчик”, а жену — Олечка). — “Конечно, — отвечаю, — недурно бы, да трудновато”. Пружан как-то “остолбенел”: не понимает. Потом: “Как, — говорит, — *чаю нет?”* — “Вот именно”, — говорю я, смеясь. — “Да вы серьезно?” — наконец он поверил и вдруг как-то застеснялся, начал что-то мямлить и вскоре ушел. А наутро мы получаем пакет: чай, сахар, печенье.

Но не единым чаем жив человек. И когда стало совсем невтерпеж, мы пошли к моей двоюродной сестре Ляле (дочь дяди Анатолия) и рассказали, как и что. Ляля была добрейшей душой. Была она замужем за художником Эдуардом Мейером, сыном профессора Казанского университета, жили не Бог весть как, но не так, как мы. И тут же Ляля и Эдуард обязали нас ежедневно приходить к обеду и ужину. Так мы и начали ходить к ним на рю Лакретель Пролонжэ. Но вскоре нищету сменили *чудеса!*

Чудо первое произошло так. Стучат в дверь. Отворяю. Какая-то быстрейшая “пневматичка” от Александра Тимофеевича Руденко. Вызывает немедленно. Добрался. Александр Тимофеевич радостно жмет мне руку, улыбается: “Ну, ваши визы устроены, получите немедленно! Муте стал министром в кабинете Блюма. Я ему все рассказал. Он обещал позвонить министру внутренних дел Салангро, с которым хорош. Муте просит только, чтоб я вас завтра привез к нему в десять утра и вы ему все расскажете. Обещал дать письмо, с которым вы и поедете к этому самому мсье Бланшару”.

Как хорошо, что на свете, кроме стервистых консьержек, существуют еще Александры Тимофеевичи Руденки. Разумеется, в десять утра мы были уже у Мариуса Муте, ставшего “министром колоний” в новом правительстве. Муте был известен как “друг русской эмиграции”. Он произвел на меня чудесное впечатление: прост, приветлив. Я все рассказал о своих прошениях о визах и об отказах. Он ответил: “Будьте уверены, визы для вашей семьи вы немедленно получите. Я уже говорил с министром внутренних дел. Все в порядке. Через два дня езжайте в Сюртэ Женераль с моим письмом к вашему "другу", — Муте улыбнулся, — мсье Бланшару. И дайте мне знать о результате”.

Так первое “чудо” свершилось. Конечно, всякое чудо можно назвать какой угодно базаровской прозой: “стечением обстоятельств”, “простой случайностью”. Для меня это было “чудо”. “Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог”. Я не знал, как

благодарить А.Т.Руденко, а он только радостно отшучивался, говоря, что он тут совершенно ни при чем. Забегая вперед, скажу о трагической смерти лейтенанта запаса французской армии мэтра Александра Тимофеевича Руденко. Когда началась война с Гитлером, Руденко был мобилизован, ушел на фронт и был убит, пытаясь поднять свою роту в атаку на наступающих немцев. Увы, французская армия была в полнейшем разложении. И в атаку поднялся только француз, лейтенант запаса Александр Тимофеевич Руденко, которого и изрешетили немецкие пули. А рота, отступая, бежала в беспорядке, как вся французская армия, не желавшая сражаться.

Как сказал Муте, через два дня я приехал в Сюртэ Женераль с его письмом к мсье Бланшару. Боже мой, какой же он оказался очаровательный и любезный человек! И как это я не заметил этого раньше! Вероятно, раньше я “обознался”. Бланшар любезнейше сказал, что визы уже ушли во французское посольство в Берлине и моя семья может получить их, когда захочет. Мсье Бланшар даже проводил меня до двери. И так мило сказал: “Au revoir, monsieur Goul!”. Но никаких “оревуаров” я уж не хотел.

Я занял у Лели деньги на телеграмму в Фридрихсталь, чтоб перекинуть туда мое первое чудо. Нищета, конечно, еще продолжалась. Но через несколько дней и тут произошло “чудо”. В нашу “замечательную квартиру” раздался сильный стук в дверь в неурочное время. Отворяю. Срочный почтальон передает телеграмму из Лондона. Раскрываю: телеграмма в пятьдесят два слова! Читаю вслух, и оба не верим в читаемое. Да, конечно, отчаянье всегда худший выход из положения. Оказывается, в самых отчаянных положениях человек обязан надеяться на… *на чудо!* И оно придет в самой скромной одежде.

Этой телеграммой меня немедленно вызывали в Лондон на работу в фильме Марлен Дитрих, причем за баснословный (для меня!) гонорар. Телеграмма была от Лазаря Меерсона, который делал для этого фильма декорации. В ней говорилось, что режиссер фильма Жак Фейдер и “продюсер”, знаменитый фильмовый “тайкун” Александр Корда обязательно хотят меня в качестве “technical advisor”. И чтоб меньше чем на пятьдесят фунтов в неделю я не соглашался. Сие *повторялось трижды!* В Париже я немедленно должен ехать к представителю А.Корды Паллосу и подписать с ним контракт, чтоб не задерживаясь плыть в Лондон. Кончалась телеграмма: свяжись с Мэри, она все знает.

Но “связываться” с Мэри не было надобности. Через час в дверь квартиры опять раздался стук и почтальон передал “пневматик”. Мэри немедленно вызывала на Монпарнас, в кафе

“Дом”. Приезжаю “немедленно”. Мэри сидит на своем традиционном месте, улыбается. “Я, — говорит, — все знаю. Меерсон (она его всегда так называла) мне рассказал все по телефону, и вы, Роман, должны завтра же ехать к Паллосу”. Отвечаю, что, конечно, поеду, но пятьдесят фунтов в неделю (фунт стоял тогда очень высоко) я просто выговорить не смогу. “Не валяйте дурака! Требуйте пятьдесят фунтов! Меерсон говорит, что Фейдер прочел по-французски ваш роман и настаивает на вашем немедленном приезде. Только в таком виде скромного труженика" вы не можете ехать к Паллосу. Поедемте сейчас же ко мне, я вам дам прекрасный костюм Меерсона, рубаху, галстук, и тогда отправляйтесь за пятьюдесятью фунтами в неделю”.

Поехали с Мэри в их белую студию у парка Монсури. Меерсон был физически плохо сложен, и никакими костюмами эту нескладность было не скрыть. На мне же его костюмы были как по заказу, что невропата Лазаря даже приводило в раздраженье. “Почему мои костюмы на тебе сидят лучше, чем на мне, как на тебя шитые?” — “А это тайна природы”. Мэри вынула прекрасный сероватый какой-то “в диагональ” костюм, две “тонкие” рубахи от Диора и чудеснейший шерстяной серо-голубой галстук. Когда я все это взял, говорю: “Ну, это просто не на пятьдесят, а на все сто фунтов в неделю!”. Дала Мэри и денег на непредвиденные расходы. И в таком костюме я назавтра был уже у Паллоса возле Елисейских полей.

Очень было трудно мне выговорить эти самые “пятьдесят фунтов”. Я бы и за пять фунтов поехал с восторгом. Но телеграмма *требовала.* И ничего не поделаешь. Паллос, верткий делец, как и Корда венгерский еврей, встретил меня очень любезно, сразу сказав, что получил от Александра Корды телеграмму обо мне, по которой я должен работать в фильме как “technical advisor”. Паллос сказал, что контракт он уже приготовил, по которому мне дадут въездную и выездную визы, и спросил наконец, сколько же я хочу получать в неделю? Я выдавил из себя (вышло вполне естественно): “Ну, пятьдесят фунтов”. — “О, нет, мсье Гуль, это много, знаменитый Фернан Леже тоже сейчас работает у Корды в другом фильмы и получает двадцать фунтов в неделю”. Конечно, знаменитым художником Фернаном Леже Паллос меня несколько сбил, но не убил. “Нет, — говорю, — за такую сумму я поехать не могу”. — “Ну, я предлагаю вам двадцать пять фунтов”, — проговорил Паллос. “Господи, подумал я, да для меня это же целое состояние!”. Но голосом, которым я остался вполне доволен, сказал: “Нет, мсье Паллос, чтоб нам долго об этом не говорить, давайте подпишем

на сорок фунтов в неделю”. Довольно неожиданно для меня Паллос ответил: “Знаете, мсье Гуль, я предлагаю тридцать пять фунтов в неделю!” Тут уж я сопротивляться не мог (не могу “играть не свои роли”). И сказал: “Хорошо, пусть будет тридцать пять”. В мгновенье ока мы подписали контракт на два месяца, по тридцать пять фунтов в неделю. А проработал я шесть месяцев.

В нашей омерзительной “квартире” Олечка ждала меня в большом волнении. Когда я вошел: “Ну, как?” — бросилась ко мне. — “Тридцать пять фунтов в неделю!” — сказал я, обнял ее и расцеловал. — “Ну и очень хорошо!” — обрадовалась Олечка и смеялась, радостная, второму совершившемуся чуду. Нищета кончалась, и семья приезжает.

Взяв у Мэри деньги под будущий гонорар, мы расплатились с консьержкой за шесть неплаченных месяцев. И стервистая консьержка, получив чрезмерный “пурбуар”, сразу превратилась в херувима. Теперь она уж не только не норовила прищемить нас дверью, а широко открывала ее, говоря самые ласковые “бонжуры, бонсуары и комман т'аллэ ву”.

В Англии

Переправа через Ла-Манш была бурной. Газеты писали, что за пятьдесят лет в проливе не было такой бури, ибо дули “перпендикулярные” ветры-штормы (северо-южный и западно-восточный) и наше утлое судно трещало так, будто вот-вот развалится. Пассажиры лежали полумертвые, кто на койках, кто просто на полу. И только стюарды (чему я поражался) эквилибристически ходили среди пассажиров-трупов, помогая чем нужно. Но до Саутхэмптона мы все-таки дошли.

И вот я иду уже по Лондону, по Оксфорд-стрит. И меня охватывает необычайное чувство какой-то полной и странной уверенности во всем. Анархический Париж, бессмысленная толчея неврастенического Монпарнаса — позади. Я чувствую полное душевное отдохновение. “Английская почва” тверда, пряма, тут ты “никуда не оступишься, не провалишься”. Никто (как в Париже) тебя не толкнет, не заденет. В Лондоне (и во всей Англии, наверное) словно разлита разумность, ясность, доброжелательство.

В первые дни меня поразило “джентльменство” бриттов, увиденное “в пустяках”. Не зная английского, я разыскивал знакомого, написавшего адрес на клочке бумаги. Улицу, мне казалось, я нашел. Но дом с таким номером — хоть убей — не мог. Я стал приходить уж в отчаяние. Улица, как назло, пустынна. Вдруг вижу, по другой стороне идет какой-то средней руки англичанин. Я — к нему. Сказал, что английского не знаю, и показываю нужный мне адрес. Он добродушно смеется и говорит, что это не здесь. Далее он берет меня за локоть и с бумажкой в руке ведет совсем в противоположную сторону. Так, молча, мы прошли квартала два, он подвел меня к нужному дому, поднялся со мной по каменной лесенке к звонку, позвонил. И только когда входная дверь открылась, сдал меня на руки отворившей прислуге. Я благодарил, как мог. А он засмеялся и пожелал мне “гуд бай!” Если б это было в Париже, я почти наверное наткнулся бы на грубое ej'chais pas!”. На эти “шэ па” я нарывался не раз. Уличные французы почти всегда грубы и “погибающим” не заинтересуются. И в Германии этого доброжелательства к первому встречному не было.

Второй случай джентльменства среднего бритта был еще удивительней. Я заболел кашлем. Доктор что-то прописал. И я пошел в аптеку. Фармацевт стал мне объяснять, что у них этого лекарства нет (это я с грехом пополам понял). Но, вероятно, на моем лице было такое незнание, что мне делать, что фармацевт

вдруг вышел из-за прилавка, взял меня за руку, вывел на улицу и стал показывать на какую-то голубую вывеску (это я понял), говоря, что там это лекарство я наверное найду. Я пошел на голубую вывеску (полквартала) и увидел, что это тоже аптека. Вошел. Дал рецепт. И купил нужное. Внутренне я был поряжен тем, что аптекарь послал меня к своему конкуренту-аптекарю. И это было, конечно, джентльменство.

Меерсон жил в дорогой зеленой части Лондона — Хемпстеде, в чудесном особнячке. Платил очень много, потому что у Мэри и Лазаря обязательной нормой жизни был снобизм. Но в комфортабельном особнячке я переночевал только ночь. На следующий день милая шотландка, миссис Литтль (наша хорошая знакомая по Парижу) нашла мне в том же Хемпстеде на Александра-роуд дешевый пансион (крохотная комната с завтраком) у двух русских евреек, давно ставших лондонками.

Миссис Литтль была одинока, свободна и с удовольствием стала моим “опекуном” и гидом по всем достопримечательностям британской столицы. Конечно, мы были на разводе караулов у Сект-Джеймского дворца — видели этот подлинный “солдатский балет”. Посмотрели снаружи и Букингемский дворец. Были и в Сохо, во французском ресторане, и — на Пикадилли в каком-то фешенебельном отеле. Были, разумеется, и в Гайд-парке. Тут меня, “большого любителя свобод”, привлекли и ораторы — “поднимайся на возвышение и говори что хочешь!” — а тебя слушает окружающая каждого оратора небольшая, но все-таки толпа. Английского, повторяю, я не знал. С миссис Литтль говорили по-французски. Но “мой гид”, старая лондонка, все мои восторги “свободы” сразу разбила. “Мсье Гуль, — сказала она, — это все так только кажется: для туристов. На самом деле ораторы Гайд-парка — маньяки, охваченные какой-нибудь самой нелепой, а подчас даже дикой идеей, которую они приходят сюда "проповедовать" — “Но их же слушают? Стало быть, это не нелепо?” — “Ах, никто их не слушает, люди, окружающие ораторов, — преимущественно персонажи, заводящие в толпе "ненормальные знакомства"”. Так разбилась моя любовь к "свободе мысли и слова” в Гайд-парке.

Были мы, конечно, и в Британском музее, гуляли по берегу Темзы, заполненной разнообразными баржами, яхтами, кораблями. Были в старинном соборе Св. Павла. Только в Вестминстер почему-то не попали. Зато ездили в Оксфорд, Кембридж, Виндзор полюбоваться британской стариной колледжей и замка.

Разумеется, по приезде в Лондон мне надо было “одеться” соответственно с общением с такими людьми, как Жак Фейдер,

сэр Александр (Корда), Марлен Дитрих, Роберт Донат и прочие звезды и полузвезды экрана. Миссис Литтль, как истая шотландка, повезла меня “только в Скотч-хаус”. Там я и приобрел твидовые и нетвидовые костюмы, купил соответственные “моему обществу” пальто и шляпу. Вообще, с тридцатью пятью фунтами в неделю все обстояло легко. Иногда по делам фильма с шофером-англичанином я ехал по Лондону в комфортабельном “казенном” автомобиле “Лондон филмз продакшен компани”, вспоминая, что несколько дней тому назад в Париже у меня не было денег даже на трамвай. А вот еду по Лондону “заправским буржуем”.

Но приятные прогулки, поездки, завтраки, обеды с миссис Литтль были только по субботам и воскресеньям. Всю неделю я интересно работал в студиях Денама (Denham) в “Лондон филмз продакшен компани” в так называемом “британском Голливуде на Темзе”, который выстроил под Лондоном феноменальный делец Александр Корда на архимиллиарды знаменитой страховой компании “Пруденшел”.

Каждое утро после чудесного английского брекфаста (крепкий чай с молоком, яйца, поджареный бекон, теплый хлеб, масло, мед и прочие вкусности) я ждал у своего дома мистера Трендела. М-р Трендел оказался очень приятным господином. Истый англичанин, он называл себя “гражданином мира”, ибо долго живал в Европе. Свободно владел французским, и поэтому он был приставлен к Жаку Фейдеру (говорившему по-английски плоховато). На съемках Трендел ни на шаг не отходил от своего патрона. За мной Трендел приезжал в крохотном красном автомобильчике для двоих, и мы, выехав из столицы, неслись в потоке машин в Денам.

Часто на этом шоссе все машины перекрывал будто по воздуху несшийся черный громадный блестящий роллс-ройс. Это Марлен Дитрих на своей, привезенной из Америки машине, со своим же шофером (тоже во всем черном) мчалась в Денам на съемки “Knight without armor”. За ее участие в этом фильме Корда должен был уплатить не менее не более как триста пятьдесят тысяч долларов. Гонорар неслыханный, но, по рассказам Трендела, сто тысяч долларов Корда так ей и не доплатил, что вполне было в нравах этого фильмового “тайкуна”.

Трендел был очень разговорчивым, симпатичным человеком, и отношения у нас установились дружеские. Он постоянно рассказывал мне всякие истории о том, как умен, ловок и деловит Александр Корда, бедный венгерский еврей по фамилии Кельнер, ставший мировым фильмовым воротилой. Теперь он “дружил” и с Уинстоном Черчиллем, у которого, зная заранее, что не будет “крутить” такой фильм, все-таки купил права на “Лайф оф

Мальборо”, и нуждавшийся тогда в деньгах Черчилль “тайно” даже писал соответственный скрипт за десять тысяч долларов. Дружил Корда и с Уэллсом, сына которого взял в Денам художником, помощником Меерсона; и с лордом Бивербруком, и с Робертом Шервудом, не говоря уж о фильмовых “звездах”: Лоуренс Оливье, Чарлз Лоутон, Ральф Ричардсон, Вивьен Ли, Мерль Оберон и другие. Так никому не ведомый Александр Кельнер стал не только легендарным фильмовым “тайкуном”, знаменитым Александром Кордой, но был возведен и в рыцарское достоинство со званием “сэра”: сэр Александр.

В Denham

Свою работу в Денам я начал со знакомства с Жаком Фейдером (Feyder), только что прогремевшим постановками — “Ле гран же” и “Кермесе эроик”. Я сразу увидел, что Фейдер — симпатичный человек (настоящая фамилия его — Фредерике, по рождению он был бельгиец). Я как-то спросил его: “А вы знаете, что при русском царском дворе был некий Фредерике? Даже министр двора…”, Фейдер рассмеялся: “Знаю, знаю, говорят, большой был осел…”. Фейдер был артист до мозга костей. По виду — страшно худ, бледен, очень живой, говорил, сопровождая сказанное чрезвычайно характерными жестами. Встретил он меня радостно, предупредив, что у меня будет много работы, потому что он не хочет, чтоб его “высмеяли в Польше”. В Польше тогда шли европейские фильмы, и поляки, конечно, поняли бы и высмеяли всякую русскую “развесистую клюкву”. А “Knight without armor” — был из русской жизни, из времен революции. Я клятвенно обещал, что полякам “его фильм высмеять не удастся”, за это ручаюсь.

Рассказал Фейдер, как произошло мое “чудо” — приглашение в “технические советники”. Известная французская драматическая артистка, долго выступавшая в Комеди Франсез, Франсуаз Розе, жена Фейдера, выслала мужу из Парижа несколько “нужных для его фильма книг”. И среди них был мой “Азеф” по-французски, изданный у Галлимара под заглавием “Lanceurs de bombes” (“Бомбометатели”). Но по недосмотру издательства на титульном листе было напечатано “перевод с немецкого”. Помню, я поехал тогда к Галлимару, чтоб “устроить скандал”, требуя перепечатать титульный лист. Но милейший Брис Паррэн, тогдашний директор издательства, свободно говоривший по-русски (женатый на русской — Челпановой, дочери известного московского профессора), уломал меня всякими “вескими” доводами. Перевод на французский Н.Гутермана был очень хорош, и Фейдер, прочтя книгу, как он говорил, “залпом”, пошел тут же с “Азефом” к Меерсону, сказав: “Лазарь, вот этого немца я обязательно хочу достать как “техникал адвайзора”. Взяв книгу, Меерсон залился смехом (по рассказу Фейдера): “Да это же вовсе не немец, а русский, мой друг, которого мы немедленно можем вызвать телеграммой”. Я был в восторге! — говорил Фейдер, — и мы, с согласия Корды, послали вам телеграмму. Это и была телеграмма в пятьдесят два слова с требованием “не соглашаться меньше чем на пятьдесят фунтов в неделю”.

В первый же день Фейдер повел меня “представиться” Александру Корде. Корда произвел выгодное впечатление. Очень высокий, худой, умное, “неординарное” лицо, дорого-небрежно одетый, прекрасно говорил по-французски. Сказал мне все “нужные аншантэ”, выразив уверенность, что я буду прекрасным “техническим советником”. Мы долго не задерживали миллионера-тайкуна, который, как говорил мне Фейдер, на постановку “Knight without armor” получил не более не менее как три миллиона фунтов стерлингов. Цифра по тем временам астрономическая. И мне, конечно, нужно было настаивать на пятидесяти фунтах в неделю, которые я без сомненья и получил бы, ибо эти миллионы (как я увидел за шесть месяцев работы) расхищались как попало.

Фильм “Knight without armor” ставили по роману английского писателя Джемса Хилтона. Сюжет из времен русской революции. Была в нем, конечно, и “графиня Александра” (Марлен Дитрих), и ее отец, министр внутренних дел, на которого покушаются террористы (копия с убийства Плеве из романа “Азеф”). Но министр (по ходу сценария) был только ранен. Лошади же были убиты. Откуда-то достали четырех кляч и убили для съемок. Этих кляч мне было жаль.

Меерсону было раздолье: он строил и дворянскую усадьбу по фотографии знаменитого именья Юсуповых “Архангельское”; и русский уездный городок; и русскую железнодорожную станцию. Все это влетало в большую копеечку, но на миллионы “Пруденшел” можно было порезвиться. На съемках — сцены переигрывались десятки раз. И на это никто не обращал внимания.

Я был должен следить за правильностью костюмов отдельных актеров и революционной толпы, громящей именье “графини Александры”. Для большевицкого комиссара Олечка прислала экстренно из Парижа выкройку “толстовки”, так как Фейдер обязательно хотел обрядить именно в нее большевика-комиссара. В те годы (1936) люди не носили бород и бакенбардов, ходили бритые, и студийные парикмахеры пришли в замешательство с “русскими” бородами и усами. Для сего я достал книгу портретов членов четырех русских Государственных Дум. Теперь парикмахеры были в полном восторге, преображая строгость английских лиц русскими бородами, усами, а иногда и бакенбардами. Для форм Белой армии я экстренно выписал из Парижа от моего друга-однополчанина (корниловца) Димы Возовика его превосходный альбом фотографий Белой армии. Ему, конечно, за это хорошо заплатили. И как только я раскрыл альбом перед Фейдером, он, увидев первым генерала Врангеля в

черкеске, тут же ткнул в него пальцем, сказав: “Непременно хочу, чтоб было вот это! Что это такое?” Я объяснил, и черкески были сшиты. Понравилась Фейдеру и корниловская форма — черная с белым кантом и шевроном на рукаве “череп и кости”. Я работал с увлечением, Фейдеру моя работа нравилась, он чувствовал, что теперь его *уж* никак не “высмеют в Польше”. И от парикмахеров я переходил к студийным портным, через Трендела объясняя, что тут изображено на фотографиях. Портные понимали с полуслова. Часть грабящих имение “графини Александры” я одел в матросскую форму с надписью на околышах “Аврора”. Вообще все шло гладко и интересно. С Фейдером мы очень подружились.

С Марлен Дитрих я познакомился в первые же дни, в студийном ресторане за завтраком. Фейдер представил меня Марлен. Надо отдать справедливость: первая женщина в мире, надевшая мужские штаны, была интересна. Она была одета элегантно: в какую-то полумужскую куртку цвета “беж” и в такие же заглаженные складкой штаны. В разговоре (свободно говорила по-французски) была проста особой простотой знаменитости. С ней сидела русская девушка, эмигрантка Тамара Матуль, которую я знал по Парижу. Отец ее был московский купец (немецкого происхождения). Я встречал их у общих знакомых (тоже бывших московских купцов Ильвовских). Я поздоровался и с Тамарой. Сказали какие-то незначительные слова. Тамара — бледная, с большими темными глазами, производила странное впечатление. Начала она в Париже с кордебалета, но дело не шло, пока не встретила Марлен, которая к ней глубоко привязалась и взяла под свою опеку. Вскоре Тамара вышла замуж за первого “законного” мужа Марлен — за Руди Зибера. Газеты писали об “интимном квартете” — Марлен, Тамара, Руди и фон Штернберг. Но длительно такой супербогемной жизни Тамара, вероятно, выдержать не могла. Она сошла с ума и скончалась в доме для умалишенных.

На Рождество Марлен сделала подарки всем сотрудникам фильма, от Фейдера (дорожный несессер) до последнего рабочего студии. Я получил прекрасный бумажник светлой свиной кожи, который служил мне долгие годы. К костюмам Марлен меня не подпускали, Фейдер выписал из Парижа своего приятеля художника Бенда, но, увы, русских сарафанов и прочего он, естественно, не знал, и Марлен часто отказывалась от сшитых по его рисунку нарядов. Но знаменитые ноги Марлен я все-таки видел не раз. Это было в студии, в сцене, изображавшей Марлен в первый день, когда она “пе- ребежала” к белым. Фейдер зачем-то вызвал меня (для какой-то точности). Марлен, по ходу действия, должна была мыть ноги. В фильме за три миллиона фунтов

стерлингов и с гонораром Марлен в 350 000 долларов надо *же* было (и не раз, а много раз!) показать ее “знаменитые ноги”, до которых кинозритель был так охоч. Скажу по правде, в натуре “знаменитые ноги” меня несколько разочаровали: да, они были прекрасны, стройные, длинные, прямые, но ступня — большая, немецкая. И потому всегда надевалась обувь на очень высоком каблуке, чтобы скрыть величину ступни. Это было не так легко.

А как в разговоре со мной ругался Фейдер, когда выяснилось, что Марлен запрещала снимать ее в профиль (профиль был нехорош), нефотогеничен, как говорится. И когда лицо Марлен попадало на пленку в профиль, это немедленно вырезалось. Снимать можно было только “ан труа кар” или “анфас”. Конечно, режиссеру это было трудновато, и в разговоре со мной Фейдер чертыхался и ругался самыми “камброновскими” словами.

Столь же претендателен был и партнер Марлен — молодой англичанин Роберт Донат, которого неизвестно почему выдвигал Корда. Как-то он вызвал меня для примерки русского полушубка. Перед зеркалом он пробовал его надевать и так и сяк: и открыто, и полуоткрыто, и застегнутым. Глядя на него, я думал: “Ну, настоящая баба!” А снимать Доната тоже полагалось только при каких-то определенных поворотах головы. Остальное вырезалось. Но ведь все так называемой “искусство кино” — тут-то за шесть месяцев я убедился в этом воочию — с подлинным искусством если и имеет, то самую отдаленную общность. В большинстве это чистейший “кич”, почти всегда полухалтура или просто халтура для одурения “массового кинозрителя”, с подыгрыванием под его вкусы. Исключения единичны.

Подлинный художник, Фейдер, разумеется, понимал это еще лучше меня, но… три миллиона фунтов — сила притягательная, а он тянул из них весьма большую толику. Сам говорил, что во Франции “скрутил” бы этот фильм в два месяца. А тут “крутил”, слава Богу, — целых шесть!

При студиях в Денам было два ресторана. Один — для высших персон и дорогой, другой — общий кафетерий. Я ел и там и сям. Как-то Меерсон позвал меня позавтракать со знаменитым Чарльзом Лоутоном (Lauthon), прославившимся всемирно и прославившим Корду в фильме “Частная жизнь Генриха VIII”. Лоутон, по-моему, был гениальный актер и собеседник очень интересный. По-французски говорил, как подлинный парижанин. Меерсон сказал, что в молодости Лоутон целый год играл в “Комеди Франсез”. Грузный, обрюзгший, некрасивый, толстый, рыжеватый, с неправильными чертами лица, он ел и пил много и без умолку рассказывал всякие смешные и интересные вещи. О его интимной жизни говорили всевозможные свинства, вероятно,

так это и было. Мне особенно нравился Лоутон в роли Генриха VIII, когда он ест курицу руками. Это было сделано артистически и запомнилось.

У Стивена Грэма

Через несколько дней я был у Стивена Грэма (Stephen Graham), редактора-издателя моего "Азефа" по-английски, и в разговоре упомянул о фильме "Генрих VIII", Грэм с омерзением меня перебил: "Это — гнусная и вульгарная карикатура Корды и его компании на нашу британскую историю". Я тут же прекратил всякий разговор на эту тему, поняв что я, как русский, не почувствовал той "развесистой клюквы", которую не чувствуют (и любят!) иностранцы в фильмах на русские темы. Грэм был известный автор исторических исследований и романов. Писал он и на русские темы, написал книги о Петре I и об Иоанне Грозном. По-русски он говорил почти свободно, с легким акцентом. Было ему лет за пятьдесят. По типу — истый англосакс: очень высокий, худой, как будто небрежно, но хорошо одет. Жил на 60, Фрис-стрит, Сохо-сквер. Пригласил он меня завтракать, и ели мы курицу, которую он сам зажарил в камине на вертеле, в своей старой квартире, заваленной книгами и увешанной картинами. До этого мы переписывались. Личное знакомство было приятно. Кстати, вспоминаю. Через десять лет (после войны) я приехал в Лондон уже как турист и решил узнать, жив ли Стивен Грэм. Развернул телефонную книгу: тот же телефон, тот же адрес. Позвонил. Услышал голос Грэма: "Хэлло!". Назвал себя, и он тут же пригласил меня опять на завтрак. Но когда в условленный час я подошел к его дому, я был поражен: угол дома как бритвой был отсечен. Но квартира Грэма каким-то чудом была не тронута. Грэм был тот же, только больше седины. Он познакомил меня со своей секретаршей-сербкой. В русской речи Грэма появилось много сербизмов. Как только я вошел в его старинный кабинет с камином, я спросил — бомбой ли разбита другая часть его дома? Грэм подтвердил. И тут же поразил меня как громом. Медленно расставляя слова, он сказал: "Какая жалость, что Гитлер не победил". Как громом, потому что я ненавидел Гитлера и, как все в Европе, был рад его разгрому. У меня мелькнуло: вот, наверное, единственный во всем разбомбленном Лондоне англичанин, не радующийся своей победе. Заметив мою "остолбенелость", Грэм сказал: "Жалость, потому что Сталин хуже и опаснее Гитлера". Я не нашелся, что ответить. Но сейчас — в 1984 году (когда Сталин — Хрущев — Брежнев — Андропов — Черненко поставили мир на край страшной ядерной гибели) — слова Грэма представляются провиденциальными. Говорят, у американского генерала Патона в конце Второй мировой войны была правильная мысль — после нацистского Берлина покончить и с тоталитарной Москвой. Но

куда тут! Вокруг больного Рузвельта поднялось такое кликушество и кудахтанье либералов, прессы, радио, что об этом и думать было нечего. Наоборот, в презренной и политически глупо-недальновидной Ялте “дяде Джо” отдали на пытку три прибалтийских государства, Польшу, Восточную Германию, а позднее — Венгрию и Чехословакию. Рузвельт даже пробовал рекомендовать представителю Норвегии Трюгве Ли — “уступить Сталину какой-то там кусочек норвежской земли”, который так хотелось приобрести “дяде Джо”. Но даже левый Трюгве Ли этим возмутился. И “кусочек” остался неуступленным.

Рассказы Трендела

А сейчас я возвращаюсь к нашим утренним поездкам в Денам с Тренделом на веселеньком красном автомобильчике. Трендел молчалив не был, всегда рассказывал что-нибудь интересное, остроумное. Как-то рассказал об остроумии Уинстона Черчилля. На каком-то дипломатическом рауте, когда гости откушали, — начались танцы. В модном танце пошел по залу и лидер лейбористов Бевин (A.Bevan). Бевин был некрасив, толст и, вероятно, неловок в танцевании. И какая-то дипломатическая дама обратилась к Черчиллю: “Скажите, сэр Уинстон, как называется этот танец, что танцует мистер Бевин?” — “Лейбор мувмент”, — без раздумья ответил Черчилль.

Когда я рассказал Тренделу, что мисс Литтль показала мне в Челси дом, на котором была мемориальная доска: “В этом доме жил известный драматург и острослов Оскар Уайльд”, — Трендел удивился: “В Челси? Да я там живу десятки лет в двух шагах и никогда не замечал никакой доски. Уверен, что и из соседей о ней никто не знает. Мы, англичане, народ спортивный и на “мемориалы” мало обращаем внимания. — Потом, помолчав, спросил: — А вы читали в “Candide” воспоминания какого-то его приятеля о жизни Уайльда в Париже, там было много занятного”. — “Нет”. — “Я расскажу вам, что помню”.

“Известно, что жизнь Уайльда в Париже была нищенская. Пьесы его не шли. Многие его сторонились. И дойдя до полного отчаянья, Уайльд решил кончить жизнь самоубийством. Но как? Ночью броситься в Сену с моста Мирабо. Ночь. Отчаявшийся Уайльд идет по плохо освещенному мосту, но на средине его ему почудилась какая-то фигура, стоявшая у самого парапета. Уайльд подошел к человеку, участливо спросил: "Etes vous aussi un désespère?" — "Non, monsieur, — сказала фигура, — je suis un coffeur". Неожиданный ответ сорвал все отчаяние Уайльда”.

Вспоминая мост Мирабо, недалеко от которого мы жили, в его полуночной темноте и тишине, мне всегда приходит на память стихотворение Гийома Аполлинера (Костровицкого):

Sous le Pont Mirabeau
Coule la Seine
Et mes amours…

Другой рассказ Трендела из “Candide”. Жил Уайльд недалеко от церкви Сен-Жермэн-де-Пре, на улице де Боз Ар в паршивеньком отеле, на котором все-таки — для рекламы, наверное, — теперь была прибита дощечка: “Здесь жил известный английский драматург Оскар Уайльд”. Я это знал, ибо рядом

было “Литературное агентство” Марка Слонима: эсер, самый молодой член Учредительного собрания (от Одессы), литературный критик, впоследствии профессор русской литературы в Америке, Слоним был настоящий делец. И вел свои дела прекрасно. Он продавал русские книги для переводов на иностранные языки. Продал издательству Берже-Левро мою книгу о вождях Красной армии, “Тухачевского” — издательству Мальфэр, в Испанию продал “Азефа” издательству “Zevs Editorial”, Madrid, в Швецию “Вождей Красной армии” издательству “Siderstrom”. И когда я пришел получать присланный аванс за испанского “Азефа” — двести пятьдесят франков (ничего кроме “авансов” иностранные издательства и не платили, так называемые “роялти” оставались только в договорах), у Слонима я столкнулся с Н.А. Бердяевым, тоже пришедшим получать аванс от испанцев за свою замечательную “Философию неравенства”. Но его аванс был всего в двести франков. Так что, когда я вошел в нашу “квартиру”, радостный, что у меня в кармане двести пятьдесят франков, я, смеясь, сказал Олечке: “Знаешь, Испания ценит меня гораздо выше Бердяева! Я его перешиб на целых пятьдесят франков!”

Еще рассказал Трендел о том, как навестивший Уайльда в Париже какой-то его друг подарил ему золотой луидор. Для нищего Уайльда это было целое состояние. Но на грех в тот же день почтальон принес Уайльду заказное письмо. И, взяв его, Уайльд по привычке начал шарить в карманах мелочь, чтобы дать на чай. Увы, в карманах ничего, кроме золотого луидора, не было. И Уайльд дал луидор “на чай” обомлевшему почтальону, поразившемуся, вероятно, щедростью богатого барина. Уайльд же, как и до луидора, остался нищим, но “джентльменом”.

Рассказал Трендел и о сыне Уайльда — Вивьене. Сидел Трендел с компанией в Сохо во французском ресторане. За соседнем столом — Вивьен с компанией. Вдруг в дверь входит пожилой человек, делает несколько шагов в их сторону, но, увидев Вивьена, круто поворачивается к двери, чтоб быстро уйти.

— Эй, ты, старикашка! — закричал Вивьен, — куда же ты уходишь?! Иди к нам, сюда! Ведь если б ты не предал моего отца, ты бы мог быть моей матерью!

Это, оказывается, был престарелый лорд Дуглас, друг Уайльда, во время процесса ведший себя не по-джентльменски.

Когда я во время поездки как-то рассказал Тренделу об удивившем меня джентльменстве среднего англичанина (про человека, нашедшего мне нужный адрес, и об аптекаре, пославшем меня к своему конкуренту), Трендел в особый восторг не пришел, сказав: “Да, это здесь бывает. Но есть и другое, вот

моя подруга, с которой я живу уже двадцать лет, до сих пор не может забыть, как в детстве и юности отец бил ее башмаком по голове… отец был сапожник. И это не единичный случай. Среди англичан есть люди весьма мрачные и жестокие. Вы заходили когда-нибудь в пабы?” — “Заходил, — ответил я, — и в сравнении с парижскими бистро и немецкими пивными был поражен, что в них "пьют молча"”. — “Да, да, верно, это вот и есть те самые, которые бьют детей "башмаком по голове"”.

Так, в разговорах, мы и приезжали в Денам. Трендел шел к Фейдеру. Я по своим делам “советника”. Однажды мое “советничество” было совершенно непредвиденным. Меерсон сказал, меня разыскивает композитор Миклош Рожэс (Miklos Rozsas), пишущий для “Рыцаря без доспехов” музыку. И действительно, в студию Меерсона пришел этот Миклош Рожэс, впоследствии сделавший, кажется, карьеру в Голливуде. Это был скромный молодой человек, как и Корда, венгерский еврей, приятного вида, застенчивый. Он объяснил мне, в чем дело. Он должен из русских мелодий сделать музыку, подходящую для фильма, но мелодий этих он не знает. Рожэс говорил по-французски, и мы могли хорошо сговориться.

Мсье Гуль, — говорил он, — можете ли вы мне напеть подходящие сюжету фильма мелодии?

Напеть мне трудновато, — ответил я, — но если здесь есть где-нибудь пианино, я наиграю вам эти мелодии, нот я не знаю, играю по слуху.

Рожэс обрадовался, говоря, что для него это даже лучше, и мы пошли в какую-то комнату, где был рояль.

Я предложил ему, во-первых, для сцен с министром внутренних дел (и вообще для начала фильма) — гимн “Боже, царя храни”. Сыграл ему кое-как. И Рожэс тут же записал мелодию на нотной бумаге. Для революции я предложил революционную песню “Смело, товарищи, в ногу” (ему тоже понравилось). Но как главную мелодию фильма я предложил “Эх, яблочко, куда котишься”. Это ему особенно понравилось. Он был в восторге. И я был удивлен, как каждую мелодию по слуху он тут же заменял превосходной аранжировкой, будто перед ним лежали ноты. Из “Яблочка” он сделал всевозможные вариации и решил провести эту мелодии сквозь весь фильм. Играя свои аранжировки и вариации, Рожэс показал себя в полном блеске музыкального дара. Тут же он записал всё на нотной бумаге. И за все “напевы” нещадно благодарил, говоря, как я его выручил. Эта музыка и прошла в фильме.

В тот день меня рвали — то тот, то другой. Фейдер настиг меня с большой фотографией, где были русские дореволюционные городовые. “Тут все понятно, но что *это* такое?” — тыкал он пальцем в башлыки. Я объяснил, что в Западной Европе это не носят, нет нужды. А России носят башлыки от холода. — “Так вот я их обязательно хочу иметь!” — “Чтоб не высмеяли в Польше? — пошутил я. — Хорошо, я их вам

сделаю”. И в тот же день пошло экстренное письмо Олечке в Париж, и в ответ она (тоже экстренно!) прислала полный рисунок башлыка и выкройку. Фейдер был удовлетворен. И в сцене покушения террористов на министра внутренних дел городовые у нас фигурировали в башлыках, точь-в-точь “как в натуре”.

После этого меня настиг Меерсон. Ему надо было сделать внутренность крестьянской избы, которой он никогда не видал. Я ему все рассказал: появилась на рисунке и печь с полатями, и божница с иконами, и лавки, и стол. Но вот “зыбку” Меерсон долго не мог понять, а я уверял, что для колорита крестьянской избы “зыбка” необходима. И “зыбка” родилась, на подвесочках, покачиваясь из стороны в сторону, как с ребенком.

За завтраком Фейдер был особенно весел: вечером приезжала на два дня Франсуаз Розе. Это был крепкий, хороший брак, у них было трое детей, о которых Фейдер как-то сказал: “Я не хочу, чтобы они стали актерами, пусть будут директорами банков, какими-нибудь чиновниками в министерстве иностранных дел…” Потом, помолчав и улыбнувшись, Фейдер спросил: “А знаете, что Франсуаз делает первым делом, когда приезжает ко мне в Лондон?” — “Нет, что?” — “Прежде всего, — улыбаясь говорил Фейдер, — она дает мне две пощечины…” — “Почему?” — удивился я. — “Да потому, — сказал он, смеясь, — что она же знает, что в ее отсутствие я обязательно сделаю какие-нибудь "глупости с женщинами"”…

Как режиссер, как “показывальщик” актеру, что и *как* нужно играть, Фейдер был исключителен. Помню самую простую сцену: горничная должна пройти по ресторанной комнате, заполненной “белыми офицерами”. Какая-то маленькая актриса, игравшая горничную, взяла и прошла. И вдруг Фейдер пришел в бешенство. “Да разве так горничная проходит через комнату, переполненную молодыми мужчинами?!” — кричал он. Бедная актриса растерялась: ну, прошла и прошла. — “Вот я сейчас вам покажу, как горничная должна пройти!” И худой Фейдер прошел по залу, “как горничная”, подвиливая задом, кокетливо глядя по сторонам, выпятив грудь. Это было настолько сногсшибательно артистично и психологически верно, что все присутствующие разразились овацией. И бедную актрисенку-горничную Фейдер заставил пройти так четыре-пять раз, пока она не “восчувствовала” эту бессловесную роль.

Помню, как на плато в перерывах съемок пришел к Марлен приехавший из Европы Жозеф фон Штернберг, ее первый режиссер и, кажется, бывший муж. Разговаривая с ним на плато, Марлен почему-то то и дело целовала ему руки, что, по-моему, было странновато. Правда, Марлен была обязана Штернбергу

всей карьерой. Он “сделал” Марлен. Если б не “Голубой ангел”, мирового имени, вероятно, бы не было.

Ich bin von Korf bis Fuss
Auf Liebe angestellt
Das ist mein Welt
Und weiter gar nichts…

“Голубой ангел” я отношу к тем немногим подлинно художественным фильмам, которые можно смотреть и сейчас. Там и Марлен и Яннингс — на большой высоте. И вся дальнейшая артистическая карьера Марлен была основана, конечно, на “Голубом ангеле”. Потому, вероятно, разговаривая о чем-то, она и целовала то и дело руки невзрачного, черненького, лысого человечка — Штернберга.

То, что без режиссера, без его “показа” Марлен ничего сыграть не могла, подтвердилось и в “Рыцаре без доспехов”. Большая, талантливая драматическая актриса Франсуаз Розе каждые две недели приезжала из Парижа навестить Фейдера. Она присутствовала и на съемках. И издевалась над Марлен как могла: “Ужас”, — говорила она и делала глупое лицо с вытаращенными глазами; “счастье” — то же лицо с вытаращенными глазами; “раздумье” — то же лицо; “радость” — то же лицо с вытаращенными глазами. Франсуаз Розе была женщиной властного, сильного характера, и как-то Фейдер сообщил мне “по секрету”, что Франсуаз строго-настрого запретила “режиссировать” Марлен, “показывать”, “помогать” ей. “Пусть играет сама, как умеет”.

Фейдер был человек мягкий, вполне под башмаком жены. Приказ Франсуаз Фейдер решил выполнять — ничего не “показывать” Марлен, пусть играет, как умеет. Но Марлен такой подлинной артисткой, как Франсуаз Розе, не была. Марлен требовала “руководства” и “показа”. И когда Фейдер (будто незаметно для других) перестал “показывать”, Марлен сразу это почувствовала и “онемела”. Кончилось дело небольшим скандалом. Она пошла к Корде и пожаловалась на Фейдера, что он совершенно “не руководит” и ей трудно так играть. Корда вызвал Фейдера, говорил с ним. Дело уладилось. Вопреки “приказу свирепой Франсуаз”, Фейдер стал опять “показывать” и “помогать” Марлен. И все вошло в обычную колею.

Иногда после работы Трендел не мог везти меня на автомобильчике. И тогда нас (человек десять) везли в автобусе до железнодорожной станции Денам. Почти всегда мы приезжали в последнюю минуту, купить билеты не было уже времени. И мы садились (вполне легально) в поезд без билетов. В первый раз я спросил одного, говорившего по-французски: “Ну, а как же мы без

билетов поедем?” — “Ничего, за билеты мы заплатим в Лондоне”. И действительно, в Лондоне мы подходили к кассе, кассир спрашивал: “Откуда вы приехали?” Мы отвечали: “Денам”,— и платили сколько надо. Если бы такое доверие к человеку завели в континентальной Европе, железные дороги, вероятно бы, разорились. Это было английское джентльменство: джентльмен не соврет.

Туманы

В Лондоне я мечтал увидеть две его “опоэтизированные” достопримечательности — черный “fog” и желтый “fog”: знаменитые лондонские туманы. Теперь, говорят, их больше нет, уничтожили какими-то “очистителями”. Но я их увидел во всей красе и силе. В эти туманы Трендел, конечно, за мной не приезжал, не мог. Я сам ехал на автобусе и на поезде. А туманы были такие (и желтый и черный), что если вы на улице поднимали перед глазами руку, то ее не видели. Впереди автобусов шли кондукторы, освещая дорогу какими-то сильнейшими фонарями. И автобусы двигались за ними черепашьим шагом. И все же эти знаменитые “фоги” стоило увидеть. В них была своя прелесть.

М. А. Будберг

Когда я как-то был в студии Меерсона и мы пошли с ним в ресторан завтракать, в проходной студии его помощника художника Уэллса (сына Герберта, молодого человека, приезжавшего ежедневно со свежей гвоздикой в петлице пиджака) я столкнулся с женщиной, которая меня поразила. Обычно говорится: “я бы ее не узнал”. Может быть, на улице я бы ее и не узнал, но тут лицом к лицу (с моей острой памятью на лица) я пораженно узнал ее сразу. Это была Мария Игнатьевна Будберг, с которой мы ужинали вместе с А.Н.Толстым в Берлине. Но какая перемена! Предо мной стояла женщина, невероятно располневшая, одетая не в хорошее пальто, а в какой-то “салоп” (“какая-то салопница”, мелькнуло у меня). У нее, вероятно, была тоже хорошая память на лица, она сразу узнала меня, сказав: “Какими судьбами?” Я объяснил “какими”, разглядывая ее. М.И, от природы была некрасива, но в те берлинские времена у нее было худое, породистое лицо. Теперь предо мной стояла некрасивая, “размордевшая” женщина в годах. Тонкие черты лица исчезли, глаза уменьшились, а странная одежда придавала ей простоватый вид.

После моих объяснений, что я тут делаю, она сказала: “Приезжайте как-нибудь к нам, буду очень рада”, на клочке бумаги написала адрес и телефон: SI, Cadogan Square, тел. Slo-66-27. Я поблагодарил: “С удовольствием, Мария Игнатьевна!” — но, беря записку, я твердо знал, что никогда к ней не поеду. И она, вероятно, писала только “для приличия”. От Б.И.Николаевского о М.И. Будберг я слышал слишком много неприятного и пакостного. Это была дама “ni foi ni loi”. По мнению некоторых писавших о ней, она была и “загадочной”, и “железной”, и “умницей”, и “красавицей”, и “блестящим собеседником”. Я знал о ней все, что есть в мемуарной литературе, когда писал “Дзержинского”. Например, о воспоминаниях чекиста Якова Петерса, писавшего (по документам), что в Первую мировую войну у нее в петербургском салоне было “гнездо немецких шпионов”. Знал много о деле Локкарта, английского разведчика, сошедшегося с “Мурой” во время революции и арестованного вместе с ней ВЧК. О допросах ее самим Яковом Петерсом, в результате которых она вместе с Петерсом, “держась рука за руку” (какая интимность светской дамы и чекиста!) появились у арестованного Локкарта. И, оказывается, Мура через Петерса его освободила. Но *чем?* Какой ценой? В учреждении Петерса “даром” ничего не делается. За все

надо *платить,* тут шуточек нет. О цене хотя и неприятно, но не так уж трудно догадаться. Помню, как характеризовал М.И.Будберг Толстой: “авантюристка чистой воды!” И это было верно. Но авантюризм ее бывал “и с кровью”.

Б.И.Николаевский был очень хорош с М.Горьким (сейчас часть их переписки, ранняя, опубликована в сборнике “Берлин 1921–1923”, ИМКА-пресс, 1984). Мне Б.И. часто говорил: “Злой гений Горького — это Будберг. Она все время толкает его возвратиться в СССР”. Почему же Будберг была этим “толкачом”? Были ли у нее не порваны связи с Петерсом? А за Петерсом же — Сталин! Конечно, Горькому и самому хотелось въехать в СССР некой “мировой пролетарской ведеттой”, загребать баснословные “длинные рубли” за собрание своих сочинений, прослыть “зачинателем социалистического реализма”. Все это так. Но он знал и Сталина. И вернуться в СССР ему было не просто. И он, решив возвращаться, все-таки на Западе оставил свои “Дневники”, доверив их Будберг. Но именно этих-то “Дневников” и добивался Сталин. И в 1936 году, как говорил мне Николаевский, эта “авантюристка чистой воды” лично повезла в СССР доверенные ей Горьким его “Дневники”. Говорят, на границе ее ждал особый вагон (какой “комфорт” в пролетарском государстве!), вот до чего эти “Дневники”, стало быть, были нужны товарищу Сталину. И он их получил в собственные руки. Вскоре после прочтения “Дневников” Сталин “в подарок” за них послал Горькому какие-то “кремлевские бонбон”. Горький любил сладости. От них, от этих “бонбон”, изготовленных “специалистами” Кремля, Горький и отдал Богу душу. Чекистов-исполнителей — Г.Л. Ягоду и П.П.Крючкова Сталин расстрелял. Будберг уехала за границу. Сталин расстрелял и Я.Петерса. Концы в воду. А в советских газетах и журналах появились страшные сообщения: “Горький был чудовищно умерщвлен бандой фашистских предателей и шпионов” (См.: М.Горький: Материалы и исследования под редакцией В.А.Десницкого. М., 1941). На том и кончилась одна из историй “авантюристки чистой воды”.

За завтраком я спросил Меерсона, что тут делает Будберг? “По-моему, ничего, — ответил он, — но формально Корда дал ей место "чтицы" скриптов; очевидно, она нужна ему и как жена Уэллса, и как баронесса для светских связей”. (Отметим, что “баронессой” Будберг была “липовой”. Она фиктивно вышла замуж за барона Николая Будберга, какого-то “прожигателя жизни”, только для того, чтобы выехать из Эстонии (став эстонской гражданкой), где ее подозревали в шпионаже в пользу СССР.)

Под занавес жизни эта “загадочная”, “железная” кончила совсем плохо. В каком-то лондонском универсальном магазине она “купила” что-то, но “забыла” заплатить. Детективы в таких магазинах — “ребята практикованные” — никогда не останавливают эдаких “покупателей”. Они дают им выйти на улицу и уже на улице берут “с поличным”. Эта покупка “загадочной баронессы”, секретарши Горького и Уэллса, попала в скандальную хронику газет. И карьера “железной женщины” кончилась.

Ничего ни “железного”, ни “загадочного” в этой пошлой авантюристке не было. Имя таким — миллион. Она попросту всю свою жизнь жила уркаганской философией: “умри ты сегодня, а я завтра…” или, выражаясь более элегантно, — “жить, чтобы выжить”. Но ведь это “философия” любой проститутки, которая ложится в постель с первым встречным-поперечным именно потому, чтобы “жить, чтобы выжить”; всякий грабитель или растратчик грабит и крадет не для удовольствия, *a.* для того, чтобы “жить, чтобы выжить”. И, конечно, всякий человек, ставший стукачом КГБ, доносит для того, чтобы “жить, чтобы выжить”. В сущности, это типичная УГОЛОВНАЯ психология. Больше г-жу М.И.Будберг я не встречал.

Эдуард VIII

Под конец моей жизни в Англии я внезапно узнал англичан политически. В 1936 году скончался король Георг V, и по закону о престолонаследии трон переходил к принцу Уэльскому, под именем Эдуарда VIII. Англичан охватило какое-то нам непонятное радостное возбуждение: король Эдуард VIII! Мгновенно витрины магазинов наполнились разнообразными "сувенирами" с изображением короля Эдуарда VIII. Недалеко от меня в посудной лавке все окна были заставлены — тарелками, чашками, блюдцами, вазами, и все — с изображением Эдуарда VIII.

Но биография принца Уэльского была широко и дурно известна: кутежи, пьянства, дебоширства. Газеты не скупились на описание "экстравагантностей": будто в Праге принц в нетрезвом состоянии перебил все фонари на какой-то улице. Это еще туда-сюда. Но стало известно, что король Эдуард VIII состоит в любовной связи с американкой простого происхождения, к тому же дважды разведенной — миссис Симпсон.

И вот тут вокруг трона закипела борьба (может быть, редкая в истории Великобритании). Эту борьбу против Эдуарда VIII возглавил сильный человек, премьер-министр Великобритании Стэнли Болдуин (Stanley Baldwin), опытный политик, консерватор, человек мудрый и волевой. Его поддержал архиепископ Кентерберийский и подавляющая часть консерваторов. У Болдуина были сильные козыри. Помимо всего прочего, из некоторых высказываний принца Уэльскогогазеты делали выводы, что он сочувствует фашизму, бывшему тогда поветрием в континентальной Европе. Принц Уэльский спускался в шахты английских горняков, чего члены династии не делали, и произнес там речь, которую консерваторы расценили как "склонность" к фашизму. И, наконец, стало известно, что принц Уэльский в Европе будто бы встречался с Гитлером. Это был уже козырь чрезвычайный, чтоб заставить Эдуарда VIII отречься от трона.

Но если судить о настроении простого народа по рабочим наших студий, ко всему этому "букету" у них не было никакого отрицательного отношения. Рабочие были *за короля* — и только! У нас в перерыв работ в кафетерии происходили бурные сборища. Помню, как один молодой рабочий, придя в раж, кричал: "Мы любим нашего короля! Мы хотим нашего короля! Нам нужен наш король!" Им не было никакого дела до миссис Симпсон (скорее наоборот), до кутежей и даже до свидания с Гитлером. "Это

наш король! Мы любим его!” — кричал неистово этот молодой рабочий. И все с ним были согласны.

Скажу честно, слушая все эти высказывания рабочих, я завидовал англичанам. Я увидел воочию, как им, англичанам, действительно *дорог и нужен король.* Они были подлинные монархисты. И, не разбираясь в тонкостях политики, хотят своего законного короля. Мне была завидна эта английская, органическая, естественная, глубокая привязанность к своей истории, к своей монархии. В этом была большая сила и воля. И я невольно вспоминал о чувстве нигилизма и анархизма, вымахнувшем в России в начале революции, когда в бараках 140-го Запасного полка в Пензе солдаты (народ, крестьяне!) срывали со стен портреты царя и царицы и в каком-то диком (дичайшем!) исступлении и остервенении топтали их сапогами до тех пор, пока не оставалось ни клочка. Я никогда не был “записным монархистом”. У нас в семье жил дух демократизма и реформизма, но вырвавшаяся наружу (во всем народе!) нигилистическая и анархическая ненависть к монархии была мне супротивна, она *потрясла меня.* Вместе с ненавистью, с топтанием портретов вырвалась ненависть и ко всякому “чинопочитанию”. В этом всенародном нигилизме и анархизме я почувствовал “всегосударственную опасность”. Конечно, в этом прежде всего была вина самой трехсотлетней династии, не сумевшей привить народу к себе ни доверия, ни любви, ни традиции. Была вина и церкви, которая, за малыми исключениями, жила “вне народа”. Виновен был и бессмысленный террор народников, эсеров. Всё ж больше всего виновны были те, кто держал в руках власть. И глупо “подмораживали” Россию на свою же голову.

“Гражданин мира”, богемьен Трендел был тоже за Эдуарда VIII. Но совсем из других предпосылок. Во время одной поездки он сказал: “Главный козырь против Эдуарда VIII — это миссис Симпсон. Но что же делать, если она единственная женщина в мире, с которой он может спать?!” Такой поддержки Эдуарда VIII со стороны “гражданина мира” было маловато.

Волнение народа кончилось быстро и неожиданно. В декабре 1936 года Эдуард VIII выступил по радио с обращением к нации, объявив о своем отречении и о том, что с сего дня он будет только герцог Виндзорский, а трон переходит к брату короля, вступающему на престол под именем Георга VI. Во всей Англии воцарилось спокойствие и удовлетворение: на троне — законный монарх!

Вот тут-то я и бросился в посудную лавку и накупил для Олечки — тарелки, чашки, блюдца, блюдо — все с изображением короля Эдуарда VIII. Теперь они раскупались нарасхват, уже как

“сувениры”, которые скоро станут редкостью.

В декабре 1936 года Георг VI стал королем Великобритании, а в начале 1937 года я из Лондона уехал в Париж. Должен откровенно признаться — Лондон, конечно, чудный город, но жить там, увы, я бы не мог. Не мог потому, что — скучища смертная. И как за последнее время я затосковал по анархическому Парижу, по толчее неврастенического Монпарнаса, по всему свободному укладу парижской жизни. Пусть я не француз (и быть им не могу и не хочу!), но я почувствовал себя, увы, человеком “опарижаненным”.

Перед отъездом я сердечно простился с Жаком Фейдером, давшим мне две свои фотографии с несколько преувеличенно лестными надписями. Вместе с ним пошли к Александру Корде. Сэр Александр был чрезвычайно мил, сказав “Vous avez fait un joli travail”. Простился с Марлен Дитрих, получив от нее на память фотографию с ее автографом. Простился с Тренделем, Меерсоном. И с чековой книжкой в кармане, на которой было около девятисот фунтов (скопленных для покупки фермы для семьи) с Виктория-стэйшен тронулся поездом в Саутхэмптон.

В Париже

На Gare St. Lazare меня встретила Олечка, слегка пополневшая, порозовевшая (после нищеты-то!), в чудесном верблюжьем пальто, которое я переслал, вместе с другими вещами, через Мэри, из Лондона, и в какой-то сногсшибательной, широкополой фетровой темно-зеленой шляпе. Мы расцеловались. Я спросил, смеясь, что за роскошная шляпа? — "От Диора, очень дорогая, но, правда хорошая?" (Олечка любила дорогие, хорошие вещи). — "Очень хорошая".

Пока мы ехали в такси, Олечка рассказала, что всю семью поместила в отель "Электрик", в двух комнатах, недалеко от нас. Рассказала, что мама, войдя в нашу "замечательную" квартиру, заплакала: "Боже мой, я знала, что вы живете бедно, но чтобы вы *так* жили, не могла себе представить!" Олечка успокоила ее, что "чудеса", слава Богу, пришли, и "нищета" кончилась, и Рома везет деньги на ферму и на новую квартиру.

Я, конечно, был рад встрече с семьей после почти четырех лет разлуки. У мамы был усталый вид, жена брата была в порядке. Племянник Миша подрос, ему уже одиннадцать лет. Но кто меня озадачил, так это брат. Не знаю, как и почему, но он впал (именно "впал") в какой-то неистовый и агрессивный баптизм. При мне он был церковно религиозен, читал Франка, Булгакова, Бердяева и вдруг… баптизм. Но какой! По характеру своему он был человек "цельный", бескомпромиссный. И не только сам стал баптистом, но душевно требовал, хотел, чтоб мы все пошли за ним по "верной" дороге — Библия и опрощение. Наш первый разговор был не вполне приятен, ибо я не выразил никакого рвения к баптизму. А у Сережи были два настояния: сейчас же сесть на землю, пахать, бороновать и опрощение жизни во всем: в быте, одежде, жилище. И — Библия, только Библия! И чтобы не он один, а вся семья превратилась в баптистов-опрощенцев. При упорном характере брата я понял, что "тут дело на лад не пойдет". Я сказал ему сразу, что его баптизм уважаю, как всякую искреннюю веру, но чтоб меня и Олечку он оставил жить так, как мы хотим.

Когда я распаковывал чемоданы и Сережа увидел мои костюмы, вещи для мамы, Олечки, его жены, он взорвался: "К чему ты накупил все эти тряпки! Нам деньги на ферму нужны, а ты истратил столько на тряпки!" Я успокоил его, что без этих "тряпок" я не смог бы заработать на ферму, что деньги на ферму я скопил и привез, а "тряпки" будут мне и Олечке нужны в дальнейшем. Олечка предложила всей семьей поехать осмотреть

достопримечательности Парижа. Мама с удовольствием согласилась, в свое время с мужем она бывала в Париже и любила его. Но Сережа наотрез отказался: “Никакой Париж мне не нужен и неинтересен!” Он хочет скорей ехать в Лот-и-Гаронн, чтобы сесть на землю. Через несколько дней мы с Сережей выехали в Лот-и-Гаронн “садиться на землю”.

“Пети Комон”

Так называлась ферма, на которой мы сели. “Petit Caumont” крохотная ферма, принадлежала русскому эмигранту Кайда-шу, бывшему унтер-офицеру царской, а потом Белой армии. У Кайдаша была жена, называвшаяся трогательно — Ирочка. Она была недурна собой, много моложе мужа и подвергалась заушениям и даже избиениям, так что вмешивались соседи. Ферма эта была у самого Нерака, бывшей столицы знаменитого “Le Vert Galant” (Henry IV).

Нерак — маленький, но очаровательный городок. Стоит он на реке Баиз (Baïse), протекающей с одной стороны мимо старого городского парка, а с другой — мимо маленьких домиков с садами. Через Баиз перекинут старинный мост. По преданию, в Баиз утонула дочь пастуха Флоретт, приглянувшаяся Генриху IV, но скоро ее бросившему. И в парке до сих пор стоит памятник покончившей самоубийством плачущей Флоретт. А на холме — замок самого Henry IV. Замок был бы прекрасен, если б его не “реставрировали” крайне грубо белесым цементом. Тем не менее издали замок хорош. Под холмом большой старинный дом Сюлли, знаменитого министра финансов короля, но ничем этот дом не примечателен.

Найти ферму (купить или арендовать) вы должны здесь через специальных agent d'affaire (комиссионеров). С таковым — вертким французиком, никогда не снимавшим с головы берет, ни дома, ни на улице, ни в жару, ни в холод, — меня познакомил еще в мой первый приезд сюда единственный русский города Нерака — Monsieur de Sellhem (в переводе на русский значит фон Зельгейм). Agent d'affaire назывался Mr.Desplat (Деспля, по здешнему произношению), фон Зельгейм был в годах, бывший офицер гвардии, женившейся на состоятельной и благородной неракеске, внезапно скончавшейся и оставившей ему просторный двухэтажный дом и какие-то сбережения. Так что жил он, не работая, как хотел. И помогал русским во всяких французских делах. Был он хороший, порядочный человек, он и свел меня с мсье Деспля.

Я известил мсье Деспля о нашем приезде. И прямо с вокзала мы пришли к нему, благо он жил в двух шагах. Все эти “комиссионеры” уже по роду своих занятий (“всучить”, “продать”) очень любезные люди. Начали мы разговор о ферме, причем Сережа сразу спросил: продал ли Кайдаш свою ферму? — “Нет, не продал, люди находят, что она мала и потому малодоходна”. Но как это ни странно, Сережу вовсе не интересовала “доходность”,

он был совершенно не “делец”, до смешного. Жить на земле, пахать, сеять, бороновать, молотить, а дальнейшее ему было “все равно”. Это было, конечно, “барство шиворот-навыворот”. Продажей полученного с фермы должен был заниматься я: пшеница, вино, телята, купить корову. Сережа даже не спрашивал, дорого ли, дешево ли. Ему нужна была — Библия, жена и работа на земле, по которой он очень любил ходить босой И' ничего больше.

Так что мы сразу и поехали в “Petite Caumont”, она была километра полтора-два от Нерака, что, конечно, было удобно, ибо ни автомобиля, ни лошади у нас не было. Приехали. Кайдаш, коренастый, здоровенный, лет пятидесяти пяти, с довольно неприятным лицом, постарался встретить нас “как умел любезно”, даже угостил вином собственного производства (у него был небольшой, но хороший виноградник).

Ферма была маленькая: гектара два с половиной пахоты, причем часть (полгектара) лежала в целине. Вокруг дома (то есть того, что называлось домом) нечто вроде сада с фиговыми и фруктовыми деревьями. Вода — собственный источник, заросший ивняком; вода эта была ледяная, на редкость вкусная, чистая. Дом? Вот дом подгулял. Был хороший двухэтажный каменный дом (на самой границе фермы), но сгорел до основания, стояли только одни кирпичные стены, которые Кайдаш уже продал соседу, итальянцу Романо, А то, что долженствовало быть домом, где Кайдаш жил с Ирочкой, — длинное белое, увитое виноградником помещение из двух комнат. В самой большой пол был земляной, “глинобитный”, босиком ходить было холодно. В другой пол — наполовину деревянный, наполовину асбестовый. Из этой комнаты была дверь в сарай, где стоял громадный чан для своего домашнего виноделия, какие-то инструменты, дальше — коровник на двух рабочих коров. Дороги (проезда) прямо к ферме не было, надо было ехать через соседей по полевой дороге. За фермой (не знаю кому принадлежащий) лес.

Посмотреть на все это и уехать в Париж было приятно. Но чтобы остаться тут “насовсем”, надо было быть Сережей. К тому же было ясно, что эта маленькая ферма семью не прокормит. И тем не менее Сережа (говоря мне по-русски, когда не было вблизи Кайдаша) в эту ферму “вцепился”. “Больше мне ничего не надо! — говорил он. — Давай купим!” Удобство было одно, я мог сразу заплатить Кайдашу всю сумму, которую он хотел (с двумя рабочими коровами, плугом и прочим). — “Ну что ж, — сказал я, — если ты хочешь — купим!” И купили, к удовольствию Сережи, Деспля, Кайдаша (ему трудно было продать такую маленькую и неудобную ферму). Я к этой покупке восторга

никакого не испытывал. Но кто знает свою судьбу? Эта ферма во время войны спасла меня от ареста нацистами и неминуемой смерти, ибо в войну немцы искали меня за книгу “Ораниенбург” и в Париже, и даже в Эр-э-Луар (у Блиновых, где мы живали). А Лот-и-Гаронн оказался в “свободной” зоне Франции. И тут дотянуться до меня было трудно. Тем более, что мы с Олечкой вскоре ушли рабочими на стекольную фабрику в Бианн, а потом все четверо стали сельскохозяйственными батраками (métayers).

Итак, Сережа с удовольствием, жена его (без большого удовольствия) переехали в “Petit Caumont”. Маленький племянник, когда вошел в свою (с матерью) глинобитную комнату со страшным испугом спросил мать: “И тут мы будем жить?” Да — тут. Так решил опрощенец-баптист Сережа. Но племянник тоже не знал свой судьбы: теперь он богатый француз, человек с высшим образованием, профессор, владелец замка “La Sevelotte”, у него и дети французы, и внуки французы. И живет он дай Бог всякому.

В Париже мы переменили квартиру на приличную, двухкомнатную на 253, рю Лекурб. Мама осталась до лета с нами. А летом 1937 года мы все уехали в “местоимение” — в “Petite Caumont”, в “Château de la misère”, как шутливо называл нашу ферму заходивший к нам фон Зельгейм-

За работой

Вдали синеватым сахаром блестит хребет Пиренеев. На тяжелом крутосклоне я пашу на паре бланжевых коров. Небо еще не нагрелось, воздух звучен, как в концертном зале, отовсюду слышны долетающие однообразные понукания пахарей. В матерчатых занавесках на мордах (чтоб не кусали мухи), в проволочных намордниках (чтоб не хватали траву) коровы мои, выгнув спины и медленно переставляя ноги, волокут плуг, отваливающий блесткие пласты суглинка, а по борозде, сзади меня, гомозятся куры.

Это небо не наше. Это небо с полотен французских импрессионистов. Такого розовато-голубоватого, и с желтью, и с прозеленью, неба в России не бывало. На воспользовавшихся моей задумчивостью затихающих коров я кричу: “Ха, Верми! Ха, Верро!”; и коровы вновь натягивают плужную цепь, ускоряя движение. До чего умны эти гасконские коровы, ими управляешь голосом. Я задумался о том, о чем, собственно, никогда не надо думать: о прошлом.

После теплых дождей пашется хорошо. Я пашу крутосклон второй раз; теперь плуг идет уж легко, почти не приходится придерживать ручку, я лишь медленно двигаюсь за коровами и разговариваю сам с собой. В это утро я вспомнил, как подростком в своем пензенском имении тосковал по трудовой жизни. “Ну, вот она и есть. Правда, с запозданием на двадцать пять лет, но пришла именно она, мускульная, трудовая, крестьянская жизнь”. Под широкополой соломенной шляпой я улыбаюсь тому, что это утро, пашни, коровы в русском переводе именно и значат: “Ну, тащися, сивка, пашней десятинной, выбелим железо о сырую землю!” Только на этом гасконском крутосклоне мне кажется теперь, что тогдашняя тоска мелкопоместного пензенского барича была зряшней. Ну разумеется, ну конечно, и в ней, как и во всей катакомбной философии Толстого, жила какая-то пленительная социальная правда; но сказочная, а потому вредная людям. Этот кающийся нерв русской интеллигенции революцией с кровью вырван из русской жизни. “Аррэ, Верми, ха, Верро, орэ сай…”,— по-гасконски кричу я, перевертывая плуг. Тяжело переступая, коровы неуклюже крутятся и снова, натянув цепь, медленно волокут его.

За работой я часто разговариваю с Львом Толстым. Мне раньше всегда казалось, что он как никто умел чувствовать и любить землю. Но став крестьянином, я понимаю, что Толстой чувствовал и любил сверху, по-барски. Крестьянин любить земли

не может. Он, если хотите, любит ее, но так, как корова любит траву, которую ест, как лошадь любит дорогу, по которой бежит. То есть живет землей. Став сам мужиком, я хорошо теперь знаю эту человеческую особь. До чего он, мужик, глух, нем, жесток, первобытен и всегда хитер, как хитры окружающие его животные, и нечестен, как нечестна с ним природа. Мужик должен быть таковым, ибо таковы силы земли, иначе мужику с землей и не сжиться, и не справиться. Он с рождения знает неблагостность своей земли. Мужик всегда сумеречен, суеверен и никогда не может быть истинно религиозен, оставляя это пастухам, поэтам, бродягам.

Небо надо мной уже другое, ярко-лазоревое, с ослепительно тающим солнцем. Овода и слепни облаком вьются над спинами коров. Солнце почти что отвесное. Я знаю: скоро полдень. На краю поля, зайдя головами в тень кустов, коровы мои не хотят поворачиваться. Я даю им отдохнуть. Эта гасконская глина тяжела: если нет дождя, она клекнет, становясь камнем, если польют дожди, она разойдется месивом и пахать нельзя. Это не пензенский чернозем, который паши когда хочешь. Здесь надо еще уметь выбрать время пахоты. Но русская революция заставила меня вздирать именно эту французскую глину, и я ее вздираю. Причем иногда даже сам себя спрашиваю: а не выиграл ли я на всероссийской революционной лотерее? Кто из нас, русских, спасся от всесокрушающей революции? Большевики, что, окружая Ленина, зачали октябрь, в большинстве расстреляны в подвалах своей же Чеки. Рабочие? Те, что верили в “кто был ничем, тот станет всем”, вот уже больше двадцати лет ведут рабью жизнь египетских феллахов. Мужики, солдаты, что с войны, из окопов бросились делить землю? Революция давно их лишила земли, превратив в полунищих государственных батраков. Интеллигенты? Свободомечтатели? В революцию их погибло множество, а те, что остались, влачат тяжкую жизнь несвободы. Так что в предгорьях Гаскони моя судьба совсем не худшая. Повернув коров и перекинув плуг, я спрашиваю себя: но разве я не тоскую, что выброшен из России? И идя за коровами, с предельной искренностью отвечаю: в моей скитальческой жизни я всегда чувствовал облегчающее душу удовлетворение, что живу именно вне России. Почему? Да потому, что родина без свободы для меня не родина, а свобода без родины, хоть и очень тяжела, но все-таки остается свободой. “Ха, Верми! Ха, Верро”, — подгоняю я моих затихающих коров.

Нетерпеливо отмахиваясь хвостами и ногами от оводов, ощутив ослабленность ремней ярма, коровы сбрасывают его с голов и смешной рысью, как не умеющие бегать женщины, трусят

в стойло к охапкам маиса. А я иду в свое крестьянское жилье, которое каждому художнику захотелось бы написать. Старый крестьянский дом из дикого камня; стены увиты виноградом, от купороса ярко-голубым, голубоваты даже камни, легшие фоном винограда, а виноград перерезали розовые, желтые вытянувшиеся до крыши мальвы. У порога пунцовым огнем цветет гранатовое дерево. В этом многовековом доме прохладно в жар и сыро в зиму, греет только камин в полстены.

У нас в красном углу — икона, копия Св. Троицы Андрея Рублева, на стене дешевая автотипия: А.С.Пушкин, с портрета Тропинина. Александр Сергеевич глядит на свисающие с балок пучки укропа, связки лука, чеснока, на все бедное убранство комнаты.

Старчески сгорбившаяся, с широкогрустными глазами, словно ставшими еще шире и темнее, мать на этой ферме больше всех беспокоится: уродится ли маис, взойдут ли арбузы и дыни, встанет ли полегшая после бури пшеница, оправится ли неладно отелившаяся корова? Она любит и этот, наверное уже последний, кусок французской земли. И здесь все ее дни, как всегда, в материнском беспокойстве за утлый корабль нашей уплывающей жизни. Иногда невзначай глянув на нее, я с большим напряжением заставляю себя представить, что это была она же там, в Пензе, в зеленой гостиной, игравшая вечерами Шопена и Моцарта, связавшая в моей памяти тот свой молодой облик с убегающими, ускользающими звуками “rondo alla turca”.

Сам-шесть мы садимся за стол, обед весь свой: овощи с огорода, хлеб своего зерна, молоко своей коровы, вино своего виноградника, яйца своих кур, все, что дали труд, земля, животные. По земляному полу комнаты ходят цыплята, утята; выгнув спину, у ножки стола вьется кот; тут же рыжая овчарка, помощница в пастьбе, и я считаю, что если мы и не в интеллигентном, то в очень приятном обществе. За обедом наши разговоры однообразны и для постороннего совершенно скучны; это всё заботы хозяйства: появившиеся на картошке дорифоры, на винограде оидиум, плохие всходы кормов, запор у теленка, базарные цены на цыплят и всякие соседские несложные сплетни и новости.

Иван Никитич

Первым косцом идет брат, вторым Иван Никитич, третьим я, а моя жена и жена брата вяжут снопы, кладут их в крестцы, и от крестцов желтое поле как бы приподнимается. Так мы работаем до полдня. А в полдень, обедая в тени фигового дерева, Иван Никитич, отирая потную сморщенную, словно замшевую, шею и вместо русского кваска отпивая из бутылки “пикет”, рассказывает, как смолоду служил в урядниках в Сальских степях и какие видывал там священные калмыцкие праздники. Иван Никитич донской казак, бывший атаман своей станицы, живет по соседству, на ферме, в развалинах древнего католического аббатства; земля у него неудобная, безводная, скалистая. Казаку пошел седьмой десяток, и он, как перст один, ковыряется в этих скалах, а ночь напролет спит с горящей лампой, ибо как только потушит, то в развалинах, говорит, поднимается такая шамата, такая шамата, что тут же зажигает лампу, и шамата тогда, со светом, исчезает.

В революцию Иван Никитич потерял трех сыновей, двух в Белой армии и одного в Красной, девочка-малолетка умерла без него, а о жене он так ничего и не знает. За годы странствований чего только Иван Никитич не перевидал: Турцию, Болгарию, Румынию, Германию, Корсику, север Франции, Гасконь, но лучше Тихого Дона для него нет страны, и он очень любит вспоминать донские степи, где гонял табуны долгогривых дончаков, где осенями с станичниками охотился на дроф, увозя битую дичь телегами, а когда ездили на рыбалку, то неводом захватывали столько рыбы, что и вытащить бывало не под силу. Иван Никитич помнит еще стародавние времена, когда казаки еще не садили картошку, помнит, как земля была еще неделеная и по весне казаки выезжали всей станицей в степь и каждый сколько хотел, столько для себя и запахивал.

— Да рази хранцузам такое снилось?! — улыбаясь в седые усы, с искренним сожалением говорит Иван Никитич, — да у нас же везде простор, поэтому наш брат тут в тесноте по заграницам-то и пропадает, иээх… — Иван Никитич глубоко и грустно вздыхает. — Вот работал я в Эльзасе, был там у нас один русский, Полем звать, то есть Павел, значит, так такой чудной был, ни с кем, бывало, слова не говорил, как есть, ни по-русски, ни по-хранцузски, ни по-немецки; ты к нему, Поль, мол, сколько время? А он улыбнется, покажет часы все. Ему скажут, Поль, подай, мол, вилы, он ногой их швырнет и вся недолга. А завтракать завсегда отойдет к сторонке, сядет один и ест. И не старый, годов сорок,

не боле. Говорили про него, будто гвардии офицер был, а как приехал за границу, будто зарок дал ничего не говорить, пока не вернется к себе в Россию. И молчит. А работать примется, за мое почтенье, только как бы немой.

Я плохо слушаю, я вспоминаю классическую толстовскую косьбу Левина с мужиками; тоже барская была косьба", думаю я.

— Дддааа, — глядя в гасконское небо, лежа на траве, заложив руки за голову, вздыхает Иван Никитич, — сызмальства привычный я к степи, у нас осенями дрофы кады по-над степью летят, ну, верьте, хмарой небой застят и шум такой, что твои еропланы…

Брат кончил отбивать косу, поднялся; встали и мы с Иваном Никитичем, заходим за край поля и снова в этот зной идем друг за дружкой с общим звенящим шуршаньем кос. Пот выступает на лбу, на скулах, стекает по лицу, солит губы, а в ушах стоит протяжный звон не то миллионного комариного пенья, не то это кровь звенит в ушах. Я стараюсь идти вровень с Иваном Никитичем, а у казака-старика силищи! И мне радостно от мерного взмаха кос, от здоровой усталости мышц, от того, что с крутосклона рябит ушедшая цветная даль, от того, что наша пшеница уродилась и мы, кажется, на ней заработаем.

На закате мы уходим с поля усталые. С возвышенности пестрят те же лоскутные одеяла полей, виноградников, лесов, дороги, обсаженные платанами. У тенистой реки тонет очертание древнего замка тамплиеров, он повис над обмелевшей рекой; в нем живут три семьи мужиков-итальянцев, ничего, конечно, не смыслящих в музыкальной строгости пропорций строения, в летящей красоте замковых лестниц и галерей, в чем кто-то из строивших его тамплиеров понимал толк. Зато крепкие богатеи знают толк в откорме свиней, в отпое телят; денным и нощным трудом, сметкой, хищностью, ловкостью богатеют эти крестьяне, и дай им Бог здоровья, хоть они и загадили видавшие виды великолепные залы тамплиерского замка, а часть замковых стен даже развалили, сделав из камня совершенно замечательные свинарники.

— Вот живал я и в Париже, чтоб его намочило, — идя рядом со мной, говорит Иван Никитич, — а нет, никак не выжил, камни одни и выйтить некуда. Я уж там, бывало, слободной минутой в Булонский лес ездил, только чтоб подошвами по земле походить.

Я молчу, я устал, в голове занозой сидит глупейшая стихотворная строка "так вонзай же, мой ангел вчерашний, в сердце острый французский каблук", и я никак ее не могу из себя вытащить.

— Вот вижу я вчерась сон, — продолжает, тихо идя, Иван

Никитич, — будто как я посреди своей семьи, всё дети мои, и будто они собираются обедать, да только толкутся, толкутся, а ничего у них не выходит. Я смотрю, смотрю, да и говорю им: “Да што ж вы? Сначала надо умыться, Богу помолиться, а потом уж об обеде думать, обед собирать”. Ну, они меня как вроде послушались, стали мы все на колени и начали “Отче наш” читать. Стою это я на коленках, обернулся назад, смотрю, мама моя стоит, а до этого ее тут не было. Стоит она в сереньком таком платьице своем и, как у нее голова часто болела, платочком таким повязана. Я это говорю ей: “Да откелева ж вы, мамаша?” А она мне ничего не сказала, а я это упал перед ней, цалую ей руки и говорю: “Мама, да не могу я так больше жить!” И почему я ей так сказал, сам не знаю, вроде это как дети што ль меня не слушаются, а только она положила мне руку на голову, да и говорит: “Нет, Ваня, ты еще можешь…”

Я молчу. Я конечно, знаю, что даже на этой гасконской земле Ивану Никитичу легче, чем на парижском асфальте, но и здесь, разумеется, казаку не прижиться, он дерево непересадочное, оттого и тоскует. Есть пословица: без корня и полынь не растет. С тоненьким звоном кос, задевающих за ветви вязов, мы по лесной дороге подходим уже к ферме. Иван Никитич вздохнул, что-то пробормотал и начинает старческим дрожащим тенорком напевать:

Конь боевой с походным вьюком

У церкви ржет, кого-то ждет.

— А на прошлой неделе вот опять сон снился, и опять не знай к чему, — вдруг говорит Иван Никитич, — вижу, будто вместо нашей станицы вроде как какие-то цементные домики понастроены, квадратные такие, без окон, без дверей, и вижу жену с сыном и хочу их догнать, а они всё уходят, а я им кричу: “Да куда же вы! Постойте! Марья!” А она не отвечает, идет. Потом дошла до одного такого цементного домика, а там как вроде дверь какая открылась, она с порога повернулась ко мне, махнула рукой, вроде как “не надо, мол, мне тебя”, и взошла туда; подбегаю я к этому самому домику, а никакой двери найтить не могу.

Гарабос

Страдная пора здесь не жатва, а молотьба, когда по фермам ездит молотилка и соседи сходятся друг к другу на помочь. Гасконцы веселый, солнечный народ, хохотуны, хвастуны, безалаберники, но всегда себе на уме. С соседями я хорош, хоть и замечаю, что эти кондовые потомственные мужики относятся ко мне чуть-чуть свысока, с еле замечаемой усмешкой. Это потому, что я человек не их круга, а себе равноценными все люди признают только людей своего круга. Так светские люди относятся к “parvenu”, так же стадо рабочих коров относится к замешавшейся в нем молочной корове. Это вполне естественное, зоологическое чувство.

Из крестьян я сошелся ближе всего с Гарабосом. Может быть оттого, что он странноват. Над старым бобылем подсмеиваются соседи. Мне же он нравится из-за моей любви к хорошей породе. А Гарабос — столбовой гасконец, оставшийся здесь, как невыкорчевывающийся виноградный корень, даже после того, как всю округу залили итальянцы. Лицо у него будто сшито из кусков коричневой замши, до того закоржавело складками, морщинами. Губы украшены грязными седыми усами, изо рта торчит единственный черный клык, а слезящиеся зеленые глазки всегда издевательски смеются; основной же чертой характера семидесятилетнего гасконца остается, конечно, веселость.

В закопченное жилье Гарабоса страшно войти, тут круглый год то тлеет, то пылает камин. Жена давно умерла, сыновья ушли в город. В ветхой разваливающейся усадьбе старик один. В часы отдыха, бросив в камин бревешко, он дремлет у огня, радуясь пламени, согревающему старческое тело; у огня лежит и его голодная коричневая сука.

На этой виноградно-пшеничной земле Гарабос родился и прожил жизнь, как прожили ее здесь прадеды и пращуры. Гарабос дремлет от выпитого вина, от теплоты огня, от старости. Жизнь в старике сделала полный круг и вот уже застывает; он скоро умрет, и смерть его, может быть, никто даже и не увидит, кроме его худой голодной собаки.

В свежие утренники с усадьбы Гарабоса видны вечные Пиренеи, по ним старик предугадывает погоду, иногда дребезжаще поет с детства заученную песню: “Les montagnes des Pyrénées, vous êtes mon amour”. Старик — философ. Ему все ясно. Как-то я заговорил о войне 1914 года, но он не поддержал разговора. “Это северным округам надо было воевать, — сказал старик, — а нам здесь воевать не с кем!” И это искренне, это то

же крестьянское чувство враждебности к государству: “мы тульские, до нас не дойдут”. Да другое представление было бы и противоестественно, ибо весь мир Гарабоса здесь, на восьми гектарах пшеницы и виноградника, с которых он никуда не сходит. Только раз, ребенком, отец возил его на ярмарку в окружной город, и это единственное путешествие до сих пор старик вспоминает как лежащее в бесконечности. Остальные его передвижения коротки и однообразны: отвести корову к соседскому быку, сходить на помочь, занять у соседей для клушки яиц, взять винную бочку. И лишь в субботу, с раннего утра, когда на ферму глядят далекие, за ночь словно отмытые, светящиеся Пиренеи, Гарабос собирается в самое большое путешествие. Он надевает тогда черную гасконскую рубаху навыпуск, оставшуюся еще от времен, когда торговал скотом; маклаческая рубаха сразу же скрывает нечистоплотность костюма старика; шляпу он сменяет на широкий черный берет и, посасывая самодельную старую трубку, тихо спускается на еженедельный базар ближайшего городка. Тут, на скотьем базаре, старик приценится к бычкам, которые, как фарфоровые, привязаны пестрым рядом; узнает цены на яйца, на кур; с своими сверстниками, такими же стариками, посасывающими такие же трубки, он нашутится остротами и поговорками, какими они острят вот уж шестьдесят лет; и если кто-нибудь угостит, то старик выпьет рюмку анисовой водки. А когда начнется разъезд, Гарабос той же тропкой поднимется домой, на гору, на ферму, чтоб на рассвете на паре белых волов, с черными, словно обугленными глазницами и такими же черными метелками хвостов, выехать пахать свое поле, на котором он знает каждую ложбинку, ибо старым ручным плугом пашет его больше шестидесяти лет.

Раз после базара я помогал старику резать виноград. День стоял сентябрьский, виноградник был уже в утомленной желто-лазурно-красной листве. Вдруг, перестав резать и вынув изо рта стертую трубку, Гарабос сплюнул и, серьезно глядя на меня, проговорил:

— Ты знаешь, это только дураки ведь думают, что там, — он указал старым, заскорузлым пальцем на нежно-осеннее небо, — ничего нет. А кто ж тогда этим всем управляет, а? — и, подмигнув слезящимися глазками, старик рассмеялся с хрипотцой.

Мы продолжали резать матово-чугунные, черные, переспелые гроздья, от сладкого сока которых слипались пальцы. Мне всегда трудно было распознать отношения Гарабоса с Богом, но сейчас я убедился, что эти отношения существуют, хотя они понятны, вероятно, только им двоим. Этот гасконский вольтерьянец всегда

подсмеивался над аббатами, церковью, над Богом, но сегодня, в осеннем винограднике, его, должно быть, что-то волновало. Вскоре он опять заговорил, рассказывая, что ночью в прошлую пятницу у вдовы-соседки увидал в середине виноградника какое-то сияние, на следующую ночь опять, в воскресенье ночью то же самое, тогда он пошел к ней посоветовать, чтоб отслужила по мужу панихиду; и действительно, после панихиды ночное сияние в винограднике исчезло.

Что *же* это такое было? — продолжая резать переспелые гроздья, спрашиваю я. Не знаю, что было, а вот было, — и зеленые глазки старика смеются, при этом он щелкает губами и произносит любимое “хок-йок!”.

Трудно распознать душу этого старого гасконца.

Философия хлеба, постели, могилы у Гарабоса по-крестьянски жестока и ясна. Когда умер восьмидесятилетний сосед и я сказал об этом Гарабосу, он снял соломенную шляпу, неожиданно обнажив совершенно круглый безволосый череп, и произнес с сожалением: “Жаль”. Потом, помолчав, добавил: “Ну, пахать-то он уже не мог, а вот мотыжить мог еще”. Я понял чувство и мысль старика, что каждому нужно свое отпахать, отмотыжить, а потом идти в землю. Зато живя здесь, на земле, старик, как истый галл, страшно любит всякие плотские радости: красное вино, жирный кусок баранины, пахнущий овчиной сыр. После еды Гарабос желтым пальцем набивает обсосанную трубку горлодерущим табаком; а за едой он неизменно, со всей соленой откровенностью, балагурит о женской любви и сам первый заливисто хохочет, сотрясая высохшее, костлявое тело.

В склонах Гаскони Гарабос произрастает, как старый корень, дожидающийся естественного умирания.

Молотьба

На молотьбе все ведется по исстари заведенным правилам: и угощенье, и работа. Подняв соломотряс к голубому небу, машина нетерпеливо ждет рабочих; засаленные машинисты отрывистыми свистками созывают их. В спадающих с костлявой поясницы, заплатанных широкими латками портках, с свисшими седо-грязными усами, но тщательно выбритый, с вилами на плече Гарабос идет к нам на молотьбу первым. На помочи старик, конечно, уж только ловчится, приходя, чтоб задарма поесть кур, мяса, сыру, попить вина, кофе, арманьяку, потолковать, посудачить. Он издали уж кричит какие-то “патуасские” остроты, это значит, что от предвкушаемого пиршества старик в хорошем расположеньи духа.

За стариком сходятся человек двадцать соседей, французов, итальянцев; в гасконской рубахе, в соломенной шляпе пришел и Иван Никитич. Кругом смех, остроты, у южан сильно развита шишка жизнерадостности. Но вот паровичок застучал, все по местам, и за шумом машины уже еле слышны выкрики голосов, а скирд начал мерно таять под вилами залезших на него мужиков, споро кидающих тяжелые снопы в подрагивающую пасть машины.

Дубовые столы уж приготовлены, накрыты скатертями, на них встали пузатые пятилитровые бутылки с красным и белым вином. Гасконцы идолопоклонники хорошей кухни. Окончив молотьбу и перетаскав к амбару мешки, соседи в очередь моют у ведра руки и с веселым говором садятся за столы. Церемония началась как надо. Закуской подаются сардинки; за ними национальный наполеоновский суп с вермишелью, доев который каждый обязательно наливает в тарелку вина и, вкусно сполоснув, спивает. А хозяйки несут уже жирный кусок вареной говядины, ее каждый вдосталь запивает красным вином, уже из стакана; за мясом салат, за салатом разварные куры, за разварными жареные, золотистые; и как только жареные куры приносятся на стол, происходит всегдашний отказ гостей от чести их разнимать. Это — дело и честь старейшего. Золотая курица плывет вокруг дубовых столов от отказывающегося к отказывающемуся, пока наконец не дойдет до Гарабоса. Старик, смеясь и всегда с одними и теми же прибаутками крепкого полового свойства, не спеша берет свой сработанный, но острейший нож и ловко начинает разнимать тело птицы. На его искусство глядят молодые, отпуская такие же остроты, сопровождаемые дружным хохотом здоровых, уже наедающихся тел. Солнце юга, его блеск, вино, мясо, чеснок, кофе — все тут

землянее, кровянее, чувственней, чем у нас, северян. За дубовыми столами от простоты плотского веселья, от крепкоядения стоит все усиливающийся гомон голосов. Эти пиршества молотьбы мне всегда напоминают старые полотна Босха и Брейгеля. По локоть засученные мозолистые руки, крепкие челюсти, проголодавшиеся желудки, ничем не сдерживаемый хохот, грубость острот, звуки еды, крики, икота. Даже пришедшие с хозяевами собаки, подхватывающие оброненные со столов куски, и те вкусно пахнут “Деревенским праздником” знаменитого фламандца. Подвыпившие и наевшиеся кидаются друг в друга хлебными шариками, сливовыми косточками, ударяют разговаривающих соседей головой об голову. Под общий хохот на лугу, у столов, парни повалили здоровенного малого и, стащив с него штаны, ищут со смехом, есть ли у него то, что бывает у всех. Крестьянское веселье несложно, это детское веселье. Может, оно и тяжеловато, но, в сущности, не все ли равно, как веселятся люди, главное, чтоб веселились, а остальное — воздух, климат, кровь, нация, класс.

Наконец подается кофе, арманьяк, печенье, фрукты, сыр и на блюдах табак с папиросной бумагой для заверток. Этим должен заканчиваться каждый праздничный обед на молотьбе. Это все обязательно. И после этого наполнение желудков окончено.

На поля, на луга, виноградники ниспадает тихая оливковая сумеречность. Вся помочь, покачиваясь, расходится по домам, чтоб назавтра так же собраться за столами у соседа. Я чувствую, что устал от работы, вина, мяса, арманьяка, кофе. У сарая сложены дышащие хлебным теплом мешки с пшеницей: годовой пот и труд. Вокруг дома пахнет хлебом и пролитым вином. На шоссе крякает спешащий автомобиль. В небе вызвездились первые звезды, они словно нетверды, вот-вот звездопадом просыпятся вниз. Звеня стаканами, тарелками, жена и мать убирают со столов, похожих на поле после побоища. И мягко из-за холма, как громадный искусственный лимон, выходит луна и заливает все своим бледным светом, в котором резко заострился выросший после молотьбы омет соломы.

Вино лишает меня чувства действительности, мне все кажется, что это и не молотьба, и не я, но какое-то театральное представление, освещенное громадной электрической луной-лампой.

Смерть матери

Выросшие до крыши розовые, белые, желтые мальвы обступили наш дом. увивший стену виноград цвел, испуская сладкий запах, будто кто-то пролил у крыльца душистое вино. В переднем углу комнаты, под темным образом Христа мать лежала в гробу маленькая, пожелтевшая, с странно молодым лицом.

Сквозь окно виднелась качающаяся в ветре айва, желтеющая пшеница и высокое ровное небо. Перед смертью сознание матери не выдерживало напирающего хаоса пережитого. В жизнь на бедной гасконской ферме врывалось далекое, русское, война, революция. И с широко раскрытыми глазами мать произносила жуткую путаницу. Но потом, словно борясь с ринувшимся в сознание хаосом, она с отчаянием выговаривала: “Господи, да как же все это было? Ведь я же путаю…” Я помогал ей выправить мысль. Закрывшись желтоватой, когда-то необычайно красивой рукой, она лежала детская. Взглядом страдающих глаз глядела на нас, своих детей, словно прося простить за причиняемое болезнью страдание. А когда ей становилось легче, пыталась расспрашивать о хозяйстве, сенокосе, о саде; сказала: “Сливы в этом году много, если, Бог даст, встану, наварю вам варенья”. Но вскоре с взглядом напряженно-ищущим, испуганно-безумным, стараясь приподняться на слабых руках, она тревожно произнесла: “А знаешь, в этом году большевики, пожалуй, придут… в прошлом не пришли, а в этом придут…”. Я понял, что это вспыхнувшая жуть ожидания большевиков в Киеве, двадцать лет тому назад. Внезапно замолчав, мать откинулась на подушку и вскоре заснула. К ночи она страдающе проговорила: “Как это страшно, что человек так близок к безумью… один шаг, и начинается безумье…” Я успокаивал ее.

Над домом теплое небо расписалось созвездиями, плыла ночь, ни ветра, ни собачьего лая, будто все к чему-то прислушивается, и вдруг от шороха и шепотов матери я вскочил, но я еще не понимал, что это *пришла смерть,* что сейчас начнется единственно страшное человеку: телесные страдания перед уходом с земли. Верующая, всю свою жизнь она не боялась смерти, но всегда болезненно страшилась возможности телесного уродства, и наступило именно это: мать лишилась души, речи, сознания.

Рассветало медленно и безжалостно. Сквозь окно качалась та же айва, пели те же птицы, желтели те же пшеничные склоны. Полупарализованной рукой мать показывала мне на ногу и на голову, объясняя этим, что понимает происшедшее с нею: от

закупорки вены в ноге — закупорка в мозгу и полупаралич. Хлопоча у ее постели, я вспоминал, как двадцати пять лет назад, закаменев в своем горе, мать вот так же в Пензе хлопотала возле умирающего отца, и мне казалось, *что времени нет,* что это было вчера, и вот ее самое теперь уж не отнять, не вырвать, расставание настает, надо прощаться.

Мать пытается перекреститься на темный лик Христа, но рука не послушна. Я беру эту бессильную руку с пальцами, сжатыми крестным знамением, и помогаю поднести ко лбу, груди, плечам. И вдруг, глядя на меня, мать тихо заплакала. Это были те большие, запрокинутые в вечность мгновенья, что переживаются только, когда смерть подходит вплотную и своим током, веянием крыл обдает до дрожи. Мать пытается говорить, но все, что произносит, это уже не речь, а отчаянный поток человеческих звуков, и в нем различимо только “Господи… Боже мой…”. Словно она молится Богу и, видя, что мы ее уже не можем понять, просит Бога, кричит к Нему, чтоб он помог ей досказать что-то самое главное, самое нужное, самое последнее, но у нее нет сил это выговорить.

Рассвело. За окном пели птицы. Остановив на мне потухающие глаза, мать неожиданно произнесла: “Умру”. Это было последнее. Силы, уводящие ее из жизни, брали верх. Мы сидели в тишине, нам показалось, она, может быть, заснет, но, полуоткрыв глаза, она вдруг, с трудом приподняв еще не парализованную руку, сделал ею в направлении нас движение, словно прощалась с нами уже оттуда, с полпути, уходя навсегда.

Вздрагивая и стоная, она лежала в бессознании. Силы смерти уже несли ее все стремительней по страшному переходу из жизни в нежизнь. Вокруг — полевая тишина, трепет деревьев, долетают понукания пахарей. И нет для смерти окружения лучше, чем цветущая земля. В этой полевой певучей тишине и провожать и умирать легче, тут земля не страшна, с землей слипся, сжился.

Так же, как в отрочестве, в Пензе, когда умирал отец, в нашем доме стала жить смерть, и от ее присутствия лица всех стали иными, все заговорили шепотом, заходили тише, жизнь пошла оторванно от быта, смерть словно говорила: “Смотрите, как все это ни к чему и как все это просто, вот я пришла и беру, и очень скоро возьму вас всех”.

Боролась со смертью только земля, не позволяя себя забыть. С запада набежали фиолетовые дождевые тучи, сильно понес влажный ветер: будет дождь, надо свозить сено; корова пришла в охоту, ее надо вести к соседскому быку. И подчиняясь земле, мы работали и возвращались к лежавшей без сознания, умиравшей матери.

У матери закрыты глаза, в тишине она дышит все чаще. Мы стоим у ее постели, сквозь окно я вижу, как в ветвях деревьев прыгают и перекликаются маленькие оранжевогрудые птицы. Мать дышит, словно торопясь. Мать умирает, и в свои сорок лет я ощущаю, что остаюсь потерянным, словно соединявшая меня с миром пуповина будет сейчас перерезана. Вот мать глубоко переводит дыхание. И вдруг все стихло. Это останавливается сердце. Бившееся шестьдесят пять лет, оно биться кончает, еще мгновенье, и оно остановится. Остановилось? Нет еще. В тишину с пашни ворвался чей-то непонятный далекий крик. И еще один глубокий, всей грудью, вздох матери. И снова захлебывающееся, учащенное дыхание, и опять одинокий длительный вздох будто сладко просыпающегося человека. За ним из этого мира — в иной мир страшная, влекущая тишина. Вот — запоздалый, всеотпускающий последний вздох, и наступает совершенная тишина. В этом мире уже нет ее дыхания… Мать умерла…

Есть в уничтожении много страдания, но есть и необъяснимое, радостное. Вот ушла мать, и с страданием смешалась непонятная, противувольная, неопределимая, невозможная для высказывания радость. Что это? Радость возвращения? Радость покоя? Того, что зовется вечным упокоением? “Жизнь бесконечная”?

Из своего источника мы принесли воды, обмыли давшее нам жизнь маленькое тело, одели и уложили мать на прибранную постель, потом срезали незатейливые цветы, положили у тела, и в сумраке прикрытых ставень в комнате настала пустота горя и тишина без дыхания.

Сосед привез гроб из свежих досок. Мы бережно переложили мать в него, на свое только что скошенное свежее сено; и, сухонькая, она, чья жизнь сложилась трудным женским подвигом, легла, скрестив восковые руки.

Русский священник служит панихиду. Отрываясь от кадила, ладанный дым летит, своим запахом вызывая воспоминания детства в России; дым улетает в раскрытое окно. С свечой в плоской руке, немигающе уставясь в пространство, стоит Иван Никитич, что-то шепчет, перебирая синими губами. Батюшка служит за священника, за дьякона и сам поет за хор, но чин православного отпевания так умиротворяюще прекрасен и глубинной мудростью смысла, и радостно-страдающими напевами, что даже служба одинокого священника снимает животную боль, соблазны, лукавства, искушения, давая душе благость успокоения.

На рассвете сосед-итальянец, одевшийся в праздничный темный костюм, подводит к дому двуколку, запряженную

красными молодыми коровами в белых попонах и пестрых занавесках на мордах. Он управляет ими движением вишневой трости. Это здешний обычай: покойника на кладбище везут соседи; и мы подчиняемся ему.

В скуфье, с серебряным крестом в руке, в черной метущей дорогу рясе, за двуколкой пошел русский священник, я, брат, наши жены и Иван Никитич. С возвышенности бесконечен вид лугов, полей, виноградников. Встречные крестьяне, снимая шляпы и береты, пропускают горькое сельское шествие, с любопытством глядя на шагающего вразвалку русского священника. Я вспоминаю пышные похороны отца с громогласием дьяконов, с священниками в парчовых ризах, с звучным хором, чужими и своими рысаками, извозчиками, роскошным катафалком, изобилием живых цветов, искусственных венков, и бедные крестьянские похороны матери, на сене, с немногими полевыми цветами, кажутся и легче и правильнее.

Кладбище заросло акацией, бузиной, сиренью, будто русское уездное кладбище. В ряду крестов — открытая яма, из нее тянет сырой холодок. Мы ставим гроб над ямой на два горбыля, под ними веревка. Француз-могильщик с любопытством рассматривает русского священника с длинными волосами и удивленно слушает непонятную службу. В груди пустота и остро прорезывающее чувство бездомности. Сейчас тело матери уйдет в эту гасконскую землю. Как часто в предчувствии смерти мать говорила, что хотела бы умереть в России, где похоронен муж, дети, отец, мать, все родные. “Надгробное рыдание!” И, снижаясь, гроб опускается в могилу. На крышку упали комья глины. Я и брат закапываем мать, а над нами поют какие-то кладбищенские птицы, им хорошо, их тут никто не спугивает.

Наплывают свежие кучевые облака, сквозь солнце начинает сечь теплый, слепой, крупнокапельный дождик. Полями мы молча возвращаемся на ферму, к дому, где крыша под одно прикрыла комнаты, сарай, коровник; только одно окно призакрыто ставнями, это комната матери, ставшая без нее странно пустой.

Я, торопясь, запрягаю коров, ехать свозить оставшееся в копнах сено.

— Иван Никитич! — кричит батюшка, — лезьте на телегу, а я подавать стану! — В широкополой шляпе, в русской белой рубашке, в штанах, подхваченных ремнем, он сильным розмахом мечет сено. Казак еле успевает подхватывать. — Вот оно как по-сибирски-то! — улыбается русский батюшка, светлолицый, косая сажень в плечах.

Он — сибиряк, сын протоиерея, юрист, военный, эмигрант, фабричный рабочий и, наконец, православный священник на юге

Франции, подвижнически путешествующий и в зной, и в дождь, и в невылазную грязь по русским фермам Жиронды и Гаскони, везде служа, крестя детей, венчая молодых, исповедуя старых, соборуя больных, отпевая умерших.

С луга мы поднимаемся на изволок за поскрипывающим, покачивающимся возом.

— Где только я не побывал за это год, — говорит священник — недавно казакам служил всенощную прямо в лесу, да как хорошо было, составился хор, чудно пели, а погода была такая тихая, что в лесу со свечами стояли.

С подъема он оглядывается на пестреющую окрестность.

— Очень красиво, — говорит, — только нашей-то Сибири, конечно, не ровня. По сравнению с нашими-то просторами это все игрушки. Бывало, плывешь по Енисею домой из университета, что за красотища! С парохода, балуясь, кричим: “Хозяин дома?!” А эхо на весь Енисей несет: “Домааа!” И батюшка мягко улыбается воспоминанию. — А зимой, когда на лошадях ехали, — снега, просторы дикие. Везешь, бывало, с собой обязательный кулек замороженных щей… Да, наша сибирская-то мощь европейцам и во сне не приснится. — И вдруг батюшка смолкает, словно поняв, что Сибирь очень далека и не стоит бередить себя воспоминаниями.

На утро он торопится уйти еще до раскаленного жара. Высоченный, широкоплечий, в черной шляпе, с клеенчатым чемоданчиком, в котором уложены ряса, крест, скуфья, свечи, кадило, батюшка идет к другим русским людям на фермах Гаскони.

А я выезжаю пахать.

Так я и живу в Гаскони и только иногда, во сне, хожу в Россию. Недавно видел себя мальчиком, будто я и старый сельский учитель Непогодкин идем на охоте по болотным Лапотковым лугам. Я в высоких сапогах, они мне велики, я хлопаю ими по болотцу, но вдруг всем телом вздрагиваю от внезапно фыркнувшего взлета чирков. Я сразу просыпаюсь: это трещит будильник, я в гасконской хате, с постели вижу, что земляной пол выкрошился, его надо набить; я — здешний мужик, это моя настоящая, не выдуманная жизнь, и надо вставать задавать корм коровам.

Накинув пиджак, подрагивая от прохлады рассветающей ночи, в одних подштанниках, я иду в коровник. Заслышав меня, лежащие коровы с тяжелым крехтом поднимаются на колени, встают, от них пахнет приятным молочным теплом. В полутемноте правая ловит шершавым длинным языком полу моего пиджака и жует ее. Я похлопываю старую умную корову по

тяжелому свислому подгрудку и тихо разговариваю с ней на коровье-гасконском языке; потом я задаю им сена. И вдруг опять это ощущение нежно-изливающейся теплоты. Оно до того телесно ощутимо, что я даже приостанавливаюсь: “Что это!?”. И тут же отвечаю: “Ах, это мама опять”. Я чувствую, будто она не исчезла, а где-то вот здесь, за моим плечом, только совсем в иной жизни. И наполненный этим мягко-согревающим внутренним светом, я ухожу из коровника.

После завтрака я выхожу на последний укос люцерны. Я работаю бездумно, но в это утро мне особенно хорошо: я люблю все: и свою рыжую собаку Моську, легшую неподалеку от меня, и сработанную ладную косу, под которой ровными рядами ложится трава, и щетку соседского мокрого жнива, и своих коров, и вспаханную дышащую землю, и свои начисто вымытые винные бочки, и деревья сада, согнувшиеся под урожаем яблоков, и высокое небо, и весь этот резкий воздух, которым я дышу и не надышусь.

Конечно, пословица верна, что мила та сторона, где пупок резан, и я, конечно, хотел бы сменить разлапые фиговые деревья на играющую под ветром березу, а южное опаловое небо на наши тяжелые ветхозаветные облака. Но во мне есть и другое русское чувство, по которому вся земля — наша, вся Божья. И с моих пяти десятин в это утро я радостно встречаю и благодарю весь мир, за косьбой вспоминая изумительную молитву сеятеля: “Боже, устрой, и умножь, и возрасти на долю всякого человека, трудящегося и гладного, мимоидущего и посягающего…”

Конец второго тома

New York, 1984

Том третий. “Россия в Америке”

Об эмиграции

Когда в юности я читал в родной Пензе запретные книги Александра Герцена, я помню, как меня поразила фраза Герцена: “Эмиграция — это страшная вещь”. Мне казалась тогда, напротив, эмиграция Герцена не только не страшной, но прекрасной и героической: “Колокол”, “Полярная звезда”, Франция, Англия, сочинения, большое влияние на внутреннюю Россию, множество встреч с тогдашними западными властителями дум, писателями, революционерами, дружба с Огаревым, Бакуниным. Что же тут страшного?

И вот теперь — в старости, — прожив в эмиграции почти всю свою сознательную жизнь (ибо что же было в России — юность?), я понимаю, как верно, хорошо и глубоко сказал Александр Герцен: “Эмиграция — вещь страшная”. Но не только страшная, конечно, но и пленяющая. Эмиграция, и в этом ее очарование, ее притяжение, всегда тянет человека (если это человек, а не обывательский пень) — своей свободой. И вот я, прожив в эмиграции без малого шестьдесят пять лет, разве я бы хотел быть *не эмигрантом*[1]*!* Нет. Бывали, конечно, слабые минуты в эмигрантской жизни, в самом начале, когда мне хотелось опять “прилепить свои подошвы” к родной земле. Но они были очень редки и слабы. И всегда это чувство *родины* во мне подавлялось — чувством *свободы.* Что я люблю больше всего в мире? Свою свободу. Какую свободу? Очень простую. Физическую свободу передвиженья, которой на родине нет. Духовную свободу — “мыслить и страдать”, которой на родине нет. И, наконец, свободу демократического государства, где, по выражению Анатоля Франса, правительство должно считаться дворником, которого я прогоняю, если он мне плохо служит. Конечно, я, эмигрант, никого “не прогоняю”, “не могу прогнать”, я, так сказать, “человек с улицы”, не вошедший в жизнь государства, где я эмигрантствую и где я даже “принял подданство” и законно голосую на выборах президента, мэра города и т. п. Все равно, по существу я “вне государства”, “вне общества”. Конечно, и моя духовная свобода, мыслительная, ограничена в какой-то мере хотя бы языковым барьером, скудостью средств, мешающей подчас этим свободам.

И все-таки мне почему-то даже нравится эта *страшность* моего эмигрантского положения. Может быть потому, что я, в сущности, где-то в своей глубине именно и хочу быть “вне общества”, “вне государства”, а быть в вечном странствии. И потому как бы ни была тяжела эта “страшная вещь”

эмиграция — а она, конечно, бывает тяжела, — именно ее-то я и восхваляю. В этой свободе нищеты, свободе человека — именно она давала мне глубокие переживания счастья “остаться самим собой”. А это, может быть, даже самое большое человеческое счастье — быть эмигрантом не только из своей родной страны, превращенной в Дантов ад, но быть вообще эмигрантом на земле, еле соприкасаясь со всем тем, что тебя окружает.

Вот сейчас. Мне очень много лет. Я пишу эту книгу потому, что мне хочется рассказать какому-то очень мне близкому человеку свою жизнь. Но которого я совершенно не знаю. Не представляю ни лица, ни фигуры, ни очерка, ни его внутреннего мира. Но такой близкий мне человек когда-то найдется. И его заинтересует моя странная жизнь — во множестве стран, с множеством профессий, с разнообразием положений от помещика-барича до пролетария, от состоятельного буржуа до богемьена и опять от крестьянина-батрака до писателя. И мне хочется передать ему то, как я жил-был, проведя почти всю жизнь русским эмигрантским перекати-поле.

Вот сейчас. Где я? Я на веранде прекрасной студии в старинном местечке Питерсхем штата Массачусетс; веранда выходит в сад, переходящий в лес. Здесь каждое лето мы гостим у нашего близкого друга — миссис Элизабет Хапгуд, которую все русские называют “Елизавета Львовна”. Она была “спонсором” при нашем въезде в Америку, нашим “свидетелем” при принятии американского гражданства. Елизавета Львовна — женщина необыкновенная и по образованности, и по уму, и по литературному таланту, и по душевным качествам, и по внешней красоте. Недаром один ее друг, известный режиссер Джошуа Логан, узнав в Париже о ее смерти, в телеграмме ее детям писал: “Элизабет была — легенда”. Это верно. Е.Л. была “легенда”. Таких женщин так называемая “наша эпоха” уже не дает, они ушли навсегда.

Отец Е.Л. был адмирал американского флота, мать происходила из старинного английского рода лордов Хьюстон, один из которых был сподвижником Кромвеля, и после его смерти переехал в Америку. Муж Е.Л. Норман Хапгуд был американским послом в Дании и личным представителем президента Вильсона в Европе.

Е.Л. свободно владеет несколькими европейскими языками и по-русски говорит так, что русские не верят, что она чистокровная американка. Она была большим другом Московского Художественного театра, где дружила со всеми “великими”, а К.С.Станиславский с единственной женщиной (кроме жены, Лилиной) был с ней “на ты”. Это была высокая

“платоническая” дружба. Е.Л. блестяще перевела на английский его четыре книги (После смерти К.С.Станиславского Е.Л. попросила Олечку переплести его письма отдельной книгой. Олечка художественно переплетала. И переплела письма Станиславского в чудесный кожаный переплет. Так они и остались у Е.Л. и никогда опубликованы не были.). Она переводила с немецкого — Томаса Манна, Карла Цукмайера. С русского — “Отец” А.Л.Толстой(“Иерусалим — имя радостное” А.Седых, “Дракон” Евг. Шварца, который шел в театре “феникс” в Нью-Йорке. В ее доме бывали — Мих. Чехов, Джошуа Логан, Морис Метерлинк, Херберт Хувер, граф Куденове-Каллерги, Кришнамурти и многие другие. Я знаю, как она помогала попавшим в беду русским эмигрантам. В самый критический для Виктора Кравченко момент, когда администрация президента Рузвельта была готова выдать его Советам, сочувствующий Кравченко чиновник Эф-Би-Ай сказал ему: “Скройтесь так, чтобы мы не смогли вас разыскать”. И Кравченко скрылся. Где? В квартире Е.Л. на Ист-Сайд в Нью-Йорке. И тут провел семь месяцев, не выходя никуда. Причем об этом знали только Е.Л. и ее мать, а жизнь в квартире (ежедневные четырех часовые чаи и пр.) шла своим чередом. После смерти Рузвельта Кравченко благополучно вышел из своего “бес-та”. Вот с этой необыкновенной женщиной мы и были необыкновенно дружны. И ежелетне гостили у нее в чудесной студии в Питерсхеме.

Веранда затянута мелкой сеткой от комаров. Передо мной в цвету — несколько яблонь. Над яблоневым цветом жужжат пчелы. Перепархивают оранжевогрудые птицы, крича неприятным, тоскливым криком. Над зеленым лесом чуть виден острый белый шпиль протестантской церкви (“юнитериан”). А все местечко этой прекрасной страны первых американских поселенцев — Новая Англия — состоит из белых домов с белыми колоннами, как у нас где-нибудь в заброшенной усадьбе средней России. Только там такая усадьба была одна на сто верст. А тут все местечко состоит из таких вот белоколонных домов, окруженных старыми запущенными садами.

Как и зачем вместе с женой я попал сюда? В сущности, не знаю. Конечно, я знаю, как помогала приехать Е.Л. Помню все хлопоты по отъезду. Покупку билетов. Пароход “Вин-дам”. Небоскребные берега пристани Нью-Йорка в шестичасовом фиолетовом сумраке. Это все я помню. Но по существу, зачем я здесь? Кому я здесь нужен? И почему именно здесь, в Америке, я умру? Я понимаю все это не очень отчетливо. Mais ne cherchez pas a comprendre. Я всегда так и плыл в своей эмигрантской жизни от случая к случаю. Не добивался многого. О многом не старался, не

“пекся убо на утрие”, а брал то, что ко мне как бы само подплывало. И вот так же взял подплывшую ко мне Америку. Вот я и сижу на этой прекрасной широкой веранде, покачиваясь в качалке-кресле. Смотрю на зелень вокруг, на дубовую мелкую заросль, на яблони, на огород, на птиц, на пчел, на солнечные тени. И — вспоминаю. Что? Я вспоминаю время Второй мировой войны, пережитое во Франции. Я вспоминаю, *как я его пережил*. А пережил я его не совсем обычно. И многое осталось в памяти.

Великий исход

Как же это началось? Как пришло в душу осязание неминуемой гибели Франции? А с ней, возможно, и моей? Это началось в невероятно жаркий, душный летний день, когда мимо нашей фермы — на ферму Марии — проехали на велосипедах два жандарма, оба толстые, вспотевшие, в серой летней песочной форме, и я видел, до чего пропотели у них спины, лопатки.

В этот знойный день никто не работал в поле. Не выходили. Скот лежал и стоял в стойлах. Собаки забивались в относительную прохладу сараев. До пяти часов все было мертво. И только в пять- в начале шестого, когда начинал спадать жар и зной, крестьяне запрягали быков, коров — выезжали на работу. И то — не нудили ни коров, ни себя, зная, как этот зной убивает животную силу.

Жандармы разносили по фермам призывы о мобилизации резервистов. Они сообщали годным к военной службе фермерам, когда им нужно явиться на сборные пункты, чтоб идти защищать отечество, защищать не жандармов же, нет, а их самих, крестьян, столетиями вросших в эти виноградные поля их прекрасной Франции. Но от чего их, собственно, защищать? Эти виноградники и пшеничные поля — будут стоять так, что бы ни было. Франция этих полей, этих виноградников будет всегда жить как жила — и никто в мире не свернет эти наши поля, виноградники, не тронет наши каменные, старинные дома. Именно так — я увидел, — так ошибочно думали французские крестьяне, искренно не понимая связанности всего национального организма — крестьянина и генерала, рабочего и профессора университета. Французы были слишком освобождены от обязанностей. Их освобождала от этого ложно понятая, ядовито воспринятая с пеленок “свобода”, обывательски понимаемая “демократия”.

Когда к нам пришел сосед Мишель, муж Марии, в сопровождении Марии и трех детей — прощаться, жены наши — обе — заплакали, увидев горе Марии и испуганно-непонимающие детские личики, из которых лицо старшей девочки пыталось плакать, подражая горю матери. Но не в этом было дело, не в Марии, не в детях, нет, дело было в самом Мишеле — этом здоровом, крепком и довольно диком крестьянине. Только заговорив с нами, он заплакал как мальчишка, которому не хочется уходить в первый раз из дому в школу. Своим плачем он смутил и меня, и брата, ибо мы приготовились с ним говорить как “ансьен комбаттан”, которые, вероятно, будут вскоре

мобилизованы, потому что “бесподданных” Франция тоже призывает.

Но всхлипывающий Мишель, неловко утирающийся рукавом? И еще более плачущая Мария, такая же дикая, хорошая крестьянка-виноградарша, ничего в жизни не видавшая, кроме своей фермы, своих детей, своих телят, своего Мишеля, который в ее доме начал жить как наемный работник, а потом заменил ей мужа. Этот плач Франции — признаюсь — был страшен… Ведь плакал не один Мишель, миллион Мишелей.

То же самое было при прощании с другим соседом (более отдаленным), богатым Гудэном. Этот не особенно приятный, толстый, объевшийся и опившийся богатый крестьянин не плакал так в голос, как бедняк Мишель, но и Гудэн давил какие-то подступавшие рыдания и смахивал слезы. Плач Франции, плач этих двух крепких крестьян был мне страшен, потому что — я понимал — так плакали не только эти два мужика-француза, но плакала вся народная Франция, в долгой, сытой, животной демократической жизни потерявшая все мифы, все “гражданские доблести”. Франция не хочет воевать *ни за что и ни при каких обстоятельствах*. Это, конечно, гибель государства, гибель французской культуры, бессильной защитить себя от надвигающегося варварства.

Правда, мне рассказывали, что когда поезд с новобранцами отходил от нашего старинного Нерака, эти мобилизованные виноградари-крестьяне не пустили к себе в вагоны двух коммунистов-горожан и одного крестьянина, известных тем, что они были члены компартии. И мобилизационным властям — ввиду опасения убийства этих трех коммунистов — пришлось доставить их в Ажен, столицу нашего департамента, каким-то другим путем. Почему же те же плачущие Мишель и Гудэн выбрасывали из вагона коммунистов? Потому, что в них видели помощь этой войне, ибо Советский Союз шел вместе с гитлеровской Германией. И их вождь, Морис Торез, уже дезертировал из французской армии, бежав в Германию. И не он один. На немецком заводе, где-то у Гитлера, работал “токарем” и теперешний лидер ФКП — Жорж Марше.

В этих крестьянах, против воли ехавших на призывные пункты, ехавших воевать, было сильно чувство *уничтожения их быта,* разрыва с их обыденной жизнью и, защищаясь, они выбрасывали из вагона тех, кто, одержимый какими-то новыми “мифами”, нарушал их спокойную демократическую жизнь, ведущую свое летоисчисление от “либертэ, эгалитэ, фратернитэ” “великой” французской революции.

Вспоминаю я и свой призыв во французские войска. Мы с

братом в синем автобусе неслись по чудесной знакомой дороге, обсаженной сероствольными, словно заплатанными платанами, в департаментский город Ажен. Там в воинском присутствии нас опрашивал какой-то однорукий чиновник — где, когда я получил военное образование, где сражался. Но в пахнущей пылью всесветных канцелярий грязной и душной комнате мэрии этот однорукий француз с подвитыми усами и каким-то невыспавшимся лицом тоже не был воинственно настроен, хотя левую руку он, может быть, и потерял где-то на Сомме, на Марне в Первую мировую войну. Записав все нужные сведения, он сказал, что мы будем вызваны повестками в нужный момент на сборный пункт. Но этот момент так и не наступил — наступило крушение Франции.

Что творилось там, на севере Франции, под Парижем, мы узнавали только от беженцев. Мимо “Petit Caumont” по дороге мчались вереницы легковых автомобилей, заваленных сверх меры чемоданами, с привязанными к крышам матрацами, детскими колясками, некоторые везли собак, кошек… Ехали какие-то отступающие войска, шли грузовики, военные автомобили. Это был страшный хаос. Стоявший со мной наш сосед-итальянец вдруг проговорил: “Pas possible, toute la France demenage”

Когда я в базарный день пришел в наш Нерак — он являл ту же страшную картину. На площади, около дворца Генриха IV, расположились остатки каких-то воинских частей. У дворца почему-то на большом барабане сидел старый толстый полковник такого усталого вида, что казалось, вот он сейчас упадет с барабана и заснет. По городу ходило видимо-невидимо всяческих беженцев, искавших убежища на ночь, квартиры, желавших тут остановиться хотя бы на день-два; другие хотели поселиться насовсем. Все раскупалось нарасхват, лавочники и продавцы-крестьяне на базаре под брезентовой крышей не успевали продавать — все шло нарасхват. Люди были голодны, усталы, и все это казалось катастрофой не только Франции, но всей Европы, словно начиналась, “всходила заря” какой-то новой варварской эры.

Когда на обратном пути на свою ферму я, как всегда, зашел в старый покосившийся дом Марии, она, увидев меня, опять заплакала, говоря: “Боши придут и сюда, мсье, я уверяю вас, вот увидите… все возьмут… зарежут моих телят…” Мужа, Мишеля, она считала уже погибшим. Вместе с ней плакали и ее детишки. И только земля, хозяйство руководило еще ее жизнью: надо было пасти скот, мотыжить картофель, мотыжить маис, надо было делать вино, и это заставляло машинально жить, в свободное время бегать к соседу, старику Габриэлю, узнать новости, потому

что у Габриэля единственного было небольшое старенькое радио, которое в этот хаос, в эту разруху бросало вести — одна страшнее другой — о развале, о занятии Парижа немцами, о собрании каких-то депутатов в Бордо, о попытках каких-то переговоров, о самоубийстве знаменитого профессора хирурга Мартеля, не пожелавшего увидеть немцев в Париже. Но этот устарелый благородный жест французского патриота только удручал большинство, только подчеркивал, что Франции и всем ее гражданским добродетелям не остается больше ничего, как умереть, ибо сопротивляться нет сил.

На базаре в Нераке я зашел в парикмахерскую. Сидели, брились какие-то “макиньоны” (маклаки по продаже скота), и в зеркалах отражались их коровьи лица. Я часто наблюдал совершенно особые лица у мясников, похожие на те туши, с которыми они всю жизнь орудуют своими косырями. И у торговцев скотом, у этих крепких скотообразных мужиков, я наблюдал коровье-бычье выражение лиц. И вот теперь они сидели, окруженные вокруг шеи грязновато-белыми простынями, в молчании — их стригли, брили. Все молчали, и только хозяин парикмахерской, небольшой пузатенький французик, бегал по парикмахерской от клиента к клиенту и без умолку говорил: “О нет, мсье, все это так… пусть боши заняли Париж… пусть… но такая империя, как Франция, не может погибнуть, о нет, мсье, уверяю вас…”

Почему он был уверен, что Французская империя не может погибнуть, — не знаю. А может быть, он и не был уверен, может быть, говорил для того, чтобы подбодрить своих клиентов — этих “макиньонов”, чьи коровьи и бычьи лица отражались в несвежих зеркалах его маленькой парикмахерской.

И в этом же старинном городке, с чудесной запущенной поэтической речушкой Баиз, с бюстом Марии д'Арагон, на его площади я встретил бежавших из Парижа к нам друзей, московских купцов — бывшего управляющего Стахеевской мануфактурой Сергея Николаевича Ильвовского с женой Валей. Бежав из Парижа в общей волне, почти без вещей, схватив только то, что было можно схватить, они в страхе бомбардировок приехали в этот Нерак. И бедный Сергей Николаевич на старости лет помешался. Этого урагана, этого “кораблекрушения” его старческий мозг не выдержал. И когда я вел его под руку по площади Нерака среди волновавшихся французов, Сергей Николаевич говорил:

— А ты посмотри на женщин-то… все без фаты теперь… это, наверное, Кемаль сделал, а?.. И знаешь, так-то лучше…

Я понимал, что Сергею Николаевичу это “кораблекрушение”

представлялось повторением крушения Белой армии и приездом в Константинополь. И у него француженки стали турчанками, но почему-то без фаты… и он благодарил за это Кемаля- Пашу.

Устроившись кое-как, в какой-то небольшой комнатушке в каменном старинном сыром доме, Сергей Николаевич все сидел и не чувствовал никакого волнения. Он как бы уже не видел ничего совершавшегося вокруг, повторяя слова, совершенно непонятные окружающим: — “Кали мера, кали стера, кали перголя”. Будучи классиком по образованию, я изучал латынь, а не греческий и не понимал этого старческого бормотания каких-то псевдогреческих слов, которые он произносил с веселым смехом: “Вот вам и извольте, кали мера, кали стера, кали перголя”, — и Сергей Николаевич заливался рассыпчатым смехом. В этом “псевдогреческом” бормотании было какое-то соответствие с затопляющей все катастрофой…

Катастрофа кончилась голосом маршала Петена по радио Габриэля, голосом едва-едва слышавшимся, потому что радио старика было каким-то допотопным.

Ощущение полета в бездну как бы прервалось. Все: крестьяне, виноградари, ремесленники, маклаки, бакалейщики, рестораторы, гарсоны кафе, парикмахеры и эти бегущие, как сброд, солдаты — все хотели одного — что угодно, только чтоб кончилось это падение в бездонную бездну, все боялись одного — чтобы *сюда* не пришли немцы, чтоб не раздавили и их так, как раздавили север, Париж. Мария плакала о телятах, которых боши обязательно зарежут, а она оставила их на продажу. Мишель хотел предпринимать какую-то перестройку фермы, и без продажи телят ее не произвести. Люди об этом не говорили вслух, но *это* чувство: все что угодно, только бы поскорей кончилась эта “кали мера, кали стера, кали перголя”. И она кончилась.

Ферма старика Габриэля — недалеко от нас, на возвышенности. С нее во все стороны открывался чудесный вид на далекие виноградники, поля, виднелся бывший замок тамплиеров Сегино. Назывался участок Габриэля странно — Пер Бланк. Жил он на нем вдвоем с женой. Хозяйство стариков было все в образцовом порядке, хотя явно было видно, что старики уже уставали. Мы были в хороших отношениях, в особенности после того, как недорого продали им прекрасную телку, подошедшую в пару их собственной телке. Габриэль понимал, что продаст дорого такую красивую пару съезженных молодых рабочих коров.

Габриэль был — старая Франция. Худой, почти тощий, с седыми, чуть вверх усами, тонким лицом, орлиным носом. Всю свою жизнь они прожили тут испольщиками. Но прожили неплохо, скопив малую толику деньжонок и мечтая на старости

лет переехать в городок, где-то у родных доживать свой век. Но старик был еще бодр и работал. В противоположность дикому Гарабосу, Габриэль был культурным крестьянином, читал газету, любил поговорить о политике. В Первую мировую войну воевал и был ранен под Верденом, когда защитой этой крепости руководил Петен.

Вот к нему в дом и набились мы все, окрестные испольщики, арендаторы, крестьяне-собственники, услышав, что маршал Петен произнесет какое-то обращение к французскому народу. У всех на уме было одно слово — "армистис" (перемирие), что означало, что немцы не пойдут на юг Франции, не придут сюда, не расквартируют здесь свои войска, не будут забирать скот, хлеб, виноград, вино, не придавят этих французов так, как, наверное, придавили на севере. И эта жажда обывательской, хоть какой-нибудь свободы была так сильна во всех средних французах, в "трудящихся", что все набившиеся в низкую комнату Габриэля, к его хрипящему радиоаппарату, с затаенным дыханием дожидались, когда же заговорит маршал Петен. И вдруг раздался далекий-далекий, словно откуда-то с того света, старческий голос: "Французы!" — все замерли, жадно вслушиваясь в слова обращения, в слова, призывающие к перемирию с немцами, с Гитлером, с инвазией, с вторженцами. И когда раздались последние слова старческого голоса, плохо долетающие по старенькому радио: "Я приношу себя в жертву Франции…" — я почувствовал у присутствующих волнение благодарности, что вот в этот момент катастрофы у них во Франции нашелся человек, *взявший на себя* всю позорную тяжесть переговоров с Гитлером, чтобы *прикрыть* своим именем всех их, средних французов, не желающих воевать, — плакавших Мишелей, Гуденов, плачущую о телятах Марию, уверенного в величии Французскойимперии парикмахера мсье Бургеса, всех их, средних французов, которым было плевать на все, только бы сохранить свое спокойствие, пусть вот такое, несчастное, позорное, общипанное, разгромленное…

Бежавший из Франции в Лондон де Голль, хотевший сопротивления во что бы то ни стало, в тот момент был, увы, не с Францией, не с народом. С народом был Петен. Он и принес себя *в жертву Франции*, выполнив подлинную *волю народа*. Это потом, после победы союзников, Франция сделает вид, что была не с Петеном, что средний француз тоже "победил" вместе с англичанами и американцами. О нет, он никого не "победил"; растеряв свои цивические добродетели, он был тогда искренне благодарен, всем своим существом, всей своей кожей, животом, глоткой, желудком девяностолетнему старику маршалу Петену, своим прославленным именем прикрывшему позор переговоров о

постыдном перемирии. Но это было не желание Петена, а желание народа.

И когда, стыдясь этих своих цивически недостойных чувств, деголлевские судьи после войны судили маршала Петена, приговорив его к смертной казни, замененной ссылкой на остров Дье, это была трусливая неблагодарность, в которой было постыдно французам признаться. Французская академия поспешно вычеркнула имя маршала Петена из списка “бессмертных”. Вероломство всех французов по отношению к героическому (по-своему) старику могло вызвать у Петена обоснованное презрение. Но не вызвало.

В прекрасном французском журнале “Historia” в 1975 году (ноябрь) напечатана о маршале Петене справедливая и правдивая статья Жоржа Блонда с подзаголовком: “На острове Дье французы обращались с Петеном хуже, чем англичане с Наполеоном”. Верно. Англичане разрешали Наполеону ходить по всему острову, ездить верхом или в экипаже. Заключенному девяностолетнему маршалу разрешалась в день получасовая прогулка, но только по части двора, опутанной колючей проволокой. А когда старик маршал попросил разрешения дать прогулку по другой части двора, потому что, как он сказал, “оттуда видно море”, ему и этого не разрешили: гуляй за проволокой и смотри не на море, а на тюремные стены! Хороши и верны слова Петена своим адвокатам, приводимые Жоржем Блондом: “Неужели люди могут искренне думать, что я предал? И если так думают, то почему?.. Я управлял Францией с любовью. Франция и французы для меня были одно и то же. Я никогда не представлял себе Францию как нечто отвлеченное, как явление лишь историческое… Я всегда любил французов и всегда хотел быть к ним близок…” Де Голль же “*спасал честь* Франции”. Но “честь” — это, конечно, нечто абстрактное. Старый, знаменитый маршал, “слава Франции” (как о нем писалось в учебниках) был уверен, что генерал де Голль, его бывший подчиненный, не продержит его в тюрьме на этом окаянном острове — до смерти. Но Петен умер именно в этой тюрьме.

И в то же время де Голль, будучи главой государства, ввел в свое правительство заведомого изменника — дезертира из французской армии, лидера ФКП Мориса Тореза, как “министра без портфеля”, заявив, что “коммунисты — такие же французы”. увы, не совсем такие. Даже совсем не такие. Сказанное де Голлем было политически не умно и в корне ложно.

История не только “страшная сказка, рассказанная дураком”, но еще и “лживая сказка”.

APPEL DU 16 JUIN

Français!

A l'appel de Monsieur le Président de la Republique, j'assume à partir d'aujour'hui la direction du Gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte, avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires, contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-a-vis de nos allies. Sur de l'appui des Anciens Combattants que j'ai eu la herté de commander, sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénûment extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le casur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut tenter de cesser le combat.

Je me suis adressé cette nuit a l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec nous, entre soldats, après la lutte et dans l'Honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités.

Que tous les Français se groupent autour du Gouvernement que je préside pendant ces dures épreuves et fassent taire leur angoisse pour n'écouter que leur foi dans le destin de la Patrie.

Воззвание маршала Петена

Голод

Мы с женой идем по дороге мимо замка Розенэк, в одном из прекрасных, живописных, очаровательных департаментов Франции — Лот-и-Гаронн. Франция уже раздавлена ударом Гитлера. Каркас государственных границ смят, сломан. Мы идем по прекрасной, освещенной солнцем летней дороге мимо замка Розенэк. И мы совершенно потеряны в этом мире. Мы никому, ну совершенно никому не нужны. Никто нашей судьбой не заинтересован. Да и не может быть заинтересован. Всякий француз теперь заинтересован своей гибнущей судьбой, и ему уж конечно не до каких-то там иностранцев.

Дорога лежит между лесистыми холмами. Леса перемежаются лугами в цвету. Поют птицы. Воздух напоен изумительным ароматом скошенных вянущих трав. Тишина, нигде ни души. Старый замок Розенэк — на склоне холма. Он невелик, больше похож на дом в хорошей усадьбе, дом из дикого камня, от подножия до крыши увит мелкими бледно-розовыми розами. Замерший пейзаж оживляется только бельем, развешанным на веревке, разноцветным, словно живым, вздувающимся при порывах ветра. Почему-то не лает на нас большая, сидящая вдалеке желтоватая овчарка.

Тишина — изумительная. Наслаждаться бы и ею, и лесом, и птицами, и небом, и мелкими розами замка Розенэк. А мы идем — усталые, идем пешком далеко, километров за двадцать пять, наниматься на стекольную фабрику в городке Вианн. Наниматься нам надо потому, что нам попросту нечего есть. Мы от всего давно отрезаны. Друзья-писатели в большинстве уплыли в далекую Америку. Север Франции занят немцами. Кто-то нам сказал, что можно наняться рабочими на стекольную фабрику. И мы идем туда пешком по этой превосходной лесной дороге.

Гляжу на нее, на эту дорогу, и думаю: ну конечно, эта дорога чудесна в такой вот летний прохладный день. Но я ничего, никакой этой прелести воспринять не могу, не чувствую ее, потому что мне нечего есть, потому что я озабочен, смогу ли стать рабочим на стекольной фабрике, сможет ли стать работницей жена, а может быть, нас вовсе и не примут, может быть, рабочие там просто не нужны.

И тогда — что? Тогда — голод, настоящий голод на своей крохотной, в пять гектаров ферме, где живем мы впятером с семьей брата. И с нее нет никаких доходов. Брат ходит на поденную работу к богатому соседу-французу, но на это не прокормиться. Наша ферма куплена больше по русской

дворянской фантазии — на ней хотел опроститься мой брат с женой и сыном. Но из этих русских “фантазиев” ничего не вышло.

Война отрезала меня от всякого литературного дохода в Париже — там кончились русские газеты, журналы. Нет и не может быть никаких поступлений из-за границы. И вот я — классический люмпен-пролетарий — иду теперь наниматься на стекольную фабрику.

Даже письма написать некому. В Европе — никого нет. А тени концлагеря Ораниенбург (за мою книгу), несомненно, приближаются. Но дело не в том даже. А в том, что именно в эти дни, когда Франция вступила в войну нехотя, против воли, когда народ ее не хочет ни за что воевать, когда он чувствует, что страна погружается все глубже в хаос несчастья, люди становятся необычайно недобры, злы. И ты, эмигрант, с особой силой ощущаешь, до чего ты никому не нужен, ну решительно никому. В мирное время ты мог еще быть даже неким развлечением для француза иль немца. С тобой могли пошутить, поговорить, удивиться — “до чего *же,* мол, эти русские какие-то никуда не годные люди, ну да черт с ними, пусть нас объедают!” Но сейчас эмигрант не вызывает ничего, кроме раздраженного чувства назойливости, ненужности. В такие “решительные для отечества минуты” эмигранты, конечно, не нужны. И вот эта потерянность, полная чуждость окружающей тебя стране страшно тяжела. И понятна только эмигранту, только побывавшему этим “инородным телом”, этой “иностранной” занозой в чужой нации…

За деревней Лимон, выйдя с лесной дороги на асфальтовую, всю затененную гигантскими платанами, вы увидите стариннейший замок Тренклеон, квадратное шато, построенное в допотопные времена. Замок называется по имени своего владельца, а владелец получил это имя от “шевалье вер галан” — короля Генриха IV, о котором в этих краях республиканской Франции любят рассказывать забавные истории. О любовницах короля, о его жизни в недалеком отсюда Нераке, о его страшной смерти от кинжала Равальяка. О Трен-клеоне мне рассказал крестьянин Огланьюс, словно в землю вросший древний старичок с безволосым розовым сморщенным личиком, в очках, подвязанных веревочкой, похожий на голландца с картин Терборха.

Король Генрих IV, благоволивший к молодому владельцу замка, на каком-то дворцовом приеме, дабы показать всем свою расположенность к молодому дворянину, которого звали Леон, поднял бокал в его сторону и, предложив выпить своего, вероятно замечательного, королевского вина, сказал: “Тренк, Леон!”. Так

эти королевские слова и укрепились за владельцами замка и за самим замком. Замок — какой-то странной архитектуры, окруженное столетними деревьями квадратное здание, скорее, какого-то испано-мавританского стиля.

Но, конечно, сейчас ни я, ни жена замками не любуемся. Отрезанные войной от всего мира, мы идем только с одной надеждой: авось примут на стекольную фабрику в старинной деревеньке Вианн и тем спасут от голода и дадут возможность жить.

Помню как сейчас то странное чувство, которое я испытал, когда мы подошли к каменным стенам Вианна. Подошли мы со стороны южных ворот. Там стояла старая церковь и на ней, как на многих церквах Франции, обычно не замечаемая из-за своей обыкновенности надпись — “Свобода, равенство и братство”. Думаю, такие надписи появились на французских церквах во время так называемой “великой” французской революции. Мне всегда казалось, что церкви были в какой-то мере испорчены этим “лозунгом”, хотя надпись по своему смыслу, конечно, прекрасна. И не только прекрасна, но, в сущности, глубоко христианская. Все дело в том, что смысл этой надписи традиционно понимался не церковно, не по-христиански, а как вызов церкви со стороны лаической революции. Поэтому она мне и не нравилась. Такие надписи были уместнее на государственных учреждениях, хотя никто, в сущности, им никогда особенно не следовал. Но как максима были, конечно, хороши — как поддержание политического государственного мифа республики.

Но вот, когда мы подошли к вианнским воротам и я увидел на церкви эти обычно не замечаемые слова — “Свобода, равенство, братство”, я глядел на них, как будто не понимая их смысла, словно в современной Франции, захватываемой Гитлером, это были уже какие-то допотопные иероглифы, *никому не нужные*. История отбросила этот миф, заменив его наскоро совершенно другими мифами XX века, мифами варварского насилия, под которыми на моих глазах гибло в Европе все, что осталось еще самого дорогого.

Вианн стоит того, чтоб о нем сказать. Это крошечная деревня, всего две продольных улицы и три-четыре поперечных. Этот прямоугольник, состоящий из небольших домиков, в большинстве весьма старых, одноэтажных, со всех четырех сторон обнесен древней каменной стеной с башнями по углам. Правда, один выход из этого древнего городка уже расширили, проломав каменные стены, что, конечно, нарушило общую прелесть старины. Но все равно Вианн казался мне прекрасным, и, прожив около него несколько военных лет, я в этом не разочаровался.

Не знаю, как толком назвать Вианн — городок? деревня? местечко? Скорее всего, пожалуй, городок, по-старинному, ведь это был во времена религиозных войн некий укрепленный пункт. Конечно, мы шли с женой, только краем глаза глядя на седую древность, на хаотически цветущие в садах и палисадниках розы и всякие пестрые цветы. Мы были поглошены самым существенным: мы хотели есть, мы хотели устроить свою жизнь как-нибудь, чтобы могли каждый день есть и знать, что и завтра будем более-менее сыты.

Вианн заселен не густо — и всё старушками. Конечно, есть и другое население, старики, даже есть и молодежь и дети (в ограниченном количестве), но не они придают колорит этому гасконскому городку. Стиль Вианна — старушки. Они — во множестве, все в черных платьях, все на вид скромно-сдержанные. Но когда я их узнал поближе, став молочником этого городка, — о, какие же это оказались злостные и воинственные сплетницы, преследовательницы всех своих вианнских недругов и врагов.

Собственно, Вианн, умирающий французский средневековый городок (как и многое умирает во Франции подлинно французское), уже много лет был оккупирован чехами. Какой-то предприимчивый чех по фамилии Тенк почему-то именно здесь построил небольшую стекольную фабрику, не в самом городке, а чуть поодаль, в одной трети километра от Вианна. Компаньоном чеха сразу стал богатый мэр Вианна, мукомол Лятуш. Тенк выписал из Чехии стеклодувов и всяких других стекольных мастеров. И таким образом древний Вианн с его умирающими старушками-католичками вошел в “темп современности”, обзаведясь неким промышленным предприятием.

На стекольной фабрике

Фабричка — пустяковая, в сущности. Но все же человек до ста на ней работало: чехи (с кучей детей — веселые, шумные детки), французы (в весьма ограниченном количестве, две-три девушки-упаковщицы) и испанцы (эмигранты от Франко, понесшие поражение в гражданской войне, такое же, как и мы, только наоборот). Испанцы были весьма “красные”. Кроме чехов и испанцев на фабрике работало несколько итальянцев, а заведующим обжигательной печью был донской казак Уварыч (Митрофан Уварыч).

От Вианна до стекольной фабрички — минут пятнадцать ходу. Фабрика стояла на асфальтированной дороге. С виду довольно бедное заведение — дощатые бараки, ничего больше. В бараках — шлифовальные жернова, быстро вращающиеся, словно живые, а около них на небольшом возвышении стояли рабочие, шлифуя всякие стеклянные предметы — вазы, абажуры, стаканы.

Было и отделение выдувальщиков, этот зал всегда напоминал мне что-то дьявольское. Здесь полуголые от жары старые чехи-стеклодувы выдували всевозможные стеклянные вещи с помощью длинных трубок. Столь же дьявольским было и отделение “саблёров”, рабочих, шлифовавших стекло сильной струей песка. “Саблёры” играли наперегонки со смертью — кто опередит: они ли заработают хорошие деньги и бросят работу, или смерть их обгонит и они умрут от чахотки. Обычно смерть обгоняла-таки “саблёров”.

“Саблёров” на фабрике было всего два. Я бывал и в их отделении. Два человека работали у особых аппаратов, которые сильной струей песка шлифовали стекло. Работали они в масках, но маски делу помогали мало. Платили “саблёрам” гораздо выше прочих рабочих, потому что директор, старый хитрый лис Тенк, прекрасно знал, что условия их работы почти смертельны и следует, конечно, как-то “вознаградить” человека за преждевременную смерть. Правда, эти бедные человеки сами напрашивались на смертельную работу в предвосхищении больших заработков. Когда, по прошествии шести месяцев, первые “саблёры” стали умирать, довольно быстро заработав туберкулез, рабочие не сразу сообразили, отчего они заболели. Когда же стали говорить, что быть “саблёром” это все равно что подписать контракт со смертью сроком на год-полтора, дирекция — тот же хитрый Тенк, его коллега Лятуш и другие акционеры — поставили наконец какие-то особые насосы, втягивающие песок, благодаря которым процент песка, попадающего в легкие, сильно

уменьшился. Но странно, “саблёры” в погоне за заработком, работая сдельно, насосами почти не пользовались, “гнали продукцию”. Я видел своими глазами, как эти забитые песком насосы стояли без употребления во время работы “саблёров”.

“Саблёры” были интересными типами. Один из них, итальянец, необычайно крепкий молодой мужчина, отец большой семьи, решил выбиться в люди, приехав во Францию из нищей Сицилии. Он не работал сплошь “саблёром”, а поработает три-четыре месяца, заработает некую сумму и уходит на землю. С полгода работает как испольщик-крестьянин на ферме, а потом опять приходит на фабрику и становится у своего зловещего аппарата играть в кошки-мышки со смертью. Дирекция его любила за быструю, хорошую работу.

О вредности работы “саблёров” я узнал от казака Уварыча. Он-то меня и предупредил, чтобы я ни под каким видом не брал *любую работу*.

Административный директор фабрики, щуплый молодой французик мсье Пети, принял нас с женой, как и быть должно, — официально-вежливо. На мое предложение нашего труда он чуть-чуть улыбнулся, спросив, работали ли мы когда-нибудь на фабрике?

Нет, никогда, — ответил я. Понимаю, — протянул мсье Пети и на какую-то секунду задумался.

В эту секунду решалась наша судьба.

— Хорошо, — проговорил мсье Пети, — я могу вас взять на работу. И вас, и вашу жену.

Обращаясь к жене, он сказал:

— Вы пойдете в упаковочный отдел. Вы умеете упаковывать стекло?

Умею, — ответила Олечка. А вы, мсье, — протянул Пети, — будете у нас контрметром,

Я внутренне ахнул: сразу такой “гигантский” пост. И, наверное, больше денег. Но мсье Пети добавил:

— Конечно, сейчас вы будете получать как наш обычный рабочий. Но мы посмотрим…

Я понял, почему назначен на столь неожиданный пост, когда мсье Пети сказал, что ему говорил о нас наш земляк, давно работающий на фабрике. Это был Уварыч. Мсье Пети, конечно, знает, что я никогда не был рабочим, что я “белый” русский и, вероятно, буду на фабрике достаточно хорошей собакой, надзирая за работой “пролетариата”, а если даже хорошей собаки из меня и не выйдет, все равно, подсчитывая выработку, я буду на страже не “пролетарских” интересов, а хозяйских. Мсье Пети ошибался. Он не знал “традиций русской интеллигенции”, ее

природной симпатии к “трудовому народу”, которая жила в лучшей ее половине и, в частности, в моей семье.

Первое, что меня ошеломило на фабрике, — шум. Шум многих, пятнадцати-двадцати быстро вертящихся, цвета грязной воды больших жерновов, в который врезался ритмический звук какой-то электрической машины; тонущие в этом шуме или вырывающиеся из него отдельные людские крики; звон время от времени разбиваемого стекла. Одним словом, говорить в этом помещении можно было только на сильном крике. В барак меня ввел мсье Пети. По тому, как он говорил рабочим и работницам о том, что вот этот мсье будет вашим контрметром, я понял, что они обо мне уже наслышаны, уже знают, что какой-то русский (а может быть, с подробностями: “белый офицер”) будет с этого дня контрметром.

— Э бьен! — сказал какой-то стекольщик, В этом его “э бьен” я ничего хорошего для себя не почувствовал. — Пусть, мол, попробует.

Эта стекольная фабричка была хорошей лабораторией для наблюдений по социальной психологии, в частности по психологии так называемого “рабочего класса”. И эта психология опровергала многие мифы, которыми успешно оперируют марксистские социалистические и коммунистические партии. Взять хотя бы знаменитый лозунг — “пролетарии всех стран, соединяйтесь”; “у пролетариев нет отечества”. Состав рабочих на фабричке был многонационален: чехи, французы (в небольшом количестве), итальянцы, испанцы и, наконец, русские эмигранты. И вот, став контрметром и невольно войдя по должности в гущу рабочих, я увидел небывалую национальную рознь, если не сказать вражду. Именно не какую-нибудь другую, а национальную. Она выражалась в борьбе друг с другом, в подсиживании. Чехи жили своей группой. Испанцы — своей. Итальянцы — своей. Отношения между этими группами давали материал для интересных наблюдений.

У мадам Пруст

Итак, на этот раз мы победили. На какое-то время мы спасены. Но надо где-то жить. И мы с женой сняли комнату в Вианне у мадам Пруст. Мадам Пруст была столь типичной провинциальной француженкой Дю Миди, что о ней стоит рассказать.

Лет пятидесяти. Уже седоватая, скверно выкрашенная, с рыжестью в волосах, она любила носить какие-то странные черные капоты. И, несмотря на свою всегдашнюю неопрятность, ходила напудренная, с ярко накрашенными губами и насурьмленными бровями. В доме ее жила и ее мать, древняя полупарализованная старушка, необычайной, видимо, доброты и любви к людям. Но ввиду ее полной "экономической бесполезности", мадам Пруст обращалась с ней до крайности жестоко, словно хотела только одного: чтобы старушка поскорее съехала с квартиры на вианнское кладбище. Она и не задержала мадам Пруст, при нас она умерла в своем кресле. Больше всего мадам Пруст любила говорить со мной (не с женой) о Париже. О том, как она жила лет тридцать тому назад, когда служила продавщицей в "Галери Лафайет". О том, какая в Париже кухня. О том, как элегантны парижане и парижанки. Вспоминала парижские знаменитые магазины и рестораны, в которых она, конечно, никогда не бывала, но которые в воображении ее были тоже ее собственностью, собственностью Франции, собственностью Парижа, и мадам Пруст была ими необычайно горда. Мадам Пруст была совершенно уверена, что лучше Парижа и Франции — нет ничего в мире. Что же, Париж и Франция — места большого очарования. Но все-таки… есть и другие места на свете, не менее прекрасные. Но с этим мадам Пруст не могла бы не только согласиться, но даже понять, ибо весь мир ограничивался для нее только Францией, а в ней — только Парижем, а в Париже — ресторанами и всякими другими приятными для человеческой плоти предприятиями.

— О, Фоли-Бержер! — восклицала она. — О ком се жоли!

О-о, мсье Гуль, вы, конечно, бывали в Фоли-Бержер?!

Будучи человеком воспитанным и не любя огорчать людей, я лгал мадам Пруст, что, конечно, бывал. В восторге она всплескивала руками. А в Фоли-Бержер я был один-единственный раз и, потрясенный этой в буквальном смысле дьявольщиной (причем дьявольщиной довольно-таки ошеломляющей), я, уходя оттуда, закаялся никогда больше не ходить в это действительно не сравнимое ни с чем по своей пошлости и низменности

заведение.

— Мсье Гуль, скажите мне, за кого вы? Как вы думаете,

кто спасет Францию — маршал Петен или генерал де Голль?

Зная твердо, что все, что я скажу по этому поводу, как я решу судьбу Франции, будет завтра же рассказано в единственной бакалейной лавке городка, у мадам Дюран, а оттуда, кто знает, может через кого-нибудь дойти и до жандармерии, я уклончиво отражал эти лобовые атаки мадам Пруст, говоря, что для спасения Франции было бы хорошо, если б маршал Петен объединился с генералом де Голлем.

— Вы правы! — вскрикивала мадам Пруст. — Я сама думаю об этом точно так же!

И я был вполне спокоен за завтрашний разговор мадам Пруст в лавке мадам Дюран или у зеленщицы, мадам Боннэ, где мадам Пруст ежедневно покупала четверть литра молока и изредка тощую теперешнюю газетку, в которой уже не печаталось, впрочем, ничего, кроме правительственных сообщений. Иногда я брал у мадам Пруст старые газеты и развлекался чтением статей вроде “Час Гамлена настал!”; “Французские войска — лучшие в мире!”; “Линия Мажино — неприступна!” Увы, Все это было уже — plusquamperfectum.

Так мы и жили в старом городке Вианн, на берегу реки Баиз. У реки стояла древняя мельница, и сразу же у берега начинался прекрасный лиственный лес, где хорошо было в закатный час, когда, по старинной традиции, уже после заката солнца старые люди выползали из своих домов и рассаживались на ступеньках крылец, на скамейках у домов, говорили о несложных вианнских новостях и о событиях войны, пользуясь какими-то невероятными слухами, которые кто-то привез через границу между оккупированной и свободной зонами. Как известно, в то время Франция была уже разделена на две зоны. И мы, счастливые, жили в свободной.

Конечно, это было настоящее счастье. Мы не были свидетелями вступления немцев в Париж, когда, как рассказывал мне приятель, он видел на парижской улице плачущего французского полицейского: “Осаживал толпу французов, а сам плакал как ребенок…” Именно тогда, в день вступления немцев в Париж, знаменитый французский хирург Мартель покончил жизнь самоубийством. Мадам Пруст рассказывала об этом самоубийстве с каким-то притворным (по-моему), театральным ужасом, а живший у нее француз-рабочий умно заметил: “Мы на это не способны… Для этого надо быть образованным человеком”. Мадам Пруст не поняла этой фразы, возмутилась и начала было кричать, что мы все на это способны! Но рабочий в спор не

вступил. А выразил он, конечно, очень верную и тогда меня поразившую мысль.

Впрочем, знаменитый профессор Мартель покончил самоубийством напрасно, как это показала жизнь. Он не мог патриотически-эстетически пережить вида немецких солдат на парижских улицах, стука их подкованных сапог на Елисейских полях, вида этих серых однообразных форм, марширующих по бульвару Распай. Все это, конечно, так. Но если бы профессор не поспешил уйти, он увидел бы и нечто иное. Увидел бы, как по Елисейским полям идут, как победители, французские танки знаменитой дивизии знаменитого генерала Леклерка под неистовые, радостные крики и клики парижан.

Моя работа на фабрике в должности контрметра сводилась к наблюдению за продукцией и подсчету сделанного каждым рабочим за день. Я был весьма либеральным контрметром. И рабочие это если не сразу, то скоро заметили. С ними у меня установились дружеские отношения. Со всеми — чехами, французами, итальянцами, даже испанцами, — кроме одного, красного из красных испанца-коммуниста, который меня возненавидел, вероятно, как “класс”, как “белого” русского, как “врага народа”. Это был красивый, весь какой-то гуттаперчиво извивавшийся, сильный, похожий телом на обезьяну, типичный брюнет-испанец. Говорил он со мной всегда подчеркнуто грубо, стараясь подловить на каких-нибудь неточностях в записях. Сознаюсь, я тоже чувствовал к нему неприязнь, но не как к “классовому врагу”, а как к личности. Это была типичная большевицкая личность, сильная, жадная до своей жизни, до своей власти и, вероятно, совершенно беспощадная, жестокая по отношению к жизнями чужим. Он был тем самым новым массовым человеком, опорой тирании, который вырвался в большевизме, нацизме, фашизме. Звали его как-то незамысловато — не то Лопес, не то Диас.

После голодной крестьянской жизни на ферме “Пети Комон” даже комната у мадам Пруст, которую мы снимали, с гигантской, почти развалившейся постелью, с портретом над нею Генриха Четвертого и его первой жены, Маргариты Наваррской, с напудренной и немытой мадам Пруст, казалась нам счастьем. В особенности прекрасны были воскресенья, когда можно было отоспаться, отдохнуть, прочесть жидкую газетенку, поесть, приготовив на примусе какую-то несложную еду, а потом смотреть в окно и видеть, как неизменно в три часа дня чех-стеклодув Прибыш медленно шагает посредине вианнской улицы в воскресном костюме, с неизменной папироской во рту и — обязательно — в шляпе. Шляпу Прибыш в будни никогда не

носил, ходил, как все рабочие, в грязной кепке. Но в воскресенье он надевал к своему парадному костюму серую фетровую, довольно большую старомодную шляпу. Шел он медленно, сначала по одной улице (в Вианне их всего две, не очень-то разгуляешься), доходил до квадратной вианнской площади, обсаженной высоченными старыми каштанами. Заходил в единственный крохотный ресторанчик, похожий на какой-то таинственный разбойничий притон по своей грязи, темноте, запаху вина, серым очертаньям бочонков. В этой корчме Прибыш садился, осторожно снимал шляпу, выпивал стакан вина, не больше, говорил каждый раз одни и те же фразы и снова отправлялся гулять — по другой уже улице, торжественно неся на голове свою фетровую шляпу. Это было не гулянье, а именно торжественное ношение шляпы на голове. Чтобы сделать ему приятное, я как-то похвалил его шляпу. И Прибыш с удовольствием рассказал, что он купил ее давно, еще в Праге, и сколько за нее заплатил…

Катастрофы приходят внезапно. Так пришла и наша. Она пришла в момент, когда немцы продвигались к югу, заняв половину Франции. Не имея ни сбыта, ни сырья (так, по крайней мере, объяснили нам в расклеенном на фабрике объявлении директора Тенк и Пети), стекольная фабрика закрывается. И первым, кто спросил нас, что же мы теперь будем делать, была, конечно, мадам Пруст. Мы отказались от комнаты. Могли прожить еще одну, оплаченную неделю. А после нее наступало прежнее: ничего, никого, никуда и неоткуда.

Шато Нодэ

В “оплаченную еще” неделю к нам из “Пети Комон” на велосипеде совершенно неожиданно приехал Сережа. И с неожиданным предложением.

В обиталище мадам Пруст Сережа вошел одетый как всякий французский крестьянин: в берете, в рабочих штанах, рубахе с засученными рукавами и в неизменных деревянных сабо. Олечка приготовила какой-то обед. И за обедом Сережа рассказал, почему он внезапно приехал. Недалеко от Вианна есть замок, шато Нодэ. Он принадлежит старому французу-аристократу мсье Ле Руа Дюпрэ, бывшему парижскому банкиру. Старик одинок и с великими странностями, может быть потому его ферму никто и не хочет брать исполу. Сейчас у него “метайеров” (испольщиков) нет. Прежние (итальянцы) уходят, ферма свободна. (Поясню: на юге Франции испольщина очень приятна: вы даете свой труд, на свой риск и страх ведя хозяйство, а в конце года делите все барыши пополам с хозяином).

Какая же, Сережа, ферма у этого банкира? — спросил я.

Очень хорошая. Тридцать три гектара земли. Коровье поголовье — двадцать два головы, из них одиннадцать молочных, дойных. Земля — и пахотная, и виноградник, и луга. Дом для нас хороший, уместимся вполне. И я предлагаю взять ферму исполу на три года.

Тут я хочу рассказать кое-что о характере Сережи. На ферму в Гаскони мы сели по его настоянию: опрощение, труд, жизнь на природе. В этом жило некое “своеобразное мироощущение”. И я задумывался: откуда все сие в Сережу вошло? Где корни? Во-первых, по-моему, от детских капризов. Как своего первенца, мама Сережу очень баловала. И плюс — наследственность от деда (по отцу), вспыльчивость. В семье у нас бытовал рассказ, как к больному Сереже (ему было лет пять) пришел наш постоянный доктор и друг Александр Трифонович Уклеин и, осматривая Сереже горло, сделал ему, вероятно, больно. Сережа вырвался от него и стал кричать, бросаясь на доктора: “Трифка, черт, я тебя зарежу!” Конечно, при папе подобные “выступления” были невозможны. Но мама Сережиным капризам противостоять не могла.

Другое, игравшее существенную роль в образовании “мироощущения” Сережи, пришло, по-моему, от Густава Эмара (Aimard). С детства у Сережи была страсть (именно страсть!) к чтению. Он часами просиживал за книгами. Во мне этого не было. Я предпочитал игру на нашем большом дворе — в лапту, в чушки,

а особенно — гоняние своих голубей. Они бурной стаей вылетали со звоном крыл из голубятни и шли кругами сначала над крышами, а потом, все выше, выше и выше поднимаясь, уходили в поднебесье, где летали разноцветными точками. “Голубиная охота” меня радовала. Сережа этого не понимал.

Когда он перечитал Фенимора Купера и Майн Рида, он принялся за Густава Эмара, и после того, как в пензенском книжном магазине Добровольнова был куплен весь Густав Эмар, Сережа пристал к родителям, чтоб ему выписали из Москвы (от Вольфа, по-моему) *полное* собрание сочинений Густава Эмара. Мама и папа эту Сережину страсть к чтению поощряли, и действительно, из Москвы вскоре пришло *полное* собрание сочинений Г.Эмара (как сейчас помню, в твердом синем переплете с золотым тиснением, томов 10–12, кажется). От приключенческих сочинений этого француза, писавшего из американской жизни, Сережу было не оторвать. И мне кажется, эта страсть к Эмару с его описаниями дикой природы и всяческих приключений с годами сильно повлияла на характер Сережи: его полное отвращение к городам, любовь к природе, к охоте, к верховой езде. Родители этому никак не препятствовали.

И вот теперь в этом “метайерстве”, в опрощении, по-моему, в Сереже давал себя знать подсознательный импульс этой тоже (если хотите) страсти к “приключенческой” жизни. Сережа ненавидел всякую “буржуазность”, весь городской уклад жизни. А тут — хоть и в труде (быть может, даже непосильном), но он на природе и с природой.

Когда Сережа кончил описание всех “прелестей” фермы в тридцать три гектара, я внутренне ахнул. Это вам настоящий Густав Эмар!

— Все это прекрасно: и замок, и все, — сказал я с некоторым смущением, — но жить-то мы будем, к сожалению, не в замке, а в доме батраков. Что же ты думаешь, мы справимся с тридцатью тремя гектарами земли и с двадцатью двумя коровами, из которых одиннадцать дойных?

Перед Сережей таких вопросов не вставало. Действовали каприз и Густав Эмар. Раз он хочет — все кончено. Причем эта Сережина решительность шла именно, по-моему, от капризов и от Эмара, потому что в ней не было никакой деловитости, сметки, расчета. Он вот так хочет — и баста! Капризы переродились в упрямство.

Но по тому, как моя жена слушала брата, я видел, что и у нее просыпается некая “дворянская фантазия”. Но не от страсти “пахать”, “ходить босым” и обязательно в рваном крестьянском тряпье. У нее это было от природной любви к деревенской

усадьбе, к животным; она выросла и воспиталась в том же дворянско-помещичьем воздухе, в богатом имении своей тети, кн. О.Л.Друцкой-Сокольнинской, в Му-ратовке Пензенской губернии. Эти две — хоть и разные, но пересекшиеся — страсти, брата и жены, лишали меня всякой возможности возражать против метайерства в шато Нодэ: *ведь выхода-то все равно никакого не было.*

Ну что ж, если хотите, попробуем, — сказал я неуверенно, — только боюсь, что не справимся мы с этими двадцатью двумя головами скота и особенно с одиннадцатью дойными. Ведь их же надо доить! И не раз, а два раза в сутки, так, по крайней мере, у нас в имении доили разные Дашки и Палашки. Кто же у нас будет доить?

Ты! — безапелляционно сказал Сережа. — Тут дояттолько мужчины. Посмотри на любой ферме. Итальянцы, всемужчины, доят. Женщинам не под силу доить, им трудно. Анасчет того, что не справимся, — пустяки. С чем мы не справимся? Я беру на себя всю пашню. Ну, иногда ты будешь мне помогать бороновать. И мы прекрасно справимся, *надо только захотеть,* — И я чувствовал, как действует и ГуставЭмар, и капризы, и ярый баптизм. Он хочет сесть на большую настоящую ферму, чтобы стать настоящим крестьянином-испольщиком.

Итак, я согласен. Меня уговорила не только безвыходность положения, но у меня, сознаюсь, проснулось и некое желание попробовать *такую, по-настоящему крестьянскую жизнь.* Хватит ли сил? Сам себе я говорил: “Что ж тут, действительно, страшного? Работают же в СССР люди в концлагерях? Да как! И выдерживают. А я-то ведь буду не в концлагере, а на свободе. Это же не тюрьма, не концлагерь”. Одним словом — “попробуем”. И через несколько дней мы уже были французские испольщики, то есть люди самой низкой социальной категории.

Мсье Ле Руа Дюирэ

Старины в Лот-и-Гаронн довольно много. К замкам у меня всегда была романтическая любовь. Многие французские замки были изумительны. Были покинутые, ничьи, необитаемые, полуразрушенные, как “Назарет” — руины замка тамплиеров, были и обитаемые. Б двух шагах от Нодэ — знаменитый Тренклеон. На горе около Вианна был замок писателя Марселя Прево, прославившегося в свое время (даже в России) книгой “Дневник горничной”.

Шато Нодэ хоть и старый, но скорее барский дом, чем замок. С верандами, с красивым рисунком больших венецианских окон, он стоял в прекрасном парке. Все в нем было под старину и сделано с тем вкусом, который у французов безошибочен. Дом для метайеров был вместительный, двухэтажный, построенный в стиле швейцарского шале.

Но прежде всего скажу о нашем “барине”, мсье Ле Руа Дюпрэ. Это был худюший, высоченный, саженный старик. Богат, парижский банкир. По своему душевному складу он меня поразил: я никак не мог себе представить, что в современной Франции, перепаханной многими революциями, мог сохраниться человек эпохи ДО Великой французской революции. Мсье Ле Руа Дюпрэ оказался именно столь необычайным экземпляром, и я благодарен судьбе, что она его мне показала.

Окрестные старики рассказывали про всякие его чудаковатости. Они с улыбкой говорили, что мсье Ле Руа Дюпрэ многим подает только *два пальца.* Но рассказывали об этом без злобы, как о барской прихоти. Про “два пальца” я не поверил, я всегда это понимал как метафору. Но, увы, мсье Ле Руа Дюпрэ впервые в жизни показал мне, что это вовсе не метафора. При знакомстве он подал мне — не три, не один ~ а именно два пальца! И я с интересом пожал эти два длинных, костлявых старческих пальца: для меня это было редкой литературной находкой. Старик вряд ли что-нибудь в этом понял. Он просто “снизошел” к испольщику может быть доставляя себе некое удовольствие этими символическими “двумя пальцами”. Это было, когда мы пришли к мсье Ле Руа Дюпрэ впервые — договариваться о взятии его фермы в метэйаж.

До тех пор пока вы еще не испольшик, вы считаетесь равным и приходите в замок, естественно, через парадный вход. Но уже на другой день этот вход для вас должен быть психологически” закрыт, вы входите с заднего крыльца, через кухню.

Итак, в первый раз мы с Сережей, конечно, вошли к мсье Ле

Руа Дюпрэ с парадного крыльца его прекрасного замка. Дверь открыл мордастый, хитроглазый итальянец-лакей по имени Данте. По его красивому, толстому лицу и по всей упитанности было видно, что в это полуголодное время он никак не голодает. Данте сказал, что доложит хозяину, и оставил нас в большой комнате, увешанной превосходными гобеленами, старинными гравюрами, обставленной стильной мебелью, какую редко увидишь, тут и Генрих Второй, и Генрих Четвертый! Вскоре появился наш саженный “барина. Необычайно худ. Как Дон Кихот. Совершенно седой. С небольшой заклиненной бородкой и седыми волосами. Одет он был в черную бархатную куртку, с черным небрежным жабо, в черных штанах, заправленных почему-то в резиновые американские сапоги (мерз, наверное). В большом камине кабинета тлели поленья. На лице у мсье Ле Руа Дюпрэ играла чуть приметная усмешка. Первый разговор был короток. Мсье Ле Руа Дюпрэ уже знал о нас от русского электрика Рябцовя, жившего неподалеку в деревеньке Фегароль, который нас ему и рекомендовал. А мы о странностях мсье Ле Руа Дюпрэ знали от Рябцова.

Мсье Ле Руа Дюпрэ выслушал нас, что мы хотим взять исполу ферму на три года, что хотим привести из “Пети Ко-мон” двух своих рабочих коров. По его ответам я сразу понял, что Рябцов прав — мсье Ле Руа Дюпрэ совершенно ничего в сельском хозяйстве не понимает, он — городской барин. А знакомый француз нам говорил, что мсье, конечно, нас возьмет, ибо сроки метайажа уже проходят, а у него никого нет. К тому же, по целому ряду причин к нему на ферму не хотят идти. Народу было мало — разогнала война, развал Франции уменьшил число рабочих рук, много молодежи пропало неведомо где. Многие фермы, обрабатываемые испольщиками, сейчас пустовали: не хватало людей.

Мсье Ле Руа Дюпрэ сказал, что знает, что мы русские, что нас ему рекомендовали как порядочных людей и хороших работников. “Но, — сказал он, — мне говорили, что вы не крестьяне, не сельские хозяева?” Тут пришлось уверять его, что мой брат — настоящий сельский хозяин, а я тоже что-то вроде этого. Но я увидел, что в конце концов мсье Ле Руа Дюпрэ это и не интересует.

Через несколько дней подписывать контракт я пришел к мсье Ле Руа Дюпрэ один (Сережа подписал раньше). В этот раз старик принял меня на балконе. Он, наверное, скучал и хотел поговорить, хотя бы с испольщиком. С балкона видны были разноцветные листья виноградника, словно красочная атака ворвалась в сад. Горели тонким лимоном листья облетающих

магнолий. Сад, скорее парк, был прекрасен своей осенней запущенностью. Конечно, эта осенняя запущенность не должна была входить в сознание сельскохозяйственного батрака. Но ко мне она входила отзвуком многих пензенских помещичьих парков, где прошли детство и юность…

В этот день я ближе разглядел старика (старую Францию в облике барина и банкира Ле Руа Дюпрэ). Ему было явно скучно. Он попивал какой-то лимонад иль оршад из принесенного хитроглазым Данте высокого бокала. Было бы, конечно, нелепо с точки зрения всех законов общежития, чтобы эдакий феодал предложил стакан лимонада испольщику. Да я бы, разумеется, и не взял. Поступая в свой "концентрационный лагерь", я хотел играть *свою роль как надо, до конца.* Я старался приравнять свое "сознание" к моему новому бытию. Это, разумеется, удавалось плохо. Но я неплохо все-таки играл свою роль, хотя "сознание" и сопротивлялось. Так, входя в свою роль, я пришел вторично к Ле Руа Дюпрэ уже не с парадного крыльца, а с заднего, через кухню. Именно так, как у нас в именьи приходили, когда надо, кузнец, староста и прочая челядь. В кухне я о чем-то поговорил с кухаркой — красивой итальянкой Бонишон и с лакеем Данте (больше прислуги у барина не было).

Как-то увидев меня идущим с заднего хода, приехавший на велосипеде Рябцов был моим "опрощением" потрясен.

Роман Борисович, да вы что, с ума сошли?! — корил меня донской казак, хитрейшая бестия Рябцов. — Зачем же вы с кухни-то к хозяину идете? А как же? Это теперь для меня самый законный путь, это "мой ход".Да что вы, я никогда не хожу! Чего же это вы с его при слугой-то смешиваться будете!

И Рябцов, важно раскачиваясь, пошел к парадному крыльцу.

Я понимаю, что ему к этому барину приятно было идти именно с парадного крыльца, потому что в жизни своей к таким барам с парадного крыльца он не был вхож. Его путь был с заднего крыльца. И назвав себя в эмиграции инженером, он хочет во что бы то ни стало стать "сен-бернаром". Ну, а мне доставляло удовольствие, может быть с некоторой примесью внутреннего озорства, переменить парадные входы на задние. Это было и интереснее и экспериментальнее. Мне хотелось взглянуть на мир "из-под-низу". Вот я и шел в своих деревянных сабо к заднему крыльцу (кстати, прекрасная, удобная обувь! около пяти лет я ходил только в сабо).

Итак, в тот день, когда моему барину было, вероятно, по-стариковски скучно, он, отпивая что-то такое приятное из красного узкого бокала, смотрел куда-то в пространство, а я докладывал ему после подписания договора, что мы решили

продать одну старую корову, ибо она будет в хозяйстве невыгодна. Пока я это говорил, мсье Ле Руа Дюпрэ глядел на меня своими глазами цвета выцветшего ситца без всякого интереса.

— Не возражаю. Я ничего не понимаю в коровах, — на конец медленно сказал он. — Вы, наверное, об этом уж слышали, что я никогда не занимался сельским хозяйством. Молочных коров во что бы то ни стало хотела завести моя жена, покойная мадам Ле Руа Дюпрэ. Правда, — неожиданно засмеялся воспоминанию старик, — она хотела, чтобы на этомлугу паслись коровы, — показал он рукой на громадный зеленый и издали удивительно красивый луг, на который как раз в это время моя жена выгоняла коров, — я предлагал ей купить фарфоровых коров, чтобы они всегда стояли на лугу. Но она хотела, чтобы коровы двигались, ну вот я и купил… коров… Я этим никогда не занимался, — повторял старик, и я видел, что он уходит в сладостные воспоминания прошлого…

От крестьян и от прислуги я уже много слышал о мадам Ле Руа Дюпрэ. Это была, по всей вероятности, крайне эксцентричная женщина, женившая на себе богатого молодого банкира; и он ее обожал, исполняя все ее прихоти.

Вы знаете, конечно, что мадам Ле Руа Дюпрэ умерла…Да, знаю, мсье.

Она была слишком добра ко всем, и я думаю, что все эти метайеры ее очень обманывали, — кратко засмеялся старик, как бы говоря мне: “Я не очень-то верю и вам, я никому не верю, и вы — русские — такие же мошенники, как итальянцы-испольщики, которых вы сменили”. Но этого он не сказал. Я это понял без слов. Помолчав, мсье Ле Руа Дюпрэ, отпив свой оршад, вдруг проговорил:

— В Париже я прекрасно знал одного русского, которого вы едва ли знали. Это было уже давно… Мсье Эли Мечников, — произнес он, отдаваясь каким-то приятным воспоминаниям. — О-о, хоть он был и русский, но это был настоящий барин!

Я сказал, что, конечно, как всякий русский, я знаю, кто такой был Илья Ильич Мечников, и дабы доказать это старику, сказал о его работе в Пастеровском институте и о его знаменитом лактобациллине.

Тут старик сморщился, будто закусил лимон.

— О, да, да, но это была совершенно отвратительнаявещь! Ее нельзя было взять в рот. Впрочем, я никогда никакого молока не пью и никаких простокваш не ел и есть не собираюсь.

Это совсем по-французски. Сев на землю, я увидел, с каким отвращением многие французы относятся к молоку, предпочитая ему пинар — красное вино.

— Хорошо, хорошо, продавайте корову, если находите нужным. Только не делайте ничего, что было бы во вред хозяйству. Понимаете?

— Разумеется, мсье.

В этот момент я встал, чтобы уйти, но старик остановил меня.

— У меня к вам просьба. Когда поедете к маклаку на базар в Нерак, возьмите с собой вот эту гравюру, ее надо как следует обрамить, я скажу вам адрес магазина.

Я остановился перед небольшой английской гравюрой, изображавшей сцену из шекспировского “Укрощения строптивой”.

— Хорошая гравюра, мсье, — сказал я и не без того, чтобы показать, что испольщики тоже кое в чем знают толк, добавил: — Это “La Megere apprivoisee” Шекспира, по-моему?

Старик сделал ртом типичный для французов звук легкого взрыва губами, долженствовавший выражать удивление и одобрение.

— Пппа… вы совершенно правы… Но откуда вы это знаете?

Мсье Ле Руа Дюпрэ вполне искренне считал русских какими-то тамерлановскими монголами.

Однажды я заговорил с ним о Гитлере. Странно, что о нем старик с особой ненавистью не говорил. Вся его ненависть сосредотачивалась на демократической Франции, которую он презирал.

Что ж немцы и Гитлер? — сказал он. — Они работали и работают, это достойно уважения… А мы? Эта la gueuse! — произнес он с презрением и отвращением. Это аргоистическое словцо, пущенное в политический оборот Шарлем Моррасом (Maurras) в “Action Française”, имело много значений: и гидра, и охлос, и распутная женщина, и нищий-попрошайка.

Что мы делали? — продолжал старик. — Ну з'авон дан-сэ… Ну з'авон дансэ… Э сэ ту… Э ментнан — вуаля!

Относительно la gueuse старик был, конечно, прав, в демократии много пороков. Но что предлагал Шарль Моррас с его les camelots du roi? Графа Парижского? Утешение небольшое. И вряд ли это — “исцеление” человеческой греховности от соблазнов власти. Демократия все же страхует их вернее при всех своих пороках. Главная же суть дела, по-моему, в том, что все так называемое “человечество” в массе своей — большое дрянцо.

Во времена суда над Леоном Блюмом в Риоме я спросил мсье Ле Руа Дюпрэ, читал ли он в газете об этом процессе?

— Блюма? — презрительно проговорил старик, и на лице его появилась всегдашняя презрительная усмешка. — Этого господина я превосходно знал по Парижу. Он из богатой и вполне

порядочной семьи. Вполне светский человек. Он понимает толк в искусстве, у него лучшая коллекция серебра в Париже. О, я его прекрасно знал! Но кого-кого, а его, конечно сейчас нужно расстрелять в первую же очередь, именно такие погубили Францию.

Гитлеровцы оказались к Блюму милостивее, не расстреляли, а отправили в немецкий концлагерь.

Как-то я спросил старика, ездит ли он в церковь в Вианн. На его лице появилась та же брезгливая гримаса. Он ничего не сказал, но я понял, что мой “феодал” с церковью не имеет ничего общего. Потом, засмеявшись, сказал:

— Этот священник, аббэ Пьер, всегда норовит так приехать, чтобы остаться у меня к завтраку, — в голосе его звучало то же презрение, как и к la gueuse.

С любовью старик говорил только о своей жене. Тут он мог долго рассказывать, как жену его любил весь Вианн, потому что она была слишком щедра, добра и всем помогала. И эту прихоть жены скупой старик прощал.

Ле Руа Дюпрэ был совсем непохож на дельца-капиталиста типа Форда, Рокфеллера. Это был ленивый барин с психологией феодала, искренне считавший, что трем четвертям человечества он может подать только два пальца. Для него никаких французских революций вроде как бы и не было. Он был необыкновенным обломком давно ушедшей Франции, Франции ДО 1793 года, может быть, он и задержался только для того, чтобы я его встретил и описал.

Дойка коров

С коровами я был незнаком. Вот лошади, собаки — другое дело. — “Где Рома?” — “Да, наверное, торчит на конюшне”. — Верно, я постоянно “торчал” на конюшне, и у деда в Керенске (но у него было всего четыре лошади). А потом у себя в именьи, где выездных у нас было лошадей двадцать: и верховые, и гнедая тройка, и рысистые со знаменитой призовой Волгой, и красавец, серый в яблоках жеребец-производитель Спич. Тут я и чистил лошадей, и кормил, и седлал, и скакал. Одним словом, я любил и знал лошадей, с лошадьми я *знаком* как настоящий лошадник. И с собаками тоже. Каких только собак у меня не было. Но не буду о них “предаваться воспоминаниям”, ибо это уведет нас от сегодняшней темы. А тема наша — коровы.

У нас в именьи их было голов больше двадцати, все бланжевые грудастые симменталы. С балкона я только видел, как пастух пригонял их с пастбища и они медленно шли в коровник, где поступали в распоряжение хитрой бабы Марьи и ее помощницы Дашки. Конечно, я заходил кое-когда в коровник, в это “царство Марьи”, и видел, как ловко доила она коров, с этим стремительным, звенящим звуком молока, ударяющего в до блеска начищенные доёнки. Разумеется, я не задумывался над тем, легко или трудно Марье доить. А черт ее знает, вероятно, очень легко. Сидит такая Марья, подоткнувшись, на маленькой неуклюжей скамейке и доит, как шьет, с быстротой молнии. В России всегда доили бабы.

В шато Нодэ в первый раз я вошел в коровник с братом днем. Одиннадцать чудесных голландок стояли ко мне задом, жуя с аппетитным хрустом сено. Второй раз я зашел с испольщиком, который сдавал нам все перед отъездом. Это был итальянец, наглый по виду, наживший, как говорили, неплохие деньги. Он был льстив с хозяином-барином и нахален с посторонними. Звали его Франческо. Он был скуп на слова и малообщителен, в отличие от обычно столь разговорчивых итальянцев. Шел он со мной, указывая заскорузлым коротким пальцем на коров и называл их имена. А я записывал имена на бумажке. Странные это были имена коров, переходящих в мое “писательское владение”: Дуска, Нуаро, Кокет, Бланшет, Петит, Миньон, Нувель, Сури, Ненетт, Розали…

Перед сдачей коровы были чисто вычищены, имели “праздничный” вид. Возле красивой черной коровы с белыми задними ногами, как в белых чулках по колено, Франческо задержался. Ухмыльнулся и сказал с нескрываемым

удовольствием:

— Ну, с этой вам придется помучиться.

— А что такое?

— Не дается доить, связываем ноги перед дойкой.

— Что *ж,* свяжем, — сказал я, но догадался, что это должно быть не так уж легко, тем более если учесть, что я в жизни своей никогда не сидел под коровой, а только видел тридцать лет тому назад, как доила Марья, никогда, конечно, коров никаких не связывая.

“Сдача дел” была закончена. Коровы переписаны. Затем я “представил” их жене, читая (называя) их имена по бумажке. Надо сказать, что жене все коровы очень понравились. “Эта вот какая милая, посмотри!” — говорила Олечка, как будто мы были не испольщиками, а все еще пензенскими помещиками, приехавшими покупать для себя этих “милых коров”.

Как раз вот эта-то милая и не дается доить, ее связывают перед дойкой, — сказал я, невольно засмеявшись все тому же барскому умилению Олечки несмотря на перемену социальных декораций. Связывают? — удивилась жена. И я почувствовал не жалость к нам, кому придется, ни черта в этом не понимая, связывать эту проклятую корову, а сочувствие к “бедной корове”, которой мы должны будем причинить такие неприятности. Да, связывают, и я не знаю, как мы все это проделаем, но проделаем.

“Всему свое время, и время всякой вещи под небом”, как сказал Экклезиаст. Коров доят дважды в сутки: рано утром и поздно вечером. И это неминуемо, как день и ночь, и тут нет никаких двунадесятых праздников: корми, дои каждый день — ничего не поделаешь! Клиенты — соседние крестьяне — придут за молоком ровно в восемь утра. И зная, что ферму взяли какие-то новые — русские! — придут, конечно, поглазеть на этих русских, которые, говорят, никогда и на земле-то не сидели.

По мудрому совету Сережи, решили в коровник клиентов не пускать. Ни одного. Во время дойки мы будем с коровами *с глазу на глаз,* чтобы пришедшие крестьяне не увидели, что мы не умеем доить, и чтобы этого не разболтали.

Племянник Миша встал на всякий случай у двери в коровник, чтобы говорить клиентам, что теперь за молоком надо приходить не в восемь, а в девять утра и что молоко будет выдаваться в молочной, а не в коровнике. Сами же мы заперлись в коровнике.

Эту первую свою дойку трех коров я никогда не забуду. Брат Сережа умел кое-как доить. Почему? Потому что на ферме “Пети Комон” у него было две рабочих коровы. И когда они телились — приходилось их доить, ибо телят тут не подпускают под корову, а поят из таза, с пальца. Такие уж правила. Вот он-то и должен был

первый показать нам, как это делается — доится.

Я доил Дуску, Нувель и Нуаро. Дуска была чудесная породистая голландка. Белая с черным чепраком — совершенно правильным для этой породы рисунком. Причем черные пятна шерсти чуть-чуть отливали рыжеватым волосом, что тоже — признак хорошей породы. Она была рослая, легкая в походке, доброго и веселого нрава. С загнутыми книзу совсем небольшими рогами, скорее даже рожками, двумя ровными черными пятнами на белой морде. И необычайно красивыми — вот именно “коровьими”! — глазами. У обывателя, никогда не общавшегося с живой коровой, а видавшего их только на картинке или издали, нет никакого представления о красоте коровьих глаз. А коровьи глаза, оказывается, часто необыкновенно красивы — умные, слегка выкаченные и какие-то всегда грустные. Есенин, человек деревенский, понимал прелесть таких глаз и писал о любимой: “Нет лучше, нет красивей твоих коровьих глаз”. Особенно красивыми, осмысленными и страдальчески-печальными становились глаза v коров во время трудного отела. И в тот момент, когда мы подтаскивали к взволнованной корове еще мокрого, только вышедшего из нее теленка, чтобы она облизала его своим материнским любящим шершавым языком. О, коровьи глаза — чудесное поэтическое определение!

Так вот, первой я доил Дуску, с которой мы вскоре чрезвычайно подружились. Вымя у нее было большое, легкое, светло-розовое, с полными мягкими сосками, на одном из них — черное пятно.

Я сел под Дуску, сказал по-нашему, по-крестьянски: “Ну, Господи, благослови!”. В детстве я видел, как Марья перед дойкой всегда крестила коровье вымя, мне это нравилось, как крестное знамение перед едой, и я сделал то же. Устроившись на низкой деревянной скамеечке, я зажал меж колен доёнку, смазал маслом соски Дуски и свои пальцы и потянул за сосок. — Потянул, вероятно, не так (конечно не так!), как надо, и Дуска подняла левую заднюю ногу, как бы говоря: “Дурак, разве так доят!” — и, оторвавшись от сена, покосилась, едва повернув голову. Мы дали всем коровам самого лучшего сена — клевера! — навалили полные кормушки, чтобы подольститься к ним для первого знакомства. Дускин умный глаз ясно говорил: “Разве так тянут, дурак?” — “Ты не тяни, не тяни”, — учил Сережа, который ассистировал мое первое выступление в качестве доильщика.

Как же не тянуть? Да так, это же по-нашему, по-русски, а тут они совсем иначе доят, берут по соску в каждую руку и давят. Ты попробуй.

Я подчинился правилам французской дойки, попробовали и

пошло лучше — две довольно сильных струи ударились с серебряным звоном о дно доёнки. Я вспомнил этот напористый звук струи, который мне так нравился в детстве, когда я заходил в коровник. Дуска была выдоена. Под конец она вполне благодарно посматривала на меня. На надоенном молоке сверху пузырилась — как и полагается — белая взбитая пена. Так что все как будто было в порядке. Я совсем осмелел. Первая корова в моей жизни выдоена!

Катастрофа пришла со второй коровой — с низкой, неприятного вида старой голландкой Флорет. У нее было сверхъестественно большое вымя и громадные белесые соски, покрытые мелкими бородавками. Эти бородавки-то и оказались главным препятствием. Хотя не только в них было дело. Надо сказать, что у коров столько характеров, сколько на свете коров. Я узнал коров милых и добрых, злых и неприятных, ласковых и бодливых, прожорливых и скромных в еде, озорных и застенчивых. Коровы — как люди, у каждой свои особенности характера и “психологического склада”. И вот, когда я после трех лет доения стал уже большим спецом в коровье-молочных делах, я увидел, что разница характеров обусловлена, главным образом, людским отношением к коровам. Грубое человеческое отношение — дает злых и грубых животных. Умное и человеческое или, так сказать, отношение “на равной ноге” воспитывает мягкость характера у животных. Так что и тут человек зачастую многое портит сам.

Флорет отказалась давать молоко новому неопытному доильщику. Как только я сдавливал ее бородавки, она стремительно и чрезвычайно ловко ударяла ногой по доёнке, пока, наконец, не опрокинула ее на пол.

Еще хуже было с той самой черной коровой в белых чулках, Нуаро, четырехлетней красавицей-брюнеткой, о которой предупреждал — вероятно, с удовольствием предвкушая баталию — Франческо. Она сразу же, безо всяких предупреждений, как только садились ее доить, била то одной, то другой ногой. Пришлось-таки применить серьезные меры воздействия. Мы с братом связали ей обе задние ноги вожжами, и при каждой ее попытке лягнуть брат жестоко стегал Нуаро по бокам длинной лозой. Вот только так, с физическим воздействием, и удалось выдоить Нуаро.

В молочной — небольшой комнате рядом с нашим жилищемжена разливала молоко крестьянкам и детям, пришедшим за молоком. А молоко разливать тоже непросто. Казалось бы, несложное занятие, но надо уметь.

Однако все трудности дойки были только в первые дни.

Скоро я узнал, почему на юге Франции доят мужчины и только мужчины: дойка — физически трудное дело, нужны сильные руки и крепкие пальцы. Женщинам это, конечно, не под силу. Так, моя жена, к своему большому горю, доить не могла. А вот жена брата, консерваторка-пианистка, оказалась хорошей доильщицей, но одной рукой.

Вскоре дело пошло так, что и клиентов стали пускать в коровник, под каким-то благовидным предлогом перенеся время раздачи молока.

“Млекаж! Млекаж!”

По утрам я всегда еду в Вианн душевно радостный. Во-первых, потому, что это — утро, а всякое утро радостно-неповторимо. Я вдыхаю полной грудью резкий, свежий, ароматный воздух. И чувствую всем телом, *что я живу*. И вовсе не потому, что cogito ergo sum. Я вовсе “не мыслю”. Я ДЫШУ — значит, и существую, ощущая необычайное чудо удивления всему миру с его несказанной тайной (“как не любить весь этот мир — невероятный твой подарок!”). Пока я еду — откуда-то с лугов пахнёт скошенной травой, из лесу — лесной прелью. Бидоны в прицепке позвякивают от неровности асфальтовой (давно не чиненной) дороги.

Это голодный военный 1940 год Франции. Я — молочник и разливаю молоко в Вианне “по карточкам”. Во Франции все теперь стало “по карточкам”. Мой велосипед совершенно необычайного вида. Это результат войны. На шинах надеты куски старых шин (ими залатаны), а внутренние шины берегутся как зеница ока. В продаже — ни шин, ни велосипедов, ничего, немцы все угнали куда-то на север. Велосипеды стали единственным способом передвижения. Автомобилей на дорогах нет. Изредка протрясется какой-нибудь захудалый автомобильчик пятидесятилетней давности (бензин дается по самым скупым карточкам).

В реморке у меня три больших бидона молока. А молоко по этим временам — неоценимая драгоценность. Все в Вианне меня знают, все любезны, иногда даже льстивы, потому что я сейчас — большой чародей, могу дать кому-нибудь побольше, чем по карточкам. Причем наше молоко — первоклассное, не снятое, не разбавленное водой, что сейчас часто делают. Как Иван Никитич ни настаивал разбавлять молоко водой — мы (русские интеллигенты) наотрез отказались. — “Ну, тогда ничего и не заработаем, будем гнать впустую!” Но отказались все и этим даже зарекомендовали себя как поставщики самого хорошего, *цельного* молока.

В Вианне я сначала еду в чешский поселок, рядом со стекольной фабрикой. И только мне стоит со звоном бидонов спуститься с дороги в поселок, как со всех сторон с криками: “Млекаж! Млекаж!” — ко мне вихрем несутся чешские детишки, светловолосые, круглолицые, светлоглазые. Их тут много, сейчас они получат молоко, которое некоторым я даю с “прибавкой”. Поэтому меня так радостно и встречают. А я к этим славянским ребятишкам почему-то особенно расположен. Вероятно, это

подсознательное славянско-расовое чувство (“гей, славяне!”), хотя все дети всегда были моей “слабостью” (любил и люблю детей за их натуральность, естественность). Матери моему приезду радуются не меньше детей, когда я разливаю им в кастрюли, в кувшины, в бутыли.

После чехов еду назад в Вианн, и начинается хождение из дома в дом: кому '/2, кому '/4, а кому и целый литр. Особую жалость у меня вызывала одна еврейская семья беженцев откуда-то с севера: муж, жена, двое маленьких детей. Они были тут чужеродны, с французами не сходились. Детям я старался дать чуть-чуть (как мог!) да побольше. По виду это были интеллигенты. С мужем разговаривать не пришлось, разговаривал с женой. И в один день, вся в слезах, она сказала: “На мужа не давайте… его арестовали жандармы и увезли…” — “Куда?” — “Не знаю, наверное, в Ажен…” — и заплакала.

Дня через два я напрасно стучался в их квартиру. Вышла соседка-француженка, махнула рукой и сказала: “Всех увезли… жандармы… в Ажен…” Детей и женщин увозили в Ажен, передавая немцам, а те увозили (думаю) в Германию на уничтожение… С мужчинами поступали иначе.

В резистантской книжке “Crimes de Guerre en Agenais” Жак Бриссо рассказывает, как действовало гестапо в Ажене. Здесь особым садизмом прославился некто Hanak (по прозвищу “Le Balafré”). Уроженец Франции от отца-немца и матери-польки, он о французах говорил: “Les Français me dégoûtent. Je prend plaisir àfaire souffrir cette sale race”, И убивал людей бесчисленно и бесчеловечно особой “плеткой” с зашитым в нее металлом. Вот как он убил еврея Леона Когена. Заставил голого лечь на кровать животом вниз и начал стегать плеткой. Коген сначала кричал, потом стонал, хрипел, потом перестал: он был мертв. Вся кровать была в крови.

После победы союзников Ханак попал-таки в руки французов (выдали из Гамбурга), и его расстреляли. По-моему, это было неумной милостью и несправедливостью к тем, кого он убил. По-моему, перед расстрелом Ханака надо было хоть одну неделю подвергать телесному наказанию его же “плетью”,

Граф был человек вежливый, ни во что не вмешивался. Поэтому меня особенно поразило, когда Олечка вбежала в дом с криком:

— Рома, скорей беги в коровник, Сережа там хочет запороть графа вилами.

Я бросился сломя голову и что же вижу: разъяренного Сережу, наступающего на графа с грязными вилами, крича: “Ты, фон Хофлиц, будешь мне делать замечания?! Не твое дело, как я

работаю! Я тебя сейчас вилами запорю!”

Граф, конечно, тоже увидел Сережину ярость, но стал у ворот коровника, не отступая. Я бросился к Сереже, схватил у него вилы: “Сережа, не сходи с ума! Прекрати это безобразие!”

И моим вмешательством безобразие кончилось. Граф пошел к себе в столярную, а я пристал к Сереже: в чем дело, что это, действительно, за безобразие? Но Сережа уже отошел и только бормотал: “Вот сволочь этот фон Хофлиц, стал говорить, что я не так, видите ли, чищу навоз в коровнике. Да какое его дело? Кто он такой? Приживал!”

Олечка и я увели Сережу домой пить чай, и тут, за чаем, Сережа совершенно отошел от своей дикой “вспышки”. Эти “вспышки” были всю жизнь, начиная с “Трефка, черт, я тебя зарежу!” На этом “вилопырянии” графа не стоило бы останавливаться, если бы у него не было продолжения.

“Продолжение” состоялось вскоре, на первый день Пасхи. Чтобы не пасти в этот день коров, мы задали им хорошего сена на весь день, а сами, чисто одевшись, предались отдыху. Сережи дома не было. Я стоял у раскрытого окна нашей комнаты. День был теплый, чудесный. Вижу — из-за коровника идет Сережа, тоже чистенький, праздничный. А прямо ему навстречу граф д'Офелиз. И вдруг, к моему невероятному удивлению, Сережа идет прямо на графа. Они сходятся посреди двора, и я слышу, как Сережа говорит: “Граф, сегодня такой великий праздник, Воскресение Христово! Я знаю, что поступил в отношении вас очень плохо, очень не по-христиански и, как христианин, прошу вас в этот святой день простить меня”. И Сережа вдруг заплакал.

В ответ — совсем уж неожиданно для меня — заплакал и граф. Я не разобрал, что он говорил, но вдруг посреди двора оба плачущие троекратно облобызались: “Христос воскресе” — “Воистину воскресе!” Я подозвал Олечку, чтобы она видела эту невероятную картину “христианского примирения”. Потом мы спустились вниз, в нашу большую “трапезную” комнату. Сережа, войдя, уже не плакал, но вытирал глаза платком. “Ну, примирение состоялось?” — спросил я. Сережа пробормотал: “Состоялось!”. Он явно не хотел об этом говорить, ведь это никак не увязывалось с его баптизмом, и от этого он, конечно, искренне страдал. Но что меня больше всего удивило в этой пасхальной истории — слезы графа. На следующий день графиня сказала жене брата: “Ваш муж вчера сделал благородный, настоящий христианский жест”. А не останови я вовремя Сережину ярость, может быть, и произошло бы что-нибудь непоправимое.

Меринов

Как-то к нам за молоком из Лавардака приехал русский художник Дмитрий Меринов. Лавардак — крохотный городок километрах в семи. Меринов получил молоко. Разговорились. Нашли много общих знакомых по Монпарнасу. Меринов был завзятый “монпарно”. Он с давних лет, еще с Первой мировой войны (“Добровольческий корпус”) приехал во Францию. На фронте был тогда в Салониках, а потом не покидал Парижа. В Лавардак приехал потому, что его жена Роза, венгерская еврейка, в Париже оставаться не могла.

Поговорили о том о сем: о “Доме”, “Ротонде”, все это ушло, казалось, навеки. В Лавардаке они жили на деньги Розы (у нее что-то было). Меринов же с утра до вечера писал гасконские пейзажи. Надо сказать — неплохие. У меня кое-что из них до сих пор висит в квартире.

Осмотрел он наше хозяйство и в ужасе спрашивает:

Но как же вы можете *это* выдержать? Ведь это же каторга, настоящая каторга! Тут ни одна мысль в голову не полезет! Да и не лезут. Как? Живут же люди в концлагерях, но у меня все-таки жизнь здесь лучше концлагерной. Ну, если сравнивать…

Так и приезжал он к нам часто за молоком. Но однажды ночью — мы спали с Олечкой в комнате на втором этаже, окна выходили во двор, к подъезду дома — я вдруг сквозь сон слышу как будто звук небольшого камешка, брошенного в оконное стекло. Олечка тоже проснулась. Но мы не встали, думали — померещилось. Второй бросок в окно, уже посильнее. Встали. Подхожу к окну и вижу около дома двух велосипедистов, Меринова и Розу. Меринов зажигает велосипедный фонарь и говорит вполголоса:

— Прости, пожалуйста. Спустись, надо поговорить.

Это была уже глубокая ночь. Что-то накинув на себя, я вышел. Меринов взволнованно говорит:

— Получили точные сведения, что немцы в ближайшее время займут Лавардак и Нерак.

(Это был разгар немецкого наступления на востоке — до Сталинградской битвы.)

Ты понимаешь, что это значит для Розы? Я как-то еще скроюсь у знакомых французов, но Розу надо спрятать. И мы думаем, что лучше всего — у вас. Но, конечно, не в доме, а где-нибудь на сеновале… А я буду искать более подходящее место.

На сеновале? Хорошо! Но там не очень-то комфортабельно.

Тут дело о жизни идет, какой уж там комфорт.

Мериновы перепуганы были до смерти, да это и понятно. Я взял электрический фонарь, и мы пошли к сеновалу.

А откуда эти сведения? Это серьезно… из жандармерии…

Поднялись на сеновал. Роза, вероятно, видела сеновал впервые в своей жизни. Как-никак устроили ей место. И Меринов уехал.

Олечка ждала, сидя на кровати. И когда узнала про Лавардак и Нерак, сразу же сказала:

Ведь это опасно и для тебя из-за “Ораниенбурга”.

Конечно, опасно. Я возьму некоторые рукописи и черновик “Ораниенбурга” и попрошу их спрятать у доктора Валя (Valat). Валя был правый человек, ненавидел коммунизм, склонялся к фашизму. К нам он относился очень хорошо. Так это и сделали. Рукописи пошли к нему. Националист до мозга костей, Валя говорил: “Я люблю только французов и хороших людей любой нации”.

Но вскоре, к нашему облегчению и облегчению Розы (она была весьма претендательна), Меринов нашел для нее не сеновал, а комнату в квартире доброй, чудесной женщины, Мадлен Дюверже, собственницы лавки в Фегароле, и ночью я отвел туда Розу.

Шпейер из Тулузы

Как-то я в Нераке встретил милейшего фон Зельгейма, и, хватаясь за голову, он сказал:

Ах, Роман Борисович, и зачем вы написали этот “Ораниенбург”! Ведь вы знаете, какие немцы дошлые, они до всего докопаются, и тогда вам несдобровать.

Вы, конечно, правы. Это может случиться. Но тут знаете, кого я больше побаиваюсь? Русских. Донесут. Вот, например, эта компания вокруг Тищенко, да и другие могут просто так — “для удовольствия”.

— Конечно, могут, конечно.

Когда я возвратился из Нерака домой, Олечка в волнении говорит:

— Знаешь, Рома, приезжал Рябцов и приглашал на обед-собрание. Говорит, это будет встреча с трупфюрером русских в Тулузе, с каким-то Шпейером. Очень звал. Обязательно, говорит, приходите. Шпейер сделает доклад.

Тут я ощутил некоторую опасность — русский немец, трупфюрер русских эмигрантов в Тулузе — Шпейер. Вероятно, какая-нибудь сволочь. А русское окружение будет все из людей-подлиз к прогитлеровцам. И кто-нибудь, конечно, может указать, что метайеры из Нодэ “за союзников”, а это привлечет к нам внимание трупфюрера.

День обеда со Шпейером приближался. И я не скажу, чтоб эта “дата” нас не беспокоила. Оступиться было легко. Не пойти — нельзя, этим еще больше привлечешь к себе внимание трупфюрера. А идти — страшновато.

Мы всё обсуждали: идти или не идти? Но я решил, лучше уж рискнуть и идти, чем не идти, ибо заговорят сейчас же, почему Гули не пришли? И вот тут-то могла (в этом я был уверен) открыться дорога к моему “Ораниенбургу”. Решили идти. И пошли.

До Рябцова было близко. Пришли. Все уже в сборе. Все очень хорошо, по-русски — стол накрыт на двадцать персон. Тут и “водочка”, и “селедочка”, и вино — все как надо. Но открытого прогитлеровца Тищенко, который скоро собирался ехать в Киев получать назад свои мельницы, чтоб пустить их в ход, слава Богу, нет. Это ощутилось уже как облегчение. Остальные были безобиднее, да и биографии моей не знали.

Рябцов меня тут же представил Шпейеру как “героя "ледяного похода"”. Но, главное, Шпейер оказался совсем иным, чем я представлял себе “трупфюрера”. Я представлял себе трупфюрера

по Ораниенбургу — как грубого хама. В Шпейере ничего этого не было. Высокий, худой, по-военному выправленный, в черном френче, черных галифе и высоких сапогах. Очень привлекательный, приличный “белый офицер”. Меня посадили за столом рядом с ним. Мы сразу жеразговорились, и я увидел, что это хорошо воспитанный, приятный человек. Ни о Гитлере, ни о каких прогитлеровцах — ни слова. Олечка, поглядывая на нас и видя наш дружеский разговор, сразу успокоилась. После “водочки” и “закусочки” все разогрелись, потеплели. И я понял, что для Шпейера гадости — не специальность. При прощании — он ушел раньше нас — мы расстались совершенно дружески. Всякие подозрения и страхи как рукой сняло.

Он милый, этот Шпейер, — сказала Олечка, когда мы вышли от Рябцова. Очень. Хорошо воспитанный, это вам не Тищенко со своими киевскими мельницами. Хорошо сделали, что пошли.

Но и в Вианне, и в Лавардаке, и в Нераке все еще была скрытая напряженность. Слухи усиливались, что через некоторое время немцы займут все эти города.

У нас было прекрасное радио, и по вечерам, слушая из Лондона Би-би-си, мы были в курсе военных событий. Вдруг в один прекрасный вечер узнаем: Сталинградская битва выиграна Советами. Результат победы сказался тут же и на нас. Вместо того чтоб занимать Лавардак и Нерак, немцы стали спешно перебрасывать все свои резервы на восток. И слухи о занятии Лавардака и Нерака отпали. Так меня, “завзятого врага советчины”, спасла Сталинградская победа. Я был рад.

А тут еще такой странный случай, о котором говорила вся округа: неизвестный немецкий солдат покончил жизнь самоубийством — привязал себя ремнями к велосипеду и на этом велосипеде среди бела дня прыгнул в реку. Конечно, утонул. Наверное, это был хороший человек, которому вся эта человеческая идиотская кровавая колошматина стала невыносима до того, что он предпочел трагедию самоубийства. Это говорило о том, что между гитлеровцем и немцем нельзя ставить знак равенства. Немцы баграми вытащили труп и увезли.

Болезнь Ле Руа Аюпрэ

О болезни Ле Руа Дюпрэ мы узнали от графини д'Офелиз. Она сказала: “Если вам надо будет о чем-нибудь спросить, обращайтесь ко мне. Мсье Ле Руа Дюпрэ болен, и его беспокоить нельзя”.

На мой вопрос: “Чем же болен мсье Ле Руа Дюпрэ?”, последовал ответ: “Тяжелой болезнью”. И все. Разговор кончен. Графиня появлялась ежедневно с самого утра и не отходила от больного целый день. Еще будучи в здравом уме и твердой памяти, мсье Ле Руа Дюпрэ говорил мне, что прямой наследник — этого замка и всей земли — его племянник, лейтенант маркиз де Помпиньян, находящийся в немецком плену. Но, увы, не знаю, как и почему, после смерти мсье Ле Руа Дюпрэ шато Нодэ и вся земля неожиданно перешли в собственность этой напористой графини.

Напористая графиня получила все. Маркизу де Помпиньян я видел. Она приезжала. Удивительно интересная, красивая брюнетка, с прекрасными манерами, хотя, как я потом узнал, она была дочерью испольщика в имении маркиза де Помпиньян. Графиня по внешности годилась ей в горничные. Оказалось, что маркизе де Помпиньян были оставлены какие-то вещи, которые должна была ей передать графиня. Но маркиза, ничего не взяв из “оставленного” ей, уехала. Победителями остались все та же графиня и ее безвольный муж.

Ротмистр Рустанович

Человек часто искренне не понимает, что к чему в его жизни. И хорошо, что не понимает. Например. Как-то после тяжелой работы в поле, а потом дойки коров я выхожу из коровника и иду в наше обиталище. Вижу, с дороги к нам съезжает на велосипеде фигура. Пожилой человек. Я сразу догадался, что он русский. За спиной у него что-то непонятное, при приближении оказавшееся гитарой в чехле. “Кого это черт принес? — злобно подумал я. — Хотел отдохнуть, так нет, какой-то старый черт с гитарой”. А подъехавший уже слез с велосипеда и со светской улыбкой идет ко мне.

— Простите, вы Роман Борисович или Сергей Борисович? Я ротмистр Рустанович. Буду рад познакомиться. Приехал к вам издалека. Из Кастельжалю. Мне давно говорили, что здесь живут русские, вот и хочу повеселить вас цыганским романсом. “Да что он, в уме?” — подумал я, но, выдавив из себя гримасу вежливости, сказал:

Очень рад. Пожалуйста, мы как раз будем чай пить. Ну, вот и прекрасно, а я повеселю вас цыганским романсом.

Вошли в нашу кухню-столовую, все уже в сборе. Рустанович целует дамам ручки, рассыпается старосветскими комплиментами. Все это производило не только странное, но и смешное впечатление. После чая он слегка отодвинулся от стола и вынул из чехла гитару.

— Ну, — говорит, — разрешите, я вам спою что-нибудь наше, цыганское, любимое.

Мы со всех сторон: “Пожалуйста, пожалуйста”. И дребезжащим голосом он запел: “Не уходи, побудь со мною…”

“Черт бы тебя драл вместе с твоим "побудь со мною"”, — думал я. Ни петь, ни играть толком Рустанович не умел, к тому же он был уже далеко не молод. Я никак не понимал, к чему же, в конце концов, приведут эти цыгане-романсы? Но вот как человек не знает судьбы и не в силах понять смысла происходящего. Так и мы не предполагали, что цыгане-романсы Рустановича дадут хорошие и нужные нам результаты.

Рустанович рассказал нам, что он живет вместе с женой в известном замке Ле Санда (Le Sendat) у мсье Мобургет. У замка этого масса мэтэри — семнадцать. Но две из них пустуют. И Мобургет, узнав о нашем существовании, очень хочет, чтобы мы взяли одну из них. Он говорил об этом с Рустановичем. И тот приехал сюда с гитарой.

О вас я узнал от Мяссарош, — сказал Рустанович. — Вы

знакомы с Мяссарош? Нет, кто это? Ах, это милейшие люди. Русские венгры, большая семья. Они живут недалеко, в Лавардаке, и очень дружат с мадам Вигурё. А Вигурё вы знаете? Нет, у нас одиннадцать дойных коров, и кроме коров мы ни с кем не знакомы. Времени нет. Как жаль, как жаль! Вам обязательно надо с ними познакомиться. Мадам Вигурё — дантистка, русская еврейка, рожденная Мандельштам, замужем за французом.

Я понял, что и тут есть не только Рябцов, Кайдаш, милый Уварыч, но и свое "высшее общество".

— Ну вот, — продолжал Рустанович, — когда я узнал от Мяссарош о вашем существовании, я очень обрадовался и говорил с Мобургетом. Мы с ним очень хороши, моя жена работает у них в шато. Мобургет хотел бы, чтоб вы взяли его свободную мэтэри Пайес, — он богач, даст все нужное, пару быков, дойную корову, необходимые орудия производства.

Рустанович под секретом даже рассказал, что Мобургет, как и многие богатые французы, боится, что после войны начнется революция, и хочет иметь метайерами приличных людей, которые его не разграбят. От имени Мобургета Рустанович и предложил нам приехать посмотреть свободную ферму Пайес и, если она подойдет, взять ее в испольщину.

Это было как раз нам на руку, потому что через несколько месяцев срок договора в шато Нодэ кончался и оставаться с этой сволочной графиней у нас не было никакого желания, да и у нее, наверное, тоже. Так что мы уже с удовольствием прослушали еще один романс — "Я давно тобой мечтаю". Перед отъездом Рустанович, закинув за спину свою гитару, рассказал нам дорогу в шато Ле Санда, куда Сережа решил поехать завтра же, договариваться с Мобургетом. Распрощались с певцом дружески.

Вот вам и выход из положения, — проводив Рустановича, сказал Сережа. Да, как будто бы, хоть и претерпели мы множество "цыганс-романсов".

Злыдня действует

Редко я встречал более отвратительных людей, чем эта графиня. Неожиданно для всех став собственницей шато Нодэ и зная, что через шесть месяцев наш контракт кончается, она повела на нас атаку. Первое, что она сделала, это попыталась пустить нас "нагишом". Она подала на нас в суд, обвинив в нерадивости, лени, безделии; мы, мол, запустили пашню, молочное дело и вообще "разрушаем" ее владение.

Суд всегда дело серьезное. А тут ты — бедный испольщик, да еще иностранец. Не один вечер мы просидели с Сережей, собирая доводы для ответа в суде на все обвинения. А фактические данные были таковы: мы увеличили поголовье скота на семь

голов (семь телят, которых мы с Олечкой выкормили с пальца). Пашня, которую Сережа увеличил на два гектара, подняв целину. Качество молока, приезжавшим собирать его чиновником, было оценено как “исключительно высокое”. Собрали мы с Сережей еще кое-какие положительные факты нашей испольщины и решили, что я поеду в Нерак к мэру города, адвокату, радикал-социалисту Курану, и попрошу его защиты. Я предполагал, что радикал-социалист Куран, приятель Гастона Мартена, тоже масон. К тому же я узнал, что Куран терпеть не может графиню, так как у него был когда-то с ней конфликт.

Я хотел, чтобы на суд ехал Сережа, но он категорически отказался. Так что на суд пришлось ехать мне. Но сначала я поехал к Курану. На сто процентов я не был уверен, что Куран масон, но на девяносто процентов — да: из-за его дружбы с Гастоном Мартеном, да и потому, что радикал-социалисты в подавляющем большинстве были масонами.

Едучи в Нерак, я думал: сделать ему масонский знак или нет? Решил не делать: во-первых, все-таки я не был уверен, что он вольный каменщик, а во-вторых, стеснялся. Решил сказать только о своей дружбе с Гастоном Мартеном и что встречал его на рю Кадэ.

Куран — небольшой, круглый — принял меня любезно. Когда я ему рассказал фактическую сторону дела, он согласился выступить в нашу защиту. Гонорар назначил небольшой (наверное, помогло упоминание о моей дружбе с Мартеном).

В день суда я приехал в Нерак, конечно, взволнованный. Меня, “метека”, будет судить французский суд. Рядом с графом сидел ловкий неракский huissier (судебный пристав), для того чтобы немедленно привести постановление суда в исполнение.

В зал суда вошел судья — совсем молодой человек. Увидев графа д'Офелиза, он подошел к нему и сказал, что учился в университете и дружил с неким д'Офелизом — не родственник ли он графа? Граф ответил, что это его сын. И тут начались расспросы о сыне, смех, рукопожатия. Я почувствовал, что я пропал.

Наконец судья занял свое кресло, открыл заседание и прочел мне, в чем я и моя семья обвиняемся: в небрежении, в приведении хозяйства в негодность и так далее. Читал он это обвинение довольно долго. И закончил его словами: “Что вы можете сказать в свое оправдание?” Тут я думал, что выступит мэтр Куран. Но нет, он сказал:

— Мсье Гуль, расскажите все, что вы можете, об этих обвинениях.

И вот свершилось некое чудо. Мой французский язык был

далеко не безукоризненным, тем более выступать надо было перед французским судьей, французом-huissier, мэтром Кураном и безмолвно сидящим графом. Но надо так надо. И я заговорил, заглядывая в бумажку, которую мы составили вместе с Сережей, чтоб не ошибиться в цифрах и фактах. Kurz und gut К моему собственному удивлению, я чувствовал, что говорю гладко, точно, хорошо и если ошибаюсь, то в пустяках. Я говорил долго. И вдруг почувствовал, что между мной и судьей, который упорно смотрел на меня, пролегли некие скрепы. Он слушал меня напряженно, иногда что-то записывал. Но я почувствовал каким-то шестым чувством, что он мне верит. К тому же я приводил конкретные факты и цифры. И когда, устав, я кончил, извинившись перед “Его Честью” за то, что говорил так долго, к чему меня вынудила взведенная на нас чистая ложь, я сел, отирая со лба пот. Судья дал слово мэтру Курану, моему адвокату, который, к моему удивлению, сказал одну лишь фразу, а именно, что после “замечательной” (так и сказал) речи своего подзащитного, мсье Гуля, ему нечего добавить. Тогда судья обратился к “юисье” и к графу д'Офе-лиз: “Что вы можете представить в опровержение приведенных мсье Гулем доказательств?” Граф и “юисье” коротко пошептались, после чего “юисье” заявил, что они воздерживаются от выступления. Молодой судья обратился ко мне:

— Мсье Гуль, все обвинения, выдвинутые против вас, отпадают. Я объявляю судебное заседание закрытым.

Я был на вершине радости, говоря про себя: “Есть еще во Франции правосудие!” Я был счастлив, так счастлив, что трудно передать. Ко мне подошел мэтр Куран.

Почему же вы не выступили? — спросил я. Вы произнесли совершенно замечательную речь, — ответил он. Но мой французский…Ваш французский был совершенно превосходен. Я вас поздравляю! Это было блестяще, и после вас мне действительно не нужно было ничего добавлять.

Я пожал руку мэтра, поблагодарил его и вышел из здания суда необычайно облегченным. Сел на велосипед и поехал в Нодэ.

Надо ли говорить, что вся семья была просто в восторге от такого оборота дела. Ведь если бы мы “проиграли”, этот самый чернявый, сухой судебный пристав тут же бы начал приводить постановление суда в действие, то есть выгонять нас с фермы, чтоб “пустить нагишом”.

Но когда человек сволочь, это непоправимо. Вскоре графиня встретила меня на мэтэри и сообщила, что ей кажется, что некоторые коровы очень похудели, и она поэтому вызвала ветеринара, чтобы он всем коровам сделал прививку от туберкулеза.

— Я думаю, что это напрасно, но это ваше право, — сказал я. Злыдня хотела нас добить не мытьем, так катаньем.

Приехал ветеринар. Я ему помогал. Он сделал прививку всем коровам. увы, ни одной туберкулезной не оказалось. Думаю, эти прививки влетели мадам в хорошую копеечку. И чтоб доставить себе удовольствие, встретив графиню через несколько дней, я с улыбкой сказал этой стерве:

— Как видите, мадам, все коровы здоровы. Прививка, наверное, обошлась вам дорого.

Со “светской выдержанностью”, как будто ничего не случилось, мадам Сволочь ответила: “Но надо же было проверить, ведь мы же продаем молоко… детям”.

— Да, продаем, но не туберкулезное, как вам, вероятно бы хотелось, — и я невежливо пошел прочь.

Все эти наступления на нас графини оказались только прелюдией к самому главному — к дележу урожая и приплода За это время мы с Сережей побывали у Мобургета в его шато Le Sendat, ходили с ним на запущенную и пустующую ферму Pailles и договорились, что вскоре на нее переедем. По сравнению с графиней Мобургет был простак и симпатяга. Он был человек очень деловой, богатый, на испольщиках нажиться не собирался. Ему важно было только, чтобы земли его не превращались в целину. Мы ему подошли еще и тем, что были порядочные люди, которые никаких гадостей ни при каких обстоятельствах не сделают. Все нужное для хозяйства он давал: двух бурых гигантов-быков для пашни, молочную корову для нас и орудия производства. Разрешил привести и свою корову, если захотим. Так что все было в порядке, и мы с толстяком Мобургетом подписали контракт, поблагодарив Рустановича и познакомившись с его милой женой.

Дележ

Итак, день дележа урожая перед нашим уходом настал. Я допускал все от мадам Сволочи, но не догадался все-таки, что она еще придумает. Когда мы с Сережей в полдень пошли на дележ, то увидели рядом с графиней и всегда молчаливым графом какого-то человека. Я его сразу узнал: это был макиньон из Нерака, известный своим жульничеством и коллаборантством с немцами. По виду этот мсье Боннэ не был похож на француза — громадного роста, очень крепкий, красивый и вместе с тем совершенно бесцеремонно наглый. Мешки с пшеницей делить было просто, и все же "макиньон" таскал каждый мешок на весы. "Ну, таскай, — думал я, — это для тебя хороший спорт".

Но когда начался дележ скота, произошло нечто, что и Сережу и меня взорвало. Не обращая никакого внимания на нас, будто нас тут и нет, будто мы к этому не имеем никакого касательства, "макиньон", разговаривая только с графиней, стал отбирать лучших коров и лучших телят и отводить их в сторону. Я взорвался. Взглянул на Сережу. Вижу, и он уже "взорван". Тогда я сказал ему по-русски:

— Давай прекратим это безобразие! Заявим, что мы с таким дележом не согласны и уйдем домой, пусть что хотят, то и делают, за это они ответят!

— Да, давай! — ответил Сережа.

И, обращаясь к графине, я сказал:

Простите, мадам, но мы мсье Боннэ не приглашали. С его дележом мы не согласны, а потому прекращаем всякий дележ и уходим. Как же так? — растерявшись от неожиданности, произнесла графиня. А вот так! Делите сами, как хотите, но имейте в виду, что за все вам придется отвечать в суде!

И мы, не желая слушать никаких доводов мсье Боннэ, отвели всех телят в хлев, а сами ушли домой. В окно я видел, что Боннэ и графиня о чем-то возбужденно говорили, но потом макиньон сел на велосипед и отправился восвояси. А графиня с мужем, продолжая о чем-то взволнованно разговаривать, пошли в замок. Такого оборота дела они никак не ожидали от этих "метеков". Я знал, что у них на примете уже есть другие метайеры, но пока мы оставались здесь, они не могли ни въехать в наш дом, ни войти в коровник, чтоб доить коров или кормить телят. Своим отказом от дележа мы поставили их в трудное положение. Но и нам хотелось покончить дело с графиней-Сволочью возможно скорее. Что же было делать? Сережа в этом вопросе инициативы не проявлял. И я решил поехать в Вианн посоветоваться со своим приятелем-

французом, мсье Дюжаном — владельцем единственной галантерейной лавки в городке. Ему я возил молоко для его семьи и был с ним в хороших отношениях.

Оседлав велосипед, поехал. Дюжан был веселый француз, любитель всяких прибауток и двусмысленностей. Я застал его в магазине, сказал, что хотел бы с ним поговорить по серьезному делу. Я знал, что к графине д'Офелиз он относится больше чем прохладно.

Дюжан завел меня в небольшую заднюю комнату. Я ему все рассказал и просил совета: что сейчас делать? Дюжан задумался.

— Мсье Гуль, я понимаю ваше положение. И по другим делам знаю, что графиня д'Офелиз далеко не Богородица. Я дам вам совет. Но только при одном условии: чтоб никто не знал, что это я посоветовал. В особенности графиня. У меня торговое дело, и я не хочу ни с кем ссориться.

Я заверил Дюжана честным словом, что все его советы останутся “между нами”. И вот он мне посоветовал: ехать в Нерак к его другу, мсье Марти: “Расскажите Марти все как есть!” Марти, бывший полицейский, исключительно порядочный человек, он никогда не подведет. Он часто занимается такими “адвокатскими” делами и все удачно устраивает.

Одним словом, на другой день я был уже в Нераке у мсье Марти. Спокойный, умный, деловой и — мне почувствовалось сразу — хороший человек, Марти согласился вмешаться в это дело. И на другой же день приехал к нам.

Я показал ему коров и телят. Рассказал, как маклак Боннэ собирался все это делить. Марти понял с полуслова. И когда я попросил его стать “делителем” между графиней и нами — “на ваш дележ мы заранее согласны”, — он ответил:

— Хорошо. Я пойду сейчас к графине д'Офелиз и поговорю с ней. Думаю, все будет в порядке.

Вернувшись от графини, Марти сказал:

— Все в порядке. Она согласилась, чтоб я был “арбитром”.

И через три дня под руководством Марти (арбитра действительно беспристрастного) дележ прошел без сучка и задоринки. Графиня была тиха и со всем согласна. Как нашу долю, мы получили одну дойную корову и четырех чудесных телят, которых продали соседу Шокару. Кроме того, благодаря Марти мы получили одну молодую нестельную, черно-белую породистую Маркизу, которую решили взять с собой на Пайес. Так мы наконец отбились от отвратительной графини фон Хофлиц-д'Офелиз, которая от злобы и жадности все старалась пустить нас из шато Нодэ нагишом.

Пайес

Всю свою жизнь Мобургет был управляющим большими поместьями, владельцы которых жили в Париже или в Ницце. Со временем Мобургет купил одно из управляемых им поместий — шато Ле Санда с старинным замком времен еще Людовика XIV, с башнями, бойницами, глубоким рвом, через который были перекинуты живописные мостики. Замок был очень красив и в полном порядке.

При замке было семнадцать мэтэри: на пятнадцати батрачили испольщики-итальянцы, а две пустовали. Вот одну из них, называвшуюся Пайес, мы и взяли. Она была очень запущена, большую площадь ее составляла целина. Мобургет дал нам все необходимое. Двух гигантов (я таких никогда прежде не видел), бурых баффало, одну молочную корову для нас. Другую, Маркизу, мы привели с собой, как и своих двух рабочих коров. Привезли своих кур, кроликов, так что теперь мы уж ели не “только пшеницу”. У нас было все, как у всех крестьян.

Дом был просторный, большой, с камином. Дрова можно было рубить свои. Пайес стоял на опушке леса на изволоке. С него был далекий вид: вся крошечная деревенька La Reunion, а вдалеке — куда мы ездили на велосипедах за продуктами — городок Кастельжалю, примерно такой же, как Нерак.

Когда я познакомился с мадам Мобургет, она пригласила меня как-нибудь зайти, посмотреть замок внутри. Я, конечно, с удовольствием пришел и увидел, что мадам Мобургет (умная, деловая женщина, совсем из простых и, как мне сказали, страшно скупая) сидит в кухне. Но кухня гигантская, и на всех стенах до блеска вычищенная медная посуда. Я сделал мадам Мобургет и ее кухне комплимент.

— Да мы и живем, собственно, в кухне, только спать уходим в спальню, — сказала она. И повела меня осматривать замок.

Комнат в трехэтажном замке — неисчислимое количество. И все обставлены всяческой дорогой стариной. Я видел, что мадам Мобургет показывает мне все это богатство с удовольствием. Показывая еще одну из спален, сказала, что здесь спал когда-то маршал Тюренн. Рассказывала какие-то истории из времен Людовика XIV, но я плохо слушал. Должен сказать, что путешествие по этому громадному, красивому замку мне доставляло удовольствие. И я видел, что это было и удовольствие мадам Мобургет, обладательницы этого “счастья”.

В Пайесе жизнь наша стала много легче, чем в Нодэ. Только я побаивался за Сережу. На своих бурых буйволах бросился он, как

безумный, поднимать целину. И зачем? Здесь можно было работать исподволь. Но Сережу не удержишь. А у Сережи, как мне казалось, силы поддаются. Он стал худее, нервнее, и я боялся за его здоровье. Замечали это и его жена, и Олечка. Но все уговоры и убеждения, что здесь, мол, мы можем немного "отдохнуть" с двумя молочными коровами, курами, кроликами, были безрезультатны. Сережа только сердился, и остановить его было нельзя: во всем был виноват Густав Эмар и баптизм. И это было неисправимо…

Изредка к нам приезжали Рустановичи — муж и жена — к чаю. Изредка и мы бывали у них. Иногда приезжали Сережины друзья-баптисты, из которых особенно приятен был мсье Бертран из-под Нерака. Мягкий, красивый, с черной вьющейся бородой, с темными глазами, с очень приятным голосом, он был истинный, природный христианин. И единственно он действовал на Сережу успокоительно. На все "жалобы" Сережи, что ни я, ни Олечка не следуем баптизму, Бертран мягко говорил:

— Дорогой брат, это ничего не значит, они очень хорошие люди, и я за них ежедневно молюсь. Молиться надо, вот и все, а спорить не надо.

Однажды прибежал к нам испуганный сосед и стал рассказывать, что немцы (тогда они уже уходили из Франции) вступили в Кастельжалю и хотят оккупировать город. Слух этот нас, конечно, взволновал. Но страшен черт, да милостив Бог. К счастью для всех, мэр города Кастельжалю свободно говорил по-немецки. И он тактично всячески отговаривал немцев от занятия Кастельжалю. Все же городок был бы занят, если бы не "счастливое обстоятельство". Командир немецкого отряда спросил мэра: "Где здесь в Кастельжалю баня?" Мэр ответил, что в Кастельжалю бань нет. Немец остолбенел. И это решило все дело: отсутствие бани спасло Кастельжалю от занятия его немцами. Немцы решили не останавливаться в этом "некультурном" городке.

Знание мэром немецкого языка и отсутствие городской бани спасли Кастельжалю от занятия немцами. Немцы ушли. Но мэру эти переговоры стоили жизни: на другой день он умер от сердечного припадка.

Здесь, в Пайесе, я и застал конец Второй мировой войны. Помню, я пас коров на большом лугу, почти примыкавшем к дому. Из дома выбежала Олечка, радостно крича:

— Рома, Рома, война кончилась! Сейчас по радио сказали, что Берлин капитулировал.

И тотчас же зазвонили все колокола во всех церквах. Звон несся из Кастельжалю. И у нас, в Ля Реюньон. По радио мы знали

о капитуляции Италии, о высадке в Нормандии, о капитуляции в Реймсе. И все-таки весть о капитуляции Берлина меня радостно потрясла.

Олечка села рядом со мной на траву:

— Какое счастье, что эта идиотская война кончилась! — проговорила она.

— Да, счастье, большое счастье, — сказал я, глядя на коров, с таким же наслаждением жевавших траву, как и до капитуляции.

Теперь надо собираться в Париж, — сказала Олечка, — но туда сейчас, наверное, трудно будет добраться. Да, надо. Все-таки отработали четыре с половиной года испольщины! Хватит.

Париж

И снова "въезд" в Париж. Но на этот раз въезд очень трудный. Отовсюду в Париж ехала масса народа. Билеты брали с боя. Мне помогло — как это ни странно — мое удостоверение о том, что я сидел в немецком концлагере (оно было переведено на французский). Кассир, оказалось, знал и немецкий и, когда я ему сунул эту бумажку, он сразу же дал билеты. Но и в вагон сесть было нелегко, все переполнено выше божеской меры. А мы ехали не только с чемоданами, но и с котом Бимсом, которого Олечка ни за что не хотела бросить. Он у нас на ферме родился, она его выкормила. Кот был, правда, чудесный, серый и большая умница.

Ехали мы на деньги, вырученные от Petit Caumont. Сосед-итальянец давно жаждал приобрести эту ферму (межа к меже с ним), чем увеличивал доходность своей фермы, получал хороший виноградник, а из нашего обиталища — как он сказал — он сделает коровник и займется разведением скота. Для скота обиталище было *вполне подходящее,* как раз! Он легко дал 35.000 франков, которые мы разделили с Сережей пополам. И на первое время в Париже могли неплохо устроиться. К счастью, мы нашли себе квартиру в том же доме на 253, рю Lecourbe, правда, теперь уже на пятом этаже, без лифта, одна комната и кухня. Но для нас и это был рай. С первых же слов консьержка — мадам Laval — рассказала, как за мной дважды приходили немцы. Бошей она ненавидела лютой ненавистью. Оба раза она сказала, что мы давно, еще до войны, куда-то уехали, и она совершенно не знает куда.

Но что боши меня искали (теперь я ей сказал почему), послужило к нашей большей дружбе. Она всю войну скрывала своего юношу-сына, не позволяла ему даже днем выходить на улицу. А дома он жил за какими-то баррикадами: м-ме Laval боялась, что проклятые боши увезут его в Германию на работу.

Итак, мы в Париже. Первый, кому я позвонил, был Я.Б.Рабинович: хотел узнать, жив ли он и как пережил войну?

Да, Я.Б. жив и здоров, жил там же, на рю Рейнуар. Он тут же пригласил меня к себе, сказав, что у него будет и А.Н.Пьянков.

О себе Я.Б. рассказывал кратко (он не любил длиннот), что всю войну был руководителем Резистанса (еврейского). Этот резистанс сливался с русско-эмигрантским, который дал своих героев из Музея человека — Левицкого, Вильде (казненных нацистами). Позднее сливался и с коммунистическим, которым руководил коммунист-чекист Михаил Михайлович Штранге (собственно, фон Штранге). Штранге был из московских дворян. Но сей М.М. стал коммунистом сразу же после Октября. На границе Швейцарии и Франции в Савойе, его отец и мать, приехавшие из СССР, снимали замок, якобы “пансион” для отдыхающих, на самом же деле это была явочная квартира коммунистов-сопротивленцев. Туда приезжали и другие сопротивленцы. В частности, там бывал и Я.Б. и рассказывал, какие кулебяки, пироги, пельмени и другие “русские вкусности” подавались у Штранге.

Я.Б. был все тот же. Спросил меня, состою ли я еще в ложе “Свободная Россия”? Я сказал, что нет. Ко мне приезжал “досточтимый мастер” сей ложи Григорий Забежинский, просил посещать собрания и, в частности, объяснил, что ложа эта переименована теперь просто в “Россию”. — “Почему же это?” — спросил я. Забежинского я знавал еще по Берлину. Он был русский еврей, у него был на Пассауэрштрассе книжный магазин (назывался, кажется, “Универсальная библиотека”). Был он человек недалекий, писал бездарные стихи и рецензии, но любил играть роль “литератора”. В масонство, в ложу “Свободная Россия” вступил одновременно со мной. Теперь он был чрезвычайно надут и польщен, что после смерти Маргулиеса, Гершуна и других стал “досточтимым мастером”. По Пьянкову, это был самый типичный “Иван Ильич Перепелкин”. А перемену названия ложи он объяснил тем, что в слове “свободная” было нечто “антисоветское”, теперь же, когда после войны СССР превращается в “свободную страну” (так и сказал!) — “Мы сочли правильным отбросить слово "свободная"”.

Я ответил, чтоб они не считали меня членом ложи, что я состоять в масонстве больше не хочу. Он уговаривал, но я был категоричен и сказал, чтоб на масонском языке считали меня “заснувшим”.

Я знал, что в Париже в связи с победой начался “угар патриотизма”, от чего я хотел всячески уберечься, не встречаясь с “угорелыми”.

Выслушав мой рассказ, Я.Б. (наперебой с Пьянковым) стал уговаривать меня вступить к ним в “Юпитер” в звании “мастера”,

каким я и был в “Свободной России”. Я отказывался. Но “напор” их был чрезвычаен, оба говорили, что в “Юпитере” я не встречу ничего неприятного, ибо ложи шотландского ритуала совсем иные. В конце концов, в одно из посещений Я.Б. я, хоть и “против сердца”, но дал свое согласие. Я.Б. был доволен, ко мне он был искренне расположен. Рад был и А.Н.Пьянков.

И я вступил в ложу “Юпитер”, но с первых же заседаний почувствовал, что, кажется, промахнулся, попал из огня да в полымя. Я.Б., несмотря на ум, образованность, остроумие, обладал одним недостатком: он любил везде “сглаживать углы”. И меня не предупредил, конечно, что многие члены “Юпитера” в “угаре патриотизма” превратились в отъявленных сов-патриотов. Я увидел (не у Я.Б. и не у Пьянкова) с первого же собрания этот “совпатриотизм”. И представлял этот “совпатриотизм” (в его крайней степени), как ни странно, сам “досточтимый мастер”, адмирал Д.Н.Вердеревский, сразу вызвавший у меня полное душевное отталкивание.

Адмирал Д.Н.Вердеревский был в годах, но бодрый, по-военному выправленный, говорил он тоже по-военному, словно отдавал приказы; никаких компромиссов, как военный, не любил. Человек был умный. В былом одно время он был во Временном правительстве морским министром. Это был тот тип человека, с которым я никак не мог бы хоть как-нибудь сойтись. Его “просоветизм” пёр из него. И в безапелляционном виде. Про себя я подумал: и зачем я дал себя уговорить Я.Б. и Пьянкову, тут у меня дело не пойдет.

“Просоветскими” оказались и братья Ермоловы, в особенности Дмитрий, вошедший в просоветскую группу, созданную в Париже МЛ.Слонимом под названием “утвержденцев”. Вместе с Вердеревским точно такими же ярыми “просоветскими” были тогда многие “досточтимые мастера”, видные масоны: И.А.Кривошеин, ген. Н.Л.Голеевский (в Первую мировую войну бывший русский военный атташе в Вашингтоне); не называю других, некоторые, как, например, Л Д Любимов, оказались просто советскими агентами. Правда впоследствии большинство таких “совпатриотов”, будучи высланы из Франции министром внутренних дел Жюлем Моком, здорово заплатили за свой советизм — тюрьмами, ГУЛАГом, смертями. Но засвидетельствуем: в послевоенном Париже в масонстве “просоветизм” пышно цвел.

Несколько раз я говорил об этом с Я.Б., но он, конечно, “сглаживал углы”, уверяя меня, что все это образуется, что это “не так страшно”. Рассказывал, что сам несколько раз предупреждал И.А.Кривошеина “не сидеть под портретами”. На общих

масонских собраниях И.А.Кривошеин часто сидел под портретом “генералиссимуса Сталина”. “Не сидите под портретами, это вас до добра не доведет”, — говорил ему Я.Б. Но Кривошеий выступал на общих масонских собраниях “под портретами”, где рядом с Рузвельтом и де Голлем висел, конечно, портрет “генералиссимуса” Сталина (разбойника с Каджарского шоссе). И предупреждения Я.Б. на него не действовали, он хотел выступать именно под портретом Иосифа Виссарионовича.

Помню, как на одном из выступлений Кривошеина недалеко от меня сидел заслуженный масон, председатель Союза объединения русских лож, наместный мастер ложи “Астрея” князь В.Л.Вяземский и во время речи Кривошеина громко, на весь зал, несколько раз сказал: “Бедные масоны… бедные масоны… бедные масоны…”

Но это был глас вопиющего в пустыне. Просоветизм в масонстве дошел до того, что среди масонов стал распространяться слух, что в СССР тоже скоро создадутся масонские ложи и что всякий запрет с масонства будет снят. И я удивляюсь, почему Сталин не проделал такой “трюк” с масонством, не приказал создать масонские ложи во главе с Молотовым как “досточтимым мастером”, Кагановичем, как “братом оратором”, Ягодой — как “братом дародателем”, Хрущевым — как “братом, охраняющим входы”. Ведь было же создано в СССР “кагебешное евразийство” и действовало чрезвычайно успешно. Но такого “масонского анекдота-трагедии” все-таки не произошло.

В противоположность мне, нередко идущему на резкости, может быть даже и ненужные, Я.В., как я говорил, был сторонником “англосаксонского” компромисса и меня убеждал, что все это “просоветское” в масонстве — дело преходящее. Но меня не так легко было улялякать. И я решил дать Вердеревскому и иже с ним некий отпор.

Мой уход из масонства

В это время по-французски вышла знаменитая книга Артура Кёстлера “Даркнесс ат нун” (по-французски название было хуже — “Ноль и бесконечность”). Я прочел ее и этот “Мрак в полдень” буквально потряс меня. Это была первая книга, психологически верно, убедительно и убийственно передававшая всю суть советского тоталитаризма. И остро ставящая вопрос — личности и тоталитаризма. Вот я и решил предложить Вердеревскому, что в ложе “Юпитер” я прочту доклад на тему “Darkness at noon”. Вердеревский, конечно, сразу же запротестовал, притворно говоря, что такой доклад может внести “раскол среди братьев”. Но я стоял на своем, утверждая, что, во-первых, свобода слова — один из краеугольных камней масонства, а во-вторых, роман Кёстлера — это яркая защита свободы человека, его личности, что тоже является и масонским девизом (“свобода, равенство и братство”). Но Вердеревский был упрямее меня. И на доклад мой наложил “вето”. Тогда я письменно заявил, что если доклад мой будет запрещен, я уйду совсем из масонства, и разослал всем видным русским масонам письмо-протест. Я послал СГЛианозову, А.Альперину, П.А.Бурышкину, В.Е.Татарино-ву кн. В.Л.Вяземскому, М.М.Тер-Погосяну, П.Кобеко, В.Аито-ву П.Я.Рысс и другим. Это окончательно взбесило адмирала Д.Н.Вердеревского, не привыкшего к сопротивлению и твердо ведшему “советскую линию”. И хоть в это время в ложе “Юпитер” произошла инсталляция и он уступил место “досточтимого” Б.Н.Ермолову, “душой” ложи оставался все-таки адмирал Вердеревский, а оба Ермолова танцевали под его дудку.

В моем архиве сохранилась большая переписка по этому делу, больше шестидесяти страниц. Я печатаю здесь только небольшую часть ее, но вполне характеризующую атмосферу сего печального инцидента, приведшего меня к окончательному уходу из масонства “и ныне, и присно, и во веки веков”.

2 октября 1946 г.

Дорогой Дмитрий Николаевич,[1]

Простите, пожалуйста, что не сразу отвечаю на Ваше любезное письмо. Причиной тому — занятость большой литературной работой. Спасибо Вам за предложение работать в “Юпитере” на офицерских должностях. Но, к сожалению, я не могу принять Вашего предложения. Я не только не могу занять какой-нибудь пост в ложе, но даже не вижу для себя возможности вообще участвовать в общих работах “Юпитера”. Поэтому я предпочитаю “заснуть”. Так как я хочу, чтоб все братья ложи

знали о причинах, меня к этому вызывающих, то в первую свободную от работы минуту я напишу на имя досточтимого мастера письмо, мотивирующее мое поведение.

Шлю Вам сердечный привет!

Роман Гуль

17.10.1946 г.

Дорогой Роман Борисович!

Ваше письмо от 2-го октября меня очень огорчило, т. к. из него можно вывести заключение, что Вы не верите, что при новом составе руководителей “Юпитера” может измениться не нравившееся Вам направление Л… и ее работ.

Мы с Вами давно уже знаем друг друга, и я ожидал от Вас большего доверия к моим председательским качествам. Прошу Вас до разговора со мной никаких решений не принимать и сообщить мне, когда мы могли бы встретиться и побеседовать по-хорошему. Назначьте удобный для Вас день, лучше всего часа в 4–5, где-нибудь в укромном кафе, вроде того же Champigneul'a, где мы весной сидели.

Жму руку и желаю всего доброго,

Ваш искренне *Ди. Ермолов*

17-го октября 1946 года, Париж

Досточтимому мастеру ложи “Юпитер”[1] Б.Н.Ермолову.

Дорогой брат и досточтимый мастер,

Пишу Вам, хоть и не знаю, остались ли Вы досточтимым мастером ложи “Юпитер”. Если Вы таковым не остались то очень прошу Вас передать это мое письмо Вашему брату, занявшему эту должность. Хотя, думаю, что содержание этого письма будет небезынтересно и Вам.

Несколько времени тому назад брат первый страж, Дмитрий Николаевич Ермолов, известил меня письмом, предлагая занять офицерскую должность и войти в организационную комиссию. Я ответил отказом вообще участвовать в работах ложи “Юпитер” и обещал ему объяснить мое поведение письмом на имя досточтимого мастера. Это я и делаю.

Прежде всего скажу, что в этом письме я хочу быть совершенно — по-братски — откровенен. Пусть не посетует на меня за эту откровенность кто-либо из братьев. Положа руку на сердце, думаю, что это правильный путь.

Я отказываюсь участвовать в работах ложи “Юпитер” потому, что не хочу быть в ложном и духовно двусмысленном состоянии. Опыт прошлогодних работ ложи меня убедил, что они, по моему искреннему ощущению, имеют некий уклон, который в своих корнях стоит в разительном противоречии с главными устоями масонства. К моему сожалению, этот чуждый духу вольных

каменщиков уклон в работах ложи исходил всегда от ее ведущей головки, а именно от братьев, занимающих офицерские должности: Вердеревского 1-го, Ермолова 1-го, и других.

Во всех выступлениях названных братьев, когда мы касались основных и совершенно, казалось бы, бесспорных для вольных каменщиков вопросов — о свободе человека, о гуманизме, о политических свободах, о демократии, — со стороны этих братьев эти вопросы никогда не встречали безоговорочного и обязательного для вольного каменщика принятия. Более того, в высказываниях этих братьев всегда "сквозило", а в некоторых случаях и просто утверждалось сочувствие к враждебной масонству тоталитарной идеологии, то есть к идеологии сталинского коммунизма. Вполне понимая, что такие взгляды имеют право на существование в профанском мире, я, как вольный каменщик, отказываю им в праве на существование в нашей среде. Вне режима демократии, ограждающего свободу человека, масонство немыслимо фактически, и вне гуманизма масонство немыслимо духовно. Я думаю, что эту простую истину не надо доказывать никому из вольных каменщиков. Быть же масоном и сочувствовать идеологии, масонство уничтожающей, масонство преследующей, масонству враждебной, — это вредный и нестерпимый парадокс. Никаким духовным жонглерством его нельзя ни оправдать, ни даже просто сделать понятным. А ведь некоторые братья (например, на завтраке в Клиши) в упор высказывали свои симпатии к "Сталину и партии". Именно эти настроения ведущей головки ложи сделали то, что Вами, досточтимый мастер, по политическим соображениям был снят в нашей ложе мой доклад о книге Артура Кёстле-ра "Ноль и бесконечность".

Ощущая путь ложи "Юпитер" как духовно двусмысленный, внутренне противоречивый и уклоняющийся от путей истинного масонства, я с ложей поэтому идти не хочу и не пойду.

Эта духовная невозможность моей работы в ложе усугубляется еще и другими факторами. Будучи консеквентными прокоммунистами, некоторые братья нашей ложи не так давно взяли советские паспорта. Столь профанское, полицейское явление не могло бы, конечно, даже быть обсуждаемо в среде вольных каменщиков, ибо не по паспорту мы знаем истинных масонов. Но есть некое привходящее обстоятельство, которое не может не встать перед совестью всякого вольного каменщика. Лица, взявшие советские паспорта, подписали обязательство "всеми силами защищать существующий в СССР режим", не страну, а именно РЕЖИМ. Как же тут быть?

Повторяю, что в профанском мире добровольное принятие на

себя положения восторженного раба существовать может. Но может ли ВОЛЬНЫЙ КАМЕНЩИК обязаться защищать режим, который является наиболее ужасающим по своей тоталитарности, наиболее чудовищным по террористическому произволу и НАИБОЛЕЕ ВРАЖДУЮЩИМ СО ВСЕМИ ЗАВЕТАМИ МАСОНСТВА? Я считаю, что добровольно отказавшийся от своей ДУХОВНОЙ свободы и обязавшийся защищать ЭТОТ РЕЖИМ НЕСВОБОДЫ вольный каменщик не имеет права восклицать на наших собраниях: “Свобода, равенство и братство!”. Это было бы оскорбительным лицемерием в отношении нашего древнего возгласа. Я считаю также, что этим людям, КАК НЕСВОБОДНЫМ, не может быть открыт доступ в наш храм.

Вот, досточтимый мастер, причины, которые делают для меня невозможным участие в работах ложи “Юпитер”. А посему прошу Вас, дорогой брат, считать меня “заснувшим”. Но я просил бы Вас огласить мое письмо на ближайшем собрании братьев, ибо в нашей ложе многие братья мыслят так же, как и я, и ощущают также некий духовный недуг в теле “Юпитера”.

С приветом вольного каменщика! Роман Гуль

25.10.46 г.

Дорогой Роман Борисович,

Я получил копию Вашего письма, адресованного Д… М… Вашей Ложи. Позвольте, прежде всего, поблагодарить Вас за осведомление. Тот факт, что Вы сообщили Ваше письмо некоторым братьям, не принадлежащим к составу Д… Л… “Юпитер”, показывает, что Вы считаете этот вопрос выходящим за пределы одной только Вашей Ложи. К сожалению, такое заключение правильно. Вопросы, поднятые в Вашем письме, обсуждаются в данный момент едва ли не всеми братьями, к сожалению, исключительно в кулуарных разговорах. Против этого последнего метода я всегда энергично протестовал и буду протестовать. Я считаю, что столь важные вопросы, касающиеся оценки самих принципов масонства и соответствия братьев таковым, должны обсуждаться по-масонски, т. е. в ложах и с полной откровенностью и полной свободой мнений. Отказ от обсуждения означает выдачу самим себе масонского “свидетельства о бедности”, о нашей неподготовленности к высокому званию вольного каменщика. Поэтому я полагаю, что Вы были правы, когда эти вопросы формальноподняли. С большой радостью я могу констатировать, что в моей ложе “Астрея” сохранилась полностью основная масонская традиция — полная свобода мнений.

Теперь по существу Вашего письма. Я не думаю, что

масонство связано с каким-либо одним определенным политическим строем, одним мировоззрением, одной философской системой. Будучи сам убежденным демократом, считая, что демократия в ее правильном понимании является в настоящее время наилучшей политической системой — несмотря на все ее недостатки, заключающиеся, главным образом, в неполноте осуществления ее принципов или в отступлении от таковых, — я все же думаю, что ее нельзя рассматривать как самую совершенную и потому конечную форму человеческого общежития. Теоретически мыслимы и иные формы, быть может более совершенные. Во всяком случае, критика демократии, пускай самая беспощадная, но объективная, вполне законна, так как она неразрывно связана с самим существом демократии и является непременным условием ее развития и исправления недостатков.

Тем не менее, невозможно отрицать, что в то время, как одни политические режимы неблагоприятны для самого существования масонства или вовсе его исключают, то другие дают ему, говоря языком биологов, “оптимум условий” уже по одному тому, что они, хотя бы и не в совершенной форме, воплощают в социально-политической жизни масонские идеи и принципы. Такой “оптимум” создает для масонства именно демократия — для доказательства достаточно обратиться к истории.

Демократия в большей степени, чем какой-либо другой строй (строго исторически она является в этот отношении единственным строем), допускает свободное искание истины, неразрывно связанное со свободой критики и ограждением прав на любые мнения. Вне свободного искания истины и свободной критики — даже если признать за ними только методологическое значение — масонство, в том виде, в каком оно сложилось за последние столетия, немыслимо. С другой стороны, если даже признавать тоталитарные режимы — фашистские или коммунистические — за совершенные и справедливые, делая при этом ударение на их цели и закрывая глаза на средства осуществления таковых, если даже поверить, что их партизаны искренне хотят путем освобождения человека от материального рабства утвердить в эсхатологическом будущем свободную человеческую личность, то и при этих допущениях масонство и тоталитаризм всех видов и названий — несовместимы.

Идеологи тоталитаризма уверены, что они нашли абсолютную истину — в виде “железных законов истории”, — что они ей и следуют, а потому и оправдывают (что философски правильно) все те методы, которые они применяют для ее достижения. С этой претензией масонство принципиально

согласиться не может, не изменяя своим основам. На абсолютную истину у вольных каменщиков могут быть только два взгляда, по существу сходящиеся. Мы говорим, что абсолютная истина нам не дана и даже не может быть достигнута, что мы можем только стремиться к ней как к пределу, что пути, к ней ведущие, многообразны и относительны и каждый из них законен. Поэтому, с нашей точки зрения, “средства” никогда не могут быть оправданы “целью”, не говоря уже о том, что необходимость “оправдания” ставит под вопрос моральный характер “средств”. Другие из нас говорят, что абсолютная истина дана только в Боге, что наш путь заключается в бесконечном приближении к Богу и исполнению Его законов.

Тоталитарные режимы, веря, что им уже дана абсолютная истина, вполне справедливо полагают, что всякие дальнейшие искания ее, к тому же вне “генеральных линий”, не только не нужны, но даже вредны как для “ищущего”, так и для окружающих. Точно так же не нужна и вредна всякая критика. При наличии абсолютной истины продолжение ее исканий ведет только к ересям, уклонам и соблазнам, к тому же бессмысленным и неосуществимым. Если быть верным сыном католической церкви, то нельзя усомниться в непогрешимости папы — такие сомневающиеся должны быть извергнуты из лона церкви. Вполне справедливо, что всякие “ищущие” и всякие “критики” должны быть физически или духовно устранены из лона государства или коллектива, руководители которых являются хранителями и толкователями нового “откровения”.

Такова, по моему мнению, философская сущность спора между масонством и тоталитаризмом (фашизмом или коммунизмом). Я не вижу способов, как перекинуть хотя бы “мостик” через разделяющую их пропасть, и я искренне не понимаю, как можно быть “правильным” масоном и поклонником современных тоталитарных режимов. Тут или недоразумение, непонимание сущности масонства или сущности тоталитаризма (а быть может, и обеих сущностей одновременно), или же просто лицемерие. Хочу верить, что в нашей среде преобладает первое явление.

Эту точку зрения о непримиримости масонства и коммунизма я высказал лет пятнадцать тому назад в одном “левом” масонском журнале в Берлине. Редакция, в которой тогда были весьма сильны коммунистические симпатии, отнеслась к моему произведению без всякого восторга, но, тем не менее, его напечатала, не найдя масонских возражений против моей аргументации. На этой точке зрения я стою и теперь. Думаю, что, несмотря на различие формулировок и разность поставленных

ударений, по существу мы с Вами сходимся.

Но у меня несколько отличная от Вашей точка зрения на второй из поднятых Вами вопросов — могут ли быть вольными каменщиками те, кто взял советский паспорт и обязался при этом защищать существующий в СССР строй. Боюсь, что Вы меня обвините в некотором формализме. Конституция Андерсена запрещает нам при приеме в ложу спрашивать о национальной принадлежности, следовательно, и о том, какой паспорт имеется у стучащегося в двери Храма. Я думаю, что от этого принципа мы не имеем права отказаться — именно по нашей верности масонству. Вместе с тем я, не только как демократ, но и как масон, отрицаю за каким-либо государством нравственное право обязывать всех своих граждан защищать существующий в данный момент политический или социальный строй. Полагаю, что на моей точке зрения стоял бы даже коммунист, если бы, в качестве американского гражданина, его обязали бы защищать капиталистический строй в Соединенных Штатах.

Так же, как и Вы, я считаю, что безоговорочная клятва верности советскому строю во всей его (sic) полноте противоречит тем клятвам, на основании которых мы были приняты в Орден и которые нами были многократно повторены при прохождении по градусам. Эти последние клятвы мы дали добровольно, без всякого принуждения. Советская клятва верности требовалась как условие получения русского гражданства, то есть неотъемлемого права каждого родившегося в России. Поэтому эту вторую клятву я считаю необязательной. Если мне пришлось бы взять советский паспорт и подписать такое обязательство, то я счел бы себя им морально несвязанным и действовал по тому же принципу, по которому во время немецкой оккупации евреи давали вынужденные клятвы, что они являются христианами.

Брат, сначала поклявшийся в верности Ордену, а потом советскому строю, ставит сам себя перед альтернативой: или быть нелояльным масоном, или нелояльным советским гражданином. Если он такой альтернативы не понимает, то надо попытаться ему ее разъяснить. По вышеуказанным соображениям я верю, что истинный масон таковым и останется — и будет, следовательно, нарушителем советской клятвы. За это обвинять его нет оснований… Но вот если во время наших работ выяснится, а это не может не выясниться, что он верен советской клятве и изменяет клятве вольного каменщика, тогда и только тогда мы имеем право поставить вопрос о его пребывании в нашем Храме.

В заключение два замечания уже личного характера. Вы нашли в себе мужество настоящего вольного каменщика, чтобы

поставить на обсуждение вопрос, от решения которого зависит самое существование русского масонства (я имею в виду масонство по существу, а не по названию). Но затем, не дождавшись обсуждения, Вы впали в некий несвойственный Вам “дефэтизм” и объявили себя “заснувшим”. Если Вы считаете, что ведете борьбу за правое дело, то Вы обязаны ее продолжать и ни на один момент, ни под каким видом не покидать Вашего боевого поста.

И наконец — я не имею чести состоять членом Д… Л… Юпитер” и потому не считаю себя вправе судить о царящих в ней условиях. Но я очень хорошо знаю только что ушедшего в отставку Вашего Д… М… Б.Н.Ермолова, равно как и его брата, Д.Н.Ермолова, ныне возглавляющего Л… “Юпитер”, — по моему глубочайшему убеждению, оба они верны Ордену и только Ордену. Для них обоих масонские клятвы являются первыми, основными и единственными.

Позвольте выразить уверенность, что ни Вас, ни меня никто “от масонства не отставит”, что мы с Вами и впредь будем служить по мере наших сил и возможностей его основным заветам и принципам — на благо человечества и во имя утверждения свободной человеческой личности, тем самым во славу В… С… В…

Искренне Вас уважающий и любящий Вл. Татаринов

26.1.1946 В… Л… Бр… Роман Борисович,

Простите, что по переобременности моими проф… и мае… делами, я отвечаю на Ваше письмо от 17 с.м. с таким запозданием.

Письмо Ваше и сопровождающие его обстоятельства будут предметом обсуждения на ближайшем собрании Адм… Комм… Д… Л… Юпитер, которое состоится 31-го с. м. на 8 ru Puteaux, в 6 час. вечера. Вам надлежало бы присутствовать на нем лично.

С бр… приветом Д… М… В.Ермолов

16.11.46 Париж Дор… бр…

Я получил Ваше письмо от 14/2/46, оно произвело на меня грустное впечатление. Оно, как и первое Ваше письмо, пропитано полемикой, каковой, по моему мнению, можно было бы избежать в масонских суждениях. Я не думаю, что Вы правы, когда утверждаете, что “в масонстве братские отношения нередко заменяются лицемерно-братскими отношениями”. Конечно, в масонстве также возможны единичные случаи, на которые Вы указываете, но это отнюдь не может быть поставлено в вину масонству. Это явление, неизбежное и весьма, к счастью, редкое, относится лишь к лицемерным масонам и в общем не изменяет

атмосферы братских и искренних отношений среди громадного большинства масонов. Вы верно указываете, что “у этих людей нет подлинного братского духа и такового же друг к другу отношения”, но, по моему мнению, эти прискорбные, конечно, исключения могли бы не привлекать к себе столь интенсивного Вашего внимания — эти явления осуждаются всеми истинными масонами; и не Ваши мысли по существу затронутых Вами вопросов вызвали “некий взрыв не братских и не масонских чувств”, как Вы констатируете, а именно резкая форма, пропитанная полемическими приемами. Я не удивляюсь нисколько, что Вы получили целый ряд ответных писем “с искренними сочувственными отзывами”, но думаю, что Вы могли бы сделать Ваше выступление открыто в одной из лож путем Вашего доклада или сообщения по этому поводу, подвергнув его коллективному обсуждению.

В заключение несколько слов pro domo sua. Полученный Вами мой ответ на Ваше первое письмо не является “циркулярным”, как Вы предполагаете, и он предназначен только для Вас. Вы получили оригинал моего письма, а копию я оставил для архива. Я никому этого письма не рассылал. Спешу также Вам ответить, что это письмо написано и составлено мною лично, и ни с кем из бр… бр…, о которых Вы упоминаете в Вашем письме от 17 окт. с. г., я не совещался.

С бр… пр… Ст. Аиан(озов)[{36}]

ноября 1946 года, Париж

Дор… бр… Дмитрий Николаевич,[2]

Вот уже несколько дней, как я болен. Поэтому не мог быть на собраньи 16-го ноября. Посылаю Вам письмо, которое я написал Вам давно, но из-за болезни не мог его отправить:

Дор… бр… Дмитрий Николаевич,

Пишу Вам как досточтимому мастеру ложи “Юпитер”.

Собранье адм… ком… от 31 октября, рассматривавшее мое письмо к дост. мает. Б.Н.Ермолову, произвело на меня гнетущее впечатление. За 11 лет моих масонских работ я никогда не присутствовал на подобном собраньи. Так как такое же впечатление от этого собранья вынесли многие бр… бр…, с которыми я говорил, то, дабы избежать этого впредь (на собраньи 21-го ноября), позволяю себе изложить Вам, что именно произвело на меня столь тягостное впечатление.

На мой взгляд, причинами, давшими удручающий тон этому собранью, были небеспристрастность ведшего это собранье бр. Б.Н.Ермолова, а также немасонский характер некоторых выступлений бр… бр…, упомянутых в моем письме от 17 октября.

I. Пристрастность бр… Б.Н.Ермолова выразилась хотя бы в следующем. Открывая прения по поводу моего письма бр…, Б.Н.Ермолов заявил, что, по его мнению, это “недоразуменье” произошло оттого, что я “мало работал в ложе, редко посещал собранья и никогда не брал слова за агапа-ми”. Это заявление настолько не соответствовало истине, что поставило в тупик не только меня, но и многих других бр… бр… Естественно, что оно вызвало мой протест, в результате которого бр… Б.Н.Ермолов тут же взял свои слова обратно и принес мне публичное извинение, которое я и принял. В судах такой метод употребляется прокурором как попытка “дискредитации обвиняемого”. Но на масонских собраньях такие методы, конечно, вряд ли возможны.

II. Неправильность созыва собранья. Когда я спросил бр… Б.Н.Ермолова, почему на это собранье не приглашен

бр… Я.Б.Рабинович, бр… Б.Н.Ермолов не мог ничего ответить, а бр… Д.Н.Вердеревский с места сказал: “Это совершенно неважно, он все равно не ходит на собранья”. Думаю, что такое заявление бр… Д.Н.Вердеревского не может служить достаточным основанием к неприглашению заслуженного бр… нашей ложи Я.Б.Рабиновича, как известно, одобрившего первую половину моего письма к бр… Б.Н.Ермолову (до вопроса о советских паспортах). Неприглашение бр… Я.Б.Рабиновича было тем более странным, что на этом заседании адм… ком… присутствовал, выступал и голосовал бр… П.Д.Вердеревский, НЕ СОСТОЯЩИЙ членом адм… ком…

III. Нарушение свободы слова. На этом собраньи был нарушен самый принцип свободного высказыванья. Когда я в своем ответном слове сказал, что получил ряд сочувственных моему выступлению отзывов от бр… бр… других лож, это сразу же вызвало протесты с мест бр… бр… Вердеревского 1-го, Ваши, Б.Н.Ермолова и других и заявления о том, что “нам неинтересны мнения бр… бр… других лож”! А когда я все-таки хотел огласить выдержки из этих писем, то ведший собранье дост… мает… Б.Н.Ермолов заявил, что он этого мне не разрешает. К сожаленью, Вы, Дмитрий, Николаевич, чрезвычайно активно к этому присоединились, протестуя против моей попытки огласить полученные мною сочувственные отзывы. Тут я даже позволю себе восстановить в Вашей памяти незначительный, но очень характерный для атмосферы собрания и Ваших личных наст роений штрих. Когда я, настаивая на оглашении письма бр В.Е.Татаринова, назвал бр. В.Е.Татаринова “дост… мает… ложи “Астрея”, Вы с места перебили меня заявлением, что это неверно, что бр… В.Е.Татаринов является просто “бр… ложи “Астрея”. И Вы и я хорошо знаем бр… В.Е.Татаринова и его выдающееся

положение в нашем Ордене, знаем также, что в течение ряда лет бр… В.Е.Татаринов состоял дост… мает…, а потому и Ваше выступление я могу только рассматривать как попытку "дискредитировать свидетельские показания" перед бр… бр…, не так хорошо знающими бр… В.Е.Татаринова. Нам, масонам, это, конечно, не к лицу. Привожу этот штрих только как характеристику немасонских методов борьбы против на этом собраньи.

Несмотря на бурные протесты всех упомянутых в моем письме бр… бр…, я все-таки продолжал настаивать на оглашении сочувственного письма бр… В.Е.Татаринова ко мне, и на Ваши яростные (не нахожу другого слова) возражения с места я спросил Вас: "Знаете ли Вы содержание письма бр… В.Е.Татаринова, против оглашения которого Вы так возражаете?" увы, Вам пришлось признать, что и Вы и Ваш брат Б.Н Ермолов знаете содержание этого письма. Тогда, ответив Вам, что Вы протестуете против оглашения этого письма именно потому, что Вы знаете его содержание, я потребовал поставить вопрос о желательности его оглашения на голосование. И тут, когда раздались голоса бр… бр… "почему ж не огласить письмо?", бр… Б.Н.Ермолов, избегая голосования, согласился на оглашение письма бр… В.Е.Татаринова. Но огласить выдержки из писем других бр… бр… я так и не мог из-за запрещения председательствующего бр… Б.Н.Ермолова. Констатирую, что свобода слова на собраньи амд… ком… была нарушена председателем, бр… Б.Н.Ермоловым при поддержке всеми заинтересованными в этом деле бр… бр…

IV. В ведении собрания были допущены неправильности. После окончания прений, которые были, в сущности, гильотинированы бр… Б.Н.Ермоловым под давленьем бр… Д.Н.Вердеревского, бр… Вердеревский предложил проголосовать резолюцию. Он формулировал ее устно, сказав: "Вы голосуйте, а я ее потом напишу". Эта устная "резолюция" кончалась следующими словами: "… Что же касается до обвинений в письме некоторых бр… бр…, то собранье адм… ком… этим просто пренебрегает". Председательствующий бр… Б.Н.Ермолов эту "устную" резолюцию уже поставил на голосование, когда я запротестовал, потребовав, чтоб резолюция была написана. И бр… Д.Н.Вердеревский 1-й согласился написать. Но увы, когда он ее написал, то текст ее оказался ИНЫМ, о "пренебрежении" не было ни слова. Думаю, что этот факт "устных резолюций" достаточно остро говорит о пристрастности и неправильности ведения собрания.

V. Голосование резолюции было произведено неправильно. Тогда как я, как "сторона в деле", естественно воздержался от

участия в голосовании, бр… бр…, упоминаемые в моем письме, являющиеся тоже “стороной в деле”, все голосовали за предложенную ими же резолюцию. Прецедент этому я видел только один.

Не очень давно на собраньи писателей один новый советский гражданин сам себя предложил в председатели и сам тут же голосовал за себя.

И последнее: в какой степени на этом собраньи были выявлены немасонские настроения бр… бр… Я позволю себе напомнить Ваши реплики мне. Когда я, отвечая бр… Д.Н.Вердеревскому, упомянул, что в Советской России в концлагеря загнаны миллионы и миллионы людей, Вы, как и бр… бр… Ваши единомышленники, стали перебивать меня бурными заявлениями с мест. Вы, Дмитрий Николаевич, закричали: “Откуда у Вас такие сведения?!” Будучи поставлен буквально в тупик такой репликой на масонском собрании от заслуженного масона, каким являетесь Вы, я ответил Вам вопросом: “А у Вас разве нет таких сведений?” Вы ответили: “Нет!” На это я ответил Вам: “И после этого Вы считаете себя масоном?! Стыдитесь!”.

Излагая Вам факты, свидетельствующие о крайне немасонской атмосфере этого собранья и о крайне неудачном его ведении, я делаю это только в одном желании, чтобы наше собранье от 21 ноября, на которое назначен обмен мнений по поводу моего письма, протекало бы в более беспристрастном и более масонском тоне.

Обвиняя других бр… бр…, каюсь и я, что, отвечая на выступления их, я был тоже не по-масонски резок. Но, увы, это потому, что я был ИЗУМЛЕН, что теперешние собранья масонов могут принять столь неподобающий им стиль.

С бр… приветом Роман Гуль

Вторник 19 ноября 1946

Дорогой Роман Борисович,

Мне нужно повидаться с Вами в самом срочном порядке и, если только состояние Вашего здоровья Вам позволяет передвигаться, сегодня же вечером, часов в 9:'/2.

Не могу, к сожалению, приехать к Вам сегодня вечером: у меня распухла нога (доктору удалось вылечить печень и перебросить болезнь на ноги, я радуюсь), мне трудно будет к Вам добраться. Буду Вас ждать у себя.

В четверг мне не удастся присутствовать на собрании, но в субботу 16-го было посвящено Вам специальное заседание, на которое я был приглашен. Мое выступление радикально переменило “климат” и изменило намечавшуюся резолюцию. Для

окончательное реализации необходима наша сегодняшняя беседа и Ваша встреча с Павлом Вер.[1]

Дружески Ваш Я.Рабинович

Выпись из протокола семейного собрания Д…Л…

“Юпитер” 21 ноября 1946 г. Постановили:

Д… М… был вправе не допустить доклад бр… Р.Б.Гуля в соответствии с его, Д… М…, оценкой данного момента, опасаясь возможности раздора в Д… Л… и в соответствии с §§ 1 и 23 конституции В… Л… Ф…Д… Л… полагает, что у бр… Р.Б.Гуля все-таки не было никаких действительных данных считать, что руководящие братья Д… Л… “Юпитер” ведут ее по тем или иным на правлениям политического характера. Д… Л… сожалеет, что бр… Р.Б.Гуль не обратилсялично к Дост… М… для выяснения тревожившего его вопроса.

Paris, le 4 Janvier 1947 Дор… Бр… Роман Борисович!

По поручению Д… М… сообщаю Вам, что Д… Л… “Юпитер” постановлением своим от 26 минувшего декабря согласилась на увольнение Вас в отставку из числа ее членов.

Однако, вследствие требований § 152 Общ…Уст… В… Л… Франции, отставка эта получит законную силу лишь после погашения Вами числящегося за Вами долга по обязательным взносам для Вел… Л… Франции за 1946 год, к чему Вам надлежит принять должные меры.

Адрес бр… казначея, Бориса Леонидовича Покровского: 6, rue Anatole France, Clichy (s).

С бр… к Вам чувствами остаюсь секр… (подпись)

Д… Л… согласна принять в принципе прошение бр…

Р.Б. Гуля о выходе его из членов Д… Л… “Юпитер”, оформив его в соответствии с § 152. Régi… Gen… de la Gr… L… de Fr…

С подлинным верно. Секретарь (подпись)

Этим и кончилось мое масонство.

Совпатриоты и коллаборанты

Русский послевоенный Париж являл сумбурную и неустойчивую картину. Угоревших от совпатриотизма открыто (и тайно организационно) поддерживало советское посольство. Оно выпускало газету “Русский патриот” (1945), быстро переименовавшуюся в “Советского патриота” (1945–1948), редактором которой был не кто-нибудь, а известный старый эмигрант, профессор-историк Д.Одинец (уехал в СССР и где-то сгинул). Советское посольство создало и “Союз совпатриотов” (официально — “Союз советских граждан”) под почетным председательством совпосла-че-киста А.Е.Богомолова. А в “Союзе” большую роль играл старый эмигрант, бывший белый офицер, бывший узник Бу-хенвальда, заслуженный масон Игорь Александрович Кривошеий.

Выпускались и более “либеральные” “Русские новости” под редакцией А.Ф.Ступницкого, бывшего долголетнего сотрудника “Последних новостей”. В “Русских новостях” начали сотрудничать некоторые старые эмигранты-писатели и журналисты — Г.Адамович, А.Бахрах и другие.

Заманили в газету и В.А.Маклакова (но ненадолго, одна-две статьи). Писал иногда Н.А.Бердяев. Это как раз об этих его писаниях Г.П.Федотов сказал в Нью-Йорке: “Ослепший орел, облепленный советскими патриотами”.

В.А.Маклаков в это время ходил с визитом к послу-чекисту Богомолову в окружении с ним согласных старых эмигрантов. В обращении к совпослу он сказал: “Мы восхищались патриотизмом народа, доблестью войск, искусством вождей и должны были признать, что все это подготовила советская власть, которая управляла Россией… Нужно работать для взаимного понимания и примирения…”

После этого “хождения” в каком-то частном доме бывший ротмистр Артамонов не подал Маклакову руки. Правда, в своей “Каноссе” В.А. быстро разочаровался.

В “Русском патриоте” напечатали “знаменитую” предсмертную статью покойного П.А.Милкжова “Правда большевизма” с восхвалением Сталина и его диктатуры. Милюков писал: “Когда видишь достигнутую цель, лучше понимаешь и значение средств, которые привели к ней”.

Просто страшно и странно вспоминать сейчас эти анекдотически постыдные и политически нелепые факты, когда вся эта акция чекистов по уничтожению эмиграции давно выявилась. Но в 1945 году, когда мы с Олечкой приехали в

Париж, советская акция была серьезна. Для советских эмигрантов второй волны они открыли лагерь “Борегар”, куда насильно свозили тех, кого захватывали (хоть на улице). А некоторых и убивали, как лейтенанта Николая (забыл фамилию), которого среди бела дня насильно вытащили из квартиры наших друзей, Л.А. и И.М. Толстых в их отсутствие и увезли не то в “Борегар”, не то в посольство, где и убили.

“Борегаром” ведал советский полковник-чекист Никонов и его помощник, лейтенант-чекист М.Штранге. И все это происходило под властью генерала де Голля, при полном попустительстве, а иногда и при содействии французской полиции. Причем среди эмиграции распускались упорные слухи, “что все равно скоро де Голль выдаст всю эмиграцию Советам”. И в это верили, этого боялись: “А Бог его знает, этого экстравагантного де Голля?!” Чекисты лезли напролом, поставив своей целью уничтожение эмиграции, замаскировав его “патриотизмом для дураков”.

Вот как описывает бывший член советской военной миссии, капитан М.Коряков отправку в “Борегар” советской девушки. На рю де Гренель в советскую военную миссию пришла молоденькая девушка, бывшая советская, и встретила как раз капитана Корякова. Коряков называет ее “Дунькой” и приводит их диалог:

“ Ты, поди, тоже пришла выправлять бумажку? — спросил я. — Домой не хочешь?

— А что мне дома-то делать, — ответила курносенькая — в лохмотьях ходить? Здесь я по крайней мере…

У “Дуньки”, попавшей в Европу, глаза разбегаются, она всем удивлена, всему завидует и с… ненавистью вспоминает свой Лихославль, где жизнь людей проходит в том, чтобы ворочать валуны на пашне, сеять лен, трепать лен… Нет, “Дунька” не хочет покидать Европу”.

Однако чекисты сильнее “Дуньки”, и ее насильно сажают в грузовик и везут в “Борегар”. “Та Дунька, — пишет Коряков, — которую я видел в миссии, плакала и даже отбивалась кулаками”. Но ее все же бросили в грузовик и увезли в “Борегар”, чтоб оттуда отправить в СССР на Архипелаг ГУААГ. Советские чекисты в Париже были хозяевами положения.

Помню, идем мы с Олечкой по рю де Вожирар к Пор де Версай. Навстречу советский офицер. Русский русского узнает “с каблука”. Поравнялись. — “Ну, как живете?” — остановился и протягивает руку. Лицо русейшее, простонародное, но не из приятных. Вижу — майор и слегка навеселе.

Да ничего, — говорю, — живем!

Рады, поди, что мы вас освободили? — и осклабился,

обнажив зубы, а они у него золотые, обе челюсти. Только золото какое-то темноватое и зубы кажутся медными, отчего и без того малоприятное лицо его приобретало животно-страшное выражение.

Конечно, рады, — отвечаю. А он в ответ: Вот постойте, в Москву вернемся, поставим памятник Гитлеру кверх ногами. Памятник? — переспросил я.

— Ну да, за то, что жидов много перебил, а кверх ногами за то, что не всех.

И заулыбался, показывая золотые челюсти.

— Ну пока!

Он помахал по-приятельски рукой и пошел, слегка покачиваясь.

— Ну, как тебе понравился наш “спаситель”? — спросил я Олечку.

Олечка только пожала плечом: “Какое-то чудовище…” Эти “чудовища” с золотыми зубами и без оных были в Париже 1945 года и гостями, и хозяевами, и доблестными союзниками.

22 июля 1946 г. “Русские новости” опубликовали “Указ Верховного Совета СССР о восстановлении в гражданстве СССР подданных быв. Российской Империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих на территории Франции”. Со стороны советской чеки это был решающий удар, а для эмиграции — решающий момент.

Но что же произошло? увы, за советскими паспортами пришли все совпатриоты (довольно много): Кривошеины, генерал Голлеевский, адмирал Вердеревский и tutti quanti. Кстати, парижский владыка православной церкви митрополит Евлогий не постыдился публично назвать этот “указ” — “истинным чудом Господним”. Какое бездонное бесстыдство высшего западного иерарха русского православия! Впрочем, и до революции сей иерарх отличался “экстравагантными” заявлениями, но тогда — черносотенными: власти “в масть”.

Увы, и философ “персонализма” Н.А.Бердяев печатно объявил взятие “советского паспорта” — “патриотическим долгом”. Е.Д.Кускова в “Русских новостях” писала весьма “патриотически”: “Отказ от борьбы с советской властью — есть путь сближения с родиной”. Вот из каких мортир — Евлогий — Бердяев — Кускова — бил по эмиграции А.Е.Богомолов, загоняя эмигрантов на Архипелаг ГУЛАГ.

Из писателей получать паспорта пришел А.М.Ремизов (по своему глубокому цинизму ему было все равно, какой па-порт брать, авось можно на этом чем-нибудь поживиться, он завтра и от царя-батюшки взял бы с удовольствием).

Адмирал Д.Н.Вердеревский публично поцеловал красный паспорт, чем, впрочем, никого не удивил. Только тогда я узнал кое-что о “давней связи” большевиков с адмиралом Вердеревским. Оказывается, в момент июльского восстания большевиков Вердеревский, командовавший Балтийским флотом, отказался выполнять распоряжение Временного правительства о высылке четырех миноносцев, дабы не допустить большевиков в столицу со стороны Кронштадта и выхода судов из Гельсингфорса. Распоряжение помощника морского министра Дударова предписывало: “Не останавливаться перед потоплением некоторых кораблей подводными лодками”. Вердеревский передал эти секретные юзотелеграммы ЦК Балтийского флота, и они были оглашены его председателем, известным матросом Дыбенко на экстренном заседании судовых команд. Последнее постановило послать миноносец “Орфей” для ареста Дударова за “явное” контрреволюционное действие. Но в июле большевики потерпели в Петербурге крах. Делегации Балтийцев и командующий балтийским флотом были арестованы морским министром Лебедевым (эсер). Вердеревский был отрешен от должности и предан временному военно-морскому суду по обвинению в государственной измене. Но по требованию гельсингфорского балтийского флота адмирал как-то был выпущен на свободу, а в дни “корниловского мятежа” был непредвиденно введен Керенским в правительство и снова стал морским министром. Вскоре Вердеревский произнес во ВЦИК демагогическую речь о “корниловском заговоре” и клялся “честью”, что не допустит впредь покушения на матросские организации.

Вот, оказывается, откуда идет нить “любви” и связи парижского масона Вердеревского и большевиков. С 1917 года! А я-то с дуру думал своим упорством сломить этого “досточтимого”, дабы получить разрешение на мой доклад “Ноль и бесконечность”.

Однако в ответ на “указ” масса эмиграции, ее “молчаливое большинство”, не тронулась. Масса оказалась как бы в нетях, была дезориентирована, но предпочла все же сидеть дома. Конечно, в этой массе были и коллабо. Те, кто безобидно коллаборировал с немцами, уехал в Германию в глупой надежде “через две недели быть уже в Киеве”. Были и мелкие коллабо, жившие во Франции, но никто их по пустяком не преследовал. В основном масса был настроена бесповоротно антисоветски.

Краткая история коллабо в Париже такова. При вступлении гитлеровцев во Францию в своем обозе они привезли для русской эмиграции некоего русского гестаписта, бывшего балетного

фигуранта г-на Жеребкова. Сей молодой российский гестапист назначался в Париж для “управления русской колонией”, чем он и не преминул заняться, сменив В.А.Маклакова, арестованного и заключенного в парижскую тюрьму Шерш-Миди. Жеребкову гитлеровцы дали и денег на издание газеты “Парижский вестник” (1942–1944). Редактором ее стал некто П.Н.Богданович при ближайшем участии О.В.Пузино и И.В.Пятницкого. В газету пошли сотрудничать некоторые писатели-эмигранты с именем. Среди них был и Иван Сергеевич Шмелев, автор “Человека из ресторана”, “Солнца мертвых”, “Путей небесных”, “Неупиваемой чаши” и других. Пошел Илья Дмитриевич Сургучев (до революции его “Осенние скрипки” ставились в МХАТе). Пошел небольшой писатель Вл. И. Унковский, которого Ремизов называл “африканский доктор” (Унковский одно время жил в Африке).

Я “Парижского вестника” не видал и не читал. Единственный раз, в шато Нодэ, Рябцов дал мне какой-то истрепанный номер этого “органа”. Я прочел. В нем разливался Сургучев пиша о том, как он едет по Парижу мимо собора Нотр Дам и предается философическим размышлениям: почему это люди выстроили такое великолепное здание “в паять какой-то ничем не замечательной еврейки”? Помню мое чувство гадливости: попал-таки в самую точку для Гитлера и Жеребкова. Кстати, фамилию этого балетного фигуранта русская эмиграция переделала из Жеребкова в Кобылкина.

Среди сочувствовавших Гитлеру была и Н.Берберова. В “Парижском вестнике” она не печаталась, но своих прогитлеровских симпатий не скрывала, а, напротив, выпячивала. Так, она звала уехавших в свободную зону писателей Бунина, Адамовича, Руднева вернуться в Париж под немцев, потому что тут, “наконец свободно дышится”.

Леонид Зуров писал мне: “Помню, это письмо Берберовой Иван Алексеевич прочел вслух за обедом”. Бунин на письмо, разумеется, не ответил, а после войны шутливо грозил его опубликовать.

Такой же зазыв к Гитлеру Берберова посылала и Г.Ада-мовичу (“наконец-то мы прозрели!”). Но и тут, конечно, успеха не имела. После войны о письмах Берберовой Г.Адамович открыто говорил, а потом передал их приятелю. У него они и хранятся вместе с письмом Бунина, где И.А. пишет: “А разве Берберова на была его, Гитлера, поклонницей?”

Процитирую письмо Гайто Газданова ко мне (в моем архиве. — Р. Г.). Из-за его резкости процитирую только отрывки. “Помню, — пишет Газданов, — что мы были как-то в кафе: семья Вейдле, Фельзен (Н.Б.Фрейденштейн), Берберова, моя жена и я.

Это было время германского наступления в Югославии. Берберова была возмущена — но не немцами, а югославами: "Подумайте, какие мерзавцы сербы! Смеют сопротивляться!" Против нее выступили все, по-разному, конечно… Вейдле и Фельзен более мягко, я — довольно резко. После этого Берберова со свойственной ей простодушной — в некоторых случаях — глупостью сказала: "Я не понимаю, ну, Фельзен — еврей, естественно, что он так говорит. Но Вейдле и Газданов же не евреи?"" В те времена я часто встречался с Михаилом Матвеевичем Тер-Погосяном. Я ему рассказал об этом. — “А что вы хотели, чтобы эта говорила?”

Берберову защищал ее большой личный друг, благожелательнейший Б.К.Зайцев. В письме к Бунину от 14.1.1945 г. (“Н.Ж.”, кн. 140) он писал: “…Я.Б.Полонский занимается травлей Нины Берберовой. Эта же нигде у немцев не писала, ни с какими немцами не водилась, на собраниях никаких не выступала и в Союзе сургучевско-жеребковском не состояла. Тем не менее он написал, что она "работала на немецкую пропаганду"!! Ты понимаешь, чем это пахнет по теперешним временам?..” Далее Зайцев говорит: “По горячности характера высказывала иногда "еретические" мнения, ей нравились сила, дисциплина, мужество…” Вот, оказывается, что в Гитлере нравилось Берберовой — сила, дисциплина, мужество.

Но когда мы въехали в Париж, “жеребковщина” была уже в прошлом: Гитлер кончил самоубийством, многих из его окружения готовили к виселице, Жеребков ускользнул в Испанию (вероятно, были большие деньги), где, может, и по сей день благоденствует под южным небом Каталонии. На его место из-под ареста вернулся В.А.Маклаков.

Но множеству рядовых коллабо бежать было некуда, и одни сидели в Париже тише воды, ниже травы, другие сразу же бросились в “Союз совпатриотов” в надежде “загладить свою вину”. Там принимали решительно всех, зная, что на Лубянке разберутся, кому какую меру наказания дать — вплоть до “вышки”.

В.А. Лазаревский

И все же, несмотря на разобщенность и растерянность русской эмиграции, в ответ на нажим чекиста-посла Богомолова в феврале 1946 г. в русском Париже совершенно внезапно раздался Русский Свободный Голос. Зачинателем этого сопротивления — надо увековечить его — был смелый, несгибаемый человек, журналист Владимир Александрович Лазаревский.

В 1947 г. во Франции еще действовала введенная в годы войны “разрешительная система” периодической печати. Лазаревский обошел ее. Имея французские связи, он выпустил русский антибольшевицкий непериодическй сборник “Свободный голос”.

В первом номере от февраля 1946 г. в передовой статье “Идти ли в Каноссу?” он писал: “Нас зовут в Каноссу к советской власти. Эти призывы к примирению с красным фашизмом раздаются не только со стороны вульгарных "перелетов", именуемых ныне "советскими патриотами". К глубокому прискорбию нашему, мы слышим их от недавно еще искренних и непримиримых врагов новоаракчеевской власти. Приходится думать, что эти проповедники новой эмигрантской тактики никогда и раньше не верили в моральные силы и творческую мощь русского народа. Иначе они не изумлялись бы факту, что двадцать пять лет террористической диктатуры не убили в нем патриотизма и гражданственности.

Люди, плохо знавшие родную историю, могли, загипнотизированные идеей всесокрушающей силы германского кулака, создать себе иллюзию "неминуемого, в течение немногих недель, разгрома советской России немцами". Эти несильные в истории пессимисты бросаются ныне в другую крайность и с юным советским восторгом зовут всех в "родные" объятия Сталина.

Во время войны проявила себя и другая иллюзия — вера в германских наци как бескорыстных борцов против большевизма, в возможность освобождения ими России. Среди российской эмиграции иллюзии этой поддались, к счастью, очень немногие. Да и глубочайшая пропасть лежит между политической непроницательностью иных наивных людей и тем сознательным предательством, которое совершили, например, в свое время творцы "похабного" Брест-Литовского мира. Прогерманские освободительные иллюзии не были, кроме того, исключительно плодом оторванности маленьких эмигрантских групп от российской действительности: им поддались вначале и народные

массы, изнывавшие под гнетом "пролетарского" государства. Чем иным объяснить первые сокрушительные успехи германского наступления, эти массовые сдачи неприятелю стотысячных армий, это несомненно благожелательное во многих случаях отношение населения к немцам?

…"Немец" дошел до Волги, и собственное, советское зло отступило на задний план. Оставалось положиться на наличную власть. Иначе отстоять родину возможности не было. Означало ли это интимное примирение с властью, признание ее своей и национальной, как силятся внушить нам "советские патриоты" и их "демократические" подголоски? Разумеется — нет.

Зовущие к "признанию" большевицкой власти делят всю эмиграцию на две группы — примкнувших к Германии против России и оставшихся с Россией, и тем самым со Сталиным. "Гитлер или Сталин" — третьего не дано. Мы, огромное большинство эмиграции, ни пойти за Гитлером, смертельным врагом нашей родины и нашей культуры, ни ощутить "своей" "советскую власть" не могли. Душою и сердцем, всегда и неразрывно мы были с Россией и русским народом, но "советская власть" национальной властью для нас не была, ибо национального дела никогда не творила. Мы не желали морально не могли принять на себя частицу ответственно за творимое "советской властью" в оккупированных ею областях. Но, стиснув зубы, нам приходилось молчать. Пока лилась на поле брани русская кровь, мы не имели морального права и не хотели чем бы то ни было дискредитировать в глазах союзников фактически российскую "советскую власть", руководившую обороной страны… Война кончилась. На полях нашей родины давно уже нет врага. Теперь наше право, наш нравственный и патриотический долг — открыто сказать все, что мы думаем, сказать не обинуясь и до конца. Бесконечно лживо утверждение, будто "советская власть неразрывно связала свою судьбу с судьбой России", не захотев "ради своего самосохранения предать интересы страны". Правда — обратное. Вопрос для советской власти шел как раз о самосохранении: во имя его-то она и вознесла себя столь неожиданно на патриотический пьедестал…"

Статью Вл. Лазаревского подписали: С.Мельгунов, А.Карташев, И.Херасков, кн. С.Трубецкой, С.Водов, В.Синяков, В.Безбах, Я.Бычек.

Я плохо знал В.А. Лазаревского. Немудрено: он вращался больше среди правых, я — среди левых. Он основал Российский национальный союз. Встречал я его раза два-три, знаю, что был он киевлянин. В молодости сотрудничал у Василия Витальевича Шульгина в “Киевлянине”, сохранив с Шульгиным в эмиграции до

конца самые близкие отношения. Был в Добровольческой армии. В эмиграции в Праге кончил Русский юридический факультет и стал эмигрантским журналистом.

Чтоб в тогдашнем Париже издавать такой “Свободный голос”, надо было быть мужественным человеком. Представляю советское негодование на рю де Гренель: эмиграция не сдается, оживает, воскресает. Но ничего не поделаешь — “непериодические издания” выходить могли. И Лазаревский в 1946 г. издал три номера “Свободного голоса”. Почему же Лазаревский эти выпуски прекратил? Давление шло изнутри: С.П.Мельгунов был человек крайне честолюбивый и эгоцентрический. Он и настоял, чтобы Лазаревский передал издание непереодических сборников — ему. И Лазаревский передал. А сам с помощью католических профсоюзов начал издание русской антибольшевицкой газеты “Русская мысль”, которая (меняя своих редакторов) дожила до наших дней. Скончался волевой, несгибаемый антибольшевик Владимир Александрович Лазаревский 25 августа 1953 г.

С.П.Мельгунов под разными названиями выпустил одиннадцать “непериодических” сборников — “Свободное слово”, “Независимое слово”, “Свободная мысль”, “Независимая мысль”, “Независимый голос”, “Россия и эмиграция”, “За Россию”, “За свободу России” и т. п. И наконец, когда в 1947 г. “разрешительная система” для периодической печати во Франции была отменена, Мельгунов стал издавать журнал “Российский демократ” (№ 1 вышел в 1948 г.).

Связь с Б.И.Николаевским

С Борисом Ивановичем мы переписывались чуть ли не ежедневно. Как только после войны возобновилось почтовое сообщение с Америкой, я послал ему телеграмму, где мы, как и что. И тут же в ответ получил письмо, в котором он выражал свою радость, что мы благополучно пережили войну.

В последних письмах 1945 года Б.И. писал, что скоро приедет в Париж к нам и начнет розыски своего конфискованного гитлеровцами уникального архива. В частности, он писал и о том, что Мельгунов жалуется ему и другим демократам (Вишняку, Далину, Зензинову), что я не вступаю в его группу и не работаю в его сборниках.

В то время в Америке (в Нью-Йорке) была большая русская демократическая колония: меньшевики — Абрамович, Николаевский, Денике, Шварц, Александрова, Аронсон, Авинов и многие другие (со своим органом “Социалистически вестник”); эсеры: Чернов, Зензинов, Лебедев, Слоним, Вишняк, Воронович, Керенский (со своим органом “За свободу”); демократы разных оттенков, группировавшиеся вокруг “Нового журнала” (М.Карпович, МАлданов, М.Цетлин, Г.Федотов, Н.Тимашев и другие).

Вообще центр и культурной и политической жизни русской эмиграции после войны переместился в Нью-Йорк. Кроме журналов выходили русские газеты (“Новое русское слово”, демократическая редактор М.Вейнбаум), “Россия” (монархическая, редактор Рыбаков), “Знамя России” (монархический журнал Чухнова). Выходили газеты и в американской провинции (“Русская жизнь”, редактор П.П.Балакшин, в Сан-Франциско) и другие. Так что русская эмиграция в Париже оказалась бедна и людьми и деньгами. И былая “мощь” 20-х годов к ней так никогда и не вернулась. Вот Мельгунов и старался, зная, что с русской Америкой у меня хорошие отношения, перетащить меня к себе.

В своих письмах Б.И. очень толкал меня связаться с Мельгуновым и вступить в его группу. Откровенно говоря, мне идти к Мельгунову что-то не хотелось. Всю “группу” только Мельгунов и представлял. А журнал? Журнал, конечно, был архиантисоветичен, архидемократичен, но и очень скучен. Вдруг от Б.И. я получил письмо, что ко мне на днях приедет Мельгунов. Вскоре получил я письмо и от Мельгунова, что он хочет поговорить со мной по серьезному делу. Делать нечего, я ответил Мельгунову, что “жду с удовольствием”.

Мельгунова я до этого никогда не видал. Знал, конечно, по имени, как историка и, в частности, историка русского масонства, но от его работ никогда в восторг не приходил, ибо они казались мне всегда только неуправляемым “навалом фактов”. В “Современных записках” Мельгунов поместил в свое время весьма лестный отзыв о моем “Дзержинском”. (Тему советского террора Мельгунов знал, ибо сам выпустил книгу “Красный террор”). Но вот не тянуло меня в его сборники: и скучно, и литературно плохо. Мельгунов был и плохой публицист, и плохой редактор. Причем почти все для своих сборников он сам и писал: и статьи, и заметки, и получалась какая-то тоскливая и серая мешанина, не идущая ни в какое сравнение с нью-йоркским “Социалистическим вестником”. Там вы могли соглашаться или нет, но публицисты были первоклассные, в особенности Р.А.Абрамович (Рейн). Его былые половинчатые “Викжеля” и “нельзя не сознаться, но нельзя и не признаться” теперь как рукой сняло. Передовицы его могли печататься в любой антибольшевицкой печати: сильно, ярко, убедительно и совершенно бескомпромиссно. Может быть, на это последнее подействовало личное горе: его единственного, любимого сына Марка Рейна, поехавшего в Испанию к республиканцам, похитили большевики. В отеле его вызвали к телефону, и Марк Рейн “исчез”. Вероятно, “закатали в ковер” и увезли в СССР, где и кончили.

Абрамович был подавлен своим горем — трагической судьбой сына и говорил, что знает наверное, что это сделано “по личному приказанию тов. Сталина”. Это была личная месть старому врагу, ненавистному меньшевику Абрамовичу.

Эти операции по похищению и убийству людей большевиками в Испании проводились “чекистскими” батальонами, сформированными и из русских эмигрантов-совпатриотов во главе — наверху — с чекистом Александром Орловым (псевдоним), которого даже К.Хенкин называет в печати “большой сволочью”. Этот кровавый мерзавец и убийца после бегства в Америку получил какую-то кафедру и до смерти жил припеваючи. Жаль, конечно, что его не повесили, как Эйхмана. Но таковы уж для чекистов удобства в Америке.

Помню, встретил я как-то Дона Левина, настоящего антибольшевика, с которым дружил.

— Знаете, как жесток оказался суд в отношении разоблаченного советского тайного агента Марка Зборовского?

— Нет.

— Ему дали кафедру энтомологии в каком-то университете

— Да что вы, Исаак Доныч!

— Прочтите в сегодняшнем “Таймсе”, — и Дон Левин

безнадежно махнул рукой.

С.П. Мельгунов

П.Б. Струве, хорошо знавший Мельгунова, говорил о его характере: “С Мельгуновым работать все равно что ежевику собирать: все пальцы исколешь и ничего не соберешь”. Поработав с Мельгуновым, могу засвидетельствовать, что это — истинная правда. Но когда Мельгунов приехал к нам, я этой оценки Струве еще не знал. Все было по-хорошему. Олечка приготовила чай, и мы начали “серьезный разговор”.

Первое впечатление от Мельгунова было приятное. Среднего роста, худой, в легкой бороде и усах, нос с горбинкой, живые глаза. Типичный русский интеллигент, хорошо воспитанный человек. У Олечке по старинке поцеловал руку. Все в порядке.

Как я и предполагал, все дело было в моем сотрудничестве с его группой в “Российском демократе”. Об этом он говорил весьма настойчиво: у него нет литературного редактора, и чтоб я ему в этом помог. В конце концов я не решился ему так, в глаза, отказать. Я сказал только, что очень занят своей литературной работой.

— Но у нас же собрания не каждый день! И собираемся мы в двух шагах от вас, на рю Лекурб. А я думаю, что вы могли бы в этом нужном деле очень помочь.

Одним словом, путь отступления был отрезан. И я в конце концов (против сердца) сказал:

Ну что ж, давайте попробуем. Вот и отлично!

Мельгунов был человеком разговорчивым. Когда кончились официальные “серьезные” дела, начались разговоры обо всем. Я спросил, откуда он родом, где учился. На все вопросы Мельгунов отвечал охотно, подробно. Кстати, упомянул, что его мать полька — Грушецкая. Рассказывал о жизни в университете и в имении.

Все шло нормально, я слушал с интересом, но вдруг Мельгунов проговорил (уже не помню, в связи с чем):

— … Но вы знаете, я же ведь сумасшедший…

Своего удивления я не показал. Наоборот, засмеявшись сказал, что это у нас “частая гипербола”. Но, к моему удивлению, Мельгунов вдруг рассердился и повысил тон:

— Никакая не гипербола! Конечно, я не теряю сознания, как Павел I, но говорю вам, это факт, я — сумасшедший.

Мне стало как-то не по себе, неловко.

— С.П., — сказал я как бы шутя, хотя уже видел, что эта моя шутливость его начинает раздражать, — у сумасшедших есть же какие-то признаки, а у вас, слава Богу, их нет.

Мельгунов еще больше повысил голос, и уже крайне

раздраженно: — Если я вам говорю, что я сумасшедший, значит, это так! И признаки у меня определенные есть!

“Господи!” — подумал я, — и зачем он мне все это говорит?”

— В России, например, — продолжал раздраженно Мельгунов, — когда я ездил по железной дороге, то обязательно должен был считать белые стаканчики на телеграфных столбах. Эта потребность была сильнее меня, я не мог их не считать. А тут, в Париже, в метро, я должен считать электрические лампочки…

Я не знал, что и ответить. А Мельгунов продолжал:

— А еще я не могу перейти через реку по мосту, меня тянет броситься через перила. Не выношу никакой высоты, не могу стоять на высоком балконе — тоже тянет броситься вниз.

— Ну это у многих бывает, — сказал я, чтобы найти какой-нибудь выход из этой не очень приятной темы. И быстро перешел на что-то редакционное из “Российского демократа”. Мельгунов стал отвечать, и тема о сумасшествии, слава Богу, отпала. Но я понял, что мой новый знакомый, известный историк С.П. Мельгунов — крайний неврастеник, и это конечно, не сулило в наших отношениях ничего хорошего. Недаром его злой противник Гр. Алексинский писал: “Какой же он историк, он — истерик”.

Чай мы пили долго, по-русски — с вареньем, с печеньем. Видимо, Мельгунову у нас понравилось, несмотря на тему о сумасшествии, которую он под конец, кажется, забыл.

Просидев долго, мы договорились, когда я должен прийти на собрание группы “Российского демократа”. Мельгунов был доволен, прощаясь, опять поцеловал руку Олечке и стал одеваться. Я подал ему пальто (еще из России, тяжелое, на меху) и сказал, что провожу до станции метро. Мельгунов жил где-то далеко. Договорились мы встречаться с ним каждую субботу. Олечка уговорила его приезжать к завтраку. Он сначала было отказывался, но потом согласился. Так и начались наши ежесубботние завтраки-встречи.

Собрание Союза писателей и журналистов

Когда 16 марта 1946 года было созвано общее собрание Союза писателей и журналистов, для нас, людей пера, это было испытание: за исключением сборников В.Лазаревского вся эмигрантская печать была захвачена совпатриотами, многие из которых состояли членами Союза. Мы же, свободные, были не организованы.

Хорошо помню это собрание. На него пришло больше ста человек, что у нас в Париже редко когда бывало. Открыл собрание давний генеральный секретарь Союза Владимир Феофилович Зеелер (в прошлом — ростовский адвокат). Он и председетельствовал.

Лидером совпатриотов (и весьма активным!) на собрании оказался Н.Рошин (по бунинскому прозвищу “капитан”). Этот “капитан” всю эмиграцию терся около Бунина, был, так сказать, “другом дома”. Никто и не подозревал, что этот “капитан”, “друг” Бунина, сотрудник правой газеты “Возрождение” Рошин — член французской компартии, что теперь и обнаружилось.

Я мало знал “капитана”. Но все-таки встречал — белый офицер как белый офицер. И вот теперь, на общем собрании, окруженный совпатриотами, он первым попросил слова. Выступление его (язык у Рощина был неплохо подвешен) оказалось несколько неожиданным. “Капитан” начал с того, что эмиграция как таковая кончается, люди “возвращаются на родину”, и потому он предлагает собранию Союза принять резолюцию с обращением в ССП в Москве, прося принять нас как *отделение* Союза советских писателей. Это, пожалуй, было уже чересчур. Выступление Рощина, за исключением хлопков совпатриотов, было встречено гробовым молчанием.

За ним выступил Юрий Павл. Анненков. Зная Юрия Павловича, я немного побаивался: “он может так, но может и иначе”. Каково же было мое радостное удивление, когда вся его речь оказалась страстной защитой свободы слова, свободы печати, свободы человека. Анненков сел под бурные аплодисменты.

За ним выступил Гайто Газданов. За этого я не волновался, ибо твердо знал, что Газданов горой за свободу слова, свободу печати, даже с уклоном в “анархизм”. И его речь собрание проводило хорошими аплодисментами. За Газдановым Мельгунов. Тут тоже можно было быть вполне спокойным. Мельгунов говорил очень резко. За Мельгуновым выступал я — не менее резко.

Донельзя отвратительным было выступление редактора “Русских новостей” А.Ф.Ступницкого. Это был какой-то просоветский лепет, ни для кого не убедительный. Столь же неудачным было и выступление редактора “Советского патриота” профессора Одинца. Вероятно, оба понимали, что большинство не с ними.

А когда мы перешли к голосованию — к выборам Правления, оказалось, что советчики биты: шестьдесят четыре голоса за нас, за свободу слова и сорок пять — за советчиков. В Правление Союза писателей и журналистов выбраны: Б.КЗайцев (председатель), С.П.Мельгунов (товарищ председателя), я (товарищ председателя), Н.В.Вольский (Валентинов), профессор С.Жаба (других не помню). Казначеем и генеральным секретарем Союза переизбрали Вл. Феоф. Зеелера, бессменно бывшего на этом посту с 1920-х годов.

Одним словом, все осталось по-старому, чему я был рад и что тоже было, конечно, ударом по кагебешной политике в отношении эмиграции, как массовый отказ эмигрантов от получения советских паспортов для возвращения “на Родину”.

Виктор Кравченко

Как-то, дойдя до своего дома на 253, рю Лекурб, я, как обычно, стал подниматься по лестнице на свой пятый этаж. Без лифта — упражнение не из приятных. Кружишь-кружишь — и на каждом повороте украшение — две турецкие уборные. Вообще дрянная у нас была квартира. Одна комната с кухней.

При повороте к нашей квартире на пятом этаже я с удивлением увидел, что у нашей двери стоят два каких-то джентльмена. Что за притча? Кто это может быть? Джентльмены вежливо расступаются, и я открываю дверь. Вижу: Олечка не одна — перед нею сидит какой-то господин. Не успел я раздеться, как Олечка говорит:

— Как хорошо, что ты пришел. А у нас нежданный гость из Америки… Виктор Андреевич Кравченко.

Я удивился до крайности. Гость поднялся. Мы поздоровались.

— Очень рад, Виктор Андреевич, чем могу служить?

Кравченко чрезвычайно внимательно меня рассматри вал. Мы сели.

А вот чем, Роман Борисович. Я пришел к вам за помощью. И даже за срочной помощью. Очень рад… если чем-либо смогу помочь… Скажите, там в дверях стоят два джентльмена, это, вероятно, ваши телохранители?

— Да.

Так чего же они стоят за дверьми, давайте попросим их войти. Пожалуйста.

Олечка тут же отворила дверь и попросила джентльменов войти. Они поблагодарили, вошли и сели в кухне, рядом с комнатой.

— Так вот, — начал Кравченко, — мне нужен в Париже человек, на которого я могу во всем положиться как на самого себя. Мне нужна здесь большая помощь. И наши общие друзья дали мне ваш адрес и сказали, что вы и есть такой человек.

Я засмеялся:

— Не знаю…

— Прежде всего мне *срочно* (подчеркнул Кравченко) нужен секретарь. Но секретарь совершенно особый: он должен знать русский и французский на все сто процентов. Он будет моим переводчиком во всех делах, будет и на суде. Он должен быть абсолютно честен, потому что будет иметь дело с деньгами, и я должен им располагать двадцать четыре часа, если мне понадобится. Мне этот секретарь нужен сию минуту, сегодня же. Есть ли у вас подходящий человек? Разумеется, его труд я буду

хорошо оплачивать.

У меня на уме такого человека не было. Но Олечка тут же сказала: — Конечно, есть! — И, обращаясь ко мне: — Саша Зембулатов, лучше не выдумать. К нему надо сейчас же пойти.

Кравченко был доволен категоричностью Олечки, и мы решили так: после обеда мы с Олечкой идем к Зембулатовым, а Кравченко оставляет телефон своего отеля, куда я ему позвоню о результате.

Если результат положительный, то привозите его тут же ко мне, — попросил Кравченко. Хорошо.

На этом мы и расстались.

Зембулатовы были прекрасной русской семьей, жившей русским бойскаутизмом. Я хорошо знал мать Саши, но самого Сашу никогда не видел. Его знала Олечка.

Пришли к Зембулатовым. Они все дома. Олечка тут же изложила им дело. Саша пришел в полный восторг: он юрист, кончил Сорбонну, как раз ищет работу, а тут такое архиинтересное предложение.

От них я и позвонил В.А. Он попросил, чтобы я и Саша сегодня же вечером приехали к нему в гостиницу. Забегая вперед, скажу: Саша подошел Кравченко на все сто процентов и стал не только его секретарем на процессе, но и близким человеком на долгие годы. Даже работал с Кравченко в Перу, когда тот занялся разработкой серебряных рудников.

На завтра Олечка за все это дело получила книгу Кравченко “Я выбрал свободу” (по-французски) с хорошей дружеской надписью и благодарственное письмо.

На процесс я ездил ежедневно. Обычно заезжал к Кравченко в гостиницу, где уже был Саша, и с ними вместе ехал в суд. Процесс Кравченко *был. в центре внимания всего мира,* и каждое заседание было захватывающим.

Несколько слов об истории Кравченко. В.А., сын железнодорожного рабочего, был видным советским коммунистом. В 1943 г. он приехал в Вашингтон в составе советской закупочной комиссии. На нем лежала обязанность следить за погрузкой пароходов, отправляющихся в СССР. В 1944 г. он порвал с Москвой и “выбрал свободу”. Сталин настаивал на выдаче Кравченко. Американцы медлили. В конце концов, Рузвельт стал склоняться к выдаче Кравченко. В это время Кравченко скрыла у себя в квартире Е.Л.Хапгуд. У нее, никуда не выходя, Кравченко прожил семь месяцев — до смерти Рузвельта. И тогда американцы решили не выдавать Кравченко. Он “вышел на свободу” и в 1946 г. выпустил книгу “Я выбрал свободу” — о терроре, коллективизации и концлагерях в СССР.

За все существование коммунистического режима ему ни разу не был нанесен такой удар со стороны эмиграции, какой нанес ему Виктор Кравченко своим процессом против прокоммунистической газеты “Леттр франсэз”. Книг, разоблачающих сущность этого режима, выходило много и до войны, но их взрывчатая сила по сравнению с “Я выбрал свободу” была силой бомбы в сравнении с атомным снарядом.

В Париже, политическом центре Европы, своим процессом Кравченко нанес необычайный удар коммунизму. Он не только вновь привлек внимание всего мира к страшной теме своей книги, но заставил весь мир выслушать о советском режиме показания живых свидетелей, советских граждан, недавно вырвавшихся из-за железного занавеса на свободу.

В борьбе с коммунизмом В.А.Кравченко делал дело мирового масштаба. Его борьба была борьбой Давида с Голиафом, борьбой *свободного человека* с аппаратом всемогущего тоталитарного государства. Конечно, Кравченко знал, как длинны руки МВД и как беспощадна месть Сталина. Поэтому для его выступления нужны были большое мужество, смелость и воля.

Кто присутствовал на заседаниях суда во Дворце Правосудия, тот воочию видел, какое отчаянное сопротивление Кравченке и его свидетелям оказывали коммунисты. Это убедительнее всего говорило о том, как расценивал Кремль силу этого удара. Из-за океана и через Ла-Манш на процесс прилетели мелкие и крупные интернациональные “фирлингеры”; на сцену выпущены были всякие “коммунизанствующие снобы” и попросту агенты Коминформа. Обойду молчанием показания всех этих “свидетелей”, заслуживающих презрения.

Гораздо интереснее были выступления прилетевшей московской знати. Надо признать — и вовсе не для каламбура, — что самыми лучшими свидетелями для Кравченко были бесспорно эти, московские. Вероятно, подготовке их МВД посвятило не один десяток заседаний, дрессируя своих “свидетелей”. И что же? Все кончилось полным провалом, признанным всей печатью. Впрочем, этот провал вполне естествен. Прилетевшие в Париж рабы-вельможи были бы великолепными “свидетелями” на любом московском процессе, где запытанные обвиняемые, под их показания, признавались бы во всех заказанных им преступлениях. Но свободный суд демократической Франции привел в замешательство сановников сталинского царства.

Вот перед судом — искушенный в сексотских делах коммунист Колыбалов. Он пересказывает заученный в Москве урок об “изменнике Кравченко”. В горячей ответной речи

Кравченко кричит Колыбалову, что это именно он, сталинец Колыбалов, загонял в концлагеря невинных людей, что Кравченко только случайно вырвался из лап НКВД на свободу. Речь Кравченко опрокидывает показания Колыбалова. Этого не расскажешь, но в зале суда есть такой передающийся присутствующим как бы ветер, по которому все безошибочно чувствуют, где правда. В этом поединке симпатии всего зала были на стороне человека, боровшегося против режима полицейского государства. Страстное обвинение Кравченкой сталинского режима вызывает единственную реплику Колыбалова: “Я прошу не оскорблять моего горячо любимого вождя!” Эти слова покрыты смехом публики, и блестящей ответной репликой мэтра Изара: “Не мы, французы, виноваты в том, что ваша фраза вызывает здесь смех!”

Тот же московский урок об “изменнике Кравченко” рассказывает суду и Василенко. Но знатного члена Верховного Совета берет в оборот сам мэтр Изар. Он задает свидетелю вопрос за вопросом. Василенко старается увертываться, не отвечать. А когда мэтр Изар читает ему список расстрелянных НКВД его товарищей по партии, по службе, его начальников и, наконец, наркомов Украины, после каждого имени спрашивая, знал ли этих людей Василенко, вся публика в зале замирает, это самый патетический момент процесса. С посеревшим, растерянным и злобным лицом Василенко мечется у свидетельского барьера. Он отказывается отвечать, не понимая, какую неоценимую услугу этим он оказывает делу Кравченко. Под конец допроса, раздавленный “вызовом мертвых”, Василенко неожиданно вскрикивает: “А почему, собственно, вас так беспокоит судьба всех этих господ!?” В свободном суде демократической страны подобная фраза звучит признаньем преступления и губит свидетеля сталинской диктатуры.

Все московские свидетели дезориентированы в атмосфере свободного суда. Последним появляется генерал Руденко. Его появление, вероятно, тщательно подготовлялось. Генерал вышел не оттуда, откуда выходят все свидетели. К удивлению самого председателя суда Дюркгейма, Руденко появился из двери на эстраде, где заседал суд, и не в штатском костюме, что приличествовало бы моменту, а в полной форме, с регалиями и даже в головном уборе с голубым околышем. С теми же стандартно-волевыми интонациями он дает свои показания об “изменнике Кравченко”. Но первые же реплики В.А.Кравченко — “Вы лжете, Руденко!” — “Вы холуй режима!” — “Какое право вы имеете говорить от имени народа?!” — сбивают генерала с тона. Он просит председателя суда оградить его “от давления извне”.

Вероятно, в представлении этого коммуниста Кравченко должен бы был стоять перед ним со связанными за спиной руками. Но здесь свободная Франция, и Кравченко со всей присущей ему страстностью атакует Руденко, вскрывая перед судом биографию этого политического “генерала”, не окончившего военной школы. Руденко пытается рассказать суду о том, что советское правительство не помышляет о войне и занято только “борьбой с суховеями и превращением пустынь в оазисы”. Кравченко кричит: “Вы бы лучше дали народу свободу, а потом уж занялись суховеями и оазисами!” Генерал пробует убедить французов, рассказывая им о чувстве дружбы, которую питает советское правительство к демократической Франции. Отвечая на это, Кравченко произносит свою самую сильную речь, захватившую всех присутствующих. Указывая на Руденко как на представителя сталинского режима, Кравченко приводит суду цифры миллионов тонн боеприпасов, сырья, продовольствия, поставленных Сталиным Гитлеру за полтора года “спаянной кровью” дружбы двух диктаторов. “Вы, Руденко, уверяете Францию в дружбе Сталина? Но ведь вы со Сталиным во время войны своими поставками Гитлеру убивали французов! Вы убивали французских женщин, стариков и детей. Вы политические и уголовные преступники! Это Сталин выдал Европу на растерзанье фашизму!” По залу проносится одобрение. Зал с Кравченкой, а не со сталинским “генералом”. На эти обвинения Руденко молчит, ему нечего ответить. И обратившись к председателю за разрешением уйти через ту же эстраду, под презрительные крики адвокатов и публики, генерал неожиданно покидает зал. “Куда же вы, Руденко?! Будьте смелее! Оставайтесь! Я вызываю вас! У меня есть что рассказать о вас на этом суде!” — кричит ему Кравченко. Но генерал ушел. Вероятно, сам Кравченко, ведущий процесс с большой силой и смелостью, не предполагал такого быстрого уничтожения своего главного противника.

В двенадцатом заседании суда сама защита “Леттр фран-сэз” подтвердила поражение всех своих московских свидетелей, отказавшись от вызова остальных, а их было выставлено до двух десятков!

С самого начала процесса всем присутствующим на нем было ясно, что инициатива атаки всецело в руках В.А.Кравченко, мэтра Изара и его помощника мэтра Гейцмана. Но было бы несправедливо преуменьшать громадную роль, сыгранную на процессе новыми советскими эмигрантами. Этот имеющий первостепенное политическое значение процесс надо по справедливости назвать процессом новой эмиграции против коммунизма. И если в обстановке французского суда московские

коммунисты оказались побеждены его свободой, то новые эмигранты этой свободой воспользовались чрезвычайно удачно. Всякий русский антибольшевик должен низко поклониться этим свидетелям. У многих из них остались в СССР родные и близкие. И все-таки на суде, не скрывая своих имен, они дали убийственные для сталинского режима показания, проявив тем большое гражданское мужество. В одних показаниях чувствовалась страшная измученность (тюрьмы, пытки, концлагеря, голод под Сталиным и под Гитлером), в других — жажда беспощадной борьбы. Я жалею, что переполненный разнообразными иностранцами зал (от фабричных рабочих до послов иностранных государств), не знал русского языка, не мог почувствовать по-настоящему глубину этого человеческого протеста против тоталитарного рабства. Но и в переводе эти показания дошли до иностранцев как предупреждение, как сигнал неминуемой борьбы. Из судебного зала эта тревога проникла в печать всего мира, и в этом было громадное значение процесса.

Кравченко ко мне привык. Мне доверял и часто разговаривал со мной *просто по-человечески* обо всем. Иногда, глядя на него, я думал: *"Как* он выдерживает страшное нервное напряжение этого процесса?" Помню, после одного заседания суда, усталый, зная, что на следующем заседании выступят какие-то приехавшие из Москвы "свидетели", он сказал мне: "Я слышал, что они привезут мою первую жену, но это пустяки, а вот если они привезут мою мать, я не выдержу, я знаю, что *я не выдержу"*.

Кравченко очень любил свою мать и знал, что говорил. Он всегда возил с собой портрет матери. И застрелился в Нью-Йорке перед ее портретом. Но большевики его мать почему-то не привезли. Умерла? Была в тюрьме?

Бывшую жену, полную "русскую красавицу", блондинку, голубоглазую, с высоким валиком волос и необычайно развитым бюстом — привезли. Этот ее русский бюст в парижских газетах имел успех. Его окрестили "poitrine agressive" ("агрессивные груди"). Думаю, что эта жена была петая дура, и ее "показания" ничего, кроме смеха, у публики не вызвали. Тем не менее от нее ни на шаг не отходила маленькая, худенькая, черненькая женщина еврейского типа, явно приставленная чекистка. Она сопровождала ее даже в уборную. Так что, несмотря на все старания Кравченко и Саши, перехватить ее было нельзя и на полслова. Нежных чувств к ней Кравченко давно не испытывал. Он только хотел ей предложить остаться в свободном мире при его поддержке, но это не удалось.

Помню мое одно неожиданное столкновение с Олечкой из-за Кравченко. И ее победу. Кравченко был потомственный

пролетарий, сын железнодорожного рабочего, комсомолец, коммунист, “большевик по нутру”, ни в Бога, ни в черта не верующий, что он не раз подчеркивал. Когда я собирался ехать к нему в день вызова в суд московских свидетелей, вижу, Олечка с чем-то возится, что-то зашивает. И потом протягивает мне ладанку на шнурке, говоря:

— Вот, Рома, передай это Виктору Андреевичу, у него сегодня трудный день.

Я удивился и говорю:

— Олечка, ну что за чепуха! Атеисту, коммунисту, ни во что не верующему Кравченко я буду давать ладанку?! Ты понимаешь эту нелепость? Нет, я не возьму, да он чего доброгозасмеется над этой ладанкой. Если не в глаза, так за глаза.

Но Олечка была настойчива:

— Ведь не ты даешь, а я! Какое ж тебе дело? Так и скажи, что я просила тебя ему передать.

Олечка так упорно настаивала, что, как я ни отказывался, а в конце концов взял ладанку и сунул ее в карман.

Только дай слово, что передашь! Честное слово! Хорошо. Даю. Для тебя. Честное слово. Но я считаю это диким и нелепым…Это все равно, как ты там считаешь…

Когда я приехал к Кравченко, было еще рано. Он нервничал. Я понимал, что мысль о матери не выходила у него из головы, и я не знал, как же мне эту ладанку дать? Стеснялся: попадешь в глупое и смешное положение. Но я обещал Олечке и перед уходом от Кравченко все-таки решился, полез в карман, вынул завернутую в папиросную бумагу ладанку и, запинаясь, нерешительно пробормотал:

Виктор Андреевич, вот вам жена прислала, просила обязательно передать. Что такое? — удивился Кравченко, разворачивая пакетик, и вдруг его лицо просветлело. Пожалуйста, передайте Ольге Андреевне мою большую благодарность. Большое спасибо.

И он пожал мне руку. А на следующий день опять благодарил, говоря: — Какая чудная и чуткая у вас Ольга Андреевна! Мне вчера было так одиноко, и эта ладанка пришла как раз вовремя.

Приехав домой, я увидел на столе грандиозный букет красных роз. Пересчитал: тридцать шесть штук!

Вот это гонорар! — засмеялся я. Ну что, кто оказался прав, я или ты? Ты, и только ты! Он благодарил тебя невероятно! Благодарности и букеты мне не нужны. Но я рада, что поддержала человека в трудную минуту, — сказала Олечка.

Известно, что несмотря на все ухищрения Москвы с вызовом

свидетелей, вплоть до архиепископа Кентерберийского, Кравченко выиграл процесс против “Леттр франсэз” по обивнению в клевете. Это послужило лишней мировой рекламой для и без того шедшей бестселлером чуть ли не в тридцати странах его книги “Я выбрал свободу”. Кравченко стал миллионером. Именно это и привело его к преждевременной смерти — к самоубийству.

В феврале 1950 г. мы с Олечкой приехали в Америку. Здесь, в Нью-Йорке у Елизаветы Львовны Хапгуд и у нее же в Питерсхеме, я часто встречался с В.А. Кравченко. Надо сказать, что Близ. Львовну Кравченко просто “обожал”. Во-первых, она была человеком, который спас его жизнь, когда Рузвельт хотел выдать Кравченко Сталину. Во-вторых, Елиз. Львовна очень помогла ему в создании “Я выбрал свободу”. Я пишу — *в создании,* потому что Кравченко был не только не писатель, но человек малокультурный. Он мог вывалить весь душевный материал на бумагу, но организовать его и литературно обработать был не в силах.

И тут на помощь пришел Юджин Лайонс, известный американский журналист, русский еврей по происхождению, блестяще владевший и английским и русским. Он взялся за приведение всего материала Кравченко в литературный вид, сразу же по-английски. Когда этот адов труд (книга под тысячу страниц!) был окончен, Кравченко, человек невероятно недоверчивый, боясь каких-либо неверностей, изменений и прочее, просил Елиз. Львовну перевести ему *устно,* фразу за фразой, всю книгу с английского на русский. Это была труднейшая работа. Со стороны Е.Л. просто подвиг. Но она его совершила. Правда, после этого заболела от нервного переутомления. Помогала ЕАКравченко и во многих других жизненных делах, ибо английским Кравченко почти не владел (с пята на десята).

Дабы быть ближе к Е.Л., Кравченко в Нью-Йорке снял недалеко от нее небольшую трехкомнатную квартиру, где жил под чужим именем (кажется, Питер Мартен). Я у него бывал, видел на письменном столе хорошо обрамленный портрет его матери — тот, под которым Кравченко застрелился 25 февраля 1966 г.

Кравченко был человек сильной воли. Многое пережил. Отчего же он сдался, покончил самоубийством? Он был очень русский, и именно свойственные русскому характеру черты довели его до дула пистолета. В его характере была одна подавляющая все русская черта — самохвальная уверенность, что все кругом дураки, а я умный. Любимой темой его разговоров

было: “Да разве американцы умеют работать? Да ни черта не умеют! Вот я им покажу, как надо работать!” И в своей самохвальной уверенности Кравченко был неколебим.

Вместо того, чтобы на свои миллионы начать какое-нибудь нормальное дело, он сразу бросился “делать из миллионов миллиарды”, в полной уверенности, что он их сделает и всем американцам “утрет нос”.

Посему он бросил Нью-Йорк и уехал в Перу на разработку серебряных руд. С ним уехал и Саша Зембулатов. Не помню, сколько времени Кравченко разрабатывал эти руды, став компаньоном какого-то большого американского предприятия, но миллионы в миллиарды не превратил. А в одно прекрасное утро “акулы американского капитализма”, которым В.А. хотел “утереть нос”, проглотили его, как мелкую плотву.

Все произошло просто. Правление постановило, что у каждого члена в предприятие должно быть вложено не менее “энной” суммы денег. У Кравченко этой суммы не оказалось, и ему пришлось покинуть предприятие.

Но русское упрямство и тут ничему Кравченко не научило. Он *один* начал эксплуатировать какой-то небольшой заброшенный рудник, причем занял деньги и у Е.Л.Хапгуд, уверив ее, что это дело “изумительно пойдет”. И тут потерял остальное.

После этого Кравченко вернулся в Нью-Йорк. Он был в отчаянии, и от потери собственного капитала, и от потери денег Е.Л. Он почти не выходил от Е.Л., рассказывая ей все подробности своего неожиданного прогара, причем в одном из разговоров Е.Л. впервые услышала: “Остается только пулю пустить в лоб”. Е.Л. его успокаивала, но чем и как можно было успокоить?

Помню, при мне как-то Кравченко рассказывал, как его “успокаивал” адвокат:

— Вы не отчаивайтесь, Виктор, у вас такое большое имя во всем мире и в Америке, что если вы откроете какое-нибудь дело, оно прекрасно пойдет. Например, ресторан!

От такого совета Кравченко приходил в совершенное бешенство:

— Виктор Кравченко открывает ресторан! Этого еще не доставало! Я лучше пулю пущу в лоб!

Отсюда пришло и то, что он стал жить ложными политическими иллюзиями. Он ненавидел Сталина, как только можно было ненавидеть. Но Сталина нет, и, будучи долголетним партийцем и психологически совершенно “советским человеком”, к Хрущеву он уже никакой ненависти не питал.

— Вы не понимаете Хрущева, — говорил он мне, — а я его знаю, я его понимаю. Никита неплохой, вот вы увидите, он

повернет к народу, даст свободную и хорошую жизнь.

Никаких возражений Кравченко не хотел и слушать.

После конца Никиты Кравченко помрачнел. Но вскоре стал строить новые иллюзии: Леня Брежнев. Его Кравченко знал, с ним вместе учился, был на “ты”. И вот Леня теперь повернет к народу. Когда же в Москве поставили процесс Синявского — Даниэля, надо было видеть, как это подействовало на Кравченку.

— Стало быть, ничего не меняется? — повторял он.

На него, уже нервно разбитого, находившегося все это время в крайне напряженном состоянии, этот процесс подействовал потрясающе. Стало быть, он опять ошибся в своем прогнозе “оттепели?”

Кравченко все мерещилась некая иллюзорная перспектива: СССР пойдет направо, а США немного налево, и вот тогда наступит настоящее дружественное сосуществование двух великих сверхдержав. И он, Кравченко, сыграет тут не последнюю роль, ибо хорошо знает и СССР и США. И именно он подаст эту “идею”. Об этом он писал куда-то (кажется, в Госдепартамент). Но нелепые его иллюзии рассеивались на глазах, и Кравченко впадал в черный пессимизм.

Как-то Е.Л. расстроено сказала мне:

— Был Кравченко и спросил меня: — Знаете, сколько у меня денег в банке? Всего-навсего?…250 долларов! И это все!

Чуя недоброе, Е.Л. просила его пожить эти дни у нее. Кравченко согласился, и каждый день разговоры его кончались — “пулю в висок”. Е.Л. пыталась его как-то успокоить. Но разве можно было его успокоить!? Пыталась успокоить его и жившая у Е.Л. Варвара Петровна Булгакова (бывшая актриса МХАТа).

В роковой день самоубийства к Е.Л. приехал Питер (муж ее дочери, профессор Питсбургского университета). И вдруг Кравченко после обеда говорит, что ему надо пойти к себе на квартиру на час-другой по делам. Все бы это было ничего, но когда он стал прощаться с Е.Л., она почувствовала какую-то странность, до того нежно и долго он целовал ее руки и все благодарил. Потом вдруг сказал: “Давайте поцелуемся!” Поцеловались. То же самое произошло и при прощании с В.П.Булгаковой. Е.Л. почувствовала что-то неладное и попросила Питера проводить Кравченко и побыть у него час-другой. Тот, конечно, согласился, и они вдвоем вышли из квартиры Хапгуд.

Как только они вошли к Кравченко, Виктор Андреевич попросил Питера пойти купить ему чистилку для трубки — он забыл ее купить. Ничего не подозревая, Питер пошел купить чистилку, а когда вернулся — перед портретом матери Кравченко лежал на полу мертвый с простреленным виском.

В своем завещании Кравченко просил, без всяких церковных обрядов и без гражданской панихиды, сжечь его тело, а урну с пеплом сохранить и, когда будет возможность, отвезти в Россию и бросить в волны любимого им Днепра.

Е.Л.Хапгуд в 1974 г. умерла. Урну она закопала в саду в Питерсхеме. Но дети продали усадьбу и урна с пеплом так, и осталась закопанной где-то в саду.

Н.В. Вольский

Я довольно часто ездил к Н.В. Вольскому. Он жил под Парижем в Плесси Робенсон. Жил в нужде. М.С.Маргулиес говорил о Вольском: “Это самый блестящий человек в эмиграции”. Автор замечательных книг “Встречи с Лениным”, “Малознакомый Ленин” был действительно человек выдающийся. Талантливый публицист, широко образованный и, если хотите, действительно — блестящий. Но насчет “самый” — не думаю. В эмиграции было много “блестящих” людей. И отдавать пальму первенства Николаю Владиславовичу Вольскому я бы все-таки не решился.

Н.В. был экономист, публицист, автор философских и социологических работ. И, как выяснилось при первом же нашем разговоре, по России был почти моим земляком. Он родился в 1879 г. в уездном городе Моршанске Тамбовской губернии, в помещичьей семье. Его отец (польского происхождения) был уездным предводителем дворянства, а мать, урожденная Рымарева, — из богатой коннозаводческой помещичьей семьи. Детство и юность Н.В. провел в имении родителей “Подъем”, и эту жизнь в имении он всегда вспоминал лирически, с большой теплотой. Но своего отца почему-то не любил. И, став студентом, порвал с ним все отношения.

В Петербурге Н.В. учился в Технологическом институте. И тут, как он говорил, под влиянием проф. М.Туган-Барановского, стал марксистом. Данный ему от природы страстный темперамент увлек его на самый левый край русского марксизма — он стал большевиком. После тюрьмы и ссылки в Уфу Н.В. работал в Киеве, в подполье. В 1903 г. он встретил и полюбил Валентину Николаевну, ставшую верным другом всей его жизни. Она тоже происходила из тамбовской помещичьей семьи. В Петербурге стала опереточной певицей. И имела успех.

В 1904 г., чтобы избежать ареста, Н.В. бежал за границу и там, в Женеве, на некоторое время близко сошелся с Лениным. Но духовная независимость Вольского, потребность мыслить по-своему, а не “по Ильичу” быстро привела к разрыву с Лениным и большевиками. Очень ярко суть этого разрыва дана Вольским в таком диалоге с Лениным:

“— Из ваших слов вытекает, что ни одна гадость не должна быть порицаема, если ее учиняет полезный партии человек. Так легко можно дойти до “все позволено” Раскольникова.

Какого Раскольникова? Достоевского из “Преступления и наказания”.

Ленин остановился и, засунув большие пальцы за отворот жилетки, посмотрел на меня с нескрываемым презрением.

— Все позволено! Вот мы и приехали к сентиментам хлюпкого интеллигента, желающего топить партийный и революционный вопрос в морализирующей блевотине. Да о каком Раскольникове вы говорите? О том, который прихлопнул старую стерву-ростовщицу, или о том, который потом на базаре в покаянном кликушестве лбом хлопал о землю? Вам, посещавшему семинарий Булгакова, может быть, это нравится?" ("Встречи с Лениным, 331 ст.).

Было короткое время — в 1905 г. — когда Н.В. пробовал стать меньшевиком, но и они ему не подошли — "по темпераменту". Он очень скоро от них ушел, оставаясь, как говорил, "беспартийным социалистом". "Меньшевики это те же большевики, но в полбутылках", писал — П.Б.Струве.

В те годы Н.В. много и блестяще писал, и кончилось это тем, что владелец самой распространенной в России газеты "Русское слово", И.Д.Сытин, знавший толк в людях, пригласил Вольского на пост фактического редактора "Русского слова". Официальный редактор, знаменитый тогда Влас Дорошевич, делами газеты занимался мало, часто уезжал за границу. Так что фактически Н.В. редактировал всю газету, что давало большое положение и большие деньги. Так он проработал до Первой мировой войны.

Как-то я спросил у Н.В.:

Но ведь вы тогда у Сытина получали, наверное, громадные деньги, могли стать богатым человеком…Ох, не говорите, стыдно вспомнить, — отозвался Н.В. — Получал две тысячи рублей в месяц, тогда как губернаторы получали, кажется, шесть тысяч в год. И знаете что? Все съедал тотализатор. Это была страсть, и глупая страсть. Бывало, как получу деньги — тут же на бега. Ну, лошадки все и съедали!

Этого я от Н.В. никак не ожидал.

В эмиграции Н.В. много писал — в "Современных записках", в "Последних новостях", в "Новой России" (у Керенского), в "Новом журнале" (у Карповича), в "Народной правде" (у меня), в "Социалистическом вестнике", в "Новом русском слове", в "Русской мысли". Статьи обычно подписывал псевдонимами — либо "Н.Валентинов", либо "Е.Юрьевский".

После войны, в Мюнхене, Н.В. выпустил интереснейшую книгу "Доктрина правого коммунизма". Говорят, что в архиве Колумбийского университета в Нью-Йорке хранятся многие его рукописи. Из них я знаю "Раннего Ленина" и "Символистов". Рукопись "Символисты" я читал. Это очень плохая работа, ибо тут Н.В. взялся не за свое дело. К художественной литературе "уха" у

него не было. Он ее не чувствовал. Но многих символистов знал лично, в молодости был дружен с Андреем Белым, Эллисом и другими. И как человек, хорошо понимавший Белого, смеясь, говорил: “Белый — что? Белый как ангел — голова, кудри, плечики, начало туловища, а дальше — ничего”.

Насколько хорошо Н.В. относился к Белому и все ему прощал, настолько он ненавидел (действительно *ненавидел)* Александра Блока. Н.В. сам рассказывал, как в “Русском слове” он, как редактор, наложил на Блока “табу”. Блок часто присылал в газету свои стихи, но все они, как говорил Вольский, “летели в мусорную корзину”: “Я лично его не знал, но, по чести скажу, ненавидел”.

Ничего не понимая, я пристал к Н.В., чтоб он объяснил мне причину этой ненависти. Можно любить или не любить Блока, я тоже в нем кое-чего не люблю, говорил я, например, эту “Жену, облеченную в солнце”, но Блок — большой поэт, и тут нет никакого спора, он, конечно, был бы украшением “Русского слова”.

— Дело не в поэте, а в человеке, — сказал Вольский. — Я его презирал!

— Но почему же?! — приставал я.

Наконец Вольский сдался.

Хорошо, я скажу, но пусть это останется между нами. Как-то Белый, когда он был в ссоре с Блоком и с ним не встречался, рассказал мне, что у Блока подразумевается под “ночными фиалками”. И после этого Блок мне физически опротивел. Не представляю себе, что же тут может подразумеваться под “ночными фиалками”? — приставал я.

Вольский никак не хотел говорить, но, наконец:

— Хорошо, я вижу, вы так заинтригованы этими “ночными фиалками”, что я скажу вам. Так вот, подразумевается под “ночными фиалками” некая небольшая часть женских гениталий, по-медицински это — клитор, а по-простонародному — с….ь. И вот этими “ночными фиалками” (конечно, у проституток) он и занимался, их и любил. Как только я услыхал это от Белого — кончено, Блок мне физически опротивел. И я побороть себя уже не мог, да и не хотел. Потому и летели все его стихи в мусорную корзину. За все эти годы только раз я сделал исключение для стихотворения, которое отвеча ло моим взглядам на предвоенное развитие российской промышленности, что-то такое — “Разгорается… Америки новой звезда”.

В 1964 г. в Плесси Робенсон после невероятно мучительной болезни Н.Вольский скончался. Заместителя такому эмигранту не нашлось.

Б.И. Николаевский

Борис Иванович наконец прилетел в Париж. Я снял ему комнату в отеле наискосок от нас. С аэропорта он приехал прямо к нам. За время войны Б.И. не изменился, разве немного пополнел. Встретились мы очень дружески. Олечка приготовила чай. Помню, мой первый вопрос был:

— Ну, Б.И., как же там, в Америке-то, довольны?

На что Б.И. с какой-то застенчивой улыбкой ответил:

— Да, в Америке-то очень хорошо, только где-нибудь в Белебее мне было бы лучше. Я ведь в "заграницах" нигде неприживаюсь.

Это была правда. Несмотря на все свои "интернационалы" и "социаль-демократии" (он произносил по-старинке, с мягким "л"), Б.И. был страшно русский и, как Тургенев, Вырубов, Мечников, не мог бы добровольно жить в "заграницах".

Родился Б.И. в Белебее Уфимской губернии в 1887 г. В его характерной наружности было что-то от тех краев — славяно-башкирское, даже башкирское — больше. Он как-то показал мне фотографию матери — женщины с типично русским хорошим лицом. Он ее очень любил. Но наружностью Б.И. пошел не в мать. Помню, в Париже до войны я был в его комнате, когда он ждал звонка от матери из Москвы. Помню его страшное волнение, когда он, услышав голос матери в трубке, кричал в телефон каким-то надтреснутым, готовым перейти в плач голосом:

— Мама, это я, Боря! Боря!

Разговор не то из-за плохой слышимости, не то из-за "чего-то другого" — оборвался. Думаю — из-за "чего-то другого": НКВД "в личном порядке" мстило своему заядлому врагу, высланному меньшевику Николаевскому.

Отец Б.И. был священником, и в его роду, как он говорил, было "премного поколений священников". У Б.И. бережно хранилось самотканное деревенское полотенце с вышивкой синим и красным крестиком: "Отцу Иоанну от верных прихожан" — подарок сельскому священнику, о. Иоанну Николаевскому.

Но Б.И. с юности принял иной "сан" — сан революционера-интеллигента. И в этом сане он был весьма типичен, один из последних могикан этого покроя. Таких уж нет, не та эпоха. Может быть, когда-нибудь, несмотря на их мировоззренческую узость и на их многие государственные прегрешения, в этом типе людей найдут и нечто привлекательное — интегральный идеализм. Недаром такой их антипод, но тонкий психолог и "ловец человеческих душ", как В.В.Розанов, написал об этих

людях замечательные строки в “Опавших листьях”.

С юности Б.И. стал марксистом, и навеки. Он знавал аресты, тюрьмы, ссылки — это были его “университеты”. Не имея законченного образования, Б.И. был широко и разносторонне образованным человеком. В 1917 г. он был избран в ЦК РСДРП. А в 1922 г. вместе со всей головкой меньшевиков (отсидев предварительно в Бутырке) был выслан большевиками за границу. Тогда-то, в 1922 г., я и познакомился с ним в Берлине, в “Новой русской книге”, а потом подружились. Б.И. мне много помог в документации моих книг “Азеф”, “Дзержинский”, “Тухачевский” и других.

Сейчас Б.И. приехал во Францию и Германию на розыски своего уникального архива, захваченного нацистами в первые дни после их вступления в Париж. Приехал с “аршинными” бумагами из Америки к местным американским и союзным властям с просьбой оказывать Б.И. всяческую помощь в деле разыскания его архива или хотя бы его остатков.

Олечка сказала Б.И., чтобы он по утрам непременно приходил к нам пить чай и подкрепляться.

Ольга Андреевна, вы же не знаете, когда я начинаю

свой день, — в шесть утра! Прекрасно, завтрак будет вас ждать в шесть утра.

И ежедневно, в шесть утра Б.И. стучался в нашу дверь. Во Франции у него была большая удача: чемодан, который он зарыл у знакомых под Парижем в саду, оказался в полной сохранности. Но книги, пачки с вырезками, комплекты газет и журналов, масса документов, все, что было в помещении архива, бесследно исчезло, захваченное нацистами. Через несколько дней Б.И. отправился на их розыски в Германию.

За то время, что Б.И. был в Париже, мы все, что нужно, обсудили, обговорили. Он спросил о Мельгунове. Я сказал, что едва ли останусь у него в редакции: тут и неврастенический характер С.П., и его методы работы, да иногда и направление журнала. Все говорит за то, что я оттуда уйду. Б.И. рассказал о скором основании в Нью-Йорке Лиги борьбы за народную свободу. Просил быть, пока негласным, представителем ее в Париже. Я согласился. Я рассказал, что ни Ник. Влад. Вольский (Валентинов), ни П.А.Берлин к Мельгу-нову в журнал не идут, издавна зная его характер. Упомянул, что когда я сказал Ник. Влад. Вольскому, что вступил в редакцию Мельгунова, Вольский с горячностью ответил: “Ну, большей глупости, дорогой мой, вы сделать не могли. Я же его знаю еще по Москве. С ним нельзя работать. Он патологический тип, невропат”.

Действительно, то, с чем я сталкивался на редакционных

собраниях, меня нисколько не ободряло, а многое просто поражало, когда, например, на заседании редакции Мельгунов вдруг не своим голосом кричал на секретаря редакции — Якова Константиновича Бычека: “Идиот!”

Б.И. меня понял и не уговаривал продолжать работать с Мельгуновым. Он понял, что я уйду от Мельгунова, и сказал, что инициаторы создания Лиги считают, что я должен переехать в Нью-Йорк. И что Далин насчет виз для нас говорил с секретарем американского посольства в Париже — Чипманом. “Так что тут препятствий не будет никаких”, — сказал Б.И.

“Народная правда”

Не буду говорить о последних причинах моего ухода из редакции журнала С.П.Мельгунова. Малоинтересно. Ушел и ушел (“по принципиальным соображениям”, как говорится), став поэтому у Мельгунова чем-то вроде “врага № 1”. В особенности потому, что я вскоре — с помощью своих американских друзей — стал издавать ежемесячник “Народная правда”. В нем, к раздражению Мельгунова, писала вся наша демократическая элита публицистов: Н.В.Вольский, Б.И.Николаевский, Д.Ю.Далин, П.А.Берлин, М.В.Вишняк, Ю.П.Денике, В.М.Зензинов, Г.П.Федотов; все они ценили журнал Мельгунова как “свободное слово”, но в нем не писали.

Никого сотрудничать в “Народной правде” уговаривать не пришлось. Только — П.А.Берлина. Но “возражал” он не очень долго. П.А. был видный экономист, публицист на разнообразные темы, автор нескольких книг. Когда я, придя к нему на квартиру на рю де ля Конвансьон, изложил, в чем дело, он слегка “замялся”:

Видите ли что, Р.Б. Я, конечно, очень сочувствую вашему начинанию, но одно обстоятельство меня смущает.

Какое же, П.А.?В “Народной правде” будет, кажется, сотрудничать некто Икс, и меня это шокирует.

Я знал, что за этим последует, но хотел выслушать и спросил:

А что именно?

Ведь Икс же сочувствовал Гитлеру, и это общеизвестно. Написал о Гитлере какое-то стихотворение. Раз мне рассказали такую историю. В одном русском доме в самый разгар депортации евреев из Парижа в Германию все были этим потрясены и взволнованы. Об этом только и говорили. И вдруг Икс с улыбкой говорит: “Господа, не понимаю, почему вы все так волнуетесь? Ведь мы же не евреи?” Говорят, на Икс напали, но слово не воробей: что на языке, то и на уме. И когда кончилась война и открылись почтовые сообщения, я написал об этом в Нью-Йорк в редакцию “Нового русского слова”, описав весь этот инцидент. Они мне ответили, что если Икс приедет в Нью-Йорк, они ему руки не подадут. А ведь в “Последних новостях” Поляков, Седых, Икс все вместе работали в редакции лет двадцать и больше.

Тут мне пришлось объяснять П.А. мое отношение к коллабо. Я сказал, что этот вопрос мы обсуждали с Николаевским, Далиным, Вольским и все были согласны, чтоб никакими “преследованиями” мелких коллабо не заниматься, а наоборот — открыть двери некоторой части “для исправления”, так сказать. И

вскоре Павел Абрамович дал в “Народную правду” прекрасную статью “О холодной войне”. В ней он писал:

“Если есть возможность избежать войны, то, конечно, надо ее всячески избегать. Но если на буйный и наступательный большевизм нельзя надеть смирительную рубашку, если надо отдать на коммунистическое съедение всю Европу и Азию и нельзя мирными средствами сломить упорство Сталина, если война, как это считали Ленин и Сталин, неизбежна, то как подавить в себе сознание, что уж лучше воевать, пока Сталин не готов, пока он поэтому и не начинает войну, чем когда он сочтет себя готовым и пошлет атомные бомбы, объявляя ими войну? Все это упирается в один вопрос: на кого работает будущее?”

Цитирую это потому, что все №№ “Народной правды” были посвящены этой главной теме: наступлению тоталитарного большевизма на свободный Запад. И призывали — к сопротивлению Сталину. Как знает читатель, тема эта сейчас особенно злободневна: удастся ли Западу (президенту Рейгану) защитить (теперь уже “звездной войной”) демократию?

В “Народной правде” я делал ставку на привлечение новых советских эмигрантов и объединение с ними. И этого, по-моему, я достиг. В № 1 “Народной правды” я поместил свою статью “Смысл встречи двух эмиграции”, где писал:

“На российских эмигрантов история наложила две задачи: быть кадрами борцов с большевизмом за Россию и быть передатчиками этой борьбы в мир, предупредителями мира о грозящей ему опасности.

В течение почти тридцати лет в меру своих сил эмиграция эти задачи выполняла. Но с каждым годом они до чрезвычайности осложнялись, ибо большевики все плотнее закрывали Россию железным занавесом. И вскоре закрыли Россию столь плотно, что во внешнем мире даже самая зоркая — российская эмиграция — перестала ее видеть.

Конечно, мы знали факты. Но для дела эмиграции не в них была суть. Мы не могли узнать единственно решающего: отношения народа к власти. Изжито ли народом коммунистическое наваждение, освободился ли от октябрьского обмана, понял ли наконец народ, что его национальную революцию, всю вековечную надежду на землю и волю для чуждых народу целей украли у него коммунисты?

Зато после этой войны мы, старая эмиграция, впервые за тридцать лет узнали Советскую Россию. Мы узнали ее, встретившись с нашими братьями, с новой, уже советской, эмиграцией. Вместе с землей российских дорог, которую новая эмиграция принесла в Европу на своих сапогах, она принесла и

разрешение единственно нужного вопроса.

Новая эмиграция прорвала для нас железный занавес. От нее мы узнали, что от октябрьского обмана в России не осталось следа, что между народом и властью — полный разъем. Это свидетельство наших братьев, оставшихся тут, вместе с нами, в Европе, и есть основной смысл встречи двух российских эмиграции.

Новая эмиграция показала нам и нового пореволюционного человека. Это не Платон Каратаев, как бы ни хотели этого некоторые старые эмигранты. Пореволюционный человек трезв, реалистичен, силен и целеустремлен. Всякое беспочвенное мечтательство из него вышиблено Сталиным навсегда. Он хочет жить разумно, а не заумно, он стал чем-то похож на американца. И эта его трезвость сулит большую крепость будущему государству. Не будем его идеализировать. Упомянем только, что, провожая освобожденного польского еврея Ержи Гликсмана с края света, из Ухтыжемского концлагеря, где гибнут миллионы российских людей, замученный ленинградский профессор сказал уходящему Гликсману: “Если вы и в самом деле расскажете о том, что вы здесь видели, то не забудьте прибавить, что страдающий русский народ в своей основе хорош”.

Статью “Шансы войны и мира” нового советского эмигранта Николая Турова, опубликованную в № 1 “Народной правды” в 1948 году, автор писал так, будто это был не 1948, а 1986 год. Вот цитаты:

“Резко обострившиеся за последнее время взаимоотношения между Советским Союзом и его бывшими союзниками — явление совершенно закономерное. Оно, по существу своему, не содержит в себе никакой неожиданности. Можно с уверенностью утверждать, что это очередное обострение далеко не последнее из числа тех, свидетелями которых нам еще предстоит быть. В результате многочисленных наглядных уроков, преподанных ему Советским Союзом, Запад начинает наконец немного понимать сущность и цели сталинской агрессии. Перспектива возможного возникновения третьей мировой войны приобретает все более реальные очертания. Весь мир с понятной тревогой следит за ходом событий. Сегодня один основной вопрос волнует все человечество: неизбежно ли военное столкновение сталинского агрессивного тоталитаризма с демократиями?

На этот вопрос не хотелось бы отвечать утвердительно, и в то же время вряд ли кто-нибудь рискнет полностью исключить возможность столкновения. Причина тому — природа сталинизма, органически не подверженная, в силу своего существа, никаким положительным эволюционным воздействиям.

"Ни при какой погоде" кремлевские правители неспособны отказаться от проведения в жизнь мировой коммунистической революции. Некоторые возлагают надежды на возможность внутреннего взрыва в Советском Союзе, который повлек бы за собой уничтожение коммунистической диктатуры. Но нам, людям, знакомым с "техникой власти" в СССР, надеяться на это, к сожалению, никак не приходится.

Теория не уничтожения зла, а только ограждения себя от него уже достаточно осуждена историей. В назидание можно вспомнить хотя бы историю отношений демократий и Гитлера. Быть сильным, защитить себя от любых возможных неприятных случайностей со стороны Советского Союза, а в идеале все-таки, несмотря ни на что, найти какую-то формулу для дальнейшего совместного проживания с Коминформом — такая психология в корне порочна и содержит в себе много благоприятных факторов для дальнейшей разрушительной деятельности коммунистов. Красноречивым доказательством этому служит хотя бы создание так называемой "сферы советского влияния", превратившейся на глазах всего мира в сферу распространения коммунистической агрессии, в грандиозный концлагерь для нескольких ранее свободных европейских народов. При такой постановке вопроса все будет сводиться только к одному: на кого будет работать время?

Не останавливаясь ни перед чем. по сталинским директивам коммунисты всячески расшатывают устои западной культуры, пытаясь создать Советскому Союзу новых послушных сателлитов. Вся деятельность Коминформа и его многочисленных пятых колонн, все подчинено единой воле Кремля и единой цели — ликвидации независимого от коммунистической тирании мира.

Когда-то Сталин писал: "Цель нашей стратегии — выиграть время, разложить противника и накопить силы для перехода в наступление" (том VI, стр. 160).

Нелегко отрешаясь от традиционного понимания международного права, в течение долгого времени ошибочно рассматривая Советский Союз как государственный организм "нормального", но несколько "особого типа" и строя і: ним свои взаимоотношения в обычно принятом правовом порядке, западная демократия в своей политической деятельности допускала и допускает трудно поправимые ошибки. В основе их лежит все то же непонимание, что СССР — это вовсе не "нормальное государство", это вовсе не Россия.

Готовясь "к последнему и решительному бою", Кремль ведет энергичную политическую подготовку как внутри Советского Союза, так и вне его, за границей, правильно сознавая все

колоссальное значение этого участка в грядущем столкновении. Демократии должны стать сильнее Сталина. В этом и только в этом единственная возможность преградить путь коммунистической агрессии в ее наступлении к захвату мира".

Чтобы доказать, как широко новые советские эмигранты показали в "Народной правде" советскую тоталитарную действительность, я приведу хотя бы заглавия их статей.

Темы самые разнообразные: А.Струнский "Страх Кремля перед покушениями", К.Жихарев "ЭКУ против плана Маршалла", В.Яновский "Национальный вопрос и народы России", Н.Бондарь "Рассказ бывшего преподавателя школы НКВД", А.Юрлов "Как строятся "персональные" дачи", Бек-Булат "Берия — маршал жандармерии", С.Максимов "Цена одной прогулки Сталина", Ю.Елагин "Новогодний вечер в Кремле", В.Орлов "Красная армия и компартия", Вл. Поздняков "Как Ежов принимал НКВД", Н.Бенедиктов "Сексоты", профессор Н.Голубев "Сталинский антисемитизм", А.Волгин "Психиатры МВД", Р.Менский "Как делили колхоз", Я.Тягов "О трудовом крестьянском хозяйстве", доцент Г.Александров "Советская власть и русская интеллигенция", Быв. ЗеКа Строительство Норильска", старший лейтенант П.Снегирев "Я бежал из СССР", П.Ольховский "Польский коммунизм и Сталин", В.Денисов "Массовые акции КРУ и СПУ НКВД", Е.Андреевич "Сов. радиопропаганда", О.П. "Сто один километр", полковник И.Дмитриев "Как создается немецкая коммунистическая армия", Ив. Медник "Почему я перебежал", И.Курганов "Классы в СССР", В.Малинин "Кусок хлеба и съезд писателей", Р. Менский "Спецпереселенцы", П.Павлов "Разгром Совнаркома Украины", Ю.Матвеев "О пятых колоннах", Ю.Елагин "Музыкальная политика Кремля", А.Зотов "Пасха в тюрьме" и другие. Кроме русских эмигрантов в "Народной правде" писали эмигранты поляки: Зигмунд Ззремба, Иосиф Чапский, Иосиф Долина, балканские эмигранты: Живко Топалович, К.Шопов, Георгий Димитров, Ценко Барев и другие.

Всего выпустил я восемнадцать номеров "Народной правды" (1948–1951 гг.) Прекратился журнал в Америке из-за моего политического разрыва с Б. И. Николаевским. Разрыв же произошел из-за того, что для меня марксизм-ленинизм-сталинизм — были *единым* политическим явлением. А для Николаевского сталинизм был искажением и того и другого. Меньшевики тогда выдумали "фокус-покус" об "искажении" Сталиным большевицкой революции.

Наша борьба за народную свободу

13 марта 1949 г. в Нью-Йорке организовалась Лига борьбы за народную свободу, В нее вошли новые и старые эмигранты. Инициативная группа составилась из Р.Абрамовича, В. Бутенко, М.Вишняка, Д. Далина, Б. Двинова, К.Х. Денике, В.Днепрова, Ю.Елагина, В. Зензинова, Н.Калашникова, В.Касьяна, А.Керенского, профессора Б.Константинова, профессора И.Миролюбова, Б.Николаевского, профессора А.Спасского, профессора Г.Федотова, А.Чернова, и В.Чернова. В этот день Лига устроила в Нью-Йорке первый свой большой митинг под председательством профессора М. Карповича. На митинге выступили старые эмигранты: редактор “Социалистического вестника” Р.Абрамович, редактор “Нового журнала” профессор М. Карпович, редактор “Грядущей России” А.Керенский и председатель бюро Лиги Б.Николаевский. Из новых — секретарь Лиги В.Днепров, профессор Б.Константиновский и недавно бежавший из СССР, улетевший на самолете лейтенант-летчик А.Барсов.

Зал был переполнен настолько, что несколько сот желавших проникнуть туда не были допущены. На следующий день все крупные американские газеты — “Нью-Йорк тайме”, “Нью-Йорк геральд трибюн”, “Нью-Йорк пскгт”, “Нью-Йорк уорд телеграмм”, бостонская “Крисчен сайенс мониторе и другие — писали о рождении Лиги и о ее митинге. Сообщения появились в английских, французских, швейцарских, бельгийских газетах. На разных языках, на двадцати шести волнах из Америки была передана информация о Лиге. “Голос Америки” передал специальное сообщение на русском языке, предназначенное для Советского Союза. 27 марта — в противовес созванной в Нью-Йорке по приказу Москвы Конференции Мира, на которую специально из СССР были командированы Фадеев и Шостакович, — Лига борьбы за народную свободу устроила свой второй открытый митинг, прошедший с еще большим успехом. На этом митинге под председательством А.Ф.Керенского выступили с речами старые эмигранты: Б. И.Николаеве кий, профессор Г П.Федотов и новые — Оксана Косенкина, второй бежавший из СССР лейтенант-летчик П.А.Пирогов, инженер И.Тополев, студент Ю.Хабданк, артистка З.Сергеева и инженер И.Некрасов. Вместе с русскими ораторами на этом собрании выступили и друзья Лиги, представители иностранных демократических организаций — знаменитый чешский летчик генерал Ян Амброш, генсек Крестьянского Интернационала и председатель болгарской

крестьянской партии Георгий Димитров, член хорватской крестьянской партии Богдан Радица, представитель армянской партии Дашнакцутюн Вартан Агаронян и представитель польской организации “Свободная Польша” Шумский.

Еще в мае 1948 года в своем первом воззвании группа “Народного движения” призывала к созданию широкого российского демократического фронта. Для борьбы со сталинизмом не на словах, а на деле была необходима широкая демократическая организация с авторитетным представительством, к работе которой прислушивалась бы как российская эмиграция, так и иностранное общественное мнение, а самое главное — наши братья за железным занавесом.

У Лиги были все возможности к тому, чтобы развернуть работу большой политической ответственности перед нашей страной. Международное положение было крайне напряженным. Необходимо было и нам организоваться, создать политический центр борьбы российской демократии. Центр был необходим здесь, в эмиграции, как база нашей борьбы. Но он еще более был необходим и для наших братьев по ту сторону рубежа, за железным занавесом, чтобы *там* знали, что за границей *существует* организованная борьба за их свободу. Чтобы там знали наш *адрес*.

Всякий новый эмигрант хорошо знает настроение подсоветских людей и всегда подтвердит (и подтверждает!), какое громадное значение имеют заграничные радиопередачи, доносящие *туда* сведения о борьбе российских антикоммунистических организаций.

Из бюллетеня Лиги мы узнали, что параллельно с выступлением Лиги в Америке организовались общества “Друзей русского народа” и “Друзей русской свободы”. Создание таких обществ было необходимо и в других странах, это — наша опора в иностранном общественном мнении, в противовес существующим везде пятоколонным “Обществам друзей Советского Союза”.

Одновременно с двумя митинговыми выступлениями Лига начала выпускать и свой бюллетень “Грядущая Россия” под редакцией А.Ф.Керенского. В первых трех номерах были напечатаны статьи Днепрова, Спасского, Николаевского, Миролюбова, Карповича, лейтенанта Пирогова, Абрамовича, Федотова, Бородина, Далина, Зензинова, Елагина. Как эти статьи, так и опубликованные “Основные положения” ясно определяли программу и задачи Лиги. Кого объединяет Лига? “Основные положения” говорили: “Мы зовем ВСЮ свободолюбивую эмиграцию поддержать почин Лиги и вместе с ней развить общую деятельность для непримиримой борьбы с коммунистической

тоталитарной диктатурой и для создания свободной демократической России". Конечно, "Основные положения" Лиги не явились исчерпывающей политической программой, да таковой у Лиги и быть не могло, ибо это была не "политическая партия", а широкий союз демократов, куда входили люди разнообразных оттенков политической мысли, единых в своей приверженности народному делу, народной правде, демократизму. "Основные положения" Лиги были только наметкой общедемократической программы будущего. В своей статье о Лиге я писал:

"Если Лиге дано стать зачинателем широкого объединения демократических сил за рубежом, то для правильного и успешного ведения антикоммунистической борьбы нам кажется необходимым, чтобы в этот центр на совершенно равных правах вошли представители зарубежных демократических организаций всех народов России. В этом случае Лига станет многонациональным центром, правильно представив лицо нашей родины. Не будем закрывать глаза, что национальный вопрос сейчас вызывает самые острые распри в эмиграции, парализуя возможность общей работы и суля в будущем многие осложнения. Судя по "Основным положениям" и статьям секретаря Лиги В.Днепрова, развивающим эти положения по национальному вопросу, Лига возьмет на себя инициативу широкого сговора демократов всех национальностей нашей страны. Представители старшего поколения старой эмиграции в этом вопросе должны прислушаться к голосу молодой советской эмиграции. На основании длительного советского опыта эта эмиграция неожиданно для многих принесла новое понимание национального вопроса в России и новое национальное самосознание".

В передовой статье первого бюллетеня редактор отмечал: "Новые межнациональные отношения внутри Союза глубоко вошли в сознание всех народов страны, в том числе и в сознание нового поколения русского народа. История вспять не идет!" В "Основных положениях" мы читаем: "Лига полагает, что строем, наиболее соответствующим сегодняшней современной обстановке, может быть только демократическая республиканская федерация народов России. Только Союз народов, созданный свободным соглашением…"

Вместе с новыми эмигрантами в Лигу вошли старые известные политические деятели российской демократии. Но, поскольку можно было судить и по речам выступавших на митингах, и по статьям в бюллетене, ударение и весь пафос Лиги ставился на силы новой, советской эмиграции. В своей

прекрасной статье “Две иль одна”, в первом номере бюллетеня профессор Г.П.Федотов говорил об этом так: “Смена пришла неожиданно, с той стороны, откуда мы ее не чаяли. Россия двинулась на нас не отдельными беглецами, но сплошной массой: она затопляет нас, оглушает своими криками, будит, зовет к борьбе. Какое счастье! Мы не одни. Россия пришла, мы с ней. Она говорит на наших митингах, издает политические газеты, свидетельствует потрясающим голосом на процессе В.Кравченко. Железный занавес прорван. А поток людей, "выбравших свободу", не иссякает. Бегут по земле, летят по воздуху. Клянутся в ненависти к тиранам, готовятся к борьбе”.

Чтобы стать настоящей силой, которая могла бы перебросить борьбу туда, Лига должна превратиться в массовую деятельную организацию, а стать таковой это значит влить в Лигу все демократические силы новой эмиграции. На втором митинге Лиги, 27 марта, обращаясь к летчику А.П.Барсову, А.Ф.Керенский сказал: “Мы, старики, теперь можем быть спокойны. Программа Лиги — не наша программа. Ее продиктовали нам люди из России”. Эти слова звучат как передача знамени борьбы от старой эмиграции к новой.

“Мы не знаем, как разрядится сегодняшнее напряжение международного положения. Но независимо от этого, во имя освобождения нашего народа, мы должны готовить борьбу с сталинизмом не на жизнь, а на смерть. А для этого нужно прежде всего организационное единение демократических сил. В рождении Лиги борьбы за народную свободу, мы хотим видеть краеугольный камень мощной демократической организации”.

Речь сенатора Мак-Магона

Мне хотелось бы теперь привести речь американского сенатора Мак-Магона, произнесенную им 20 марта 1951 г. перед членами американской организации “Друзья борцов за свободу России”. Его выступление подтверждало, что среди крупных политических деятелей Запада были люди, прекрасно понимавшие советскую действительность и не смешивающие русский народ с кремлевской диктатурой.

“Я глубоко благодарен за возможность выступить перед организацией "Друзья борцов за свободу России". В борьбе, которую американский народ ведет за дело мира, создание такой организации американскими гражданами говорит об их горячей преданности идеалам мира и свободы. Американцы все сильнее убеждаются в той основной истине, что народы Советского Союза и их кремлевские диктаторы разделены глубокой пропастью. И мы понимаем, что самым мощным оружием в наших руках является чувство дружбы, объединяющее американский народ и народы Советского Союза, которых мы отнюдь не смешиваем с подавившей эти народы властью. Мы знаем, что так же, как и мы, народы Советского Союза не хотят войны.

Простые русские люди стремятся к тому же, к чему стремятся и все народы мира. Они хотят обеспечить себе достойный уровень жизни и те свободы, без которых нет достоинства человеческой личности. Русские не хотят ни убивать, ни быть убитыми. Они хотят сами жить и дать жить другим. И не русский народ, а сталинский режим коммунистического империализма препятствует установлению всеобщего и прочного мира.

Если по эту сторону железного занавеса есть еще люди, которые сомневаются в том, что подавляющее боль шинство подвластных коммунизму народов наши друзья и союзники, то пусть эти люди обратятся к фактам: четырнадцать миллионов мужчин и женщин в лагерях рабского труда Советской Империи являются живыми свидетелями той борьбы за свободу и того духа сопротивления, которые продолжают жить в народных массах Советского Союза даже под железной пятой тоталитарной диктатуры.

Уничтожение свободы слова и свободы печати, лишение русских людей свободы поездок за границу — свободы, которая предоставляется только небольшой кучке тщательно проверенных высших чиновников и, наконец, герметическое закрытие советских границ для иностранцев — все это служит неопровержимым доказательством вечного страха, который

преследует кремлевских диктаторов.

Если бы Сталин знал, что у него есть поддержка народа, он не изолировал бы этот народ от внешнего мира и не лишил бы его возможности соприкосновения с западной цивилизацией. Эта слабость Сталина должна стать источником нашей силы. Мы должны и мы можем найти пути и средства говорить прямо с народами России. Мы должны сказать им, что они не одиноки, что мы их не забыли. Как наши предки, основавшие Свободные Соединенные Штаты Америки, мы должны высоко поднять факел свободы, чтобы его свет, через все преграды, проник за пределы железного занавеса и дал бы надежду миллионам людей, порабощенных и заточенных под эмблемой серпа и молота.

Соединенные Штаты всегда стояли за свободу и мир. Это сознание мы должны перебросить в Россию, это должны знать русские люди, страдающие в Советском Союзе. Народы Советского Союза страстно желают конца режима, который ссылает миллионы людей в лагеря рабского труда, — режима, который лишает крестьян их собственной земли, преследует религию, не допускает существования свободных профсоюзов, душит науку и искусство, не допускает общения народов СССР со свободными народами мира и сохраняет страшную шпионскую систему и огромную полицейскую армию. Каждый день из-за железного занавеса к нам приходят новые доказательства страстного стремления русского народа к свободе.

За последние годы мы узнали от многих тысяч советских граждан, бежавших на Запад, что это стремление к свободе живо не только среди массы русского народа, среди офицеров и солдат советской армии, но даже и в самой коммунистической партии. Продолжающиеся после войны чистки и яростная пропаганда против западных, и в частности американских, влияний являются лишним доказательством того, как *боятся* советские правители глубоко укоренившегося в русских людях стремления к свободе и дружественному общению с другими народами.

Наша задача, в их интересах и в наших собственных, дать понять русским людям, что их стремление к свободе и наша борьба за мир — это одно и то же. Русские должны знать, и мы обязаны сделать все для того, чтобы они это знали, что *основным препятствием на пути к всеобщему миру и всеобщему благосостоянию стоят нынешние советские правители, которые угнетают народы* СССР *и угрожают нам.*

Мы убеждены, что правительство, которое представляло бы подлинные интересы русского народа, заняло бы руководящее место в осуществлении общей задачи построения свободного, процветающего мира. Это правительство приветствовало бы

установление международного контроля над атомной энергией, оно согласилось бы на всеобщее разоружение и сотрудничало бы в осуществлении экономических, социальных и гуманитарных задач, стоящих перед Организацией Объединенных Наций. Мы убеждены в том, — и русские люди должны это знать, — что правительство, которое отражало бы свободную волю народов СССР, жило бы в мире со своими соседями и со всеми свободными народами мира.

Русские еще помнят действенную американскую помощь во время голода 1921 года. Они вспоминают американскую помощь продовольствием, одеждой и медикаментами во время Второй мировой войны. Многие тысячи советских офицеров и солдат, которые в последние дни этой войны встретились с американской армией, сохраняют живую память о подлинной дружбе и демократическом духе, которые они встретили в американских союзниках.

Советские правители не могут вести войны без поддержки русского народа. Вот почему настоящее доказательство нашей дружбы к русскому народу является оружием, которого Сталин боится больше всего! Для того, чтобы это оружие служило делу мира, мы должны на деле показать русским, что мы преисполнены решимости помочь им вновь стать на путь, ведущий к обретению подлинной свободы.

Эта помощь русским, ищущим свободы, уже оказывается им различными способами. К этой помощи следует причислить и усилия организации “Друзей борцов за свободу России”. Конкретная помощь, оказываемая этой организацией советским гражданам, которые, рискуя своей жизнью, бегут на Запад, является не только гуманитарным делом. Она вдохновляет — я уверен — и других русских искать новые пути борьбы за свободу. На Западе живут многочисленные группы бывших советских граждан, которые заботятся о том, чтобы их газеты и журналы попадали в руки советских солдат в Германии и Австрии. Они мужественно содействуют тому, чтобы рухнул железный занавес!

Со своей стороны, наше правительство продолжает стремиться к расширению “Голоса Америки” и к тому, чтобы перед его микрофоном выступали *новые борцы* за русскую свободу!

В огромной задаче изменить ход событий и не допустить катастрофы атомной войны основное бремя должно пасть на американский народ. Русский народ должен слышать голоса не только своих единомышленников, но и голос американского правительства и также голос американского народа. Вот почему, когда я внес в Сенат резолюцию о декларации американской

дружбы к русскому народу, я предложил, чтоб это стало известно в каждом американском городе и в каждом американском местечке. Я надеюсь, что под этим подпишется каждый американец. Мы должны дать возможность тем американцам, которые участвовали в войне, обратиться к их бывшим союзникам. Мы должны дать возможность участникам американского рабочего движения регулярно обращаться к советским рабочим. Мы должны дать возможность американским матерям сказать русским женщинам об их общем желании мира. Мы должны дать знать русским, что ВСЕ слои населения Соединенных Штатов поддерживают их законные стремления к свободе и социальной справедливости. Мы должны заверить русских в том, что американский народ активно поддерживает их стремление к свободе! Тем самым мы укрепим русских людей в их сопротивлении агрессивной и пагубной политике нынешних правителей России.

История учит, что, в конечном счете, сила бессмертных идеалов побеждает зло, угнетение и войну. Эти бессмертные идеалы — идеал человеческой свободы и христианский идеал всечеловеческого братства. Эти идеалы, за которые борется и русский народ, сильнее всех орудий пыток, созданных для их подавления. Несмотря на тридцатилетнее владычество, кремлевские диктаторы не смогли подавить в русских людях эти идеалы свободы и христианской веры. Если во имя их американский народ протянет руку дружбы народам России, мы тем самым совместными усилиями поднимем железный занавес и обеспечим прочный мир.”

“Ольга Андреевна, вы — сильный человек”

Мой окончательный разрыв с Николаевским произошел необычно и для меня совершенно неожиданно. У нас было заседание Лиги. Заседания всегда устраивались на нашей квартире 506 West 113 Street. Как председатель Лиги, Николаевский открыл собрание, но вместо текущих дел начал с личных нападок на меня. Я был у него как бревно в глазу из-за неприятия его марксизма. Нападки могли быть всякие, но то, что начал говорить Николаевский, для меня было просто невероятно. Он начал на меня лгать и клеветать, чего я никогда от него не ожидал. Он стал говорить о том, что куда бы я ни вошел, я разлагаю всякую организацию, что я испортил его личные дружеские отношения с Мельгуновым. Я закричал с места:

— Борис Иванович, ведь вы же говорите неправду! Ведь черновик письма об окончательном разрыве с Мельгуновым писали вы! Я только литературно его отредактировал.

На что Борис Иванович чрезвычайно раздраженно бросил:

— Это неправда! Было так, как я говорю!

Я был крайне поражен ложью Бориса Ивановича как методом борьбы со мной. Но Борис Иванович продолжал:

— Из-за Гуля у меня порвались отношения с Берлиным.

Я опять с места крикнул:

Борис Иванович, побойтесь Бога, вы сами порвали отношения с Берлиным, потому что в чем-то ему не доверялиНеправда, было так, как я говорю! — ответил Николаевский.

В этот момент из кухни в комнату заседания вошла Олечка, она всегда во время заседаний была в кухне и приносила оттуда чай, печенье, варенье. По лицу Олечки я увидел, что она взволнована до крайности. И вдруг Олечка чрезвычайно энергично проговорила, обращаясь к Борису Ивановичу:

— Борис Иванович, в моем доме вы бесстыдно лжете и клевещете на моего мужа, я этого не допущу! Будьте любезны немедленно покинуть мою квартиру!

Произошло замешательство. Я невольно бросился к Олечке, но она меня отстранила. Одно мгновение Борис Иванович сидел без движенья, как бы не зная, что ему делать. Потом встал, сложил в портфель свои бумаги и молча ушел из квартиры. Это и был окончательный разрыв личных и общественных отношений с Николаевским. Вскоре Лига прекратила свое существование. Интересно отметить, что когда Николаевский на улице встречал меня, он мне не кланялся, но когда встречал Олечку — кланялся ей.

В разрыве с Николаевским меня беспокоило одно. Я думал, что это отразится и на наших добрых отношениях с И.Г.Церетели. Но к моему удивлению, этого не произошло. Ираклий Георгиевич, как всегда, звонил нам по утрам, и отношения продолжали оставаться такими же дружескими.

Когда мы собрались летом ехать в отпуск в Питерсхем, к Е.Л.Хапгуд, И.Г. попросил нас устроить и его в Питерсхеме. Олечка сняла ему комнату прямо напротив того дома Е.Л.Хапгуд, который мы у нее снимали. Дом был в два этажа. Места было много, и Олечка стала уговаривать И.Г. переехать к нам. Она говорила ему и о том, что ему не к чему самому готовить, стелить постель и прочее. Все это будет делать она без всякого труда, Ираклий Георгиевич долго сопротивлялся, но напор Олечки был так силен, что в конце концов он согласился и переехал к нам на второй этаж. Жили мы очень дружно и ежедневно к пяти часам ходили к Е.Л.Хапгуд пить чай.

Я в это время служил на радиостанции “Свобода” и приезжал только в пятницу. Бот приезжаю я в одну из пятниц, Олечка, как всегда, ждет меня у остановки автобуса и по дороге домой рассказывает:

Ты знаешь, на днях Ираклий Георгиевич за завтраком вдруг говорит мне: “Ольга Андреевна, расскажите, пожалуйста, как у вас произошла ссора с Николаевским”. Я ему подробно рассказала, он довольно долго молчал, а потом вдруг говорит: Ольга Андреевна, вы — сильный человек!

“Новый журнал”

“Новый журнал” существует в Нью-Йорке уже сорок пять лет. Это небывалый срок для эмигрантского “толстого” журнала. Но это естественно, ибо и созданная в былой России тоталитарная империя — явление в новой истории небывалое.

“Новый журнал” расходится в тридцати шести странах, хоть тираж его и невелик. Я редактирую журнал тридцать лет. Как же создался этот русский свободный журнал? Когда Гитлер, поддержанный тогда Сталиным (“дружба, спаянная кровью”), занял свободную Францию, парижский русский толстый журнал “Современные записки” прекратился и многие его сотрудники приплыли новыми эмигрантами в Соединенные Штаты.

Здесь у постоянных сотрудников “Современных записок” — у М.О. Цетлина и М.А. Алданова возникла мысль о продолжении издания русского свободного толстого журнала, то есть о продолжении “Современных записок”.

Как рассказывает Алданов, эта мысль впервые возникла у него и у Цетлина еще в 1940 году во Франции, в Грассе, в беседе с Иваном Алексеевичем Буниным, перед отъездом Алда-нова и Цетлина в Америку. Совсем уже перед погрузкой на пароход Алданов писал Бунину из Марселя: “В Нью-Йорке я решил первым делом заняться поиском денег для созданья журнала”. А в 1941 году, уже из Нью-Йорка, Алданов пишет Бунину: “Толстый журнал будет почти наверное… можно будет выпустить книги две, а потом будет видно…”

Никаких субсидий и дотаций со стороны не было. Конечно, тогда Цетлин и Алданов не могли себе представить, что их “Новый журнал” просуществует сорок пять лет и будет издано не “две книги”, а вот уже сто шестьдесят две. Если к этим ста шестидесяти двум книгам “Нового журнала” прибавить семьдесят книг “Современных записок”, ибо “Новый журнал” явился их продолжением, то надо признать, что двести тридцать книг свободного русского толстого журнала, изданного русскими эмигрантами, — это серьезный вклад в русскую культуру.

В редакционной статье первой книги “Нового журнала” задачи его определялись так: “Наше издание, начинающееся в небывалое катастрофическое время, — единственный русский толстый журнал во всем мире вне пределов Советского Союза. Это увеличивает нашу ответственность и возлагает на нас обязанность, которой не имели прежние журналы: мы считаем своим долгом открыть страницы “Нового журнала” писателям разных направлений — разумеется, в известных пределах: люди,

сочувствующие национал-социалистам и большевикам, у нас писать не могут".

Так было сказано сорок пять лет тому назад, так остается и теперь: люди, сочувствующие идеям, убивающим свободное творчество, не могут быть сотрудниками "Нового журнала". И в то же время я хочу подчеркнуть, что на протяжении всех сорок пять лет редакция "Нового журнала" давала и дает возможность высказаться всем, кому дорога свободная русская культура. Мы исповедуем принцип самой широкой терпимости ко всякому инакомыслию — политическому, мировоззренческому, к разным литературным направлениями, вкусам, школам, даже модам. Исключались всегда и исключаются поныне только сторонники тоталитарных идеологий, то есть сторонники массовой антикультуры.

Шестьдесят девять лет тому назад государственный секретарь в администрации президента Вудро Вильсона Колби так писал американскому послу в Лондоне Дэвису: "Правительство США разделяет *отвращение цивилизованного мира к тирании, которая ныне господствует в России…"* Вот в течение шестьдесяти девяти лет мы и сохраняем это отвращение, и оно помогает нам, порой в очень трудных условиях, продолжать издание нашего журнала, посвященного русской свободе. К сожалению, в наши дни на Западе многие либералы-демократы это "отвращение" утеряли. Кстати, один из бывших редакторов "Нового журнала", М.А. Алданов, автор многих замечательных романов и политических эссе, очень хорошо, по-моему, говорил о взаимоотношениях Свободного Мира и Советского Союза, используя название знаменитой драмы Шиллера: "Отношения между Европой и Советской Россией — трагикомедия коварства и любви". А о капиталистическом строе Алданов добавлял: "Поистине должна быть какая-то внутренняя сила в капиталистическом мире, если его еще не погубила граничащая с чудесным глупость нынешних его руководителей".

Но основатели "Нового журнала" — Цетлин и Алданов — недолго были его редакторами. В 1945 году смерть прервала работу М.О. Цетлина над одиннадцатой книгой журнала. До последней минуты, уже тяжело больной, в постели, Цетлин все еще редактировал рукописи, читал корректуру. И один из ближайших его друзей говорил: "Если бы М.О. отказался от этой своей работы, он, вероятно, умер бы раньше: только эта работа его и поддерживала".

Говоря о первом периоде журнала, я хочу (и я должен) остановиться на его основателях. Из всех редакторов "НЖ" я не знал лично только М.О.Цетлина. Но его облик я представляю себе

ясно по рассказам близких ему людей и по тем воспоминаниям, которые о нем опубликованы. М.О.Цетлин родился в 1882 году в Москве, в богатой семье. Тихий, болезненный человек, чьи интересы смолоду были — поэзия, музыка, живопись. Правда, в 1905 году он примкнул к партии эсеров, но это была некая “дань времени”; партийцем, политическим человеком он никогда не был и не стал. С 1906 года Цетлин долго жил за границей. Он был прекрасно образован, владел всеми главными европейскими языками, по своему складу был типично русским интеллигентом дореволюционной формации. Некоторые писатели, знавшие Цетлина, отмечают в нем некую старомодность вкусов. Это в каком-то смысле должно быть верно. Во всяком случае, кораблю современности он предпочитал корабль вечности. И был не из тех, кто при всяком удобном и даже при неудобном случае “задрав штаны бежит за комсомолом”, будь то “комсомол” московский, или английские битлс, или поп-арт, или оп-арт. В одной своей статье “О критике” Цетлин ясно выражает свое литературное кредо. Говоря о критиках-формалистах (вернее, о крайних формалистах, которых я бы назвал “механистами”), Цетлин пишет: “Для критиков-формалистов не существует в произведениях вопроса "что", а только "как"; для них единственный вопрос — *как это сделано?* Это очень любопытно, но такой вопрос задает себе часто ребенок при виде игрушки и для удовлетворения любопытства ломает игрушку и не употребляет ее для игры.

Критики-формалисты так и думают: игрушки существуют не для игры, но для того, чтобы быть сломанными. Критики-формалисты не только отрекаются от своей личности, но и уничтожают личность автора. Для них не существует биографии. Для них литература — безличная эволюция литературных приемов, отдельные группы, которые носят случайные псевдонимы — например, Лермонтов или Гоголь”. Цетлин был сторонником философской критики (Влад. Соловьев, Розанов, Шестов, Мережковский). “Здесь, — пишет Цетлин, — критик является представителем человеческого в самом общем и углубленном его выражении. И в самых высоких своих образцах критика философская переходит в критику религиозную”.

За годы своей жизни Цетлин выпустил пять сборников стихов. Поэзию он чувствовал тонко, но приметным поэтом не стал. Книги его стихов забыты, хотя в них бывали подлинные строфы. Так, в одном из стихотворений, несколько напоминающем русскую латынь Валерия Брюсова, Цетлин так говорит о современности, в своем сознании связывая ее с падением античного мира:

Он с обреченными связал свою судьбу.
Он близких к гибели и слабых на борьбу
Звал за бессильные и дряхлые законы.
Но с триумвирами — и рок, и легионы,
Но императорских победен взлет орлов,
А у Сената что? Запас красивых слов!

Это стихотворение называется “Цицерон”. Оно довольно “актуально”, если в “Цицероне” видеть русскую демократию во главе с А.Ф.Керенским, полную “красивых слов”. А в триумвирах и легионах — Ленина, Троцкого, Сталина с победоносным, все захлестывающим охлосом. В Париже в журнале “Современные записки” Цетлин был бессменным редактором отдела поэзии. И эту работу выполнял прекрасно. Но главное литературное наследство, оставленное им, была не его поэзия, а две книги его прозы — “Декабристы” и “Пятеро и другие”. Первая посвящена теме декабрьского восстания 1825 года. А “Пятеро и другие” — знаменитой “могучей кучке” русских композиторов и людей, их окружавших — Мусоргский, Балакирев, Римский-Корсаков, Бородин, Стасов, Глинка, Даргомыжский, Серов, Кюи. Алданов назвал обе книги Цетлина — “высокими образцами историко-биографической литературы”. Я не думаю, чтобы в этой оценке было чрезмерное дружеское преувеличение. К обеим этим книгам Цетлина русский читатель будет не раз возвращаться. А если б они были изданы в свободной России, то их успех и у широкого читателя, и у знатоков эпохи, мне кажется, был бы обеспечен.

Я хочу думать, что эти беглые отрывки о Цетлине дадут все-таки какой-то литературный облик основателя и первого редактора “Нового журнала”.

Теперь о М.А.Алданове. Алданов родился в 1886 году в богатой семье в Киеве. Получил хорошее образование: окончил два факультета Петербургского университета: физико-математический и юридический и парижскую Ecol des Sciences Sociales. Много путешествовал по Европе, бывал в Азии, в Африке, в Америке. Начал писать еще в России, до революции выпустил три книги: “Ошибка Толстого”, “Армагеддон” и “Толстой и Роллан”. Но только в эмиграции литературная работа Алданова развернулась широко. За рубежом он написал около тридцати книг. Из них двадцать четыре были переведены на иностранные языки, переводы были даже на бенгальский (чему Алданов шутливо радовался!). Многие книги Алданова, особенное его историческая тетралогия (“Св. Елена, маленький остров”, “Девятое Термидора”, “Чертов мост”, “Заговор”) имели очень большой успех как у русских, так и у иностранных читателей. Кроме исторических романов и романов из современной жизни,

Алданов писал рассказы, выпустил философскую книгу “Ульмская ночь” и четыре книги очерков, в которых его блестящие политические портреты разных государственных деятелей обнаруживают необычайную эрудицию, осторумие и меткость характеристик.

Н.И.Ульянов в статье “Алданов-эссеист” дает некоторые образцы такой писательской меткости. Приведу некоторые из них. О Леоне Блюме: “Блюм в социалистическом лагере — профессионал любезности. Жаль, что он улыбается преимущественно левой стороной”. Еще о Блюме: “Программа Леона Блюма очень хороша. Осуществить ее невозможно”. О крайне левых партиях: “Левому крылу нередко надо бросать кость — быть может, с искренним пожеланием, чтобы оно этой костью подавилось”. О графе Эстергази, виновнике дела Дрейфуса: Эстергази заявлял: “У меня в жизни было двадцать две дуэли: две из-за собак и ни одной из-за женщин”.

Некоторые критики считают, что политические эссе — лучшее в творчестве Алданова. Другие, напротив, высоко ставят его исторические романы. О вкусах, как известно, не спорят. Но бесспорно одно, что М.А.Алданов был своеобразным и выдающимся писателем и человеком. И живи он в свободной России, его книги расходились бы миллионными тиражами.

По характеру Алданов был сродни Цетлину. Оба были мягки, ко всем благожелательны, очень терпимы к чужому мнению. По своему мировоззрению Алданов был скептик и пессимист. Но не питая никаких иллюзий в отношении ближнего, он в общении решительно со всеми был изысканно вежлив и неизменно доброжелателен. Карпович говорил, что в основе благожелательности Алданова лежало прежде всего то, что он был человеком культуры. Это верно. Недаром Бунин называл Алданова “последним джентльменом русской эмиграции”. Впрочем, эта роль была не очень трудна.

Алданов отошел от редакторства после выхода четвертой книги. Вскоре он уехал в Европу. Умер Алданов в 1957 году в Ницце.

В 1945 году, с одиннадцатой книги руководство журналом перешло к Михаилу Карповичу, профессору Гарвардского университета. Я знал М.М. долго и хорошо, работая вместе с ним с 1952 года и до его смерти в 1959 году. Но о нем я скажу позже. А сейчас, я думаю, надо подвести некий итог первому периоду “Нового журнала”: с основания и до конца мировой войны.

К недостаткам этого периода, по-моему, надо отнести переполнение первых книг “Нового журнала” политически злободневными статьями. Конечно, была война, и печатание

таких статей было понятно. Даже сейчас некая ценность их остается, как отображение тогдашних военных и политических событий и оценка их демократическим сектором русской эмиграции. Но для журнала, каким он был задуман, это все-таки был недостаток, что, кстати, сознавали и сами редактора. В первой книге “НЖ”, в редакционной статье, говорилось: “Быть может, читатели простят нам, что во втором отделе настоящей книги политика, "рок наших дней", частью вытесняет другое. "Современные записки", "Русские записки" и те старые русские журналы, традициям которых мы хотим следовать, издавались в мирное время и могли, естественно, уделять больше места общекультурным, философским, научным вопросам. Мы, однако, надеемся, что нам удастся в дальнейшем исправить этот большой недостаток первой книги”. Свои извинения редактора приносили читателями и за некоторую политическую одномастность своих сотрудников. “В посильном нам масштабе мы хотим осуществлять идею единения в подборе сотрудников "НЖ". Но, по случайности, в публицистическом отделе первой книги преобладают люди левого лагеря. Во второй книге будут статьи публицистов иного направления”, — так писала редакция.

Другим надостатком начальных книг журнала был плохой стихотворный отдел. Сейчас всякий человек, более или менее чувствующий поэзию, в комплекте “НЖ” увидит, что первые книги наряду с ценными стихами часто содержат не очень интересную поэзию, говорящую только о необычайной терпимости его редакторов. Конечно, и этот недостаток отчасти обусловливался отрезанностью от Европы, но и мягкость М.О. Цетлина была тоже виною. По своей деликатности Цетлин не мог отказать многим, писавшим стихи без всякого к тому основания. Но, в конце концов, все это мелкие недостатки по сравнению с тем замечательным и ценным материалом, который был опубликован в “НЖ” за этот период. У меня нет возможности перечислять *вес* ценное. Я отмечу только некоторые произведения, чтобы показать значимость публикаций “НЖ” *с* 1942-го по 1945 год.

За это время в отделе художественной прозы были напечатаны прекрасные рассказы Ив. Бунина — “Речной трактир”, “Пароход Саратов”, “Таня”, “Генрих”, “Дубки”, “Натали” и другие; роман М.Алданова “Истоки”, вещи Б.Зайцева, В.Набокова, М.Осоргина, В.Яновского. Но что мне хотелось бы особенно выделить, так это изумительные записки Михаила Чехова, известного актера МХТ — “Жизнь и встречи”. “Жизнь и встречи” Михаила Чехова, я думаю, одна из самых примечательных публикаций “Нового журнала” за “военный период”. Очень

хороши и воспоминания известного художника М.В.Добужинского. Среди других ценных воспоминаний и статей отмечу воспоминания бывшего царского министра графа П.Н.Игнатьева, известного композитора А.Т.Гречанинова, знаменитого химика профессора В.Н.Ипатьева, статьи профессора Бабкина об академике И.П.Павлове, воспоминания бывшего советского дипломата А.Г.Бармина, бывшего редактора газет “Речь” и “Руль” И.В.Гессена, статьи музыковеда И.Яссера. В публицистике за этот период было тоже много ценных статей — известного историка П.Н.Милюкова, известных социологов Н.С.Тимашева и П.А.Сорокина, философа и публициста Г.П.Федотова, профессора Г.Гин-са, известного экономиста В.С.Войтинского, А.Ф.Керенского, А.А.Гольденвейзера, В.М.Чернова, М.В.Вишняка, Б.И.Николаевского, Г.Я.Аронсона, Д.Ю.Далина, В.Александровой, Ю.ПДенике, Д.Н.Шуба, С.М.Шварца и других.

Второй период “Нового журнала” начался со времени окончания войны, когда редакция могла уже связаться с русскими писателями, оставшимися во время войны в Европе. Это началось примерно с книги четырнадцатой. Тогда стал печататься роман Б.Зайцева “Путешествие Глеба”, отрывки из его книги “Жуковский”, “Плачужная канава” А.Ремизова, проза Н.Берберовой, Вл. Варшавского, Г.Газданова, Р.Гуля, ДЗурова, М.Иванникова, Ю.Марголина, И.Одоевцевой. В это же время впервые в “НЖ” стали сотрудничать советские послевоенные эмигранты. В отделе прозы — повесть о концлагере Г.Андреева “Трудные дороги”, повесть П.Ершова “Ни-нель”, рассказы Н.Ульянова и других. В отделе поэзии, наряду со стихами И.Бунина, Ю.Балтрушайтиса, М.Волошина, З.Гиппиус, М.Цветаевой, Ф.Сологуба, Н.Клюева, Георгия Иванова, И.Северянина, Вл. Корвин-Пиотровского, И.Елагина, В.Набокова, Странника, Ю.Одарченко, К.Померанцева, И.Одоевцевой, Вл. Смоленского, А.Величковского, Лидии Алексеевой, Е.Таубер, Г.Евангулова, Ю.Терапиано, Г.Кузнецовой, Н.Туроверова, Н.Оцупа, Вл. Злобина, Я.Бергера, И.Чинно-ва, стали печататься стихи — Ольги Анстей, Глеба Глинки, О.Ильинского, Д.Кленовского, В.Маркова, Н.Моршена и других. По-моему, особенно ценны — за этот период — были публикации в отделе воспоминаний и документов: Зинаида Гиппиус о Мережковском, Федор Степун о предреволюционной России, Юрий Анненков о Блоке, К.Брешковская о революции 1917 года, Н.Валентинов — “Встречи с Андреем Белым”, Н.Евреинов о театре “Кривое зеркало”, известный пушкинист Модест Гофман о предреволюционном литературном Петербурге, А.Гумилева —

“Н.С.Гумилев”. Были опубликованы письма М.Горького к В.Ходасевичу и к Л.Андрееву, студенческие воспоминания П.Н.Милюкова, размышления В.А.Маклакова о I Государственной Думе; личные воспоминания известного итальянского слависта Этторе Ло Гат-то о поэте Николае Клюеве; воспоминания члена Временного правительства И.Г.Церетели о революции 1917 года, протопресвитера о. Георгия Шавельского — о Первой мировой войне, Б.Погореловой — “Валерий Брюсов и его окружение”. Особенно хочу отметить превосходно написанные воспоминания известной публицистки Е.Д.Кусковой — о детстве, юности, о предреволюционном времени. К сожалению, эти воспоминания были прерваны смертью их автора. Я очень многого, конечно, не отмечаю. Скажу только, что в общий поток мемуарной литературы влились тогда интереснейшие работы советских послевоенных эмигрантов: М.Корякова — очерки о войне; бывшего беспризорника Н.Воинова — “Беспризорные”; художника Мориса Шаблэ — “Дом предварительного заключения”, о терроре времен ежовщины; Е.Богдановича (профессора Зоргенфрея) “Я гражданин Ленинграда” — о блокаде Ленинграда во время войны; воспоминания Л.Дадиной “М.Волошин в Коктебеле”; В.Позднякова о советских партизанах — “Республика Зуева”; Т.Кошеновой — о буднях советской женщины; подполковника Ершова — о работе НКВД во время войны; Н.Витова — рассказ латышского крестьянина, бежавшего из СССР; Вл. Орлова — “Из записок гвардейского политработника”; Т.Фесенко — о Киеве времен войны; Ю.Елагина — театральные воспоминания, профессора К.Штеппы — о массовом терроре ежовщины. Были напечатаны письма Марины Цветаевой к Г.Федотову и Р.Гулю и письма Зинаиды Гиппиус и В.Ходасевича к М.Вишняку.

За этот второй период “Новым журналом” было опубликовано много ценного и в отделе “Политика и культура”. Отмечу статьи известных религиозных мыслителей — Н.А.Бердяева, протоиерея о. В.Зеньковского, профессор Н.О. Лосского, Г.П.Федотова “Россия и свобода”, “Судьба империи” и другие, С.Л.Франка “Ересь утопизма”, Л.Шестова “Лютер и церковь”. Отмечу и работы известных славистов Д.И.Чижевского “Баадер и Россия” и Р.В.Плетнева “Федоров и Достоевский. Из истории русского утопизма”; интересная работа знатока русского масонства П.А. Бурышкина “Филипп — предшественник Распутина”; статьи Н. Валентинова о Ленине под общим заглавием “Ранний Ленин”; статья В.А. Маклакова “Еретические мысли”; интересная большая работа известного американского ученого и дипломата Джорджа Кеннана “Америка и русское будущее”. Много статей опубликовал за этот период профессор Н.С.Тимашев — “Пути

послевоенной России”, “Окаменение коммунистического строя”, “Очернение Сталина” и другие.

Профессор М.М.Карпович давал в каждой книге всегда интересную редакционную статью на темы истории, политики, литературы под общим заглавием “Комментарии”. Было много ценных публикаций на политические и экономические темы — А.Ф.Керенского, Д.Ю.Далина, Ю.П.Денике, Е.Д.Кусковой, М.В.Вишняка, профессора Д.Н.Иванцова, Н.И.Ульянова, А.В.Тырковой и других. Одним словом, на мой взгляд, за второй период “НЖ” опубликовал множество литературных произведений, мемуаров, документов и статей, значение и ценность которых несомненны и которые останутся вкладом в русскую литературу и науку.

Психологическая трудность для редакции “НЖ” в это время была в том неизбежном для эмиграции ощущении оторванности, в понимании того, что журнал читается лишь русской эмиграцией и иностранцами, занимающимися вопросами России. Руководство журнала чувствовало себя в неком безвоздушном пространстве, не находя (или почти не находя) доступа к современному русскому читателю в Советском Союзе.

По-моему, в эмиграции мы живем более-менее благополучно только потому, что у нас как-то нет времени задуматься о том, как страшно это наше безвоздушное существование, как страшна всегда всякая эмиграция, а затянувшаяся на полвека — в особенности. Многие эмигранты неосознанно волокут эту жизнь — до конца, до кладбища на Сент-Же-невьев-де-Буа под Парижем, или до Нового Дивеева под Нью-Йорком. Эту страшность эмигрантского бытия в свое время остро ощущал Герцен, так и умерший в Париже и похороненный на знаменитом Пер-Лашез, откуда позднее его останки были перевезены в “лазурно-голубую” Ниццу. Остро ощущал эту страшность эмиграции и мой земляк, пензяк, почти сосед по именью, друг Герцена Николай Огарев, спившийся в Лондоне и похороненный где-то в Гринвиче на окраине британской столицы. Что *же* спасает нас от страшности этого существования? Нас спасает — как это ни банально звучит — только духовная связь с Россией. С какой Россией? С советской? С Советским Союзом? С другой, с той вечной Россией, которой мы — сами того не сознавая — ежедневно живем, которая непрестанно живет в нас и с нами — в нашей крови, в нашей психике, в нашем душевном складе, в нашем взгляде на мир. И хотим мы того или не хотим, — но так же неосознанно — мы ведь работаем, пишем, сочиняем только для нее, для России, даже тогда, когда писатель от этого публично отрекается. “Если кончена моя Россия, — я умираю”, — писала в одном

стихотворении Зинаида Гиппиус, подчеркивая эту нашу ничем неразрываемую, метафизическую связь с музыкой русской культуры. И когда эмигрант времен Герцена, поэт и ученый Владимир Сергеевич Пече-рин, возненавидевший Россию, уехал из нее и писал в стихах — “и тяжелый крест изгнанья добровольно я подъял”, а в прозе — “Россия никогда не будет иметь меня своим подданным”, — он все-таки уносил именно Россию в себе. Известно, что, став католическим монахом, Печерин устроил на какой-то площади в Ирландии публичное сожжение протестантской Библии. Кто знает, чего в нем было больше в тот момент: горячо взятого католицизма или России?

В 1952 году М.М. Карпович и издававшая тогда журнал М.С. Цетлина предложили мне войти в редакцию в качестве секретаря. Я вошел. И с тех пор — тридцать три года — я отдаю все свои литературные силы работе в “Новом журнале”. Перед тем, как перейти к обзору третьего периода “Нового журнала”, я хочу дать хотя бы беглый набросок облика М.М. Карповича, двенадцать лет редактировавшего “Новый журнал”.

М.М. Карпович родился в 1888 году в Тифлисе, в нем была польская, грузинская и русская кровь. По окончании гимназии М.М. поступил в 1908 году в Московский университет на историко-филологический факультет и был оставлен при университете по кафедре русской истории. Но научной карьеры в России Карпович сделать не успел. В 1917 году в составе “чрезвычайной миссии”, вместе со своим другом, послом Временного правительства Б.А.Бахметевым, он выехал в Америку — на “шесть месяцев”. Увы, эти “шесть месяцев” стали всей последующей жизнью Карповича, потому что в России произошел октябрьский переворот.

По своему характеру М.М.Карпович был схож с Цетлиным и Алдановым. Та *же* мягкость и такт в обращении со всеми людьми, то же внутреннее отталкивание от всякой резкости и любовь к философии англосаксонского компромисса. Политически Карпович был русским либералом, “рыцарем свободы и законности”; этот тип человека уже бесповоротно ушел из русской современной жизни. К сожалению. Став с одиннадцатой книги единоличным редактором “НЖ”, Карпович еще раз так определил его задачи: “На страницах нашего журнала нет и не может быть места для отрицателей свободы и проповедников нетерпимости, как нет его и для сторонников соглашательства с ними, но в этих широких пределах журнал наш представляет своим сотрудникам полную возможность высказывать самые разнообразные общественно-политические, философские или эстетические взгляды. Стремясь по мере наших сил и

возможностей откликаться на политическую злобу дня, мы не хотим, однако, целиком уходить в злободневность, памятуя о том, что поддержание культурной традиции и признание автономии культуры являются необходимым условием духовного здоровья — и одним из могущественных средств в борьбе против тоталитарного варварства. На этих путях мы остаемся верны тому духу, в котором "Новый журнал" был задуман".

Конечно, мягкость и терпимость Карповича как редактора были не безграничны. Там, где Михаил Михайлович считал нужным, он бывал тверд, хоть и мягок по форме. Приведу такой пример. В "Новом журнале" мы печатали роман Алданова "Бред". Алданов — маститый автор, и рукописи его редактированию, разумеется, не подлежали. Но вот в присланном очередном отрывке у Алданова одно действующее лицо, американский полковник, ультра американски произносит известную фразу Юлия Цезаря — veni, vidi, vici (пришел, увидел, победил) — винай, вайдай, вайсай. Прочтя это, Карпович расстроился и говорит мне: "Ну нет, эту пилюлю я проглотить не могу. И зачем Марку Александровичу это понадобилось? Не понимаю. Во-первых, интеллигентные американцы так не говорят, в этом я уж могу его заверить. Это нехороший, вульгарный гротеск, и его надо опустить, я напишу об этом Марку Александровичу". Михаил Михайлович написал Алданову, и это ультра американское преображение фразы римского полководца было вычеркнуто из романа.

Но иногда мягкость характера М.М. и его благожелательное отношение ко всем пишущим и нежелание их обидеть брали верх. Помню, мы получили одну довольно большую вещь, против помещения которой я возражал по многим причинам. Доводы свои я высказал М.М., он был со мной совершенно согласен. Но, как бы и меня и сам себя уговаривая, М.М. говорил: "Но все-таки как же нам быть? Ведь мы же убьем его, ведь человек пишет, у него есть какой-то свой собственный творческий мир, есть какое-то право писать именно так…" И вдруг, как бы чувствуя всю несостоятельность своих доводов, М.М. сказал: "Знаете что, Р.Б., давайте просто зажмуримся и сразу проглотим эту пилюлю… ну что случится? Ну, покричат, пошумят, а потом же ведь забудут". Так "пилюля" и пошла в набор при полном зажмуре редактора.

Михаил Михайлович был очень заботлив в отношении сотрудников журнала. Расскажу один случай, который может быть даже интересен исторически. Нам прислал свои воспоминания о 1917–1918 годах доктор Иван Иванович Манухин. Манухин — известный врач, ученый, много лет работал в Пастеровском институте в Париже. Политически Манухин был

человеком левого лагеря, дружил с Максимом Горьким, был хорош с многими членами Временного правительства. И в своих воспоминаниях он рассказывал, как следственная комиссия Временного правительства послала его в Петропавловскую крепость, в Трубецкой бастион, освидетельствовать заключенных там царских министров, из которых многие жаловались на разные недомогания. Манухин с удовольствием согласился, ибо, как он пишет, “хотел хотя бы врачебной помощью облегчить тяжелое положение этих несчастных монархистов”. Он поехал, и состоянием одного заключенного — бывшего директора Департамента полиции Белецкого — Манухин был потрясен: Белецкий оказался заключен в абсолютно темный карцер, очень тесный, так что он не мог встать, и сидел в этом карцере на хлебе и на воде. В крепости Манухин узнал, что такое заключение предписано Белецкому по “личному распоряжению Керенского”. Манухин возмутился. Поехал к представителям Временного правительства и заявил, что если Белецкого немедленно не освободят из карцера, то он отказывается от своей работы в Петропавловской крепости. Белецкого, разумеется, тут же перевели из карцера в обычную камеру.

Но упоминание Манухиным факта, что в темный карцер Белецкий был посажен по “личному распоряжению Керенского”, поставило редактора Карповича в тяжелое положение. Не напечатать воспоминания Манухина нельзя, воспоминания очень интересны. Но напечатать “о личном распоряжении Керенского” — тоже нельзя: Керенский был сотрудник “Нового журнала”, и Карпович был очень дружен с Керенским. Он знал, что упоминание о таком “личном распоряжении” чрезвычайно расстроит Керенского. Керенский был очень импульсивный человек; к тому же в эмиграции Керенского и без того травили с разных сторон. Как же тут быть? Пришлось Карповичу писать длинное письмо доктору Манухину о том, что произойдет с Керенским, если оставить в воспоминаниях это его “личное распоряжение”. Но все уладилось. Манухин понял и Карповича, как редактора и друга Керенского, понял и возможность тяжелой реакции Керенского. И “личное распоряжение” было в воспоминаниях опущено. Кстати, я А.Ф.Керенского знал довольно хорошо и могу засвидетельствовать, что жестоким человеком он совершенно не был. Вероятно, это “личное распоряжение” было каким-то случайным демагогическим жестом для “революционной демократии”, о котором и сам Керенский, наверное, забыл.

За семь лет совместной работы с М.М. было много интересных и забавных историй, из которых не всё еще можно

предать гласности. В целом этот, второй, период журнала я бы охарактеризовал как удачный. И в этом была большая заслуга М.М.Карповича, хоть ему и трудно было заниматься “Новым журналом”, ибо он был и деканом и профессором Гарвардского университета, где читал курсы русской истории и истории русской общественной мысли, что отнимало много времени. И тем не менее почти к каждой книге “НЖ” Михаил Михайлович успевал написать — иногда в поезде между Бостоном и Нью-Йорком — очередной “Комментарий”.

Было бы трудно установить дату, когда второй период “НЖ” перешел в теперешний, третий. Это, разумеется, произошло не сразу после смерти Сталина в 1953 году. Этот период начался с так называемой “оттепели”, когда внезапно до нас стали доходить отдельные голоса писателей и читателей из Советского Союза.

Все, конечно, началось с “Доктора Живаго”, пробившего окно в Европу. По-русски за рубежом впервые отрывок из этого романа Бориса Пастернака был напечатан у нас в 1958 году, в 54-й книге. Затем вскоре мы стали получать разные отклики, отзывы, даже приветы от некоторых советских писателей. Первый привет был передан нам с одного научного конгресса, через известного русского профессора-слависта от Анны Андреевны Ахматовой. Причем вместе с приветом Ахматова указывала, что в своем очерке о Гумилеве в книге 46 его свояченица А.Гумилева “много напутала и наврала”. Так мы узнали, что Анна Ахматова читает “Новый журнал”. А если читает она, то, вероятно, читают и другие писатели из советской элиты? Вскоре этому пришло подтверждение. Приехавший в Англию советский прозаик Парфенов получил от кого-то в Лондоне “Новый журнал” — весь тогдашний комплект — и, как нам передали, запершись в комнате гостиницы, читал и день и ночь. Парфенову журнал понравился, он хвалил многое, особенно хвалил — стихи Ивана Елагина, и увез с собой в Москву книги “Нового журнала”. Потом от одного американского профессора, побывавшего в Москве, мы узнали, что директор одного из высших учебных заведений Москвы (я умышленно не называю какого) аккуратно читает “Новый журнал”, о котором он отозвался американскому коллеге весьма хвалебно, особенно отметив “прекрасный русский язык журнала”. После советского языка-“канцелярита” эта похвала нас не так уж удивила и была понятна. Дальше, от литератора француза русского происхождения, ездившего в Москву, мы узнали, что он видел “НЖ” в редакциях “Литературного наследства” и “Нового мира”. И на его недоуменный вопрос: “Разве вы получаете этот эмигрантский журнал?” — последовал несмущенный ответ: “Мы следим за *всей* русской литературой”.

Потом один видный деятель советской культуры (nomina sunt odiosa), встретившись в Европе со своим приятелем, известным американским профессором, за завтраком в разговоре о советских “толстых” журналах, вдруг сказал своему американскому коллеге: “Но больше всего я люблю нью-йоркский "Новый журнал"”. Американец так и ахнул. И, приехав в США, конечно, сообщил нам об этом, желая нас обрадовать. И, разумеется, обрадовал.

В эти же годы, наряду с такими конспиративными и полуконспиративными отзывами и приветами, мы твердо, фактически убедились в том, что писательской и ученой элитой в Советском Союзе “Новый журнал” читается. В этом убеждали нас ссылки на наш журнал, которые стали появляться в “Литературной газете”, в “Огоньке”, в “Литературе и жизни”, в “Литературном наследстве”. Но особенно нас порадовали многочисленные ссылки на “НЖ” в книге известного ученого-слависта, академика Виктора Владимировича Виноградова “Проблема авторства и теория стилей”. В ней Виноградов ссылается на “Новый журнал” много раз: и на статью известного музыковеда Леонида Сабанеева о музыке Стравинского, и на статью Юрия Иваска о поэзии Баратынского. А больше всех ссылок академик Виноградов делает на две статьи о творчестве Достоевского — профессора Николая Трубецкого и профессора Ростислава Плетнева. Факт, что “НЖ” стал пробиваться в Россию, давал нам новые силы в деле издания журнала. Мы увидели, что журнал, скромно основанный Цетлиным и Алдановым в 1942 году в Нью-Йорке, стал нужен в России, являясь там некой отдушиной в свободный мир.

Правда, как известно, за оттепелью последовали некие заморозки, которые сказались и на том, что в советской печати уже нет ссылок на “Новый журнал” даже тогда, когда советская печать прямо, без зазрения совести, перепечатывает, например, из “НЖ” все, что мы печатаем из архива И.А.Бунина: наброски его рассказов, записи, его литературное завещание, письма. Но отсутствие ссылок на наш журнал — беда небольшая. Зато у нас давно уже есть — через американские агентства — официальные подписки на “НЖ” от ленинградской Академии наук, от Библиотеки Ленина в Москве, появились подписки и таинственные, где указан только номер почтового ящика. Последнюю такую подписку мы получили даже из Улан-Батора, из Монголии. По своей наивности мы полагаем, что это, вероятно, некие “органы” госбезопасности под псевдонимами изучают “НЖ” для “пополнения своего образования”.

Вместе с проникновением в Советский Союз в этот третий период своего существования “Новый журнал” стал проникать и в

славянские страны-сателлиты: в Польшу, в Чехословакию, в Югославию. Туда он идет в научные учреждения, в библиотеки. Есть и частные проникновения. Мы знаем, например, что наш журнал читал Михаиле Михайлов, этот завидно смелый и истый поборник свободы мысли. Знаем мы, что “НЖ” регулярно читал А.Твардовский, редактор “Нового мира”, и И.Зильберштейн, редактор “Литературного наследства”. Знаем, что в один из приездов Евгения Евтушенко в США он увез отсюда много книг “НЖ”, причем когда на съезде славистов в Нью-Йоркском университете ему дали последнюю тогда — 85-ю книгу — он сразу обнаружил свое знакомство с “Новым журналом”. Беря 85-ю книгу, Евтушенко сказал: “А, этот тот журнал, где меня всегда ругают”. Он, конечно, неправ. Мы его не “ругали”. Вообще мы никого не “ругаем”, а стараемся объективно оценивать, отдавая Божье — Богу, а кесарево — кесарю.

К сожалению, М.М. Карпович, который всегда рассматривал “НЖ” как некое свое служение России, не дожил до того времени, когда “НЖ” проник в Советский Союз. Карпович скончался в 1959 году.

После кончины М.М. у нас создалась редакционная коллегия в составе профессор Н.С.Тимашева, Ю.П.Денике и меня. В научном мире Н.С.Тимашев известен как социолог с международным именем, автор многих трудов, переведенных на многие иностранные языки. Н.С. родился в 1886 году. Высшее образование Н.С. получил в Страсбургском университете в Германии и в Александровском лицее в Петербурге. В 1914 году в Петербургском университете за свою работу “Условное осуждение” Н.С. получил степень магистра права, а в 1915 был приглашен читать в этом университете лекции. С 1916 года, будучи уже доктором права, Н.С. преподавал в Политехническом институте в Петербурге. В 1918 году Н.С. — уже ординарный профессор экономического отделения Института. Но в 1921 году научная деятельность Н.С. в Советской России обрывается. Из-за арестов по делу о так называемом “Таганцевском заговоре” (по которому многие были расстреляны) Н.С. был вынужден покинуть Россию.

За годы жизни на Западе многие труды Н.С. по социологии и праву сделали ему международное имя. Кроме книг, Н.С. опубликовал за рубежом множество статей. И, в частности, с самого основания “НЖ” был его сотрудником, напечатав здесь ряд ценных статей — “Сила и слабость России”, “Перестройка в Советском Союзе”, “Религия в Советской России”, “Пути послевоенной России”, “На карательно-террористическом фронте” и многие другие. По его взглядам Н.С. надо определить

как либерального консерватора. Так же, как М.М. Карпович, Н.С. — подлинный русский европеец, человек большой культуры, широкой терпимости ко всем инакомыслиям, за исключением одного — тоталитарного варварства. Вступление Н.С. в редакцию “НЖ” было большой поддержкой. Но, к сожалению, из-за тяжелой болезни фактического участия в редакционной работе Н.С. принимать не мог, оставаясь другом и постоянным ценнейшим сотрудником журнала.

Ю.П. Денике родился в Казани в 1887 году. Фамилия его — случайная, как у Герцена. Отцом Ю.П. был казанский помещик Осокин. В Казани Ю.П. окончил среднее учебное заведение и в 1915 году университет по историко-филологическому факультету, после чего был оставлен для подготовки к профессорскому званию. В 1920 году Ю.П. на короткое время стал профессором Московского университета по кафедре истории или, точнее — исторической социологии. В начале 20-х годов Ю.П. покинул Россию. Серьезный публицист, разносторонне образованный человек, Ю.П. из всех членов редакции “НЖ” за все годы его существования был единственным партийным человеком — социал-демократ (меньшевик). Но социалистом он был жоресовского типа, ценившим всегда и свободу противника. К сожалению, переобремененный всяческой работой, Ю.П. фактического участия в редакционной работе принимать не мог. В 1964 году Ю.П. внезапно скончался в Бельгии.

Так что после смерти М.М.Карповича мне пришлось вести “Новый журнал” одному. Это время, с 1959 года и до сегодняшних дней, входит в третий период “Нового журнала”, когда журнал пробился к читателю и писателю за железным занавесом. За эти годы, так же как и за предыдущие, “НЖ” опубликовал много примечательных вещей во всех отделах. Отмечу опять-таки только немногое. В отделе художественной прозы мы опубликовали много коротких рассказов и записей И.А.Бунина, которые, как я уже говорил, перепечатаны советской печатью; две вещи Б.К.Зайцева, “Река времен” и “Звезда над Булонью”; очерки В.В.Вейдле “Равенна” и “Бессмертная ошибка” (о Петербурге); пьесу Евг. Замятина; повесть Гайто Газданова “Пробуждение”; большую вещь Д.С.Мережковского, не опубликованную при его жизни — “Св. Иоанн Креста”; несколько рассказов Л.Д.Ржевского и Н.И.Ульянова; отрывки из романа Б.Темирязева “Рваная эпопея”; Юлия Марголина “Книга жизни”; рассказы Христины Керн. Но все эти авторы — давние сотрудники журнала. Отмечу прозу, полученную из СССР: повесть Лидии Чуковской “Софья Петровна”, которая уже вышла на нескольких иностранных языках; “Нарым. Дневник ссыльной” Елены

Ишутиной — потрясающий документ о советской нарым-ской ссылке; “Находка в тайге” автора, которого мы подписали псевдонимом “Неизвестный”. Опубликовали мы и вещи многих советских невозвращенцев: концлагерные рассказы известного армянского писателя Сурена Саниняна; рассказы из московской современной жизни Аллы Кторовой; сатирические сцены “Сталин” московского драматурга Юрия Кроткова, ставшего невозвращенцем только в 1963 году. В отделе поэзии — неизвестную поэму М.Волошина “Святой Серафим”, посмертные стихи Зинаиды Гиппиус, неизвестную поэму Игоря Северянина, “Посмертный дневник” Георгия Иванова, поэмы Т.С.Элиота в переводе Н.Берберовой и множество стихотворений как зарубежных поэтов, так и полученных из Советского Союза от поэтов, которых там не печатают из-за “несозвучности”.

В отделе “Литература и искусство”: — статьи ГАдамовича под общим заглавием “Оправдание черновиков”, его же “Наследство Блока”, “О чем говорил Чехов”, В. Вейдле “О ранней прозе Пастернака”, “Похороны Блока”, “О смысле стихов”, Н.Берберовой “Советская критика сегодня”, К.Брауна “Тайная свобода О.Мандельштама”, Вяч. Иванова “Мысли о поэзии”, композитора Н.К.Метнера “Мысли о музыке”, профессор В. Ледницкого о Льве Толстом, композитора Артура Лурье “Вариации о Моцарте”, “О мелодии”, СМаковского “Случевский, предтеча символистов”, профессора Р.Плетнева “О лирике Тютчева”, А. Раннита “Рильке и славянское искусство”, “Вяч. Иванов и его "Свет вечерний"”, Н.Ульянова “Алданов-эссеист”, “После Бунина” и др., М.Гофмана “Клевета о Достоевском”, Вяч. Завалишина “Заболоцкий”, “О Б.Зайцеве”; ряд статей о творчестве Достоевского профессора Н.С.Трубецкого, В.Александровой “Прошлое сегодняшними глазами” (о советской литературе), Евг. Замятина “О языке”, “О сюжете и фабуле”, Л. Зурова “Герб Лермонтова”, Зои Юрьевой “О творчестве И.Витлина”, “Ремизов о Гоголе”, Ю.Иваска “Фет”, “Бодлер и Достоевский”, С. Карлинского “Вещественность Анненского”, профессора Дм. Чижевского “О поэзии футуризма”, “Что такое реализм”, “О литературной пародии” и др., прот. А.Шмемана “Анна Ахматова”, Ю.Офросимова “О поэзии Вл. Корвин-Пиотровского”, Р.Гуля “Цветаева и ее проза”, “Солженицын и соцреализм”, “Георгий Иванов”; о романе “Доктор Живаго” были напечатаны четыре статьи — Ф.Степуна, М.Корякова, М.Слонима, Р.Гуля; Т Петровская “Об эстонской поэзии”; Е.Кох “Марианна Ве-ревкина”. И много других интересных литературно-критических статей было напечатано за этот третий период.

В отделе “Воспоминания и документы” было опубликовано

много ценных работ и по истории России, и по истории русского искусства и литературы: “Дневники” известного политического деятеля и историка, бывшего министра Временного правительства П.Н.Милюкова за время его пребывания в Белой армии и за время его переговоров с немцами в Киеве в 1918 году; Н. Валентинова “Встречи с Горьким”, “О людях революционного подполья”, “Ленинец раньше Ленина” (о большевике Вилонове), Р. Арсенидзе “Из воспоминаний о Сталине”, А.Ф.Керенского “Моя жизнь в подполье” — впервые рассказанная Керенским история его подпольной жизни после захвата власти большевиками; А.Белобородова “В Академии художеств”; доктор Эдинбургского университета Милица Грин опубликовала “Письма М. Алданова к И.Бунину”, Д.Далин — “Дело Кравченко”, Л.Дан “Бухарин о Сталине”, И.Ильин “На службе у японцев” (во время Второй мировой войны), Г.Кузнецова “Грасский дневник” (воспоминания о Бунине); письма известного советского писателя 20-х годов Льва Лунца из-за границы к “Серапионовым братьям” (публикация Гари Керна), С.Маковский “Н.Гумилев по личным воспоминаниям”, И.Одоевцева “На берегах Невы” (воспоминания о Гумилеве, Мандельштаме, Кузмине и других поэтах-петербуржцах), Леонид Пастернак “Воспоминания”, Ю.Анненков — воспоминания о Ленине, о Троцком, о Мейерхольде; письма к художнику Е.Климову известного деятеля “Мира искусства” художника А.Бенуа, К.Вендзяголь-ский “Савинков”, М.Бочарникова “Бой в Зимнем дворце” (воспоминания солдата женского батальона), Е.К.Брешков-ская “Как я ходила в народ”, И.Бунин “К моему завещанию”, воспоминания Вл. Бурцева о его возвращении в Россию из эмиграции в 1914 году (“Арест при царе и арест при Ленине”), письма Гершензона и Вяч. Иванова к Вл. Ходасевичу, “Страницы воспоминаний” гр. В.Зубова (о последних днях власти Временного правительства в Гатчине), воспоминания В.А.Муромцевой-Буниной “Беседы с памятью”, Андрей Седых — литературные портреты М.Алданова и И.Бунина с их многими письмами к автору, воспоминания о февральской революции 1917 года бывшего министра Временного правительства И.Г.Церетели, воспоминания профессора К.Штеппы о терроре ежовшины в 1937–1938 годах.

Я вынужден оборвать перечень опубликованных материалов… Но совершенно особо я хочу отметить некоторые документальные публикации, полученные тогда из Советского Союза. Это: “Очерки по истории русской церковной смуты” А.Левитина и В.Шаврова; воспоминания Е.Тагер об О.Мандельштаме (публикация Г.Струве); “Стенограмма заседания Союза советских писателей” по вопросу об исключении Бориса

Пастернака из Союза — большой ценности документ, показывающий тот градус духовного террора и растления, при котором живут советские писатели. По-моему, правильно сказал один зарубежный писатель, что “это документ на сто лет”. Таким же ценным документом является “Послание из СССР на Запад”, которое мы подписали “Икс”, чтобы не повредить автору. За границей это послание уже вышло на многих иностранных языках. Хочу еще подчеркнуть большую и документальную и литературную ценность опубликованного нами “Письма мистеру Смиту” Юрия Кроткова о том, как и почему он, будучи в Москве, написал антиамериканскую пьесу “Джон — солдат мира”.

В отделе “Политика и культура” за третий период “Нового журнала” отмечу работы известного русского историка профессора Г.В.Вернадского — “Милюков и месторазвитие русского народа” (по поводу выхода заграницей “Очерков по истории русской культуры” Милюкова), “Повесть о Сухане” (по поводу книги советского историка В.И.Малышева), “Из древней Евразии” (по поводу книги советского историка Льва Николаевича Гумилева), “Человек и животный мир в истории России”, “Усть-Цилемские рукописные сборники”. Из других работ отмечу: Н.Валентинова “О предках Ленина и его биографиях”, протоиерея о. В.Зеньковского “Мифология в науке”, Ю.Гринфельд “Произвол работодателей в СССР” (о фактическом бесправии рабочих в Советском Союзе), С.А.Сатиной “Об истории женского образования в России”, известного экономиста Наума Ясного “Начало второго послесталинского десятилетия в сельском хозяйстве”, Ю.Де-нике “За фасадом 22-го съезда партии”, “Купеческая семья Тихомирновых”, профессора Д.Иванцова “Легенды о советской деревне”, Д.Анина “Вожди уходят, проблемы остаются”, “Русская революция и либерализм”, “Советы и международное положение” и др., А.Иванова “Биология и идеологическая борьба” (о Трофиме Лысенко и положении биологии в СССР), Н.Нарокова “Русский язык "там"”, М.Карповича “Два типа русского либерализма” (Милюков и Маклаков), протоиерея Д.Константинова “Подтверждение неопровержимого” (об известном письме двух московских священников Н.Эшлимана и Г.Якунина), С.Левицкого “Место Н.О.Лос-ского в русской философии”, профессора С.Верховского “О Гоголе”, Б.Ловцкого “Философ библейского откровения” (к 100-летию со дня рождения Льва Шестова), Д.Мережковского “Что сделал Св. Иоанн Креста”, Б.Двинов “Назад к Ленину?”, В.Некрасов “Московские чудаки” (о московской школе математиков: Бугаеве, Цингере, Вернадском, Умнове, Бредихине и других), Н.Нижальский “Эволюция академика Павлова” (правда о взглядах академика

Павлова в последний период его жизни), Н.Полторацкий “Профессор Н.С.Тимашев о путях России”, Е.Петров-Скиталец “Кронштадтский тезис сегодня”, К.Померанцев “Во что верит советская молодежь?”, Федор Степун “Вера и знание в философии Франка”, “Москва — третий Рим”, “Россия между Европой и Азией”, профессор Н.С.Тимашев “Сталинский террор и перепись 1959 года”, “На правильном ли пути Америка”, “Три книги о Питириме Сорокине” и др. Н.Ульянов “Тень Грозного”, Дм. Чижевский “Новое в истории русской культуры”, Т.Чугу-нов “Всеобщая декларация прав человека и гражданина и диктатура КПСС”, протоиерей А.Шмеман “Церковь, государство, теократия”, А.Шик “Первопечатник Федоров”, профессор А.Штаммлер “Ф.А.Степун” (к его кончине), Д.Шуб “Европейский социализм и советский коммунизм”, “Три биографии Ленина”, “Мемуары Керенского” и др.

Хотя ссылки на “Новый журнал” в советской печати в конце 60-х годов прекратились, мы начали получать из Советского Союза рукописи, что было лучше всяких “ссылок”. Самым большим подарком для “Нового журнала” была объемистая рукопись Варлама Шаламова — “Колымские рассказы”. Произошло это так. Один известный американский профессор-славист как-то позвонил мне по телефону и сказал, что был в Москве и привез большую рукопись для “Нового журнала”. Я поблагодарил, и на другой день профессор привез мне на квартиру рукопись “Колымских рассказов”. Это была очень большая рукопись, страниц в шестьсот. Передавая ее, профессор сказал, что автор лично виделся с ним и просил взять его рукопись для опубликования в “Новом журнале”. Профессор спросил автора: “А вы не боитесь ее опубликования на Западе?” — На что Шаламов ответил: “Мы устали бояться…” Так в “Новом журнале” началось печатание “Колымских рассказов” Варлама Шаламова из номера в номер. Мы печатали Шаламова больше десяти лет и были первыми, кто открыл Западу этого замечательного писателя, взявшего своей темой — страшный и бесчеловечный ад Колымы. Когда рассказы Шаламова были почти все напечатаны в “Новом журнале”, я передал право на их издание отдельной книгой приехавшему ко мне покойному Стипульковско-му, руководителю издательства “Оверсиз Пабликейшенс” в Лондоне, где они и вышли книгой.

Потом мы стали публиковать уже не только приходившие к нам (как мы всегда писали в примечаниях, “с оказией”) рукописи советских писателей, но и рукописи писателей, бежавших из Советского Союза, — Анатолия Кузнецова, Юрия Кроткова, Аркадия Белинкова. В первом письме ко мне Аркадий Белинков

писал: “Из всех русских изданий за границей я лучше всего знал именно Ваш журнал… В Москве я прочитал по крайней мере половину вышедших номеров. Дело это не простое, но по своему положению… я имел доступ в Отдел специального хранения Библиотеки имени Ленина, а кроме того, его привозили друзья из-за границы”. И в другом письме ко мне Белинков писал: “Все мы без меры обязаны существованию "Нового журнала"”. Для меня, как редактора “Нового журнала”, это была большая моральная поддержка, ибо это было доказательство того, что издание *свободного* русского журнала за рубежом действительно нужно людям, живущим в тоталитарном Советском Союзе. Незадолго до Белинкова тоже бежавшая на Запад Светлана Аллилуева из своего гонорара за первую ее книгу выделила пять тысяч долларов на поддержку “Нового журнала”.

Были ценные отзывы и других писателей-беглецов. Но особенно было ценно полученное мной в 1970 году письмо из Европы от некоего анонима. Приведу его полностью: “Многоуважаемый г-н Гуль! Большое вам спасибо за ваш чудесный "Новый журнал", который я получил от одного нового знакомого, эмигранта. Я приехал в Европу как турист из СССР, уезжаю обратно и увожу журнал домой. Хоть я и член партии, но Ваш журнал произвел на меня ошеломляющее впечатление. Я поражен тем, что в эмиграции есть силы, которые нам близки по духу. Вам, конечно, странно: член партии и *близость духа?* (слова “близость духа” подчеркнуты автором). Но поверьте, что это так. Партия это лишь *мертвый* (мертвый — подчеркнуто автором) символ для нас, для молодежи. Мы тоже люди, и *добро* (добро — подчеркнуто автором) для нас ближе, чем позолоченный труп. Очень жалею, что остаюсь анонимом, — вы должны мне простить и понять. *Читатель из СССР”* (“Читатель из СССР” подчеркнуто автором письма).

Было бы лицемерием, если б я не сказал, что такие отзывы о журнале давали и дают силы — в очень трудных условиях — вести “Новый журнал”. Это — мой посильный вклад в борьбу с антикультурой большевизма, борьбу за творческую свободу — а стало быть, и политическую и гражданскую свободу человека. Когда-то в XVI веке на съезде в Борисе Мартин Лютер произнес знаменитую формулу непримиримости: “Hier steh' ich. le h kann nicht anders” (“На этом стою. По-другому не могу”). Так и я — “по-другому не могу”.

За последние годы в журнале печатались новые сотрудники: В.Блинов, В.Крейд, профессор А.Опульский, А.Солженицын, профессор А.Федосеев, М.Бернштам, М.Михайлов, Ю.Фельштинский, Е.Магеровский, М.Гольдштейн, Д.Штурман, Лидия

Иванова, Д-Бобышев, И.Белоусович, ЮЗорин, Н.Моравский, полковник М.Гардер, Б.Закович.

Из прозы были напечатаны рассказы или отрывки из повестей Э.Абросим, П.Ершова, С.Ильина, Ю.Кашкарова, П.Палия, В.Писарева, А.Шепиевкера и др. Особо следует отметить “Похвалу Российской поэзии” недавно скончавшегося Ю.П.Иваска. Покойный А.Раннит опубликовал неизданные стихи Пастернака “Неизвестный Б.Пастернак в собрании Т.Витни”. В нескольких номерах печаталась переписка И.А.Бунина и М.А.Алданова, подготовленная профессором А.Звеерсом. На протяжении нескольких лет мы печатали интереснейшие воспоминания умершей в Советском Союзе М.Л.Шапиро — “Женский концлагерь”. Были напечатаны воспоминания спутницы адмирала Колчака А. В.Тимиревой, воспоминания А.И. Гучкова, воспоминания А.Штейгера, отрывки из дневника гр. Е.Н.Разумовской, письма Рцы (И.Ф.Романова) к Б.В.Розанову.

В последние годы “Новый журнал” во многом обязан своим существованием большим друзьям этого старейшего русского журнала за границей (и второго по старшинству после “Нового мира” — на русском языке) — Т.Витни и С.Биштаку.

Переписка через океан Георгия Иванова и Романа Гуля

С Георгием Ивановым я познакомился (мельком, “без слов”) осенью 1922 года в Берлине, в “Доме искусств”, в кафе “Леон” на Ноллендорфпляц. Познакомил меня поэт Николай Оцуп, с которым в Берлине я общался (он привез из России привет от моего однокашника по Пензенской гимназии (и его приятели) В л. Борисова, вероятно погибшего, ибо он был близок к М.Н.Тухачевскому, тоже нашему гимназисту). Больше в Берлине Г.Иванова я не встречал. Живя с сентября 1933 года в Париже, я Г. Иванона тоже не встречал. Встретил я его (то есть “заново познакомился”) лишь в 1946 году в Париже, после войны. Но “новое знакомство” было кратким: встречался раза два на литературных собраниях. Так что наша “переписка через океан” с 1953 года по год смерти Г.Иванова (26 августа 1958 года) правильно в одном из его писем названа “эпистолярной дружбой”. В моем архиве — шестьдесят два письма Г.Иванова и сорок семь копий моих ответов. На копиях моих писем все даты налицо. На письмах Г.Иванова дат, к сожалению, почти нет (есть на очень немногих, которые я печатаю). В некоторых письмах (его и моих) кое-что опускаю (резкости, отзывы о живых еще людях).

1953

5, *av. Charles de GauUe Montmorency (S.et 0.)*

Дорогой Роман (Николаевич?)

Простите, если я ошибаюсь в Вашем отчестве. Ведь мы, в сущности, почти не были знакомы. Во-первых, очень, очень благодарю Вас за отзыв о “Петерб. зимах”. Особенно меня обрадовало, что Вам понравились позднейшие мои статьи — о Блоке и о Есенине. И поверьте, то, что это написали Вы, мне очень дорого: от “Генерала БО” — до “Коня Рыжего”, я очень люблю и “уважаю” Вас как блестяще одаренного писателя. Кстати, еще до получения *НЖ” я сговорился с Мельгуновым о ряде отзывов о книгах Чеховского издательства. Так что, когда Вы мою рецензию о “Коне Рыжем” прочтете — не подумайте, что я Вам плачу комплиментами за Ваши комплименты, — все, что там сказано, сказано от души.

Хорошо. Теперь вот что. Одновременно с этим письмом я посылаю на Ваше имя единственный экземпляр повести И.Одоевцевой и свои стихи для “Нового журнала”. Думаю, так правильней, ибо возможно ММ Карпович уехал опять в Европу и до осени рукописи будут валяться в Кембридже, ожидая его.

Прошу Вас, как члена редакции, о следующем: мои стихи напечатать не вместе с прочей поэтической публикой, а отдельно. (В хвосте — это не имеет значения.) Прошу это и потому, “что приятнее не мешаться с Маковскими”, и потому еще, что эти стихи “Дневника” — нечто вроде поэмы (для меня). Если М.М. Карпович сидит у себя — будьте любезны, передайте ему, что мы просим прислать нам под эти рукописи, не дожидаясь печатания, общий аванс. Суммы не называю, но само собою, каждые лишние 10 долларов очень существенны. Если его нет и Вы можете “своей властью” исполнить эту просьбу, сделайте это, пожалуйста, по возможности быстро. Во всяком случае будьте милым, черкните мне обратной почтой — как и что. И европейский адрес М.М. — если он в Европе.

И.В.Одоевцева шлет Вам сердечный привет и просит сказать, что она всегда помнит Вашу дружескую услугу с кинематографистом Зильбербергом, в свое время чрезвычайно выручившую нас. Прибавлю от себя — мало кто из литературной братии поступил бы так, как Вы — особенно с незнакомыми людьми из “другого лагеря”. Как правило, даже “друзья” поступают наоборот. Так ответьте, пожалуйста, насчет аванса и Карповича. Еще раз Вам очень благодарю за рецензию. Преданный Вам Георгий (Владимирович) Иванов.

31 мая 1953 г.
5, av. Charles de Gaulle
Montmorency
Дорогой Роман Борисович,

Очень благодарю Вас и за “неимоверную стремительность”, с которой Вы прислали мне чек, и особенно за милые слова о моих стихах. То, что они Вам нравятся, мне очень дорого. Я совершенно так же, как Вы писали о себе в предыдущем письме. — равнодушен к мнению “сволочи”, будь то восторги или ругань. Последняя даже больше забавляет меня. Но если пишешь стихи для нескольких человек, тем ценнее и дороже, если один из этих нескольких тебя так нежно и лестно приветствует. Тем более, что от Вас, скажу начистоту, я этого не ждал. Видите ли, "добрые друзья” не раз сообщали мне, что Вы меня терпеть не можете, считаете “эстетом”, “мертвецом” и т. д. И Ваша рецензия была для меня большим и вполне неожиданным сюрпризом. Не будь ее, я бы не обратился непосредственно к Вам и, м. б., так бы никогда не узнал, что Вы не враг, а друг. Очень жалею теперь, что пока Вы были в Париже, не столкнулись где-нибудь с Вами — мы бы наверное сошлись и близко подружились. Но так всегда или почти всегда в моей странной жизни.

Моя жена, напротив, торжествует: “я тебе говорила”. Она действительно всегда, с очень давних времен тянулась к Вам и была Вашей горячей поклонницей, ставя в пример Ваши книги, от которых “прежде всего нельзя оторваться” — начал читать и обязательно прочтешь в один присест, “не то, что этот выматывающий кишки Алданов” (сравнивая — с чем я вполне соглашался — Вашего “Азефа” и его).

Вот тут, кстати, о рецензии, которую я написал вчерне о Вас. Вы должно быть правы насчет Мельгунова: он, когда я условился с ним насчет книг, которые я прорецензирую для июльского “Возрождения”, — не моргнул глазом насчет “Коня рыжего”. Но сказал, чтобы я выписал из Чеховского фонда книги — в том числе и Вашу, — так как они еще не присланы. Но теперь выяснилось, что Ваша как раз давно ему была послана. Его все нет. У секретарши книги тоже нет — “мы не получали”. Опасаюсь, что тут какой-то подозрительный м…., имеющий целью замотать “Коня рыжего” — так, как будто произошло какое-то недоразумение. Этот старый черт на днях вернется, и я это выведу на чистую воду без обиняков. Но как быть. Обязательно хочу написать о Вас. С удовольствием бы послал маленькую статейку о “Коне рыжем” вместо “Возрождения” в “Новый журнал”. Но возможно ли это? Не говорю уже, что о Вас была чья-то рецензия, — но если можно написать во второй раз, то хотя бы та же параллель между Вами (историческими Вашими книгами) и Алдановым.

Ваш Г. И.

P.S. Ответьте, пожалуйста, на этот счет. Если да, я пришлю две-три странички, как маленькую статью, а не отзыв о книге, то есть более общего характера и о Вас и о Вашем месте в русской литературе. Тогда хорошо, если бы Вы прислали мне “Коня рыжего” для скорости и “удобства” Читал я его и в “Новом журнале”, и в отдельном издании, и читал очень внимательно — но книга мне необходима для цитат. Ответьте.

16 марта 1954 г.
28 rue Jean Giraudoux
Paris 16

Дорогой Роман Борисович,

Отвечаю с опозданием. Не сердитесь. Парижская жизнь — после трехлетнего Монморанси — вдарила нас малость “ключом по голове”. Моя жена этому “очень веселится”, я же, сыч по природе, обалдел.

Ну, очень рад, что наши “отношения” благополучно восстановились, “кошек” копать не будем: мы оба — Вы и я —

обоюдно невинны, если в них поверили. В том вареве из г…, которым окончательно стала (по крайней мере здесь) литературная, с позволения сказать, среда, разобраться трудно. Значит, плюнем обоюдно и будем дружить, как нам с Вами, естественно, полагается: делить нам нечего, а общего, несмотря на разность, у нас много.

Хорошо. Материалец от И.В. и меня скоро получите. Статейку об антологии я обязательно напишу, так что держите место. Но я еще не видел ее. Полагаю, посланный Вами экземпляр скоро придет. Насчет Цветаевой я с удовлетворением узнал, что Вы смотрите на ее книгу, вроде как я. Я не только литературно — заранее прощаю все ее выверты — люблю ее всю, но еще и “общественно” она мне очень мила. Терпеть не могу ничего твердокаменного и принципиального по отношению к России. Ну, и “ошибалась”. Ну, и болталась то к красным, то к белым. И получала плевки и от тех, и от других. “А судьи кто?” И камни, брошенные в нее, по-моему, возвращаются автоматически, как бумеранг, во лбы тупиц — и сволочей, — которые ее осуждали. И если когда-нибудь возможен для русских людей “гражданский мир”, взаимное “пожатие руки” — нравится это кому или не нравится, — пойдет это, мне кажется, приблизительно по цветаевской линии.

Так как скоро я пошлю Вам кое-что, то будет, само собой, и сопроводительное письмо — и тогда доболтаю, чего не пишу сейчас. Жму Вашу руку очень дружески. И.В. тоже.

Ваш всегда Г.И.

P.S. После присылки нам разных штанов и пижам — были такие хорошие слова: какой номер сапог поэта, какой воротник рубашки, костюм постараемся достать другой, для Одоевцевой собираем посылку… Если возможности эти прекратились, то не о чем и говорить. Но если Вы об этом всем в бурном темпе нью-йоркской жизни забыли, а сделать хотите, — говорю без ломанья — будем очень польщены. Польщены, особенно, всякому барахлу американского пошиба: курткам, кофтам (неразборчиво), одним словом, таким вещам, какие в “Европах” дороги и плохи, а у Вас поносят и бросают. Номер моих сапог 42, рубашки 38… А как у Вас делают вроде ночных туфель — и удобно, и ноги мои меньше болят. Но, конечно, если попадается костюм и что другое солидное — тоже очень приятно. И какие-то тряпочки автору “Года жизни”. Покупать нам не на что: чех. гонорара едва хватает, чтобы есть и платить за квартиру. Но, само собой, если это все в Вашей власти.

10 *марта 1955 г. Beau-Séjour*

Дорогой Роман Борисович,

Очень рад был получить от Вас и неподдельно дружеское и блестяще-забавное — как Вы умеете, когда в хорошем настроении — писать. Я эту разновидность Вашего таланта очень ценю и письма Ваши, в отличие от большинства других, аккуратно прячу. Для потомства. И не одни лестно-дружеские, но и ругательные тохсе. Для порядку и для контраста. Пусть знаменитый будущий историк литературы разбирается в нашей "переписке с двух берегов океана". Только будет ли этот будущий историк и будущее вообще?

В связи с моим пристрастием к Вашему "перу" (возвращаю комплимент из рецензии) — беру сразу же быка за рога. Ох, пожалуйста, напишите статью обо мне Вы. Вы, видите ли, не только блестяще пишете, но — как я всегда говорю, писал и Вам — очень чувствуете стихи. И Ваше мнение о моих стихах получится обязательно интересным и живым. Сазониха же, между нами, м.б., и более ученая, но тот же Терапианц в юбке. Я не имею страсти МА.Алданова или покойного Бунина к пышным похвалам, пусть дурацким. М. б., это и важно для механики славы… хотя и слава делается не тупицами, а живыми и талантливыми людьми. Короче говоря, очень буду рад, если Вы и именно Вы это сделаете. Судите сами — как быстро я "реагирую" на Ваше "не трахнуть ли мне о Вас"… И как вяло отзывался на Сазонову. Трахните, трахните! И пишите, что думаете, выйдет, ручаюсь, отлично.

Теперь — о Мандельштаме — я с наслаждением напишу. Не подведу. Ручаюсь даже за досрочное перевыполнение плана, если пришлете авионом. Можете на этот раз мне поверить.

Спасибо и за рекламу обо мне на радио. Удивляюсь, как это Вейдле не запротестовал. Он меня, заслуженно, не переносит: я его в свое время, м. б. помните, даже и не раз "обижал в печати".

Обязательно буду посылать Вам отрывки из моего нового oeuvre'a, то есть воспоминаний. Работа над ними у меня в полном ходу. Ничего получается, по-моему. Задержка (в смысле посылки Вам отрывка) только в том, что я хочу "начать с начала" так, чтобы в дальнейшем была хотя бы и отрывчатая последовательность. Черкните, какой, собственно, срок в моем распоряжении для этих первых (20–23) страниц.

Да, мы вымираем по порядку, Кто поутру, кто вечерком…

Ставров, Кнут, милейший Дюк Гаврила, незаконно объявивший себя гран-дюком в эмиграции. Кстати, совсем недавно он был еще настолько в здравом уме, что весьма ловко сыграл роль сына лейтенанта Шмидта: явился к Гукасову и загнал

ему за 50 тысяч франков пачку “неизданных стихов августейшего родителя” — К.Р. — переписанных из собрания стихов последнего издания 1908 года: “Умер бедняга”, “Помню порою ночною” и т. д.

Да, вот еще. Не могли бы Вы прислать на адрес нашего русского библиотекаря пачку старых — какие есть — номеров “Нового журнала” — сделайте хорошее дело. Здесь двадцать два русских, все люди культурные и дохнут без русских книг. Не поленитесь, сделайте это, если можно. Ну нет — это не русский дом Роговского. Я там живал в свое время за собственный счет. Было сплошное жульничество и грязь и проголодь. Здесь дом Интернациональный — бывший Палас, отделанный заново для гг. иностранцев. Бред: для туземцев с французским паспортом ходу в такие дома нет. За нашего же брата апатрида (любой национальности) государство вносит на содержание по 800 фр. в день (только на жратву), так что и воруя — без чего, конечно, нельзя, — содержат нас весьма и весьма прилично. От такой жизни не хочется даже умирать, и буду жалеть, если все-таки придется. Тогда хоть умру “с комфортом”. И так почем зря выписывают мне разные ампулы по 1500 фр. коробочка, уговаривая — только не забудьте принять. Впрочем, доктор осел и едва меня не отравил. Но passons…

Что это Вы написали насчет гостиной желтого клена? Не совсем сообразил, на что намекиваете. Были, конечно, какие-то дурацкие стихи Игоря Северянина в таком духе, посвященные мне. Но почему из этого следует вывод “начнем с заграницы” — то есть в Вашей будущей статье обо мне. Или это значит, что Вы в моей доэмигрантской поэзии не очень осведомлены. И плюньте на нее, ничего путного в ней нет, одобряли ее в свое время совершенно зря. Впрочем, если Вы действительно, обещаете написать эту статью, я Вам кое-что пришлю, чего для Сазоновой, к сожалению, не имел.

Ну, Ир. Вл. Вам нежно кланяется, а о “заячьем тулупчике”… Жму Вашу руку. Черкните в свободную минуту, не только по делам, а и “для души”.

Ваш Г.И.

P.S. А мои желтые лоферы? А куртки с тиграми и пр., которые я уже умственно переживал на ногах и плечах? Если, конечно, эта посылка возможна.

Beau-Séjour 29 июля 1955 г.

Дорогой Роман Борисович,

Несмотря на еще усилившуюся жару — отвечаю Вам почти сейчас же. Не скрою — с корыстной целью. Что Вы там ни говорите насчет чемодана с рукописями и т. д. — из деревни Вы

пишете куда очаровательнее, чем из Нью-Йорка. Опять испытал “физическое наслаждение” и срочно отвечаю, чтобы поскорей опять испытать. То же самое, конечно, и Одоевцева, только — как дама — она свои физические чувства стыдливо скрывает (должно быть потому, что у ихнего брата — такие чувства более — от природы — интенсивны).

На стишок о Майами — хотел порифмовать в ответ, но пот течет, как не отпиваюсь местным — чудным! — вином со льдом. Давление поднимается, но рифма не идет.

Кстати, спасибо за заботу о моем давлении. Но мой случай не так прост. Сильные средства для меня прямой путь к кондрашке — мое давление надо не сбивать, а приспосабливать к организму. Черт знает что. Я всегда чувствую, что мироздание создал бездарный Достоевский — этакий доктор Б…., если читали.

Ну, опять скажу — “нос” у Вас на стихи первоклассный. Чтобы не вдаваться в подробности: Илиаду выбросьте целиком, нечего в ней заменять. Из трясогузки две первых строфы — тоже вон. Дошлю одну или две новые — как выйдет. Насчет Нила я просто описался. Ваша гимназическая учеба совпадает с моей кадетской — я хотел написать “полноводный”. Для всех стихов — напоминаю — необходима авторская корректура, пожалуйста, не забудьте и уважьте насчет этого. Но хотел бы к имеющимся теперь у Вас девяти стишкам дослать по мистически-суеверным соображениям — еще три. То есть чтобы была порция в 12. уж потесните чуточку Ваших графоманов. Тем более, что мой “Дневник” по взаимному дружескому уговору ведь печатается отдельно от прочих — привилегия, которую я очень ценю (и, пожалуй, все-таки заслуживаю). Пришлю три маленьких и — по возможности — лирических.

Как Вы теперь мой критик и судья, перед которым я, естественно трепещу, в двух словах объясню, почему я шлю (и пишу) в “остроумном”, как Вы выразились, роде. Видите ли, “музыка” становится все более и более невозможной. Я ли ею не пользовался, и подчас хорошо. “Аппарат” при мне — за десять тысяч франков берусь в неделю написать точно такие же “розы”. Но, как говорил один ва-силеостровский немец, влюбленный в василеостровскую же панельную девочку, “мозно, мозно, только нельзя”. Затрудняюсь более толково объяснить. Не хочу иссохнуть, как засох Ходасевич. Тем более не хочу расточать в слюне сахарную же слизь какого-нибудь N… (пусть и “высшего” там у него качества). Для меня — по инстинкту — наступил период такой вот. Получается как когда — то средне, то получше. Если долбить в этом направлении — можно додолбиться до вспышки. Остальное — м.б. временно — дохлое место.

Да, в последней книжке нам обоим *очень* понравился Елагин. Кроме последней строфы, в которой подъем скисает. Но все-таки очень хорошо. Таланту в нем много. Но вот “в университете не обучался”, как говорили у нас в цехе.

При случае передайте от меня Маркову искренний привет. Он мне и стихами (гурилевские романсы — в “Опытах” слабо) и обмолвками в статьях очень “симпатичен”… Но что за занятие писать афоризмы! Лейб-гусара полковника Ельца все равно не перешибить. М.б., читали в свое время: “Смерть его есть тайна, которой еще никто не разгадал”, и рядышком: “Разбить биде — быть беде” с портретом автора в ментике и с посвящением моему другу принцу Мюрату. Куда уж тут тягаться.

Пишу я Вам что попало, но, как видите, с явным стремлением подражать блеску Ваших писем. Разумеется, получается не то. Но и старанье тоже считается. Сколько великих людей и великих произведений взошло на одном стараньи. Вся (почти) — блестящая — французская литература — живой пример. Давно ли Вы читали Флобера? Я вот сейчас перечитываю: один пот, а в общем ведь “весьма недурно”. Ну, ну, — что это Вы напишете об “Атоме” и вообще. Жду с чрезвычайнейшим интересом. Только не откладывайте, напишите. Что желаете, как желаете. Это и будет хорошо. Зинаида, которую я обожаю, писала вообще плохо. Говорила или в письмах — иногда все отдать мало, такая душка и умница. А как до пера — получается кислая шерсть. Кроме стихов. Я тщусь как раз в своих новых воспоминаниях передать то непередаваемое, что было в ней. Трудно.

“Атом” должен был кончаться иначе: “Хайль Гитлер, да здравствует отец народов великий Сталин, никогда, никогда, никогда англичанин не будет рабом!” Выбросил и жалею.

Ваш Г.И.

25 октября 1955
Seau-Séjour
Hy ères (Var)

Дорогой Роман Борисович,

Я еще не совсем очухался и предпочел бы написать Вам, когда очухаюсь совсем. Но, с другой стороны, мне хочется, как умею, поблагодарить Вас за Вашу статью. Хоть коряво, но собственноручно.

Ваша статья блестяща и оглушительно-талантлива. Еще блестящей, чем о Цветаевой. Никто так о поэзии не умеет писать, да и очень редко кто вообще умел. Я говорил Вам как-то в одном из писем, что при полной “непохожести” статья о Цветаевой — эквивалент лучшим статьям Анненского. Не в “Аполлоне”, где он

хотел угодить, — а тех, которые он писал “для себя”. Еще вспоминаю Леонтьева “Эпоха, стиль, влияния”. Верьте моей искренности: ведь статья напечатана, что же мне к Вам подлизываться задним числом! Самое замечательное в статье — ее подъем, полет. Все летит и звенит. Первый поэт и прочее обо мне говорили и писали, как Вам известно. Но всегда удручающе бездарно — ни “первого”, ни вообще поэта не было видно. Для примера, у Вас есть статья Зинаиды об Атоме. А ведь она прямо бесилась от Атома и несколько воскресений у Мережковских говорила только о нем. И она же пустила в ход “первого поэта”. Она была умница, я безумно ее любил и уважал. Но все было как горох о стенку: могла бы и не восторгаться. Не говорю уже об остальных.

Совсем не значит, что я со всем с Вами согласен. В части, касающейся Атома, я готов возражать слово за слово. Но и возражать Вам, “как в море купаться”. Я не в форме. Отложу эти возражения — если желаете их узнать — до другого раза. Хочу закрепить главное: Вы чудесно написали, согласен я или не согласен. Настоящий читатель согласится — Вы его кладете на лопатки. И я — как читатель — прочел и перечел, насладившись, забывая того Георгия Иванова — которого, м. б., ошибочно, понимаю по-своему, — видя и принимая целиком — того Г.Ив., которого преподносит Гуль. Повторяю опять — грех, если Вы не напишете свою “Книгу отражений”. Или — может быть еще точнее — Ваши “Воображаемые портреты”. Ибо критика большого плана всегда “Воображаемые портреты”, и именно тогда она может быть восхитительно убедительной. Заметьте, что дуанье Руссо свои фантастически гениальные портреты консьержек и бедуинов писал, предварительно измеряя “натуру” сантиметром — он хотел быть академически объективным. Все это не значит, что в основном Вы преувеличиваете или искажаете. Напротив, как раз наоборот. Правда как раз у Вас. Вы насквозь чувствуете поэзию. Ваши цитаты безошибочны. Другое дело источники этих цитат. Тут я со многим готов спорить. Но это “обывательщина”, как говорил Мережковский о всем лично-частного порядка. Общее же у Вас гипнотизирующе убедительно, и следовательно, “остальное все равно”. Ведь так? Скажу так: поздравляю нас обоих — себя, что обо мне написано, Вас, что умеете — то есть что Вам дано — так писать.

Спасибо, дорогой друг. Я болен — не взыщите. Ответьте мне. Ведь последнее время от Вас все нет письма — ужо напишу. Так вот напишите. Извините за стиль и за почерк.

Ваш Жорж

17 мая 1953 года

Дорогой Георгий Владимирович,

Получил Ваше письмо, большое спасибо, Отчество мое — Борисович, вместо Николаевича, но сие не важно. Николаевич тоже есть — Р.Н.Гринберг (“Опыты”), с которым мы дружим (с ним).

Пойду по пунктам Вашего письма.

Отзыв о П.З.' — писал очень искренно. И рад, что Вам он был приятен. В частности, я не отмечал некоторых досадных неверностей. Почему Вы называете Клюева — Ник. Вас. (вместо Алекс.)? Потом, у Вас на стр. 171 — получается так, что в 1913 г. Рейснер говорит о Красной армии чека? В стихах Есенина вместо “дождь” — “день”; и вместо “пронеслась” — “замерла”. Вы не держали корректуру? Я не хотел об этом упоминать в рецензии, ибо в конце концов — не в этом же суть. Но это досадно. И читатель (литературный) это замечает. Может быть, это “Чехов” виноват? Он — могёт… Далее. Спасибо за отзыв о Кон. Рыж. Но разрешите — не поверить, чтоб на стр. “Возр.” мог бы появиться не только уж хороший, но даже приличный отзыв обо мне. Уж слишком я знаю — всю психопатию и злобность господина редактора. Он уж даже “высказался” о моей книге — что ее и издавать-то вовсе было не надо (это после того, как он мне в Париже — во времена нашей “дружбы”, когда он по субботам приезжал к нам завтракать и обсуждать все дела, — предлагал когда-то издать К.Р. вместе с его книгой — у него тогда появился какой-то издательский “шанс” в Германии). Ну да Бог с ним. Не пей из колодца — пригодится плюнуть. Ваш отзыв на страницах “Возрождения” меня теперь спортивно заинтересовал. Одним словом, их бин гешпаннт. Скажу Вам по чести — я очень хладнокровен к отзывам. Конечно, хороший приятен, но и на плохие не обижаюсь. Разумеется, Ваш отзыв был бы мне и приятен, и интересен. Очень тронут, что Ир. Вл. помнит что-то такое приятное для меня. А я — признаюсь — и позабыл. Но я вообще не из “ницшеанцев” (не из дорогих, не из дешевых) — не толкаю, не так скроен. Да и как толкать, когда мы сами все того гляди — упадем…

Всего хорошего! Дружески Ваш

Роман Гуль

Ирине Владимировне целую ручки.

25 мая 1953 г.

Дорогой Георгий Владимирович, — получено все. Стихи — чудесные. Сейчас пишу второпях, но все ж скажу об одной

ассоциации, которую они вызвали: “Васька Розанов в стихах”, много, много общего в “философии”, в “касании к миру”. Но сейчас дело не в “баснях”, а в чеке, который посылаю Вам с какой-то неимоверной стремительностью. Далее. Я говорил с М.М. и о прозе. Это можно тоже сделать. Стало быть — к сентябрьскому номеру шлите прозу (она может быть и вместе со стихами, сие одно другого не кусается).

Сердечный привет, Ваш Роман Гуль.

Ирине Владимировне целую ручки и с нетерпением жду повесть. Первая строфа В/ Дневника — просто гениальна — в ней такая магия — что физиологически хочется “грациозного”, да как_

13 шюня 1953 года

Дорогой Георгий Владимирович,

Письмо я Ваше получил, но несколько задержался с ответом. По причинам вполне уважительным. Во-первых, Я только на днях получил рукопись Ирины Владимировны. Ни прочесть, ни даже заглянуть — пока не в состоянии, ибо идет печатание кн. 33 — и Я замотан до чрезвычайности.. Постараюсь ее (с большим интересом — хочу) прочесть и высказать свое мнение Михаилу Михайловичу. Одним словом, с максимум благоприятствования и таким же интересом рукопись будет прочтена, и тут же Вам сообщу, как и что.

Теперь (идя по Вашему письму). Не удивляюсь, что какие-то “друзья” что-то там наговаривали Вам о моем отношении и прочее. Эта чесотка в литературных кругах вполне эпидемична. Врали, конечно. Одни врут, как чешутся, другие — злее — живут этим почесыванием. Ну да, как бы это сказать поэлегантнее… — скажем- Бог с ними (но подумаем круче). “Коня рыжего” я Вам выслал и думаю, что Вы его получили. В Н.Ж. о нем ничего не было (оцените — до чего мы скромны, до “стыдливости”).

Идем далее по В. письму. Между прочим, очень интересно то, что Вы пишете о Великом Муфтии', о его пометках на страницах Н.Ж. Хотелось бы прочесть. Кстати, он сам, без всяких встреч, разговоров и прочего — писал мне дважды или трижды — страшные комплименты относительно “Рыжего” (часть я опубликовал предисловием). Скажите, а читая, ругал? Между нами, по чести, — напишите, было бы интересно. Смешно. Я, как и Вы, философски и юмористически отношусь ко всем этим вещам и вещичкам.

Письмо Ваше, слава Богу, не похоже ни на А.Ф.[37], ни на Вас-Ал.[38] — А.Ф. пишет, как “порочный школьник” или даже как “Пьеро” — за кулисами. Черт знает что. Но — характерно. С

эдаким почерком в правительство брать людей просто было неприлично. Вот и подучилась… клякса… правда, говорят, что через сто лет Керенский — это тема для драмы. Верно. Только трудно тянуть-то эти вот сто лет.

Очень рад, что Вы уже пишете ”жизиь, которая мне снилась”. Прекрасно. Вот Вам и сила ЧЕКА (но не Че-Ка!)… В удаче Вашей веши — уверен. Я понимаю, что “прежние* П.З- Вас не удовлетворяли, и м. 6. даже раздражали. Последние главы — ведь совсем другое — по общему тону, по общему строю — крепче, проще, сильнее — и без “рококо”. “Рококо” пережито. Очень, очень жду В/? вещь. М.М. тоже очень рад этому.

В стихах Ваших уже было исправлено — “толковать”. Я ведь в набор сдал ВТОРОЙ список. Очень, очень хорошие стихи. Я люблю возиться — с “техникой” журнала. Я сверстал их сам очень хорошо. Только одно стихотворение разорвалось (со страницы на страницу). Все остальные — целехоньки (им же больно, стихам-то, их рвать нельзя).

Вас начнем с сентябрьской (это я принял в расчет). Но прозу И. В. можем начать только с декабрьской. Впрочем, если все будет устроено в смысле гонорара — то это значения большого иметь не будет. Все попытаюсь обговорить с Мих. Мих. Он — самодержец. Но очень конституционный. И мы с ним работаем очень хорошо и дружно. Транскрипцию карт д'идантитэ — принял во внимание. Вспомнил я эти карт д'идантитэ — и прямо рвать потянуло. Ведь тут ничего подобного, все по-человечески. Сошли на берег — и не видите никаких карт д'идантитэ, никакого Афганистана Парижской Префектуры, ничего. Вообще, хороша страна Америка! Очень! И у нас в Европе о ней были совершенно не те представления. Ну скажите, можете ли Вы себе представить, что по Бродвею бегают белки (самые настоящие), я живу возле Бродвея. Они перебегают Бродвей и бегут к Гудзону, где живут — в саду (у берега) и в аллее (набережной). Или — на Бродвее стая голубей — садится людям на плечи, на руки, когда люди эти их кормят. А таких старичков, старушек (и не старичков, и не старушек) множество. А как хорош этот самый Риверсайд Драйв — набережная по Гудзону — вся в зелени, на газоне, на луговинах можно валяться как хочешь, не то что “ферботен”. Одним словом, зря Вы не приехали в Америку. Жили бы тут во всяком случае не хуже (а уверен, даже лучше), чем в Монморанси.

Кончаю. Дружески жму Вашу руку. Ручки Ирины Владимировны целую. Ваш искренно: Роман Гуль.

2 *марта 1954 года*

Дорогой Георгий Владимирович,

Был очень рад получить от Вас письмо, а то я уж голову ломал, что такое, что за история? Правда, Вы “историю” так и не разъясняете, только “намекаете” о каком-то “гнезде” и о какой-то явно глупой и совершенно лживой сплетне. Для меня это настолько “как снег на голову”, что я даже и понять не могу, что — сплетено? Но я хочу знать, чтобы всякому вралю перекусить горло (я могу быть от мяса бешеным тоже! и как!). Если кто-то что-то выдумал и наврал, то это неспроста — есть такие в нашем литмире сволочи, которые только и заняты тем, как бы кого-нибудь

с кем-нибудь перессорить и пр. Вот и родятся творимые легенды, всегда глупые, но почти всегда достигающие цели. Вы вот в какую-то пущенную “черную кошку” — поверили. Я уже давно не верю. Я прямо хватаю эту самую черную кошку за хвост и за ноги и са-ди-сти-чес-ки бью ее о косяк. Дайте мне крови! Напишите, кто и что наврали — и я обидчика убью…

Дальше. Антологию высылаю Вам одновременно с этим письмом, но не все воздухом, ибо спешки нет. Насчет Цветаевой — горюю, сам взялся писать о ее чудесной прозе (не целиком, м.б., чудесной, но иногда — изумительной). Я ведь довольно долго дружил с М.И., у меня есть много интереснейших писем ее. Здесь Е.И.Еленева собрала все, что М.И. писала (тома на три прозы).

Насчет того, что “нас мало” — именно. Вот поэтому, когда брюсовские катакомбы уже наступили — “целиком и полностью”, — нам как-то надо держаться “насмерть” — хоть мертвыми, а стоять. Именно из этих чувств я и тороплю чеки Иванову и Одоевцевой — как воздух, как кислород. И М.М. в этом смысле всегда очень за Вас обоих. Присланное Вами и И.В. буду очень ждать и люблю заранее.

Хорошо, что Вы переехали в Париж — “ах, Кира, увези меня в Париж!” ' Быстрее обороты. Как получим материал, думаю, что чекушка не замедлит. Чекомания… О “Возр.” всю порнографию слышал (но, конечно, подробностей не знаю) — какой-то Витте иль св. Витт? Кто это? До такого святого Витта не доходил, кажется, и мой друг Мельгунов. Между прочим, у меня хорошая память (особенно на стихи, которые как-то всегда застревают — хорошие, конечно). Или нехорошие — тоже. Петербургскую поэзию Вашего времени знаю довольно неплохо. Но вот никогда не видел и не читал Вашу старую книгу — “Па- мятник славы”. На днях был в Паблик Лайбрери — наткнулся, взял и прочел. Это, конечно, плюсквамперфектум. Но было занятно прочесть… здорово нас жизнь помыкала и вымыкала.

Ну, кончаю. Целую ручки Ирины Владимировны, крепко жму

Вашу. Ваш дружески — исполнительный член редакции Р. Г.

12 июня 1954 года

Дорогой маэстро, только что получил Ваше письмо и стихи. И как раз наступило время относительной свободы в делах и суете. Отвечу Вам подробно обо всем. Первое, не писал Вам, ибо был оч. занят с очереди, номером (а кроме того — других дел куча). Понял, что Вы не пришлете к этому номеру.

И от прозаика слышит поэт:

Сроки пропущены!

Сроков нет!

Но надо решить вопрос: будете ли Вы вообще писать? Об Антологии? Почему нет? Нехорошо трусить, маэстро! Нехорошо… Чек я Вам вышлю. Скоро. Слово чести. Но я хочу с Вами поговорить по душам. Я не знаю, кто Вы — Немирович-Данченко или Станиславский? В мемуарах Данченко есть хороший штрих. Ужинали они в “Праге” (исторический ужин — основание МХТ). И под конец, уходя, Немирович мимоходом говорит: будем, стало быть, вместе работать и давайте говорить всегда друг другу правду. И неожиданно для Немировича — Станиславский вдруг как вскинется: нет, только не — правду, ради Бога, я правды не выношу и пр. и т. п. Так вот, кто Вы? Станиславский? Все равно — я Немирович — и хочу Вам сказать, что думаю, ибо это “для дела” нужно. Вы знаете, как Н.Ж. относится к Вашим стихам. “На большой палец!” Так вот — говорю честно — я оч. был рад, что Вы опустили два стихотворения из первого присыла. Но это еще не все, маэстро! Надо опустить (дружеский совет) еще одно: “Помер булочник сосед”. М.б., Вы вскрикнули, маэстро, — ах, Гуль, ах, сволочь, ах, е. т. м… Может быть. Но верьте мне, дружески говорю — это “бяка”: “Пил старик молодцевато — хлоп да хлоп — и ничего”. Да что Вы, маэстро, разве это Вы? Зачем же Вам ни с того ни с сего формально снижаться? Упаси Бог и святые угодники, этого совсем не надо. Вы знаете, и это не только мое мнение (а у Гуля — верьте — слух почти абсолютный, ей Богу!). Один человек, оч. любящий Ваше творчество — прочел это стихотворение (вместе с другими) и сказал: ну, кажется, уж доходим до частушек. Маэстро, у Вас, кажется, опять сорвалось — Гуль, сволочь, ах, и т. д.… Но Вы все-таки не правы. А этот человек-то — прав. Дружески рекомендую и прошу — скиньте со счетов — нехорошего этого старика, который и пить-то не умеет вовсе, ну его к черту.

Далее. Переходим к следующему пункту повестки. Посылка Вам — будет беспременно. Вся задержка была в занятости жены. Это она ведает, а она была нездорова и пр. Мне известно, что для

Вас уже лежат: пальто драповое, синий костюм летний, рубахи, что-то еще из белья и ботинки (как Вы любите, без завязок, к черту завязки, это здесь называется “лоферы”), галстуки. Но ничего еще нет для И.В. А американка наша милая уже в деревне. Но клянемся, что из деревни пойдет (там доставать все это гораздо легче, оттуда вещи Вам и ушли в прошлый раз). Так что и отсюда пойдет Вам. И из деревни.

То, что помирились с Адамовичем — хорошо. Лучше же мириться, чем ссориться, тем более, что Адамович… на российский престол не претендует и вообще человек умный. Кстати, поговорите с ним — может, он напишет ч.-н. для Н.Ж. Редакция Н.Ж. ничего не имеет против Адамовича. В Берлине в свое время ходил такой анекдот: торгпредство ничего не имеет против Рабиновича. А Рабинович имеет дом против торгпредства. Итак, поговорите с ним. Нам интересней — темы литературные, *а* не философические. Может быть, он напишет — по поводу статьи Ульянова? Я в статье о Цвет, тоже касаюсь Ульянова и его темы. Мне представляется нужной эта тема — пусть мы стары, пусть мы уходим — но даже “баттан ан ретрэт” — надо бить наступающего хама… Согласны?

Итак, Георгий Владимирович, подумайте об антологии и отпишите мне, пожалуйста, будете ли писать. Подумайте и о статье по поводу Ульянова. А — нет. Поговорите с Адам. Пусть он этим “начнет карьеру” в Н.Ж. К тому же мы и платим что-то. Не только слава, но и добро…

О книге И.В. хочет написать Юрасов. Мне представляется это интересным. Он — новейший эмигрант. И ему книга оч. понравилась. Он сказал мне, что с большим удовольствием напишет. Ну, кажется, написал обо всем и заслужил тем всяческие индульгенции. Когда-нибудь напишу Вам, как за три недели до смерти наш Великий Муфтий ″ писал мне — “обожаю подхалимаж, как Сталин. Даже больше, чем Сталин”. И с эдаким “легким” посошком отправился в загробное странствование. Ох, грехи наши тяжкие-

Сердечный привет, дружески Ваш Роман Гуль

И.В. целую ручки.

27 шюня 1954 года

Дорогой Георгий Владимирович, ну вот мы с Вами и в конфликте. Как скоро прерывается наша дружба! И все из-за камбалы и кенгуру…

Нет, нет, маэстро, камбалу

Я не отдам Вам в кабалу!

Иду к старейшему еврею,

Он открывает Каббалу,
И чудодейственно лелея,
Нам дарит Вашу камбалу!

В чем же дело? Да в том, что я был очень рад, что Вы сняли многое из первого присыла, но — кенгуру и камбалу — не отдаю. Как хотите. Почему? Вы говорите, что кенгуру это не “На холмы Грузии”, не “Еду ли ночью по улице темной” (две первых строки), не стихи Некрасова к Панаевой. Допустим, Вы правы. Но в кенгуру такое “милейшее уродство” и такое “веселое озорство” — что убивать их никак не возможно. Протестую. Хочу их увидеть напечатанными. К тому же “вертебральную-то колонну” надо же подарить русской литературе, до этого — у нее ее не было. Я разыгрываю сразу несколько варьянтов. Понимаю, что теперь — в этом “Дневнике” — кенгуру будет не к месту. Хотя… Это не сказано… Может быть, даже наоборот, такая “запятая” будет очень недурна! Было же раз — “полы моего пальто”? И даже имело потрясающий успех… у Мельгунова. А кенгуру и камбала будут иметь в этом же кругу — совершенно ошеломительный успех. Давайте “похамим”, элегантно, но элегантно. Предлагаю Вам вставить кенгуру. Это один варьянт. Другой такой. Когда я прочел впервые кенгуру и в него “влюбился без памяти”, то я подумал, что этот стих написан в четыре руки. Мне показалось, что первоначально его набросала Ир. Вл. — а потом Вы кое-что прибавили, рамку. И вот у меня мелькает мысль, м.б., И.В. нас помирит? М. б., она возьмет этих милых зверей под свою высокую руку и от ее имени мы их тиснем в след, книге? Ирина Владимировна, вы как? Не слышу? Что? Согласны? Тогда — единогласно! И первоклассно! Но не слышу через океан — очень шумит… Дабы засвидетельствовать мою полнейшую искренность в отношении кенгуру — предлагаю Вам даже посвятить их “Р.Б.Гулю”. Ей-Богу. Конечно, было бы еще правильнее посвятить их Мельгунову или Тырковой. Это была бы, правда, “пощечина общественному вкусу”. Но было бы неплохо. Но если Вы посвятите кенгуру Гулю — то Мельг. будет хохотать до колик — и всем будет показывать, всем тыкать — “до чего Гуль и Иванов довели НЖ — из лошади сделали верблюда”. Это — забавно. И безобидно. Одним словом — жду ответа — чтоб конфликт не перезрел из-за этих животных черт знает во что. Нет, ей-Богу, подумайте и давайте напечатаем кенгуру (это вроде как анчоус на гренке с черносливом — после всяческих десертов)…

Далее. Посылка ушла дня три-четыре назад. Перечислю вещи: пальто-драп (черное), костюм синий летний (его, мне думается, придется покрасить, он слегка выгорел, но костюм цельный); ботинки — лоферы черные, какие-то носки, платки; ботинки

белые для Ир. Вл., для нее костюм летний, явно требующий переделки, ибо размер, кажется, не ее, и еще какая-то мелочь для Ир. Вл. Вот, по-моему, все. Только давайте по простоте. Вы понимаете, что посылать ношеные вещи — неприятно. Было бы приятно — прийти к Бруксу — и заказать посылку на 1000 долл. всяких “уникумов”. И поэтому — Вы просто пишите, то-то, мол, никуда не годится, то-то, мол, — ничего, то-то выкинули, то-то пришлось. А мы будем рыскать. Из деревни, м. б., ч.-н. приглядим. Там есть в одном городке, куда мы ездили с миссис Хапгуд часто, такое симпатичное заведение. Прошлогодние вещи были оттуда. Ледерп-лекс — пришлю просто по почте. Я сам его ел. Но сейчас ем другое — “Клювизол” — канадское какое-то средство — комбинэйшен витаминов с железом и пр. До Америки не ел никаких “вайтаминс”, а тут все едят, даже неприлично, если не ешь. И действительно, вещь стоящая, прекрасная. Пришлю.

Ну, кажется, на все серьезное ответил. Сейчас обрываю, ибо надо укладываться. Итак, до свиданья! Дружески Ваш Роман Гуль.

18-го июля 1954 г.

Дорогой Георгий Владимирович,

Ваше интересное письмо (и одно стихотворение — прелестное) получил в глуши Массачузетса. Большое спасибо. Стих ушел в набор вместе с Камбалой. Поразмыслив, думаю, что не надо Камб. мне посвящать, я секретарь редакции, Вы писали обо мне отзыв, я писал о Вас — не стоит дразнить гусей. Повременим, так будет лучше.

Понимаю от души Вашу нелюбовь к “умственному труду”. Я жене все твержу, что хотел бы “собак разводить” — чудесная промышленность и очень симпатичная, но ничего не поделаешь, надо “в общество втираться”, хоть и тяжело.

Кстати, сегодня в своем лесном “стюдьо” — взял “Оставь надежду” и насмерть зачитался, оч. завлекательно построено и здорово написано. Прочту запоем. Рецензию устроим хорошую. Если Юрасов не напишет (он хотел), то сделаем иначе — м. б., “своею собственной рукой”. Простите, что не выслал еще ледерплекс. Это потому, что все не были еще в нашем уездном городе — Атол. А тут в глуши нет этих веществ. Но в первый же выезд — я куплю и вышлю.

О Набокове? Я его не люблю. А Вашу рецензию (резковатую) в “Числах” не только помню, но и произносил ее (цитировал) жене, когда читал “Друг, берега”. Ну, конечно же, пошлятина — на мою ощупь, и не только пошлятина, но какая-то раздражающая пошлятина. У него, как всегда, бывают десять-пятнадцать прекраснейших страниц, читая кот. Вы думаете — как хорошо,

если б вот все так шло — было бы прекрасно, но эти прекрасные страницы кончаются и начинаются снова — обезьяньи ужимки и прыжки — желанье обязательно публично стать раком — и эпатировать кого-то — всем чем можно и чем нельзя. Не люблю. И знаете еще что. Конечно, марксисты-критики наворочали о литературе всяческую навозную кучу, но в приложении к Набокову — именно к нему — совершенно необходимо сказать: “буржуазное” искусство. Вот так, как Лаппо-Данилевская. Все эти его “изыски” — именно “буржуазные”: “мальчик из богатой гостиной”. А я этого не люблю. И врет, конечно — и бицепсы у него какие-то мощные (какие уж там, про таких пензенские мужики говорили — “соплей перешибешь” — простите столь не светское выражение). Вообще, я к этой прозе отношусь без всякого восторга. И честно говорю: не мог читать его книги. Возьму, подержу, прочту стр. десять — и с резолюцией “мне это не нужно, ни для чего” — откладываю. Прочел только — с насилием над собой — две книги (обе в деревне, летом): “Дар” в прошлом году, “Приглашение на казнь” (в деревне во Франции). Не могу, не моя пища. Кстати, мелочь. Не люблю и его стиль. Заметьте, у него неимоверное количество в прозе — дамских эпитетов — обворожительный, волшебный, пронзительный, восхитительный, и дамских выражений — “меня всегда бесит” и пр. О нем можно было бы написать интересную “критическую” статью. Но это работа. А мы больше бы — “собак разводить”. Спасибо за лестные слова (Ваши и И.В.) о статье о Цветаевой. Мне думается, что статья ничего себе. Еленева ей была растрогана потому, что — “в ней настоящая Марина” — а она ее оч. любила. М. б., она и права. Ах, Марина — непутевая была покойница и бешеная… но тем и хороша. Хочу написать теперь об Эренбурге (за всю работу в Н.Ж. — уже больше двух лет — о Цвет, написал первую статью; видите, неопровержимое подтверждение, что — “собак разводить”). Да и то меня друзья ругают, говорят, что стыд и позор — ничего не пишу. Дела, дела загрызли… И все хочется *дышать, я* не писать, *идти* куда-нибудь (все равно куда), а не сидеть за письменным столом, *молчать* и *не думать* (а иногда и думать) — а не читать, вообще — *быть,* а не существовать. А *быть* трудно в наши дни и в нашем положении.

Ну, наконец, крепко жму Вашу руку. Целую ручки Ир. Вл. Ваш Роман Гуль.

20 января 1955 года

Дорогой Георгий Владимирович,

И Вас — с Новым годом! Получил Ваше письмо. И совершенно согласен с Вашим предложением: принимаю

единогласно! Будем в Новом году вести себя хорошо. Насчет того, что я снял посвящение с камбалы — прошу прощенья. Но дело в том, что я с детства не люблю рыбы. Ей-Богу. А вообще я был бы, конечно, очень польщен Вашим посвящением. Только чур не на рыбьем, а что-нибудь такое — чудесное, лирическое.

Дружески Ваш: Роман Гуль

28 февраля 1955 года

Дорогой маэстро,

Был очень рад получить от вас письмо. И еще больше —

Рад тому, что живете в Варе,

Что играете на гитаре,

Что бесплатен и стол, и кров,

И от Вара далек Хрущев!

Но еще больше тому, что М.М. Карпович выхлопотал Вам прекрасную подмогу, которая докажет Вам, что жизнь прекрасна вообще, а в Варе в частности. Я не ответил Вам быстро, ибо я очень занят, так занят, как Вы ни когда не были заняты в жизни. Хотя, может быть, в те времена, когда Вы в желтой гостиной какого-то клена принимали какое-то общество, — может быть, тогда Вы и бывали заняты, но не тем, чем занят я “на сегодня”, как пишут в советских газетах. Нет, правда, без шуток. Очень занят и очень устал. Кстати, с мюнхенской станции “Освобождение” пойдет мой скрипт, кот. я послал как-то недавно — о Вас, жуткий маэстро. Признаюсь — уточним — о Вас передавать в страну “победившего социализма”, конечно, невозможно. Вы же развратитель пролетариатов и можете их разложить… Но именно поэтому и оцените мою гениальность, как я подал Вас — я передал небольшой отрывок о Мандельштаме из “Петербургских зим”, предпослав рекламное (Вам) предисловие: “друг Анны Ахматовой и Николая Гумилева, Георгий Иванов по справедливости считается лучшим русским поэтом за рубежом”. Хорошо? Надо бы лучше — да некуда. И славу Вам даем, и деньги, и все, что хотите, а Вы все нас презираете, и только, как Петр Ильич Чайковский с бедной этой (как ее) Марфы Елпидифоровны фон Мек — все требуете кругленьких и кругленьких… А наши-то труды — без оных ведь? Это грустно. Хорошо всегда, когда за эпистолярным трудом стоит эта возможность получения кругленьких — и стиль становится резвее. Нихт вар? Это Вам не Вар (просто).

Кстати, где же Вы? В русском (публичном?) доме? Нет, правда, напишите, это, вероятно, детище Роговского? Одно время детище было красноватым, теперь, наверное, — не так уж чтобы.

Вы интересуетесь моей болезнью? Ну, как Вам сказать, я рад

бы был так еще полежать. Лежал прекрасно, первоклассно, уйти я вовсе не хотел! Госпиталь был чудесный — и с телефоном, и с радиоаппаратом — и китаяночки вас обмывают каждый день, и негритяночки натирают через день. Вообще, чудо века. Теперь бегаю, как молодой. До поры до времени. “К чему скрывать?” Кстати, Завалишин (чтобы не забыть) говорит, что “Распад атома” у него и письмо Гиппиус у него. И что если б Вы ответили ему своевременно, то заработали бы деньги, он парень очень милый и теперь более-менее трезвый. Если Вы напишете ему письмо (а можете просто для него вложить это письмо в то, которое Вы пошлете мне — зовут его Слава, или Вячеслав Клавдиевич, что то же), чтоб он передал книгу и слова Гиппиус мне, он передаст. А нам это надо — для статьи о Вас, которая будет. Я даже думаю, не трахнуть ли мне о Вас эдакий памятник! Могу. Но как быть с гостиной желтого клена, Ваше Сиятельство? Ее придется забыть, пожалуй. Начнем — с заграницы, а прежнее — заштрихуем. Так?

Итак, умер Ставров, умер Кнут — да, года идут, идут. Ставров был на год старше меня, а Кнут и вовсе был мальчик, что-то под пятьдесят, кажется…

Поблагодарите Юрасова, он написал прекрасную рецензию, на которую обратили внимание множество человечества. Ей-Богу! Мой друг, Марк Вениаминович Вишняк (с которым очень дружим) звонил и сказал, что самая интересная рецензия в номере! Вот до чего прославили, а все зря, все ни к чему, барыня опять недовольны. Итак, шлите все, что хотите, все будем печатать крупным шрифтом, вразбивку — курсив наш (отдай ему его курсив! говорит, кажется, Остап Бендер).

Теперь две строки всерьез: выходит Мандельштам, хотите написать о нем? Но только *без неправды*. Если Вы не обманете нас, а напишете, то я Вам тогда пошлю. А не напишете, так и не просите. Думаю, что о Мандельштаме Вам все книги в руки. Это было бы очень интересно. Но ведь беда-то в том, что Вы неверный человек. С Буровым наверное куда верней, а нас, как народников-интеллигентов гуманитарного пошиба, — презираете.

Одним словом, кончаю. А мечтаю, знаете о чем: о деревне Питерсхем, куда хотим завалиться в этом году пораньше — ах, как там здорово. Написал бы Вам о лесе, о зорях, о птицах, но знаю, что Вы урбанист, и робко смолкаю.

И.В. — привет! Крепко жму руку, Ваш Роман Гуль

14 мая 1955 *года*

“Сквозь рычанье океаново
Слышу мат Жоржа Иванова”

Дорогой Георгий Владимирович, некоторые литературоведы-шкловианцы настаивают, что во второй строке в слове “Жоржа”

ударение должно быть на последнем слоге, другие — социалистически-реалистического направления — утверждают, что ударение должно быть на первом слоге. Я, собственно, склоняюсь к шкловианцам. При таком ударении создаются всяческие океанские (и не только океанские) ассоциации с “моржом” и пр. И так — лучше, по-моему. Теряюсь в догадках, что больше понравится Вам. Но вообще строки — “на ять”.

Итак, получил Ваше письмо. Вы совершенно правы, когда, негодуя и любя, упрекаете меня в столь глубокой паузе. И писать письма — крайне желательно, но трудно. Но мы Вас никак не забываем, в чем Вы и И.В. можете убедиться, глотая витамины ледерплекс каждое утро — под соловьиные трели и прочие прелести Вашего чудесного Вара. Но больше того. На горизонте появляются и другие доказательства дружбы в виде — наконец-то: рыжих лофе-ров, мокасинов и прочего. Но это требует совершенно особой баллады об американском графе. Этого американского графа Бог сотворил так, что все с него — тютелька в тютельку на Вас. И для того, чтобы послать Вам лоферы и прочее, надо было разыскать графа и доказать ему, что он должен — в Вашу пользу раздеться. Граф не возражал и, как всякий граф, был демонски хорош при этом. И вот 10 мая к Вам ушла небольшая, но не без приятности посылка *с* вещами этого самого американского графа. В ней — рыжие лоферы и мокасины (для неграмотных — легкие туфли индейского “стиля, носимые в Соединенных Штатах Америки, а также и в других странах). Серый костюм — легкий, летний, совсем легкий, совсем летний — специально для соловьев, для роз, для неутруждаемых плечей поэта. Костюм этот у графа только что пришел из чистки, так что его надо только выгладить. Далее две рубахи — какие рубахи граф положил — не упомню. Три галстука, из которых один галстук граф отдавал не без рыданий. И последнее — такой конверт из пластики, и в нем пальто из пластики на случай дождя, если таковые идут в Варе. К этому самому пальто приложен скач тайп, то есть такая клейкая бумажка, но это не бумажка, а только похоже на бумажку, это пластика, и если где надо будет со временем починить это непромокаемо-непроницаемое пальто для дождя, то — вот именно этим самым скач тайпом. Вы посмотрите только, какой это граф — миляга, внимательный, хоть и забубённый. Да, и две пары носков. Вуаля, се ту… Большего у графа отнять никак не мог. Граф стал упираться, хныкать, ругаться. И я решил оставить его пока что в покое — до следующего налета. Но граф оч. просил (странные бывают эти графы), чтоб я ему доподлинно сказал, что и как Вам подошло, чем Вы довольны и вообще все такое прочее. Так что

будьте уж любезны, маэстро, когда получите, напишите. Получите, вероятно, к самому сезону жары — числа 15–20 июля. Вуаля. Точка.

Теперь переходим к пустякам, то есть к поэзии и к прозе. Вы грозитесь прислать всякие вкусные и чудные вещи. Мы в восторге. Но почему так небыстро? Прислали бы Вы к сентябрьской книге, вот это было бы правильно, а Вы хотите чуть ли не к декабрьской, под самый занавес, так сказать. Поторопитесь, маэстро. И стихи, и прозу. Будет чудесно. И всем приятно. Если Вы уже написали балладу о дружбе через океан — то пришлите и ее для воспроизведения. В ответ на начало моей баллады, кое даже приведено как эпиграф к этому месиву. Итак, идем дальше. О статье

0 Вас Вы знаете, я готов. То есть готов написать. Еще не решил как — в линии ли статьи о Цветаевой или в линии статьи об Эренбурге (в поел. кн. Н.Ж.). Но готов. Внутренне готов, *знаю, что* написать (уже есть в душе “мясо” этой статьи). Но беда-то в том, что у меня нет материалов. Есть только “Распад атома”. Причем Вы не правы, сейчас меня не стошнило, меня стошнило гораздо раньше, когда “Распад” только что вышел. Ты опоздал на двадцать лет… и все- таки тебе я рада. Нет, без шуток, хоть и тошнит, но “Распад” — ценю очень. Но вот как со стихами? У меня нет ни чего. Я ведь из тех, кто не собирает никаких книг. “Маэстро, я не люблю музыку”{39}. А для того, чтобы вжиться в Вас — нужно же начитаться. Здесь достать — едва ли ч.-н. смогу. М.б., Вы мне пришлете заказным пакетом (простой почтой). А я Вам также заказно верну все в целости и сохранности. Допустим, что ранних стихов не надо (кое-что помню), но нужно все, что было издано за границей. Беспременно. Без этого нельзя. А я бы, поехав в июле (первого) опять в тот же лес, в то же стюдьо, где жили с женой в прошлом году (Питерсхем) — там вот бы и написал статью, как надо. *Историческую.* Ну, как — “Менцель — критик Гете” или ч.-н. такое добролюбовское. Ей-Богу. Даже знаю, с чего начну. Не догадаетесь — с цитаты из Михайловского, да, да — насчет этики и эстетики (про Каина иАвеля). Не пугайтесь, не пугайтесь. Вы, конечно, будете Каином, я Вас не оскорблю никакой неврастенией… Ну, таккак же? Можете мне помочь в этом монументальном всечеловеческом деле? Попробуйте. Главное, не бойтесь прислать. Я верну все до ниточки. Я аккуратен, как Ленин (ненавижу эту собаку, но знаю, что он был оч. аккуратен, даже педантичен). Итак, жду от Вас ответа, как соловей лета. Чеховское изд-во еще живет, еще вздыхает и официально до 1956 года (сентября) будет жить. Так говорят. Но, м. б., будет жить и дальше, говорят, что они скопили (смешное

слово! сколько выкинули псу под хвост!) какие-то деньги, кот. им разрешат, м. б., прожить еще. Так что еще не все надежды потеряны. Пишите, пишите. Рад, что отзыв Юра-сова понравился И.В. Это гораздо лучше, чем если бы писал я. Одним словом, “Новый журнал” имеет честь просить Вас обоих оказать честь его страницами и присылать все, что сочтете нужно-возможным.

За сим сердечно и дружески Ваш: Гуль-американец.

Сердечный привет Ир. Вл.

Я все мечтаю выпрыгнуть — устроить что-нибудь в кино иль на театре. А то как работать и жить “надоело стало”, как говорил один немец, переводя с немецкого lang-weilich geworden.

Ваш Роман Гуль.

В ответ на это письмо пришла открытка с изображением авеню де Бельжик в Hyères, где жили Г.Иванов и И.Одоевцева, а на другой стороне такое стихо Г.Иванова:

Сквозь рычанье океаново
И мимозы аромат
К Вам летит Жоржа Иванова
Нежный шепот, а не мат.
Книжки он сейчас отправил — и
Ждет, чтоб Гуль его прославил — и
Произвел его в чины
Мировой величины
(За всеобщею бездарностью).
С глубочайшей благодарностью
За сапожки и штаны.
Г.И.

. *Hyères, 24 мая 1955 г.*

Ленин и “Архипелаг ГУЛАГ”

Мир с Брежневым — это война с Солженицыным.

Сальвадор де Мадаръяга

Злая и преступная воля есть воля безумная
и именно поэтому гибельная.

С.Франк

1. ЗАРОЖДЕНИЕ “ИДЕОЛОГИИ”

По-моему, эта книга А.И.Солженицына — великая книга. Впервые за страшные, кровавые полвека она предлагает *всему миру* ознакомиться с бесовской, инфернальной сутью большевизма как не только русского, но мирового зла. “Архипелаг” написан с великой человечностью, с великой искренностью, ярким словом и с подачей подавляющего всякое воображение, огромного фактического материала. Всякому читателю “Архипелаг ГУЛАГ” предметно показывает, чем в своей уродливо-марксистской дикости была пресловутая октябрьская революция Ленина. И чем были Ленин и ленинцы — как люди — этот человекоубийца в окруженьи убийц. Обычно по “интеллигентской трусости”, по так называемой псевдонаучной “исторической объективности” Ленина и ленинцев называют коммунистами. Но этот термин мертв и глуп. Он не определяет ни Ленина, ни ленинцев в их человеческой натуре. Мы привыкли к планетарной лжи. Для Ленина и ленинцев есть настоящее определение, это — “гангстеры с идеологией”.

Литература о Ленине громадна. Советская — преимущественно лжива. В ней Ленин подрумянен и макийирован, как покойник в американском “фюнерал хаузе”. Но есть и правдивая русская литература о Ленине. За рубежом. Здесь люди свободно писали о Ленине, и люди, его хорошо лично знавшие. Есть воспоминания о Ленине, характеристики, статьи, письма. Упомяну хотя бы главных русских авторов: П.Б.Струве, Бердяев, Валентинов, Мартов, Войтинский, Нагловский, Авторханов, Алданов, Шуб; в печати меньшевиков, левых эсэров и просто эсеров — много материала для портрета Ленина — и политика и человека. Надо, чтобы кто-нибудь из русских зарубежных библиографов выпустил, наконец, зарубежную “лениниану”. Не говоря о материале на иностранных языках. Говорю только о русском.

Советской пропагандой (и подсобной, пятоколонной, иностранной) внушается, что Ленин и гигант, и гений. Пусть так. Мы этого не оспариваем. Только это гигантство сродни гигантству прославленных “боссов” подпольного мира, вроде Аль Капоне, и уж, конечно, сродни гигантству и гению Гитлера. Организация Объединенных Наций, эта малоуважаемая международная организация, пыталась провозгласить Ленина “великим гуманистом”. За полвека, от которого “кровавый отсвет в лицах есть”, мы привыкли к разным махинациям. Но мы, русские, знаем, *что такое большевизм* и что представлял собой

Ленин как человек и политик — это воистину апокалиптическое чудовище, своей революцией убившее шестьдесят миллионов людей в России и покушающееся руками своих последователей, отечественных и всесветных тупамарос, “угробить” еще больше миллионов людей во всем мире.

В “Архипелаге ГУЛАГ” Солженицын о Ленине пишет мало. И мало цитирует “гения”. Может быть, он не хотел чересчур дразнить гусей? Ведь свою замечательную книгу Александр Исаевич писал и написал в рабовладельческой империи Ленина, живя в городе, где стоит постыдный для всякого мыслящего человека МАВЗОЛЕЙ с восковой куклой вождя, куда до сих пор водят стада дураков-туристов и гоняют отечественные “экскурсии” — смотреть на *останки марксизма-ленинизма.*

Когда-то французский якобинец Камилл Демулен (тоже личность вполне кровавая), обращаясь к французам, говорил, что так называемые “великие люди” только оттого кажутся им “великими”, что они созерцают их, стоя на коленях. “Так встаньте же!” — восклицал Камилл Демулен. И тут он был, разумеется, прав. Солженицын давно порвал с подобным коленопреклонением. Но сколько людей, как, например, Рой Медведев, все еще никак не могут встать с колен перед Лениным. А многие из них даже и не хотят встать, считая, что жить на четвереньках удобнее, чем стоять во весь рост. “Четыре ноги — хорошо. Две ноги — плохо”, — писал Орвел в знаменитом “Скотском хуторе”. Но Александр Солженицын — перед всем миром! — встал во весь рост! Во весь свой богатырский рост!

С умной иронией Солженицын пишет о Ленине: “И хотя В.И.Ленин в конце 1917 года для установления “строго революционного порядка” требовал “беспощадно подавлять попытки анархии со стороны пьяниц, хулиганов, контрреволюционеров и других лиц”, т. е. главную опасность Октябрьской революции он ожидал от пьяниц, а контрреволюционеры толпились где-то там в третьем ряду, — однако он же ставил задачу и шире. В статье “Как организовать соревнование” (7 и 10 янв. 1918 г.) В.И.Ленин провозгласил общую единую цель *“очистки”* земли российской от всяких вредных насекомых”. И под *“насекомыми”* он понимал не только всех классово чуждых, но также и “рабочих, отлынивающих от работы”. (Вот что делает даль времени. Нам сейчас и понять трудно, как это рабочие, едва став *диктаторами,* тут же склонились отлынивать от работы для себя самих). А еще: “в каком квартале большого города, на какой фабрике, в какой деревне <…> нет <…> саботажников, называющих себя интеллигентами > Правда, формы очистки от насекомых Ленин в

этой статье предвидел разнообразные: где посадят, где поставят чистить сортиры, где “по отбытии карцера выдадут желтый билет”, где *расстреляют тунеядца;* тут на выбор — тюрьма “или наказание на принудительных работах тягчайшего типа”. И дальше Солженицын продолжает с той же иронией: “И невозможно было бы эту санитарную очистку произвести <…> если б пользовались устарелыми процессуальными формами и юридическими нормами. Но форму приняли совсем новую: *внесудебную расправу,* и неблагодарную эту работу самоотверженно взвалила на себя ВЧК — Часовой Революции, единственный в человеческой истории карательный орган, совместивший в одних руках: слежку, арест, следствие, прокуратуру, суд и исполнение решения”.

Тут Солженицын чуть-чуть не прав. Такие “органы” в истории бывали. У Гитлера было гестапо с “внесудебными расправами”. В XII–XV веках “внесудебно” расправлялись трибуналы испанской инквизиции. “Органы расправы” существуют у Мао Цзе Дуна. А в частном порядке существуют в американском преступном мире, так называемом Organized Crime. Во всяком сообществе, целью которого является грубое насилье над людьми, “органы расправы” рождаются автоматически. Но прав А.И.Солженицын в том, что по террористическому размаху и числу миллионов жертв созданный Лениным “Архипелаг ГУЛАГ” превзошел в мировой истории всё. Но так как Солженицын о Ленине все же недостаточно, по-моему, говорит, я думаю — надо кое-что сказать об этом человеке дополнительно.

По своей природе Ленин был насильник, маньяк самовластья, маньяк именно — его — неограниченной власти. До революции в большевицкой партии он было мало того что диктатор, он был “непогрешим”. И когда пришла революция, Ленин в октябре полез напролом к власти своей партии, то есть к его власти уже во всей стране. И он захватил эту власть, подмяв под себя немногих из своих еще колебавшихся “не социалистов, а мошенников”, как их гениально определил Достоевский в “Бесах”. Знаменательно, что основоположник русского марксизма, и в этот отношении “учитель” Ленина, Георгий Валентинович Плеханов при известии о захвате Лениным власти в отчаяньи сказал: “Пропала Россия, погибла Россия!” Плеханов как никто знал Ленина.

Основатель Чехословацкого государства Томас Масарик в книге “Идеалы гуманизма” так определял свой социализм: “Мой социализм — это просто любовь к ближнему”. Масарик любил и человека, и его свободу, он хотел служить людям. Поэтому в свое время и был близок к Льву Толстому. Ленина же и его “шайку” —

Пелагеи, Марьи, Иваны, Петры — не интересовали ни в какой степени: ни они как люди, ни тем паче их свобода. Ленинская шайка в октябре бросилась только к властвованию над людьми, к подавлению народа своим ничем не ограниченным самовластьем. Конечно, среди большевиков были и так называемые “идеалисты”, к уголовщине Ленина не склонные. Был старый большевик Ольминский, осмелившийся написать: “Можно быть разного мнения о красном терроре, но то, что сейчас творится, этот вовсе не красный террор, а сплошная уголовщина”. Был большевик Дьяконов, попробовавший напомнить Ленину и его шайке: “Разве вы не слышите голосов рабочих и крестьян, требующих устранения порядков, при которых могут человека держать в тюрьме, по желанию передать в трибунал, а захотят — расстрелять”. Были даже такие, как Тимофей Сапронов, на IX съезде партии крикнувший Ленину — “невежа!..олигарх!” Но все эти, по Ленину, “дурачки” и несмышленыши кончили плохо: раньше или позже их всех расшлепали несгибаемые ленинские неандертальцы.

Я полагаю, что некоторых из читателей, настроенных “прогрессивно”, будут шокировать мои слова “шайка” и “уголовные преступники” в приложении к Ленину и ленинцам, которых на языке “научного социализма” надо называть “марксистами”. Но что тут поделать, определения эти не мои. “Шайка” — это определение известного левого социал-демократа интернационалиста Юлия Осиповича Мартова (Цедербаума), долголетнего личного друга Ленина, соратника по “Искре”. Он был одним из двух социал-демократов, с которыми Ленин был на “ты” (второй был Кржижановский). С Лениным Мартов основывал РСДРП. Так вот, еще в 1908 году Мартов писал Аксельроду: “Признаюсь, я все больше считаю ошибкой самое номинальное участие в этой разбойничьей шайке”. А его адресат, Павел Борисович Аксельрод, столь же известный основоположник РСДРП, в 1918 году писал о Ленине и ленинцах: “…не из политического задора, а из глубокого убеждения я характеризовал десять лет тому назад ленинскую компанию как шайку черносотенцев и уголовных преступников <…> Такого же характера методы и средства, при помощи которых ленинцы достигли власти и удерживают ее”. Кстати, и Петр Бернгардович Струве определял большевизм как черносотенный социализм и как смесь западных ядов с истинно русской сивухой.

Итак, в приложении к создателю “Архипелага ГУЛАГ” и его палачам я обелен в своей терминологии и Мартовым и Аксельродом. Характерно, что совершенно так же характеризует шайку ленинцев выдающийся советский ученый Анатолий

Павлович Федосеев, только в мая 1971 года бежавший из Совсоюза. В сборнике статей “Социализм и диктатура” он пишет, что ленинизм привел “к захвату власти проходимцами и подлецами, не стесняющимися в средствах для удержания власти”.

Как все люди Запада, и американцы не понимают сути большевицкой шайки, ее натурального волевого импульса. Но американцы это поняли бы, если бы, например, — назвавшись Советским Американским Правительством Рабочих и Крестьян — правительство США в течение пятидесяти с лишком лет состояло из Аль Капоне, Люки Лучиано, Джозефа Бонано, Франка Костелло, Тони Аккардо, Датч Шульца, Мо Делица, Мейера Ланского, Луи Лепке, Арнольда Рот-штейна, Мики Кона и других знаменитостей “организованной преступности”. Правда, убийцы с идеологией все-таки всегда будут страшнее убийц без идеологии.

Великий отец католической церкви Блаженный Августин в своем знаменитом трактате “О граде Божьем” (De Civitas Dei) так писал о государстве: “Если мы отбросим право и справедливость, то что такое государство, как не большая шайке разбойников? И что такое шайке разбойников, как не маленькое государство?” Эту суть “государства разбойничьей шайки” Ленин превосходно чуял и понимал. И сразу же по захвате власти в России создал жесточайшую систему террора, с годами разросшуюся в небывалый “Архипелаг ГУЛАГ”. Дерзайте быть страшными, или вы погибнете!

И.А.Бунин в “Окаянных днях” 2 марта 1918 г. записал: “Съезд Советов. Речь Ленина. О, какое это животное!” И Бунин, по-моему, прав. В Ленине было мало человеческих чувств. Это было именно одноглазое и даже не политическое, а партийное животное с уголовными манерами. И Блез Паскаль, и Владимир Соловьев, и Достоевский считали, что совесть прирождена человеку. К сожалению, думаю, что все-таки не всякому. Есть уроды. В революционном мире всегда было довольно много “моральных идиотов”. И Ленин, Сталин, Азеф, Гельфанд-Парвус принадлежать именно к ним, причем два последние — Азеф и Парвус — тоже были и небез “гениальности”, и не без “гигантства”. “Морально то, что полезно партии”, — говорил Ленин. Вот — типично готтентотская мораль. И таких “изречений” основателя “Архипелага ГУ ЛАГ” — множество. Но, чтоб покончить с темой о Ленине, я приведу только два факта из его биографии, совершенно бесспорно подтверждающие тезу о *полнейшем аморализме* Ленина, ужасающем всякое нормальное сознание.

Во время русско-японской войны Азеф — глава террористической организации партии эсеров и член ЦК партии

— брал на своей террор деньги от японцев. И это ни в коей мере его не волновало. Во время Первой мировой войны — через Фюрстенберга-Ганецкого и Гельфанда-Парвуса — Ленин получил миллионы золотых марок от немецкого Генерального штаба для антивоенной, разрушительной революционной работы в России. Известный лидер германской социал-демократии Эдуард Бернштейн, разоблачая эту связь Ленина с кайзером Вильгельмом II, в январе 1925 года в берлинской газете "Форвертс" писал: "Ленин и его товарищи получали от правительства кайзера огромные суммы денег на ведение своей разрушительной работы <…> Из абсолютно достоверных источников я выяснил, что *речь шла об очень большой, почти невероятной сумме, несомненно больше* 50 *миллионов золотых марок…"*

Ленин, конечно, прекрасно понимал, почему ему давали эти деньги, но, как известно, Ленин же сказал: "А на Россию, господа хорошие, нам наплевать…" Ленину нужна была не Россия, а "мировая революция", и он брал миллионы от императора Вильгельма II. Ленин брал деньги и тогда, когда государственная власть была уже в его руках, брал, чтобы удержать ее. И немецкие деньги, без которых он не захватил бы власти, не волновали Ленина так же, как Азефа — японские. И что ж? Он был прав: все сложилось чудесно! Ленин вышел почти сухим из воды. Если попытки разоблачений Ленина начались еще в 1917 году (Алексинский, Бурцев, Временное правительство), то ведь только почти через полвека, когда Ленин уже давно сладко почивал в своем роскошном мавзолее на Красной площади, на Западе опубликовали документы немецкого министерства иностранных дел, наконец-то *документально уличавшие* Ленина в получении миллионов от… кайзера. Но кто теперь об этом "неприличии" вспоминает? Даже Объединенные Нации не вспомнили, пытаясь объявить Ленина светочем гуманизма.

В сборнике германских документов под названием "Германия и революция в России", вышедшем в 1958 году по-английски, есть замечательная телеграмма от 29 сентября 1917 года германского министра иностранных дел фон Кюльмана о подрывной немецкой работе в России. Фон Кюльман телеграфировал представителю министерства в главной ставке: "Мы теперь заняты работой в полном согласии с политическим отделом Генерального штаба в Берлине (капитан фон Гильзен). Наша совместная работа дала осязательные результаты. *Без нашей беспрерывной поддержки болъшевицкое движение никогда не достигло бы такого размера, который оно сейчас имеет. Все говорит за то, что движение это будет расти"*. Этот "гений" фон Кюльман оказался чрезвычайно

прозорлив. *Движение так разрослось,* что захватило полмира и, в частности, половину Германии господина фон Кюльмана. Если у него есть внуки, они могут помянуть добрым словом "подрывную работу" своего чрезвычайно умного дедушки.

В архитекторе "Архипелага ГУЛАГ", в Ленине была *большая сила.* Сила полного, высшего аморализма, так же как в убийце студента Иванова, изувере Нечаеве. И неудивительно, что в то время как революционеры всех мастей шарахались от Нечаева как от страшного пугала, Ленин очень высоко ценил Нечаева и ставил его на пьедестал *великого революционера.* Именно с Нечаевым и связан мой второй пример полного ленинского аморализма и полной беспощадности.

Известно, что Ленин называл Нечаева "титаном революции", что ленинское положение (1902 года) — "дайте нам организацию революционеров, и мы перевернем Россию" — это нечаевская формула. Но я не останавливаюсь на всем психологическом и душевном сродстве Нечаева и Ленина, это увело бы нас далеко от "Архипелага ГУЛАГ". Я приведу только рассказ старого друга и сотрудника Ленина Бонч-Бруевича, с 1917 года управлявшего у Ленина делами его Совнаркома. В 1934 году Бонч-Бруевич опубликовал то, что говорил о Нечаеве Ленин. Ленин говорил: "Совершенно забывают, что Нечаев <…> умел свои мысли облекать в такие потрясающие формулировки, которые оставались в памяти на всю жизнь. Достаточно вспомнить, — говорил Ленин, — его ответ в одной листовке, когда на вопрос "кого же надо уничтожить из царствующего дома?" Нечаев дал точный ответ: "всю великую ектению…" Да, весь дом Романовых!.. Ведь это просто до гениальности! Нечаев должен быть весь издан… Так неоднократно говорил Владимир Ильич", — рассказывает Бонч-Бруевич.

Когда в сентябре 1917 года Ленин захватил в России власть, свой восторг от нечаевскои "гениальности", от "всей великой ектений" он скоро и хладнокровно привел в исполнение. Ленин зверски умертвил всех Романовых: и царя, и царицу, и всех их детей, и всех великих князей, которые были в пределах досягаемости, за исключением Гавриила Константиновича, жизнь которого Ленин высочайше подарил Максиму Горькому за то, что "буревестник революции" от оппозиции большевикам перешел к сотрудничеству с большевиками.

Говорят, что из Екатеринбурга голова Николая II была доставлена в Москву, в Кремль, Ленину — в банке со спиртом — как доказательство пахану, что его мокрое дело выполнено — "вся великая ектения" уничтожена.

Ни от каких мокрых дел Ленин не падал в обморок. Вот его

телеграмма от 9 августа 1918 года Евгении Бош: “Получил Вашу телеграмму. Необходимо <…> провести *беспощадный массовый террор* против кулаков, попов, белогвардейцев. Сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. Телеграфируйте об исполнении”. А своему сатрапу Гришке Зиновьеву, председателю балаганной Петрокомму-ны, Ленин в 1918 году давал такие директивы: “Надо поощрять *энергию и массовидность террора”*.

Чтобы почувствовать, насколько морально гнусны были террористы французской революции, достаточно прочесть хотя бы допрос и так называемый суд над Марией Антуанеттой. Здесь весь их террор — как океан в капле воды. В “Окаянных днях” ИАБунин записывает 11 мая 1918 года: “… читаю Ленотра. Сен-Жюст, Робеспьер, Кутон… Ленин, Троцкий, Дзержинский. Кто подлее, кровожаднее, гаже? Конечно, все-таки московские”. Разумеется. Террор якобинцев был шуточным в сравнении с террорищем Ленина, захватившим одну шестую часть земли, на которой это чудовище и заложило “Архипелаг ГУЛАГ”, работающий уже многие десятилетия.

“Архипелаг” — целиком и полностью — вырос из политической доктрины и практики *именно Ленина,* из его отношения к миру и людям. Жаль, что Солженицын приводит только две цитаты из легших на бумагу мыслей Ленина, приведших в своем развитии к “Архипелагу ГУЛАГ”. Солженицын приводит известные письма Ленина к своему наркому юстиции Курскому. Солженицын пишет: “К процессу эсэров очень торопились с уголовным кодексом: пора было уложить гранитные глыбы Закона! 12 мая, как договорились, открылась сессия ВЦИК, а с проектом кодекса все еще не успевали — он только подан был в Горки Владимиру Ильичу на просмотр. Шесть статей кодекса предусматривали своим высшим пределом расстрел. Это не было удовлетворительным. 15 мая на полях проекта Ильич добавил еще шесть статей, по которым также необходим расстрел <…> Главный вывод Ильич так пояснил наркому юстиции: "Товарищ Курский!

По-моему, надо расширить применение расстрела…"” “Расширить применение расстрела! — чего тут не понять, — пишет Солженицын. — *Террор — это средство убеждения,* кажется, ясно!.. Но вдогонку, 17 мая, Ленин послал из Горок второе письмо: "Т. Курский! В дополнение к нашей беседе посылаю вам набросок дополнительного параграфа уголовного кодекса <…> Основная мысль, надеюсь, ясна <…> открыто выставить принципиально и политически правдивое (а не только юридически-узкое) положение, мотивирующее суть и *оправдание*

террора <…> Суд должен не устранить террор <…> а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. Формулировать надо как можно шире… С коммунистическим приветом. Ленин". Комментировать этот важный документ, — пишет Солженицын, — мы не беремся. Над ним уместны тишина и размышление".

Да, скажу я от себя, — тишина и размышление нужны, ибо в то время в тиши ленинского кабинета вместо России зарождался — "Архипелаг ГУЛАГ". Но я жалею, что в книге Солженицына нет цитат из Ленина, объясняющих, ради какой цели Ленин начал с тоталитарного всеустрашающего террора? Этот террор был нужен Ленину только для того, чтобы удержать над страной *свою* власть, *свою* диктатуру, которую он для пущей "научности" и для дураков назвал "диктатурой пролетариата". Я думаю, тут уместно восполнить этот некий пробел в книге Александра Исаевича цитатами из Ленина.

Например: "Речи о равенстве, свободе и демократии в нынешней обстановке — чепуха <…> Я уже в 1918 г. указывал на необходимость *единоличия, необходимость признания диктаторских полномочий одного ща* с точки зрения проведения советской идеи". И далее: "…Решительно никакого противоречия между советским (т. е. социалистическим) демократизмом и применением диктаторской власти отдельных лиц *нет* <…> Как может быть обеспечено строжайшее единство воли? Подчинением воли тысяч воле одного". И далее: "Волю класса иногда осуществляет диктатор, который иногда один более сделает и часто более необходим". И далее: "Научное (?!РГ)[{40}] понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть".

В течение десятилетий на Западе многие так называемые советологи либерального типа пытались весь терроризм Ленина перевалить на Сталина, на московские "процессы ведьм", на "великую чистку" 1937 года, на "процесс врачей" и т. д. Это была ложь во спасение некой выдумки о якобы какой-то "демократичности" Ленина (и при Ленине), *которая не только в нем (и при нем) никогда не ночевала, но была глубоко противна ему по природе.* Своим "Архипелагом ГУЛАГ" Солженицын восстанавливает историческую правду. Он пишет: "Когда теперь бранят *произвол культа,* то упирается все снова и снова в настрявшие 37-й и 38-й годы. И так это начинает запоминаться, как будто ни ДО не сажали, ни ПОСЛЕ, а только в 37-м и 38-м. Не имея в руках никакой статистики, не боюсь, однако, ошибиться, сказав, поток 37-го и 38-го ни единственным не был, ни даже

главным, а только, может быть, — одним из трех самых больших потоков, распиравших мрачные вонючие трубы нашей тюремной канализации”.

Большая заслуга Александра Исаевича Солженицына в том, что *именно к Ленину,* ко всему большевицкому заговору и перевороту он относит закладку страшной машины убийств и ломки человеческих тел и душ.

2. ВОПЛОЩЕНИЕ “ИДЕОЛОГИИ”

“Голубые канты” — одна из сильных глав “Архипелага ГУЛАГ”. Общеизвестно положение и Ленина и Дзержинского: “каждый большевик должен быть чекистом”. В вопросе о терроре вся головка большевиков — от Ильича до Бухарчика — никогда не фальшивила. “Классовая борьба”. Ее очень хорошо назвал Н.К.Михайловский — “школой озверенья”.

“Устрашение является могущественным средством политики, и надо быть лицемерным ханжой, чтоб этого не понимать”, — писал Троцкий. “Буквы ГПУ не менее страшны для наших врагов, чем ВЧК. Это самые популярные буквы в международном масштабе”, — писал Зиновьев. “Революции всегда сопровождаются смертями, это дело самое обыкновенное. И мы должны применять все меры террора <…> Я требую организации *революционной расправы!”,* — говорил Дзержинский. “Трибунал — это не суд, в котором должны возродиться юридические тонкости <…> Если целесообразность потребует, чтобы карающий меч обрушился на голову подсудимых, то никакие <…> убеждения словом не помогут. Мы охраняем себя не только от прошлого, но и от будущего”, — говорил Крыленко. “Мы не отличаем *намерения* от самого *преступления,* и в этом *превосходство* советского законодательства перед буржуазным”, — высказывался Вышинский. Можно привести такие же морально готтентотские цитаты из выступлений и писаний Сталина, Менжинского, Лациса, Петерса, Урицкого, Кагановича, Микояна, Володарского, Ягоды, Ежова и других членов “шайки”. Но я думаю, это излишне.

О психологии “каждого большевика”, долженствующего тем самым “быть и чекистом”, писалось много, но только Солженицын подал эту тему так, как должно. Его “голубые канты” живут и незабываемы.

Говоря о таких ленинцах-чекистах, как Абакумов и Берия (этот тип своих подручных Ленин удовлетворенно называл “рукастыми коммунистами”), Солженицын пишет: “Они по службе не имеют потребности быть людьми образованными, широкой культуры и взглядов — и они таковы <…> Им по службе нужно только четкое исполнение директив и бессердечность к страданьям — и вот это их, это есть. Мы, прошедшие через их руки, душно ощущаем их корпус, донага лишенный общечеловеческих представлений <…> Они понимали, что *дела* (арестованных. — *Р.Г.)* — дуты, и всё трудились за годом год. Как это?..”, — спрашивает Солженицын. И отвечает словами

колымского следователя: “Ты думаешь, нам доставляет удовольствие применять воздействие (это по ласковому ПЫТКИ, поясняет Солженицын). Но мы должны делать то, что от нас *требует партия”*.

ПАРТИЯ. Слово сказано. Это и есть та знаменитая нечаевско-ленинская “организация профессиональных революционеров”, которая должна была “перевернуть Россию”, не видя ни ее крови, ни ее слез. Она ее и перевертывает шестьдесят девять лет. Кто? Эти самые “голубые канты” — дети и внуки Ильича, для которых он изобрел особую ленинскую идеологическую инъекцию из марксизма, пугачевщины и шигалевщины. Для изобретения такой “сыворотки” Сталин был мелкотравчат.

Конечно, в чекистских “легендах”, в полной вымышленности так называемых “преступлений” ничего нового нет. Всякий революционный террор всегда живет такой вымышленностью. Так было у якобинцев. Так было и есть в Китае у Мао Цзе Дуна. Так было и есть в империи ГУЛАГ. Чем же заговорщикам удержать свою власть, как не ужасом?

Вспоминаю статью американского философа Сиднея Хука. К нему пришел известный немецкий поэт, коммунист, его друг Берт Брехт. Это было в дни самого страшного по своей сатанинской вымышленности сталинского террора. Хук, естественно, спросил Брехта, что он об этом думает? И коммунистическая интеллектуальная знаменитость без запинки ответила: “Чем больше они невиновны, тем больше они виноваты”. Хук подал Брехту пальто и шляпу. И больше его не видел. “Формула Брехта” определяет всю психологию “голубых кантов”.

С порабощением рабочих партаппаратом из ленинской “идеологической инъекции” исчезли признаки марксизма (“фабрики рабочим!”) После погрома и закрепощения крестьянства (“земля крестьянам!”) исчезла пугачевщина. Что же осталось от “идеологической инъекции”? Осталось главное, что привело “шайку” к власти, — *шшалевщина.* “Мы пустим пьянство, сплетни, донос, мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю. Полное равенство… Но у рабов должны быть и правители. Полное послушание, полная безличность… Одно или два поколения разврата теперь необходимо: разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, себялюбивую мразь — вот что надо! А тут, чтобы еще к свеженькой кровушке попривыкли…”, — говорит в “Бесах” Петр Верховенский, практик шигалевшины. Недаром о “Бесах” Достоевского Ленин говорил — “омерзительно, но гениально!” Стало быть, Достоевский что-то — самое нутряное — нащупал в

нечаевщине-ленинщине. Конечно, теперешние “голубые канты”, все эти разъевшиеся номенклатурные мурлы и хари снизили шигалевщину с ее интеллектуального уровня до уровня грубоживотного, разбойного примитива. Они уже гораздо ближе к Федьке Каторжному, чем к Шигалеву.

Солженицын пишет: “По роду деятельности и по сделанному жизненному выбору лишенные ВЕРХНЕЙ сферы человеческого бытия, служители Голубого Заведения с тем большей полнотой и жадностью живут в сфере нижней. А там владели ими и направляли их сильнейшие (кроме голода и пола) инстинкты нижней сферы; инстинкт ВЛАСТИ и инстинкт НАЖИВЫ. (Особенно — власти. В наши десятилетия она оказалась важнее денег…) Для людей без верхней сферы власть — это трупный яд. Им от этого зараженья — нет спасенья”.

Но все же, конечно, от Ильича Первого и его ленинизма Ильич Второй — Брежнев — не отрекается. Да и не может. Чем же ему было бы *жить?* Даже книгу своих глубокомысленнейших речей он так и озаглавил — “Ленинским курсом”. И КПСС, и КГБ до сих пор освящены и ославлены именем великого Ленина. Солженицын так пишет об этой единственной, всесильной опоре ленинского государства — о гордости партии — о “голубых кантах”: “Ты выше открытой власти с тех пор, как прикрылся этой небесной фуражкой. Что ТЫ делаешь, никто не смеет проверить, но всякий человек подлежит твоей проверке <…> Ведь один ты знаешь *спецсоображения,* больше никто. И поэтому ты всегда прав <…> Все твое теперь! Все для тебя! Но только будь верен ОРГАНАМ! Делай все, что велят <…> Ничему не удивляйся: истинное назначение людей и истинные ранги людям знают только Органы, остальным просто дают поиграть <…> Нет, это надо пережить — что значит быть голубой фуражкой. Любая квартира, какую высмотрел, — твоя! Любая баба — твоя! Любого врага — с дороги! Земля под ногой — твоя! Небо над тобой — твое, голубое!..” Мартов, Валентинов, Войтинский, Нагловский и другие, хорошо знавшие Ленина, пишут, что к людям Ленин относился “с недоверием и презрением” (Мартов). “Надо ко всем людям относиться без сентиментальности, надо держать камень за пазухой” — вот формула Ленина еще 900-х годов (Валентинов). Члены его заговорщической, конспиративной партии рассматривались им, по его собственному выражению, как “партийное имущество”. И ценность этого “имущества” Ленин измерял одним аршином: “полезности”.

“Тем-то он и хорош, что ни перед чем не остановится. Вот вы, скажите прямо, могли бы вы за деньги пойти на содержание к богатой купчихе? И я не пошел бы, не мог бы себя пересилить. А

Виктор пошел. Это человек незаменимый!" Так, в 1907 году, говорил Ленин члену болыпевицкого центра профессору Рожкову о Викторе Таратуте, который "по директиве" Ленина подвалился к богатой московской купчихе Елизавете Шмит, чтобы — через постель — получить деньги на большевицкую партию, на Ленина. И Таратута это прелестное и приятное задание Ильича выполнил целиком и полностью. Капиталы Шмит попали-таки в руки Ленина.

Я не знаю, чем кончил Таратута. Но, несомненно, при Ленине и после него он вполне бы мог быть и на месте Петерса, и на месте Ягоды, и на месте Берии, руководя "голубыми кантами", ибо "заповеди" Таратуты и "голубых кантов" родились из того же бесовского аморализма Ленина. Ленину на его дело были нужны деньги. И он шел на получение их не только "через постель купчихи", но и через настоящие грабежи (с убийствами), чего Маркс как-то не предвидел.

В 1906 году по директиве Ленина его ближайшие подмастерья Коба (Сталин) и Камо (Тер-Петросян) совершили вооруженное ограбление в Чиатури. Из награбленных 21 тысячи рублей 15 тысяч пошли к Ленину, в его "большевицкий центр". Крупные деньги шли от грабежей и позже — от ограбления на корабле "Николай I" и в Бакинском порту. Но самым крупным (просто грандиозным!) ленинским мокрым грабежом (то есть с убийствами) было знаменитое в анналах партии ограбление Кобой и Камо тифлисского Государственного банка в июне 1907 года. Тут грабители-марксисты применили бомбы. (Не от этих ли бомб в наши дни бомбы взрываются по всему миру?! Конечно, от этих, ленинских!). Бомб было брошено около десяти, были убиты три человека и пятьдесят ранены, зато в кармане Ленина оказалось около 300 тысяч рублей (а тогда рубли были золотые!). В 1912 году под руководством посланного Лениным из-за границы Камо ленинцы-бандиты грабанули денежную почту на Каджарском шоссе, причем были убиты семь казаков. Вот по какой дороге "воля к власти" вела социалистического насильника Ленина и привела к октябрьской революции и тоталитарной империи "Архипелага ГУЛАГ". Аморализм голубых кантов не упал с неба. Это чистое "учение" Ленина.

Не помню кому в свой последний приезд в Париж (кажется, Адамовичу?) Анна Ахматова говорила, что "Достоевский ничего не понимал в убийстве". У него Раскольников, убив старуху-процентщицу, терзается душевно: "все позволено?" или "не все позволено?" А "у нас", говорила Ахматова, человек убивает тридцать человек и вечером с женой едет в оперу. Кто же этот человек? Этот "голубой кант"? По Ленину, это "носитель

объективной истины", образцовый большевик-ленинец. Это может быть Ягода. Может быть Агранов. Может быть Мессинг. Может быть Петерс. Как у "носителя объективной истины", у него и не должно быть от этих убийств никаких охов и ахов. А раз так — то он и едет с женой в оперу освежиться, отдохнуть для завтрашней работы.

В книге Валентинова "Встречи с Лениным", кстати, приведен даже диалог между Валентиновым и Лениным на эту тему: о совести у преступника. "Из ваших слов вытекает, что ни одна гадость не должна быть порицаема, если ее учиняет полезный партии человек. Так легко дойти до "все позволено" Раскольникова", — говорил Ленину Валентинов.

"Ленин остановился и, засунув большие пальцы за отворот жилетки, посмотрел на меня с нескрываемым презрением. — Все позволено! (сказал Ленин). Вот мы и приехали к сантиментам и словечкам хлюпкого интеллигента, желающего топить партийные и революционные вопросы в морализирующей блевотине! Да о каком Раскольникове вы говорите? О том, который прихлопнул старую стерву-ростовщицу, или о том, который потом на базаре в покаянном кликушестве лбом все хлопал в землю? Вам, посещавшему семинарий Булгакова, может быть, это нравится?"

Ленин в марксизме занимал позицию некой якобинской марксятины. Для Ленина старуха-процентщица была не человек, она была — некий схематический знак "классового врага", и убить ее было и можно и, может быть, нужно. У марксистов такого толка человеческая личность всегда была — "quantité négligeable". Вот из такой ленинской марксятины прямехонько и родился "ленинец", шлепающий тридцать человек (потенциальных иль мнимых, не все ли равно) "врагов народа" и после этого едущий в оперу. Голубому канту — "все позволено". Из этого ленинского "все позволено" и родился "Архипелаг ГУЛАГ".

Кстати, люди, близко знавшие Ленина, отмечают в его характере приступы ража, внезапного бешенства, злобу, беспощадность, беспринципность и, как пишет Валентинов, "дикую нетерпимость, не допускающую ни малейшего отклонения от его, Ленина, мыслей и убеждений". "Для терпимости существуют отдельные дома", — говорил Ленин. В той же книге "Встречи с Лениным" Валентинов рассказывает, что известный большевик и писатель А.А.Богданов, по профессии врач (Бердяев в "Самосознании" пишет — врач-психиатр), в 1927 году говорил Валентинову: "Наблюдая в течение нескольких лет некоторые реакции Ленина, я, как врач, пришел к убеждению, что у Ленина бывали иногда психические состояния с явными

признаками ненормальности”.

В Ленине для его партийцев, так же как в Гитлере для его партийцев (Der Fuhrer weiss allés!), была воплощена вся истина. И партия шла за Лениным, как за идолом. Бухарин писал, что “Ленин вел партию, как власть имущий”. Уже это отдает идолопоклонством. По множеству свидетельств, так оно и было. Конечно, бывали в ЦК кое-какие “бунты”, несогласия. Но все они, как пишет Мартов, были всегда “бунтом на коленях”. Когда же кое-кто заходил в своем “личном мнении” слишком далеко, то Ленин действовал очень решительно. Томского за такое “бузотерство” он немедленно выслал в Туркестан. Г.Мясникова арестовал и сослал на Кавказ, откуда он бежал за границу. А в Кронштадте без суда расстрелял всех восставших против него коммунистов.

А.Д. Нагловский, старый большевик, хорошо знавший Ленина, бывший первый советский торгпред в Италии, избравший на Западе свободу и ставший невозвращенцем, так описывает “демократизм” заседаний ленинского Совнаркома: “У стены, смежной с кабинетом Ленина, стоял простой канцелярский стол, за которым сидел Ленин <…> На скамейках, стоявших перед столом Ленина, как ученики за партами, сидели народные комиссары и вызванные на заседание видные партийцы. Такие же скамейки стояли у стен <…> на них так же тихо и скромно сидели наркомы, замнаркомы <…> В общем, это был класс с учителем довольно-таки нетерпимым и подчас свирепым, осаживавшим "учеников" невероятными по грубости окриками <…> Ни по одному серьезному вопросу никто никогда не осмеливался выступить "против Ильича…" Самодержавие Ленина было абсолютным <…> Обычно во время общих прений Ленин вел себя в достаточной степени бесцеремонно. Прений никогда не слушал. Во время прений ходил. уходил. Приходил. Подсаживался к кому-нибудь и, не стесняясь, громко разговаривал. И только к концу прений занимал свое обычное место и коротко говорил: — Стало быть, товарищи, я полагаю, что этот вопрос надо решать так! — Далее следовало часто совершенно не связанное с прениями "ленинское" решение вопроса. Оно всегда тут же без возражений и принималось. "Свободы мнений" в Совнаркоме у Ленина было не больше, чем в совете министров у Муссолини и Гитлера”.

Тот же А.Д.Нагловский о смерти Ленина пишет так: “Когда Ленин умер, я видел многих видных вельмож коммунизма, которые плакали самыми настоящими человеческими слезами. Плакали не только Коллонтай, Крестинский, Луначарский, но (в самом буквальном смысле) плакали заматерелые чекисты.

Любовь партии к Ленину, и даже не любовь, а какое-то "обожание" были фактом совершенно несомненным. В Ленине жила идея большевизма".

Естественно, когда этот "самовластительный злодей" умер, партии, воспитанной в его самодержавии, был — как воздух — необходим новый самодержец. Он и пришел в лице Сталина, что с точки зрения бытия партии было закономерно. И Сталин пошел за Лениным, как говорит Солженицын, "точно, стопой в указанную стопу". Так и идет полувековой "Le Massacre des innocents" на глазах всего мира, заражающий своим злом землю. Конечно, Сталин превзошел Ленина по числу массово убиенных. И некоторые могли при нем, вспоминая Ленина, говорить: "и злая тварь милее злейшей". Но изуверство всей этой шайки в своей сути одинаково — от Ильича Первого до Ильича Второго.

В "Архипелаге ГУЛАГ" А.И.Солженицын, как искусный хирург, вскрывает всю *анатомию* этой "заплечных дел демократии", показывая *психологию* обслуживающих ее палачей от самой головки голубых кантов до какого-нибудь безымянного лагерного убийцы в небесной фуражке. Аресты, допросы, пытки, тюрьмы, концлагеря, тройки, ревтрибуналы, особые отделы — всё есть в этой страшной уголовной энциклопедии ленинизма.

Солженицын пишет: "Арестознание — это важный раздел курсов общего тюрьмоведения, и под него подведена общественная теория. Аресты имеют классификацию по разным признакам: ночные и дневные, домашние, служебные, путевые; первичные и повторные; расчлененные и групповые <-> Нет-нет, аресты очень разнообразны по форме. Ирма Мендель, венгерка, достала как-то в Коминтерне (1926 год) Два билета в Большой театр, в первые ряды. Следователь Клегель ухаживал за ней, и она его пригласила. Очень нежно они провели весь спектакль, а после этого он повез ее прямо на Лубянку"…. "Нет, никогда у нас не был в небрежении и арест дневной, и арест в пути, и арест в кипящем многолюдий… Вот вокзал. В пассажирском зале или у стойки с пивом вас окликает симпатичнейший молодой человек: "Вы не узнаете меня, Петр Иваныч?" Петр Иваныч в затруднении: "Как будто нет, хотя…"Молодой человек изливается таким дружелюбным расположением: "Ну, как же, как же, я вам напомню…" и почтительно кланяется жене Петра Иваныча: "Вы простите, ваш супруг через одну минутку…" Супруга разрешает, незнакомец уводит Петра Иваныча доверительно под руку — навсегда или на десять лет!.. Граждане, любящие путешествовать! не забывайте, что на каждом вокзале есть отделение ГПУ и несколько тюремных камер…" "Вас в "гастрономе" вызывают в отдел заказов и арестовывают там; вас арестовывает странник,

остановившийся у вас на ночь Христа ради, вас арестовывает монтер, пришедший снять показания счетчика; вас арестовывает велосипедист, столкнувшийся с вами на улице; железнодорожный кондуктор, шофер такси, служащий сберегательной кассы и киноадминистратор — все они арестовывают вас, и с опозданием вы видите глубоко запрятанное бордовое удостоверение".

"Всеобщая невиновность, — пишет Солженицын, — порождает и всеобщее бедствие". Это как раз подтверждает формулу Берт Брехта. "Не каждому дано, — пишет Солженицын, — как Ване Левитскому, уже в четырнадцать лет понимать: "Каждый честный человек должен попасть в тюрьму. Сейчас сидит папа, а вырасту я — и меня посадят". (Его посадили двадцати трех лет)". "…И в Москве начинается планомерная проскребка квартала за кварталом. Повсюду кто-то должен быть взят. Лозунг: "Мы так трахнем кулаком по столу, что мир содрогнется от ужаса!"… Типичный пример из этого потока: несколько десятков молодых людей сходятся на какие-то музыкальные вечера, не согласованные с ГПУ. Они слушают музыку, а потом пьют чай. Деньги на этот чай они самовольно собирают в складчину. Совершенно ясно, что музыка — прикрытие их контрреволюционных настроений, а деньги собираются вовсе не на чай, а на помощь погибающей мировой буржуазии. Их арестовывают ВСЕХ, дают от трех до десяти лет (Анне Скрипниковой — пять), а несознавшихся зачинщиков (Иван Николаевич Баренцев и другие) — РАССТРЕЛИВАЮТ!"… "Или в том же году, где-то в Париже собираются лицеисты-эмигранты отметить традиционный пушкинский лицейский праздник. Об этом напечатано в газетах. Ясно, что это — затея смертельно раненного империализма. И вот арестовываются ВСЕ лицеисты, оставшиеся в СССР, а заодно и — "правоведы""… "Удобное мировоззрение рождает и удобный юридический термин: *социальная профилактика.* Он введен, он принят <…> Один из начальников Беломорстроя Лазарь Коган так и будет скоро говорить: "Я верю, что лично вы ни в чем не виноваты. Но, образованный человек, вы же должны понимать, что проводилась широкая социальная профилактика""… "Затаились и подлежали вылавливанию также и все прежние государственные чиновники <…> Некто Мова из простой любви к порядку хранил у себя список всех губернских юридических работников. В 1925 году случайно это у него обнаружили — всех взяли — и всех расстреляли…….

"Весной 1922 года Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией, только что переназванная в ГПУ, решила вмешаться в церковные дела. Надо было произвести

и "церковную революцию" — сменить руководство и поставить такое, которое лишь одно ухо наставляло бы к небу, а другое к Лубянке <…> Для этого арестован патриарх Тихон и проведены два громких процесса с расстрелами: в Москве — распространителей патриаршего воззвания, в Петрограде — митрополита Вениамина…"

Говоря о первых сфабрикованных в ГПУ публичных процессах — Промпартии, Трудовой крестьянской партии, Союзного бюро меньшевиков — Солженицын пишет: "Самые аляповатые детективы и оперы с разбойниками серьезно осуществлялись в объеме великого государства".

"Так пузырились и хлестали потоки — но через всех перекатился и хлынул в 1929—30 годах многомиллионный поток *раскулаченных*. Он был непомерно велик, и не вместила б его даже развитая сеть следственных тюрем, но он миновал ее, он сразу шел на пересылки, в этапы, в страну ГУЛАГ <..-> Этот поток (этот океан!) выпирал за пределы всего, что может позволить себе тюремно-судебная система даже огромного государства. Он не имел ничего сравнимого с собой во всей истории России <…> Озверев, потеряв всякое представление о "человечестве", — лучших хлеборобов стали схватывать вместе с семьями и безо всякого имущества, голыми, выбрасывать в северное безлюдье, в тундру и в тайгу <…> Поток 29-го ~30-го годов, протолкнувший в тундру миллиончиков пятнадцать (а как бы не поболе). Но мужики народ бессловесный, ни жалоб ни написали, ни мемуаров <…> Пролился этот поток, всосался в вечную мерзлоту, и даже самые горячие умы о нем почти не вспоминают. Как если бы русскую совесть он даже и не поранил. А между тем не было у Сталина (и у нас с вами) преступления тяжелее".

"…Поток этот отличался от всех предыдущих еще и тем, что здесь не цацкались брать сперва главу семьи, а там посмотреть, как быть с остальной семьей. Напротив, здесь сразу выжигали только гнездами, брали только семьями и ревниво следили, чтобы никто из детей, даже четырнадцати, десяти или шести лет, не отбился в сторону: все няподскреб должны были идти в одно место, на одно общее уничтожение. (Это был ПЕРВЫЙ такой опыт, во всяком случае в Новой истории. Его потом повторил Гитлер с евреями и опять же Сталин с неверными или подозреваемыми нациями)".

Страшно вспомнить, что на Западе в социалистических кругах II Интернационала этот всероссийский крестьянский погром в "15 миллиончиков" человеческих жизней вызвал у некоторых социалистов "научный интерес". О нем писали как о

“новом” социальном эксперименте — коллективизации деревни. К нашему стыду, эти ноты раздавались и в русской зарубежной социалистической печати. Впрочем, это вполне увязывалось с “доктриной”, с тем, что Маркс и Энгельс всегда говорили об “исконном идиотизме деревни”. Но когда Гитлер начал уничтожать приверженцев II Интернационала, никто на Западе не писал, конечно, что это “интересный социальный эксперимент”. Запад глубоко виноват перед Россией своим молчанием перед ужасами террора шигалевской шайки.

В конце главы “История нашей канализации” Солженицын спрашивает: “Объединить ли все теперь и объяснить, что сажали *безвинных?* Но мы упустили сказать, — говорит он, — что само понятие *вины* отменено пролетарской революцией, а в начале 30-х годов объявлено *правым оппортунизмом.* Так что мы уже не можем спекулировать на этих отсталых понятиях: вина и невиновность”.

Солженицын прав: в ленинском государстве пытками понятия вины и невиновности стерты, им нет места, если на "пыточном следствии” арестованному, — как пишет Солженицын, — “будут сжимать череп железным кольцом, опускать человека в ванну с кислотами, голого и привязанного пытать муравьями, клопами, загонять раскаленный на примусе шомпол в анальное отверстие ("секретное тавро"), медленно раздавливать сапогом половые органы, а в виде самого легкого — пытать по неделе бессонницей, жаждой и избивать в кровавое мясо”.

1918 году, защищая свой террор, Троцкий писал: "Трудно обучить массы хорошим манерам. Они действуют поленом, камнем, огнем, веревкой”. Через некоторое время Троцкий на себе самом испытал “дурные манеры” масс, правда, не полено, не камень, не огонь, не веревку, а острый ледоруб, которым сталинский голубой кант Рамон Меркадер размозжил голову этому террористу. “Злом злых погублю”.

На XXII съезде Хрущев разорялся о “недопустимых методах физического воздействия”. Но это, конечно, был только тактический и безошибочно сильный “ход конем” в борьбе Хрущева за власть. Пытки были при Ленине, были при Сталине. И эпигоны их не отменили. Если отменили “либерально”, для Запада — введение раскаленного шомпола в анальное отверстие, — то создали новые страшные пытки в психбольницах, разрушая психически человека впрыскиваниями соответственных химикалий.

От методов физического и психического насилья над человеком, от его ломки и сламывания ленинская шайка отказаться никогда не могла и не может. Она труслива и (не без

оснований) предполагает, что такой отказ приведет к “индонезийскому финалу”. “Архипелаг ГУЛАГ” — это героическая и титаническая попытка борьбы с шайкой путем раскрытия всех ее преступлений против человека. “Тут мой вопль услышат двести, дважды двести человек — а как же с двумястами миллионами?”, — пишет Солженицын. И добавляет: “Смутно чуется мне, что когда-нибудь закричу я двумстам миллионам”.

Томас Витни

Томас Витни, большой друг “Нового журнала”, помогал и помогает журналу уже многие десятилетия. Не было бы Т. Витни, не было бы “Нового журнала”.

Витни собрал исключительную русскую коллекцию. Некоторые, работавшие в его библиотеке, архиве и музее, естественно, полагали, что его коллекция обязана тому, что Т.Витни с 1944 по 1953 год прожил в СССР, работая там как советник по экономическим вопросам при американском посольстве в Москве. Но это заблуждение. Основная масса материалов коллекции приобретена им на аукционах и у частных лиц — в Нью-Йорке, Лондоне, Париже и других центрах Запада.

В коллекции Т. Витни множество русских книг, картин и рисунков русских художников, скульптура, периодические зарубежные и советские издания, частные литературные и политические архивы и многое другое, связанное с культурой России. Все материалы коллекции, главным образом, связаны с XX веком русской культуры. И собиратель старался представить этот период русского творчества с возможной полнотой.

Очень хорошо в коллекции представлена живопись русского авангарда. Но есть ценные работы и русских художников “традиционалистов”, как, например, И.Репина. В кн. 141 “Нового журнала” я поместил статью художника Сергея Голлербаха о собрании картин этой коллекции. Многие эти картины, если б они были в России, украсили б собой русские музеи. Кроме живописи и скульптуры в музее хорошо представлены русские писатели, как эмигранты, так и писатели, никогда не покидавшие Россию и СССР. Надо сказать, что вряд ли где-нибудь на Западе есть второе такое частное собрание материалов по русской культуре. Разве в Париже, в коллекции такого же друга русской культуры, профессора Рене Герра.

В библиотеке Томаса Витни больше десяти тысяч книг, и все они каталогизированы. Среди этих книг есть специальные подборы книг по русской истории, по истории компартии СССР, по русской внешней политике, по русской экономике. Но все же наиболее полно представлена художественная литература. Много книг по истории литературы, по истории искусства, театра, кино и музыки. Русская эмигрантская литература представлена чрезвычайно полно. Есть очень редкие книги. Множество книг с автографами. Ценны в библиотеке редкие подборки брошюр. Здесь брошюры политической эмиграции XIX и XX веков (особенно богато представлена партия социалистов-

революционеров). Ценна подборка брошюр и журналов по русскому авангарду.

Дореволюционная периодическая печать представлена комплектами журналов — “Мир искусства”, “Искусство”, “Старые годы”, “Золотое руно”, “Аполлон”. Имеются полные комплекты таких зарубежных журналов, как “Современные записки”, “Путь”, “Новый журнал”, “Русские записки”, много книг журнала “Воля России”. Есть комплекты советских и зарубежных газет начиная с 1960 года. Таких, как “Правда”, “Известия”, “Литературная газета”, из зарубежных — “Новое русское слово” и “Русская мысль”. Очень полно представлена русская зарубежная периодика за двадцатые, тридцатые и сороковые годы. Сюда вошла замечательная коллекция покойного Конст. Солнцева, собиравшего ее долгие годы.

Хранится в библиотеке Т.Витни архив А.М.Ремизова. В нем, между прочим, есть дневник А.М., который он вел день за днем с 1922 по 1948 год. В архиве Ремизова много ценных писем русских писателей, адресованных как ему, так и его жене С.П.Довгелло. Среди них письма Б.Пильняка, К.Федина, Ф.Гладкова, И.Эренбурга, А.Аросева, Иванова-Разумника. Среди других личных архивов в библиотеке Т.Витни хранятся архивы профессора А.Анцыферова, К.Солнцева, В.Диксона, К.Парчевского, В.Зензинова, Р.Гуля. Хранится часть архива Союза русских писателей и журналистов в Париже. Есть политический архив К.А.Столяровой из Женевы, в котором — письма дореволюционных лет Ю. Мартова и Ф. Дана, одно или два письма Троцкого, есть и одно письмо, по всей вероятности написанное Лениным.

В музыкальном отделе коллекции много ценных пластинок и записей русской музыки. Есть русские палехские вещи, есть старинные серебряные бокалы и прочее.

Ценнейшей частью русского собрания Т.Витни является, конечно, его коллекция живописи. Тут — иконы с пятнадцатого до девятнадцатого века. И много работ известных русских художников двадцатого столетия: Ларионов, Гончарова, Розанова, Попова, Клюн, Малевич, Филонов, Габо, Валентин Серов, Репин, Бакст, Петров-Водкин, Татлин, Родченко, Архипов, Добужинский, Кандинский, Малявин и много других. Из современных художников представлены своими работами Эрнст Неизвестный, Сергей Голлербах, А. фон Шлиппе, Анатолий Зверев, Вейсберг, Эллинсон, Галанин, Межберг и другие.

Томас Витни, собственник этой замечательной коллекции, рассматривает свое собрание как памятник русской интеллигенции двадцатого века, которая, как он говорит, “так

много страдала и так много дала миру”.

Джордж Кеннан

Джордж Кеннан — внучатый племянник другого Джорджа Кеннана, известная книга которого “Сибирь и ссылка” (1891), переведенная на многие языки, получила в свое время международное признание. Джордж Кеннан родился 16 февраля 1904 года в штате Висконсин. По отцу предки его были выходцами из Ирландии (начало XVIII века), мать — норвежка.

Мы не знаем, что было толчком к глубокому интересу и любви Джорджа Кеннана к России. Может быть — путешествие туда его предка, автора “Сибири и ссылки”? Во всяком случае вся политическая, общественная и писательская жизнь Джорджа Кеннана-младшего оказалась связана с Россией и ее культурой. Об этой “любовной связи” сам Дж. Кеннан в своих мемуарах говорит так: “Вот уже больше двух десятилетий, как Россия у меня в крови. Есть у меня какое-то таинственное к ней влечение, которого я не могу объяснить даже самому себе”.

Дж. Кеннан окончил Принстонский университет и Школу современных восточных языков в Париже, где изучал русскую историю и русский язык у знаменитого руссоведа профессора Поля Буайе. Позже Дж. Кеннан посещал Восточноевропейский семинар Берлинского университета, где курс русской истории преподавали профессор Гётч и профессор Штелин. Свою дипломатическую службу Кеннан начал в 1927 году в двадцатитрехлетнем возрасте. Сначала он был американским вице-консулом в Таллине, потом секретарем американской дипломатической миссии в Риге. А когда в 1933 году были установлены дипломатические отношения между США и СССР, Дж. Кеннан был назначен в Москву, став одним из ближайших помощников американского посла Вильяма Буллита.

Служба в американском посольстве в Москве — до, во время и после Второй мировой войны — дала Дж. Кеннану, превосходно владеющему русским языком, возможность непосредственно видеть советскую действительность. В 1947 году Кеннан был назначен на ответственный пост председателя образованного при американском Министерстве иностранных дел Комитета по планированию внешней политики США. А с 1949 года занимал должность советника при Государственном секретаре (министре иностранных дел). В 1951 году президент Трумэн назначил Кеннана американским послом в Москве. Но — человек большой духовной культуры и в то же время зоркий дипломат, прекрасно знавший русский язык, Джордж Кеннан на этом посту довольно скоро вызвал неудовольствие советского руководства и был

объявлен им “персона нон грата”. В момент этого “акта” Дж. Кеннан был в Берлине. Следуя своей “неандертальской” дипломатии, советское руководство даже не позволило ему приехать в Москву за его семьей. В 1961 году Дж. Кеннан занимал пост американского посла в Югославии, на котором оставался недолго.

Последующие годы Джордж Кеннан жил в Принстоне, посвятив себя научной, литературной и общественной работе. Здесь он написал двухтомные “Мемуары” (1967 и 1972) и несколько капитальных трудов по истории взаимоотношений США и СССР. За эти годы Кеннан занимал ряд ответственных должностей, так или иначе связанных с Россией. Он был председателем Фонда свободной России, консультантом при Фордовском фонде, по его инициативе было создано русское “Издательство имени Чехова”, выпустившее множество ценных русских книг. Не могу не упомянуть, что именно Джордж Кеннан очень помог бежавшей на Запад Светлане Аллилуевой. До сего дня Кеннан состоит профессором Принстонского института научных исследований.

С радостью (и даже с гордостью) могу сказать твердо и уверенно, что Джордж Кеннан является большим другом “Нового журнала”. В кн. 115-й мы напечатали его статью о знаменитой книге А.И.Солженицына “Архипелаг ГУЛАГ”. А сейчас мне хочется привести хотя бы несколько цитат из статьи Дж. Кеннана “Америка и русское будущее”, появившейся в 1951 году в кн. 26 “Нового журнала”. Несмотря почти на двадцатипятилетнюю давность этой статьи, мысли Дж. Кеннана, высказанные в ней (по-моему) и современны и, может быть, даже злободневны.

Кеннан пишет: “Сила того негодования, с которым американцы отвергают воззрения и способы действий нынешних кремлевских правителей, уже сама по себе ясно указывает на их горячее желание видеть в России появление других воззрений и другого порядка, резко отличного от того, с чем нам приходится иметь дело в настоящее время. Позволительно, однако, задать вопрос: есть ли в наших умах отчетливое представление о том, в какие формы должно вылиться это новое русское мировоззрение, каким должен быть новый русский порядок и как мы, американцы, можем содействовать их установлению?..”

“Признавая, что форма правления является внутренним делом России и допуская, что она может резко отличаться от нашей, мы одновременно имеем право ожидать, чтобы выполнение функций государственной власти не переходило ясно начертанной границы, за которой начинается тоталитаризм. В частности, мы имеем право рассчитывать, что любой режим,

который будет претендовать на преимущество перед теперешним режимом, воздержится от применения рабского труда как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Такое требование имеет свое основание: основание еще более веское, чем то моральное потрясение, которое мы испытываем при виде отталкивающих подробностей этого рода угнетения. Когда режим становится на путь порабощения своих собственных трудящихся, он вынужден поддерживать такой огромный аппарат принуждения, что появление железного занавеса следует почти автоматически. Никакая правящая группа не захочет признаться в том, что она может править своим народом, только обращаясь с ним как с преступниками. Отсюда возникает тенденция оправдывать политику угнетения внутри страны ссылками на опасности, грозящие ей со стороны порочного внешнего мира. При таких условиях мир должен изображаться как в высшей мере порочный — вплоть до карикатурных пределов. Менее сильные средства здесь помочь не могут…"

"… Нигде на земле огонек веры в человеческое достоинство и милосердие не мерцал так неровно, сопротивляясь налетавшим на него порывам ветра. Но этот огонек никогда не угасал; не угас он и теперь даже в самой толще России; и тот, кто изучит многовековую историю борения русского духа, не может не склониться с восхищением перед русским народом, пронесшим этот огонек через все страдания и жертвы.

История русской культуры свидетельствует о том, что эта борьба имеет значение, выходящее далеко за пределы коренной русской территории; она является частью, и притом исключительно важной частью, общего культурного прогресса человечества. Чтобы убедиться в этом, стоит только посмотреть на уроженцев России и людей русского происхождения, проживающих в нашей среде, — инженеров, ученых, писателей, художников. Было бы поистине трагично, если бы под влиянием возмущения советской идеологией и советской политикой мы превратились бы в соучастников советского деспотизма, забыв о величии русского народа, потеряв веру в его гений, в его способность творить добро и сделавшись врагами его национальных чаяний. Жизненное значение всего этого становится еще более ясным при мысли о том, что мы, люди западного мира, верящие в принципы свободы, не можем одержать победу в борьбе с разрушительными силами советской власти, не имея на своей стороне русский народ в качестве добровольного союзника…"

Я думаю, что даже эти цитаты из статьи Джорджа Кеннана "Америка и русское будущее" отчетливо выражают его отношение

(и говорят о его любви) к России и русскому народу. А также говорят и о глубоком понимании им — вечной России.

Д.Н. Шуб

Умирал Д.Н.Шуб в полном сознании и перед смертью сказал, что хотел бы, чтобы на поминальном собрании по-русски о нем сказал я…

Давид Натанович был не только известным публицистом, писавшим на еврейском языке, он также был и русским публицистом, много писавшим с молодых лет по-русски. Он любил Россию, русскую интеллигенцию, русскую общественную мысль и русскую литературу.

Родился Д.Н. в местечке Поставы Виленской губернии, учился в Вильне и там смолоду примкнул к революционному движению, став социал-демократом (меньшевиком). В 1903 году он уехал за границу, жил в Лондоне, Париже, Женеве. Встречался за границей почти со всеми видными тогда русскими эмигрантами социал-демократами — Плехановым, Лениным. Потресовым, Засулич, Дейчем, Мартовым и другими. В 1905 году Д.Н. вернулся в Россию и участвовал в первой русской революции, оставаясь социал-демократом (меньшевиком). В эти годы он был несколько раз арестован, сидел в тюрьме и, наконец, был сослан в Сибирь, откуда в 1907 году бежал за границу и в начале 1908 года, впервые, приехал в Америку.

Но будучи социал-демократом (меньшевиком), Д.Н. всегда был на самом правом фланге меньшевизма. Почему? Да потому, что для Д.Н. не было более высокой общественной ценности, чем человеческая личность и ее свобода. Д.Н. был подлинный гуманист в самом глубоком смысле этого слова. Именно поэтому покойный отталкивался с естественным отвращением от таких политических персонажей, как Ленин, Троцкий, Сталин, из которых двух первых он лично знал, а о Ленине написал едва ли не лучшую по объективности книгу, которая дала Давиду Натановичу международную известность. Дала — по справедливости. Жаль только, что эта книга Д.Н.Шуба о Ленине, переведенная на двадцать европейских и азиатских языков, не вышла на русском языке. Об этой книге Д.Н. профессор Михаил Карпович в “Новом журнале” писал так: “Главное достоинство книги Д.Н.Шуба заключается в том, что она с непререкаемой убедительностью показывает роковую необходимость развития ленинской политической стратегии и тактики, всего его революционного замысла — в ту систему тоталитарной террористической диктатуры, которая получила такое законченное выражение в руках его ученика и преемника — Сталина”.

Этот примат свободы и человечности в общем мировоззрении Давида Натановича делал его политическим другом не только правых социалистов, таких, как Бурцев, Кускова, Керенский, но и русских либералов, как Милюков, Карпович и другие. Будучи непримиримым ко всякому насилью, ко всякой диктатуре над человеком, Д.Н. определял себя как демократического социалиста западно-европейского типа. И не было ничего удивительного в том, что еще в годы Первой мировой войны он отошел от марксизма и от официального меньшевизма. Д.Н. любил жизнь, любил людей и был чужд всякого доктринерства.

И когда левые социалисты упрекали его в отходе от марксистской ортодоксии, он на эти упреки так ответил в своем письме Льву Дейчу, пошедшему на сотрудничество с большевиками. Это письмо Д.Н. опубликовано в его воспоминаниях в “Новом журнале”. Он писал: “Да, Вы правы, мы все сильно изменились за эти годы. Тяжелый урок войны и большевизма не прошел даром для большинства наших товарищей, оставшихся за границей. Мы научились смотреть на действительность более трезвыми глазами и оценивать события не с точки зрения предвзятых формул и застывших догм, а исключительно с точки зрения исторического опыта… При всей Вашей глубокой ненависти к "чекистских дел мастерам", которыми для Вас являются все эти Троцкие, Зиновьевы, Бухарины и Дзержинские, Вы все же продолжаете считать большевиков социалистами, хотя и плохими, не совсем чистыми на руку. Вот в этом — корень наших разногласий…”

Большевиков Д.Н. социалистами не считал. Он считал их мошенниками и преступниками. И в течение всех своих долгих лет боролся против них своим оружием — пером публициста — ив еврейской и в русской печати, и в Америке и в Западной Европе. За последние пятьдесят лет Д.Н. был постоянным сотрудником почти всех русских зарубежных демократических изданий — “Заря”, “Дни”, “Новый журнал”, “За свободу”, “Новое русское слово”, “Русская мысль”, “Мосты” и другие. В “Новом журнале” Давид Натанович сотрудничал более чем тридцать лет, с самого основания этого журнала.

Последней книгой Д.Н. на русском языке был сборник статей — “Политические деятели России с 1850-х до 1920-х гг.” Эта книга заслуженно имела успех у русских читателей, ибо Д.Н., как мало кто, был большим знатоком истории освободительного и революционного движения в России. Его скрипты на эти темы в течение долгих лет передавала радиостанция “Свобода”.

Как человек Д.Н. был исключительно добрым и отзывчивым. Конечно, у каждого из нас всегда есть какие-то “враги”. Но у Д.Н.

личных врагов, я думаю, не было. Я знаю, что очень часто он оказывал помощь даже тем, кому, может быть, не симпатизировал. Но по его философии — всегда лучше было сделать хорошее, чем плохое.

Юлий Марголин. Полет в Израиль

С Юлием нас связывала давняя дружба. Полувековая. Это — не пустое. В нашей жизни таких человеческих отношений у всех нас немного. А они — как я всегда думал и думаю, — самое ценное, что у нас есть. Познакомился я с Юлием в Берлине в начале 20-х годов у его будущей жены Евы Ефимовны Спектор, которую все друзья называли просто Вуся за ее на редкость отзывчивый, добрый характер, за всегдашнее старанье кому-то помогать, кого-то опекать, не только друзей, но даже просто всяких встречных-поперечных. Так вот, в скромной квартире жили две закадычные подруги, Вуся и Тася, у них-то и была вечно нетолченая труба друзей, очень молодых, начинающих литераторов — поэты Георгий Венус, Анна Присманова, Вадим Андреев и многие другие. У них я и встретил впервые рыжего, экспансивного, порывистого студента-философа — Юлия Марголина, который тоже тут вечно пил чай, обедал, ужинал и, конечно, утопал в разговорах о литературе, поэзии, политике и о много другом.

Тогда (и на всю жизнь!) характерно в Юлии было то, что он был человеком совершенно без всяких масок: никакой игры расчета в нем не было (не говорю уж о какой-нибудь хитрости, что в приложении к нему было бы просто смешно). В Юлии жила полная душевная открытость, подкупающая веселость и некая незащищенная детскость. И ни малейшего желания петь с кем-то “в унисон”. Уже тогда он всегда был “сам по себе”.

В те годы Юлий окончил берлинский университет с званием доктора философии. И вскоре женился на Вусе. Тогда же он начал писать. Мы оба с ним сотрудничали в сменовеховской газете “Накануне”, впав в заблуждение, что нэп приведет Советскую Россию к какому-то нормальному строю “трудовой демократии”, о которой искренне писали публицисты сменовеховства — Устрялов, Ключников, Лукьянов. За эту иллюзию о начавшейся “эрозии диктатуры” все они, по возвращении на родину, заплатили жизнью. Устрялов написал в те годы блестящую брошюру “Россия. У окна вагона”. Чекисты под видом “грабителей” удушили его шнуром в сибирском экспрессе в купе вагона. Так ответила ленинско-сталинская страна интеллигенту Устрялову, замечтавшемуся “у окна вагона”, глядя на “эти бедные селенья, эту скудную природу”. Ответила бесшумно, не мокро. Лукьянова же чекисты забили насмерть на допросе в Ухтпечлаге.

Заплатил своей жизнью за возвращение на родину и наш общий с Юлием друг, талантливый поэт Георгий Венус, бывший

белый боевой офицер, дроздовец, человек чистейшей души. Через два-три года по приезде в Ленинград он погиб где-то в Сызранской пересыльной тюрьме. После него осталась жена Тася (подруга Вуси) и малолетний сын. Но органы власти, конечно, о них позаботились: их сослали куда-то в Сибирь на поселение, “в страшную глушь, за Байкалом”. Все это были встречи сменовеховцев с “трудовой демократией”.

Вскоре после свадьбы Юлий и Вуся уехали в Польшу. Была переписка, но неровная. В мире наступали страшные времена. В Германии власть взял Гитлер. И, отсидев в гитлеровском кацете Ораниенбург (Заксенхаузен) что-то около месяца, я с женой уехал во Францию. Когда в Париже я вылез из поезда на Гар дю Нор, в кармане у меня было около пяти франков (да и то “дарственных”).

О Юлии я знал, что он, живя в Польше, стал страстным сионистом, поклонником Жаботинского. А потом, что они навсегда уехали в Палестину, “домой”.

Наступила война. Всякая связь с Юлием порвалась. Но я был в полной уверенности, что он и Вуся так и живут “у себя” в Палестине. И вот после пяти лет, прожитых в качестве сельскохозяйственных батраков на юге Франции, когда мы с женой ходили только в деревянных сабо, мы вернулись в первобытное состояние — в Париж: война (все-таки) кончилась. И тут в Париже года через два мне попалась в “Социалистическом вестнике” откуда-то перепечатанное потрясающее письмо “доктора Марголина” о советских концлагерях, откуда он только что вырвался.

Конечно, я не мог себе представить, что “доктор Марголин”, проведший пять лет в советских концлагерях, это и есть именно Юлий. Во-первых, меня смущал “доктор”. Докторами по-русски в просторечии назывались только врачи, “доктора медицины”. Потом: почему же — СССР? Как же Юлий мог туда попасть, когда он жил в Палестине? Но гадать мне пришлось недолго. Вскоре из Израиля я получил от Юлия рукопись его замечательной книги “Путешествие в страну зека”. Из нее я узнал все то страшное, что пережил Юлий в Дантовом “Аду” советских исправительно-трудовых лагерей. Кстати, за двадцать лет до Солженицына именно Юлий в книге “Путешествие в страну зека” писал о концлагерях как о Дантовом “Аде”: “На одной остановке мы увидели старого узбека с белой бородой и монгольским высохшим лицом. "Дедушка! — начали ему кричать с нашей платформы, — как этот город называется?!" Узбек повернул лицо, посмотрел потухшими глазами. "Какой тебе город? — сказал он, — ты разе город приехал? Ты лагерь приехал!" Тут я вспомнил

начало Дантова "Ада": "В средине нашей жизненной дороги / Объятый сном, я в темный лес вступил"".

Книга Юлия “Путешествие в страну зека” до сих пор остается одной из лучших о коммунистической каторге. Она сильна не только фактами чудовищности “марксистского ада”, но и тем, как написана. В смысле литературном книга написана блестяще. А кроме того (что, вероятно, важнее всего) книга пронизана прекрасным человечным мировоззрением Юлия, для которого не было в жизни ничего, дороже человека и его свободы.

В Париже я тогда издавал журнал “Народная правда” и сразу же напечатал в нем отрывок из книги Юлия с своим предисловием. Этот отрывок кончался “Заключением” Юлия, которое и сейчас, через двадцать шесть лет, звучит столь же современно и своевременно, как и в годы сталинизма. В своем заключении Юлий писал: “Ежедневно на рассвете — летом в пятом часу утра, а зимой в шесть — гудит сигнал подъема на работу в тысячах советских лагерей, раскиданных на необъятном пространстве от Ледовитого океана до китайской границы, от Балтийского моря до Тихого океана. Дрожь проходит по громаде человеческих тел. В эту минуту просыпаются близкие и дорогие мне люди, которых я, вероятно, никогда уже не увижу больше. Поднимаются миллионы людей, оторванных от мира так, как если бы они жили на другой планете.

Меня уже давно нет с ними. Я живу в другом мире. Я живу в прекрасном городе на берегу Средиземного моря. Я могу спать поздно, меня не поверяют утром и вечером, и на столе моем довольно пищи. Но каждое утро в пять часов я открываю глаза и переживаю мгновение испуга. Это привычка пяти лагерных лет. Каждое утро звучит в моих ушах сигнал с того света:

— ПОДЪЕМ!”

В Париже мы с Юлием так и не встретились. Он приехал туда, чтобы выступить на процессе Руссе, как свидетель о советской каторге. А нас с женой судьба привела в Нью-Йорк. Но письменная связь продолжалась. Я был среди тех, кто старались, чтоб “Путешествие в страну зека” было переведено на главные европейские языки и опубликовано, чтобы люди Запада наконец услышали правдивые слова о коммунистических лагерях и обо всем зверье советского режима. Блестящая, свободолюбивая книга Юлия просилась быть прочтенной на Западе. Но, увы, голос Юлия, разоблачавшего советские лагеря, везде тогда оказался некстати.

По-французски друзья кое-как устроили издание книги, но перевод был настолько небрежен и плох, что книга не имела успеха. К тому же западный читатель вообще не хотел (и не

хочет) читать такие “страшные” книги (был бы это Хичкок — другое дело!). Но тогда ведь во Франции Арагон и всякие иные просоветские достохвалы во все легкие славили Сталина (получая за это, конечно, и гонорары!). И вдруг книга о *сталинских* лагерях?

В Америке за дело издания книги Юлия взялся такой, казалось бы, опытный и с большими связями человек, как покойный Рафаил А.Абрамович. Но и он с горечью разводил руками и говорил мне: “Р.Б., поверьте, как ни старался — ничего поделать не могу, издатели не хотят и слышать о советских концлагерях; это "не найдет читателя", говорят одни, а другие просто настроены пробольшевицки”.

В Германии личными стараниями Веры А.Пирожковой, на свой страх и риск переведшей книгу на немецкий язык, удалось издание устроить (не без помощи Федора А.Степуна). Но заслуженного успеха она и тут не имела. Даже в Западной Германии, под боком у сталинизма, люди не хотели (и не хотят) знать о “страшном”. Будто это “страшное” никогда к ним не придет.

Так оборвался голос Юлия, одного из первых после войны действительно приподнявших железный занавес над сталинскими концлагерями. Даже на иврите его книгу не издали. По-русски “Путешествие в страну зека” вышло в “Издательстве имени Чехова” (к сожалению, с сокращениями редакции). Зато по-русски книга имела большой успех и давно исчезла с книжного рынка, став, как говорят библиофилы, “редка”.

Все-таки мы с Юлием встретились. Встретились в Нью-Йорке. Через много-много лет со времен нашей берлинской молодости. Приехав в Нью-Йорк, он сразу же пришел к нам. Когда-то ярко-рыжий, сейчас он был седой как лунь (поседел сразу же в лагерях). Там же потерял зубы. Но темперамент остался прежний, неудержимый. И то же бело-розовое всегда улыбающееся, живое лицо. Лагеря его многому научили — еще большей любви к жизни, к людям, ко всему хорошему в них. И дали еще высокий дар — дар непримиримейшей, святой ненависти (именно *ненависти!)* к насилию над человеком и его жизнью. Эта его ненависть совпадала с моей и нас еще больше сблизила. Мы *их* ненавидели и не искали Для них “смягчающих вину обстоятельств”.

Много о чем мы говорили с Юлием, ездя по Нью-Йорку. Но очень часто среди какого-нибудь самого пустого, бытового разговора он вдруг задумывался, как бы “отсутствуя”, и когда я спрашивал его — “Ты что, Юлий?” — оказывалось, что он что-то вдруг вспомнил еще из концлагерной жизни, о чем хотел

рассказать. Я понял тогда, что пять лет ада для него даром не прошли, что они “живут в нем” и тут. На воле, в свободе, в комфорте, в достатке он все еще слышит: ПОДЪЕМ! И позднее, в Израиле, когда я приехал к ним, Вуся мне говорила, что концлагерь для Юлия даром не прошел, что он часто продолжать “жить в нем” и часто его страшные воспоминания вырываются наружу. Из Нью-Йорка Юлий улетел в Сан-Франциско к сыну Ефроиму, а на обратном пути — в Нью-Йорке — мы с ним обдумывали и обсуждали мой приезд к ним в Тель-Авив.

Весной 1963 года я полетел в Израиль. Летел я одиннадцать часов. На аэродроме Лод меня встретил радостный Юлий. Он так меня торопил, так тащил к такси скорее ехать к ним: “Все гостиницы в Тель-Авиве забиты, сейчас Седер — еврейская Пасха. Поедем, поедем, Вуся тебя ждет, ты будешь жить у нас!” — твердил Юлий, не слушая, что я старался объяснить всю мою “катастрофу”: не прилетел со мной чемодан, говорят, остался в Афинах, его надо разыскать.

— Ах, какая чепуха! Какие тут чемоданы! — кричал смеющийся Юлий. — Это даже очень хорошо, что чемодан пропал, по крайней мере, какое-то приключение, а не рутина…

Так и пришлось мне, бросив розыски чемодана, подчиниться насилию Юлия и сесть с ним в такси, чтобы ехать к ним на Шейкин-стрит, 16.

На другой день я позвонил моему другу Рувену Михаэлу в киббуц Афиким, и тот стал меня уговаривать: “Приезжай обязательно на Седер к нам, встречать Седер в киббуце гораздо интереснее, чем у Марголиных в Тель-Авиве”. Я этот вопрос поставил на голосование перед Марголиными. Они сказали, что как им ни жалко отпускать меня, но, конечно, в киббуце будет интереснее. Наутро Юлий посадил меня в автобус. Это было что-то невероятное: из Тель-Авива уезжало больше миллиона человек.

Чудная дорога, апельсиновые рощи, эвкалипты, кипарисы, стада овец, коз… Я стал прислушиваться к тому, что говорят окружающие. И все никак не мог понять, на каком языке говорили сидевшие впереди меня две супружеские пары. Обратился к ним по-английски. Нет, по-английски они не говорят. Обратился по-немецки. Один говорил, очень хорошо. Выяснилось, что они из Польши, тоже едут в киббуц. Человек, говоривший по-немецки, спросил меня, американец ли я. — “Откуда?” — “Из Нью-Йорка”. — “Давно ли живете в Нью-Йорке?”. В конце концов я сказал, что я — русский. Тут раздался невероятный крик: “А! Русский человек!” и дальше разговор пошел по-русски.

Тут я должен сделать отступление. Сколько у меня ни было встреч с евреями в Израиле, когда узнавали, что я русский, они

всегда приходили в какое-то чрезвычайно приподнятое настроение. На эту тему — о любви еврейской души к русской и наоборот — очень интересно писали многие русские писатели, в особенности В.Розанов. Мой приятель в киббуце, немецкий еврей, говорил мне: “Скажи, пожалуйста, почему это так: когда евреи говорят о Германии, то никакого восторга нет. Когда евреи говорят о Франции — то же самое. Но только стоит нашим евреям заговорить о России и о русской литературе, они приходят всегда в какой-то невероятнейший восторг”. Позже у меня был очень интересный разговор на эту тему с русскими евреями, составлявшими основную группу киббуца Афиким.

Киббуц Афиким расположен в Галилее, у Генисаретского (Тивериадского) озера. Хороший парк, эвкалипты, кипарисы. Похоже на университетский кампус в Америке. Двухэтажные дома американского типа.

Вечером я был со своими знакомыми на Седере. Полторы тысячи людей в громадном ресторане-столовой. Мужчины надели белые рубашки, женщины в белых платьях. Перед ужином было пение с музыкой. Мотивы великолепные, заунывные, потом отчаянные, потом веселые.

На другой день, в первый день Пасхи, весь киббуц выехал в поле, на свою пшеницу; на устроенном под открытым небом помосте танцевали, играл оркестр, а потом косцы жали первый сноп пшеницы.

Мне показали киббуц и рассказали его краткую историю. Киббуц Афиким был основан в 1924 году выходцами из России, молодыми людьми семнадцати-девятнадцати лет. Сначала они работали как сельскохозяйственные батраки, а потом организовались в артель, в киббуц. Теперь это один из самых богатых киббуцев в Израиле. Они продают апельсины и бананы на экспорт. Сеют пшеницу и ячмень. У них куры, несколько тысяч белых легхорнов, большие стада коров; все это оборудовано великолепно, так же, как в Америке. Построили фабрику, которая делает плайвуд, прессованную фанеру. Древесину привозят из Ганы и Гвинеи. Фанеру экспортируют в Англию, в Голландию, в другие страны.

Весь киббуц состоит из шестисот хаверов-товарищей, членов. С ними живут и старые родители.

Киббуц был расположен — тогда — в пяти километрах от границы. Первые поселенцы работали поистине героически и мерли как мухи. Места эти болотистые. Свирепствовала малярия. Была эпидемия тифа. Первая жена моего приятеля умерла в этом киббуце во время эпидемии. Его двадцатичетырехлетний сын был убит, когда он эскортировал израильский автобус.

Я расспрашивал о внутренней жизни киббуца, о том, как киббуц устроен. После долгих разговоров я выяснил, что в киббуце жить бы никак не смог. Но вот для моего покойного брата Сережи, человека с невероятно коллективистическими тенденциями, здесь было бы самое место.

В год каждый киббуцник получал на руки около 30 долларов Питались в ресторане-столовой киббуца; можно есть там, можно взять к себе домой. Дети весь день находятся в детском саду, к родителям они приходят в четыре-пять часов вечера, когда родители возвращаются с работы. Они остаются у родителей до восьми часов вечера, и потом их опять отводят в киндергартен.

Я был в этом киндергартене — все чрезвычайно благоустроенно. У детей есть специальная комната, где они рисуют, занимаются лепкой. Есть специальный скотный двор, или, если хотите, зверинец — с лошадьми, обезьянами, птицами, собаками. Но, как я заметил жене моего приятеля, с такими киндергартенами знаменитые “идише мамы”, которым еврейство, по-моему, очень многим обязано, отойдут в прошлое, ибо дети все-таки полуотстранены от родителей и не видят материнской заботы.

Я спросил своего приятеля: “Все это очень хорошо, но вот, например, есть ли у вас в киббуце писатели?” Он ответил, что писателей у них нет. “Ну, а художники?” — “Художники у нас есть. Смотри, как наш художник расписал зал. Он работает четыре часа на киббуц, а остальное время, четыре часа или там сколько хочет, может работать для себя”.

В киббуце они тогда работали по восемь часов, ну, иногда, как это всегда в сельском хозяйстве бывает, больше, и работали они не пять дней, а шесть. Суббота — день отдыха. В разговоре с бывшим русским социалистом-сионистом Бузиком Виньяром я его спросил: “Что же это вы, товарищи, работаете шесть дней в неделю? А у нас в Америке — пять”. Он стал меня убеждать, что шесть дней в неделю работать гораздо лучше, чем пять: “Между нами говоря, ну что люди делают во время отдыха? Ничего не делают. Одного дня совершенно достаточно”. Виньяр был одним из основателей этого киббуца.

Еще одна интересная вещь. Всякий киббуцник, если даже он работает вне киббуца, должен все свое жалованье отдавать в киббуц. Например, Бен Гурион. Он вышел из одного киббуца, я там был, мне показали дом Бен Гуриона — одноэтажный, шесть окон, в зелени. И Бен Гурион должен был свое жалованье отдавать в киббуц и получать столько, сколько получает всякий рядовой куббуцник, то есть 30 долларов в год.

Люди, стоящие во главе киббуца, никакого экстра-жалованья

не получают. “У нас люди не хотят идти в правление”, — заметил мой приятель.

В киббуце все решает общее собрание. Оно выбирает правление киббуца, но правление, кроме обязанностей, ничего другого не имеет. Никакого жалованья, никаких особых прав, ничего. Вы получаете те же 30 долларов, вы работаете, как все, но в то же самое время вы являетесь членом правления киббуца. Так что, думаю, если бы Лев Николаевич Толстой появился в киббуце Афиким, то он бы прослезился и разрыдался. Потому что эти люди живут именно так, как он хотел. Они не знают, что такое деньги, они знают, что такое общий труд.

Я спросил: “А что вы сделаете, если приехавший к вам человек скажет: не хочу работать. Или просто ничего не скажет, а не выйдет на работу. Что вы будете с ним делать?” — “Такого человека правление киббуца в конце концов вызывает и, если это злостное дело и если он не исправляется, ему предлагают удалиться. За все годы, что стоит киббуц, кажется, было два таких случая, когда человека удалили”.

Еще один очень интересный момент, объясняющий, почему такое замечательное начинание было осуществлено. В массе своей киббуцники — люди интеллигентные, многие с высшим образованием, другие со средним. И люди идейные. Жена моего приятеля кончила Венскую консерваторию, преподавала музыку. Но в определенные дни она обязана была с шести часов утра идти на кухню и чистить там картошку-Так что там нет отрыва от производства. Там все должны работать. На одежду киббуцникам выделяются специальные деньги. Одеты они все очень хорошо, разнообразно, так же, как в Америке.

Но начали они с коллективистского идиотизма, женщины носили одинаковые платья, а мужчины — одинаковые пиджаки. Постепенно жизнь все скорректировала, теперь они живут коллективно, но при максимальной автономии каждого человека, каждой семьи.

Отпусков у них нет. По-моему, они работают круглый год. Но по надобностям киббуц иногда отправляет людей и тратит на это очень большие деньги. Мне рассказали такой случай: жена одного киббуцника заболела, ее отвезли в Тель-Авив, поставили диагноз — ей была нужна срочная операция. Такую операцию могли произвести только в Америке. Тогда киббуц отправил ее в сопровождении мужа в Америку на свой счет, оплатил операцию и их возвращение.

В киббуце — большая библиотека, заведует библиотекой русская.

Другой увиденный мною киббуц, Энгед, был победнее, там

уже дома стояли не двухэтажные или трехэтажные, а одноэтажные. Мне показывали еще мапамовский киббуц, совсем бедный. Мапамовские киббуцы — левосоциалистические. Как мне рассказывал Юлий Марголин, он посетил один такой киббуц. “Я, — говорит, — чуть не упал в обморок, потому что вошел и вижу, — висят портреты Маркса и Сталина”. Теперь, конечно, эти портреты в киббуцах уже не висят. История учит.

Дни, проведенные мной с Марголиными в Тель-Авиве и в поездках с Юлием по Израилю, я всегда вспоминаю с чувством трогательной любви и дружбы. Это были прекрасные дни.

Много с Юлием мы ходили по Тель-Авиву. Обошли много улиц и площадей. Он показывал мне улицу Бялика, улицу Мицкевича (в Яффе), улицу Вл. Короленко, площадь Масарика, сказал, что, может быть, будет улица Милюкова. А показывая улицу Фердинанда Лассаля, смеясь, сказал: “Вот, Лассаль у нас есть, а улицы Карла Маркса, извините, нет и не будет, и, думаю, не потому, что он создал "марксизм", а потому, что написал свои знаменитые антисемитские статьи”.

Среди прочих достопримечательностей Юлий с несколько застенчивой (он был застенчив) улыбкой показал мне кафе, где он написал свое “Путешествие в страну зека”. У него смолоду (с Берлина) осталась европейская богемная привычка вдохновляться и писать где-нибудь в кафе. Показал он мне и музей Жаботинского, где в одной из витрин была выставлена его книга “Еврейская повесть”, побывали мы в музее Хага-ны. Были и в двух редакциях самых больших израильских газет, где разговор шел, конечно, по-русски. Но вот какую грустную черту в жизни Юлия в Израиле я тогда почувствовал.

В то время — 1963 год — большинство израильской интеллигенции и правительственной элиты было настроено по отношению к Совсоюзу, увы, весьма “мягко” и “симпатично”. Всем этим людям хотелось дружбы с Советами во что бы то ни стало. Почему? Думаю, что не последнюю роль тут играл так называемый “ореол революционной страны”, все еще веявший и реявший над реакционнейшим Совсоюзом. И благодаря этой психологии “верхнего слоя” израильской интеллигенции, благодаря этому “климату” побывавший в концлагерях Юлий, занявший совершенно непримиримую в отношении Совсоюза позицию, оказывался “более-менее” не у дел. А на компромисс с политической совестью Юлий пойти и не мог и не умел, если б даже захотел. Есть такие “неудобные” люди. Вот, например, Осип Мандельштам. Он, конечно, знал, что этого стихо о Сталине — “Тараканьи смеются усища / И сияют его голенища…/ Что ни казнь для него, то — малина / И широкая грудь осетина” —

писать *нельзя,* что это — *смерть,* и, наверное, очень страшная смерть, — и все-таки он эти стихи написал. И не только написал, но еще читал приятелям, среди которых (он и это прекрасно знал) были, конечно же, стукачи. И как только стихо дошло до Сталина, он вовсе не расстрелял Мандельштама, он *замучил его* голодом, нищетой, тюрьмами, допросами и под самый конец — концлагерем.

Вот и у Юлия в какой-то степени было в характере нечто мандельштамовское: ни с какими фарисеями он за стол садиться не хотел. Почему? Да потому, что *не мог.* И все тут. Поэтому жизнь его тогда в Израиле, как мне кажется, и не сложилась так, как могла бы и должна бы была сложиться. Он был и образован, и талантлив, владел несколькими европейскими языками. Казалось бы, все есть… но нет, своими взглядами Юлий "не попадал в генеральную линию" и совершенно не хотел в нее попадать, а жил как вечный студент, как богема, как писатель — случайным литературным заработком. Не знаю, но думаю, что после шестидневной войны Юлию стало легче, он, наверное, вышел тогда из своего антисоветского "одиночества". В последний раз, когда он был в Нью-Йорке, он с восторгом рассказывал мне о молодых евреях, выбравшихся из Совсоюза и живших в каком-то, кажется, киббуце. Вот с ними Юлию не надо было искать общий язык, он был налицо…

В Назарет мы с Юлием ездили с туристической поездкой из Тивериады. Проехали старую деревню Магдалу, откуда родом Мария Магдалина, и через Кану Галилейскую прибыли в Назарет. Назарет тогда был чисто арабским городом, бело-желтые или голубые (от дурного глаза) арабские дома на довольно крутых холмах. Израильское правительство построило на другом холме свои фабрики и новые дома для поселенцев.

Гид, привезший нас в Назарет, сказал: "Я вас должен передать арабскому гиду". Пришел старый араб, отрекомендовался на семи языках. Он показал нам храм Благовещения, который тогда строили католики на том месте, где, по преданию, жила Дева Мария и где ей явился Архангел Благовещения. В Страстную Субботу я хотел обязательно быть в Иерусалиме и пойти к православной заутрене. Марголин, с которым я поехал в Иерусалим, предложил остановиться в Польском доме, гостинице польской католической миссии.

Чистая комната, все удобства. Нас встретили дружелюбные монашки, сестры Рафаэла и Мельхиора. После завтрака мы отправились на старое русское подворье. Прекрасные здания царских времен, написано: "Российское Палестинское общество при Академии наук". И дальше — что-то на иврите. "На

иврите, — говорит Юлий, — написано: "Посторонним лицам вход строго воспрещен"".

На храме Александра Невского в Страстную Субботу висел большой замок, а рядом — расписание служб. Служба должна была начаться, согласно расписанию, в два часа. Мы опоздали, может быть, минут на двадцать — и опять замок. Тогда мы решили поехать в Эйн Карем (ныне в границах города), место, где родился Иоанн Креститель и где, по преданию, Дева Мария встретилась с Елисаветой, матерью Иоанна Крестителя. Очень красивое место на склоне холма. Нашли русский храм. На дверях опять замок. Марголин, человек очень энергичный, говорит: “Так не годится, надо кого-нибудь найти”. Отправился по домам. Наконец на один стук вышла женщина. Говорила она по-русски очень плохо: “Я — полька, жена местного священника”. Священник из окна вдруг нам закричал: “Если у вас есть своя машина, то приезжайте вечером”. Я понял, что православные храмы и в Иерусалиме и в Эйн Кареме фактически бездействуют.

Иерусалим тогда был разделен на арабскую и израильскую части. Пройти на арабскую сторону, в Старый город, оказалось совершенно невозможно. Я был так наивен, что думал, будто паломников пускают туда и обратно. Обратился к католическому священнику, отцу Симковскому, очень культурному человеку, историку, долго жившему в Риме.

— Ничего сделать нельзя, — ответил о. Симковский. — Вы можете только попросить американское посольство дать вам бумагу для иорданского поста, может быть, они вас туда пропустят, но тогда уже вернуться на израильскую половину Иерусалима вы не сможете. Вы должны будете лететь через Бейрут…

Мне захотелось взглянуть на “нимандланд”, ничейную полосу между Старым (арабским) и новым городом. Мы вошли в крайние улицы, те, что соприкасались с “нимандланд”. Какой-то мальчишка предложил подняться на крышу дома, посмотреть. Впечатление было очень мрачное: проволка, стена, пустые дома с выбитыми стеклами, искореженные цементные блоки. Польские монашки мне сказали, что их пропускают в Старый город в пять месяцев раз на два-три дня. Стало быть, в Страстную Субботу на православной службе мне быть не суждено.

И тогда я вступил в переговоры с сестрой Рафаэлей, куда нам идти. Она предложила пойти с ними в католический храм на горе Сион. Пошли мы с Марголиным, сестрой Рафаэлей, сестрой Мельхиорой и с пани Ковалик. Пани Ковалик только что приехала. Эта полька во время Варшавского гетто и оккупации сама спасла пять еврейский детей, а с помощью других — спасла

массу людей. Пятеро спасенных ею детей жили теперь в Израиле и вызвали ее на Пасху.

До Пасхальной заутрени еще было время, и монашки предложили пройти к гробу царя Давида. Подходя, мы услышали музыку и какой-то шум. Когда мы вошли в небольшое помещение, то увидели, что у гробницы хасиды танцуют танец. Их было человек тридцать. Один играл на гармони, другой на флейте. Я остановился, потрясенный. Сначала танец был необычайно томительный, как бы символизирующий смерть. И вдруг, сразу после заунывного мотива — плясовая, когда человек взвивается и начинается неистовый танец…

Когда на другой день мы вернулись в Тель-Авив, нас уже приглашение от мэра Тель-Авива Намира, бывшего генерального секретаря Гистадрута (израильских профсоюзов). Разговаривали мы с Намиром по-русски, ибо Намир был с Полтавщины. Говорили о многом, причем нас все время со вспышками магния фотографировал придворный фотограф мэра, и под конец я получил от мэра альбом города и значок Тель-Авива.

А вы знаете, что вы — первый русский писатель, посетивший Израиль? — сказал мне Намир. Как — первый? — не поверил я. — Что вы! А Бунин? А Пильняк? И Бунин и Пильняк были в Палестине, а в государство Израиль вы приехали первый.

Намир был так любезен, что дал нам автомобиль и провожатого, который бы показал мне все, что я захочу, в Тель-Авиве. Больше того, Намир предложил оплатить какую-нибудь мою поездку по Израилю по любому маршруту — туда и обратно.

Посоветовавшись с Юлием, мы выбрали пустыню Негев до Эйлата и назад. Кстати сказать, путешествия, перемена мест, вообще движение как таковое всегда были моей страстью. Той же страстью был болен и Юлий. Он, как ребенок, обожал ездить, путешествовать, смотреть неизвестные (и известные!) места, людей, города, природу, показывать свон страну всем приезжающим друзьям и рассказывать о ней. Гид он был — первый сорт! Вот мы и понеслись с ним в автобусе по пустыне Негев.

Из всех впечатлений от Израиля (ветхозаветных) поездка через пустыню Негев была самой потрясающей. Это какая-то трагически-бетховенская пустыня. Юлий мне объяснял все и показывал. И Кириат-Гат, и Бершебу, и горы Трансиордании, где, по преданью, похоронены Моисей и Аарон, и место, где Иисус Навин остановил солнце, и киббуц, где жил Бен Гурион. Мимо летели мрачные скалы — то черные, то желто-красные, то серебряно-песочные, — и все это в вихре песка, поднимаемого ветром. Сквозь этот вихрь автобус несся по единственной

довольно узкой асфальтированной дороге, которую проложила израильская армия.

В израильских автобусах часто поют. Первым запевает гид, он начинает петь еврейские песни, ему подтягивает весь автобус. В нашем автобусе вслед за гидом солировала какая-то девица, она пела все что хотите, а потом, конечно, пела “Полюшко-поле” и “Катюшу”, и притом весь автобус тоже подтягивал.

Показывая на горы Трансиордании, Юлий, смеясь, рассказал мне очень милый анекдот о Моисее. “Ты знаешь, как мы, евреи, попали сюда, в землю Канаанскую? Не знаешь? Ну так я тебе расскажу. Моисей ведь, по преданию, был страшный заика и, когда он вывел евреев из Египта, Бог спросил его, какую же страну, Моисей, ты хочешь для твоего народа? Скажи мне, и я тебе ее дам. Моисей начал страшно заикаться: "Ка-ка-ка-ка…" и этим так надоел Богу, что Бог перебил его: "Знаю, знаю, ты хочешь сказать Канаан. Даю эту страну твоему народу". Но дело-то в том, что Моисей хотел выговорить — "Канада" — а вовсе не Канаан. Вот мы и попали сюда вместо Канады…”, — весело смеялся Юлий.

В голубом Эйлате мы переночевали, покатались по прозрачно-голубому заливу на туристском катере со стеклянным дном, сквозь которое была видна вся “флора и фауна” Акабского залива. И вернулись тем же путем назад в Тель-Авив рассказывать Вусе обо всем виденном, пить чай и есть вкусный ужин.

К характеристике Юлия еще скажу, что в так называемом культурном обществе, то есть в обществе воспитанных интеллигентов, всегда немного фальшивом, немного неправдивом, немного неживом и часто даже немного фарисейском, Юлий бывал подчас неудобен. Он не чувствовал иногда обязательности общественной “вежливости и сдержанности”. И вел себя подчас так, как не принято. Помню, он рассказывал мне, как он делал доклад среди каких-то состоятельных людей о том, что нужно собрать деньги на издание еврейского журнала на русском языке для “той стороны” (для засылки в Совсоюз). И вот ему показалось, что эти состоятельные люди не слишком поспешно и не слишком жарко реагируют на его предложения и аргументы. И Юлий наговорил им — вероятно, не совсем справедливо — какие-то неприятные вещи. На другой день он хватался за голову, ругал себя, чувствуя, что “я, кажется, переборщил”. “Переборщить” он порой мог. Потому что, в противоположность многим джентльменам, он считал, что правда лучше вежливости.

Юлий сотрудничал почти во всех русских зарубежных изданиях. В “Новом журнале”, “Воздушных путях”, “Мостах”, в

газетах — “Новое русское слово” и “Русская мысль”. В “Новом русском слове” он был постоянным корреспондентом из Израиля, и его “Тель-авивский блокнот” всегда имел успех у читателей, даже во многом с ним не соглашавшихся.

В “Новом журнале” он напечатал отрывки из “Путешествия в страну зека”, печатал отдельные статьи, печатал отрывки из своей биографической повести “Книга жизни”, к сожалению неоконченной. Последней его публикацией в “Новом журнале” была превосходная статья о философе Льве Шестове — “Антифилософ”, в которой он необычно, по-своему, подошел к этому парадоксальному мыслителю.

Когда в “Новом журнале” я напечатал его отрывки о детстве и отрочестве из “Книги жизни”, у некоторых читателей они вызвали неприятные чувства. Мне говорили: “Ну что такое написал Марголин! Это же черт знает что! Как он вывел своего покойного отца? Он написал, что отец брал какие-то взятки за освобождение от воинской повинности… это Бог знает что такое… и как вы могли это напечатать?” Я рассказал об этом Юлию. Он стал хохотать. “Но я же написал сущую правду! — кричал он. — К тому же, если б я стал врать, то есть "лакировать" портрет моего отца, то я прекрасно знаю, что у меня бы просто ничего не получилось. И если что-нибудь получилось неплохое, то только потому, что я не хотел фальшивить!” “Фальшивить” для Юлия было хуже всего. Это было опять нечто мандельштамовское.

Сколько я знал Юлия, он всегда был, так сказать, подчеркнутым евреем (хоть и не был религиозным). Но став убежденным сионистом, он все-таки никогда не мог духовно оторваться от русской культуры. Да и не хотел. Он любил ее. Любил русскую интеллигенцию, русскую мысль, русский характер, русскую литературу, философию, поэзию, музыку. Русскую литературу он знал изумительно. Одна духовная половина его души всегда оставалась русской. Да и прожил он всю жизнь как типичный русский интеллигент старого закала и “великих традиций” — с полным пренебрежением к материальной стороне жизни и с упором на “идейность”, на все доброе в человеке и справедливое для человека.

К *вопросу об “автокефалии”*{41}

ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА АФИНАГОРА ПАТРИАРХУ АЛЕКСИЮ

Блаженнейший и Святейший Алексий, Патриарх Московский и всея Руси, возлюбленный и дражайший брат и со-служитель нашей верности. Мы почтительно и братски лобзаем Ваше

Блаженство во Иисусе Христе и имеем честь обратиться к Вам со следующим:

Некоторое время тому назад мы были осведомлены из кругов Русской Митрополии в Нью-Йорке о переговорах, которые давно ведутся между Вашим Блаженством и Митрополией для установления нормальных отношений между Митрополией и Московской Патриархией.

Наша Константинопольская Церковь, как Мать, всегда ищущая мира в лоне каждой из различных Православных Церквей, равно как соблюдения между ними уз любви, с любовью наблюдала за братскими стараниями, употребляемыми с обеих сторон для восстановления нормальных отношений и соблюдения гармонии и единства в лоне нашей Святой Православной Церкви и всегда в соответствии со Священными Канонами и церковным порядком и практикой, которая издавна стала законом.

Итак, пока мы ожидали, что, в соответствии с глубокой осторожностью Вашего Блаженства, имевшие место переговоры поведут к блаженному и мирному направлению, мы и наш Священный Синод, к нашему удивлению и сожалению, были недавно осведомлены из докладов нашего Высокопреосвященнейшего Архиепископа Северной и Южной Америки Иаковоса, что представители Вашего Блаженства ведут переговоры с представителями Митрополии для объявления этой Церкви автокефальной.

Мы считаем излишним и бесполезным перечислять в подробностях гибельные последствия, к которым могли бы привести такие возможные действия Святой Русской Церкви. Ибо Ваше Блаженство хорошо знаете, какое ниспровержение церковного порядка и какое общее смятение может произойти вследствие такого объявления автокефалии в любой юрисдикции произвольно и односторонне относительно Церкви со стороны одной из автокефальных Церквей.

Обращаясь же теперь к тем Православным Церквам в “рассеянии” в Америке, подчиненным различным отечественным юрисдикциям и зависящим от них до тех пор, пока не состоится общеправославное решение по данному вопросу, ясно, что объявление автокефалии одной из этих Церквей, если оно совершается так, как предусмотрено в отношении Митрополии, составляет акцию, которая не только противоречит священным канонам, которыми руководилась наша Православная Церковь в течение многих столетий, но и акцией, которая вместо способствования установлению нормальных отношений может стать источником проблем для Православия в Америке. Результаты этих проблем неизбежны, и вышеуказанная

Митрополия не может избежать того, чтобы стать предметом, нарушающим общеправославные отношения.

В эти дни, когда так много усилий прилагается к тому, чтобы создать священное единство внутри Православия, и списки вопросов, относящихся к Православной Церкви в рассеянии вообще, включая автокефалию, предложены для изучения и 'окончательного решения Священным и Великим Собором, мы без колебаний полагаем, что план, обсуждаемый относительно Митрополии, будучи осуществленным, содержит в себе большие опасности и подорвет совместные и гармонические междуцерковные усилия по подготовке Собора…

Глубоко озабоченные единством наших Православных Церквей и единством, которое проявляет каждая Церковь, твердо направляясь к Великому Собору и будучи убеждены, что Ваше Блаженство, весьма нами возлюбленное, имеете то же мнение и те же намерения, мы пишем Вам по постановлению нашего Священного Синода. И делая это, мы требуем от Вас и Вашей Святейшей Церкви, чтобы, взвесив обстоятельства и проистекающую отсюда ответственность, Вы не позволили бы, во имя общей пользы, чтобы дело это шло дальше, но чтобы намеченные планы были отменены.

Желая со всей ясностью оповестить заранее Ваше Блаженство о том, какова будет позиция нашего Святого Апостольского и Патриаршего Вселенского Престола, если бы мы столкнулись с обсуждаемой проблемой, касающейся Православия, мы поэтому уведомляем Вас в этом братском Патриаршем письме, что, если Святая Российская Церковь, столь возлюбленная, вопреки нашему братскому увещеванию и совету и вопреки всякой надежде, будет продолжать осуществление ныне намеченного предложения объявить автокефалию Русской Православной Митрополии в Америке, то этот Престол не признает этого деяния и не впишет этой Церкви в диптихи Святых Православных Автокефальных Церквей. В соответствии с этим, мы заклеймили бы эту Церковь, которую Вы хотите объявить автокефальной, как неканоничную. В связи с этим наш Престол принял бы и другие меры, необходимые для обеспечения канонического порядка.

Кроме того, мы полагаем, что имеем долг оповестить об этом деле наших Братьев во Христе, Патриархов, Архиепископов и Глав Святых Православных Автокефальных Церквей, каждому из коих мы пошлем копию этого нашего Патриаршего послания для сведения. Копия также посылается Высокопреосвященнейшему Архиепископу Иа-ковосу Северной и Южной Америки.

Мы обращаем к Вашему Блаженству это определение Священного Синода с надеждой, что отныне всякая акция,

которая могла бы нарушить спокойствие и мир в Церкви, будет избегнута, и мы вновь лобызаем Вас с братской любовью и с глубочайшим уважением во имя Христа Спасителя, явившегося ныне на реке Иордане.

Ваш брат во Христе

Афинагор Константинопольский, Вселенский Патриарх 8 января 1970 Засвидетельствовано в качестве верной копии Главы. Секретарем Священного Синода Архиепископом Колнским Гавриилом.

ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА АФИНАГОРА МИТРОПОЛИТУ КРУТИЦКОМУ ПИМЕНУ

Высокопреосвященнейший Митрополит Крутицкий и Коломенский, возлюбленный брат в Духе Святом и сослужи-тель нашей верности, Господин Пимен, Местоблюститель Московского Патриаршего Престола: благодать и мир Божий да будут с Вашим Высокопреосвященством.

Мы получили и прочитали со вниманием в заседании нашего Священного Синода послание от 17 марта 1970 г., которое почивший Патриарх Московский и всея Руси Алексий послал нам в качестве ответа на наше братской послание на его имя от 8 января 1970 г., содержащее разбор его собственных суждений и его точки зрения, равно как и Священного Синода Православной Русской Церкви-сестры, по поводу недолжным образом возбужденного вопроса о предоставлении Московским Патриархом автокефалии Русской Православной Митрополии в Нью-Йорке под названием “Православная Автокефальная Церковь Америки”.

Мы положительно удивлены узнать из вышеуказанного письма приснопамятного Патриарха, что он не получил нашего письма от 8 января 1970 г. за № 7 и что он ознакомился с его содержанием из копии, дошедшей до него другим путем. Наше удивление, достигшее степени тревоги, тем более оправданно, что к тому же наше письмо было послано заказным с обратной распиской и, в соответствии с международным порядком, мы получили соответствующую расписку от 17 января, имеющую подпись получателя. Мы прилагаем при сем фотокопию этой расписки для Вашего сведения.

Мы считали необходимым это объяснение для того, чтобы соответствующие инстанции имели возможность выяснить этот вопрос, могущий вызвать большое недоразумение. Мы просим Ваше возлюбленное и почитаемое Высокопреосвященство

благоволить об уведомлении нас в свое время о результатах расследования, которое будет предпринято по этому поводу для того, чтобы наше естественное недоумение было разъяснено.

Переходя к точке зрения, изложенной в письме от 17 марта 1970 г., мы не находим возможности для объяснения, удивления и недоумения, которые испытал блаженной памяти Патриарх по поводу содержания нашего предыдущего послания, и мы признаемся, что как раз содержание и форма его ответа причинили глубокое огорчение нам и нашему Синоду.

В нашем послании от 8 января 1970 г. за № 7 мы обратились с горячим братским увещанием, чтобы Святейшая Российская Церковь воздержалась впредь от всяких-шагов, которые могли бы нарушить церковный мир и покой и создать положение, ниспровергающее установленный канонический порядок и вызывающее волнение и еще более глубокое смущение, распространяющееся в ущерб единству и согласию, достигнутому в нашей Святой Церкви после стольких трудов и лишений.

Но вместо того, чтобы найти, как мы этого ожидали, понимание, которое отвечало бы нашей братской просьбе, как раз вопреки всякой надежде и ожиданию мы констатируем, что, увы, Русская Православная Церковь упорствует в своей неправильной позиции и продолжает свои переговоры относительно проекта автокефалии вплоть до ее провозглашения.

Для оправдания своих мероприятий Ваша Церковь ссылается на необходимость устранения существующих непорядков во взаимоотношениях русских общин с Русской Церковью и между собою и на якобы принадлежащее ей право предоставить автокефалию, о которой идет речь, но приведенные аргументы отнюдь не убедительны в смысле справедливости предпринятого мероприятия.

И прежде всего в отношении аномалии во взаимоотношениях русских общин с Русской Православной Церковью и между собою, нет никакой причины или основания, чтобы, устраняя их, создавать другую, еще большую (аномалию), которая может принести ущерб порядку управления всей Православной Церкви, имея в виду, что есть другие формы управления, к которым могла бы обратиться Святая Российская Церковь-сестра. Что касается якобы принадлежащего каждой православной автокефальной Церкви права предоставлять автокефалию, то это не отвечает ни каноническим требованиям, ни практике Церкви.

Конечно, нет сомнения, что по каноническому строю Цервки каноническая власть предоставляет автокефалию. Кто, однако, является законной властью, предоставляющей автокефалию? Каковы, далее, необходимые нормы и условия?

В церковном законодательстве нет канонов, специфически предусматривающих в подробностях вопрос об автокефалии. Но из основных принципов этого законодательства можно вывести соответствующие правила, ясно выраженные в каноническом сознании Церкви, как она высказалась во многих случаях в истории и как это ясно написано в статутах (Томосах) при объявлении автокефалии современных Поместных Церквей.

На основании этих источников закона, а также самого понятия об автокефалии как церковном акте, связанном с изменением церковных границ и появлением новой юрисдикционной и административной власти и создающим, т. о., новое положение во всей Православной Церкви, — следует, что объявление автокефалии принадлежит компетенции всей Церкви; оно отнюдь не может быть рассматриваемо как право “каждой автокефальной Церкви”, как это значится в письме почившего Патриарха Алексия…

Полное и окончательное объявление входит в компетенцию общего Собора, представляющего полноту поместных Православных Церквей, а именно Вселенского Собора. Поместный Собор Церкви-Матери, от которой зависят просящие автокефалии области, имеет только право принимать их первое прошение о независимости и решить, заслуживают ли представленные ими основания принятия в духе 34 Апостольского правила…

Факторами, признаваемыми как основные и необходимые для объявления автокефалии, являются прежде всего: 1) ясно выраженное мнение христианского народа, т. е. клира и мирян, 2) формулировка всем местным епископатом в официальном соборном акте соответствующего прошения, равно как и мотивов, диктующих отделение; без епископата всякое деяние мирян или правительства, в качестве представляющего их, было бы самочинным актом, 3) мнение Церкви-Матери и, наконец, окончательное решение всей полноты Церкви является, следовательно, необходимым для канонического создания автокефалии, равно как и всякого подобного акта.

Если, согласно сказанному, объявление автокефалии одной Поместной Церковью части ее, от нее отделенной, является неканоническим, то объявление одною Поместною Церковью церковной территории как автокефальной — территории, которая не только не составляет интегральной части ее, но еще, сверх того, не имела никакого отношения или зависимости от нее, — явно является актом, преступающим юрисдикционные границы в нарушение явных указаний священных канонов. Ибо Святые Апостолы и Отцы Церкви настоятельно призывали к миру Церкви. Апостолы постановили: “Воспрещено одному епископу вторгаться

в территорию другого" (каноны Апост. XIV и XXXIV), и Отцы, собравшиеся на 1-й Никейский Вселенский Собор: "Надлежит соблюдать древние обычаи, и пусть каждый престол управляет епархиями, к нему принадлежащими" (каноны VI и VII). И Отцы, собравшиеся на Собор в Антиохии, постановили: "Ни единый епископ да не дерзает из единыя епархии преходити в другую" (правила XIII и XXII). Наконец, согласно Зона-ре, Отцы, собравшиеся на Второй Вселенский Собор в Константинополе, постановили: "Епископы да не простирают своея власти на церкви за пределами своея области".

Эти священные каноны, на которых искони основывается строй Церкви, коими искони утверждается ее административный порядок и права Церквей защищены, а соблазн устраняется, эти каноны не были приняты во внимание Святейшей Церковью Российской, которая, увы, приступила к ряду действий, выходящих за пределы ее юрисдикции; все то, что она дерзнула сделать в течение последних лет в Польше и в Чехословакии, а теперь в Америке, — служит тому примером.

Русская Православная Церковь игнорировала создание Православной Церкви в Польше покойным Вселенским Патриархом Григорием VII Синодальным и Патриаршим Томосом от 13 ноября 1924 г. Этот акт Вселенского Престола в отношении Польской Церкви был охотно и безоговорочно признан в духе любви и братского общения. Между тем Русская Церковь даровала Польской Церкви новую автокефалию актом своего Священного Синода от 22 июня 1948 г. В этом случае она действовала, нарушая права своей юрисдикции, ибо Православная Польская Церковь, по отрыве после Второй мировой войны от территории Белоруссии и Украины, которые ранее были к ней присоединены, охватывает территорию, простирающуюся к западу до Балтийского моря, которая в древние времена была вне территории Московского Патриархата и под юрисдикцией Вселенского Патриаршего Престола.

Без основания или оправдания и преступая свою юрисдикцию Русская Церковь вмешалась в дела Православной Церкви в Чехословакии, на территории, тоже канонически и исторически принадлежащей Вселенскому Патриаршему Престолу и им организованной. Сначала она произвела давление на ее канонического епископа, блаженной памяти Архиепископа Пражского и всея Чехословакии на территории, которая тоже канонически и исторически принадлежала Вселенскому Патриаршему Престолу и была им организована. Она начала с того, что произвела давление на ее канонического епископа, Блаженной памяти Архиепископа Савватия Пражского и всея

Чехословакии, послав туда Экзарха, и, наконец, дошла до того, что пожаловала ему неканоническую и необоснованную автокефалию, нарушив еще раз канонический порядок автономии этого района, которая была дана ему Вселенским Престолом с 1923 г. и была признана Поместными Православными Церквами-Сестрами.

Идя по тому же неканоническому пути, Русская Православная Церковь теперь вторгается в церковные дела в Америке. Ссылаясь на свою якобы материнскую связь с православными в Америке, основанную на факте отправления некогда миссионеров на Алеутские острова и на Аляску, она считает себя единственно имеющей законное право для дел "Греко-Кафолической Православной Церкви Америки" — как она называет русскую Митрополию в Америке под юрисдикцией Е.В. Митрополита Иринея. Следовательно, она признает себя вправе решать церковные дела в Америке по своему усмотрению.

С начала второй половины XIX века, когда русские переселенцы в Америке стали спускаться из северных районов к югу, к промышленным центрам континентальной Америки, преимущественно начиная с первых десятилетий нашего века, православные почти из всех православных стран массами эмигрировали в Новый Мир, создавая таким образом православные юрисдикции, ныне существующие в Америке. Это есть новое явление в истории Православной Церкви, новый вид диаспоры, положение исключительное и необычное, ибо оно допускает существование нескольких Митрополитов на одной территории, иногда действующих с одинаковым титулом церковной юрисдикции над отдельными национальностями. Это находится в противоречии с ясными каноническими требованиями, как, напр., 21 прв. IV Вселенского Халкидонского Собора, которое определяет, что "не бывает двух митрополитов во единой области".

Хотя это положение противоречит основному догматическому принципу православной экклезиологии, согласно коему в основе церковной организации лежит единство всех верующих, живущих в одном месте, в едином церковном организме, имеющем во главе епископа, который укрепляет единство нового народа Божия, в коем "несть еллин, ни иудей… но всяческая и во всем Христос" (Кол. 3, 11), хотя это положение противоречит самому строю Церкви и ее священному законодательству, тем не менее, поскольку это касается чрезвычайного явления, отдельного и временного, оно рассматривается и принимается нашим Святейшим Апостольским Вселенским Престолом в духе крайней вынужденности, снисхождения и терпимости для того, чтобы

служить миру и единству между Церквами-сестрами, защищать его и распространять, пока нельзя будет этот вопрос официально рассмотреть на будущем Святом и Великом Соборе Православной Церкви, коему он передается общеправославным решением. Вот почему мы не можем понять поспешности, проявленной Русской Православной Церковью, объявления автокефальною Церковью сравнительно малой части русской православной диаспоры в Америке, которая только недавно признала ее юрисдикцию, давая ей при том титул, не соответствующий реальности.

Вследствие сего мы находим целесообразным для выполнения нашего долга и нашей ответственности в отношении всей Православной Церкви вновь братски увещевать Святую Православную Русскую Церковь воздержаться впредь от всяких действий в этом вопросе и напомнить ей, что у нее есть определенные границы и также ограниченный круг ее юрисдикции, который не может распространяться за границы компетенции, которая предоставлена ей Патриаршей Грамотой Вселенского Патриарха Иеремии II в 1591 году, коему она обязана своим независимым существованием, равно как и новому Томосу того же Патриарха Иеремии II, от февраля 1593 г.

Мы питаем надежду, что Русская Православная Церковь-сестра, блюдя канонический порядок и имея в виду церковный мир, не только воздержится от действий в этом вопросе, но и сделает все возможное, чтобы устранить происходящее от сего каноническое расстройство. Но если вопреки надеждам она будет настаивать на своих нынешних взглядах, идя против постановлений, принятых на общеправославном совещании, которое отложило рассмотрение этого вопроса до будущего Святого и Великого Собора Православных Восточных Церквей, то мы объявляем, что этот Вселенский Апостольский Патриарший Престол находит себя вынужденным для блага и в интересах всей Церкви считать все эти действия несуществующими, а действительным только всеправославное решение, регулирующее общий вопрос православной диаспоры.

Движимые братским долгом, мы даем этот ответ на письмо от 17 марта 1970 г. Святейшей Русской Церкви, и мы молим Бога, Отца мира, направить в этом случае мысли ее к деяниям, достойным ее славного прошлого и ее почтенных традиций для охранения канонического порядка и священного законодательства наших отцов. Бог да дарует Своей Святой Церкви мир, а Вашему досточтимому Высокопреосвященству многие лета, исполненные здравия и благополучия.

С братской любовью и глубоким уважением

Афинагор, Архиепископ Константинопольский, Вселенский

Патриарх 24 июня 1970 г.

ПОСЛАНИЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ПАТРИАРХА ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ АРХИЕПИСКОПУ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОМУ, НОВОГО РИМА И ВСЕЛЕНСКОМУ ПАТРИАРХУ

Возлюбленный наш брат во Христе и сослужитель нашей верности, досточтимый Афинагор, мы братски обнимаем Ваше Высокопреосвященство и имеем великое удовольствие обратиться к Вам. Мы получили письма, с которыми Ваше Высокопреосвященство обратилось к нам по вопросу о мероприятиях и действиях, на которые дерзостно решилась Святая Русская Церковь-сестра в отношении Русской Православной Митрополии в Америке, возглавляемой Преосвященным Иринеем, а также корреспонденцию между Московским Патриархатом и Апостольским Патриаршим и Вселенским Престолом.

Исчерпывающим образом изучив эти письма как лично, так и совместно с нашим Святейшим Синодом, мы были опечалены и огорчены этими антиканоническими и произвольными действиями Святой Русской Церкви-сестры, которые могут нарушить мир и расстроить единство в православной системе управления, а также привести к смущению в святых Православных Церквах.

К сожалению, статус автокефалии в какой бы то ни было форме, антиканонически провозглашенный Святой Русской Церковью Православной Митрополии Северной Америки или автокефалии Православной Церкви Америки вообще, был принят неосмотрительно не только в нарушение порядка, существующего уже много веков, согласно которому предоставление автокефалии является прерогативой всей Церкви, но также с полным игнорированием обычных норм вежливости, соблюдаемых в отношении остальных Автокефальных Православных Церквей во всем мире, которым Московский Патриархат должен был сообщить об обстоятельствах, якобы требовавших этого предоставления автокефалии.

Согласно канонам, которые Святейшие Вселенские Соборы ввели так, чтобы они могли применяться повсеместно, одно необходимое предварительное условие провозглашения автокефалии было выделено, в особенности 4-м Вселенским Собором, а именно наличие свободно выраженного желания христианского народа, находящегося под руководством должным

образом назначенного духовенства соответствующей церковной юрисдикции.

Святая Русская Церковь-сестра явно считает, что для провозглашения автокефалии какой-либо церкви требуется лишь достаточное число епископов для посвящения в сан других епископов и достаточное число верной паствы для обеспечения материальных нужд.

Эта главная и решающая роль народа Господня могла быть правильно оценена, если бы досточтимый Местоблюститель Патриаршего Престола в Москве помнил о том, что сказал покойный Московский Патриарх Тихон в своем протесте от 29 декабря 1917 г. католикосу Грузии, напомнив ему, что автокефалия даруется по просьбе государственных и церковных властей страны, желающей получить автокефалию, но что такая просьба должна действительно отражать “всеобщее и полностью согласованное желание народа”.

Мнение досточтимого Митрополита изменилось бы еще более, если бы он знал о некоторых действиях и решениях 4-го Вселенского Собора. Своим каноном III 2-й Вселенский Собор предоставил Архиепископу Константинопольскому лишь почетный примат, сохранив в то же время своим каноном II полностью права экзархов провинции Фракии, Понта, а также Азии. Всего лишь через два десятилетия Св. Иоанн Хризостом в качестве Константинопольского Патриарха вмешался в дела вышеозначенных юрисдикции, снизив в должности этих экзархов и посвятив в сан на их место других. Эти снижения в должности и посвящения не имели бы ни канонической, ни правовой силы и вообще не было бы никаких изменений в этом отношении, если бы православные конгрегации не обратились к Св. Иоанну Хризостому с просьбой об исправлении совершенных неправильностей. Почти полвека спустя это вмешательство было признано действительным в каноне XXVIII 4-го Вселенского Собора. Согласно 16-му акту этого Святого Собора указанный канон включает Томос, предложенный собранию и имеющий подписи экзархов и большого числа епископов юрисдикции Фракии, Понта и Азии; этот Томос содержит просьбу о включении конгрегации в сферу юрисдикции Константинопольского Престола. И когда власти спросили их, “подписались ли они добровольно или по принуждению”, они заявили о своем свободном согласии…

Совершенно ясно, что в действиях Святой Русской Церкви-сестры основное предварительное условие, выражаясь мягко, было насильственно забыто и признано не имеющим силы, так как мнение наиболее многочисленной конгрегации в Америке,

т. е. мнение греко-православной епархии, не было ни запрошено, ни выслушано, как того требовало положение.

Переговоры велись и решения принимались с меньшинственной конгрегацией, составляющей едва одну треть всей православной конгрегации в Америке, большинство же продолжает оставаться вне автокефалии, либо игнорируя ее, либо же осудив ее.

Кроме того, Томос устанавливает парадоксальное и неслыханное в истории Православных Церквей положение: под юрисдикцией недавно назначенного первым заместителем в Московском Патриархате бывшего епископа Уманского Макария в Америке остаются все приходы бывшего экзархата Московского Патриарха. Следовательно, 43 прихода экзархата Соединенных Штатов, включая Свято-Николаевский собор в гор. Нью-Йорке со всем его имуществом, равно как и все приходы в Канаде, по-прежнему находятся под юрисдикцией Московского Патриархата.

Таки образом Томос становится скорее коммерческим соглашением, вопреки любым нормам церковного строя, и этим Святейший Синод в Москве жестоко противоречит сам себе. Предоставляя одной рукой автокефалию Русской Митрополии в Америке, а другой рукой сохраняя свою собственную власть и юрисдикцию над приходами в том же самом церковном районе, что противоречит основным каноническим правилам, — Синод отрицает и делает недействительной им же самим дарованную автокефалию.

Сообщая вышеизложенные соображения, мы желаем заверить Ваше Высокопреосвященство в том, что наша Святая Церковь, будучи полностью согласна с точкой зрения, содержащейся в Ваших письмах, категорически осуждает антиканоническую, новую и самое себя лишающую законной силы автокефалию Русской Митрополии в Америке и считает ее не существующей и никогда не провозглашенной, а также считает означенный Томос никогда не изданным.

Мы принимаем и признаем положение, ранее существовавшее в Америке, впредь до того, как, согласно всепра-вославному обычаю, весь вопрос о Православной Диаспоре, в частности о Диаспоре в Америке, будет рассмотрен и окончательно решен Великим Святейшим Собором нашей Восточной Православной Церкви, созыв которого в настоящее время подготовляется.

Обращаясь с настоящим письмом к Вашему Высокопреосвященству с чувством глубокой братской любви и по решению Святейшего Синода, мы горячо и непрерывно молим Бога, восставшего из Его Святого Гроба, чтобы Он по своей безграничной милости пощадил свою Святую Церковь,

возникшую из Его крови, от этой угрожающей ей опасности, а также чтобы Он объединил и направил ее умы и сердца на осознание опасностей, присущих этой односторонне и антиканонично предоставленной автокефалии, и завершил восстановление согласия между церквами-сестрами ради их собственного блага и во славу их Всевышнего Создателя.

Мы обнимаем Ваше Высокопреосвященство во Христе и молим Его даровать Вам многие лета мира и спасения, и остаемся с братской любовью во Христе к Вашему Высокопреосвященству и с глубоким уважением.

Бенедиктос, Патриарх Иерусалимский,

17 марта 1971 г.

ПОСЛАНИЕ АНТИОХИЙСКОГО ПАТРИАРХА

Дорогой брат во Христе!

Я получил Ваше письмо и вполне понял его содержание. Этот случай с так называемой “автокефальной церковью в Америке” представляет собой значительный интерес. Я принял делегацию, состоящую из одного епископа и известного Вам профессора о. Шмемана. Я заявил им, что автокефальная церковь в Америке может существовать только в результате соглашения между автокефальными церквами, главным образом между церквами, сохраняющими за собой юрисдикцию в Америке. Я уверен, что такого же мнения придерживаются и Ваши епископы там…

Мы в Антиохийской Церкви занимаем следующую позицию: только автокефальные церкви, действуя в консультации и согласии друг с другом, могут провозгласить Автокефальную Церковь в Америке. И мы регулируем наши церковные взаимоотношения на этой основе.

С любовью во Христе остаюсь

Элиас IV, Патриарх Антиохийский, Дамаск, 22 июля 1971 г.

ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО НИКОЛАОСА ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ АРИХЕПИСКОПУ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОМУ, НОВОГО РИМА И ВСЕЛЕНСКОМУ ПАТРИАРХУ

Возлюбленный наш брат во Христе и сослужитель нашей верности, досточтимый Афинагор, мы братски обнимаем Ваше

Высокопреосвященство и имеем великое удовольствие обратиться к Вам. Настоящим мы доводим до Вашего Высокопреосвященства и Вашего Святейшего Синода о нижеследующем:

Мы со вниманием изучили любезные письма Вашего Высокопреосвященства относительно провозглашения Русским Патриархатом одной из групп православных христиан Русской Диаспоры в Америке в качестве автокефальной Церкви и в ответ мы настоящим уведомляем Вас, что на своем заседании 4 декабря 1970 г. Святейший Синод Александрийского Престола постановил:

Осудить автокефальный статус, предоставленный Русским Патриархатом в какой бы то ни было форме, будь то в форме автокефальной Русской Митрополии Северной Америки или, более широко, Автокефальной Православной Церкви в Америке, как акт, не имеющий исторического и канонического основания. Мы считаем его не имеющим силы и никогда не провозглашенным, а также считаем несуществующим освободительный Томос, изданный Московским Патриархатом, ибо он (Московский Патриархат) обязан соблюдать установленный в Православной Церкви порядок в отношении прав и власти каждой церкви и потому не допускать подобным мероприятием смущения и нарушения гармонии Вселенской Церкви, порядка и надлежащего функционирования, которые мы, епископы, должны уважать и защищать.

И для того, чтобы такое провозглашение русских в Америке в качестве Автокефальной Церкви не стало причиной бедственных последствий, Московский Патриархат должен был ждать того, чтобы вопрос о будущем русских людей в диаспоре был исследован обсужден и решен окончательно всеми православными на ныне подготовляемом Соборе Православной Церкви.

Доводя о вышеизложенном до сведения Вашего Высокопреосвященства и вновь обнимая Вас, мы остаемся с любовью и уважением брата и сослужителя.

Николаос, Патриарх Александрийский Александрия, 16 дек. 1970 г.

Подрывная работа в МСЦ

Выражение “чекист в рясе”, приводящее в негодование некоторых сторонников “автокефалии” как “политически вульгарное”, принадлежит человеку, который ни к какой вульгарности не был склонен. Это выражение покойного первоиерарха американской митрополии Феофила. “Не поддавайтесь обману этих лжецов! Никакого общения, дорогие братья и сестры, с чекистами быть не может!” Так еще в 1947 году говорил митрополит Феофил о московских посланцах на Запад.

В 1954 году бежавший на Запад из Вены видный работник КГБ Петр Дерябин в своей книге на английском языке “Тайный мир” (стр. 280) рассказывает, что в Вене он работал с митрополитом Николаем Крутицким (в миру Борисом Дорофеевичем Ярушевичем), который давно состоял “кооптированным сотрудником” КГБ. Причем на совести этого высокопоставленного “чекиста в рясе”, тогда второго лица по рангу в Патриархии, лежит попытка предательства священника о. Арсения, пытавшегося бежать от Советов в Вене.

Другой видный беглец из Совсоюза, Юрий Растворов, в 1956 году в своих показаниях перед подкомиссией Сената США показал, что КГБ не только контролирует всю деятельность Церкви в Совсоюзе, но и засылает в нее своих агентов. Растворов рассказал, что в духовные семинарии Патриархии посылается много агентов госбезопасности. Председательствовавший на заседании сенатор Моррис спросил его: — Посылаются ли они как студенты для слежки за студентами? — Нет, — ответил Растворов, — они посылаются, как офицеры контрразведки в эти семинарии и впоследствии становятся священниками и епископами.

В 1961 году Николай Крутицкий, оказавшийся в оппозиции к Патриархии, умер при загадочных обстоятельствах. Еще раньше его заменил — по подрывной работе на Западе — митрополит Никодим (Ротов). О его работе подлинный христианский мученик, советский гражданин Борис Владимирович Талантов, запытанный кегебистами в тюрьме в Кирове (Вятка) в 1970 году, писал так: “Деятельность Московской Патриархии за границей является сознательным предательством Русской Православной Церкви и христианской веры. Но настанет время разоблачения предательской деятельности Московской Патриархии за границей, час суда над митрополитом Никодимом” (“Вестник РСХД”, № 89–90).

Какую же работу на Западе ведет пресловутый “чекист в

рясе", по рангу второе лицо в Московской Патриархии, митрополит Никодим? К сожалению, работу большого размаха, в мировом масштабе, и, к сожалению, успешную. Об этом недавно рассказал Кларенс В.Холл в двух статьях — "Должны ли наши церкви финансировать революцию?" и "Куда ведет путь Мирового Совета Церквей?"{42}. Обе эти статьи появились в самом распространенном в Америке журнале "Ридерс дайджест" (октябрь и ноябрь, 1971 г.). В этих статьях приводятся факты, как борется советская агентура (т. е. КГБ) с христианством в мире. Эта борьба главным образом началась через Мировой Совет Церквей и с того момента, когда на конференции МСЦ в 1961 году в Нью-Дели в состав этой мировой христианской организации были приняты Русская (т. е. Московская Патриархия), Румынская, Болгарская и Польская православные церкви. Кстати, на этой же конференции произошла первая встреча между "чекистом в рясе" митрополитом Никодимом и архиепископом Иоанном Сан-Францисским. Американская митрополия уже тогда состояла членом МСЦ.

Интересно отметить, что при приеме этих "чекистов в рясах" в состав МСЦ, дабы ничто не могло омрачить сего "торжественного исторического" события, "речи перед голосованием были запрещены". После же их приема главы этих церквей заявили, что они представляют семьдесят миллионов верующих, и посему группа представителей восточных церквей оказалась сразу же одной из самых крупных секций, входящих в МСЦ, заняв "ведущее" положение. Безуспешно некоторые органы западной печати высказывали разумное опасение, что прием контролируемых ленинцами церквей "даст международному коммунизму новую международную трибуну, с которой он сможет вести свое наступление на свободный мир".

"Чекисты в рясах" вошли в МСЦ и заработали. С их вхождением равновесие сил в МСЦ сразу нарушилось, дав сильный крен влево. Активное участие в руководящих комиссиях и комитетах дало возможность "чекистам в рясах" применять право вето в отношении всего, что не шло в политическом "фарватере" коммунистической иностранной политики. "Русские представители фактически стали диктаторами в МСЦ, такой итог подводит один из диссидентов", — пишет Кларенс Холл. Участие представителей церквей Восточного блока сразу же привело к утрате последних признаков свободомыслия в Совете Церквей. Политическая заостренность политики МСЦ стала полностью направляться на критику западной демократии. "Антиамериканизм как основа христианского единения заменил собой Никейский Символ Веры", — так сказал Джон П.Рош,

бывший председатель общества “Американцы за демократическую акцию”. А редактор либерального протестантского журнала “Крисчэн сенчури” Харолд Фэй писал, что антиамериканские высказывания на конференции МСЦ, происходившей через пять лет после принятия Восточных Церквей (1966 г.), его глубоко потрясли.

Теперешний патриарх Пимен, фактически назначенный на этот пост руководством компартии, как “свой в доску”, уже давно выступал именно в этом политическом антиамериканском стиле. В свое время он писал в “Известиях”: “Мы заявляем свой решительный протест против начавшейся агрессии и призываем правительство США к прекращению военных действий и к выводу войск из Южного Вьетнама, Лаоса и Камбоджи”. А на торжестве интронизации этого самого малоуважаемого Пимена — в присутствии представителей *автокефальной “Православной Церкви в Америке”,* архиепископа Киприана, протоиерея Е.Пьяновича и профессора О.Д.Григорьева — было оглашено Окружное Послание Московского Собора с призывом к христианам (!!!) всего мира “бороться за прекращение американского вооруженного вмешательства во внутренние дела народов Юго-Восточной Азии”. Причем американская политика была названа “реакционной, человеконенавистнической, проводимой империализмом, стремящимся к мировому господству”. В том же стиле говорил и сам патриарх Пимен на торжественном приеме после интронизации.

Как же — слушая всю эту гнусную и для христианина преступную ложь — чувствовали себя *американцы, представители автокефальной “Православной церкви в Америке”?* Сведений не имеется. Никак. Американские дипломаты в таких случаях иногда хоть “покидают зал заседания”. Ну, а эти? Выслушали и пошли к омерзительно роскошным, гнущимся от жратвы и обутыленным столам — есть икру, запивая московской “белой головкой”. Для “автокефалии”, для американской “независимости” — хорошая иллюстрация.

Кто же вел и ведет эту якобы “церковную” и якобы “христианскую”, а на самом деле чисто политическую антиамериканскую и прокоммунистическую акцию в недрах МСЦ? Ее вел и ведет неутомимый “чекист в рясе” митрополит Никодим по директивам своего непосредственного начальства, председателя Совета по делам религии при Совете Министров СССР В.А.Куроедова, у которого Никодим давно состоит “на тайных послушаниях”.

В статье “Должны ли мы финансировать революцию?” Кларенс Холл приводит — для рядового читателя — потрясающие

факты. Разумеется, подрывная московско-ленинская работа, которую в недрах МСЦ ведут “чекисты в рясах”, прикрыта самыми благовидными и даже самыми христианскими заповедями. Например. В сентябре 1970 г. МСЦ принял к исполнению “Программу борьбы с расизмом” и в исполнение этой программы выдал некоторым представителями африканских государств первые 200.000 долларов. Кому же эти деньги были выданы? Оказалось, что четырнадцать представителей из девятнадцати этих организаций известны, как участники партизанских террористических акций, а четыре организации, исключительно щедро поддержанные МСЦ, просто коммунистические. Причем три из этих организаций получают оружие из СССР. За всеми четырьмя организациями числятся кровавые террористические акты.

Кое-какие протесты против этого были. Но что они значат, когда фактическая сила у большинства МСЦ? Лондонский “Тайм” писал, например: “Теперь африканские бунтари будут утверждать, что их деятельность поддерживается и благословляется церковью”. Немецкая газета “Ди Вельт” совершенно справедливо указывала: “Христианская вера и террористические акты несовместимы”. Известный британский комментатор М.Магеридж спрашивал: “Какое отношение имеет все это к утверждению Царства Христова, то есть к главной цели всей деятельности МСЦ?” Но все такие протесты были гласом вопиющего в пустыне.

В конце прошлого года МСЦ организовал сбор средств на поддержку американских дезертиров, проживающих в Канаде и Швеции. А юношеский отдел МСЦ приступил к изданию журнала “Риск”, где призывал американскую молодежь дезертировать из армии. На возмущение и смятение, которые вызвали все эти действия руководителей МСЦ, они ответили: “Христиане должны заниматься и социальным переустройством общества <…> в прошлом мы обычно это делали мирным путем, а сегодня значительное числа приверженных служителей Христа и их последователей заняли более революционные позиции”. “Революция для церковных лидеров имеет различное значение, — заявил один из представителей МСЦ, — и это значение может меняться в зависимости от того, о какой стране идет речь”.

Первый шаг от политики мирного развития общества к одобрению революционных методов борьбы был сделан на Женевской мирной конференции в 1966 году. А в 1968 году в Лондоне на “консультативном” совещании даже наиболее “умеренный” оратор, священник Ч.Е.Филипс утверждал, что “если церковь действительно хочет атаковать расизм, она должна не

только проповедовать любовь, но и поощрять силу. Там, где общество окажет сопротивление, церковь должна, не стесняясь, помогать развитию единственной реальной силы — силы мятежной — и всячески возбуждать ее к действию". Как показатель атмосферы на этих собраниях МСЦ, за кулисами которого действуют "чекисты в рясах", одним оратором цитировались даже слова Мао Цзе Дуна: "Политическая сила вырастает из ружейного ствола". Возмущение этими действиями МСЦ было настолько велико, что даже сам архиепископ Кентерберийский, бывший председатель МСЦ, осудил "боевую программу".

Надо особенно подчеркнуть, что кегебистская работа в МСЦ легко поддерживается и очень легко проводится благодаря исключительному легкомыслию, преступной наивности и полнейшей невежественной неосведомленности множества "либеральных" католиков и протестантов о положении церкви и верующих в Совсоюзе.

Общая атмосфера в МСЦ сейчас — по статье Кларенса Холла — такова, что теперь не может уже МСЦ и решиться обвинить в чем бы то ни было Совсоюз. Так, в первые двадцать четыре часа после вступления советских войск в Чехословакию в августе 1968 года, почти каждая свободная церковь публично осудила эту варварскую агрессию. Но этого не сделал МСЦ. Только спустя неделю, когда советские танки уже раздавили Чехословакию, генсек МСЦ выступил с "тепленьким", едва заметным осуждением Москвы. Так работает Никодим со своими подручными в недрах МСЦ.

То, что для нас, русских, особенно важно, так это указание Кларенса Холла на то, что "ни в чем МСЦ не проявил такой преступности, как в отказе от защиты десятков тысяч верующих, подвергающихся жестоким преследованиям в СССР…" Комментируя конференцию МСЦ в Упсале, шведский священник Кнут Норберг говорит: "Проблемы, касающиеся расового вопроса, мятежи и насилия в МСЦ обсуждались свободно и темпераментно. Но как только дело касалось положения за железным занавесом, воцарялась мертвая тишина. Почему же, — спрашивает Норберг, — мировая церковная организация отказывается замечать все усиливающиеся призывы о помощи из лагерей, тюремных камер и штрафных казематов, где мучаются и умирают братья-христиане? Что это? Если все это происходит в результате проведения в жизнь специально разработанной МСЦ тактики, то не является ли такая тактика тотальной капитуляцией перед Советским Союзом и его марксистко-ленинской религией?"

Сейчас одну из забот МСЦ составляет дальнейшее сближение

МСЦ с коммунистами. Проявляется это в настойчивом налаживании марксистско-христианских “диалогов”, причем коммунисты горячо приветствуют эту деятельность МСЦ как “начинание огромной важности в деле усиления новых либеральных течений в религиозном мире”. И это несмотря на то, как сказал профессор Чикагского университета Мартин Е.Марти, что “XX век видел многие тысячи христианских мучеников, погибших от рук людей, называющих себя марксистами”.

Что дали два года “Автокефалии”?

В 1970-м я высказал мнение, что “дарование” Американской митрополии так называемой “автокефалии” надо рассматривать *политически,* “как диверсию в лагерь противника для уничтожения этого лагеря”, то есть, как обычную большевицко-ленинскую “военную хитрость”. Для всякого здравомыслящего человека, знающего “основы ленинизма” и понимающего, что Московская Патриархия для партии только орудие пропаганды и действия, это ясно.

В кн. 101-й “Нового журнала” я дал отзыв о сборнике “Автокефалия” и мельком упомянул о лицах, ведших с Никодимом тайные переговоры о даровании автокефалии. Мне стало известно, что мое мнение — в обеих книгах “НЖ” — вызвало негодование среди приверженцев “автокефалии” и особенно среди иерархов митрополии — партнеров по переговорам с Никодимом.

По правде говоря, негодование это мне непонятно. Ведь обвинял-то я в диверсии КГБ и его агентов в лице так называемого митрополита Никодима, явно состоящего у КГБ “на тайных послушаниях”. Митрополию же я считал всего-навсего жертвой политического легкомыслия и, может быть личного честолюбия некоторых ее высших иерархов, “поверивших” в “правду” Никодима. “Повернуть колесо истории церкви” — для честолюбца, в особенности легкомысленного, — перспектива не без соблазна. Отметим, кстати, что из кругов митрополии нам известно, что митрополит Ириней до последней минуты был противником получения этой “автокефалии” от Куроедова — Никодима. Но под конец он был сломлен своим проникодимовским окружением.

Конечно, вопрос об “автокефалии” окончательно разрешит только время. Оно полностью выявит все. Но думаю, что уже сейчас время поддерживает меня, а не партнеров Никодима. Обратимся к фактам. Со дня “дарования” автокефалии прошло два года. И некоторые итоги, еще не окончательные (окончательные будут, наверное, много хуже) подвести уже можно. Каковы они? Прежде всего, оправдалось ли что-нибудь из того “куроедовского договора” (“Томоса”), который был заключен формально между Американской митрополией и покойным патриархом Алексием (а фактически между Американской митрополией и председателем Совета по делам религии при Совете Министров СССР В.А.Куроедовым). Кстати, в книге Петра Дерябина “Тайный мир” говорится, что предшественник

В.А.Куроедова на этом посту, Г.Г.Карпов, имел в КГБ чин генерал-майора. Надо полагать, что и у Куроедова не меньший чин.

О благодатном церковном акте и о последствиях дарования автокефалии наиболее оптимистически высказывался парижский “Вестник РСХД”. С моей точки зрения, это были предельно наивные и необдуманно оптимистические высказывания. Разберем их. Наиболее полно они выражены в статье прот. Г.Беннигсена в № 95–96 “Вестника РСХД”.

Прот. Г.Беннигсен писал: “Совершенно ясно, что в настоящее время Московская Патриархия готова признать Американскую Митрополию автокефальной Православной Церковью в Северной Америке на самых нормальных канонических основаниях, которые можно суммировать в нескольких формулах”. Дальше идут эти самые “формулы”. Прот. Г.Беннигсен пишет: “В качестве автокефальной поместной Церкви Митрополия ожидает признания себя таковой со стороны всех остальных поместных автокефальных церквей”. Оправдались ли эти ожидания? Произошло ли что-нибудь подобное за эти два года? Нет. Произошло как раз обратное. Четыре самых древних православных патриархата резко и категорически отвергли законность “дарования” Москвой автокефалии, несмотря на все усилия и поездки на Ближний Восток, например, епископа Дмитрия и прот. А.Шмемана. Даже находящаяся в коммунистической стране Румынская Православная Церковь не признала “дарования” автокефалии Москвой.

Больше того. Входившая раньше в состав руководства Постоянной конференции православных епископов в Америке (в лице митрополита Иринея), Американская митрополия, после принятия ею “автокефалии” от Москвы, выпала из этой высшей православной организации. На последних выборах в январе с. г. в правление ее оказались избраны: председателем — греческий архиепископ Иаковос, товарищем председателя — карпато-русский епископ Джон Мартин, казначеем — епископ украинской православной церкви Андрей Кущак и генеральным секретарем — греческий протоирей Роберт Стефанопулос. Эти выборы означают изоляцию в Америке так называемой “Православной церкви в Америке”. Поместные православные церкви — вопреки ожиданиям партнеров Никодима — ее не признали.

После Америки диверсия Никодима, направленная на Русскую Православную Церковь во Франции, поддерживаемая теми же его партнерами по тайным переговорам, потерпела тоже неудачу. Возглавляемая архиепископом Георгием Русская Православная Церковь во Франции, объявив свою автономию, перешла в юрисдикцию Константинопольского патриархата.

В другой “формуле” прот. Г.Беннигсен писал: “Московская Патриархия убирает свой Экзархат с территории автокефальной Православной церкви в Америке, оставляющей за Патриархией право на подворье в г. Нью-Йорке, обслуживаемое духовным лицом не в епископском сане”. И эта “формула” оказалась детской наивностью партнеров Никодима. Московская Патриархия, как и раньше, сохранила за собой все сорок три прихода в Северной Америке и все приходы в Канаде. Она попросту “обманула” своих партнеров разговорами “о подворье”, и против этого обмана митрополия не возражает и возражать, наверное, не может. Что *же* касается “обслуживанья подворья духовным лицом, но не в епископском сане…”, то после подписания договора об автокефалии в Америке появился никодимовский посланец, епископ Уман-ский Макарий, проявляющий кипучую энергию. В Питсбурге, например, он не только сослужил митрополиту Иринею без всякого на то приглашения архиепископа Питсбургского Амвросия{43}, но и выступил после богослужения с “патриотической” речью о любви “к Родине” (с большой буквы).

Следующая “формула” прот. Г.Беннигсена оказалась не менее фантастичной. Он писал: “Московская Патриархия передает автокефальной церкви все имущественные права, за исключением вышеупомянутого подворья”. Увы, на это “Томос” Московской Патриархии ответил с полной ясностью: “Св. Николаевский собор с его имуществом и находящейся при нем резиденцией, а также имение в Пайн-Буш будут управляться Святейшим Патриархом Московским и всея Руси через посредство представляющего его лица в пресвитерском сане”. Дальнейшая “формула” прот. Г.Беннигсена не поддается ясному осязанию. Он писал: “Все претензии Московской Патриархии на какую бы то ни было зависимость от нее автокефальной церкви в Америке прекращаются”. Но о какой “зависимости” идет речь? Ведь признание митрополией патриархии как “церкви-матери” несомненно воссоздает некую “духовную” связь, а через нее и не только “духовную”, а вероятно, и многие жизненно-практические связи. Это естественно. Вот не так давно в патриаршем св. Николаевском соборе совершали торжественную литургию три высоких иерарха: архиепископ Филадельфийский и Пенсильванский Киприан (тот самый, который представлял митрополию в Москве на интронизации патриарха Пимена и даже фотографировался с ним), архиепископ патриаршей церкви Досифей и уже упомянутый епископ Макарий. Конечно, сослужение — это действие церковное и духовное. Но ведь после-то сослужения, вероятно, остаются все-таки и простые человеческие

отношения и связи?

Читая “формулы” несбывшихся надежд иерархов митрополии, ведших тайные переговоры с Никодимом, невольно вспоминаешь хорошую английскую поговорку: “Садясь есть с чертом, запасись большой ложкой”. В этих тайных переговорах с Никодимом “большая ложка” оказалась, несомненно, в руках Никодима.

В разгар полемики в русской эмиграции по поводу “автокефалии” один видный иерарх митрополии, участник всей этой “тайной” акции с Никодимом, так морально определил свою позицию: “Сила наша в том, что мы наивно принимаем это и как бы говорим Москве: мы верим, что вы поступите так, как говорите. Поэтому если тут обман, то совесть наша чиста: обман падает на Москву, но не на нас, стыдом и позором”. Не знаю, видит ли этот иерарх, что на Москву обман уже “пал стыдом и позором”, только Москва и ухом не ведет. А митрополия вынуждена молчать. Ленинцы обманули митрополию, поставив ее именно в такое положение, *какое им нужно:* то есть в положение изоляции от других православных поместных церквей.

Вот что на эту тему пишет протопресвитер Александр Шмеман, и пишет, по-моему, очень правильно: “Нет в христианской вере более важного и нужного призыва, чем призыв различия духов — от Бога ли они; нет более губительной опасности, чем подмена, подделка и ложь” (“Зрячая любовь”, “Вестник РСХД” № 100, стр. 147). Но неужели протопресвитер А.Шмеман думает (и нравственно уверен!), что “призывы” Никодима были “призывами от Бога”, а не “подменой, подделкой и ложью” В.А.Куроедова? Неужели с самим Куро-едовым нельзя вести переговоры только потому, что он в штанах и в пиджаке, а с Никодимом можно только потому, что он в рясе?

Тут поднимается невольный и большой вопрос (о благодати): может ли прикрыть ряса прохвоста? Или прохвост остается прохвостом и в рясе? Может быть (с точки зрения некоторых людей), я держусь “еретического” мнения, но искренне говорю, что я не верю в то, что ряса прохвоста покрывает. И думаю, что прав был Владимир Соловьев, когда в письме к Льву Толстому (2 авг. 1894 г.) писал: “Только лицемеры и негодяи могут ссылаться на благодать в ущерб нравственным обязанностям”. То же говорил и св. Василий Великий в учении о благодати: *от свободы человека зависит как сохранение и приумножение, так и потеря благодати.*

Мы не только не отождествляем Никодима с Русской Православной Церковью в СССР. Мы (согласно с великомученником Б.В.Талантовым) противопоставляем

Никодима Церкви. Он противостоит ей так же, как Куроедов. И когда иерархи митрополии садятся за один стол с Никодимом вести “тайные переговоры” — они ведут их с чертом.

АВТОКЕФАЛИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ГРЕКО-КАФОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ (МИТРОПОЛИИ) АМЕРИКИ. (ВСЕСЛАВЯНСКОЕ ИЗД-ВО. НЬЮ-ЙОРК. 1970)

Книга начинается с истории вопроса об отношениях большевицкой власти и православной церкви. Даются выдержки из “Посланий” св. Патриарха Тихона, как известно, предавшего большевиков анафеме: “Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело: это дело поистине сатанинское <…> Властью, данной нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым, анафематствуем вас <…> Заклинаем и всех вас, верных чад Православной Церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение: "Изымите злаго от вас самих…"”

Далее идут документы, освещающие вопрос о том, как была “дарована” Московской Патриархией “автокефалия” и кто вел эти сугубо тайные переговоры с Никодимом почти семь лет. Первый контакт с Никодимом произошел, оказывается, еще в 1961 году. Американский журнал “Ньюсуик” передает репортаж своего корреспондента о том, что происходило в Нью-Дели, в Индии, на Третьей Ассамблее Национального Совета Церквей:

“Желая сгладить отношения, Никодим высказал мысль, что его визит в США мог бы помочь выяснить все вопросы. Эта идея произвела потрясающее впечатление на архиепископа Иоанна Сан-Францисского, делегата Русск. Прав. Церкви. — "Может быть, — ответил он, — неофициальная встреча могла бы быть устроена через немного лет, но только вне США". — "Почему вне?", — спросили советские. Один из помощников архиепископа ответил: "Американская пресса убила бы нас!" У советских заблестели глаза: "Значит, кто из нас более свободен, вы или мы?"” (“Ньюсу-ик”, 11 дек. 1961).

Эти неофициальные встречи митрополита Никодима и архиепископа Иоанна Сан-Францисского (и других иерархов митрополии) начались с 1963 года, но, действительно, не в Америке, а в Швеции и Швейцарии. Велись они в глубокой (почему бы это?) тайне и от православных прихожан и от православных клириков в США. А закончились в 1970 г. “дарованием автокефалии”, согласно духу которой “митрополия” стала “духовной дочерью” Московской Патриархии.

Как оправдание принятия этой “автокефалии” в книге полностью перепечатана статья профессора А.А.Боголепова

“Исторический путь американской митрополии”. В ней знаток канонического права А.Боголепов весьма искусно (комар носа не подточит) защищает принятие автокефалии с канонической точки зрения. Правда, одно место его защиты нам не кажется убедительным. Это когда автор ссылается на исторический факт провозглашения автокефалии Русской Православной Церковью “вследствие подчиненности Константинопольского Патриарха турецкой власти” (т. е. султану. — *Р.Г.).* Мы осмеливаемся думать, что власть большевиков-ленинцев гораздо хуже власти турецкого султана, ибо в “программе” турецкого султана не было задачи искоренения всех религий, как таковых. Турецкие султаны не называли веру в Бога “трупоположеством”, как называл Ленин. Эту заповедь его исповедует как вся КПСС (включая, конечно, и фактического управляющего делами Православной Церкви в СССР т. Куроедова).

Никакой турецкий султан не объявлял, как Ленин, что “всякая мысль о Боге есть чудовищная подлость!” Но тем не менее статья А.А.Боголепова была бы убедительна, если б в другом документе в этой же книге не были приведены высказывания о Московской Патриархии того же самого профессора А.А.Боголепова из его книги “Церковь под властью коммунизма” (Мюнхен, 1958). В этой своей книге А.А.Боголепов пишет, что принятая в Москве система “налагает яркий отпечаток на систему подбора личного состава священнослужителей Церкви и является одним из лучших опровержений ходячего утверждения, что Православная Церковь пользуется свободой внутреннего управления” (стр. 42). Далее Боголепов говорит, что Московская Патриархия неизменно “поддерживает основные политические цели коммунизма” (стр. 78). Стало быть, и искоренение религии тоже? И, наконец, А.Боголепов, на наш взгляд совершенно правильно, утверждает, что “преодолев раскол живоцерковников и обновленцев, позднейшие руководители Патриаршей Церкви не могли найти иного выхода для сохранения ее, как, переступив через переходные формулы патриарха Сергия, принять в основе политические воззрения Живой Церкви” (стр. 79). Очень верно. Только читатель удивлен неувязкой этих взглядов профессора А.Боголепова с его теперешней защитой принятия автокефалии из рук именно вот этих “живоцерковников”, “поддерживающих политические цели коммунизма”.

Среди других документов в защиту “автокефалии” напечатано и “Послание” архиепископа Иоанна Сан-Францисского, но о нем мы предпочитаем не говорить, до того это “Послание” написано не только уж “не в духовном плане и не

в духовном стиле", а просто, надо сказать, в бестактном стиле, с личными выпадами против неугодных автору лиц (А.Л.Толстая, С.С.Белосельский) и с такими выдуманными утверждениями, как, например: "Для Америки очень важен факт, что Экзархат Московской Патриархии прекращает свое существование в США". Откуда же это следует? Неужто только из того, что этот "Экзархат" переименовался в "Управление"? Но ведь в ведении этого "Управления" так и остались все те же патриаршие приходы в США (сорок три!) и все патриаршие приходы в Канаде, которые, согласно "Томосу", "будут управляться Святейшим Патриархом Московским и всея Руси через посредство одного из его викарных епископов". Слепому ясно, что перемена тут только в названии. И утверждение архиепископа Иоанна Сан-Франсис-ского мы вынуждены признать действительности не соответствующим. Напротив, с "дарованием автокефалии" позиция Московской Патриархии в США чрезвычайно укрепилась и усилилась. Это "дарование" уже использовано и в международной и в американской печати, и в международном и в американском общественном мнении как доказательство коммунистического "либерализма". А московские епископы уже начали не только сослужать епископам митрополии, но и выступать (в присутствии иерархов митрополии) с проповедями "о миротворческих усилиях нашей дорогой Родины", как уже выступал епископ Макарий. Это как раз то, что нужно ленинцу Куроедову и компартии.

Прав был покойный первоиерарх митрополит Феофил, когда с амвона он так говорил о московских посланцах: "… Приехал сюда архиерей. Заявляю вам, дорогие, с этого святого места, что этот посланец пожаловал к нам, чтобы нарушить течение нашей жизни, уничтожить мир, внести раздор и смуту. Предупреждаю вас, что он будет рассказывать вам о благоденствии Церкви в России. Все это — неправда! Это — ложь! Не поддавайтесь обману этих лжецов. Никакого общения, дорогие братья и сестры, с чекистами быть не может!" (НРС, 8 авг. 1947 г.).

Так в 1947 году говорил первоиерарх митрополии Феофил. А вот что сейчас говорит о политике Москвы по отношению к свободной русской православной церкви за рубежом мученик, писатель по церковным вопросам, советский гражданин Б.В.Талантов, томящийся теперь не то в мордовских концлагерях, не то во Владимирской тюрьме: "Деятельность Московской Патриархии за границей является сознательным предательством Русской Православной Церкви и христианской веры. Но настанет время разоблачения предательской деятельности Московской Патриархии за границей, час суда над митрополитом Никодимом!" (см. "Вестник РСХД, № 89–90,1969).

И это говорит настоящий мученик за свою веру, в то время как комфортабельно живущие в полной свободе на Западе главные деятели по получению автокефалии из рук Никодима (с разрешения Куроедова — т. е. партии!) получают за “автокефалию” всяческие награды. Отсылаю к стр. 170 отчетной книги:

Митрополит Ириней — титул “блаженнейшего”, прот. А.Шмеман — сан протопресвитера, прот. И.Мейендорф — наперсный крест с украшениями, священник К.Фотиев — сан протоиерея с правом ношения золотого креста с украшениями (этот священник сопровождал митрополита Никоди-ма на Аляску). Архиепископ же Иоанн Сан-Францисский получил “право ношения бриллиантового креста на клобуке”. Было бы хорошо, если б эти “золотые кресты с украшениями” и “бриллиантовые” были бы — от греха — проданы и вырученные деньги переведены для советских политзаключенных (верующих).

Заканчивая обзор книги “Автокефалия”, хочу еще привести цитаты из “приветственного адреса” “Великому Вождю СССР генералиссимусу И.В.Сталину, в день его 70-летия”. Подписан этот “незабываемый” по подхалимажу и лести адрес самим патриархом Алексием и семьюдесятью шестью (!)архиереями, что достаточно говорит о той степени низкой сервильности, после которой в людях отмирает человеческое. “Нам особенно дорого то, что в деяниях Ваших, направленных к осуществлению общего блага и справедливости, весь мир видит торжество нравственных начал в противовес злобе, жестокости и угнетению, господствующим в отживающей системе общественных отношений <…> Как и все вообще интересы трудящихся, близки Вам и нужды верующих русских людей”. К этой лжи и мерзости — не поднимается рука делать комментарии. “Приветственный адрес” цитирует А.Л.Толстая в своем письме об автокефалии от 24 декабря 1969.

Светлана Аллилуева

Хочу вспомнить как мы познакомились со Светланой. Это было у наших друзей, профессоров Дато и ути Джапаридзе. Когда мы с Олечкой вошли в гостиную, Светлана сидела в кресле, глядя на нас чуть-чуть исподлобья. И от этого “исподлобья” у меня невольно мелькнуло: “До чего похожа на отца!” Вечер прошел в непринужденном разговоре обо всем. Светлана почувствовалась умной и прекрасно воспитанной.

Когда мы стали уходить и расцеловались с Дато и Утей, Светлана подошла ко мне и мы облобызались, после чего она облобызалась и с Олечкой.

Помню, выйдя на улицу, я сказал:

— Олечка, могло ли бы мне прийти когда-нибудь в голову, что я облобызаюсь с дочерью “отца народов”?!

После этой встречи у нас со Светланой установились дружеские отношения и переписка.

“ДВАДЦАТЬ ПИСЕМ К ДРУГУ”

Эту небольшую книгу берешь в руки с волнением. Дочь Сталина о Сталине и Советском Союзе. Судьба автора. Драматический побег. К тому же советское правительство своими протестами, нажимами против ее появления, присылкой за границу каких-то проходимцев, дабы хоть как-нибудь сорвать ее выход, — сделало книге небывалую рекламу. И вот книга в руках. Книга прочтена. И невольно задаю себе вопрос: в чем же дело, почему правительство лилипутов-рабфаковцев так взволновалось? Ведь никаких сенсаций в книге нет. Ничего, как будто, подрывающего основы режима. В этом смысле книгу Светланы нельзя и сравнивать с книгами В.Кравченко, Артура Кёстлера, Виктора Сержа, Бубер-Нейман, А.Орлова, И.Солоневича, А.Бармина, Ю.Марголина, Е.Гинзбург и со многими другими. И уж, конечно, не сравнить с речью Никиты Хрущева на XX съезде партии, опубликованной на Западе на всех языках и нанесшей международному коммунизму сокрушающий удар.

Книга Светланы не ставит себе целью, выражаясь поэтически, — “Рассказать обо всех мировых дураках, / Что судьбу человечества держат в руках. / Рассказать обо всех мертвецах-подлецах, / Что уходят в историю в светлых венцах” (Георгий Иванов). Это — искренне, просто написанная автобиография. Не совсем обычная по форме. Двадцать писем к другу. Лирический репортаж. Семейная хроника — о детстве и отрочестве автора, об ее отце, Иосифе Сталине, о матери, Надежде Аллилуевой, о близких. И тем не менее Косыгины правы. Чем-то подспудным эта книга должна быть им крайне неприятна. Прежде всего, разумеется, тем, что с младых ногтей воспитанная на идеологии Маркса-Ленина-Сталина, член КПСС, *дочь самого создателя* “социализма в одной стране” — бежит от этого чингисханского социализма. А глаза глядят на свободные страны, и прежде всего на страну “капиталистов, расистов и поджигателей войны” — США.

Ленин хорошо знал Сталина и говорил, что “сей повар любит готовить только острые блюда”. Хорошо знал Сталина и Троцкий, в своих заграничных писаниях давший исчерпывающую характеристику Сталина-партийца и политика. Кое-что он рассказал и о Сталине-человеке. Например, как Сталин, Дзержинский и Каменев где-то сидели, отдыхали, болтали, предаваясь приятельским разговорам. Собеседники задались вопросом: что самое приятное в жизни? Дзержинский и Каменев сказали что-то тривиальное. Сталин же дал сильную формулу. Он

сказал: “Самое приятное в жизни это хорошо отомстить и пойти спать”. Многолетний полпред СССР в Берлине Н.Н.Крестинский, старый большевик, тоже хорошо знавший Сталина, говорил о нем: “плохой человек с желтыми глазами”. Вероятно, помимо всего прочего, и за это определение Крестинский заплатил “человеку с желтыми глазами” своим позором на московском процессе, где Сталин заставил его “признаться” в том, что он иностранный шпион и “враг народа”. Но этого мало. В лубянском подвале Крестинский получил еще пулю в затылок. А его жена и дочь пошли куда-то в Сибирь. Сталин же “пошел спать”.

За рубежом России литература о Сталине — громадна. Воспоминания бывших товарищей Сталина по начальной революционной работе на Кавказе, когда он был еще “Кобой”, воспоминания видных советских бывших коммунистов и крупных чекистов, рисующих Сталина, уже стоящего у власти в СССР. Есть много интересного и в книгах и воспоминаниях иностранцев: у Милована Джиласа, у де Голля, у Черчилля, у многих других. Характерную подробность “стиля Сталина” рассказывал своим друзьям первый американский посол в советской Москве Вильям Буллит. Желая обласкать просоветски тогда настроенного Буллита, Сталин пригласил его как-то в свою ложу в Большом театре и там во время балета шепнул ему. “Выберите себе любую, какая вам нравится, и она придет к вам вечером”. Это был циничный “ход конем”. Но Сталин не “допонял”, что это предложение потрясет западника Буллита и станет его начальным отталкиванием от страны “победившего социализма”. Думаю, Буллит все-таки не понимал, что в ложе с ним сидит вовсе не “глава государства”, а — подпольщик, заговорщик, Петр Верховенский (пусть не столь диалектически блестящий). Иностранцы ведь до сих пор “бесовщины” большевизма не понимают. Они думают, что когда Хрущев стучит грязным ботинком по пюпитру в зале Объединенных Наций, это всего-навсего невоспитанность. Нет, это целая программа. Это нормальный жест того низменного, хамского нигилизма, которым пропитана вся эта ленинско-нечаевская КПСС.

Жуткую подробность о жестокости Сталина рассказывает в своей книге бывший видный чекист Александр Орлов (псевдоним). В 1936 году на банкете (Светлана называет эти сталинские “пиры” — застольями и говорит, что они правильно описаны Милованом Джиласом в его “Разговорах со Сталиным”), — так вот, на таком застолье чекистов во главе со Сталиным один из близких к Сталину чекистов, Паукер, когда все пировавшие были уже в сильном подпитии, сымпровизировал перед “отцом народов” сцену, как Григория Зиновьева тащат

чекисты на расстрел, в подвал, и как Зиновьев, беспомощно повиснув на руках своих конвоиров, жалостно кричит, призывая на помощь старого еврейского Бога. Над импровизацией Паукера Сталин хохотал до упаду. Но это не помешало ему через два года расстрелять и этого самого (бывшего парикмахера) вельможу-чекиста Паукера, окрестив его “немецким шпионом”.

Характеристика Сталина-тирана, залившего Россию кровью (по пути к “социализму”, конечно!), установившего на Шестой части земли небывалую систему террора (по численности убитых Сталин во много раз превзошел Гитлера!), эта характеристика на Западе давно установлена и неоспорима. Но вот перед нами книга его любимой дочери. Противоречит ли она этому установившемуся облику Сталина?

Нет. Напротив, некоторыми подробностями эта книга даже подчеркивает уже известные нам характерные черты Сталина. Та же — жестокость. Сталин не любил своего сына Якова (от первой, рано умершей жены, Сванидзе) и своим жестоким обращением довел Якова до попытки самоубийства. Яков стрелялся. Но в сердце не попал, остался жив. Как же к этому отнесся его отец? Светлана пишет: “Доведенный до отчаяния отношением отца <… > Яша выстрелил в себя у нас на кухне, на квартире в Кремле. Он, к счастью, только ранил себя — пуля прошла навылет. Но отец нашел в этом повод для насмешек: "Ха, не попал!.." — любил он поиздеваться”. А когда во время войны Яков попал в плен, Сталин приказал арестовать его жену Юлию. Светлана пишет: “У него зародилась мысль, что этот плен неспроста, что Яшу кто-то умышленно "выдал" и "подвел" и не причастна ли к этому Юлия?” И Юлия ни с того ни с сего пробыла два года в тюрьме. Кстати, Юлия была еврейка. Светлана пишет, что Сталин был недоволен тем, что его сын женился на еврейке. О некотором антисемитизме Сталина было давно известно. Но Светлана пишет даже о его “ненависти к евреям”. Стало быть, между расистом Гитлером и марксистом Сталиным разница не так уж велика.

Вот еще черта полной бесчеловечности Сталина. В 1937 году известный вельможа-чекист, сподвижник Дзержинского Станислав Реденс подвернулся Сталину “под руку” во время “великой чистки” (Берия подставил Реденсу ножку), и Сталин его безжалостно “шлепнул”. Реденс был свояк Сталина, он был женат на Анне Аллилуевой, сестре Надежды. Светлана весьма нежно описывает эту “святую дурочку” Анну, обожавшую своего Стаха и всегда волновавшуюся по всяким добрым “малым делам”. Эта “христианка” (по мнению Светланы) считала своего мужа-чекиста “самым лучшим, самым справедливым и самым порядочным человеком на земле”. Естественно, что такая Анна раздражала

Сталина, он называл ее “дурой”, говорил, что ее “доброта хуже подлости”, и когда Анна никак не могла поверить, что “самый порядочный человек на земле”, ее Стах, расстрелян (в том же подвале, где по его приказам расстреливали тысячи людей), это неверие Анны настолько взбесило Сталина, что он, как говорит Светлана, “сам безжалостно сообщил ей об этом”. А в 1948 году эту самую “юродивую Анну” Сталин приказал арестовать, и она пошла в Сибирь вместе с женой ближайшего сталинского друга Молотова — Жемчужиной. В тюремной одиночке Анна провела шесть лет, кончив шизофренией. После смерти Сталина ее освободили.

Из книги Светланы я беру только два примера жестокости Сталина, которые вполне соответствуют сложившемуся у нас образу этого, конечно — человека-чудовища. Но было бы неумно со стороны читателя ждать от Светланы каких-то “разоблачений” Сталина в стиле Троцкого. Во-первых, Светлана не политик, во-вторых, в самый разгар террора она была ребенком, она многого не знала и не могла знать. А главное, Светлана — родная дочь Сталина, которую он в детстве и отрочестве нежно любил, носил на руках, баловал, целовал. Сталин не переносил Светланиных слез и ее детских огорчений, Сталин был добрым отцом (говорят, что Гиммлер был примерным семьянином). Как же может Светлана выбросить из своего сердца, из воспоминаний детства и отрочества эту любовь отца и свою любовь к нему? Она ее, естественно, и не выбрасывает.

В 1938 году, в разгар страшнейшего террора, когда тюрьмы, изоляторы, концлагеря были переполнены ни в чем не повинными, оговоренными людьми, которых чекисты пытали и убивали, Сталин писал своей дочери “Сетанке” (так он ее ласкательно называл) полные любви и заботы письма: “Здравствуй, моя воробушка! Письмо получил. За рыбу спасибо. Только прошу тебя, хозяюшка, больше не посылать мне рыбы. Если тебе так нравится в Крыму, можешь остаться в Мухолатке все лето. Целую тебя крепко. Твой папочка” (7 июля 1938 года).

“Моей хозяюшке — Сетанке — привет! Все твои письма получил. Спасибо за письмо! Не отвечал на письма, потому что был очень занят. Как проводишь время, как твой английский, хорошо ли себе чувствуешь? Я здоров и весел, как всегда. Скучновато без тебя, но что поделаешь — терплю. Целую мою хозяюшку” (22 июля 1939 года).

Светлана хорошо описывает свои чувства при вечном расставании с отцом, с этим, как она сама пишет, “ужасным человеком”: “Как странно, в эти дни болезни, в те часы, когда передо мной лежало уже лишь тело, а душа отлетела от него, в

последние дни прощания в Колонном зале — я любила отца сильнее и нежнее, чем за всю свою жизнь <…> В те дни, когда он успокоился, наконец, на своем одре и лицо стало красивым и спокойным, я чувствовала, как сердце мое разрывается от печали и от любви <…> Я смотрела в красивое лицо, спокойное и даже печальное, слушала траурную музыку (старинную грузинскую колыбельную народную песню с выразительной грустной мелодией), и меня всю раздирало от печали. Я чувствовала, что я — никуда не годная дочь, что я никогда не была хорошей дочерью, что я жила в доме, как чужой человек, что я ничем не помогла этой одинокой душе, этому старому, больному, всеми отринутому на своем Олимпе человеку, который все-таки мой отец, который любил меня — как умел и как мог — и которому я обязана не одним злом, но и добром <…> Принесли носилки и положили на них тело. Впервые я увидела отца нагим — красивое тело, совсем не дряхлое, не стариковское. И меня охватила, кольнула ножом в сердце странная боль — и я ощутила и поняла, что значит быть "плоть от плоти"…” Эта отринутость одинокого на своем Олимпе человека, эта шекспировская тема одиночества тирана, одиночества Сталина если и не дана полностью в книге Светланы, то очень ярко намечена. В этом смысле характерен даже стиль личной жизни Сталина — он любил жить в очень большой, почти пустой комнате. “Никакой роскоши там не было — только деревянные панели на стенах и хороший ковер на полу были там дорогими”, — пишет Светлана. В мрачной, громадной комнате — обязательный камин (Сталин любил огонь), диван, на котором он спал, и стол, где работал. В таком пуританском стиле, на мой взгляд, больше вкуса, чем в роскоши буржуазных особняков, куда после отъезда настоящих владельцев въехали коммунистические нувориши: Микоян и Ворошилов — в особняки нефтепромышленника Зубалова, Крыленко — в особняк купцов Морозовых и т. д. и т. п. На своей Ближней даче в Кунцеве в полупустых громадных комнатах, в полном душевном одиночестве жил этот тиран, создавший небывалую в истории террористическую систему, в которой, как пишет Светлана, “он сам задыхался от безлюдья, от одиночества, от пустоты”. “Он был предельно ожесточен против всего мира. Он всюду видел врагов. Это было уже патологией, это была мания преследования — от опустошения, от одиночества <…> Отец не выносил вида толпы, рукоплещущей ему и орущей "ура" <…> "Разинут рот и орут, как болваны", — говорил он со злостью”. Такого вполне зловещего облика Сталина никто еще не давал. “Вокруг отца как будто очерчен черный круг — все попадающие в его пределы гибнут, исчезают из жизни”.

Сталин губил не только миллионы неизвестных ему людей, но и самых близких к нему, ибо в предельном одиночестве подозрительность тирана с годами становилась маниакальной. Образ Сталина под пером его дочери — убедителен. Но есть в книге Светланы утверждения, с которыми трудно согласиться. Прежде всего — со "злым влиянием" Берии на Сталина. Светлана пишет, что это злое влияние "не прекращалось до самой смерти. Я говорю о *его* влиянии на отца, а не наоборот, не случайно. Я считаю, что Берия был хитрее, вероломнее, коварнее, наглее, целеустремленнее, тверже — следовательно, сильнее, чем отец… он знал слабые струны отца — уязвленное самолюбие, опустошенность, душевное одиночество, и он лил масло в огонь и раздувал его сколько мог и тут же льстил с чисто восточным бесстыдством". Такой портрет "маршала от НКВД" Лаврентия Берии нам кажется правильным. Начавший чекистскую карьеру с двадцатилетнего возраста Берия, конечно, был моральным идиотом, преступником и прохвостом. И Светлана убедительно рассказывает, как Берия боролся со всеми в окружении Сталина, кто ему казался или был ему опасен. Он "устранил" многих из самых близких к Сталину людей. Известна борьба с Ежовым, из которой Берия вышел победителем. Все это так. В борьбе чекистских "пауков в банке" Берия, разумеется, наушничал Сталину, составлял доносы, "легенды", "признания", "показания". Но ведь такой Берия у Сталина был не один. Таких "малют" у Сталина было несколько: Поскребышев, Ягода, Маленков, Микоян, Хрущев и другие. Все это были "мелкие бесы", выполнявшие грязные и кровавые поручения "отца народов".

Но на общую политику Сталина никто влиять не мог. Это была *его* политика. Для такого влияния Берия, как и другие "малюты", был слишком мелкотравчат, что и доказал его быстрый конец, как только он остался без Сталина. При Сталине, обороняя чужими смертями свою карьеру, Берия, как и Ягода, был всего-навсего — сохраняя все пропорции исторических фигур — Фуше при Наполеоне. Ведь сама же Светлана пишет, что Сталин "был поразительно чуток к лицемерию, перед ним невозможно было лгать". Уже это одно уничтожает возможность такого влияния Берии, о котором она говорит.

Столь же неубедителен отвод от Сталина вины в убийстве Кирова. "Отец любил Кирова, он был к нему привязан, — пишет Светлана, — в причастность отца к *этой* гибели я не поверю никогда". Но "любовь Сталина" — довод крайне зыбкий и неубедительный. Сталин убил многих из тех, кого он "любил". Светлана и в этом убийстве хочет видеть руку Берии. Но тогда ведь не Берия, а верный пес Сталина — Генрих Ягода — был

всесильным начальником НКВД! И все, что мы знаем на Западе об убийстве Кирова, говорит только об одном: Кирова убило НКВД (во главе с Ягодой) — стало быть, по прямой директиве Сталина.

Есть в книге и иные утверждения и мысли, с которыми трудно согласиться. Так, говоря об окружении Сталина — о “высшем свете” Кремля, о старых большевиках, которых в таком количестве перестрелял Сталин, Светлана впадает в чрезмерно (как мне кажется) патетический тон, вполне понятный в СССР, но непонятный свободному человеку, защищающему свою свободу и свободу своих ближних. Об этом “цвете” партии Светлана пишет: “Какие это были люди! Какие цельные, полнокровные характеры, сколько романтического идеализма унесли с собой в могилу эти ранние рыцари Революции — ее трубадуры, ее жертвы, ее ослепленные подвижники и мученики”.

Кто же они, эти “рыцари”, “трубадуры”, “подвижники”, “мученики”? Это та старая гвардия большевиков, которая поддержала Ленина в его каиновом деле — гражданской войны, физического истребления миллионов людей, в искалечении русской духовной культуры. Читая эти страницы книги Светланы, удивляешься. Неужто же она, отрекаясь от марксизма-ленинизма как догмы, от насилия, от террора, не понимает, что именно эти “светлые личности” большевизма, эти “трубадуры”, “рыцари” и “подвижники” наиболее повинны во всей этой человеконенавистнической системе, что существует уже шестьдесят с лишним лет? В том зле, которое принесла всей России (без различия классов и национальностей) эта заговорщическая, антинародная, преступная и похабная октябрьская революция, повинны именно “рыцари” и “трубадуры”. Сталин не вышел из “пены морской”, он — верный сын партии, истый ленинец, совершенно закономерное явление в развитии болыпевицкой террористической диктатуры. И если он оказался не только убийцей миллионов ни в чем не повинных людей, но и неким Возмездием для собственной партии, то в этом есть и своя справедливость.

Когда-то в 1917 году, перед захватом власти большевиками, я был в Пензе на большом митинге рабочих и крестьян (все они тогда были в солдатских шинелях). Митинг ревел. Митинг неистовствовал. И вот на красную трибуну, увитую кумачом, поднялся старенький меньшевичек. Похаживая по этому красному помосту, он в своей речи предупреждал “товарищей слева”, большевиков, от захвата власти. Грозя куда-то в пространство стареньким, сухеньким пальцем, старичок-меньшевичок слабым голосом повторял такой рефрен: “Помните, товарищи, история злая старушка…” Меньшевичок-старичок был, конечно, и умен, и

образован, и к тому же с интуицией. Тогда, в Пензе, он был пророком.

Старушка-история в России оказалась особенно зла. Перестреляв видимое-невидимое количество людей, она наконец — “в развитии революции” — подкралась и к самой партии большевиков в лице Сталина, как великое Возмездие. К этому Возмездию ни “теория классовой борьбы”, ни “железные законы экономики” были уже неприложимы. Тут должны были прилагаться какие-то иные, пожалуй, мистические измерения. “Злом злых погублю”. Ведь когда в те же самые чекистские подвалы те же самые большевики-чекисты волокли Зиновьевых, Каменевых, Рыковых, Бухариных, Крестинских, Раковский, Реденсов, Сокольниковых, Ягоду, Ежова и тысячи других, это было справедливое и необходимое Возмездие, осуществляемое полубезумным в своей мании Сталиным. Смерти “трубадуров”, “рыцарей”, “подвижников”, “мучеников” были нужны жизни, ибо были омыты кровью миллионов людей. И вряд ли стоит этих “трубадуров” хотя бы как-то оплакивать.

В своих тюремных воспоминаниях польский писатель Александр Берт рассказывает, как перед смертью в саратовской тюрьме умный, старый большевик Ю.М.Стеклов (Нахамкес) сказал ему: — “У всех у нас руки в крови”. Эти слова были как предсмертная исповедь. И напрасно так патетически (а потому и нехорошо) Светлана написала о Сванидзе, Реденсе, Павле Аллилуеве, Бухарине, Енукидзе. Пусть в частной жизни все они были милые и хорошие люди. Мы это знаем, в это верим. Но ведь именно они делали самую жестокую, самую кровавую в мире революцию, и злая старушка история была права, когда взяла их за горло, ибо их вина — наибольшая, они — “трубадуры” — были мозгом, совестью и моральным капиталом партии. Одни “рукастые” (по выражению Ленина) большевики никогда бы не могли ни захватить, ни удержать власть. К несчастью России (и всего мира!) это сделали “несгибаемые большевики”, интеллигенты, “рыцари” и “подвижники”.

Вспоминаю, как покойный друг, профессор Н.Е.Ефремов, рассказывал мне об одном поразительном случае его тюремных скитаний во время ежовщины. В камере с ним сидел бывший матрос, бывший чекист. Никаких иллюзий относительно своего конца у матроса не было. Он про себя все что-то шептал. “Может быть, молился”, — сказал Ефремов. И этот матрос в своей потребности какого-то покаяния рассказывал Ефремову, как в свое время в Черном море они топили белых офицеров, привязывая их живыми к рельсам, и с этими рельсами выбрасывали в море. Когда час этого чекиста-матроса настал и за

ним пришли, вызвав “с вещами”, он встал, перекрестился мелким крестом и, прощаясь с Ефремовым, шепнул ему: “Вот они, рельсы-то, когда выходят…”

“Рельсы выходят”. К сожалению, не всегда вовремя, но все-таки часто “выходят”. И в убийствах Урицкого, Войкова, Воровского, Кирова, Троцкого, Берии, в расстрелах старой большевистской гвардии Сталиным, в самоубийствах Гитлера, Геринга, Геббельса, Гиммлера, в повешении Эйхмана, Риббентропа, Розерберга — это все одни и те же “выходящие рельсы”, которые *должны* выходить, иначе бы жизнь стала еще страшнее.

А.Орлов, со слов уже упоминавшегося чекиста Паукера, в свое время бывшего начальником личной охраны Сталина, рассказывает об одном остром столкновении Надежды Аллилуевой со своим мужем в Кремле. Мать Светланы будто бы закричала Сталину: “Ты мучитель, вот ты кто! Ты мучишь своего родного сына, ты мучишь жену, ты мучишь весь народ!”

Это очень похоже на Аллилуеву по всему тому, что мы о ней знаем. Не выдержав этого “всеобщего мучения”, она застрелилась. Для честного человека-большевика, осознавшего, во что превратилась их революция, это был естественный выход.

В своей книге Светлана рассказывает, как любивший ее в детстве и отрочестве отец позднее стал постепенно от нее отходить, охладевать и наконец отошел вовсе. Почему? Когда Светлана кончила среднюю школу, Сталин настоял, чтобы она пошла на исторический факультет, чтобы стать серьезно образованным марксистом. Естественно, он хотел видеть в дочери *свою* Светлану, такую же, как он, “несгибаемую большевичку”. Но судьба сулила иное. Светлана пошла не по пути отца, “несгибаемого большевика”, а по пути трагически умершей матери. Сталин с годами это, вероятно, чувствовал. Чувствовал, что любимая им дочь становится, в сущности, таким же “врагом народа”, каким оказалась Надежда Аллилуева. И вот если бы Сталин был жив в дни побега Светланы из страны его чингисханского социализма, построенного на миллионах трупов и миллионах искалеченных жизней, он должен бы был воспринять этот побег как *ответ* ему мертвой Надежды Аллилуевой.

“ТОЛЬКО ОДИН ГОД”

Это было в самом логове мирового коммунизма, в Москве, в 1962 году. В бедной, маленькой православной церкви дочь Сталина приняла обряд крещения, став христианкой.

“Я никогда не забуду наш первый разговор в пустой церкви после службы”. Я волновалась, потому что никогда в жизни не разговаривала ни с одним священником. От своих друзей я знала, что отец Николай прост, говорить с ним легко и что он всегда беседует, прежде чем крестить… В день крещения он волновался и, присев на скамейку, усадив меня рядом, сказал: "Когда взрослый человек принимает крещение, жизнь его может очень сильно измениться. Иногда в худшую сторону, как в личном плане, так и во всех отношениях. Подумайте еще, чтоб не жалеть после". Я ответила, что думала уже много и что ничего не боюсь. Он взглянул на меня, усмехнувшись: "Ну, знаете, не боятся — только избранные"”.

Светлану крестил отец Николай (в миру Николай Александрович Голубцов), один из неизвестных, незаметных подвижников истинной веры. “Он крестил меня, дал мне молитвенник, научил простейшей молитве <…> он приобщил меня к миллионам верующих”, — пишет Светлана.

Против издания в Америке первой книги Светланы “Двадцать писем к другу” советское правительство ожесточенно боролось, оказывая давление на американцев по всем явным и тайным каналам. Но благодаря твердости Светланы — “но я упряма, благодарение Богу!” — книга все-таки вышла и была прочтена во всем мире при крайнем раздражении советских вождей.

“Только один год” — вторая книга Светланы. Косыгину, Брежневу, Суслову она еще неприятнее, ибо духовно она вся направлена против их тирании. “Только одни год” многим отличается от “Двадцати писем”. Это естественно. Первая книга писалась еще в Москве, и автор, сам того не осознавая, был тогда все-таки под давлением пресса полицейского сверхгосударства, был внутренне несвободен. “Только один год” — книга иная, совершенно свободная, книга человека, давно внутренне сопротивлявшегося тирании и наконец вырвавшегося на свободу.

В смысле литературном “Только один год” прекрасно написан, от чтения не оторвешься, в этой книге мыслям свободно, а словам тесно. У Светланы обширный словарь, гибкий, выразительный язык, там, где она хочет, — хорошая ирония; иногда в двух-трех фразах как бы только намек о том, что она хочет сказать, — и нужная выразительность достигнута. Но кроме

литературных достоинств, у этой книги есть и еще одно большое качество. “Только один год” — книга не только искренняя и честная, но и *умная*. А от этого — от ума — нас, к сожалению, часто пытаются теперь отучать многие современные литераторы-шарлатаны и литераторы-графоманы, заменяющие ум неумными выкрутасами и импотентной претенциозностью.

Светлане особенно удались описание ее крещения в Москве, ее состояние в Дели перед бегством в американское посольство, ее молитва в католическом храме во Фрибурге и вся глава об отце.

Для меня в книге Светланы — две главные темы. Первая — основная — любовь Светланы и Барджеша Сингха. Вторая — Сталин и связанная с ним подтема — сталинцы, “новый класс”. Конечно, все эти темы переплетены в повествовательной ткани. Но первые две — доминантны.

Любовь Светланы и Барджеша дана так психологически ясно и тонко, так духовно глубоко, как нечаянная, но долженствующая быть встреча в мире двух друг другу необходимых существ. Эта любовь оказалась в жизни Светланы той внутренней силой, которая пробила железную броню советской полицейской системы и сквозь все трудности выбросила Светлану в свободный мир. Как хорошо Светлана дает читателю почувствовать свою любовь к Барджешу — иногда в немногих словах внутреннего диалога с ним, уже умершим. Вот она вылетает из холодной Москвы, крепко прижав к себе сумку с урной праха Сингха. “Ну вот мы и летим с тобой в Индию, Барджеш Сингх. Тебе так хотелось этого, ты это мне обещал, и ты всегда выполнял обещания”. Вот она уже в Индии. “Ну вот мы и приехали домой, Барджеш Сингх. Твоя добрая душа победила столько препятствий…” И Светлана летит дальше — бросить прах Сингха в воды священного Ганга. “Мы за 600 миль от Дели, в деревенской глуши, я никого не знаю вокруг и еду в незнакомую семью, но мне кажется, что я еду домой. Я прижимаю к себе, к своему боку сумку. Ты рад, что возвращаешься домой, Барджеш Сингх? Твоя душа радуется — и мы летим как на крыльях. Скоро, скоро уже, подожди… Сколько народа! Смотри, Барджеш, они пришли встретить тебя и проводить… Я отдаю тебя в добрые руки, теперь я спокойна… Мы смотрим на песчаный берег Ганга, куда выходит процессия. Весь берег полон народа, бегут мальчишки, вздымая песчаную пыль. Они удаляются от нас вниз по берегу, дальше, туда, где стоят лодки на глубоком месте, — прощай, Барджеш! Прощай… Я вдруг начинаю плакать, меня всю трясет, я не могу взять себя в руки…”

К этой любви Светланы и Барджеша хорошо подходит одно

место из “Доктора Живаго”: “Они любили друг друга не из неизбежности, не “опаленные страстью”, как это ложно изображают. Они любили друг друга потому, что так хотело все кругом: земля под ними, небо над их головами, облака и деревья. Их любовь нравилась окружающим… Незнакомым на улица, выстраивающимся на прогулке далям, комнатам, в которых они селились и встречались. Ах, вот это, это ведь и было главным, что их роднило и объединяло”.

“Только один год” при желании можно рассматривать именно как роман: судьба героя, и в центре ее — большая любовь двух *живых людей,* мечущихся в поисках духовного и физического выхода из СССР, заселенного тяжелыми, угрюмыми, звероподобными существами — в виде членов КПСС. Причем их портреты — этих неандертaлов — Светлана дает бесподобно, без всякого нажима, а так — два штриха и — портрет.

Вот — Косыгин. Этот властитель России, выученик Сталина, малограмотная тупица, “премьер-министр”. Он, конечно, занят высокими государственными делами, он почти вершит судьбы всего мира. Но у этого робота находится время и для того, чтобы вызвать Светлану к себе, в Кремль, в свой, бывший сталинский, кабинет, ибо КГБ доносит о любви Светланы и Барджеша и о желании их зарегистрировать свой брак. Партголовка в волнении.

“Косыгина я никогда не видела раньше и не говорила *с* ним. Его лицо не внушает оптимизма. Он встал, подал мне вялую, влажную руку и немного скривил рот вместо улыбки. Ему было трудно начать, а я вообще не представляла себе, как этот человек говорит.

— Ну, как вы живете? — наконец мучительно начал он, — как у вас материально?”

Косыгин, конечно, был вполне искренен, начав именно *с* этого “главного”, с “материально”, он же ведь — “исторический материалист”.

“— Спасибо, у меня все есть, — сказала я, — все хорошо”.

Косыгин и дальше искренне выговаривает, что Светлана “оторвалась от коллектива” и туда ей надо “вернуться”. Но когда Светлана, говоря о Сингхе, естественно называет его “мой муж” — спокойствие изменяет премьеру, и его материалистическое мировоззрение прорывается очень интересно.

“При слове "муж" премьера как бы ударило током, и он вдруг заговорил легко и свободно, с естественным негодованием:

— Что вы надумали? Вы молодая здоровая женщина, спортсменка, неужели вы не могли себе найти здесь, понимаете ли, здорового молодого человека? Зачем вам этот старый, больной индус? Нет, мы все решительно против, решительно

против!”

В монологе премьера замечательно все. “Несгибаемый” большевик-ленинец правильно рассматривает “любовную проблему”. Он рассматривает ее животноводчески: молодой бабе нужен здоровый парень. А как же иначе? Это и есть — “любовь пчел трудовых” по формуле “тетки русской проституции генеральши Коллонтай”. Только Александра-то Коллонтай, дочь придворного генерала Мравинского, сея “разумное, вечное”, была, разумеется, значительно тоньше всех этих неандерталов. Но философия любви — от нее, тот же — орловский скотный двор. Сложность чувств, духовная и душевная близость людей — не для неандерталов. Жрать, пить, совокупляться, обставлять себя всяческой “роскошью”, а главное — *властвовать*. Вот философия “наивного материализма” партийцев, это снижение всего до животного, цинического примитива. Любовь каких-то там капиталистических Петрарки и Лауры? Да сам “отец народов”, Сталин — после самоубийства душевно ему не подошедшей жены — прекрасно управлял “всем миром” и жил с своей здоровой, малограмотной, курносой кухаркой “Валечкой”. Конечно, это не Женни фон Вестфален. Никак.

Портреты вельмож, людей “нового класса”, руководителей советского парткапитализма выписаны Светланой с большой изобразительностью. Тут и крупные и поменьше представители этой породы. “Новые баре нового класса — советской аристократии, — выросшей из бывших рабочих и крестьян. У них не было и не могло быть иного эталона власти, чем власть барина, иного идеала, как стать самому барином”. Вот — Суслов, на советской живопырне он самый крупный “марксист”. Бедный Маркс! Светлана идет к нему по тому же делу.

“Я отправилась на Старую площадь, не предвидя ничего хорошего. Суслова я видела при жизни отца несколько раз, но никогда не говорила с ним. Он начал точно так же, как и премьер: "Как живете? Как материально?"” А когда Светлана сразу же заговорила о цели ее прихода — “Суслов нервно задвигался за столом. Бледные руки в толстых склеротических жилах ни минуты не были спокойны. Он был худой, высокий, с лицом желчного фанатика. Толстые стекла очков не смягчали исступленного взгляда, который он вонзил в меня.

— А ведь ваш отец был очень против браков с иностранцами. Даже закон у нас был такой! — сказал он, смакуя каждое слово”.

И Суслов, самый влиятельный тогда в СССР человек, лидер сталинизма, который “пас телят” в юности, объявляет Светлане с предельной ясностью: “За границу мы вас не выпустим! А Сингх пусть едет, если хочет, никто его на задерживает… Да и что вас

так тянет за границу?… Вот вся моя семья и мои дети не ездят за рубеж и даже не хотят! Неинтересно! — произнес он с гордостью за патриотизм своих близких <…> Я ушла, унося с собой жуткое впечатление от этого ископаемого коммуниста, живущего прошлым, который сейчас руководит партией”.

Здесь надо отметить одну очень характерную черту в психологии не только высоких “ископаемых коммунистов”, но и всей КПСС. По завету Ильича и трафарету Маркса, все они официально все еще “интернационалисты”. Но это — давно всем известная нелепость, ибо на самом-то деле — от верха до низа — все они живут самым грубым, примитивным, квасным шовинизмом и, в частности, ксенофобией. Они не только чуждаются, но *боятся* общения с иностранцами. Я думаю, тут немалую роль играют комплекс их неполноценности, прикрываемый манией советской мощи, общая их некультурность, необразованность и некое идеологическое, принципиальное поощрение невежества и всяческого “материалистического” опрощения. Давно бы пора в советском лексиконе заменить слово “иностранцы” древним — “бусурмане”, что вполне выражало бы психологию всех Громык по отношению к внешнему миру.

Это отталкивание от всего “иностранного” и боязнь иностранцев у членов КПСС хорошо даны Светланой и в описании кремлевской больницы, где она впервые встречает Сингха, и потом — в доме отдыха, в Сочи, на Кавказе: “Партийцы, заполнявшие палаты кремлевской больницы <…> недовольные всем происходившим в стране после 1953 года, ожиревшие, апоплексические от водки, обиды и вынужденного без-делия, собирались у телевизоров и "резались в козла" — как они называли игру в домино. Когда эти тяжеловесные туши надвигались на нас, прогуливаясь по коридорам, мне становилось страшно за тщедушного, близорукого Сингха. Он громко говорил по-английски и непринужденно смеялся, не усвоив еще советской привычки разговаривать вполголоса. А они замолкали от негодования, видя "такое безобразие" в этих стенах, построенных специально для них и принадлежащих только им”.

А вот — дом отдыха, где те же “партийные туши” окружали Светлану и Сингха: “Дом отдыха, построенный в начале 50-х годов в ложноклассическом стиле "социалистического реализма", с колоннами, фресками и статуями на каждом шагу, был чудом безвкусицы и помпезности. Отдыхали здесь только члены партии. Они съехались сюда, к теплому морю, со всего СССР, работники райкомов, крайкомов, обкомов <…> Хотя времена были либеральные, но большинство привычных догм продолжало

управлять жизнью — особенно в партийной среде. Одна из таких аксиом состоит в том, что всякий иностранец в СССР подозревается в шпионаже, а потому за ним нужен глаз да глаз и доверять нельзя". Партийные "туши" подходили к Светлане, когда она была одна, и "отведя в сторону, озираясь, вполголоса говорили: "Ваш отец был великий человек! Подождите, придет еще время, его еще вспомнят! — И неизменно добавляли: — Бросьте вы этих индусов!""

Об этой партэлите — об этих, по существу, отбросах человечества — Светлана пишет иногда с иронией, чаще с презрением, а порой и с ненавистью. Это породу она хорошо знала. В этой линии очень типичен советский посол в Индии Бенедиктов — "высокий, огромный, с неподвижным, как монумент, лицом" и его тяжеловесная мадам. И именно от этих партроботов Светлану невольно тянуло к умному, тонкому, образованному Барджешу Сингху, не способному ни для какой "великой цели" убить не только уж человека, но даже муху (Сингх не позволял убивать мух на окне, в больнице, в его комнате, а просил, чтоб открывали окна и их выпускали). Естественно, что этот коммунист-раджа Сингх (а он действительно был индийский аристократ из старинного рода раджей) был одинок в СССР, как в пробковой камере, как одинока была и Светлана, которую еще до встречи с Сингхом христианство, буддизм, учение Ганди интересовали больше марксизма.

О быте и нравах "нового класса", уже не "грядущего", а давно пришедшего "хама", было много сведений во многих книгах — у Александра Бармина, Вильяма Резуика, А.Орлова, Милована Джиласа, Б.Суварина. Но только в книге Светланы — так полно, без обиняков, и со всем присущим им духовным ничтожеством описана эта мафия, правящая Россией. У Светланы, конечно, был исключительный "пункт наблюдения". Такого "пункта" ни у кого не было.

Вот хотя бы описание стиля сталинских "застолий". Все его опричники, как известно, работали "под вождя", говорили грубым "простонародным языком", часто употребляя непристойные слова и запуская то соленые мужицкие анекдоты, то пошлые старые анекдоты из партийной жизни. А конец пиршеств всегда был один. "Обычно, — пишет Светлана, — в конце обеда вмешивалась охрана, каждый "прикрепленный" уволакивал своего упившегося "охраняемого". Разгулявшиеся вожди забавлялись грубыми шутками <…> на стул неожиданно подкладывали помидор и громко ржали, когда человек на него садился. Сыпали ложкой соль в бокал с вином, смешивали вино с водкой…" Поскребышева "чаще всего увозили домой в беспробудном состоянии, после

того, как он уже валялся где-нибудь в ванной комнате и его рвало. В таком же состоянии часто отправлялся домой и Берия, хотя ему никто не смел подложить помидор…”

Читаешь эти описания пиров, характеристики “вельмож” и с каким-то предельным отчаянием думаешь: “Боже мой, в руки какого же последнего отребья попала великая страна, еще так недавно, так щедро жившая русским гением. А самое страшное, что этому сверхтоталитарному, сверхполицейскому режиму не видно конца, ибо он не подвержен никакой эволюции. Он может либо рухнуть под ударом извне, либо задушить страну на столетия. “Несчастная страна, несчастный народ… — пишет Светлана. — Весь мир живет нормальной общей жизнью, только мы какие-то Уроды <…> Какая тупость! Ах, вы все, как я вас ненавижу!.. Тюремщики, вы не даете людям ни жить нормально, ни дышать…”

Начало всероссийской катастрофы Светлана правильно относит — к Ленину, к его шигалевщине, к его мракобесию. Он — отец всероссийской“ кровавой колошматины и человекоубоины” (“Доктор Живаго”).

“Основы однопартийной системы, террора, бесчеловечного подавления инакомыслящих были заложены Лениным. Он является истинным отцом всего того, что впоследствии до предела развил Сталин, — пишет Светлана. — Все попытки обелить Ленина и сделать его святым и гуманистом бесполезны: пятьдесят лет истории страны и партии говорят другое. Сталин не изобрел и не придумал ничего оригинального. Получив в наследство от Ленина коммунистический тоталитарный режим, он стал его идеальным воплощением, наиболее законченно олицетворив собою власть, построенную на угнетении миллионов людей…”

В книге Светланы нет никакой пропаганды, никакой политики, но ее правдивый человеческий рассказ о пережитом в СССР должен быть для Запада неким кассандровым предупреждением.

Переписка Светланы Аллилуевой и Ольги и Романа Гуля

30 октября [19] 67

Дорогой Роман Борисович,

Спасибо Вам за Ваше милое, теплое письмо. Ваш журнал известен мне с первых дней, как только я приехала в США. Пожалуй, самым интересным для меня было так наз. “обсуждение” Б.Л.Пастернака в Московском Союзе Писателей в связи с его Nobel Priée; мне было интересно читать все это теперь, здесь, летом, — я ведь знала еще в Москве, как “изворачивались” некоторые мои знакомые; как стыдно было им позже, когда поэт умер; и как они же теперь говорят, что “Др. Живаго” необходимо издать в СССР… увы, такова наша жизнь там — каждый врет, как может, “применительно к подлости”. А стыд удален, как некий ненужный аппендикс — А.Вознесенский трижды прав.

Решение поддержать Ваш журнал возникло давно, и, право, Ваши отзывы о моем “творчестве” никак не могли на это повлиять, каковы бы они ни были… Я так счастлива была, что Вы сразу же определили жанр статьи “Б.Пастернаку” — плач. Да, конечно, это именно плач — форма чисто лирическая и абсолютно русская… Поди докажи тем, кто этого не понимает! Я видела рекламу этой статьи где-то, так назвали ее “The Letter of S.Alliluyeva to her children” — как Вам нравится?! Разве лирическое стихотворение нуждается в заголовке?

Ну, Бог с ними, это не так важно. Скорее, важнее мне объяснить Вам нечто иное, — “о 20 письмах”. Я очень огорчаюсь тем, что “московская пропаганда” все-таки сделала свое подлое дело (и здесь некоторые ее, к несчастью, поддержали…) и книга, а также ее автор были “объяснены” всему миру несколько в ложном свете… Я вижу, как одни и те же положения повторяются из отзыва в отзыв — есть они и у Вас. Поэтому позвольте мне немного объяснить:

“20 писем” — не книга о Сталине. Это ее так здесь видят, так ее здесь читают. Но я ее не так писала. Для меня важнее всего была — мама и те люди, которые рядом с ней и вместе с ней противостояли злу — и погибали, не выдержав борьбы. О них книга. Иначе незачем было бы ее и писать. Но это — никому не интересно… Хотят читать лишь о Сталине, и как доходят до его “нежных писем” к ребенку — так начинают негодовать… А что вся архитектура “20 писем” ведет к тому, чтобы осудить его и показать весь ужас и беспомощность борьбы с ним — этого никто

не желает видеть… Слава Богу, Вы все-таки не приписали мне “адвокатской” роли. В противном случае, мне надо бы ехать жить в Грузию (и наслаждаться там фимиамом), а уж никак не за границу…

Разве это значит, что я “перекладываю всю историческую ответственность на Берию”, как пишут обо мне теперь, как говорит Москва?

Об исторической ответственности я если говорю, то только следующее: “Мы все за всё ответственны”.

А о Берии я пишу больше, чем о других малютах, только потому, что он многие годы был близок к семье; кстати, отчего он “удержался” и шел “наверх” так успешно в течение 25 лет? Не оттого ли, что был хитер? Почему его не убрали?

Для меня лично — они все равны, и один Берия вовсе не служит для меня “incarnation of evil”. О, нет! Все еще с Ленина и Дзержинского пошло: механизм адский был уже тогда запушен. И для этого механизма, машины, системы отец мой только оказался наилучшим инструментом, наравне с Берией и прочими малютами, которые меня в “20 письмах” не интересовали, поскольку “20 писем” — о семье, а к семье близок и причастен был больше других и дольше других — только Берия.

О Берии. О “влиянии на Сталина” говорил еще Бухарин; он знал лучше других. (Он говорил о “благотворном влиянии” Кирова и Горького на него). А “влияние Берии”, о котором я позволила себе написать, — это хитрое влияние человека, знающего “слабую струну” — подозрительность, неверие в доброе начало в человеке, честолюбие, болезненное самолюбие… Он знал это и когда было нужно — играл на этом. Это было, это все знали.

Дедушка и бабушка интересны мне не потому, что они старые большевики (это мне менее всего было важно), а потому, что они — носители неистребимой человечности и силы (которой у мамы не хватило, потому она и не выстояла), — и сила эта добрая и, в конце-концов, она-то и побеждает, хотя и поздно…

О чем заключение книги? Дл вот об этом самом. А старые большевики как социальный организм мне вовсе не нужны; это пусть Е.Гинзбург делает, которая после всего все еще верит в Ленина и в “светлый коммунизм”. Это не для меня, — извините! Для меня это все — бесовщина, пауки в банке, бесконечное кровопролитие — с самого начала, и в оценке Ленина я целиком согласна с Андреем Синявским.

Кстати, говоря (в конце) о “светильниках разума”, погибших в тюрьмах и лагерях, я вовсе не имела в виду одних старых большевиков. Откуда это видно? Там умы светлые погибали,

интеллигенция русская, — я о ней печалюсь: почему же искажать?

Быть может, не все в “20 письмах” ясно. Но я люблю не делать выводы: тогда литература превращается в учебник политграмоты. А учебников этих начиталась я уже довольно, и писать еще один, свой, не собираюсь (хотя от меня этого очень хотят и требуют, особенно мои же соотечественники). Если и напишу, (а надо бы), только не в духе политграмоты — кто плохой кто хороший, и кто виноват, что История пошла не туда… Напишу, как могу, — а там пусть читают и сами делают выводы. Опять будут ругать, но кто-то, глядишь, и поймет — как и Вы поняли, в общем, все главное (а детали не имеют значения).

Простите за длинное письмо. Хорошо бы получать Ваш журнал регулярно! Напечатать что-либо свое — Боже упаси! Пока книга 2-я не сложится в голове, и не сяду даже ее писать; и пока не окончу — никуда не дам; начнут искажать и коверкать все кому не лень, еще до опубликования… Надеюсь, Вы понимаете, что все эти installments в “N.Y. Times” и в “Life” не имеют никакого отношения ко мне. Это все пошло по своим законам, абсолютно без моего участия и даже без моего контроля.

Спасибо Вам еще раз. Желаю Вам здоровья и Вашей супруге также.

Искренне Ваша С.Аллилуева.

1 декабря 1967 Bristol, R. 1.

Уважаемый Роман Борисович!

Спасибо Вам за еще одно Ваше теплое письмо. Право, я не чувствую себя здесь одинокой. Очень много милых писем приходит — от русских, от американцев, немцев, англичан. Я изнемогаю от того, что невозможно всем отвечать, кому хотела бы, — так много трогательного и человеческого пишут.

И книжку мою — понимают так, как я хотела бы. Люди неискушенные, которые не в курсе разных “кремлено-логий” и “последних новостей из России”, читающие просто, искренне, без политической предвзятости, — понимают все как надо и не приписывают мне того, чего у меня никогда и не было на уме.

Меня это так радует и утешает.

А Москва все “свирепствует” и разворачивает свою клевету все больше и больше. Не знаю, — я не очень реагирую, я как-то спокойна по натуре, должно быть. Но меня огорчает то, что и в США сейчас начали следовать тому же; очевидно, thé royalties for thé book их раздражают, хотя я сама менее всех была в этом заинтересована.

“N.Y. Times” тоже тут не совсем благородно себя ведет, — да разве приходится удивляться?

Хочу ответить на одну деталь Вашего письма: писатели московские — самые большие сплетники на земле и самые неосведомленные люди. Если бы отец мой хоть раз побывал на могиле мамы — это было бы известно в нашей семье, поверьте мне!

Слухи об этом я слышала в Москве сама и рассказы, “как приходил, и сидел, и стоял” и т. п. Повторю — это неправда все. Не было этого никогда. Не знаете Вы натуру моего отца — он не мог простить этого удара в спину. А Федин просто желал приукрасить жизнь — это называют в Москве “лакировка действительности” — и он этим профессионально занимается вот уже столько лет! Его и ненавидят.

Фактам, которые я сообщаю в своей книге, здесь не хотят верить настолько, что даже A.Shlezinger написал в своей рецензии в “Atlantic”: “Хотя все авторитетные источники утверждают, что Светлана Аллилуева родилась в 1925 году, она все-таки продолжает утверждать в своей книге, что ее год рождения 1926-й!” Вот как! Даже этого я, оказывается, не знаю толком!

Скоро я переезжаю в Пристон. Мой адрес будет: 85 Elm Road, Princeton. N.J. 08540. Могу я надеяться на Ваш журнал на 1968 год? Я буду приезжать в Нью-Йорк и надеюсь повидать Вас и супругу Вашу — передайте ей мой большой привет. Ваша Светлана Аллилуева.

7 декабря 1967 года

Дорогая Светлана Иосифовна,

Спасибо за Ваше письмо. Понимаю, как велика у Вас корреспонденция и как трудно Вам отвечать на письма. Будем рады увидеть Вас в Нью-Йорке, если когда-нибудь приедете. “Новый журнал” пойдет к Вам по этому Вашему адресу. Кстати, скажу все-таки: я считаю, что так, совершенно не “конспиративно”, Вам жить все-таки опасно. Хочу думать, что, незаметно от Вас, Вас все же охраняют. Вы лучше меня знаете, как длинны руки КГБ. Что ж Вы думаете, они Вами не интересуются, не собирают о Вас сведения и — если им это подойдет — не попытаются что-нибудь сделать? Тем более, что тут очень легко “совершить какое-нибудь нападение хулиганов”, грабителей — и тогда уже обрушиться на США как на страну совершенно разложившуюся, полную гангстеров, хулиганов, грабителей, которая не “смогла защитить нашу советскую гражданку”. Я думаю, что все эти генералы Грибановы и прочая мразь отнюдь не без фантазии. Они уже производили серьезные операции среди эмигрантов. Знаю, какая шла охота за Кравченко, о чем Вы можете прочесть в одном из номеров “НЖ” статью Далина.

Правда, тогда было несколько другое время, но и сейчас время не такое уж здоровое. Кстати, Кравченко 8 месяцев скрывался у нашей близкой знакомой, миссис Э.Рейнольдс Хапгуд, когда дело обстояло для него довольно серьезно. Миссис Хапгуд — известная переводчица (все, кроме одной, книги Станиславского, книга АЛ.Толстой и мн. др. книг не только с русского, но и со многих языков). Если Вы хотите, я могу распорядиться выслать Вам ранее вышедшие номера "НЖ" — там много ценного и интересного материала. К слову сказать, когда миссис Хапгуд прочла Вашу книгу и по-русски и по-английски, она мне сказала, что англ, перевод — неточный (и в серьезных местах неточный) и неудачный.

Пересылаю Вам письмо Анны Александровны Еврей-новой и копию ее письма в редакцию "Р.М." Эту ошибку в Вашей книге я заметил сразу, когда читал (есть у Вас и другие мелкие ошибки, но в своей статье я не считал нужным это отмечать). Н.Н.Евреинова и А.А. я хорошо знал в Париже, детей у них не было. А.А. приезжает (иногда) в США, она ведет большую работу в "Сайентистской" церкви, так что Н.Н. говорил: "Вы знаете, Анна ведь у меня архиепископ!" Итак, желаю Вам всего хорошего.

Искренне Ваш Роман Гуль

Жена шлет сердечный привет.

Пишу Вам по этому адресу и даже не пишу полностью Ваше имя, ведь Вас каждый почтальон знает; почему Вы не поселились под каким-нибудь изобретенным именем? Было бы, на мой взгляд, правильней. Читали ли Вы совершенно гнусное и глупое письмо в редакцию "Возрождения" о Вас — Ольги Керенской? Это разведенная жена А.Ф.Керенского, которая за всю свою жизнь в эмиграции никогда нигде в печати не выступала. И вот — разразилась на 84 году — глупым и по существу жалким письмом. Знаю, что А.Ф. очень хотел с Вами встретиться, но он в госпитале и очень серьезно болен.

11 декабря [1967]

Дорогой Роман Борисович,

Спасибо за письмо. Я ответила г-же А.Евреиновой, которая, помимо справки о моей ошибке, прислала мне совершенно неожиданную (и очень для меня приятную и важную!) весточку от одной нашей с ней общей московской знакомой, с которой она недавно виделась в Париже.

Как тесен мир и как все в нем "сталкиваются лбами"!

Ради Бога, не беспокойтесь по поводу моей безопасности. Во-первых, я совершенно не страдаю манией преследования, — жить я буду далеко за 70 (как обе мои бабки, от которых я

унаследовала гораздо больше, чем от своих родителей). Думаю также, что сейчас никому не нужно, незачем устраивать что-то такое со мной, как преследовали в свое время Кравченко. То была совсем другая фигура и другие обстоятельства. Поэтому я, наоборот, считаю, что вести мне нужно самый нормальный образ жизни. Никаких “незаметных” телохранителей я вокруг себя не вижу, а уж, поверьте мне, глаз у меня наметанный и опыт по этой части очень, очень большой!

Я познакомилась с четой Джапаридзе — такие прелестные оба! Приеду к ним как-нибудь в N.Y., и увидимся тогда с Вами непременно.

Перевод английский “20 писем” — весьма неудачен. Я это, к сожалению, знала. Было слишком много в это лето разных привходящих обстоятельств, затруднивших контакт с переводчицей, а главное — *она и не профессиональный переводчик,* это ее первая работа, и она очень слабо знает русский язык; мне остается только пожалеть, что пока я была еще в Швейцарии, она была выбрана на эту работу. Самый хороший и точный перевод книги — немецкий (Vienna, Ferlag Fritz Molden), хотя мне, конечно, так хотелось иметь отличный английский перевод — *такой,* как было переведено “К Пастернаку” для “Atlantic'a”. увы, все было в суматохе, и вот и результаты. Никакого “тесного сотрудничества” с переводчицей у меня, конечно, не было, так как она мне очень не нравилась.

Письмо (или рецензию) О.Керенской я читала и не очень удивилась ему. Вообще, меня мало трогают подобные вопли, особенно — издаваемые женщинами. Вот когда Arthur Koestler *не понимает,* что я хотела сказать, — то мне очень досадно. Очень обрадовала меня статья Edmund Wilson'a в “New Yorker”. А “Esquire” даже ничуть не задел — мне как-то безразличны эти штуки.

С А.Фед. Керенским я говорила как-то по телефону и мы хотели непременно встретиться. Надеюсь очень, что это произойдет. Я о нем все знаю от моей большой приятельницы Ф.Бенисен, которая часто у него бывает в больнице.

Ошибок всяких мелких в моей книжке может быть немало: я ведь *не мемуары* писала, и источниками моими были не история, а семейные предания, разговоры и рассказы. Я ведь и не претендовала на то, что книга — мемуары.

Желаю Вам и Вашей супруге здоровья и надеюсь на встречу.

Ваша Светлана.

P.S. Пришлите мне, пожалуйста, счет за журнал.

13 марта 1968 г.

Дорогой Роман Борисович, большое спасибо за журнал, очень все интересно. На ту же тему, что и Б.Суварин, написал Роберт Мак Нил в “The Russian Review” (Vol.27, № 1, January 1968), издаваемом в Стенфорде, Калифорния. По-моему, у него тон спокойнее и лучше.

Мне, по-видимому, *трудно тягаться с источниками* вроде Лермоло-Трушиной, бывшим чекистом Александром Орловым, а также с моим “псевдокузеном” Буду Сванидзе, никогда в действительности не существовавшим. Даже его книга (написанная не то Беседовским, не то кем-то вроде) считалась долго “ценным источником”. Все дело в том, что *мои факты* отрицают уже *сложившуюся, традицию* и расходятся с пустившим прочные корни психологическим портретом моего отца: грубиян, монстр, моральный и физический, воплощение грубой силы. Что делать, в союзники могу призвать только Льва Давидовича Троцкого, чью биографию “Сталин” смогла прочесть, конечно, только здесь. Не касаясь истории политической внутрипартийной борьбы, о которой не мне судить, не могу не отметить удивительной *точности психологических характеристик* в этой биографии. А на стр. 18 главы 1-й прямо читаем, что: “тот же биограф говорит о "тяжелых кулаках", с помощью которых Иосиф Джугашвили якобы достигал победы в тех случаях, когда мирных способов было недостаточно. В это слишком трудно поверить. "Прямое действие", связанное с риском, никогда не было присуще характеру Сталина, по всей вероятности даже в те давние годы. Он предпочитал и знал, как найти других, чтобы вести действительный бой, оставаясь в тени или же совсем за сценой”.

У меня в первоначальном варианте рукописи, вывезенном из Индии (еще не отредактированном в процессе издания) была фраза в главе о маминой смерти: “Дело в том, что *сам, своими руками* никого не убивал, кроме ястребов да зайцев”. *Я ее выбросила, так как она мне показалась неуместной и фальшивой именно здесь,* где говорилось о мамином самоубийстве: ведь если *довел* до этого, то значит, в конце концов, и *убил.*

“Версия” эта не “нянина”, как думает Б.Суварин. *Мне говорили то же самое* и мои тетки, возвратившиеся из тюрьмы в 1954 году. Все уже давно прошло, отец умер, я была взрослой, им нечего было бы скрывать. Но и их “версия” была такой же, как у няни и Полины Жемчужиной: пистолет, привезенный Павлушей, предсмертное письмо и все остальные детали. Они обе утверждали, что отец никогда не ходил на кладбище, хотя его все уговаривали сделать это хотя бы как “жест”.

Я могу только предположить, что если *та самая* Наталия

Константиновна, которая учила меня немецкому языку, и была *Трушиной* (никто не говорил мне никогда ее фамилии) и если она действительно попала позже в тюрьму, что вполне вероятно, то она *(т. е. та* Наталия Константиновна, *которую я помню),* вполне могла бы рассказать известную версию с чьих-то слов, а возможно, и просто *"по собственному предположению".* Все гувернантки в нашем доме обожали маму и имели с ней общий язык и взаимопонимание, отец же был где-то "наверху" и отдельно, и я не думаю, что хоть одна из многих учительниц, работавших у нас в доме, могла питать симпатию к нему. *Скорее, наоборот.* И, попав в тюрьму ни за что, вряд ли станешь говорить доброе о человеке в подобных обстоятельствах.

Опять скажут обо мне, как Суварин: "Dans son zèle naif à vouloir quelque peu disculper son père!" Я не собираюсь "disculper". Это невозможно сделать. Я только хочу, чтобы психологические характеристики и мотивации были точными и соответствовали данному характеру. А *что хуже* — я не знаю. Может быть, чем доводить *многих* до самоубийства, уж лучше действовать своими руками, как Отелло, а потом раскаиваться. Отцу никогда не было свойственно раскаяние. Он был для этого слишком холоднокровен. Он всегда считал себя правым, как и в случае маминой смерти, когда хотел найти *кого-то,* кто был бы в этом повинен, но только не он сам.

Я не знаю, что хуже. Я не вижу, где тут "disculper"…

Жан-Жак Мари, французский переводчик, считается одним из лучших. Стихи И.Бродского он перевел прекрасно. Мою книжку он просто, как видно, переводил "левой ногой". Он — друг Эммануэля д'Астье, с которым я разругалась прошлым летом, когда он без моего разрешения опубликовал мои частные письма к его жене (она — русская, Любовь Леонидовна Красина, я ей писала из Индии по-русски просто в силу того, что *никого больше* тогда не знала во всем Западном мире, и еще потому, что в детстве она знала мою маму). Д'Астье эти письма перевел, напечатал как мои письма *к нему* и снабдил довольно произвольным комментарием. И вообще писал обо мне всякую чушь. Может быть, под его влиянием Жан-Жак Мари "охладел" к работе и сделал ее кое-как. Кстати, он *перевирает* русские имена в полном соответствии с тем, как их переврал сам д'Астье в своей книжке "О Сталине".

Как глупо, как непростительно глупо было предоставить все тогда на самотек! Какая была паника, какая суета и какие глупости на каждом шагу. Я так хотела быть ближе к Нью-Йорку, *ближе ко всему,* но меня ото всего *отодвинули* и *задвинули* на ферму в Пенсильвании. Может быть, так боялись приезда

Косыгина? Я уж и не знаю. Еще говорят, что “могло все быть намного хуже”. Но *в смысле литературно-профессиональном ничего худшего,* чем то, как книгу переводили и издавали, нельзя и вообразить.

Получила вчера книгу Александра Бармина “One who survived”, *без единого словечка.* Следует ли это понимать так, что он мне ее посылает читать, или дарит, или что? Обратный адрес его, но я с ним незнакома и, по правде говоря, только раз слышала его имя. Заглянув в книжку, я увидела сразу же неточности: 1) Бармин не мог быть *вместе* с маминым братом на банкете в честь 15-летия революции в 1932 г. в Кремле: Павлуша был тогда в Берлине. 2) История о “третьей женитьбе” моего отца на некой Розе Каганович — выдумка, неизвестно чья. Уже это позвольте мне знать. Так что не знаю, стоит ли книжку читать… *Как-то сразу скучно стало.* И никакой “сухой руки” я никогда у отца на видела. Очевидно, автор пользовался “источниками”, утверждавшими это. Вы читали его книгу? Вы находите ее интересной? *Я ведь не биограф своего отца и не собираюсь им становиться.* Свою точку зрения я никому не навязываю. Но фактические ошибки раздражают всегда. Извините за длинное письмо и большое вам спасибо за помощь и дружбу. С уважением

Светлана

3 апреля 1968 года

Дорогая Светлана,

Спасибо за Ваше письмо. Хотел ответить раньше, но владыка Иоанн, которого я видел в Нью-Йорке, сказал мне, что Вы на время выехали из Принстона. Он жалел очень, что не повидался с Вами в Нью-Йорке. Но может быть, он встретился с Вами в Принстоне, куда отсюда его отвезли Джапаридзе.

Ваши “комментарии” к статье и к книгам — очень интересны. Насчет книги Лермолова, я, по правде сказать и между нами, этой книге не очень верю, хотя и Суварин, и в свое время Николаевский ее показаниям и ее рассказам вполне верили. Дело в том, что *русского* текста книги нет. А это всегда плохо и наводит на всякие размышления, ибо всем известно, как иностранные редактора обрабатывают книгу (сырой материал). И уж очень много у нее “встреч” и с тем, и с другим. О Сванидзе (Беседовский) говорить не приходится. Троцкий, конечно, источник достоверный, но и кроме него были воспоминания абсолютной достоверности, напр., Арсенидзе (чудесный был человек, да он, кажется, и сейчас жив). Его воспоминания были опубликованы в “НЖ”.

История с изданием Вашей книги — это мрачная страница,

Вы попали в самый водоворот дельцов и бизнесменов, для которых все дело в том, чтобы сорвать какие-то деньги (и даже очень большие — для себя). О Жан-Жак Мари: боюсь, что тут тоже была какая-то небрежность, ибо он из окружения “какой-то Триолешки” (как называла Ахматова малопочтенную Эльзу), и тут небрежность могла идти рука об руку с некоторой даже злонамеренностью. Увы, за свою литературную жизнь на Западе я знаю и не такие случаи, я знаю даже случаи, когда *издавали* книги только для того, чтобы их *похоронить,* а не распространять. Тут на многое можно налететь, причем с виду все будет обстоять как будто совершенно “по-джентльменски”. Ну, ничего не поделаешь, это серьезный урок — и если Вы напишете новую вещь, то будете уже “ученой”.

Бармин Вам прислал книгу в подарок. Он говорил со мной как-то по телефону, и я спросил его. Он очень хочет, чтобы Вы ее прочли и сказали о ней Ваше откровенное мнение. Ничего не написал на ней, ибо не хотел быть навязчивым, тем более, что о Сталине, как он сказал, он пишет очень резко в своей книге. О замеченных Вами ошибках я ему ничего не говорил. Если прочтете всю книгу и дадите Ваш отзыв, то тогда могу при случае (я с ним иногда переговариваюсь по телефону) сказать ему, если Вы захотите.

Кстати, выдумка про Розу Каганович ведь ходила по всему миру. Скажите, но вообще-то в мире существовала такая Роза? Или нет? Вы ее не знавали? Я читал книгу Бармина очень давно и плохо помню.

Ну вот, по пунктам ответил на Ваше письмо. Теперь вот о чем. Получили ли Вы кн. 90 “НЖ”? Там есть очень интересное письмо Ю.В.Мальцева к У. Тану и к Подгорному. Я это получил из СССР, от верного человека, бывшего там. Отправил У Тану заказным с обратной распиской — и русский текст и английский перевод. “Обратная расписка” пришла назад, но он мне на письмо, конечно, не ответил, да я и не надеялся. Но в советскую делегацию — передаст. В “НЖ” сразу же звонила какая-то личность, когда журнал еще не вышел, и по всему разговору было ясно, что это кто-то из советских, вероятно из ООН.

Читал как-то в газетах, что Вашего знакомого Л.Копелева как-то “репрессировали” (пока что, кажется, только исключили из партии) за выступление в защиту Галанскова, Гинзбурга и др.

Ну вот, “закругляюсь”. Кончаю. Жена моя поправилась настолько, что уже ходит, делает покупки и пр. Так что если Вы приедете в Нью-Йорк, то будем очень рады видеть Вас у нас.

Всего Вам хорошего,

искренне Ваш

Роман Гуль

6 сентября 1969

Дорогой Роман Борисович,

Простите за книжку “with thé compliments” — я просто хотела ускорить процесс пересылки по почте и дала в Harper&Row список, кому послать. Сама тоже занимаюсь рассылкой по почте своих экземпляров, каждый день краснея оттого, что… ну, это я уже высказала в письме в “Н.Р.С.”.

Я Вам пошлю экземпляр книги от себя (а не от моих издателей!), как только получу еще здесь, в Принстоне; а пока что, надеюсь, Вы прочтете (и тогда, м.б., в самом деле перешлете книжку А.Кузнецову?) Было бы хорошо. Я с ним незнакома, его истерики мне не очень нравятся — все-таки он мужчина, а не “баба”, но я знаю и понимаю, что он на пределе нервного переутомления.

Несчастные, в общем, и А.Белинков и А.Кузнецов, я не знаю, как они приживутся здесь. Дело не в знании иностранных языков, а в какой-то *закрытости* души, в ее бескрылости — при довольно яркой изощренности ума. *Оба* они — искалеченные советские интеллигенты, и это не вина их, а беда, и свидетельство всему миру о том, как советская жизнь превращает людей в духовных калек. Очень жаль безногих и бескрылых, нестерпимо больно, неизвестно — чем и как помочь, но ясно, что калека есть калека и жить полной жизнью не может. В “Н.Р.С.” было вчера интервью с А.Кузнецовым, и прочтя об его *страхах,* я подумала, что он, бедняжка, может погибнуть от мании преследования, если его кто-то не освободит от нее сразу же, но как?!

Безбожники, без веры, потому и бескрылые и бессильные. А скажи им о вере — начнут брыкаться, несчастные в пустыне, а источника не видят.

Простите — это у меня особый спор, мой собственный, поэтому я так отвлеклась.

Роман Борисович, я очень хотела, чтобы книжку Вы прочли, а захотите ли Вы о ней написать — это как Вам угодно. У меня такой задней мысли не было, я только одного хочу: чтобы читали и кое-что поняли бы в том процессе, долгом и трудном, который меня сюда привел. *Поэтому* я считаю, что Harper&Row, назначив цену книги в 15 долларов, сделал огромное удовольствие для Москвы: угодить *лучше* было бы невозможно. Но они этого, *надеюсь,* не осознают.

Для того, чтобы послать сердечный привет Ольге Александровне (?), я пошла сейчас проверить, верно ли я помню ее отчество (но не нашла); но в Ваших прежних письмах, которые

я сейчас просмотрела, *нашла* Ваше доброе предупреждение насчет того, чтобы “не попасть в кабалу к издателям со следующей книгой”. Ну, а я как раз и *попала.*

Знаете, Роман Борисович, очень трудно было мне, человеку с Другой Планеты, сразу во всем разобраться. А кроме того, я, в отличие от Белинкова и Кузнецова, люблю верить и доверять, и мне нужно *много раз* больно ушибиться, чтобы поверить, что предполагаемый друг есть, по существу, друг не мне, а самому себе. Это берет у меня *много времени,* и *всегда* так было, и в России тоже… Зато опыт, приобретенный ценой синяков на собственной физиономии, очень и очень полезен.

И потом, я не люблю скандалов, сцен, взаимных обвинений и сведения счетов. Со своими адвокатами (Green-baum Firm) и издателями (Harper&Row) я мечтаю *мирно* разойтись, но без взаимных плевков в лицо. А мирный, полюбовный *развод* (divorce) — дело очень трудное и медленное. Но не невозможное. И вообще — quod nocet, docet.

Ваша Светлана

15 сентября 1969

Дорогая Светлана, спасибо за Ваше письмо. Книгу Вашу я прочел давно, не мог написать, ибо очень закрутился с выпуском кн. 96. Сейчас пишу — книга Ваша прекрасная, очень сильная, эта книга Вам удалась полностью. Она читается с напряженным интересом, трудно от нее оторваться. Есть места особо удавшиеся, напр., крещение и все разговоры с о. Николаем (превосходно!), потом — как Вы пошли в ам. посольство (очень хорошо написано, как будто и просто совсем, но я знаю, что это не так просто передать это Ваше состояние). Вообще — простота (высокая простота) это одно из качеств Вашей книги. Потом, конечно, вся глава “Бумеранг” — очень сильная и тоже очень искренняя. Ну, и вся любовь к Сингху (и его любовь), это тоже очень сильно и очень хорошо. А эти “десять семейств”?! А зарисовки Суслова, Косыгина и др. — пусть сделаны штрихами, но читатель их так и видит — и внешне и внутренне. Читаешь книгу и невольно думаешь (с тоской, с большой тоской): Боже мой, в руки какой последней сволочи попала Россия!

Конечно, эти мысли приходили не только при чтении Вашей книги, но тут эта тема дана — остро (и совсем без подчеркиваний, а как бы между строк). И все это дело этого пресловутого Ильича, которого я всегда ненавидел и ненавижу до последней возможности. Но на Западе сколько “либералов” все еще относятся с “пиететом” к этой “гениальной горилле” (как его назвал как-то давно уже В.В.Шульгин, попавший в СССР после

войны и “восславивший” этот строй… после долгого концлагеря). Курц унд гут — поздравляю с “Только одним годом”. И, Бог даст, за ним пойдут и другие. Вы пишете мне: “Если Вам будет угодно”. Я прекрасно знаю Ваш гордый и независимый характер и прекрасно знаю, что Вы прислали мне книгу не для моей рецензии или статьи. Да и статья в “НЖ” — что она даст? Разве что пройдет книга в СССР и там прочтут. Это единственный возможный плюс и приятность. Но если прочтут — то узкий круг: ну, Чуковские, Копелев, Солженицын, м. б. (когда придет к Чуковским). Во всяком случае, я писать о Вашей книге хочу и буду (для декабрьской книги).

Теперь о том, что мне не очень понравилось. Одна глава (где Вы пишете о Ваших друзьях в Москве, не помню названия, а книги у меня сейчас нет) — эта глава, конечно, нужна, и каждый отрывок интересен, но почему-то при чтении это была единственная глава, где читательский интерес падает, м. б. потому, что она из отдельных отрывков, не знаю. Потом мне не нравятся частые слова “ситуация” (это по-советски, и я никак не пойму, почему эта “ситуация” так к людям привязалась, когда в 99 % лучше сказать просто “положение”; это как “специфика” изуродовала “особенность”. И совсем нехорошо, когда Вы о себе пишете — “свободный индивидуум”. Почему не человек? Индивидуум на месте в учебнике энциклопедии права, в философских трудах, но в такой книге, как Ваша, — я бы гнал этого индивидуума бесшадно отовсюду. К чему он? Он портит язык, портит мысль, слог, стиль. И последнее — на последней странице Вы поднимаете бокал за свободу с… Луи Фишером. Простите мне, я знаю, что он Ваш друг, но я все же скажу то, что думаю. Если б Вы подняли бокал с Дж. Кеннаном, со стариком Джонсоном, с Вашей чудной полковницей — все было бы прекрасно. Но Фишер? Ведь в течение *лет,* долгих *лет* он предавал и продавал эту (именно эту) свободу тем же чекистам (а кому же, как не им, ведь они же — твердь режима). Он писал в “Нэйшэн” такие корреспонденции из Москвы, за которые он должен бы краснеть всю свою жизнь. Но я думаю, что он принадлежит именно к тем людям, которые краснеть не спешат. Да и расхождение его с Сов. Союзом произошло ведь вовсе, кажется, не по идеалистическим соображениям, а по каким-то совсем, совсем другим. Простите, если это Вам неприятно. Но уверяю Вас, что для концовки книги Вы выбрали неподходящий персонаж. <…>

О книге для Кузнецова. Я жду вторую книгу. И вот почему. Когда я читаю, я делаю всякие заметки на книге, без этого у меня книга — “не прочтена”. И на этой я их делал. Теперь я жду второй

экз., чтоб перенести свои заметки, а с той стереть (карандаш легко стирается) и отправить ее Кузнецову. А пока суть да дело, у меня взял ее Ярров и вернет мне ее сегодня-завтра. Он очень хотел прочесть. Итак, как только получу от Вас — этот экз. улетит к Кузнецову (кстати, переменил он себя довольно безвкусно на какого-то Анатоля, это для Франции было бы хорошо, но не вообще же — взял бы "Васильев" — по своему отчеству, а то какая-то смесь французского с нижегородским получилась). Я думаю, что он не похож на Белинкова по характеру. Он ведь всему рад — орет от свободы, от свободных людей, от возможности свободно писать и не предъявляет ни к кому претензий. Мне говорили на радиостанции "Либерти" — слушали ленту записи, интервью с ним, Виктор Франк (сын философа) разговаривал с ним. И, говорят, совершенно иное впечатление, чем на телевидении. Говорил свободно, крепко, смело. И на вопрос: что бы Вы сейчас сказали, обращаясь к Вашим товарищам-писателям в СССР, Кузнецов так искренне ответил: "Я бы им закричал: братцы, как я счастлив, что я свободен, что я говорю, что хочу, что я пишу, что хочу" и т. д. Я порадовался. Думаю, он крепче как-то Белинкова.

Белинков — странный человек (больной, по-моему). Он предъявляет сразу Западу требование — о признании его авансом замечательным писателем, мыслителем и пр., — ничего решительно в подтверждение сего не предъявляя. Ведь в то время, как Кузнецов сделал большое дело, обратив внимание всей межд. интеллигенции на положение сов. писателей и интеллигентов вообще, Белинков решительно ничего в этом смысле сделать не мог. То, что он писал, было совершенно беспомощно и никому не нужно. К тому же у него какая-то патологическая русофобия. Он прислал мне статью "Декабристы", в которой доказывается, что декабристы были прохвосты и трусы, что Пушкин, Некрасов, Тютчев и др. были тоже прохвосты, что русская интеллигенция всегда состояла из прохвостов и только и делала, что помогала полиции (так и написано) хватать людей и сажать их в тюрьмы, что все, как он пишет, "народонаселение России" состоит из прохвостов, рабов, негодяев и др. Я развел руками, вернул ему статью.

Переходим к Ольге Андреевне. Отчество ее запомнить легко: у Льва Николаевича была Софья Андреевна, а у Романа Борисовича — Ольга Андреевна. Вот как! И, конечно, если бы Лев Николаич женился именно на Ольге Андреевне, *а* не на Софье, то, я думаю, он был бы много счастливее. Во-первых, Ольга Андреевна была очень интересна (внешне) — лучше, чем Софья Андреевна, мне кажется. Потом, внутренне — с Ольгой

Андреевной Лев Николаич очень легко бы размотал все свои имения, все свои деньги — все бы “роздал Влас свое имение”, — и они бы вместе отправились странниками по России — нищие и счастливые. И тайно убегать из буржуазного дома никак не пришлось бы. И все бы повернулось иначе. Видите, как я рекламирую О. А.

Нет, правда, жена моя к благам мира никак не прикреплена, она все кого-то устраивает, кому-то помогает, все ищет какого-то добра. После войны в Париже своими усилиями вытащила из тюрьмы несчастную молоденькую новую эмигрантку, ставшую в этом “городе-светоче” просто проституткой (а что же ей было делать, так все сложилось для нее страшно), сделала ей операцию, тогда как всякие дамы-патронессы от этой женщины отказались. И что же в конце концов? А в конце концов О.А. привезла эту женщину с двумя детьми и мужем в Америку (простая женщина, неграмотная даже), и теперь у этой семьи — автомобиль, хорошая квартира в пять комнат, сын в армии, дочь замужем (за негром, отчего мать была попервоначалу в отчаянии), все работают, счастливы. И мою жену еще с Парижа эта женщина называет “мама”, а меня, во славу моей жены, — “дядя Рома”. Вуаля. Это об О.А.

Она Вас очень благодарит за Вашу книгу, почувствовала в ней добро, любовь к людям и стойкость. А О.А. (скажу от себя) при всей своей женственности — может быть стойка, как сталь (это русский характер, таких интеллигенток было много, у меня была такая же мать).

Ну, что-то я расписался ни к чему. И это при моей чудовищной занятости по журналу. Просто — преступление. Обрываю.

От души желаем — оба — Вам всего хорошего. Будете в Нью-Йорке, будет желание встретиться — будем рады.

Искренне Ваш

Роман Гуль

17 сентября] 1969

Дорогой Роман Борисович,

Прежде всего пусть Ольга Андреевна меня простит за перемену ее отчества. Как-нибудь при случае, в Нью-Йорке, я ей сама “докажу”, что помню его теперь правильно. Я думаю, что как-нибудь в октябре — когда пройдет вся эта лихорадка с выходом книги — я к Вам забегу — если можно. (Я Вам дала мой телефон?)

Пожалуйста, *не* извиняйтесь предо мной, когда говорите о Луи Фишере то, что думаете. Я уже давно с ним *не* разговариваю

и в числе своих друзей его не держу. Но так как такие были отношения в декабре 1968 года (когда мы вполне еще нормально встречались и беседовали), то теперь менять концовку, “выкидывать Фишера” мне показалось неудобным и неприличным, хотя бы перед лицом редакторов из Harper&Row, так как они все там отлично *знают,* в чем дело.

А дело вот в чем. В своей книге “Russia's Road from Peace to War” Фишер “использовал” *мою* историю о гибели С.Михоэлса. Просто взял — переписал из моей рукописи и *не сделал* сноски на источник. Его книга вышла в мае 69 г. (с тех пор мы и *не разговариваем),* моя выходит в сентябре, и я ему сказала, что по-русски это называется Schweinerei. Он обиделся, — султан такой. А я его просила несколько раз: укажите источник или выбросьте совсем. Даже его редактору (Canfield Jr.) это говорила. И вот — история там у него в книге, а сноски нет.

Второе. Когда я читала page-proofs своей книги в Harper&Row с редакторами в июне с. г., то совершенно случайно узнала (просто из болтовни с редакторами), что “Louis Fisher was paid $ 1.000 for the editing of my book”. Я очень удивилась, так как *редактировать* русскую рукопись он никак не в состоянии. Спросила уCanfield'a. Он говорит: “We knew, that he helped you, we offered him money and he gladly accepted it”. Так-с. Звоню Фишеру и, с трудом сдерживаясь, задаю вопрос. Он говорит: “Nonsense. Никакого редактирования я не делал (святая правда!), а мне заплатили за то, что я помог Harper&Row подписать с Вами копирайт на 2-ю книгу, когда она еще не была закончена”. — “Так-с, а почему же Canfield говорит другое? Почему же в *ведомости* издательства значится, что уплачено “for editing”? — “Ну, — говорит он, — это уж их дело, почему…” А в результате кто дура? Я дура.

После этого мы не разговариваем — и не будем. Но ведь Harper&Row знает о копирайте, и они ожидали, что я Фишера из книжки уберу. *Поэтому* я и не убрала.

К сожалению, за столом в Prinston Inn 19 декабря 1967 года сидел *именно* он. У меня все факты, имена, разговоры и прочее в книге — реальны, я ничего не выдумывала и не меняла. Поэтому — из песни слов не выкинешь… Я бы *так* хотела, чтобы это был Дж. Кеннан, но, увы! Это был не он.

Теперь добавлю, что мне *многие* говорили, что с Фишером дружить не стоит. Но я как-то очень люблю, просто обожаю учиться на собственных ошибках, которых сделала немало; мне *так* интереснее. Теперь уж я *сама* знаю, что такое Louis Fisher, но это опыт на собственных синяках. Так лучше. Хватит об этом. Но очень хотелось сделать необходимые разъяснения.

Аркадий Белинков, по-моему, — человек с болезненной психикой. Я очень не люблю вешать на людей этот ярлык, но тут уж очень это бросается в глаза. Мне с ним трудно даже по телефону говорить, у меня сразу делается нервная чесотка, вроде крапивницы. Несчастный он. Говорит: “Мы — европейцы. Америка не для нас с Наташей”. Мечтает в Европу поехать. *Боюсь,* что и там ему будет худо. Ему нигде не будет хорошо. Это все — несчастные, смятенные души, которые еще не знают (или не хотят знать!), что Царство Божие — внутри нас. Оттого им нигде покоя нет.

Дай Бог, чтобы А.Кузнецову пришлось легче и чтобы он нашел свое место в здешней жизни. Все претендуют на талант и гениальность, думают, что на Западе “развернутся”, и забывают, что на Западе люди живут лучше, чем в СССР, намного, *но и* работают несравнимо больше. И знают больше. И умеют больше.

Все — куда ни посмотри — мужчины, женщины, дети, все *работают* куда больше, чем там, в этом полуказарменном социализме, где только “ать-два”, и командир скажет, что делать дальше. А тут эта самая Свобода, с которой неведомо что делать, и никто не бежит предлагать бесплатные льготы за гениальность. Очень трудно.

Простите меня. Я *не* издеваюсь, мне их жалко. Я просто объясняю Вам исковерканную душу советского человека. Дай им Бог переделать и как-то починить эту самую поломанную душу. Но они ведь даже и *не верят* в существование этой самой души! Вот что ужасно.

С Вашими замечаниями насчет моего “советского” жаргона я согласна. Что делать! Столько лет там прожито, все словечки оттуда.

Будьте здоровы. Обнимаю Ольгу *Андреевну.*
Ваша Светлана

19 сентября 1969 года

Дорогая Светлана, получил Ваше письмо. Обстоятельства разные складываются так, что хочу тут же Вам ответить. Прежде всего: когда я прочел в НРС заголовок о том, что Вы “заступаетесь” за Сталина, я пришел в такую ярость, что тут же написал в редакцию письмо, довольно резкое (копию которого прилагаю). Ярость моя заключалась не только в том, что появилась такая заметка (заголовок был очень плох), но и в том, что я узнал, кто это сделал. Вейнбаума не было, он в отпуске. Это прошло и мимо Седых. Сделал это (что я знаю стороной) один мер…, которому давно, как говорится, “отказали от дома”. <…> Добавлю Вам и “беллетристику”. Я написал письмо смаху, и, т. к.

жены не было дома (она ушла к друзьям в этом же доме), мне хотелось послать его возможно скорее, а на дворе были дождь, молния, гром, — то я все равно — благо жены не было, набросил пальто и, как безумный король Лир, — в грозу и молнию — побежал к почтовому ящику, чтобы опустить свое “спешиал деливери”.

Читал письмо Белинкова в Пен Клуб. Первые два отрывка были, на мой взгляд, просто ужасны (неумно, с выкрутасами, с самолюбованием, ни к чему). А вот третий, конец, — здесь есть правильные и хорошие мысли — об исключении Сартра, например, и о невозможности для партии какой-то бы ни было либерализации. То, что Белинковы недовольны Америкой — это что-то дикое. Лучшего приема, чем получили они — трудно придумать. В Европе они просто бы пропали. И если они туда отправятся, то в этом убедятся очень скоро. Посылаю Вам запись передачи беседы с Кузнецовым. В ней есть кое-что интересное. Верните ее мне, пожалуйста, у меня не осталось копии. Если хотите, сделайте с нее копию для себя. Ну, кончаю. Искренно Ваш

Роман Гуль

Олечка сердечно кланяется.

Звонил мне сегодня Ярров: и ему и его жене (она читала по-английски) Ваша книга очень понравилась. Сильвия говорит (Яррова), что книга должна иметь успех среди американцев. А она, так сказать, американский барометр. Ярров ей для этого и давал.

18 *октября 1969 года*

Дорогая Светлана, не знаю, в Принстоне ли Вы, но пишу. Я получил письмо (и главы из “Бабьего Яра”, в новой редакции для НЖ) от Кузнецова, он пишет, что книгу Вашу от меня своевременно получил и “написал восторженную рецензию” в “Сандэй Телеграф” и что послал Вам эту рецензию и поздравления. “Спасибо ей, она написала *здорово!”* Так как на следующей неделе я должен написать и сдать в набор отзыв о Вашей книге (все никак еще не могу дойти), то я бы хотел прочесть, что написал Кузнецов, м.б., из его статьи что-нибудь стоит процитировать. Будьте так ласковы, снимите зирокс и пришлите мне копию этой рецензии. От радиостанции “Свобода” я получаю копии отзывов о Вашей книге (некоторые). Как-нибудь Вам пришлю список отзывов, которые они публикуют в своем бюллетене.

Искренне Ваш

Роман Гуль

Олечка шлет Вам сердечный привет.

Краем уха слышали о Вашем путешествии в Вашингтон.

Октября 22, 1969, Принсгпон

Милый Роман Борисович, вот статья А.Кузнецова (у меня есть еще, прислали многие из Лондона). Я очень была тронута и написала ему.

Не знаю, что Вы слышали о моем путешествии в Вашингтон, но могу только сказать, что беспокоюсь за владыку, который взял меня под свое крыло с каким-то упрямством и упорством — сколько я ему не говорила, что это только *ему* повредит. Вот и в Вашингтоне, в церкви, где он служил (и я пошла послушать), был "эксцесс". Я говорила — не надо раздражать человеческие раны напрасно… А владыке будут одни неприятности *за его же* доброту. Это так всегда.

Мне, конечно, очень приятно, что владыка так добр ко мне и так все прекрасно понимает. Но камни-то полетят в него — от тех самых, кому он пытается доказать, что книжка моя хорошая и что я — не злодейка.

Ах, хоть бы Вы его остановили, Роман Борисович! Ведь он не слушает меня. А я чую беду издалека, когда она еще совсем далеко. Мало ли было владыке неприятностей? Вас и Ольгу Андреевну он, быть может, послушает.

Спасибо Вам за Ваши добрые усилия и за дружбу.

Звонил Белинков, стонал.

Будьте здоровы. Целую Ольгу Андреевну.

Ваша Светлана

Декабря *22, 1969*

Милый Роман Борисович,

Спасибо за остроумное бичевание недочеловеков в Вашей статье. По-моему, еще никто до Вас не называл Кремль "живопырней" — смотрите, будет Вам "оттуда"! И насчет бланманже и кислой капусты — тоже здорово! А эта самая Светлана Аллилуева мне совсем осточертела, слышать не могу.

Прилагаю при сем записочку от Теймураза Багратиона насчет "Нового журнала". Вы знаете этих Тумаркиных? (У меня в Москве были хорошие друзья с такой фамилией, на Арбате, в Староконюшенном переулке. И жили они там еще с дореволюции).

Ведь если "Н. журналу" что надо, то Вы ведь можете всегда сами мне сказать, а "печатать" книгу в журнале теперь уже *поздно,* это надо было год тому назад думать. Что ж я буду ему звонить? Или он *еще что-нибудь* хочет сказать?

Итак, скоро Рождество американское, а затем и наше. Новый

год приближается — поздравляю Вас и желаю, чтобы год грядущий оказался бы лучше предыдущего.

Владыка Иоанн был на наших Восточных берегах, я его видела; опять на него будут вешать всяких собак из-за автокефалии церковной. Он объяснял мне, но я по дурости и по серости своей никак в толк не возьму, *за что* же собак вешать?! уж понятно, когда на меня вешают их, но на достойных представителей Русской Церкви и русской аристократии — зачем же? Как-то очень делается уныло от человеческой тупости. Или — это тоже "оттуда" кто-нибудь мутит воду и в этом случае?

В январе буду в Нью-Йорке *специально* несколько дней, чтобы *всех* повидать. Прямо обход сделаю. Где Вы на Рождество? Ходите ли Вы к о. А.Киселеву или куда-нибудь еще?

Будьте здоровы. Будьте спокойны и величественно плюйте на всех "четвероногих".

Ваша Светлана

28 декабря 1969 г.

Дорогая Светлана, спасибо за Ваше письмо, за добрые слова о "живопырне" (мне самому это слово очень нравится, причем даже у Даля его нет, к моему огорчению). У меня сначала была банальная "живодерня". И вот утром проснулся, в кровати, и мне почему-то безо всякого поиска пришла эта самая "живопырня". Я возрадовался страшно: вот, думаю, обрадую Косыгина и Суслова. Ну и обрадовал. К их режиму подходит именно слово "живопырня".

Записка от Багратиона — очень смешная. Я прекрасно знаю Р.С. И, мне кажется, чувствую, что под сим кроется. Т. к. теперь жизнь дала мне, наконец, право "предупреждать" Вас об опасных персонажах, то я этим правом и воспользуюсь. Р.С. — очень милый человек, москвич, был бонвиван, ловелас, красавец ("смерть дамам"), но сейчас он все же в годах, ему примерно 87. Как-то говорил со мной по телефону, и я понял, что в нем уже "родился пупсик" (выражение Андрея Белого). Он что-то путал, что-то плел не то. Надо сказать, что он всегда был похож ну, на Репетилова, что ли. Но человек добрый, доброжелательный. Конечно, к НЖ он не имеет никакого отношения (подписчик, и только). Но я не удивлюсь, если в один прекрасный день он расскажет, что римский папа его просил об одной услуге и он не мог ему в этом отказать. Он любит рассказывать что-нибудь небывалое. Вот он что-то и рассказал Багратиону о НЖ, но дело тут, конечно, не в НЖ, а в том, что он, так я думаю, просто очень хочет с Вами познакомиться. Видел Вас по телевизии, и Вы, вероятно, его "ушибли". Теперь он ищет какой-нибудь повод с

Вами познакомиться.

Расскажу уже Вам — но по секрету — одну смешную историю. Одна русская дама попросила его продать ей брошку (Р.С. занимается такими делами, он работал все время в Нью-Йорке на бриллиантовой бирже и понимает толк в драгоценных камнях). Он взял брошку, но, придя к этой даме, вдруг ни с того ни с сего начал предлагать ей свою любовь, причем уверял, что он ее будет целовать так, как никто в мире ее не целовал, что ей откроются врата Эдема. Дама, в понятном ужасе от "врат Эдема", категорически отказалась и попросила вернуть ей брошку. Тем новелла и кончилась. Но, повторяю, он милый человек, только не очень умный. А НЖ тут, конечно, не при чем.

Кстати, в Москве — это наверное его родственники. Он жил в Москве в превосходной квартире, очень богато и именно на Арбате. В 1918 г. скрывал у себя Савинкова, когда тот приехал работать в подполье в Москву. Р.С. был близок к партии эсеров. Его сестра, Мария Самойловна Цетлина, которой 89 лет, и она уже давно в полном рамо-лисменте, была женой М.О.Цетлина, который основал в 1942 г. "Новый журнал" на свои деньги. Они были богатые люди — Цетлины, Гавронские, Фондаминские, Гоцы, это все — чайная фирма "Высоцкий и сыновья", причем отцы делали миллионы, а сыновья — революцию. Все были эсерами. Мария Сам. была издательницей "Нового журнала" и после смерти мужа, до 25-й книги, а потом Фордовский фонд дал деньги на это дело, но немного, и вскоре дело это совсем оборвалось, и мы остались без гроша. Но, благодарение Богу, выжили и теперь, видимо, будем жить, ибо сейчас американцы мне уже говорят: "Мр. Гуль, вы не знаете, какое вы дело делаете для Америки!" Вуаля л'аффэр! А еще не так давно надо было просить поддержки, и было трудно. Думаю, сейчас будет легче, ибо и Кочетов меня рекламирует, не покладая рук, а сейчас выступил на пленуме С.Михалков и назвал на весь Союз "Новый журнал" "белогвардейским вертепом". Это уже нечто вроде ордена Красной Звезды. Надеюсь, что после "живопырни" дело дойдет до ордена Ленина.

Мы будем очень рады повидать Вас в Нью-Йорке. На днях были у Джапаридзе. С о. А.Киселевым я хорошо знаком, но у него мы никогда не были. Владыка Иоанн и мне говорил много об автокефалии, но я очень боюсь, что Москва их обыграет. Черчилль говорил: "Когда садишься обедать с чертом, запасись длинной ложкой". У Никодима и его компаньонов ложки, конечно, очень длинные, а у его контрагентов, увы, очень коротенькие. Ну разве могут о. А.Шмеман, о. И.Мейендорф, владыка Иоанн и другие "обыграть" Никодима —

прожженнейшую сволочь? Боюсь я этого дела. А смуту в эмиграции Москва раздует большую и ей довольно выгодную.

Ну, кончаю. Всего Вам хорошего от меня и жены.

Искренне Ваш Роман Гуль

June 10, 1970

Дорогой Роман Борисович, как приятно было получить от Вас весточку! Спасибо за поздравление; William Wesley Peters — очень хороший человек и будет мне большой подмогой в жизни, как и я для него. Что касается хозяйки, Ольги Ивановны Wright, то тут мои чувства в некотором смятении после проведенных здесь почти что 3-х месяцев: дело в том, что в 20-е годы она провела несколько лет в “заведении” Гурджиева в Фонтенбло под Парижем (ритмы, танцы, мистика, псевдовосточная “мудрость” и прочее) и продолжает считать этого мракобеса своим духовным учителем. Ну, а чему он мог научить, Вы сами знаете — это все “бесовщина”, как говорит наш владыка Иоанн. Тут этот налет очень чувствуется. Но — к счастью — большинство архитекторов и мой муж не разделяют всей этой хилосо-фии, а просто работают не покладая рук целый день. Они — милые люди, простые и работящие. Но мне и мужу приходится иногда трудно с “хозяйкой”, которая привыкла править единовластно всеми и вся. Я же от этого устала еще в России и более не приемлю никаких диктаторов (особенно — в юбке). Поживем — увидим, что получится из всего этого.

После всех эмоциональных потрясений и перемен все как будто улеглось. Книжка Malcolm Muggeridge "Jesus Rediscovered" у меня здесь; если смогу, пришлю рецензию. Если во второй половине июня fine — то хорошо, так как моя русская машинка уехала (с вещами) в Wisconsin и мы переедем туда в начале июня, и я тогда смогу перепечатать.

Мнение об этой книге у меня очень “субъективное”, т. е. мое собственное — хорошее. В журнале "Look" какой-то либеральный профессор сделал из автора котлету, мелко рубленую. Мое мнение будет диаметрально противоположным, хотя, с *другой стороны,* ученые теологи тоже, может быть, найдут недостатки и ошибки в том, что говорит Muggeridge о Христе, которого он “вновь открыл” для себя на старости лет; после долгой бесплодной жизни интеллигента-циника вдруг увидел Свет Живой. И об этом он пишет так хорошо и *так* убедительно, что я считаю, что книжка очень хороша. Тем более, если учесть, что Muggeridge — один из ведущих комментаторов BBC и лондонского TV, т. е. живет и подвизается *в самой что ни на есть клоаке.* Когда для такого прожженного и прокуренного “подонка”

вдруг начинает звучать живое слово Христа — после того, как он делал TV программу из Святой Земли, следуя с камерой по всем дорогам, где учил Христос, — и когда он пишет об этом горячо и хорошо, то я не знаю, право, чего еще пожелать читателю. Книга издана здесь тоже, у Doubleday. Вы можете найти ее. Это Вам не Коряков, — книга без позы и без притворства и очень самокритична. Нежный привет Ольге Андреевне.

Ваша Светлана.

15 *шюня 1970 года*

Дорогая Светлана,

Получил Ваше письмо, большое спасибо. Рад за Вас, а все прочее, я думаю, обойдется. Очень прошу Вас, пишите этот отзыв, видимо интересная и стоюшая книга. Время у Вас есть. Если Вы мне пришлете в июле — будет не поздно, даже в конце июля. Но, увы, Ваш манускрипт надо переписать на машинке Вам самим, ибо почерк Ваш неразборчив и если я отдам его переписать, то будет большая морока. Итак, буду ждать.

Во вторник 23 мая мы уедем в Питерсхем, как всегда, где пробудем до Лэбор Дэй. Вот адрес. Короткий, но верный. Там каждый сам ходит на почту получать свою почту, и нас там знают лет 20. Почта верная.

Искренне Ваш

Роман Гуль

Жена шлет Вам самый сердечный привет и самые лучшие пожелания спокойствия и счастья (и работы!). Наш вла-дыко меня очень огорчил своими действиями по “приобретению” автокефалии (думаю, что и тут не без бесовщины, ибо *она ведь всегда живет в легкомыслии и в тщеславии)*. Напишу ему наупрямь обо всем этом (из Питерсхема, тут нет времени). Кн. 99 “НЖ” пойдет к Вам в Висконсин, а сентябрьская — увидим — куда, наверное туда же?

June 24, 1970

Дорогой Роман Борисович,

Спасибо за Ваше письмо и за “Сеятеля”. Я это издание знаю, кто-то мне уже раньше присылал в Принстон.

Напомните мне, будьте так добры, сколько надо страничек на машинке — размер рецензии?

Видели ли Вы книжку Абрама Ярмолинского “The Russian Literary Immigration” — Abraham Yarmolinsky? Считаете ли Вы ее хорошей (она — о русских классиках) и что Вы знаете о нем самом? На фотографии он похож на бывшего троцкиста (прошу меня извинить).

Я *очень* рада, что Вы собрались написать владыке Иоанну — или уже написали? Эта самая растреклятая автокефалия наделала много бед и зла. А каково то добро, ради которого ее вообще затеяли, это еще неясно. Судя по фотографии в "Time", митрополит Ленинградский Никодим смахивает на Гришку Распутина — что-то такое черное, огромное, волосатое и устрашающее. Да и вообще — участие правительства, посольств, State Dept's и тому подобных вещей в жизни духовной мало полезно и для паствы и для *пастырей,* которые начинают мыслить себя министрами.

Ох, какая это все суета и ерунда. Простите меня. Так сколько страничек на машинке?

Ваша Светлана

Июня 28, 1970

Дорогой Роман Борисович,

Рецензию придется отставить. Malcolm Muggeridge показал мое частное письмо к нему (написанное по поводу книги еще зимой) ряду лиц в Англии, в том числе издателям, связанным с Harper&Row. Мои совершенно частные мысли, вызванные его же книгой, могут — по его мнению — служить “основой для новой книги о религии”, которую *он* советует мне написать, и Canfield, который ничего не понимает в религии, вере и Христе *вообще,* уже прислал мне письмо о том, как он рад, что я *буду* такую книгу писать. Canfield это president of Harper&Row.

Ничего такого я не планировала, не говорила и не собираюсь делать! Но подобный поворот дела и подобное обращение с частными письмами мне очень не нравятся. Я собиралась M.Muggeridg'а очень похвалить, а теперь я этого сделать *не могу.* Конечно, он узнает о рецензии в “Нов. журнале”, — он следит за “русскими делами” и использует это для саморекламы, или, еще чего хуже, извратит и переврет все опять. Или — другие это сделают. А вопрос о понимании Христа — очень тонкое дело, *и я не хочу* быть misunderstood again.[1]

Так что, простите, — статья и тема веры и все, что с этим связано, — очень для меня самой глубокая тема. Я не могу никому позволить влезать в нее нечистыми руками.

Мы все сидим в жаре (116°) и не знаю, когда выберемся отсюда в Wisconsin! Большой привет О.А.

Ваша. Светлана

8 июля 1970 г.

Дорогая Светлана, получил Ваши оба письма и “загоревал”.

Но понимаю, Ваши доводы правильные. Ну, конечно, же, Кэсс

Кенфилд будет в восторге, если именно Вы напишете книгу на религиозную тему — для них же это верный бизнес, и как просто и легко делать такому бизнесу рекламу! “Люди гибнут за металл”, ничего не поделаешь.

Но мне очень и очень хочется, чтоб Вы участвовали в 100 кн. “НЖ”. Она будет явно хорошая (я уже очень много сдал материала), и было бы хорошо, если 6 Вы что-нибудь дали. Кстати, напишите отзыв о книге Ярмолинского, это будет подходящее — тема нейтральная, и есть что сказать. Вы правы, в нем есть что-то “бывше-троцкистское”. Я с ним встречался, когда он был заведующим Славянским Отделом в Н.И. Паблик Лайбрери, но мало — несколько разговоров.

Он как-то напечатал в “НЖ” статью о Есенине в Америке. Есть у него жена-литераторша (и поэтесса, кажется, и переводчица — Бабетт Дейч). Но больше всего прославился его сын — он был у воен. министра МакНамары не то личный секретарь, не то помощник, и о нем в Конгрессе поднялся шум — “секюрити риск”, ибо сей молодой человек был американским комсомольцем и пр. И удалили его с этою поста, но тут же назначили на какой-то другой (не хуже, наверное). Папа Ярмолинский имеет заслуженное имя в американской печати, его знают как спеца по русской литературе, так что о нем стоит написать. М.б. эта книжка и компилятивная (что тоже не грех, в конце концов), но почему ее не разобрать, не отозваться. Напишите. А если б Вам о ней не захотелось все-таки писать (неинтересно), то о чем-нибудь другом. Одним словом: хочу Светлану в 100-м номере.

Между нами говоря, я чрезмерно устаю от этой работы — все один и один тяну журнал — со всех сторон комплименты — но чувствую, что пора мне кончать. Пусть кто-нибудь еще потащит. А я хочу написать “Предсмертные воспоминания” (немного похоже на Шатобриана (“Мемур д'утр томб”, но это ничего, старик не обидится, да и “Предсмертные” мне больше нравятся, чем “д'утр томб”). А рассказать есть что. Итак, Светлана, я жду, и никаких гвоздей — от Вас к.н. обстоятельный отзыв о любой книге по Вашему выбору.

Искренне Ваш.

Жена Вам кланяется. Приветствуем Вашего мужа ун-беканнтервайзе.

4 шюля 1971

Дорогой Роман Борисович и Ольга Андреевна!

Спасибо большое за Ваши теплые поздравления. Вот, прибавилась еще одна Олечка и к Вашим Ольгам. Муж очень

хотел русские имена для детей; мальчик был бы Николай, а для девочки никак не могли согласиться. Ни Анна, ни Елена, ни Софья ему не нравились. Кое-как согласились на Ольге. Моя бабушка Аллилуева (мамина мать) была Ольга, и две моих лучших подруги в Москве — Ольги, со школьной скамьи.

Бабушка Ольга была характеру порченого, никого не боялась, работала всю жизнь, жила почти 80 лет. Дай-то Бог Оленьке что-нибудь от нее перенять (о бабушке Ольге Евгеньевне есть неск. страниц в "20-ти письмах"). Ну, а наша Olga Peters — вылитый папа, вся в Peters'ое; будет высокая, темноволосая. Пока что здоровенькая и сильная девочка. Будем крестить в Greek Orthodox (так муж хочет тоже). От владыки Иоанна С-Фр. отбиваюсь успешно, а то он уже был бы тут как тут со св. дарами. А потом начал бы давать интервью направо и налево. Ох, много у меня претензий к этому иерарху, лучше не будем входить в детали. Противный Раскоряков как раз ему пара. Не огорчайтесь, Вам его благословения не нужны. Благодать дает Господь, а не поп.

Хочу поздним числом оправдаться за то, что подвела Вас с рецензией. У меня была *очень тяжелая* пора. Я почти что решила оставить Taliesiu и уехать — нет сил жить в этом ашраме а là Гурджиев (знаете, наверное, о его достославной "школе" в Фонтенбло). Наша madame тут насаждает его "принсипы". Долго объяснять, почему мне все это так противно и невыносимо; муж предан идее Архитектуры-с-Большой Буквы, которую (как он думает) они там создают. *Не знаю* об архитектуре, но с человеческой и социальной тт. зрения, Taliesiu просто бесовщина. Я собрала чемоданы в феврале и перебралась в Scottsdale в motel. Муж метался между мной и madame, оба мы были в слезах, потому что расставаться не хотелось совсем. К тому же — ребенок.

Кое-как утрясли все это, и истериками (madame обожает это), со всякими лицемерными раскаяниями и обещаниями. А что еще я могла?.. Расставаться с мужем мне совсем неохота: я надеюсь на долгую, хорошую жизнь с ним после того, как madame отбудет в лучший мир.

Писать Вам обо всем этом не хотелось. Искать причин иных, т. е. врать — тоже не хотелось. Так все вышло нехорошо. Вы правы — теперь я погрузилась в пеленки по самые уши, и надолго. Простите великодушно — одно могу просить.

Владыка Иоанн *в самом деле* считает, что я к нему так переменилась из-за Вас. Хотя я ему все *свои* причины довольно ясно изложила, но он ведь не может согласиться, что *он* может быть в чем-нибудь неправ или виноват. Гордыни много, смирения

же никакого.

Ну, Господь с ним. Может, приобретет когда-нибудь с Божьей помощью. Обнимаю Ольгу Андреевну и Вас.

Светлана

P.S. До июня мы здесь, а потом в Висконсине.

6.9.71

Дорогая Светлана,

Большое спасибо за Ваше письмо. Понимаю Вас по всем линиям. Думаю, что теперь вы не скоро сможете взяться за к. н. литературу — Олечка важнее всякой литературы. Хотя темы у Вас могли бы быть очень интересные — но, вероятно, “несказанные”.

Посылаю Вам копию своего письма нашему архиепископу. Написал его просто с отвращением, как будто попал ногой во что-то очень неживописное. Но думал-думал и решил все-таки, что написать, увы, надо.

Видимся часто с Утей. Она и Людка скоро уезжают в свое местоимение. А мы 28 июня уедем (до 1 сент.) в Mass, к друзьям — к Ms.Hapgood, куда всегда ездим. Адрес будет очень прост: R.Goul, Petersham. И все. Но и этот адрес будет хорош — всегда перешлют.

Искренне и дружески Ваш Роман Гуль

Жена очень Вас сердечно приветствует. Она все прихварывает, и это плохо.

1 апреля 1972

Милый Роман Борисович!

Не подумайте, что я осталась неблагодарной свиньей и забыла Вас. Ваша статья о Солженицыне — просто наслаждение читать. Беда только, что надо быть истинно русским, как Вы, чтобы понять последнюю книгу А.С. Вот я уже “разведенный водой” космополит, и меня иногда славянофильство А.С. просто раздражает. А новое славянофильство — начала XX века — было в России, конечно, обещающим движением и заглохло на корню. Это у Вас очень хорошо показано, но ведь *кто* на Западе знает — или понимает — *историю* России? *Никто*. Дж. Кеннан лучше других, он как-то улавливает дух и смысл — иногда — но и то не очень. А Солженицына только так и возможно понять. Иначе — он представляется какой-то туманной глыбой, неопределенного цвета.

О самоубийстве Самсонова Вы так хорошо и глубоко сказали. Но ведь это опять — *русская* религиозность, от Достоевского (литературно, от Алеши Карамазова), но *сильнее* и чище, ибо Достоевский был пророк и не дожил до тех жутких дней, через

которые Россия прошла позже. А дух и смысл — те же.

Посылаю Вам нечто *очень* интересное — м.б. Вы пропустили это. Солженицын *клеймит главарей "советской" русской* церкви. И как! "Церковь, которой правят диктаторствующие атеисты". Вот *сила* слова А.С. Ведь как скажет, так в самую точку.

Вот это его письмо раздобыть бы и дать знать здесь и в Европе, чтобы перестали кланяться Никодиму и Пимену. Я *так* рада, что А.С. "отозвался" на это явление. Между прочим, Андрюша Синявский еще в "Мыслях врасплох" писал о "раболепствующей церкви". Но у него, конечно, нет той силы, как у А.С., а только правильные догадки.

Простите, что пишу с таким опозданием. У меня — плохие времена. Грустно, обидно, несправедливо. Оба страдаем — муж и я (Утя видела его в N.Y.), но ничего поделать нельзя. Он порабощен ведьмой полностью. А мне вся его "идеология", весь этот эксцентрик Ф.Л.Райт и т. п. просто невмоготу. Вот так. А пострадает дитя, Олечка. Простите меня еще раз и поцелуйте от меня милую Ольгу Андреевну. Ваша Светлана.

Февр. 10, 1973

Милая Ольга Андреевна!

Спасибо Вам и Роману Борисовичу за теплое письмо, за подарок Олечке и за Ваше милое приглашение в New York. утя, должно быть, что-то неверно Вам объяснила, потому что у меня *никогда* не возникало мысли о возможности пробыть в N.Y. так долго. Я N.Y. *не люблю,* он меня угнетает, как и всякий большой город. Я люблю маленькие городишки и зелень, без которой я не могу дышать.

О N.Y. я только думала в связи с Пасхой, чтобы приехать и пойти на службу к о. Киселеву. Он — хороший и честный, я его очень люблю, хотя он об этом, должно быть, не знает.

С русской церковью дела мои плохи, я *не* люблю о. Туркевича, этого химика-физика, да и мадам его тоже. Так что в Принстоне я хожу просто-напросто в Американскую церковь (епископальную). Очень спокойно и славно. Священник хороший и умный, и никто ничего от меня не требует.

Но *на Пасху* хотелось бы побывать у о. Киселева. М. быть как-нибудь устроюсь, просто с приездом на день-два. А дольше оставаться в N. Y. я не могу, да и не хочу.

Передайте мой самый нежный привет Роману Борисовичу. Обоим Вам желаю здоровья и меньше треволнений. Какие Вы оба молодцы — просто прелесть. Я так рада, что утя Вас часто видает. Людочка что-то грустный какой-то, как старичок. Ужасно его жалко. Целую Вас обоих нежно.

Ваши Светлана + Оля

12 января 1977 года

Дорогая Светлана,

Вчера к Вам ушла — по воздуху — книга Авторханова. В Нью-Йорке я не нашел ее, что было (в огранич. количестве), разошлось. Жду нового присыла. Поэтому я послал Вам свой экземпляр. Он исчерчен мной при чтении (как всегда). Не стесняйтесь — чертите и Вы, тем ценнее будет этот экземпляр. На днях мне все-таки обещали прислать новую книгу Авторханова (т. е. новый экземпляр), и тогда я Вам его вышлю. А мой экземпляр по прочтении очень Вас буду просить мне вернуть, ибо я тоже м. б. напишу об этой книге. Ничего не значит, что в "НЖ" будет два-три отзыва о книге, она того стоит, по-моему. Тем более, что Ваш отзыв (напишите, пожалуйста, как Вы хотели, мне просто письмо о книге, это лучше всего!) — отзыв исключительно важный (будь он положительный или отрицательный, все равно). Только когда будете возвращать мне мой экземпляр, то, пожалуйста, пошлите его "ферст класс", ибо книги идут целую вечность, а иногда и вовсе не доходят (знаю по грустному опыту). А так "ферст класс" — дойдет наверное.

Искренне и дружески Ваш Роман Гуль

Желаю от души Вам и Оленьке всего самого хорошего в Новом Году!

28 января 1977

Дорогой Роман Борисович!

Я написала Вам тотчас же по прочтении и книгу отправила к Вам — но мое письмо вернулось — я напутала адрес… Это к лучшему, так как я могу сказать сейчас то же самое, но короче.

From making any comments to the research of Mr. Ав-торханов — *увольте.* Армия кремленологов и сталиноведов достаточно активна — *будут* отзывы и pro и con. Я в *историки событий* никогда не лезла. Для истории требуется холодный ум — таковым не обладаю.

Мои книги дают обильный материал для *всех,* кто интересуется. Я очень польщена и обрадована тем, что вот, почти через 10 лет, наконец обратились к моим писаниям как к *фактам.* На большее я и не претендовала. Обобщения — не моя специальность.

По существу вопроса хотела бы заметить следующее — только *для Вас,* как *личное письмо.* Г-ну Авторханову, если желаете, покажите; однако не хочу, чтобы меня *опять* цитировали. Тем более, что ничего нового сказать я не

имею.

Из моих 2-х книг *ясно, во-первых:* 73-летнему старику с повышенным кровяным давлением безусловно *помогли помереть* тем, что оставили его, в состоянии *удара,* без врачебной помощи в течение 12 (или больше…) часов. Да еще *волокли* в другую комнату.

Что *взрослые* люди *не поняли* простого факта, что это был удар — никогда не поверю. Признаки были налицо: паралич, потеря речи и сознания [“он спит!..”].

Во-вторых: Промешкав и начав “лечить” *с таким* опозданием, да корявыми методами (описанными в “20-ти письмах”, безусловно обнаружили полное свое смятение чувств; с одной стороны, надо было соблюсти декор, с другой стороны — не могли опомниться от нечаянной радости. (Это у меня также описано — и Авторханов цитирует обильно).

В-третьих, что Радость была Великая и Нечаянная, тоже было очевидно. Никакого заговора — или приведения такового в злодейское исполнение — я не видела и не вижу. Гн. А. ничего тут мне *не доказал.* Мою ссылку на факт болезни (последнее свидание с отцом 21-го декабря 1952, “красное лицо”, “бросил курить” и т. д.) он *не* приводит. Вместо этого — ссылается на индийского посла, который-де замечает, что Сталин “был здоров” при их последней встрече в феврале. (Замечу здесь: индийцы народ *хилый,* для них 73-летний *активный* деятель *выглядит* здоровым. К тому же посол, кажется, вообще впервые видел Сталина. Как ему и судить? Как *можно* вообще судить о здоровье лица, с которым абсолютно незнаком? Не понимаю).

Однако г-ну Авторханову *сей* отзыв важнее моего, так как подтверждает его *спекуляцию.* При всем моем личном (человеческом) отношении к Берии, я не могу согласиться с версией преднамеренного умервщления. Это — версия и спекуляция.

Что Берия чуть не прыгал *от радости,* когда естественная смерть наступила, — все видели. Так он ли один прыгал от радости? Таковых — в тот момент — были тысячи и тысячи. Что ж: всех их обвиним теперь в “заговоре на жизнь”?

Это есть *эмоциональное перехлестывание* через факты, которыми мы располагаем. Принятие желаемого за действительное. Солженицыну куда как *хочется,* чтобы тугана убили, — он и пускает полунамек-полусплетню, что “возмездие состоялось”. Что ж, и Берии памятник за это ставить будем? Или — помянем в молитвах?

В четвертых: Я же пишу в “Одном годе”, что в тот момент “… каждый хотел — и мог стать Великим Освободителем. В том

числе и Берия”. Хотел — и мог. Однако знамя Великого Освобождения вырвал у всех из рук Никитушка, хитрый мужичок-дурачок. Как в сказке — обскакал всех! Только *без юмора* возможно принять этого “деятеля” *всерьез* — и все его мемуары… Господи, белиберда какая. Удачливый мужичок-дурачок Никитушка (чем не Иванушка?..) всех обхитрил — даже коварного Берию. Ну чем не волшебная сказка?

Однако и сказке бывает конец — и Никитушке *напомнили,* что он не деятель, а персонаж фольклорный, как Петрушка. И — убрали веселого Петрушку в его соответствующий ящичек. Finita la comedia. *Заметим* здесь: надо подождать, пока пройдет время и опубликуют мемуары (истинные!) Анастаса Микояна: вот *кто* имел холодный ум всегда: он и напишет историю. Однако не будем и *его* подозревать в объективности.

Объективная история сов. режима может быть написана *только* извне СССР — и не г-ном Авторхановым (эмоционален тоже, к сожалению!), а каким-нибудь профессором Harvard' или Oxford'a. *Абсолютно необходимо* англосаксонское рациональное fair play и объективность, чего у русских (прошу меня простить!) нет.

Солженицын с его “историей” — ничего, кроме эпилепсии и одержимости, не откроет миру. И никакие исследования *с позиции* одержимости, ненависти и истерической склонности всюду видеть убийства, не помогут раскопать истинное положение вещей.

Ленина не отравили (сам вогнал свой мозг в необратимый склероз). Горького не отравили! Подхватил грипп от своих малых, обожаемых внучек (свидетельство известного педиатра Г.Н.Сперанского). Жданова не убивали: помер своей смертью, больное сердце (каждый раз, как звонил телефон, наступал припадок — свидетельство близких).

Маму мою никто не умерщвлял! Сама решилась на это. (Были до нее — Маяковский, Есенин, многие другие. Это было в *воздухе).* Отец помер от удара — *оставив себя* без врачебного надзора (Виноградова посадил) — и *его оставили* без врачебной помощи, когда удар случился.

Возложим сие на плечи *всех тех,* кто правил (и правит) Россией и посейчас. Философия этих людей *жизнь* во внимание не принимает. Что *все они* способны переубивать друг друга — прямо или косвенно, — я не сомневаюсь и не сомневалась (когда убегала оттуда).

Что *оппозиция* Сталину была наверху в 1952—53 — весьма вероятно. Да и он сам — под воздействием высокого давления — не помнил, что творил. Безусловно — думал о скорой смерти и

думал, *как* и *кому* передать власть. В этом — и вся штука.

Жданов был слаб и труслив, повторял без конца: “Только бы не пережить!” — (близким), что означало, что он *никак* не претендовал в наследники престола. Он этого страшился. Лечил его преданный семейный врач, Гаврила Иванович Майоров (уж никак не сионист!); и вскрытие делали в ванной комнате, на Валдае — в той даче, которую построили как правительственную резиденцию для отца; он там никогда и не побывал. Семья Ждановых *боялась,* что Гаврилу-лекаря обвинят в “злодейском лечении”. Все возможное делали, чтобы выразить Гавриле полное доверие и сочувствие. Однако — час настал — и Гаврила Иванович попал не то в сионисты, не то в шпионы. “Молодую NN” я видела где-то на вечеринке. Ничего особенного в этом факте нет. Никакой тайны, как это кажется г-ну А.

Надо сказать, что гн. А. обладает исключительным знанием деталей жизни сов. верхушки. Напомню опять *версию* Ольги Шатуновской: “не было у Берии большего врага, чем Киров”, который *арестовал* Берию на Кавказе и велел расстрелять (1919–1920 гг.?), да началось отступление и позабыли привести в исполнение.

Шатуновская говорила (мне): “Если бы Орджоникидзе и Киров остались в живых, то для Берии не могло быть дороги наверх”. Безусловно, Берия вел большую и опасную игру. В *такой игре* — входить в опасность прямого заговора на жизнь отца было бы безумной глупостью. Берия был *умен* как бес — ждал и знал, что власть к нему *и так* перейдет. В силу течения времени. Однако народную смекалку Никитушки-мужичка во внимание не принял! Плохо знал русский фольклор.

Брата моего Василия я бы очень хотела видеть таким бравым, *храбрым* генералом, каким видит его гн. А. К сожалению, брат был разрушен алкоголем физически и умственно уже к 1950-му году — вполне. Он *был* отстранен отцом после скандала на авиапараде в мае 1952 — это *я помню и знаю лучше,* чем гн. А.

После этого — сидел дома и пил пуще прежнего. Лаврентия Павловича и Абакумова — обожал: “сильные личности”; и в политике не понимал *ничего*. Потому увязал то и дело в распри наверху — поддерживал то того, то другого — и *сделал себе* огромное количество врагов. Когда отец помер, все эти издавна озлобленные лица обратились против Василия. Он кричал — “убивают!”, потому что он *всегда* кричал и шумел. *Что* происходило, ему было столь же *мало* известно, как и мне. Голову он потерял в 1953 году оттого, что *знал,* что без отца его уже *никто* не защитит. Он тоже — ускорил и приблизил свою смерть в 1962 году (41 год) — не будем и здесь подозревать

убийства…

Простите за длинноты и за эмоции. Я очень *настаиваю,* милый Р.Б., что все это — только entre nous. Мои 2 книги содержат *все,* что я знала: надо лишь уметь читать внимательно. Спасибо за это Авторханову, однако — по comments.

Как всегда — Ваша Светлана

comments

Комментарии

1

Как рассказала мне сотрудница “Нового журнала” Елизавета Григорьевна Фокскрофт (рожд. Кандыба), Аршеневские были в близком родстве с Кандыба и в роду их была даже некая “пленная турчанка”. Е.Г. — профессор русского языка в университете в Претории (Южная Африка).

2

Его отец Ф,В.Езерский — создатель “тройной русской системы” счетоводства, основал в Москве первые в России “Бухгалтерские курсы”.

3

Роман Гуль. Бакунин. Историческая хроника. Нью-Йорк: 1974.

4

Самая “гениальная идея” П.Ткачева была, конечно, в предложении для наиболее скорого наступления революции убить всех без исключения жителей Российской Империи старше 25 лет. Об этом в своих воспоминаниях рассказала его сестра А.Анненкова, известная детская писательница своего времени, упомянув, что от этой идеи Ткачев впоследствии отказался. Немудрено, что 44 лет от роду Ткачев умер в доме умалишенных. Известно, что Ленин необычайно высоко ценил Ткачева-революционера и предлагал “всем его изучать”.

5

А.Солжстщын. Архипелаг ГУЛАГ. 1918–1956. Париж: ИМКА-Пресс, 1974.

6

Как многие писатели, Брюсов был злопамятен и этого отзыва, оказывается, не забыл. В эмиграции Ю.И,Айхенвальд писал Влад. Ходасевичу: “О Брюсове. И сам я меньше всего склонен его идеализировать. Он сделал мне немало дурного и, когда соггричислился к сильным мира сего, некрасиво, т. е. экономически, мстил мне за отрицательный отзыв о нем в одной из мои. х давнишних статей. Самая высылка моя — я это знаю наверное, из источника безукоризненного — произошла при его содействии” (письмо от 5 авг. 1926 г. см. “Некрополь” Ходасевича).

7

Б.Ольшанский на Западе выпустил книгу “Мы приходим с Востока”. Через некоторое время попал в советскую ловушку и через Канаду был увезен в СССР, где и погиб. Он ехал в Германию на постоянную работу в НТС. Чемоданы его пришли во Франкфурт-ня-Майне, а сам он очутился в СССР, где умер, якобы на операционном столе.

8

Когда этот текст был напечатан в “Новом журнале”, я получил письмо от эмигранта “третьей волны”, который весьма сомневался, что Тургеневская библиотека погибла в Германии при бомбежке. Сомневался он потому, что воочию видел в Минской публичной библиотеке книги со штампом парижской Тургеневской библиотеки. Сие вполне в нравах Советов. Если эта драгоценная библиотека попала им в руки, то вместо того, чтобы возвратить ее в Париж как собственность их “союзника”, Франции, они украли ее. Но, естественно, поместили книги не в Москве и не в Ленинграде, а в Минске, куда доступ иностранцам фактически закрыт. Письмо находится в моем архиве.

9

В связи с упоминанием Я.Г.Фрумкина вспоминаю рассказ Станкевича: в Петербурге в каком-то обществе Фрумкин как-то сказал, что П.А.Столыпин человек, конечно, *государственный,* а П.Н.Милюков, при всех своих качествах, *партийный* деятель. Это, говорят, дошло до П.Н.Милюкова и доброго чувства к Я.Г.Фрумкину не вызвало, хотя, по существу, Я.Г. был, вероятно, прав.

10

Нет, например, ценнейшего труда генерала ген. штаба Н.Н.Головина “Российская контрреволюция в 1917—18 гг.”, вышедшего в 12 книгах как приложение к журналу “Иллюстрированная Россия” (Париж); нет “Воспоминаний” СЮ.Витте, нет В.Б.Станкеви-ча “Судьбы народов России”, нет М.Волошина “Стихи о терроре”, нет Г.Ландау “Сумерки Европы”, Б.Вышеславцева “Философия преображенного эроса”, Г.Плеханова “Год на родине”, Б.Пильнякя “Красное дерево”, нет Н.Соколова “Убийство царской семьи”, М.Горького “О русском крестьянстве”, нет книг левых эсеров Штейнберга и Шрейдера. Много пропусков. Есть ошибки в именах, отчествах, псевдонимах. Например, если 6 я когда-нибудь подписался столь роскошно — “Менестрель”, я бы позднее удавился с тоски. Мне же это приписано, но “Менестрель” (он же “Старый Театрал”) это, увы, Борис Яковлевич Шнейдер, писавший в берлинской газете “Голос России”, в журнале “Сполохи” и др.

11

Когда я думаю об этом теперь, мне кажется, что из видных политических деятелей-эмигрантов, пожалуй, только П.Б.Струве, став правым контрреволюционером, не верил ни в какое “прекрасное утро”. Но это только потому, что автор первого Манифеста РСДРП в России в 1898 году, Струве работал с Лениным и лично *изнутри* знал эту, по его позднейшему определению, “думающую гильотину”. “Властолюбие было у Ленина подлинной стихией его существа. Вся его личность была объята этой похотью<…> Большевизм есть система милитаристического террора, абсолютно несовместимая с самой ограниченной дозой свободы”, — писал в 1920-х годах П.Б.Струве. Оттого же после октябрьского переворота, уже смертельно больной Г.В.Плеханов, лежа в постели, часто повторял своим близким: “…пропала Россия… погибла Россия…”: он тоже *изнутри* слишком хорошо знал Ленина,

Горький. Материалы и исследования. Под ред. В.А.Десницкого. М„1941.

13

Спустя десятки лет тайна “больших денег” “Скифов” выясняется. В заметке о Е.Г.Лундберге (КЛЭ. Т.4. С. 453) сказано: “Изд-во “Скифы” — берлинский отдел Госиздата и Гостехизата”. Так вот в чем дело! Стало быть деньги-то дала Москва. Но на свободе “скифы” начали “резвиться”, издавая не “гостехиздат”, а, например, полное собрание сочинений Льва Шестова, писания которого (так же как и Вл. Соловьева и Льва Толстого) были уже Надеждой Крупской изъяты из библиотек. Естественно, что деньги из Москвы прекратились и “Скифы” кончились, на прощанье издав ценную книгу о начальном ленинском терроре — “Кремль за решеткой”. Из “скифов” только Лундберг вернулся в СССР в 1924 г. Был ли он “репрессирован”, не знаю, думаю, что да, ибо его имя появилось в совпечати только в 1945–1946 гг., причем он писал исключительно о литературе “нацменов”.

14

А.Мариенгоф издал в 1920-х годах в “Петрополисе” свой “Роман без вранья”. Чтоб закрепить авторские права, многие советские писатели издавали тогда свои книги сначала за границей. В “Петрополисе” издавались: Пильняк, Федин, Никитин, Всев. Иванов, Слонимский, Мариенгоф и др.

15

В английской книге (I love: The story of Mayakovsky and Lili Brik, by ann and Samuel Charters, 1979) есть рассказ, как Лиля Брик вербовала переводчицу Риту Райт (Rita Rait) в сотрудницы ОГПУ. Задачей Риты было давать сведения о русских эмигрантах в Берлине 20-х годов. Для этого Лиля устроила Рите встречу с агентом ОГПУ.

16

Левин путает. В “Стране негодяев” у Есенина написано именно “жид”. В замечательной по полноте сведений, талантливой книге GordonMcVay. Esenin: A Life. Anne Arbor Ardis:1976. S. 352 дается великое множество фотографий и дана фотография *рукописи* именно этой страницы из “Страны негодяев”: “Я знаю, что ты настоящий жид / Ругаешься, как ярославский вор” и т. д. Так что Есенин прочел подлинный текст своей поэмы.

17

Об этой “Козе-Розе”, помню, Яшенко рассказывал, что была она “необычайной красоты и совершенно бесстыжая, приходит, бывало, на литературное собрание, идет прямо к столу, в руках какое-нибудь необыкновенные орхидеи, сбрасывает шубу и садится за стол совершенно голая, ну совершенно нагишом!” — хохотал Яшенко.

18

Кое-кто из недоброжелателей-остряков в ССП прозвал Федина — “чучелом орла”. Остро. Верно. Никаких орлиных крыльев у Федина не было. Но сие-то для него и было к лучшему. Иначе он не сделал бы такую “широкошумную” советскую карьеру. А лучше всего о Федине сказал Корней Чуковский: “Комиссар собственной безопасности”.

19

Разумеется, я говорю о немцах 2О-х годов. Немцев 80-х годов я не знаю. М.6 немецкий национальный характер изменился за пережитые трагические десятилетия гитлеризма, войны, оккупации. Ведь традиционный русский характер (дореволюционный) после 60 лет ленинизма переделался до неузнаваемости. Конечно, Андрей Дмитриевич Сахаров и сотни других "диссидентов" не в счет. Но homo soveticus существует, и русскости (ее положительных черт) в нем и не ночевало. Взять, к примеру, проф. А.Зиновьева. В интервью газете "Геральд трибюн" он сообщает, что предпочитает Солженицыну Брежнева (убийцу бессчетного числа людей!). Или его же заявление газете "Матэн", что дай русским хоть все свободы-рассвободы, все равно будут "голосовать за коммунистов". В опровержение этой советской басни не буду приводить исторические факты, что в 1918 году, несмотря на *большевицкую диктатуру,* при выборах а Учредительное собрание большевики собрали ничтожное меньшинство голосов, не буду говорить о вооруженном сопротивлении коммунистам — военных, интеллигенции, крестьян, рабочих, — ибо скажут: эк куда хватил! стари на какая! Приведу из недалекого: как во время Второй мировой войны миллионы русских, украинцев, кавказцев "проголосовали ногами — *против коммунистов,* сдаваясь в плен иль с опасностью для жизни уходя на Запад, куда глаза глядят.

20

Баронесса Берта фон Зуттнер в 1905 г. получила за эту книгу Нобелевскую премию мира.

21

Я рад, что судьба дала мне возможность отплатить Б.В. и В.П. Крымовым за “садовый домик”. Во время войны, когда начался чудовищный “исход” из Парижа, я жил на юге Франции, в Гаскони, с семьей на ферме. Чтобы выехать из Парижа во время “исхода”, властями требовалось “приглашение-вызов” из свободной зоны Франции. И Крымов прислал мне просьбу возможно скорее выслать им “приглашение-вызов”. Я поехал в Нерак (городок Генриха IV), около "которого мы жили, полиция удостоверила мое “приглашение-вызов”, и я его выслал Крымовым. “Приглашением” моим они не воспользовались — перерешили: остались под немцами. Но после войны, когда я был у них в Шату, В.П. меня поблагодарил, сказав: “Это был настоящий дружеский жест”.

22

Когда я рассказал Борису Ивановичу, что Гучков попросил рукопись “Дзержинского”, великий следопыт Николаевский сказал: “Это он для Лиги Обера”. Для Николаевского Лига Обера была немного “контрой”. Для меня нет. Я дал Гучкову рукопись “Дзержинского”.

23

Но сейчас дам только те разговоры, которые так или иначе были “политическими”, а все “человеческое” об И.Г.Церетели пойдет в третьей части трилогии (в “России в Америке”).

24

В своих “Воспоминаниях о февральской революции” (которые И.Г. так и не окончил) об истерике Либера И.Г., разумеется, не пишет. Но пишет, что во время речи Либера Ю.О.Мартов с места крикнул Либеру: “Версалец!” Это было 76 лет тому назад! И теперь такой выкрик (характерный в Совете 1917 г.) представляется совершенно юмористическим. Приклеить социалисту-бундовцу Либеру кличку “версальца” 1871 года, которые под командой генерала Гастона де Галифе подавили (слава Богу!) Парижскую Коммуну, было “немножко несоразмерно”. Впрочем, когда несколько позже Ленин просто выбросил из Совета рабочих депутатов всех меньшевиков с Ю.О.Мартовым во главе, Мартов тоже кричал какие-то “исторические” слова, но они у большевиков истерики не вызвали.

25

Церетели говорил, что в первую встречу этим рассказом Керенский вызвал в нем чувство “презрения” (буквальные слова Церетели. — Р.Г.), ибо он увидел, что “у него *все* вертится вокруг него самого”. “Ведь у него за душой ничего нет, гроша ломаного, — говорил Церетели. — Он — и ничего больше. Вот у Корнилова была идея, была Россия, за нее он и погиб. А у Керенского — ничего. Паяц”.

26

В.В.Руднев в 1917 г. был избран городским головой Москвы, а в эмиграции — редактор “Современных записок”. Я Вадима Викторовича хорошо знал и буду о нем писать

27

См.: Воронович Н.В. Записки камер-пажа императрицы. Нью-Йорк, 1952.

28

Я развертываю эти инициалы как “СОЮЗ СУКИНЫХ СЫНОВЕЙ РЕВОЛЮЦИИ”, но это не “ругань”, а “суть дела”.

29

На Сергиевском подворье — на частные эмигрантские пожертвования со всего света — создался Православный богословский институт. Преподаватели — видные философы и богословы, авторы многих трудов: А.В.Карташев (“Очерки по истории русской церкви”, “Воссоздание Святой Руси”, “Вселенские соборы” и др.), о. С.Булгаков (“Православие”, “Карл Маркс как религиозный тип”, “Икона и иконопочитание” и др.), В.В.Зеньковский (“Русские мыслители и Европа”, “История русской философии”, 2 тома, “Основы христианской философии” и др.), Г.В.Флоровский (“Пути русского богословия”), С.Л.Франк (“Духовные основы общества”, “Непостижимое”, “Свет во тьме”, “С нами Бог” и др.), арх. Киприан (Керн) — “Евхаристия”, “Патрология IV века”, “Антропология св. Григория Паламы” и др.), С.С.Безобразов (еп. Кассиан), (“Христос и первое христианское поколение”, “Царство Кесаря перед судом Нового Завета”), В.Н.Ильин (“Мистицизм и мистерия”, “Шесть дней творения” и др.), Г.П.Федотов (“Святые Древней Руси”, “Св. Филипп, митрополит Московский” и др.), Н.С.Арсеньев (“Безбрежное сияние” и др.). О работе Богословского института есть английская книга большого друга русской эмиграции, Дональда (Ивановича) Лаури “Св. Сергий в Париже”, Лондон, 1954.

30

О Т.Карсавиной хорошо записано у В.Н.Буниной: “Сегодня были завтрак у М.С.Цетлиной: чествовали Карсавину… Карсавина очень мила, проста той особенной простотой, какая бывает у некоторых знаменитостей, которые тактично не дают чувствовать окружающим — кто ты, а кто я. Карсавина не похожа на балерину…” (“Устами Буниных”, публ. М.Грин, 1981).

31

Р.В.Плетнев сообщил мне, что написал эту песню в начале XIX века в Сибири революционер Забайкальский. Так, песня не знает своей судьбы.

32

См. Tatiana Bakounine. Docteur de l'Université de Paris. “Le Répertoire biographique des francs-maçons russes” (XVIII et XIX Siècles). Bruxelles: “Petropolis”. S. D. — 655 p.

33

См. масонские стихи Пушкина “Генералу Путину”, основателю ложи “Овидий”.

34

Только спустя 65 лет текст этой недошедшей телеграммы опубликован в кн. 149 “Нового журнала”. Вот этот текст. “Его Императорскому Величеству. Петроград. События последних дней вынудили меня решиться бесповоротно на этот крайний шаг. Прости меня если им огорчил тебя и что не успел предупредить. Останусь навсегда верным и преданным тебе братом. Возвращаюсь в Ставку откуда через несколько дней надеюсь приехать в Царское Село. Горячо молю Бога помочь Тебе и нашей родине. Твой Ники”.

35

А. Розенгольц свое получил: в 1937 году Сталин его расстрелял.

36

Степан Георгиевич Лианозов, быв. премьер-министр Северо-Западного правительства при ген. Юдениче. Думаю, что все это “правительство” составлялось “союзниками” из масонов (Лианозов, Маргулиес и др.). — Р.Г.

37

Аф. Керенский. У А.Ф. почерк выл и неразборчивый и детский.

38

В.А.Маклаков У ВА. почерк совершенно неразборчивый, как какие-то иероглифы.

39

Рассказывают, что Тосканини как-то спросил первую скрипкусвоего оркестра: “Почему вы всегда такой грустный!'” — “Маэстро, я не люблю музыку”, — ответила первая скрипка.

40

Известно, что учение Ленина называется “научным социализмом”, хотя всякий дурак должен бы понять, что ничего “научного” здесь нет. И диктатуру (свою) Ленин определяет как “научную”, что является просто уже бредом.

41

Так как все это кегебешное непотребство происходило и на американской земле, я считаю нужным поместить эти материалы в “Россия и Америка”. В “The Orthodox Observer” в номере за октябрь-ноябрь 1971 г., под заглавием “Четыре древних патриарха осуждают русскую автокефалию в Америке” были опубликованы на английском и греческом языках послания четырех патриархов. Я привожу их в переводе с английского с некоторыми сокращениями.

42

21 февр. с. г. в “Нью-Йорк тайме” была опубликована телеграмма из Тель-Авива о встрече с печатью трех раввинов, не так давно эмигрировавших из Совсоюза. Эта пресс-конференция состоялась по их инициативе в Иерусалиме. На ней выступили секретарь недавно умершего московского главного раввина Иехуды Лейб Левина, раввин Мордехай Ханзин, раввин Израиль Бронфман из Одессы и Яков Элишковский из Москвы. Они рассказали, что КГБ стремилось поставить на пост главного московского раввина своего агента, а именно — Израиля Шварцблатта из Одессы. По их сведениям, Шварцблатт уже давно сотрудничает с КГБ. В течение долгих лет Пимен и Никодим — ив своей церковной политике, и в политических выступлениях — без сучка и задоринки проводят генеральную линию компартии. Зная “основы ленинизма”, мы нисколько не удивимся, если кто-нибудь и их, наконец, разоблачит, как Израиля Шварцблатта.

43

В “Новом русском слове” было напечатано письмо архиепископа Амвросия о выходе его из Американской Митрополии. Архиепископ Амвросий пишет: “Давно страдая от последствий получения автокефалии Американской Митрополией от Москвы и от все большего сближения ее с Московской Патриархией, я смущался сердцем от своего невольного участия в этом деле. Вследствие моего принципиального расхождения с курсом Американской Митрополии я теперь нашел для себя невозможным дальнейшее пребывание в ней по принципиальным основаниям. Поэтому я заявил митрополиту Иринею о выходе моем из состава Американской Митрополии”.